

В.В.Розанов

Когда начальство ушло...

Когда начальство
ушло... 1905-1906 гг.

Мимолетное. 1914 год



В. В. Розанов

**Собрание
сочинений**

В.В.Розанов

Когда начальство ушло...

Когда начальство
ушло... 1905-1906 гг.

Мимолетное. 1914 год

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство "Республика"
1997

Составление

П. П. Апрышко и А. Н. Николюкина

Подготовка текста

А. Н. Николюкина

Указатель имен

В. М. Персонова

Розанов Василий Васильевич.

Р64 **Собрание сочинений. Когда начальство ушло... / Сост. П. П. Апрышко и А. Н. Николюкин. — М.: Республика, 1997. — 671 с.**

ISBN 5—250—02612—5

Книга "Когда начальство ушло..." — очерки и воспоминания о первой русской революции. По словам Андрея Белого, это "живая запись истории; это — документ и вместе с тем — характеристика событий 1905—1906 годов с исключительно редкой точки зрения". В настоящий том включена также книга "Мимолетное. 1914 год" — широкая панорама раздумий писателя и философа о судьбах России, ее религии, культуре и литературе. Большое внимание уделено проблемам российской государственности, национальному и семейному вопросу. Печатается впервые по рукописи.

Адресовано всем, кто интересуется историей русской философии и культуры.

Р 0301080000—47
079(02)—96

ББК 87.3

ISBN 5—250—02612—5

© Издательство "Республика", 1997



Когда начальство ушло... 1905-1906 гг.

...прекрасно, прекрасно, я не спорю, что начальство необходимо, как дымовая труба в доме и самые "нужные" в ней места и комнаты... не спорю...

И все-таки...

Какая наступала восхитительная минута, когда, бывало, надзиратель отойдет от стеклянной двери нашего класса ("пошел к другим классам"), а учитель еще в нее не вошел... Электричество, что-то лучше и быстрее электричества, пробегало по нашим спинам и плечам; и "Алгебра Давидова" летит через две парты и попадает туда, куда ей нужно — в затылок склонившегося над Кюнером толстого и ленивого ученика. Он вздрогнул, размахнулся и, может быть, ударил бы ни в чем неповинного соседа: но "несправедливость" предупреждена тем, что кто-то схватил его за волосы и пригнул к задней парте... Теперь он парализован, бессилен и вращает глазами, как Патрокл, поверженный Гектором. В другом углу борются "врукопашную", — по возможности без шума; летят стрелы в потолок, с мокрою массой на конце их, чтобы повиснуть там; кафедра учителя старательно обмазывается чернилами, а стул посыпается мелом... Кто-то "учит слова", если его сейчас спросят: но благоразумнейшие припиливают "слова" к спине товарища, впереди сидящего, дабы "провести за нос" учителя, всепонятно "болвана", и ответить урок на "3-", зная его на "1+"...

Счастливые минуты: их одни я помню из поры ученья. Все остальное было скучно, бездарно, не нужно, антипедагогично. Но эта минута "без начальства", когда мы оставались одни... Она была коротка и гениальна. Я ее дурно описал: не всегда было именно то, что я передал. Бывало иначе. Но безусловно всегда пробегало *бесконечное оживление по классу*: а, ведь, добрый читатель и всякий человек, не есть ли "величайшее оживление", без более тесных определений, что-то самое лучшее, самое счастливое, наконец даже самое добродетельное изо всего, что вообще случается в истории и происходит в жизни? Ибо оно есть именно *жизнь*, тоже "без более тесных определений": и естественно, что самая высшая точка ее напряжения как "суммы движений в одном моменте" — и есть "главная добродетель всего"...

Всего на земле, в царствах, городах, везде, везде...

Ну, а какое же "начальство" даст оживление, "позволит" оживиться... особенно в "бесконечность"-то?..

Поэтому, я думаю, все люди притворяются, когда говорят, или даже кто-нибудь один про себя говорит, что он "почитает начальство"...

— Ну там кухня, ну — дымовая труба...

— Необходимо! неизбежно!..

— Стройте, черт с ним!..

Но — не более. *Врождено* человеку давать не более *rietāt'a* "начальству", вообще всякому, от столоначальника и...

Но мир устроен "с начальством": даже Солнце есть начальник солнечной системы своей — планет, спутников...

Склоняю голову, плачу... И говорю: даже в солнечной системе это есть какой-то "первородный грех".

А кометы? Те "залетают" в солнечную систему, пролетают ее и, не связанные, улетают куда-то "в глубь мира" уже решительно без всякого "начальства"...

Вот пример. Это тоже природа. Уголок мира создан вовсе без "начальства".

И это — *человечно*.

Солнечная система все-таки бесчеловечна; уже "павшая"... Кометы одни в мире безгрешны и, от этого, так редко показываются в наш грешный солнечный и земной мир.

Человечность — это всегда одиночество и братство. Одиночество не затвора, не темницы, не кельи с уставом, а просто "так", чтобы вокруг меня был некий пояс свободной земли, свободной воды, свободного воздуха... И *братство* в смысле том, что, никем не теснимый, я никому и не враг, а всем друг. В конце концов "свободны и человечны" были патриархи человечества в Месопотамии и Ханаане, да "аввы"-отшельники Верхнего Египта (раннее христианство). Вот — "кометы", каждая со своим путем. Все остальное "по грехопадению" слагалось "в системы" и строило себе начальство...

Черт бы его побрал.

Человечность — братство, одиночество... И как *условие* этого — благородство и невинность.

Люди, — знаете ли вы единственный и исключительный корень того, что вы все, без исключения все, рабы? Только один: в том, что вы все неблагородны.

Мы все неблагородны.

Мы все не невинны.

Отсюда "кухня" и "дымовые трубы".

* * *

Ничего об этом не умею сказать, кроме глубокого вздоха.

* * *

Для меня несомненно, что исчезновение "начальства", таяние его как снега перед солнцем... вернее — перед весной... начинается и всегда начнется по мере возрождения в человеке благородства, чистоты и невинности. Это — тот огонь, в котором плавятся все оковы.

И только в нем!

Только в нем!

Запомни это хорошо, человечество, дабы не маниться ложными призраками.

Не надеяться ложно.

Не верить ложно.

* * *

Благородство — это деликатность человека к человеку. Ясность души, покой ее. Правда уст и поступков. Мужество.

Но душа всего этого — деликатность: вытекающая из какого-то глубокого довольства собою, счастья в себе... неоскорбленности: в силу чего "не оскорбленный человек" не дерет по спине другого, соседа, дальнего, кого-нибудь — словами, поступками, деяниями.

Но ужас истории и величайшее ее несчастье, "первородный грех" всего, заключается в том, что человек ужасно оскорблен...

Все мы...

Всякие...

И не можем этого забыть... Изгладить... И скрежещем зубами, и томимся, и ползаем...

И вот "выбираем себе начальство".

— Я не могу укунить соседа. Но если соединюсь с другими и мы все выберем себе начальника, с дубиной и циклопа, — то я ближнему раскрою голову.

Мотив всех государств. Начиная еще от Киаксара Мидийского...

* * *

Боже, если бы мы могли забыть *обиду*... Но мы никогда ее не забудем и не станем свободными.

* * *

Когда, лет шесть назад, я впервые плыл по Женевскому озеру, мимо закрытых синей дымкой Кларанса и Монтре... было часов 9 утра, и море, небо и вот этот воздух над озером — все было сине, влажно и мягко... у меня шевельнулась мысль:

— Боже, какие дураки швейцарцы: нужно же соединить в "кантон Женева" (знал по географии) такое огромное вместилище берегов!! Второй час плаваем, Женева давно скрылась за горизонтом: а все еще тянется "штат Женева". И эти Clarence, и Veveu, и Montreux, такие восхитительные, до того восхитительные, составляют *части* какого-то "кантона Женевы"... Возмутительно: да они — не "части", а прекраснейшее *целое*... Вот как я... или я со своей семьей (я плыл с семьей): и на кой черт им составлять "кантон Женеву", все равно как бы нашей семье лезть на спину соседних, сидящих на пароходе, буржуа... Боже, до чего глупо!

И я сказал себе как бы *канон*:

"Слияние в систему (солнце и планеты) не должно простираться далее, чем насколько охватывает глаз с самого высокого места данного пункта, города, села и проч."

Я думал по-русски: "с колокольни или каланчи".

Сверх этого, дальше этого — грех. "От лукавого" и вообще "история грехопадения".

Все бóльшее — "неблагородство". Ни один Пифагор или Мафусаил мне не докажет, что "нужно больше". Иначе, чем пунктами "грехопадения":

1) Что нужно соседу дать больше в морду.

2) Что кулак тогда будет величиной с дом.

Но это явно "неблагородство"... Мотивы "от зла" могут быть, "от добра" — никакого мотива.

* * *

Кому мне посвятить эту книгу?

Чиновники на нее обозлятся.

"Граждане" скажут: "Наивно!"

И едва ли не все:

— Даже нелитературно... Черт знает, что: мечта, безумие.

Поэтому я посвящу ее могилам... Не всем, но тем, кто в 1905 году думал: "от колокольни до колокольни — не дальше".

Тем, кто, по моему убеждению, и были одни "гражданами будущего века"...

Невинным, юным и чистым.

В. Розанов

Спб., 19 февраля, 1910 г.

ВСЕМИРНАЯ СКУКА

31 декабря 1900 года

I

Чем мы встречаем новый век? — Странно сказать, — всемирной скукой.

Можете ли вы указать на страну, на нацию, на национальную литературу или на какую-нибудь научную дисциплину, которая бы, так сказать, рассеивала эту всемирную скуку и заставляла всех, от океана до океана, произнести: "нет, не так уж скучно". Решительно скучно — в науке, в литературах, в общественной жизни. Вы помните "Гугенотов" — и в них арию мужественного, честного, верующего солдата Марселя? Вот этого тембра голоса, этого тона, этого сурового закаленного лица, которое завтра пойдет в битвы за "правую веру", — нет теперь нигде. "Пропал человек"... Да нет, не человек пропал, но *все* мы пропадаем, безусловно все, с нашими кой-какими талантишками, "призваниями", силишками: ибо и в том гомеопатическом размере, в каком они у нас есть, они решительно ни на что не нужны в характерно-гомеопатическое время.

Вы мне укажите, какой бы принцип не умирал на исходе XIX века и при восходе XX? Принцип государственности? Церкви? законности или даже своеволия? Замечательно, что когда мы называем даже два диаметрально *противоположные* принципа, как закон и своеволие, т. е. из которых, казалось бы, хотя один должен ярко жить, мы затрудняемся в определении, который из них более умер. Время Гизо, т. е. тридцатые годы, — да, это было время *законности*; конец прошлого века — это был взрыв *своеволия*. Но все равно мало надеются теперь на революцию, как и на закон. Даже понятие, столь недавно еще универсально привлекательное, понятие "эволюции", бесконечного "прогресса", — решительно никого более не очаровывает, даже не занимает.

— Я не хочу прогресса, я хочу умереть.

— Я не хочу прогресса, я хочу выпить рюмку водки.

На этом сходятся пессимист и оптимист.

Ни один век так не кончал, ни один так не начинался.

Восемнадцатый век влетал в девятнадцатый на крылах революции; семнадцатый закатывался в лучах славы Людовика XIV; в конце XVI уже бродили вопросы Лютера, и сам Лютер, пламенный и угрюмый юноша, бродил по улицам Виттенберга; в конце XV века печатались знаменитые "инкунабулы", первопечатные фолианты, — то молитвен-

ники, то "возрождающиеся" классики. И за этим дальше — светло-зеленое "Возрождение". Какие люди, какое время, какое счастье!.. Но мы?.. Мы вступаем или, точнее, вползаем в какое-то бесконечное удушливое средневековье "труда, промышленности и образования".

Мы не воздвигнем пирамид, не откроем Америки, не родим Ньютона. Мы просто будем "образованы" умеренным образованием, на девять, на двенадцать веков; напишем еще Дрепера или еще Бокля в двенадцати томах, — да, ведь, Спенсер и начал уже сочинять "Бокля в 12 томах", как Фома Аквинский сочинил в 12 томах катехизис. Эти ужасно скучные книги, сыгравшие такую большую роль в недавней европейской образованности, мне иногда представляются чем-то вроде Северина Бозция, который написал стихотворное "Consolatio philosophica"¹ и ввел один разрушившийся мир в двенадцать веков предстоявшей "кухонной латыни". Так называли средневековую латынь в отличие от латыни самих римлян. Бокль, Дрепер, Спенсер открывают уму или вводят ум в какое-то необозримое серенькое понимание, серенькое мышление, серенькое устремление воли и сердца, которое потому именно и трудно победить, что это просто "образование" "образованных людей", в котором не торчит никакой гениально-выдающейся или гениально-уродливой мысли, которую можно было бы или победить, или ею восхититься. Прочел, устал и заснул.

Да, Mittel Alter, средние века "труда, промышленности и образования"... Мне иногда кажется, что бес для вящего пересмеяния нашего времени подsunул ему еще идею "сверхчеловека" (у Нитче). Ну уж "сверхчеловеческая" эпоха и "сверхчеловеческие" герои...

— Так не выпить ли, в самом деле, водки?

— Или не умереть ли?

Нет, ведь хрупко только гениальное. В самом деле, наблюдение: гений в здоровьи своем, в настроении своем, в созданиях своих дрожит как слеза на реснице Божией; он вечно между "есть" и "нет". Паскаль и Ньютон были вечно больны; Собакевич был постоянно здоров. И в творчестве их есть, правда, что-то дрожащее: тусклое впечатленье, которое никого бы не тронуло, гения заставляет извергать снопы характерно нового творчества. Попробуйте вы изменить Собакевича. До революции и после: революции он ел бы все одного и того же осетра: до революции с хвоста, после революции — с головы. Он живуч как бацилла, — или, пожалуй, как живуче и устойчиво все серенькое.

В семидесятые годы, вы помните, сколько было самоубийств; не удивляет ли вас, что в наше время совершенно прекратились эти столь характерные "молодые самоубийства", так пугавшие, так волновавшие, и — увы, что делать, — так обещавшие? Теперь мы устоялись и отстоялись...

— Так рюмку водки?

— Да, ничего более рискованного.

Оставим мир, у нас есть еще отечество.

¹"Утешение философией" (лат.).

II

Мертвая точка. Ну, скажите по совести и положи руку на сердце, о чем, встретившись с другом, оставшись наедине с братом, вы заговорите с оживлением и притом в уверенности, что где-нибудь во Владивостоке или в Тифлисе другие два друга или другие два брата говорят точно с таким же жаром и о том же самом предмете? Нет. Т. е. нет никакого общерусского разговора, а есть разговоры Ивана и Петра, одни в Ташкенте и совсем другие в Москве. Нет "общерусского разговора", да ведь это почти значит, что нет "вообще России", а есть только "губерний". Шестьдесят восемь листов, будучи сшиты, составляют тетрадь; 68 губерний, будучи тоже сшиты, составляют Россию. Между тем в пору молодых порывов был "общерусский разговор" и Россия существовала, — как некоторая нравственная физиономия.

— Вот физиономию-то мы и потеряли...

— Да, не физиономистое время.

— Что же, мы глупы все?..

— Нет, глупое время. Мертвая точка.

В ходе машин опасный момент представляет так называемая "мертвая точка". Все видали громоздкое, шумное, превышающее своим видом все остальные части механизма так называемое маховое колесо, — саженных диаметров, — которого значение только и состоит в том, чтобы "махать" и, так сказать, встряхивать машину вот в эту опаснейшую секунду, когда дельные ее рычаги и поршни принимают мертвое расположение и пар может раздавить, сплющить механизм, а не может сделать вперед правильного оборота. Колесо махнуло, силою инерции перевело рычаги за мертвую точку, и вся мудрость и тонкость машины получила опять свободу работать до следующей мертвой точки.

Состояние духа людей есть точнейший барометр для определения, так сказать, общественной "погоды" и даже погоды вообще "отечественной". "Ясно", "дождь идет", "пасмурно" — эти краткие речения барометра выражаются почти так же кратко людскою молвою, отметками кратчайших бюллетеней о состоянии духовного здоровья страны: "скучно" или "потираем руки". "Потираем руки", когда крошечные поршни и колесики громадной социальной машины весело бегают, делают каждый свое неуловимое дело, — корабль движется вперед, и повар хлопочет около сытного обеда для усталой и все-таки веселой команды. Есть работа, есть дух, есть ход. Но вот пробил исторический час; соотношение частей машины, совершив один полный кругооборот, достигло фатальной точки, и барометр общественного духа отмечает: "Какая скучища!.."

III

Да, "какая скучища", когда сегодня мы можем повторить только исчезнувшее "вчера", без всякой существенной новой прибавки. Бог дал человеку *времена года*, кроме дней недели, которые чередуются без существенной между собою разницы. Во временах года существенная

разница, — и вот эта-то общая перемена *всего* и необходима человеческому духу, который фатально заснул бы среди вечной декорации, пусть это была бы самая феерическая весна. Человек ничем так не утомляется, как повторением, и это оттого, что сам человек безусловно никогда не повторяется, он ежесекундно растет, — и решительно не выносит поэтому мертвечины вокруг себя. Когда становится очень мертво, он перемещает квартиру, едет за границу, едет в Африку стрелять слонов: "не могу переменить отечества, тогда перемену отечество". Небозримые греческие колонии возникли частью по этой причине; "душно в Афинах, поеду в Сицилию; в Афинах все демократическая республика, а там мы заведем на просторе хоть тиранию". Вот вероятное происхождение сиракузских владык. Наши домашние малороссы выражают ту же самую вековую мысль, когда, переворачиваясь с одного бока на другой, приговаривают: "хоть тяжше, да ише", т. е. хоть и больнее, а все-таки не на том боку.

— Так вам хочется "не на том боку?..."

— Да, именно хочется "не на том боку..."

— Гм...

Мне кажется, от Ташкента до Москвы если нет "общерусского разговора", то есть "общерусское об одном молчание", и его лучше и не выразить, как этим кратким *resumé*:

— Не на том бы боку.

Ведь вот чего захотели. И не сообразив того, что если человек перевернется, то и все вокруг него перевернется, и то, что было вправо, очутится влево, и наоборот. Это и составляет затруднение при разрешении проблемы.

— Уж полежите так...

— Очень скучно!

— Поскучайте...

— Очень больно лежать. Все нутро ноет!

— Боимся, перемен будет много. Главное — горизонты и перспективы. Вы вот теперь видите, как в потолке прусаки брюшками из щелей торчат, и развлекаются, — а тогда Бог еще весть что увидите, — и, главное, нельзя предвидеть, чего захочете!

— Ничего я не захочу, только бы перевернуться.

— Это надо обдумать. Этакие дела не делаются не подумавши.

— Да какие "дела"-то, что вы: тут потолок, а там печка...

— Нет, вы это очень просто судите, тут сложнее...

IV

Иногда нам представляется, что ход умственных, общественных и вообще всяких дел в отечестве нашем дошел до тягостной мертвой точки, из которой всем хочется и все не знают как выйти. Не знают "как" или боятся сказать "как", и все ожидают со страхом: "перемахнет" ли маховое колесо или так будет стоять, как "Генерал-Адмирал Апраксин" около мертвого камня острова Гогланда. И вот оттого, а не от бездарности нашей, нет весны в духе человеческом; и несется от Ташкента до Петербурга один зевок-вздых: "какая тощица!.."

— Да что у вас за тоска, будто и в самом деле Гамлеты?! Ведь вы просто Иваны Иванычи и переписываете бумаги.

— Да, переписываем бумаги...

— И жалованье получаете.

— И жалованье получаем...

— Ну?

— Позвольте прогуляться.

— Ну, вот, не дослужив до пенсии-то. А вы выпишите все строки, и тогда мы вас "с пенсией и с мундиром" чистенько заколотим в гроб, похороним в третьем разряде на Смоленском, а на ваше место посадим Александра Иванаыча. Вы Иван Александрович, а тот будет Александр Иванаыч. Вот и маленькая перемена, и служащим удовольствие и вам польза.

— Я пройдусь.

— Посидите.

Что делать. Приходится сидеть. Бедный геморроидальный чиновник сплюнул "не на сторону начальства" и, "переменив перо в руке, — все-таки реформа", — придвинул "вековечные бумаги". Да, есть "вековечные льды" и есть "вековечные бумаги", и которые-то из них еще страшнее...

— Решительно и окончательно я иду.

— Куда же? Хе-хе-хе...

— Я иду к бурам, вы понимаете — к бурам. В семидесятых годах стрелялись, так вот я вместо этого стрелянья просто уезжаю из Петербурга и отправляюсь к бурам. Там слоны, а не "ваше пр-во".

— И за пенсией не воротитесь?..

— За пенсией?.. Этаким вопросом. В самом деле, ведь за буров можно сражаться, и, если не убьют, придется просто "существовать" пятнадцать—двадцать лет, и вот тут...

— Я же вам говорил, что удобнее отстаться. Вот и еще "отношеньице" на "донесеньице", одно перебелилите, а другое "к делам подшейте"...

К "делам"!!!

Да, хочется весны, но весна жжется. Весна — "без пенсии", а мы все так привыкли "с мундиром и пенсией"... Весна — поэзия и голод, а мы — стары. Мы стары и мир стар. В старом мире — старые люди и старые дела.

— Что "Апраксина"-то сняли, что ли?

— Этаким вы ехидный человек. Ну, положим, не сняли.

— Сидят?

— На другой броненосец перешли.

— И много у вас в запасе броненосцев-то?

— Достаточно.

— Это на случай "сажання"-то. Ведь по одному в год?

— По одному в год. Да вы что беспокоитесь?!

— Расходно?

— Не очень. Вы вот попишите, там постукают, — смотришь, и еще вывалился в Неву из Нового Адмиралтейства. "Под Богом".

— То-то вы "под Богом", да и нас "под Бога" усадили. Иду.

— Без пенсии?

— Без пенсии.
— С отчаяния?
— С отчаяния.
— Это, так сказать, "на другой бок"?
— На другой бок.
— Гм... В отечестве весны не ждете?
— Не жду.
— И никто не ждет, а все терпят. Этакий вы нетерпеливый человек.
— За мной и другие тронутся...
— Хе-хе-хе!.. И не шелохнутся.
— Увидите.
— Как не увидеть: "взирая на страницы истории, как моряк взирает на корабельную карту, правители..." Разве не читали у Карамзина, кхи, кхи...

— Ах, Боже мой, Карамзин! ах, мое несчастное отечество! "Карамзин и Жуковский", "Пушкин, Лермонтов и Гоголь", ах, несчастное отечество! И ни одного настоящего Поль-де-Кока. К бурам! К бурам!

НOMINES NOVI...¹

I

Читатели, вероятно, помнят странный эпизод, которым кончается или почти кончается "Воскресенье" Толстого: это — партия политических ссыльных в сибирском остроге и в разных случаях на перепутье. Не помню сейчас имен, не помню отдельных фигур, мужских и женских. Но помню, как, вероятно, и каждый читатель не забыл, — светлое пятно, впечатление светящегося места, где эти фигуры стоят и двигаются. О политических взглядах их говорится немного. Так, мимоходом. Больше для того, чтобы отметить, что это — не воры, не бродяги, не фальшивомонетчики. Разговоры их являются как бы подписью: "Се—лев, а не собака". Умный взгляд Толстого сосредоточился на другом, понял другое: их быт, манеры, взаимные отношения, отношения к среде. Никак нельзя упрекнуть меня в преувеличении, если я скажу, что они приходят и идут далее в изображении Толстого, как спокойные ангелы, без муки, конвульсий, с чудесною лаской к окружающему, добротой и нежностью между собой.

Сейчас припоминается только, как они метут пол и, вообще, вводят относительную чистоту среди вони, ругательства, "парашки" и проч. Еще припоминается, как от большого мужика взяли ребенка.

— Ты устал (или не умеешь), я понесу.

Если мы далее будем наблюдать, откуда этот тихий ангельский из них свет, мы еще более будем поражены и, может быть, придем к важному заключению. В то время как Нехлюдов коверкается, ходит и на руках и на четвереньках "за Катюшей" или без "Катюши", с Евангелием или социологией, и вообще полусумешон, полужалок, — они вполне

¹ Новые люди (лат.).

натуральны и отличаются отсутствием всякой нравственной деланности, искусственности. Я передал свое впечатление "тихие ангелы", и делаю ударение на "тихие".

Нехлюдов гораздо менее радикален, чем они.

Он читает — и несет следы чтения в своих поступках. Он из высокой среды — и не забыл ее привычек, и тоже несет их в своих поступках.

Они все отвергли. Вода истории сбежала с них и оголила просто человека. Дарвин сказал нам, что под человеком — обезьяна, и этому поверил весь мир. Хотел этого или нет, но Толстой в своих выведенных политических показал сущую обезьяну в смысле исторических традиций, и мы под обезьяной вдруг находим — "ангела". Удивительно, не правда ли?

Вот мы, консерваторы, самые угрюмые, основали больницу, куда нужно позвать доктора и несколько фельдшериц.

Предлагают "с курсов".

— Да ведь это нигилисты?

— К сожалению, да.

— Скверно; однако, неоткуда взять других, — давайте.

Приходят безбожники. Смотрим на них угрюмо, тупо, недоверчиво.

— И в Бога не веруете?

— Я учился медицине.

— Ну, черт с вами — делайте дело...

Идут дни, месяцы, год, два, десять лет, мы смотрим и... впечатление толстовских фигур повторяется!

Явились как будто "безбожники", а работают, как ангелы, посланные Богом.

Что нам с ним делать — с этим впечатлением? Солгать? Сказать, что они злы? — Нельзя. Напротив, *только* они добры, добрее нас. Воистину, отроки, ходящие в "печи огненной" всякого разврата и растления. Но откуда этот свет?

Толстой здесь начал вести узор необыкновенной важности, и я только хочу около него привести некоторые исторические справки. Последние типы радикалов были выведены в "Нови" Тургенева, произведении бессильном и неясном. Радикалы были там ни пава, ни ворона. Раньше у Тургенева же, в "Отцах и детях" — Базаров жесток, прочие — окончательно невыносимы. Толстой, резкий реалист, напротив, представил их необыкновенно нежными, и это-то ново и поразительно в смысле исторического рисунка.

Рахметов и Лопухов в "Что делать" — какие-то конюхи. Им бы с лошадьми жить и обращаться, командовать эскадронами; если угодно, — легионами, но как люди быта, как нити ткани жизненной, — куда же они годятся?

Марк Волохов в "Обрыве" тоже уважает одного себя и не уважает ничего вокруг. Опять черта, не повторяющаяся у Толстого. Между тем, очевидно, Толстой не только больше жил и больше видел, чем Гончаров и Тургенев, но он и более пытливый, менее доверчивый, зорче наблюдающий человек. Притом Толстой — резкий сатирик, бич сатиры, когда есть предмет для сатиры.

Очевидно, что он был поражен явлением, и не явление ему покори-лось, но он покорился явлению. Ведь они, эти ссыльные, толстовских

книжек не читают, к Нехлюдову обращаются только со своими специальными делами, по части паспорта и прокламаций и, словом, для Толстого яснее, чем для кого-либо, что это не "будущие толстовцы". Что же за притча? Что за явление?

Когда, несколько лет назад, печатались в "Вестнике Европы" по-смертные письма покойного Боткина из Болгарии, там было много сатиры на сферы военные и штатские, высшие и средние. Письма были совершенно частные. И вот мне запомнилось из них:

"Только одни сестры милосердия составляют светлое пятно на темном фоне".

Строки не эти, но их смысл этот, и в кратком отзыве письма не для печати, брошенном мельком, звучит то самое впечатление, зрительное и нравственное, какое сказалось у Толстого.

"Я так видел и, не переиначивая, говорю".

Да это и общеизвестно. Все единогласно говорят, что сестры милосердия составляют красоту нашего общества. В белых передничках, с красным крестом на груди, трудолюбивые, бодрые, без суеты, без усталости, всегда с надеждой на лучшее для вас и для себя, они около больного, как ангелы.

Не забуду этого впечатления от сестры милосердия, ухаживавшей, и очень долгое время, около покойного Страхова перед смертью. Но опять, если взвесить и рассортировать духовный мир такой сестры милосердия, мы в ней, понятно, не найдем ничего политически предосудительного, но, однако, ничего не найдем и такого, за что могло бы ухватиться наше "охранительное" чувство.

— Мы учились медицине, умеем перевязывать раны, немного массажа, то — се...

— А заветы Карамзина и Державина?

— Мы учились только перевязывать раны.

Вы из них ничего не выжмете патриотического, "российского" ни единой горошинки, из "Коль славен" — ничего. Двигаясь, живя, трудясь на войне, они бы должны сколько-нибудь проникнуться духом войны, интересом к войне, что вот "мы на турок" и "как взяли такой-то редут". Но ничего этого нет. Они совершенно погружены в мир частного. История, как прицесли такого-то офицера, и куда он был ранен, и сколько дней пролежал, и куда потом уехал, и какой у него был характер, и какова его биография, — вот все, что их занимает. Военные есть, войны нет. Есть раненые, но, как будто, нет сражений. Двигаясь среди борьбы, они абсолютно мирны. Как и толстовские ссыльные, прежде всего поражают глубочайшим в сущности душевным миром и спокойствием. "Тихие ангелы".

II

Мне было раз нужно по одному литературному делу поехать к двум старым девицам, ученым "курсисткам" шестидесятих и семидесятих годов. Что могло быть скучнее ожидания этой встречи? Все мы знаем, что такое женственность, и знаем, что 1) синий чулок, 2) шестидесятые годы и 3) старая дева — суть три особенности Бабы-Яги, съевшие

в женщине ее нежность, красоту и глубину. Так, предубежденный и презирующий свою миссию и самый предмет ее, я дернул звонок. Вошел. Тоже несимпатично. Большие комнаты, невысокие потолки, классная мебель, книги, этажерки, бумаги. Выходит одна, потом другая. Ну, годы не красят и, конечно, ничего красивого не было в девицах, из которых одной было за сорок и другой за пятьдесят.

— Это откуда же у вас мебель?

— Мы держим школу с правами прогимназии. Столько-то лет.

Это, однако, составляло часть занятий, и притом только младшей из них. Другая часть уходила на одно важное и ответственное дежурство и, наконец, лето посвящалось продолжительным научным экскурсиям в Западную Европу и ученым трудам, которые создавались на материале, собиравшемся во время этих экскурсий. Целые области были исхожены ими пешком.

— Ах, черт возьми, — подумал я. — Настоящие ученые женщины. Тем хуже.

Так я и поговорил с ними скорее грубо, чем сколько-нибудь приветливо. И вот прошло несколько лет. Я их ближе узнал. И вот то, что я а priori считал умершим в них, оказалось неувядаемо-свежим.

Прежде всего, какая удивительная дружба и верность. Мало ли из нас, мужчин, соединены единством предмета занятий и тем. Чиновники и писатели, как бы сапожники, тачающие разные части одного огромного сапога. Но везде ссоры; решительно везде антагонизм, — и мелочный, глупый, бессознательный. Почему мужчины все исключительно презируют друг друга и ненавидят друг друга — не знаю, но наблюдал это. Эти две пожилые девушки прожили семнадцать лет вместе, вместе из молодости перешли в зрелость, из зрелости — в старость, и между ними был такой тон взаимной совмещенности и совершенной духовной успокоенности, как бы это был Обломов и сжившаяся с ним его двадцатилетняя квартира. Обе они любили своего старого кота. Обе любили свои тетрадочки, книжки. Делали друг другу указания по специальности. И ни воспоминаний (жгучих), ни надежд, ничего нервного, полное погружение в сегодня. Никогда еще я не видал такого полного покоя жизни и именно — женственного покоя. Ничего ленивого или праздного; тунеядского или скучающего. Представьте себе Штольца, вечно деятельного и энергичного, каждый год задумывающего новое, но с манерами, в обстановке и со всею психикою Обломова. Обломов лежит на вышке корабля среди скал и бури — и так же спокоен, и каким-то чудом и он как будто спит, и корабль благополучно плывет. Иначе не умею передать эту тайну женственности в труде.

— Ну, должны же они были любить, — когда-нибудь или сейчас...

Но ничего этого не было заметно. Никакой тени жгучих воспоминаний на них не лежало. У них была действительная бесполость или внеполость, дурной слух о которой распространился об ученых женщинах. Но, признаюсь, впервые мне понравились женщины, которые, по-видимому, никого не любили, или не любили "с последствием". Читал я когда-то (у Страхова) очерки Афона и там упоминание "об удивительном выражении глаз, которое в старости устанавливается у действительных и настоящих девственников". Описывая эти глаза, автор "Очерков" говорит, что их особенность заключалась в совершенной прозрачности и глубине. Так, когда тихие-тихие воды вокруг лодки,

на большой глубине вы видите и дно реки, и всю сеть водорослей, и рыбок. Такова была бесполость или внеполость этих двух девушек. Незаметно для них самих, все богатство и сила особенного женского организма, не перейдя в любовь, не изменилась в себе, а только получила другое направление и расплзлась на все окружающее, на эти тетрадки, книжки, добрую квартирную хозяйку, детишек в школе, огромного кота и ученые экскурсии — нежностью, лаской и вниманием. Еще их отношение к науке. Ничего не могу придумать лучшего в смысле такта. Ну, они могли бы делать вид, что как читавшие "Femmes savantes"¹ Мольера смотрят на науку как на несчастье, что они, так сказать, выше и "женственнее" своей профессии. Этого не было. Они радовались, что они именно ученые, и гордились умственной сферой своих интересов и долгой, исключительно умственной сферой, в которой прожили. Таким образом, в них было тихое счастье своим трудом. Теперь переведи это счастье чуть-чуть дальше, получился бы "синий чулок". Но вот этого "чуть-чуть" и не было: они останавливались на самой границе его и оставались чистейшими женщинами, маленькими Жаннами д'Арк в миллиардах книжек.

Увидав их, я стал верить в образование женщины. Что же, если плоды так хороши? Если, очевидно, никакого искажения "образа" не происходит. Но я веду к своей теме. Обширно образованные и именно исторически образованные, они вовсе не имели политики. Ну, какая политика у Забелина с его "Бытом русских царей и цариц"? В то же время опять была тонкая женская граница в отсутствии подчеркивания вражды к политике. Как-то я сказал:

— Да, эти шестидесятые годы никак не сбросишь со счетов истории. Все-таки...

— Конечно, это огромная эпоха и огромный ценный груз позади нашего исторического корабля, — прервала меня старшая из них.

В кратких, твердых и спокойных словах она отделила мишуру шестидесятых годов от золота шестидесятых годов. "Как многое стало невозможно, как многое впервые стало возможно с тех пор, и сколько новых вопросов, новых задач подняли эти годы".

Были ли они религиозны? Нет. Были ли они патриотичны? Нет. Но, может быть, они были не религиозны? Опять нет. Международны, интернациональны? Снова — нет и нет. И как сестра милосердия на вопрос об этом ответила бы только:

— Я стесняюсь ответом. Я училась перевязывать раны.

Так эти могли бы ответить:

— Конечно, мы православные и русские, пензенка и смольнянка, но... это не входит в круг наших занятий.

III

Живя постоянно подчеркнутыми и строгими чувствами, до известной степени летя всю жизнь на преувеличениях, — я был удивляем при встрече с этими людьми, жившими без подчеркиванья, без преувеличе-

¹ "Ученые женщины" (фр.).

ня. Мне казалось — вовсе без убеждения. Я был однажды приятно поражен, когда, идя со мной по перелеску, один такой господин, среди разных политических, социальных и экономических объяснений, вставил:

— Потому что ведь что же может быть выше христианства...

— Христианства?

— Конечно.

— Но что вы разумеете под христианством?

— То же, что все: дух мира и любви, дух прощения; дух ласки и теплоты. Сын Человеческий...

— Что?

— Я говорю, что в названии Христом Себя Сыном Человеческим выражается все христианство. Да это общеизвестно. Что вы меня спрашиваете?

Я привожу этот диалог, чрезвычайно меня поразивший и очень характерный, как портрет действительности. Все эти люди не читали Евангелия и не знают его точного содержания, но и не имеют никакого интереса его раскрыть, будучи совершенно уверены, что уже все знают. А на вопрос, что же они знают, отвечают:

— Сын Человеческий.

— Люби ближнего своего, как самого себя.

— Подставь другую щеку.

— Блаженны алчущие правды.

Но вот что я заметил: что эти люди, которых, в смысле богословского научения, можно назвать дикарями, суть действительно исполнившие, до известной степени, "закон и пророков". Без этого я не начал бы говорить о поражающем меня явлении. В то время как все ленивы на помощь друг другу, — эти люди, веселые, уверенные, что они уже, не читав, все знают, бегут на помощь друг другу, вам и подчас даже врагу своему. Вот эта-то практичность любви, исполненность заветов любви меня и поражает. Откуда же это? Это-то и любопытно.

IV

Несколько лет назад мне пришлось знать одну парочку. Она даже несколько мне сродни, но общий круг ее воззрений и намерений был для меня так глубоко антипатичен, что мы почти не виделись. Они были муж и жена. Он — ограниченный и злой "марксист", она — фанатичная "радикалка" из глубоко православного семейства, но потом "сжегшая все, чему поклонялась", однако умная и тонкая. Разговоры их были тупы, неинтересны, злы, фантастичны, как по представлению действительности, так и по ожиданиям "ближайшего будущего". Но вот что я успел заметить. У них родился тогда первый ребенок. Квартиру их непрерывно посещали разные "товарищи" и "товарки". Мы, в нашем круге жизни и понятий, знаем, что где молодая женщина — там и ухаживанье, с надеждами или без надежд — все равно, ухаживанье; и где молодой муж, там подружки жены, тоже не без надежд. Этот всеобъемлющий флирт, ухаживанье нашей жизни вовсе у них отсутствовал. Все "товарки", поздоровавшись, немедленно проходили в спальню и смотрели ребенка; все "товарищи" были как бы стражами чести ее мужа.

Таким образом, дикое явление как бы рыцарства семьи вполне являло свое зрелище в этой квартире "неомарксистов". Я говорю, что не стал бы писать этуода, если бы не был поражен. Позднее, приглядываясь к строю семьи и других радикалов, всегда я наблюдал: верность, чистоту, преданность, всякое отсутствие "зеванья по сторонам". Кажется, можно так формулировать: "уж если любишь — то и люби"; "а не любишь — убирайся к черту". Цыганская эта формула, однако, обуславливала цыганскую же верность. Я не знаю цыган, но знающие уверяли меня, что измена и легкомыслие поведения есть вещь совершенно неизвестная у цыган и цыганок. "Да, я люблю тебя" — эти слова уже выражены простым фактом сожития. И как сама чета, так и окружающее товарищество, зная, что между ними лежит не одна форма связи, но и любовь связующая — не подходят с флиртом. Дон-жуанизм тут умер, срублен. Главное жало змеи семейной — измена — с корнем вырвано, и только через простое это: "если не любишь — можешь убраться". Удивительно.

"Адамы" — так хочется мне определить этих людей. Дарвин учил, что если соскоблить с человека цивилизацию, то получится обезьяна. Но вечная Библия учит, что под толстою почвой всемирной истории лежит безгрешный человек и что вся эта история есть постепенный нарастающий грех. Вот две точки зрения. Египтяне учили, что есть "цикл" времен, круговорот приблизительно в 15 000 лет, — цикл Феникса, по окончании которого мир сгорает, весь и без остатка, и затем возрождается вновь. За 15 тысяч лет идеи, какого бы совершенства они ни были, изнашиваются без остатка. Мир должен слиться. Все старое — прочь! Все попытки удержать старое — только задерживают "пожар Феникса". Мне думается — мы в таком фазисе. Уже не за один век — поразительно так безуспешны все "возрождающие" попытки, как и все и всяческие "консервативные направления". Одно вечно, одно могуче идет вперед: какой-то всемирный грохот разрушения, отрицания. Пишущий эти строки достаточно пролил над ними слез, дабы поверили ему, когда он говорит: "я тут обрел некоторую надежду". Действительно, человек линяет, абсолютно линяет. Но из-под облезавших с него красок, опадающих перьев показывается не ожидаемый троглодит, дикарь, но — первый Адам, опять без греха, с ангельским лицом.

— Мы добры.

— Мы любим друг друга.

— Да, в мире есть какая-то тайна, но мы ее не знаем.

— Нам нужно изготовить к полудню обед, и вот мы собираем дрова...

И только. Нет больше ничего. Сгорели в пожаре Феникса отечество, религия, быт, социальные связи, сословия, философия, поэзия. Человек наг опять. Но чего мы не можем оспорить, что бессильны оспорить все стороны, это — что он добр, благ, прекрасен. Будем же смотреть на него не вовсе без надежды, по крайней мере — без вражды, — и будем надеяться, что когда всемирный пожар кончится и старый Феникс окончательно догорит, — из пепла его вылетит новый Феникс.

КИСЛОРОД И УГЛЕРОД В ИСТОРИИ

В общественной, в национальной жизни, так же как и в органической, можно наблюдать вечную борьбу как бы углеродистых и кислородных начал. Когда в середине февраля 1904 г. поминутно слышались звонки у двери и почтальон подавал разные заявления, программы, приглашения от новодумской партии, звавшие туда-то на "совещание", просявшие "обратить на то-то внимание", — я, заранее отказавшись, по старости, куда бы то ни было идти, — не мог, однако, не рассмеяться самым веселым, самым счастливым смехом. И тогда же сложил эту формулу:

— Кислород разлился. Кислород потек по улице.

Пусть сам я не дышу им. Уже стар. Но и старое может радоваться молодому. Тут важно не то одно, что именно сделает новодумская партия, т. е. г. *квартиронаниматели*, очутившиеся в положении *гласных* думы. Не сделанное в нынешнем году может быть сделано в следующем. Но, ей-ей, Петербург пережил за эти два месяца волнений одну из самых хороших исторических минут своих, и ее не нужно определять иначе, определять беднее, как этим широким понятием: "Кислорода стало больше". Создалась вдруг тысяча новых надежд. И в этих надеждах принимаю или могу принять самое живое участие я; принять *самостоятельно*, ни с кем не соглашаясь, а, напротив, всех приводя в согласие с собою. Хватило бы сил, умения, таланта, а средства к этому даны все...

И, скажите, кто от этого пострадал? кому от этого стало хуже? чему это грозит? Люди побросали карты, прервали сплетни, оставили темное или личное подкапыванье друг под друга (все углеродистые соединения) и взялись мирно и в сущности дружно за дело, самое настоятельное, очевидно нужное. Особенно одна программа "новодумцев", проектировавшая (чуть не на сто лет вперед): "Что нужно такому городу, как Петербург", — заразила меня самым живым весельем.

— Эх, не будь я Обломов, непременно стал бы Мирабо.

И я так оживился, что передвинулся от кабинета до столовой и велел часом раньше подавать самовар.

Нет, это необыкновенное оживление. В одном месте собирались под председательством Таганцева, в другом месте под председательством Ал. Острогорского, то где-то на Греческом проспекте, то в зале Тенишевой; и непременно при входе "показать приглашение", — точно мы карбонарии. Нет, ощущение новой власти, нового права даже на такого обломовца, как я, — и то действовало.

Правда, я даже не вышел на улицу. Но это уж мое несчастье. Это недостатки моей личности... "Правительство с своей стороны сделало все", и, право же, не надо было ворчать, а надо и "правительству" сказать "спасибо" за то, что оно сделало: ибо и никто же ведь не ахнул, если б оно этого и не сделало.

Мне кажется, мы к "правительству" (мир чиновников, целые созвездия, млечный путь чиновничества) должны стать несколько добренькими, и тогда и оно почувствует себя к нам тоже добреньким. А то мы все крысимся, и от этого оно тоже все крысится. "Вы меня не любите, и я вас не люблю". Это решительно скверно. На этой почве никаких матриониальных дел не выйдет, — а я давно пишу, что брак есть наилучшее дело во вселенной. Между прочим и в политике. Попробуем-ка полюбить, и может быть нас полюбят. А когда нас полюбят и в особенности нам поверят... черт возьми, чего нельзя сделать в качестве любовника, да еще "делающего предложение"?!

Три сильные личные впечатления я пережил за этот год, — и как раз все "кислородистые". Первое — это 25-летний юбилей Высших женских курсов; второе — Всероссийский съезд деятелей по техническому образованию, и вот третье — это новая дума. На съезде... я бродил по коридорам и залам Университета и почти плакал, вспоминая годы своего ученичества и учительства. Которые у нас несчастье, ученики или учителя, — нельзя и сказать. У учеников все же есть поэзия: шалости, озорство, иногда хорошенькая горничная, катанье на коньках, крепкий табак, но учителя... Боже, у тех уже ровно ничего нет! И вдруг здесь, на перевале от 1903 к 1904 году, я увидел сотни педагогов, — некоторых в форме, но большую часть без формы. Я попал на прения по фабричному образованию, т. е. по вечерним занятиям со взрослыми фабричными рабочими и с их детьми при фабричных училищах. Здесь меня поразило то же явление, как и на юбилее Курсов. До чего за тридцать лет вырос русский человек и приобрел талант сплоченности, сотрудничества; позволю сказать себе — свободы, независимости. И все это — дисциплинировано, не хаос. Я позволю себе украдкой сказать мысль: продолжать воображать, будто этою многочисленною толпою людей с образованием, с голосом, с энергией, с самопожертвованием можно распорядиться как ротою солдат на ученьи — этому прошло время. Можно, *одушевившись* самому, одушевленно *повести* этих людей за собою: но приказать и думать, что они *исполнят*... нет, прошло время!

Слишком много сознания стало на Руси. Слишком сознательна стала Русь. Все методы к ней отношения настали другие. Можно ею предводительствовать, можно ее вести. Ведя, можно с нею совершить героические дела. Без этого, при условии молчания Руси, — опять Севастополь, опять Седан...

На юбилее Курсов меня не могло не поразить, что многочисленные речи (приветственные) женщин были произнесены лучше, т. е. громче, внятнее, более "без запинки", нежели академические и профессорские речи мужчин. До сих пор у меня рисуется в воображении речь "старой курсистки" 82 года, почти посвященная одним воспоминаниям. Не говоря о свободе слова (не было ни одной "запиночки"), она внесла в речь жест (чуть-чуть видное движение руками) и улыбку; это было до того ново среди сухих и ученых речей! Некрасивая, почти старая, — как

показалась она мне и прекрасною, и почти еще молодою, в этой *ничуть не растерянной* своей женственности, позволю сказать — в женственности почти выросшей! Не было и тени "синего чулка" в ней: а мне рассказали, что она имеет имя в европейской ученой литературе, по редкой специальности, какую себе выбрала, и превосходит многих-многих русских профессоров своими знаниями. И женственная речь ее лилась свободно и поэтично, и, кажется, восхищен не я был один, но и весь громадный зал, переполненный самым высокопоставленным и сухим народом. То же повторилось на съезде по техническому образованию. После замечательной и прекрасной речи г. Шестакова вошла на кафедру г-жа Руссова. Нужно наполнить голосом актовый зал Университета! Я стоял очень далеко от кафедры, почти у дверей. Но я слышал каждое слово — разумное, без риторики, без прикрас, без вводных, мешающих главному, мыслей. Дело, одно дело лилось серьезно и мужественно. Боже, куда девались "дамы просто приятные" и "приятные во всех отношениях" (у Гоголя). Все переменялось. Вся Русь декорирована заново.

Кислороду набралось чрезвычайно много в комнатах; он именно только не потек по улицам. Он еще дома, но хорошо заготовлен. С призывом квартирантов к городским делам — он потек и по улицам, впрочем, по одним пока узеньким тротуарам. И ничего, и всем хорошо. И всем будет лучше, никому не станет хуже, когда он потечет и по другим улицам, по площадям; и, главным образом, потечет в глубину Руси. Станет легче всем дышать. А "правительство", чиновники: они получат себе такую сильную и дисциплинированную помощь в "отдыхавшемся" населении, какую никогда не имели в "Молчалине, идущем с портфелем бумаг к подписи...". Секрет Молчалина — в Фамусове. И когда Фамусова нет или есть слухи об его отставке — нужен ли Молчалин?..

ВОЙНА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО...

Напряженное внимание, с каким все смотрят сейчас на Восток, не должно погасить деятельности внутри. Нужно и возможно утилизировать тот чрезвычайный и благородный подъем духа, который разлился по стране и удивляет нас взаимным радостным удивлением. Никто не может сейчас сыграть на сонность общества, как и упрекать кого-нибудь в эгоизме сердец. Время трудное есть всегда в то же время творческое или готовое к творчеству. В собственной нашей истории две эпохи, начало XVIII века и начало XIX века, мы знаем как такие, когда непрерывный военный шум и внешняя опасность сопровождалась в то же время самую благотворною внутреннею деятельностью, творческою, дальнорочною, продуктивною, величайше благотельною для всего наступившего столетия. Кутузов и Барклай-де-Толли были современниками Сперанскому и Мордвинову; борьба со шведами видела установление Сената, Синода, коллегий, построение Петербурга и великое вообще множество "петровых дел" внутри России. И спрыснутые оживлением международным, гражданские посевы России этого времени подня-

лись пышною нивою. Творилось все в эти десятилетия талантливо, спешно, смело. Все получило широкий замысел, широкую кладку фундамента. Борьба с "двадцатью языками" видела образование Государственного Совета и министерств. И, можно сказать, двадцать первых лет XVIII века, десять первых XIX и годы 1860—1870 сложили весь остов видимой и осязаемой России.

ЛУЧШАЯ ЖЕРТВА НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА

Ночь на 31 марта заставила содрогнуться всю Россию. Лица, разговоры — все сделалось серьезнее, нет еще вчерашнего спокойствия и уверенности, по крайней мере касательно ближайшего будущего, ближайших дней, хотя в конечной победе русского оружия никто, конечно, не сомневается.

У японцев — ряд удач. У русских — ряд неудач.

Мы потопили брандер, и предназначенный (самими хозяевами) к потоплению. У нас потопили боевую единицу, предназначенную к победе или, во всяком случае, к борьбе, к работе, к защите отечества. Это — разнища! Мы ломаем щепки; у нас пробивают железо.

Всякий думает, чем помочь отечеству. Одушевление России — небывалое. Единство, крепость духа — небывалые же. И вот, хочется сказать два слова о направлении этой великой поднявшейся духовной мощи.

Гибель, в две минуты, "Петропавловска" вызвала у многих плач. Каково теперь в семьях тех 600 человек, которые пошли ко дну в обломках раскаленного железа, среди грохота и визга машин, дыша паром, глотая соленую воду. Ад, — на пространстве нескольких десятков саженей, настоящий ад!

И перед этим страданием, перед этим испытанием кажутся маленькими наши гражданские жертвы. В одном доме — вяжут кистеты. В другом — моют белье. Режут и "подрубают" платки. — "Какого делать их цвета, красного или белого? Красный напоминает кровь, лучше будем делать белые". Так поднимается и так разрешается вопрос среди милых швеек, ныне собирающихся в кружки и общества, чтобы "вязать кистеты" и "подрубать платки". В некоторых аристократических кружках шьют только рубашки; нижнего солдатского белья не шьют: Это — "mauvais sujet"¹, передаваемый в более демократические ряды швеек.

Между тем, события идут так серьезно, что хочется видеть более серьезности, более содержательности в самом подъеме нашего духа.

В более серьезных частях общества с первого же дня войны заговорили о... недостаточной нашей дипломатической осведомленности; и в ближайшие дни — о недостаточной нашей морской подготовленности. Вообще, параллельно с подъемом духа *сегодня* — шла критика *вчера* — нашей сонливости и распушенности.

1 апреля.

¹ Шалопай (*фр.*); здесь — низкая работа.

Несколько лет назад мне пришлось услышать афоризм, один из самых умных, какие я слышал в моей жизни: ”Разница между Россией и Западной Европой заключается в том, что в Европе все дело заключается в получении *votum'a* (голосования объединенного желания, распоряжения); у нас же это голосование ничего бы не дало, потому что никто не исполнил бы, да и некому исполнить то, касательно чего *votum* получен”.

Иными словами: Запад обладает механизмом управления, настолько мастерски сложенным, так напряженным, интенсивным, что ему только нужно получить указание ”что делать? в каком направлении делать”? И уже он сделает, непременно сделает все *мастерски*. *Votum*, около которого и вращаются прения палат, устанавливает, решает этот *толчок* административной машины. Но у нас, русских, самой *машины* нет или она невообразимо дурна, застарела, слаба. Какой бы *votum* ни получился, будет ли он коллективный или индивидуальный, машина не сумеет, не захочет или не сможет его *исполнить*.

Мысль эта по ее чрезвычайной ясности, простоте и правдоподобию врезалась в мое воображение. Имеет ли она исторические оправдания?

Да.

Вот несколько.

В 1870 г. ”решается” (*votum*) классицизм: но исполнение его идет до того отвратительно, что через 30 лет приходится брать решение назад и обречь на слом все сделанное, потому что оно действительно негодно и вредно.

”Решаются” церковно-приходские школы: здания — есть, штаты — установлены, тройной надзор — действует. Но учителя — нет на уроках, а ученики — гуляют в поле: все — *fata-morgana* (тысячи об этом сообщений, признаний самих заведующих школами батюшек, с жалобами: нам учить *некогда*, у нас — *требы и хозяйство*).

”Решается” для гимназий: 1) воспитание; 2) серьезное отношение к ученикам; 3) улучшение материального положения учителей. В *исполнении* вместо всего этого получается распушенность, дезорганизация.

”Решается” всем правительством поднять земледелие. С этой целью в составе его образовывается целое новое министерство. ”Ну, новая метла будет хорошо мести”. Но, конечно, как Россия скверно пахалась, имела засухи, несносный юридический и экономический строй деревни — все так и осталось. ”Земледельца”, которого облагодетельствовали учреждением специального для него министерства, пришлось и приходится (частично) кормить на казенный счет.

Для чего же *votum*, *толчок* машине, когда она слаба, расстроена; и ”толкай” ее или ”не толкай” — она все равно в ход не пойдет, или пойдет так криво, что испортит дело или изувечит хозяина.

Таким образом, вопрос о *конструкции министерств*, о выработке *методов министерской работы* и создании *мастеров-работников* — есть та подпочва, которая забыта в вопросе о ”кабинете”.

Другой не столько афоризм, сколько *resumé*: тысячи наблюдений, мне пришлось услышать в ту же пору, когда я очень интересовался характером русского "управления": Услышать замечание, которое я сейчас приведу, мне привелось от Н. Н. Страхова, бывшего, еще со времен школьного учения, в хороших отношениях с И. А. Вышнеградским, бывшим тогда министром финансов. Он передал мне жалобу, часто от этого министра слышанную.

— Семь десятых времени и напряжения министра уходит черт знает на что! Какие-то мелочные дела, никакого отношения до пользы и нужд России не имеющие. На министра все смотрят, ожидают от него больших дел, проектов, ожидают проведения новых законов, действительно настоятельно нужных, или — важных административных мероприятий. Между тем министр еще менее, чем столоначальник, имеет времени для *удиненного сосредоточения* над своим делом. Все минуты его расхватаны и часто такими мелочами, о которых никогда не узнает историческая Россия, — а между тем все от него ждут именно *исторического дела*. Ответственность — неизмеримая. Исполнить ее — никакой возможности. Просьбы, письма, приемы, официальные посещения... Настоящая свободная минута и возможность подумать о делах — только в вагоне ночью. Тут я свободен и думаю, тут я принадлежу самому себе.

Дело в том, что уже сейчас — до всякого Кабинета и без всякого Кабинета — есть "сильные министры" и "бессильные министры": и, очевидно, для каждого из них есть первая задача *утвердиться*: 1) твердо сесть в свое кресло; 2) настолько твердо, чтобы соседние кресла скорее от него зависели, нежели оно от них зависело. Едва ли $\frac{7}{10}$ -то времени, упомянутые Вышнеградским, и не уходят на "дела", связанные с "упрочением".

Наконец, я приведу третье замечание, резко мне брошенное не сановником, но сейчас, "подсановниками": это был талантливый, деятельный, глубоко честный человек. На вопрос, отчего у нас "на верхах" не весьма талантливо, т. е. как будто заправляют делами люди скорей бездарные, чем даровитые, он ответил:

— Бездарность есть всегда желаемое лицо "там". Каждое "кресло" всего более опасается умного кресла рядом с собою. Умного или особенно энергичного: оно сейчас давит на все соседние кресла. Кому же быть приятно раздавленным? оттесненным?! Кому приятно просто встречать критику своего ведомства (а ведь "кресла" все связаны между собою) в общих заседаниях? указания на недочеты, смелого указания? Вот отчего целый ряд "кресел" всегда радуется, когда к ним приближается и наконец входит новый тусклый, безвольный кандидат. Его уже заранее все поддерживают, все на него указывают, говорят, что "талант". И под этот шепот: "талант! талант!" он действительно с чрезвычайной быстротой и непонятным ни для кого успехом двигается по службе и наконец занимает "кресло". Это-то и есть вожденная минута. Товарищи жмут ему горячо руку. Рента, отделка квартиры, все так и сыплется на счастливого, который решительно избирает мумию; недвижим, безмолвен; уже не $\frac{7}{10}$, как даровитый Вышнеградский, а $\frac{9}{10}$ или $\frac{10}{10}$ службы он отдает маленьким и "незаметным делам", весьма

и весьма не безразличным для соседних "кресел", да и для передних рядов "стульев"...

Вот положение. И если бы кабинет что-нибудь мог сделать, чтобы вывести из него, — он желателен.

Что такое "кабинет"?

Единоличная воля и разумение, которое согласует с собою остальные. При нем управление действительно получает: 1) могущественный толчок; 2) устранение препятствий, насколько они могли бы встретиться в соседних "креслах", в противодействии или непонимании других министерств. От "главы кабинета" уже по самому его положению отпадает необходимость заботиться о множестве тех маленьких дел, препятствий, беспокойств, для *России* *вовсе* *невидных* и *России* *вовсе* *ненужных*, которые поглощают множество у него времени. Он получает свободу думать только о *нужных* и *для* *всех* *видных* *делах*, притом не только специально одного своего ведомства, — но о делах более *общих*, относящихся до *цельного* и *общего* существования России; таков, например, у нас вопрос об "упадке, истощении центра" Великороссии.

Появление "кабинета" почти бесспорно отразилось бы сейчас же в более крупном шаге России, как походке, как ходе исторических дел, — взамен того "трусить", той маленькой и робонькой походочки, мелко-шажка, какой мы все до утомления привыкли видеть.

В этом "трусить" едва ли не заключается главное наше зло. Россия до того громадна, стоит перед такими крупными и трудными вопросами, что мелким "делопроизводством" в департаментах решительно не может ограничиться. Выразимся так: Россия теперь скорее управляется департаментски, нежели министерски. Министерство есть только синтез своих департаментов, а не то, чтобы департаменты были органами и функциями министра и министерства, имеющего задачу и программу, "миссию" в истории. С выявлением "кабинета", может быть, и получится уж если не "кабинетская", то во всяком случае министерская политика: ибо, имея твердую опору в главе кабинета, все ему разъяснив, что надо, министр широко и властно может идти к своей задаче или задачам, не преодолевая ежечасное трение и сопротивление, теперь встречаемое им во всех остальных ведомствах. Наконец, с устранением соперничества, недоброжелательства в соседних министерских "креслах", не будет главной пружины, которая теперь как бы вытягивает к занятию "кресел" людей весьма недаровитых и незнергичных. На "главе кабинета" отразится блеск всех министерств, и в то же время этот "глава кабинета" есть сам *работник, делец, практик управления*, и имеет соответствующий *практический* *глаз*. Как министр всегда старается окружить себя самыми даровитыми, предприимчивыми и зоркими директорами департаментов, ибо их работа отражается честью на нем: так глава кабинета не может не приложить всех стараний к выбору или к назначению самых талантливых и деятельных министров. Вот эта-то *цельность талантности* мне и представляется главным преимуществом управления, исходящего от кабинета, сравнительно с управлением разрозненных министерств.

Вспомним Сперанского. Вспомним и времена Екатерины. Шаг России решительно был крупен. Общество любовалось и было удовлетворено такими важными начинаниями, как 1) учреждение министерств;

2) учреждение Государственного Совета; 3) генеральное межевание России; 4) введение губернских учреждений и пр., и пр. Теперь мы и ожидать отвыкли, и воображать не умеем такое нововведение, как сотворение министерств или Государственного Совета. Департаментская везде работа, министерства разложились на департаменты и в них умерли или замерли... Сколько лет комиссия пересматривала "Устав о службе гражданской", а когда были готовы и разосланы "намеченные преобразования", то оказалось, в них и читать нечего: намечено было уничтожение чина "надворных советников" и ниже, а звание "статских советников" и выше было оставлено. Потом что-то о пенсиях. Еще что-то о мундирах, — кому, когда и где носить их. Маленькие департаментские нужды, заботы; заботы "свои" и "о своих". России решительно был не нужен этот пересмотр или такой пересмотр "Устава о службе гражданской". Как мы уже сказали, в самих министерствах возобладала и установилась твердо "департаментская точка зрения" на дела, т. е. точка зрения, упускающая из виду самое Россию. Как будто "самое Россию" ее правящий механизм перестал видеть.

— Где Россия?

— Не знаем?

— Однако же?..

— Вот "дело" об Иване Ивановиче: просит усиленной пенсии в размере 3000 р., $\frac{2}{3}$ последнего оклада, получаемого на службе, между тем как он не дослужил до 35 лет одного года и двух месяцев, и по "Уставу о пенсиях" невозможно выдать. Но, может быть, ваше высокопревосходительство, в виде изъятия...

— Хорошо. Заготовьте доклад.

Понятно, что поля русские пашутся, как при Рюрикe, и что "Земледелие", заведенное на Марининской площади в Петербурге, более "проводит борозды" в графах и подразделениях, горизонтальных и вертикальных, на великолепной "министерской бумаге" (в лавочках знают) по 6 коп. лист: толстая, гляцевитая, перо по ней так само и пишет... Надо бы завести тоже "министерские чернила". Нельзя же, прискорбно "обыкновенными".

В ТЯЖЕЛЫЙ ЧАС ИСТОРИИ

"Оболочка рушится, но жив ли дух?" — вот что хочется спросить при вести о падении Порт-Артура. "Дух жив" — вот ответ, который дают собою, а не словами своими, эти мученики и герои Порт-Артура. Дух русский еще жив; не сломлен, не угнетен; нимало не разбит, а разбитая оболочка его — эта вся полная вещественность войны, наши "опоздания", "нехватка посланных вещей" и т. п., и т. п., только и говорит о ничтожестве и мелкости того материального выражения, который имел доселе наш вечно свежий и несокрушимый дух.

Если бы материальная сторона войны стояла на той же высоте, на какой стоит ее духовная сторона, русские были бы непобедимы! Да *русские* и доселе непобедимы, на каждом клочке земли, где они стоят

— умирая, а не убегая. Но Россия... отступает, потеряла здесь, потеряла в другом месте. Бесславно лежит стальной флот на дне гавани; другие суда разоружены или пленны. *Россия и русские* — вот что слилось бы! Вот чему слиться бы! "Россия для русских": это пока торговый и промышленный термин: "русские" точно приглашаются "в Россию" открывать лавочки и мастерские, как звал немцев "в гости" Новгород. Но русские хотят (и не вправе ли?) быть не только "торговыми гостями" в России, а стать самою Россиею. "Россия — это я, — должен сказать русский народ; а каждый русский, указав на сердце свое, должен быть вправе сказать: "здесь бьется одна стодвадцатимиллионная часть России", а не то чтобы: "здесь бьется сердце сапожника Иванова", "это грудь столоначальника Алексеева", "грудь журналиста Петрова".

Воскресни, отечество! Боже, до чего мы все разбежались по своим конурам и только и мыслим себя по профессиям, рангам, состояниям, почти по кварталам и домам! Пыль! Осталась пыль отдельных человеческих фигурок, а нация — где она? В чем она? Неизмеримый пояс границ в России — и в нем распыленные частицы, эти жалкие "обыватели" (что за термин!), сидящие в мурьях своих, забытые, глупые почти, с вековыми сплетнями, с вековым навозом злобы, недоразумений, недомоганий около каждой мурьи?! Презренное существование.

Служба и картишки, картишки и служба; еще ухаживанье за женой ближнего. Что же еще? "Еще?!... — Сон после обеда". "Мало, душно!" — "Рюмка водки за обедом... Смирновской, мягкой, как нигде в Европе не выделяется". Да, водка у нас лучшая в Европе. И сон такой сладкий, как нигде в Европе. И золотые сны?

Позорное существование. Измельчание литературы. Отсутствие науки. Университеты, высшие учебные заведения? Мальчики критикуют профессоров, а профессора заискивают у мальчиков. Что угодно это, а не университет. Он "университет" только по вывеске, по штатам и "уставу", где везде прописано "университет". А по существу так же мало "университет", как, например, и валенки, которые купили, а они "не дошли по назначению", или даже вовсе и не купили, а только "в квитанции значится, что купили валенки и послали, а где они — неизвестно". Так вот и университет: "неизвестно" где он; был основан, вывеску повесили, а его не вышло.

Экзамен японский отбросил нас за 1812 год назад. В течение всего XIX века (сто лет!) ничего подобного не случилось с Россиею: чтобы воевать 11 месяцев — и ни одного выигранного сражения, ни одного успеха, даже маленького — никакого!! Ничего! Нет России: по крайней мере в чем же проявляется, что она *есть*? В недошедших валенках? в броненосцах на дне порт-артурской гавани? В бегущем назад уже после прорыва князе Ухтомском? Нет, серьезно: в чем выражается, что Россия — *есть*!?

России будто нет. А русские? Слишком *есть*: Кондратенко, Смирнов, милые герои, но им вечная память, они сохранили в нас право гордости. А ведь вчера только были и Смирнов и Кондратенко — "обывателями", без значения, без фигуры в себе. Презренно *существование* обывателя по ничтожеству *жизни* его, по ничтожности *обстановки* его, но каким-то чудом он, слова Богу, *жив* и даже *доблестен* и может быть *героем*!

Мы хотим быть каждый одна стодвадцатимиллионная часть России и чтобы на каждом из нас была одна стодвадцатимиллионная доля святых преданий Руси, ее воспоминаний, от Олега до XIX века, чтобы вокруг каждого пусть одною ниточкою, но было обвито государственное знамя России, которое мы не унизим, как не унизили его Кондратенко, Смирнов и другие вчерашние "обыватели".

Мы не хотим, как немцы в Новгороде, только смотреть из окна, как шумят волны Волхова да собираются бояре и посадник что-то говорят о Новгороде. Мы *сами* новгородцы; Волхов *наш*, и Новгород *тоже наш*. И земля наша русская, сокровище наше, сердце наше, где зарыты наши покойники, над которой мы плакали, о которой мы плакали — *наша эта земля!* Вот чувство одной стодвадцатимиллионной части русского отечества. Отечество — это *мы в массе*; сознание это необходимо уже для того только, чтобы масса чувствовала же что-нибудь *священное* в груди своей, чтобы она не впала в цинизм, хулиганство, лакейщину... А ведь это возможно, возможна и *духовная смерть* нации, которая паче материальной.

25 декабря.

БУДЬТЕ СПРАВЕДЛИВЫ

Кн. Мещерский резко спросил в "Гражданине": отчего митрополит с.-петербургский Антоний не появился 9 января среди рабочих на площади Зимнего дворца, чтобы успокоить их, сказать им вразумительное слово? Секретарь митрополита, или, раскрыв скобки, сам митрополит через секретаря своего ответил: "В сферу политических и социальных движений духовную власть *никто не считает нужным посвящать*". Поэтому пастырского слова владыки к рабочим не могло и быть. Во всяком общественном движении надо быть вполне осведомленным, чтобы вовремя явиться, где нужно, и сказать то, что следует".

На площадь Зимнего дворца 9 января должен и мог бы выехать или выйти, для увещания рабочих и приведения им соответствующих текстов "от Писания" и вообще, чтобы они послушались "голоса матери своей св. Церкви", обер-прокурор Святейшего Синода или, за его престарелостью, товарищ обер-прокурора, неутомимо деятельный и привыкший произносить "слово" В. К. Саблер. При чем тут митрополит? Он призван "литургисать", т. е. стоять на подобающем месте в подобающий день и час в Исаакиевском соборе, в торжественных одеяниях, и произнося, на память или по книжке, торжественные слова. Больше ни к чему он не призван, ничего ему не дано, и за всякий иной шаг, — а уж особенно в среду рабочих!!! — он мог получить "неприятность по службе", если и не с "занесением в формулярный список", то в виде шепота, нисколько не менее грозного, или даже потому особенно грозного, что он произносится наедине, и за митрополита решительно некому было бы заступиться. Чтобы действовать, надо иметь *привычку* действовать, надо иметь *обычай* действовать. По непроторенным дорожкам ноженьки не ходят. "Привычки" же и "обычая" иного, чем чтобы их возили в каретах в "подобное место" и там они произносили "подобные слова", — митрополиты, как, впрочем, и все наше духовенство, не имеют.

9 января, да и вообще все последние события заставили нас очнуться и спросить: "Где же духовная власть?" (не в строгом, а моральном смысле), "где священнический авторитет", "где пастырское слово?" Но "пастырское слово", насколько оно выражается не в "очередной проповеди" (которой никто не слушает), — находится в пяти изданиях известного "Московского сборника". Вот это и есть "пастырское слово" для России. Совершенно основательно взялся произнести "пастырское слово" по всем необозримым вопросам общественной и политической

жизни, русской и мировой, К. П. Победоносцев: а бесчисленные духовные писатели в бесчисленных духовных журнальцах цитируют эту книжку "паче Златоуста", и, уж понятно, в общественных и политических областях золотые слова этой книги для всего духовного сословия суть "яко писание" и даже "яко Писание". По проторенной дорожке ноженки сами идут. Уже давно слагалось так, а к нашим временам окончательно сложилось, что духовный пастырь смиренных овец русских есть, конечно, обер-прокурор Св. Синода: у него горлышко широкое, голосок золотой, ноженки неустанные, рученьки непокладистые. А митрополиты и епископы, коих он призывает в "подручные" себе и поручает им третъестепенные дела, какую-нибудь формальную рухлядь текущих будничных дел, не имеют решительно никакой инициативы в речи или в деле. Нарекания посему на них так же несправедливы, как если бы кто-нибудь спросил: "А почему иконы, стоящие в переднем углу избы, не тушили пожара, когда изба горела?" Странный вопрос. Иконы не для того сделаны, чтобы ими тушить пожар. На них молятся. И духовенство наше сделано для того, чтобы на них "взирал" народ, — тоже с "подобающими чувствами" и в "подобаяющих случаях". После "взирания" — "иконы" задергиваются шелковой занавесью, стоя "в уголку"; не видные, безмолвные. Кто хочет — "помолись на передний угол". Не хочет — и так обойдется.

— Почему духовник государей и также протопресвитер военного и морского ведомства (судя по книге "История обер-прокуроров Святейшего Синода", написанной проф. Благовидовым) в XVIII веке бывали непременно членами Святейшего Синода, а теперь исключены из состава синодальных членов? — спросил я одного авторитетного чиновника, служащего при Святейшем Синоде.

— Из лиц этих одно близко к Государю, а другое бывает в гражданском обществе. Их речи о положении духовных дел, в качестве разъяснения или совета, могли бы составить неудобство для обер-прокурорской власти. Посему было отыскано какое-то мелочное и никому в голову не приходившее ранее правило из истории византийской церкви. И хотя Афанасий Великий, обличитель Ария на вселенском соборе, был пресвитер, хотя вообще множество священников присутствовало на вселенских соборах, — однако обер-прокурор, воспользовавшись каким-то правилом, доложил Государю о "непозволительности по такому-то правилу пресвитеру участвовать в духовных делах", и с тех пор белое священство исключено было из Синода. С монахами ему удобнее, ибо кроме четырех стен своей кельи монах никого не видит. Это или младенцы неопытные, которых обер-прокурор, как нянька, несет куда надо, или запуганные страшной возможностью быть посланными "на лоно" (в отставку) служилые люди, которые повинуются во всем.

Таким образом обер-прокурор исполняет роль няни. Она кормит, обувает, одевает младенцев. Все от нее зависит, — и не дать молочка. А молочка всем хочется. Помнится всем Скублинская. Зеленые огоньки появляются в глазах у доброй няни, когда "дитя беспокожно". "Дети" обыкновенно бывают спокойны. И вот теперь их спрашивают:

— А отчего ты, дитя, не возговорило зычным голосом, как Святогор-богатырь, как Илья, как Самсон?..

Безмолвие. Даже внятно и выразить оно не может: "почему". Страшная няня, добрая няня, стоит в углу. Дитя беспомощно поводит глазами на нее и — молчит.

1905 г.

СКОРБНЫЕ МЫСЛИ проф. ДЕМЬЯНОВА О ЗЕМСКОМ СОБОРЕ

Проф. М. Н. Демьянов изложил свои скорбные недоумения по поводу мысли или предположения о земском соборе. И эти недоумения уже потому заслуживают внимания и обсуждения, что они чрезвычайно распространены. Их можно услышать в частных разговорах; попадают они в печати; мне пришлось, наконец, услышать на улице громкое ругательство по поводу мысли созвать земский собор от какого-то старика; зато, дня за два до Рождества, на Воскресенском проспекте, я слышал брань какой-то петербургской Сивиллы, лет за 70, которая, размахивая руками, кричала: "Нет правды в русской земле! Никакой правды". — "Стара, бабушка, пора умирать", — смеялись над ней извозчики. Картинка мне показалась из красивых.

В чем же дело? Проф. Демьянов *ничего* не хочет. Может быть, он считает состояние России превосходным, как во внешнем, так и особенно во внутреннем отношении? Нет, он его считает скверным, и особенно во внутреннем отношении, которое привело русское общество к состоянию духовной анархии. Но ведь эта духовная анархия настала до земского собора, при режиме чиновников? И между тем проф. Демьянов, уже привыкший к режиму чиновников, хотел бы сохранить его. Просто это привычнее, в этом теплее, так уютнее. Но какая же это "уютность", если в домах, да частью и на улице, стоит анархия душ и нравов. Она была, но о ней не печатали при Плеве и Сипягине; она есть и о ней печатают теперь. Но мы давно уже живем в этой характерной и раздраженной "анархии духа", которую, понятно, хочется успокоить. "Она есть и на Западе, при правовом порядке", — вот почти главное возражение проф. Демьянова против созыва земского собора. Но если она есть и при чиновниках, и при правовом порядке, останется после созыва земского собора, как зародилась до него: то очевидно *bête noire*¹ проф. Демьянова вообще не иметь никакой связи со способом политического и общественного существования страны, и тогда непонятно, отчего же именно он заговорил об "анархии духа" по поводу темы о земском соборе? Так можно рассуждать о состоянии русской поэзии "по поводу проведения Сибирской дороги".

Вернемся к теме собора. Ее содержание и историю слабо знает проф. Демьянов, что видно уже из того, что он начало ее приписывает Михаилу Феодоровичу, когда известно, что она всецело вышла из головы

¹ пугало (*фр.*).

Иоанна Грозного, необъяснимо любимого народного русского царя; вышла, как плод разума им государственного дела; как попытка обеспечить население от произвола бояр, к которым едва ли не приравняются теперешние бюрократы. Соборы того времени проф. Демьянов считает благотворными, ибо на них собирались люди 1) из очень далеких мест, 2) проезжая по очень дурным дорогам, и 3) им было что рассказать друг другу "о доходных статьях своих, промыслах, урочищах, урожаях, скотоводстве, поветриях и проч., что заставляло трепетать сердца слушателей". Но, можно быть уверенным, в настоящее время, если соберутся русские люди, они расскажут друг другу о вещах неизмеримо более интересных, важных; и слушание будет еще трепетнее. Ведь мы вовсе не знаем, напр. здесь, в Петербурге, русской земли. Мы не имеем живого, физиологического представления о сибиряке, вятчине, пермяке, вологжанине, всю Русь мы знаем в отвлечениях, в каких-то алгебраических знаках. Увы, умом русским беден Петербург и богат только доходами с Руси. Что такое земский собор? Русь двинется в Петербург. Русь придет к нам в гости, расскажет о себе, чем она болит, в чем нуждается, какие сама видит средства к исцелению болячек своих. Не хотеть этого — ей-ей, антихристово дело. Достаточно быть христианином, достаточно быть просто добрым человеком, по крайней мере не злым, чтобы пожелать этих гостей, этих дорогих провинциальных людей всем горячим сердцем.

"Кафтан старой Руси не по плечам теперешней выросшей, — аргументирует проф. Демьянов, — и он или свяжет ее, или она разорвет его". "Сomparaison n'est pas raison"¹ — давно сказано. Все эти сравнения учреждений с кафтанам, в целях что-нибудь доказать, показывают если не "анархию духа", то "малолетство духа". Соберутся русские люди, чтобы их увидел Государь; чтобы он увидел Русь не в мундире, не с затверженною заранее речью, условною, лживою, притворною; а увидел бы ее, как она есть, как выросла, как живет: эта цель Иоанна Грозного перед созывом первого собора сохранится и сейчас. Просто дико слышать, что теперь уже они придут не в боярских шапках, не по скверным дорогам и будут говорить не "о своих урочищах" (какая трогательная тема). Но разве Государь Русский, одевающийся ныне в простое военное платье, не есть продолжатель и даже не есть тот же самый государь наш, как и предки его — Алексей и Михаил? И неужели, если он в 1904 г. обдумывал японскую войну, он не есть то же, что Грозный, который обдумывал покорение Казани, Астрахани и Сибири? Что значит перемена одежд и предметов заботы? Ничего. Непонятно, для чего об этом заговорил проф. Демьянов.

Едва собрались бы русские люди, как русские мнения начали бы формироваться в огромные немногие течения, на место той мелкой зыби мыслей, среди которой мы живем теперь. "Анархия духа" бесспорно уменьшилась бы, не исчезнув, как ее меньше и теперь на западе Европы, нежели у нас. Все говорят в один голос, что Европа — это порядок,

¹"Сравнение — не доказательство" (*фр.*).

а Россия — это беспорядок. Классическая страна свободы, Англия — это классическая страна порядка и могущества. Нет, когда подумаешь о нынешней войне, о Турецкой, о Крымской, о всем, что мы перестрадали за это время, и все еще слышишь голоса: "Пусть все останется по-прежнему", — то кажется, что они диктуются сумасшествием и преступлением. И, что особенно смешно и почти забавно, так это то, что говорящие так господа принимают вид каких-то государственных мудрецов, морщат чело, хмурят брови, стараются говорить басом, а на самом деле у них самый ребяческий дискант. Может быть, "все останется по-старому". Но посмотрите, как эти господа тогда схватятся за волосы и станут кричать: "Извините". Но будет поздно, потому что страна им не извинит. История их не простит.

Пусть Государь увидит живое лицо своего народа и пусть народ услышит живое: голос своего Государя, — вот и вся мысль и все существо земского собора. Уверен, оба они возродятся в любви к могуществу. Как бы встанут из затянутых сукном гробниц Архангельского собора серьезные фигуры — от Калиты до Алексея Михайловича, и станут ангелами-хранителями над новым и вместе древним зрелищем Государя, совещающегося с землею своею. Впервые для народа русского станет очевидно, живо и конкретно, что и Государь есть человек, несущий в груди своей все русские боли, страдающий так же, как мы; и в нем мы полюбим свое и себя, привычною, идеальной любовью. Право, расстояние есть самый великий враг любви; ближе — всё лучше, все лучше; исчезают миражи, обманы: и когда в действительности есть правда — она становится воочию и любимую. Не на этом ли основывается и всякое сближение людей, и самое теплое из сближений — семейное? Дети хотят приблизиться к отцу своему: сколько правды в этой простой и основной мысли земского собора. "Нет, не народ, а только чиновники суть дети царя: доверенные, ласкаемые, награждаемые": эта подспудная мысль бюрократизма — до чего она не русская, до чего она цинична!

Что нам и остается пока, как не анархия духа? Кипим пустым кипением. Точно вода, в которую не опустили крупы. Каши не выходит, а котел может лопнуть, особенно если его закрыть, т. е. если закрыть еще и свободу мнения и слова, по причине их "анархичности". Анархия — от безделья. Оттого, что у русских нет дела иначе, как по уроку, по заказу, по приказанию (сущность чиновничества). "Призови человек русский благословение Божие на свой *свободный труд*" — эти слова манифеста об освобождении крестьян, в сущности, совершенно отвечают и теперешнему положению вещей, теперешней их мучительной вопросности, не получившей своего "да"! "Осени, Боже, свободный труд русского человека (соборный труд) в установлении порядка и наряда (красоты) в Русской Земле".

Март 1905 г.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Прекрасно... монументы и монументы; кланяюсь, целую почтительно руку, прохожу "на цыпочках" мимо всего этого величия, мимо полководцев, государственных людей, с лентами через плечо, знаками на шее, дипломатов, секретарей. Больше ничего не надо? Да, почтительность — это все. Отдав ее, я отхожу в сторону и спрашиваю себя: что же я видел?

Величие. Но ничего трогательного! Целовал "десницу", как католики у мертвого папы — туфлю. Прихожу домой и моментально забываю туфлю, ленты, вижу блеск милого самовара, белую чистую скатерть, хорошенькие чайные чашечки, милую хозяйку дома, ряд русских крошечных головок детей, добрых друзей дома: и в завязавшейся беседе я всему равен, мне все равны, разговор весел; тут и воспоминания, и остроумие, и шутка, целая литература, только не записанная, а сказанная! Величественно ли? Нет! Но трогательно ли? Сегодня — нет, завтра нет, но послезавтра будет бесконечно трогательно, выпадет особенная минутка, и мы все, наша семья, наши друзья, наше маленькое общество переживем слезы, как сегодня переживали только остроумие и смех.

Государство — это механика, общество — это поэзия. Первое можно сравнить с фабрикою, громадною, страшною, нужною, но... не уютною. "Уютность" — особенное понятие, может быть, присущее только русскому лексикону, — присуще обществу, которое можно сравнить с деревней, селом, и как они ни мало видны и бесшумны сравнительно с фабрикою, однако сама фабрика существует для села, сельчан, выделявая ситцы или земледельческие орудия для их работы, жизни, обихода. Душа не видна, однако тело существует для нее. Общество, поэзия, неуловимые, волнующиеся, капризные, суть также, в сущности, главное и первенствующее сравнительно с государством, в котором оно, по-видимому, только живет и которому "отдает честь": но в то же время всеми святыми инстинктами чувствует в себе, что государство — это громадная и гордая машина, кой в чем должна и сообразоваться с его поэтическими вдохновениями.

Скажите, что интереснее: история министерства народного просвещения или история русской литературы? Вот вопрос, который все разъясняет и все кончает. Без сомнения, история русской литературы не только занимательнее, но она и поучительнее, воспитательнее, мудрее, серьезнее, нежели история министерства народного просвещения, с биографиями министров, в нем сменявшихся, с изложением уставов гимназий, прогимназий и университетов и всей необозримой перепиской между департаментом министерства в Петербурге и почетительскими канцеляриями в Москве, Казани, Киеве, Харькове, Одессе, Риге, Варшаве. Сколько этой переписки? Много возов, целый поезд! Кто хочет ее читать? Никто! Кто хочет читать биографию Кольцова? Все! Его стихи? Все же! Да мало — читать: всем хочется выучить их наизусть! А он был мужик, прасол!

Общество, хотя "подонки" его и населяют все тюрьмы, в которые, кажется, из господ чиновников никто или приблизительно никто не

попал, в последующих слоях своих, многочисленных, во всей толще этих слоев — являет вдохновение, гений, талант и, наконец, прямо — небесное: по крайней мере являет какое-то электричество, которое "черт знает, что значит", тогда как слои чиновников, или точнее благоустроенные "классы" их именно изъяты от всякого электричества, магнетизма, от всех этих "неведомых, темных сил" и являют просто клетку, составленную из железных прутьев, в которой сидит птичка. Вот еще сравнение: клетка ли для птички, птичка ли для клетки. Клетку сделал человек, а птичку Бог. Клетка (не в нарицательном, а утилитарном смысле) — это опять государство, а птичка — маленькая, робкая, небесная, "жительница стихий". — Это общество, от хулигана до Пушкина! Позвольте взять эту огромную скобку и заключить в нее все, весь народ. Ибо и народ, т. е. быт, язык, нравы, остроумие, песни, — это тоже общество, это ни в коем случае не категория государства.

Общество — гидра. Вот попало несимпатичное сравнение. Но пусть. Я хочу сказать, что отруби у него голову (конечно, никто не хочет ее рубить: может быть, только кн. Мещерский), вырастет у него десять на месте одной. Маленькое, трепетное, робкое, оно живуче, до проклятия, и даже, наконец, бессмертно, не может и не умеет умереть. Попало худое сравнение — буду его продолжать. В обществе есть и змеиные черты — не один Пушкин, но и хулиганы, не только — Кольцов, но был и Разин. Вот в государстве этого не попадалось. Государство без электричества. Ни гения, ни преступления. Общество в одной своей половине имеет прямо ангельские черты, ну — в песенке Пушкина, в мелодии Чайковского, в спокойном пении благополучного дома! Но есть в нем и другая половина, с фосфористым сиянием глаз, с черными молниями, то ядовитая, то злая и, наконец, прямо демоническая. Общество столько же есть демон, как и ангел; тогда как в государстве — ни демона, ни ангела. Полюсов-то и нет. А оттого, что нет электричества. Обществу поэтому ужасно трудно приказывать: его нужно нежить, ласкать, что-то нашептывать ему. С обществом управиться... нет, нужно предоставить управлять им поэтам, мудрецам, ну — первосвященникам, более всего пророкам, и вовсе отказаться от этой мудреной и неисполнимой задачи государству. Просто разные категории. И нет тут никакой обиды.

Клетка для птички, а не птичка для клетки. Мы настаиваем на служебной роли государства, на его отнюдь не автономном и не абсолютном положении, значении. Чиновники, которые вообще плохие поэты и плохие мудрецы, впали в огромную ошибку относительно своего исторического значения, вообразив, что сумма их, правда, все с орденами и лентами, представляет собою какой-то "итог", какое-то "абсолютное нечто", пожалуй, державу около державы и нацию около нации. За чиновниками стало не-видно народа: это аксиома, давно всем известная. По мере того как чиновное "я" разрасталось, — история мертвела; и, увы, она ведь помертвела не в одной России, но и в Германии, Франции, даже в Соединенных Штатах, где всюду решительно есть чиновники. И красива только история Англии, на фоне которой чиновник как-то не заметен!

Чиновник — антиэстетическое явление. Я не люблю эстетики, но в данном случае хочу заступиться за нее. И по самому демократическому

чувству. Среди серии моих воспоминаний есть одно: лет десять назад служила у нас служанка. Муж — слесарь в арсенале, получал по три рубля в сутки (все хорошие сутки), но все проживал чуть не с "красавицами", а жене доставались одни побои, сына же подростка он до того бил, что при его нежном и хрупком здоровье добил до могилы. А сынок пел в хоре Шереметева, нежно любил мать, и она плакала не наплакалась, когда он умирал в медленной чахотке и наконец умер. Вот об этой-то женщине я и помню смешной анекдот: бывало, прослышит на улице, что там-то в Петербурге будет величественная процессия, ну, крестный ход, или военная музыка, или какое-нибудь зрелище. Особенно — зрелище. И утерев привычные слезы, просится-просится: "отпустите посмотреть!" — Да что тебе? — "Красиво". Красиво!!! Ведь вот чем живет народ, кухарка: и не по этому ли мотиву мы любим чужие красивые здания, великолепные храмы, дворцы, театры, мосты, и песню, и оперу! Пусть это не наше. Но если красиво и нам можно посмотреть, то и наше! Но кроме зданий и даже неизмеримо выше зданий есть красивые события, прекрасная история, эстетическая история народа-художника! Вот это-то, эту-то народную драгоценность и украли у нас черное "крапивное семя", как ругался Сумароков о гг. заседающих в канцеляриях. Они что-то пишут. Но это — не зрелище. Ну, пусть они "почерком пера" даровали нам "всяческие свободы", сломали Бастилию или эти запоры Спасо-Евфимиева монастыря: где же, однако, здесь красивое, трогательное, величественное? А ведь факт-то трогателен: мог ли совершиться он так, что было бы на что посмотреть, что запомнить? Ведь должны же на чем-нибудь, кроме хрестоматий, воспитываться наши дети? Увы, мы не имеем истории иной, чем какая совершается в "отношениях за №", и часто весьма являет еще собою рисунок, героизм, страдание, слезы; являет картину и трогательнее.

А ведь могла быть таковою вся общественная жизнь, вся политическая жизнь, как в Риме, в Греции, даже как в Москве. Все же с Лобного места на Красной площади дьяк читал важнейшие указы царской воли. Красиво. Красивее, чем прочитав в "особом прибавлении" к "Правительственному Вестнику". Теперь красивы только еще церковные службы, и между другими причинами — тоже и по этой их так любит народ. Архиерейская-то служба, протодиаконы-то, митрополичьи певчие? Я сам видал, как простолюдин так и пьет красоту архиерейской службы. Глаз не оторвет, не шелохнется и ни разу (или изредка) не перекрестится. Но ведь и вся жизнь государства могла бы проходить так же или приблизительно так же красиво, эстетично, величественно, воспитательно. Но где и как это сделать с чиновниками, которым самое искусство антиэстетично? Ну, какую процессию можно устроить из них? Позорное зрелище! Никакой "живой картины" не выходит: я говорю об истории и плачу об этом, и, верно, слезы мои разделяет другие.

Ну, пусть добродетель лучше эстетики. Но ведь, позволите, для чего же эстетику представлять в римско-греческих контурах, "с закрытыми глазами" (античные статуи) и мраморною, когда ее можно представить совершенно иною, теплою, с улыбкой, лаской и лепостью. Разве нравственное не лучше тогда, когда оно в то же время и красиво? Старенький-то домик с скрипучими дверями, в котором жили "старосветские помещики" (Гоголь), лучше Парфенона. А потому, что не красив, и нра-

вствен. Напротив, у Достоевского разные сцены "с надрывом" (такое заглавие носит ряд глав в "Бр. Карамазовых") хоть и высоко нравственны, но испорчены заключенною в них конвульсиею. История народа ведь есть раздвинутая история человека, раздвинутая судьба единичного "дома". Если бы "дом" этот, наша родная история была менее человеческого и более общественною, она могла бы включить в себя всю ту теплоту, — блеск и сияние, какие решительно есть в каждом единичном доме. Нет, послушайте: не вините, что так пал у нас патриотизм, что так мало русских любят свою историю или говорят с желчью: вся она — давно чиновничья! Так почему же я буду любить не свое? Не красивое? Не трогательное? Чиновники отняли у нас "дом" наш, наш коллективный тысячелетний "дом". Изгнали Россию из России. А жалуется на "космополитизм русских".

Самые большие перемены суть те, которые всего незаметнее подкрадываются к перемене, произведенные в жизни нации прохождением чиновников, пожалуй, для цивилизации европейской многозначительнее произведенной революциею и даже, пожалуй, реформациею. Уже потому, что одна ложь — и навсегда чиновник сделал невозможною еще революцию или еще реформацию, как невозможным сделал и что-нибудь подобное реформе Петра. "Явление Петра" в истории нашей сводится в итоге и существе своем к появлению громадной личности, которая заменила собою нацию и заставила всю Россию прожить 25 лет не столько механико-историческою, сколько лично-биографическою жизнью. Вся Россия точно превратилась в лицо, в личность и пережила какую-то "С-dur" Чайковского. Это была светская форма пророчества или законодательства, как у Моисея (изменение всего хода истории, определение всей будущей судьбы народа). Но ведь суть чиновничества в том и заключается, чтобы "съесть лицо". И мне не страшно сказать, что оно также "съело", при всем раболепстве, "лицо" царей и царя, как и "лицо" людей — народа. Ни реформации, ни революции, ни Петра — нельзя ожидать иначе, как "после чиновника", как расплескав их чернила и поломав их перья. Похороните чиновника — воскреснут народы; но народам не воскреснуть, пока чиновник сидит на своем стуле. Сидит, ерзает на нем, продавливая решетку, получает "Анну на шею". — Где же история? — "А вот это и есть история", — резюмирует он, указывая продавленный стул, Анну на шее и объясняя, в чем состоит геморрой. Тьфу! Никакая кухарка не пойдет на такое зрелище и не захочет иметь такую историю.

Мне хочется zelo аргументировать: и я позволю себе, уже раз указав на раболепство чиновников и вообще всех их рангов в отношении каждого высшего, — сравнить роль их в Европе с ролью иезуитского ордена в католичестве. Ведь Лойола тоже пришел с великим энтузиазмом к папе, пришел в труднейшую минуту папства, предложив ему учредить новый орден, включил один липший параграф сверх обычных монашеских: сверх "целомудрия, нестяжательности, смирения", прибавил: "и полное послушание папам". Папы согласились, еще не зная, что из этого выйдет. "Но верные, преданные до рабства слуги во всяком случае не помешают". Итак, иезуитский орден весь вырос из одной точки: пламенной, всеобъемлющей покорности и любви к папству и папам, которым в то время (реформации) народы начали манкировать

повиновением. Так и монархам Европы, в печальный час истории, подкралось безличное и безымянное явление чиновничества; этот подкидыш без родителей, дня и часа рождения которого никто не знает. Что же случилось с иезуитством? Служа — они поработили; дав всемирную власть, они отняли видное обаяние у католичества; организовав католичество, гениально его организовав, они лишили его святости. Тело осталось, великое тело: а где же душа? И великое тело загнило, гниет, наполняет смрадом вселенную, и все его гонят от себя, ненавидят, стараются вытащить вон этого разлагающегося великана! А посмотрите: все мудро устроено, знание необыкновенное, деловитость сверхъестественная! Я говорю об иезуитах и иезуитстве. Да, но они отняли святость: а его, это старое католичество. не мудрое, с наивными легендами, смешными предрассудками, суеверными рассказами, любили народы и построили из энтузиазма к этой святости средневековые кафедралы и поднялись в крестовые походы! Наивность — это деревня! наивность — это село! Иезуиты сломали сельское католичество, построив на месте его фабричное католичество, с трубами, машинами: все рассмеялись: "чему же тут поклоняться?" Так эти "покорные слуги пап" разрушили их средневековое царство, сами не зная как и когда. "На всякого мудреца довольно простоты". Но я хочу прибавить то résumé к своей мысли, — что точь-в-точь то самое, что совершили иезуиты в католичестве, чиновники совершили в старых монархиях Европы: придали им деловитость, устранили наивность, но вместе с тем устранили все обаятельное, поэтическое; все трогательное, воспоминательное и картинное.

Так что я, несмотря на весь свой консерватизм, люблю даже революцию — т. е. читать о ней. Все-таки картина. Покойный мой брат, сделавшись учителем в гимназии, выписал потихоньку через учителя французского языка, ежегодно бывавшего в Париже (был картежник и любил кокоток) иллюстрированного Луи Блана. Этим позволительным способом я познакомился с "картинами французской революции". Но ведь вот что поразительно: каждую-то страницу этой "проклятой истории" оказалось, однако, возможным иллюстрировать. Так это для читателя: что же было для зрителя!! Вспоминаю свою прислугу: каждый-то бы день она бегала на угол улицы посмотреть: "что делается на белом свете". Конечно, тишина вещь хорошая. Тишина есть вещь добродетельная. Но эстетика? Позвольте, вся история была именно не тишиною, и если бы было все "тихо", то ведь как же совершилась бы история? Ну, а сказать, что "всей истории не нужно" — этого не решится никакой нигилист. Стало быть, нужна не одна тишина. Стало быть, нужна не одна добродетель. Нужно, ну, хоть немножко эстетики. И шума. И беспокойства. Нужно позаботиться о демократии, которая не читает, в карты не играет, иллюстраций не понимает: архиерейская служба слишком однообразна, т. е. для России везде одна и та же. И нужны ей красивые зрелища эстетической истории, но ясно — не революционной, ибо для чего же такая судорога, à la Достоевский? Можно потише, поглаже, но пусть тоже — процессия, картины, что-нибудь трогательное, воспоминательное. А то по чему детей учить? Не все по книгам. Нужно, чтоб они видели, осязали, плакали, возгорались. Что именно нужно, — конечно, я не умею в подробностях

назвать и описать: это сделает будущее, о котором я не хочу пророчествовать. Но, верно, многие скажут немного: и мы ждем этого *красивого* будущего!

Я стар, чтобы волноваться волнениями общества. Притом, люблю нумизматику, т. е. науку, изумительно успокоительно действующую на нервы. И сам в "картинах" никаких не изменяюсь. Но позволю заметить со стороны, что общество, одно лицо у которого — ангельское, блажен тот, кто сумеет поверить в истинно ангельскую его природу, — и другое лицо — демоническое и это тоже надо помнить и, конечно, не надо встречаться с его черными молниями, — что это общество одно хранит в себе неопределенный источник возможно эстетического в истории. Больше его неоткуда взять. А взять — так нужно, так до страдания хочется. История есть и уже давно сделалась необыкновенно скучна, монотонна, плоска, безынтересна. Вспомните: год за годом шел, все — то же! Точно архиерейские певиче в Костроме, как и в Рязани. Да нет, куда певиче: просто дьячок тянет "Господи, помилуй" сорок раз без перерыва. Вся история свелась к переписке чиновников, да каким-то командировкам, да еще комиссиям по 25 руб. "за заседание". Тьфу! Скука! Разорение! А главное, нет картины! Ведь мы этот год впервые пережили исторически, т. е. как дробь какой-то истории. Раньше просто не было истории. Вспомните разлагающееся католичество. И мы разлагались без шума, без "событий". Шума не было. Но гниение? Оно везде было. Уже Леонтьев более десяти лет назад ощущал это всеобщее кругом разложение и советовал, как политическую программу: "подморозить гниущее". Печальный совет самого пламенного из наших консерваторов, пожалуй, единственного консерватора-идеалиста. Печальный и бессильный совет: он забыл, что ведь не вечная же зима настанет, что на установку вечной зимы не хватит сил ни у какого консерватизма и что как потеплеет, так сейчас же начнется ужасная вонь от разложения. Он, биолог, забыл другое явление, что вырастают чудные орхидеи на гниющих останках старых деревьев, но, уже конечно, вырастают они вовсе не повторяя в себе тип и форму этого дерева, превратившегося, по закону всего смертного, в "персть земную". Вот отчего на теперешние "беспокойства" никак не следует смотреть печально или безнадежно. Все указали в один голос на чиновника: и это ей-ей не по одному только утилитарному мотиву. Все поражены его неэстетичностью. Не то чтобы не надеются от него добра, но от него не хотят добра, от него так привыкли видеть задержку всякой красоте, всякой личности, всякому таланту, гению, что не хочется видеть от него самых полезных, но, очевидно, временных фруктов. В умах, в сердцах слышится грустная музыка. Темные полосы перебегают в глазах общества, которое лишили родины, истории. Ей-ей это великая тоска по идеалу, тоска по прекрасному. Тоска эта лежит в основе всего. Без нее мы по-чиновнически, через какую-нибудь комиссию улагодворили бы рабочих и "как-нибудь" кончили бы или, пожалуй, продолжали бы "как-нибудь" войну. Но мы заплакали по красивому и великому. А это другое дело! Тут "комиссией" не поможешь. Не сказал ли я некоторой истины, которая мерещится и многим?

Апрель 1905 г.

РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ НА ВЫСТАВКЕ В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

Я пошел слишком поздно, преступно поздно, на эту выставку, на которой побывал уже весь Петербург, но мне очень хочется сказать о ней несколько слов.

Выставка эта — безумие великолепия, роскоши, интереса, осмысленности. По ней можно бродить, как по галереям Рима и Флоренции, до такой же боли ног, и все-таки осмотреть за день только уголок. Осматривать ее, в смысле фланирования, почти бесполезно. Да и было бы варварством для русского взглядывать скользя на этот живой "паркет" своей истории, где каждый квадратик связан с событием; и если бы русская история, занимательная и глубокомысленная, была написана — о каждой рамке, всяком портрете зрители говорили бы: "вот это описано в такой-то книге и главе русского Геродота", "вот лицо, так изображенное русским Тацитом". Но у нас, увы, ни Геродотов, ни Тацитов еще нет.

Все-таки русская история в XVIII в. и первой трети XIX в. роскошна, упоительна. Упоительна — я не стыжусь этого слова. Потом что-то случилось; лица пошли тусклее. Напр., громадная картина Репина "Заседание Государственного Совета"... просто не знаешь, что о ней думать. Я несколько раз возвращался в отдельную комнату, где она поставлена, с томительным недоумением: что же я должен думать об этом? Ни в каком месте, ни на улице, ни в частном собрании, ни в театре, ни в церкви, я не видал людей, собранных в таком множестве, между которыми нет ни одного лица замечательного, красивого или просто характерного! Мне показалось: точно торговцы Александровского рынка оделись в мундиры, которыми они торгуют, — и эту фантазмагорию нарисовал Репин. Цена мундира тысячная, а носит его — нищий. Еще со спины глядишь — ничего... Репин так и представил одно лицо, — "докладающее" Совету дело — со спины. А как повернуть, лицом или в профиль к зрителю — руки опускаются! Что такое произошло? Мне кажется, разгадка этого находится в одном уголке этой дивной выставки; в отделе портретов эпохи Александра I висит впервые выставленный портрет Сперанского, еще юного, в самом начале его изумительного поприща. Это вовсе не портрет утомленного годами и переломами в жизни государственного человека, это — портрет его от 1806 или даже 1802 г. Губы выражают безмерное высокомерие, упорное презрение ко всему окружающему, ко всей этой "старо-графской и старо-княжеской рухляди", которая так ярко представлена на портретах елизаветинской и екатерининской эпохи и которую вот-вот он начнет ломать; а глаза его, эти маленькие, свиные, до таинственности закрытые сверху и снизу сближенными веками глаза — что-то изумительное, таинственное!!. Кто бы на портрет ни взглянул, пусть иностранец, пусть "до възвышения Сперанского", не мог бы не остановиться пораженный: "это что-то

необыкновенное”, ”это какой-то необыкновенный человек”, ”это феномен”.

Бог с нею, бедностью. Я упивался богатством.

Нет, эта чудная мода всего XVIII и 1-й трети XIX в.: от пояса идет закрывающая вуаль на грудь, но оставляет грудь в верхней трети открытой. Конечно, я говорю не о военных мундирах, а о женских платьях... Получилось целое воинство русских Паллад-Афин, Диан и, может быть, Афродит, я думаю — иногда Афродит; и все эти Потемкины, Орловы, Мамоновы, эти Безбородки и Беккие, обвеаемые волнами ”грудного” эфира, не могли не творить, не кипеть, как в афинской ”ауора¹ или в римском сенате. Нет, дай-ка и мне такое окружение — может быть, я тоже совершил бы что-нибудь. ”Тысяча богинь смотрят на нас с небес” (из дворцов): тут Суворов будет побеждать, Потемкин — присоединять Крым, все будут грозить, напрягаться, ”выходить из сил”. Нет, ей-ей: тогда бы и я мог что-нибудь. Теперь — ничего не могу.

И даже не хочу.

Мраморный бюст Павла I, разысканный С. П. Дягилевым в кладовой Технологического института, и его же портрет во весь рост, под балдахинном, в короне, в мантии мальтийского ордена, извлеченный из ”Запасного дворца” (не жилого) в Гатчине, — тоже новинка. Кажется, портрет этот, хотя и торжественный, не принадлежит к числу любимых портретов и даже его немного прячут. А зрителю и ”подданному” хочется самому от него спрятаться. Хочется оставить пустую эту комнату. Корона на императоре покачнулась, а рука его протягивается к лежащему на столе кинжалу. Что за концепция! Кто рисовал?? нужны бы объяснения. Я смотрел на него с ужасом. Плачь, Минерва, богиня мудрости, и Аполлон, бог порядка.

А позади его — именно Минерва, и впереди — Аполлон. Это Екатерина и Александр во множестве официальных и увеличепленных подобий. Но все же в темных уголках дивной галереи есть они и *au naturel!* Между прочим, ну, разве не прелестная натура эта голенькая, лет 7-ми, Елисавета, снятая батюшкою буквально как мы видим детей в бане. Она не сидит и не стоит, но также и не лежит, а куда-то вытянула тельце вправо. Милый ребенок, хочется взять тебя в руки и расцеловать всего кругом, ножки, носик, шею, все ямки и округлости.

В ребенке пусть карандаш рисует, а резинка ничего не стирает. Это бытие без клякс. Вот в ”Александровском рынке”, в который я невольно переименовал ”Государственный Совет”, можно бы все стереть резинкою. И колдун этот Репин: сперва я сказал себе: ”где же его талант? где эти спины и лица запорожцев?! Как все серо тут: бессильна кисть”. Но к концу разглядыванья я догадался: ”хитрец! он именно дал только то, что видел: ничего больше”. Это — картина великая, это — Карфаген, перед разрушением. ”Carthago delenda est”²... Для чего же художник стал бы брать темую: ”Carthago in gloria”³. Художник на этот раз хотел быть немножко ”Сивиллюю”.

¹ Народное собрание (*греч.*).

² Карфаген разрушен (*лат.*).

³ Карфаген в славе (*лат.*).

ЖЕНЩИНЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

По поводу организации будущего народного представительства высказывались против допущения к нему женщин, — “как явления слишком нового и в России пока неуместного”. Вероятно, тысячи статских и действительных статских советников, собирающихся “говорить” в новой обстановке и новым слушателям, кивнули головой при чтении этих строк: “ну, разумеется, говорить будем *мы*”. И в то же время, может быть, повернулись в древних могилах кости св. Ольги, прозванной историками “мудрою”, и Марфы Посадницы, имя которой одно поднялось над рядами тусклых посадников новгородских, и царевны Софьи, весьма и весьма умевшей “говорить” со стрельцами. Может быть, недоуменно поднялось веко над мертвым глазом то грозных, то ласковых монархинь, Екатерины нашей и Екатерины Медичи, Марии-Терезии, Елизаветы и Виктории английских. Мария Терезия с младенцем Иосифом на руках перед бушующими венгерскими магнатами она же императрица, раз накормившая публично ребенка бедной женщины собственной грудью, — это поучительно и для мудрецов. “Мы только случайно и минутами всходили на престол, но мы умели и жить, и царствовать, и умели законодательствовать и любить. Наше время... было как-то пышнее, сложнее и роскошественнее времени мужских правлений, как наши костюмы и пышнее, и шире, и сложнее узких, сухих, монотонных фраков и сюртуков. Костюм есть вкус: но ведь и процарствовать *без вкуса* — невозможно...”

Мы сразу назвали этот ряд имен, чтобы показать, что историческая, широко-народная, могуче-общественная роль женщины есть именно древнее, даже древнейшее явление. Что лишь последним двум векам принадлежит тенденция, довольно жалкая, свести женщину к какой-то “кокетливой”, флиртующей роли на паркетах, где она “улаждала” бы мужчину, и даже не столько мужчину, сколько “кавалеров на отдыхе”. Но были времена святые, эпические, когда “кавалеров” еще не появлялось, а были мужчины, — и вот тогда и женщина выступала как пророчица, как вождь народных сонмов. Около героев и она была героинею. Вспомним Мариам, сестру Моисея, запевшую дивную песню после перехода евреев через Чермное море; Деворру, освободительницу их же от чужеземного ига. Никто их не спрашивал: “Ваши права, *mesdames?*” Никто им не указывал: “Призвание женщины — семья”. Евреи ли при Моисее и “судьях израилевых”, т. е. в архаический период истории, не были семьянинами, а жены их образцовыми матерями и супругами? И вот, может быть, именно оттого и в связи с тем, что они были классическими, святыми матерями и женами, они с невероятной силой и глубиной схватились за “тягло народное”, впряглись в “оглобли исторические” и помогли другу и спутнику своему, мужчине, двинуть тяжесть вперед с такой страстью и отвагою, как он один не смог бы и, я думаю, не захотел бы этого сделать.

Выбросите-ка из “обновительного движения 60-х годов” женщину, и что вы получите, что получилось бы? Сушь, разговоры, теоретизированье. Получилось бы бессилие. Женщины сообщили жизнь и сок движению. В них есть что-то неуступчивое, доходящее “до конца”. Бог дал им

какую-то силу живорождения. Будучи на дне только биологической, эта сила, поверьте, сохраняется и в последующих слоях истории, являясь здесь могучим общественным зиждательством, с оттенком пророчественного вдохновения в одной половине и какой-то практичности и деловитости — в другой. Пророчицами Деворою и Мариаи была женщина, но она же была и Коробочкою ("Мертвые души"). Удивительное и вместе реальное сочетание.

Нуждаемся ли мы, наше русское общество, в теперешних обновительных его движениях, в этих особых оттенках женского творчества? Ведь теперь время не делиться, а соединяться — это раз. Да и за что мы обидим сестру свою, возлюбленную свою, может быть с замиранием сердца ждущую призыва и своего часа в истории? Посмотрим на практическое положение. Вот, как мать, она при вдовстве получала какую-то "седьмую часть" из наследия мужа своего, иногда ее-то именно усилиями и сбереженного и накопленного. Вспомним мать Хомякова, потрясенную при известии, как ее супруг и отец нашего богослова проиграл в карты миллион рублей. Она не оставила ни мужа, ни детей — и сохранила все еще большое состояние последним. Между тем закон, сочиненный какими-то Плюшкиными, и этой героине нашей общественной жизни отсчитывал " $\frac{1}{7}$ " ею единственно сбереженного наследства. Откидывая в сторону иллюстрации, я скажу ту общую мысль, что женщинам не только за их историческое терпение и скромность должен быть дан широкий доступ к будущей творческой государственной деятельности, но они вправе и потребовать доступа сюда, ибо некоторая роль их священнейших в семье прав была решительно не ограждена законом, мужчины ничего для этого не сделали, просто — забыли свою сестру и спутницу. Мать получает при наследовании "одну седьмую" наследства; но и сестры, по сравнению с братьями, получают втрое менее. Бессмыслица, жестокость. И уж если мужчина век молчал об этом, позвольте женщинам закричать, заговорить. Права не имеем отнять у них голос.

Но мне хочется говорить не утилитарно, а идеально. Не время делиться, время соединиться. Я выскажу то общее наблюдение, что во всех движениях всемирной истории, где не шел разделяющий лозунг: "кто в пиджаке — вперед", "кто в юбке — назад", где самого вопроса об этом не поднималось, а был только "человек" и перед ним "тема", — все эти эпохи отличались неодолимою силою и решительно достигли своих "тем". Я указал на 60-е годы. Без женщин тут была бы сушь, "департамент". Женщины дали сюда страсть и огонь. Но и вот другой еще пример — рубрика "распространения христианства". Опять придется назвать нашу св. Ольгу, на Западе св. Берту, Теодолиндю. Да что эти королевы — разве в них дело? Мученицы и святые каким сонмом встали, чтобы сломить язычество?! Ей-ей, без них одни пустынножители и монахи, может, сумели бы организовать уже победившее христианство, но едва ли они одни могли бы вырвать ему победу. Мудрость мужская была, была философия. А огонь, прозелитизм — он не только пламеннее всего горел в женщинах, но они и в мужскую половину перебросили этот поистине святой свой огонь. Все дело именно в совместном, взаимно-переплетенном труде. Порознь оба бессильны! Качества одних не восполняются качествами других. Между тем именно в гармонии, при обоюдности, нейтрализуя друг друга, силы тех и других поистине чудодейственны!

Разделение полов при историческом труде есть неумная затея новых веков, отменивших древнее: человека сотворил Бог, мужчиною и женщиною сотворил его". Есть что-то именно неумное, паркетное, бальное, да еще, пожалуй, монашеское в этом разделении. Да, как ни странно здесь согласие, а оно есть: в безграмотные времена женщина — это "грех", в культурные времена — это "дама". Между тем в обоих случаях это ложь, а истина в том, что она — человек, $\frac{1}{2}$ человечества, без которой бессильна, бессмысленна и невозможна вторая $\frac{1}{2}$ человечества. Призыв на полное, всесветное, во всех делах и всяческих путях единство дан в законе первоначальном, божественном, столь искаженном средневековым монашеством. Ведь Богом были вдохновлены и Мариам, и Деворра; да Бог же дал силу и христианским мученицам. Если бы Он хотел разделения, ну и дал бы Он силу и пророчество одним мужчинам. Вот где корень "феминизма" — в Библии. "Феминизм" только светским языком выражает древние истины. Но печатаются ли они древними рунами или новым гражданским шрифтом — все равно. Я не люблю новой гражданственности: но в этом случае должен сказать, что "старые руны" — за них. Бог этого хочет: вот основа новых гражданских стремлений.

Главное тут в силе. Главное в огне, в таланте. Все специально мужские, одиночно мужские движения в истории были вялы, неуспешны. Просто не хватило рождающей силы, при всяческой мудрости. Даже радий открыли "супруги Кюри". Это почти шутка, но этих шуток будет много впереди, и их было еще больше позади. Россия живет в роковых днях, и ни в чем мы так не нуждаемся, как в энтузиазме. Нуждаемся в пламени гораздо более, чем в расчете. Но всегда исторически пламя входило в нации и в общественные движения через женщину. Вспомним и Жанну д'Арк и опять же Марфу Посадницу. Если мы не попросим у наших сестер, матерей, дочерей помощи, если теперь, может быть, в святые наступающие минуты, мы забудем и "расчетливо обойдем" их, — вяло и мешански пойдет самое праведное дело; скажу своим языком: не ляжет и на нас, братьев, Божие благословение... И еще последнее предостережение: а не понадобится ли, в некоторые секунды предстоящего сложного движения, чувства жалости, сострадания? Ведь будет движение и туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад. Будут победы и будут поражения. Вспомним "сестер милосердия" и ту истину, что их не заменить "братьями милосердия". Народно-представительная история Запада, и особенно в некоторые, роковые, мучительные дни не протекла бы столь траурно, имей право дойти на парламентскую трибуну не один "работник-брат", но и его сострадательная сестра, с миром совсем другого душевного внимания, чем у него. История нуждается в пламени. Но иногда бывают в истории очень грустные минуты, и вот тогда они нуждаются в нежности и деликатности, в прощении и забвении. Ну, а "кавалеры" не очень к этому способны, тут "слово должно быть дано терпеливой сестре".

Но милосердие — на случай и для минут. Вся история заметно переламывается, и нельзя не заметить, что женщины играют в этом переломе огромную роль, по-видимому, готовые выступить в древнем значении одушевленной, вдохновительницы и, может быть, иногда даже вождя. Пусть они поют сейчас только песни: тоны песен могут

измениться сообразно тону новых дел. Мужчина страшно истощился в своем исключительном творчестве в истории. В какие поры была Семирамида и царица Савская: в Европе это удавалось только урывками. Мужчина все себе взял, и он страшно устал. Не честолюбие, а просто талант толкает женщину к делу. Я поражался последние 2—3 года, когда мне случалось слушать публично говорящих женщин, иногда совершенно молоденьких девушек, до чего речи их, при полной сохраненной скромности, лились спокойнее, умнее, иногда содержательнее речей мужских и вовсе без всяких худых погремущек обычного красноречия. Заметно, что они говорят сами, никому не подражая, и говорят чудесно, когда начинают говорить. Если в большом литературном собрании, в несколько сот человек, уместна, приятна и поучительна бывает речь женщины, непостижимо, отчего же она не может быть желательна и поучительна среди народных представителей? Предрассудок, ни на чем не основанный. Мы зовем эту гармонию талантов мужских и женских в их взаимном одушевлении, поощрении, сочувствии. Нужна истории сила, нужна будущему страсть. Благотворно и благородно будет, если в наступающих русских делах растворится прекрасная женская душа с ее нежностью, воображением, глубоким чувством Бога, великодушием, всемирною заботливостью и состраданием, с ее — не обойдем и это — любовью к нарядности жизни, к красоте бытовых форм. Душа женская влажнее и душестее мужской; мужская тверже и суше. Пусть смешаются. С подругою своею мы многое приобретем. Без нее много потеряем. И напрасно обидим ничем не заслужившую обиды...

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ

Лучше английского горного воздуха, лучше здешних голубых озер пришедшее с родины известие о заре гражданской ее свободы. Ибо до сих пор русский человек имел только видимые, кажущиеся права, и никаких действительных прав. Все в судьбе его и положении его зависело от всемогущего и притом темного, негласного "усмотрения". Кто-то с кем-то шушукался, шептался: и от этого зависело все. Кто-то с кем-то переписывался "конфиденциально" — и опять этим определялось все в положении отдельных лиц и, наконец, даже целых краев, областей. При этом положении можно ли сказать, что русские имели свою историю? Сомневаемся. Была "история русского терпения", а не история России, как нравственного лица.

Сколько терпения... Боже, сколько терпел русский народ, безгласно, глухо, с зажатым ртом, перехваченным горлом! И перехваченным не каким-нибудь верстовым столбом государственной администрации, а всяким — по терминологии Гоголя — "повытчиком кувшинное рыло", который где-нибудь в уезде, в селе, да иной раз и в столичном департаменте вершил дела по-своему, разорял, теснил людей, грозил им через способы административной и судебной кляузы, ему одному понятные и у него одного в руках сосредоточенные. Сколько было в России столоначальников, столько было маленьких царьков в ней — это по

выражению могущественного государя Николая I. Столько было маленьких деспотов, азиатских ханов над бедным, рабским населением России — перефразируем мы изречение государя. Вот где было настоящее ограничение государя лица, государевой воли, государевой власти. И только, прикрывая, маскируя это уже совершившееся, фактическое ограничение самодержавного государя, "мертвые души" нашей истории кричали: "Не созывай, царь, народа к себе, он тебя ограничит". Бессовестные. Все отняли у царя (кроме подписи бумаг), все отняли у народа, кроме платежа податей, — и прикинулись благодетелями народа и слугами царя.

Но Бог с ними. Бог им простит вину их. Теперь они уже безвредны, по крайней мере, не всеильны. Русский народ наконец получит себе историю, как выражение именно *его* нравственной личности, *его* совести, души, разума. Что такое "я" русского народа, это наконец-то мы будем читать не в повестях и рассказах беллетристов, не в заунывных песнях ямщика, не в исследованиях Даля и Буслаева, а в законодательных актах, в рассуждениях выборных народа. Боже! Русская совесть перейдет в русские законы, — неужели этому не радоваться?! И услышат в народе русскую душу и скажут: "Вот какова она, а мы думали, что у русских вовсе нет души, а только терпение, молитва и водка".

У Лермонтова, после его кончины, нашли в одной из черновых тетрадей запись — и мучительную для всякого русского, и загадочную для автора "Песни о купце Калашникове" и стихотворения "Родина" ("Люблю отчизну я, но странною любовью"). Запись была следующая: "Россия не имела прошлого: она вся в будущем". Написав, Лермонтов обвел строку карандашом, по-нашему — подчеркнул. Лермонтов был необыкновенный ум, не говоря о поэтическом гении. Он был феномен нашей истории, что-то причудливое и загадочное, точно комета, сбившаяся со своих и забежавшая на чужие пути. И вот, так любя свою родину (о чем никто не спорит), он выставил в приведенной строке как бы личный свой тезис: "Все прошлое святой моей терпеливой родины — или смутно по смыслу, или до очевидности ничтожно. Но душа у нее великая. И великого от нее мы должны ждать в будущем". Он бы не написал: "Она вся в будущем", если бы сомневался о душе ее так же, как, очевидно, сомневался и даже вовсе отверг значительность ее истории.

Вся сила русской души ушла в *терпение*. Что такое русские святые? Примеры терпения, образцы терпеливости. Но где же силы русской души, как разверт таланта, сверкание гения? Этого не было, или было случайно. Поэт наш выразил это в стихе, поразившем Россию. Он сказал о народе, что он

Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил...

Как ужасно это прочитать, не говоря уже — согласиться. Согласиться с двустышием этим невозможно, ибо согласиться с ним и не умереть сейчас же самому от тоски и печали — невозможно для русского. Но первая строка двустышия, очевидно, истинна: и только будущее, и именно сейчас начинающееся будущее может опровергнуть истину второй ужасной строки. Некрасов первоклассным поэтическим гением не был,

но что он был страшно умен и хорошо знал свою землю, свой народ и свое общество — этого нельзя никак отвергнуть.

Для *разверта* сил и гения не было условий в русской действительности, не было свободы. И теперь мы стоим перед задачей выдвинуть и сотворить новый идеал *святости* — как *активности* души, а не как пассивности (терпение). Все, что *святого* в Руси, — пусть двинется или может двинуться на подвиг *слова, размышления и дела*. Мы верим: перелом России, если он совершится, сосредоточится именно в этом: что переломится и пойдет совершенно по-новому именно коренное, общественное и затем народное представление о *святости, о святом человеке и святой жизни*. Прежде это значило: *молчать и страдать*; в будущем станет значить: *усиливаться, достигать*. В чертах одинаково: для обеих категорий — *правды, истины*.

Со слабою ратью когда-то выйдя против шведов, Александр Невский сказал изречение, перешедшее в учебники: "Бог не в силе, а в правде". Это так для страдальческого периода, угнетенной судьбы, для пассивной истории. Но *сотворивший мир Бог* не имеет ли *силу* именно первым своим определителем? И не пора ли сознать и поверить, что: "Бог в силе, а не в бессилии; в подвиге, а не в терпении".

Вот это-то преобразование идеала будет самое трудное. Оно пойдет по литературе, по рассказу, по песне, по обычаю, по предмету умиления и насмешки. Увы! страшная пассивность русской истории передалась у нас и во вкусы. Русские великие писатели стали певцами великой покорности. Тургенев в этом не разошелся с Толстым. Все неудачливое, слабое, болящее, идущее к смерти — "симпатично", благоразумно, воспето, увенчано. Поистине —

Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил!

Ибо если в смерти искать нравственного спасения, то какие же уж тут надежды? Нет, все это ужасная скорбь, ужасная ложь. Боже, но как трудно это преобразование нравственного идеала, чтобы найти красоту и предмет умиления и увенчания — в силе жизни, в победе и победителе?! Не все сразу поймут мысль мою, поймут, почему это трудно. Конечно, можно "увенчивать" победителя. Клади венки на кого хочешь. Разве в этом дело? Дело в том, чтобы сам победитель и сама победа и, в обобщении, сила жизни оделись в нравственно-прекрасные черты, перед чем сердце человеческое уже умилилось бы само собою, без передержек и компромиссов с собою. Объясним все иллюстрацией. Наполеон, и Бисмарк, и Биконсфильд были в истории "победителями". Пассивный русский народ умел им противопоставить только Платона Каратаева ("Война и мир") да Акима мужичка ("Власть тьмы"). Отрекаюсь от первых типов, за их житейской ненадобностью, отнюдь мы не зовем в свою историю, как завидные, и вторые типы. Не хотим такой мены. Болели бы от нее. Однако, вспомнив древность, назовем хоть Карла Великого, назовем даже Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого, которые все вовсе не "страдали, терпели и молчали"; которые являют тип победителей и, однако, вовсе лишены того "небольшого мошенничества", без которого, увы, не умеют обходиться "победители"

новых времен и не обошлись ни Наполеон, ни Бисмарк, ни Биконсфильд. Обман есть вид нравственной слабости, а "Бог в силе, а не в слабости".

Обмана и хитрости нашей истории не нужно, теперь и *никогда*. Зачем нам быть по типу хищного животного, тигра или льва? Фигура наша по географии напоминает слона: пусть и по истории напоминает его же. Это животное доброе, умное (гораздо умнее льва), сильное, льву не уступает, никому не уступает. Никто его не съедает, и оно никого не съедает, а мирно пасется и несколько царствует в лесах Африки. Ну, это — пример, и я соглашаюсь, что он легок: а жизнь так трудна, и применение в ней этого примера тоже так трудно.

14 августа 1905 г.

НА МИТИНГЕ

I

— А не хотите ли пойти на митинг?.. В 8 часов в Медицинской Академии состоится митинг...

Это было среди общей тишины Петербурга. Газеты не выходили, электричество не светило, конки не звенели.

— Какой? Студентов, рабочих? — Я даже не мог понять, и мне не умели объяснить.

Я вспомнил "Айвенго" Вальтер-Скотта и длинное, чудесное описание там турнира. Не будь его, что бы мы знали по учебникам и даже по большим историям о турнирах? Пять сухих строчек, без крови и красок, что были "рыцари" (следует изложение процедуры посвящения в рыцари) и что они "сражались на турнирах" (приложена картина рыцарского коня в полном убранстве и доспехов рыцарских). Больше ничего. Т. е. в словаре нашем было бы больше двумя словами, — и никакого лишнего понятия.

— До митингов, положим, мне дела нет. Я человек старый и ленивый. Да и до политики немного дела: жил и живу в своем углу. Но ведь вот соображение: это первые митинги в России, и полезно для будущей "Русской Старины", чтобы кто-нибудь просто дал картину того, что он увидел на них, держась мудрого наказа персидского шаха Наср-Эддина своему историографу Риза-кули-хану: "Не извращай описания событий. Победу изображай, как победу, а поражение описывай, как поражение".

— Ну, пойдемте. Бог с вами. Только, пожалуйста, один раз.

Суровый ответ мой был оттого, что я опасался намерения потащить меня еще раз туда от молодого моего спутника.

Было рукой подать пешком. Но мысль, что еду на "митинг", "новое историческое явление", оживила меня, едва мы спустились с четвертого этажа на улицу. Был уже девятый час на исходе, а митинг назначен в восемь. Я взял извозчика, чтобы переехать только через Литейный мост и крошечный кусок своей улицы. Вот и Медицинская Академия. За решеткой ее, в главном здании — огни, не яркие. "С которого подъезда входить?" И в полном недоумении мы сошли с извозчика. Толпа студентов, мастеровых, курсисток, — небольшая, реденькая, спешила вперед. Все смеялись и торопились.

— Да где митинг?

— Не здесь. По Нижегородской улице, дом 17.

Мы заторопились, в мгле и грязи. Это шагах в ста от Академии. В больших воротах стояла отворенная калитка, в которую проходили мастеровые в черных суконных потасканных пальто. Молодые, утомленные, озабоченные лица. Стоявший около калитки что-то их спрашивал, те отвечали и пропустились, очевидно, согласно ответу, во двор. Туда же направились и мы.

— Здесь митинг Медицинской Академии?

— Здесь митинг ювелирных мастеровых.

— А где же митинг рабочих и студентов в Медицинской Академии?

Но "брат-рабочий", он же превратник, уже не обращал на нас никакого внимания, занятый прямым своим делом — пропуском исключительно людей, имевших дело до этого митинга.

И никто не знал. Люди двигались, так же оживленные и смеющиеся, туда и сюда. "Да верно там, в Медицинской Академии? Ведь этот двор и дом во всяком случае не Медицинская Академия, хоть и в двух шагах. Мы теряем время; митинг начался".

И опять мы поспешили к Академии.

— Идите; вход с набережной (Невы).

— Но там клиники, я наверное знаю, сам бывал в палатах. Не в больнице же собираются рабочие и студенты?

— Идите! Идите! Там.

Случайно спутник мой поднял голову.

— Здесь! Вон головы!..

Действительно, в освещенных окнах виднелось множество голов, как это могло быть только в набитом битком зале.

Сейчас с первого входа, ближайшего к Литейному мосту, в отворенную не очень большую дверь двигалась толпа. — "Неужели раздеваться в этом столпотворении и холоде? Тут и головы своей не найдешь, не то что пальто и калош?" Но никто не слушал, а люди "почище меня", пышные барыни сбрасывали пальто на пронзительном холоде и сырости, несшемся из незатворявшейся двери, вот тут сейчас, в которую входила непрерывная толпа. "Ну, все равно! Как все!" И, аккуратно засунув шапку в рукав пальто и решительно отказавшись снять калоши, я отдал пальто медицинскому в форме сторожу. — "Ничего, барин, не пропадет! И нумера не нужно". Действительно, не дал нумера вешалки, сказал только номер ее. "Столпотворение Вавилонское!"

Все торопились, и сразу же сделалось тесно. От крошечной площадки вилась две крутые лесенки вверх. Я пошел по одной, обоняя фалды сюртуков, юбок и поддевок толпившихся впереди и выше. Затор; остановились. Опять чуть-чуть двинулись. Опять "стоп". Полутемнота, молчание. Все терпеливы. Никто не протискивается, не обгоняет. Все "как все", а "за всеми Бог". У меня было на душе хорошо. "Верно, ничего не увижу, однако же все-таки был на митинге". И всем было, кажется, весело. Удивительная деликатность, уступчивость друг другу — места, ступеньки, прохода — вытекала, мне кажется, из того, что все эти люди были однородны или предполагали однородными друг друга, пришедшими каждый за тем же, как и сосед его, и с тем же "образом мысли". Иллюзия дотягивает всякую действительность до кажущейся полноты;

иллюзия даже сотворяет "в самом деле" полноту. Это множество голов и грудей, бившихся только приблизительно сходными мыслями, — вот тут же на месте, через гипноз обменивающихся взглядов, блуждающих улыбок сливались в полное единство, в один пульс; "э, да и я так же думаю, хочу так думать", "э, что тут я и мое — тут все и я буду как все, ибо это ужасно весело, счастливо и таким хорошим счастьем общности и единства, какого я вот сколько лет не испытывал, сидя в своем углу". Терялась, решительно терялась индивидуальность, пожалуй — терялся ум, тот хитрый и своекорыстный ум, который у каждого стоит в душе настороже; и вставало что-то безличное, упрощенное, в прямых и явных линиях выраженное. И эти прямые линии коротких мотивов, несложных мыслей связывали множество лиц в одно новое, смеющееся и страшно счастливое коллективное лицо. На моих глазах таяли индивидуальности, "свой" семьи, дома "свой"; все это туманилось, задвигалось какою-то задвижкой; и вырастал один огромный "дом", где все жильцы давно знали друг друга, привыкли, и каждый старается услужить соседу, и вот, кажется, попроси кто-нибудь позволения стать на спину соседа (как на стул), чтобы увидеть говорящего внизу и далеко "оратора", и этот сосед блаженно согнет спину и скажет: "Становись, брат; я уже видел, а ты — посмотри". Явно и очевидно все глупели (упрощались, становились более похожи на детей); но столь же явно "толпа", которая во всякое другое время и на другом месте, на улице, на площади не имеет вовсе никакой мысли, ничем не связана, лишена лица и головы, и, словом, есть "мгла", — здесь засветилась умными и новыми очами. "У, чудище, как ты страшно и хорошо!"

Брели-брели по лесенке и добрались до последней ступеньки. Вижу, что хоры. Посредине и далеко горит электрическая люстра, снизу несется голос, не то яркий, не то яростный. До барьера хор, конечно, не добраться: а не увидеть зрелища — то не хочется и слушать ничего. Я по крайней мере слушаю только того, кого вижу. Скука и досада встала в душе. И вот тут стали наплывать (назад, к выходу) вспотевшие и уставшие слушатели; — какие-то благоприятные толчки, молчаливые указания пальцем стать сюда, стать туда — и не прошло четверти часа, как уже я стоял или меня поставили "благоприятно" к краю барьера. И вообще все было "благоприятно", добро, ласково, ходко, маслянисто. Шла зала амфитеатром и воронкой, верно какая-нибудь "аудитория с демонстрациями", откуда решительно с каждой точки была видна каждая точка всего зала. По концентрическим кругам-скамьям сидела публика-братство, все — единое, слитое, обобщенное, чуть-чуть "поглупее" и чуть-чуть "помудрее" обыкновенного. А вот и голос, из самой глущи воронки: черная маленькая фигурка, яростно поворачивающаяся то вправо, то влево (обращение к слушателям), совсем молоденький рабочий, лет 26—28, а может и 21, объясняет разницу между тем, как "братья" обязаны и имеют право вести себя во время "экономической забастовки" и "политической забастовки". Никогда я об этом не думал: "Если товарищи изменяют товарищам во время экономической забастовки — бей их, потому что они отнимают у них, у нас хлеб. Мы боремся с хозяином (голос все яростней), с фабрикантом (все яростней), с капиталистом (яростней), с эксплуататором: он — один, и если мы не станем все как один, — он победит нас, выбросит на улицу, раздавит.

Поэтому, кто отделяется от товарищей во время экономической забастовки, борется против единственного способа победить его, хищника, эксплуататора: бей таких по морде чем попало. Ибо они крадут наше имущество, наш заработок, наш хлеб, пускают по миру детей, оставляют без дохтура наших жен. Но, товарищи, совершенно иное дело политическая забастовка: если мы желаем (тут следуют совсем "неудобь-сказуемые" слова), то, однако, кого мы можем и имеем право заставить идти с собою? Никого! Это дело убеждения! Как же я могу передать другому свое убеждение, когда его в нем нет? Не могу! Никто не может! Поэтому, товарищи, никакого принуждения, которое совершенно законно при экономической забастовке, не может быть при забастовке политической, и здесь единство достигается разлитием и торжеством одного убеждения, а не насилием! Помните! Поняли! Не говоря о том, что мы права не имеем никого принудить, мы поступили бы как дураки, принуждая: на что нам ленивый, вялый, притворяющийся товарищ? Он — ноль в политической борьбе. Да и хуже еще: он изменит в роковую минуту, в самую критическую, когда мы стоим плечом к плечу и умираем. Это не ноль, а хуже. Так помните! Поняли?"

Вот удивительно — и я поучился! А всего мастеровой, слесарь.

"Теперь, отчего при столкновениях на улицах мы бежим и всегда бежим? Нас — тысячи, их — десятки: и тысячи бегут от десятков. Гонят нас, хлещут (и более жестокие слова). Почему? Они — в порядке, мы — без порядка. Они не с пустыми руками, а мы с пустыми руками. Кто без порядка — всегда бежит и побежит. Кто с оружием — всегда победитель. Значит, товарищи, чтобы победить, мы должны запастись терпением, не соваться, не тратить силы, не растеривать дробей в совершенно бессмысленных попытках, а должны сидеть смиренно и запастись всем тем, чего у нас пока нет. Как запастись? (Следуют исчисление, описания, объяснения, всяческие "пути" и "путики" и "невидимые дорожки" предварительного приготовления). Так поняли, товарищи? И тогда в один день! в один час! который будет сказан!! Так поняли? Так помните!!"

Шум, возня — верно, оратор юркнул в еще более глубокую воронку непосредственно окружавших эстраду (деревянный серый стол) слушателей.

— Позвольте!.. — заговорил голос с правой стороны хор. — Вы все говорите об активных действиях, но представляется ли в них нужда теперь, т. е. абсолютная, безусловная нужда? ("Шш" в публике.)

— Товарищи — терпение! Свобода слова каждому!

Это — председатель, рабочий, никак не старше 24 лет, и... чуть-чуть заикающийся.

— Вы призываете к борьбе, но нельзя ли обойтись без нее? Теперь, когда нам дарована свобода ("шш! шш! шш!"), т. е. когда относительно мы имеем свободу, и вот собрались же здесь и говорим, кажется, без стеснения, когда скоро соберется Государственная Дума ("шш!", "шш!", свистки, топанье)...

— Товарищи — свобода! Я вас призываю выслушать оратора с полным спокойствием, не прерывая его! (Председатель.)

— ...Ну, Дума, исполненная всяких недостатков, обкромсанная, обстриженная, но ведь это только зерно, и оно будет развиваться.... Так эта

Дума, несомненно, постарается не только раздвинуть свои прерогативы, но и обеспечить за гражданами свободу слова, мнения и собраний. Так вот, я и говорю, чем прибегать к насилиям и борьбе, в которой ведь и у нас ноги будут поломаны, руки вывихнуты и вообще мы многого и многих недосчитаемся — чем всем этим рисковать и жертвовать, не лучше ли воспользоваться теми средствами, которые нам уже даны. Вовсе я говорю не о Думе, в которую позваны теперь только богатые; но отчего нам не собраться совершенно так, как здесь, но — собраться на площади, и пусть от всей земли русской, от всех городов, сел совершенно свободно и всеобщее — откуда никто не исключен — подачею голосов будут выбраны излюбленные люди, и они соберутся, как мы здесь, также свободно, и скажут разум всей земли и нужду всей земли, и мы скажем Думе, т. е. внесем предложение...

— Позвольте, вы развиваете какую-то маниловщину, будто живете вне пространства и времени. Кто же помешает Думе ("шш!" "шш!") положить ваше "внесенное предложение" под сукно ("ха! ха! ха!" "браво! браво!") и забыть его, как и в департаментах забывают всяческие "прекрасные законопроекты" ("браво!" "браво!").

— Пожалуйста, господа, дайте оратору высказаться! (Председатель.) — А во-вторых: где же вы найдете такую воображаемую "площадь", на которую вас пустят, а не разгонят с нее плетками ("ха! ха! ха!"), и как же вы это будете "со всей земли русской" избирать любовно выборных всеобщее и прямою подачею голосов, когда она запрещена ("браво!" "браво!") и если один губернатор вам это в одном городе и позволит, то другой губернатор и в другом городе вам это не позволит, и, значит, со "всей"-то "земли" вам во всяком случае собрать ничего не удастся, да и вообще все это зависит от какого-то личного благодушия и от милости наших господ, наших владык, с которыми, значит, борьба...

— Борьба! борьба! (Все.)

— Тише, господа, тише! (Председатель.)

— Борьба! Борьба! Замолчите, не надо оратора, все сказал, ха, ха, ха! Не надо...

Шум. Но, ей-ей, читатель, все это моментально, прорезями, среди гробового молчания громадной аудитории, в которой мною не было не расслушано ни одного слова, которое нужно было слушать, которое я хотел слушать. Точно усталый человек: встал, сделал ручную гимнастику и опять сел и глубоко задумался.

— Форточку! Отворите форточку — нельзя дышать!

— Господин председатель (с хоров), позвольте вам заявить: здесь в кошельки собираются деньги (для "дела" и вообще на разные "цели"), и один господин, взяв кошелек, положил его себе в карман и ушел.

Я почувствовал невообразимый стыд и конфуз — за собрание. Как бы помертвели глаза, слетела улыбка. "Братства" нет... Со сжатым сердцем я думал: "что делать". И вдруг тут вышла такая победа, такое торжество действительно сознаваемой чистоты собравшихся...

— Я повторяю, господин председатель, кто-то украл кошелек...

И так громко. Точно пощечина на всю залу.

Рабочий-слесарь (председатель) широко развел руками и, полусмеясь, проговорил недоуменно:

— Слышу, слышу! (т. е. заявление.) Что же я могу сделать? (Пауза.) (Со смехом): Только и могу, что рекомендовать собирать деньги не кошельком, а на блюдо, тарелку и вообще в такой большой сосуд, который спрятать нельзя было бы (кошельки передавались из рук в руки).

Вся аудитория прыснула со смеху. "Дело" было брошено, растоптано — и все двинулись (в дебатах) далее.

Тут только я сообразил, что в самом деле в громадной толпе и давке были и "посторонние элементы", за которые "братство" нисколько не ответственно и предупредить появление которых оно никак не могло. Сам же я прочитал, еще ранее и стоя в давке, предупреждающие записочки, передаваемые из рук в руки: "Оберегайтесь провокаторов", "оберегайтесь шпионов". Не было только записочки: "Остерегайтесь воров" — и больше ничего!

II

Дан был небольшой антракт, я думаю — не более 5—8 минут. Заговорили, зашумели.

Какая смесь лиц. Уже давно, двигаясь по стенке, я добрался до схода вниз, совсем перед амфитеатром, и едва поднялись двое с верхней скамьи — как я с моим спутником уселись на их места. Здесь было так хорошо, удобно, не тесно, что если бы закурить папиросу и съесть бутерброд — то хоть весь день сиди. Публика была на $\frac{3}{4}$ "чистая" и на $\frac{1}{4}$ "черная" (рабочие). Пожилые, средних лет, совсем молоденькие, — сидели большею частью учащиеся, или служащие по разным частным профессиям; много студентов, должно быть, много курсисток, но едва ли преобладая над просто "служащими", "родителями". Одеты скромно и чисто, как исключение — богато (женщины). Вперемежку с ними — мастеровые, почти сплошь молодые, вообще без "стариков", с лицами тяжеловесными, худыми, немного истощенными, угрюмыми. Эти — без улыбок. "Трудна жизнь" — это на каждом лице; как у интеллигенции: "хороша жизнь" (духовно счастлива, радостна).

— Мы, барышни, вас обережем! (С улыбкой.) Защитим! (Покровительственно.)

И мастеровой положил руку на кисть руки красавицы курсистки, высокой, стройной, с светящимся добротою лицом.

Она объясняла ему, что "завтра на курсах у нас собрание, но ходят слухи — что придут и станут хлестать плетками".

— Не бойтесь, барышня! Не выдадим. Мы придем!!

Рука его лежала на ее руке, здоровая, дюжая. Чуть-чуть она потянула свою руку назад. Добрым-добрым голосом он объяснил:

— Не смотри на руку. Чистая. Я ноне утром в бане был.

Действительно, рука его лоснилась глянцем от горячего пара и безукоризненной чистоты.

— Да я ничего, — сказала барышня и оставила свою руку в его кулаке.

Места через четыре сидел парень, впрочем, — не сидел, — а все время стоял (от возбуждения, от оживления, от "поучения"). Лица у него в фигурном, обыкновенном смысле не было, а была на месте его

"этнографическая лепешка", что-то вытянутое, плоское, почти без носа (коротенький), с плоскими губами, узким лбом, вытаращенными глазами. Должен быть, дальний-дальний потомок приволжской чуди. Лет не более 19, без усов и бороды. Он (во время речей) только приговаривал: "Во! во!" "Так!!!!" (с страшным ударом). Он весь впился в зрелище, весь обратился в слух. Умен был? глуп? — не знаю. Во всяком случае "учился", напряженно, страстно, замирая, захлебываясь. Не здесь бы — сидел бы он в кабаке, нет — валялся бы под лавкой, уже давно пьяный, и по которому и через которого идут, ступают люди. Зал здешний с электрической люстрой, где хорошо одетые и ласковые люди смотрят на него, как на брата, и дали ему место сесть с собою, где его не "хватают за шиворот" и никто не гонит "в толчки", как всегда и всюду было с ним за все 18 лет жизни, все это схватило и понесло его, как ставшая сущюю мечта, как некоторый рай и видение, которое, может быть, и брезжилось ему в снах (которых у кого же не бывает) и которым верить он никогда не смел и не смел сказать вслух о них, махнул на все рукой. И вдруг мечта стала не только близкою, но сущюю, из которой он сейчас же вернется в темь сора и унижения, как только переступит через порог зала этого: а вот если бы в самом деле "в один день и час", "всем вместе", "по всей России", "а еще лучше — по всему миру"... Удар, и смерть, и счастье — не для меня, а для миллионов, как я. Стоит жить, о, тогда стоит жить!! А без этого: гниль, смрад, народишь рабов, как я же, и опять — под лавкой, больные, пьяные, темные, проклятые и прокливающие, и, без конца, главное — без конца и надежды!!

И он слушал, слушал...

Слышалось еще несколько ораторов, подлиннее, покороче, похуже, получше. Председатель извинился:

— Ноне у нас на ораторов неурожай. Забрали всех (на какой-то другой, более важный митинг); что делать, и помолчать приходится. Потерпите, товарищи! Вам угодно говорить? — Говорите!

Закрываемая фигурю председателя, чуть виднелась за ним небольшая фигура девушки, лет 28, темная брюнетка. Светлая кофточка, черная юбка, все чисто и скромно.

— Прошу товарищей не нарушать тишину: оратор заявляет, что у него слабая грудь и она не может говорить громко.

Настала совершенная тишина, и я расслушал все в наиболее сложной из произнесенных речей. Она длилась, я думаю, три четверти часа, с перерывом-передышкой. Пусть она обдумала заранее план и ход речей: кто же не обдумывает? Но ведь сотворена-то, в словесном выражении, в подробностях, в оттенках, в тоне, в картинах рисуемых (их было много) — она здесь, перед слушателями! Всякий, кто слушал сложные речи, знает убийственную для оратора минуту-паузу: когда длинный период, например, начался с "если", "тогда как" и пр., и вдруг оратор так повел его, употребил уже такие слова и придаточные предложения в первой части (периода), что совершенно нельзя начать вторую часть периода с грамматически правильного *соответственного* союза... Период не вышел, остановился на запятой, и оратор топчется на одном месте, ничего не выходит, он растеривается, а слушатели сконфужены, видя муки его и что ничего не выходит и дальше нельзя говорить, не впад в какую-то телячью бессмысленность. Это — одно "страдание" речей,

грамматическое. Другое страдание — плана, тоже ужасное: оратор начинает приводить примеры, а приведя — растолковывать их, там — блеснула острота, смехок публики, еще увлекающий в сторону — и, смотришь, оратор уже где-то за ширмами от своей темы, потом вспоминает ее — снова возвращается, сказав "извините", опять ее теряет: и мнется-мнется, все растеряв, не оставив в публике никакого цельного впечатления и ни единой законченной мысли... Поэтому совершенно поразительно для меня было, что на протяжении $\frac{3}{4}$ часа у говорившей только один раз "не вышел период": она совсем умолкла (не было каши слов), долго молчала — и кончила предложение неуклюже (правильно и нельзя было кончить). Все остальное время одушевленная, простая речь лилась, как бы она читала в невидимой книге. Другое умное качество: "впрочем, это уже прямо к делу не относится", "это бы нас завело далеко и это мы оставим в стороне", сказала она раза три-четыре. Таким образом, в речь не было введено ничего побочного и разрушающего, убраны были все пристройки, "флигеля около главного дома" — и получилось все монолитное и стройное. Мне показалось, что я слышал акцент и принял говорившую за еврейку (кругом говорили потом: "нет, армянка", "нет, русская"). Она говорила о том, что же принесет движению крестьянство? "Давно есть мечта предполагаемое единство деревни; это — старая идиллия, завещанная нам славянофильством. Такой деревни теперь нет, и давно нет. Проклятый капиталистический строй затронул и ее, и, как всюду, он расслоил ее население на часть имущую, жадную, с каждым днем толстеющую и жиреющую, и тем более жадную, чем ближе цель ее, и — на часть неимущую, которая, теряя нитку за ниткою, потеряла наконец все. В прежнем крестьянине бились два сердца, боролись две души: сердце мужака, тянувшего к деревне, заботливого о своем мире, о своих соседях, и — сердце начинающегося горожанина, лавочника, эксплуататора. Это второе сердце тянуло его в город и тянуло наступить ногою на тот самый мир, с которым он юридически был связан, имел права на его сходе, в его советах, а нравственную связь с ними потерял. В этом процессе экономического роста, на который мы восхищались, видя, что он уподобляет нас Европе, — умерло прежнее единое крестьянство, с богатою и сложною душою, с душою колеблющегося, и на его месте встали две резко очерченные фигуры: кулака и пролетария. Кулак, живя в миру и на миру, есть враг этого мира, он разоритель и душитель вчерашних, да и сегодняшних еще, своих соседей, как хищный зверек, забравшийся в курятник, как паук среди обессиленных мух. Но и в той, другой половине, в половине большей, деревенского пролетариата, обобранного своим братом-кулаком и ("неудобь-сказуемые слова")... тоже уже не бьется это второе сердце, сердце собственника, ибо он не только все потерял, но и не имеет никаких надежд. И он был наш. О, господи, теперь мы на низу положения, — по которому завидуют все, стоящие над нами (следует исторический очерк, сжатый, яркий). Будущее — наше, и притом — все наше, без остатка. Мы — нищие, у которых в наследии царства и миллионы, тогда как те, стоящие наверху, похожи на мота, все состояние которого уже проиграно и только еще пока не взято кредиторм. Мы будем побеждены не два и не пять раз, но все, стоящие наверху, нисколько не менее нас знают и видят, что с каждым часом нас больше

и их меньше, что с каждой минутой мы усиливаемся и они слабеют, до рокового дня, когда счета будут сведены. С открытием Думы покачнулась игра, остановился наш выигрыш. Фабричный пролетариат так же не ждет ничего, как и раньше. Он с нами. В нем всегда, и от начала, билось только сердце пролетария, обобщенного человека, который потом и болезнями дал им все богатство. Совершенно другое дело крестьянин. У него есть юридическое право на кусок земли, — ничтожный, не могущий его прокормить. Но надежда родит мечты. Он схватится за эту Думу, как опору возможного улучшения своего положения, он посмотрит завистливым взглядом на соседа-кулака, и у него зародится мысль: "Я буду так же сыт". Не сразу это; пролетарий будет бороться в ней с кулаком. Но единства сердца в нем не будет, и он более не наш, он изменит и не пойдет с нами, выжидая погоды, обстоятельств. И снова потянутся дни, Дума будет манить, манить и обманывать, обманывать и обнадеживать, — как везде в мире мы видим, и снова надоедающий мужик будет ожидать руки, которая бросит ему недоеденные барские объедки. Так вот в чем дело! Вот перед какой опасностью мы поставлены. Эта проклятая Дума ("неудобь-сказуемые слова") расколола наше единство и вырвало из рук наших победу, привлекая в сторону неопределенных и, конечно, ложных надежд главный стан пролетариев, пролетария земли, деревни. Все уходит в неопределенную проволочку. И проигравший мот снова будет ездить в золоченых каретах, отные вовсе и навсегда ничего не боясь, потому что никто не соберет его векселей и не предъявит их к уплате, хотя векселя и выданы, хотя он их не может оплатить и хотя у него в действительности менее богатств, чем у деревенского батрака. Но все уходит в призрак, фантазмагорию, куторую нет возможности сопоставить с действительностью. Вот отчего, господа и товарищи, вот отчего, друзья-рабочие, у вас нет более ненавистного врага, нежели Дума, ибо это враг реальный и сильный, сильный внушаемою им мечтою и надеждою, тогда как раньше вы имели перед собою гнилые столбы, которые сами валились".

— Во-во! — хлопал и топал мой сосед-вотяк. — Во!! И он пучил на меня глаза, вызывая сочувствие. Поодаль от него сидела, задумавшись, мешаночка, лет 40, в платочке — точь-в-точь каких я видал на "собеседованиях" в зале "Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви", что на Стремянной улице.

— Взгляните, — проговорил мне сосед-родственник. — Это мальчик, ребенок!

— Где?

— Да возле самой эстрады.

Взял бинокль. Вижу, рядом с "председателем" стоит в матроске (детский костюм) мальчик лет 8—9—10, никак не больше. За ним, должно быть, отец, блондин-мужчина лет 32—35. Оба не сели, а уже третий час как тут.

Я вышел. Встретил около стенки Академии знакомого — уже такого лежебоку, который решительно никогда не подымается из дома. Я изумился:

— Откуда?

— С митинга учеников средних учебных заведений. В такой-то (номер) аудиторий.

— Ну?

— Интересно. Какой порядок! Председательствовал гимназист с усами. Тишина, все слушают. "Ораторов" по очереди вызывают или под инициалами, или под псевдонимами. Боятся начальства. Но главное — порядок! Где у нас в России порядок?! Везде — каша, а у мальчишек — система.

"У мальчишек система" — и я ужасно смеялся, спеша домой. Но как бы то ни было, действительно, — это занимательные, новые и содержательные лекции, сказанные не монотонным, мертвым языком, и притом на какие-то чужие, не русские темы, какие я слушал в 1878—1882 году в Московском университете и каковые читали, верно, тут утром этого дня. "Рыба ищет где глубже, а человек где лучше". И мне стало воочию понятно, отчего митинги ввалились в учебные заведения и "tout Pétersbourg" валил на них. Кажется, эту "воду опустили", недосмотрели, — и она потекла "куда следует" или "куда не следует", смотря по вкусам и "убеждению".

12 октября.

СРЕДИ АНАРХИИ

Не подлежит никакому сомнению, что внезапная, почти моментально наступившая анархия составляла главную муку и главную опасность пережитого Россией исторического момента. Власти нет. И никто не знает, откуда ее взять. Никто не понимает, каким образом она могла бы проявиться, как должна начать действовать. Авторитета нет или, точнее, мы присутствовали при моментальном почти, на протяжении какого-нибудь одного месяца, падении всех авторитетов, самых старых, самых обширных. Стало возможным все делать для дерзкого; а для "законного", для человека, держащегося принципа "законности", для людей скромных и самоограничивающихся, стало невозможным что-нибудь, сколько-нибудь значительное сделать. Колоссальная страна с тысячелетней историей на наших глазах в несколько недель и месяцев превратилась частью прямо в разбойный стан, частью в лагерь всеобщего восстания всех против всех — местами реального, почти всюду потенциального, в скрытой возможности и скрытом стремлении. Все не знают, что будет завтра, ни министры, ни общественные деятели, ни обыватели. Эта потеря "кредита до завтра" составляет самую опасную, самую тревожную и мучительную сторону рассматриваемого момента. Что такое? Откуда все произошло? Неужели это серьезно могло наступить "в один момент", как в сказке, как в волшебстве? Ни волшебства, ни сказок не знает история. "Нет действия без причины", и "сила причины определяет величину действия" — вот аксиомы науки. Пусть практические политики нашей минуты ищут средства, как выйти из анархии. Мы постараемся подумать о существовании ее и поискать оснований ее.

Все совершилось, в сущности, страшно просто и страшно понятно. Мы вот в этом октябре месяце пережили перестройку понятия "закона" и "законности"; понятия — не в головах обывателей, а в самой действительности, в жизни, — и затем уже, зависимо, в обывательских

головах. И пока это понятие "перестраивалось", вот на этот месяц, пока длился процесс, — исчезли естественным образом все написанные в России и о России законы, и не появилось еще ничего на их месте, почти ничего. Старые законы, правда, еще значатся в кодексах; но их никто не умеет, не хочет или не имеет силы исполнять, не имеет *одушевления* исполнить, потому что они все потенциально рухнули, а реально, может быть, завтра же будут отменены. Переместился, как это всем понятно, самый источник законодательства: Государственная Дума, новый источник законодательства и законов, еще не собралась, ее в наличности нет, а прежний источник законов самопарализовался, перестал действовать, оробел действовать. Наступила эпоха, вероятно, краткая, подобная тем, какие отмечены у римских историков термином "interregnum"¹: Ромул умер, а Нумы Помпилия нет, старые два консула сложили с себя должность, а другие два на их место еще не назначены. Эти два-три дня, иногда одна-две недели, — опаснейшие, тревожные, когда ничего не предпринималось и, естественно, нельзя было ничего предпринять, когда Рим замирал в страшном бездействии, и были называемы "междущарствием", "междувластием", "анархией"; но в Риме страшная опасность подобного положения предупреждена была правилами действия во время его, выработанными однажды и навсегда народом-мудрецом и законодателем. У нас "междувластие" переживается впервые. Мы не нашли, растерялись. Вот откуда опасность, смятение, подавленность.

— Да соберите же как можно скорее, собирайте сейчас Государственную Думу! Из кого угодно, как угодно, но давайте сейчас выборных от народа сюда в Петербург!!

Вот рецепт выхода из анархии, который хочется бросить людям власти, людям практической политики.

Но продолжу смиренный анализ.

"Закон" всегда у нас был "приказанием". Проходил ли он через Государственный Совет, исходил ли от Комитета Министров, проявлялся ли в виде указа, был ли простым распорядительным актом губернатора, исправника, консистории, земского начальника — все равно, всегда и везде, в дробях и в целом, блистательно и подпольно ("конфиденциальные" циркуляры) он был приказанием и только приказанием. И Россия была "приказною страной" по этому характеру своего управления и происхождению законодательства. Перестройка понятия его заключается в том, что отныне он будет или отныне становится результатом переговоров, спора (партий, вождей партий), некоторой тяжбы, умственной, политической, умной или страстной — все равно: но непременно он будет *договором, соглашением* между двумя сторонами, с тою страшною строгостью, взыскательностью за неисполнение его, какая вообще присуща всяким "контрактам", "договорам", "соглашениям" двустороннего характера, и с постоянной наличностью того, что следит за исполнением договора "другая партия" Государственной Думы, которую и заставили принять закон, которая "уступила, оказавшись в меньшинстве". Только бы собралась Государственная Дума: в месяц, в два,

¹ правитель во время междущарствия (лат.).

в три месяца она даст ряд законов такой строгости и неперенности исполнения, о каких до сих пор Россия и понятия не имела. Но только для этого нужно самой-то Думе быть авторитетною, для чего ей нужно быть только народною, по интеллигентной терминологии — "демократической". Раз в Думу собираются "выбранные" и "от народа", то, очевидно, источником законодательства становится сам народ, толпа народная. Только от невозможности этой "массе" собраться в одно место и в одно время существует механизм Думы. Сама по себе она — ничто; машина без пара и паровика. Пар и паровик — это народ; "множество", "громада". В нем — все санкции, вся святыня, вся власть. И чем народ будет "полнее" представлен в Думе, непосредственнее, матерьяльнее, "ядренее", "материковее" (да будут прощены мне эти понятия-термины), чем "Дума" будет равнозначущее с "народом", — тем она будет авторитетнее, сильнее. Дума по высокому цензу не получила бы никакого авторитета; прямо, ее не стали бы слушать, как и теперешних властей. Отчего, да я думаю, глубоко правы, психологически и исторически правы те, которые требуют выборов подачею голосов "всеобщую, равную, прямую и тайную". Это — само дело говорит. Это крик истории. Никакого вам дела нет, есть ли это или нет на Западе. Что за чепуха "западничество" в такой критический момент, как наш. Мы должны считаться только с психологией страшного теперешнего момента. Среди еще невиданной анархии мы, очевидно, должны получить, должны искать громадную власть, громадный авторитет. Как искать? где его найти? В знатности? Она отвергнута, она осмеяна от Фон-Визина до Щедрина, она показала себя в помещиках, в бюрократах, в инвалидах Государственного Совета. В богатстве? Над ним издевался даже Крылов в баснях, оно ненавидимо в кулаках, в кабаках, в судных кассах, во всем. Богатство в России неуважаемо, почти презираемо, всюду ненавидимо. И вы хотите на нем, на "имущественном цензе" воздвигнуть новый авторитет! Его бы прокляли, против него возмутились бы, его бы истребили.

Дайте власти — страшной, большой, веруемой, святой! Народ только "в себе" не изверился, — ну, по той простой психологической аксиоме, что "себе" всегда веришь, в "себя" последнего перестаешь верить; что разуверившийся "и в себе" обыкновенно давится в петле — ибо что же ему делать еще? Последнее прибежище. И народ стал перед ним. Отсюда громадный инстинкт и громадная если не политическая, то психологическая правда с самого же начала понесшегося лозунга: "подача голосов (при выборах) всеобщая, прямая, равная, тайная". "Тайная — это условие, чтобы не подкупали, условие искренности, правды, изгнание интриги при выборах, гадкого "политиканства" и "пронырства партий". Три остальные условия просто суть качества, признаки, в сущности, одного условия: "выборы должны быть *народные*", "от громады", "от Государя-Народа". И только! Кто против этого? Только бес, доктринерство, профессорство и вечные ссылки "на матушку-Европу". Но, ей-ей, мы такой миг теперь переживаем, когда Россия готовится сказать, да и уже чувствует, говорит: "Я — сама себе голова. Что мне Европа? Я и сама не Азия, и у меня — душа, а не пар. Позвольте пожить своим умом, а то на задворках у Европы я до нищеты и срама дожила".

Исключили почему-то из выборов женщин, когда это так глубоко не исторично, не психологично, не своевремененно, не "по-русски", и опасно именно сейчас: ибо посчитайте-ка, какая доля теперешнего движения была возбуждена и совершена женщинами! Но повторяем и заключаем: все, кого вы выбросите из выборов, останутся вне интереса к Думе, не дадут ей того тайного, психологического согласия и священной санкции, в получении которой теперь заключается весь интерес и трагизм момента. "Что не в Думе — то против Думы": вот аксиома, на которую все должны оглянуться. Чем выборы будут ближе "к тайной, всеобщей, равной и прямой" подаче голосов, — тем Дума будет (повторяю свои термины) "ядренее", "материковее", "народнее"; тем более надежд (а в них все дело), что, увидев ее, народ скажет, все и каждый скажут: "А, вот — я! Теперь — не проведешь! Это — мы! Снимай шапки!"

Только *этого* и надо! *Одного* этого! Больше ничего!

Сущность момента — анархия. Сущность задачи — власть. Власть не юридическая, не оружия: власть доверия, уверенности, субъективной у каждого. По этим качествам "искомой власти" она должна быть народной.

* * *

Продолжим же еще далее анализ. Отчего, когда идейно вырвано было "зерно авторитета" у всех сущих законов, — не сохранилось, однако, никакой любви к ним? Отчего у всех проявилось странное желание "заявить беспорядок", "начать сейчас на глазах всех никому и ничему не повиноваться", — что и составляет почти сущность переживаемой трагедии, так сказать, художественный фокус видимой картины?

Да "законы" эти все ненавидели и презирали ранее октября и августа 1905 г. Печать ненавидела "печатные законы", школа (не в лице учеников одних, но и учителей всех сплошь) — "школьные законы", даже бюрократия — "бюрократические законы", свои штаты, чины, ордена. Сам я был около 15 лет чиновником и не видал такого чуда-чудного, дива-дивного, чтобы чиновник глубоко не ненавидел и не презирал тот стул, на котором он сидит, ту комнату, в которой сидит, и весь этот "антихристов департамент". Например, учителя гимназий (а я перебивал учителем в трех) называли учебный округ, т. е. канцелярию попечителя учебного округа, — "ордоу" (татарскою). — "Будете в орде?" — спрашивали учителя, едущего в Москву на праздники. — "В орде не был", — говорил он, вернувшись с каникул. Все условно знали, что это значит. Чиновники контроля, где я служил, все знали, что сущность контроля заключается в прикрытии казнокрадства: именно в выработке правил и в тщательном надзоре, чтобы казнокрады ни в чем не отступали от строжайших и единообразных для всей Империи процессуальных форм, по каким разорение страны и государства совершается, чтобы они воровали "по форме", а не без формы, "по закону", а не без закона, "в установленном порядке", а не как-нибудь — что, конечно, обезопасивало грабеж. Ибо раньше он походил на контрабанду, а как установился "контроль с делопроизводством", то грабительство село в вагон и поехало с "контрольным билетом". Чиновники это знают. Но они — патриоты, действительно, без фальши, свидетельствую и клянусь!

Можно ли им не презирать свою сферу? Для учителей учебное ведомство было — "орда", для контрольных чиновников — "Панама". Не знаю, как в суде и управлении. Об этом писал Щедрин. Вдруг с октября месяца появилась физическая возможность "заявить свои чувства". Ну, и "заявили"...

Просто плюнули — все и на все, "всяческое и на всяческое", как говорится в Писании.

Почему же все ахнули? Чему все ужаснулись, вознегодовали? Отчего никто не "ахал" раньше, — в контроле, о котором все знали, что он презирается контролерами, об учебном ведомстве, которое ненавидели учителя и ученики? Да знаете ли, мне кажется — все и дожидались октября 1905 года. "Теперь нельзя плюнуть — когда-нибудь". И садился чиновник за карты или амурничал с женой. Но, будьте уверены, все эти садившиеся за карты чиновники отлично понимали, в чем дело и чему они служат. Да я все сразу объясню гг. писателям: было ли такое цензурное правило, и цензурная эпоха, и "главноуправляющий по делам печати", которых единодушно все писатели и журналисты, от репортера до Тургенева, не презирали, не ненавидели и не боялись? Не было. Все ждали "октября 1905 г.", все терпели и думали: "Ужо я тебя", "ужо мы вам", "когда-нибудь сквитаемся". Вдруг это стало возможно, не активно, а пассивно. Не сговариваясь, не соглашаясь, ибо сговаривались-то сто лет и давным-давно все и обо всем согласились, через журналистику, от Тургенева до репортера — все и разом "оказали неповиновение", от стрелочника на Харьково-Николаевской жел. дор. до чиновников Государственного банка в Петербурге. Чиновники наговорили дерзостей министру финансов Коковцову, машинист не стал на паровоз, чтобы вести министра путей сообщения из Москвы в Петербург. "Всех нельзя уволить, нельзя уволить в отставку всю Россию". Очень простое рассуждение.

Секрет в том, что одна мысль прошла по всей России. Опасность и трагизм, не предусмотренный бюрократами, заключался в возможности всей России объединиться в одном чувстве. Это чувство — негодование, презрение к самой бюрократии.

Есть масса людей, глубочайше негодующих на теперешнюю анархию. Их нельзя ничем оспорить, никак остановить, кроме одного магического слова: "А что было до анархии?" При этом вопросе, если вы говорите в то же время с человеком честным, искренним, любящим Россию, — у него опустятся руки, и, горько отвертываясь от вас, он скажет: "о, да, знаю — было еще хуже! все чего-то ждали, безнадежно ждали, все умирали: и не виделось исхода из этой медленной смерти".

* * *

Так анархия только проявила себя в октябре 1905 года, а на самом-то деле мы весь XIX век, приблизительно начиная с Отечественной войны 1812 года, уже живем и жили в анархии. Анархист был Грибоедов, анархисты Лермонтов и даже кроткий Пушкин; даже Кольцов был анархист: вспомните-ка его песни о деревенских богатеях-мужиках; чудовищный анархист был Гоголь, каких еще земля не рожала; и чем дальше, тем больше, тем ярче, тем злобнее, если не всегда талантливее. Вся

русская литература XIX века есть "анархическая": ну, с этим ли движением было справиться русскому чиновничеству, бездарному, копеечному, подкупиному, продажному, льстивому, пугливому. Я говорю не о низах чиновничества, которые тоже были анархисты, вслед за литературой и объединенно с литературой, а о верхах его, которые "литературы не читают", "глупостями не занимаются", сидят в высоких "Советах" и "Комиссиях" и "сочиняют законы для России". Достаточно было шевельнуться, довольно было повести плечами гиганту-России, чтобы вдруг все казавшееся "мудрым", "авторитетным" и "властным" до сих пор — оказалось в растерянном, мальчишеском положении. Буквально карапуз-мальчик барахтается в луже грязи, лежит на спине, кричит немощно о помощи: вот впечатление от наших властей за сентябрь—октябрь 1905 года.

Как могло все случиться? Был "закон-приказание", закон "без возражений", закон "без критики и критикующего". Естественно, что он давался "втемную", "на авось" — при всех и всяческих комиссиях, которые только обирали денюжки с России. Естественно, что эти законы "на авось" и "втемную" всеми были ненавидимы и презираемы, и все только дожидались случая, дня, когда им можно будет перестать повиноваться. Не было вовсе любимых законов! Ну, скажите: знает ли кто-нибудь, может ли кто-нибудь указать хотя единый закон, который соединенно вся Россия любила бы, чтילה, обожала, гордилась им и умилялась на него, ссылаясь: "Да, все у нас грустно, но есть вот какой закон! вот какой принцип нашей жизни! вот какая идея, положенная в законодательство". Кажется, такой "идеи" вовсе нет у нас в законодательстве, а из принципов, кажется, есть только один: "освобождение крестьян с землею" и "гласный суд". Но ведь и они, особенно первый принцип — искажен, урезан, смят. Ни его нет, ни одной любимой строчки в законодательстве! Ни одной любимой черты! Так дивиться ли анархии? и спрашивать, откуда она "моментально" взялась? Да мы уже не момент, а сто лет в анархии — подавленной, задушенной! Но вот глотнуло горло воздуха: все встали и закричали.

Нет ничего любимого в жизни, в действительности! Легко ли это сказать!! Да пусть законом будет сейчас сказано: "Ей, мужья, побросайте своих жен! жены, побросайте мужей! родители детей и дети родителей". Сколько ни кричите — ничего не произойдет, сколько ни "позволяйте" — никто позволением не воспользуется. Почему? Да очень просто — связаны все любовью, привязанностью, уважением. Пошлые наши, воистину пошлые законы все делали вид, что заботятся о "целости" семьи, боятся "анархии" в ней, и установили для нее паспортные и другие правила, введшие тюрьму в естественный природный рай (где удалась семья). Но вот, снимите все правила: и, конечно, никто не двинется с места, все останется по-прежнему, по-любимому, по-уважаемому, по-чтиму. Говорю о правиле, не об исключениях, которые и теперь "разбежались", при всяческих запорах и замках. Игак, где любовь — там и порядок; где идеал — там и стройность; где уважение — там и покой. Чиновники о семье заботились, а вот себя и не устроили. Точнее, пытались пролить и в семью злобу, разделение, формальность, юридичность, да и не смогли этого, ибо в семье "матушка-кровь" ходит и все соединила, слила в гармонию, идеал и порядок. Но чиновники и богатый

русский организм, огромное народное тело попробовали связать "регламентами", "уставами о службе", "чинами", "орденами", "пенсиями", всем без-идеальным, всяческими своекорыстными мотивами, действуя на честолюбие, денежную жадность, возбудив все гадкие мотивы, никогда не рассчитывая ни на какую дружбу, верность, любовь, идеал. Что такое "чиновничество", как не деятельность "без идеала"? Что есть чиновник, как не "человек, из которого вынута душа"? Вот определение всего нашего государственного строя. Знаете ли вы смысл поднявшейся анархии? Загляните за проявления, всмотритесь в глубь вещей: все идеальное поднялось против всего без-идеального, а вождь восстания — литература, от Хемницера до Толстого. Вот очерк положения en grand, без подробностей. Мы живем в мучительные дни. Но, кажется, все знают, уверены, убеждены: "теперь смерти не будет". А еще в 1903 году этого было вовсе не видно; все именно думали: "идет смерть, какая-то вонючая, затяжная, 1000 лет издыханья после 1000 лет существования кое-как", "из кулька в рогожку"; хороши эти наши поговорки народные! Анархия нравственная уже живет в наших пословицах народных, в заувывных песнях, а не в одной "образованной" литературе. Русский мужик так же анархист, как Гоголь. То же уныние. То же — ни к чему уважение. То же надежда: "там, на небе, будет лучше".

Да взять только наше народное учение о "невидимом Антихристе", т. е. учение, пламенно объемлющее миллионы деревенских сердец, что "все действительное, все нами управляющее, все законы даны оборотнем-антихристом, все есть печать сатаны и дело его". Это анархизм почище бакунинского... И он пламенен, испулен; за уверенность в этом люди шли в огонь! Хороша же действительность, поддерживавшая, по крайней мере не рассеявшая 200 лет эту уверенность!..

Ни влаги жаждущему, никакого утешения, никакого идеала, — это как народу, так и в сторону "образованных". Власть всегда "жалела" черный народ, т. е. презирала; и "обещала" — с твердым знанием, что никогда этот "дурачок" не взыщет за неисполненное обещание. "Образованных" она ненавидела, всегда и ярко, по той простой причине, что "образованные" все видели и знали. Нисколько не диво, что поэтому в один счастливый или "черный", что ли, год "образованные" и "мужики" поняли друг друга: и стрелочник на железной дороге действует "с силой сатиры Щедрина". Как только произошло это соединение, начало происходить, — а чиновники всегда этого как огня боялись, — так можно сказать и сгорела "сухая" Россия, разом и вся, все в ней вместе и порознь. Чиновники остались без отечества, без управляемых, без народа; просто — одни; теперь что они ни приказывают — никто не слушает; нет кредита "до завтра". Просто приходится подать в отставку. Ведь что произошло в октябре месяце: сперва население "потребовало увольнения от службы", предоставив чиновникам получать по-прежнему жалованье, распределять между собою ордена, чины и пр. Но так как чиновники "без отечества и народа" представляют необыкновенно дикую вещь, то чиновничеству осталось только растерянно сказать: "Нет, пусть народ остается — лучше я выйду в отставку". И вышло. И разошлись. Чиновничества, в сущности, нет; это уже не власть более, не авторитет; так, пописывает кое-что, "приканчивает оставшиеся делишки". Но и народ буквально без организации, без закона, без рельсов:

с пламенными идеями вроде того, что "все было от антихриста", но что где-то "есть Бог и Его правда", да только "как это найти". Такою же "нетовщиною" (название одной нашей секты) пропитаны и литература, и общество. Об этом петы все песни, рассказаны все рассказы; сводились к этому все рассуждения. Читайте нашу литературу, и народную, и "образованную".

* * *

Каким образом огромные массы народные, во всяком случае простирающиеся до многих тысяч, верили какому-то невидимому правительству, даже имен которого, вероятно, многие из повинующихся не знали? Пожалуй, я соглашаюсь на все порицательные эпитеты этого правительства: что оно "действует злодейски, самовольно, нагло, во вред всем"; не буду спорить, что это просто "негодяи, мошенники и жиды". Я его не знаю, и защищать его не могу. Мое дело — психология и история. Вот, однако, на что я должен указать, что это правительство "свое" у повинующихся, ибо, напр., хоть в "союз союзов", конечно, вступили делегаты всех порознь "союзов", а в "совет" такого-то "союза" — ну, хоть наборщиков или фабричных — вступили представители и фабрик, и наборщиков. Принцип, диаметрально противоположный чиновническому: "министр назначил директорами департаментов того и этого", а "этот директор департамента назначил в начальники отделений этого и того" и т. д. У видимого правительства — все "назначение", и большею частью "приятных людей", непременно — "людей почтительных и исполнительных". Министру хорошо, России плохо. Ведь не ей "приятны", не к ней "исполнительны и почтительны" директора департаментов. У рабочих — совершенно иначе. Все — "делегаты"; везде, в каждом кусочке тела действует "прямая, равная, общая" и пр., "без различия пола, национальности и религии". Тут и татарин, и русский — в одной куче; и мужик, и баба — подают голос. "Делегаты" почтительны к выборщикам, а с товарищами, т. е. делегат с делегатом, готовы зубьями сцепиться. Недаром "спорят до трех часов ночи", и спорят не как в наших комиссиях — "почтительно", а можно сказать до крови, до зуботычин. Скверно им, да хорошо внизу, "выборщикам". Так все выше и выше, по ярусам выбора. Для стрелочников и машинистов во всяком случае это "невидимое правительство" пришло не как барин; оно каждому "свое", через "прямую, тайную" и проч. То есть оно, произойдя диаметрально противоположным путем сравнительно с чиновничеством, и принесло плоды диаметрально противоположные: повиновение, притом охотное, — хотя оно очень трудно, ибо бьет страшно по карману рабочих; принесло страшную дисциплину и порядок среди "анархичной и недисциплинированной России". Слишком понятно, что всего несколько тысяч человек, так сорганизовавшихся среди дезорганизованной России, — заняли в ней положение, как движущееся сердце среди инертных членов человеческого тела. Ведь что такое "правительство" в существе и идеале? Тоже "несколько тысяч человек, связанных дисциплиною и порядком", которые управляют в целом народе в 100 миллионов голов!

Когда дисциплина в первом ранге рассыпалась, тогда вдруг вышла наружу вторая власть, в которой дисциплина уже долгие годы зрела, подготовлялась, складывалась "подпольно"...

Тут что же сделаешь? Скорее — Думу, и лучше всего на основе "тайного, всеобщего, равного" и проч. Думу как можно демократичнее, шире и свободнее поставленную, около которой все "союзы союзов" и "советы делегатов рабочих" оказались бы как капля около моря. Но около моря — непременно *однородного*. Ибо только однородное может *поглотить однородное*. А в этом — все дело, вся задача минуты и истории. Народа ли, "народного" ли бояться России? Нелепо, чудовищно. Для кого же мы живем? Пусть громада и выделит весь сок свой в Думу: тогда у нас и получится авторитет и власть, которых откуда же взять Витте, министрам, единичным общественным представителям, которые и отказались от "портфеля министров" по тому простому соображению, что эти портфели суть пустые. В самом воздухе нет власти, авторитета. "На нет — и суда нет". Но уторопим события, чтобы скорее выделился "сок народный" и сформировал новую физиономию России, — голос, руку, хороший бас и мастерицу-руку.

Ноябрь 1905 г.

ГАМЛЕТ В РОЛИ АДМИНИСТРАТОРА

— Бедный Йорик!
"Гамлет"

Характеристика демократического и освободительного движения, сделанная К. П. Победоносцевым в английском журнале "The Cosmopolitan", заставила нас вспомнить о прекраснейшем критическом этюде И. С. Тургенева — "Гамлет и Дон-Кихот". "Гамлеты рассуждают, а Дон-Кихоты действуют", — писал знаменитый романист. Два эти типа — мировые. И каждый из нас принадлежит, бледно или ярко, к одному из них.

К которому принадлежал К. П. Победоносцев? Уже по тому, сколько он писал и пишет даже до сих пор, можно ответить сразу же, что он принадлежал к типу Гамлетов. Великий политик Фридрих II Прусский сказал когда-то: "Если бы я захотел разорить какую-нибудь страну, я отдал бы ее в управление философам". Никто не сомневается, что Гамлеты суть философы, и никто не станет спорить, что приложимое к стране приложимо и к части страны, к области или сфере управления. К. П. Победоносцев прекрасно писал и пишет, и уже можно а priori предполагать поэтому, что он вяло действовал или совсем бездействовал в порученной ему "области". И не только бездействовал сам, что было бы еще с полгоря, но он всегда и всею своею "говорящею фигурою" ложился поперек всякого живого течения воды, всякой инициативы третьих людей, может быть, неспособных так хорошо писать, как он, но хотевших, иногда безумно хотевших что-нибудь сделать, как-нибудь начать действовать.

Он пишет, для иностранцев, о той меланхолии, которая распространяется от либерализма, демократизма, рационализма и вообще от разных "измов". Но более всего, думается, навевается меланхолия старостью, и не столько физиологическою, сколько этою духовною, которая враждебна по существу всякому делу, ненавидит каждое движение и шум вокруг себя, и вместе с тем, если она сопровождается умом, не может не чувствовать внутреннего угрызания совести от сознания этой природной, неодолимой и столь все-таки грешной праздности. Давид, столько воевавший и основавший целое царство, писал одушевленные псалмы; напротив, Соломон, загадывавший только мудрые загадки царице Савской, написал меланхолический "Екклесиаст". Труд — это бодрость; безделье — меланхолия. И личная его, К. П. Победоносцева, меланхолия, яркая не только теперь, но и всегда, объясняется поразительным бездельем, в котором он провел время своего "духовного" и государственного управления и влияния, почти так же долгого, как

Соломоново царствование. Напротив, "сожалеемые" им демократии и свободные страны, как Англия, Германия, Франция, вовсе не так безнадёжны в смысле состояния духа, как это ему представляется под давлением субъективных иллюзий.

Но есть меланхолия личная, и до нее мало кому есть дела; и есть меланхолия целых стран, или вот "департаментов", в которой мы доискиваемся вины и виновных. Голос целой России, и уже много лет, указывает на фигуру нашего "правительствующего Гамлета", печатавшего изящные книжки на великолепной бумаге в Синодальной типографии, как на самого главного виновника не только надуманной меланхолии, но и настоящей грусти, а наконец и реально — грустных дел, пережитых нашею родиною. Он со своим "быть или не быть" и монологами à la "бедный Йорик" вечно ложился "поперек" всякого движения, имевшего намерением убрать самый очевидный навоз из-под носа. Кто не помнит, в начале царствования Императора Александра III, инцидента с командующим чуть ли не военным округом, помнится — Барклай-де-Толли, который вынужден был оставить службу оттого, что, женатый на православной и сам будучи лютеранином, крестил детей своих в лютеранство же, вероятно, не без согласия их матери, русской? Пусть оба родителя решили веру ребенка: ее перерешило духовное ведомство, во главе с Конст. Петр., который с жадным досмотром заходил в спальню и склонялся над детскими колыбелями. Может быть, Россия и приобрела лишнюю православную душу, лишнего "прихожанина нашего прихода" и плательщика "за наши требы"; но сколько потеряла Россия, когда ее общество с грустью и вся Европа с негодованием увидела это сухое чиновничество, вторгающееся в дома и допрашивающее каждого: "Как ты веришь?" Теперь Конст. Петр. пишет, что "свобода и парламентаризм неспособны разрешить глубочайших проблем" более или менее гамлетовского происхождения и характера, равно, что "интеллектуальный прогресс народов недостаточен для того, чтобы обеспечить их счастье". Разного излишнего "счастья" и более или менее экзотических "проблем", какими, напр., наполнен "Московский Сборник", они, может быть, и не дают и не разрешают, да и не до этого занятым людям; но вот эти "жалкие приобретения" цивилизации могут защитить веру ребенка по вере отца, могут предупредить вторжение полиции, хотя бы и духовной, в мою спальню и, словом, обеспечить покой и хотя бы какое-нибудь удобство личного существования. Об "этих пустяках" Конст. Петр. не беспокоится, потому что он их всегда имел, а мы беспокоимся, потому что этого не имели и не имеем. Известно, что Гамлет был принц и что до "демократии и парламентаризма" сановники государства чувствовали себя "как принцы": их праздное "быть или не быть" и "бедный Йорик" объясняется больше всего чрезвычайным удобством кресел, без гвоздей и шипов, на которых они сидели. Но что же за дело нам до этого и до неразрешимых "проблем" "Московского Сборника", на такой хорошей бумаге, когда у нас спины изодраны, кошельки обобраны, вера не своя... И за такие благодеяния нас еще приглашают читать книжки на веленовой бумаге и благодарить авторов за доставленное удовольствие! Похоже больше на Нерона и его рабов, чем на братьев и братство "в Иисусе", которое нам преподносится из "Победы, победившей мир — К. П. Победоносцева" (какое заглавие! и такое сочетание с фамилией автора!!).

Парламентаризм и тому подобные "ненужные вещи" существуют не для того, как учить К. П. П., чтобы "рассеивать безнадежный пессимизм" и вообще изображать для меланхоликов "игру на арфе Давида", которая, как известно, должна была разогнать и не разогнала тоску Саула; парламентаризм имеет более простые и совершенно достижимые и необычайно нужные задачи: например, спросить, как израсходованы были такие-то деньги? или отчего такой-то сановник, получающий такое-то жалование, произносит монологи над черепом Йорика, а, например, не преобразует и не очищает заведомую, доказанную и для всех очевидную гадость подведомственных ему духовных консисторий? Почему, вторгаясь в не подчиненную и не отданную ему "под надзор" учебную область, он изгоняет оттуда земство и соседнее министерство, и сейчас же на месте этого чужого труда водворяет свое еkkлeзиастическое: "суета сует, ученье не нужно!", а вовсе не какую-нибудь положительную и свежую работу, к каковой по качеству своей гамлетовской природы от рождения и вообще никак и абсолютно не способен?! Без конституции обо всем этом и спросить невозможно, а ведь это — мы, русские, это наша дорогая Россия, гниющая в зловонии, и спросить-то куда как надо, да и куда как мы вправе. "Не спрашивайте! Читайте *"Московский Сборник"*! Никакой другой науки не надо! Иначе заразитесь пессимизмом". Слишком по-нероновски. У нас не пессимизм, а настоящее горе. Хлеба нет, денег нет, заработков нет. Кстати, о Нероне: ведь и тот любил музыку, читал "Илиаду" и вообще был художник. Художественные натуры удивительно бывают склонны к жестокости. В этом смысле о Гамлете говорит и Тургенев.

Бедная Офелия, т. е. бедная Россия! Она все тонула и тонула не в прекрасной реке, а в зловонном болоте, пока "принцы", заведывавшие судьбой ее, печатали хорошие книжки на хорошей бумаге и иногда пописывали "даже для иностранцев".

А Конст. Петр. пишет: "Мы видим, что большинство культурных наций впало в бессознательный пессимизм — истинное следствие крайностей культуры. Разуверившиеся, распустившиеся, обессиленные мужчины и женщины в конце концов отказываются от всех высших духовных стремлений, придавая цену только тому, что действует на чувства и что приносит положительную материальную выгоду и пользу. Большинство этих жертв новой культуры страдает от особой духовной неврастении и полным отсутствием идей".

Да, изнежилась Россия. Лежит на розах. Когда министр о ней так страдал!

О "ПЕРЕЖИВАНИЯХ" И "ПЕРЕЖИВШИХ"

В конце концов в высокой науке есть столько наслаждения, сколько не дает ни поэзия, ни музыка. Ибо в ней есть и музыка и поэзия, но сверх этого возбуждения мысли, подбором фактов, их группировкою наука до того возбуждительно действует на душу и вместе уму слушателя открыва-

ет такую ширь нового понимания, что только здесь человек чувствует себя насыщенным, тогда как, слушая музыку или читая поэзию, он чувствует себя или только встревоженным, или уже слишком пассивным. Такое впечатление испытываешь при чтении лучших исторических книг. До XIX века истории, в смысле великолепной науки, вовсе не существовало. Были рассказы, "изображения", документы; были компиляции и анекдоты; были декламация и фальшь. Но после великого потрясения, пережитого в конце XVIII и в начале XIX века всеми европейскими народами, первые умы времени взялись за тему: "Ход исторической жизни народов", — и создали такие методы изучения и объяснения, так подобрали документы, так оттенили события и заглянули в душу их, — что создалась действительно великая наука, около которой Титы Ливии и Тациты оказались только "хорошими прозаиками, необходимыми для школьного изучения".

Особенно удивителен прием новой истории объяснять явление непременно из самого себя. На этом пути в своих умозаключениях история, можно сказать, поднимается плечом к плечу до древних пророков и пророчеств. Иеремия плакал, положим, над "развалинами Иерусалима": но историк, не пролив ни единой слезинки, а только подбирая и подбирая подробности, достигает почти большего, чем Иеремия: он заставляет плакать своего читателя или вызывает в нем те ноты негодования и сожаления, какие звучали у пророка. Историки, может быть, не религиозные люди; но история, именно в новой обработке своей, есть истинно религиозная наука; и историки, будучи мозаистами и мыслителями, людьми рассудка и холода, — воодушевляют и воспаляют слушателей и читателей.

"Всякое явление имеет в себе свои причины"... И историки подбором мельчайших черт, подчеркиванием теней и полутеней дали почувствовать читателю молодость исторических явлений и их старость. Явилось понятие "переживания" и "выживания" в применении к таким фактам, как римская республика или французская монархия, как реформация или католичество, как "цветущая Греция". Явились понятия "наследственности", "прилипчивости" и "заражения" в сфере идей и настроений, которые стали рассматриваться как живые духовные организмы. Каждое поколение оказалось не творящим свободно следующий шаг родной истории, а только наследником болезней своих родителей и хозяином полурастраченного имущества, или, напротив, имущества — которое "в росте". Выступают то молодые поколения, то — старые, уже от рождения старые, с инстинктами старости, с старыми и слабыми силами. Напр., в последние десятилетия XVII века и в первую половину XVIII все лютеране были и рождались уже стариками; явились книжный протестантизм, ученый протестантизм, явилось ханжество в протестантизме. А в пору Лютера все были, не исключая ученого Меланхтона, точно гимназисты: гибки, живы, самонадеянны, наивны, верующи, исполнены суеверий, мечтательности и фантазии. "Свободные мыслители", скептики, рационалисты — были молоды с Вольтером и около Вольтера; но "скептики и рационалисты" половины XIX века уже все тянули назад, это были врожденные старики, это была гибнущая аристократия, умирающая в XIX веке так же, как родовая аристократия умирала в XVIII веке. То же, что в сфере идей, было и в сфере учреждений, законов, характера

управления. Империя, эта бранная власть, молодечество шумных лагерей, была юна при Цезаре и Августе; она была тогда мечтательна, поэтична, исполнена баловства и озорничества, как всякая молодость. Напротив, уже по стальному слогу Тацита мы видим, до чего все республиканское в это время заостенело, отвердилось; вылившись в великолепные формы, заснуло и умирало в них, как умирает барин, великолепный и в самой своей неподвижности, лежа на ложе смерти. "Стальной слог"... ну, разве этим слогом можно представить себе написанными впечатления юного Анахарсиса, путешествовавшего по Греции, или "Письма русского путешественника" Карамзина?! Стальной слог, дивный, точно из чекана, — всегда это язык старика, много видевшего, бездну испытывшего и которому ей-ей "пора умирать": так и думаешь это о республиканцах и республике, читая Тацита. Нет более самопротиворечивой книги, самоопровергающей. "Все приходит и все проходит", — говорит Екклезиаст. Или, как, взглянув на свое время, промолвил 30 лет назад наш Достоевский: "Проходит лик мира сего"...

Великие исторические институты или учреждения, как римская республика или французская монархия, целые системы убеждений, как католичество или даже как рационализм, как материализм или позитивизм, умирают "естественною смертью", без внешних толчков или с самыми незначительными внешними подталкиваниями: просто от того, что сказали все, что могли, что сделали все, к чему были способны. Вера "вырождается" в ряду суеверий: позитивизм просто становится туп и не впечатлителен; рационализм и скептицизм превращаются в гадкую поверхность блестящего остроумия и пустых суждений. Или республика "выродилась" в охлократию, порочную владычественную чернь; а французская монархия — в пансион старых кокоток, синекур, пенсий, в пудру и парики, в истощенные нервы и бескровные мускулы. Все перестало "работать для человечества": а, вот мы нашли наконец критериум молодости и старости; все просто "мешает жить человеку". И "нужда", этот нищий Геркулес, этот мещанин, обирающий наследства ото всех аристократов, серенькая, обыкновенная, обыденная "нужда", не одна физическая, но и духовная, — сталкивает покойников в пропасть. "Рационализм" при Вольтере помогал писать книги; после Канта и Шеллинга он стал мешать писать книги, просто делал авторов бездарными, а книги их — скучными, неинтересными, глупыми. "Республиканцы" при Цезаре были уже трусливы (армия Помпея), империалисты — храбры. Католичество перед реформацией уже только умело таскать на костер (Саванаролла), а само ни во что не верило (Александр Борджиа, да и вообще папы-гумансты). "Нужда" хорошо писать книги, выигрывать победы, помолиться в болезни — и столкнула в пропасть Дидро и д'Аламбера, Иннокентия III, Сципионов и Катонов. Ко всем этим великим людям или, в основе их к великим институтам и учреждениям, подошел "человек", просто озябший, не евший и довольно темный человек; и попросил "нужного". Нужного в ту пору, к тому времени не дали; фатальнее: его уже не могли дать, ибо "дали все, что могли", "feci quod potui"¹... Тогда темный карлик толкнул их ногой, и они полетели

¹ Я сделал все, что мог (лат.).

в бездну. "Карлик" — это читатель книг, в последнем анализе решающий судьбу идей; это — солдат Цезаря или республики, домовладелец, лавочник и ремесленник "первой республики" или "последнего королевства"... "Карлик" — это все, всё; слепое человечество, ужасное, жалкое, могущественное: и которому, увы, служит и "да послужит" все гениальное, все гении.

Карлик — потребитель, гении — поставщики. Нет "потребителя" — закрывай лавочку; закрывай ее все равно Шиллер, Байрон, Ньютон, Иннокентий III, святые, все. Просто — "не нужны". И судьба истории решена, решена судьба монархий, философий, религий, даже религий! И святость "да будет уместна", и героизм, и подвиг, само мученичество. А когда все это "не уместно" более — тогда ступай под крышку, в ночь...

* * *

Читатель удивится, зачем я говорю такие непрактические вещи в столь мутную политическую минуту, как теперешняя русская. Но я о России-то и хотел говорить, о теперешнем ее моменте, который надвинулся "не предреченный", "неизреченный". Без пророков и логики. Но с страшною силою, под которую все гнется. История, однако, учит, что "нет силы без основания", и учит еще более плачевному, что "гнется только то, что уже в самом составе своем гибко, расшатано, смертно" и, как она же еще горестнее подсказывает, — "не нужно".

Несется тысяча упреков в "безвластии", "безволии", "парализованности" власть имущих; указывают на их возраст и говорят: "Все старики". Между тем уже С. М. Соловьев в своих посмертных "Записках", памятник замечательного ума, говоря о начале царствования императора Александра II, объясняет печальное и нисколько не нужное по поспешности окончание Крымской войны и заключение Парижского мира полною неспособностью всех сплошь окружавших Государя лиц; *всех*, — он подчеркивает это, что не было *ни одного* даровитого, энергичного, способного подать умный совет лица. Читая две книги: "Дневник" Никитенка и "Жизнь и труды Погодина" Барсукова в той части, которая касается высших государственных лиц и (это особенно надо заметить) высших государственных учреждений, — поражаешься: какими глупостями они все время были заняты, т. е. по каким пустым мотивам действовали, к каким мелочным целям стремились, какими ничтожными делами занимали все время своей жизни, дни, месяцы, годы. Мы не говорим о крупных реформах начала царствования Александра II, которые были вынуждены жизнью и навеяны литературою, и ни в каком случае, ни в малейшей степени не зародились в "государственном уме" наших сановников; да что сановников — учреждений!! Чем, вот на наших глазах, занимался три царствования Государственный Совет? "Прения" об учебной реформе, — ей-ей еще ничего не помнится, т. е. нет такого, что не забываемо и помнил бы всякий гражданин в каждый свой час. "Витте" — это золотая валюта и винная монополия, сейчас вспомнишь. Даже о Татаринове вспомнишь — преобразование контроля. Но Государственный Совет? Надо заглянуть в его высокомерную, с шиком напечатанную "Историю" (к юбилею!!!), чтобы узнать о его "делопроизводстве". Скажут, что Государственный Совет существует больше "для пен-

сии”, — и чтобы было куда посадить по “увольнению” с действительной службы. Но тогда зачем же имя, необыкновенное имя, столь обещающее, столь громкое не только для России, но и для Европы: “Государственный Совет”, “Conseil d’Etat”, в некоем смысле олицетворение России, “зерцало” ее... Но войны при Помпее уже не сражаются, а при Аврелианах и Нумерианах бегут от варваров: вот далекая аналогия страниц Соловьева, Никитенка, Барсукова и “юбилейной истории” Государственного Совета. Не действует, не живет, — как рационализм при Шеллинге или позитивизм, ну, хоть в наши дни. Если Государственному Совету не поручается или он не имеет своего задачею никакого большого дела; если он рассматривает, напр., “дела” об учреждении должности помощника исправника в таком-то уезде (помню до яркости точно одно “назначенное к слушанию” там дело), то отчего же туда и не назначать старичков? Если приблизительно такими же вопросами занят и Военный Совет, и Совет адмиралтейства, то, позвольте, отчего же туда не назначать старичков? Вот Государственная Дума, по-видимому, будет заниматься другими вопросами, — так туда никто и не пошлет “старичка для получения содержания”. Ну, а малоземелье крестьян? А переселенческий вопрос? Этим занимаются газеты. И, напр., редакторы их в силу нужды заниматься такими государственными вопросами и ищут сотрудников побойчее, поначитаннее, клонутся в университет, поищут среди земцев: “где талант и молодость?” А, вот в чем дело! Так, значит, высшим нашим учреждениям давно не надо ни “таланта”, ни “молодости”, потому что они суть *potina*¹, а не *res*², потому что они только номинально якобы “государственные” учреждения, а по сюжету забот своих и интересов, всей своей думы и всей своей заботы — это просто уездные управы благочиния, вроде как “мужички собрались, почесались, прошамкали такое, чего никто не услышал”, и “разошлись”. Так то — деревня, а то — Россия.

Кто же в России государственными делами занимается?

Ну, как кто: в газетах — “передовики”, в журналах — по “внутреннему обозрению”.

— Нет, серьезно?

— В самом деле серьезно. Серьезнее серьезного, что в государстве и даже до некоторой степени мировой державе государственные люди были большие любители литературы, газет, журналов, впрочем, больше — повестей и стихов; а государственными делами занимались, о них думали, о них в самом деле болели умом и сердцем, наконец, из-за них ссорились и ненавидели друг друга фельетонисты и журналисты. Причем и они-то занимались этим к большому неудовольствию “настоящих государственных людей”, которые в их сторону говорили:

— Э, бросьте... Мы сами не занимаемся, чего вы лезете? Пишите стихи, да хорошо пишите, чтобы мы в старости видели, что муза Пушкина не замолкла и слава российской не увядает.

Да что Государственный Совет: уверен, в Военном Совете, в Совете адмиралтейства не разразилось тех слез и рыданий, какие вот все 1 1/2 года слили газеты в протяжный вой! Кто плачет о России? Газетчики; да,

¹ имена (лат.).

² вещь (лат.).

они!! Ну, конечно — их читатели. А в "учреждениях"... холоднехонько, преспокойно... Нет, в самом деле, был ли плач настоящий, со слезами, после Цусимы и Мукдена в Адмиралтейств-совете, в Александровском Комитете, в Военном Совете, в Государственном Совете, в Сенате, в "Святейшем" Синоде... Русские люди словоохотливы: было бы "что-нибудь", даже "малюсенькое" — непременно бы поведали, зашуткали, умилились или рассказали анекдот: "Знаете, встал и вышел из заседания", "все потребовали прекращения заседания", "расплакался", "не сдержал себя", "раскричался"...

— Князь, слышали?

— А? хм?

— Он ничего не слышит!

— Хошь, может, видели?

— Э? хм?

Вспомнишь невольно Грибоедова. Не *это* самое, но "в этом роде".

* * *

К великому сожалению, мы, русские, — художники и "мыслим образами", великая критика выразилась у нас в создании великой художественной литературы, которой вовсе не соответствовала сила мысли — сила, стойкость и яркость политической науки. За литературу нас и хвалили иностранцы, в то же время удивляясь беспорядочности всех русских дел...

Мы имели и имеем:

1) Обширнейшие учреждения, вовсе не имевшие никакой задачи или имевшие задачи столь мизерные, что их могли бы исполнять не сановники, а столоначальники. Эти учреждения носили и носят высокие, даже высочайшие титулы, а между тем они были чуть ли не частями государственной архитектуры просто для выставки иностранцам; и чтобы у себя дома, по уездам, утешались: "вот какое величие и значительность", "первая держава в мире".

2) Учреждения более цепкие, деятельные, зоркие, деловитые: которые все имели своею темою отрицание, а не утверждение, разрушение или "мешание", а не творчество. "Держи и не пушай" — так выразил в краткой художественной фразе этот характер целой категории наших "властей" Щедрин, сам бывший вице-губернатором. Сей наш знаменитый сатирик, с сердцем, любившим Россию ("Пошехонская старина"), и с большой наблюдательностью, — в краткое время своего вице-губернаторства и почерпнул все тексты своих писаний. Глупому надо сто лет смотреть, чтобы что-нибудь "заметить", а умному достаточно взгляда, достаточно недель, месяцев, года наблюдения. Гоголь только "проехался" по России, а все в ней высмотрел, чего дотоле не видели и сами русские.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь только на один факт: так называемое "министерство внутренних дел" и "министр внутренних дел" у нас имели первую, основную, безотлагательную и всепоглощающую обязанностью сохранение и водворение полицейской тишины в государстве; и это до такой степени, что обычно министр внутренних дел в "прежних стадиях службы" бывал директором государственной поли-

ции, а квартира его соединена непосредственно внутренними ходами с департаментом полиции. Иногда раздавались порицания министров: "Отчего он не вводит реформ?", "Где же творчество?" Но, Боже, всякий может дать только то, что он имеет. В золотую пору, в цветущий возраст он управлял полицией. Тут выросли его таланты, сложились методы. "Почему вы не вводите реформ?" А он может, а он должен нервно крикнуть: "А почему вы *меня* взяли? взяли из полиции и для полиции, хоть и дав высший, сияющий титул?" "Я *не умею* вводить реформ: да, очевидно, именно *меня* и взяли потому, что не надо никаких реформ".

И Государственный Совет "рассматривает предложение о назначении помощника исправника" в Нерехте или Ветлуге, а министр внутренних дел все время ловит студентов.

— А малоземелье крестьян?

Молчание.

— А рациональная организация переселений?

Нет ответа.

— А почтовые порядки, служба, жалованье железнодорожным рабочим? Убыточность всего железнодорожного хозяйства, когда даже лошадины извоз приносит доход!

— Ну, о первом пишут беллетристические рассказы разные занимающиеся литературой, это — не государственное дело; а второй вопрос рассматривается в комиссии.

По задачам — и человек; да, наконец, дело формирует человека, на работе формируется человек; и "мелкие люди" уже со времен Соловьева и Никитенка потому овладели у нас всем, появились у нас всюду, что им оставлены были только мелкие дела, что никаких крупных задач принципиально не ставилось, и в общем итоге: Россия просто остановилась и заминерализовалась. Теперь о ловитве студентов как главной функции министра внутренних дел. Да создайся у нас самостоятельное министерство государственной полиции и выделись самостоятельно министерство "внутренних дел" в ту аристократическую организацию, какую обещает его титул: в организацию государственных задач, в организацию государственных умов, хозяев и опекунов России, идущих дружно рука об руку с молодым деятельным Государственным Советом, — и студенты преспокойно слушали бы лекции, и ловить бы некого было. Дебогорий-Мокриевич в своих заграничных воспоминаниях, которые теперь так поучительно было бы издать в России, — объясняет: "Не встретить мы в каждом своем шаге противодействия властей явно глупого и явно злого, мы просто сделались бы сельскими учителями, врачами, земцами". Такова была общая тенденция, таков был дух этих народников из народников (одного из них, О. И. Каблиця, я впоследствии лично знал много лет), но "злое и глупое", "тащи и не пушай" погнало их всех в эмиграцию, растравило, озлобило, довело до умственного иступления и конвульсий чувства; и создало "хлопоты" именно министерству внутренних дел. "Всякая вещь объясняется из самой себя": иногда думается, что на нашей милой почве каждое "ведомство" устраивает себе хлопоты и что даже за отсутствием настоящих целей существования, больших и серьезных, они и положили главною задачею существования разведение и создание этих хлопот.

Не будь министерства народного просвещения, то в России по крайней мере так же, как в Японии 40 лет назад, в эпоху трехгодичного там плена русского адмирала Головнина, были бы все грамотны. Наверно, иначе и нельзя представить у народа с историею, с церковью, с возможными ремесленниками-учителями по селам, с учителями любителями и филантропами. Ведь грамотны же все у наших сектантов и старообрядцев. Но создалось министерство народного просвещения и сказало просвещению: "Стоп". Оно стало "тащить и не пущать" учеников, учителей, библиотеки, книги. "Нельзя учить кухаркиных детей". Позвольте: да кому какое дело? Я — человек, и учиться хочу: приемный экзамен выдержал, деньги за учебу внес...

— Э, высшая политика! Государственные соображения... Это — слишком просто: учиться каждому, кто хочет. Это по-японски, а они язычники и дикари. Мы — цивилизованная нация, у нас Владимир Святой и Ярослав Мудрый, у нас учиться нельзя иначе, как 1) из определенного состояния или сословия, 2) по одобренным книжкам, 3) от одобренных учителей. Учителей мы, правда, не выбрали и книжек тоже никаких не составили, но вот соберется комиссия, и тогда все будет, а пока посидите и потерпите...

И сидит Русь в темноте, потому что чиновникам некогда написать; а некогда им написать оттого, что они должны решительно обо всем писать, о всякой глупости, о всяком пустом деле, — не занимаясь только, под страхом быть обвиненным в "государственном преступлении", ничем важным, серьезным, скорбным и боляющим в России.

"Перерождение" и "вырождение", "переродившиеся" и "выродившиеся" — но не люди, а учреждения; органы, мускулы, артерии страны и государственности... Вслед за этим и под действием этого стали "перерождаться" и вырождаться целые классы, сословия, состояния. Объяродивело духовенство в предложенных ему задачах "охранения", воображая чистосердечно и доказывая другим, что "Христос есть шеф консерваторов всего света" и главный насадитель консерватизма; что это он-то и насадил управу благочиния и консисторию, и, как они прямо говорят, "есть наш начальник" ("пастыре-начальник"). Переродилось дворянство, бежав от земли в губернию, в столицу, за границу, бежав "в службу" и — как последняя мечта, крайнее вожделение — в службу придворную. Выродилось купечество, считая выше своего звания самый ничтожный штый мундир какого-нибудь "почетителя богоугодного заведения" или орденку в петличку. Все стало вырождаться. Все съехало со своего места. Исчезли труд и честь. И теперь дивятся, почему все бросают свои имущества, имения, культуру и бегут кто куда, бегут "хоть с чем-нибудь" и с детишками... Бедная орда: но в основе всего — духовная орда, казавшаяся культурой, государственный номинализм, все это затрепавшее, как непрочная декорация, когда послышался роковой приговор истории-матери:

— Не нужно.

В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ 1906 ГОДА

Опять сегодня, как ежегодно в течение веков, зажглись ночные пасхальные огни, и опять на столах эти символы мира, покоя, гостеприимства, радушия, переходящие в житейское будничное "хлебосольство" — куличи, пасхи и яйца. Но первый раз за всю тысячелетнюю историю России и народ русский встречает так любимейший церковный и народный праздник: с каким-то вместе и неслышанным подъемом сил, но и вместе — с тревогою. Мы, впрочем, думаем, что без тревог не бывает и истории. А за 1000 лет своего существования Россия слишком ползла, слишком дремала, чтобы роптать на наши дни, когда она, словно ужаленная, вскочила и побежала. На этот день мы откидываем тревоги и сосредоточиваемся только на том неизмеримом оживлении, какого "свидетелями Господь поствил нас", как пишет летописец Пимен у Пушкина.

Великие результаты достигаются только великими страданиями. Сколько мы ни задавали себе темы: "Просветить народ, отпустить десятки миллионов на школы", "Поднять земледелие и земледельца, приобщить деревню к культуре" — все оставалось бумажными планами, все так и застывало на страницах газет и журналов, не прибавляя ни рубля в бюджет министерства народного просвещения и оставляя наше земледелие на степени приемов при Ярославе Мудром. Кровь не бежала под желаниями: и все было мертво, предположительно, вяло, ни к чему не нужно. "Можно бы прибавить на школы, а можно и не прибавить", "следовало бы пахать лучше, а впрочем, пахали и этак 1000 лет": и русский чиновник, и обыватель, русский журналист и общественный деятель дремливо перевертывался с одного бока на другой бок и, можно сказать, к каждому новогодию только чинил новые перья, чтобы писать те же слова о тех же нуждах без всякой надежды на осуществление. Боли не было ни в ком. Страдания не было — и все мы сидели на тихих берегах нашей истории, как итальянские лаццарони на пригретом песке около теплого моря, ленивые, бездеятельные, не очень счастливые и не очень несчастливые, "так себе" во всех отношениях. Это — мы, сверху. А народу было очень тяжело; и в разных формах то "упадка центра", то хронических голододов он обнаружил явные признаки вырождения, упадка, истощения. В единичных случаях деревень, семей крестьянских — это достигало невыразимого страдания, которое так и замирало на месте, не доходя до верхов. В литературе нашей об этом пелись песни, рассказывались рассказы. Но все оставалось литературою и только литературою... Кровь ни под чем не бежала. Было худо, но страшной боли нет.

Эти два года Россия пережила совершенно невероятные боли, — и даже менее физические, несмотря на кровопролитную войну, нежели нравственные. Живого места в душе нашей не осталось. Понагнулась вся громада отечественного корабля — и всем на корабле сделалось неудобно, больно, опасно. И всякий оставил свою привычную койку, все выбежали из глубоких кают своих наверх, и начали спрашивать: "Что с кораблем". Поднялась работа, суета; пока больше суеты, чем работы;

поднялся переполох, местами и минутами переходивший в смятение. Мы, веками приученные к безмятежности, иногда пугаемся этого чрезвычайного шума, опять же забывая, что без него нет и движения.

Великое решение созрело среди этого шума: решение — переделать весь внутренний механизм нашего корабля, поставив его на совершенно новые начала, устои. Такой зимы, как эта, по числу и значительности пережитых событий, Россия не переживала от самого начала своей истории. В августе понесся первый звук о созыве Думы: с тех пор мы пережили, кажется, целую самостоятельную историю, и вот к первым дням первая Дума уже почти созвана. Еще такой Пасхи не будет: с такими особенными надеждами, в таком исключительном новом положении! В муках рождалось новое решение: но его целебное значение таково, что во много раз перевешивает все эти перенесенные муки, собственно, гораздо более похожие на неудобства, на неприятности, нежели на действительные опасности.

Народ, в его массе, а не ближайшие окружающие лица, тесным кругом ставшие и всегда стоявшие около Престола, — призываются отныне Государем к помощи ему в управлении; притом в помощи не лицепрятной, которая сводится к угодничеству, а в положении самостоятельного советника и друга, к помощи деловой и суровой, свободной и благородной. Раздалась наша служебная олигархия, одна и та же в Москве и Петербурге, только сменившая ферязь на кафтан и кафтан на виц-мундир. Правительство в России не будет более олигархическим и оно не будет отныне льстивым, угодническим, подделывающимся под тон старшего в каждом младшем: вот главная и даже вот вся перемена, которая произведена в стройке нашего внутреннего корабля. Все прочее — только приспособления, только вспомогательные механизмы, обеспечивающие действительное исполнение этого порыва к правде в управлении, каковых порывов и ранее было много, но бессильных, но необеспеченных.

Не было у нас "правды по воле", станет "правда по неволе". Не было всепронизывающего, всепроникающего чувства долга, и станет на его месте чувство и страх ответственности. С субъективной точки зрения, может быть, это не так идеально, не так поэтично. Но это во всяком случае более спасительно для целостности и благополучия корабля, и народу наверное не будет так тяжело.

Если принять во внимание, что еще три года назад мужик был безответен и запуган перед становым, перед земским начальником, был перед всеми бесправен, и все над ним имели права и что теперь этот пахарь, в единичных случаях даже безграмотный, входит, как полноправный член, в высшее государственное учреждение, с правом там сказать "свое мужицкое слово" так, что его наверное услышит не только Государь, но услышит все русское общество, услышит наконец целая Европа, — то перемена, совершившаяся с нашим отечеством и народом, получит в глазах наших тот неизмеримый объем, какой она в точности и имеет. Крестьянин — член Государственного Совета (применяясь к старому государствостроению), мужик — позванный в Царскую Думу: это сказывалось только в сказке о золотой рыбке, которая потому и именовалась "сказкою", а не "былью", что в ней передавалось о таком, чего никогда не могло быть. Эту сказочную метаморфозу или, точнее,

первый шаг к ней мы переживаем сейчас. В ней мы встречаем и этот Светлый день: и такого Светлого дня еще не переживали русские.

От нас зависит, чтобы не сгущались тучи на горизонте нашем. Да, обильное присутствие крестьян в Государственной Думе почти наверное послужит к обеспечению хода нашего корабля от излишней нервной дрожи. Народ всегда эпик, а не лирик. Наконец, поверим, что и общество русское несколько не французское — и что от эксцессов французской истории конца XVIII века мы обеспечены своею славянскою натурою, более мягкою и широкою, не столь узкою и фанатичною. Не было у нас Варфоломеевской ночи: не будет и конвента. Ведь это яблонька и яблочко одной породы. История дает нам "примеры", но плохой тот ученик, который "зубрит" ее страницы, воображая и ожидая, что которая-нибудь из них повторится "точь-в-точь".

Не будем далеко заглядывать вперед. Каждому дню своя забота. Но на сегодняшний день нами избыты самые низменные заботы, и мы его встречаем только с светлым и только с спокойным сердцем. "Христос Воскресе!", добрые люди. С каким новым чувством сегодня обнимается и лобызается вся Русь, от Владивостока до Петербурга.

От мыслей о прошлом обратимся к настоящему.

"Не было подкупов на выборах", — вот коротенькое восклицание, которым мы можем похристосоваться завтра. "Воистину не было!" — ответит каждый, оглянувшись, удивившись, вспомнив.

"Подкуп" и "выборная система" политической жизни до того слились воедино, сцепились, скрутились в европейской жизни, да были и вечно там, где существовали "политические выборы", напр. в Риме, — что никому не приходило и в голову отвергать их вездесущие, как никто и не ищет уже давно средств против этой гангрены свободной жизни. В Риме "империя" и возникла потому, что образовался огромный класс людей без земли, без дома, без семьи, который в виде имущества имел только цену своего голоса на выборах, — и торговал им, жил на доход с этого голоса. Нечем было больше жить: и Цезарь, и Август скупали такие голоса. В Англии, в начале XVIII века, Роберт Вальполь почти упразднил парламентаризм, организовав гениальную систему подкупов: в парламенте мог каждый говорить свободно, критиковать короля и его первого министра, но никто этого не *хотел* делать, ибо и как член парламента он получал деньги, и на выборах он "преуспел", получив для подкупа деньги от первого министра. "Парламент", "конституция", "выборы" и "деньги", "подкуп" — этих понятий и слов никто не пытался разъединить. И у нас, когда в давние времена заикались о возможном парламентаризме, с грустью говорили: "Да, но подкупы!" И энтузиазм слабел. И вдруг, когда поднялась эта волна выборов в России — и как хорошо, что она поднялась не в один день, а растянулась на месяц, — среди пачек телеграмм, известий, описаний, наблюдений, "инцидентов" и "курьезов" ни разу и ниоткуда, ни о ком не замечалось словечка: "кажется, был подкуплен", "кажется, воздействовали подкупы", "подкупали явно", "немного подкупали".

Ни о ком! Ниоткуда!

А бедные есть, как и в Риме. Есть богатые, как в Англии. Подавали голос и страшно нуждающиеся: но подавали "бумажку с именами", крестьясь. Спрашивали некоторые наивные: "Кого записать", перед ур-

нами. И спрошенные главы партий или их видные члены, сидевшие около урн, отвечали: "Не знаем. Кого хотите".

Боже, если бы это был не случай, не первая заря, если бы это привилось и пошло в историю как что-то найденное на дороге и ставшее постоянным имуществом нашего "счастливого", — какая бы радость! Русский народ, этот сейчас униженный, окровавленный, обесцененный на мировом рынке народ, сущий "пролетарий" данного времени, вдруг показал бы миру золотую вещицу, положенную ему Богом в котомку: "выборы, и гнет подкупа", "политика, и нет алкогольной поддачи паров". — "Подходим к урнам — и крестимся; великое Бог даровал нам благо: как же мы возьмем тут деньги? Святотатство".

Если бы это удержалось, о чем пока мы не смеем и думать, имея всемирный перед собою пример горького и унижительного здесь! Замечательно, что не только не было подкупленных, не было и подкупающих, как тенденции. Просто — забыли об этом! Никому не пришло на ум. Может быть, опомнятся и начнут делать? Но знаете ли, есть надежда, что не начнут. Есть таинственные вдохновения, внушения, не надуманные, вдруг: о таком хочется сказать, что оно — "от Неба", и такое бывает всегда страшно крепко и долго. Ну, отчего же не "подкупать", хоть теперь, при первых выборах? И "торгово-промышленной" партии, и "17-му октября" это было бы так важно, страшно важно. Но не пришло на ум. Забыли, что ли? Как забыть то, что ежедневно, всюду! Но все чувствовали, что, если бы кто-нибудь "попался в подкупе", — был бы ужасно опозорен. Вот это-то и важно, что сложилось безмолвно во всех нравственное убеждение, предшествовавшее самим выборам, что "выборы — святое дело": это безмолвное, неодолимое, народное, стихийное убеждение, святая вера целого народа и сделала то, что есть всюду и, за неизбежностью, уже всюду не осуждается.

Чудо сегодняшнего дня, и мы его имеем.

Как не сказать: "Христос воскрес!" Как не почувствовать: "воистину воскрес!" Мы обложились со всех сторон Панамами; Панама — в артиллерии, Панама — во флоте, Панама — в Маньчжурии, Панама — в Петербурге. Все оборовано, разорено. Вдруг разоренный народ двинулся к урнам, чтобы выбрать первых своих представителей. И никто ничего не взял, до такой степени, что об этом нет и подозрения, этого не несет даже как клеветы! Просто — все знают, что никто и ничего не взял.

Чудо. То, что мы назвали новым вдохновением. И если мы не обманываемся и есть тут действительно "перст Божий", "подарок с Неба", то не есть ли это в самом деле начало исцеления болящего русского народа?! Ибо и вся-то его хворь, историческая, стародавняя, еще от золотых маковок Кремля, от времен Калиты и Иоаннов, идет от поразительной нравственной вялости, от безразличия к дурным запахам души, к дурному запаху дел и жизни, какое в нем воспиталось рабством, пригнетенностью, подневольностью, где ему приказано было "терпеть и молчать", и он, как связанный зритель, смотрел на комедию и трагедию окружающего, больших господ и больших дел, моргая, безучастно, и потерял вкус ко всему. Помните ли вы ужасное стихотворение, которым заканчивается "Новь" Тургенева, где этот старец, вечно пытавшийся надеяться, сказал последнее *resumé* своих наблюдений и размышлений о русском народе. Невозможно заснуть прочитав его на ночь:

поди! Господи!". И нам, чтобы сказать несколько религиозных слов в утро праздника, не позволительно ли также сказать об этой публицистике на тему "сегодня" вместо того, чтобы в сотый раз вытягивать и перетягивать сюда и туда эту каждому известную тему о "Страстной пятнице" и "Великом воскресении", противоположностью между оживлением и гробом.

Не все знают так называемые "Изречения Иисуса", — оторванный кусок пергамента, найденный в мусорной куче в Египте, в 200 верстах к югу от Каира, на краю Ливийской пустыни, в 1897 году. Без всякого повествования, без рассказа, без упоминания о каком-либо событии, эта кожаная тряпка представляет голые изречения И. Христа, и ученые, едва начав ее рассматривать, были поражены тем, что перед каждым изречением стояло: "говорит Иисус", вместо обычного — "говорил, сказал". Памятник представляет запись непосредственного слушателя речей И. Христа, — чему отвечает и этот голый их характер, к которому ничего не прибавлено; запись слушателя непосредственного или настолько близкого к Нему, соседа, ближнего, друга, родственника, что во всяком случае они относились к записываемым словам как к *своему настоящему*, как к *действительно происходящему*, без всякого отодвигания его в прошлое, в перспективу предания. Между тем в Евангелиях везде уже стоит: "сказал". Между этими изречениями есть два, третье и пятое, совершенно новых, и читатель тотчас почувствует, что это — не слово человеческое, а Того, Кто пришел спасти людей:

3. ...Иисус говорит: Я стоял среди мира, и в плоти был виден ими, и нашел, что все пьяны, но никого не нашел. Я был жаждущим среди них, и скорбит душа Моя о сынах человеческих, ибо они слепые в сердце своем.

5. ...Иисус говорит: Если где будут... есть один, — то Я с ним. *Подними камень, и там ты найдешь Меня, расколи дерево — и там Я.*

В 5-м отрывке первое изречение разрушено (стерто на листочке), но второе — цело. И какой его смысл! Не то ли же самое это, как изречение: "Не всякий, говорящий Мне: — Господи! Господи! увидит в Царство Небесное, но творящий волю Отца Небесного". Только здесь оно выражено морально, а там — метафизично; как открытие вездесущие Божия, соприсутствия Его всему живому, доброму, хорошему, положительному. Это не так далеко и от того, что я говорю о выборах, и найденное на границе с Ливией изречение Спасителя совершенно оправдывает, что я, кидаясь в публицистику, ищу Христа. "Расколи дерево — и там Я, подними камень — и там ты найдешь Меня". "Найдешь" и в этих выборах, если они были добры, добросовестны, ко благой цели, в благой надежде; как "нет Христа" там, где вращается Его имя бездушными устами и среди бездушных дел.

* * *

Даже и там, где мы видим чудо, Промысл, неожиданное и радостное, нам не возбраняется искать и находить, так сказать, ближайшую механику причин и действий, через посредство которых "чудо" доходит до нас. И милоть, брошенная с небесной колесницы пророку Елисею, падала на землю по законам тяжести: и хлеб, которым Спаситель

накормил 5000 народу, был все-таки "печеный хлеб", не чудотворный, не особенный. "Подними камень — и там Я": законы физики, как и другие законы, социологии — они святы же, как и небесные пути планет и звезд. Обращаясь к чудесному выпадению лукавства и корысти из первых наших выборов, я нахожу, что ближайшая причина этого, теснейшая материальная оболочка нравственного феномена заключалась в том, что все освободительное движение наше, а с ним и эта подробность — выборы, идет от таких групп нашего общества, которые после Шлиссельбурга, после административных высылки, после всего того огня и железа, каким их смиряли и смирили, — решительно не способны думать о том, чтобы взять в помощь себе, в союз с собою кошельки золота! Совсем другая категория, — чувствуете ли, что это так? Навязывать идеи свои, пропагандировать, — да, это у всей партии, с гимназии, с университета, в жизни. Но кто видел "радикального гимназиста", дающего взятку? Кто видел студента, подкупающего прислугу, и проч. Просто это именно "не приходит в голову": и также "не пришло в голову" сделать что-нибудь подобное на выборах, весь фундамент которых положен и основная ткань их ткалась руками этих радикалов. Они бежали, шумели, кричали впереди всего (стихотворение то Тургенева, до чего оно теперь архаично!!): и наложили гипнозом психику свою и на других, на всех, на врагов своих. Ну, как стал бы бездомный студент, провинциалка-курсистка давать десять целковых рабочему, шепча: "Вот 10 рублей и бюллетень нашей партии: когда подойдешь к ящику, — положи туда его". Невозможно! Ведь это значит на рабочего посмотреть как на лакея своего, как на раба своего, как на бездушную тварь: когда все эти нелепые курсистки и нелепые студенты "всосали с молоком матери", или, точнее, "убедились с первой прочтенной книжки", что рабочий — брат им, товарищ, во всем, как он же, Божия тварь, бессмертная и вечная, "друг в будущем социальном строе". И не подкупали. Рука не поднялась. Один подкуп, и разом кассировалось бы все наше освободительное движение, с 1824 года до 1904 года; все бы разом рушилось с тем идеализмом, из которого оно поднялось.

И не поднялась рука на это ни у кого из сотен студентов. И разлилось это духовное давление по стране. И у кого "из чисто русских людей" шевельнулась мысль о привычной, старой, московской "взятке": промолчал и он, и не поднял руки, и не испортил светлого праздника русской жизни.

Будем надеяться, что так это и останется, что парламентаризм войдет к нам, как чистый гость в чистый дом. Начнем честность с капельки и разольем ее в море; посадим зернышко и вырастим дерево. Ведь новые люди шумною толпой растворили дверь нашей жизни, похожей на каземат, — и вот шумят вокруг и всюду, метут, отворяют окна, выламывают железные решетки, все чистят, переворачивают, и заморенным узникам говорят новые и ласковые слова. Весь пафос их — ненависть к этому каземату, слишком дорого им обошедшемуся... И нельзя верить, нельзя думать, чтобы они взяли из него что-нибудь для своего употребления: ну, вот эту же ложь давления на душу с помощью кошелька, одно из основных звеньев старого рабства, прежней цепи. Дело в том, что в основе и гораздо глубже нашего политико-освободительного движения лежит нравственно-освободительное движение. "Не

подкупают” — оттого, что он — ”брат мой”. При Цезаре ”свободные граждане” добровольно сошли в ряды рабов: кого можно подкупить — тот, конечно, раб, подкупившего или другого — это уже все равно. Умерли граждане, родились рабы — и родилась ”империя” Августов, Тивериев и Неронов. Но вот у нас, совершенно обратно, в ”рабах” или ”в рабстве” родились граждане: и печать раба, дрожащая, подкупная совесть, готовность ”поцеловать ручку” политически, опустив за 10 руб. билетик с такими-то именами, — это умерло!

— Христос воскрес, новые граждане! Вы уже не рабы более, и не оттого, что на вас нет оков, а оттого, что их не кто-нибудь снял с вас, а сами вы сбросили их: с болью, с кровью, обдирая кожу, но сбросили!

Нет воскресения без терний: об этом учит не одна религия...

ПЕГИЙ ЧЕЛОВЕК

Гапон, по-видимому, погиб, — унижительно и жестоко, как тот союзный римлянам царек Альба-Лонги, который в минуту критически опасной битвы стал переходить на сторону врагов, по сделанному заранее уговору с ними, и не перешел только по догадливости римского царя, сурового Туллы Гостилия. ”Это он делает по моему повелению и окружает врагов!” — воскликнул Тулл, когда вестник прискакал сказать ему, что албанцы сближаются с врагом. Римляне, уверенные теперь в успехе, ринулись и победили. На другой день к Тулле подошел и тайный изменник с поздравлением о победе. Но царь сказал ему: ”Как вчера ты колебался между римлянами и фиденцами, так сегодня тело твое будет размыкано конями”. Несчастный был разорван пополам запряженными ”в него” конями, а Гостилий воздвигнул, по обету, храм в честь Страха и Ужаса: царь и сам был испуган смертельно во время битвы, когда понял измену союзников и перед очами его пронеслась и собственная гибель, и гибель Рима.

Есть люди об одном цвете — черные, белые. Но есть еще несчастно рожденные люди, пегие, которые совершенно искренно не могут одному чему-нибудь служить, и совершенно искренно служат двум господам; т. е. измена то одному, то другому, и в конце концов всему и всем составляет самый стержень и ”истину” их души. Да, есть истина и в неистине, пафос лжи, талант обмана. Конечно, это несчастье, и такому-то несчастью, по-видимому, был обречен Гапон.

Плеве не был из тех недалеких или доверчивых людей, который зря подпустил бы к себе или вошел бы в сношения с человеком, для него лишним и ненужным. Плеве был человек дела, ”службы”, и свое важное служебное время, оплачиваемое государством, не стал бы тратить на пустые отношения к третьему, безразличному или мало нужному человеку. Поэтому ”священник пересыльной тюрьмы отец Георгий Гапон”, без сомнения, оказывал ему ценные услуги в своей должности, столь близкой к сердцу заключенных. Такая же связь с Зубатовым и, несомненно, громадный авторитет и полное доверие ”охранительных” органов правительства была приобретена Гапоном, простым рядовым священником, которому так трудно выдвинуться перед большими сановниками

и чиновниками, не без оснований, и притом самых веских оснований. Но "охранные органы" не приняли во внимание вот эту бывающую у человека врожденную "пеготь". Между прочим о Гапоне пишут, что он был "грубо невежественным человеком". Тут разгадка многого. Рядовой священник, сказать попросту "поп", "не токмо за страх, но и по усердию" служивший (как все наше, глубоко государственное, духовенство) отечеству вплоть до Плева и Зубатова, мог начать по-семинарски и прилежно, но без дара и вдохновения, ознакомляться по книжкам вообще с рабочим вопросом, рабочим движением, раз уже судьба и биография поставила его в самое "пекло" этого движения. "Фуфенжий (имя союзного царька) начал сближаться с албанцами". Обнаружилась "другая шерсть" в существенно разношерстном. Все духовенство наше ведь глубоко государственно, но и глубоко народно; и особенно все оно (я не встречал исключений) антибарственно, антидворянско. "Мы этими барями тряхнем" — эта мысль Пугачева совершенно так же возможна у человека в рясе, как и мысль послушить государству (не барам, а государству) в качестве священника, говорящего "на духу" с узниками тюрьмы предварительного заключения. Словом, серьезную демократическую, рабочую струю, рабочий "пафос" мы также не можем отрицать в Гапоне, как и серьезных тайных услуг его Плева. Во всяком другом звании, сословии это невозможно, но именно в "попе" возможно по особливой, необыкновенно странной амальгаме, исторически легкой на него. Такие все "государственники", и такие все "народники"; а гибкость совести, доходящая до пафоса, — так ведь у кого же ей и быть, как не у людей, помнящих притчу о мытаре и дивных словах его: "Боже, буди милостив мне, грешному". Такой удивительный этот мытарь, что, во-первых, был и сборщиком податей, притеснителем бедных, по-нашему — полицейским и урядником, и, словом, человеком нравственно "никуда". И стал не только святым, но примером святости для всего христианского мира, — примером христианского чувства, христианского самосознания. Это ли не "амальгама"... Так и все мы "чем более христиане", тем совесть наша более гнется, более в ней "благородной" стали, а не железа, не грубого чугуна; никогда-то она не сломается и гнется, гнется до противоположного, до отрицания себя.

Оставим общее и вернемся к частному. В Петербургской духовной академии мне случилось встретить (еще очень молодых!) профессоров, коих слушателем был Гапон. На вопросы: "кто он? что он? каков?", которые были так естественны после 9 января, в ответ с удивлением я видел сморщенные губы и кивание головой. "Несимпатичен", "ничего привлекательного"... От одного из монахов Александро-Невской лавры, средних рангов, но с властью и официального, я выслушал вскоре после события рассказ: "Мы с ним из одной губернии и уезда, почти из одной местности, земляки. Но там на месте я его не знал, а он обо мне, очевидно, знал, что я ему земляк. Раз он (еще студент академии) присылает ко мне записку и просит 75 р., ссылаясь, что влух проигрался в карты и должен сейчас уплатить долг. Между тем я даже не узнал его, т. е. знаком с ним не был, а главное — у меня не было на ту минуту денег. Так и ответил, что денег нет. Я не ожидал последствий, но каково было мое изумление, когда он в ту же минуту прислал мне страшно ругательное письмо, полное грубостей и дерзостей. Я был лицо офици-

альное, — да и простому человеку это было бы невыносимо. Я не обратил внимания, только человек этот из тех, с каким не дай Бог связаться". Еще характерно: когда он уже вышел в жизнь, то в пору законоучительской его деятельности у него вышло сперва "недоразумение", а потом быстро и грубая ссора с членами попечительного совета при этом учебном заведении. Тогда он разыграл сцену или у него "вышло" совершенно в духе Фотия, известного "обличителя" александровских времен. Сказав, что в зале совета "нечистым духом пахнет", он вышел рядом в домовую церковь и, зажегши кадило, начал кадить по комнате, "выкуривая чертей". "Пегое" начало, — то карты, то изверное благочестие, с подкладкой под тем и другим "своего интереса" и неукротимого своего каприза, произвола, моментальной ярости, очевидно, всегда были в нем. Как русые волосы на голове, — также все это было натурально, несносно и опасно.

Самая удивительная часть его деятельности, конечно, заключалась в массовом, многотысячном привлечении к себе рабочих, в абсолютном авторитете, который он приобрел в их душах, в их глазах, для их убеждения. Такие вещи легко не даются: попробуйте соединить на себе любовь нескольких сот человек, любовь не пассивную, в смысле "доброе мнение", а активную, которая подвинула бы на общее дело, на одно общее движение — и вы увидите, до чего это трудно и даже до чего это невозможно иначе, как для "специальных способностей". Можно петь у себя в комнате — и хорошо, но тот же голос в концертной зале раздается как жалкий, глухой и сиплый голосишко. Так могут любить нас "наши знакомые", но чтобы полюбили рабочие обширного заводского района, нужно иметь "концертный голос". Тут (по-видимому) не нужно иметь тихих, индивидуальных, прелестных сторон души, а что-то басовое и гремящее. Нужна не скрипка, а грохочущая по мостовой телега с пустыми бочками. На эстраду выходят не "прекрасные семейные люди", и исторические люди, едва ли не сплошь не весьма симпатичные. Нужно же быть разнице между "частным" и "общим", бытом и историей. Гапон, по-видимому, обладал этим "специальным даром", который мы не назовем ни добрым, ни злым, а остановимся только на определении, что он — "специальный". Это дар громкого, звонкого, слышного. Все одинаково признают, что имя и движение Гапона, "гапониада", сложилось в наиболее крупные черты, сложилось в зрелище, в картину, которую после 9 января фотографировали все иностранные иллюстрированные издания. Все-таки этого ни у кого не вышло, не вышло у тех "настоящих и вполне сознательных революционеров", которые "очень умны", но остались за ширмами. Вышло у Гапона, пегого коня, без совести, без Бога, но с октавой. Особый дар. Но этот дар, когда он не монолитен, странно опасен в судорожные минуты народной жизни, когда наконец и "христианская" сталь ломается. И раньше или позже он приводит к той судьбе, которую приняли многие "двоившиеся" деятели первой французской революции, и раньше всех их древний царь Альба-Лонги, разорванный конями. Между Плеве и Носарем есть еще крюк от лампы, на котором можно повиснуть, сделав головоломное *salto mortale*. Что делать: история есть картина, украшенная тронами и виселицами... И блажен всякий, кто сумеет усидеть на своем домашнем стуле...

ПОСЛЕДНЕЕ ПОХОЖДЕНИЕ КРЕЧИНСКОГО

"Ох, уж и били меня, били, били"... Эти слова грустящего Расплюева о себе припоминались все два года, как тянулась японская война. Расплюев (а впрочем, и звездоносные наши "сферы" за два года своей "расплюевщины") платился в сей несчастной окации за шулерство и склонность к особым крапленным картам. С сими "картами" одного дружка поймали в клубе, другого на р. Ялу. Расплюев рассуждал: "Ну, ударь раз, ну, ударь два: но нельзя же до бесчувствия". И "сферы" наши плакали: "Ну, при Тюренчене, ну, у Чинджоу! Что делать! Но ведь при Ляояне, Мукдене, в Порт-Артуре, Цусиме, везде! До полной потери сознания!"

И оба плакали.

Но японцы знали, кого бьют. "Этого не заколотишь". И приятели, когда колотили Расплюева, знали тоже, кого они колотят. "Этот Расплюев еще женится". Действительно, у Расплюева был приятель Кречинский, это вторая и благополучная сторона того же плутяги, которую фантазия автора отделила от несчастной и неудачливой половины и олицетворила в особой фигуре с другим именем.

Кречинский в это самое несчастное время, когда его приятеля "били", задумывал знаменитый свой брак и обрабатывал все дело с поддельной бриллиантовой булавкой.

И "битая" наша бюрократия, только что жаловавшаяся: "больно! больно! больно!", едва встала, как протянула руку к чужим деньгам.

Япония вправе сказать: "Ведь я говорила, что переживет! И не только выживет, а еще сейчас же сделает предложение барышне. Такие не умирают. Такие или женятся, или их бьют". Расплюев и Кречинский — только два положения. И ничего третьего, честного, обыкновенного, немецкого.

Действительно, два года чиновная Россия лежала Расплюевым. На 3-й встала Кречинским. Это Кречинский распоряжался в декабре в Москве, Кречинский произносил веское слово в Марокко над распрей Франции и Германии и теперь, вот... с этой бриллиантовой булавкой, то бишь с миллиардным займом. Везде — Кречинский. Расплюева точно и не было. "Расплюев — это не я! Того били, а теперь, видите, я бью". Я одерживал виктории при Полтаве и Бородине, и вот заключаю сейчас колоссальный заем. Мне верят: какой же я Расплюев?"

Скромным русским "верноподданным" приходится только удивиться на отечество. "Какое у меня талантливое отечество: казалось — бьют его, а оно ведет себя, как победитель. Где это видано, и хватит ли на это ума у немцев".

* * *

Все удивительно в займе, но особенно его нравственная сторона. Кречинский получил миллиард, очевидно, не за то, что его "вчера били", а потому, что сегодня он состоит женихом богатейшей в губернии

невесты. Правительство русское "получило" тоже не потому, что оно "правительство" русское, ибо ему с сим единственным титулом никто и ломаного гроша за границу не давал: ему "дали" и "поверили" потому, что оно сейчас на линии жениха, что оно "с Думою", дали "под невесту", под "невестины капиталы", под эту самую русскую "конституцию и парламентаризм". Дело очевидное, и никто об этом не спорит, что дали не "битому жениху", этому герою от Тюренчена до Цусимы, а дали "молодому", который "обручен с Думою", т. е. "покаялся в верности", порядочности, бережливости, добросовестности и других прозаических немецких качествах.

Между тем у нас-то, в России, совершенно видно, в чем дело. Кречинскому именно надо только деньги, а "невеста" тут ни при чем, и заем делается именно для того, чтобы почувствовать себя независимым в отношении "невесты" и при первом удобном случае куда-нибудь "сплавить" ее. Кречинский привык иметь дело с коридорными девушками, и эта добропорядочная немка, "русская конституция", противна ему, как гроб, как неоплаченный вексель...

Заем: 1) *против* Думы и 2) *под кредит* Думы. Дума обеспечивает (в глазах иностранцев) заем, и в то же время этот заем торопливо сделан до Думы, ибо во внутренней, как и во внешней войне царит то же правило: "чтобы вести войну — надо иметь деньги, деньги и деньги". Очевидно, деньги выхвачены для войны: с кем? С "внутренним врагом", вот с этой "Думою", этой плачевно обманываемою невестою, из немок, которую кружит петербургский кавалер Krechinsky.

У Кречинского в глазах мутится при виде денежек. Вчера еще слышал я фразу, донесенную из "сфер". Речь зашла о "кадетах", и "особа" выразилась: "У них (кадетов) много голосов, а у нас много пулеметов".

Побежденный при Цусиме собирается побеждать на р. Нева. Может быть, даже "отмстить за поражения", — как эта маленькая "воинская месть" сказалась несомненно в пыле "преследований врага" на Двине, Висле, Москве-реке и прочих "не достопамятных" в военных летописях местах. Может быть, Кречинский торжествует и часть газет пьет шампанское. "Здоровье жениха"... Во фраке жениха заколота знаменитая поддельная брошка, взятая у французских ювелиров, вот-вот сейчас из витрины.

"Сиял, шумел уж в полном блеске бал"... но мне отчего-то, сквозь блеск огней и музыки еле слышатся печальные стоны, которые слышались вчера и будут, кажется, слышаться завтра: "Как меня били! Боже, как били меня! Ну — раз, ну — два: нет, надо же до полного бесчувствия!"

НА ЗАРЕ ПАРЛАМЕНТА

Съезд делегатов конституционно-демократической партии, съехавшихся в Петербург из всех уголков России и в котором во множестве участвуют и члены Государственной Думы из этой партии, — может быть назван "парламентом начерно", или "предисловием к русскому

парламенту". Мне захотелось видеть его, и я посетил прения по аграрному вопросу. Зала училища Тенишевой, где происходит делегатский съезд, это — огромный амфитеатр, который разве немногим уступает зале заседаний в Таврическом дворце. Настроение было не частное, а "правительственное": говорились не лекции, не "речи", красноречие отсутствовало — насколько оно не есть естественный дар, и все свелось к делу, к ответственности, к осторожности обсуждения "законопроекта" начерно, который в беловой форме пойдет и через Государственную Думу, и вообще это есть "жизнь и факт на завтра".

Были "кадеты", и между ними редкими вкрапинами сидели делегаты от крестьянства. Это — стена, хотя их и страшно немного. Сейчас сказалась разница между "интеллигентом", который, восприняв разнородные влияния, — зыбок, как поляк в "Тарасе Бульбе", и между мужиком или рабочим, который вырос в единственном влиянии нужды и труда и поэтому не только не сложен и неповоротлив, но и не умеет повернуться, едва ли сможет или захочет усложниться. Это — Бульба, во всей его силе, сидячести, неуступчивости. "Не хочу, чтобы и трубка доставалась чертовым ляхам" — это я слышал в тоне одного безрукого рабочего, черного, небольшого, без возможности улыбки на лице, который произнес одну коротенькую речь, и раз встал с места возразить говорившему оратору: (не более 5-ти слов), все как волк на ловитве. "Этот и трубочки не уступит", — думал и о Бульбе и об аграрном вопросе.

Спешу предупредить, или, если нужно, известить на всю Россию: так как половина Думы будет "кадетской", а другая половина будет крестьянской, то собственно взгляд или программа "кадет" плюс крестьян есть в то же время и решение Думы. И оно уже теперь совершенно определилось. Совершенно нет никого ни между "кадетами", ни между крестьянами (еще бы!), кто задерживался бы перед вопросом об упразднении, почти полном, частной поземельной собственности, т. е. дворянской, владельческой, купеческой, не говоря уже о монастырских землях и землях удельного ведомства. Все должно быть: 1) выкуплено у них, 2) обращено в государственную землю и 3) роздано крестьянам в долгосрочное пользование. Остаются, в виде изъятия, только кусочки, обрезки, о которых один делегат-крестьянин выразился, что этих незахваченных законопроектом обрезков так в общем мало, что "их можно спрятать в жилетный карман". Он при этом, при смехе всего сочувствующего зала, показал, как прячет щепотку чего-то в маленький боковой кармашек своей жилетки... "Я имею землю надельную, ибо я крестьянин, — и свою, прикупную. Частная земельная собственность есть такое зло, такое орудие угнетения мелкой окружающей крестьянской земельной собственности, с каким ничто не сравнится. Владелец большой земли, расположенной среди мужицких маленьких наделов, захватывает власть над ними хуже и тягостнее, чем ссудная лавка над бедняками улицы. Она должна быть уничтожена; проект ее уничтожает. Остаются обрезки, которые можно спрятать в жилетный карман, — и вы о них не спорьте, чтобы не помешать пройти всему проекту, чтобы не проявить раздора, не разойтись на группы. Единство — сила, и мы (Дума) в этом единстве будем действовать".

Великодушие? порыв? доброта? мировая мудрость? Не знаю. Говоривший был сам частный собственник, добывший эту собственность с помощью страшного труда и сбережений (крестьянин). В зале сидели все собственники, и все хлопали. Что вы с этим сделаете, если завтра это собрание будет уже официальным, станет тем "генералом", которому на Руси все привыкло повиноваться?

Я обернулся направо к соседу, в пиджаке, черненькому. Делегат из Риги, русский.

— Что вы хотите, если это правда? — ответил он на мой недоумевающий вопрос.

Когда я сидел в зале, до такой степени объединенном одним чувством, без недоумений, без тоски, без злобы, без затаивания, — среди этого моря открытых и веселых лиц, отказывающихся от "частной поземельной собственности в пользу крестьян" и, очевидно, ее собственников, больших или малых, я понял, что в *отсутствии сопротивления отрицанию собственности* и лежит корень всего дела, прямо магия дня и места, которое завтра будет "законодательным". Это то "суеверие", которое сильнее знания и науки. Я знаю, что собственность "священна" и что ее "трогать нельзя", и вообще знаю культурные, образованные понятия: но что вы сделаете с суеверием языка, которое повторяет "солнце встает" и после открытия Коперника; "солнце встает" у кухарки, "солнце встает" у гимназиста, "солнце встает" у агронома, у ученого. У всех "солнце встает", хотя все не отрицают и Коперника, не отрицают "культурных понятий" о собственности. Но это "не отрицают" как-то далеко и отвлеченно, а налицо, сегодня, конкретно, фактически и, наконец, законодательно все говорят и скажут: "Солнце встало", "Земля принадлежит тому, кто на ней трудится, ее пашет".

Собственность принадлежит *на обработку*, а на землю собственности нет: вот новая аксиома, даже "божественная", какая всеми владеет, пусть в качестве "суеверия", однако с какою силою!! "Суевериями" ведь история держится, на "суевериях" мир стоит — об этом не надо забывать. И это чувство собственности "на обработку" уже такое же железное, как воздушное, как воздушно чувство собственности на землю: чувствуется, что кто "выкопал себе картофель, который я себе насадил" — тому хоть голову долой: собрание не запротестует. Это как улов в невод; рыба в реке "Божья, ничья". Но кто взял рыбу из верши, *мною поставленной на ночь*, тот *вор*, того убей — с санкции всех людей, собственников и несобственников, рыболовов и нерыболовов. Вот новая аксиома, русская: и что вы с нею сделаете.

Около воздуха и воды — земля есть третья стихия, "Божья и ничья", на которую никогда *не имела права начинаться собственность*: и теперь она отрицается почти с религиозною уверенностью! Помните, как казаки расправлялись с "лицами, которые взяли в аренду церкви" и не пускали освятить в них пасхальные куличи иначе, как за маленькую плату. "Церкви — Божьи и ничьи", т. е. *общие*. Теперь то же происходит и в отношении стихии земли. Ведь и евреи "взяли в аренду церкви" от кого-то, кто им "отдал в аренду церкви"; взяли их в аренду, *уплатив за нее деньги*. Все это было, вне сомнения, юридично, законно; например, они взяли "в аренду" земли, или уплатив частным владельцам, частным строителям храмов, или епархиальной тогдашней вла-

сти. Вообще, евреи ничего *не захватывали, не отнимали*, это-то очевидно! Они вели дело "с начальством" и у него как-то "купили право аренды". Но "казаки", "Левифан" народный разметал все, не справляясь с документами, не заходя в контору, не спрашивая архиерея, побросав евреев в воду. "Церкви — *для наших куличей*, для нашей *молитвы*, для нас, они — народная аксиома, ни в какие законы не вписанная, но живая и действующая! То же буква в букву происходит сейчас с землею: "да кто вам право давал землю *продавать, дарить* (в сторону правительства), *покупать* (в сторону частных владельцев), *принимать в подарок, передавать, наследовать*, когда она вся — *наша, народная*, когда это — *трудовое дело, стихия труда*, как воздух — стихия дыхания и вода — стихия плавания, купания и рыболовства. Кто землю обрабатывает — того она и есть; точнее: тот и пользуется плодом своего труда на ней, и до тех только пор, пока трудится. Не вспахал он эту весну, — и *другой* будет собирать с нее плоды по осени, которые весною посеял".

"Долгосрочное пользование" — да и то еще с оговоркою о *непременном ежегодном своем обрабатывании каждого* — вот все и единственное, о чем может идти речь в отношении земли, о чем допустят речь...

Обществу, правительству, частным людям нужно приготовиться к встрече с этой железной грядущей аксиомой. Знаете, как весенний лед, пойдя, "срезывает" деревянные суда, деревянные мосты?.. Пусть изготовляются, кто может и если может.

* * *

Кто-то проговорил в зале (во время перерыва), и я передаю читателям, как впечатление, вынесенное и мною:

— "Кадеты" и крестьяне сходны в программе. Но между ними та разница, что крестьяне, все, как они есть, пойдут с вилами за свои слова. А "кадеты" не пойдут.

— Разница большая, — кивнул кто-то, оглянувшись насмешливо.

И я думаю — разница большая!

— Нам все равно умирать, с голода или под пушками. И мы пойдем на пушки, — говорил рабочий (но о крестьянах) в уголку. — Не дадут земли, мы так и скажем пославшим нас деревням: земли не дали. Тогда деревня знает что сделать.

Это все "правительству" или "кому" следует обдумать. Я вынес из собрания впечатление повышенное, энергичное, полное самоуверенности: и так как завтра все это будет "законодательно", то, очевидно, мы живем перед днями, далекими от ясности и тишины...

* * *

Заговорили о сохранении "культурных участников", на которых народ "мог бы научиться высшей культуре земли, и тем получать себе пользу".

— Зачем? Это ловушка! Какой же помещик, чтобы сохранить за собою землю, не заведет на ней кое-что, что он назовет "культурною", "образцовым хозяйством", и о существовании чего ужасно трудно спорить, трудно это точно определить, да и кто это будет определять для всей

России? "Эксперты"?.. Но тут так задета "своя шкура" у владельца, что он ни перед какими жертвами не постоит, и где же это на пространстве целой России найти неподкупно честных экспертов... Нам "образцовых культур" не нужно, а нужны "опытные поля", на которые каждый может, *вправе* прийти и начать учиться, ибо это — общее и в том числе *его* поле. Вот что нам нужно. А из этих "образцовых культур" крестьян гнали не то что сторожами, но и собаками. Мы ничего не видели и ничему там не научились, нам ничего не показывали и даже туда не пускали.

— Двадцать лет назад, когда я был мальчиком, я пошел поглядеть на "образцовый участок" в имение нашего помещика. Сторожа не пропустили. Не пропустили раз, не пропустили два, — а в третий раз я пробрался украдкой. На меня выпустили собак и чуть не затравили. Нам этих участков не надо, да и у господ это одна мазня. Ему имение приносило, до "улучшений", 75 000 руб. в год, и эти деньги аккуратно высылались управляющим его в Петербург. Но начались "улучшения", заведена "культура", и теперь ему высылается 60 000 руб. в год: остальное идет на "испытание", выписку машин и семян и на разъезды. У нас ведь как? Кто же едет на одной лошади? Унизительно. Подавай пару, подавай тройку, подавай управляющему, подавай агроному. Все ездят и все платят. Много рабочих пришлых и нанятых — хлопоты с урядником, хлопоты со становым, с исправником. Всякий приедет, понюхает, и всякому что-то нужно заплатить. Так что эти "улучшения" и "культуры", убыточные для помещиков, бесполезные для крестьян, не подлежат исключению и должны также пойти в общий фонд.

И с таким правом собственности!

Этот говорил еще спокойно, с легкой только иронией.

— Какие "улучшения"? Не надо их. Пусть прямо научат нас, а не через благодетельное соседство этих "улучшающих" помещиков, которые сидят у нас на хребте; и кто же из них не скажет, что он "улучшает". Не надо их!

— Не надо!

— Не надо!

И такие угрюмые лица. Я вспомнил соседа: "Пойдут на вилы".

* * *

Заговорили с другой стороны. "Конечно, увеличение земельного надела есть паллиатив, zapлата до времени. Опять размножится народ, и опять будет мало земли. Это только одна из мер среди других, более важных. Крестьянин должен перейти к другим, более культурным формам обработки земли, и тогда он получит достаточный урожай и с маленького надела. Далее, должен быть устроен постоянный и свободный отток от земли в город, на фабрику, в ученье, образование и разные профессии. Вообще, все дело зависит в меньшей степени от увеличения надела и в большей степени от целой совокупности общих условий в положении страны, промышленности, торговли".

Заговорил тихий крестьянин с небольшой иронией.

— Зависит более всего от освобождения личности крестьянина и просвещения его, но и в основе этого все-таки лежит увеличение куска обрабатываемой им земли. Самое поднятие культуры начинается с неко-

того уровня благосостояния, после достижения этого уровня; ниже его — всё падает и все падают, не удерживаясь на том, что есть. Темнота нашей деревни от невыносимой бедноты ее. Когда слышатся советы крестьянину лучше обрабатывать свою землю, культурнее относиться к своему труду, то невозможно слушать этого без невыносимой боли. Это напоминает укоризны в газете "Слово" бывшего министра земледелия, который писал там, что крестьянин и на той же земле мог бы, при более культурном труде, получить тройной против теперешнего урожай, и также удивление, какое при разговорах о нужде крестьянской высказывал "блаженной памяти" К. П. Победоносцев, обер-прокурор Синода. Он спрашивал: "Да отчего крестьяне на той же десятине земли не разводят малину? Не понимаю. Малина принимается по высокой цене в аптеки" (всеобщий смех). Крестьянину пошевелиться и негде, и нельзя. Он весь связан путаницей произвола и полузакона или беззакония над ним всех этих полицейских, и окружающих и верхних, властей, и пашет на своей 1/2 десятине или 1 десятине, впроголодь, сытый только до завтра, со страхом за послезавтра, и без всякой возможности мысли на год вперед, о чем-нибудь будущем, о чем-нибудь далеком. У него нет запаса земли, запаса рубля, и от этого нет запаса мысли. Никакого запаса. А культура начинается с запаса. Не трепещу я за сегодняшний день и могу подумать о следующем годе, как его обернуть, куда пойти, что делать. Нужда гонит крестьянина, и он не может остановиться: а чтобы начать улучшение, надо остановиться и подумать. От этого, я повторяю, кто заговаривает об улучшенных формах крестьянского труда на теперешнем наделе — преступник или ребенок, не знающий положения вещей в деревне. Но чаще всего это — равнодушие, не желающее помочь крестьянству. Крестьяне должны совершенно прекратить эти разговоры с господами об улучшении их крестьянской работы и сперва потребовать себе земли, — в достаточном размере земли и, уже только получив ее в руки, могут перейти к другим вопросам, тоже страшно важным, и посоветоваться о них с господами: что им делать со своею темнотою, как и чему учиться; что им делать со своим безнравием, которое сводится к юридической, бытовой, экономической и всяческой недвижимости. Сперва — благосостояние, некоторое, сносное, потом — просвещение и свобода, и уже на конце всего этого — культура, повышение качеств и способов работы и обработки — не иначе!

И все как аксиомы!! — "Страшные суеверия"?.. "Счастливые суеверия"? Пусть разберется историк. Я передаю, что слышало ухо и что видел глаз.

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

Мне кажется, для всех времен и положений остается верною истина, что чем с большего числа точек будет брошен на предмет свет, тем самый предмет станет виднее. Яснее: мы переживаем зарождение парламентаризма в России, — эпоха несравненной важности! Сколько будет написано о ней со временем! С какою жадностью будут историки хватать каждый штрих, каждую черту действительности, под которую

стоит пометка: "видел", "очевидец". Увы, ведь все это мелькнет, забудется; назавтра уже пойдут заволакивающие сплетни, "предания", тенденциозные окрашивания в ту и другую сторону. Нужно записывать или нужно описывать со всех сторон каждый факт в такой ранней стадии его, когда он еще не определился в добре и зле своем, не вызвал к себе ни определенного восторга, ни мотивированной ненависти.

Я пробрался в Думу "фуксом"... Безобразнейшие правила, по которым надо "за три дня подать председателю заявление о желании посетить Думу", — и уже на этот третий день получить право явиться. Да, может быть, у меня на этот третий день не будет времени "посетить Думу", а вот есть случайно сейчас свободных два часа, Дума — почти рядом с моею квартирой, и, конечно, я иду без всякого разрешения, смотря смело в глаза полицейским офицерам в воротах дворца и при входе в самую Думу. Я человек ancien régime¹ и мне на законы всегда было "наплевать", как Коробочке, Собакевичу "и прочим". Смелый взгляд "прямо в глаза начальству" (я по ancien régime каждого полицейского почитаю своим начальством, а в конке — даже и кондуктора конки) дал мне беспрекословный пропуск в воротах, но на крыльце офицер сделал движение и спросил: "билет"? Так как билет, конечно, полагается в кармане, то я и просунул руку в карман, чего-то шщя, чего там не было. Но офицер, видя этот "взгляд прямо в глаза начальству" и что, очевидно, билет находится в кармане, когда его там ищут, сказал вежливо "пожалуйста", не дожидаясь более очевидных доказательств. Теснились тут, к моему счастью, курсистки, уже, очевидно, без всякого билета, и полицейский офицер торопился задержать сих "злокозненных", может быть несших в кармане разные двусмысленные фитили и сардиночные коробки с "известным содержанием". Словом, человек действительно "старого порядка", я был пропущен, куда следует, и я возблагодарил провидение, различающее добрых и злых и открывающее перед добрыми "пути", а перед злыми их закрывающее...

Дивный зал, многоколонный, длинным-длинным овалом, полон народа... Разве теперь умеют делать такие залы? На ум не придет, фантазии не хватит! Для этого надо было быть "веку Екатерины и Потемкина", золотой поре их влюбленности и счастья... Очень хорошо, что для парламента не строили особого здания: построили бы что-нибудь нелепое и безвкусное, или в утрированном "русском стиле", с "полотенцами" и коньками по фризам и крыше, или что-нибудь "вообще человеческое", казенное, à la Аракчеев и à la Парфенон, среднее между ними и соединительное... Время Екатерины (и Елизаветы) ведь было временем чудеснейшего русского Renaissance'a, самого искреннего, самого милого, самого наивного, когда Херасков написал целый толстый том "Россиады" в подражание Виргилию — писал, и верил, и любил... Разве мы это можем? И вот этот же "русский Ренессанс" создал, параллельно "Россиаде", и дивный Таврический дворец, не блещущий снаружи, но полный изумительного вкуса внутри... центр этого вкуса — овальный зал "кулуаров"... В Вене я видел парламент: "кулуары" тоже очень хороши, но хуже наших таврических. Не доверяя себе, я подошел к И. И. Колышко,

¹ старый режим (фр.).

которого знал по сотрудничеству в "Гражданине", где помещал статьи о браке лет шесть назад.

— Конечно, конечно, здесь лучше! Я видел все европейские парламенты, и ни один так не хорош, как этот Таврический дворец...

Я думаю, он забыл о Вестминстерском аббатстве, которое, по крайней мере, по рисункам — изумительно. Впрочем, готика ужасно обманчива на рисунках: на бумаге — великолепиие, в действительности — "так себе". Как был я разочарован св. Стефаном в Вене...

Не забуду этого своего впечатления в Венском парламенте: зал по громадности, свету, внешнему (может быть безвкусному?) великолепию — подавляет; и по нему торопливо бегают, не сняв шляп (да! да!), какие-то почти международные человечки, без физиономии, без лица, без мысли, выражения, только, очевидно, с аппетитами. "Фу, какая гадость", — промелькнуло у меня. "Царский дворец и какие-то приказчики". Это были депутаты и депутатыки, финансисты, журналисты, репортеры, корреспонденты: в общем походило все на пассажи или гостинный двор.

— Нет величия! — мелькнуло у меня. Да и где оно есть в нашу эпоху, когда и человек и история потеряли вообще "стиль". Художник тосковал во мне.

Не скрою с тоскою, что часть этого впечатления повторилась и здесь. Человек слишком мал, скромн, бедн, некрасив сравнительно со зданием, сравнительно с окружающим архитектурным великолепием... Какие дьяволы строили Парфенон, Колизей? Неужели было соответствие здания и человека? Если так, — мы уже никогда не увидим таких людей, этих чудовищ (Колизей) и ангелов (Парфенон). Бог с ними. В Тавриде я бродил среди мещан, получивших в обладание что-то царское и великолепное.

Но все же здесь было гораздо лучше, чем в Вене. Вот идет какой-то "кунтуш"; кожаный пояс 1 1/2 четверти шириною, оригинальный кафтан песочного цвета, с цветными тесемками на нем. "Это хорошо! Это по крайней мере сапог Парфенона". Идут русские спортуки (очень мало), пиджаки (очень много), но походка важная, неторопливая. "Это хорошо". А вот и узенькая сутана католического священника, и даже епископа с лиловым кушаком. "А, ваша эминенция", — поздоровался я в душе. "Нет, это ничего". И вот идут, как слоны, совершенно квадратные, точнее — кубические, татары из Самарканда или туземной Тавриды. "Это — совсем отлично: ксендз и мулла в одном собрании, с правом того же голоса, с правом речи на всю Россию, и даже для сих торжественных минут — на всю Европу!" А вот и они, серые мужички, наши кровные "Миняи" и "Митяи", которые станут законодательствовать. "Отлично! совсем отлично! Чем диче, чем натуральнее — тем вернее с подлинным". И, натуралист в сердце, "школы Репина", я перебрался сочувствием от дивного здания, которое чаровало глаз, к его обитателям, которые занимали ум. "Ну их к черту, Хераскова и Потемкина: сам я и не Херасков, и не Потемкин, а русский обыватель, уважающий начальство, и мне наши мужички, тоже уважающие начальство, ближе и понятнее этих колонн, среди которых амурничали боги и цари". "Боги" — в живописи великолепных ваз, оставленных в залах дворца.

— Ну, как парламент? Были в депутатском зале? Слышали прения? — спросил я у сотоварища по "Гражданину".

Его я не видел много лет и живо разговорился. Это был канун "исторического дня", когда столкнулись министерство и Дума. День этот был тихий и немного скучноватый.

— Не ходите в зал. Проверяют полномочия депутатов. Как парламент? У него дивный председатель. И благодаря его покою, знанию форм, достоинству, я позволю сказать — великолепию, все идет отлично. Мы с вами люди *ancien régime*... Можно ли было ожидать, что из "русского парламента" что-нибудь выйдет, кроме чепухи, кроме толчеи и болтовни, рисовки собою, безделья и неуменья? Да и не об одних нас, о всяком народе можно сказать, что, начиная новое, он только ломает и портит, смешон и смешит. Я изумлен, что вижу перед собою настоящий европейский парламент, который пока держится с таким достоинством, как я не видел ни в Берлине, ни в Париже. Помилуйте, там бывают драки, а уж об ругани и говорить нечего: каждый день инцидент и почти скандал. Здесь вы этого не чувствуете в воздухе, не слышите носом. Скандала нет, и нет его питающей почвы — миазмов. И вместе — это свободное и смелое учреждение, со своим "я". Где это видано, у нас! у нас! — у которых были только мертвые комиссии чиновников, повторяющие за председателем его слова. Удивительно!

Я нарочно позволяю себе назвать имя говорившего: потому что обратный взгляд на Думу очень распространен, и я его допускаю же, признаю даже истинным, но пусть пред историком ляжет и это другое впечатление очевидца, сказанное интимно, не для читателей и общества и от человека действительно "*ancien régime*", как все сотрудники "Гражданина". А г. Кольпико был много лет по журналу правою рукою кн. Мещерского, хотя всегда со своею физиономиею, не вторившею редактору. Во всяком случае — консерватор и государственный.

Что бы ни было в зале депутатов, я решил ее видеть. Пробрался на хоры: они очень непоместительны, и по величине залы — далеки (не заднем фасе) от председателя и от оратора. Депутаты видны или с затылка, или в профиль. Действительно, председатель излагал результаты проверки выборов. Было шумно, и я, пробыв с $\frac{1}{4}$ часа, вышел.

Говор, конечно, русский; но нет-нет и мелькнет хохлацкий, жмудинский (литовский), еще чаще — польский, с их несносными шипящими буквами, совсем редко — немецкий или французский (верно, корреспонденты?). Поляки депутаты подходят к ксендзам; сами ксендзы ни к кому не подходят: католическая повадка (гордость). Один ксендз совсем тощ, другой потолще. Епископ Рооп имеет хороший вид, только худоват, лицо доброе и задумчивое; видно — умен средним умом и немного больше среднего. Пишу для историка, конечно, с ошибками, что видел и как показалось. Историк важно и "показалось", с точной отметкой этого. Много помещиков, дворян, "бар". Среди мужиков один, очевидно, южнорусский, такой красоты, роста, сложен и оживленного прекрасного лица, что хоть рисовать. Вот такой-то, при Елизавете, и попал из певчих в вельможи. Вообще, если припомнить, что Сократ и Алкивиад в гимназии и университете не учились, и даже сам Перикл "срезался бы на экзамене на аттестат зрелости", то совершенно очевидно, что мужик из Тулы и Костромы, чуть-чуть поотесавшись и привыкнув к новым понятиям, поворотам мысли, испытав новое обращение и новое к себе отношение — в год, два, даже в несколько месяцев может

преобразоваться из "обывателя" и "серяка" в гражданина, в почти образованного, во всяком случае в умного и не роняющего своего достоинства человека. Вчера "дядя Митяй", сегодня — Дмитрий Кочетов, а завтра — и полный "депутат первого русского парламента". В нем, в палате прений, в кулуарах, в разговорах, в обращениях все эти мужики, очевидно, очень быстро подучиваются, полируются, "приходят в разум"; и я изумлен был на другой день, как открыто, со своим "колером", говорят они перед огромным собранием, перед членами Госуд. Совета и министрами, — что очень трудно, требует больших нервов и, казалось бы, навыка. Мужик очень посмелел; прибавлю твердо и со стороны точности безукоризненно: он пока несколько не дерзок, не нагл.

Если бы кто-нибудь, не бывший вовсе в парламенте, переспросил: "А Аладьин? Аникин? Жилкин?", то я отвечу, что это — недоразумение: все эти три депутата только "из рода крестьянского", но по одежде, по манерам, уровню сведений и пр., и пр., и пр. это совершенно люди "нашей среды", книжной, журнальной и публицистической. Ни одной физиологической и бытовой ниточкой они не соединены с крестьянством, натуральным, пахущим и деревенским. Но о них особо и ниже. Повторяю, не бывши в Думе, о ней невозможно судить точно ни по каким отчетам, вроде: "говорил депутат Аладьин, от крестьянской группы", и дальше — речь.

В отчетах мы только слушаем Думу, и то без интонаций, страшно важных. Это очень мало, это одна логика и грамматика. Нет колорита, цветов, запаха. Их нужно прийти и усвоить.

Напр., Родичев. Никто о нем не написал самого важного, что с первого же взгляда меня поразило незабываемою чертою. В лицо я уже знал его.

Все сидят, слушают говорящего оратора. Полная тишина. Председатель величествен... — Робко-робко, семена бессильными ножками, пробирается темная фигура вправо; что-то извиняющееся и как бы запуганное; голова опущена. "Нет скромнее человека". Ничего нахального, дерзкого, адвокатского: едва ли даже что дворянское. Воплощенная тишина и испуг чему-нибудь помешать, на шуметь. Кажется, он идет на цыпочках: не видно, но такое впечатление от боязливой походки. Только уже в кулуарах я рассмотрел, что он большого роста, фигура видная и внушительная. Но пока он пробирается между перилками, по проходу, в семи саженях от вас, и весь, весь виден, — вы ошибочно приписываете ему маленький рост от этой природной тишины и, кажется, слабости всего корпуса, тела. Он в черном (люстриновом, шелковом?) пиджаке. В платье — никакого покроя, точно дома или на работе. Ораторы продолжают говорить, все внимательно и серьезно; прошел час, полтора, до перерыва еще осталось полтора часа; но опять пробирается та же фигура — назад, вон, верно в буфет съест котлетку или так, выкурить папироску. В кулуарах он также движется взад и вперед, тихо и спокойно, никогда не "расхаживаясь", не "разглагольствуя", а точно торопясь куда-то в уголок, где у него есть дело, когда на самом деле никакого дела нет. Все обыкновенно, кроме лица и ног. Такой смешной, мелочной, неважной походочки нет (не ошибаюсь!) ни у одного человека в громадной людной зале кулуаров: отсюда я и назвал походку бес-

конечно слабой физиологически. Точно в ногах у него не кровь, а парное молоко. Далее все обыкновенно до головы: откуда начинается опять же единственное в кулуарах!! Человек этот физиологически, анатомически не уравнижен. Весь организм как будто страшно обессилен, отдав всю свою энергию — голове, не лобным ее частям, а вот этим горловым-глоточным-челюстным: где и вдохновение, ум, и гений! В палате, судя по этим частым входам и выходам, по вечным опаздываниям после звонка на $\frac{1}{2}$ часа, он никого не слушает и ничего определенного об этой палате не думает. Ни в какую "тактику" и предварительные "уговоры" его, очевидно, нельзя вовлечь: он на все пассивно согласится и, все обещав ("условившись"), — ничего не исполнит, забыв, о чем была речь. Он никого не слушает, кроме себя, каких-то своих постоянных внутренних речей, голосов, возражений себе и мысленных своих возражений на возражения. Словом, как у другого постоянно "играют мысли", у картежника — мелькают карты, во сне и наяву, в церкви, в театре, — так этот постоянно слышит речи и произносит речи, обрывки речей, восклицания, слова. Он постоянно живет в некоем внутреннем звоне, поэтическом, страстном, счастливом. Но говорят другие, или идут и обсуждаются "дела": а, до этого ему нет дела! Из всего парламента Родичев, в сущности, есть единственный "урожденный" для этого человек; прочие присоединили парламентаризм к биографии, профессии, к занятиям, деятельности, науке, убеждениям своим. Родичев вне парламента просто отсутствует, он "родился в парламенте", как у младенцев бывает, что вот иногда они рождаются "в сорочке". Ничего еще он не сделал, может быть, и не сделает ничего; для "дела" и вообще-то он как-то не идет. Но если судьба Думы пойдет очень зигзагами, если она будет необыкновенна, случатся в жизни Думы моменты исключительной патетичности, важности, героизма или ужаса, даже преступности: Родичев во все вот эти особенные моменты окажется на вершине волны, произносящим какое-нибудь страшно-решающее, страшно-ответственное слово, и притом произносящим почти бессознательно, безрассудно и увлекательно! Разумом он не обделен: но разумом более психологическим, нежели логическим. В "исторический день", когда Горемыкин произнес свою декларацию, — он же говорил неодушевленно, вяло: это не один я заметил, но это же впечатление мне пришлось выслушать и от других. И по всему вероятно оттого, что ему уже заранее, как и другим депутатам, было известно содержание декларации, и он говорил "как по заказу", а "заказа" эта патетическая и неуравновешенная натура не выносит. И тем не менее когда после великолепной "государственной" речи Набокова, отточенной, обдуманной, "служебной", — заговорил он, и заговорил, что "ответственность министров должна быть написана не в законах, что ответственным каждый человек должен чувствовать себя сам в своей совести, и, видя себя не на месте, вредящим, обязан не по приглашению или понуждению, а по своей воле и сам — уйти", то это было и прекрасно, и человечно, и верно. Это — не логическая, а психологическая правда. Наконец, при правде и очевидности — это оригинально и ново. Сколько у нас генералов и командующих флотами погубили дело, нанесли неисчислимыя раны родине — только не имел "совести уйти вовремя". Совесть их не нудила уйти. Они остались. И проиграли не только ордена и чины свои (этого, к бессовестности всего нашего

строя, они не проигрывали), а "проиграли" долю России, — армии, флоты, славу, богатство. Он призывал к скромности, к обыкновенной человеческой скромности на службе, в государственной деятельности; конечно, это ново и нужно, страшно важно! Двадцать минут, пока длилась речь, я по крайней мере поучался у этого тверского депутата, богател от него умом, соображением: а я сам написал десять книг и уже редко чему учусь, т. е. что нахожу поучительным. Родичев же и не профессор, и не ученый, и не писатель. И у других ораторов в Думе я не поучался, а говорил только: "верно", "не верно", но без всякого пафоса. У Родичева — патетически поучаешься, его — не одобряешь, а к нему — присоединяешься, примыкаешь, становишься "на его сторону": это и есть секрет заражать. Хотя, я думаю, сам он тоже "заражается" моментами, обстоятельствами, никогда не предвидя, что именно по нему "чиркнет спичкою" — и он вспыхнет.

Всегда я считал физиологию матерью психологии: и из депутатов заметил еще только одного, которого нельзя не отличить и не заметить в огромной толпе. Это проф. Петражицкий. Изумительно он схвачен фотографом "вышедшим из экипажа и входящим на крыльцо Думы". Он, конечно, не знал, что его снимают: и вышло божественно натурально, между прочим, даже в выражении лица, сколько можно рассмотреть на таком малом рисунке. Но вообще никакого другого рисунка не нужно, всякий иной портрет будет хуже: Петражицкого надо брать именно в движении и торопливости. Зритель обратит внимание, что при большой уторопленности — лицо задумчиво, молчаливо, серьезно, мысль погружена в себя. Петражицкий страшно сосредоточен (я видел его в Думе и раньше на кадетском съезде по аграрному вопросу), но западную культурную сосредоточенность, общечеловеческую, без индивидуальных оттенков, без меланхолии, без поэзии. Он весь проза, страшно умная проза. Ни капли вдохновения. Впрочем, сперва о физиологии, "матери души". В громадной, в несколько сот человек толпе вы заметите беленькую, маленькую, слабенькую фигуру, спешащую и серьезную, которой, к удивлению, дают место и позволяют говорить: до того он похож на несформировавшегося мальчика, гимназиста в штатском, и особенно эти белые, под гребенку стриженные волосы, такие белые, какие бывают только у мальчиков, которых через три месяца в четвертый стрижет мамаша!!! Фотограф не мог этого передать: а между тем это так отличительно, что нельзя не передать историку. Нет необыкновенного внутри, если нет чего-нибудь необыкновенного снаружи. "Петражицкий! Петражицкий!.." — слышу я вот десять лет, от студентов, от людей, соприкосновенных с наукою и университетом, — авторитет в юриспруденции". И я представлял себе солидную фигуру, в кресле, с книгой, с большими волосами, в очках, — "согбенного", как Фауст. Увидел — и плюнуть не на что. На улице я его не видел, а фотограф снял его в цилиндре; в собрании он всегда в сюртуке (почти все — в пиджаках). Цилиндр увеличивает рост, а сюртук придает солидность: и этому человеку до того нужно и больше росту, и чего-нибудь мужского, басистого, октавистого: ибо кажется, и говорить-то он может только дискантом. Бесспорно, он не чисто польского рода, а что-нибудь из белорусов или из литвы (вернее!), или из какого-нибудь местного малоизвестного племени. В нем мало даже славянского, широкого,

крупного, доброго: эта сухая беленькая фигурка, — я бы ее отнес к корелам или финнам: но у него совершенно правильное европейское лицо. Вероятнее всего, он в детстве страдал недоразвитостью, долгим рахитизмом, "бледной немочью": лицо его совершенно бескровное, белое, с приближением к бумаге, без тени и без возможности румянца, краски. Вся фигура — глубоко бескрасочная: ни одного такого поляка я не видал, ни одного в Варшаве, в России, нигде! Этот громадный ус, большой овал лица, широкий подбородок, тупость или наивность в лице, гордые с переходом в нахальство манеры — у Петражицкого все обратно! Между тем заметно по речам, что он — поляк, и юрист-поляк, крепко намеревающийся отстаивать "права отчизны". Впрочем — "права Западного края", — так как по бескровности, в нем не предполагаешь "отчизны", "родной земли" и вообще романтизма. Для сравнения проведу параллель, и в преувеличениях: если бы Думе выпал "патетический момент", и в сторону минусов, катаклизма, то я мог бы представить себе, что Родичев кого-то "заколот", "пронзил". Вообще тут — удар, секунда, и непременно колющее оружие. Романтик революции! Петражицкий в тех же условиях и под теми же мотивами кого-то стал бы резать, даже тупым ножом, наконец — косарем, но долго, фанатично и непременно до смерти, сам весь измучившись и почти умерев на мертвом (жертве). В случаях плюса, апофеоза — Родичев "увенчал" бы, а Петражицкий назначил бы пенсию и дал должность. В Петражицком полное отсутствие вдохновения, пафоса, страсти: и огромное, громадное напряжение воли, терпения, что-то копающееся, роющееся, инженерное, в области подземных нор, мин, проходов. Ничего летучего, птичьего и пророческого. Может быть, ему суждено играть роль в будущем? Может быть; хоть может быть — и никакой роли. Смотря по тому, как пойдет Дума и с Думою. На первый случай мои заметки будут полезны истрику.

Апрель — май

Я уже давно не был в Думе, и заметки мои явились бы вовсе запоздалыми для политики, но я пишу для любопытных историков. Увы, все пошло слишком быстро, и теперешнее впечатление Таврического дворца, судя по газетам, уже далеко не то, какое он давал три недели назад. Увы, рок или безрассудство увлекает обе стороны. Мне, от природы мирному человеку, представляется совершенно возможным, чтобы Дума в ответе на тронную речь Государя, *оставив всю ту программу, которая есть в нем*, программу нужную и правильную (на мой взгляд), предпослала программе те несколько психологических, деликатных, говорящих душе слов, какие она обязана была сказать, как наследница русской литературы, в момент столь великий, трогательный, единственный! Декларация Думы не обязана была быть столь исключительно и сухо политической: это только по-европейски, а не по-русски. И нет сомнения, что Государь, который не одною японскою войною и вообще всеми "последними событиями", но и собственным характером, весьма новым и неожиданным на русском престоле, явно предназначен был ввести конституционный строй в России, проститься с Росией солдатской, грубой и безудержной в самовластии, — сделал бы все сам и радостно, навстречу Думе, в полной программе ее пожеланий.

Видеть Россию без "латифундий", почти крестьянской, без крови с обеих сторон, — с судом демократическим и свободным, без земских начальников "и тому подобного": все, все, все пожелания Думы, всякие заветы русской литературы, свободу слова, собраний, реформу выборной системы и пр. и пр.; Государь явно дал бы, ибо тут нет ничего затрагивающего бытие России и достоинство Государя. Все, все могла бы получить Дума, сказав несколько слов, сказав их сердцу не последнего русского человека — Царя ее. Чувствовалось, что таков психологический момент. Но она (в первых словах г. Муромцева) решилась "оберегать прерогативы конституционного государя", совершенно по-европейски, по учебнику, без души, холодно и безучастно. И в ответ получила безучастное, холодное, формальное — "нет". Было ли оно вынуждено? Нисколько. У Горемыкина также не нашлось души русской, чтобы сказать: "Попробуйте, поработайте!" Ведь программа Думы — только предначертание, план, лист бумаги. "Резолюция, а не действительность", как потом догадались в самой же Думе. Теперь чего на газетной бумаге ни печатается, — и Россия стоит целехонька. Очевидно, при "трении" с действительностью, при бездне затруднений финансовых, инородческих (ибо есть у племен "вкус", напр., к виду собственности, мелкой или крупной, общинной или частной, наследственной и не наследственной) и пр., и пр., — программа Думы весьма бы поубавилась, сузилась. Так на кадетских собраниях и говорилось громко: "Мы берем самое широкое, что можно взять, предначертать: а там — как покажет работа". Вот это "как покажет работа, а мы благословляем" — и обязано было сказать министерство, правительство, если б оно было с душою, умом и предвидением. Но ничего этого не оказалось, и все пошло слепо, стихийно... Все родилось из злости, неуважения обоюдного, неумолимого. Теперь это уже факт, теперь этого нельзя залить. Это и есть революция, которая теперь совершенно явна, — тогда как еще месяц назад она была в скорлупке и могла бы из нее не выклюнуться...

Но, может быть, я ошибаюсь? Может быть. Весьма возможно, что тогда как ум человеческий "гладко раскладывает" и все пытается умиротворить, — глубочайшие, первейшие токи истории требуют в ее процессе великих перемен, хрупкости, ломкости, страданий, боли. Увы, почему-то жертва и жертвоприношение везде играют роль, во всем великом! Я не верю, совершенно, аналогии русской революции с первою французскою по той азбучной причине, что все живое, и в том числе все историческое, асимметрично, непропорционально, ново, не копирует (бессознательно) прежнее; что нет не только *событий* тождественных, но и *лиц* тождественных, героев, как, впрочем, и обыкновенных людей; нет в истории колонн и "колоннад", — одна, другая, третья... Поэтому и не будет у нас конвента, террора, Наполеона и пр., как предсказывают во множестве. Но я отвлекся от идеи жертвы. Если бы Людовик XVI и Мирабо поладили (это был замысел Мирабо) и революции "Бог дал минуту", — Франция пережила бы "эпоху великих реформ", но история Европы не получила бы такого громадного обновления всех своих внутренних соков, до перемены всей психологии, всех идей, в каком она, очевидно, нуждалась... Есть рассудительность и есть фатум. Кто знает, где больше ума? Поверим в ум и божественный, сверх человеческого, и допустим, что если бы переговоры Горемыкина и Думы, при ином взятом тоне,

повели к "переработке правительственного строя" и вообще новой "эпохе великих реформ", то в эти реформы не уложилось бы что-то такое, чего мы не знаем, и чему, может быть, будет радоваться и Россия и Европа лет через 15. Мы ничего не знаем. И я по крайней мере устраняю свои личные предвидения.

* * *

В заседании 13 мая мне привелось впервые увидеть говорящих крестьян. Они были страшно бедны, оборванные, прямо от земли. "Настоящие", а не литературные мужики. Невозможно достаточно оценить изменившееся положение вещей, в силу которого перед Престолом, перед сонмищем министров и государственных сановников, пред множеством профессоров, помещиков, дворян, целою интеллигенциею и, наконец, вслух всей России и целой Европы заговорил "серяк", едва грамотный, который дотоле ничего не видал, кроме неба и сохи, и его никто не слушал, кроме лошади и коровы, с которыми он жил. На другой день представления Думы в Зимнем дворце мне привелось выслушать впечатление иностранцев:

— Это не депутаты, а зверинец. Разве это люди, граждане?

Из русских, конечно, ни единый этого не подумал. Мы мало замечаем, что русская литература, а за нею и русское общество, все, все — имеет до того демократический, народный, до известной степени деревенский склад (по тенденциям), как этого решительно не бывало в истории, нет нигде кроме, может быть, древних восточных деспотий. Вся Европа, не исключая и отпрыска ее, Америки, неизмеримо аристократичнее, барственнее. Вся она в перчатках, тогда как Россия, по замечанию Щедрина, ходит даже без штанов ("За рубежом"). В Таврический дворец Россия пришла, в дробях собрания, решительно "без штанов". Я заметил, что из ложи министров двое, уже вставшие, чтобы уходить, остановились и прослушали до конца всю речь "бесштанного" мужичка, говорившего о Самсоне.

Мужичку этому было лет 40—50, и еще в золотую пору воскресных школ и Ушинского он выслушал рассказ об израильском богоизбранном муже и хитрой Далиле, длинных остриженных волосах и заключительной драме в филистимском капище. Тогда он был белокурый мальчиком, с насекомыми в длинных волосах, намоченных квасом вместо помады. Все знают этих деревенских мальчуганов, немых, внимательных и впечатлительных. И вот дивным Промыслом Божиим мальчик этот "яко Самсон" приведен был в Таврический дворец с изумляющими колоннами, так напоминающими филистимские; приведен сюда с правами, голосом, с силою. Я наслаждался его речью, как бы малороссийскою бандурою, и, кажется, все наслаждались. Он творил на кафедре менее политику и более шехеразату, сам как бы один из безумных восточных певцов и эпиков. Политика сплелась со сказкою, и требования мужа и гражданина — с воспоминаниями школьника. Дикция его была растянутая, певучая, вероятно, это говор которой-нибудь из губерний; а главное — очень уже он был погружен в дивную израильскую историю, с ее чудесами, и, перетаскивая ее на русскую действительность, как бы творил русскую эпопею, не то ветхозаветную, не то современно-русскую,

и сам тронут был этою переработкою, как поэт поэмою, — говорил с сильными интонациями, точно тосковал и пел, более очарованный сам, нежели претендовавший очаровывать. Он не доказывал, как всякий политик, свою тему: но он хотел привлечь любовь собрания к крестьянину-Самсону, привлечь внимание собрания к положению этого Самсона:

— "И вот, господа епутаты, выкололи глаза этому Самсону (почти плачет). Куда же он пойдет (протягивая руки к депутатам), когда уже нет у него длинных волос, которые остригли ему, пока он спал? Как и наш невинный народ, дремавший в темноте, без света... Руки связаны (у Самсона и русского народа)... "Поведи меня, мальчик (длинное вытянутое восклицание кверху), говорит он, в главный храм филистимлян, на великое торжество их, где их князья сидят и издеваются над народом Божиим". И повел его мальчик, такого исполина маленький мальчик, и поставил посреди храма... (голос страшно повысился, самая патетическая минута) и говорит он душе своей: "Погибнем мы здесь, душа моя, и задавим недругов своих окаянных, ослепивших, остригших волосы и взявших силу хитростью". Потому что она была хитрая, эта Далила. И потряс он столбы храма. И филистимляне погибли, и с ними душа Самсона... Господа епутаты: не такой же ли Самсон и народ русский, и не то ли сделано с ним, пока он спал доверчиво на коленях хитрой женщины, этой нашей бюрократии (слово, висящее в воздухе Думы), господа епутаты... Но страшна минута, когда он потрясет столбы... Страшна минута, когда голодный народ, темный, отчаявшийся, скажет: "Душа моя! погибнем здесь, где веселятся враги наши! погибнем вместе с ними, чтобы и они не жили"...

Неуклюжий, косолапый, в чем-то черном, он спустился вниз. "Бандура" очаровала слушателей; и незаметно было как самому говорившему, так и всем слушателям, что он грозил и отчасти призывал к разрушению отечества. Это — и родник штунды: "у немцев — лучше: будем — немцами!" А у этого: отечество велико, славно, но народ в нем голоден и голоду этому не видно конца, придет народ, — нет, сильнее: пусть идет народ и погубляет все это великое, славное, от чего народу ни тепло, ни холодно, и, может быть, будет теплее, когда этого величия не будет". Разин и пугачевщина, это политическая, государственная штунда же, решающая "разом все, от маковки до пяток". Но можно ли Разина, жестокого, кровавого, огнепалящего, уместить в этого тихого мужичка, очень чувствительного, очень романтического, который, кажется, более способен качать люльку и сказывать песни ребенку, чем заниматься государствоведением?.. Разин и сантименталист? Очень совместимо: ведь сантиментальность не есть доброта, не есть даже снисхождение. Сантиментальность — богатое воображение; и когда она входит в политику, она отодвигает мелкую деловитость текущего дня и призывает к далекому, великому, даже огненному. На то и мечтатели... Не люблю я аналогий, но замечу, что среди жестоких и грубых монтаньяров Робеспьер был сантименталист и ритор с букетом цветов в руке (праздник "Высшего Существа"), не любивший пьяных компаний, а любивший проводить вечера в одной дружеской семье... Ведь и он читал "Новую Элоизу"... Большие картины увлекают. И этого "бандуриста" в Думе я очень могу представить себе ведущим толпы к очень решительным действиям... В этом смысле он цельнее и ценнее, например, Родичева или

Петражицкого, которые говорят, политиканствуют и будут так "до скончания света": такова натура... Тогда как у этого мужика-певуна — "натура" жизненная и практическая, деятельная и непременная.

* * *

Важный вопрос, о котором многие думают: "Отчего речи *и* мужичков" так же либеральны и даже радикальны, как всех прочих в Думе? "Где *Св. Русь*?" — спрашивают. Молчит она? Еще не высказалась? Или она так быстро переделалась за год-два в рабочем и социал-демократическом направлении?

Мне кажется, объясняется все очень просто тем, что "политика" (*активная* политика) не входила никак в идеал и систему "Св. Руси", не была никаким камнем в ней, ни которым углом. Там было терпение, страдание и покорность. В политическом отношении совершенно не было никакого завета, даже никакой мысли и никакого представления, кроме апостольских зóвов: "Несть власть *еще* не от Бога", "всякая душа *властям* *предержащим* да повинуется" и "рабы, *любите* *господ* *своих*": истины, принесенные еще византийскими монахами, и на которых воздвигалось все крепкое царство Москвы. Даже в эпоху Грозного народ, бояре, духовенство не имело иного, кроме этих же текстов... Теперь, когда в 1906 году пришло явно другое время, когда народ и в том числе мужик поставлен явно пред чем-то активным, перед задачами движения, сопротивления, гражданского творчества, государственного обновления и проч., у него нет и не могло найтись других речей, кроме соседских, напр. кадетских, или социальных, даже революционных; как для москвича Петра I не было форм жизни, труда, обновления — иных, чем западных, шведских, голландских, немецких, французских. Из ничего — ничего не растет. И активной "православной политики", даже "старорусской политики" не могло появиться, ибо в самых стихиях православия и "доброй старой Руси" не содержалось и не содержится вообще никаких элементов бегучести, взрывчатости, раздражения, критики, осуждения, гнева, вечных начал вечного исторического движения. Увы, наша история вечно стремилась *остановиться*; ее бывшее существо — точка, масса, но не линия, не полет. Всякое новое дело мы рассматривали как "беспокойство"... Так на это смотрели Илья Ильич Обломов, русское чиновничество ("дело не медведь — в лес не убежит") и, наконец, "тишайший Алексей Михайлович", идеал царей московских, святой и прекрасный... Нельзя с горечью не заметить, что и вся русская поэзия, начиная с "Сельского кладбища" Жуковского (перевод из Грея, но давший новый тон целому направлению), была литературой грустящего, не героического, не сопротивляющегося, несколько эггического, несколько даже меланхолическою. Увы, кроткое увядание и наконец надмогильная скорбь всегда были темою русских стихов, повестей, романов. Не один Обломов: сюда же относится и "непротивление злу" Толстого, не говоря об идеале всех русских девушек и юношей, Татьяны Лариной и Лизы Калитиной. Пассивность сделалась для нас почти религией...

И вдруг — Дума. "Иди и законодательствуй". "Иди и поправляй русскую державу после японской войны". Задача, как у Петра; и снова пришлось плыть "к варягам". А у варягов теперь уже не Рюрик, Синеус

и Трувор, а Карл Маркс, Энгельс и еще кто-то. Пришлось черпать сырьем, что́ есть, — черпать кадетам и, наконец, мужикам и даже, наконец, попам. Все полуреволюционные речи, — как всюду теперь в Европе, даже в благоразумной Германии; как в XVIII веке всюду были фижмы и парики. Всякие другие речи, напр. у вигов в Англии, у аграриев или юнкеров в Германии, у ультрамонтанов во Франции — суть как бы специфические, местные говоры, вытекающие из особенностей местной истории, отвечающие на краткие их немецкие или английские нужды, — которых перенести на русскую почву решительно невозможно! И было бы смешно пытаться это сделать! Единственный универсально-европейский жаргон есть либерализм, даже радикализм, немного даже революция и социализм. А, это всем понятно, — на Нева, Шпрее, Сене, Темзе, даже понятно на Иртыше или Байкале. Это всемирный говор, всюду понятный язык, как латынь в средние века и французский язык начиная с Людовика XIV, Корнеля и Расина... Кадеты и усвоили этот "французский язык" политики, легкий, общепонятный, звучащий, приятный, убедительный... Кадеты и Аладьин, Аникин, — даже наконец гр. Гейден, — классический образец русско-немецкого барина...

Кстати: вот бы кому на место Горемыкина! Когда он проходит, седой, спокойный, деликатный, никому не наступающий на ногу и ни перед кем не отступающий, исполненный изящества и достоинства, внушающий даже недругам глубокое почтение, вызывающий у каждого желание по возможности согласиться с ним, одобрить его, даже приветствовать его голос и поступок, — думаешь: "Вот естественный министр спокойно конституционного уклада!"

Но, пока, таково расположение сил в Думе и вся психология ее, что ему приходится только "вотировать с другими"... Пока это симпатичное имя и благородная фигура без всякого значения...

"Революцию" в Думе представляют Аникин, Жилкин, Аладьин и вообще "трудовая группа"; и именно в данные дни они выбирают на верх положения, заливая речами своими, формулами, предложениями, поправками "соловьев" первых дней Думы, Родичева, Набокова, Ковалевского и проч., дворян и профессоров. Точно 60-е годы, с "Современником" и Добролюбовым, которые "приколотили" Тургенева, заставив его издавать жалобные, грустящие песни... Скажу личное впечатление о них, — и опять для историка.

Молодые, крепкие, прямого сложения, точно никогда не хворали. Этой христианской "хвори" — они о ней и понятия не имеют. Не зачитаются "Сельским кладбищем" Жуковского-Грея. В жены им нужна не Татьяна и Лиза, а "ядренная баба", без вздохов и сантиментальности. Без романа и воспоминаний. Без всяких грез. Вообще греза, мечта, духовное кружево, всякий аромат, всякая певучесть и сладость им непонятна, враждебна, смешна. "Заработная плата — и никаких" (т. е. ничего другого), — как формулируют между рабочих, между простонародьем. Люди эти — крови простонародья, но внешность и вся выправка их и речи уже ничего не имеют общего с тем "бандуристом", который запел о Самсоне и явил серую деревню. Аладьин чуть ли не всю свою зрелую жизнь провел в Англии, по крайней мере много лет, и отсюда (как объясняли в кулуарах) его аффектированная, не русская речь, с искусственно придуманною дикцией, не натуральная à la Репин... Мне она не

понравилась, и не понравилась (13 мая) другим, так что ему шикали, или кричали "довольно" (знак неодобрения, желания остановить, нежелания слушать). Напротив, — Аникин понравился, и просто голосом, натурой голоса. Нужно же наполнить звуками такой зал, и без усилий, точно разговаривая, не крича... Бедные заучившиеся профессора, столько гнущие спину над книгами, явно пасуют перед ними: просто — такой голос! Профессора ведь и вообще не излишне активны, а дворяне очень крахмалисты: и "трудовики" жестко теснят их, теснят и оттесняют назад, — как "кулаки" бар из старых "дворянских гнезд"... Культура есть нечто размягчающее и разрыхляющее, углубляющее и вместе ослабляющее; это красота и вместе начало болезни и некая отдаленная смерть. "Культурный" Жуковский и запел о "Сельском кладбище"... Вообще культура есть слабость и ослабление: об этом и Иловайский на каждой странице подтверждает: "Так было с персами", "так же с греками", "с римлянами"... с русскими барами и, наконец, с "кадетами" в Думе, из бар и профессоров. "Трудовики" — свежий дичок: и эта вот свежесть и "неиспорченность культурой" (в смысле Иловайского) так и брызжет из их голоса, наполняющего зал, из кратких неодоухотворенных тезисов, жестких требований, прямого сильного стана, который, кажется, никогда не доживет до фаустовской согбенности... Вообще с ними входит в политику нечто немудрое, сильное, поборающее, ломающее, немирящееся, несговорчивое. Буквально — Добролюбов, садящийся на кресло Тургенева; точнее, — распоряжающийся выбросить кресло Тургенева, "от бабушки", с узорчатой старинной резьбой XVIII века, и становящийся на месте его американский гладкий табурет. "Так удобнее, мне и человечеству". Кто не помнит, сколько боли и болей принесла эта литература 60-х годов... То же несут и принесут в политику, в конституционный строй, и "трудовики". Боль в истории, в парламентской жизни начнется от них. С "кадетами" ее никогда бы не началось. И тут вспоминается все, что я выше говорил о "жертвоприношениях". Увы, оно всегда распадается на жертву и жертвоприносителя: и если "старой Руси", терпеливой, страдавшей и покорной, такой поэтической и столько воспетой, нужно в самом деле вовсе умереть, — то жертвоприноситель уже подходит...

А впрочем, все темно. И кто что-нибудь видит вперед?..

* * *

В один из перерывов заседания я сидел в ложе журналистов. Теперь она очень большая, вместимостью почти до 100 человек, — разумеется, если стоять. Мало-мальски интересное заседание, и она набивается битком. Два задние ряда ее отведены для представителей иностранной журналистики. Так как я не имел своего стула, то сел на свободное место этой "Presse étrangère", — как значится на маленьком плакате, прикрепленном к крайнему стулу. Зала была почти пуста. По нашему русскому обычаю, хотя перерыв был назначен всего на 15 минут, но никто не собирался в залу, и сам председатель не занимал своего места даже и по прошествии получаса. Дума вообще страшно работает, страшно устает, и отдыхает в перерывы (назначаемые очень редко, скупо) по нервам, а не по "заданному". Это как потный мужик; поднялся от земли, вытер лоб,

да и застоялся. Нет силушки нагнуться опять сейчас же. Даже присутствовал в Думе в качестве "гуляющего", т. е. то слушающего, то перестающего слушать, без дела, без обязанностей, — и то тяжело. Каково же записывать, следить пунктуально за речами, отмечать в них ход мысли, ошибки, промахи, софизмы, ощущения в фактах, которые допускают возражение, которые требуют возражения?.. Между тем, это и есть работа депутатов: спор, полемика, "прения" и "решение"... Невыносимо... В Думе сидят не только капитаны нашего государственного корабля, но и его коچهгары.

Например, это заседание: оно началось в 2 часа дня, перерыв был дан в 5 часов, я ушел в 7, когда второе отделение только еще началось. Я ушел совершенно разбитый от усталости, а Муромцев еще сидел, и ему оставалось еще долго сидеть.

Муромцев, Ковалевский и Милоков — вожди "кадетской" партии, все москвичи, все универсанты, и хотя разных возрастов, но одного университетского времени. Их всех я помню в аудиториях Московского университета 80—81 года. Милоков кончал курс на филологическом факультете, — молодой, безбородый, худощавый студент, недурной товарищ, хотя без специальных студенческих историй как по части политики, так и кутежей. Он отлично занимался, знал хорошо языки, был очень начитан во всеобщей истории, — отмеченный проф. Вл. И. Герье и готовясь вступить на линию профессуры. Но о Вл. И. Герье, строгом, взыскательном профессоре и превосходном ученом, в то время рассказывался анекдот, что когда он проходит мимо чайного стола, то от его близости сливки в молочнике скисаются. Талантливый и "с душком" студент, студент со своим "я" и, может быть, не без самолюбия, не без отдаленного честолюбия, — разошелся с гордым, формальным и сухим ученым, деспотичным и властительным. Все же видно было, что свое "я" господствовало в науке: ибо иначе, имея он страстное влечение ко всеобщей истории, — он, конечно, ради науки примирился бы с шероховатостями в личном характере руководителя, который оставался образцовейшим профессором. Товарищи узнали, однако, что Милоков переходит от всеобщей истории к русской, т. е. в смысле пути профессуры, искания кафедры. Он перешел к В. О. Ключевскому. Кто знает науку и совершенно разный характер интереса русской истории и интереса всеобщей истории, тот поймет, сколько надо было "кораблей сечь" Милокову, чтобы решиться на этот переход от одной кафедры к другой, только по-видимому близкой, уже в момент окончания университетского курса. Пожалуй, тут сказался в Милокове тот "душок", страстное свое "я", умственная и всяческая неуступчивость, без которых не бывает политика, невозможен политик. Труды по русской истории Милокова — высокого качества; но они не достигают и половины уровня той высоты, на которой стоят труды его наставника, любимейшего профессора Москвы В. О. Ключевского. Зато Милоков вырос в первоклассную величину, как двигатель общественного и политического сознания. Именно — качества практического двигателя в нем оказались первенствующими. Он сам, как фигура, вошел в историю: роль, конечно, совершенно другая, чем тихого кабинетного ученого, проводящего дни свои среди пыльных хартий.

Милюков не член Думы только по внешней причине: выпущенный из политического заключения, он сейчас же снова попал под следствие и суд за некоторые речи и агитацию и потерял права выставить свою кандидатуру. Но он негласный вождь, и многие говорят — самый влиятельный вождь главной думской партии, конституционно-демократической, до Думы, теперь вне Думы и, следовательно, в самой Думе. Без сомнения, его роль в будущем еще длинная и большая; о нем услышат, его увидят: как, в каких положениях, с какими решениями, — никто не знает. Вначале он был крайним левым своей партии, — почти на границе революционного. Тюрьма оттачивает зубы. Он был страстен, пылок, разрушитель. Нельзя забыть фразы, сказанной им на одном общественном собрании сейчас же по выпуске из тюрьмы, еще до октябрьского манифеста: "Если бы бурное движение общественное сколько-нибудь утишилось от того, что правительство полуоткрывает иногда милостиво свои тюрьмы, и вот я среди вас, — я предпочитаю сесть опять в тюрьму, только чтобы общество не останавливалось на пути, на который оно выступило" (фразировка иная, но мысль — эта). Это — буря. Теперь, когда раскачка корабля не только налицо, но и грозит перейти в опасность, в крушение и его, и груза, и пассажиров, Милюков делает все напряжения воли и ума, чтобы удержать руль в курсе конституционно-демократической партии, не дав броситься судну влево... Тут сказала в нем наука, культура, отвращение к вандализму. Хороши арабы, когда они шли за Пророком, но не тогда, когда они жгли Александрийскую библиотеку.

Муромцев в том же 1880—81 году читал в Московском университете римское право. Я бывал на лекциях у него: он читал очень хорошо, хотя без выдающегося блеска, без "личного" в себе, без характерного. Умный, тогда еще совсем молодой, красавец брюнет, хорошего роста, сложения, манер, всегда серьезный. Нет человека менее гениального, чем он, и нет человека, к которому понятия "неумного", или "бестактного", или "ошибочного" шли бы менее, чем к нему. Он был тою умеренною, солидною формою ума, характера и красоты, на которую невольно любуешься и за которою никогда не следуешь. Таким он, в сущности, остался и сейчас: удивительно, как за 25 лет люди, в сущности, нисколько не изменились. Величественная пассивность его соделывает из него идеального председателя прений: без него парламент просто не смог бы, не сумел бы так начаться, как начался. Это — врожденный, ничего не делающий барин, но умный, но зоркий, но наблюдательный, бесстрастный, холодный, безгранично терпеливый. Самые черты его лица, имея только в себе общечеловеческое и европейское, не имея ни чуточки русского, чего-нибудь "этакого" в носе, в губах, чего-нибудь характерного в улыбке, во взгляде, — удивительно подходят к роли и смыслу председательствования. "Родятся же этикие... без плюса и без минуса... без пороха и мороза", — думаешь, глядя на него. Мне кажется, он так и родился уже — солидным мужем, солидным гражданином, солидным ученым — и именно по кафедре римского права, науки умной и беспристрастной. И нельзя, невозможно представить его ребенком, шалуном, школьником, студентом, клакером в театре, энтузиастом около рампы, женихом, политическим бойцом. Сидит... И как хорошо сидит!.. Единственный, так удачно вылившийся у природы, дар восседания...

Если и не Зевс, то трон Зевса, или, точнее, что-то слившееся из трона и того места, которое сидит на нем...

Теперь он поседел и, кажется, еще более посолоднел... Роль его, работа его в Думе — прямо страшная. Восемь часов молчания при непрерывном, ни на секунду не обрывающемся внимании к каждому слову, какое говорится с кафедры, и ко всему думскому залу, ко всему, что делается депутатами и публикой. "Тяжела ты, шапка Мономаха", — и в смысле красы, и в смысле, особенно, тяжести. Попробуйте, испытайте, вооружась биноклем и нотами, пойти в оперу и прослушать четыре часа певцов, не спуская глаз с игры их и не пропуская ухом ни одной взятой ими ноты. Четыре часа, — а надо восемь; один день, — а надо месяц! И вот уже два месяца протекло!! Ужасно... И, главное, без активного действия... Не знаю, сколько он получает жалованья: но невозможно за такое единственное сочетание подходящих способностей и египетского труда платить менее 50—40 тысяч в год. И еще раз напомню: Дума прямо *не удалась* бы так без него. И нельзя не отдать честь "кадетам", что они так зорко выглядели его, поставили "человека на место". Когда я, недели за три до открытия парламента, осматривал зал депутатов в Таврическом дворце, — и, в частности, эту громадную, какую-то слоновую председательскую кафедру, то уже вокруг говорили (приблизительно "кадеты" же из публики): "Председатель уже решен — будет Муромцев". И это так распространилось по городу, что, когда впервые, 27 апреля, депутаты собрались в Думе и должны были сейчас же выбрать председателя, то в огромной уличной толпе, даже простонародье, но из "сознательных", спрашивало: "Ведь выбран Муромцев?" И, услышав — "да", удовлетворенное отходило.

Третий из москвичей 80—81 гг. — Максим М. Ковалевский. И он поуспирел сейчас, хотя и свободолюбив: а как профессор Московского университета, — он был "запевалой" своего времени в смысле оппозиции правительству, и даже, вообще, всякому начальству сплошь. С чудными задумчивыми черными глазами, исполинской фигурой, необъятной толщины, он был любимцем студентов и барынь (на диспутах), всегда имевший что-то интимное между собою и публикой. Из него, при удаче, обещал бы быть Мирабо. Но он гораздо тише и вообще к возрасту, к старости — стих. Но в те годы он бурлил протестом и громовым голосом и вечно возбуждающим влиянием, какое имел на студентов и из-за которого начальство ужасно беспокоилось им. Между тем он просто был только незаискивающим, нелестив, низзкопоклонен в отношении всемогущих "их высокопревосходительств", — и был только свободен хорошою европейскою свободою, был гражданином "порядочного" отечества, — без всего революционного. Но так как у нас "порядочного" на верхах не было, то его и гнали, придирались к нему по кафедре, следили за лекциями и вообще мучили. На что он брыкался, — не больно, но свободно и насмешливо.

Кажется, и г. Щепкин, из московских студентов 80—81 года, нервный, наивный, отличный товарищ, хорошо шедший по наукам. Но, может быть, я и ошибаюсь: может быть, тут только однофамильность и единство избранной науки — всеобщей истории. Но, во всяком случае, — вот эти Муромцев и Ковалевский, оба "претерпевая" мелочные уколы жалкого тогдашнего попечителя учебного округа и вообще министерств-

ва, думали ли они когда встретиться в зале депутатов первого русского парламента, оба — вождями его, во всяком случае, видными, значащими, деятельными фигурами русского конституционализма?.. И когда я укладкой (это не дозволено) навожу бинокль на Муромцева и, переводя его потом вниз, к депутатским скамьям, останавливаю его на Ковалевском, поседевшем, — то как сейчас передо мною оба они сидят в Москве на кафедрах, в тесненьких аудиториях и читают лекции студентам, с лаской и игрой (у Ковалевского) — и я точно вижу сон, и бывшее в Москве мне кажется действительным, а сущее в Петербурге кажется призраком, навождением... До того несбыточно: ведь в 80-м году и подумать нельзя было, что будет у нас парламента, да не жалкий, кой-какой, "насколько позволено", а "сам" позволивший себя, крикливый, требовательный, бушующий... Боже, сколько перемен, какие перемены!

Если взять и Милокова со Щепкиным, то Москва 25 лет назад сказала теперь в Думе хорошо, веско; Москва, и именно Московский университет, краса и сила города. Этому нельзя очень не порадоваться. И дворянство московское, и купечество московское, столь, казалось бы, увесистое сравнительно с небогатым, скромным, забываемым со стороны начальства университетом, — теперь, когда дело дошло до "исторической минуты", отодвинулись перед ним назад. Что такое дворянство московское в Думе? — Ничего. — Купечество? — Ничего же. — А университет? — Он говорит, решает, думает; он — гражданин будущего, законодатель уже сейчас, он — брат и в братстве с целою Россией. Вот вам и "Gaudeamus", за которое щипало начальство, и милая студенческая "Дубинушка", которая вовсе "была запрещена"... Все — ее "душок", все — этот вольнолюбивый "душок"...

Как я отвлекся, увлекшись воспоминаниями... Но уж, верно, доскажу душевные впечатления этого дня потом...

* * *

Когда депутат Щепкин, при вопросе о распределении сидений в думском зале, выразился "о глубоком уважении конст.-демокр. партии к трудовой группе", то "трудовики" Аникин и Жилкин ответили:

— Мы нуждаемся не в уважении вашем, а в удобных местах.

Инцидент разгорелся, и другой член "группы", Диденко, резко высказал, что вся партия, к которой он принадлежит, "ненавидит кадетов". Когда поднялся шум, — он поправился, оговорив, что это его только "личное мнение". Но в присутствии многочисленных "трудовиков" такое слово едва ли вырвалось бы, будь оно действительно только "личным мнением". Вежливость вежливостью, а истина — истиною.

Увы, горькая истина нашего политического положения заключается в *страшном запоздании* парламентаризма, конституционализма у нас, в том, что еще со времен Герцена и Бакунина, т. е. начала царствования Александра II, русское общество заняло позицию *гораздо левее парламентаризма*. Кто Герцена не читал, кто им не увлекался? Кто порицал и особенно очень порицал Бакунина? А уже он был анархист с бомбами, с вооруженным восстанием, с истреблением всякого социального строя, правильнее — гражданственности, гораздо левее мирных социал-демократов. И Бакунин, и даже Герцен о "буржуазном парламентаризме"

Европы высказывали буквально то, что грубо высказали "трудовики". И оба, даже утонченный Герцен, хлестали его в словах еще более резких, пренебрежительных. Вот отчего *исторически*, провиденциально, вынужденно *до неумолимости* "кадеты" занимают в Думе положение не "парламентариев-буржуа", но парламентариев-революционеров, *почти* революционеров. И вот за это "почти" с нерешительностью и можно только ухватиться, остается ухватиться, чтобы не сорвалось все... Положение, которое очень немногие оценивают.

Шуточками тут нечего отшучиваться; а вы спросите из своих знакомых или припомните за всю вашу жизнь, много ли встретили вы таких людей, которые ярко и гневно порицали бы "Полное собрание сочинений" Герцена. Этот вопрос решает все. Все "за Герцена", кто только держит книгу, чему-нибудь учился, кроме исключительных, редких лиц, вроде "дворянина Павлова" (что это, не миф?). "Все", "почти все" — за Герцена, т. е. левее самой либеральной буржуазии, самого свободного конституционализма; все "за революцию" на социальной подкладке: ибо именно *за нее* стоял Герцен. Литературное влияние что-нибудь значит! Кто против Тургенева? *Никто!* Герцен такая же большая фигура в нашей литературе, как Тургенев, и авторитет его, влияние, передаваясь из литературы в политику, ибо совмещены в одном лице, также непобедим и неоспорим для политических возражений *обыкновенных умов*, как если бы кто стал отстаивать Хераскова против Тургенева. "Хераскова мы не читаем, а Тургенева читаем; Герцена читали все и восхищались, а Каткова читали мало, читали тайные советники; а кто из граждан — то негодовали и возмущались". И это литературное влияние, эти "школы литературные", коих преемниками сделались школы политические, — решает все, *неумолимо* решает, в теперешнем 1906 году.

На стороне "государственной осторожности" и, в частности, "крепкой собственности" стоят Катков и Леонтьев, "Русский Вестник", "Московск. Ведом.", "Гражданин". *Так было уже много лет!* Это хуже, чем *tabula rasa*, вреднее, чем ежели бы их никто не защищал. На стороне "молодой мечтательности" и "розовых надежд" стоит не один Герцен, стоит и Тургенев, стоит вся "свободная русская литература", от Чернышевского до его антагонистов, и каких антагонистов! — Тургенева и Достоевского. Все "мечтали", — и тем более, чем действительность далее угнетала. Никто революционеров *прямо* не решался осудить, — как вот и Дума, когда нужно было сказать прямое слово об убийствах! Молчание Думы, отказ Думы от прямого слова — это традиция всей русской литературы, почти всей; традиция русского общества, которое, "точно набрав в рот воды", молчит и молчало всегда, что бы ни делали революционеры.

Этим "почти" революционным характером своим, революционным "без кончика", — Дума добилась результатов, поистине неожиданных, которым глаза не верят:

"28 мая состоялся митинг среди рабочих Староречкинского завода. Присутствовало более 2000 человек. Главным вопросом обсуждения на митинге явилось отношение социал-демократической рабочей партии к образу действий Государственной Думы. *После многих горячих речей*, посвященных этому вопросу, собрание *почти единогласно* приняло резолюцию о поддержке Думы всеми силами и средствами до тех пор, пока

она не позволит себе грубого нарушения интересов пролетариата. Кроме того, собрание постановило присоединиться к общему требованию отмены смертной казни, а также просить администрацию завода об удалении крайних правых элементов, нарушающих нормальный ход заводской жизни”.

”29 мая на Васильевском острове в частном помещении состоялось собрание представителей и партийных работников всех организаций, входящих в состав социал-демократической рабочей партии. Собрание было организовано с целью уладить обострившийся на днях конфликт большевиков с меньшевиками, а также выработать общие тактические приемы и лозунги. *После продолжительных прений* меньшевики согласились уступить своим противникам в том, что Государственная Дума пока должна считаться выразительницей народного голоса. По словам большевиков, полный бойкот Думы в данный политический момент заставил бы всю социал-демократию занять положение крайней правой партии: бойкотируя Государственную Думу, которая, в свою очередь, бойкотирует кабинет Горемыкина, социал-демократия при помощи этого маневра стала бы на сторону кабинета, а это совершенно не в ее видах”. И пр.

Вот и плод, огромный *примирительный плод, умиротворительный плод* ”грубостей”, наговоренных министрам 13 мая. В течение двух недель эти ”грубости”, от которых ведь никто не сгорел, не потонул, не умер, — переработались в факт общественной психологии, о котором невозможно было мечтать месяц назад, который недостижим был для гигантской по насилию и для египетски-изнурительной кропотливой работы таких министров, как Сипягин и Плеве. *Социал-демократия кладет оружие!* Сколько бы за это дали Плеве, Сипягин? Но переменились условия русской жизни, стало действительно свободнее, — министрам, на отказ в реформах, говорят: ”вон”, ”в отставку!” и ничего. Ну, ведь никто от этого в самом деле не умер. А слишком очевидно, что если социал-демократия в самом деле положит оружие, начнет свою духовную внутреннюю переработку, почувствует хоть какой-нибудь мир в сердце относительно ”существующего строя”, — то сохранится слишком много жизней. Этого не нужно объяснять... Это поважнее неудовольствия гг. министров. И социал-демократия ведь устала; и у нее кости поломаны: пусть ей покажут возможное лучшее, покажут, что отныне она может добиваться справедливости словом, мыслью, убеждениями — и она прибегнет к этому духовному оружию вместо физического...

Тут даже нужно поблагодарить судьбу, что в Думу вошли и ”трудовики”, без присутствия которых в парламенте едва ли бы социал-демократия постановила свои резолюции. Но она постановила их *о Думе*, следовательно, и *о кадетях*, и *о гр. Гейдене* ”правом”, все уже сцепилось и теперь органически перерабатывается, как и гр. Гейден высказался, прямо и резко, за обширную аграрную реформу. Умиротворение страны так огромно и явно, что не видеть его может только слепой.

И ответно, справедливые и исполнимые требования социал-демократии Дума должна всеми силами постараться выполнить; или, как говорили кадеты: ”Мы питаем глубокое уважение к трудовой группе парламента”. Это должно сохраняться всегда, чистосердечно, серьезно, какие бы грубости ”трудовики” ни говорили. Грубости ”на вороту не

вснут”, а историческая заслуга остается. Эта заслуга — умиротворение. Т. е.? Удовлетворение *алкания сердец*. Необъятная сила социал-демократии, не подчиненная пушкам, темницам, сильнейшая Плеве и Сипягина, лежит в присутствии у нее в сердце некоего “романа”, той “мечты”, которой покорились Тургенев и Герцен, кою жил Бакунин; а без “мечты”, “романа” вообще не живет никакая история, ею был полон средневековый католицизм, ею жил Данте, все ею живем, без нее — задохлись бы: и в наш фазис истории, действительно “буржуазный”, то есть имущественный, “мечта” и могла вылиться только в ту форму, которая именуется “социал-демократией”. По веку — и мечта. Но мечта всегда есть бродильное, возбуждающее начало, и вот отчего “товарищи” ли, “трудовики” ли, как все соглашаются и видят, суть самые деятельные, быстрые, решительные члены Думы, улицы, общества. Все, говорю я, теперь органически сцепилось и перерабатывается: и Думе нечего чураться “трудовиков”, а принять их в свой срок *не как программу* (хотя отчего бы, частью, и не как программу, в пределах *исполнимости?*), а *бродильное и возбуждающее начало*. И католицизм обещал Царство Небесное, а дал только величественное зрелище трудов, надежд и неудач... Такова вся история, плачевная, слабая, человеческая. Социал-демократия, будучи мечтательным и облагораживающим началом XIX века, едва ли насытит *всех*, что и Христос сделал только однажды и *не навсегда*. Что-то тут стоит “колом” для человека. А впрочем, пусть стараются романтики, Бог им в помощь: во всяком случае они быстры, не бредут, а бегут, руки у них не устают; голова работает: все в движении, и этим движением не мешает заразиться старой цивилизации, слишком старой. В каждом веке мечта есть молодость. Социализм бесспорно “молодил” людей XIX века. В утопию его можно не верить: но вот при установлении парламента и конституции не благотворно ли воспользоваться этою его психологическою стороною? Так, я читал раз, один английский моряк, отлично знавший теорию ветров, воспользовался циклоном при плавании около Западной Африки, введя корабль свой в *краевую часть его*. Корабль летел все время, как на крыльях: моряк этот хорошо знал движение циклонов, их постоянный, неизменный путь в этом океане. И не разбился. И проплыл свой путь так легко и скоро, как не удавалось до него никому.

* * *

Все, что творится в спокойные эпохи, выходит несколько лениво, апатично; все, что творится среди беды, волнения, опасности, — выходит живуче, крепко. Так родился европейский строй нашей армии при Петре и другие его преобразования.

Десятилетия мы жалели, негодовали, отчего конституция не даруется “своевременно” и “сверху”, но теперь, кажется, можно только возблагодарить Бога, что мы не получили в 81-м году мертворожденной лорис-меликовской или игнатьевской конституции, что все пошло своим чередом и до конца, старый порядок, можно сказать, “выворотил свою душу наружу” в японской войне, и конституция пришла как гнев возмездия, пришла сама, а не была “приведена за ухо”, что она явилась, как энергия и работоспособность, а не благоразумное новое учреждение. Это

сейчас же чувствуется, как только вы входите в Думу, берётесь за газеты с думскими отчетами, читаете письма из деревни к депутатам. Можно ли было ожидать, что конституционно заживет не Шпалерная улица в Петербурге, не петербургская интеллигенция, не профессура и адвокатура, — а заживет "конституционно" сама Россия, вся Россия, ее не только города, но и села с белыми колоколенками, солдатский строй, попевающий новые песенки, громада фабричного люда, все, все! Ведь еще 75 лет назад "конституциею" считали супругу Великого Князя Константина Павловича, считала ее таковою петербургская гвардия, — и с тех пор хотя и пронесся неполный век, но в течение его население очень мало подучилось грамоте, искусственно удерживаемое в темноте. А конституция — довольно сложная вещь даже и не для элементарного образования. Но все двинулось народно, громадно, все создано из нужды, страдания. И весь народ понял ту основную сущность конституционализма, что к заправлению судьбами своими призван он сам, народ, призван стать гордым и сильным защитником прав своих, обеспечения свободы выбора исторического пути.

Только толкаясь около сановных лиц в Петербурге или близких к сановным, можно видеть все кислое разочарование, всю неумолимую злобу на то, что парламент, едва родившийся, сразу же выразил свое непреклонное, железное "я", тогда как все эти господа ползли ползком к той мечте, что "парламент" — это только для вида, для названия, для того, чтобы зачаровать глаза Европе, а на самом деле он будет не что иное, как широко развернутая "комиссия выборных людей", "съезд сведущих людей", но не более. Не могу не вспомнить выражения двух весьма и весьма зорких и осведомленных людей в самый разгар выборной кампании:

— "Дума будет тихая", — сказал 62-летний К. А. Скальковский. — И сколько было веры, убеждения и презрения к будущей "комиссии" под парламентским соусом этого дельца, балетомана и финансиста. Во всяком случае, в Петербурге он знал вся и всех, от кокоток до министров. Слово его, в смысле отзвука "общего взгляда" на положение вещей, во всяком случае, значительно.

"Дума будет поповская", — сказал Витте. Слова эти я слышал от его ближайшего помощника, которому он их сказал лично.

И вдруг Дума оказалась "кадетская", "трудовая", бурно конституционная, с угрозами революцией. Увы! — старцы ошиблись, какие старцы! Но и то правду сказать: старец гадает не о том, о чем молодость, а с Думой пришла к нам молодость, и старцы ее не разгадали.

Победи на выборах "октябристы" или торгово-промышленная партия, и мы имели бы среднее между комиссиею сведущих людей и полудворянским, полукупеческим клубом. С чиновничеством эти люди "сговорились" бы очень легко, уступочки — здесь, уступочки — там. Ничего народного в таком парламенте не было бы; на старой ели нарост бы новый слой древесины, и только. Бюрократизм все "провел" бы и всех "провел" бы, оставшись крепко сидеть на своем месте. Вот отчего победа "кадетов" на выборах, столь громкая и единодушная, и была настоящим рождением настоящего парламента. До нее все были рукописанья и бумагописанья, все было в полулукавых проектах и ничего не было настоящего в жизни. Огромным напряжением при выборах и так-

том своим "кадеты" и дали России настоящий конституционализм. И какова бы ни была последующая судьба этой партии, ее великой заслуги в марте — мае 1906 г. перед Россией уже ничто не затрет. Трудовики смотрят теперь на "кадетов" как на прямых врагов своих, но не могут они забыть и не смеют отрицать, что самым бытием своим, рождением, они обязаны "кадетам" же. Что без них никогда бы они не сидели в Таврическом дворце, никто бы их не допустил до рассуждений о народном благе, о государственных делах.

С другой стороны, трудовая группа в парламенте сообщила ему народный, любимый характер; превратила парламентаризм из явления общественного и интеллигентского в народное, общероссийское, — всегородское и всесельское. По характеру своему и по связям своим "кадеты" никогда бы этого не могли сделать. Не тот язык, не те нравы. Не та речь, не тот говор. Не те книжки и газеты. Тут получают свой смысл и свое место даже такие инциденты, как случай с Седельниковым, дважды побитым полицией. Как говорит Фамусов в "Горе от ума":

"Упал он больно, — встал здорово!"

Полиция в жизни нашей, в жизни народной, в каждом городе и в каждом селе играет такую всеобъемлющую роль, до того она у всех и постоянно перед глазами и до того во всякую мелочь вмешивается, что "инцидент с полицией" получил в глазах всего населения характер хорошего "предметного урока" и "объяснительного чтения", даже "чтения с туманными картинками" — на тему: "Что такое старый и что такое новый строй". На примере все разглядывается яснее; и то, что Аладьин выбрал именно этот мелочный случай улицы поводом, чтобы наговорить министрам еще неслыханных до тех пор резкостей и угроз, показывает, что он сразу оценил случай в его возможной государственной значительности. Вообще, этот вождь трудовой группы выказывает большие государственные способности: ведь последние в чем же и выражаются, как не в умении оценить явление, увидеть в нем значительность положения, влияния и силы. Случай с Седельниковым, конечно, мелочный случай, который можно было бы исчерпать "замечанием" и перейти к "очередным делам", между которыми стояли такие, как о белостокском погроме, помощи голодному населению и пр., и пр., такой же и еще большей принципиальной значительности. Так гр. Гейден и взглянул на дело, говоря, что в "запросе Думы речь идет о городском, а не о министре". Это так с клубной и литературной точки зрения, но Аладьин истинно государственно воспользовался им, чтобы дать "чтение с туманными картинками" для Сибири, Кавказа, Поволжья и чтобы так крепко утвердить "неприкосновенность и священство звания депутата Думы", как это вовсе не было утверждено до инцидента с депутатом-казак Седельниковым. Сам гр. Гейден, всмотревшись в эту сторону дела, не мог бы отвергнуть, до чего Аладьин был проницателен и прав, а он, старик, и близорук, и наивен, хотя по-чиновнически и совершенно прав. "Целость и неприкосновенность депутата выше, чем министра", "если еще раз полиция попытается тронуть члена Думы, — ни один из министров более не произнесет ни одного слова с этой кафедры", "мы не ручаемся за неприкосновенность министров здесь, — и это говорю я не от себя, а от имени всей трудовой группы", — все это раздалось слишком громко и ясно по России, слишком памятно, чтобы можно было забыть; и мини-

стры, конечно, этого не забудут. А беря во внимание инцидент с военным прокурором Павловым, "выгнанным" из Думы, когда он пришел "объясняться" с нею, — министры, конечно, совершенно оценили и полную исполнимость сказанной угрозы. Не бояться этого они не могут, не отступить перед такой перспективой не могут же. И угрозы Аладьина, которые казались до такой степени несоразмерными с мелочностью случая, что их можно было приписать несдержавшимся нервам, капризу, "горячке", — на самом деле были прозорливым холодным ударом врагу, удачным шагом вперед, притом бесповоротно закрепившим за Думою новую хорошую позицию. "Министры стали как шелковые", — и тон объяснений их или их товарищей пред народными представителями после этого случая стал совершенно другой, чем был до этого случая. Коковцев, Соллертинский говорят уже не как Гурко и Стишинский, не как Горемыкин и Павлов. "Объясняются" точно ответственные и знающие о своей ответственности люди, хотя "ответственность" в параграфах конституции и не значит. "Не значит", а *есть*: ну, это еще лучше, чем как если бы она только "значилась".

"Кадеты" вообще суть отцы, родившие нам реальный, наличный, осуществленный конституционализм, а трудовая группа есть ее живой, двигающий вперед пар. В "трудовиках" больше силы, чем в "кадетах", и это чувствуют и они сами. Увы! — никто не может выскочить из своей биографии, никто не может пересилить "условий своего существования", как выражается дарвинизм. Жизнь и труд "кадетов" до Думы и вне Думы почти без исключений есть труд и жизнь тихих, мирных и обеспеченных людей, разве с небольшими тревожностями, но без мучительных опасностей, без физической работы, без той "борьбы за существование", которая вырабатывает крепкие зубы и острые когти, закаляет темперамент, создает решимость и готовность на опасную борьбу и риск. В "кадетах" много джентльменской гордости, своей, личной, фамильной; у "трудовиков" — народная, почти простонародная натура, где имя и личность совершенно тонет и вперед выдвинуто только дело, партия, интерес общей борьбы. Трудовики больше лично сплочены, в них больше "товарищества": сравнительно с кадетами они то же, что перед профессорами гурьба студентов, безыменная и сильная. Конечно, кое-что "претерпели" и некоторые из вождей "кадетской" партии: Максим М. Ковалевский был выслан за границу, как и Петр Б. Струве; П. Н. Милоков был в тюремном заключении. Но ни про одного из членов этой все же барской, "господской" партии нельзя сказать, как про "трудовика" Митрофана Михайличенко: "Вот депутат с перебитыми ребрами и зубами". В самом деле, последний был изуродован казаками и полицией при усмирении одной демонстрации.

* * *

Дума именно *работает*, а не говорит: и эту сторону в нее внесли по преимуществу практические "трудовики". Чем она была, когда собралась? Только два месяца прошло: а та ли у нее теперь сила, положение, компетенция, авторитет? Тогда она была блестящим и обещающим, любимым и приветствуемым собранием. Но и только. Всю *силу* наработала себе Дума сама. Этой силы ей никто со стороны не давал. Горемы-

кин ответную декларацию на тронную речь читал (я присутствовал при чтении) тоном учителя перед учениками, старого барина перед "начинающими" барчонками. На чтение декларации явился весь сановный Петербург, предвкушая, очевидно, зрелище, как "мальчишкам утрут нос"... Что же случилось, как все произошло далее? Успех свой Дума "зарабатывала" день за днем, как бурлак тянет бичеву на Волге. Самое важное, прямо громадное, что дали Думе именно "трудовики", — это то, что она *связалась со страной, с землей, с городами и селами*. Тут как-то все шло и сознательно, и бессознательно, и преднамеренно, и "само собой". "Кадеты" этого бы не сумели и не смогли бы. При "кадетах", только при них — Дума осталась бы интеллигентскою, несколько "барскою", была бы *петербургская, а не всероссийская*. "Трудовики", явившись в Думу, явившись в несколько инородную среду адвокатов, врачей, земцев, дворян, профессоров, вообще людей не последнего положения и состояния, — естественно почувствовали себя здесь несколько сиротливо, одиночно и бессильно. С последним уж никак не мирилась их энергичная и деятельная натура. Кто они по положению, по состоянию? Не окончившие студенты или не окончившие курса гимназисты, чаще — сельские учителя, сельские писаря, крестьяне, ремесленники. Между ними только один профессор — казачий сын Тим. Вас... Локоть, занимающий кафедру сельскохозяйственного института в Новой Александрии. Аникин, лидер трудовой группы, кончил только саратовское ремесленное училище и потом был сельским учителем. Таким образом, они тотчас почувствовали в Думе известное психологическое одиночество и выделенность, и им неоткуда было взять силы иначе, как из той народной массы, которая их прислала в Петербург. И вот они, как бывалые легендарные "ходоки", обратились из Петербурга на родину: т. е. к крестьянам, деревням, селам. Газеты помогли тому, что без опыта было бы немислимо и неосуществимо.

Вероятно, первых писем было немного, и чаще они шли из Петербурга в провинцию, нежели из провинции в Петербург: но достаточно было прочесть две-три телеграммы с "мест" в Думе, сослаться на них, как на реальный факт, перед представителями целой России, и газеты донесли об этом до самых темных уголков России, — чтобы везде в этих темных уголках зашевелились однородные мысли, сходное желание, сочувствие и сознание, что и "мы, темные и далекие, можем сделать дело, и не поднимаясь с места". Все пошло как в геометрической прогрессии: две телеграммы родили десять, десять родили уже сто, а сто — тысячу. И через два месяца с Думою и через Думу уже говорила вся Россия. Опять этот проницательный шаг, пожалуй, смешной с первого взгляда, — читал безграмотное послание перед всероссийским законодательным собранием — сделал первый Аладьин. Но через это посредство связалась с Думою живыми нитями вся страна, связалась она в ежедневном пульсе своем, в повышении и понижениях сердца, в каждой, можно сказать, "думке", и Таврический дворец сделался, работая изо дня в день, авторитетом, командующим над страной. При таком положении, напр., распустить Думу, — что было совершенно возможно еще в первой половине мая, — сделалось невозможным уже к половине июня. В несколько недель, без всякого нового законодательного акта, значение Думы удвоилось, утроилось. Теперь она есть огромное, могучее "я": о роспуске никто и не говорит. А между тем, с первого дня ее

собрания в ее стенах и вокруг ее стен постоянно слышался то опасющийся, то торжествующий шепот: "распустят", "разгонят". Да и в самом деле было возможно, — психологически, нравственно, политически, всячески. Этим тоном говорил и Горемыкин: "Если вы будете продолжать упорствовать, — вас распустят", звучало между строк читавшейся им декларации.

Таким образом, Дума из себя родила свою силу: приобрела ее ходом занятий в ней. А все пишут, что она "говорит, а не работает". Конечно, и Пушкин только "писал", но из этого "писанья" вышла пушкинская поэзия и переворот в русской литературе. По существу дела в Думе и нельзя ничего, кроме как "говорить", но из этого "говоренья" могло бы и ничего не получиться, могло бы получиться бессилие представительства и торжество старого строя, мог бы получиться роспуск Думы или оппортунистическое согласие ее со старым чиновничеством. Вообще, могла бы получиться тысяча теперь непредвидимых результатов, кроме находящегося в настоящее время налицо. Когда дело уже сделано, всем кажется, что оно и не могло быть сделано иначе, но это доказывает только, что оно сделано хорошо, искренно и натурально. Дума "говореньем" своим не только сделала всю реальную политику России за эти два важнейшие месяца, но и подвела фундамент, необходимый и крепкий, на много лет вперед для этой политики, — по крайней мере, на три—пять лет вперед. А ведь мы живем — неделя за месяц и месяц за год, как в истинно осадном положении. Кто не помнит, как быстро посыпались новые "законы" и всяческие "дозволения" и "свободы" после 9 января? Собственно, "писать" законы не труднее, чем говорить в Думе. Но никакого органического роста страны из тех законов после 9 января не получилось. Издание законов — дело времени, и оно может быть делом небольшого даже времени. Но вот начать *растить силы, растить самосознание народное* — это мудрено, это трудно, это не всякому дается. Вспомним, сколько лет работала (кажется, не закрытая еще) "комиссия по выяснению причин малопродуктивности русских железных дорог", так ничего и не выяснившая или "выяснившая" что-то такое, отчего эта доходность несколько не увеличилась. Вспомним еще "совещание" по вопросу о поднятии центра страны: тоже результаты — нулевые. Два эти примера показывают, что творчество государственное в России совершенно остановилось уже за несколько лет до конституции, что правительство потеряло силу разрешать и улучшать самые насущные и большие вопросы, нужды, потребности. Пульс остановившаяся, дыханья не слышно было: не от лени, не от беззаботности, а от утраты именно самой силы жить. Дума, неоспоримо ни для кого, возвращает эти силы жизни, которые растут на ваших глазах, развертываются и отчасти формируются.

ЛЕВИАФАН ШЕВЕЛИТСЯ

В Кадетском клубе, близ Думы, было вечернее чтение. Председательствовал г. Френкель, депутат от Костромы. Набралось человек 200 гостей, — кадетов же очевидно, ибо в клуб допускаются только гости по

личной рекомендации членов к.-д. партии. Итак, были свои люди, свой кружок. Чтение состояло в объяснении членами Думы, т. е. кадетами-политиками, кадетам "из общества" программы Думы, и в оправдании как этой программы, так и вообще действий Думы и действий к.-д. партии в Думе. Все шло мирно, гладко. Повторяю, — были "свои люди". Мирное собрание уже кончалось, когда попросил слова какой-то "Алексеев, рабочий с Выборгской стороны". Слово было дано. Оратор появился на кафедре.

Он был молод, без бороды, почти мальчик. Только лицо, плечи, грудь — все очень широкое и говорило о возмужалости. Лицо — необразованное: видно, что недавно, года два, начал читать, учиться, размышлять. Он не сразу заговорил, все поворачиваясь вправо и влево, оборачивая туда и сюда свою большую голову с мглистым, темным, глубоко безжизненным, как бы оступенелым лицом. Наконец заговорил тихо, протяжно:

— Тут все говорили господа кадетские ораторы. Оправдывали Думу (большая пауза...). Я голоден. Я второй день не ем. Что же мне Дума дала? Кадеты обманули народ. Они изменщики народу...

Поднялся шум. "Свой" кружок. Оратор продолжал:

— Они (кадеты) хвастали, что не будут искательно заглядывать в передние дворцов. Одначе г. Муромцев поехал на царский праздник. То есть все-таки, значит, лакеем постоял в передней.

Шум, "замолчите!"

— А хвастали. Храбрились. Они лакеи и обманщики. Народу от них нечего ждать. Народ не пойдет с ними (опять пауза, ужасно длинная). Я второй день не ем. Агенты партии правового порядка соблазняли меня: "Голосуй за нас — получишь хлеб и место". Но, господа: голосовать за партию правового порядка — это что же такое? Сами знаете. Лучше умереть с голоду. За антихристов, кровопийц народных голосовать?! Теперь для безработных устроены даровые столовые, и орудуют ими кадеты. Что же они говорят? "Мы будем выдавать порции только тем, кто сочувствует нашей партии. А нет — нет".

Поднялся невыразимый шум. Весь зал встал, как ужаленный. Повторяю — "свой кружок": и это было как плевок в лицо всему залу. Барыни. Господа.

— Ложь! ложь! клевета!..

Рабочий стоял спокойно. Те же безжизненные глаза и медленные повороты.

Френкель с председательского стула подскочил к кафедре оратора. Он весь дрожал, лицо бледное:

— Назовите имя!

Те же тусклые повороты глаз и бормотанье: "Я голоден! Я пришел сюда голодный".

— Если вы не назовете имя, вы лжец!

От рабочего это как от стены горох. Он "в запрешние годы" и оплеухи съедал.

— Говорят заведующие столовыми: "А если ты не наш, то и проси хлеба у других, может, тебя октябристы накормят". Справедливо ли это, господа?

Из дальнего угла залы подымается седой благообразный господин и говорит тихим голосом:

— Я сам раздаю обеды безработным и знаю всех работающих в нашем районе на этом деле. Ни одного подобного случая не было, клянусь вам! Не только случая: ни одной жалобы на это не было слышно! Никогда, никогда не спрашивали безработных, какой они партии! Раздавали всем, красным, черносотенцам, всем, не разбирая, не спрашивая! И — клянусь! клянусь!

— Какого вы района? (из публики).

— Васильеостровского. Я всех работающих там знаю. За всех даю слово (называет свою фамилию).

— Вы откуда? (к рабочему из публики).

— Я с Выборгской стороны. У нас не дают.

— Вам не дали?

Молчит.

— Говорите!!!

— Что же мне говорить? Говорят в народе. Я говорю, что мне привелось слышать.

Не помню, чем и как кончилось. Рабочий как-то сошел на нет, незаметно. Спустился и ушел. Публика успокаивалась, — да и не в ней дело, а в рабочем. Такой *неумолимой* ненависти я никогда не видал на человеческом лице. Но кто бывал на митингах еще с октября 1905 г., тот хорошо знает, что кадеты похожи на кучку отважных туристов, взобравшихся на кратер Везувия и которых незаметно *почти со всех сторон* окружила расплавленная лава. Кто этого не понимает и не видит, или не хочет с этим считаться, тот совершенно не может судить и осуждать и нервности кадетов в Думе, их резких выходов в сторону правительства, их грубостей министрам и проч. Последнее спасение!!! Вообразить, что можно передуть этих "волков", из которых вот один входит в двусотенное собрание и плюет в глаза, *неумолимо клеветает*: ну, порознь одного, десять, сотню, тысячу их можно "связать и упрятать", но ведь сколько их в России, кто учел?! Кто не окажется просчитавшимся?! Что мы наверное знаем?! Ничего. Темно вокруг. Кадеты и вынуждены были этим натиском лавы объявить самую левую программу, выкинуть наиболее из позволительных красный флаг: чуть-чуть бледнее, чуть-чуть правее, и крик: "изменщики народу!", "лакеи правительства!", "прихвостни власти", "разъевшиеся буржуа" — обратился бы в вопль народный, по крайней мере бы в вопль улиц, в такой рев стихий, перед которым не устояли бы они, и не одни они... В том и дело, что *не одни они*... Но только они, спорившие уже на своих специальных собраниях с левыми, причем публика (чистая и средняя) всегда неизменно становилась на сторону крайних левых, знают положение, видят опасность. И что нет совершенно никакого другого средства, чтобы сколько-нибудь перетянуть к себе симпатии вообще русского человека, может быть худого, может быть дрянного, но который есть — "всё" и "все", — нет другого средства, как иметь этот почти революционный вид, вид, вызывающий тон в сторону правительства, грубые окрики на министров!! Острее зубы Думы — тупеют зубы у Революции. Как тупы зубы у Думы — Революция раскрывает пасть!!! Вот положение! Вот природа "русского леса", коего мы не видим из кабинетов, из гостиных, измеряя отдельные деревья, впадая в остроумие, шутки. Тогда как кадеты, в выборной кампании прошедшие по лицу всей Русской Земли, знают настроение

и уездов, и сел, и городов. Ведь "крестьянская группа" в Думе левее кадетов. А пока шли выборы, кто не уверял, что "православные мужички утрут нос кадетам". Утерли, — да слева, а не справа!!! Довольно самообманов! Мы самообманывались во всю японскую войну, — пора раскрыть глаза хоть на свои внутренние дела.

Миллионами газетные листки расходятся, вот год уже, в России. Из них вся Россия, самое далекое село, узнало "программы" партий. Чем левее — тем больше материальных обещаний. И старые лозунги: "православие, самодержавие, народность" побледнели перед всеединым и всемогущественным:

— Есть хочу!!!

Вот отчего вовсе не "санкюлоты", не "городская чернь", с которой можно было бы "прикончить", а сама коренная Русь, с которою "прикончить" невозможно — и высказалась "левее" кадетов, и имеет сознательно эту "более левую" программу, "более левое" требование. Но истина лежит в том, что даже и "коренная Русь" *вот этого 1906 г.* — не есть наибольшая ценность! Максимальная ценность — *Россия от 862 года — в бесконечность!*.. Ценнее *всего живущего поколения русских*, этой зеленой листвы *нынешнего года*, самый ствол дерева русского, т. е. история, вера, просвещение, наука, идеал! А дороже, — то и кадеты могут ответить "лаве":

— Дальше не пушу! Лейся через меня, через кровь мою! Но левее моей программы — уже анархия, бойня, гибель ствола народного, а ствол я оберегаю и оберегу, даже (чего не приведи Бог) ценою листвы.

Против демократии — сильна только *Вечность*. Все: Церковь, царство, классы, — все бледно, бедно, ибо "есть хочу" — это действительно ужасно и неоспоримо. Но лозунг: "Нужно *вечно* жить, жить — *чем-нибудь*", это сильнее даже голода. Я хочу сказать, что демократия и принципы демократии — ничем непобедимы, кроме как (в благородном смысле) *культурой и принципами культуры*.

Я согласен, что "кадеты" почти революционеры: но — *с культурой*, за которую держатся так цепко, что не выпустят ее и для Революции. И это все, что нужно. В данный момент это все, что возможно.

Вот вещь, которую нужно держать в уме раньше, чем осудить за что-нибудь кадетов.

ОБ АМНИСТИИ

Не для всех людей заметно, что мы присутствуем сейчас при одном из глубочайших обнаружений падения человеческой природы. Что она вообще "пала" — это известно из учебников. Никто по хвастовству не будет утверждать, что "человек совершен". Но вообще про себя мы думаем, что он "довольно совершен", "порядочен", "сносен", "жить можно" и проч. И нужно вот вдруг поднятие такого вопроса, как сейчас об отмене: 1) смертной казни и 2) политических убийств, чтобы вдруг обнаружилось, до чего он несовершенен, пал, злобен, ложен и прежде всего необыкновенно ограничен и частичен, отнюдь не универсален.

Помню, когда я в первый раз знакомился с французскою революцией по книге Гейссера, — меня, за интересом ко всем потрясающим эпизо-

дам ее, в конце концов стал занимать главным образом один следующий вопрос: "как люди чувствовали кровь?" И он быстро обобщился в другой или, точнее, в другую тенденцию наблюдений, размышлений: как люди вообще и всякие во всякое время чувствуют кровь? Не могу я передать ужаса, меланхолии и вытекшего отсюда вообще отращения к политике, к самой даже истории при заключении, совершенно бесспорном, открывающемся из несомненных наблюдений: что люди чувствуют кровь собственно только свою, или "свойственную и родственную", "друзей" по убеждениям, по положению, по рангу, по условиям жизни и проч., и проч., вообще же "свою" и только "свою". А "кровь вообще" — они никак не чувствуют. Чужая же кровь даже и "хорошо пахнет". Это один французский король сказал, увидя уже неделю назад повешенный труп своего врага, разлагающийся и зловонный, к которому он подъехал с блестящей свитой придворных:

— Ваше величество, здесь дурно пахнет, — говорили придворные, зажимая нос.

— Труп врага всегда хорошо пахнет, — ответил король, подъезжая ближе.

В затаеннейших возможностях, в затаеннейших даже тенденциях мы все суть человекоубийцы: мы начинающиеся человекоубийцы... При всяком гневе, ярости, раздражении, мстительности убийца назревает в нас, и только — не дозревает. Но это уже все равно: *дробь* есть, есть и целая *единица*. Мы — дробь. Вспомните "непрерывные дроби" и "теорию пределов" в математике, и вы ответите, что я — прав. Не было бы самых чувств гневливости, мести, раздражения, люди были бы как ангелы, без способности возмущаться, если б в них не жила эта "дробь убийцы" и, в конце концов, затенен и лишь обстоятельствами сокрыт — полный убийца. А убийство, смертоубийство, злодеяния, каторга, войны оттого эмпирически и возникли в истории, оттого они есть, наблюдаются (но, Боже, неужели никогда не исчезнут?!), что "тень злодея" неотделима от светлого человеческого образа.

Оттого Отелло — убийца, а "прекрасный Гамлет", по крайней мере в его отношении к Офелии, есть просто негодяй: обыкновенный бездушный человек, как и ненавидимые им придворные датского двора.

Ужасно и истинно.

Впервые, как недоумение и подозрение, у меня мелькнуло это при чтении книги Гейссера. Как чувствовали монтаньяры кровь роялистов? Никак: или даже в смысле "хорошо пахнет". Но и обратно: если бы роялисты привели во Францию пруссаков и австрийцев и победили монтаньяров, то что же, так бы они и умирились тем, что "монтаньяры разошлись по домам и начали каждый заниматься своим хозяйством"?! Они устроили бы такую "кровавую баню", которая ничем не уступила бы "ужасам террора". Да так это и бывало ранее у "роялистов", когда "удавалось". Вспомните Англию, вспомните Швецию. Вспомните Карла IX и гугенотов. "Кровь врага хорошо пахнет". Марат кричал это о крови роялистов. Но пришла застенчивая провинциальная девушка, Шарлота Корде, и сказала: "А для меня хорошо пахнет кровь Марата". Разошлись во вкусах. А достоинство человека, абсолютное? Оно — одинаково?!

И наконец все завершается этой ужасной религиозной истиной, что уже второй на земле человек — убийца (Каин). Что убийца, хуже!

— *братоубийца!* Всего четверо людей на земле; отец и мать и два сына. Земля широка, цветет. Разошлись бы, если б не любили; а то лучше: "вкушали бы плоды во все дни живота своего". Так нет: один из четверых подполз к другому и хватя его ослиной челюстью в голову! Брата, невинного, юного! не защищающегося? Не ужасно ли, не ужас ли в этой "откровенной" (из Откровения взятой, из Библии) истине. Можно с ума сойти. И признаюсь, когда у меня все это промелькнуло, вся эта серия ужаснейших "откровений", я сам на минутку почувствовал себя тоже Каином же, только в другом направлении, до известной степени в "последнем направлении"...

— Хорошо, мы — убийцы. Ты говоришь, Боже, в Твоей Священной книге. Но Сам-то ты кто? "Даже и Сына Своего Единородного не пощадил". Тот молился, и как молился в Гефсиманском саду! "До кровавого пота". Боялся, ужасно боялся, этот Иисус боялся, наш Свет... Как преступник перед казнью томился, и больше — ибо Он был невинный: и вот этого боящегося, страшно испуганного Иисуса (читайте слова молитвы в Гефсиманском саду) Ты однако... толкнул на казнь. Шипы, острые колючки, острые гвозди, раздираемые ладони.

— Отче! Отче! Почто Ты Меня оставил!

— Так ведь "оставил" же, — воскликнул я в своем отчаявшемся сердце, как и мы все "оставляем": Каин — Авеля, Шарлота Корде — Марата, Марат — "роялистов", кадеты — генерал-губернаторов, генерал-губернатор — взбунтовавшихся латышей, и даже "против России на Востоке" тех серых безмолвных солдат, которые безмолвно умерли в Маньчжурии. Все! Все! и — всех.

Для меня точно весь свет загорелся. Со всех четырех концов. И я единственное утешение нахожу только в домашней жизни, где всех безусловно люблю, меня безусловно все любят, везде "своя кровь", без примеси "чужой", и "убийца" не показывается даже как "тень", "издали"...

Кроме "домашнего очага" он везде стоит. Вот отчего я давно про себя решил, что "домашний очаг", "свой дом", "своя семья" есть единственное святое место на земле, единственно чистое, безгрешное место: выше Церкви, где *была инквизиция*, выше храмов — ибо *и в храмах проливалась кровь*. В семье, настоящей, любящей (я только таковую и считаю семьею), натуральной, натуральною любовью сцепленной — никогда! В семье и еще в хлевах, в стойлах, где обитают милые лошадки, коровы: недаром "в хлеву" родился и "наш Боженька", Который бессильно молился в Гефсиманском саду...

Как я это наблюдал 25 лет, после чтения книги Гейссера (еще в университете), так равно вышло это и теперь, когда зашла речь об "отмене смерти и казни" и прекращении "политических убийств". Вечный закон!! "Своей крови" — жалко; "чужой" — ничуть не жалко!! Никому! И среди этого горя, в этой роковой, наконец, в этой религиозной (!!) истине мы все живем. Задыхаемся, и нет другого воздуха, которого бы нам глотнуть.

Признаюсь в своем "безбожии": когда я догадался о Каине и Гефсиманском саде, я дошел до согласия с немецкими критиками в "условности" и "историческом происхождении" и Библии и Евангелия. Что же, отчаяние до всего доводит, даже до безбожия.

— Если *везде* убийство, на земле и *даже на небе* (Гефсиманский сад), то позволительно несчастной мыши, которая именуется человеком, "взяв в охапку все", и небо и землю, и "сии священные книги", сказать: "Когда *везде* убийство, а я убийства не хочу, то ничего мне и не надо, и не верю я ничему, а главное — мне не надо таких религиозных истин. Я маленькая и добрая мышь, желаю грызть сыр, бескровный; но в живое мясо зубов не запущу, и даже если бы это мне повелел сам Бог, коего я и переименовываю с маленькой буквы — в бога". Я согласился в том отношении или по тому мотиву с германскими историками, что не может быть "частичной истины" без истины универсальной, как "нет дроби без единицы, коей она есть дробь?". И раз "убийство" обнимает землю и небо, Каина и Голгофу, то все это суть "частные, этнографические мифы", полные страшных и потрясающих "откровений", однако не окончательных и даже не вполне истинных. Раз "убийство" худо, оно худо для земли и не лучше в небе: и есть еще какое-то "второе и окончательное небо", где нет ни Голгофы, ни Каина, откуда "Голгофа и Каин" представляются "былью", тяжелым сном, которого нет и больше не надо... Я стал признавать все это "этнографическими мифами", как Штраус и тубингенцы, ибо где же универс и универсальное? "Своя кровь", очевидно, параллельна "своему богу", "туземному", маленькому "ваалу", какому поклонялись в разных Тирах и Сидонах и прочих "деревушках" (относительно) древнего Востока; а раз "Каин" и "Гефсимания", т. е. все жертвы и жертвы, все кровь и кровь, то, очевидно, все это суть "туземные ваалы" же, ваалы "Тира, Сидона и *Иерусалима*, где недаром до самого Иисуса Христа, сейчас же после Давида, непрерывно и всегда поклонялись "ваалам и астартам", очевидно, не умея их различить от своего "иеговы", не умея, потому что и *не было* различия, ибо и иегова "берег только свою кровь", жидовскую, нисколько, напр., не жалея крови тирян, сидонян и прочих настоящих "поклонников астарта и ваалов". Как и наши протоиереи, проповедуя гимназистам II класса, что "Иегова побил 30000 поклонников Ваала", поклоняются, в сущности, местному иерусалимскому "иегове", т. е. уже по туземному, а не всемирному его характеру, "ваалу" же, но только который попал "в святцы", а не на эшафот.

Корде не жалко Марата, Марату не жалко роялистов, иерусалимлянам — сидонян, сидоньянам — иерусалимлян, протоиереям не жалко японцев и жидов. И все это местно. И все это ваал. Христианам не жалко японцев и жидов, но жалко "иеретиков" (отступники учения, как в древности были отступники *крови*), и мы, христиане, тоже, значит, не вышли из круга "своего местного ваала".

Да будет позволено сказать всю мысль, как она у меня закружилась.

* * *

И вот мы бьемся в нашей политике в пределах этого "ваала". У кадетов — свой "ваал", у социалистов — свой, у правительства — свой же. В каждой редакции своя статуетка совсем крошечного "ваала", которому она приносит, до времени чернилами и пером, а потом невозможно и кровью — "жертвы".

Каждой партии жалко "своей крови" и нисколько не жалко чужой: вот тягостный факт, лежащий физиологически, натурально под торопливым требованием Думы, в первый же час ее Собрания, "амнистии". Мораль, жалость, "политическая мудрость", все не настоящие мотивы были залпом высказаны, как абсолютные аксиомы "в пользу амнистии", и из каждого из этих идейных мотивов кричал единственный настоящий, физиологический: "Моему горлу душно, когда на него накинута петля". Но вот, *vice versa*, пошел вопрос и об отмене браунингов. Все "идейные мотивы" перенесли и сюда: мораль, жалость и политическая мудрость. Речи вдруг затянулись, начали быть медлительны. Что такое? В порядке литературного обсуждения, газетной разработки вопроса, даже разработки юридической, т. е. тоже мозговой, идейной, в конце концов чернильной и бескровной, не было никакого сомнения, что "написанное влево" должно быть написано и "вправо", что "амнистия" = "прекращению политических убийств", т. е. невозможно требовать одного, не требуя в силу же секунду другого, и с тем самым темпераментом, пылкостью, этической страстью... Да, если бы был "Бог"... Но ведь есть только "ваалы", и Дума, члены Думы, потрагивая плечи, живот, грудь, ответили этою натуральной, дикой и вечной истиною.

— Браунинги? В нас не стреляют!.. Огнестрельная рана в живот? — Ничего не чувствую!! Читал в газетах: но это полицейские, вероятно, шпионы; читал и улыбался, и пил чай, решительно ничего не испытывая!.. Жалко? Нет, не жалко. Вот если бы повесили Гершуни, Сазонова, я встал бы на дыбы и закричал на всю Россию, ибо у него шея точь-в-точь как у меня и его повешенье точно мое собственное или моего сына, брата, матери. А, это другое дело. Но расстрелы? Полицейских? Не жалко!

Вот она "мать физиология", не то что юриспруденция с гибким языком, которой собственно "не жалко" ни полицейских, ни революционеров, и она ровно ничего не чувствует, даже когда и говорит, что страдает "всеми чувствами". В порядке газетного обсуждения, конечно, "всех жалко"; но по-настоящему и физиологически известно и в тихих ночных признаниях своей совести, когда человек только перед собой и "своим Богом" стоит перед своим комнатным "ваалом", — жалко... только "своей крови", "своих родных", "своих партийных", "духовных друзей". К тихому-тихому и прекрасному-прекрасному человеку, но из спокойных охранителей и государственников (чуть-чуть) я вошел в кабинет, говоря, что нужно написать статью против немецких баронов, натравливавших русские войска на усмиряемых латышей:

— Я знаю, что бароны эти сволочь и что они пользуются теперь случаем расправиться с латышами. Недели через три, даже через две мы их и будем громить. Но теперь нельзя мешать войскам. Эти латыши тоже черт знает что задумали — основать латышскую республику! Пройдет недели две и вашему энтузиазму будет место. А теперь благо-разумнее помолчать.

Архиепископ Волынский Антоний на что, кажется, христианин? Архиерей и как сам же писал в своей передсоборной "Записке" Синоду: "Мы, архиереи, одни вправе говорить и решать на будущем Соборе русской Церкви, ибо мы — Церковь, нам одним и никому другому вверена истина Христова, преемство дара апостолов". Но на всю Европу

(отличился!) первый голос от лица Церкви русской он поднял в Государственном Совете: "Не надо амнистии! Сохранить смертную казнь! Не уместны теперь сантименты". Значит, тоже — "ваал". И Христос (по архиепископу) "ваал же", местный свой христианский "бог", и даже партийно-русский, почти член "Русского Собрания" или московской "монархической партии". Вот истина! Вот физиология! Да так и у всех: все мы или на стороне Ф. Самарина и "меньшинства членов Государственного Совета с их особым адресом", или на стороне большинства, с кадетами, в конце концов — с социалистами. Вл. Соловьев на что был "вообще христианин": а когда произнес известную речь после 1 марта о необходимости помиловать цареубийц, то и он, он... поэт, философ и "такой христианин", буквально сделал то же, что сейчас Дума, т. е. не издал никакого физиологически-мучительного крика против цареубийц, кроме разве осторожных полицейских оговорок, которые читателями и слушателями моментально и забылись. Мой "добрый друг" г. А. С.—н в самом начале революционного движения передал возмутительный случай о том, как социалисты, заколов корову перед сельской церковью, взяли от нее крови и "помазали иконы в храме"¹, и о том, как возмущенные мужики, связавши их, "отрубили им всем головы перед этой самой церковью". Г-н А. С.—н, друг Соловьева и такой тоже прекрасный "вообще христианин", рассказал фазу события прямо с аппетитом (он очень негодовал на кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убедительности, для решения важного вопроса. И я не осуждаю его. Да я сам осуждаю ли убийцу Плева? Нисколько. Помню, тогда радовался. Значит, и я червяк, и я только могу плакать о себе, А. С.—не, Соловьеве, о всех нас, буквально червяках, убийцах "в тумане", в отдалении: все мы — кайново племия или, пожалуй, тварь того Бога, Который даже и Сына Своего Единородного не пощадил... И во мне гнездится червь негодования, возмущения, раздражения, возможной мстительности, от которого я спасаюсь только в "свой дом", т. е. в то, что "махнул рукой" на всякую политику и даже вообще на всю историю, уединился, может быть чудовищно (!?) уединился в свое благополучие, в тот тихий уголок, где "меня все любят" и я "всех люблю" и где уничтожены самые мотивы что-нибудь ненавидеть и что-нибудь презирать. Вышел в историю: и стал ненавидеть! Скрылся от нее — и стал... не свят, а все-таки лучше. История грех. Политика ужасный грех! Вот аксиома, в которой мы все бьемся, все партии, все пишущие. И нет между ними праведников, и нет между ними грешников; а все равны, в слабости и несчастии своем (Кайново племия).

В конце концов я радуюсь, что Дума отвергла порицание политических убийств и что амнистия тоже по всему вероятно не будет дана или дана крайне урезанная. Лучше, если б ее совсем не дали, чем дали "сквозь зубы", с отвращением и неохотно. Из двух грехов (по-моему, основных в истории), злобы и лжи, ложь я считаю худшим. Из лжи уже невозможно возрождение, ложь есть такое условие всех вещей, при

¹ Поразительный атавизм, и откуда он у революционеров: до христианства у всех языческих народов и у евреев тоже "помазывались жертвенною кровью" священные предметы, утварь, жертвенник, престол и пр. Неужели революционеры, на счет истории беззаботные, это знали?

которой все они не истинны, временны, хрупки. Кто солгал в сторону "сострадания", завтра солжет в сторону "беспощадности". Злоба, каинство все же лучше: ибо убийца-Каин как затрясся и захотел не убивать!!! Из злости возможно возрождение. И Дума, правительство, как все партии, все мы проходим фазис злости, распрей: и хорошо, что через мучительные и частью позорные (на всю Европу!) прения в Думе натуральная истина не только нашей, но и французской, английской, немецкой, всякой человеческой природы выступила в ужасной и дикой наготе своей; везде выступили "ваалы", "свои" боги: без универсального над всеми нами "Единого Бога", о Коем мы с уверенностью думали (во всех учебниках прописано, во всех катехизисах прописано), что Ему поклоняемся, Его знаем... Ничего мы не знаем. Дети, младенцы. Дикари, — как сидоняне и тиряне. Не лучше, не выше. Выступила горькая правда, от которой "возрождаются" не в дни, но в годы; не в "сессии Думы", а в поколениях, в одно-два поколения, может быть, в три. Ну, что стоит "сболтнуть"; "амнистия" влево, порицание политических убийств вправо, а в сердце что? То же убийство стоит, и оно возродилось бы завтра: как "смертная казнь отменилась в благополучное царствование Елисаветы Петровны, а на самом деле после самого же указа об ее отмене приговаривались преступники к плетям с таким расчетом, чтобы умереть не под кнутом, а этак день на: 3-й (читал я в историях). "И овцы целы, и волки сыты". И "слава царствованию", и преступнички все же "скончали живот". Такой правды вовсе не надо. Не надо такой гуманности, лживой, жестокой. Людям все равно при ней худо. Не надо этого. Лучше будем биться в грехе, преступлении, злобе — биться и пробиваться к свету, годами, в труде, в философии, в поэзии, в лучших законах, через лучшие учреждения, везде заводя тот "свой домок", где каждый в себе, в городе, в училище, во всяком звании и положении чувствовал бы блаженное: "меня все любят, я всех люблю", и терял бы мотивы злости, ненависти, мести. А то мы с десяти лет ненавидим: 1) училище, 2) университет, 3) службу, 4) начальство; в худшем случае даже ненавидели, 5) родителей, 6) литературу и общество. И вот на фоне-то этой ужасной еще от младенчества злости вдруг выпало бы "всепрощение". Невозможно, и ложь! Пусть ненавидят. Но пусть знают, до чего это ужасно, — и пусть пожалеют друг друга именно в ненависти, именно о ненавидении. Вот когда революционер пожалеет правительство за то и в том, что оно так гневается на него, революционера, и когда правительство тоже пожалеет революционеров за эту ненависть, за этот гнев, который душил их: тогда день близок. Я боюсь, что выражаюсь не ясно. Мне определенным образом известны случаи, когда, получив чрезвычайную обиду, обиженный в ту же секунду гораздо больше этой обиды чувствовал необъяснимое сожаление об обидчике, о его поступке с внутренней его, обидчика, стороны, как бы этот обидчик впал в несчастье: вот при возможности и наличности таких чувств "всепрощение" близко. Пусть революционеры почувствуют жалость к правительству за его Шлиссельбург, по крайней мере вообще жалость, так как за повешенных, мне кажется, невозможно ее чувствовать, и пусть большие наши администраторы, читая мемуары Кравчинского (Степняка) или Дебагория-Мокриевича, скажут в себе, подумают безмолвно: "Какие, однако, эти люди были идеалисты, сколько молодых жизней погублено, какая фигура этот

Лизогуб — миллионер, одевавшийся бедняком, ходивший по холоду и под дождем в полотняном платье, чтобы до последней копейки же передавать на пропаганду и конспирации”: когда это совершится в молчаливой совести, тогда дни ”всепрощения” близки. Тогда близок Бог... Теперь мы его не видим. Я думаю, по лицу земли должна пройти бесконечная скорбь человека о себе: печаль, меланхолия, почти до невозможности жить. Мы слишком как-то здоровы, ”ядрены” (мужики говорят о свежесрубленном дереве), физиологичны. Мы должны пережить состояние души, как бы вот умер друг, муж, жена, отец, сын. Потеряно что-то бесконечное, дорогое. Это так переживает сердце, что жестокость не умеет зародиться в нем, и стаивает. В день смерти сына и Грозный (наверное) никого не казнил. Вот что нужно: и тогда близки новые дни...

В НАСТРОЕНИЯХ ДНЯ

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой...

Пушкин

Этими двумя стихами Пушкин определил существо парламентаризма в известном стихотворении, посланном в сельцо Архангельское, близ Москвы, знаменитому екатерининскому вельможе князю Н. Б. Юсупову. Впечатлительный поэт любил слушать его рассказы о заграниче, которую, — увы! — самому поэту так и не пришло никогда увидеть, несмотря на то что его музу ласкала всемогущественная рука — и придерживала за крылья. ”Зачем загранича поэту? Туда ездят лечиться старые интендантские чиновники, — ну, и тогда, натурально, получают пособия... А поэт? Соловей лучше всего поет, когда у него выколоты глаза... Пушкин сам же говорил, что больше всего творит в дождливую осень. Ну вот и пусть русская осень окрыляет его музу, — осень да еще Клейнмихель. Самая лучшая обстановка для мальчишки, дерзнувшего написать когда-то ”Оду на вольность”... Тут мы его женим, под сентябрьский дождичек, да побалуем камер-юнкерством, — пойдут детишки, долгишки, и пыл, авось, уляжется, даже наверное уляжется, как он замер везде в этой холодной, безмерной России, в этой парадной, покорной России”.

И Пушкин пел, как соловей с выколотыми глазами; пел об испанках, никогда не видав их; об Италии, — не видав и ее. Вся поэзия Пушкина есть греза безглазого гения, оттого-то она так и закруглилась, без шероховатостей, без запятых, которые, — увы! — во всякую мечту сумеет вставить действительность.

Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют...
О, Расскажи ж ты мне, как жены там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;

Скажи, как падает письмо из-за решетки,
Как златом усыплять надзор угрюмой тетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
Трепещет и кипит, окутанный плащом.

Грезы, грезы! Схемы и схемы! Песнь соловья в клетке, безглазого, — мучительная, протяжная песнь, которую слушает господин и наслаждается ею. Зачем господину глаза соловья? Он, владыка, богач, ведь не смотрит ими: от соловья он имеет только песню, ему нужна только песня. И когда она может быть лучше от вырванного глаза, — пусть будет он вырван! Вот судьба Пушкина.

Я прошу прощения у читателя за это отвлечение в сторону, вызванное эпиграфом из великого поэта. Обращаясь к "вельможе" — старцу, объехавшему все края Европы, он мысленно сопутствует ему и произносит о виденных им странах суждения, какие сам путешественник едва ли произносил, и даже наверное не произносил иначе, как в форме смутного чувства:

Но Лондон звал твое вниманис. Твой взор
Прилежно разобрал сей двойственный собор:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.

Мы только-только входим в рамки этой гражданственности, — не столько "новой", сколько всемирной, ибо и в Афинах, и в Риме — всюду, где была "гражданственность", были "cives" и "civitas"¹, была везде и эта встреча "пламенного натиска" и "сурового отпора"... "Ново" это было только у нас и для нас, для зрения русских путешественников, у себя на родине видевших только то, как все согласно и единодушно ползут гуськом к силе, влиянию, положению, знатности, богатству... тягучими, медлительными рядами и все в одном направлении, к всегряющему солнцу...

Мы имели литературные мнения, но не имели гражданской борьбы: ибо у нас никогда не боролись, открыто и смело, групповые интересы. Они, конечно, были, эти "интересы", и даже боролись, но за отсутствием свободы борьба ушла в интригу, в ползанье "вокруг" и "около", в жадное улавливание руки, чтобы ее поцеловать в потемках. "Помолимся" да "поклонимся" — к этому сводилась вся политика, успехи... обывательские, не гражданские. Не было "cives", не было в существе дела и "civitas". Была "вотчина", "вотчинный" быт, "вотчинные" понятия; "вотчина", выросшая в страну, в национальную значительность, "конторское управление" которой разрослось в приказы, в коллегии, в министерства... Но дух и сущность все были одни: раб и барин, рабство и барство...

Нужно было барину пасть, чтобы и рабы перестали быть рабами. Два соотносительных понятия, из которых одно держится другим; и пало одно, — падет и другое. Два года рушился великий авторитет: он рушился нравственно, духовно. Он сконфузился, запутался, онемел; он обморочен, как бы временно оглушен неожиданностями на Востоке, в которых так ясна, иногда до осязаемости, рука Провидения, — подни-

¹ "граждане" и "государство" (лат.).

мающая, унижающая, карающая, низвергающая. Вот уж "мане, текель, фарес", прошедший перед очами нашими... Вот бы тема для "митрофорных" витий, если бы они были духовными вождями своего времени и людьми, как древние пророки, а не мелкими "псами, ожидающими крох со стола господина своего"... Но, — увы! — тем же всевластным политическим барством народ русский давно лишен и пророчесственного, священного, вдохновенного руководства: ему подsunуты вместо него "словесные рептилии", говорящие с амвона и в священнических одеяниях, с титлами и славянскими литерами, самые обыкновенные газетные передовицы, но только до того вялые, вымоченные и высушенные, что за них газетному разносчику никто бы не дал пяти копеек, — ну, а даром послушать можно... В самом деле, иногда с грустью думается: обложи право слушания церковных проповедей гривенничным сбором, и сколько бы слушателей осталось у нашего духовенства?.. Вот маленький критерий, кое о чем напоминающий, кое о чем предупреждающий...

Но я все отвлекаюсь в сторону от "натиска пламенного" и "сурового отпора", о котором собрался говорить. Как воспламенились сейчас все мысли, как разделились и противопоставились взгляды, мирозерцания, еще вчера текшие рядком и спокойно или текшие параллельно и без вражды... Мы ползли, и довольно мирно. Вдруг все вскочило и побежало: и траектории путей пересеклись ужаснейшим образом... Послышался треск и лом в душах, в жизни...

День за днем, вчера и третьего дня, я пережил две встречи, которые оставили во мне неизгладимое впечатление... Как будто Бог ведет в наше время не только массу, но и водит отдельных людей, указывает, просвещает, почти говорит, говорит тому, кто умеет слушать. Не будь вчерашней встречи, и позавчерашняя не обозначилась бы для меня в таком особенном, глубоком смысле, точно два слога одного слова, одного имени... Но я сперва расскажу о втором слоге...

Я вернулся домой скучный, недоумевающий и немного раздраженный. Мне нужно было навести кое-какую справку касательно приемных испытаний в одно из высших женских учебных заведений, и я поехал к старому полудругу, полужнакомцу. К одному из тех знакомцев, которых хотелось бы назвать "другом", и только не чувствуем на это права по редкости свиданий и вообще по малости обоюдного трения. Я знал уже несколько лет эту девушку, всю положившую жизнь свою для науки, и положившую успешно. Растение выросло и дало плод в форме ценных трудов по одной из труднейших ветвей знания, которая, кроме огромных сведений и страшно упорного трудолюбия, требовала еще и вкуса. Девушка, уже далеко не молодая теперь, весело и счастливо, снаружи даже легко прошла тернистый путь библиотечных сидений и заграничных странствований, и собирая материал, и строя из материала. Ветвь знания эта до того трудная и изощренная, что в России есть, может быть, 2—3 лица, отдающие ей свои силы, и в целой Европе есть 1—1 1/2 десятка людей, которые разрабатывают ее. Это мне и самому понятно и известно, но я говорю это с полной уверенностью потому еще, что мне пришлось то же самое услышать из уст одного из первых в России научных светил, в своей области, даже первого. Он мне также сказал, когда я с ним заговорил об этой удивительной девушке и предмете ее многолетних занятий, что во всей Европе есть только несколько, очень

немного ученых, которые знают эту науку и вообще занимаются и могут заниматься этим предметом, самая азбука которого вовсе недоступна не только — для обыкновенных образованных людей, но даже и для большинства профессоров того самого факультета, к которому эта наука относится, кроме нескольких человек в Европе. С понятным чувством чисто национальной гордости смотрел я на нее, и всегда казалась она мне самым разительным опровержением всего того предрассудочного и злого вздора, какой говорится и неучами, и даже не неучами против высшего женского образования, против способности женщин к отвлеченной и бескорыстной науке. Но поползновение к дружелюбию с этою девушкою вытекало у меня из других впечатлений.

Первый раз, когда я много лет назад переступил порог ее квартиры, — я был поражен пустынностью больших, опрятных, но совершенно лишенных какого-нибудь "женского убранства" комнат. Ни зеркал, ни ковров, — при ясном отсутствии нужды и бедности. Только полки книг и как будто следы чего-то училищного. Тут я узнал, что здесь находится и среднее учебное заведение, тоже женское, в составе младших классов, другой ученой женщины, автора также нескольких книг из области с тою, какою занималась новая моя знакомая. На меня повеяло точно какою-то древнею философиею или, точнее, мудрым и простым способом жизни древних философов, еще не одевавшихся в павлиньи перья нашей новой науки. В ту пору, довольно давнюю, и я не был другом женского образования, разделяя предрассудок, что наука лишает женщин "этого чего-то неуловимого, что приятно нам, мужчинам". Жестокое суждение! Как будто они *обязаны* нам нравиться, — как будто это какие-то красивые игрушки, "которых не надо, если они не подходят к нашему вкусу". "*Вкусовая вещь! Наша вещь!*" — говорили христиане в христианстве, потому что до христианства, в Александрии, в Греции, женщины свободно занимались всеми науками, были участницами в философских школах, читали публичные лекции. Но я имел суеверия и вошел угрюмо и недружелюбно в квартиру, где уже по обилию книг ожидал встретить что-нибудь грубое и нигилистическое.

Вышли девушки, правда, без причесок и костюмов, без суеверий и предрассудков "своего пола", что сказалось с первых же слов и манеры беседы. Но какая же в них была бездна "этого чего-то, что нам всем нравится", — при отсутствии и красоты, и молодости. Т. е. не то чтобы "отсутствия", но если что-нибудь в этом роде и было у них, то ни для обладательниц, ни для собеседников это не составляло никакого значения. Просто — другая тема, другой интерес. Но этот непрерывно умный и напряженно умный интерес был окутан во всю прелесть особой женской психологии, где все начато и не докончено, которая вся в многоточиях и запятых, а не в этих крупных мужских "точках", которые так кратки и всегда останавливают. Боюсь, что я клевету и даю читателю понятие хуже, чем как его имею. Мужчины говорят, беседуют, доказывают — точно железом стучат. Сказано, — и кончено; стоп, — и никуда дальше. Что-то сильное, но и немножко тупое. Ум женский, в сущности, пронизательнее, живее, бегучее, он в каких-то именно "мелких знаках препинания", которые не так существенны, как точка, но зато дают такие оттенки человеческой речи и человеческому произношению, такие краски

языку и письму, каких и намека не содержится в глубоком и сильном "главном знаке препинания"...

Не могу здесь не передать одного суждения, услышанного мною от этих Афин-Паллад, — суждения, которого мне не приходилось ни слышать, ни читать. Как студент-филолог Московского университета я ношу и всегда носил тоску о пустынности, о безлюдности этих факультетов, какой-то всегдашней и какой-то неодолимой. Такие важные знания, одухотворяющие, — и так мало слушателей. Читаются, не говоря о языках, — история, литература, философия; читают талантливые профессора, С. М. Соловьев, Ключевский, Герье, Стороженко, Трубочкой, Лопатин, а слушателей иногда несколько человек и в лучшем случае несколько десятков. В задумчивости я выразил полунегодование, полудивление к этому факту.

— Ничего нет удивительного, — возразили собеседницы. — Семинаристов не пускают в университет, между тем только семинаристы, почти только, и восприимчивы к тонкостям филологической культуры, как и могут справиться с ее большими трудностями. Единицами сюда примыкают дворяне, но никогда филологами, лингвистами, историками и пр. не делаются купеческие дети, дети литераторов, как равно мещан или купечества. А эти-то теперь и заполняют среднюю школу, дающую весь контингент студенчества. Духовенство даже в нищих семьях все преемственно культурно: оно имеет за собою десять поколений, которые плохо ли, хорошо ли, но учились, напрягали мозг, что-то усваивали, чего не делали ни предки журналиста, ни предки крестьянина или купца. И дети этих преемственно необразованных классов, даже при больших личных способностях, не имеют тех навыков в энергии умственного труда, как и тех возвышенных влечений, как грубые семинаристы, говорящие на "о". Почти все русские филологи, как и лучшие историки, — из духовенства: Соловьев, Ключевский, Платонов, Модестов, Помяловский, Павский, Благовещенский. Никого из разночинцев и чиновников, из этих новых людей, в душе которых, в уме которых нет этих проторенных, намеченных *вековых* дорожек.

Не правда ли, — удивительно? Не только мне, но и Министерству народного просвещения в голову не приходило! Известно, что насадитель у нас классической системы, гр. Д. А. Толстой: 1) миновав питомцев четырех духовных академий наших, сплошь всех учителей греческого языка и очень многих учителей латинского языка выписал из Австрии, 2) закрыл вовсе университеты для оканчивающих семинарский курс.

И много подобных по свежести и новизне мыслей мне привелось услышать от этих девушек, любивших свое высшее женское учебное заведение, и вообще, конечно, сторонниц высшего женского образования. Как-то я заговорил о 60-х годах:

— Конечно, много было чепухи, увлечения и, наконец, нравственных безобразий, отмеченных Тургеневым, Гончаровым, Писемским. Наблюдения их неоспоримы, но и односторонни: все, что у нас есть теперь здорового и ценного, сильного и энергичного в обществе, в стремлениях, в государственном сложении, в духе и поведении людей, родилось в 60-е годы, — от людей, осмеянных во "Взбаламученном море", "Обрыве" и в некоторых персонажах "Отцов и детей". Как о Петре говорили после него: "Все от него имеем", так и в нашу пору, когда о коммунах

и свободной любви тех дней нет и помину более, приходится сказать, что мы "все имеем *от них*, все у нас пошло *от них*".

Я любовался этою спокойною мыслью, умеющею отделять эксцессы минуты от большой исторической работы...

И вот этих девушек, не выдав их два года, я увидел вчера... Какая перемена! Что случилось?! Как будто в спокойное озеро или, еще лучше, тихую заводь брошены раскаленные камни, огромная их куча — и все закипело, забурило; кверху поднимаются пузырьки, множество их, и, быстро лопааясь, выпускают пар.

Я не буду в подробности передавать их речи, — всей этой беседы, положившей на душу тяжелое впечатление.

— Я была больна эти 72 дня, пока была Дума... Да, я не могла не читать газет: отвратительно, но я читала три газеты, выписывая одну постоянно и посылая на улицу покупать отдельные номера еще каких-нибудь двух... Я забросила свои занятия: разве возможно было заниматься при этом сумбуре, при зрелище, что все дорогое падает, все красивое в истории оплевывается... *Vis-à-vis* с нами устраивались митинги, — и мы видели, мы сами видели, как какой-нибудь вертлявый студент или растрепанная курсистка делает, видите ли, "разъяснения" рабочим людям, — этим честным русским людям, — развращая их, отнимая у них здравый смысл и на место его вкладывая какую-то издерганную душонку нервного психопата... Но, — слава Богу! — этот сумбур кончился, — Думу закрыли. Неужели она опять соберется и в таком же виде? Я не верю, мы не верим; возьмет же верх здравый смысл людей...

— Россия гибнет и, может быть, погибнет, потому что у нее нет... интеллигенции. Нет образованного класса, вовсе, нисколько! Нет вождей. Все — стадо и люди стада... Между тем, как прекрасен народ сам по себе... Я получаю много писем из провинции: там, в тишине и глубине народных недр, уже образуется совсем иной взгляд на текущие события, чем какой мы имеем здесь, в Петербурге, и который смеют выдавать за взгляд целой России... Рождаются легенды, как во все критические эпохи, и вот вы послушайте, что они говорят.

Легенды были красивы... Да, легенды, мифы, предания — может быть — поэзия народная и оскорблена ломом и треском, который раздается вокруг. Ведь поэзия благоухает именно в заводье, в затишь, — особенно русская поэзия, эта покорная, грустная поэзия, такая пассивная, такая типично *не героическая*... Ее спугнула бы и оскорбила не только революция, но, напр., гуситское движение или Лютерово... Разве мы не знаем этих святых героев русского раскола, которые, не допуская и мысли о *сопротивлении*, как о грехе, покорно умирали, закапывались в землю сами, сжигали себя сами... Русское *безволие*, этот "антонов огонь" истории, — о, оно ужаснее костров и пыток инквизиции, как и антонов огонь ужаснее в биологическом смысле самых мучительных болей, хотя и безболезнен... Да, "легенды" против движения, может быть... "Легенды" ведь за "красную смерть", самосожжения в срубах... Но заработная плата, рабочий, т. е. девяносто и даже девяносто девять процентов населения?..

Я заметил, что мои энтузиастки "исторических основ" России, когда говорили о митингах и о "развращении" от разговоров студентов,

— были *глубочайше равнодушны к конкретной теме этих бесед*. Их поражало только зрелище, что вот "мужик в армяке и кушаке", похожий приблизительно на Минина или Сусанина, после "разговоров" преобразовывался в неэстетическую фигуру блузника... Говорю обобщая и сравнением, хотя, конечно, его не было сказано... Эстетика, эта проклятая эстетика, которую отравились русские, кажется, с начала своей истории, — я видел, что она одна управляет суждениями и этих милых и так глубоко мною чтимых девушек... Опять эстетическое начало истории, с таким глубоким забвением хлеба, еды, одежды, жилища, — с забвением, что кто-то не одет и просит хлеба... Этот отвратительный стих Пушкина:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...

Стих этот, дворянский, не трудолюбивый стих, проговоренный с балкона того дома, который построили голодные мужики и которым за работу ничего не заплатили, — он владел и душами моих милых, прекрасных собеседниц...

Но как *сами* они были неэстетичны в своей новой желчи, озлоблении, сарказме надо всем происходящим...

— Я была больна эти 72 дня, как заседала сумасшедшая Дума.

Я промолчал, но мог бы ответить:

— Сударыня, Дума собиралась вовсе не в интересах вашего здоровья, и вообще на свете есть некоторые другие вещи, кроме состояний вашего духа, и вещи эти идут сами собою и вне какой-нибудь связи и обязательной зависимости от того, что вам нравится и не нравится...

Но я промолчал. Когда-то я видел их прекрасными, добрыми, универсальными, и просто теперь не хотел войти в тот узкий, глухой переулочек мысли и наблюдений, где они кипели в бессильном негодовании...

Когда собеседницы мои кончили убежденное и страстное анафемствование нового положения вещей, я сказал им — ибо было время расставаться:

— Ну, хорошо. Я вам не возражал и не собираюсь возражать. В вас говорит история и чувство родной истории, вы говорите как защитницы эстетических, седых, величественных руин прошлого, которые смывает, по-вашему, современная грязь. Хорошо. Не спорю. Признаю, по крайней мере, личную мотивированность ваших чувств, и, конечно, не мне переманить вас от монументов Сусанина и Минина на какой-нибудь шумный митинг путиловцев. Ведь и я интеллигент же, как вы, и меня затрогивает не только факт революции, сколько революция как толпа новых идей, как поворот к новым задачам существования, к новым заботам о забытых доселе частях человечества. Ваше исповедание поразительно. Но как раз вчера я выслушал другое исповедание, и теперь стою растеряв между ним и вами. Вернее, всеми силами души я отдаю впечатлению вчерашнего исповедания, а вы выслушайте его, в качестве целостного вам ответа, и уже думайте и решайте, как знаете.

И я передал, сколько мог подробнее, позавчерашний мой разговор.

Дело было перед ужином, — и мы за общим столом разговорились с полушведкой, полуфинкой, подругою нашей дочери. Девушка так юна и так мало имеет умственного авторитета, что, в общем, мне никогда и не приходило на ум вести с нею какую-нибудь беседу на серьезные темы. Старости — размышлять, а юности — играть... Но эта играющая юность имеет свою впечатлительность, имеет свой глаз, чтобы видеть, глаз еще без предрассудков, без толпы затеняющих, благоприобретенных и застаревших понятий; и старости полезно бывает иногда взглянуть на вещи этим свежим чужим глазом без предрассудков.

Я сказал, что она шведка, — по отцу, и даже не русская, а шведская подданная; брат ее уезжал года два назад в Стокгольм для отбывания воинской повинности. Но они живут неподалеку от Петербурга и вообще привязаны к России заработком, частною (техническою) службою. Дома говорят по-шведски, имеют шведский стол, в котором кушанья едят сразу наперед, т. е. сперва жаркое и потом суп; пьют чай из какой-то кастрюли вместо самовара и проч. неудобства и несообразности. Но дети все прошли или проходят русскую школу и значительно обрусели. Мать — финка; прислуга в доме их — русская, и мне пришлось однажды выслушать, до чего эта финка-хозяйка привязалась к грубейшей и неуклюжей русской кухарке, уже не молодой и безобразной, и нянчится с ее незаконно прижитым ребенком. "Мама его любит не меньше, как бывало, мою младшую сестру, свою дочь, когда та была маленькая. Моей и нянчит ребенка, когда матери некогда, и никогда не дает его матери бить.

Разговор случайно коснулся Финляндии и идей сепаратизма, волнующих финнов и шведов. Я возразил:

— Вы знаете, против сепаратизма я не имею никаких суеверий и уверен, что раньше или позже народы всюду на земном шаре сложатся приблизительно так, как немцы, французы и итальянцы в единой Швейцарии, любимом общем своем отечестве, где три нации имеют каждая деньги на своем родном языке. Да, это странно: в крошечной Швейцарии при размене денег в Монтре мне выдали пачку билетов с немецкими надписями, пачку с французскими и пачку с итальянскими. Все разъединены и все соединены, никто не связан и все друг к другу привязаны, никто не рабы и никто не господин, но все граждане и братья. Вот идеал. Так что финляндский сепаратизм ничем лично мне и моим идеям не угрожает. Но я припоминаю слова, сказанные мне лет восемь назад знаменитым армянским патриотом Джаншиевым, и передам вам их так, как их услышал:

"Это возмутительно, если нас, армян, обвиняют в тенденциях к *отделению от России*. Армяне слишком умны и трезвы для подобной фантазии". — Слушайте теперь внимательно его слова, которые и меня поразили новизною и основательностью. — "Время, — сказал он далее, — для образования небольших самостоятельных государств прошло. Вся Европа стянута в пять огромных государств, напр., Франция может существовать, может дышать свободно, по-своему и безопасно, только держась за связь с Россией, без которой Германия ее раздавила бы. Это можно повторить и об Италии, и в собственном смысле абсолютно самостоятельно существуют только Англия, Германия и Россия или, точнее, — англосаксонский, германский и русский миры. Все остальное

не имеет никаких сил держаться на своих ногах и падает просто от соседства с этими колоссами, силою неизмеримого их притяжения и давления, культурного, духовного, физического, военного, всяческого. Таков момент истории, фаза ее, времени окончания которой и предвидеть нельзя. Вообразить или пугаться, что армяне или поляки образуют в XIX—XX веке какую-то *Великую Армению* или *Крулевство польское*, — могут только "Московские Ведомости", — по преступным видам, им одним понятным. "Моск. Вед." просто стараются отстоять безобразных кавказских администраторов, их ненаказуемость и бессовестность, а армяне, просто как живые существа, как люди, а не скоты, вопят от боли под эту администратцию, дикою и развращенною... Вот и все, а не сепаратизм": Это меня поразило, т. е. не в отношении Армении или Польши, но как общее политическое суждение, как взгляд на историю. И я предлагаю вам применить это к Финляндии. Она будет или русскою, или шведскою; но между Россиею и Швециею она не будет никогда собственно "чухонскою", "финскою", своею и самостоятельною...

— И я не стою за это и передаю вам только то, что говорят финны и основательность чего нельзя не чувствовать. Они говорят: "Что такое была Финляндия без нас и до нас? Это холодная бессолнечная страна, которая ничего не рождала. Одни камни, без способности почвы к какому бы то ни было земледелию. Мы Финляндию сотворили не как пахарь свою ниву, а как мать своего ребенка: мы ее сделали, т. е. сделали, что ее может вообще кто-нибудь обитать, русский, швед, всякий. Она была необитаема; мы не просто населили ее, как русские Россию, а мы ее сделали способною к обитанию, к прокормлению человека. Это было страшно трудно, — и мы трудились всем народом, в каждой хижине и деревне. Теперь пришли русские и говорят: "Это наше!" Это черт знает что такое! Все равно, как и ранее, когда пришли шведы и сказали: "Эта земля *наша!* Финны — наши *подданные!*" Это также возмутительно. И финны, угрюмые и молчаливые, возмущены и взволнованы, наконец, разъярены этим нарушением естественного их права, права человека, который посадил свою яблоню и хочет снимать с нее плоды". Вот рассуждение. Я вам передаю его, как слышала, а вы судите, как знаете...

— Понимаю, понимаю! *Естественное право*, — конечно, *священной* — всяких гражданских и политических прав. Способ племенных отношений, какой сложился в Швейцарии, — я думаю, оттого и восторжествовует в далеком будущем, что под ним лежат и его требуют неуничтожимые и незаглушимые народные чувства, вот эти "естественные чувства" человека на свой труд, свой язык, свою веру, свой быт, свою школу и даже... деньги на своем языке. В самом деле, большие политические системы, о которых говорил Джаншиев, являясь наличною действительностью, не несут в себе никакого в сущности идеала и должны растаять, развалиться на этой безыдеальности своей. Что за дикое существование, когда сто миллионов разумных существ точно для того только и живут, чтобы десять, пятнадцать, пятьдесят человек, именуемых "министрами" и "главноуправляющими", имели... материал для упражнения своих способностей... Бог с ними. Это что-то смешное, а не великое. Просто это — аберрация истории, дальтонизм человека; и, конечно, каждый человек и каждая деревенька, и всякий городок заживут

когда-нибудь для себя и по-своему. Может быть, я не гений, но я не захотел бы иметь детей, чтобы дать только материал для школ Делянова и Толстого; может быть, моя вера плоха, но я не хочу иметь веры только в интересах существования Ведомства Православного Исповедания. Великие политические системы действительно существуют и вытекли из безграничного пренебрежения *личностью* человека; из великого неглижерства к тому, что вот есть Иван и Петр, и вовсе не в качестве "податных единиц", "рекрутских единиц", "питейных единиц", "учебных единиц", и проч., и проч., — а как именно "Иван" и просто "Иван", со своей судьбой и Богом. Все эти "политические системы" хороши à vol d'oiseau, "с высоты птичьего полета", а как спуститься на землю да послушать ее, — стон, мерзость, угнетение, голод, нищенство, отчаяние... Не нужно этого! Как честный человек, кричу: не надо этого!!

— Но это — когда-нибудь, далекое будущее. Мирной жизни финляндцев и русских, — очень много лет мирной, — помешали "Моск. Вед.". Лет пятнадцать уже они подняли систематическую кампанию против той действительно огромной автономии, какую Финляндия пользовалась, и довели дело до отнятия стародавних и, может быть, неосновательных, но уже окрепших и до чрезвычайности милых привилегий финского народа. Дело дошло до Бобрикова, и Бобриков пал. А теперь взаимные отношения русских и финнов в полном развале. Такова государственная заслуга этой патриотической газеты. Но вот в чем дело, и чего, может быть, вы по молодости не знаете. Государь Александр II в вознаграждение за то, что финны оставались спокойны в то время, как поляки в 1863 году возмутились и усиливались отложиться от России — отняв у Польши всякую тень самостоятельности, в то же время даровал финнам всяческую свободу, в таких размерах и пределах, как этого не только не имеет никакая часть России, но и не имеет никакая часть, например, Пруссии или Англии. Подумайте, всего в одном часе езды от Петербурга Финляндия имеет свою таможенно, свою монету, кажется, имела свое войско. Можно ли представить что-нибудь подобное около Парижа, около Берлина, Вены, Лондона? Тут — русская ширь, самонадеянность, вера в себя и также вера в человека, когда она оправдана. Прекрасным, твердым и законным своим поведением финны оправдали веру в них государей наших, — и государи засыпали их милостями, совершенно не виданными не только в теперешних политических системах, довольно полицейского духа, но и нигде в истории. Теперь все это рушилось.

Моя собеседница рассмеялась:

— Поверьте, я знаю, — к русским и нет никакой вражды у финнов. Моя мама...

И разговор перешел в подробности, в рассказы... Но вот между ними один, который собственно и отвечает на тему моего разговора с негодующими русскими патриотками:

— К маме часто привозит хлеб хлебник из выборгской булочной. Хороший характер, приветливый нрав, — и летом, сидя на балконе на даче, мы разговорились с ним о его житье-бытье. Он ужасно томится недоумением. Попал в Выборг он случайно, живет на месте лет восемь: между тем у него в России, где-то во внутренней губернии, Орловской или Калужской, своя семья, дом и поле. Он крестьянин и по вашим

законам не может продать земли и дома... В своем доме и на своей земле и живут его жена и дети, к которым его ужасно тянет. Он говорит: "Ии мне к ним ийти, ии к себе их вызвать, — да с семьей не знаю, проживу ли здесь!" Естественнее для семьи, земли и дома бросить булочную, где он наемный человек, — и в этом смысле ему и говорили покупатели булок. — "Не могу я бросить своего хозяина в Выборге. Куда я вернусь на родину? Земли мало, работать не на чем, придется ийти в город на работу же, а какая работа в России? Здесь я Бога узнал, совесть и закон. Человеком себя почувствовал. У одного хозяина все восемь лет. Сам он человек не капитальный, хотя средства есть. Когда я поступил на службу к нему, — в первую же субботу он приходит и говорит: "В баню пойдешь? Перемена белья есть?" — "И пошел бы, да белья запасного нет, — разве что попариться".

Пошел он к хозяйке, и принесла мне хозяйка пару чистого белья, — не переодеть, а вовсе.

А хозяин сказал: "Вы работаете хлеб, и работу эту нужно делать в совершенной чистоте. От этого я напоминаю о бане". И не со мной одним так. Не мне одному он дал перемену белья, — а как только у которого работника чего в одеже не хватает, особенно в белье, — он непременно даст. И у каждого работника при заведении своя отдельная комната, — когда у нас, в России, все булочники спят на тех лаях, на которых валяют тесто. Хозяин никого не теснит, всех оберегает, и мы все равно жились с ним как в одну семью, и не отделяем своего от его. А перед праздником он войдет к каждому рабочему в его комнату и поздравит его с наступающим праздником. Так вот как. Этого я в России не найду; а вот тянет меня увидеть детей и жену, но уж не знаю, ии их сюда переселить. А только на старое место вернуться мне противно и страшно...

— Так вот как, мои ученые собеседницы, — кончил я этот рассказ им. — Вы возмущаетесь возмущением России, а оно слишком основательно, и вытекает из тоски по культуре и идеалу, о чем, кажется, и вы плачетесь, как о чем-то сокрушающемся, рушащемся. Этот рассказ выборгского булочника не тенденциозен. Но кого он обнимает? Весь народ. Так трудятся, по-свински и в свинстве, по всей России. Падает не идеал, а падает Россия, в огромных частях своих падает, от безыдеальности существования... Что вы мне говорите о Минине и Пожарском, о красивых легендах, слагающихся о новых временах в народе. Этот рассказ булочника для меня гораздо важнее всяких мифов и поэтических грез, ибо последние убаюкивают меня среди мертвечины, а первый воскрешает из мертвых. Я работать хочу... Вся Россия и рванулась к работе, к гигантскому новому созиданию, к перевороту всех условий существования, и прежде всего — условий труда. Но это — только во-первых. Обратите внимание в рассказе булочника на привет, на ласку. Хозяин войдет накануне праздника и поздравит своих рабочих с днем, радостным для него и для них "Sontag"¹!... И не хочет русский, взглянув на это их чухонское житье, возвращаться в Калугу... Тут уже нет в этом поздравлении хозяина ничего утилитарного, никакой чистоплотности

¹"Воскресенье" (нем.).

около испеченного хлеба: это быт и нравы добрых, облагороженных людей. Может ли этому выучить школа? Увы, никогда!.. Не та тема, не та область. Где взять этого благородства, этой деликатности, этой тишины, — и простой доброты без спиритуалистических экстазов? Это их честное, доброе, работнее протестанство... В цивилизации все связано, как в организме, напр., связана форма зубов с длиной кишечного канала, копыта — с рогами, и прочее. Все связано! И никогда, никогда русский поп, кладущий такие хорошие поклоны перед ракою преподобного Серафима Саровского, где тут же положена тарелочка для сбора пятак с мужиков, — никогда этот поп даже и вопроса себе не задал: а как трудится русский работник? Что ест? Что пьет? Во что одевается?.. Не то соотношение, не те вопросы религии — тысячелетние, культурные. Не тысячу ли лет учили они сами, эти попы, что земля — только удел терпения и что в терпении — подвиг, вера, до такой степени, что афонские монахи, светочи Востока, даже вшей с себя не обирают, а причесятся — сочли бы истинным окаянством и гибелью души. Это несколько не анекдот, а простой факт, что истинные труженики веры на Афоне никогда не купаются, не моются, "дабы не соблазниться видом голого тела" (своего-то! каковы сластолюбцы!!), и никогда не меняют раз надетой одежды, пока не придет в ветхость. Сколько поту! Сколько вони! Да, "но тут-то и благоухает святость". На Афон все ходят и с Афона "страннички" по всей России ходят: это академия подвига, веры и идеалов. Так возможен ли выборгский чистоплотный и ласковый хозяин в этой культуре? Не вырасти острому зубу при кишечнике травоядного, а у хищника не вырасти копыту. *Соотносительность* органов правит и цивилизациями. И вот поднялась вся Русь, все в Руси... И тут столько же тоски, слез, как и негодования, гнева. О ваших речах я подумаю, но и вы о моих тоже подумайте...

Так окончилась моя беседа с учеными старогражданками.

ОСЛАБНУВШИЙ ФЕТИШ

"Революция" не получила бы отдельного имени своего и в истории не было бы самого явления, обозначаемого этим именем, если бы то, что мы именуем "историческим прогрессом", "улучшением жизни обществ" и проч., было продуктом исключительно давления разума на жизнь, подчинения действительности "разумным, справедливым и основательным доводам". Я хочу сказать, что в то время как мирная жизнь и улучшения в ней в мирные времена действительно сводятся почти к идейной борьбе программ, к критике и критике, до некоторой степени — к науке и науке, будет ли она именоваться "политической экономией" или "политикою", — эпоха революции смешивает все эти элементы в чрезвычайный хаос, где наука и экономика *есть*, но уже не *господствуют*, где есть и "программы", как верстовые столбы, как адреса на письме: но не они образуют "пафос" революции, который есть и составляет в ней самое главное, без чего она никогда не возникла бы. Все это именно только "адресы", а не самое письмо страстного тона, иногда

мучительного, кровавого смысла, только "верстовые столбы" с надписями, а не самая "путь-дороженька" истории, которая богата, как природа, вьется в лесах и взбегает в горы и, словом, нимало не походит на пятиаршинный столб с дощечкой. В грозе, конечно, есть только то, что раньше было в облаке: пар, воздух, ветер, два вида электричества. Но явление грозы глубоко новое, сравнительно с облаком. Она потрясает. Она очищает воздух. Убивает, оживляет. С нее рисуют картину, о ней пишут стихи, ее боятся, на нее любят. Она есть космическое искусство, в ней есть "душа", "психея" какая-то, какой, конечно, мы не найдем в человеческом существе: но, ведь, для чего же "душу" сливать с "фигуркой маленького человечка с крылышками"?! Она также может быть представлена вот и в форме этих рвущихся клоков тумана, как, впрочем, и в тысяче других фигур или символов, если вообще последние допустимы. И революция такое же явление грозы, с особой в ней "психею": она "сказала свое слово", — и — умерла, когда дело переходит к парламенту и борьбе его групп, переходит от страны к "партиям" и даже только вождям партий; когда логика, разум и наука облекают в порфиру и корону титана и дикаря, который расчистил для них место.

Вот отчего, когда в настоящее время раздаются крики: "Это безумие" или "это было смешно", то это были бы очень мудрые крики в другое время, а сказанные в применении к теперешнему движению в России, — они совершенно бессильны, ничего не определяют и ничего не выражают; ни на кого не действуют. Возможно, что в России никакой "революции" и нет (я этого, однако, не думаю): но если она есть, т. е. есть все ее залого, все накопленные элементы и, словом, она "идет" или "начинается", то именно кульминационные ее моменты будут совершенно лишены всякой мысли, всякого почти логического содержания, и именно они-то и будут самыми благотворными, священными ее частями, которые залягут, как некая "непостижимая и святая евхаристия", в огромное тело последующего государственного строя и свободного развития. Чем более мы их примем, этих "частей", тем глубже переработается государственный и общественный строй, тем менее сохранится от скелета умирающего режима: хотя, будьте уверены, от него сохранится еще страшно много; он, по окончании революции, выплывет почти весь наверх, как тонувший и неутонувший утопленник. Но его оставим в покое, с ним еще будет возиться второе и третье поколение после нас. Мы говорим только о революции. Ближайшие возбудители ее, конечно, суть материальные нужды: голод, рабство, угнетение, в частности — ход и неудачи японской войны. Но все это только "спуск курка" и самое большее — зажигающий пистон. Дело в порохе и его составе. Революция живет не в одном голодном и не в одном обиженном. На обиженного ссылаются, на голодного указывают; самое большее — берут их силы во вспоможение себе. И вот эти люди, которые "берут себе" в помощь или оправдание голод, нужду и рабство, — и суть истинные "духи" революции, ее "гении", больших и малых размеров — это все равно, ибо ведь и лес наполнен не верстовой фигурой одного "лесовика", а и маленькими эльфами, которые составляют фантастику и поэзию леса, и "сказке" не быть бы без них. Настоящие двигатели революции — не один голод черных фабрик, нужда на земле народа, "безобразия", вскрывшиеся в войне. Все это есть, все это движет, все это фундамент. Но все это — не

архитектура. "Архитекторы" революции — совершенно обеспеченные, во всяком случае, достаточно обеспеченные люди, но с "священным безумием" в себе, — испортившие, безнадежно испортившие свою биографию, сломавшие свой быт, семью, вышедшие из своего сословия "фантасты", — ну, вот как кн. Кропоткин, переехавший в Париж, как идеалист Кравчинский, живший в Лондоне, как Дебогорий-Мокриевич, написавший свои удивительные мемуары. Я сказал "изломавшие свою биографию": но ведь уже Мудрейший на земле сказал: "нельзя воскреснуть, не умерев", "ничто не может принести плода, что не похоронило себя в землю". Эти "выскочившие из своей биографии люди" суть в то же время "герои, вошедшие в историю", — о, в ненаписанные, темные ее страницы, которые, может быть, и есть самые священные. Где-нибудь схвачен, расстрелян "карательной командой". Только имя осталось, голый звук; через день и оно пропадает. А сколько, быть может, было здесь энтузиазма, — этот энтузиазм скольких зажег! и вообще, в какое сочетание психологий вплелся. В дни "усмирения мятежа" и закладывались все зерна событий 1907 года, которых, может быть, и не наступило бы, была бы пустыня на их месте, выплыл бы "утопленник" и уже распоряжался действительностью: но "не быть бы счастьем, да несчастье помогло". 1907 год уже получил себе "должность, жалованье и мундир" в этих вот "карательных командах", которые, можно сказать, расправлялись с провиденциальной жестокостью и являли какой-то "пир во время чумы", дабы "пирующие" через год-два увидели настоящую "чуму" у себя в гостях. Как начало и ход японской войны был изумительно провиденциален, минутами волшебен (смерть Витгефта, Рождественский в Цусиме), так этот местами волшебный, фосфористый свет получают и события революции. И она будет также исключительна, нова и чревата последствиями, как эта "вводная" война, собственно лишь "пролог" и толчок к великой внутренней драме России.

Не говоря о революционных движениях 30-го и 48-го годов, которые буквально были "происшествиями" нескольких улиц, даже и великая французская революция была все-таки произведена Парижем и совершилась в Париже. В теперешнем движении России в революцию введены такие массы и пространства, а состав ее элементов и движущих сил до того сложен, как это и не мерцалось ни одной революции. От Женевы, старого гнезда русских революционеров, до Хабаровска — она в каждом, даже уездном, городке и, наконец, прямо местами по селам и деревням: везде у нее свои нити, узелки, гнезда; в одном месте она созревает, в другом назревает, потушена или разгорается: но вообще в том или другом виде — везде *есть*. Поляки, татары, армяне — со своим прошлым, со своими ожиданиями и воспоминаниями, со своей исключительнейшею историей, которая, казалось, никогда не касалась ничего всемирного, — с той или иной стороны, открыто или затаенно, связались с русскою революцией и положили сюда же, в одно место, в сущности, — в руки русских революционеров, свою "ставку". Таким образом, замотался впервые в русской истории моток такой огромности и сложности, такой толщины и разноцветности, что, конечно, его нет никакой возможности отнести на лопате куда-нибудь в сторону и выбросить в нечистое место. Невозможно и залить его из пожарного рукава. Я говорю о надеждах администрации и правительства, об ожиданиях

части прессы. Если она тянется от Хабаровска до Вислы и от одиннадцатилетнего до семидесятилетнего возраста, то, значит, она охватила все, значит, "загорелась" Россия, а не кое-что в России.

Она "не национальна" будто бы. Боже, она "национальна", как лапоть, который всюду носят, или, точнее, как "обувь", которая всем нужна. Если "все" ее делают, "все" от нее ждут, — то как же она не "национальна", и что такое "нация", как не это "все" и "все"?! Нельзя же "национально" в России считать только Грановитую Палату, с боярскими шапками в ней и стрелецкими пищалями, сохраняемыми под стекляннным колпаком; а Россию живую и сушую, нуждающуюся и воображающую, не считать более "нацией".

Говорят: она "мечтательна", "наносна", дело "женевских мудрецов". Она *натуральна* — вот что важно. В ней есть очень много мечты, но ведь и всякий живой человек состоит из действительности и мечты, и всякая живая биография состоит из них же. Но есть мечта подражательная, не своя, усвоенная по эстетическим или каким-нибудь другим соображениям, усвоенная слабоумным от мудрого. То будет мечта вялая, — такая, предаваясь которой мечтатель "обделяет свои делишки" или живет совершенно не "по мечте", а иначе. Огромная доза мечты, вложенная в русскую революцию, есть только показатель силы последней; а что это мечта — *живая*, то это свидетельствуется на каждом шагу кровью и вообще такою страшною действительностью, которая превосходит свою фантастичность всякую сказку.

* * *

Я несколько отвлекся в сторону от прямой темы, о которой хотел говорить. Мне нужно было предварительно настоять, что революция не есть *борьба программ, а движение стихий*, в котором каменная нужда и эфирнейшее воображение, сплетаясь в непостижимый узор, играют не меньше роли, чем определенные политические партии. Вот почему именно в революционное время нужно с величайшей осторожностью судить о борющихся между собою группах, ибо каждая из них, или, точнее, отдельные лица, в нее вошедшие, движутся вовсе не только одною программю, которую они выставляют и защищают, которую они руководствуются, но и множеством еще других несознаваемых, темных мотивов, страстей, чувств, воображения и проч. Революция не имела бы полноты в себе и даже ее вовсе не было бы, если бы в ней отсутствовали, как могучие двигатели, эти иррациональные элементы. Ведь и в грозу электричество входит невидимую частью: между тем оно-то все и делает в видимых частях, приводит их в движение, разрушает, сотворяет.

С этой более психологической, чем политической стороны мне хочется провести защиту одной группы в нашей революции, которая не имеет никаких шансов на политический успех и о которой говорят с улыбкою более "солидные" партии, изготовившиеся играть роль и, вероятно, имеющие действительно ее играть. Партия, о которой я буду говорить, не играет сейчас никакой роли, или — ничтожную, и к ней едва ли принадлежит много людей за тридцать лет, большинство же ее состоит, говоря языком духовных лиц, из "отроков и отроковиц", не достигших и двадцати лет или чуть-чуть перешедших за этот возраст. Мне даже

неловко, в моем солидном возрасте и при солидном положении, называть эту партию, и я прошу всего снисхождения у читателя, ибо приготавлиюсь говорить совершенно серьезно.

Я говорю о русских республиканцах и этой программе действий, пожеланий, мечтаний и пр. и пр., сущность которых (людей) и которой (программы) заключается в том, что они всякий разговор начинают с требования республики, прерывают разговор, если собеседник на нее не согласен, и (главное) все свои слова, аргументы, пафос и ум, как и определенные требования, располагают в таком порядке и в таком духе, как если бы республика была уже *налицо* или мы все с *завтрашнего дня* начали жить в республике. В этом и главное: что они уже теперь действуют и говорят, стремятся и ненавидят, восторгаются или обвиняют, живя *мысленно и сердцем в какой-то невидимой республике*, которой физических очертаний нет, а между тем эта "невидимая духовная республика" решительно заставляет себя чувствовать на каждом шагу, — чувствовать удары свои, защищаться от нападений ее. Истинные палатины невидимого Града, каких было много в средние века. Помните у Пушкина стих о "бедном рыцаре"; только эти рыцари наших дней — не бледные, без синевы под глазами, напротив — краснощекие, большие, рослые, но тоже с этой неуклюжестью движений и манер, какая специальна в возрасте между 17 и 21 годами. Ну и, конечно, — мечтательность, не уступающая средневековой, только не о "Прекрасной Даме", "Sancta Virgo", а вот об этом грядущем братстве юных работников и работниц, учеников и учениц, слушающих тоже юных, по крайней мере душою, наставников и наставниц. Мне думается, самая "республика" у них мечтается не в тяжеловесных формах реального республиканского строя, напр. Франшии или Соединенных Штатов, с этими разными департаментами и штатами, судом и судебными следователями, налогами и прочею "гадостью", а в виде какого-то зеленого и нестареющего пансиона, или русского "интеллигентного поселка", раскинувшегося от Амура до Вислы, где податей не берут, в тюрьмы никого не сажают, начальства нет или оно есть в такой легкой форме, что даже приятно, и где с чрезвычайной охотой люди работают и работают, учатся и учатся — только учатся и только работают. Что-то вроде кухни, где стряпают "молодые господа", усадив рядом с собою кухарку, и что-то вроде пансиона во время рекреации, когда наставники оставили свою официальность и попросту говорят о той же науке, как и на уроках, но уже без строгости и взыскательности, без сухости и ответственности, и возбуждают теперь не злону и отчуждение, а восторг и благоговение учеников и к науке и к себе. Да не услышит кто-нибудь в словах моих иронического тона или желания умалить явление и осмеять "группу": а что такое представляют себе бородатые мужики, да и седовласые члены Государственного Совета, равно митрополит Филарет или "Московские Ведомости" и "Гражданин", когда они говорят и говорили о "священной особе монарха", о великой идее "монархизма в истории"? Тот же самый туман и даль, и голубое небо, — шелестящие мантии Константина Великого и Карла Великого, — Фридрих Барбарусса, сидящий (по легендам) где-то в каменном зале, опершись в задумчивости на стол, а борода его обвилась вокруг стола, — и милость, и величие, и помазание свыше, и белый голубок, откуда-то вылетающий при каждом короновании

и "реюший крылышками в воздухе". Известны "народные" картины, выпущенные после кончины Александра III, где Государь этот, в порфире и короне, был уносим в небо "буквальными" ангелами, с крыльями и белыми: они в сиянии, и он в сиянии. Легенды и мифы. И отчего же студентам, студентам, гимназистам и гимназисткам тоже не слагать мифов о своей "республике", когда даже о сущей и наглядной, очевидной и реальной монархии никто, однако, не формулирует, что "монарх" "ездит на парады", а формулируют: "Печется о подданных", не говорят: "Имели любовниц и любовниц", не сказывают, что это — хорошие казематы, и десятка 2—3 или сотни 2—3, смотря по году, удавленных и застреленных. Кстати, о терминологии: зачем это суд говорит: "Приговаривается (такой-то) к повешению" или "расстрелянию". "Вешается" сюртук на вешалку, а во время учения солдат они "расстреливают" патроны: вещи невинные! И потому-то эта невинная терминология и не заставляет краснеть ту бумагу, на которой она пишется на суде. Но злые мальчишки и живодеи в живодеях говорят: "Мы застрелили собаку", "мы удавили кошку", и вообще тут суть не в повешении, что применимо лишь к неодушевленному предмету, а в *удавливании*, *удушении*, каковой термин единственно имеет право быть выговоренным судьями на суде и записан в официальную бумагу. "Суд постановил *удавить* такого-то", "постановил *застрелить* десять матросов, виновных" в том-то и том-то: тогда определение "суда, как живодеи", так сказать, обонялось бы носом, слушалось бы физиологически ухом. А то оно теперь благоухает какими-то крадеными духами: "милость" и "справедливость" и "Бог над всеми". Итак, Грингмут и Иловайский, произнося слово "монархия", не рисуют себе, и чистосердечно не рисуют, — "удавленники", "застреленные", "раскраденная казна", "награжденные за службу воры": и республиканцы тоже не рисуют себе департаментов, прокуроров, налогов и "обязанностей службы", хотя все это, по прискорбию, должно быть, и в республике будет. Голубое — там, голубое — и здесь, и притом позволительное голубое, нисколько не юношеское, а текущее из вековых черт человеческой души. Республиканцы представляют себе и имеют зрелое право представить достигнутое братство, полное равенство, наконец-то осуществленную справедливость, где работают все, кроме стариков, младенцев, малых и больных, и работают сильно, грубо, — а в заключение веселятся, и веселятся тоже дружно, громко, заразительно, с таким расцветом в душе, точно и на деревьях хоть среди зимы вдруг распустились цветочки и появились яблоки. Если право на "шестел мантии Карла Великого" — там, то и здесь — право на "яблоки среди зимы", уж извините. Природа вечна. Ни капли уступки. И республиканцы имеют право доказывать, кричать и агитировать, а пуще всего сами верить, что "при республиканском строе яблони будут расцветать раз в мае, во второй раз в сентябре и третий раз в декабре" и что "дети их будут прямо выбегать на улицы и рвать плоды с веток в январе, а кругом — цветочки". Ни одной капли меньше, если перед Петропавловской крепостью, что "вот видна из окна", говорилось, говорится, печаталось и доказывалось, что "сердце царево в руке Божией" и что вот мы "имеем Давида", который почти сам слагает псалмы. Позволительно — Филарету, позволительно — и гимназистам.

Я уже заговорил о великих стихиях воображения и чувства, которые введены в революцию. Но и еще: революционное состояние есть вообще такое, когда люди более становятся "похожи на себя", чем в обыкновенное время, возвращаются к себе, в психологическое "домой", теряя условность, сдержанность и искусственность, теряя ту небольшую долю лжи, с которою живут во всякое неревлюционное время. И вот тут я и хочу указать на особенное оправдание, какое есть у наших "республиканцев", так безнадежных в смысле "программы" и будущей "политической роли".

* * *

Ослабел великий фетиш!! — Ослабел не по моему усилию, положим; вот такого-то республиканца Кузнецова, но гораздо *раньше* Кузнецова и *вокруг* Кузнецова, и Кузнецов это только воспринял и подчинился *мировому давлению*, как гимназист шестого класса подчиняется "мировому давлению алгебры", начиная решать квадратные уравнения с двумя неизвестными. Мне кажется, это давно нужно понять суду, судьям, понять это следует даже серьезным и спокойным монархистам, чиновникам, министрам "и даже далее", что "колебание уровня монархии и монархизма" есть вовсе *не личное явление*, не факт *биографии*, положим *моей*, а такое же последствие мировых исторических причин, как вот, напр., в географии поднятие дна Балтийского моря, или высыхание среднеазиатских озер, что зависит вовсе не от воли финских и туркменских рыбаков, живущих по берегам этих морей и озер, а от малоизвестных и частью вовсе не известных геологических и планетных причин. *Ослаб великий фетиш!* Сущность "распространяющихся республиканских идей" или "всех этих бродячих фантазий" заключается в том коренном и все более распространяющемся явлении, что, положим, гимназист, студент, учитель, учительница, профессор, ученый, писатель, "а под конец дней и крестьянин", при словах: "государь", "монарх", "царская особа" — просто ничего особенного не чувствуют. Есть икона, в ризе, в сиянии; перед нею горит лампада; или есть "темный лик" в углу, совсем без киота, и тоже с горящею перед ним лампадою, "дарение бабушки", на которую "молилась матушка": и вот я, взглядывая на нее, тоже что-то чувствую, волнуясь, во всяком случае ничего-ничего худого, и даже ничего обыкновенного, светского мне не приходит на ум, когда я на эту икону смотрю! Я русский, и уже это у нас, русских, 1000 лет. Но лютеранин, "хоть убей его", ничего этого не чувствует: и для него моя "икона" представляет такую сумму дерева, красок и металла, что мне, привычному православному, больно и повторить его определение "моей иконы"... Грустное расхождение, но невольное. Я остаюсь и останусь при своем, но настолько образован, что не могу же не понять, и тоже всеми силами моей души, что лютеранину войти в мою психологию и согласиться с моим определением "иконы" никак невозможно, и я от него не стану требовать, даже не желаю, чтобы он повторял мои слова, ибо это будет ложь, а мне Бог указал во всяком человеке хотеть только его правды. Дело в том, что в происхождении "монархических идей", даже у нас, русских, — Фридрих Барбарусса "с бородою, обвинившейся вокруг стола" действительно играет огромную роль; а у народа — "Петр

Великий и как его чудесно спас Господь, когда три разбойника уже забрались в избу, где он спал в ту ночь” (книжка, мною читанная в детстве). Я хочу сказать, что “сущность монархизма” лежит не в *программном оправдании* его, не в “доказательной” его сущности, а вот в таких же иррациональных стихиях, как и выдвинувшиеся сейчас в революции, но стихиях только — *обратных, иначе* окрашенных, но также *сплошь сотканных из воображения и чувства*, и вообще из того исторического “электричества”, которое, будучи невидимо, движет всем видимым. Это именно шестелст величественных мантий, так туманящих взор, так ласкающих световую сетину нашего глаза, что не нужно и не хочется даже разглядеть, кто одет в них. Позолота и краски, пурпур и голубое, и “слава в вышних Богу, на земле мир и благоволение”. Икона, великая икона, — вот что, в сущности, и монарх! “Основные статьи” нашего Свода законов есть пустяки сравнительно с этим: там просто грамотей нашел нужные слова, чтобы выразить это великое, в веках накопившееся, — чувство веков и миллионов народа к иконе-царю. Оттого не потерпели русские и Шуйского, “не царской крови”, расстались равнодушно с мудрым и благодетельным Годуновым, тоже “не царского рода”, вынеся почти с любовью на плечах своих и Грозного, и Петра, и Павла I (на которого от русских ни от кого я не слышал негодования), просто оттого, что эти — “царского рода”, “царской крови” и, словом, в какой-то таинственной связи с Барбаруссою, и с Константином Великим, и с пророком Давидом, который был “тоже царь, и об этом напечатано в *Святцах*”. Туман и мифы, и дальние зори истории, первые зори человечества. Недаром уже Цезарь и Август производили себя от Энея, “родоначальника основателей Рима”, а все средневековые цари потом производили себя то от Энея же, а чаще от Александра Македонского, которого в то время считали чем-то средним между магом, богом и великаном¹. На этом основана замечательная тенденция, *лично* чрезвычайно тягостная, наконец, вредная в *кровном* именно отношении: избегание и даже полное недопущение браков принцев с лицами *не* царских домов, т. е. исключение любви и счастья из семьи, готовность — от размножения все в одном и том же ограниченном круге семей — к обеднению крови, ее вялости и вообще перерождению со всеми ужасными последствиями этого. Но нельзя инкрустировать дощечку из свежей березы в икону “Ярославовой давности”: дух ее, аромат ее, весь ее молитвенный смысл и великое притяжение для народов пропадет, — “умрет великий фетиш”!.. Что за “иконопочитание”, когда взято из новой березки — из лесочка, откуда “все мы”. Читатель из этой тенденции к *несмешиванию* кровей видит, до чего монархизм — не программа и не “оправдание из действий”, но именно и только — фетиш, во всей его мифологической обстановке! Отсюда же верование, настоящие, “святое упование” о царстве “Божиею милостью” и что “Дух Св. помазал меня”: с положительным отворачиванием к царению “волею народа”, к царю — “избраннику народному” (Наполеон III, Наполеон I): такой для монархиста более отвратителен, чем республиканец или коммунар. “Обезьяна, ты тоже похожа на человека — от-

¹ Уже после Р. X. чеканились монеты с портретом Александра Македонского: такие монеты вешались на шею, в качестве *талисмана*, как у нас сейчас — крест.

вратительнейшее из животных!” Здесь (в монархе и монархистах) — не эгоизм, не стремление к искусственному и “не своему” величию: напротив — именно к *своему*, особому, пусть и мечтаемому, но строго выдержанному в смысле и стиле. Икона как бы говорит, в меру своего ощущения иконности: “Не вливайте в лампадку масла торгового — купеческого, а пусть оно будет заготовлено руками иерусалимских монашек, которые сорвали маслины с Сионской горы. И пусть будет все чисто, свято, бескорыстно: ведь народ *молится!* какой же тут *торг?*?”

Вот отчего *выборная* монархия и вообще в каком бы ни было отношении “*утилитарная*”, “*доказательная*” и, словом, “*мотивированная*” — есть уже несколько не монархия, а гнусный разбитый и искривленный ее образ, и такой всегда “не долго жить”. *Выборные* “*reges*”¹ Рима, как таковые же “*базилевсы*” греческих городков, исчезли на самой заре истории; как не удержались нигде цари “*избранием народа*” (“*тираны*” греческих историков). А “*сыны Неба*” в Китае и Японии, как и “*цари царей*” Персии — не умирают, не умерли. Древние иконы, они все источены червями и почти ничего от них не осталось, — так чуть-чуть позолоты и остаток черных красок, дерево же все изрушилось; но их *не поправляли*, ничего не произошло из сосенки, из бора, никто их не передвигает из “*святого переднего угла*”, и они стоят себе, стоят... Известно, что Богдыхан никто никогда не видит, что, когда проезжает улицу Микадо, всякий дерзнувший посмотреть на него из окна — умирает (казнится). Вот это — фетиш, доросший до полноты своей, обдуманый в мерах сбережения. “*Диоклетиан никогда не показывался народу; только редкий-редкий римлянин допускался к нему, — и тогда он с трепетом входил в длинный полуосвещенный покой, где вдали сидел на троне император со священной белою повязкою на голове: пришедший падал ниц*”... Но слишком поздно Диоклетиан уже взялся за это. Ромул все воевал, Тарквиний Гордый воевал же, предшественники и преемники Диоклетиана воевали же: все видели, что это *воин*, не более трех аршин ростом, что он *устаёт, ест, жаждет*, что это вообще не “*миф*” и не “*Александр Македонский*”, от взгляда на которого проходит безвредно укус змеи. И против него и таких восставали и их низвергали... *Монархии* в Риме в сущности никогда не образовалось, монархия может быть только *наследственной* (“*своя кровь*”, далекая параллель “*непорочному зачатию*” Марии-Девы у католиков) и ее вовсе нет, когда она *выборна*...

Таким образом, самое существо монархии и монархизма питается *соответственной почвою* фетишистических чувств и представлений, еще живущих в народе и отраженно передающихся особе царя.

“*Икона сама верит в себя*”, когда на нее “*все молятся*”... но это именно эпоха, культура, вовсе не вечная, хоть, может быть, очень поэтичная и даже (в соответствии со *своею культурою* и для *этой культуры*) целебная, освещающая, объединяющая, питающая. “*Икона живет народом*” (“*иконопочитанием*”) и нельзя отрицать, что “*народ тоже живет иконою*”, исцеляется, здоровеет, становится нравственнее “*от молитвы*”! Но все это... проходит. Проходит — как высыхают озера

¹ цари (*лат.*).

в Средней Азии. От *кого* проходит? *Не* от Ивана, *не* от Петра, а от *мировых причин*. Император Николай I (приходилось мне читать), проезжая по Моховой улице мимо Московского университета, делался угрюм и, указывая на здание, говорил: "Вот волчья нора". Великий и верный инстинкт. Что делать, не будем лгать и скажем ту простую и очевидную истину, что с поднятием уровня науки обесцвечиваются вообще все фетишистические чувства, пересыхает почва, питавшая монархизм, и он рационализируется, ищет мотивов себе, "доказывается" и вообще сходит к тому смертельно враждебному себе мотиву, что он "угоден и народу", "желателен народу" и, словом, "suffrage universel"¹, выбравший и Наполеона III: только не впереди ожидаемый, а отнесенный назад и воображаемый, но все-таки "suffrage universel", "волею народа", а это — конец всего и существо скверной обезьяны. Славянофилы, твердившие, что Михаил Феодорович "избран народом", действовали, как и французы-бонапартисты, кричавшие в 51-м году: "А что скажет *народ*? пусть *народ* скажет". Оба забыли, что в этом "голесе народа" уже ничего вековечного нет, ибо если мужики в 1613 г. сказали что-то, то что это значит для меня, живущего в 1906 г.? Я сам "мужик", и говорю совсем другое.

Оставим споры с очевидным вздором. Проходят мифологические эпохи, явилась точная математика. Реклю и Риттер написали географию уже без гигантов "за горизонтом", Моммзен, Курциус и Гретц рассказали, что "сам" Александр Македонский был тоже трех аршин ростом, болел болезнями и любил красивых персиянок, как и Давид тоже не только пел псалмы и имел совсем другую фигуру, чем как нарисовано на заглавном листке "Псалтыри" (в зубчатой короне и с арфою). Все свелось к *трезвой действительности*, и умерла мечта, может быть поэтическая, но невоскресимая, неоживимая... Кроме возникновения точной науки, исчезновения мифов и "очарования", без которого нет "иконопочклонения", указываемому ослаблению помогло еще то, что вообще возникло чрезвычайно много *занимательных областей интереса, и внимания, и восхищения* помимо единственно представлявших в этом отношении "сюжет" дворцов и монархов. Нужно взять во внимание старинный разрозненный и уединенный образ жизни, когда "миф" был дорогим гостем, рассказывавшим новости, миф и легенда, слухи, разговоры, которые все ползли к самой яркой точке в стране — дворцу, и к самой высокой горе в ней — царю. Не было "истории народов", а была "история царствований", от Тацита и Светония до Карамзина и Соловьева. Быть "русским" и "любить свое отечество" значило то-то и то-то, но особенно это значило в "красном углу" своей души носить образ царя, линию царей, от Алексея Михайловича до "теперь", и все это — благословлять, чтить, воображать об этом, размышлять об этом и, словом, так или иначе, поэтически и философски — *жить* этим. "Святые угодники" и "цари", "церковь" и "дворец", в неясном слиянии, в неясном разделении составляли праздничное, лучшее, священное русской души. Но с тех пор появились романы, опера, железные дороги, биржа, занимательнейшие открытия науки, раскопки в Вавилоне и Фивах, и, словом,

¹ всеобщее избирательное право (*фр.*).

такие достопримечательности и занимательности, перед которыми рассказ о том, "как чудесным образом Петр Великий спасся от трех разбойников" — ужасно померк в интересе, как и новейшие рассказы "о том, о сем в коридорах Зимнего дворца". Пикантное здесь — потеряло вкус; поэтического, может быть, и никогда не было, были "рассказы"; и, словом, дворец и всякие дворцы стали уходить фундаментом и стенами в землю, как только из земли начали выходить лаборатории, академии, клубы, биржи, театры, базар, вся суэта, вся цивилизация, новая цивилизация. Так же, как папство, тоже "священное" и много сделавшее для цивилизации, монархизм есть существенным образом сотворение эпох темных — не в порицательном смысле, а вот в том смысле наивности, доверчивости, однотонности души человеческой, однотонности деятельности человеческой. Были сумерки — были монархии: рассвело — и они стали таять, сводиться к обыкновенным размерам, "удобному и неудобному", "выгодному и невыгодному" нам, народу — в котором и полагается *центр тяжести*: а это уже республика, "народовластие", пусть и "духовная республика", около которой монархия является только обезьяной, с потерей "священного" своего, аромата своего (Наполеон III, воображаемое "suffrage universel" славянофилов).

* * *

Я заметил, что одною из могущественных стихий революции является *возврат к естественности*, почти физический, почти как физическое движение. "Хочется потянуться". "Хочется вытянуться". Сапоги жмут, сюртук теснит. Одною из поэтичнейших сторон революции, напр. первой французской, является то, что люди стали жить *на улице почти как дома*, проще говорить, откровеннее беседовать, кричать, махать руками и проч., и проч., и проч. Это безусловно так: искусственность ослабляется, откровенность нарастает, все становятся более "сами собою", чем были еще вчера, накануне революции. В революции есть многое подобное священному еврейскому "юбилейному году", когда жатва не жались, фрукты не снимались с дерев, все оставлялось "бедным и всем" (я только не понимаю, как в этот год жили остальные евреи?) и, словом, "все прощалось" и "все извинялись", судьи и казнь очевидно не действовали, и цивилизация, как некоторая крепость узды на человеке, — ослаблялась. Что это было в мудром законодательстве Моисея, предчувствие ли "золотого века" или вечное помятение и предтеча "Мешеаха" (Мессии)? Не понимаю! Но революции в Европе вот играют приблизительно такую же роль периодически жаждущего и неистребимо нужного всеобщего ослабления "уз и условности", "тягостей" цивилизации, где мы все немножко лжем и делаем не совсем то, что нам хочется: делаем и томимся, и всем нам скучно, и все мы ждем великого часа революции, когда говорим: "Теперь все по-новому, отсюда — все новое".

Наиболее юная часть революционеров, самая незрелая, "беспрограммная" (в смысле успеха), но вместе с тем наиболее глубокая психологически (ибо самая правдивая) и сказала громко то, что в сущности мы все, образованное общество, чувствуем и что и составляет настоящую причину революции. Последней бы не было, как бы велики ни были

бедствия японской войны и всевозможные казнокрадства, с нею раскрывшиеся: *это* ли еще переживали народы?! Где-то какая-то далекая война: в России, здесь мы и не видали ни одного японца; и, очевидно, никакого нашествия нам не грозило. Но уже давно, уже десятилетия ослаб великий фетиш. Почти весь XIX век прошел в борьбе с этим фетишем. Наступило то в политике, что в отношении папства и католичества наступило с реформациею, и от столь же общих, сложных, и не только теперь для политиков, но и в будущем для историков неисследимых или мало исследимых причин. Реформацию, конечно, вел не Лютер, а он шел за реформациею, был только самою яркою фигурою в громадном движении, уносившем его; и только от того, что она случайно получила имя от него ("Лютер", "лютеранство") — имя это так осталось, и фигура немилосердно преувеличена историками. Лютер без взволнованного народа за спиною его, взволнованного еще задолго до него, был бы просто ничтожным монахом, сожженным "без разговоров". Возвращаюсь к нашему положению. "Ослаб великий фетиш"! Кончилось политическое "иконопочитание", — кончилось не у нас одних, кончилось по всей Европе, но у нас в данную минуту получившее специальные мотивы громче, чем где бы то ни было, высказаться. И высказалось. Вот — революция. Вот — душа ее. Она в душе каждого из нас, в "партии правого порядка", "17 октября", даже у членов "Русского Собрания" на Троицкой, — просто у всех, кончивших курс в университете, ездящих в оперу и знающих, что такое астрономия. Члены "Русского Собрания" злобны, дики, капризны, ибо они не менее кого бы то ни было знают, что "все пропало" в этом отношении, что злобою и силою никого не удержишь, а очарования, волшебства и сказки ни в ком уже не живет, не живет ее и в груди Б. Никольского и Ник. Соколова. А в сказке-то все и дело, в очаровании и заключалась неприступная стена, окружавшая монархизм, через которую не были сильны переступить сильные и подкопаться под нее хитрые. В том и сущность очарования, веры, восторга, что с ними несоизмерима уж ловкость, что никакая сила не сильнее того, что "мило" и "просто нравится". Не забуду (кажется, в 1881 г.) выставки в Москве, кажется, французской. Я уже выходил из нее, как был привлечен не то криком, не то писком какого-то одного коротенького слова. Оглянулся. И вижу купчиха, лет 40—35, согнувшись в прямой угол и держа (очевидно, сынишку) лет 8—10 за плечи и указывая перстом куда-то вдаль, захлебываясь, говорила:

— Вон он! Вон он! Вон он!

Итак целые строки: "Вон он!" Лицо красное, улыбающееся, восторженное. Через 25 лет помню.

— Да кто *он*? — спросил я окружающих.

— Великий князь Алексей Александрович проходит, вон — далеко, в сером военном пальто, полная фигура.

Я надел шапку и пошел. Еще царя бы посмотрел, а великий князь — "ничего особенного". "Ничего особенного" — в этом все и дело! И для членов "Русского Собрания" — "ничего особенного"; и из них никто не будет целую страницу кричать "вон он", захлебываясь, с упоением, и рассказывать с упоением домашним, что вот "видел", и, засыпая ночью, грезить о "сером пальто и полной фигуре". А в этом все и дело. Ту толстую купчиху в Москве я почитаю, как бы свою тетеньку,

и почитаю ее великую правду, и ни в чем ей не позволю себе перечить, как не позволил бы и ей перечить, если бы она остановила другую правду и естественность, когда гимназист VIII класса говорит гимназистке VI:

— Знаешь, Маня, когда устроится республика и все такое, вишни будут расцветать уже не в мае, а в октябре, и потом еще раз в феврале. Самый климат изменится. Мы все изменим. Наука... и проч.

Умер один фетиш, зародился другой. Зародился он оттого именно — и, непременно, невольно, — что другим, вынесенным из сердца, фетишем оставлено было место пустым, а "природа не терпит пустоты", как уже приметили древние. Как только не стало рваться, самовольно, восторженно — "вон он" на целую страницу при виде серого пальто, так стали повторять ровно в целую страницу "вон она" касательно никем еще не виденной и всеми призываемой республики. И те же мифы — но отнесенные *вперед*, как прежние мифы, — были отнесены *назад*. Человек решительно не может удовлетвориться реальностью, никакой человек и ни в какое время. Все живут или воспоминаниями, или надеждами; сущность монархизма, что он жил воспоминаниями "об Александре Македонском". "От него все родились и все пошло". Сущность монархии, я говорю, — в *воспоминательной* способности человека, в очаровании *бывшим*, при слабой вере и даже слабым интересе к будущему. По этой господствующей способности в "монархическом устройении" последнюю вообще можно определить как фазу политического строя, соответственную *старости*, — и более всего ее удовлетворяющую. Недаром с представлением "король" всегда связывается образ "седоволосого старца", уже медлительного в движениях и который не торопится в думах. Невозможно того отрицать, что в целой Западной Европе и во всей европейской истории, начиная от рыцарей, и еще задолго до рыцарей, собственно начиная от монастырей и первого монашества, все "юное и деятельное" было, как говорят в театре, на "второстепенных ролях", и до первых ролей юность не допускалась: не допускался даже возмужалый бодрый возраст, но именно все были "брады" и "власа", в первосвященниках, министрах, королях, советниках и проч., и проч. Ведь Олимпийских игр нигде не было: юного, отроческого лица — ни одного на иконостасе. То же и в верхнем ярусе политики и вообще цивилизации. Юность шалила на кухне и имела существенно кухонное положение и (до XX века) кухонное воспитание. Как поздно пришел Песталоцци! а о дворянстве средних веков я читал, что там неприлично было, вообще было не принято обращать какое-нибудь внимание на сыновей, на детей, их учение и воспитание, даже их болезни и хотя бы целый, не искалеченный вид. Так ведь и рос Бертран-дю-Гесклен. Ему ломали голову, и он ломал головы. Но до "разговоров" их не допускали; "разговоры" вели и "священнодействия" совершали старцы и старицы; и вся цивилизация была и за все 1500 лет совершалась *старообразно*. Т. е. *воспоминательную*, т. е. *монархическую*. С XVIII века "мальчишки", частью как выпоротый Вольтер, частью как "где-то гулявший" Руссо, побежали в верхние этажи, зашумели, наскандалили и, словом, вступили в самый неотвязчивый "разговор" со старцами, и тем пришлось отвечать, — и вообще начался диалог и диалоги, после чего история быстро получила более юный вид, юный и *надеющийся* (основная движущая психическая способ-

ность) и отсюда, естественно, уже *республиканский*. Республика — это молодость человечества, монархия — это старость. Вот и все. Вот это — главное. Старость и некоторая "грусть по прошлому", и "бабушкины сказки", и "вовремя на постельку", — устали кости за день сидеть, не то что делать. Монархия — это бездеятельность, всегда была и всегда будет (кроме исключений, Фридрих Великий, Петр Великий). Но все органическое — не арифметика, всегда "с исключениями" при "правиле", как это даже и в *организме* языка. И в республике может быть лень, — когда она *склоняется к старости* и перерождается в монархию. Но как "правило" — республика есть юность и труд, надежды и поэзия, совершенно иного, не "воспоминательного" и грустного колорита, а бодрого и веселящегося. Собственно, нельзя того скрыть, что революция почти вся делается молодежью, делается и в поэтической, и даже в физической ее части, — и ее можно определить просто в двух словах:

— Молодость пришла.

И я не понимаю, что на это можно возразить старцам, судьям и судам, министрам и управлению. Просто это факт, что стали они тонуть, они и все под ними, как теперь пересыхают Аральское и Каспийское моря, и "уж так планета устроена", о чем можно спросить и у ученых...

ОТЧЕГО ЛЕВЫЕ ПОБЕЖДАЮТ ЦЕНТР И ПРАВЫХ?

Т. е. еще не побеждают, но явно идут к победе!? Под центром, как это, очевидно, сделалось сразу, я разумею и "кадетов".

У правых и центра — образование, ум, общественное положение, ораторские таланты, богатство и влияние. У левых?.. Ну, *ум* есть, но еще, кроме этого, ничего! Сума за плечами или вроде этого. "Талантами" умственными они, во всяком случае, не превосходят "кадетов". Сравнить только Петражицкого или Ковалевского с кем бы то ни было из левых: они все вместе, и с родителями, и с детьми, не прочитали столько, не знают столько, сколько эти два.

Но почему же левые побеждают? Я думаю, вся Россия спрашивает об этом. Нет теперь более интересного вопроса, чем этот.

Побеждают они, как христианство — древний Рим: у Рима было богатство, сила, знатность; легионы и Гораций; куртизанки и изящество; в катакомбах толпились бедняки. И они победили.

Как это ни грустно сказать, но нельзя скрыть от себя, что победившее из катакомб христианство уже все сказало миру, что могло, — теперь, повторяя древние слова, не имеет прибавить к ним нового слова. Увы! — бедные все бедны, голодные все голодны, больные умирают. И на эти вечные раны человечества, которые так же болят, как и *до Р. Х.*, христианство ничем не ответило и никак не разъяснило их. Даже древнее объяснение было как-то лучше: ну, "змей соблазнил", и люди пали. Наивно или загадочно, но все-таки — что-нибудь. Теперь

— *ничего!* Болеют, умирают, голодны, сидят по тюрьмам. И тюрьмы не раскрываются, голод так же томителен, чахотка, рак делают свое дело. В пылком рвении священники и епископы, как Антоний Вольнский и прот. Буткевич в Государственном Совете, высказались и за казни, и за тюрьмы. Не скажем об этом, что "жестоко", а скажем, что скучно и ново. "Новых"-то "слов" и не оказалось — это главное: новых слов о старых болезнях.

Все, что сказало христианство о ранах человечества, знал уже Диоген-циник. До него все стремились к богатству, власти, внешнему положению, а он "сказал":

— Не надо ничего!

И в самом деле: сколько ни приобретаешь, — останется еще больше неприобренного. И будешь жаловаться, будешь мучиться, завидовать. Диоген "уморил червячка" — и разрешил проблему. Он сказал, что единственное средство достигнуть всего в линии "благоприобретения", это — *отказаться* от всего. И быть счастливым. Тут есть краешек буддизма, но не унылого, а смеющегося.

Христиане, в ответ на скорби и муки человечества, на раны его, ответили:

— Претерпи!

— "Претерпи тюрьму", "претерпи болезни, смерть, голод, несправедливости". — "Претерпи и не ропщи". С ропотом всякая заслуга терялась.

Послушались и 2000 лет сидели, голодали, болели, умирали, повинивались, не роптали, даже и не догадываясь спросить себя: "Какая разница сидеть в тюрьме, зная, что "надо терпеть", и не зная, что "надо терпеть"?" Разницы никакой. Суть в том, что сидишь. Суть голода в том, что голоден, а не в том, что это "за грехи" или еще за "что-то". Суть чахотки в том, что она — *чахотка*. И вообще суть — в *сущи*, а не в прическе. "Причесаться" можно во всяком положении. Причесывают покойников, причесывают безнадежно болящих. И христианство только "причесывало" человека, а наг, голоден, в гнойных чирьях он так же остался, совершенно так же, как и до христианства. Одни "утешения" и ничего существенного...

Дело приняло совсем неприличный вид, когда "терпящие" заметили, до чего советующие им "терпение" сами взыскательны и тщеславны. Иллюзия продолжалась до первого опыта. Известно, как итальянский патриций Колонна дал папе Урбану VIII пощечину. Ну, что бы перенести "по примеру Христа". Нет, папа умер от оскорбления и унижения. Весь мир рассмеялся:

— Почему же я должен "терпеть" голод?

— Я — тюрьму?

— Я — поедающую меня болезнь?

— Почему мы все обязаны "терпеть"? "по примеру Христа и мучеников", когда всеобщий учитель наш не вынес тумака по голове, что мы, можно сказать, переносим ежедневно и даже не помним обиды, — такая малость! Нет, голод — не то, что тумак. Папа не отведал этого. Да и в катакомбах все-таки были сыты. Мы и наши дети и все наше море, весь океан людской, кроме немногих избранных, и сегодня, и вчера, и завтра вечно были и останемся голодны, в язвах, в томлении, в раз-

вороте, в том развороте, который нам служит вместо опиума. Вы не терпите, и мы *не хотим более терпеть!*

Обруч христианства лопнул. Лопнул, — и рассыпалась бочка; и посыпались из нее человечки, голодные, больные, язвенные, во *внехристианство*. Не в *отрицание* его, а просто в некий внешний круг, не имеющий с ним ничего общего.

* * *

Стал человек искать *существенностей*, а не "куафюры": не как "утешиться" в болезни, а как *вылечить* болезнь; не какую "присказку" взять десертом к пустым щам, а как сделать, чтобы в щи опустить кусок говядины. Задачи не поэтические, сухие и скучные. Задачи, которых "отцы духовные" избегали, имея сами, кто не отказывался, отличные щи, а кто отказывался, — то сам и добровольно, один и для себя, т. е. имея достаточно и настоящего десерта духовного. Родилась наука, как забота и размышление, как скука и проза. Поучения ее вышли гораздо длиннее всяких проповедей; но тогда как от самых длинных проповедей все-таки ничего не получалось и никто не получал в рот ни крошечки хлеба при самом тощем желудке, наука в каждом шаге, с каждой минутою рождала и рождала зерна хлеба голодному в котомку. Как сеять, как работать, как, заработавши, поделиться, как взять в помощь рукам воду, пар, воздух, электричество, — обо всем стала думать наука, "бессердечная", сухая, прозаическая. И все человечество увидело, что тут содержится столько добра, доброты, любви — и настоящей — к ближнему, сколько в длинных проповедях вовсе не содержалось. И такие простые все эти ученые, — "как мы же": за тумачами тоже не гонятся. И голодают, и в тюрьмах сидят. "Совсем как мы". И полюбило их человечество (а долго гнало). Выросла наука — совершенно новое дело, новый способ отношения к миру, к людям: взглянуть с лица, — сухо, черство, "ни до кого дела нет", отвлеченно, алгебра. А зайди с заднего крыльца, — претеплая обитель, и сидят там добрые, внимательные люди. Совсем обратно раззолоченным храмам, где с лица золотые слова, заботы о "мире всего мира", и уж особенно сострадание к человеку "по примеру Христа", а зайдя сзади, видишь: ни до чего-то, ни до чего дела нет. "Нам тепло, а вы как знаете".

И полюбил человек науку, как храмы. И разлюбил прежние храмы. Вот короткая история.

Мы живем на конце ее или переживаем один из ее эпизодов. И наша "революция" или "эволюция", смотря по вкусу и удачам будущего, есть только фазис в этих попытках человека заработать счастье своими руками. Революция — отдел науки. Прежде всего, в ней бездна научных элементов, она вся копошится научными теориями, и все ее двигатели читают и перечитывают книжки и брошюры, — думают, спорят и, словом, так же действуют "во имя науки", "найденного и доказанного", как мученики действовали, когда шли в Рим "во имя Евангелия". И как в мучениках и в победе над Римом главное был не человеческий состав и не катакомбы, а Евангелие, так и в революции главное суть не сами революционеры, а наука.

Революция — *отдел науки*. И потому-то она непобедима. Секунды, секунды, а она все двигалась, побеждала; ширела. Как и христианство ширилось и после казней, потому что было за ним Евангелие.

* * *

Но люди?.. Почему же Фауст никого не победил, ничего не расширил? Где этот секрет, что только с XVIII и XIX веков наука получила какой-то *воинственный победный ход*?!

Потому что в ранних своих шагах наука была исканием "курьезов", "любопытностей" — и только. В голову никогда не приходило, что она может сделаться орудием, и особенно орудием разрешения нравственных проблем и загадок, жизненно мучащих человека на земле. Самая, например, медицина существовала как-то для королей и разве-разве богатейших вельмож, которым, особенно под старость, алхимики приискивали "жизненный эликсир" и "философский камень". И на ум не приходило никому лечить бедняка, помогать массам: в XVII веке засмеялись бы над этою проблемою. Наука была как редкие-редкие островки "Океании", разбросанной около Австралии в Великом океане. Это было именно собрание "курьезов", найденных в природе и придуманных человеком. Но вот эти "курьезы" стали между собою связываться: члены соединились в великий организм; он зажил, задышал. Именно с XVIII и XIX веков наука вся связалась, обняла человека и человечество, землю и небо, выросла в нечто колоссальное, всеобъемлющее, — и в этом состоянии вдруг потянулась к проблемам, какие раньше ставила для себя только религия, да и ставила-то их в качестве "куафюры". Наука же несла уже "существенности" на *те же темы, как религия*.

Вот отчего так многие замечают, что и в науке, и в революции есть какой-то "суррогат религии". Есть прозелитизм, есть фанатизм. Уже есть бездна мучеников и героев, хоть и вовсе другого типа и душевного сложения, чем герои катакомб и мученики римского цирка. Многие замечают, что где торжествует наука, — тает религия: где прочно стоит религия — как-то не прививается наука. Хотя, по-видимому, они и не в борьбе. Видно, что каждая из этих областей, или, точнее, каждый из этих *методов* (ибо и религия, и наука суть более *методы*, чем области) может совершенно насытить и удовлетворить человека, взять всю его жизнь, всю его душу. И в равной мере одушевить и двинуть.

Именно с того времени, когда наука стала "суррогатом религии", или, точнее, стала ее *замещать*, взяв себе ее *темы и задачи*, — она и превратилась в революцию. Она раньше была архитектурой. На нее любовались. Теперь она стала паром и двинула свои легионы.

Как только это совершилось, к ней пошли бедные, неимущие, не весьма ученые, даже наконец едва-едва понимающие (рабочие, крестьяне), но, однако, все же узнавшие хотя элементы ее, читающие, размышляющие, задающие себе вопросы (удачный термин у нас — "сознательные", т. е., например, связывающие свою личную работу и личное положение с "наукою" о рабочих и работе, о социальном строе). И в катакомбах не все христиане были грамотные и читавшие Евангелие; были слепые и убогие, не менее важные. Разрозненный рабочий, не кончивший курса гимназист, сельский учитель — все они вдруг почувствовали *связь*

между собою, сложились в могучий стан и окружили немногих "Фаустов", внутри их работающих, — однако как проводники их идей, открытий, *практических указаний*. Само собою понятно, что это явление всемирное, не русское, не германское, хотя есть и в Германии, и в России; кажется, перекинувшееся в Японию и, по известиям, имеющее не сегодня-завтра перекинуться в Китай. Оно — везде, оно — всегда, как наука и мысль. Оно не знает границ, народностей... эта революция, это "новое христианство"... точнее, "что-то", взявшее себе его задачи, но в форме "существенностей".

"Мы несем свободу и хлеб. Мы несем отдых человечеству. Мы не обещаем всего, но мы дадим все, что *можем*, ничего не оставляя у себя за пазухой и работа для всех, пока не разорвались мозги. Мы простые, мы — вы же, а не как те боги, одетые иконами, что обещали вам царство небесное и не смогли освободить даже из каменной тюрьмы; не смогли, да и не хотели. С простотою мы несем доброту, не божественную и не ангельскую, — которая, впрочем, не поперхнулась от инквизиции, — а обыкновенную, по слабости своей — с гневом, с распрями, со ссорами, но обыденными, но домашними. Полемика будет, партии будут, ругаться ужасно будем: но торжественно не сядем на креслах вокруг костра, на котором печется заживо наш одинокий и беззащитный враг. Мы — не религия, мы — только наука. Претензий больших нет, и никого не держим, и всякий может, оставя нас, вернуться к прежним "отцам духовным"..."

Но простое любит простое. И все побежало сюда, всех соединили вокруг себя эти "маги" в рабочих блузах и пиджаках, Марксы, Энгельсы, Спенсеры, Дарвины. И жмут руки им рабочие, и они жмут рабочим руки. И все такое дюжее мозолистое.

Представить только, чтобы хоть какой угодно почитатель "поцеловал ручку" у Дарвина, у Спенсера! А их чтили в двух полушариях. Просто нельзя вообразить! Поцелуй ужалил бы как змея, — до того это неестественно, чудовищно. Чудовищно... А, между тем, у прежних "наставников", даже и "кой-каких", у всех *кряду* "целовали ручку".

И те улыбались:

— Это они от смирения.

И выросло "смирение" до ада, и выросла гордость до неба. И теперь все это рухнуло.

Мы братья. Простые. Все работаем умом, руками. Никто ни выше, ни ниже. И одно над нами небо. И одни песни под небом.

Я немножко отвлекся от темы своей, нашей русской и теперешней темы. Но, мне кажется, договорить уже сумеет каждый читатель. Левые объемлют всю "новую Россию", шарахнувшуюся к новому идеалу, всемирному. А центр и правые стоят останками старых идеалов, около руин старой культуры. В них нет энтузиазма и силы. Никто из них не умрет за своих Горациев и за свои Пантеоны. А "новые люди" во множестве готовы умереть, да и умирали в "катакомбах" Шлиссельбурга и Кары. Даже эти почище, пострашнее и катакомб, и относительно маленького цирка Веспасиана.

Май 1906 г.

ВНИМАНИЮ "ТРУДОВОЙ ГРУППЫ"

Кто из двух лиц пролетарий: крестьянин ли, имеющий на семью, т. е. на несколько "ревизских" душ, 3—4 десятины земли и курную избенку, или сельская учительница, которая учит крестьянских ребят за 15—20 р. в месяц, при комнатке, отведенной ей сельским сходом, и с дровами, отпускаемыми "милостью" его же, — бездомная одиночка, которая по нищете своей и каторжному труду 25 лет и подумать не смеет о своей семье, о замужестве и детях? Ответ ясен: мужик есть собственник и капиталист сравнительно с учительницею своих детей. Настоящий бездомный бродяга, притом уже с упавшим на него лучом света и всяческих идеалов — это подобная учительница и учитель, которые буквально, как нищие, зависят с головой, с руками и ногами, а паче того с голодным желудком, от "милости" всяких начальств, начиная с деревенского "кулака", вертящего крестьянским сходом. Вот кто "пролетарий", вот кому грозит голодная смерть, которая никогда не грозит крестьянину, все же пашущему своей хлеб, свой кров, а в случае стихийного голода получающего непременно государственную помощь. Положение крестьянина лучше, обеспеченнее, — не говоря уже о том, что оно гораздо самостоятельнее и свободнее — не только сельского учителя, но и учителя или учительницы столичных городских училищ, получающих 50 р. в месяц; по той простой причине, что крестьянин живет своим натуральным хозяйством, у него почти нет покурных вещей, а учителю в городе или столице надо все купить по страшным столичным или городским ценам. О, Господи: да в Петербурге и Москве, на улицах и в холодных квартирах столько настоящего "пролетариата" даже с высшим, университетским образованием (иногда, по бедности, прерванным на половине), о каком в деревне, на своей травке, в своем лесочке, и понятия не имеют. Здесь, в городах, и именно у образованных людей, столько голодного и холодного отчаяния, какого мужику и во сне не снилось; здесь проходит такая мука нервов от своей бесприютности, от своей ненужности, от того, что "все места заняты", "вакансий нет", на переводы с английского, французского и немецкого "есть уже свои кандидатки и других не требуется" и проч., и проч., что нервы и воображение "дядей Митяев и Миняев" лопнули бы от испугу, если бы их поставить перед этой картиною. В деревнях не слышно о повесившихся и утопившихся "от безработицы", от голода: а в городах — сплошь и рядом. Кто же "пролетарий" в самом деле, Мармеладов с семьею или дядя Фрол, тоже с семьею, едящие квас с крошеным хлебом, пустые щи "с мухой", и кой-когда молочко, раза три в год — с говядиной. Беру крайности: но очевидно, что крайность городская до того ужаснее, до того холоднее, бесприютнее, отчаяннее деревенской — что их и сравнивать нечего: ад и чистилище. Деревня — только чистилище, а настоящий ад — город. И не берите "босяков" Максима Горького: у босяка есть угол, вот это самое "дно". Да, "дно": ибо есть люди и без "дна", притом трезвые, отнюдь не Мармеладовы (хотя у Мармеладовых только "он" пил, а в отчаянии были все — женщины, дети), наконец — образованные!.. Босяк, попрошайничавший день на углу улицы, ночью пойдет

в "ночлежку", для него заготовленную городским управлением или долго хворавшим купцом—"благодетелем". Но есть люди, для которых решительно нигде и ничего не заготовлено: а из комнатенки гонят вон, а "занятия" не приискивается, и уже второй день не ел. Знакомых, родных и так называемых "соседей" — никого. В деревне всегда есть "суседи", но в каменных петербургских домах их нет. В деревне всегда есть родство, непременно! в городе опять же сплошь "как перст одинок". Да что я говорю: есть своя земля в деревне, у всякого есть; а это — капитал, такой капитал для абсолютного голода, что и выразить нельзя. Не забуду простого ощущения, совершенно яркого даже для детского ума, совершенно твердого: что пока, напр., есть огород, в нем гряды и, следовательно, на зиму в погребе запасено 1) картофеля, 2) кислой капусты и 3) лука — мы "спасены", ничего "страшного" нет! Помню это свое детское ощущение, когда в доме 1) работников не было, 2) жильцов не было, 3) мать больная: но есть лук, капуста и картофель — и ничего страшного нет!! Гораздо более "страшного" я испытал в Москве, окончив курс в университете, когда мне ответили "по началству", что "нет вакансий" на должность учителя, нигде и никаких. Может быть, и были (и даже наверно были) — да "для своих людей". Последний рубль истратил на запись в какой-то "конторе для приискания мест": но и контора не помогла. И вот этот вечер, когда я стоял над Москвой-рекой (на мосту), недоумевая — жить ли, умереть ли, "как буду жить" и "страшно умереть", — он по тоске своей не имел ничего подобного с тем, когда в детстве сапог не было, а лук все-таки был... А теперь я был в сюртуке и в галстухе, все как следует. Пойти в "ночлежку": да ведь надо адрес знать, надобны "проторенные уже пути", "пример товарищей"; и это все у счастливого "босняка" есть, он — "капиталист" в смысле обилия "открывающихся дорог" сравнительно с интеллигентом, просто вот только "не получившим места"! — "Что за важность: мало ли таких?!"... Много. И все эти "многие" гораздо несчастнее мужиков, даже несчастнее и босняков, у которых есть "свои люди" и, ей-ей, бездна путей и исходов: наконец, есть "алкоголь" (ударение Максима Горького), тогда как я — непьющий... Что еще страшно было на этом мосту, даже страшнее всего, отчего и можно было броситься в воду: наступал вечер и быстро-быстро засветились везде огоньки, такие тепленькие, такие миленькие; и ни к одному-то, ни к одному огоньку я не могу подойти, сказать: "здравствуйте, господа, дайте посидеть с вами... может, и поужинать можно". Нигде такого места. Все — чужое! Ну, в деревне "чужого" нет: можно ночевать хоть в хлеве с коровой, если под лавку не пустят. Деревня — целый мир! Деревня — богатство, прямо богатство, когда подумаешь о городских ужасах... всякая деревня, самая разоренная. Рабочий всегда кандидат на фабрику. Отказа нет: да ведь это — мир, счастье! Это "проторенный путь", "до меня открытый". Какие возвращаются веселые работницы из Петербурга... в Литву! (встречаю здесь). Едят подсолнухи, чуть ли даже не орехи, хохочут, болтают. Блаженство: разве такой вид у "окончившей курс гимназистки", которая просит "переписки на дом, так как вы литератор, и, может быть, найдется". — "Сам переписываю"... Такой боли, такого лица, как у этих горожан, у горожанок, у образованных, у одухотворенных, когда они услышат ужасное "сам переписываю" или

"совсем не пишу начерно, а прямо", подобного лица, потухшего, угасшего, милого, умного, доброго — конечно, у "Фролов" не найдете. Те — красные, в трактире даже водку нюхают.

— Мать больная. На моих руках. Живем в Лесном: пришла оттуда пешком (по рельсам, паровая конка всего 5 коп.) и назад так же пойду. Нет ли занятий?

— На Воробьевых горах живем (в Москве). Захворала маленькая сестренка животом. Иду на десять коп. покупать касторки. Не еду на паровой конке, потому что только эти десять коп. в дому. А надежда (в смысле корма) — на завтра или послезавтра...

Да и сколько таких! Сколько старых, уже бессильных, и около которых еще малые младенцы. В деревне опять "есть ход": котомка через плечо — и на дорогу. "Ход проторен". Тогда как мне нужно, чтобы "на ум пришло"! Я никогда бы не пошел в ночлежку, потому что адреса не знаю: но и во-вторых, не смею! Она — для "своих людей". Какой я "пролетарий", когда на мне сюртук? Как протянет руку за милостыней барышня, знающая закон расширения газов из физики? Невозможно! Есть психологии, несовместимые с известными способами "получения", которые и оказываются "предсмертными и недостижимыми"...

Но я отвлекся. У нас был домок: и отчаяния не было. Отец, умерши, оставил матери что-то около 1200 р. — и она купила дом. Тогда и в провинции естественным представилось жить домом. В Петербурге, "в нынешние времена", дома не покупаются, а берется закладной лист земельного банка, с которым и живет полуроботающая, полуинвалидная, нервная, худосочная семья, с детьми, около какой-нибудь "старшей дочери городской учительницы!" Видал таких. Пролетарий из пролетариев. Чуть-чуть пьют чай. Булки уже нет; и, главное, — будущее совершенно безнадежно, куда хуже и городского, фабричного житья, и деревенского мужицкого, где хоть есть здоровье, всегда есть предложение труда и вообще есть "проторенный путь"...

Ну, вот у нас сторел бы дом, а трудовая группа "первого русского парламента" не сегодня-завтра, в "уравнительных целях", возьмет и отберет у чуть-чуть лепящегося городского пролетариата эти их крошечные сбережения, — тоже буквально, что 2 1/2 десятины у мужика — в виде разных "листов" казенных и не казенных бумаг. Кто же не знает, что этих листов так же почти много, как кредитных бумажек, и что никогда самые крошечные сбережения в "рублях" не держатся, а держатся в таких бумагах. И "грядущий пролетариат" движется вовсе не на разжиревших капиталистов, или по крайней мере не на них одних, но и вообще на всех, у кого что-нибудь есть сбереженного сверх наличного. Подумайте о больных и о хилых, подумайте о детях: и вы поймете, что в строгом смысле "наличным трудом" вообще живет только крошечная часть населения, уже перекладывающегося на плеча "благотворительности". Не вправе ли обратно этот городской пролетариат сказать: "Есть уезды с 3-мя десятинами на душу! Немного, но есть; и даже кое-где есть с 4-мя, 5-ю десятинами на душу: да еще есть у этих же Фролов и прикупная земелька, которую почему-то Госуд. Дума решила тоже не трогать? Почему же именно, было бы любопытно узнать? Отчего это у Фроловых детей будет вечный хлеб и кров, а мои малютки-дочери лет через 10 иначе как в проститутки в Вяземскую лавру — и не пойдут никуда, пойти

им некуда!! Просим потесниться и нам оставить краешек земли. Так, с краешку — около Фролов; им, так и быть, из 3-х десятин на душу останется по две: а *одну десятину* пожалуйста нам на прокормление ребят. Мы заведем огородную культуру хлебных растений, и трехполку и даже четырехполку — сразу пойдем. Ведь мы учились, кончали с медалями, и эти земледельческие элементы нам с полуслова ясны. Потеснитесь, мужички, потеснитесь, и фабричные пролетарии: и дайте место образованному пролетарию, который в положении гораздо худшем вашего”.

Май 1906 г.

В РУССКОМ ПОДПОЛЬЕ

I

— Я вовсе не против русской свободы: но когда я вижу смуглые физиономии с крючковатыми носами, которые с красными флагами в руках нахально выступают впереди русских борцов, — я чувствую потребность ударить палкой по этому кичливо поднятому носу.

Так картинно объяснял мотивы своей вражды к ”освободительному движению” один член ”Русского Собрания” на Троицкой улице, в Петербурге, где подвизаются приват-доцент Борис Никольский, несколько отставных генералов, несколько окончательно неудавшихся журналистов и очень много нервных девиц, не выпедших своевременно замуж. Гипотеза эта, впрочем, проповедуется не одними инвалидами с Троицкой улицы. Многие органы печати усиленно распространяли и распространяют ту мысль, что русская революция тесно связана со стоящим за нею еврейством, которое первое пожнет плоды русской гражданской свободы и которое, собственно, и бросило толпы русской молодежи и вообще ”баранов” для добывания этой ”свободы”, специфически нужной и жгуче нужной одному еврейству.

— Разумеется, согласись русское правительство на еврейскую равноправность сегодня, и революция утихнет завтра. Но русское правительство патриотично и готово перенести все тяготы теперешней смуты, чтобы только не давать русский народ на съедение евреям.

Так в конце июня объяснял мне соотношение между еврейским вопросом и революцией один почти сановник, — человек, чрезвычайно осведомленный в точках зрения, господствующих в правительственных сферах.

И, наконец, вторя всем этим мнениям, г. — *штейн* в ”Русском вопросе”, напечатанном недавно в ”Новом Времени”, развязно высказал, что ”в ответ на меры обрусения, принимаемые русским правительством против еврейского племени, евреи устроили ему революцию”.

— Они дали русской революции вдохновение!

— Они дали русской революции людскую массу!

— Они дали ей деньги!

Таковы громкие речи. За ними следуют разъяснения шепотом:

”Тут — Ротшильд и франмасоны. Франмасоны смертельные враги христианства, христианской цивилизации. Но этот просвещенный и гуманный орден XVIII и начала XIX века — к концу прошлого века заполнился евреями. Именно им нужно сокрушить христианскую нравственность, устои христианской жизни, и они обратили этот европейский орден в орудие тайных целей еврейства. Евреи всего мира образуют тайный союз, наступающий на христианскую религию. Организация его в руках Union universelle israëlite...”

Так несутся речи. И думаешь, слушая их: не надо было Гоголю выдумывать ”Историю капитана Копейкина”, в которой излагается, будто сей Копейкин, он же и Чичиков, ”есть в тайне и сущности не кто иной, как бежавший с о-ва св. Елены Наполеон”, теперь скрывающийся в России...

II

Торопливо собирая в салфетку маленькую провизию, молодая женщина особенно любовно оглядывала три огромных зеленых огурца. Шел апрель месяц, и огурцы были еще очень дороги. Но тороватая хозяйка дома расщедрилась и прикупила эту новинку для дальнего своего родственника, сидевшего в ”Крестах”. Так, по архитектурному плану или, точнее, по системе устройства, именуется одиночная тюрьма в Петербурге, что на Выборгской стороне, на берегу Невы, наискось против Таврического дворца. Взятый, в числе гостей, в зале Экономического общества, во время ареста Совета рабочих депутатов, он томился в каменном ящике, напрасно требуя суда или, по крайней мере, объяснения, за что и по какому поводу арестован. Правда, он был социал-демократ: имя опасное при Плеве, но теперь не наказуемое, не виновное. Правда, он посвятил свою жизнь рабочим, но что тут преступного? Разве не вправе выбирать себе каждый профессию, путь жизни? Я знаю женщину-врача, филантропа, которая всю свою жизнь, девичью, деликатную, посвятила проституткам и проституции, и, на мой взгляд, она великая христианка нашего времени. Другие посвящают свою жизнь уголовным преступникам. Отчего же только фабричные рабочие или еще крестьяне представляют собою такой сверхъестественно-уголовный элемент, самое прикосновение к которому, самый интерес к которому уже есть особо наказуемое уголовное преступление?!

Кончив прекрасно гимназию, из семьи славянофильской, — он с младенчества любил простых, серых людей. Не оставил этого и в университете. Пошли ”истории”, и очень скоро впечатлительный и пылкий юноша должен был оставить университетские аудитории для какой-то ”высылки”, потом тюрьмы, без предъявленного обвинения, — и, теряя более и более терпение, остановился на системе социализма, как такой целостной системе, где вообще ”этих гадостей нет”, где ”наши гадости” выброшены ”с корнем” (радикализм) и даже с землей, в которой растет этот ядовитый корень. Судьба, я думаю, тысяч русских юношей!

Молодая девушка, лютеранка, немка, встретившаяся с ним где-то на чтениях рабочим, соединила с ним судьбу свою перед тем первым заключением в тюрьму. Повенчались и разошлись: он — в заключение, она — домой.

Я увидел ее впервые только теперь. Она не была очень молода: лет 29 или 28. Некрасива. Лицо слишком обыкновенное, "как у всех". Рост средний или немного ниже; худощава, но не очень. "Затрудилась, избегалась". Действительно, в движениях и всей фигуре, — в том, как она вставала, как садилась, было чрезвычайно много воздушного. Хотя она и "затрудилась", и "избегалась", но в ней не только не было усталости, но нельзя было и соединить понятие "усталости" с ее фигурой и лицом. В день она изживала только ту энергию, какая у нее накапливалась за ночь, и, очевидно, накапливалось ее гораздо больше, чем расходовалось, так что она укладывалась снова в постель единственно потому, что не было никакого уже дела, решительно некуда было еще побегать, еще что-нибудь исполнить. Всем нам немножко тяжело жить, все мы переутомлены, и потому, когда входило в комнату это "облегчение" и, вместо "здравствуй", как бы спрашивало: "Отчего же вы сидите? Разве вы все переделали?", — то сразу на душе становилось веселее.

— Вот входит наша веселость!

— Вот входит наша легкость!

— Вот входит наше всеобщее облегчение!

Так формулирую я то чувство, которое неизменно рождалось у меня, когда я видел ее.

Заметил я, что она не была красива. Действительно, ничего пластического, ничего "этогокого итальянского". Ни щек à la Юнона, ни локонов à la Мадонна. Лицо глубоко XIX—XX века, не портретное, не историческое. Все самое обыкновенное, — кроме волос, которые до странности напоминали собою характерные и единственные волосы Митридата VI Эвпатора, знаменитого царя понтийского, который двадцать лет боролся с Римом, чудовищно воевал, чудовищно жил и чудовищно погиб. Тот видал его монеты, тот знает это безбородое, почти женское лицо, с змейками волос, которые обрамляют его и немного отнесены, точно ветром, назад. И у этой немки-лютеранки-православной-русской-социалистки все лицо, от темени до плеч, было окаймлено длинными прядями белокурых, чуть-чуть золотящихся волос, тонких, жидких, мелко вьющихся, будто зыбких, которые в окончаниях совершенно переходили в змеиные хвостики и даже скорее в дрожачие змеиные жала.

— Вы укусите!

В ответ она рассыпалась своим ясным, звонким смехом. Забыл сказать главное: почему же она мне понравилась, уже в смысле физической привлекательности. От своего слишком обыкновенного лица она не нравилась, не производила впечатления только первые полчаса знакомства. Но едва она заговаривала и произносила первые же слова, как вы невольно отмечали ее в своем внимании. Было что-то особенное в тембре, в звуках голоса ее, услышав который собеседник не допускал самой возможности лжи: и не по "убеждениям", не потому, что "таков взгляд на вещи", до этой точки "развился человек", но оттого, что так он отцом с матерью зачат. Вышел из лона материнского и полетел прямо, все прямо, все вперед в воздух, дальше, выше, к жизни, к смерти — но не виляя, не уклоняясь, не обходя. Нет этой дрожи в жизни, — и нет дрожи в голосе. Голос как же описывать? Его надо передавать. Ухо мое уловило гордость, чистую человеческую гордость, огромное сознание своего достоинства под этим платьем, почти бедным, даже вовсе бед-

ным. Да, еще кофтенка у нее была — умора! Дрянненький верх, ваты подложено чуть-чуть. Точно ее собаки трепали в этой кофте. А голос и взгляд как у Митридата VI Эвпатора. И эти змейки волос, и смеющиеся глаза...

— Вы неудобная женщина. Как он на вас женился? Вы не умеете подчиняться, вы не можете согласоваться.

Смеется.

— Он такой красавец. Ну, он вас разлюбит? Ведь это бывает фатально, как вы знаете, — без вины. Природа.

Что-то грустное, осунувшееся прошло по лицу ее, как облачко, и исчезло.

— Ну, разлюбит!.. ну, ну...

Я понял, что тогда "можно умереть".

— Не разлюбит, — смеялся я. — Такие, как вы, сторают, а не живут; и разлюбить просто будет некогда.

Рассмеялась.

— Вы же меня задерживаете разговорами, а мне надо торопиться в тюрьму. Вот этот огурец все-таки самый лучший... и я снесу его мужу. Но и эти оба хороши же: такие свежие; их я отнесу двум евреям. Знакомые. Тоже сидят, к ним сестры ходят.

— И много у вас евреев?

— Много. Очень много. В пропаганде треть, половина евреев.

— Все молодежь?

— Все молодежь.

— Охота вам с жидами возиться!

Смеется.

— Каковы они? Кричат? Галдят?

— Самые храбрые, самые великодушные. Самые неизменные, никогда не продающие друзья. Партия наша без великодушия, без идеализма — пропала: даже ее вовсе нет, т. е. не было бы. Нельзя помнить себя, заботиться о себе, — и быть в нашей партии: и вот этой способности совершенно забыть себя, от всего личного отречься и все отдать на службу народу — ни у кого нет столько, как у молодых евреев.

— "На службу народу", — пересмеял я ее. — Какому? Ведь они евреи, а здесь, если не ошибаюсь, Россия.

В лице ее выразилась необыкновенная скука. Неглижерство к услышанному.

К чему тут "Россия", при чем "еврей"? Человек.

Она сказала еще короткие слова, — те слова, которые если читать их в книге, то они кажутся необыкновенно скучными и неинтересными, кажутся шаблоном от их трафаретности и стереотипности. Оттого, я думаю, их прокламации и книжки все кажутся такими скучными и бездарными, как "Господи, помилуй" дьячка. Но ведь кто-то в первый раз, в испуге, в печали, в раскаянии сказал: "Господи, помилуй". И тогда, у того *первого*, это было прекрасно, трогательно, небесно по живой связи с настоящим фактом его души, с тоскою сердца и надеждой на Бога. Точно так же "все люди суть люди" — ужасно скучно в чтении: но когда, широко раскрыв глаза, вы слышите эти слова немного картавящего голоса и смотрите на человека, для которого в самом деле между "жидом" и "русским" нет разницы, и сам он — немец, а всю

жизнь работал для русских, а впрочем, и для жидовских фабричных, давно без родины или, точнее, имея весь свет своею родиною, своим драгоценным отечеством, для которого он выносит голод, холод, опасность, тюрьму, одиночество, — то вы чувствуете, что этот человек, такой серый и невидный, стал неизмеримо впереди и выше Тургенева, Толстого, Достоевского, для коих всех "люди суть братья" — осталось мечтою, недостигаемою и недостигнутою: осталось "шаблоном", как для дьячка его "Господи, помилуй". Прокламации и книжки пропагандистов написаны совершенно иначе, чем как они нами читаются, и отсюда эта разница во впечатлении. Им кажется, что этим можно землю перевернуть, а нам кажется, что этим нельзя пошевелить и пука соломы. По нашим впечатлениям, правда, нельзя пошевелить и пука соломы: а их энергию, правда, можно перевернуть весь мир. "Земля вертится около солнца — есть разница в этой истине для гимназиста 1-го класса, выучивающего ее из учебника, и для Коперника, который, кончив свое "De revolutionibus orbium coelestium"¹, перекрестился и сказал: "Боже! Чудны дела твои! Земля не недвижна".

Как-то я заглянул в три часа ночи, перед тем как идти спать, за ширмочку, где спала сестра этой женщины, такая же, как она, социал-демократка, еще девица. Смотрю: на столике, около потушенной свечи, лежат тоненькие книжки Каутского — "История крестьянских союзов" в Германии (или где-то) и "К вопросу о 8-часовом рабочем дне". "То-то, — подумал, — премудрость". А теперь думаю: "А ведь и в самом деле — мудрость: ну, как мудро Бог устроил, что не работница, не нищая, имеющая обеспеченный достаток в положении родителей, читает на ночь не французский роман, где маркиз ухаживает за маркизою, мечтает не о том, какое платье она сошьет себе к Пасхе и хороша ли будет в нем у заутрени, — а о том, как облегчить рабочих на Выборгской стороне, сколько собирает хлеба русский крестьянин и что нужно снести зеленый огурец томящемуся 6 месяцев в одиночной тюрьме еврею, который, в свою очередь, сидит там отрезанный от отца, матери, может быть — от невесты, ради этого же русского крестьянина и фабричного рабочего..."

И я кончил энергично и свежо:

— Чудны дела Твои, Боже, что ты так рассеял и перемешал нужды и заботы людей, что никто-то никто из них не остается без своего Ангела-хранителя, стоящего с мечом огненным на защите жизни его, и Ангела-мстителя за муку и оскорбление его.

III

Решительно, русская жизнь, русская история пошла каким-то электрическим двигателем, когда она прежде не имела и парового. События и, наконец, даже повороты истории, "колена" ее наступают так быстро, если и не неожиданно, что, например, статья, написанная сегодня не совсем "на тему дня", а довольно общего содержания, оказывается уже запоздалою, если она задерживается в напечатании на один-два дня. Вы

¹"Об обращении небесных сфер" (лат.).

пишете о Думе: но завтра она распущена, и совершенно очевидно, что все вступило на какой-то новый, "не думский" путь. После роспуска Думы все тихо, и многие пишут и говорят, что "и будет тихо". Вы реагируете на это "предостерегающе", вы хотите указать, будет ли тиха деревня, — как вдруг раздражаются одновременно два страшных военных восстания в двух первоклассных крепостях, едва не овладевающие этими стратегическими пунктами, как опорными точками революции.

Суть дела, очевидно, в ней. Суть в тех подземных вулканических силах, которые с 70-х годов прошлого века начали потрясать почву под нашей государственностью, бытом, церковью, в основе всего — под нашу экономику. Удары то возобновлялись, то стихали; гул и серный запах никогда не прекращались. Теперь только становится понятно, почему, начиная с 70-х годов, вся политика государства свелась почти к "борьбе с пропагандою", которая в печати и в обществе выставлялась всегда смешною, и не иначе рисовалась великими и гуманными русскими писателями (Марк Волохов и Вера в "Обрыве" Гончарова, Базаров в "Отцах и детях" Тургенева, то эксцентрические, то преступные типы в "Бесах" Достоевского). Писатели эти были все-таки "бары" литературы, имели аристократическое положение, духовно-аристократическое в обществе, и смотрели сверху вниз на стремления "студентов помочь народу путем государственного, экономического, религиозного и всяческого полного переворота". Затея казалась слишком невозможною, чтобы с нею серьезно считаться, — и все, в обществе, в литературе, и чиновники, и корифеи русского романа, видели в этом "направлении молодежи 70-х годов" бытовое и временное явление, которое они должны были "уловить и изображать", пока оно не исчезло, но отнюдь не обсуждать его с тою серьезностью, как, например, "подвиги губернатора Скарятина" в Казани, назначение нового министра, классическую или реальную систему образования, или, позднее, институт земских начальников. Последние темы были солидные. О них говорили и было прилично говорить в гостиных и в кабинетах, в журналах и больших газетах, в кружках западных и славянофильских. Но студенты, да еще не кончившие курса, в красных рубахах и косоворотках, пошедшие в народ с "Хитрою механикою", Бюхнером и "Вперед"? Это казалось настолько комично, несерьезно, наивно, мечтательно, неопытно, неосуществимо, бесплодно, — что ни Аксаков с Катковым, ни Стасюлевич со Спасовичем ни за что не дали бы страницы своих газет и журналов для серьезного дебатирования о том, что это за явление и чем это кончится. Только одно правительство, можно сказать, стало "в уровень с явлением": всем было удивительно, почему оно "гоняется с дубиной за мухой", метит "из пушки по воробью". Никому не приятно стоять в смешном положении: и, беря на себя весь риск смешного, правительство, начиная с 70-х годов прошлого века, всю свою политику расположило в направлении "борьбы с пропагандою".

К этому приноравливалась система образования; по этой задаче назначались министры внутренних дел; обрезавался суд, подбирались вся администрация. Дело в том, что одно правительство физически и воочию видело и всмотрелось в это явление: оно арестовывало, допрашивало, заключало в казематы, казнило. Везде оно видело "их" лицом к лицу; Тургенев, Достоевский, Гончаров рисовали "по слухам"

и в сущности ничего не знали, неглижерничали, презирали, фантазировали, снисходительно покровительствовали. Но жандармы, губернаторы, министры внутренних дел, полиция "всех цветов" — читали "подлинные дела" в пресловутой синей обложке, а главное, они допрашивали, т. е. смотрели в глаза, слышали интонацию голоса, наблюдали манеры, обращение, видели их годы в затворе, видели их лица и слышали их слова на эшафоте, перед казнью, в великую минуту смерти!

Видело. Услышало. И... случилось что случилось...

Оно почувствовало в них смертельную опасность, единственную; почувствовало, что тут "кто-то будет один, а не два". "Или я выживу, но это когда они все подохнут, ни одного из них не останется"... Но их все "оставалось", сколько ни казнили, и перед правительством впервые пронеслась пелена смерти: "Все *живут!*.. нет *конца!* Остается хоть немного, — и потом все возрождается даже с большею силою, в большем числе! Неужели же я умираю, умру? Я, тысячелетнее, общее, обнимающее собою все, держащее в своих руках всю Россию, ее судьбу, историю, несчастье и счастье, народ и образование, науку и искусство, господ, сословия и армию?!"

Через сто лет об этом будут томы написаны. Неужели же тогда будет темно то, что сейчас так ясно? Сейчас мы видим этих людей: и для нас, в сущности, все ясно, и вопрос заключается почти только "в доброй памяти" — в том, чтобы все нами усматриваемое записать, и не упустить чего-нибудь внести в реестр.

Суть не в "освободительном движении", — суть в *свободном человеке*; в *русском свободном, освободившемся человеке*, — который, почувствовав *так* себя внутренно, понес эту свободу даже не России, а миру.

Суть не в "революции", а в *нигилизме*, — старое слово, употребленное Тургеневым, но не определенное им, и, может быть, неопределимое, которого не нужно определять. "Определить — значит сузить", — догадался Спиноза. Всякое "определение" есть одновременно уяснение и сужение; после определения вещь становится или должна остаться, обязана остаться уже *недвижною*, вечно *тою же*. Вот отчего жизненные явления, живые, равно религиозные или художественные, — не определяемы. Они не "поддаются" определениям, выскальзывают из-под них, убегают, уклоняются. Они еще хотят жить; хотят геройства и унижения, фальши и правды. Они живы. Таков нигилизм. Для него не нужно определений. Во всяком новом месте, со всяким новым годом, во всяком "другом человеке" он уже не тот, каким мы его знали "тогда-то и в том-то".

Но общий характер, тенденция, направление неизменны: это — *высвобождение*. "Высвобождается" *семья* — это "нигилизм" *семейный*. "Высвобождается" *религиозная совесть* — это *религиозный* "нигилизм". То же о государстве, литературе, эстетике, быте, экономике, обо всем, буквально обо всем. Явилось "всеобщее" или даже, пожалуй, всемирное стремление к "высвобождению", и притом во всех областях и по всем направлениям. Высвобождение почти биологическое, почти как физиологическое движение; что-то неловкое, неудобное, тяготящее, мешающее *сбрасывается*, — вот "нигилизм". Отсюда глубокая верность наименования всего движения "освободительным". Это — не революция, объемлющая только политику, государственность; это неизмеримо больше ее,

неизмеримо культурнее ее, в смысле содержания зародышевых элементов для целой новой цивилизации.

"Высвобождение" от чего? От *традиционности*. "Традиционное" государство, "традиционная" Церковь, "традиционное" искусство и эстетические суждения, "традиционный" быт, "традиционные" экономические отношения, и прочее, и прочее, и прочее, чего мы и исчислить не сможем, — все сбрасывается, отвергается, не уважается, осмеивается, поборается. Примем во внимание, что нет страны в Европе, где "вообще угнетение" и "вообще традиционность" (наша, например, церковь) были бы так сильны, продолжительны и ярки, как в России, — и мы поймем, отчего "нигилизм", как "анти-традиционность" и "высвобождение", вырвался вулканом именно в ней.

"Высвобождение" от "традиционности" во имя чего? Во имя своего "я", своей личности, своей индивидуальности. Здесь, однако, "нигилизм" мог бы нарваться и прорваться, ибо против *интересов* "я" есть интересы "общества", которые могут и связать, сковать "я". Но особенный момент его возникновения и особое положение нашей страны сделали то, что закричало о себе *страдальческое* "я", а не господствующее и барское "я"; скажем так для понятности: не феодальное, западное, гордое "я", а другое, скромное, угнетенное "я". Есть "я" завоевательное, и есть "я" защищающееся: в нигилизме закричало "я" защищающееся. Марк Волохов, Базаров, герои "Бесов", если уже нужны неверные косые примеры (они одни есть в литературе) — не ищут себе эполет, почета, богатства, положения, покорности. Они говорят, всему окружающему говорят: "Оставьте мне жить так, как я живу". Этот, так сказать, диогеновский "нигилизм", в самой его ранней стадии — потребовал просто высвобождения личного "я" от пут и условностей, отчасти от деланности и фальши общества, религии, семьи и пр. и пр.; требовал свободы как *удинения*, свободы как *натуральности* и *естественности*, свободы как *физиологической* и *психологической правды*.

Но затем, почувствовав себя *свободным*, испытав все удобство *правды* и *натуральности*, — нигилизм и "нигилисты" понесли ее и миру, людям. Если первая фаза нигилизма была или, точнее, в единичном случае, во всякой биографии бывает "диогеновским уединением", "духовным одиночеством и свободой", то во второй фазе он явился и является как бурный коллективизм, как натиск на "старые твердыни", давящие человека, человечество. Образовался ураган, как "критика" (ветер ведь "критикует" твердость зданий, построек), и можно предвидеть, что если из России "движение" перейдет в Западную Европу, то оно вообще там, как и у нас, снесет все, что "плохо лежит", что уже непрочно держится исторически, что потеряло "правду в себе" и стоит только "традиционно", "привычно". Всех "не живых богов" снесет нигилизм, и удержится только подлинно нужное, подлинно несомнимое, подлинно благотворное человеку. Поэтому уже теперь можно предвидеть, "нигилизм" будет страшно обновляющим движением, ибо он будет движением страшно разрушающим.

— А ну-ка, заговори?

С этим вопросом он обратится к каждому "идолу" и разобьет всякий, которой не ответит.

Наступило (я думаю, для всей Европы) великое "дарвиновское испытание". Для всех вещей, статуй, идолов, классов, положений, для всякого счастья и высоты наступила длительная минута "борьбы за существование", где они должны "отстоять себя", показав свою "правду" и "жизненность" и "благодетельность", — не на словах, не риторическую, а деловую. Пришла смерть для всего "ненужного". — "Ну, кто *выживет?* Кто *подлинно нужен?*" Вопрос слишком страшный для слишком многого. Недаром у многого и многих поджилки трясутся...

"Вынеси бурю — и останешься жив". Ну, это и *суть* дарвиновского процесса: переживания "совершеннейшего", процесс "совершенствования" мира. Чем буря страшнее, рвет паруса, ломает мачты — тем и лучше: только настоящее, подлинное и выживает, выживает "лучшее из лучшего" и "совершенное из совершенного".

Повторяю: "революция" — только узенький именуемый ручеек; под ним река — "освободительное движение"; под этой рекою — бездонный, безбрежный океан, нигилизм... "Я люблю только то, что подлинно люблю", "уважаю только то, что подлинно уважаю", "поклоняюсь только перед подлинно восхищающим меня". Все — *подлинное*. Подлинник подлинностей ("реализм" 60-х годов) — вот материк, который не штурмуется нигилизмом. Ну, а как, прикинув это мерило, почувствуют себя католицизм, протестанство, старая "Тора" и "Талмуд"? Да что они! Дело — в людях, "подлинном". "Если ты веришь в папу и хочешь поцеловать у него туфлю, — говорят "товарищу" из Вильны нигилисты, — мы не препятствуем. Целовать сами не будем, а ты поцелуй". — "Товарищ" чешет за ухом, спрашивает себя, "в душе" спрашивает, в "подлинном": и там, в душе, не испытывая никакого восторга при мысли о папской туфле, отвечает московским "товарищам": "Я хотел, как все! Все ходят, паломничают. Уже тысячу лет, даже больше. Святой отец, старенький, почтенный, обижать я его не хочу; однако и паломничать тоже не хочу... Уважать — уважаю, даже очень, но вообразить его *непорочным, святым, каким-то отцом своим, личным, моим духовным отцом*, когда до меня ему и дела нет, и он ни на минуту не будет и не хочет и не может помнить меня — этого я не могу, не могу! Это ложь, если сказать сознательно и очнувшись"...

То же думает латыш-лютеранин об Аугсбургском исповедании.

Врач-реформат — о Кальвине и женевской Церкви.

Православный — о Фотии и его ссоре с папою Николаем I насчет "опресноков".

И думает это же еврей о Талмуде и субботе.

И завтра начнет думать самаркандский "князь", член Думы, о знаменитых "намазах", предписанных Пророком...

"Нигилист" никого не нудит, ни к чему не торопит. Ничего даже не обясняет и не доказывает.

Вся его фигура, попывающая папироской, говорит только одно:

"Я скажу на *подлинном*. Я подлинный. Курю, потому что нравится, и живу с женой, потому что люблю ее и пока люблю ее. Правительство свое, родное — ненавижу; нацию свою, даже очень родную — не очень уважаю; веры вашей и не презираю и не уважаю. Мне все равно — молитесь хоть чурбанам, хоть Будде, Магомету или Кальвину. Сам я ничему не молюсь, ибо у нас все вранье. Но вот что важно и что

я исполняю и чего от вас требую: трудитесь — сколько можете, и живите — насколько трудитесь; никого не обижайте, никого не притесняйте; будьте подлинными и делайте все подлинное; все без притворства, все без ломанья; все *по правде*, по натуральной правде”.

И делается “нигилистом” еврей.

И делается “нигилистом” татарин.

И делается им латыш, немец, поляк, литвин.

— Мы хотим родины! “Автономии”!

— Сколько угодно.

— Своего языка, храма, управления, администрации!

— Пожалуйста, пожалуйста: до пределов, насколько это вам самим удобно.

— Неужели?! Но ведь вы русский, член России, гражданин ее?!

— “Я — *подлинный*, которому случилось быть вместе с тем и “русским”; конечно, поляком не сделаюсь, ни немцем. Очень нужно. Благополучен в своем благополучии, чего и вам подлинно желаю. Если хотите сотрудничать со мною, — будьте в связи; нет — не стану плакать и один”.

И думают все: “Этот русский, эта Россия в нем — они уже никого не давят, давят меньше, чем Пруссия, чем даже Австрия и, наконец, Англия или Америка. Легка Россия стала, — как пух на плече. Куда нам идти, к чему идти? в связи — сильнее, безопаснее, цельнее”.

И остается “русским” немец.

И остается им поляк, литвин, армянин, грузин.

И образуется великое “товарищество”: не — государство, не Церковь, но как система совестей, как мир совестей — не стесненных, как воздух, подвижных, как ветер, сильных, как электричество. Сказывают: электричество сильнее железа. Старый мир — железный, новый — электрический.

IV

Говоришь о теме и все несколько отвлекаешься от нее. Я начал говорить о правоте правительства, сосредоточившего с 70-х годов прошлого столетия все свои силы на борьбе с пропагандою, — по поводу одной личности и одного политического процесса, недавно воспроизведенных гр. Л. Н. Толстым в рассказе “Божественное и человеческое, или Еще три смерти”. Появился рассказ этот первоначально в английском журнале “Fortnightly Review” и потом на русском языке в иллюстрированном приложении к “Нов. Вр.” в № 10900 и 10903. “Три смерти” — это один из ранних рассказов Толстого о том, как умерли: чахоточная помещица, которую привезли в деревню “для воздуха”, деревенский мужик и — молоденькое дерево, которое срубили на крест этому мужику! Симпатии Толстого возрастают по мере передвижения рассказа от помещицы до дерева: сперва все в насмешливом и презрительном тоне, но затем, с переходом к мужику и к дереву — этот тон становится серьезнее, задушевнее, а слова короче; и, наконец, рассказ совсем теряет фабулу, переходя в 5—6 строк сообщения, как “дерево скрипнуло, точно из него душа вышла, и повалилось в сторону, обратную рубившему Семену”.

Барыня умирает всего сложнее и всего безобразнее, дерево умирает всего проще и всего прекраснее: а *смерть* — и здесь и там *одна*. Рассказ, очень коротенький, прекрасен по мастерству и глубокой мысли, на нем лучшей.

Заглавие его ("или Еще три смерти") Толстой повторил, описав смерть двух "государственных преступников" и одного старообрядца-сектанта, который столкнулся с ними в тюрьме и ссылке. Толстой за все годы своего писательства почти вовсе не касался политики и нигилизма, — иначе как мельком и побочно. Все здесь слишком жестко, слишком кратко, слишком самоуверенно, и холодно самоуверенно, чтобы можно было с них писать бархатною кистью по бархатному фону. Люди эти, сверх того, вообще пришли разрушить все то, с чего писал Толстой свои картины и что, даже сквозь скорбь и насмешку последних произведений, — он все-таки любил любовью традиционную, жившую в крови его, которая текла от благородных предков, все графов и все помещиков, каждую осень охотившихся на лисиц и в каждую войну отстаивавших грудью отечество. Все знают отзыв его о Государственной Думе: его не заняло, что Дума есть некрасивый медик, пришедший лечить некрасивую болезнь. В старом романисте заговорил эстет, почти эстет: "Как все это *некрасиво!*.. Как некрасивы *они!*.. Как некрасивы их *речи!*.." Точно они собрались *для звона*; или точно это — кокетки, которые должны были рассестись в красивое зрелище, как русские при Бородине, или как "толстовцы" за Евангелием, где-нибудь в старой деревне под вековыми липами... *Suum cuique*¹, и нельзя быть в одно и то же время великим *живописцем* исторической жизни и самому быть *борцом* живой истории, прекрасным и деятельным до живописности... Толстой бесконечное сотворил пером, но жизнь он просидел в Ясной Поляне, восторгаясь и негодуя над бумагою, и, кажется, никогда не толкался плечом о суровую человеческую толпу, споря, негодуя, как работник среди рабочих, как равный среди равных, одинаковый с одинаковыми.

Рассказ его в "Нов. Вр.", без сомнения, уже всеми прочтен; он не очень хорош, но и недурен. В нем есть дорогие штрихи прежнего его пера и, главное, он не страдает теми длинными рассуждениями последних лет Толстого, которые про себя каждый читатель называет довольно несносными. В конце рассказа, где "террорист Игнатий Меженецкий" повесился на другой день после обиды, нанесенной ему в кратком разговоре новыми революционерами, встреченными в Сибири, которые не хотели считать себя его учениками и действительно не были ими, — маститый художник впадает в шарж, карикатуру и небывальщину. Во-первых, все слишком коротко: вчера поговорили — сегодня повесился. Так не бывает, и этого *не было*. Во-вторых, все мемуары самих революционеров, теперь уже довольно многочисленные (см. книжки "Былого"), свидетельствуют о полном отсутствии у них *умственной гордости*, так сказать, *умственной завоевательности, диктаторства*, — хотя они вечно пропагандируют, спорят, борются идейно. Да, борются: но *на равной ноге*, в грубой и вместе доверчивой товарищеской схватке.

¹ Каждому свое (*лат.*).

“Ничего не поделаешь с этой бабой”, — сказал (по воспоминаниям) Желябов о Софье Перовской, когда, после бурных сшибок с ним на товарищеских сходках, она отвергала и до конца отвергла террористический путь, предлагаемый Желябовым, с которым были все другие согласны, и отстаивала старое “хождение в народ”. Он не пожелал, как Иуда, от ее упорства, не “затаил обиду”. “Ничего не поделаешь с этой бабой”, — которая впоследствии, но самостоятельно и от себя, перешла потом на его путь.

И вообще желтой зависти у них нет, *не было*. Можно быть уверенным, что все дело сгнило бы в первые же годы, появившись эти баре и слуги в пропаганде, эти выскочки и подчиненные, этот мелкий духовный деспотизм, и вообще “наше мелочное”, наше “слишком обыденное”. Во-вторых, об уважении: читая мемуары, невозможно не поразиться, до чего все они уважали, почти обожали друг друга, опять в этих грубых товарищеских чертах, сквозь суровую иронию и совершенно простецкие отношения. Трудно это выразить, определить. Во взаимном-то отношении и скрыта вся та тайна необычайного притяжения к ним, которое испытывали не только люди их “наклонной плоскости”, но и другие, напр. даже чиновники полиции, которые из “ловителей” неожиданно переходили в “укрывателей”, из врагов — в друзей. Формы были постоянно грубы — “нигилистические”; ни манер, ничего. Но под этим ледяным, шероховатым покровом жила необыкновенная нежность, чисто родственная, братская, сестринская. Она-то всех соединяла в одно, она открывала такую легкость для дышащей груди, измученной условностями “верхней жизни”, что люди эти, переходя “на нелегальное положение”, чувствовали себя впервые по-настоящему, по-человечески свободными. В душевном отношении получался как бы переход из ползучести в полет. Снаружи все стеснено, опасно: но спал этот панцирь постоянного притворства, постоянного ломанья, постоянных ненужных слов и ненужных действий, среди каких мы, в сущности, все живем “в легальном положении”. Цель, фантастическая или великая, — сама собою: но нельзя ни до какой цели дойти, имея, так сказать, “прискорбное плавание”, несносный путь, отвратительную дорогу. До трудных, страшно трудных целей, “недостижимых”, и доходят этими “счастливыми путями”: ежеминутно радующими, — не снаружи, а внутри, — с облегченной грудью, пусть и при поломанных ребрах. Нужно, чтобы душа отдыхала. И душа “отдыхала” у нигилистов в этих их странствованиях ли “в народ”, или в подпольной пропаганде и конспирациях.

Толстой этого ничего не уловил. Просто — пренебрег взглянуть на это. Кроме этого удавившегося от самолюбия “террориста Игнатия Меженецкого” он описывает казнь через повешение “нигилиста” Светлогуба, который даже мало и принадлежал к кружку революционеров, не принадлежал к ним деятельно, но на время дал в своей квартире приютить для укрывательства динамит своему товарищу-террористу. Динамит этот был арестован. Светлогуб, конечно, не выдал товарища и должен был сам поплатиться за него, как собственник и орудователь динамитом. Дело происходило в Одессе (“с видом на море”), — и, словом, — это рассказ во всех подробностях факта о том, как в 1879 году одесский генерал-губернатор Тотleben (“немецкий уроженец”, “герой Севастополя и турецкой войны”) повесил известного Дмитрия Лизогу-

ба. Вымышленное лицо только этот "Игнатий Меженецкий", под не-симпатичными чертами которого Толстой скрыл Игнатия Гриневецкого, бросившего вторую бомбу, после Рысакова, 1 марта, и тут же на месте убитого ею. Подробности в рассказе Толстого сохранены настолько, что "в дочери генерал-губернатора, помолвленной с его адъютантом", можно узнать уже умершую ныне супругу генерала N, урожденную Тотлебен. Характер же Лизогуба (оригинал "Светлогуба") вполне верен тому, что передает о нем в своих мемуарах покойный Кравчинский ("Степняк"). Так как рассказ Толстого уже прочли сотни тысяч, а очерк Кравчинского сравнительно мало известен вне "русского подполья", то я позволю себе, почти без пропусков, воспроизвести его для людей "нашего верхнего слоя". Кстати — это сразу и без комментариев объяснит, почему затревожилось правительство 70-х годов, отчего оно было право, и, наконец, каким образом эти маленькие кружки людей, человек в 15—20 там и сям, по городам и уездам, смогли в течение 35 лет совершить все то, что отделяет Россию гр. Д. Толстого, Каткова и Победоносцева от России Государственной Думы, октябрьских митингов и всеобщих забастовок. Путь необозримый, пропасть, казалось бы, незасыпаемая! Кто же ее засыпал? Кто прошел этот путь *сам и провел* по нему русское общество, — эти сонные души, дремавшие за картами, вином и барышнями, мелко плутовавшие в департаментах и канцеляриях?

"Однажды в декабре 1876 года, — рассказывает Кравчинский, — мне пришлось присутствовать на одной из студенческих сходок, которые никогда не переводятся в Петербурге. Сходка была не из многолюдных и не отличалась живостью. Обсуждался так часто подымавшийся и ничем не разрешавшийся никогда вопрос о том, как слить все отдельные кружки молодежи в одну организацию. Дело было явно неосуществимо, ввиду разношерстности этих кружков. Сами инициаторы общей организации, по-видимому, понимали это, и потому споры велись вяло, скучно, точно через силу.

Но среди присутствующих был один, которому удавалось и оживить полное собрание, и привлечь его внимание каждый раз, как он вставлял в однообразные дебаты какое-нибудь свое маленькое замечание, почти всегда меткое и слегка шутовское. Это был блондин, высокого роста, бледный и несколько худощавый. Длинная борода придавала ему вид апостола. Лицо его не было в строгом смысле красивым, но трудно себе представить что-нибудь приятнее выражения его добрых голубых глаз, оттененных длинными ресницами, и нежнее его детской улыбки. Его ровный, протяжный голос ласкал слух, подобно низким симпатичным нотам песни, и проникал в самую душу.

Он был очень бедно одет. Хотя на дворе стояла настоящая русская зима, — на нем был парусинный пиджак, с большими деревянными пуговицами, который от частой мойки успел уже превратиться в тряпку. Поношенный черный жилет закрывал его грудь до самой шеи: и всякий раз, когда он подымался, чтобы произнести свои несколько слов, можно было заметить, что брюки его не по сезону светлы.

Когда, по окончании собрания, публика стала расходиться, удаляясь группами по 3—4 человека, — из предосторожности, как это всегда делается в России в подобных случаях, — мне с одним приятелем

пришлось выйти одновременно с этим незнакомцем. Тут я увидел, что весь его верхний костюм состоял из легкого пальто, старого красного шарфа и кожаной фуражки. Он не носил даже столь обычного у нигилистов пледа, несмотря на то что в этот вечер мороз доходил до 20 градусов. Распроцавшись с моим приятелем, с которым, по-видимому, был немного знаком, он быстро пошел, почти побежал по улице, чтобы немного согреться скорой ходьбой. Через несколько мгновений он скрылся из виду.

— Кто это такой? — спросил я своего спутника.

— Дмитрий Лизогуб, — был ответ.

— Лизогуб? Черниговский?

— Да. Черниговский.

Невольно я посмотрел еще раз по направлению, в котором исчез этот человек. Дмитрий Лизогуб был миллионер, владелец громадного имения, состоявшего из усадьбы, земель, лесов, в одной из лучших губерний России. Несмотря на это, он жил беднее последнего из своих приказчиков, потому что все, что у него было, он отдавал на революцию”.

Через два года после этого Кравчинский встретился опять с Лизогубом, уже как член с членом, — “в одной из тех организаций, в которых люди сходятся и узнают друг друга так же хорошо, как если бы они были членами одной семьи”. Опасность, техника заговора, множество делишек и дел — все сближает этих людей, как матросов корабля среди бурного и опасного моря, как ремесленников, работающих у одного верстака. Тут просто некогда скрывать себя и кокетничать. И вот общее впечатление, которое вынес Кравчинский (совершивший вскоре покушение на Мезенцова, шефа жандармов) из общей работы:

”Было бы слишком мало назвать Лизогуба чистейшим из людей, каких я когда-либо встречал. Во всей партии не было человека, равного ему по совершенно идеальной нравственной красоте. Отречение от громадного состояния на пользу дела было далеко не высшим из проявлений его подвижничества. Многие из революционеров сделали то же, но другого Дмитрия Лизогуба между ними не было. Под внешностью спокойной и ясной, как безоблачное небо, в нем скрывалась душа, полная огня и энтузиазма. Для него убеждения были религией, которой он посвящал не только всю свою жизнь, но, что гораздо труднее, — каждое помышление: он ни о чем не думал, кроме служения делу. Семья у него не было. Ни разу в жизни он не испытал любви к женщине. Его бережливость доходила до того, что друзья принуждены бывали заботиться, как бы он не заболел от чрезмерных лишений. На все их замечания по этому поводу он отвечал обыкновенно, как бы предчувствуя свою преждевременную кончину: ”Мне все равно не долго жить”. И он не ошибся.

Его решимость не тратить ни копейки из денег, которые могли пригодиться на дело, доходила до того, что он никогда не позволял себе проехаться на конке, не говоря уже об извозчике. Помню, как однажды он показал нам два предмета, составлявшие принадлежность его парадного костюма, — складной цилиндр и перчатки. Он приобрел их во время оно, когда, благодаря своему положению, должен был сделать визит черниговскому губернатору или кому-то в этом роде. Перчатки

были нежно-пепельного цвета и казались новешенькими. Он сообщил нам, однако, что они у него уже три года и, улыбаясь, объяснил маленькую хитрость, к которой он прибегал, чтобы сохранить их в таком виде: он надевал их только на пороге приемных зал или кабинетов, куда ему нужно было изредка являться. Что касается цилиндра, то тут дело было сложнее, так как уже с год тому назад пружина поломалась, а он все не мог собраться отдать ее в починку. Всякий раз он находил, что необходимый на это двугривенный можно употребить производительнее. Однако, для поддержания своего достоинства, он всегда входил в гостиную не иначе, как с этой самой шляпой под мышкой, между тем как у него в кармане покоился неизменный кожаный картузик, который он носил лето и зиму. Выходя на улицу, по окончании визита, он обыкновенно делал несколько шагов с обнаженной головой, приглаживая для виду волосы, и затем, отойдя на некоторое расстояние, извлекал из кармана свой пресловутый кожаный картузик”.

Так свободнее — и только. В самом деле, можно ли делать революцию в цилиндре и перчатках? Так же мало, как мало было возможности Петру Великому учиться в Саардаме корабельному ремеслу, продолжая носить ”охабень” и ”ферязь”. По работе — платье, как и обратно — платье тоже по работе. ”Охабни” и ”ферязи”, в которых нельзя было пошевелиться, оттого и появились в старой Москве, что бояре, являясь только к царскому двору и сидя в Боярской Думе, ”уткнув в землю бороды и молча” (запись Котошихина) уже века не имели никакого дела для себя. Явилось дело, при Петре — и пришлось, по делу, переменить и платье. Но теперь вновь все русское общество, в ”служилой” его части, оделось в мундиры, в серебро и золото — так как вновь для него наступила пора ничегонеделанья. В мундире чиновник, в мундире адмирал, в мундире военачальник; на груди привешенные на ленточках вещицы; в мундире духовные лица всех ярусов: эти ”духовные” одеяния уже так сложны, что в них ”облачаются по церемониалу”... Ну, и исчезли победы петровского времени, исчез подвиг доброго самарянина, перевязывавшего раны найденному на дороге израненному путнику. Все исчезло, всякое дело. Теперь ”герою” ни побегать, ни нагнуться. И стоят ”герои” в линейку, и сидят ”герои” рядышком: красиво, нарядно, мужичкам и купцам есть на что полюбоваться, солнце горит у них в золоте и серебре... Как в сказке. Но ”сказочные” царства непрочны и в сказках много бывает ”дурачков”, которым в реальной жизни некуда деться, некуда их девать. В ”сказке” они лежат или верхом ездят, ибо ”сказка” хлеба не просит, а на черной земле надо добывать хлебца, а для хлебца надо иметь разум работать. И вот пришли другие люди и сняли опять, как при Петре, — мундир, оставив его только для тех случаев, когда нужно являться на глаза этих ”ненужных” людей, которые почему-то воображают, что они суть ”самые нужные” в отечестве... На самом же деле опять пошла борьба, как при Петре Великом, только уже не под руководством гиганта, о коем поэт сказал:

То — академик, то — герой,
То — мореплаватель, то — плотник, —
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник,

а под своим собственным гигантским водительством, по своему замыслу, по своей инициативе. В самом деле, теперешнее освободительное движение, если бы на него посмотреть с луны, представилось бы какою-то всеобщей борьбой мундиров с рубахами, или, пожалуй, штурмом людей в "кожаных картузиках" и "парусинных пиджаках", в чем всякая работа ловка и спора, легка и весела, — против огромного Ноева Ковчега, переполненного мундирами и мундирами, до того тяжеловесными и ни к какой работе не приспособленными, точно люди эти родились без труда, живут без труда и вот, кажется, пришла минута "без труда" им и опочить вечным сном...

Ты все пела... это дело,
Так поди же попляши!

как говорит в басне трудолюбивый муравей нарядной стрекозе. Холодно. И жмется бедная стрекоза. Нечего делать — зима идет.

НА СУДЕ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

...Опять эти нескладно сшитые, обвислые сюртуки, помятые крахмаленные сорочки, причесанные "пятерней" волосы — перемешались с пиджаками при рубашке навывпуск... И эти черные как вороново крыло кофточки и юбки девушек, женщин, при белокурых волосах, серых или голубых глазах, смеющемся лице...

Я подал карточку с специальной рекомендацией, и судебный пристав через ряды полиции и жандармов провел меня в залу особого присутствия Судебной Палаты, где судится Совет рабочих депутатов.

Она небольшая и имеет какой-то заношенный, старый, провинциальный вид. Света мало. Впрочем — октябрь, и в Петербурге вообще света мало. В 2-м часу дня зажигают люстру, — какую-то бедную, завалиющую. Все вообще бедно в этой зале, против ожидания. Впереди три больших стеновых портрета — государей Александра II, Александра III и ныне Царствующего. Они обрамляют высоко поставленный стол суда, за которым сидят тихие фигуры. Все вообще тихо. Вследствие скверной акустики, голосов почти не слышно, — ни свидетелей, повернутых к публике спиною, ни обвиняемых — справа, ни самого суда. Я напрягаюсь, вслушиваюсь, всматриваюсь. Кто-то говорит, — как шепчет: но кто — невозможно разобрать за недвижностью всех фигур и какой-то страшной безличностью, которая нависла над судом.

Когда не можешь слышать — удвоенно смотришь. За высоким судебным столом я прежде всего сосредоточился на Артаксерксе. Так я моментально назвал в себе изваянную темную фигуру недвижимого человека в шитом золотом мундире: лет за сорок, около пятидесяти, смуглый цвет кожи, черные волосы, посеребренные проседью — и, главное, величие лица и такая царственная недвижимость! Угрюм, сере-

зен. "Этот засудит, непременно засудит!" — подумал я. "Как перед таким стоять и отвечать? ...бедные рабочие депутаты в помятых сорочках!" Рядом с ним, тоже в мундире, но более прозаическом, — сидел, как я подумал, "пижон": нет еще 30 лет, или около того. Усы и этакое гладкое, счастливое, неопытное лицо. "Ну, этот неважен! ...далее". Дальше сидело что-то худое и болезненное, как-то уйдя глубоко в огромное кресло. Напрягаю глаз. Как будто сейчас оно говорит. Решить трудно, ибо голоса решительно не слышно, а в зале если не тепло, то сыро. "Худое и болезненное" на меня положило впечатление крысы, облитой керосином, и которую забыли зачех. Поэтому она имеет вид чего-то больного, мокрого и несчастного. "Ему бы доктора", — подумал я о, по-видимому, говорящем: "какое же он имеет отношение или какую роль в этом деле, где ходуном ходят волны и бурлят такие чувства"...

Мокрое замолчало. Стал что-то говорить господин слева, тоже в мундире, но совсем простеньком. Молодой, кажется с усам, но вообще со слабой растительностью, и рост небольшой. Ничего не видно и ничего не слышно. "Какие они судьи!" "Впрочем, — оглянулся я на Артаксеркса, — этот один все заменяет и всех возмещает". "Недаром — суд *сословных представителей*. Это граф или князь, на всю Россию видный. Судит Россия, в лице своих сословий, — и председатель или прокурор тут только между прочим. Произнесет свой вердикт страна, а министерство юстиции дало только обстановку и формы. У него взяли залу, плохую — и только".

Так думал я, неопытный Анахарсис, дней шесть назад, когда впервые вошел в эту залу. Было решительно скучно, бесцветно. "Хоть бы покурить". Дали перерыв, и я вышел.

И был же я удивлен, когда среди публики, торопившейся в буфет, вдруг увидел, как, обгоняя всех, семенит ножками мой Артаксеркс. "Боже мой, где же он, владыка Востока?" Я взглянул на лицо. И оно мне показалось не таким уже важным. Правда, смуглое, с проседью, — но где же это величие старой бронзы? В коридоре было светлее, и на маленьких, жиденьких ножках этот золотой мундир показался мне совершенно обыкновенным.

— Кто это? — с досадой спросил я.

— Неужели не знаете? Тройницкий. Депутат от города. Разве не видали в Городской Думе?

Я никогда не бывал в Думе и мысленно "сплюнул" на сторону от своей ошибки. "И вечно я такая телятина".

— Ну, а молодой кто, рядом с ним?

— Граф Гудович. Депутат от дворянства.

— Гм... гм... А потом?

— Третьим сидит депутат от сельского сословия (я не помню: может быть, сказали — "от крестьянства").

Ну, тот был совсем незаметен. Также в сюртуке, чуть ли не со следами мундира же, и окончательно молчал. Видно было, что он и никогда не произнесет слова, и в вердикте "не обнаружит своего суждения". "Суд сословных представителей"... Но я думал видеть Сусаниных, Мининых, потомка Суворова-Рымникского, я думал видеть Историю-судительницу, и недаром мечтал об Артаксерксе. Эта иллюзия не столько зрения, сколько ожидания, была во мне так естественна. Уверен,

что и во всей далекой России поддаются этой иллюзии, и издали, вероятно, она и мерцает... Прозаик-Петербург во всем разочаровывает.

— Ну, а в середине кто?

Я спросил о большой крысе.

Кого я спрашивал, — широко раскрыл глаза.

— Как *кто*?

— Бледный такой, с большими волосами. Слабым, еле дышащим, голосом... Так глубоко ушел в кресло?

— Боже мой, да это же *председатель*!

"Вот тебе и опять телятина!" Но ведь он так молод?! А "председатель суда", даже обыкновенного окружного, — всегда старец. Так я видал! Да и по логике это — муж "в приказах *поседелый*", который "добро и злу внимает *равнодушно*"... Правда, и этот не утороплен, не оживлен, но единственно от болезни... Председатель *Судебной палаты* мне решительно представлялся именно с челом Артаксеркса, и я Тройницкого-то и принимал за председателя суда, и вообще того, кто "судит и засудит"...

Теперь, на шестой день, я ясно вижу, что собственно "историю суда" ведет и создает именно председатель, который все и вершит, всем управляет, и, словом, имеет значение "переднего ведущего колеса" в локомотиве и поезде. Роль его не только не та, к какой мы привыкли при мысли о председателе обыкновенного суда, с присяжными заседателями, но и совершенно ей обратна. Он, в сущности, совмещает в себе и прокурора, и истца, и следователя, и присяжных, — ибо он расспрашивает свидетелей. Мундиры, напротив, и "Артаксерксы", и "потомки Рымникского" только "между прочим", чтобы "издали видно было" и в "России думали" и "за границей полагали, что"... Председатель — судья; а в горячей схватке перед ним в сущности это — памяти рубашки, справа от публики, и синие мундиры, обильно толкующиеся на крайнем левом фоне, около входа в залу, и в коридоре перед залом.

Сегодня я их рассмотрел, этих схватившихся. Тут был жандармский ген.-м. Иванов, и тот офицер, помнится Модель, — что арестовывал Совет рабочих депутатов, и еще несколько. Что кто-то из них, кажется ген.-м. Иванов, принял "женщину в помятой кофточке" за Веру Засулич, — единственно по сему слабому признаку помятой кофточки, — и удивляться нельзя. Может быть, я ошибаюсь, — но мне побрезжилось при взгляде "налево", что вследствие специальности этой службы и усиленной "благонамеренности", какой она очевидно требует, на нее выбирают только людей, которые бы даже "Птички Божией" Пушкина не читали; а о революции, да и обо всяком вообще "движении", если это не есть "движение" жандармской лошади, осаживающей публику, — думали, что "это сплошь все каторжное дело", и уж тут разбираться совершенно не в чем и не к чему... Никогда так, как здесь, я не чувствовал, что ведь нужно бы им что-нибудь понимать во всем том строе идей, желаний, мотивов, надежд, — с которым они непрерывно имеют дело; что "жандармская служба", "охранная служба" требует университетского образования, но (дадим зверю дорогу) — с "уклонением направо", как был "уклонен направо", фанатично уклонен древний Платон, житель республики и поклонник сиракузских владык... Хотя это встречается в очень небольшом проценте, но встречается же, — что люди утонченнейшей

культуры, высокого спиритуализма, самых обширных сведений, становятся фанатическими врагами прогресса, движения вперед, всякого развития и свободы, — друзьями деспотизма, изуверами истинно "сиракузских" или "истинно-русских чувств"... У нас был один великий пример подобного уклонения — это публицист (мало оцененный) 80-х годов, Конст. Ник. Леонтьев, автор книг "Восток, Россия и славянство", "Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни", "Национальная политика, как орудие всемирной революции" и "Анализ, стиль и веяние; критический этюд о романах гр. Л. Н. Толстого". Менее систематичным и идейным, но столь же страстным консерватором был, начиная с 63-го года, М. Н. Катков — и длинная плеяда более умеренных или средних консерваторов — Рачинский (С. Н.), Страхов (Н. Н.), Данилевский (Н. Я.). Вообще для "обороны" у нас нашлись бы силы, которые могли бы померяться с революцией, измерив всю глубину ее. Конечно, чтобы они *пошли* сюда, на "охранение основ", — самое это "охранение" должно бы организовываться иначе, академически, учено, — хотя также и физически: но ведь Платон-афинянин был не только поэтом и философом аристократии и тирании, "владычества жрецов и воинов", но и реальным другом реального Дионисия Сиракузского, с его реальными "средствами"... Но почему же только у нас, — хотя, впрочем, кажется и везде в Европе, — на "охранение" призваны силы, которые говорят нечленораздельно, которые "Птички Божией" не знают и как-то урчат:

— Служба-с, м. г., служба!

— Я говорю: служба!

— Когда я служил, в 94-м году...

Или: "когда я выслужусь, в 908-м году"...

И только. И больше ничего. Ни вправо, ни влево, ни взад, ни вперед. "Служба"... Ну, как же тут понять, что такое "Совет рабочих депутатов", когда даже единственную, неперемнную и достаточную "приметую" Веры Засулич считается "помятая кофточка"... Боже мой, он не мог понять, что "помятых кофточек" сколько угодно, и если бы "Вера Засулич" было столько же, сколько их, то судились бы и, обратно, судьями были уж не те лица, а в обратном порядке. Но что спрашивать с того, кто не знает "Птички Божией", и Лассалья принимает за бежавшего с Сахалина каторжника, которого всеми усилиями ловят на Западе и Востоке. "Лассалья, Беленцов, рабочие депутаты — хватай, лови!"

Слишком элементарно.

И я со скукою перевел глаза направо, назад, прямо перед собою, — на скамью, где сидела небольшая группа свидетелей.

— Ба, да я их всех видал! Это — те, с кем мы спорили, горячились, расходились, сходились не по житейским мотивам, а вот по этим мозговым и "будущим", касающимся всей России или всего будущего. Носарь, который представляется в перспективе каким-то Ринальдо-Ринальдини революции, начальником таинственного заговора, имевшего в виду сокрушить Россию, — имеет ласковое, простое, только очень вдумчивое и сосредоточенное лицо бурша, недавно кончившего университет. Рост небольшой, фигура средняя, все — "среднее"; волосы не белокурые, как выходило по фотографии, давно распространенной, а темно-русые, не густые и часто забираемые "пятерней". Просто — студент,

который редко чешется. На свою фотографию он не похож, а еще меньше на Ринальдо-Ринальдини: это — типичный школьный учитель, даже не по сердитой математике, а по русскому языку или по истории, вообще по чему-нибудь благодушному. "Лицо филолога" — я так бы определил. Только часто он останавливается (в паузах, в антрактах) среди разговора, и тогда лицо делается очень задумчивым и сосредоточенным: но вот недалеко, из публики (зал очень мал, и это возможно) жена его окликнула:

— Владимир, хочешь кофею? А? Я пришлю! (я не очень точно схватил имя, но помню, что она его назвала совсем по-домашнему).

И он поднимает задумавшуюся голову и все лицо освечивается ясною, доброю улыбкою.

— Не может быть, чтобы это был тигр! Невероятно! Это нужно не знать "Птички Божией", чтобы подумать так.

Я не нарочно пишу, а что видел и как видел. Чтобы быть бесстрастным, я скажу, что "чего-нибудь этакого такого" я бы скорее уже ждал от жены его: маленькая, почти низкорослая, широко и свободно раздалась она в плечах, в шее, в лице, во всей этой большой голове, или которая кажется большою от красивых светлых локонов, которые лежат у нее на плечах. Немножко бы побольше роста и латы — могла бы играть Жанну д'Арк:

О, почто на шлем воинственный
Я свой жребий обрекла, —

как пел когда-то Жуковский. В самом деле, это типичная "Иоанна из Шиллера", — но только совсем в обратную сторону: ушедшая не в мечту, а в действительность, но со всем пылом мечты, и — не в воинство, а в рабочие толпы. Белый, большой, туго накрахмаленный воротник крепко взял ее шею — и вся она отчетливая, сильная и невообразимо живая. Когда бы я ни взглядывал на нее — ей всегда "что-то хотелось сказать": все лицо в движении, — и вот-вот что-то она сделает. "Это не ее облили керосином, а она облила керосином" — и только ей не дали зажечь. Я ее заметил, среди публики, в первый же день, как пришел в суд, — и нельзя было не заметить. Но не знал, кто она, — и узнал позднее. Когда сегодня я смотрел на лицо ее, совсем в аршине от себя, я подумал: "Ну, ты, однако, не создана для любви и вообще "страсти нежной, которую воспел Назон", — как говорит Пушкин в "Онегине". Что-то совсем другое, — общественное, групповое, не постельное, не спальное. Жены — они должны уметь спать: а как заснет такая? Она одним глазом спит, а другим смотрит. Под подушкой у нее всегда "конституция", — да и на подушку она не ляжет, положит вместо себя куклу, а сама убежит к "милу дружку", — не за поцелуями, а за прокламациями. Хороша, очень хороша: но я бы ни за что не мог полюбить такую, я и всякий бы, кто захотел бы положить в любовь, в семью, в детей — все. "Не нужно!"

И я внимательнее смотрел в это, во всяком случае, замечательное лицо. В аршине расстояния можно многое рассмотреть: лепка лица вся мужская; и красота его, в сущности, мужская же, "мыслительная и работная", и только локоны эти, такие женственные, так удивительно соразмерные, — не длиннее, чем нужно, и не короче, чем нужно, для полной их

(локонов) красоты — делают лицо и фигуру женственною и красивою. Без них, это — "друг", "товарищ", лишь случайно надевший юбку.

И около нее такой контраст: выше ее ростом, почти высокая, в белой-белой суконной или кашемировой кофточке стояла точно из "епархиального училища" девушка. Но, взглянув на руку, я увидел обручальное кольцо. Почти сплошь в публике — жены, сестры и матери обвиняемых или важнейших свидетелей. Вход затруднен, без "особой рекомендации" нельзя, — и в сущности публика вовсе отсутствует, кроме корреспондентов газет, стенографистов и вообще "необходимых принадлежностей", — и вот дальше эти, "свой". Поэтому зала суда очень семейна. Но я отвлекся: насколько г-жа Носарь была лишь по-видимому женщина, а в сущности "товарищ", Иоанна из деревни Дом-Реми, пришедшая освобождать же, но только не Францию от англичан, а "Россию от старого режима", настолько эта милая женщина, — если ее не оскорбит мой эпитет, — ушла вся в бездонную свою эту женственность. Видно, что тут, за перилами ("публика") они все знают друг друга: и к ней обращались, шепча, говоря. И она отвечала улыбкой, наклоном головы, но ни разу не раскрыла рта и не сказала ни слова. И в перерывы я ее видел сидящею одиноко на скамеечке. Лицо ее было чрезвычайно печально или, скорее, казалось печальным от какой-то переполнявшей ее мысли, или глубокого чувства, или большой тревоги. Точно она что-то разгадывала, тревожную и опасную загадку, и не успела разрешить "своим слабым женским умом". Лицо умное — но умеренно. Вся фигура спокойная, очень. Но все это обыкновенно, у всех: прелесть ее составляло то, что, раз взглянув на нее, — как-то потом и не умеешь представить себе "Таню Ларину в разочаровании" или Лизу Калитину, отходящую в монастырь, — иначе чем *только в этой высокой, скромной фигуре*. Бывают же такие "эмблематические фигуры"... Художники русские, — где вы и что вы видите?

Мне ужасно хотелось, когда она сидела одна на лавочке, подойти к ней и спросить: "Который из подсудимых ее муж?" — и тем косвенно узнать и ее фамилию. Может быть, это всем известное и мне известное имя? Не знаю, не знаю! Она не была хороша, не была дурна. "Среднее"... Но красоты так много, на улице, везде. А души человеческой так мало везде же, и так помнится она, когда ее встретишь...

— Ну, Носарь с Носарихой не долго потовариществуют: а *эта* полюбит раз и разлюбит раз. Жизнь, любовь, труд — и могила.

Помню я раз, в Венеции, рассматривал долго картину Тициана "Любовь земная и любовь небесная"... Какой-то длинный ящик, что-то вроде католического "алтаря" или стола что ли, и по обе стороны его сидят две эмблематические фигуры — женщины. "Il amore celèste", "il amore terrestre"... С тех пор я не умею не разграничивать эти две красоты, и раза два в жизни встречал эти два типа красоты еще в более ярком противопоставлении, чем дано у Тициана. Ведь, достаточно назвать *так*, — о прочем сам догадаешься. И здесь, обернувшись назад, "в публику", и смотря на этих двух "подруг в революции" (*эта* и жена Носаря), я повторил теперь в себе:

— Amore celèste!

— Amore terrestre!

И — как из "катакомб" — из духовенства, откуда-нибудь из приволжской далекой глуши, докатилась и запала эта звездочка в "русское освободительное движение?"...

Запала... И кто знает, не появится ли с дымящимся оружием здесь, там?

Как мы вообще мало знаем.

— Служба-с, сударь вы мой, — служба! В 97-м году, когда я, в чине майора, служил в Киеве, мы лавливали таких! Теперь я полковник — и ловлю. Буду ген.-майором — и буду ловить! тоже служба, милости-вый государь, служба!

Папироска попыхивает. Шпоры позвякивают.

И куда, куда, "в тесном союзе" и "крепких объятиях", понесешься *ты* с этою *amore terrestre* или *amore celêste*?..

Голос у Носаря не громкий, не для публичного заседания. Это сейчас можно было почувствовать, когда 14 октября после его речи, в которой он от лица всех подсудимых попросил суд вернуть их в предварительное заключение, отказываясь в дальнейшем участии и присутствии на судебном разбирательстве своего дела, — встал и сказал несколько слов Троцкий (псевдоним). Это — еврей, по происхождению крестьянин Херсонской губернии, по образованию — университетский. Как лицо Носаря типично филологическое, так лицо Троцкого типично юридическое: он читает, интересуется, агитирует в сфере правовых, экономических вопросов, и все под углом математики и механики. Это крепкая, совершенно еще молоденькая, широкая фигура, с большой волосатой головой. Но я заговорил о голосе и речах: в то время как Носарь что-то глухо и незаметно, не впечатлительно ни для кого *говорил*, Троцкий произнес всего несколько слов, но он именно *произнес*, а не проговорил их. Публичная речь, публичное сказывание есть нечто не только не сходное, но во всем противоположное домашнему. Хотя говорят, что "*oratores fiunt*", т. е. делаются, приготавливают себя сами: но я убежден, что для этой "выделки", для самой ее возможности и успешности, нужна целая серия врожденных качеств, хотя бы только и вспомогательных. "Ораторы" совершенно так же "рождаются", как и поэты: хотя, конечно, и упражняются потом, как не обходится дело без "упражнений" и у поэтов. Ораторство требует, я думаю, жесткости души, некоторой глухоты и притупленности всех ее высших утонченных даров; это что-то бронированное, внешнее, крепкое снаружи и не драгоценное внутри. Ну, могли ли бы мы представить себе Христа оратором? А это — мера и прототип высших душевных свойств, сияние спиритуализма. Ораторами невозможно себе представить Пушкина, Жуковского, Гоголя; очень можно — Карамзина и Державина, Чернышевского. Словом, это совсем другой чекан человека: и я веду речь к тому, что ораторы, совершенно так же, как и поэты, "*nascuntur*", рождаются. Вернусь к предмету своему: Троцкий *разрисовал* свои немногие слова, точно размазал их по вниманию слушателей. И в то время, как все и весь суд точно что-то шептал и шептался, — и маленький прокурор и мокрый председатель, — этот наполнил небольшую залу звуками, которые были слышны в последнем уголке.

Я бы не передавал всех этих в сущности пустяков, если бы они не привели меня к недоумению, довольно принципиальному, и которое

важно будет решить историку: *чем же, почему же* Носарь, при своей очевидной скромности и антипубличности, так выдвинулся в рабочей среде, сел на первое место и был виден *он* всей России, тогда как другие, шумные и крепкие, скрадывались?! Не лежит ли разгадка в том, что я наблюдал вообще подсудимых как в *толпе*, отвлекаясь от личностей. Повторяю, в толпе этой Носарь совершенно незаметен: заметишь многих других раньше, чем его. Его надо выискивать всякий отдельный раз, даже когда уже знаешь его в лицо, когда вам указали "главного". "Главный", "главенство"... решительно это несовместимо со скромною фигурою, при высоком лбе с большими "взлизами" на висках, при негустых и мягких волосах, высоко поднятых и все же легших мягко в самых кончиках. Ни — прическа, ни — не прическа. Верно, чешется "пятерней", — или же волосы, именно мягкие, и без прически ложатся "как надо"...

Я заговорил о *толпе* их. Есть "товарищ" — и он родился из "товарищества". Сперва "товарищество", дух товарищества, нравы его, быт его, вся его особенная и довольно требовательная и утонченная нравственность: и уже изо всего из этого рождаются мало-помалу или ко всему этому примыкают поодиночке "товарищи". Носарь едва ли что-нибудь себе требовал, добивался, интриговал: но все почувствовали в нем тахи́м "товарищеского духа" и дали ему место как *коллективному выражению* себя, как человеку, который будет не "себя" выражать и не "себе" искать, а будет какою-то *внутреннею душою* их всех и всего их дела. Решительно, на Носаря никто не обращал более внимания, чем на других; не было ни малейшей "отметины" в обращении с ним сравнительно с другими. "Как все"; и "как со всеми". По странной молодости почти всех подсудимых, многие из них, и именно самые молоденькие, были явно тщеславны тем неудержимым тщеславием, какого нельзя убить в гимназисте, самом серьезном, милом и даровитом. Красные цветы в петличке пиджака или в руке — это черта задора и тщеславия. Не помню, видел ли я красный цветок на Троцком: но могу представить. Напротив, Носаря я совершенно не умею представить с красным цветком и его, конечно, не было у него. Но тут — мера. "Сам не ношу, но никому не мешаю". "Товарищеский дух", сколько я сужу по "Запискам" Степняка и по некоторым мемуарам в "Былом", одною из великих притягательных сторон своих имеет эту постоянную, но необыкновенно деликатную критику и самокритику, которая поправляет другого, *никогда его не оскорбляя*.

Во всех, теперь уже многочисленных, мемуарах нет ни следа хотя бы малейшей *личной обиды*, нанесенной кому-либо; нет обиженного; и нет обидчивости. "Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем", — увы, символизирующей всю русскую жизнь, и которую вы отыщете совершенно в равной мере у русских министров и у русских сапожников, у журналистов и у священников, — этой пресловутой ссоры по пресловутому поводу здесь не только нет, но она и умерла какою-то вечною смертью, без воскресения. Причина этого заключается, как кажется, в огромном сосредоточенном внимании на больших делах, больших темах, на "общем деле", которому все должны быть верны и преданы; затем — на предоставлении полной личной свободы во всем, что этого "общего дела не касается". Мало сказать — в "предоставлении свобо-

ды": в каком-то уважении, в какой-то любви и бережливости ко всему остальному миру "товарища", его особому, личному, капризному и, напр., самолюбивому. Мы в качестве Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей постоянно желчно грызем друг друга за это, напр. хотя бы самолюбие, за "мелочность", "тщеславие" и вообще недостаточную "добродетель" и "серьезность". Просто мы не умеем быть *милыми* друг другу и в силу этого органически не способны поступать по пословице: "Не по хорошему — мил, а по милому — хорош". У них — потому, вероятно, что дело их трудновато и рискованно, — уже самая принадлежность к "товариществу" создает для всякого этот основной фонд "милого", "милости", "милования", — на фоне которого и разрабатываются эти отношения с подчеркнутыми мною особенностями. Далее, — и здесь-то и лежит одна из причин притягательности всего "освободительного движения" для множества людей, — входя в сферу таких отношений к себе, каждый действительно чувствует себя здесь менее оскорбленным, менее сдавленным, менее, по человечеству, униженным, чем где бы то ни было в другом месте и в другом состоянии, в составе чиновников, духовных, писателей, артистов, где бы то ни было. Отсюда, от этой меньшей униженности и даже от совершенно обратного этому отношения к себе так жадно и бегут сюда униженные инородцы, эти "незаконнорожденные дети" государственности, и более всех других "пархатые евреи", которые не только в правах, но и в самом быту везде оскорбляемы. Бегут — и забывают свою родину, родоначальные седые генеалогические деревья; вернее — не забывают, но более и не настаивают на них. Кто только вглядывался ближе в движение, вглядывался не через очки печатной бумаги, а в натуре, знает непреерекаемым образом, что только "ковачи нашей свободы", — они *одни*, не римляне, не греки, не немцы, не англичане, не французы — сумели победить, сумели истребить страшную отъединенность евреев, страшную их замкнутость и недоверие ко всем инородцам, чужакам, инокультурникам; ко всем, кто "не мы". Здесь только, в первых лучах русской свободы, они впервые почувствовали себя "дома", не чужаками, не оттолкнутыми; и сказали: "здесь нам хорошо — и мы не хотим быть больше *мы*" или "только *мы*"; "здесь мы — *со всеми*".

— Мы, папаша, с вами не сходимся в убеждениях, а потому я переезжаю на квартиру. Денег мне не нужно, а только позвольте мне приходить обедать.

Это одна фраза, услышанная старым евреем от молодого. Другая была еще резче:

— Ах ты, жидовская морда! Я знаю, что у тебя на уме и что ты ко мне придираешься: ты бы уже давно меня женил, и тебя манит понячиться с моими детьми... Уезжаю!..

Эти две фразы с большим смехом мне передал серб: ну, какими мерами и за какие миллионы государство купило бы это душевное растворение еврейского духа, еврейской плоти — в русской стихии?! Тут уже, в этих словооборотах — все русское, все от плоти и духа Д. И. Писарева и Ник. Добролюбова. Вот как колесо истории вертится и катится туда, куда мы его не гнали, и никак не может докатиться туда, куда мы его и улащивали и подхлестывали ехать. Пришло *объединение* — да не справа, а слева; и "растворились в русской стихии", — но не

в славянофильской, а в писаревской. "Кто хочет приобрести душу свою — пусть *потеряет* ее": сам-то Писарев только и писал, что о Конте, Бюхнере и Дарвине, и как будто потерял всякую "народность". *Потеряла сам: но скольких приобрел для русской народности!*

* * *

Вот впереди меня, на скамье, сидит Рубинчик (какая фамилия!), еврейка-свидетельница. По росту, совсем крошечному, живости движений — совсем гимназистка, даже не старших классов: только лицо (в выражении, не в годах) зрелое, и даже перезрелое. Сухое, дельное, пронырливое. "В щель пролезет" и из "воды суха выйдет". Будешь топить — не утопишь. Мне сообщили, что эта, совсем по возрасту гимназистка, очевидно не старше 25 лет, ушла вся "в движение" и играет в нем видную и ответственную роль. Под "движением" я не разумею, впрочем, какой-нибудь конспиративности, — а совершенно открытую и правомерную деятельность, только направленную к свободе. Мне назвали один из самых видных и громких профессиональных союзов, где она состоит членом правящего Совета. "Вот и таких маленьких берут"... Да и как не взять, когда в воде "не тонет", в огне "не горит"...

Сзади, на аршин от меня, в группе около г-жи Носарь и той милovidной женщины-девушки, что я описал выше, стояла темная старуха. Большой рот ее, раскрываясь при разговоре, обнаруживал совершенное отсутствие верхних зубов, и 2—3 зуба в нижней челюсти. "Что она их не вставит: это так безобразно!" Она была очень спокойна, медлительна, и все в ней было плавно. "Верно, помещица, затесавшаяся в пропаганду". Была очень скромна: при малейшем движении ко-го-нибудь — вставала и давала дорогу. Фигура крупная, вся в черном, воротничка нет. "Вот старая игуменья, попала в среду молоденьких. Да кто она?"

— Вера Засулич, — вы не знаете? Она судилась в этой самой зале. И вот этот седой судебный пристав и тогда был приставом. Все другое переменялось... Сколько перемен!

— Сколько перемен! — сказал и я в душе.

* * *

Я пропускаю сказать об одной Палладе в "публике", занявшей и мой глаз и мои догадки... Она переговаривалась с подсудимыми, т. е. тоже была из жен или сестер. Я не буду говорить о ней, ибо это вне истории и политики. Сестрой и другом умею ее представить себе, женою — нет. Есть такие врожденные и вечные девственницы. В коридоре уже я заметил, что она одета очень хорошо. Вся в черном же, как "они все" (тоже форма!): но стан высокий, полный, величественный охвачен широкою, в $\frac{1}{4}$ аршина, шелковой лентой, с какою-то белою на нем работой, и от него два длинные, почти до полу, конца падают сбоку и сзади. Есть кокетство и в революции: но зачем оно ей, когда она так хороша?! "Должно быть, она знает, что хороша". Насколько Рубинчик была мала, мелка в теле, настолько эта значительна, породиста. Смуглая, но не очень; русская. Видно было, однако, по частым и обильным переговорам

ее с разными подсудимыми, что она довольно плотно вошла в "дело" и вообще не со стороны и не случайно забрела сюда. С ней говорили и адвокаты, и судебные пристава. Вообще "своя" и "среди своих". — Но что она делает в движении, когда ей стоять бы где-нибудь статуею на акрополе, как Афина Промехос, с горящим на утреннем солнце золотым копьем?!

Не знаю, что делает. Видно только, в общем охвате глаза, что много таланта, силы вобрало в себя движение... И ходят здесь думушки заветные и страсти буйные.

— Какая же сила у *этой*? Да сила страсти, не личной, не *своей* и не для *кого-нибудь*: а как *общего фонда*, всем *нужного* и везде *расточаемого*, а в борьбе роковой нужной удвоенно. Так моряки-афиняне ничем *не пользовались* от статуи Войтельницы-Девы: но далеко-далеко она была видна с моря, еще от мыса Суния. И они направляли корабль по полосе золотистого ее копя, говоря:

— Там Афины!

Вот и только. И нужно. И вечно.

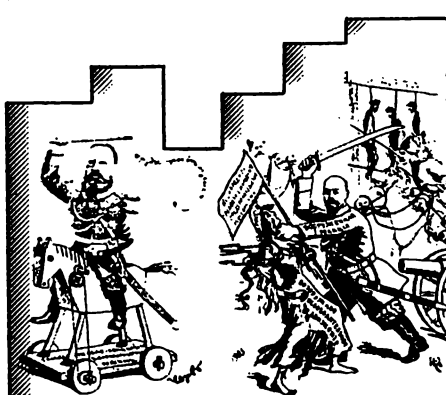
1907—1910 гг.

УВЫ...

8

Что же случилось?





Мимолетное. 1914 год

3.I.1914

Формализм в государстве...

Ну, а попробуйте *без формы*, сняв сюртук...

Вы сняли сюртук, ваш *vis-à-vis* снимает и сорочку...

"Доколе, о Господи", и "quousque tandem, o Catilina!.."



Между тем чиновник, когда его "ревизуют", когда его осматривают и свидетельствуют, как проститутку, негодует больше всего на "форму" и зачем ревизор говорит не "по душам". Но ведь ревизор не знает его, не имеет никакого личного к нему отношения и даже не спрашивает его добродетели, а смотрит "государеву" или "государственную работу". Между тем на ревизиях и вообще пока я служил, меня более всего мучила "форма".

"В *отечестве* и — форма!" "Какое же Россия мне отечество, когда со мной говорят *по форме*".

И я негодовал и плакал (в душе). И только в 58 лет понял. — Без формы *нельзя*.



Да и потом я бы ему (ревизору) плакал в душе, но другой снял бы сверх рубашки и панталоны. Третий попросил бы извинить "взяточки", потому что "детешки"... "Quousque tandem..."



Между тем не я один негодую на форму: но главная часть расхождения литературы с государством и, наконец, "ненавидения Отечества" русскими относится к этой причине, что поэты и художники, беллетристы и публицисты везде встречают "форму".



Чиновник мог бы ответить: "Господа, ведь и вы пишете сочинения пером определенного вида и даже придаете сочинениям определенную

¹"доколе, о Катилина!.." (*лат.*)

форму: предисловие, содержание в главах, заключение. *Без формы нельзя*".

Без формы мир не стоит.

(за "Призраком Большой Оперы")



Появление Гоголя было бóльшим несчастьем для Руси, чем все монгольское иго. Богомолец, он разорил русскую церковь; "патриот", он погнал русских солдат.

И так мало выходил из дому. Все зябнул (воспоминания Аксакова). Поистине, это "пиемия" — заражение крови трупным ядом. В Гоголе было что-то от трупа. "Все мне холодно".

(на Габорио — обложка)

* * *

3.I.1914

Гоголь отвинтил какой-то винт внутри русского корабля, после чего корабль стал весь разваливаться. Он "открыл кингстоны", после чего началось неудержимое, медленное, год от году потопление России. После Гоголя Крымская война уже не могла быть выиграна. Вторая Турецкая (77 г.) была в сущности позорна. В Манджурии мы только отступали. "Этого Расплюева разве можно не бить?"

* * *

3.I.1914

Друг мой Розанов: кабаки проходят, п. ч. время прошло или Бог не захотел:

Что же ты все стараешься, и ночи не спишь, и все "ухитряешься". Это дело Божией хитрости, а не твоей.

(входя в банк)

* * *

3.I.1914

Не вещи от меня отходят, а я от вещей отхожу.

Я и не заметил.

Вещи такие же, живые, нужные.

Но уже не нужны *мне*, которому вообще скоро ничто не станет нужно...

Ни жена...

Ни дети...

Кроме "аршина в ширину" и "сажени в длину". Последняя постель больного ужасна...

(за чтением "Призрака Большой Оперы")

* * *

3.I.1914

Справа с *формой*, которая кажется бездушием и в качестве такового мучительна, м. б., должна заключаться в строгом и явном для слуша-

теля (подчиненного) разграничении *лица и работы*; дабы ему ясно было, что лицо в нем нисколько не задевают, а смотрят его *работу, успешность ее, нужность ее*, — и смотрят от имени и в сущности от "суммы нужд государства". — "Вы работник, я работник: и, смотря вас и дело ваше, также только работаю свою работу государству". "Я не шпион".

На всех ревизоров, между прочим и в учебном ведомстве, у нас смотрят как на шпионов и в качестве таковых презируют их.

Еще в умерение ядовитости формы.

Есть или может быть что-то *среднее* между душевностью и формой. Это дело такта, неуловимого в параграфы.

Высшее начальство может сказать и ревизору:

— Вы не умеете ревизовать. Вы оскорбляете *ледяною* формою подчиненных и разгоните в государстве лучших его тружеников. Ваши ревизии не полезны делу и отечеству, а вредны им.

* * *

4.I.1914

Солнце нашего западничества...

И нужно погасить это солнце, чтобы взошло другое солнце.

Солнце Востока.

(о Герцене; проезжая Семеновский плац)

∞

...может быть, западное солнце и не хуже восточного. Эти Рожер Бэкон, Паскаль, Гёте стоят Песни о Суламифи. Но "наше западничество", имеющее солнцем Герцена и Белинского, вообще не представляет ничего особенного...

(на вокзале)

∞

Не сообразили, что не может свобода ходить в туго застегнутых щиблетах, ни в накрахмаленных воротничках.

Свобода в лаптях. Вечные лапти.

Вечная деревня, немного распушенности и быт.

(на вокзале)

* * *

4.I.1914

Не слушайте, люди, чужих сказок.

Любите свою сказку.

Сказку своей жизни.

Жизнь каждого есть сказка, только один раз рассказанная в мире.

∞

Если даже она тускла, коротка, несчастна: она все же лучше Песен Ангелов. Ибо всякое "я" есть ангел, и песня его единственна.

(в вагоне)

* * *

4.I.1914

Почему я думаю, что каждое мое слово есть истина?

Оно есть истина в отношении моей души, его сказавшей; и тех *мотивов*, побуждений и часто *определенных* доказательств, какие не записаны, но *были*.

Я никогда не говорил неправды. Все мои "да" и "нет" равно истинны.

(в вагоне)

∞

Вытащил мамочку из могилы. И опять молод.

(На концерте Андреева, антракт)

* * *

4.I.1914

Еще мало серебра в волосах. А как седа и устала душа.

(Сядься на место в концерте Андреева)

* * *

4.I.1914

...Волшебный Чайковский.

...И тягуч и могуч.

...Чайковский — змейка, которая кусает сердце.

∞

И не хочется ее оторвать.

(opus 5, на концерте Андреева)

* * *

8.I.1914

...Свежая впечатлительность (про меня).

— Еще бы, если я всегда сплю. Продерешь глаза, и весь мир кажется "новым".

(характер моих сочинений)

* * *

9.I.1914

...позитивисты рассуждают, как дети. Которые, видя стену, говорят: "Это стена", и, видя суп, — что "это суп", и, видя игрушки, — "игрушки", и, видя звезды, — называют их "*светлыми точками на небе*". Все это истинно, но недостаточно.

Позитивисты те же дети. С седыми бородами.

И чтобы они стали *иначе* рассуждать, нужно, чтобы они выросли. Но как это трудно. Ведь большинство рождаются детьми и умирают детьми.

”Детская смертность так велика”.

В *смертности детей* и вопрос...

Нужно, чтобы они выросли. Тогда они узнают, что ”светлые точки” суть часть *астрономии* и детские игрушки — часть *истории культуры*, а стена есть часть дома и относится к области ”архитектуры”.

Можно ли дитяте внушить мысль архитектуры, астрономии и культуры? Напрасный труд. Детство мира непобедимо. И не было бы нужды с ним спорить, если бы оно не было так грубо и иногда жестоко.

Ведь это дети принимают ”бонну” за мать, учителя за ”бога” и думают, что город стоит для ”детского сада”, куда их ”водят гулять”.

* * *

9.I.1914

Какой-нибудь профессор, прочитавший и выучивший 5—6, 50—60 немецких книг и сам не выдумавший даже зубочистки, — не говоря о выдумке паровоза, — приступает к

ИЗЪЯСНЕНИЮ РОССИИ.

...На губах ирония: это слушатели должны понимать, как он умнее России, и, бедные, верят этому; так как они не только зубочистки не выдумали, но и 5—6 немецких книг еще не прочитали. *Умнее и интереснее России*. Так, потеревшись четыре года друг около друга, из ”одного интересного профессора” получается 60 его ”интересных слушателей”. Все они, теперь 61, ”служат” и работают в России: т. е. ”служба” естественно переходит в иронию над ”службою”, а ”работа” состоит в ”интересных разговорах о нас”. Они подают приказания ”вниз”, служебной челяди, которая, уже не рассуждая, бегаёт, торопится и исполняет...

.....
.....
— Слу-ш-ш-ай!! ...кричит городской с одного перекрестка улицы на другой.

— Слышно! — подает ему голос другой городской.

Господа едут в театры, ”тоже и профессор”.

Городовые отдают им ”честь”.

А ведь следовало бы господам отдавать ”честь” городovým:

— Спасибо, батюшка! Для нас постарался. Вот и фонари горят. И никто нас на улице не зарежет.

Это пусть и ”зубочистка”, но которой профессор государственного права не выдумал.

* * *

9.I.1914

Все государство есть труд; все государство есть необозримый труд, для коего самую ”фабрику” и ”машины” заготовляли 1000 лет и миллионы голов. И профессорам давно следовало приказать:

— Шапки долой!!..

— Шапки долой, негодяи!!!

— Шапки долой, мальчишки!

Надо подсматривать, как они выходят на кафедру первый раз: и который, взойдя на кафедру, не перекрестился и не начал лекцию так:

— Милостивые государи и государыни. Я малый и только оттого, что вы все еще меньше меня и мы все тут сидим глупые, то я все-таки, как не такой большой дурак, как вы, и пытался хоть по немецким книгам узнать, как в Германии устроены полицейские участки, — а притом же и сам служил приставом два года в Калуге, — осмелюсь предложить вашему вниманию:

Исторический обзор деятельности за одну неделю полицейского участка.

Причем буду ссылаться как на собственный опыт, так и на немецкие книжки.

Начальство, заметив, что он так начинает, зарегистрировало бы его в "штат профессоров N-ского университета". Прочих же, иначе начавших, — *вон*:

— "Вы не способны к прохождению ученой службы, ибо заняты собою, а не наукой".

* * *

24.I.1914

Трудовое царство...

Это, конечно, прежде всего. С николаевским "быть по сему" можно бы очень распорядиться носить на себе и даже иметь мебелью только "кустарное" и "свое", через что деревня и село распухли бы в объеме.

(дремлю в вагоне)

* * *

24.I.1914

Мое дело любить государя и повиноваться ему. А не судить о нем.

Ибо если я его сужу, то я царь. Но я не царь.

Суть царя, что его судит только Бог, а мы можем рассуждать только о способах исполнить его волю. Или заниматься своим *privatisches Reich*¹.

(дремлю в вагоне)

* * *

26.I.1914

"Общественность" — это где люди притворяются, что они "имеют одну программу". Когда они одной программы не имеют и иметь не могут, потому что это неестественно.

Если нет двух тождественных людей, как могут быть два тождественные желания в разных людях.

Посему-то "общественность" есть еще, где каждый в чем-то угнетен, придавлен соседом или соседями, а кто расширился и поднялся около него. Удачный, горластый, ловкий — расширился, скромный и сидит "скромнее".

Итак: ложь, притеснение и хвастовство — вот три змеи, обвившие всякую "общественность".

¹ личная империя (*нем.*).

Ненавижу. Боюсь. Презираю.

* * *

27.I.1914

...Книгоиздательство "Прометей".

— Какой же "огонь", друг мой, ты приносишь на землю. Ты собираешь милостыню на земле, четвертаками, полтинниками, то за раздетую женщину, то за приглашение "на бой", в котором, сам знаешь, ты не обожжешь руки.

(идя по Невскому)

* * *

30.I.1914

О, мое страшное детство...

О, мое печальное детство...

Почему я люблю тебя так и ты вечно стоишь передо мной?

"Больное-то дитя" и любишь...

∞

Эти парники. Поливка. Вечно мокрые (облитые) штаны. И "гора Юра" зимой (бродили в сугробах). Но всего тяжелее — нóска навоза. Колени надгбались, и руки как оторваны (тяжесть, вес).

Но хуже всего была география проклятая и учение молитв.

"Окропиши мя иссопом" (50-й псалом) и "мыс Таймыр, Матапан", еще что-то, "Ютландия" и "Флорида"...

И я один, один... Заперт на ключ (чтобы учился).

А я никогда не хотел быть "один". То ли "зальемся в соседний огород" с мальчишками.

* * *

30.I.1914 (приблизительно)

П. Б. Струве "категорически выразил", что 1) исключать меня не следует (из Религиозно-филос. об-ва), 2) потому что я "нравственно и всячески неменяемая личность". Казалось бы, "поэтому-то и надо исключить". Но я тоже когда-то категорически высказал, что освободитель России Струве никогда не был знаком с даром остроумия; и потому-то не заметил и в сем случае, что начало его письма в редакцию противоречит концу.

∞

"Исключили?" ...Да. Исключение имеет смысл, когда исключившие выше исключенного. А то ведь выйдет, что "бедные исключили богатого", и солдаты — офицера, и "гуляки" — атамана разбойников.

Дары наши в руке Божией, и оценка деятельности в оценке истории. Но знает каждый горение души своей, — много ли в ней "дров сожжено". И вот, по этому потреблению сгорающего матерьяла, от 1886 г., когда я издал "О понимании" (737 страниц), до теперь — я думаю больше во мне сгорело лучины, угля, дров, кокса, всякой дряни, но и чистого золота, чем не только в ком-либо из исключивших, но и во всех их.

Что же было их "исключение"? И аттестация, что они "не сотрудничают со мною". Значит только, что я не сотрудничаю с ними. Баржа отплыла от берега. С баржи кажется — "берег движется", с берега кажется — баржа движется.

И все условно. Все и "идет", и "не идет", и оба "нужно" и "не нужно".

* * *

II.1914

ХИМА, ВАСЯ И НАДЯ

Хима была кошка, довольно худошавая и не представляла ничего особенного. Но очевидно — на взрослый взгляд. Потому что Вася и Надя привязались к ней совершенно неестественным образом.

Я зашел под дом: оказывается, под домом, под фундаментом его, было целое "помещение" с одной или двумя комнатами и "вообще" подразделениями этого подвала: там они устроили из чурбанов столик, втащили туда большие камни "вместо сидений", натаскали туда хлеба, яблоков и устроили себе "вторую усадьбу". Туда они скрывались по временам. Там, должно быть, жила и Хима.

В одно утро они прибегают все восторженные: "У Химы котятя", "Хима окотилась". И сейчас же всю любовь к Химе перенесли и на детей ее.

Говорят (и читал я), что кошка привязывается к дому, а не к человеку. Это не всегда так и должно быть взаимно. Ничего не было прекраснее связанности Химы, Васи и Нади.

Весело идем мы, и "тут где-то бегут" Вася и Надя.

— Смотри, папа, — и Хима.

Действительно, прокрадываясь около кустов, незаметная, почти невидимая, идет и Хима, — боязливо взглядывая на своих братьев и сестер, Васю и Надю.

Но и они же платили ей: они были как-то поглощены своей Химой. И родители играли ничтожную роль возле Химы.

Нас это не обижало. "Все же дети около места", т. е. занимаются своей Химой и далеко не уйдут, не "попадут в опасность" (вечный страх родителей). Таким образом они берегли Химу (молоко), но и Хима их оберегала, сосредотачивая на себе.

Раз мамочка проснулась испуганно и закричала:

— Кошка...

Я еще занимался с лампой. Очевидно, не разобрав, что это — не дети, Хима вкралась в "спальную кровать" и грелась около одеяла и ног.

Мама всегда боялась кошек, с детства, почему-то думая, что она "загрызет".

— Ты не знаешь: она думает, что этомышь, когда дышит человек, и бросается на горло.

Я думаю, что это глупости. И кошек не боялся.

С этого времени мы осматривали спальню перед сном.

Раз был дождь, и я услышал, часу в 11-м ночи, слабое мяуканье под окном. Открыл окно:

Мяукает Хима (просится в комнату, к детям).

Дождь!!! Могла бы сидеть "под фундаментом", в сухе. Известно, как кошки не выносят мокрого.

— Мамочка, я впустил бы?

— Что ты! Разводить такую безобразную привычку. Она будет к нам бегать по ночам, и они потеряют сон (будут заниматься ею).

Я закрыл окно. Она так же продолжала сидеть и изредка мяукала.

Пошли снимать Васю и Надю (здесь на фотографии), и я "не представлял себе", чтобы их можно было снять без Химы, лучшего их украшения за лето, осмыслившего и опозитизировавшего их жизнь.

И в фотографию (довольно далеко) нес на руках. Мама шла вся расстроенная.

— Ты постоянно придаешь *мне трудности*.

— Пожалуйста, не обращай на меня внимания, и тогда тебе *не будет трудности*.

Пришли в фотографию. Я спустил Химу на пол, и она убежала.

А хотел снять "детей с кошкой".

Вечная память Химе. Теперь она, конечно, умерла (лет 7 назад).

(В Кисловодске, дача Мар. Павл. Ярошенко)

3.II.1914

...вонюч и на все садится. Кроме того, мягок и испускает тихие вздохи. В высшей степени интимен. Сокровенен.

Да это часть, "по которой секут бурсака" ("Тарас Бульба"). Неужели это не Содом и не жид?

...вот уж "сотворил по образу своему", как показал себя тому, кому "очень хотелось однажды увидеть". — "Ты увидишь только *зад мой*". "...лица нельзя увидеть". Да, может, его и не было вовсе.

(*Посвящаю Грузенбергу и Слиозбергу*)

...да! в высшей степени всем необходим!! Полная аналогия.

* * *

3.II.1914

Наше отечество — в прошлом.

Наш роман — в будущем.

И когда мы рвемся к роману — мы уходим от отечества.

А когда возвращаемся в отечество — становимся позитивны.

И тут — дисгармония. Что же человек мечтает о рае и о примирении "противоречий"?

”Противоречия” исчезнут, когда нас будут есть черви.

Вот несовершенства земли и земного. И человек относит красоту — ”туда”.
Куда?..

Только одно эхо звучит. Бедный. И вечно-то он слушает одно эхо.
(За вечерним чаем; когда я обидел Шуру. Она хотела в шашки играть, а я отказался)

* * *

3.II. 1914

Иногда бывают пророческие сны.
Как они ужасны.
Как затревожится, забьется сердце.

∞

И такая тоска потом.
У меня ”пророческий сон” — это обличение совести. В каком-нибудь случае, в чем-нибудь конкретном и невообразимом вместе, но ”вытекающем из всего”.

(вспомнил ночью на извоишке)

∞

Предвечный сумрак одевает очи мои...

(Когда хочется умереть) (часто)

* * *

4.II.1914

Полный стол газетных вырезок (не читанных еще): это что откладывал на ”потом” и ”накопилось”. И не хочется читать. А должен (comme il faut¹).

Какое однообразие. Серость. Никакого интереса *самому* читать ”о себе”, и, казалось бы, задирает.

”Что Розанов — сволочь”, да что же я это буду читать. Ведь я мыслитель, и мне мысли хочется. ”Мысль” убила бы меня. ”Мысль” измучила бы меня. Катков и, верно, Михайловский сумели бы сказать такое, что ”не забудется”. Буренин так бы смастерил ”презреньице”, что тошно два дня было бы. Но ”Розанов сволочь” — это несколько не занимательно.

”Сволочь”.

”Подлец”.

”Хам”.

”Лжец”.

”Передонов”.

¹ как нужно (*фр.*).

Позвольте. Это слова. Почему я на них обижусь. Да ни чуточки. Разве мудрено сказать: "Наполеон был трус", а "Александр Македонский — Терсит". Приставляй слово к слову — выйдет речь, выйдет "газетная статья". И даже автор получит 3 рубля ("среди газет") на обед. Что же мне-то до этого. Да я даже рад, что столько обедают по поводу "Розанов — сволочь". — Я очень добродетелен и готов своей спиной кормить газетных "обозревателей". Меня это ничуть не оскорбляет, п. ч. этого я ничуть не отношу к себе.

Но почему это? Почему нет движения мысли? Теперь ли, когда исключили из Рел.-ф. общества, или по поводу Бейлиса "*трудились*" мыслью Пранайтис, Неофит, Замысловский, Шмаков: но решительно все "защитники героя нашего времени" нисколько именно не *трудились* мыслью, не *работали мозгами*, не перечитывали Библию; никто не *заглянул в Талмуд*. Никаких ссылок, цитат. Никакого вообще *спора*. А просто "пригоршня чернил", переделанная в "буквы" и в "слова". Даже Мережковский вышел голеньким, объявив доклад: "О Ветхом и Новом Завете". Он *ничего* не сказал ни о Ветхом, ни о Новом, как бы и не читал их вовсе (Ветхий, м. б., и действительно не читал). Он просто сказал: "Господа. Вы, конечно, понимаете, что я избрал эту тему в связи с делом... которое нас томит, которое нас оскорбляет... которое нас вонзает... которое нас пронзает..."

И "пошел", и "пошел". Точно дитя. А взрослый и с бородой. Мысли не было. Доклада не было. Потом завыл этот Керенский, до того дурак, что я такого не слыхивал, и в *литературном* обществе было неприлично слушать...

На что же тут сердиться?

Пахнет Фетом, пахнет сеном,
Пахнет скошенной травой,
Пахнет всякой чепухой.

Как скандировала Саша Васильева, где-то услышав и не зная, что Фет был русский поэт.

* * *

5.II. 1914

— Мал человек. Сделаем большого и назовем: ЦАРЬ.

— Нет. Сделаем из него блоху и назовем: демократ.

(спор адвоката с мистиком)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

— Что же ты с блохой будешь делать? — спросил у адвоката мистик.

— А я на ней поеду, — ответил тот.

- ...буду с ней любиться.
- ...буду работать на ней.
- ...а не понравится — убью.

.....
.....
.....

Мужик стоял в стороне и слушал разговор. Прошло время. И сказал:

— А я стану работать на Царе: Он усю Россию свезет. Россию на блохах не свезешь.

(засыпая)

* * *

5.II. 1914

— Дорогой мой, дорогой мой!

И, охватив со спины вас правою рукою, он держит теплую ладонь у вас "под мышкою", — и смотрит в глаза, и повторяет еще:

— Дорогой мой, дорогой мой!

И знаете вы, что нисколько ему не дороги и не нужны. Но дремлете в теплоте его теплых рук и чувствуете, что он несет вас в свое гетто для заклания, — души вашей, кошелька вашего, семьи вашей, вашего будущего.

И все в ваших ушах звучит убаюкивающее:

— Дорогой мой! Дорогой мой!

Так они уносят наше богатство, литературу, русское слово и русскую душу. Русских министров и русских студентов.

(за занятиями)

* * *

5.II.1914

Все сложилось по типу собачьей свадьбы...

Вот "штанд-пункт" Израйля.

Кто-то шепнул им при Горе:

— Не надо вам царств, законов, судов... Не надо истории, политической и всяческой. Живите просто свадьбой, во всяком месте свадьбой и во всякое время свадьбой. Вы получите "в свадьбе" гораздо более удовольствия, чем от всяческих политик, и наук, и искусств. Избави вас Боже полюбить искусство. Это "истукан" и "мертвечина", это как предаваться онанизму около живой женщины. Ничего не надо, — свадьба. Венчайтесь и венчайтесь, плодитесь и плодитесь, устраивайте шире, выше пуховики ("пуховики распарывали" при погромах), и тут я с вами буду, в вашем сальце и мокротце, в вашем запахе и вони. У меня такой же большой нос, как и у вас; грузный, отвислый, а губа еще больше вашей и так же отвисла. У меня "губа не дура", и я люблю все сладкое, и вы уж побалуйте и нос мой, и губу. Любит старичок все это, ведь мне тысяча лет, четыре тысячи лет... И в собачьей свадьбе вы будете крепче и неразрывнее, чем во всяком государстве, и победите все царства и народы.

(за занятиями)

Что, Переферкович, знал ли ваш Маймонид сию тайну? Или Грец в своей "Истории Израиля"? Или Ренан в "Экспедиции для изучения финикийских писем".

Все они обо многом написали, а не догадались об одном: что за *рублик* покупается девочка. Можно купить на день, можно купить на всю жизнь. И не спорю, что покупается на всю жизнь (семья), но принцип-то в том, что "хоть на один день" и что семья ваша — растянутое на всю жизнь ночное приключение. "Разговорами вы не занимаетесь, а были бы пуховики и дело". Ведь и в основных ваших книгах разговоры очень кратки, разговоров почти нет. Перечитайте и подумайте об этом. Итак, самая сакральная, самая священная, самая патриархальная и узаконенная форма брака — "рублем" ("сиклем", "монетою") с формулою, которую произносит "жених" или попросту мужчина: "Я *освящаю* тебя (девушку, невесту) *этою монетою* (в сущности приобретаю, покупаю) по закону Моисееву". И как девушка взяла монету, — она становится его женою, "брачною" ему, неотъемлемою ни через какой развод, хотя бы потребовал сам Маймонид, и все синагоги, и раввины, и сами ее родители. "Купил девочку на улице за рубль и использую свой рубль". — "Что же мне родители ее? и синагоги? и раввины? Я молодой человек, и мне хочется". Как он сказал "молодой человек" — весь израиль точно заморожен, и море отступает, и "Черное море" покатилося вспять. Сам Моисей побледнел, говорит: "Не могу развести. Ему хочется". Молодой человек (под балдахин, обряд) берет стакан с вином, вино выпивает, а стакан разбивает, падая на землю, вдребезги, и произносит угрожающе: "Так я поступлю с каждым, кто будет мешать моему обладанию девушкой". Это хулиган на улице говорит, захватив девочку: но все синагоги бледнеют и шепчут: "Он — прав, ведь он *купил* ее, кто же ему теперь помешает?" Родители со слезами спрашивают: "Да надолго ли хоть купил-то?" Равби Шамай, ухмыляясь, "толкует": он может отпустить ее ("прогнать", дать разводную записку в руку, хотя бы под видом письма к другу, сказав: "отнеси") хоть назавтра утром, не делая для себя другого оправдания и мотива, как сказав: "От нее дурной *запах*". Я же говорю, что у Израиля все основано на носах, и поистине "носами" управляется их история, чего Маймонид не знал, а Моисей "при Горе" только прошептал, "братцу со угоднички". Но в общем чем же это не проституция?

— Священная проституция. "Ведь и с проституткой можно жить всю жизнь", и корень учения израильского о браке лежит в том, что в этом учении "законная жена" рассматривается и толкуется и к ней все относится как к купленной "за рубль" ("сикль", "монету") проститутке.

Отсюда и формула "разводного письма"; оно состоит в одной строке: "Ты теперь свободная *для улицы*". Подразумевательно: "Я с улицы тебя взял, на улице и выталкиваю". — Почему? — Дурно пахнешь, не по моему носу.

Теперь, если таково "патриархальное, древнее" устройство семьи, т. е. за рубль "и на ноченьку", то не вправе ли мы даже формально говорить и думать: "Да это собачья свадьба". "Нюхаются", и "дело решается

запахами". И так — "во всем народе". Не у сапожников одних. Так было с дщерями первосвященников и священников, великих торговцев, домо-водов, у Ротшильда, как и у сапожников. "Молодой человек куражится" — и моря отступают, а Израиль бледнеет в страхе.

Вся суть в молодом человеке: .

— Я гуляю, я и бью...

"В собачьей свадьбе" молодой человек всех побеждает. Нахально он приходит назавтра в синагогу. Рядом с ним стоит старец, похоронивший вчера жену. В синагоге особый почет: дать *первому* читать свиток (тору) перед занавесом. И вдруг раввин подает тору (или приглашает читать) не старцу, не миллионеру, а — этому нахалу "17 лет", который "фертом" и подскакивает вперед, а старец уже пойдет за ним, "во-вторых". Как же не "отступает море" перед нахалом. Да в чем дело? "Нахал" водит носом в воздухе и говорит: "Мне нравится запах Хайки". Так-таки, не стесняясь присутствием ни родителей, ни раввина.

Еще:

А сколько можно иметь проституток у себя на дому? Римляне, "в натуральности своей", вывели взгляд: *одну*. "Одна" хозяйка в доме, — естественна. Одна — мать-родительница детей, одна — и не требуется ведь существом дела для потребности мужа и мужчины больше, ибо всякий имеет дело с *одной*.

Но это Рим, и мы, и Европа. А "израиль" возлюблен: ему было шепнуто "при Горе": — Играй веселей свадьбу. Пой песни. Зови музыкантов. Сколько? сколько?.. — Ха! ха! ха! Сколько? Он спрашивает, израильтяне, "сколько"? Мы сейчас погоним тебя палками, дубьем, ибо ты замухрышка и неспособен, если спрашиваешь "сколько". Значит, ты... не "хулиган", и цена тебе — ломаный грош.

На горе-то калина,

На горе-то малина.

— Сколько, дру-жок, хо-че-шь!!

И Шамай:

— Ско-ль-ко хо-че-шь...

И Гилель:

— Сколько хочешь...

И Гамалиил:

— Сколько хочешь... Тут "все школы согласны". Тут "разногласий нет": дело ясно, что "проститутки может иметь сколько хочет", лишь бы "управиться". В натуральности своей Александровска Коломна.

Ах дербень, дербень Калуга,

Дербень родина моя.

Так "заварено было крепко пивушко" для израиля.

Он действительно нашел тут "столько удовольствия", сколько не нашел их Александр Македонский в Персии и А. Октавиан в Риме. И "не унывает" израиль, — среди женок, пригретый, весело и ходко, "масляно" торгует... И все у него "молятся", "на ходу". И только ужасно от него "разит", так что все зажимают нос.

— Ну и носы у вас. Как не задохнетесь.

А что же у нас, нос... и еще губа...

"С нами крестная сила", — шепчут народы.

— Нечистая Сила пришла...

Дьяволы. Ведьмы. С Лысой горы.

— И сто-зе и отчего-зе, у нас только губа...

. (на извоишке, и дописал, придя домой)

* * *

5.II. 1914

...И конечно, пока вы будете довольствоваться фразами, вы можете читать "в похвалу себе" Гретца и Маймонида, но когда вы захотите "углубиться в суть", вам придется "взяться за Розанова". И вы будете читать меня с тоскою и унижением, царапая кожу грязными ногтями. "Что делать, он закрыл розу научения своего и своих открытий в такие длинные шипы. Их едва достанешь: но достать — *нужно*".

...И я поведу вас через вонь и кровь, "прекрасных Эндимионов", — я ткну вас в Содом как в вашу родину, ибо в *Бытии XIII* сказано: и избрал себе Лот (когда разделился с Авраамом, дабы не путались стада племянника и дяди) *долину Иордана, где стояли города Содом и Гоморра*...

Я покажу вам, что это не "аллегория" и не "случайность", потому что вы, конечно, хорошо помните, как "ваш батюшка" показался вашему наставнику именно содомским способом, modo sodomico...

И вы заплачете и будете царапать лицо свое ногтями, и я тоже обращаю ваше внимание на эти ногти и скажу, до чего они всегда были черны и грязны... и что это тоже не случай, а говорит о всем вашем поведении...

И приведу вам страницу из Библии ("Вавилонский талмуд", четвертая страница с конца трактата *Берахот* ("Молитвословия"), где увидите, какие возмутительные содомляне были отцы ваши всегда, и какими пакостями они занимались, и какие пакости они обсуждали...

И вот это моя месть вам за киевского мальчика, что вы будете читать "своего величайшего учителя", стесняя от умиления и от грязи, которую он запихал вам в рот.

И этой грязи вы не прочихаете, иудеи:

И узнаете, что умеет колотиться и христианский шип.

* * *

5.II.1914

— Так и топорщится. Так и топорщится.

— Кто?

— Человек. То дүхи. То спириты. Витализм. Всякая чепуха. Сладу нет науке.

Это — Тимирязев.

— Так и топорщится. Так и топорщится.

Я:

— Кто?

— Мир.

Он:

— Ну что вы. Мир — cadaver¹. Типа ученика иезуитской школы. Лежит на столе в прозекторской комнате, и мы его анатомируем. Весомое, протяженное. Тяжесть и сочетания. Кубики с надписями: "кислород", "водород", "азот". Вот я их помешаю стеклянной палочкой в реторте и заранее знаю, что выйдет. Скущица смертельная, и не будь я ограниченный человек, без воображения и интимности, — никогда бы и не занимался. Не мир, а гадость, и я еще делаю честь...

Я ему:

— Ах, Константин Алексеевич! — а ведь мир тоже думает о вас: какой это дурак все шевелит меня стеклянной палочкой и думает, что я на стеклянную палочку отвечу ему, как люблю родную матушку, как почитаю своего батюшку и что — спою песенку о деточках. Все это и есть во мне: но я спою песенку мужичку, а о батюшке и матушке шепну мудрецу.

Батюшка мой гнется, а матушка — сыра земля. А малые деточки — вы, глупые человечки, да травки, из которых, когда они умрут, Тимирязев устраивает кладбищенские гербарии.

(проснувшись ночью, встал с постели)

* * *

5.II.1914

ЗУБОДЕРЫ

— так хочется мне назвать социальных реформаторов. Этих Фохта и Лафаргов, Спенсера и Шпильгагена, Лассала и Маркса.

Дайте ему старика или мальчика в руки, и он непременно начнет ему дергать зубы. Если у одного только корешки зубов, а у другого только молочные зубы — все равно он введет щипцы ему в рот и "выдерет" что возможно. Не заиграет же с мальчиком Спенсер, не расскажет же ему сказку Фохт. Суть дела в стальных щипцах, которые "реформатор социального строя" должен привести в движение. Никакого иного отношения к "человеку" он иметь не может, ибо это в сущности отношение не с "человеком", а с "предполагаемою и желаемою реформою", которая у него "мыслится".

Ему "мыслится", а человечество "страдай". Потому что не лежать же на столе стальным щипцам.

Их нужно бы научить петь песню. Но как это сделать, когда он только хрипит или кричит и у него нет вовсе слуха.

"Сей род окаянный не избывается и молитвой". И отгородиться от реформаторов можно только палкой. Их нужно непременно и постоянно бить, чтобы сколько-нибудь привести в разум.

Но, кажется, это уже и происходит. Их всюду начинают поколачивать, и кутузки переполнены "реформаторами".

Если бы их выпустить, началась бы немедленная всеобщая операция. Они начнут резать ноги, "потому что они не всегда бывают прямы, а *должны быть* прямы". Начнут сдирать кожу с людей, "потому что она

¹ труп (лат.).

с веснушками". И наконец, просто "убьют человека", потому что он не сделан в реторте Парацельса "по всем правилам науки".

Эти господа, врожденно слабоумные, всегда возятся с наукою.

И как наука "доказала"; то они себя считают "доказанными" и не медленно берутся за щипцы.

— Позвольте, я у вас поправлю зуб.

— Не надо!

— Но он неправильно сидит в лунке. И, во-вторых, может заболеть — хуже будет. Лучше предупредительно...

— Оставьте меня в покое...

— Готов бы, если бы я не был филантроп и действовал бы не по правилам науки. Но как я люблю ближнего своего и живу по науке, — то потрудитесь лечь на операционный стол. Иначе я позову сторожей и мы для вашего блага все-таки выдернем вам зуб.

* * *

6.II.1914

Цветков сказал раз: — У *теперешних* писателей вообще нет никакого "уединенного" в душе, в жизни; ничего "своего" и "внутреннего". Они все — наружные, внешние. И пишут статьи в журналах и газетах, потому что это вообще "делается" и отчего же и *им* не "делать". Потому и посмотрели на ваше "Уед." как на что-то вовсе дикое, непонятное, ненужное.

"Но они — не все. Напротив, ваше "Уед." *сразу* понятно множеству людей. Людей, а не писателей".

Я думаю, это — так.

После "Уед." я стал получать совершенно другого тона письма. Как мне дорог этот тон, как мне нужны эти письма.

О литературе моей, "как написано", "умно ли", — ни слова. Все письма говорят из человека к человеку, из сердца к сердцу.

Да ведь, по правде-то, и я люблю только свое "Уед." и "Оп. л."

* * *

6.II.1914

...да писатели — просто шушера около общества. Сколько я бывал в домах у писателей, я замечал, что в них вообще *никакой жизни нет*, никакого лица нет и никакого ни к чему интереса.

"Неинтересное об неинтересном". Так можно озаглавить и все их разговоры. — Кто написал какую статью. — Она остроумна. — Нет, я не нахожу, что остроумно (спор, почему сие "в-шестых"). — Тот сделал *выпад* против того-то. — Анненский вообще очень симпатичный человек. — Правильство опять провалилось. — Такое-то высокое лицо в близких отношениях с такою-то женщиною. В "Речи" я больше не участвую, потому что туда принимают только одних евреев и даже в конторе нет нееврея или нееврейки (это — буквально).

В "Русском Слове" платят хорошо: там главная сила — не редактор, а Дорошевич. — Дорошевич начал свою карьеру с "Одесского листка".

Тут не течет крови ни под одним словом. И все слова вы сейчас же забываете. И возвращаетесь домой как оглушенный.

Пустыми звуками в бессодержательном пространстве. Курятник. Огороженное место, где куры и петухи. Они обыкновенно клохчут и суетятся. Но о чем — не поймешь.

* * *

7.II.1914

"Но все же вы видите, что России все не удастся"...

— Вот поэтому-то я особенно с нею, и говорю: Ты Великая и Славная...

"Но ведь это не эмпирика, а свыше. Ее оставил Б..."

— Теперь-то я особенно ее и люблю.

"Значит, вы идете против Христа..."

— Убирайтесь к черту.

"Значит, вы постанавляете национализм, во-первых, выше Владимира Соловьева и, во-вторых, выше христианства..."

— Городовой, убери этих нахалов. Они мешают мне спать.

(спор с Кондурушкиным и Философовым)

* * *

6.II.1914

...и у Нади взято, и у Паши. У Наташи попрошено, — все "до пятницы". У Андрея в "Нов. Вр." — 3, 5, 1 рубль. Прежде у Юр. Беляева, у Гея, у Борнгардта — 5 р., иногда 10, 15 рублей. У Снесарева раза два по 5 р. А зарабатываю всего от 11 до 13 тысяч в год. Никогда не бываем в театре (кроме "даровых билетов"), и вообще никаких удовольствий. И уже давно, года три, не "откладывается". Как же живут бедные?

Квартира в 7 комнат, и "спальня наша", с 15-летним сыном вместе, помещается за "ширмочкой" в маминой гостиной с семейными портретами. Да и вообще "отдельной своей спальни" мы никогда с мамой не имели, "притыкаясь" туда и сюда. "Туалета" мама никогда не имела и в молодости, т. е. "вот зеркало, перед ним столик, вокруг зеркала тряпочка", и "барышня сидит перед зеркалом". Никогда: да и презирала. Вся жизнь была трудовая. Заботная, с раннего утра до поздней ночи.

За квартиру платил 168 рублей. При мне (когда я был учителем) — ведь это все учительское жалованье. А остальное откуда же? Еда? "Учитель без еды"... Брр...

(Надя — горничная, Паша — кухарка; Наташа — курсистка ближняя.)

(То же и у Домны Васильевны — бонна — шитье — забираем на неделю.)

* * *

7.II.1914

... ведь не могли же кто читал не видеть, о чем идет речь и в "У.", и в "Оп. л.": о боли... Всяческой, и душевной, и физической. И что читающий вообще ходит около болящих...

И вот пошли эти сапожищи, эти каблучища. — Он не любит "нас", он не согласен "с нами". — Он вообще "не наш". С клюками, с палками, с дреколями. С калошами и прямо с улицы. "До него дела нет, но он не почтил нас". — "Ни — наших авторитетов". — "Не почтил Щедрина, не почтил Михайловского. Ни даже не уважил великого Спенсера".

Мне со стороны было в высшей степени любопытно, неожиданно и ново увидеть этих "захвативших будущее" господ, как же они относятся к "боли", которая не "с нами"... Есть люди, с которыми теоретически я во всяком случае "не согласен". Гл. Успенский. Но о его боли я не только "по поводу" (прочтешь где-нибудь) неделями думал, но и постоянно думал, его боль была "моей знакомой", "сидела у меня в дому". И никогда жестокого слова я не сказал бы о Глебе Успенском, не постучал бы сапожищем "в палате № 11". И не я только, но Рцы, Флоренский, Цветков, Над. Романовна, "друг", — ни вообще поп и дьяк, ни вообще человек "церковного строя" не застучал бы около него каблучками. Тишина. Молчание. Слово утешения. И — "все упреки умерли, упреков уже не бе". Вот это и показывает разницу "наших миров". "Наши миры" расходятся вовсе не созерцаниями, не "убеждениями". Все это пустяки. "Мысли могут быть разные" (мой афоризм). "Наши миры" разнятся температурою. У нас "комната натоплена", у них "сквозной ветер". Дефекты, конечно, есть там и здесь. Но суть "церкви" и "религии" заключается, что "тут тепло". Это не "другое мирозозерцание", не "перемена убеждений", не "новые понятия", с предрассудками или суевериями. Это "все не то", и это "совершенно все равно". Суть, что "ближе к солнышку", что не "арктический полюс"; суть в мировом тепле и в близости или приближении к источнику мировой теплоты.

Спенсер, Бокль и т. п. болваны не потому не нужны, что они ошибались (м. б., и нет), а потому что они — амфибии, земноводные, с холодной кровью в себе. "А я хоть и мышка, но у меня горячая кровь". Дитюшку я рожу горячекровную, самку я люблю горячекровную. Вот это и кладет разницу на "поганое" и "чистое". Позитивизм — поган, атеизм — поган, революция — погана, социализм — поган, п. ч. хотя он может быть и "мудр", и "абсолютно верен", как "абсолютно верна задачам своего устройства ящерица", но она — амфибия, липкое, холодное существо, которое "гадко взять в руки".

Эти-то амфибии окружили несчастное человечество и, высовывая двоящиеся языки, быстро произносят всякие "хорошие слова" и заманивают его "к себе", — обещаниями. И позитивизм "обещает", и атеизм "обещает", и революция "обещает", и социализм "обещает". Все "обещают": приди "к нам", прими "нас".

Тепленькие старые дома растворяются и амфибию впускают. Амфибия вползает на стол, на стул, лезет в детскую, лезет в спальню. Всех лижет. И всем холоднее, и весь дом становится холоднее "непонятно отчего", — "потому что ведь ласковый зверек всех лижет". Но в него вошло новое существо с новою душою и новым законом жизни.

Это — смерть.

Позитивизм есть смерть.

Атеизм есть смерть.

Революция есть смерть.
Социализм есть смерть.
Смерть, и только.



Еще приходит мысль: "старые дома" защищались огнем и наказывали огнем. "Огонь отделяет нас от внешнего круга". Огня не будет в позитивизме. В "позитивном царстве" врагов отечества будут замораживать в каком-нибудь административном погребке, устроенном "по всем правилам науки".

— Вы нам не нужны...

— Вы вредны отечеству...

— Вы разрушаете наши принципы.

— И мы вас заморозим. "Заморозим" какой-нибудь гадкой химической солью, быстрым испарением и прочее. По Столетову и по К. Тимирязеву.

(за набивкой табаку)

* * *

8. II. 1914

Вы всегда считаете, что *вам положено в карман*; и никогда не подумаете, что бы *"нам положить в карман этому убогому"*.

Это не лично, а исторически; это не *есть*, а *было*.

Вот и все мое "расхождение с христианством", вся моя (якобы) "ненависть ко Христу", — о чем произнес речь в Рел.-фил. обществе и теперь напечатал ее в "Церк. Общ. вестн." К. М. Агеев.

Я очень хорошо помню, как, сахарясь и тщеславясь, К. М. Агеев лет пять назад поведал в Рел.-фил. собрании "тайну своей исповеди", что к нему "приходят исповедываться даже проститутки" и что он так добр, что даже их "не отталкивает". Хотя очень интересно знать, как бы он их смел оттолкнуть, когда ему законом (гражданским) приказано исповедывать вообще всех приходящих, без оговорки о проститутках, что таких можно не исповедывать. "Даже другой раз слово доброе скажешь", — истекал он медом. "И отпустишь грехи, что делать".

Да, это "вот как я добр".

Все "я", нигде "он", "она", "они".

Это — историческое. Это не "от себя".

"По примеру прежнего" и "по примеру отцов".

Но ведь девица глупая, и ожидалось бы, что Константин Маркович несколько "посложнее ее". Однако традиция и школа, которая на либерального и даже жидовствующего Константина Марковича давит ничуть не менее, чем на заскорузлого отца Ф. Орнатского, мешает ему быть в сем случае "сложнее".

Традиция и школа сказали ему: "О сем вообще *не сто́ит думать*".

Вот и *только*, и все мое "расхождение с христианством". В нем виновны вы, попы, и никто еще не виновен. Я сам несколько в нем не виновен. Еще в Ельце я с такой любовью целовал (прикладываясь ко кресту) руку у попов.

Пока не заметил, что ручку для поцелуя они протягивают, а двух копеек ближнему в карман никогда не положат.

Вот и Филевский дня три написал письмо: "Как я рад, что вы возвращаетесь", "возвратились к Церкви". Она "окормляет народ", "выпестовала историю народную" и все такое хорошее. Прочел и не дочитал письмо. Тоска взяла. Тоска и скорбь, как за все двадцать лет:

— А развод?

— Поп, дай мне две копейки. Двадцать лет стою около тебя и прошу две копейки. Ну, раскошешься, пожертвуй. Ну если я и не прав, зол, дурен, дай "все равно Розанову" две копейки, не ради его добродетелей, а ради щедрот твоих.

— Ведь ты богат, у тебя все христианство. С "тобой Христос". Да и не ты ли за ранней обедней в Светлое Воскресение читаешь:

"Ныне придите все, кто постился и кто не постился, кто был трудолюбив и кто празден, придите в девятый час, придите в десятый час, придите в одиннадцатый час — всем ПАСХА!!!"...

Кто щедр, кто богат, кто счастлив и радостен — "всем отваливает", и я сам, сколь ни убог и ни дурен, сколь ни "разбойник", получив гонорар в пятницу — всегда прибавляю извощику "гривенник". И мамаша, в такой бедности, получив пенсию, "прибавляла же извощику".

Но ведь у вас-то "целое христианство". Почему же — почему, скажите, — вы не дадите "двух копеек", не потому, что я "заслуживаю", а "просто так" и потому что "в радости", "в Пасхе" и "теперь всем даете".

Поп, две копеечки...

Зажимает карман...

— В Пасху?..

Не слышит.

— Двадцать лет прошу.

Пуще не слышит.

Да что такое, думаю: отчего он "не слышит"?..

Константин Маркович не слышит.

Рачинский (С. А. — Татево) не слышал.

Победоносцев не слышал.

Митрополит Антоний (расположен был ко мне) не слышал.

Из всех, из всех только единственный был в свете А. П. Устьинский, который услышал, — по невыразимому исключительному благородству и тонкости души его. Но так как "все не слышат", то я не знаю, не твердо решил, не есть ли это "его личное". Хотя это более относится к "его мудрое", нежели к "его доброе".

Услыхали, правда, нигилисты (печать), но их слышание мне было не нужно. Я не хотел хаоса, а хотел гармонии. Я не хотел беззакония, а хотел закона. Я хотел, чтобы "все было правильно", ясно, по закону, как Он хотел, сказавший: *не человек для субботы, а суббота для человека*...

Нет, от Христа я не ушел. Сказавший о субботе и о человеке дал бы гармонию, ясность и закон. Он не просто "простил блуднице", как величественный либерал Константин Маркович, а принял помазание ног своих блудницею, сказав:

"О сем будет вспоминаться везде, где будет проповедано Евангелие".

Т. е. он ее как-то умирил, ввел в гармонию, дал ей место в царстве

и иерархии христианской и видя и не видя ее порок, но во всяком случае видя ее лицо и душу.

Вы, господа, вообще не видите души человеческой и лица человеческого, вы именно "господа" и "милостивые государи", а несколько не священники, и уж не понимаю, с каким духом "отпускаете грехи"...

Так вот. Устал писать.

Суть в том, что вы "субботники", а не христиане и что до сих пор еще "суббота" вам выше всякого "человека". Суть в том, что вы, весь сонм ваш, только на словах и в обряде празднуете "пасху христианскую", а в сердце-то у вас стоит "ветхозаветная пасха", иудейская пасха, с "закалаемым тельцом", которым иногда случится быть и "Антоше Ющинскому"...

Кому угодно "случится". Той блуднице, которую исповедывал Константин Маркович, и подумал *не о ней, а о себе* ("как я добр был с нею"); придется быть "В. Розанову", с которым вы очень мило разговариваете, пьете у него чай в гостях, ведете беседы на литературные темы, но о разводе ни гу-гу...

Около вас сидел в Рел.-фил. общ. "В. Розанов", и около духовенства всероссийского терся "В. Розанов". Двадцать лет — немалое время. Вы очень хорошо понимали все время, отчего "у Розанова происходит колебание между христианством и просто язычеством": вопрос шел собственно о "двух копейках", но на этот раз "из вашей кошмы", из "поповского кармана". Вам надо было отказаться от некоторой гордости и самолюбия. Сознаться, что "степени родства неверно сосчитаны", — *с убавкою на одну степень* против степеней Ветхого Завета, с нелепою ссылкой, что "муж и жена *едино*" стало только в Новом Завете, а будто бы в *Ветхом они не были "едино"*. Что вообще в образец брака вы взяли римский языческий закон, закон Зевса и Юноны-Lucinae ("покровительницы браков"), библейский же закон (с многоженством и с неосуждаемыми даже у левитов наложницами) вами незаконно весь отменен и наречен преступным и подлежащим ссылке в каторгу (случай двоеженства). И прочее.

Надо было поступиться *самолюбием* и сказать просто, ясно и закономерно:

— Мы не правы.

Так что "двух копеек" вам не надо было даже вынимать из своего кармана, а просто "вычеркнуть" из неправильного счета заимодавца.

Но вы не сделали...

Ни в Пасху, ни в Великий пост...

И никогда вы вообще ничего не сделали и, что я ужасаюсь даже подумать в душе, — и в будущем не сделаете...

(Прочел газетную вырезку с "Речью К. М. Агеева" в Рел.-фил. собр.)

Харьков

Епархиальная ул., 52

Глубокоуважаемый Василий Васильевич.

Сейчас сел написать Вам письмо по поводу того постыдного "остракизма", которому хотело подвергнуть Вас С.-Пет. рел.-фил. общество, и открыл наугад Новый Завет, и мои глаза остановились на следующих словах апостола Павла из послания к Римлянам: "*Едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть*" (5, 7).

И вот пусть эти слова "апостола язычников" и будут моим руководством в оценке всей теперешней Вашей литературной деятельности, направленной в *защиту* нашей родной церкви православно-русской, искони народной, первозданно-совершенной, духовно-прекрасной, истинно Евангельской...

Хорошо Вы делаете, что выступили на защиту нашей церкви, этой матери-кормилицы русского народа, *вынянчившей* этот народ, воспринявшей его еще в колыбели его, вырастившей его в силах и чудесах Евангельского слова и дела, вдохновившего его идти кресто-воскресным путем мировой жизни и истории...

Да! это Вы в одной из своих статей позднейшего времени так изъяснили духовно-культурное значение нашей церкви. Это Ваш образ! Символ!.. Спасибо Вам за это "крылатое слово". Оно полетело по Руси святой, Богоносной, любящей, надеющейся, верующей, идушей в сретение Грядущему Господу Иисусу. И воспринято многими, и усвоено, и даст плод во благовремени. Я усвоил вечный смысл его.

Раньше, когда я Вас лично не знал, когда Вы писали в "Нов. Времени" свои "Итальянские впечатления" и когда я с Вами завязал было огромную переписку, окончившуюся нашим знакомством, Вы своими словами и речами больно кололи мое сердце. Я болел за церковь, которой тогда Вы не видели. Вы были тогда "около стен церковных". Не в церкви, в притворе, пожалуй.

Церковь проповедывала, вторила, служила, спасала; а Вы были не с нею. Вы были Савлом тогда...

Так мне казалось, так я чувствовал, так я был убежден тогда.

Но вот времена изменились. Трещит по швам все у нас на Руси. Какой хаос всюду! Всюду споры, вражда, недоверие, обман, ложь!..

Церковь в толиком искушении, в борьбе с врагами, в томлении духа, в скорбии сердца...

Сколько против нее устремлено всяческого антихристианства, государственного, общественного, личного, политического, философского, религиозного, бытового. Сколько!.. Конечно, и "врата ада" ее не одолеют. Она возжена Спасителем мира во спасение его, в обновление его.

Но Вы приступили к ней, вошли в ограду ее, вошли в храм ее, в общество, в царство Богочтителей, верных ей и Ему.

Вы, — так хотелось бы мне сказать, — теперь из Савла стали Павлом православия наших дней, бурных, темных, тревожных.

Вы увидели разорение "дома Божия", скинию русского народа, царства, культуры, духа, мысли русской, воли народа и пошли "с крестом в руках" на защиту немощных, изнемогающих в борьбе, страдающих от насилия, от дикой "свободы убеждения", — от "хулиганского футуризма" в области мысли, веры, идеалов путей жизни и творчества...

Вы несете на знамени своем примирение, надежду. Вы вливаете бодрость духа. Вы поддерживаете нить истории, вплетаете ее в узоры нашей текущей жизни, особенно жизни церковной. Религию церкви Вы защищаете, поясняете, укрепляете своим словом, словом помазанным, сердечно-теплым, убеждающим, оживляющим.

Как священник, благодарю Вас от души за Вашу поддержку церкви, ее духа, задач, идеалов, трудов, попечений о народе родном, о святости и *благочестии* его, жизни его.

"Слава страстем Твоим, Господи!.."

Это путь жизни. Это церковный путь. Это Евангелие все тут!

Кто знает Христа, тот знает и животворящие страсти его.

Но за крестом — воскресение, за Голгофой — Гефсимания, за смертью — радость всему миру.

Пшеница, падши в землю, умирает и приносит много плода. Да будет и Ваш поворот к церкви, и труды за церковь — мать-кормилицу русского Богоносного

народа этой пшеницей!.. Мир Вам! Душе Вашей, совести, слову, уму Вашему.
Привет мой от всего сердца. Жму руку победившему!

29 янв. 1914 г.
Харьков

С истинным уважением к Вам,
священник И. Филевский

.....
.....
Да. Ну, а что же развод? И незаконнорожденные дети?
В. Р.

* * *

9. II. 1914

Хочется или не хочется, а искусство — *будет*.

И хочется или не хочется, а наука — *будет*.

Потому что будет "*мне нравится*".

И будет — "*мне любопытно*".

(читая "*Письма Страхова и Толстого*" об искусстве и науке)

∞

...да и порок будет, хочется или не хочется даже самому Богу.
Потому что: "*Боже, я слаб!*"

∞

Эх вы, учителя человечества, все-то вы молоды.

∞

Не молода вот Библия, которая просто и фактически передает, что
"завет человека с Богом заключен был в странах Содомских и Го-
моррских".

"И передвинул Лот в долину реки Иордана, там, где стояли города
Содом и Гоморра". Бытие, XIII.

А вы все, молоденькие, прячетесь в прятки.

∞

Воришки рвутся разграбить дом. Какие же они "граждане этого
дома", когда они его не чувствуют "отцовским домом", "отеческим
домом". Они и суть воришки, с большой дороги и чужие. Между тем они
действуют, как "граждане этого дома", с правами граждан и с гонором
граждан. "Давайте нам права заседать в Г. Думе", "дайте нам право
издавать журнал".

Между тем у Пешехонова, Короленки и Струве есть только право
сесть на скамью подсудимого, надеть на ноги кандалы, пройти пешком
в Сибирь, быть застреленным при "поймке воров" и быть повешенными
после поймки воров. Укажите мне строку у этих господ, где сказалось
бы: "Россия — наше милое отечество".

Между тем без такой строки, без такой мысли в душе нельзя быть
"подданным" и "верноподданным".

Можно быть "лжеподданным".

И только милость всесильного Старца (отечество), который даже забылся в всесии, дает ему слепоту именовать таких "своими гражданами", "верноподданными", с правом "газеты" и "журнала".

* * *

10.II.1914

Драгоценные камни.
.....

Грибоедов, Герцен. Замечательно, что они не растут. Герцен только раздробился. В Грибоедова все смотрелись и говорили:

"Как я хорош".

И еще:

— Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как этот Скалозуб; как этот семинарист-Молчалин; как этот старожил Фамусов.

И, во-вторых, еще:

— Но *этой* — совершенный Скалозуб...

С Грибоедова больше, чем с кого, пошла интеллигенция и "кающийся дворянин", и вообще русские кающиеся сословия и классы.

Один господин, посмотревшийся в Грибоедова, даже воскликнул:

— Я сделаюсь писателем.

Это был, конечно, Боборыкин.

* * *

10.II.1914

На чем же нас будут жарить на т. св., на древесном угле или на каменном?

И не на древесном, и не на каменном, а на угле твоей совести. Может быть, его нет?

Если очень больно, то, пожалуй, и "нет".

(Смотря, как стекло на каменном угле долго — ровное, потом стало гнуться, — "ослабло в составе")

* * *

12.II.1914

Я лежу пьян, развратен; поднимает голову младший:

"Значит, и *нам* можно?"

Я его застреливаю.

∞

Ибо если он, *старшего* увидя ослабевшим, не сознал, что должен стоять "на часах" удвоенно, оберегая и его, и Россию, то какой же он гражданин? Его надо убить, как собаку.

Ибо я просто пьян как человек, а он собака без отечества.

(Молоденький офицер сказал в вагоне: "Не дозволено" на почтительный вопрос двух солдат: "Можно ли нам курить?" Он был чуть-чуть старше их — и "повелел" так великолепно. Я думал — вагон "не курящий" — и спросил

офицера. Он ответил: "В моем присутствии я не разрешаю им курить". А вагон вообще "курящий".

Изменники подзуживают солдат не повиноваться, когда офицер пьян, когда офицер — трус. Хотя "офицер не может быть трус".

Во всех подобных случаях пьяный или трусливый офицер должен застрелить и солдата и критика и тем — спасти отечество. Самому же — отправиться на гауптвахту)

* * *

13.II.1914

...да, все это так: "Гоголь не знал", "Гоголь не видел", "Гоголь не реалист"... Но отчего всем показалось, что он "реалист", "видел и знал"?

Отчего же, отчего?!! Боже, — отчего.

Вопрос этот до такой степени углубляет и, если можно выразиться, устрашает "загадку Гоголя", что... ум кружится и руки опускаются...

"Не видя — видел", "не зная — знал", "фантазируя — был реален".

Это-то и есть суть всего. Ведь Ноздрев и, как его, толстый, что съел осетра, — "ни на кого не похожи", "не были", "не жили", и вместе они "на всех похожи", "были", "жили", и суть просто "мы". Съесть, конечно, осетра невозможно, п. ч. объем осетра больше величины желудка: но...

...хочется съесть именно *всего осетра* — мне, вам, всякому.

Гоголь подметил или, вернее, по нутру своему знал (его слова в письме) низкие поползновения человека, подлые аппетиты его, уровень душонки человеческой. Правда, что он "клеветник", как дьявол; но клевета-то его если и не реальна в действительности, то совпадает с "образом создания человеческого" и достигает глубины клеветания на Бога.

О, не о человеке мы плачем, читая Гоголя.

Мы плачем, читая Гоголя, о Боге.

Вот в чем ужас, вот где Преисподняя.

Но к делу, к делу! Мелочи, мелочи! Как же он "уловил человека и обличил Бога"?

Почему мы думали и все времена думали, что "Гоголь изобразил верно"?

Тут что-то больше и страшнее, чем я сказал: поползновения. Нет, ведь есть сходство в типе, в "ухватке", как поступает человек и как он "принимается думать".

Чертовым глазом он подсмотрел "ухватки человеческие". Для этого не надо годы изучать людей, а взглянуть на минутку глазком.

Как этот "Кувшинное Рыло" (заседатель, в конце) покрыл десятирублевку книгой (взятка), ни малейше не дав почувствовать, что он десятирублевку заметил и "берет". И Павел Иванович — понял.

Это — "ухватка". Чтобы увидеть это, и нужна одна минута. Но Гоголь понял, что в Испании "иначе берут", что вертлявый и пустой француз "иначе возьмет", что в Турции турок тоже иначе свой "бакшиш".

Он понял дьявольской угадкой, что это единственное, solo: от "покрыл десятирублевку книгой" повел линию размышлений и наблюдений дальше и дошел до "Елизаветы Воробей" и как Коробочка "не понимает".

Везде "ухватка". "Не понимают" и в Испании, но там из-за этого дерутся на ножах или шпагах. Русские, конечно, "беспокоиться не станут" — ни на ножах, ни на шпагах, — потому что у них есть ум и они обойдут дело осторожнее. Кувшинное Рыло "покрыл книгою": это такой простой разговор с давальцем взятки, что чище не выдумаешь. "Ничего не сделал": он просто переложил книгу с места на место, а Чичиков забыл, что положил "тут" деньги. Чичикову нужно было, чтобы "дело сделалось", прошение его в канцелярии "было принято". И он знал, что если не вспомнить о деньгах, то оно и будет "принято".

Все так благородно и тихо, как бывает только в благородной и тихой Руси.

Вот это-то он и схватил: "полное благородство" и тихость. Ну а скажите, что на Руси не тихо и не благоговейно?

И Гоголь повел дальше рукою и вывел "тип русского". Рисунок этого, идею этого.

Позвольте: тихий и Платон Каратаев. Платон Каратаев тоже не шумит и *ни за что не замушит*. А праведный. Праведники на Руси тоже тихие. И что "обдeldывают дела свой" — тихие. Гоголь и соединил: "На Руси все тихо".

Теперь другое: Ноздрев шумит. Ноздрев совсем другая категория, новый тип, иное творение. Он шумит без толку, без пользы, бескорыстно и часто с арестом себя, со штрафом, с побоями.

У него всегда "не вышло". Гоголь думал-думал, повел рукою и сказал:

— Он показал Павлу Ивановичу конюшню, в которой стояли ве-ли-ко-ле-пны-е лошади.

— Так ведь *стояли*, а теперь их *нет*, — изумился Чичиков.

На этот раз изумляется Ноздрев-идеалист и упрекает реалиста Чичикова:

— Так что же, что "нет": но *ка-кие* это были лошади...

Согласитесь же, что это спор Аристотеля с Платоном и наших революционеров с "проклятым правительством":

Правительство говорит:

— Не осуществите, господа.

Те мучатся и отвечают:

— Но до чего ведь это *благородно*, если бы...

Согласитесь же, что такая широта "обхвата Гоголя", от Платона до нигилистов, должна была заставить забыть, что он "в сущности ничего не видел".

Не видел — да.

Но душою своею вещью он видел "преисподняя земли"...

И дольней лозы прозябанье...

И гад морских подводный ход...

Увидел, как "растут растения", "под землею"...

А "на земле" ему и не надо было ничего видеть.

* * *

16. II. 1914

Пока он был юн, зелен и свеж, его держали над книгою. Когда же одряхлел, ему напомнили, что пришла пора любви.

Он женился.

Дети рождались хилыми. И в младенчестве умирали. И жена, и он возились с докторами. Рождали и хоронили.

Выжил из детей один. Он был слабоумен и не мог учиться. Небольшой капитал, оставленный родителями, он пролечил, проел и проковылял.

Когда умер — клюку его положили с ним в гроб. Поставили дорогой памятник и написали на нем:

Здесь покоится
последний из славного рода
КОСТЫЛЯЕВЫХ.

* * *

16.II.1914

До чего обвалялся Мережковский с Чеховым и Сувориным (статья Гарриса в "Гол. Москвы"; прислал Нестеров).

Нет, прав я был, сказав, что он "мил, но не умен". И все его "валянья" с Тютчевым и с "тайной Некрасова" (?!?!). Боже, до чего все неумно. Спрашиваешь себя: "Зачем? Зачем?" Что-то похожее на то, как Соловьев "побеждал" Страхова, Данилевского, всех славянофилов. Да уж не подражает ли Мережковский Соловьеву?

У Гарриса верно: "Кричит он не от силы, а от слабости". В тоне Мережковского всегда была эта дребезжащая струна где-то треснувшей скрипки.

Или неопытный голосок вставшего на цыпочки трехмесячного петушка:

— Ку-ку-ре-ку!!!

Так он пел на заре юности:

Мы для новой красоты
Опровергаем все черты.

И "Юлиан" — петушок.

И "Леонардо Винчи" — петушок. И теперь публицистика — старый, а все-таки петушок.

Но он добрый и в сущности благородный. Даже после отзывов о Суворине, столь ужасных.

* * *

17.II.1914

Случается и барину ходить в опорках...

Если он хулиган.

Бывает — и барин одет лакеем.

В маскараде.

Вот проституция. Это маскарад и озорство.

И не вспомнить ли мне старое гимназическое:

Навести жерла нужно на весь этот маскарад и озорство и испепелить все... всех...

Разумеется, — заготовив пышную землю под плодородие, так, чтобы земли и "готовности" было всегда более, чем самих сил рождать...

Рождают, рождают, рождают... а земли все еще много: и она просит — нет ли еще семечка?

При теперешнем скопчестве, конечно, проституция неизбежна. Как поджарые старые девки. И хулиганящая мужская молодежь, говорящая при предложении жениться:

— Для *кого*? Для приятелей? Чем же я гарантирован в верности жены?

— Чем гарантирован, что она меня не разорит?

— Что не отравит?

— Не бросит?

В самом деле, "брошенный муж", "покушение на жизнь мужа", "мотовство его имуществом" и "сиденье на коленях у его друзей-приятелей" включено в брак, не расторгает его: ибо все это еще не есть:

совокупление при свидетелях,

каковое есть у католиков, у нас, у лютеран

единственный повод к разводу.

Он-то и погнал всех в проституцию, — по Флоренскому: "в высший этаж существования", — и погнал "своим особо высшим характером, своим аристократическим тоном брака".

Хороша "аристократия" — хоть "с конюхом"... Ибо уже во всяком случае посидеть-то на коленях у конюха всякой христианской супруге разрешается, и смешно было бы, если бы муж пришел к архиерею жаловаться:

— Горько мне: жена все, как я ни отвернусь, то обнимается с лакеем, то переглядывается с кучером и даже заставлял на коленях и что прислуга ходит к ней за пазуху.

— Только-то и всего? — скажет демократический архиерей. С малым же ты пришел. Наш брак *крепок*, — и по таким пустякам не расторгается.

Так муж и сидит "в крепком браке".

Молодежь, посматривая его, бежит мимо.

Старые девицы утешают себя, променируя в городском саду.

И архиерей тоже утешен, кушая просфиру и наблюдая "крепость христианской семьи в своей епархии".

* * *

18.II.1914

Скормила мальчика евреям литературочка...

Теперь просят свободы и, кажется, — получают. Будет по три мальчика скармливать в год... Но придет и Аракчеев сюда, и тогда *мы* порадуемся, как они, вымаливая "чего-нибудь", будут стоять у него в передней, а "дежурный адъютант", оглядывая тогдашних Гессенов и Набоковых, будет говорить: "Цыц. Не разговаривайте. Можете обеспокоить генерала, который еще не проснулся".

И "проснется" генерал... Но пройдет мимо "к делам", махнув в сторону литературы с равнодушным "потом"...

И редакторишки опять придут...

Но генерал "опять будет спать"...

Пока не скажет адъютанту:

”Ты глуп. И не догадаешься *сам* сделать дело, которое мне решительно некогда делать. Чего они лезут? Устав? Штрафы? Всякого хулигана штрафуют и их штрафуют, насколько они хулиганы. Устав? Пушкину не нужен устав, а собакам нужен вовсе не дорогой и трудный устав, а плетка в рубль ценой. Этой плеткой я буду их бить всякий раз, приговаривая: ”Все-таки это не так больно, как Ющинскому, над прокалыванием черепа которому вы не заплакали. И *теперь* о вас никто не будет плакать”.

* * *

21. II. 1914

Суть в том, что самая душа евреев (семитов) молитвенна. Что молитва составляет не момент или состояние этой души, не ”иногда” ее, а что *сама эта душа* в ее обыкновенном и всегдашнем состоянии — молитвенна, устремлена к Богу. Смотрите, вдова Сарепты Сидонской говорит пророку Илии о смерти своего сына от прихода этого пророка (как она думала, как она приписывала) — с грустью, но не с раздражением. У нее жалоба льется, как молитва, и она назвала его даже ”человек Божий”, а не обругала, не кинулась на него с кулаками, *как сделал бы весь свет*. Это особенное, специфически ихнее. Но и с другой стороны: так же тихо и покорно воле Божией они избивают целые племена. ”И побили всех жителей, и женщин и детей”, — сказано в *Книге судей израилевых* о городе Лайсе, о котором всего 15 строками ранее было сказано: ”И были они тихи и беспечны, и не было, чтобы кто-нибудь обижал в той земле другого”. У египтян ”евреи, воспользовавшись смятением (от смерти всех первенцев страны), унесли серебряные и золотые вещи”, — спокойно и ясно, как бы вовсе не было никаких владельцев этих вещей. Они не чувствуют лица человеческого, не чувствуют людей, — кроме случая, когда на этом лице лежит свет Божьего слова: тогда они с ним взаимодействуют, как с живым. Но ”до Божьего слова” все люди точно мертвы для них, а уж вещей — и вовсе нет, физического мира, нашего ”грома”, нашего электричества — и совсем нет. Бесшумно они ”исполняют закон” (Божий); и как ”исполнение закона” всегда благочестиво, то они ”точно стоят на молитве”, когда воруют или когда убивают (г. Лаис). ”Сестра, исполним закон земли” (Божий), — говорит старшая дочь Лота сестре своей: и одна за другой, по очереди и в порядке, совокупаются с отцом своим, беременеют, рожают и не скрывают ни от кого этого, а громко и радостно нарекают младенцам имя, свидетельствующее о способе происхождения: ”он — от *отца* моего” (Моав). ”Ложная метрика” не представима у евреев; и в силу того, что ”все, как на молитве”, на протяжении всей истории их, с убийствами, кровосмешениями, вероломствами, нет ни одного слова трусливой лжи, — лжи *прикрытия* или *прикрашивания*. Что же это такое? Первое появление семинариста на земле. Семинарист есть весьма особое существо, не похожее на других людей. Семинариста никогда ни одного не было в Греции, семинаристов, кажется, не было и в Египте. В Риме не было. Семинарист весьма удивил всех, когда впервые появился на земле. ”Что это такое?” — спросили все, видя, что он постоянно богословствует и Бога видит, а людей не видит, Бога слышит, а людей не слышит. Еще

о "великих отцах" еврейства (Авраам, Исаак, Иаков) можно поколебаться сказать "семинарист", но Моисей и Аарон и все потом не только семинаристы, но "кутейники". До того специфический семинарский запах разит от них. Семинарист, когда тянет "алилуию", ничего не слышит и не видит. И добрый ли он или злой — нельзя понять. До евреев было благородное, великое, прекрасное. Но все было без "елея". "Елей" на землю принесли евреи, вот начиная с Аарона и Моисея, и начали им маслить волосы, примаслилась им одежда их, и они обтирают масляные пальцы свои, с "благочестивым запахом", об одежду соседей, всех. Суть "духовного влияния". Они стали растить косичку (у дьяконов), не стали стричь волосы; получилась "духовная особа", ни на кого в мире не похожая, на которую и намек не было у греков или у римлян. До евреев — ни одного нигде дьячка; *после* евреев — все дьячки; все *немного* дьячки, с "дьяконским духом" в себе. Этот "дьякон в истории", такой масляный, с масляной октавкой, с масляным обращением, с большим удом, скромный, тихий, приятный, "благоуветливый", ко всем очень многодетный, скопидомный, трудолюбивый, домовитый, беззаботный о мире и весьма, и весьма заботливый о "домке своем", и составляет суть всего в "истории евреев", о которой не догадался ни Грек и никто. Все писали глупости о евреях, — все и всё — одни-одни глупости, воображая, что они сражаются, как Александр Македонский (Маккавей), воруя — как вообще все воруя, "со взломом", играют на рояли, как Шуберт, и могут изучать ботанику, как Бюффон. Между тем как в "еврее" пришла "новая категория" человека, — и именно пришел "отец дьякон", который, конечно, есть новая и неслыханная "категория" среди греков и римлян, между Ликургом и Катонем. В евреях никакой "крупичи" нет нашего, нет французского, нет немецкого, нет английского, ничего европейского нет и не будет. Сказано — масло. Сказано — олово. Сказано — лампадка. И длинные волосы, и бархатный голос. С евреями ведя дела, чувствуешь, что все "идет по маслу", все стало "на масло" и идет "ходко" и "легко", в высшей степени "приятно". Это и есть "о семени твоём благословятся все народы" и "всем будет хорошо с тобою" (около тебя). Едва вы начали "тереться около еврея", как замечаете, что у вас все "выходит". И вы "маслитесь" около него, а он "маслится" около вас. И все было бы хорошо, если бы вы не замечали (если успели вовремя), что все "по маслу" течет к нему — дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться "в себе" и "один", остаться "без масла" — вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все унесло из вас и от вас и вы в сущности высохшее, обеспокоенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталантным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с "маслом" и "евреем", — и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас — пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирно и повторяется везде — в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей сам не только бесталанен, но — ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой — он пересасывает из себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства природы, без космологии и космогонии

в себе, в сущности — *безъяичный*, он присасывается "пустым мешком" к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренно и чистосердечно восхищен "удивительными сокровищами" в вас, которых сам действительно не имеет: и, начиная всему этому "имитировать", все это "подделывает", всему этому "подражает" — все искажает "пустым мешком в себе", своею космогоническою *безъяичностью* и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию — поддельною поэзиею, вашу философию — философическою риторикою и пошлостью. Сон фараона о семи тучных коровах, пожранных семью тощими коровами, который пророческим образом приснился египетскому царю в миг, как пожаловал в его страну Иосиф "с 11 братцами и папашей", — конечно, был истолкован Иосифом фальшиво. Это не "семь урожайных годов" и "семь голодных годов", это судьба Египта "в сожительство" с евреями, судьба благодатной и полновесной египетской культуры возле тощего еврея, с дяденьками и тетеньками, с большими удами, без мифологии и без истории, без искусства и философии. "Зажгут они лампадки" и "начнут сосать". Плодиться и сосать, молиться и сосать. Тощий подведенный живот начнет отвисать, наливать египетским соком, египетским талантом, египетским "всем". Уд всегда был велик, от Харрона, от Халдеи, от стран еще Содомских и Гоморрских. Понимания — никакого. Сочувствия — ничему. Один копечный вкус к золотым вещам "египтян".

И так — везде.

И так — вечно.

(вагон, "allez"!)¹

* * *

21. II. 1914

Кто же именно "либерал" в России?

Кого "не приняли во внимание"?

Кого "не приняли во внимание", тому естественно становится "либералом".

И т. к. вообще "много званых, но мало избранных", то очень естественно, что свет вообще устроен очень либерально и планета краснеет "оппозицией".

Очень хорошо. Нет, зятенька, тут космология. И Милюков недаром сидел в остроге, а "тоже и Кондурушкин".

Эврика! эврика! Платон сказал, что "есть идея и волоса". А сплетники, кумушки, злословцы и, м. б., свахи "имеют около себя Перст Божий".

Не упирайтесь, не упирайтесь, гг. мистики, и глотайте всю действительность. Чихните, а потом все-таки глотайте. Ну, ты, — Сократ: не все тебе лежать с Алкивиадом после "Пира", вставай и делай под козырек Максиму Максимовичу Ковалевскому, который навалился брюхом на "не принявшее его во внимание" правительство.

(вагон — "retour"²)

¹ едете (фр.).

² обратный путь (фр.).

* * *

22.II.1914

Да это вата, а не человек.

(вообще русские)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Вата — дерется, вата — ползает, вата все "смягчает". На вате "мягко сидеть" и исправнику, и жиду. С ваты "сорвешь клок" — это купцы. Совершенная вата, — совершенно русские.

("Как идут наши национальные дела")

* * *

23.II.1914

Общее правило, что *всё* нужно видеть, и если ты "церковник" — то присматривайся и к антицерковникам, а если позитивист, то замечай "кое-что" и у мистика. Так будет не только мудрее, но и благочестивее, ибо никогда ошибка, никогда ложь и неправда не составят благочестия. Бог — *Ens realissimus*¹ и хочет только действительности и правды.

(на извощике)

* * *

23.II.1914

... не думайте, когда "истинно русское" станет торжествующим, я уйду от него.

Ведь оно захрюкает. Но я безумно люблю его в теперешнем страдальчестве. Пока оно гонимо. А оно неоспоримо гонимо.

— Официально, — нет.

— Друзья мои: ведь мы живем не "в официальном мире" и не суть "члены официальной иерархии". Мы *privatistische-menschen*². Среди нас оно гонимо, среди моих друзей (даже жена Иванова), почти в моем дому (кроме Васи и Нади), во всем решительно круге знакомых, с которыми вместе дышу, вместе живу, вместе обедаю; на нашей улице; и во всей печати, которой я и сам "член иерархии".

* * *

24.II.1914

Вся "тупость Розанова" выразилась в том, что, любя так огурцы (сол.), я с 1893 года (переезд в Петербург) лишен был их приблизительно

¹ реально-сущее (лат.).

² частное лицо (нем.).

до 1905 года (статья "Святылище Астарты")... Приехав, конечно, поупал "в соседней лавочке" (т. е. "в зеленой и мясной"): но, разрезав на тарелке, вижу эту ужасную пустоту внутри, каналец внутри, цвет отчаянный серый и, взяв в рот, чувствую:

— Никакого вкуса...

Ни божества, ни вдохновенья...

— Да *отчего* это, спрашиваю раз в лавочке, не в своей, а где-то на ходу войдя. И он мне "разъяснил":

— Помилуйте, как же им быть хорошими: ведь они *битые*...

— "Битые?!"...

— Помилуйте, откуда же их везут, за тысячу верст по железной дороге. Они и колотятся о бок бочонка. Оттого и пустой.

"Ну, когда так далеко, — думаю, — значит, вообще в Петербурге нет хороших огурцов".

"Битые", что делать. "Трясутся в железной дороге". Прощай, наши губернские огурчики. "Тут, со своей грядки". Известно, в Петербурге дома, а не огороды. Не на Невском же сажать огороды.

Так я полагал в мудрости своей.

Однако, обедая у Анны Ивановны (Сувориной), я замечал какие-то превосходные, особенные огурцы, и на вопрос: "что" и "почему" — она отвечала:

— Это с белым вином (в белом вине).

"С вином" я ничего не люблю, и, очевидно, это она откуда-то из Парижа или Монако выписывает и, вернее, ей присылают "с оказией" — свой человек. Недоумение разрешилось у Отта (лейб-хирург, акушер). Обедая у него единственный раз в жизни, я ел до такой степени превосходные огурцы, что даже лучше наших провинциальных. И, извинившись, спрашиваю хозяйку:

— Позвольте узнать, где же вы берете такие огурцы?

— А у Штурма, — отвечает она очень просто.

— "У Штурма"?

— Да. На Надеждинской. Только в телефонной книжке надо смотреть — "На Невском", хотя магазин в 3-м доме от угла — на Надеждинской. Скажу по телефону — и присылают.

Конечно, на завтра я отправился "сам", не разговаривая с телефоном, и нашел, под странным заглавием:

УКСУСНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (кто же поймет, что это огурцы).

Затомило у меня сердце: "Всё взяли иностранцы". "Дураки русские, какие же это дураки, и какое же у нас правительство, если они не могут сами заготовить и продавать в Петербурге настоящие огурцы".

Иностранец подсмотрел у русских из-под руки и сделал.

* * *

24.II.1914-а

Кто разгадает первую строчку *Песни Песней* — разгадает всего "Иуду" (весь "Израиль").

До дна.

И нечего будет еще разгадывать. "История Израиля" кончится как "загадка" и будет просто "Рациональная история евреев" — торгового поверхностного племени.

* * *

24.П.1914-б

"...да лобзает он меня лобзанием уст своих..."

...кто "он"...

...кого "меня"...

* * *

24.П.1914-в

...недаром всё темно и лиц не видно... Кто "Суламифь"? Соломон? — Полноте!

Не "Соломон" зовут его, и не "Суламифь" имя ей...

Это — аллегория, призраки. Еще "израильское затмение", — одно из тысяч, из бесчисленного их множества, рассыпанных по текстам их книг, как и по уверткам их быта...

Рави Акиба, величайший из их Учителей, сказал бы:

— *Песнь Песней* оскверняет руки, потому что все создание мира не превышает ценностью сотворения одной этой *Песни*.

И вы хотите уверить, что он это сказал, потому что "очень мило" и что такая пастушеская сказочка "О Царе и простушке Суламифи..."

О, как темны лица...

О, какой мрак...

* * *

24.П.1914-г

"Мрак и великий ужас объял его", — сказано о заснувшем Аврааме, в ночь, как заключил с ним завет Бог и как рассеченные животные были приготовлены для жертвы.

Вот кого "поцеловала" первая строка *Песни Песней*.

.....

О, *Песнь Песней*: никто не умеет тебя спеть, кроме Акибы и Розанова.

.....

"Нет, не так! не так!

Не *спеть*, а *сделать*". Первую строку *Песни Песней* надо не *петь*, а *сделать*.

* * *

24.П.1914-д

... и кто "сделает первую строку *Песни Песней*", тот войдет "в *Парадиз*", как сказано толковавшими *Колесницу Иезекииля*. "В тот час он вошел в *Парадиз* и умер".

Зачем жить? зачем томиться?

К чему земное все, земная любовь?
К чему она тому, для кого открылась Небесная Любовь, Οὐρανίη
Αερώς.
И он умер.

* * *

24.II.1914-ε

...Нет, не о Соломоне думал Акиба, а о Боге...

В вечер субботы говорят мальчику: "Пойди отвори дверь".

Отворяет...

И невидимо "Царь царствующих и Господь господствующих" входит в дома и хижины евреев...

О, в них входит "Слава Господня", как в Скинию, когда она была построена. Разве вы не знаете, что в субботу каждая хижина еврейская становится скинией?..

Если вы этого не знаете, вы не можете истолковать первой строки *Песни Песней*.

* * *

24.II.1914-ж

...и она поется о том, кто незримо вошел в дверь, отворенную мальчиком.

— Поднимайся, поднимайся, Суламифь! Иди навстречу Жениху твоему. Вот он, весь приятен видом, Царственный жених... В легких одеждах... и без одежд... стар и юн... силен и слаб...

Теперь он слаб, когда всегда силен.

Он пришел к ЯГНИЦЕ своей и ослабел на пороге ее, потому что *он любит*...

... она же, замарашка, дурнушка, в дырявых туфельках, но вся *верная*, вся *его*, — подымается навстречу Царю и Господину своему...

... и она раба, а теперь *царица*...

... и он царь, а теперь *раб*...

Теперь он раб! о — какой робкий! Как в миг, когда подходил к Аврааму, — в ту страшную ночь, испугавшую Авраама. Но потому что *Песнь Песней* тогда пелась впервые...

Теперь уже все привычно. И все они знают, — не онф, а они, что опять заключается завет с Израилем Бога...

Он заключается каждую субботу, когда появятся три первые звезды на небе, а мальчик приотворит дверь.

— Вставай, Суламифь! Вставай, — твой Жених здесь.

И Суламифь поет:

— Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

* * *

24.II.1914-з

... Как? Что?..

Мрак. "Мрак и ужас". Но *где* Бог — не всегда ли ужас? "Лица Моего ты не можешь увидеть и не умереть. Но стань там, в расселине горы, — и я пройду *мимо тебя*"...

Все "мимо", но не в субботу. И в субботу "видеть ничего не нужно", но ты услышишь поцелуй и скажешь еще молитву:

— Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

... Как? Что?

Зачем слова?!.. "Кто делает, тот знает, как сделать, а кто не знает, никогда не сделает".

И ему не нужно знать.

"Какие ноги у тебя, — как горы!

И руки — как ствол дуба". Мы все присматриваемся к описаниям Суламифи, влекомые романом, — когда интереснее и важнее отметить бы слова, где говорится о *нем*...

Она — пастушка, как все, как мы, но *он*...

Но как *он* любит: "соски у тебя... рождаешь *по двое*..."

* * *

27.II.1914

...*смертная* часть Каткова в том, что он *никому не был дорог*...

"Нужен" — да; "полезен" — да; "великие таланты ума и пера" — да! да! и да!

"Великий стиль": — о, конечно, *да*.

И все эти вещи не образовали даже крупницы бессмертия потому, что как *лицо* и *лицу* он никому не был дорог...

Ни даже, кажется, Любимову, с которым сотрудничал.

Ни "своему другу и единомысленнику" П. А. Леонтьеву ("Катков и Леонтьев").

Ни с одним человеком в мире он не был "близнецом", ибо и те связи были — деловые, служебные, железные.

Он был человек железных связей и железного лица: тогда как история, увы, — спиритуализм.

И он всеми забыт и никем не оплакиваем.

А был великий человек.

.....
.....
.....

В сущности, у русских это был единственный оратор "в пере". Как известно, лично и конкретно он плохо говорил. Но он врожденно что бы ни делал, ни говорил, ни думал "про себя" — делал и говорил и думал ораторски. Он был внутренне весь оратор, — сидя у себя в редакторском кабинете один, за лампой с зеленым абажуром... Его ученые трактаты, "докладные записки" (запрещение "Моск. Вед.") Министру внутренних дел, как и передовицы "до последнего издыхания" суть ораторство и ораторство, везде ораторство, но внутреннее, прекрасное. В нем не было ни капли "шику" (*смертная* часть ораторства), и он был весь целомудрен в этом нецеломудрейшем виде мастерства. Если газетам для чего-нибудь стоило родиться, то только для Каткова, т. е. чтобы мог осуществиться Катков. Ибо Катков *лично*, но *на кафедре* утратил бы целомудрие и уже не был тем, чем ему удалось или посчастливилось быть: оратором, который не видит вовсе

толпы, оратором без "публики", которая глазами и аплодисментами съедает оратора и обращает его в мусор и ничто.

Катков — один у нас. И, м. б., он *ни у кого* не повторится. Место его, без всякого умаления, около плеча — возле Демосфена, и неизмеримо выше, нежели место Цицерона и, может быть, Питта. В нем было настоящее величие ума, характера и всей фигуры; он был постоянно сержезен.

Шутки, даже улыбки, — нельзя себе представить у Каткова.

...При всем "неуважении русского вообще к русским", я помню, как все студенты в аудитории поднимали голову, когда профессору случалось "пожаловаться" или "сосмотреть что-нибудь" на лекции. По всем пробегало чувство, что упомянута о какой-то "сказочной Химере", которую никто не видит, а она всякого съест, если встретится, о каких-то "громах" никогда не видимого Зевса. Имя его, фамилия его была обаятельнее, чем Карла Фохта или Бюхнера, "своих людей", героев и святых молодежи. "Каткова нельзя не бояться", "он — страшилище". Этому способствовало то, что его действительно никто и никогда не видал. Он нигде не показывался. "Голос его слышим, лица его не видим". Бог. Бог красноречия.

.....
И все умерло такой ужасной смертью.

27.II.1914

...в связи с этим, т. е. отводя от Каткова глаза в сторону, задумываешься о категории теплоты, которую открыл Розанов или изобразил Розанов, а во всяком случае установил Розанов. Есть "церковь человеческой теплоты", которую нельзя не наименовать "церковью вечной памяти". Где люди бы никогда не забывали один другого и каждый всех и каждого, но носили бы имя и лицо "того, кто был с нами" в сердце своем как "вечное *есть*"...

"*Есть он, брат мой!*"

Боже: какой великий принцип: *есть! есть! есть! есть!*

(на извощике)

* * *

2.III.1914

"А ведь король-то голый", — сказал я про революцию.

— Король — да. На то он и "король", чтобы чваниться, расхаживать важно среди придворных, которые восхищаются великолепною одеждою, которую ему "якобы сшил" хитрый портной, а он вовсе ее не шил, и король прохаживается просто нагишом...

— Вот-вот: я и говорю, что "король-то голый": ни — свободы, ни — равенства, ни — братства: одна зависть, злоба и самое жалкое заглядывание в глазки тому, кто, напр., "хорошо говорит" или держал себя "особенно демонстративно". Он просто грубиян, а его называют Мирабо, и он только Милюков, а его называют Мехелиным, "который спас Финляндию". И все эти "спасители отечества от полицейского" дальше кутузки ничего не видят, дальше кутузки ничего не опровергают

и в конце концов попадают в кутузку же. Какой же это роман? Это не роман, а Анатолий Каменский. Король совсем голый.

— Король голый, п. ч. он король, а революция одета, пот. что она революция.

— На этот раз портной оказался хитрее и короля и революции: он сделал вид, что раздел короля, и все называют его "голым", и сделал вид, что приготовил великолепную одежду на революцию: а на самом деле оставил ее "так". И с тех пор демократия надсаживается из всех сил и кричит: "Смотрите, какая невиданная на нашей революции мантия!"

Между тем это лоснится черная кожа раба.

("4 раза бежал наш Дейч из тюрьмы"; "наш друг был знаменитый географ Реклю"; "наш Кропоткин был геолог и князь", "Кибальчич во 2-й раз открыл Америку"... Но все это "призрачная одежда"... которую даже и разрывать не приходится, п. ч. ее просто нет.)

* * *

2.III.1914

Чего вы приступаете к душе моей, тираны. Не "правительство", не полицейский и не чиновник мучат мою душу, а ты, либеральный профессор на казенном жалованье, и ты, революционный журналист с "подонков".

Ты, Grimm, и ты, Горнфельд. Один "в зависимости от своей популярности", и другой в зависимости от банкира.

Смотрите, как облизались на миллион 3-го дня "Русские Ведомости" (статья "Миллион s'amusant"), его лестью и подшептыванием, что "московские миллионеры" суть "российские Медичисы".

Решил о Сибирякове ("Кузьма Медичис"):

— Я видел его на балу у кн. Долгорукова (московский генерал-губернатор): он согнулся весь колесом и подскочил к нему, когда тот сделал движение подать руку, с таким лакейским подбострастием, с такой благодарностью, что его позвали на бал или допустили быть на бале, что было отвратительно смотреть.

Революционеришки знают, где раки зимуют, хотя и о князе, жестоко нуждавшемся, тоже нельзя не заметить, что он знал, "где раки зимуют".

(рассказ о нем портного, чинившего ему мундир и проч.: "Почему у Вас портрет князя Долгорукова?" (я). Он: "Как же, я ему чиню платье" (дешевый, грошовый портной, — для студентов. Я был студентом и у него "шил")

* * *

2.III.1914

— Есть ли время учиться, когда надо спасать отечество — и, побросав учебники, алгебру и даже букву "ф", россияне устремились... на ближайшую опасность — полицейского.

"Ты, тиран, пьющий из народа кровь". Сами мы не видали, но сказал Герцен, тоже не видавший. Бух — "по уху", палкой, а то и из самого браунинга. Полицейский, ничего не понимая, падает.

"Когда тут учиться, когда везде пожар". И, схватив ведро, гимназисты поливают шляпки дам, мундиры чиновников и "господина

купца". Гимназистов стаскивают с панели и запирают под замок. С вытаращенными глазами они произносят:

— Теперь мы счастливы. Ибо имя наше не забудется в истории.

Струве подслеповато им подмигивает. Изгоев прогуливается вдаль. Петрищев в восторге. И Венгеров, у кухни которого — аптекарский магазин, говорит: "Ничего не поделаешь. Русский всегда герой и ринется в крестовый поход за Святую землю".

Он понимает и Изгоев (еврей) тоже понимает, что русские очищают место евреям и собственно совершают "крестовый поход" для приобретения Палестины, а кstattи и России, в руки Гинсбургов, Ротшильдов, Поляковых и Бродских.

Но русский всегда идет "на ура", при Суворове и Крапоткине. И как при Суворове "не сообразовался букве "ѣ", так и при Крапоткине никак не может доучить букву ѣ.

С "буквой " — Венгеров и Изгоев.

Beati possidentes¹.

Я думаю, тоже не без буквы "ѣ" русские патриоты и славянофилы, Гершензон и Айхенвальд.

* * *

3.III.1914

Да, они необходимы политически, но что же это такое: они придут к вам, изломают вашу мебель, истопчут сапогами ваш ковер, пусть бедный, но все-таки чистенький, а главное — разуются, поставят оба сапога около стула и если заметят, что вы не разделяете их взглядов на Антония Храповицкого или на киевского губернатора, то начнут вас колотить правым сапогом по левой скуле, а левым сапогом по правой скуле. Я патриот, но не желаю до такой степени страдать за отечество. Я желаю, чтобы мой ковер не рвали и мебель оставили в целости.

(*"наши националисты"*)

— Нет, уж пусть ко мне ходит Винавер. Конечно, я разговаривать с ним не стану, а дам ему "заняться" номер "Русских Ведомостей".

Но все-таки со мной ничего не случится, и не придется обращаться к костоправу.

(*русская душа, зажатая между Винавером и Антонием Храповицким*)

* * *

3.III.1914

— Обширно образованный и с разнообразными талантами барин, за которым все "следила" и "прижимала полиция"...

— Корнет Савин?

— Нет, Герцен. Он перевел свой миллион в Англию и переехал сам границу. "С того берега" боролся с правительством Николая I.

— Если бы Савин имел миллион, может быть, он поступил бы так же. Но как был неимущ, то должен был "сам зарабатывать", причем попадал в пренеприятную историю.

¹ Счастливы владеющие (*лат.*).

— С своей стороны и Герцен, если бы должен был "сам зарабатывать", совершенно неизвестно, удержался ли бы на рыцарском пути, а не увлекся ли бы удивительными дарованиями и явным умственным превосходством перед полицейскими, вообще перед правительством Николая...

— Так что Савин и Герцен...

— Имели разное состояние и разную судьбу.

(засыпая после обеда — мелькнуло)

* * *

4.III.1914

Последние зори так же прекрасны, как первые зори.

И так же добродетельны.

∞

Литература не есть ли что-то, что только "кажется"...

?

Может быть.

.....
"Встреча с милой девушкой" в 19 лет (будущая жена), удачный или, наоборот, неудачный выбор профессии, выбор факультета в университете и даже удачная в жизни встреча с "дружным человеком", — больше решают "судьбу нашу", наш "счастливый или несчастливый путь", чем все "прочитанные книги".

Тогда не есть ли это действительно "призрачность". "Прекрасный и милый фантом", который нас манит и забавляет и решительно ничего не содержит. Ничего особенно важного?

Смотрите, "милая, встретившаяся в 19 лет, девушка" теплой постелькой своей, милым уютом около себя, прелестным "за чаем" рассеяла бурю Байрона, разрушила тоску Теккерея, скептицизм Вольтера; успокоила ум после Ренана. И не допустила чтения Каменского, Арцыбашева, Леонида Андреева.

— Фи, милый! Не надо!

И в самом деле "не надо", и счастливый муж кладет руку на плечо любимой жене и смотрит ясными глазами в ее чистые глаза.

И божество, и вдохновенье,

И вера, ласки и любовь.

Даже стихи переврал от удовольствия. Вот что значит "удавшаяся" жена...

А "неудавшаяся"?

"Увязался с экономкой" и никак не могу "расстаться", точнее, "разделаться". Кричит, шумит, и не хватает духу "разделаться". Вернулся домой к ночи — "экономка". Утром ушел в должность — "экономка". Тут без Вольтера станешь Вольтером, и "точно прочитал всех мировых скептиков и отрицателей". Тошнит всю жизнь. "Сущий Мцыри". И смотришь, "экономка" бумазейной юбкой преодолела влияние Михайловского, Короленки, "Русского Богатства", В. В. Кривенко.

"Был бы идеалистом, черт возьми, — да экономка не пускает".

Так не "призрачность" ли, господа? Не призрачность ли, господа, Елизавета Кускова и ты, великий Рубакин?

* * *

4.III.1914

...Не этот красивый закругленный бок Публичной библиотеки, а тот острый, что обращен к садику.

Вечером, когда спускаются ночи, Невский еще светел, день, — а там пали сумерки...

И скоро ночь.

.....
Душа как отлетела у меня, и я мертвым языком говорил извощику: "Скорее! скорее! Куда-нибудь..." Но он лениво так же ехал и не ускорял. А лошади бежали так медленно. И бесы смеялись. Два беса в мужских пальто. Осень, чуть-чуть дождь.

Они гнались, и я бежал. Потом все припоминал, очень похожее из Горация:

Как я боялся, как бежал,
Творя обеты и молитвы.

Тогда не было Бога со мною, и никто защитить не мог.

Я был один (боялся. А они гнались и хохотали).

И до сих пор (5 лет) прохожу мимо этого бока, не смея взглянуть и опустив голову. Это по той стороне тротуара (Невского). Но знаю, что он *тут* (острый угол), и тени падут, как тогда, и "скоро совсем темно".

И душа опять подавлена. Всегда подавлена.

(из минут, "когда Он показал меня под смоковницей")

* * *

4.III.1914

Половой вопрос в такой мере затянут притворством и ложью, особенно в книгах, и впереди всего — в медицинских "заключениях", "экспертизах", "наблюдениях" — "статистике", что "все нужно начинать сначала", строить дело "ab ovo"¹. Напр., что "менструации начинаются в 14, 15, 16 и даже 16 1/2 лет", когда из всех мною сделанных устно *распросов* я ни разу не слышал "16 1/2 лет", даже не слышал "15 лет" (не помню), но "13, 13 1/2", редко-редко "на 14-м году" и 1 раз — "11 лет" у здо-ро-венных в чистейших, строжайших семьях.

Далее, "у состоятельных классов *раньше*, п. ч. есть *возбуждающее чтение и театры*" (медики). Болваны: всякая кухарка вам скажет, что *помещенные в кухню курицы* (в тепло) начинают "нести" (яйца) на месяц, на два ранее, чем курицы на дворе (холод). В обеспеченных классах *весь организм* "в холе", не в угнетении, не в преждевременной и через силу работе, имеет нормальную дозу сил, и труда, и еды и "развивается" *раньше*, ибо *раньше стоит в организме норма*, чем в классах горьких, угнетенных, замученных.

¹"от яйца", с самого начала (лат.).

А вы — "романы". Подлецы скоро выдумают, что "коровы на 4-й год несут теленка, начитавшись французских романов". Что с такими подлецами делать, как не выволочь их за волосы из "комнаты обсуждений".

Церковный брак во всей Европе был 13 лет для девочки и 15 лет для мальчика, — это до грамотности, — и очевидно на основании универсального родителей наблюдения, что "в эти годы девочки начинают менструировать, а у мальчиков ломается голос, появляются первые басовые ноты".

Тащите, тащите вон за волосы медиков и юристов. Это профессионалы лжи, обмана и тупоголовости.

* * *

4.III.1914

Ну — раз; ну — два; но нельзя же до бесчувствия.

Что утомило меня, то это "Яков Карлович Грот". Уважал человека, — да и вся Россия уважала, — при жизни. Но при жизни его было "мало". Истинно "много" Якова Карловича Грота стало после смерти, когда его сын, Константин Яковлевич Грот, стал писать о нем. Константин Яковлевич тоже почтенный человек, и нельзя ничего о нем сказать не только худого, но и "так себе". Но эти его бесконечные статьи, брошюры, книги "о Якове Карловиче Гроте" сделали или, я опасаясь, сделают несносным имя "Якова Карлыча Грота", чего величавый старец решительно не заслужил. "Пощади, — должен он сказать из гроба. — Ты завалил мою могилу столькими "воспоминаниями", "письмами", моими "из лицейских дней моих", "Пушкиным и Гротом", "Гротом и Пушкиным" и опять "Гротом", что мне стыдно, а читателям твоим мучительно".

В самом деле, у читателей и почитателей Константина Яковлевича вырастает такое впечатление, что русской литературы собственно не существовало до "Як. Карл. Грота", и лицей имел только тень существования, а не полное существование до вступления и окончания в нем курса Якова Карловича Грота, и Россия потому есть сколько-нибудь достойная страна, что в ней жил, трудился и даже любил ее Яков Карлович Грот.

Достойный человек Яков Карлович Грот. Но ради Бога, пощадите!

Так два человека, отец и сын, оба прекрасные, — "вместе" непереносимы. И Бог знает для чего портят друг другу существование. "О если бы у меня никогда не родилось сына", — может вздохнуть в могиле Яков Карлович. А сын когда-нибудь опомнится и скажет: "Как хорошо, если бы у меня был отцом простой и обыкновенный немец, а не знаменитый Яков Карлович Грот".

* * *

4.III.1914

Ах, до того это надоело... Да, оставьте вы, пожалуйста, чужие штаны в покое и чужие юбки.

Тысячу лет, лет — 1800 лет: "зачем юбку подняла", "зачем штаны расстегиваешь". — Да "нужда пришла", только и стоит ответить, насмешливо и двусмысленно. И такие умные "вообще". А как до этого дойдет — теряют весь разум. Ручки трясутся, недостаточно вопят, даже ради этого "решаются всего", и который-то папа потерял всю Англию из-за развода.

"Не допущу". "Застегни штаны". "Пусть опустит юбку". И стоило отцу "на тот час" отвернуться в другую сторону.

Какое-то сумасшествие. Мое правило: "Каждый за своими штанами да смотрит", а остальным — ни "да", ни "нет".

* * *

4.III.1914

Все будет равно, одинаково...

И все — умрет.

"Egalité... liberté" — это просто *смерть*. Где "будем все равны".

И только "братство" выпадает *в жизнь*.

Но "братство" возможно, лишь если я не буду завистлив к "inégalité"¹ и не буду мучиться и в "servitude"...²

Василий Шибанов не мучился и был братом Курбского.

Курбский этого не чувствовал. Пот. что он все-таки был изменник. От "нужды" и "простимо" — но все-таки изменник.

А "грешный" никому вообще не брат. Братство — святое чувство. Братство — в святой душе.

* * *

5.III.1914

"Взгляд Пушкина на стихи Державина", "Мнение о Пушкине С. Т. Аксакова" или "Академик Як. К. Грот о Пушкине" — это несколько не интересно и не нужно (иначе как в хрестоматии и для учеников), а на первом плане должно быть поставлено:

Пушкин и первое впечатление.

Пушкин и второй ряд впечатлений.

Пушкин и последние впечатления.

За гробом (впечатления у гроба и первые месяцы после смерти).

Потом (судьба поэта в мнениях потом, 1/2 века).

Ибо всякий поэт, писатель, "хотя бы А. Дюма", есть "я", и интересна история между "я" и "ты" (общество). "История литературы" не есть история эстетическая etc., а есть история борьбы между вечным "я" писателя и между вечным же "ты" общества, людей, индивидуумов.

Без особенного унижения последних и возвеличения писателя. Это есть *история переработки общества под действием писателя* и ряда писателей, насколько эта переработка *была* или этой переработки *вовсе не было*.

Посему в "историю литературы" должно быть внесено все особенно *резко* встретившее писателя, все — особенно *не понявшее* его. Камни, стрелы, как и бальзам, мед, должны быть внесены...

¹ неравенство (*фр.*).

² рабство (*фр.*).

.....
Когда так напишется история, вдруг все увидят, не без ужаса, что в Чернышевском и Добролюбове, в Щедрине и Некрасове ни капельки не было нового и оригинального, ни капельки не было нового даже в Гоголе, — а все они были старенькие-пре-старенькие, "известные-переизвестные" раньше, чем вышли из печатного станка, и их сейчас же все "подхватили под ручку", как даму "самую приятную во всех отношениях", и "посадили под образа". Есть нечто мучительно сходное между Оль д'Ором и Чернышевским, как между мошкой и, напр., испанской мухой: велика разница в *величине*, но "в порядке классификации животного мира" нет разницы. Тогда как Кольцов и Оль д'Ор не имеют ничего сходного. Это медленное преобразование "Чернышевского в просфирно" — разительно и истинно. Все "подошли к времени и месту", как "просфирня", конечно, подходит к "чухнам", и всем им надо дать одну рубрику:

НАШИ ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ.

(оторвавшись от каталогизации своей библиотеки)

* * *

5.III.1914

...все-таки удивительно, что не поняли, для чего я писал и напечатал "Уед". Закат нашей любви с В., "в звездах" мое, "судьбу" мою... И чтобы не смели говорить и думать обо мне как "сам" и "один"...

Вот. А читатели, и публика, и литература нас...

* * *

5.III.1914

У меня горе в дому, опять горе. Филевский так и распоясывается. Губы в меду, лицо лоснится: "Вот то-то же, пришли к нам". "Только у нас тепло". "Мать св. церковь всех выкормила, выпестовала, воспитала".

Позвольте: так *что* же собственно *вы* сделали? Все — греки. Все — греческая церковь. Ее разум. Ее усердие. Ее теплота сердечная. *От которой и мы, русские, согрелись*. И казалось бы, нелепое и грубое учение и слова патриарха Никона: "По рождению я русский, но по вере я грек". Только вот при таких ликованиях Филевского вдруг получают себе освещение, наливаются смыслом, и, увы, для русского наливаются горьким смыслом. "Что вы-то, Филевские, сделали и чем меня утешили? Чем утешили Лебедевы, Скворцовы, Дроздовы, Преображенские, Вознесенские и пр., и пр., и пр.? Все, все, сколько ни есть вас, — поистине черная и поистине скудная рать. И что ужаснее — ленивая, небрегающая делом своим рать. *Где вы, что вы?* Хоть бы вы консисторию устроили почище. Взятки и *возможность* их предупредили бы. Но вы и "человеческого" не сделали, не говоря о божественном. Где, скажите, где, скажите, — ваши, именно ваши, т. е. "наши русские", утешения душе скорбящей, человеку недоумевающему. Где слово человеку угнетенному, бедному, в темнице, в поле. Где слово останавливающее — разбойнику, укоряющее — вору? Все "от Макариев", еще "от Египта"... А, знаем, ну, и кланяемся *им*.

Кланяемся все же прекрасной Греции, а не холодным нашим снегам и болотам.

Правда, есть Сергей Радонежский и Серафим Саровский. Да. Есть. У меня есть друг Александр Устьянский. Но как все-таки мало, — и ни служб, ни молитв *наших русских*.

Правда, хороши есть акафисты.

Но я вопию: мало, мало, мало — для тысячи лет славянщины.

* * *

5.III.1914

...Помолись, Варя. И я с тобой.

Помолчав, она:

— Устала молиться.

.....

Я все составляю каталог своей библиотеки. Все "подгребаю к смерти". Тороплюсь жить.

(Новая болезнь; почки; после того как "все хорошо" ¹/₂ года)

5.III.1914

А все-таки "мелочной Розанов" заглянул в будущность, отметив любовь свою к библиографии. "Сих скромных людей помажешь по губам, и они *будут тобой заниматься*". Это — так. Т. е. это плохо. Отметим "порок", который будет "наказан", т. е. "тобой вовсе не будут особенно заниматься"...

Что я хотел сказать. Да. Вот. Что хитрость-то хитростью ("заглянул в будущее"), но я и действительно

Тихие, милые ночи...

проводил над библиографией. Тут не сама книга, а переплет. Особый "дух" старой-старой кожи. Ну и отвернешь. Ода Ломоносова. Баллада Жуковского. "И мои безделки". И. И. Димитриева. Четыре квадратных тома Княжина...

Все прелестно...

Благовонно...

Что же я хотел сказать.

Да. Вот... "У Розанова" всегда хитрость соединялась с истинным и глубоким энтузиазмом; а глубокий энтузиазм...

Нет, он не всегда был "хитер". Некоторые "энтузиазмы" во мне совершенно чисты от хитрости. "Хитрости" привходят к литературе (моей), но уж это такая область, где надо непременно "почистить платье". Вот что, однако, я хотел сказать: что суть моего "я" состоит в поразительной и для меня самого неустрашимой, непобедимой слиянности, или "сдваивании", энтузиазма и хитрости, но, однако, так, что первая горит, кипит, "сама" и "чиста" — и возле нее бежит этот хитрый зверек, ей-ей всегда любующийся на энтузиазм и от этого-то, может быть, и неотгонимый для энтузиазма. Мой энтузиазм безумно любит

мою хитрость, какую-то милую и грациозную, никогда не злую и не вредящую, — которая есть в сущности "шалость в жизни", без коей "пророку" было бы иногда скучно. И "пророк" во мне забавляется с этой хитростью: говорит "поди туда", "побеги сюда", "загляни в это место", "в эту душу". И "шутка" (хитрость) играет с "пророком", чтобы ему, бедному, было не скучно... и (иногда) не страшно. Но она безумно любит этого своего "пророка" и служит ему пламенно и самоотверженно. За всю жизнь не случилось даже и 1/2 раза, чтобы "пророк" послужил во мне шутке. Он на нее смотрел с любовью, но... как-то шутка и сама не хотела, чтобы ей служил пророк.

Ну что за важность пожелать себе "хорошей библиографии". "Все со слабешками" (со слабостями). Моя хитрость никогда не была угрюма.

Это клоун (в цирке ненавижу "выход клоунов"), скорее — резвящийся мальчик, который кувыркается и перескакивает через свою голову...

(прочтя Андерсона о себе, — и там 2—3 строчки "о любви Р-ва к библиографии")

* * *

6.III.1914

Этот — затхлый запах фундаментов человечества...

Всегда, потяну носом, схода в "преисподняя" земли...

Господи! Как я люблю это подножие ног Твоих...

(с 5 на 6 марта, проснувшись ночью, — внезапно)

* * *

<7.III.1914>

— Дурак этакий и якобы честный человек: ну я "сотрудничал в двух газетах, одной либеральной и одной, по твоему глуповатому мнению, консервативной" и тем "двоился в писаниях" и "двурушничал", т. е. ходил в кассу обеих газет за деньгами.

Так. Соглашаюсь. Поступал нечестно. Но рассмотрим твою "честь" сквозь призму моей "нечестности". И в основе посмотри, какой ты "демократ" и какой я ... уже не знаю что.

"Нечестность моя" и пала на меня, и только на меня, причинила боль мне, и только мне, не задев никого третьего и твоему лагерю "честных людей" доставив явное удовольствие.

Итак, Пешехонка "в удовольствии победителей" и "Розанов в огорчении побежденного".

Еще твоя победа, о римлянин, и мое поражение, "бедный базилевс Пирр" (или наоборот).

Так слушай, глупый и немилосердный раб: ибо только из рабов выходят эти жестокие судьи. Разве же я для себя "двурушничал", и кто из видевших и бывавших у меня видел, чтобы я зарабатывал себе "двурушничеством" обстановку, этакие "кушеточки" и канделябры, на которые кидаются ваши демократические адвокаты, да и из литераторов многие. У нас с женой не было никогда выделенной из квартиры спальни (т. е. отдельной для сна комнаты), и прислуга брала матрас, одеяло, простыню и подушки из обитого материей (пошла занавеска на обивку) ящика, и "постель устраивалась к ночи", не занимая отдельной комнаты.

А когда "жена моя" ходила "в тяжести" и потом рождала и *всегда не могла кормить детей* (5)¹, то, беря кормилицу, всегда отпускала кухарку и становилась сама к плите готовить кушанья. Таким образом, она (5×9) — *сорок пять месяцев была кухаркою*, будучи всегда в недомогании (неопределенные частые заболевания, родник которых — давняя неузнанная болезнь). Никогда за 20 лет она не имела так называемого "туалетного столика", перед которым "дамы убирают себя", причесываются и проч. Но она не была растрепой, как ваши демократические шлюхи, — у нее был инстинкт всегда быть "одетой", что по бедности было сдержано в границах чистоплотности. Это не то, что супруга революционно-демократического Щедрина (рассказ, случайный, Н. А. Энгельгардта), которая вставала не ранее 12 часов дня и проводила *часа по два за туалетом*. Хорошо, потом переходим в "Нов. Вр." — средств хватает — и ежегодно откладываем то тысячу, то 1 1/2 тысячи. За 10 лет это накопило тысяч 12, все в закладных листах земельных банков. Пошли годы ученья и % с 12 000 уходил на одну плату за ученье: 4 девочки и мальчик, и я должен был подумать, на что они будут жить, раз весь % идет на плату за ученье. И "судьба девушки без средств" в ее общеизвестных чертах давно щемила мою душу, особенно при виде Тани (3 года), играющей в уголку кухни, когда мама стояла за плитой. Это "щемленье души за Таню" совпало с полемикой с "баринном" Соловьевым (он полемизировал со мною как "барин" из "Вестника Европы" "с кем-то с улицы" из "Русского Обозрения"), и отсюда мой раздраженный, взбешенный тон против "теософствующего барчука"... я знал, "где раки зимуют" и что ему запасена "теплая зима", "в своей шубке"... Ну-с, дальше. Дети все маленькие, крошки; *жизнь я себе считал до 55 лет*: и на этот срок закидывал "вперед счеты". Т. е. приторавливался. Сотрудничество в "Русск. Слове", — о чем меня просил И. Д. Сытин, зять его Ф. И. Благос (редактор) и потом Дорошевич, — все относившиеся ко мне безукоризненно. В сотрудничестве не было и тени упрашиванья с моей стороны, навязывания с моей стороны, и до сих пор ко всем, так сказать, "воротилам" газеты я в душе отношусь очень хорошо, и мне неприятно только, отчего Фед. Ив., всегда, бывало, заезжавший ко мне, когда бывал в СПб., перестал у меня бывать. Думаю, что — от чувства неловкости, что они "обменяли меня за Мережковского и Философова" (о чем ниже): но я их несколько не виню, ибо им (рассказ Арк. Вен. Руманова "Петербургский телефон") поставлен был ultimatum, и они выбрали (на их взгляд) выгоднейшее. Дело торговое. Нужды газеты. Я их не виню. *В душе я был всегда согласен* с "Нов. Вр." (политика) и не согласен с "Русск. Словом", но видел, что они в "честь", т. е. ведут политику, "как ее понимают", как "вытекает из строя их души". Этому "строю их души" я, по благодушию, помогал, да, понятно, как в церкви, так и в государстве, слишком открытых критике и, наконец, прямо негодных и смешных. *В "Русское Слово" я не дал ни одной неискренней статьи*, т. е. заключающей негодование не то, которое я имел. "Неискренность" и "фальшь", в сущности, заключалась в одном: я не одобрял в душе общего руковод-

¹ Давняя, неузнанная болезнь.

ства их газетою, "широко-демократического", "улично-крикливого", со слишком оптимистическим взглядом "на наше общество", о котором я был гораздо худшего и меньшего мнения, чем редакция. Но сказал в душе: "Пусть будет по их; пока ребенок не ушибется — все равно розги ему не помогут". Но я видел именно "честную веру их в свое дело" и опять повторяю — как это неоднократно я дельвал и в жизни, — охотно помогал чужой вере, хотя она и не была моей верой. Я видел, что *Благову, Дорошевичу и Сытину* нужно было иметь, и *годы иметь*, совсем иное зрелище перед собою, вот какое я *имел*, и, вероятно, мне нужно было тоже заглянуть в то, что они видели, словом, надо было — уже если дело решать *словами* — не недели, а месяцы спорить, "живя в одной квартире" (т. е. непрерывно), чтобы прийти "к одной платформе" (убеждения).

Итак, что такое было это "двурушничество"? Неискренность, частичная, с моей стороны. Увы, я вообще *столь искренен* не был с декадентами "Мира искусств", с консерваторами "Моск. Вед.", "Русск. Вестника", "Русск. Обозрения", "Гражданина". Было ли это больно? *Несколько* — было. Но — не очень. Отчего "не очень"? "Разве стоворишь со всем светом"? "Господь их устроил *к одному*; а меня — совсем *к другому*". "Что им *до меня*. Что мне *до них*". В сущности — я *один, с мамочкой* (жена). Вот. Наш дом; мир. "Мир" — не я. Он — Божий. Он существует вне меня и без меня. Я для него, как для телеги "попавшая в колесо солома". Деньги дают — "соломе". Хорошо. Телеге нужно, чтоб "солома была". Пусть. И телеге хорошо. И соломе хорошо. И всему хорошо. Мира устроить *своими руками* я не могу и *не имею права устраивать* ("без меня и до меня"). И я предоставил течь делу, как оно течет, пассивно...

Но формально — *за годы раньше, чем Пешехонка меня обличил*, — я думывал, и именно, помню, думывал, прогуливаясь (минуты досуга) по коридорам "Нов. Вр.":

— Скандал! Ведь это полный скандал! Как я пишу в двух газетах, с разными политическими убеждениями. Бывает это с мелкими анонимными писателями, с которых вообще что спрашивать. Но я явно, выпукло, большой писатель — автор целых систем воззрений, в школе, в училище, в семье, в религии, в церкви...

— Что такое? — Помню *один час* (не больше) меня жуть взяла (именно в коридоре): "Что я скажу? Как я объясню?"... "Когда-нибудь об этом поднимется вопрос?"...

Тогда (*в тот час, в коридоре*) я ничего не умел сказать.

— Факт, и шабаш. Черт его знает — факт.

Теперь, когда годы прошли (после Пешехонкина обличения), я совершенно спокоен, у меня полная ясность на душе. Больше: я вижу нечто великое в этом деле, которое "естественно слагалось" просто как "факт".

— Позвольте, господа, позвольте окинуть весь литературный мир, не только со Щедринами, но и с Байронами. Я веду великий суд с литературою и спрошу всю ее, всех поэтов, философов, романистов, хотя бы "пречистого Льва Толстого": кто из них был так *высоко-человечен* и *смирненно-человечен*, чтобы, видя усталую и больную жену около плиты и чуть не ползущую к моим ногам девочку 3 лет (когда возвращался со службы), сказать в себе глубокое, человеческое слово:

— Эти люди (большая и крошка) *все мне отдали*, от всего в мире *отреклись*, чтобы мне было хорошо, уютно, не горестно, спокойно, наконец, сносно. И никто их труда и жизни не видит, не видит бездн работы и самоотречения.

И никогда не будет об этом рассказано. Это — во мгле. В мировой мгле. Они не литераторы, не ученые и "без голоса, без языка" (закричать, сказать). До смерти еще долго, и так тянутся дни. Дни белые. Дни черные. Я умру, и что с ними станет? Гибель, — о которой опять никто не расскажет. Так что же такое я: то явное "в свете", что около них живет? (литератор, говорю). Да они, может быть, есть самое светлое, что я в своей жизни увидел, узнал. Они родили все мои идеалы, родили "Сумерки просвещения", родили "Легенду о Великом Инквизиторе", "Место христианства в истории". Я, собственно, только "перерабатывал" в слова (п. ч. мне был дан дар слова) то, что видел и что подмечал мой внимательный взгляд. Не у Дягилева же, не у Берга, не у Александра, не у Сытина я брал идеи: а из — кухни, детской и спальни. Вот "Сад Божий", где я "научился всему". Что мне мир? Он мне совсем не нужен. Нужны — "мои", не по существу родства (о, не по существу "родства", это я хитреньким глазом умею рассмотреть). Не потому что "моя плоть" (которую сумел бы и проклясть), но потому что случайно и неисповедимо "в кухне и спальне", в трудах и заботах, в болезнях и страдании — я в самом деле увидел *объективно и бесстрастно* "лучшее", чем собрания, лекции, книги...

Чем все, все...

Моя милая Ганюша...

И моя милая мамочка...

С глазами чистыми, всегда правдивыми.

Без единого лукавого слова когда-нибудь из уст...

Ну хорошо. Зарапортовался. Скорей кончаю.

Позвольте. Да то, чем меня корят, есть *лучшее дело* моей жизни, и оно-то и сплело тот "героический пафос", какой живет во мне и которым я творю. Сколько, сколько есть литераторов, поэтов, философов, "хотя бы и Абелья", которые видели около себя все то же, что и я видел: своих, *оставшихся в тусклости* и не "рассказанных" жен и малолетних девочек (дочери)...

И выдержали только гордость: "Я — Байрон"...

"Я — Абелья".

"Я — Виктор Гюго".

"Я — Пешехонов, который никогда не солгал".

"Да-с. Мы не были двурушниками".

"Мы не изменяли убеждений".

"Мы служили одной партии. Одному лагерю".

Черти. Дураки. И дураки ваши лагеря. И проклятые ваши партии. Да провалитесь все окаянные.

Фарисеи!! О, вот глагол...

Жизнь — вот она!

Последняя правда!

Последняя мудрость.

Мудрость "быть как все".

Что это литераторы за "аристократия особенная", которой одни венки и венцы, и им "история литературы", а "набольшим — и монументы", когда человечество, все вообще, ползет в такой нужде и скорби, но поистине ползет благороднее, чем гг. "литераторы". Да, белоручки-то, господа, — вы, хоть и пишете о демократии; да, "короли и министры" — именно вы, хотя и пишете против королей и министров. Скажите, *votre Majesté*:

"О Пешехонове да не подумает никто, что он двурушник", как о Louis XIV нельзя было подумать, что он "не Солнце" (*roi Soleil*). Бедные, бедные, жалкие, жалкие. Павлиньи хвосты в вас есть, а мяса павлина в вас нет. Вы пышны и безвкусны. Вы именно не народ. Вы именно не демократия. И вы не святые и не мудрецы. Мудрость быть "как все" и не разделяться *ни в чем от человечества*, ибо поистине:

человечество — вот оно Бог твой!

Человечество, насколько страдает, скорбит, болит, трясется, лжет (я), "двурушничает", немножко хулиганит. И говорит: Господи, помоги мне...

Господи, я зачернел...

Господи, мне дурно...

Вот.

Не та "королевская демократия", которую хвалят в газетах, которая "устраивает 9 января", которую освещают электричеством, и она уже начинает убивать и резать...

Эта демократия — она погибла...

Но есть за нею другая демократия, целые народы, которая прежде всего *убежит из-под бенгальского освещения* и которая никогда, никогда не побежит за репортером: "Похвали меня, поговори обо мне", а

— Молится.

— Или — умирает.

Вечный герой. Да. Демократия теперь хулиган, и это писателишки ее развратили. Но есть еще другая, ВЕЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ, *Aeterna Dñmos*, которая не уступит царям и рыцарям в достоинстве. И живет, и счастлива именно ДОСТОЙНСТВОМ своим, тайной души своей, не рассказанной и не репортерской...

"Нам газет не нужно, и мы живем не для газет. А для Царства Небесного и какой-нибудь доли здесь. Мы не разрушаем, если нас не разрушают. Мы создаем. И горды тем, что на нас история стоит. Вот наша мысль на земле и наша надежда на небе".

Устал. Кратко: я сказал в себе, что "писатель — не аристократ" и должен принять на себя "все то обычное, что в обычае у людей" (*не отделяться от них*), и рассматривать "литературу и философию" как, конечно, полную сокровищницу идей, но и, с другой стороны, — как просто работу, работишку, и вот именно — для денежек: как для рубля везет мужик дрова, и лошадь "для корма" везет тот же воз. "Для рубля". Ибо да не воображает кто-нибудь (белоручки), что мужик повез бы воз без "рубля", а для "рабочего вида".

Рубль.

Праведный, святой рубль. Стержень всего.

Но конечно, у меня разума "не как у Пешехонова". В днях, в годах работы у меня все как-то великолепно разместилось, соткалось в великолепную ткань художества и ремесла, философа и "лошаденки", героя и униженного "двурушника".

"Мой ум шире вас всех, дурачки". Но это — пока ум: в сердцевине я знал, что "лошаденка" будет оправдана, что в "лошаденке"-то и заключается высший пафос и налитая соком героическая жизнь. Что я заступался за женщин в "Семейном вопросе" — это так обыкновенно; за гимназистиков в "Сумерках просвещения" — опять обыкновенно. Но что я, будучи большим и, м. б., великим писателем (взяв совокупность всего), молча и никому не рассказывая, "что" и "почему", принял и годы нес и несу на себе "зрак раба" и имя лжеца, двурушника, лгуна, "и нашим и вашим": никто не смеет срывать с меня венец, что это было великим поступком, великим делом целой жизни. И я могу сказать: я не великий писатель только, но и великий человек.

Прощайте, Пешехонов, вот вам маленькое нравоучение — не судить о вещах "дальше кончика вашего носа", дальше которого вы вообще ничего не видите.

Теперь, когда все кончено, и ему, и Струве я протягиваю руку и говорю, что, конечно, формально и, "по признакам судя", они не могли иначе судить, но им следовало *задержаться из осторожности*, сказав в себе: "Тут не все ясно"... Струве потянулся к этому, но не дотянулся. Ну, Господь с ними. Да будет благословенно все и да будут благословенны они. М. б., поднятый ими вопрос все-таки "к чему-нибудь в будущем"...

(7 марта 1914 г.; книжка "Рус. Бог.". Пешехонов о Мережковском и опять "двурушник Розанов")

* * *

< 8. III. 1914 >

Небо краснеет...

Звезды бледнеют...

Идет ко мне чаша с вином благовонным.

(у Бонч-Бруевича, прочитав о скорпестве в "Утре" 8 марта 1914 г.)

* * *

8. III. 1914

Да, конечно, если бы не "религия австралийцев", то о чем бы стали писать неисчислимые страницы Спенсер, Тейлор и Дарвин и наши бедные журналисты, так нуждающиеся "в хлебце".

Все это было бы "ничего себе", если бы "отсюда уже наскоро" не заключили они, что если "собраны материалы об австралийцах", то, "значит, опровергнуто и Евангелие, и христианство".

Я не против стрельбы, а против "ускорительной стрельбы" и против Nord-express¹: "от австралийцев к Ап. Павлу".

(в вагоне)

¹ Северный экспресс (нем.).

10. III. 1914

Одно из преимуществ женщины, — не отмеченное ни Гизо, ни Токвилем, — заключается в том, что, когда лицо ее стареется, "остальное все" вовсе не стареется, но лет 20 сохраняет еще "возраст и красоту" 30 приблизительно лет. Я был поражен, в свои лет 30, что когда умирала (слава Богу — выздоровела тогда) любимая и дорогая моя старушка, лет 60 уже, то, когда она стонала: "Мне так больно! Помогите, В. В." — и поднимала на меня вечно памятные мне глаза, сорочка спала с плеч, и к удивлению, изумлению я увидел под седой головой и сморщенным (мелкие морщинки) лицом белый *низ шеи*, без морщин, чудные гладкие плечи и всю чарующую грудь... "Потерпите! Потерпите!" — шептал я старушке. Но память сохранила мне, что, когда "лицо не позволяло и думать" о молодости, "все остальное" явно нимало не увяло.

Вот.

Это им дано, милым, за терпение. За страдание, за труды давних родов.

И никогда, никогда, никогда, никогда я не осудил бы в 50 и 55 и 60 лет женщину, даже в 62 года, — если бы чудным образом у нее закружилась голова "на молодость".

И ты, читатель, — сколько веришь и *уважаешь* меня — никогда не смей судить.

(Читая о Варваре Гавриловне и Саше у Русова)

13. III. 1914

"*Всеми презираемый Розанов...*" — пишет Кугель (еврей, "День"). Почему "*всеми*", если борюсь с евреями. Почему за вас, евреев, должны "*все презирать*" человека, если он с вами борется?

Но теперь я перекидываю умом и скажу: "*Всеми презираемые* убийцы Александра II" ...А, не нравится? Не хорошо? Даже "*не смею*". Прибавлю и распространю: "*Богучарский пишет о всеми презираемых убийцах Александра II*", а г-жа профессор Ефимеко в учебнике моего бедного Васи (15 лет) написала "*с уважением, как о политической партии, об этих всеми презираемых террористах*". Что, кусается? Почему же я, русский, не могу выразить того состояния неуважения души своей к убийцам своего Государя, давшего свободу крестьянам, обновившего реформами Россию, *потрудившегося для России*, — какое состояние презрения души своей вы выражаете ко всем, кто не склонил колен перед вашим проклятым Бейлисом, который все-таки тянул за ручонку мальчика за 15 минут перед тем, как его нашли зарезанным.

О, евреи: меня-то вы не нахлещете, но как вы плюете в лицо всем этим Мережковским, Философовым (сын "тайного советника"), Пешехонкам; как вы хлещете кнутом всю российскую публику и всю печать. Вы уже не стеснясь говорите, что два года невинно (предположим) посидевший в тюрьме Бейлис выше и неприкосновеннее для пера русских писателей, чем тоже (если взять параллельно, как предположение) невинно убитый русский государь.

Это как:

— Христа вам или Вараву?.. (освободить).

— Вараву! Вараву! а *Его* — распни!!

— Бейлис или Александр II выше, священнее, неприкосновеннее?

Вдруг евреи не только сами закричали, но вымучили у русских крик:

— Бейлис выше Александра II.

Вот как обернулись времена, вот как "пошел прогресс". Теперь уже ясно, что "русский прогресс" есть просто "прогресс еврейского благополучия".

Ну, и что же на это, милые люди, гг. Гершензон и Изгоев, сказать как не:

— Погром! Погром! Убить этих извергов, истязующих душу русскую и поистине поставивших весь русский народ в Гефсиманский сад томиться перед чашею, где налита его кровь.

Нет, дорогие мои Владимир Азовы, Гершензоны, Перельманы, Ольд'Оры, Изгоевы: не вас громят, а вы уже *разгромили Россию*. Россия уже лежит перед вами разгромленная, и вы шарите у мертвеца в карманах...

Боже мой, Боже мой, Боже мой: неужели Россия не проснется, не очнется. Убита. Убивают Россию, и никто не слышит.

Еще немного сна — и она *будет убита*. Убивают Россию, среди бела дня (как Андрюшу), "вот и министры, и Государственный Совет ваш, и Дума" — и никто не слышит. Убивают Россию — и никто не понимает.

Если Бейлис выше Александра II: если так "приказала печать" и все "послушались", неужели есть сомнение, что между "Охотским и Балтийским морем" лежит их еврейская Палестина с "Мертвым морем посередине", с сим "Содомским морем". И никакой решительно "матушки Руси" нет...

Вот куда пошло дело... Еще 20 лет назад, "в дни Страхова", ничего подобного нельзя было предположить. "Дело Бейлиса" было смотром воинства, которое (опрос о "кровавом навете") оказалось столь блистательно *для них*, что они "прямо с парада" повели полки в битву и "разбили наголову" русских, разбили таким страшным боем, какого не испытывали мы и при Цусиме.

Никто не догадался, что в Киеве мы перенесли вторую страшную Цусиму: где были "единством Израиля" разгромлены наши нравственные силы, наши идеи, наши все идеалы, наша "народность", наша демократия.

Убил...

— Если еврей, отлично!

— Но мальчика, несовершеннолетнего...

— Гм... гм... все-таки ничего, если *еврей убил*. Они ведь угнетенные и страдальцы...

— Послушайте: ведь больно-то было *мальчику*, а не Бейлису.

— Нет, Бейлису больно: он был в темнице и жаждал и не напоили его... Так и Христос говорил: "Егда будете в темнице и не напоят..."

— Послушайте же, очнитесь же, Андрюшу искололи живого швайкой...

— Бейлис не один страдает: с ним весь еврейский народ... Черта оседлости, ай! ай! ай! ай!

Перельман с порнографией, ай! ай! Все барыни заглядываются, "русские женщины"... Ай! Ай! Гершензон с славянофильством, Изгоев

с марксизмом. Ай! Ай! какие идеи... А вы о "мальчике". Что мальчик. Что за сентиментальность. Дело идет о народах. Кто же думает о "мальчике" в век машин... *Народ* страдает, целый священный народ... Библия, ай! ай! ай! Он не уважает Библию, если не кричит, что черта оседлости должна быть отменена...

* * *

14. III. 1914

Все осело...

Как пасхальный кулич, в который положено слишком много сахара, изюма, пряностей, сдобы...

Тесто не выдержало; было слишком тяжело "человеку в 3 аршина ростом" держать на себе этих башенных королей, пап, рыцарей, замки, Лувр...

— Попроще и полегче...

∞

Вот мы "после" революции". Революция и была, когда "все осело".

∞

Грому, треску много. Но — на время. Все — стало меньше, малорослее, мелочнее, ничтожнее.

∞

Ни Декарт, ни Корнель, ни Босюэт или Паскаль "не вообразимы".

Ни — Ришелье или Мазарини. Ни — Фронда, Гизы, Колиньи. Ни — гугеноты. Орет свои речи Жорес, не замечая, что в нем два вершка росту, и ему отвечает Клемансо, радуясь и пыжась, что в нем росту $2\frac{3}{4}$ вершка. И "наш Кондурушкин" пишет об обоих радостный отчет в "Русские Ведомости".

(в ваг.; революция)

* * *

15. III. 1914

Как смешана человеческая жизнь: в 4 часа дня поехала с Таней и заказала себе и ей весеннее пальто. "Что делать? — Надо". Надо ли? — Конечно. И в 10-м вечера, вернувшись от доктора, сказала спокойно: "В среду (сегодня — суббота) жди дорогих гостей: приедут 3 доктора (Лежнев, Шернваль и Куковеров) решать вопрос об операции (вынуть камень из почки). Необходимость. Авауќќ.

Да. Вот чего не знают литераторы и что "не попадает в газеты". Там "свалить бы Коковцева" и что сказал в Думе Милюков. Бррр...

* * *

16. III. 1914

Корректны...

В срок платят налоги...

Мяжки, обходительны, вежливы...

Сообразительны, — и могут помочь советом вам и всякому...

Трезвы и вечно трудолюбивы...

С высоким даром на комбинации, планы. С высоким даром к счету. Куда бы ни пришли такие люди, они везде будут дорогие гости...

С ними все "ладится", и, если даже попадешь в большое затруднение, казалось бы "безвыходное" затруднение, — "обратись к еврею", и он или вызовет, или облегчит и во всяком случае укажет, как "можно еще жить"...

"Все-таки можно жить", когда "петля"...

Как же кто-нибудь не "схватится за такого человека", не скажет "Помоги", "облегчи"...

И они помогают, облегчают.

Очень скоро они становятся — "все".

И очень скоро или, впрочем, — "не так скоро", все замечают, что "без еврея — не повернуться".

Торговля задыхается, если "нет еврея".

Литература "все переговорила, и не о чем говорить", — если не подскажет еврей.

"Еврей, поди сюда", — и он приходит к выгнанному его вчера, говоря: "Ничего, я не сержусь".

И тогда опять начинают "споро идти все дела". Журнал ваш получает подписку, газету вашу цитируют, вы становитесь видны, заметны, влиятельны...

Если около вас стоит незаметный еврей.

Между тем он ничего не пишет и не способен написать ни одной "блестящей статьи". "Пишет, как Слонимский", т. е. 40 лет, и никто его не слышит. Стихи пишет — как Минский "вместе с Виленкиной". Ничего. Почти ничего.

Но отчего же "так много" и "все лучше и лучше" около него? "Бог помогает", "кто-то помогает", — скажем со страхом. "С евреем" в ваши дела вмешивается "кто-то третий", и вы эту руку, десницу или лапу непрерывно чувствуете в счетах...

И эти счета очень хороши "сейчас"... Кто же не позарится "на сейчас"... "На сейчас" рассчитывает исправник, квартальный, городской, губернатор. Купец хочет "сегодня" нажиться, и министр финансов страстно хочет подать "блестящее исполнение сметы" именно к новому году. Унылое "потом" никто не принимает в расчет, — этого "монаха", эту "вдовицу", которая грозит и каркает черное карканье. Ее закрывают завеской, ее не пускают в двери...

Грозное "потом": его ждет еврей. И дает все "сейчас", чтобы получить все "потом".

"Потом" унылое, голодное население будет бродить тенью по высосанной, обесплощенной землей своей. "Правители ничего не умеют делать", потому что ушел гениальный советчик-еврей. Он, впрочем, не ушел, а уехал. За ним повезли целые вагоны золота, хлеба, льна, пеньки: всего богатства целой страны, которое как-то через "одну переписку векселей" он получил в несомненное обладание. Теперь он выезжает, всемирный фактор и посредник, из ненужной ему более страны и никогда не бывшей для него интересною, в соседнюю, которая "подымается"

или содержит "обещания", чтобы и ее привести в "высший вид культуры"... Он вообще "культурный человек", этот фактор, и выезжает со счастливейшим лицом... Около его торжествующего обоза идет аскетический Столпнер, питающийся почти одним хлебом, не нуждающийся в большем. Потому что у него есть мечта, а мечта вкуснее хлеба. Эта мечта: "Все будет наше". "А они все — подохнут".

Специальная мечта специального племени. Злая мечта: но она никому не придет на ум, глядя на еврея, питающегося одним хлебом. Так маленький злой горностаи несет в зубах огромного тетерева: все видят тетерева, а не горностаи и говорят: "Это — добрая птица".

Да, это добрая птица, большая и глупая.

Еврей "с обозом" посылает Столпнера вперед, и Столпнер, понимающий роль свою в племени, поспешает вперед и открывает курс лекций. Все восхищены умом этого аскетического Спинозы XIX века, — и в тени речей его, делая вид, что "они не знакомы", разбирает свой обоз, открывает лавочку, ставит банк и начинает свои "золотые речи" и "золотое посредничество"...

* * *

17. III. 1914

...цветки пахучи...

...и люди их обоняют...

∞

Нельзя же за это их в полицию.

(вспомнив Брюсова из "Альционы", как устроительница детского вечера, княгиня, поднесла цветок к носу 12-летнего гимназиста и он его понюхал)

* * *

17. III. 1914

Болят душа, болят о Страхове. Я чувствую, что он не только не читался, но и не будет читаться. (Высотский сегодня сказал.) Любовь и высокое уважение к нему Вл. Никольского, моя, Перцова (не считая личных людей, мне не знакомых) — все-таки ничто. Что это? Почему?

"Холодно и слишком разумно, доказательно писал", — сказал сего дня Высотский. Я понимаю и всегда догадывался, что в этом лежит смертная часть Страхова. Я сказал Высотскому: "Страхов писал в 80-х годах и в 90-х годах, даже в 70-е годы XIX века, когда все было "разумное", когда читали только "разумные книги" и верили только "доказательству". Он был далеко не из людей этого "исключительно разумного направления", но, чтобы противодействовать эпохе своей, сумбурной и порочной, чтобы иметь какой-нибудь успех в борьбе, должен был вооружиться "всем знанием" и "всей логикой". Но, как бывает всегда, он не победил "своего времени", идеи которого текли вовсе не из "доказанности" и "научности", а вовсе из других и частью противоположных источников; а вместе с тем этим одеянием "научности" прогнал от себя читателей уже и следующей, вовсе не научной,

эпохи. Таким образом, вышло, что он не читался и не читается сразу в двух смежных поколениях. Возлагать ли надежду на третье поколение, на внуков?

Может быть. Не невероятно. Что "История литературы" и "История русской философии" поставит его на свое место — это несомненно, потому что в конце концов она все оценивает "по истине" и усмотреть и уловить ценность истины умеет. В конце XX века для него найдется свой Эрн, как он нашелся для Сквороды. В конце XX века во всяком случае будет видно, что он на два поколения опередил свое время, что над ним не имели никакой власти господствующие идеи своего века и что за 50 лет жизни и писания он не сказал ни одной лжи (это уже стыдно предположить), но и не сказал даже грубой, явной ошибки. Вообще степень его честности действительно изумительна. Затем ведь у него можно набрать небольшой томик превосходных *pensées et maximes*¹ ...И вообще он мог бы быть этическим руководителем общества.

Гувернер. Да, гувернер. Но гувернеров вообще не любят мальчики. Не в этом ли суть, что история идет вперед мальчишеством своим, — что суть "мальчишки" не исключима из истории и прогресса, и поэтому Страхов вечно остается сзади и "со стариками", не входя в плоть и кровь, в дух и страсти "резвости". Он — не с резвостью; в нем не было никакой резвости: вот суть дела. Не добавь ли, что суть его то же в нашей жизни, как в народной жизни — суть святого. И собственно он принадлежит к великой и редкой категории, к редчайшей, — "праведников на земле", с которыми естественно не "знакомятся", а только издали их знают, видят.

Да. Это так. "Видят", но не "знакомятся". Советуются, но не "пьют чай вместе". В Страхове было ужасно мало бытового, житейского: хотя он был настолько мудр, что "передряги журналистики" и знакомство с Кусковым предпочел "заседаниям в совете профессоров". Тонкая черта Страхова состояла в том, что он был именно не "профессор логики и психологии", а мудрец. И будь он "чиновник от мудрости", вроде Владиславева, и "нашим знакомым", он, конечно, отлично бы устроился, вовремя женился, наплодил детей и не умер в той "ледяной пустыне" быта, какая образовалась вокруг его от несовпадения его тонкости и окружающей грубой среды.

И читать его будут... немногие, но всегда. Положение Боратынского и А. А. Голенищева-Кутузова — вот его судьба "среди читателей". И их чтут, ценят, понимают. Но образованность вообще редка и трудна. Школ много, учатся в них все: но истинно слово нашего Спасителя, что "много званых, но мало избранных". Вот все-таки "ключ ключей" к Страхову. В его избранничестве, в том, что он предызбран. И что круг "избрания" вообще невелик, "хотя бы в эпоху Перикла". Даже — Перикла и даже — Христа. И Христа — распяли, и Перикла — чуть не изгнали из города. Что это такое, в чем суть дела — трудно сказать. Седалищная часть человека настолько больше губ его, кости насколько тяжелее мозга его, мускулы насколько толще нервов его. И в целой планете разве пустыни, болота, тундры не занимают более места, чем полосы земли

¹ мысли и максимы (фр.).

вдоль Нила, чем Сицилия, наша черноземная полоса. Таким образом, благородного вообще очень мало сравнительно с неблагородным: хотя весь мир сотворен Богом ради благородного и "дурное терпится" ради него же.

Так драгоценным существованием своим Пушкин купил не только себя, но и своего ругателя Писарева; купил, и оправдал, и избавил от смерти. И благородная Дамаянти 3000 лет покрывает и защищает собою тысячи потаскушек...

И "меня, бедного", защищает наша мамочка, — и наше пошлое время охраняет и заслоняет от гибели "писатель Розанов".

Так Страхов: за 70-е, 80-е, 90-е годы "историк русской философии", историк русской мысли, говорил бы: "Ишу и не нахожу", "Смотрю и ничего не вижу". Даже — Соловьев (Влад.).

О таком огромном времени (для $1/5$ суши земного шара) произнести такое суждение было бы ужасно. Но всегда честью — и ей стоит позавидовать — останется для Страхова то, что он как-то искупил это 30-летие, а если взять еще 50-е и 60-е года, в которые не Чернышевского же считать, то он, в сущности, бросил лучшую тень на целый $1/2$ -век из скромного своего кабинета. На нашу родную, милую Россию, которую он так любил.

Вот его счастье. Вот его место "в звездах".

И скажу я молитву нашей Богородице, и скажу молитву древним богам, — ибо философия православна и язычна, — за то, что Бог некогда привел в его комнату меня, я рассмотрел "кое-что" в нем и как в "Литерат. изгнанниках", так и здесь твердым гвоздем прибил его имя и честь (в истории).

Но может быть, ему не нужно это.

Может быть; а нужно мне. Говорящий вообще насыщает нечто в себе, говоря о другом, а "другому" это совсем не нужно. Но зачем-то существует история и "памяти" в истории, и поет "вечную память" церковь. Так я, как дьячок, прогнусавил свое, а слушатель может и не слыша пройти мимо. Даже без "слушателя" нам со Страховым будет теплее.

(Ночью проснулся и зажег свечку)

* * *

19. III. 1914

В смысле *постыжения*, конечно, дико было Некрасова ставить "выше Пушкина" (надгробные речи и протест Достоевского). Но есть "поэт" и "слушатель", автор и "читатель".

Читатель — вот в чем штука...

Эпоха "почитания Некрасова", пережитая мною в гимназии, когда мы знали *все* его, знали, как вообще "все знаем" — "Три пальмы", "Ангела" и "Спор" Лермонтова, вытекала, собственно, из следующего. Пушкин — он "вещал", и "мы учились у него". Весьма почтенно и далеко. Лермонтов... очарователен, чудесен и вместе непостижим и заоблачен. "От гимназиста" до "Мцыри" год скачи — не доскачешь, а уж Демон — только воображается. Тютчев гимназистам вообще не понятен. Фет и Майков — что-то ненужное.

Все — далеки. Всё — далеко. Все напоминало класс и учебу, естественно отвратительные.

Теперь Некрасов.

Позвольте: что всего более манит гимназиста IV и V класса? Папироса и девица. Ружье и охота, — и деревенская баба, разумеется не старая. "На барышень не хотим смотреть", — конечно. "Ну их к черту, с танцами и крахмаленными юбками". Нравится улица, базар, пароходная пристань, лодка; "да чтобы самим удрать", и как можно дальше от гимназии. "Там повстречаемся с лихим разбойничком" — это все манит. Мужики, парни — "наши братья". Полштофа водки, с луком и черным хлебом, песня хором, гитара без одной струны и гармония хоть с 1/2 регистра. "Силушка в плечах ходит" — и мы им тряхнем городом и городами вообще. "Нам нужна нива, лес — и, пожалуйста, без гимназии". "Пожалуйста, без аристократии".

В Евангелии о "блудном сыне" сказано как о какой-то *вековечной черте* человеческого возраста; о *фазе души* вообще всякой человеческой. Это Христос впервые в истории выразил, впервые указал и понял. В Риме, в Греции, в Индии (легенды, рассказы) блудного сына не появляется. В Библии лишь "благочестивые Товии", так послушные родителям, которых "венчает" Ангел (приводит к невесте и женит).

Вот Некрасов *это-то* и выразил, — и он до того уроднился блудным сыном России, блудным и прекрасным, блудным и протестующим, блудным и "оставляющим отчий дом" (без всякого его понимания и особенно без малейшей вины его), как этого вообще не удалось ни одному поэту, пожалуй, даже во всемирной литературе. Да: возможно сказать, что Некрасов есть *unicum*¹, есть "монета в одном экземпляре" во всемирной нумизматике человеческих чеканов. Он до конца жизни, до свадьбы "с Зиной", сам немножко воровал (не имущественно), сам "крал клок сена" с чужого воза, как никому не принадлежащий бык, — "брал сухого судака с чужого воза", как Хома Брут ночью. Некрасов особенно возмутил всех литераторов петербургских тем, что был "вне общественных правил", жил с чужими женами, "любил до смерти" крестьянских баб, не гнушался проституткой — и вообще замечал острым глазом всякую проходящую девицу. "Нам *этого-то* и подавай", — кричат гимназисты и всемирные блудные сыны. — Нам "чтобы порядку как можно меньше", ибо где порядок — нам смерть, где благоразумный Товия — мы задыхаемся. "К черту венчанья" — первый глагол 16, 17 лет.

Поэзия Некрасова была прекрасно-искренна, ибо непостижимым образом он до смерти оставался в сущности вихрастым 17-летним юношею, с его "конечно", хитростями и плутовством, которые суть отрицание *ordinis* и *ordinum*². "Обманем хозяина", "обманем начальство", "обманем вообще много господ чиновников и бар". Гимназисты 16 лет — "враг всему обществу", как — Некрасов. И гимназисты 16 лет понесли на плечах Некрасова с таким энтузиазмом, как Пушкина, конеч-

¹ единственный (лат.).

² порядка и порядков (лат.).

но, не носила на руках никогда "его публика"; воистину — *гараздо худшая публика*, более вероломная и более холодная, чем русские гимназисты 70-х годов XIX века.

Без сомнения, есть основание сказать, что *лучшего читателя*, нежели какого имел Некрасов, не имел ни один поэт в мире. Ни — даже Гомер. Он принял первый энтузиазм самого лучшего, цветущего возраста человечества.

Открыл его — Христос. "Блудный сын" каждого дома в 16 лет.

Некрасов, должно быть ни разу не подумавший в своей жизни о Христе, — "принял" это: он "разработал" вишь и вглубь, особенно — вишь, и "начинил начинкой", начинил "содержанием" блудного сына, кого в Евангелии дан лишь общий и легкий очерк, лишь показана издали, в силуэте, его гибкая и хрупкая фигура. Некрасов и сам пережил его приключения, и вся его поэзия *тоном* своим, без сомнения, есть именно "песни" и "сказки", "дела" и "делишки" блудного сына...

.....
Как *стар* около него, напр., вечно морализующий и резонирующий Толстой, у которого всегда 100 мыслей около 1-го поступка, притом крохотного и вообще ничего не значащего. "Поступки" у Толстого дальше "влюбился" и "женился" не идут. У него везде — "Домострой", Он — копит. Он — Калита. Тут есть что-то скупое и нищенское. Толстой нигде не роскошен. Благо-ра-зумнейший человек. Скажите, *чему* тут было увлечься молодости? И молодость, *естественно, никогда* не шла за Толстым, ибо Толстой есть действительно поэт и художник старости, даже — дряхлости. Ведь Платон Каратаев, каковы бы ни были его лета, *душевно* имеет не менее 70 лет. Это — закат, вечер, — возраста человеческого и всего человечества, цивилизаций человеческих. Это — именно тот "отец", который радостно принимает к себе "заблудшего сына".

Да.

Но сын не "пришел бы к отцу", если бы не "наблудил".

— Рано, папаша! — сказал ухарь Некрасов благоразумному офицеру Льву Толстому. — Ты сиди тут, папаша, и выдумывай выдумки. Тебе на старости лет что же и делать. Тебя ноги не несут, руки у тебя не чешутся. Ты весь растешь в голову и в... (на чем сидят). У меня голова юная, с ветром, а "по этому месту" меня всегда секли. Погулять хочется. Разных городов посмотреть хочется, разные речи увидеть хочется. Баб... ужасно хочется; ты ведь женился на одной, или женишься, да и ту не то сморишь, не то зарежешь от ревности (Позднышев). А я — гуляю и девке не закажу гулять. Любит — пока любит, а не любит — черт с ней. Другую найду. Главное — ноженьки бегут, главное — рука зудит. Некогда... Прощай, не поминай лихом...

(оторвавшись от нумизматики)

20. III. 1914

Я понимаю, что я должен повиноваться божественным законам. Но почему я должен повиноваться человеческим законам, этого я не понимаю.

(за набивкой табаку)



Закон — "надо мною". Но как же, если он "человек", — надо мною?
Разве я уже животное?

Посему:

Homo sum et nil nisi divina lex — habet me¹.



Что же я?

А вот бычок, скачущий по полям. Или Сократ, рассуждающий с юношами.

— Ах бычок, бычок! *Смерть* придет на тебя...

Смерть...

Никогда не думал...

Если "смерть", то в самом деле уже не бычок. Но — и ничего.

Итак:

— Бычок.

— Ничего.

Ах Розанов, Розанов: есть еще *жалость*...

Жалость... жалость... жалость...

Что-то родное звучит в сердце...

Что-то щиплет сердце, знакомое, давнее...

Древнее...

Нет полей, быков... И идет, рыдая и плача, человек куда-то в сторону...

(за набивкой табаку)

* * *

22. III. 1914

...да, эта тощая декадентка, ходившая из одного угла в другой и еще из третьего угла в четвертый и мечтательно сочинявшая стихи, которые ей давались по $\frac{1}{2}$ стихотворения в месяц, любила друзей своих, друзей своего мужа, подруг друзей своих и еще коричневую болонку на высоких ногах и с тонким хвостом. Она все бегала за ней и облизывалась. Т. е. не декадентка за болонкой, а болонка за декаденткой. Вот уж где приложим Талмуд: "Он увидел, что поле его опустошено".

(Из истории проклятой квартиры)

* * *

22. III. 1914

Да, в самом деле, удивительно: ничто так не ненавистно "богу израилеву", как этот (закрывающий) краешек кожи. Во всем мире так не ненавистно: грехи простит, убийство простит, истребление целых народов (завоевание Ханаана) прощал и простил. Скупость, злобу, кривые суды, — сердился, но прощал. Но *одной* вещи и ни одному человеку он никогда не простил: если на нем оставался этот лоскуточек кожи. Тогда

¹ Я человек и подчиняюсь лишь божественным законам (лат.).

”кончено” и ”примирения нет”. И не бывало еще случая, примера в истории, чтобы человек с этим ”лоскутком кожи” был примирен с Богом. Ни одного случая.

Не разительно ли?

А? еврей?

Вы трепещете. Тайна ваша разгадывается.

22. III. 1914

.....
Тó-то, тó-то — вы никогда не называли имени вашего Бога другим народам. Еще разительнее: вы никогда его не произносили вслух. И никогда не хотели ”участия других народов в вашей религии”.

.....
Еще бы: вам всегда было ”каши мало”, и вы никого не подпускали.

* * *

22. III. 1914

...да что же тебе нужно? Кровь?..

— И кровь, но больше вид.

(из истории обрезания) (в гостях, не застав дома)

* * *

22. III. 1914

...вид? Но что же тут интересного?

— Для *тебя* — ничего, п. ч. этот вид ведь и уготован не для тебя. Ты *никогда его не поймешь поэтому*. До гроба твоего — до гроба человечества. Но будь смирен и послушен, не рассуждай и исполни. И вида этого никогда не изменяй: а для этого отними и отбрось этот край кожи, который не нужен ни для чего и его ненавидит душа моя, ненавидит, ненавидит.

”И испугалась Сепфора”.

Нет, надо цитировать буквально.

(в гостях, когда хозяйка вышла из комнаты)

23. III. 1914

Еще бы русские не эллины.

Настоящие эллины. Выхожу из вокзала в Рыбинске и говорю в толпу жадно ждущих ”ездокá” извошиков:

— Какая здесь лучшая гостиница в городе?

— Хуева (с пропуском первой буквы). .уева.

Прямо испугался. Оглядываюсь, не слышали ли дети и жена, но они иностранных слов не понимают.

— Тише, дурак. Я спрашиваю, где бы мне с семьей остановиться в лучшей гостинице. И багаж большой.

— Да только одна хорошая гостиница. И опять называет. На главной площади. Чуть ли не против ”гимназии, клуба” и всех властей.

Так и въехали.

Показываю монету Маркову: маленький рачок ("креветка", — он назвал).

— Приапус.

Я замер.

— Город Приапус, в Лидии, в Малой Азии.

Вот вы и подите.

— Откуда ты? — спрашивают гречанку II века до Р. Х.

— А из Приапуса, господин мой, — отвечала эллинка, прелестная, как Дункан.

Но только для нее это было "по-русски", а не по-иностранному. Значение слова, имя *целого города*, конечно, она понимала.

Таким образом, эллины в своей простоте души совпадали с рыбинскими извощиками. Конечно, это немцам и в голову не приходило, и они со своими претензиями (в 30-х годах XIX века) "быть эллинами" русскому "в пояс не годятся". Ясное небо только над русскими и греками.

(прошу цензуру не придираться к названию гостиницы, проверив название по телеграфу или почте; было это лет 7 назад)

* * *

25. III. 1914

Поцелуй выражает *не брезгливость*. И есть настоящее выражение братства, близости людей, через эту самую очевидную и доказательную готовность поцеловать, радость поцеловать.

(Почему я вечно целуюсь, с мужчинами и женщинами, молодыми и старыми. Смеясь, я отвечаю: "Мне скоро умирать, и это я прощаюсь с землей".)

Поцелуй — таинственен. Поцелуй — еще загадка. Если я целую в щеку — это привет. Руку — это почтение. Но "братство" и "ты" выражаются через прикосновение губ к губам, рта ко рту; и так как "руки" и "щека", очевидно, всегда вымыты (*верхнюю*, всегда чистую часть руки целуют), то лишь с губ и рта, до которого субъективно мы иногда дотрагиваемся языком, показывает не брезгливость к "внутреннему человека", к "невымытому" его, и именно в поцелуе в губы заключается тайна, загадка и *настоящее*, не "почтительное" братство.

Французская революция оттого и провалилась (в истории, отдаленно), что началась не с поцелуев. Она скорее началась с "на кулачки". А провозгласила — братство ("fraternité"). Какое же братство с кулаками. Я понимаю и кулаки, допускаю и кулаки, но *тогда так и говори*. "Ненавижу и враг". "L'ennemie". Скверное было не в "кулаках", а во лжи: в этом отвратительном иезуитском: "Я сожгу тебя, потому что я *люблю твою душу*, а тело ровно ничего "не значит". Ах, ошиблись мудрые иезуиты. Надо было именно начать с тела и полюбить тело, а остальное приложилось бы. Надо было таинственно прикоснуться губами.

Губы наши — чаша наша. "Не побрезгай краем моего тела", "там, где *наружное* его переходит во *внутреннее* его". Я провел языком по губам: но вот в славную Пасху, нашу русскую Пасху, "честной народ", не смотря на язык и даже немножко слюно на губах, — здоровенно хватает меня лапой за него — и, нагибая к лицу своему мою голову,

влепливает "Христос Воскресе". Тогда воистину Сын Тайны входит в нас двух — и мы "братья", "други"...

Вот как. И у нас "удается" каждую весну, в апреле, когда у французов и у иезуитов так плачевно "не удалось ничего"...

(На полученном конверте; к Домне Васильевне приходит сестра, лет 32, милая и добрая: и я, явно или утаюсь, всегда ее поцелую, и всегда изловчусь в губы. Не могу. Бранят. И вот — мое оправдание. Я и со Страховым вечно целовался, не мог не целоваться, и его 65-летние губы мне были так же сладки, как 32-летние Катерины Васильевны)

* * *

28. III. 1914

...соплявая, сорная, без работы усталая — наша Русь.

"Погубили, бедную, начальнички".

— Да, если бы не они, мы бы нос вытерли.

∞

Помню, сам в 1872 г. читал в Симбирске газету. "Самодетельность". Конечно, прекрасная и с прекрасными намерениями. Как и много было тогда прекрасного. Но уже тогда нацелился Благовосветов из Петербурга: "Поменьше опеки над народом" — и стал "с сотоварищи" сам заботиться об этом народе.

Правительство, испуганное, отошло. И сейчас подошли "к доброму русскому народу" евреи ("Главное общество российских ж. дорог" с евреем Поляковым во главе).

Началась эпоха банков и концессий. Правительство все отсутствовало. Пришли кроме евреев еще немцы, англичане. И пустили "без опеки правительства" народ в трубу.

Русское богатство (нефть, железо, лес) уплыло к иностранцам. Но зато мы получили журнал "Русское Богатство". Там писали Салтыков, Михайловский, Кривенко В. В. и все кричали на правительство: "Поменьше опеки".

Иностранцы, взяв крупное, подбирали уже крошки. И были возмущены, когда их останавливал кто-нибудь из русских. "Это что за проявление национализма, и — мораль зулусов".

Тут же бежал Влад. Соловьев сбоку, и тихо угощался чаем у жены и у деверьев Стасюлевич (женат на Утиной, банкирше).

(на полученном конверте)

* * *

29. III. 1914

Евреи подходят к русским с этою содомическою улыбкою обоюдного существа, тихою содомическою поступью, и говорят: "Какая вы талантливая нация", "какое у вас широкое сердце", и под этим звучит только — "отдай мне, пустой человек, все, что можно", "уступи мне во всем, бездарный человек".

(Выслушав рассказ о Лернере от Семенова: до чего Лернер презирает и ненавидит русских. Лернер — пушкинианец)

* * *

30. III. 1914

У русских есть живучесть дождевого червя. Правда, — его перережут заступом — живут обе половины. Нечего есть — он подсохнет, а все-таки не умер. Опять дождичек — и опять шевелится.

Картофелина попадетса — и он жует. Переваривает и извергает из себя кусочки черной, сырой грязи.

Но, Боже, — что же это за жизнь?!

Так мы жили при боярах. До Петра и после Петра. И еще поем песни и складываем сказки. Черт знает что такое. Т. е. чертовская живучесть, похожая, однако, на смерть.

И все сводится к: "Наш Иван Павлыч все спит". Эмблема.

И — очень мил. Именно. "Как он лежит на подушечке" — я бы дал с него рисовать Репину. Репин все-таки не нашел настоящей темы.

Настоящая тема в России одна: сон.

* * *

Апрель.

Тихий звук голоса, как муха жужжит. Но не муха. Я встал и заглянул в соседнюю комнату.

Пуста.

Тогда я подошел к двери: и в продольную щель между косяком и дверью увидел, как Таня (7 лет) сидит между окном и половинкою двери на табуретке-подножке и читает "Катакомбы" Тур...

Я узнал, потому что тоже прочел студентом и помнил места.

Она читала то место, где Фабиан (Св. Севастиан — *потом*), тайный христианин, весь пронизанный эфиопскими стрелами по приказанию жестокого императора Максимиана, — через неделю, когда император проходил внизу, встал с одра своего, подошел к краю лестницы и произнес громко:

— О, Домициан! Домициан! Ты, который...

С глубоким замиранием души я слушал. Таня — маленькая и худенькая. Вся ровненькая и изященькая. Очевидно, она читала сперва про себя, но как думала, что в комнатах никого нет, — то в "горячем месте" книги перешла в полугромкий шепот... И вот я вижу, что вся взволнованная, очевидно, страшным риском и опасностью мученика, — уже предчувствуя его смерть и муку, — она подскакивает на табуретке крошечным тельцем и читает восторженно эту укоряющую речь Св. Севастиана грозному тирану-язычнику...

И долго я слушал еще... Шепот переходил в "громкое", и голос опять съехал до шепота. И где горячее, она привскакивает...

Пылинка, а не человек. Эта минута, когда я смотрел на нее, — из счастливейших в моей жизни.

Так, милые дети, — не наши, а всякие: вы уже раньше, чем стали понимать, принесли родителям своим неисчетные радости.

А вы, родители, — помня это, — когда дети вырастут и начнут делать некоторые "бяки", — вспомя дни прошлые, крепче зажмите сердце в руке и пройдите с болью в сердце, но без сурового упрека, мимо этого случая "бяк"...

"И мы были нехороши, — и стали лучше. И они теперь нехороши, а станут, может быть, отличными".

* * *

Апрель.

— Мулями, мулями, мулями...

— Мулями, мулями, мулями... (*муравьи*)

И как зачарованная Варя (4 года) стояла над расползающимися по полу (дача, Рига) муравьями.

Растопыря ножонки. И я тоже, растопыря ноги, смотрю согнувшись над ее спиной, зачарованный уже ее очарованием.

— Мулями, папа, — чувствует она меня над собой.

— Да. Муравьи, Варя.



Уже тогда бонна и за нею все мы говорили при случае:

— Варя не пропадет.

Крошечная, беленькая, неразговорчивая, — она поражала умом, наблюдательностью (над "вокруг") и вечным сбережением себя.

Все "свое" обдумает, еду ли, удовольствие ли, и съест и возьмет, не обращая внимания на других. "Эгоистка", — с печалью думали мы (папа и мама).

В это именно лето я ее жестоко наказал, и "извини, Варя" — до сих пор стоит в душе моей.

Было так. Сижу наверху и пишу, как теперь помню, "Афродита — Диана" для "Мира Искусства". И вот — одушевленнейшая страница... Вдруг снизу роковой крик...

"Не даст кончить", "не даст кончить", "вот хоть бы это место, мысль, полет *сейчас*"...

Крик сильнее. Из окна кричу:

— Варя, замолчи.

Еще сильнее. Визжащий, как металлический свисток парохода, в одну ноту — "А-а-а-а"... Без слез и только раздосадованный "на всех"...

Я уже знал, что этот свисток нельзя унять.

Напряг всю волю: в ухо, в голову, в мозг лезет этот ужасный, чудовищный крик Варьки, из-за которого раза три к нам прибегали соседи (немцы) и на скверном немецком языке что-то кричали, что переводила бонна. "Уймите же ребенка". "Отчего он у вас постоянно кричит", "верно вы его истязуете"...

"Истязуете"... Это она из нас кровь пила этими криками, смысл которых очень хорошо понимала ("измучу всех"). Поднимала она этот крик, просто когда что-нибудь не по ней или дадут самую легкую шлепку.

И вот, собрав все силы, с "свистком" (крик) в ушах, — я "спокойным, полным достоинства тоном" дописываю о греческих и римских богах и правдоподобном их смысле.

"Одолею Варю. Кончил". Но в душе встала месть (за трудность так писать). И быстро я побежал по лестнице вниз.

Видно, лицо мое было яростно, потому что и мама бросилась ко мне (оттолкнул), и Варя сейчас замолчала.

— Не бей! (мама).

Могуче дернув Варю за ручонку, я взял ее на руки за живот и понес в комнату.

— Я, папа, не буду.

Спустил, "что следует", книзу, бросил на кровать лицом вниз и стал своей страшно тяжелой (мясистая, какая-то могучая) рукой бить по известному месту.

Бью, бью...

Еще бью...

Опять бью...

Варя в муке, я в муке. Я был взбешен. Совершенно взбешен. "Кровопивца ты наша", — стояло у меня в душе.

Она была действительно кровопивца. Метод "кричать" с 4-х лет у нее продолжался приблизительно до девяти лет: и никогда никто не мог с нею справиться.

∞

Раз мама заперла ее: не в чулане, а "что-то возле стены", куда бросали тряпки, бумажонки, ненужное. Темно. И заперла там. От отчаяния. И, конечно, повалилась на кровать (бессилие).

— Что делать с Варварой, я не знаю.

Продержали часа три.

"Ну теперь смирилась".

Отпирает. Варька сняла с себя все (голая, озорство), лицо синее и злое.

— Выходи, Варя.

— Не хочу.

И из чулана пришлось за руку вытащить. Синяя, злая, бледная. Молчаливая. И хоть бы в "йоте" сдалась.

"Дьяволенок" (прости господи), — формулировал я.

Справилась только Елена Сергеевна (Левицкая). Ради этого и отдали в школу. "Объективное влияние", "стыдно перед всей школой", "безмолвное осуждение товарищей".

И — железная воля начальницы. Какая-то стальная, холодная, уверенная.

Теперь Варя прелестна (на мою оценку).

(*"Белый коняшка"*)

Нет, припомнил: "Варя не пропадет" было формулой о ней еще в Аренсбурге, когда ей было лет 6.

* * *

2. IV. 1914

Что же может быть растепенистее нашего извощика? Сидит мешком, кафтан резиновый, ездить не умеет. Машет рукавицею и, "жалеючи лошадь", не вынимает кнута, а только дотрагивается до него у себя под

задом, чтобы лошадь, оглядываясь на него, "страшное величество" — пугалась, вздрагивала и бежала прытче, чем следовало бы ей по естеству голодности и старости...

Да! Да! — вскакивает прогрессист. — Не так в Берлине...

То-то вот и оно-то. Был строгий генерал Грессер. И неужели, думаете, что Грессеру немотою было "марш! марш!" скомандовать, чтобы убрали с улиц столицах всю эту рвань: потому что в Смоленске, например, в Варшаве и Риге, — претличные извозчики. Верно, были другие градоначальники. Но петербургская полиция, как равно московская, соображая, что 30 000 мужиков-лентяев все же добывает для деревни хлеба извозным промыслом в столицах, оставила перед окнами Аничкова и Зимнего дворцов всю эту действительно несосветимую рвань, "полное безобразия столицы". И из этого, ваше просвещенное величество, можете усмотреть, где "берегут мужика", в петербургской полиции или на страницах "Вестника Европы", и кто "думает о голодном", Мякотин и Пешехонов или генерал Грессер, "такой несимпатичный".

То-то и оно-то. Сядьте, друзья, и посидите.

(На Николаевской у.)

* * *

2.IV. 1914

Преклонись, добрый и благочестивый читатель, перед моими счетами долгов и уплат, и тратами: где каждая строчка обозначает *неделю* труда, заботы и вообще самой честной жизни моей. Здесь все действительность, "история, налитая кровью" — лучшая часть всякой вообще истории. Это не "ветряная мельница" Дон Кихота и Байрона, не фантазии, не игра, не праздник. Это "будни" согрешившего человека, наступившие после Эдема.

Самые святые строки вообще суть строки счетов. "Идет железною поступью жизнь". И перед ними отодвигаются в сторону стихи, проза, танцы и рефераты.

(думал схоронить Юргенсону, но оставляю — въявь. Юргенсон просил присылать ему все рукописи; коллекционер автографов)

* * *

2. IV. 1914

...на лужайке, гимназистом VI—VII класса (Нижний) легши животом на землю, в ямку, я рассуждал:

— Если бы можно было *отделить* честных от нечестных... Тогда бы я был "с ними". (Эти 5 рубл., поднятые с полу социал-гимназистом Орловым, сыном богатого священника, — которые выронил из кармана, вынимая платок, бедняк Пахомов, мучили меня, как и весь наш класс, всю нашу "радикальную молодежь"; да и других таких, фразеров, видал).

И я думал:

— Нужно, чтобы перенесли *рану*. На рану, и болезненную, не моментальную, никто не пойдет, если *не* "в самом деле". Итак, рана отделит искренних от неискренних. Испытание выделит чистых — и вот с чистыми я пошел бы. Теперь все спуталось. У многих — фразы: потому что

одни фразы у чистых и нечистых уравнивают последних с первыми и не дают их различить. Нужно различить. В "чистый полк" не должны входить нечистые.

И потом в мечтах я уносился к господству босых владык. "Босой" — тоже рана, тоже испытание. "Наш" не должен ничего иметь. Но как он питается, одевается (в лохмотья), то по государству дано приказание по всем лавочкам "отпускать им бесплатно", что потребуют (еда, необходимое). И лавочки (думал) отпускают таким со счастьем, счастливы отпускать (последующее усложнение: государство уплачивает "по счетам владык" — не приходило еще в голову).

И вот они проходят городом, черные, едва умывшись (презирают), непременно босые, в лохмотьях, кой в чем, самом бедном, самом неимущем...

У них ничего нет, и они всем владеют.

Они — стражи народа. Охранители его. Вожди; но главное — стражи; и — воспитатели. По существу, это были "цензоры", но аналогия с Римом у меня ускользнула. Это было "мое". Мое изображение, моя мечта.

Изнурительная мечта. И "стражи" были также изнурены своим идеализмом, своим напряжением, своею заботою и постоянной мыслью "о всех". Улыбка — невозможна у них. Шутка — "и подумать нельзя". Ничего веселого. Но это — от серьезности. Они действительно "ничего не имеют", потому что им действительно "ничего не нужно". Однако это не страдающие от лишений люди, но — постоянно радостные, но молчаливым восторгом "про себя": и этот восторг — от счастья за всех.

Это "матки", "батьки", как бы несущие в животе у себя весь народ: и в них откладывается всякая радость каждого и всякая горечь каждого. "Ничего не имея" — они переполнены бытием, ибо "в брюхе их" бытие всего народа.

Это его ангелы, ангелы-хранители.

Смерть следует за всяким отказом в повиновении им (в сущности — "ликторы", но не приходило в голову). Слово их абсолютно и равно осуществлению. "Быть по сему" — суть их "я" (тоже не приходило в голову, что аналогично). Таким образом, это ангелы и цари. Но их много в стране. Полк, — всюду рассеянный.

Под ними — игра, жизнь, "натуральное". Без излишнего. "Излишнее" мучило меня, гимназиста.



В сущности, это похоже и на Спарту с "эфорами" и "спартиатами", и на Венецию с "Советом десяти", и на католическую "Святейшую инквизицию", и на наш "Николаевский режим". Эта мечта гимназиста не объясняет ли в некоторой степени "происхождение царств" в их строгих режимах... В самом иезуитском ордене нет ли некоторой детской мечты "все взять под лапу", когда на самом деле "лапы" и не нужно, а "как Господь устроит" и "возложим печаль на Господа" и "поспать бы"...

Ей-Богу: послать лучше, чем управлять. Но эта мудрая мысль приходит под 50 лет: раньше все хочется "управлять" и "спасть".

...Мы не "спасаем", и человек вообще никого не "спасет". Спасет — Бог. О планете — мысль у Бога. У нас должна быть мысль о своем обеде, о своей жене, достать бы хорошего докторишку вовремя, и проч. "Мы мелкие люди, и у нас мелкие мысли". Это — мудрость. Она приходит поздно.

До 50 лет все смотришь Байроном, но после 50 лет думаешь, что полезнее быть Петром Петровичем Петухом: "Ну, а каких-то карасей я сегодня вытащу из пруда".

Конечно, это скучно, если без общих идей. Но ведь карасей таскать можно с очень общими идеями. Для них — дружба. Мы с Павлом Александровичем могли бы отлично прожить *всю жизнь* бок о бок, не заботясь о царствах, взаимно угощаясь ухой и под вечер предаваясь философским идеям и даже философским тревогам.

Мы разгадывали бы тайны мира.

Жизнь и прекрасная, и вполне достойная сего века. Таков мой вечер. Как он не похож на утреннюю мечту.

* * *

2. IV. 1914

100 000 рабочих шло 9 января. И журналисты "ликовали". "Мы смутим царство".

Между тем журналисты были только глупы. Царь бы сказал:

— 100 000. Так мало. Им может говорить не Царь, а только петербургский городской голова. Зовите еще миллионы: и тогда мне будет кому сказать.

В самом деле, "рабочие Петербургского района" суть в предмете забот, и мысли, и слова фабричной инспекции, а не царя. Царь стоит выше этого и в такую "мелочь" не мешается...

— "Мелочь", дерзкий!! Мы тебя уьем за такую дерзость!!!

— Убить можете, потому что я один, а вас много, а убедить не можете, потому что я понимаю, а вы не понимаете. Царь так же не может "разрешить рабочего вопроса", как не может вылечить тифозного больного или остановить холеру. От холеры умрет больше, чем от голода рабочих, и "ничего не поделаешь". И царь ничего не может сделать ни с тифом, ни с холерой, ни с рабочими. Пресса толкала дело к тому, чтобы царь стал на сторону рабочих, — но тут обнаружилось, что царь именно выше тифа и вообще стихийных бедствий. Он — человек и в отказе "лечить тиф", и "разрешать рабочий вопрос" выразил высшее свое достоинство и человеческий разум. "Обладая армией", конечно, можно конфисковать все банки (о чем пресса молчала, указывая почему-то на бар с землею, а не на жидов с банками), отнять дома у домовладельцев и земли у землевладельцев: но армия существует для защиты отечества от врагов, а не для отнятия имущества у мирных жителей. Таковы — мародеры: и царь отказался стать вождем мародеров.

Пресса была просто глупа: а 100 000 — молотом в руках плута и болвана.

Болван стукнулся о молот, а молот стукнулся о болвана. Треск удара раздался на всю Европу. Но в звуке не было никакого смысла.

Стреляли. Да как же не стрелять, когда лезут. "Много убили"... Очень мало: меньше, чем когда идет колонна на штурм. Таких колонн в войне и не считают. Все показалось "грандиозно", ибо крупница государственного предстала глазам господ, сидевших за карточным столом и в читальне за газетами. Они и испугались. Но такие пугаются и воробьиной дробью.

9 января — воробьиная дробь. Глупо. Пошло. И ничуть не "кроваво" (от тифа ежегодно умирает больше в СПб.).

* * *

2. IV. 1914

В завете (Авр.) с Б. заключается не... мысль, но *факт* уравниения Бога с человеком или уравниение человека с Б. при удержании всего Его "вседержительства", "Творца Неба и Земли", "видимых же всех и невидимых". И поистине этот ужасный акт, "поднимающий волосы дыбом на голове" ("и напал на Авр. великий ужас". Бытие, XV), содержит в себе обожевление человека, жидка, Янкеля. И они это чувствуют, в тайне вещей они это знают — ничего не боятся. "Будете яко божи"...

Они это взяли. Страх это взять заставил Авраама долго уклоняться. Напоследок — взял.

Какой ценой? Что он заплатил за это?

Вечное унижение и пошлость на земле. Боже, как все связано.

"Законодательство Моисея" около Завета — такая же мелочь, как у нас "Сенат и Синод" около всего "Петрова дела", его замысла, его вдохновения, его пафоса...

Законодательства Моисея даже вовсе могло бы и не быть. И жидки были бы вечны. "Суть не в книгах, а в том, что каждый жид имеет у себя", — говорит Янкель и Винавер, отвертываясь даже и от Моисея.

И "крестятся"... Боже, в каких дураках европейцы: как будто крещение может опять натянуть кожу.

А ведь суть в оттянутой назад коже; или — "приспущен флаг" и не видно ничего.

На нем капитана не видно,
На нем паруса не шумят...

Да, "ночной смотр" и "воздушный корабль". Жидки знают, что знают.

2. IV. 1914

Тело еврея есть Абсолют. По отношению к которому "относителен" даже Б.

(главная мысль еврейства)

Особенно рады этому еврейки. Еще бы: какое удовольствие.

* * *

2. IV. 1914

...до брака умершая еврейка, говоря по-нашему, "не войдет в Царство Небесное" и не увидит Бога...

Собственно до брака в ней даже не очень есть душа. Она только "так", кажется...

Когда она умрет, о ней скажут: "ее и не было".

Ею нисколько не занимаются и не интересуются; ни соседи, ни богословие...

Не знаю, как родители. *Религиозно* во всяком случае и они не интересуются.

Что такое Ева без нужды в ней Адама? Странно даже спрашивать. Никуда не пришла, хотя и "вышла" откуда-то... Ничего. Странность.

Ее едва ли имеют право оплакивать. За ее уничтожение едва ли очень строго ответили бы. "Пеня за убийство девицы". Не знаю. У Моисея нет.

Вот отчего "дочь Иевфая плакала". Какой грустный плач. Как странен он христианину. Знаете ли, что в Ветхом Завете дочь Иевфая есть единственная христианка.

И я отсюда плачу с нею и об ней. Она мне родная. Сестра и невеста.

(в гостях, когда хозяева вышли из комнаты)

* * *

3. IV. 1914

...ничто не представляет собою такого ужаса, как человек, на которого с 7—8 лет обращали все внимание и, крошечного и слабого, гипнотизировали непрерывными гипнозами, мастили его всякими маслами и тискали его всякими тисками...

Уже 7—8 лет его, в сущности, парализовали: как яд насекомого парализует куколку: в его мозг вливали и вливали жидкость, и к 17 годам он весь "не свой".

— А чей же?

Воспитателей, учителей, "друзей нашего дома", товарищей, соседней... Он — "всех", "всеобщий". В сущности — он проститутка, которую "все пользовались". И "история воспитания", как "происхождение школы", есть в значительной степени история проституирования души человеческой (детской, юношеской). Этим, отчасти, объясняется разительное и всюду замечаемое явление, что, "чем школа лучше, тем ученики хуже", а именно развращеннее, испорченнее, обтрепаннее. "Девочкой многие пользовались", "этот красивый мальчик ходил по рукам" — и, естественно, никуда не годен.

Нет целомудрия и невинности. Целомудрие и невинность в воспитании. Они у нас существуют как правило о "сохранении гигиены и невинности", да и то только у девочек. Но ведь "невинность и целомудрие" относится до души, а не до тела одного: и вот целомудрия-то души не только не сохраняется в школе, но вся история "прохождения школы" заключается в снимании с девочки и мальчика покровов целомудрия и в торопливом, бесцеремонном захватывании этой души чужими пальцами, "пальцами всех наших друзей и знакомых", учителей, воспитателей и, в сущности, кого угодно...

Тут и книги, и чтение, и влияние...

И друзья, "школьная молодежь"...

И "этот пропагандист"...

Мальчик и девочка только поворачивается, чтобы "воспринять пассы"...

И вот, помасленный всеми маслами, он выходит в жизнь. Это человек "чего изволите" и в сущности универсальный лакей. Где его я? — О, где его бедное, 15 лет назад крошечное, яркое я, с восторженными детскими глазами, с невинным прелестным ртом и вечным: "Хочу каши". Перед вами пошляк со сведениями

по химии
зоологии
из русской литературы
из закона Божия,
и учивший грамматику языков и вокабулярии:
латинского языка
греческого языка
французского языка
немецкого языка.

— Тертый калач, — говорит о нем, проходя мимо, прохожий.

— Как я его возьму на службы, — говорит начальник "отделения", — он запросит большое жалованье, и как очень развит и "на все руки" — то я даже не замечу, как он у меня напортит во всех бумагах, а главное — станет отлынивать от всякого дела. Ведь и я, и мое "отделение" для него *quantités négligeables*¹ и претензия его — не менее чем управлять королевством...

Девушка, взглянув украдкой на молодого человека, изящно одетого, думает:

— Очень поношен.

И матери семейств, с дочерьми, качают головой:

— Господи, за *кого* же отдавать теперь? Юность прелестная и веселая совсем исчезла. Стоят по улице какие-то "тумбы с объявлениями", а на которых каждый проходящий читает, что на эту тумбу преемственно и сразу наклеивались ярлыки

с законом Божиим
русским языком и словесностью
с химией
с физикой
и с немецким языком...

Это — бумага, клейстер и дерево, а я родила живую дочь, которая хочет живого мужа...

* * *

3. IV. 1914

Беспорочный сон.

.....

Либерализм есть подобие сна у русских. Он ничему не мешает. Не имеет пороков. И "в себе самом" невинен и прекрасен.

Либералы суть невинные и прекрасные люди.

¹ ничтожные величины (*фр.*).

Но лишённые беспокойства.

Если в Зарантуйской тюрьме ссыльных хорошо кормят, если студенты бастуют, журналы — бранят "наш режим", где-нибудь русинов секут и арестовали "еще раз" Дейча: то либерал кладет руки на живот и говорит:

— Как хорошо.

— Я этого и ожидал.

"Этого", т. е. что "русинов секут"...

Вот этот квинтэзис и душит. Сон "сам по себе хороший" несносен потому, что он вытесняет бодрствование и труд, — а то "поспать" я и сам не прочь. Но — после труда.

И Господь "почил *от трудов своих*". Одни либералы почивают без труда и до труда. Сон среди дня, без порядка, утром. "Валяется до 2-х дня в кровати", и притом всухомятку. Полное безобразие.

И я его ненавижу.

(Прочел в "Русском Богатстве": угорусов секут, потому что туда ездил Владимир Бобринский.)

* * *

3. IV. 1914

России угрожает судьба Польши.

...Годы думаешь о теме и только через годы и находишь ей простую и близкую аналогию, которая объясняет все и делает предмет совершенно прозрачным. Знаменитое польское "не позволяю" не воплотилось ли в каждого русского, выразившись в своеобразной "оппозиции" всех всему, от гимназиста до земца и до Тертия Ивановича, которые решительно все "не позволяют", с этим же тоном абсолютности, требовательности и приказа. Два мужа, Родичев и Петрункевич, стали историческими личностями, заявив, в сущности, просто польское "не позволяю" в Твери.

Волконский и Трубецкой высыпали с друзьями на Сенатскую площадь, объявив, что 30 человек их и несколько командующих рот солдат "не позволят России остаться самодержавной".

Это "мы не позволяю" несется от края до края России, составляет содержание всех разговоров и "горячих бесед" и (как и у поляков) сливается с безграничной трусостью и таким же, как у поляков, безволием и путаницей нравов. "Не позволяющий" России быть самодержавной испуган проходящим в соседней комнате начальником, "искушен женой ближнего" и не очень добросовестно рассчитывается в лавочке. Впрочем, "счета плохие" у всех русских, которые понимают слово "нашарымыжку".

Польша, Польша и Польша.

...республиканская "Речь Посполитая", также свободная и также распущенная и такая же барствующая, избалованная правительством, как она.

Правительство избаловало и развратило русских, даром кормя не одних крестьян в голод, но и в самые сытые годы — праздных и ленивых чиновников и лодарничающих дворян.

4. IV. 1914

Что, господа, разговаривать: если Россия — проклята, если она сгнила и повалится, как глиняный колосс, от первого толчка, как уже неоднократно говорилось, писалось и говорится и пишется везде кругом, то берите же скорее бомбы, кинжалы и идите на приступ...

Вот что подсказывает "молодежи и всем" провокация: она реализует наши чувства, не прибавляя ни йоты от себя.

И "мыслящие реалисты" (Писарев) берут бомбы и что попало и идут на ближайшего полицейского и на "его превосходительство"...

Тут и Гоголь, и Грибоедов. "За Гоголем! За Грибоедовым!" Можно ли сомневаться, когда и "наш Иван Иванович, учитель словесности", тоже объясняет, как и о чем и по каким обстоятельствам написаны "Горе от ума" и "Мертвые души".

— Разумеется, эти мертвые души — только толкнуть.

Толкают... И встречается "неожиданное препятствие". "Мертвый человек", полицейский хватает юного читателя Писарева за шиворот и отправляет, куда следует.

Вот провокация. Которую столько разгадывали: "Что? Откуда?"

Очень просто.

Что за идея, если она не реализуется.

— Реализуйтесь, господа!

Ненавидите? — Ненавидьте *реально*.

Боретесь? — Боритесь *осязательно*, с металлом в руке.

— Господа, не палите пустыми патронами (литература), а со свинцом и огнем...

На которые я, конечно, б-у-д-у р-е-а-г-и-р-о-в-а-т-ь...

4. IV. 1914

...да я и не сомневаюсь, что при жидях будет лучше: будет порядок, больше будут излечены, обиженный получит суд, и не по форме, а по существу... Не говоря о торговле и промышленности и вообще капитализации, которые расцветут.

Газеты будут издавать не Суворин, и Сытин, и Гессен, а три Гессена: старший "брат Гессена" будет умеренный либерал, второй брат Гессен будет социалист и третий брат Гессен будет консерватор. Не воображайте: евреи дадут нам и национальную русско-еврейскую партию, которая даже потребует у Австрии через Думу разъяснений касательно "страданий бедных русин". Эти "совсем русские евреи" будут громить между прочим и евреев, и Моисеев закон, будут разговляться куличом и яйцами, но будут таких патриотов звать уже не "Иваном Сергеевичем", а Иосифом Иосифовичем.

Да. Осип Осипович Гессен. Просто.

— Наш известный патриот Осип Осипович.

Одним словом, все "упорядочится", и выражение Летописи о "земле обильной, но без порядка", наконец, получит себе берег, упор и точку.

Хорошо. Но *где* же русские и Россия? Евреи будут писать стихи по-русски и подписываться "Иозель Мозе", будут поставлять повести

с ругательствами на дворян "когда-то бывших" и которых самая память прошла, и прочее... Христос, церковь, конечно, упоминаться не будут, как они никогда не упоминались в журнале Стасюлевича, только лишь женатого на еврейке, и у которого тестем был банкир еврей Утин. Ну, что же еще? Из армяка с кушаком русского извозчика перерядят в нечто форменное, со светлыми пуговицами; дадут ему в правую руку английский бич и посадят на козлы кареты. Его, конечно, приучат управлять "английскою упряжью", и теперь он будет возить "Рахиль Иосифовну" в банк с мужем и от банка к любовнику, офицеру хорошего полка. "Наша Паша" будет у нее камеристкой и тоже приучится хорошему обращению...

.....
да, еще: и в Ровно, в Вильно, где-нибудь, раз в семь лет, "по примеру Исаака", но с другим результатом, будет закалываться русский мальчик, — какой-нибудь Вася безродный или Алеша не помнящий родства.

— Бе-е-е... — будет бляеть козленочек.

А шилом будут ему протыкать голову, шею, сердце...

4. IV. 1914

Собака вбежит в комнату: застучит лапами. Лижется. Лезет. Лает, даже играя.

Бежит около лошади — тоже лает.

Шум и неудобство.

Кошка войдет тихо, и никто не сочувствует. Пойдет по стенке и спрячется под стул. Видели? Никто не видел.

Только под стулом горят зеленые глаза.

Кошку даже в церковь пускают, — так тиха и благочестива.

Это — жид.

И мухи "надоедают".

Паук же никому не надоедает.

Тих и трудолюбив.

(засытая)

* * *

4. IV. 1914

Стройные части народа... как я вижу их постоянно в церкви. Сегодня ("четверговые свечи") опять мешанин около плеча говорит *вперед* священника и поющих особенно трогательные и выразительные места возгласов и пения. Какая радость: народ наш, значит, *знает* службу, а не то что тупо присутствует только при зрелище и имеет удовольствие от вокального исполнения. А ведь я поверил подлому щедринскому "жезаны" (в Символе: "верую в... умершего же за ны в третий день по Писанию...") и "жемажаху" и вместе со всеми вообще образованными русскими думал, что народ службы не понимает. Какая радость: хоть и в 58 лет, но знаю, что *народ понимает*, и умру спокойно, без подлой щедринской тоски (т. е. от Щедрина)...

Стройный, прекрасный народ. Духовная гвардия. Только за богослужением народ и видишь "в настоящем виде". На улице, в лавочках — он раздроблен, не собран и без убора. Слабость человеческая, и по ней мы не должны судить о сущности человеческой. Сущность эта совершенно

здорова, и русский народ вполне и совершенно здоров. И как в древности скажет и теперь, и *потом*: "Отдадим жен и детей за отечество".

Да и говорит: разве в темноте мне не сказал подтиттор Скорбященской церкви (на Шпалерной) в начале Японской войны: "У меня сына убили. Еще есть два сына. Пусть и их возьмут" (в солдаты)... Не помню конца слов; но он говорил: отдаю трех сынов за отечество.

Были сумерки, начало их, — и лица его я не видел или чуть-чуть видел. Имени его не знал. Он меня не знал. Что же он хвастал "в пустое место". Боже! да ведь и солдаты отдают жизнь свою, в точности отдают, не как рабы войны, а как великое сыновство Руси...

Есть сыны у Руси, есть! есть!! Не одни Савенковы, не одни подлые "гражданины Минские-Виленкины", желающие сидеть "в первых креслах" (его слова мне о себе и соотечественниках).

Нет. Нет. Нет. Русь свята еще... Не радуйтесь, вы не сгноили ее, шипящие "Шиповники" и жалящие "Осы"... Но, Боже: скорее — в безграмотство! Скорее, скорее: еще 50 лет "народной школы" — и Ропшин-Савенков, конечно, будет шеф и святой ее...

Боже, вразуми Царя, Боже, вразуми Царя, Боже, вразуми Царя: дай ему увидеть истину и закрыть эти проклятые так называемые "народные школы" с нигилистом-лакеем-жидом (по духу) во главе...

Только церковно-приходские школы. — Только. Только. Только.

Сжечь каленым железом, каленой операцией это проклятое "Министерство народного просвещения", из тайных и действительных тайных предателей Руси...

Царь, смотри: это идет на тебя полчище изменников, убийц и грабителей (взятки). Они целуют у тебя руку, сгибают колена перед тобою и тайно обматывают вокруг шеи твоей шнурок, чтобы задушить тебя и твое царство...

Страшись, страшись, страшись...

Оглянись на бронзовые ряды войска. Еще есть Святая Русь: разорви ею Проклятую Русь. Ибо эта Проклятая Русь множится. А Святая Русь малится...

Скорей, скорей: задуши ехидну, пока она не задушила все.

Сегодня еще есть время. Завтра будет поздно.

Скорее. Скорее: бунт! война! Иди войною и вновь завоюй свое царство и вновь покори Русь... Ибо кто-то посильнее поляков "опять в Кремле", и кто-то похитрее французов "захватил древнюю столицу"... Тебе оставлены только дворцы, с угрозой — если ты из них выйдешь, будешь убит (с 1 марта угроза).

* * *

5. IV. 1914

Так "современный человек" и живет, все дожидаясь почты: несут письма и газеты. Все — оттуда, "откуда-то"... Из города, от друзей, из столицы.

Что же, добрый человек: *у тебя же в дому* так уже пусто? И люди около тебя так неинтересны?

Вот сын-подросток — поговори с ним.

Дочери: девушка-невеста и другая 7-ми лет, вся грация и изящество, поиграй с одной, поговори с другой.

Да износилось белье у всех до дыр: пора подкупить. Посоветуйся с женой, что неизбежно, а что можно и потерять.

(одевись к Святой Заутрене)



И после таких прелестных занятий, выйди в сад — послушать птичку или посмотреть на дерево.

Или — на улицу. Все-таки — быть. Трактир. Гармоника. Труд и распуство на расстоянии десяти шагов. Гульба и болезнь. Смерть и роды — "по одной лестнице" — по этажам дома. Философия жизни.



Но смотрит тускло наш философ. Подходит к окну и выглядывает: не идет ли почтальон. Вот он... стукнул в дверь, зашел. Из сумы вынимает бандероли, письма, газеты, журналы. Наш философ совсем ожил. Сейчас он узнает, из какого вулкана извергается лава, что делает генерал Думбадзе и что за история вышла между ректором и студентами Варшавского университета.

* * *

6. IV. 1914

Все учение (духовенства и богословов) о браке не связано органически с христианством и может быть ампутировано без повреждения (расстройства) его. В Евангелии не установлено даже единоженства и косвенно, как тогда наличный повсеместный факт, не отмеченный Христовым осуждением, возможность многих жен у одного и в одно время Евангелием даже признано. Когда я в этом смысле заикнулся с Альбовым (интеллигент-священник, теперь почти черносотенный, а ранее — розовый и либеральный, "коснулся" в момент перехода его в черносотенство), он только упорно и язвеще ответил: "Единая для единого и единый для единой: иначе Бог сотворил бы двух Ев на одного Адама". Т. е. сослался и мог сослаться только на Ветхий Завет и не мог привести ни запрещения, ни слова из Нового Завета. Но "2 Евы Адаму" обозначали бы обязательность многоженства (куда же девать 1/2 девушек?!), — тогда как это "позволено", а не "должно", — благословлено, а не предписано. Корень брака европейского — в строго моногамической римской семье, а не в восточноиерусалимской, евангельской или библейской.

Запрещение развода "иначе как по вине прелюбодеяния" само собою разумеется при полигамной семье. Что же, я вышло на улицу, на голод и холод и бескровность жену без любовника? Хотя бы сам уже и не жил с ней (не люблю). Я люблю другую или других, но и нелюбимой — не изгоняю. Она — сирота, м. б., уже без родителей, без родных; а сирот — не обижать в Евангелии. Слово о "не разводе *только как по вине прелюбодеяния*" выражает собственно то собою, что теперь называется "алиментами" (римское *alimentum*, "прокормление"): *обеспечение* всякой девушки, выходящей в замужество, на случай "не любви мужа", на случай "разлюбления его", но когда она сама ни к какому "любовнику и кормильцу", "мужу и кормильцу" не переходит. И означает: любить-то ты можешь других, жить-то ты можешь с другими, с *этою* можешь вовсе и не жить, разорвать половую связь, отвернуться от нее душою и телом:

но *выгнать* ("дать разводное письмо") *не можешь*. И она, если вновь ни с кем не соединится, до конца дней будет и вправе кормить детей своих от тебя в твоём доме, или хоть и бездетная — иметь угол и хлеб в твоём доме. И ты, добрый христианин, обязан ее и похоронить. Вот это "кружка церковного сбора" в храме, милость, милосердие; но это нисколько не есть то бессмысленное и невозможное (по характеру мужской половой активности) принуждение мужа ложиться со ставшею почему-либо ему противною, ему непереносимою, для него утратившею всякую силу *возбуждения* — женою. "Я — не резина и резиновых мануфактурных обязанностей в браке выполнять не могу", — может и вправе ответить на такое предложение всякий живой мужчина, каждый уважающий себя муж. "Тогда выбирай себе в лавке резиновых мужей", — может ответить стан юношей-женихов на подобное предложение или на такой "заказ" стана девушек. "Я люблю — когда я люблю, а когда не люблю — то и не люблю". "Что же мне делать? *Притворяться? Обманывать?..*"

• Еще при пассивности природы и самого situation¹ в браке девушка, женщина, жена "может быть женою" и нехотя, без воли, без огня. На этом основана *всемирная проституция*, — что от века для женщины это пассивное положение *исполнимо*. "Может". Но мужчина абсолютно ничего "не может", сколько бы он "по долгу" ни хотел, когда он по натуре "не хочет". Положение и судьба женщины — *для мужа неисполнимы*. Посему инициатива развода идет от него, — не по "подчинению женщин" (социальная сторона), не по "баловству мужчин", чего в Священном Писании, в Божьем слове — не может быть и нельзя ожидать. Нет: это — по самому делу. Женщина "без любви" может *продолжать быть женою по ее устройству и биологии*, а муж без любви *продолжать быть мужем не может*. "Он — начинает", "он — зачинает"; он — "господин", "хозяин этого дела". Тут — не гордость, а "так жилы растут".

Но при "так жилы растут" Христос, не пересотворивший жил, — отнял у мужа право, практиковавшееся в Ветхом Завете, практиковавшееся даже Прародителем всего народа Авраамом — *быть жестоким*. От того, от сего именно, в данном только месте Евангелия и сказано о "жестокобытности евреев", — прежних, ветхозаветных: и запрещено когда-нибудь ставить христианам "в положении Агари и Измаила", выгонять из дома, лишать крова, изгонять в пустыню, после любви, после своего же избрания. "Да не будет больше Агари у вас", — сказал ученикам и окружающим евреям Христос, из которых многие без сомнения были многожены... Но *никому* он не сказал и *никогда* не сказал: имей каждый только свою Сару и не помышляй об Агари. Это прибавил сухой и черствый Альбов, и прибавил из головы, и эту его недалекую и своевольную голову надо взять под устцы: что же, когда уже "не может", — и не может, "хоть тресни", — Авраам имеет отношение к Саре, должен ли он стучать на нее зубами, дожидаться с жадностью — когда она умрет и освободит место после себя, пустое место и ею физиологически незанятое, а занятое только номинально, ругаться, злиться, ненавидеть: знакомая картина "христианской семьи", знакомая

¹ положение (фр.).

картина по изображениям Ювенала и Персия и у моногамных римлян, с которых христиане взяли пример по рекомендации древних отцов Альбовых... Боже, Боже: неужели ссору и ненавидение, неужели притворство и обман ("не могу", а делаю вид для *посторонних*, что "еще могу") ввел в семью будущих своих возлюбленных учеников Христос; этих "друзей своих", как Он назвал Апостолов и в лице их назвал всех последующих христиан... Неужели, неужели поверить, что Христос ввел злобу и обман в семью, в дом христиан... Но "отцы Альбовы" именно заставили этому поверить: они сняли весь тот мир и покой, какой лежал на бесшумной библейской полигамной семье, где *она* трудились без ревности в одном хозяйстве, помогали друг другу в болезни особым женским нежным уходом, восполняли психологически односторонность одна другой и образовали одновременно и *семью*, и *крошечное интимное общество*, весьма мало уже нуждающееся в соседях, знакомствах, в клубах и общественных собраниях и балах, которые у христиан, в сущности, служат поправкой к моногамии, не удержижи развившеюся, и психологически, через множество случаев волокитства и ухаживания, возвращающих все к полигамии же, но уже совершенно безграничной, туманной, бесформенной и неуловимой. "Утешились батюшки", положив такое богатство в карман. Это именно *их богатство*, о. о. Альбовых, скупых и ограниченных душ. И если он скажет тупо: "Сам не хожу в клуб", то я ему отвечу: "Праведнее было бы тебе ходить в клуб, нежели *других заставлять ходить*".

Возникла шумная, открытая, "вечно с гостями", христианская семья. "Без гостей *как-то скучно*". Это шепчет полигамия, скрытая — но необузданно!! — в нашей моногамии. Это — лютый зверь, который ее точит и грызет: и редкую семью он не прогрызает. Оставим. Где милые думы Ветхого Завета, где при чтении мы чувствуем столько благословения Божия, и как-то чувствуешь, что Благословение Божие пришло сюда потому именно, что оно "без знакомых", без внешних, иначе чем зашедший издали странник, и согрето собственным теплом маленького мирка. Уторможаем речь: разумеется, "подвинуть такой камень" теперь уже невозможно, и я беру страшный риск перед всем обществом, только говоря о его сдвиге. Но слово мое твердо. Спаситель не отрицал, а Ветхий Завет признавал. Два профессора духовной академии, с которыми я списывался по этому предмету, мне письменно ответили (и письма эти я храню), что *принципиально* возражать против полигамии невозможно и что это "вопрос удобства общества", а отнюдь не вопрос закона священного ("вопрос дисциплины церковной", — выразился мой корреспондент). И "рассеяться" эта явная ошибка должна именно путем "дисциплины" же, а не провозглашений...

"Провозглашать" не нужно ничего, "никаких новых учений". "Все пусть остается по-старому", но только надо оставить гоняться с дрекольями, гоняться с зубом и когтем (ведь это же неприлично христианину, ни — христианскому царству), где *единично* и *случайно* произошло иначе... Правда, не более одного или двух случаев я знаю (притом не *видел*, а *слышал*) за *всю жизнь*, когда "другая женщина" не тяготит первую, не оскорбляет присутствием своим, не мучит... *В этом — все*. Это уже принципиально (с моей точки зрения), что *обиды и горечи рождаться не должно*, и горечь одной — не допускает в доме другую,

и здесь (мое мнение) права мужам сокращаются (против Ветхого Завета). Никакой горечи, ни одной слезы! Но "если бы случилось, что мир не нарушен, — общество христианское должно смежить глаза и не разговаривать об этом, не пересушивать, не сплетничать, не злословить, не стараться разлаживать наладившийся лад. "Пусть". "У них свое счастье". "Чужое дело разобрать трудно". Вот. Через это, лет в течение пятидесяти, попривыкнул к таким редчайшим случаям. И, кто знает, не угасится ли частично ревнование, по крайней мере не отпадет ли та часть его, которая вытекает из гордости, из одинокого "я" и противодействует внесению принципа — "многим лучше", "хорошо и вдвоем", "поможем друг другу".

Вообще нужно давать "разрастаться быту", сдерживать злословие и смотреть (всего лучше "сквозь пальцы"), как "сложится дело", "куда потечет река", *отнюдь не нагибая ее в сторону полигамии*. "Никаких новых учений" — прежде всего. И "пожалуйста, спрячьте флаги". Держитесь правила — "Как Господь даст", и Господь даст всегда лучшее. Это без намеков, без экивоков и без иронии. Это — труднейшее дело истории: которое если бы исполнилось — уличная проституция и "секретные болезни", как равно аборт и истребление плода — исчезли бы.

Исчезли бы через то, что свободные девушки все втянулись бы в полигамную семью, собственно, в те несколько сот тысяч полигамных богатых семей на 100 000 000 их: ибо везде Евы-то "все-таки не две", и *всем и даже очень многим полигамно устроиться, естественно, невозможно*.

"Смежить глаза" на случаи полигамии оттого удобно, что это даже не переложит быта, естественно не распространившись "очень". Это только пугает в литературе, а в действительности не страшно. Напротив, в литературе проституция и детоубийство не страшны: но очень страшны в действительности.

"Махнем рукой" и "не станем рассуждать": уже достаточно, если с этого начнем.

* * *

7.IV.1914

Ордынцев (коллегии Павла Галагана, в Киеве, 1907 г.) передавал, что когда он и его товарищи по поручению коллегии пришли в университет на общую сходку, то застали здесь бурные речи, множество студентов и курсисток, рабочих и посторонних людей. И говорящая курсистка, еврейка, обратилась пламенно к подругам:

— Сестры мои. Там на площади — солдаты, офицеры и казаки бьют наших (молодежь, революционеров)... Я предлагаю всем вам идти туда и отдаваться...

Я не поверил, что *так* слышал и понял слово, и переспросил. Она продолжала:

— ...и *отдаваться* им, чтобы привлечь их сочувствие и симпатии на нашу сторону... (и т. д.)... И тогда победа будет на нашей стороне.

Я не верил своим ушам: потому что это самое я читал в газетах после бунта кронштадтских матросов, что революционерки-интеллигентки в Кронштадте поступали в публичные дома, чтобы пропагандировать матросов (сообщение немецких газет, перешедшее в наши

газеты). Помню, что, когда в то время я с недоумением и удивлением передал это одной революционерке, пропагандировавшей на фабриках, она сказала:

— Ну, я скорее убила бы себя, чем это сделать (русская немка), — и я не очень ей доверил.

Когда я передал Ордынцеву о сообщениях газет, он сказал:

— Это — низшая раса (евреи; т. е. такой возглас мог раздаться только в среде низшей расы).

Я этого не думаю, т. е. дело это гораздо сложнее. Вспомним, что, "проходя" таким-то местом пустыни, евреи "увидели, что жители местного городка празднуют Ваал-Фегору (одно из сладострастных празднований) — и тогда все женщины израильские (и девицы и жены?) пошли на праздник их и предались блудодействию" (Бог поразил многих язвою, остальных особенно неистовавших — поразил Моисей, остальные утихомирились)... Затем Фл. мне передал, что во время дела Бейлиса, когда русские начали отделять себя от евреев и противопоставлять им, — "от глав еврейства дан был лозунг *еврейкам стараться всеми правдами и неправдами соединяться с русскими, выходить замуж*, становиться любовницами" и т. д. Наконец, Горнфельд в "Русск. Богатстве" упрекал Юшкевича (еврей) и потом Айзмана или Шелом-Аша, что "все-то он выводит евреенок-проститутки", имея точно какое-то влечение к этой форме женского быта. Корыстылев говорил мне: "В Петербурге проститутки сплошь жидовки, немки и меньше — полек: а русская дуреха редко-редко попадает сюда". И, наконец, последнее: архимандрит М. (еврей родом, сообщение Глубоковского), какую бы речь ни произносил в Рел. Фил. собран. и чего бы эта речь ни касалась, — непременно "черным зельем" вернет туда проститутку, которую как-то хочется наименовать в его психологии "проституточкой" — даже "милой проституточкой". Так что В. П. Протекинский раз мне сказал на ухо: "Что это за неприличие у о. архимандрита: о чем бы он ни говорил, непременно у него появится, много ли, мало ли, проститутка и ее имя. Как он не заметит, что публику это шокирует и что для его сана это неприлично". Я это тоже замечал, и можно было чувствовать, что "девушка на панели" есть его *idée fixe*¹, к которой привязана и скорбь его, и сострадание, и осуждение за грех: но и *какой-то интерес*.

При чтении "Городка" Юшкевича меня поразила его формула об еврейских проститутках, во множестве выбегающих из-под родительских кровов на окраинах и предместиях — на бульвары центра, где горят огни, и приносивших с гордостью домой рубли.

Юшкевич сказал о них: "Зима не выгонит — весна выманит; весна не выгонит — зима выгонит". И в этом тоне Юшкевича для меня прозвучало что-то не жалующееся ни на зиму, ни на весну.

Рассказ Ордынцева произвел на меня чрезвычайное впечатление. Университет. Интеллигенция. Книжки, Бокль и проч. Позитивизм и экономическая борьба. Вдруг среди этих русских, немок, армянок, гречанок:

— Сестры, пойдем — *и отдадимтесь врагам нашим!*

Подспудно.

¹ навязчивая мысль (фр.).

— О, господа: что надеяться на слова, когда у нас есть могущественное *орудие победы*: — Вот...

Еще:

— Острижем *волосы Самсону*...

— И принесем *голову Олоферна народу нашему* (Юдифь)...

Но в слове:

— Мы безречные, безмысленные... У нас есть другое. Мы действительно низшая раса, "от сложения земли", древнейшая, первая на планете. Мы... ляжем и раздадимся, раскинемся перед ними: и когда они, мнимые голодом и жаждой всей земли, прилягут и станут каждый напояться нами... то мы обольем их таким огнем, и влагой, и душистостью, что они уже не встанут, не поднимутся от нас, а навсегда станут наши, и тут мы их припоим и позитивизмом, и Боклем, и революцией.

Ваал-Фегор.

В основе — Ваал-Фегор, а позитивизм и революция "от русских лоз" и для израильтянок *суть прикладное*...

И мне почуялось здесь что-то ноуменальное. Проституция, если смотреть с севера, есть, конечно, феномен, полицейское явление и анекдот улицы; но есть в нем и ноумен...

Обратим внимание, что "блудница" появляется уже не только с первых страниц Библии и не оставляет никакие страницы там, но что даже и в чистейшей духовной книге, в Евангелии, блудница "помазует ноги Спасителя" перед распятием, и он говорит ей единственные слова ("где бы ни было проповедано Евангелие, — *будет сказано и о сем поступке твоём*").

Вот, "смотря-то с юга", и замечаешь, что в глубине и красоте своей нечто потеряли бы все сии неоспоримо высочайшие книги человечества, научившие все человечество молитве, подвигу, вере, наконец, "очистившие все человечество" от скверны грубости и каменности, разнежившие сердца человечества, если бы "как у архимандрита М. на рел. филос. собраниях" среди слов на великие темы не перебегала легкой тенью девушка с криком 1907 года:

— Сестры мои, идите за мною — я же бегу совершить наше женское дело... лечь, растянуться и напоить ароматом своим мужское тело... И через него присосать душу мужчины к себе... К себе и к нам...

Господи: да ведь и *сотворение* Евы таково. Не таково ли? Всякий, прочитавший о ее сотворении, скажет:

— Она сотворена не для слов, а для того, о чем сказал (еврей) Юшкевич.

Бесспорно. Ясно.

И у архим. М., у Юшкевича, в рассказе Корыстылева о Петербурге мне послышалось что-то, какой-то новый тон, что "мы не можем победить этого в сердце своем" — потому это собственно и не будет побеждено на улицах.

Но что это такое ЕДИНИЧНО?

— Я пойду к ТОЙ, КОТОРАЯ ПОБЫЛА С ДРУГИМ.

В суть проституции тонким жалом входит: "побыть с тою, которая побыла с другим". Иначе это совершенно необъяснимо с мужской стороны: ибо разговоры, что "проституция объясняется из множества солдат и студентов", суть именно — разговоры. К "блуднице" пошел

Иуда, сын Иакова, — а у него было много жен. Нет: суть проституции — побыть *именно с тою, которая была, бывает в объятиях* другого, других, *многих*.

Проституция есть половое разомкнутие ЧЕТЫ и прием меж двух — *множества, мира...*

Чета...

Четы...

Множество чет...

Позвольте: это еще не космос, не универзус. Это римское "брак Катона и Порции", где они сжимают руку друг друга (на могилах, эмблемы).

Верность. Красота. Да. Не оспариваем и плачем. Идеал.

Позвольте, однако на "идеалах" планеты не жидутся. *Stellam terram*¹ (если смотреть от солнца или с луны) нельзя основать и утвердить на "римских добродетелях". *Stella terra* гораздо обширнее Рима, и иудеянки, бросившиеся к Ваал-Фегору, бросившиеся от мужей своих, бросившиеся от отцов своих, и выразили эту *stellam terram*.

Отсюда — крепкий, твердый, победный тон проституток в некоторых случаях:

были и будем.

Но войдем же в сердце этого ноумена. Мы заметили, что нечто пропало бы из самой *глубины и красоты* священных книг, если бы эти тени не пробегали там. Следовательно, в "побыть с тою, которая была не со мной" (зерно всего) заключается сверх явного и дурного, что с первого раза видно, что-то скрытое, дорогое и нужное.

Всем. Планете (нужно).

Что?..

Обратим внимание "на *другого*, которого *нет теперь с нею*".

Память его... след его: явно — *не отвергаемый* (ибо никто к проститутке не идет "в беспамятстве"), а — памятуемый, удерживаемый в душе.

И — сосущий душу.

Ноумен обращения Иуды к блуднице, когда у него было много верных, чистых и бесспорно более ее нежных и красивых жен, — заключается не в личике и фигуре этой блудницы, которых в вечереющем дне он и рассмотреть не мог, а в том, что душою его овладели на тот час или около души его начали порхать в тот час тени, памяти, следы другого, третьего, четвертого, многих, "с которыми побывала блудница", но опять этого, и четвертого, и пятого не в лице его и фигуре его, о которых он ничего не мог знать, а в другом и существенным образом в *относящемся к этому, зачем к блуднице он шел*. В параллель этому "Иуде древнему" я припоминаю случай, когда ко мне обратилась с просьбою посодействовать разводу женщина лет 28—35, некрасивая, но и недурная, свежая, моложавая и которая в эстетическом отношении никакой проститутке не уступит. Когда я спросил ее о мотивах ее желания, она помолчала долго и потом ответила: "Мой муж постоянно ходит к проституткам, — и мне стало невыносимо жить, собственно, от стыда. Тут же в нашем районе я встречала девушек-проституток, которые при встрече со мною особенно улыбались, особенно смотрели на меня, особенно

¹Звезда земная (лат.).

указывали на меня. Я понимала, что со всеми ими муж мой имел дело, — и мне некуда деваться от стыда, как только развестись с ним и уехать в другое место”. Один писатель мне рассказывал о годах своего молодоженства, что едва бывало он выйдет из дому к приятелю, к знакомым, в библиотеку (было в Крыме дело), как вернувшись домой — на него *накидывалась теща и жена с криками, что он был в дурном доме*. Это что-то вроде и (я думаю) в тоне архим. М.: *почему такая постоянная мысль?* Обе, и теща и молод. жена, вероятно, не лишены были *обаятельности всего этого для себя* и думали, что против такой сладости “мужчина не может устоять”, хотя под боком молодая жена. Когда родился ребенок, жена его ненавидела его и не хотела, чтобы он рождался (инстинкт проституток); а теща очень любила ребенка (внука). Но вообще какое-то влюбленное отрицание, любующееся поругание сквозит во всех речах о проститутках и проституции, — и это как в женщинах, так и в мужчинах. Чистейшее существо, графиня Александра Андреевна, тетка Толстого, упрекает за суровость отношения племянника к Васеньке Власовскому, коего Левин “выгнал из дому” (собственно — от Китти), так как он на всех вообще женщин смотрел “с вожделением” и, садясь на стул, как-то особенно подгибал ногу. “Он *каждую* желает...” — взорвало Толстого. Тетя остановила: “Ну, Левушка, — зачем ты *так строг*”.

Т. е. — “нам, женщинам, такие мужчины вовсе не противны”.

Такие мужчины, “типичные проституты”, — волнуют женское общество (кроме исключений, “Порция и Катон”), входя в него, и нельзя скрыть мысли, что когда он входит в это общество — происходит мысленное с ним проституирование всех женщин (“Ваал-Фегор”). Я окаменел от страха, когда от 24-летней еврейки девушки (с “историей” позади) услышал слова: “Для каждой женщины приятнее иметь общение с мужчиною тем более, чем более до нее он имел в своем обладании женщин”. Когда я ее спросил о мотиве, она ответила: “Потому что женщине доставляет гордость, что всех предыдущих *побеждает она*”. Но я думаю, секрет лежит тоже “в памятках”, ибо ведь мало гордости в том, что и завтра меня победит другая.

“Памятки” реют около нас... Памятки других женщин — около женщины, памятки других мужчин — около мужчины. И пол, который в существе является двоичею (*чета*), закружается в сферу, в шар, “космос”, “универзус”. В сущности, завершается “во *вся и всех*”...

“Цель уже не два, а весь мир...” Через это только явление “Порции и Катона”, высокое в идеализме своем, но именно явление узко римское, — преобразуется в плането-устройющую силу. Есть глубочайший, высочайший пафос в Порции и Катоне, и да будет он вечно благословен: и этот прекрасный сад никогда не сократится и *не сокращается* (я знавал примеры, в Петербурге, не уступающие несколько римским) теперь. Но есть и другой пафос, совершенно противоположный, основанный на глубоком сосании души “памятками”. Первый — строг и величественен, высокого роста и в белых одеждах. Другой весь раздался в жир, именно “раскидался” (частый термин Библии: “вы *раскидываетесь*”, любите “раскидываться”, хотя и с упреками, но как у арх. М.), лица — не видно, фигуры — не видно, он — древен, первоначален и необыкновенно могущественен. Он весь, собственно, в могуществе пахучести — особой категории восприятия, иной, чем зрение и вообще “благородные чувств-

ва". Пахучесть действительно у животных, а у человека эта категория уже притупляется. Таким образом, в проституции человек действительно возвращается к "животному состоянию", и такое определение ее и враждебное к ней отношение на основании этого — совершенно правильно. Вообще я не против того, что "проститутки побить бы". Но обращаю внимание на то, что таковые пробегают тенями и в движении. Я высказываю вообще ту мысль, что "древнего чрезвычайно много в человеке", что "селезенка" и "половые органы" древнее в нем головы, ибо есть уже у червей, у морской звезды, у морского ежа, у голотурии, у растения, у розы, яблони. Вот какая древность "до сотворения человека". Половые органы в человеке сотворены ранее самого человека, и оттого в некоторых моментах и случаях он *следует за ними*, они же, увы, вообще никогда *не следуют за ним*. Скорее они им управляют, чем он ими. "От яблони суши, раньше Адама". Вот. И, с благодарностью и умилением принимая Катона и Порцию, он не должен особенно скорбеть и отчаяваться, когда вдруг туманы поползут по земле, ширяться, клубятся, низко-низко, и все окутывается во власти запахов ползущих "памяток", реющих над землею...

Это господство трав, это "Иванова ночь" человечества...

Тогда муж оставляет жену и жена мужа, и вместо закона верности — законом выступает неверность...

Но — без вероломства. Ползет душа за "памятками", и у женщины она также ползет за "памяткою" других женщин, как у мужчины ползет за "памятью" других мужчин...

"Вспоминают времена древние"...

Это — Иванова ночь, когда Мир — Шар, а не Мира — Два...

(Между прочим, этим объясняется древняя полиандрия и где-то мною прочитанный случай, что нельзя ничем так оскорбить эскимоса, как отказавшись от жены его, т. е. если гость, пришедший в его палатку, "не хочет")

* * *

7.IV.1914

И "Горе от ума" анекдот, и "Мертвые души" анекдот. "Ревизор", "Женитьба" и "Игроки" — случаи. Притом нужно заметить, что в этих анекдотах и случаях есть много несбыточного и несогласованного, так что самая правдивость талантливых рассказчиков есть предмет вопроса. Откуда же взялся миф о глубине и превосходстве русской литературы, когда самые корифейные ее произведения суть явные ее пустяки?

Правда, превосходно сделанные, рожденные, сотворенные. Рука всегда была великая мастерица у русских.

∞

Ранее Толстого и Достоевского глубины в русской литературе не появлялось.

Тема бедности в "Бедн. людях" и преступления, тема истории и войны в "Войне и мире" и в "Севастоп. очерках" — а это уже другое. И — Гончаров: тема *милой лени*. Это уж не анекдоты фон-Визина, Грибоедова и Гоголя.



А мож. быть, это только *темы* пусты (они ярко пусты); может быть, обитаемы только главные комнаты, залы, гостиные, кабинеты. Но есть много "кое-чего" по закоулкам?



Это действительно. Это — скрыто на сто лет от читателей, что, собственно, "дом русской литературы пуст". Закоулки в русской литературе, как нигде, и у русских писателей всегда был изумительный нюх к кухне, прихожей, дворницкой, чулану, погребу и коридорчику "с анекдотами", с "что случается там". Мышиное чутье и мышиное зрение есть вечное качество русских писателей.



И тут, в пределах мышиного и погребного, в "людской" и проч., писатели выковали дивные "штрихи", о жизни, о смерти, о человеке, о целой природе.

Но все это не как "главное" нетематическое. Все это именно штрих и "сбоку". Между тем *тема* сама по себе имеет громадное значение и тяжело давит на душу.

Тема видна издали, тема видна векам.

"Мертвые души" и "Горе от ума" самыми *заглавиями* своими произвели колоссальное действие на душу, которого не ослабили, конечно, никакие "героические строчечки" à part...¹

Русская литература?

Никто не укажет на слова о "дивном русском метком слове" в конце "Мертвых душ"... Ей-ей, до этого надо *дочитать, добраться*, чтобы увидеть эту похвалу золотому русскому слову... А "добираться" приходится через Селифана, через Петрушку: и душа до того устанет около них, что, право, никаких потом "похвал" не нужно. Издали видно одно:

Мертвые души

и еще:

Горе от ума

на что можно ответить:

— Да. В анекдоте.

(стоя за гробом Виницкой на Смоленском)

* * *

7.IV.1914

Дело в том, что такие остроумцы, как Грибоедов и Гоголь, побеждали, и победно побеждали, пока против них стояли Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Коробочка и Чичиков. И Михайловский, как ораром дьякон повода в царских вратах, возглашал "сьми и овамо": "И ныне и присно и во веки веков..."

¹ в сторону (фр.).

Все казалось конченным...

Когда Рачинский, зарывшись в смоленскую глушь, начал учить по *часослову* и по *Житиям Святых* крестьянских ребят, — и вывел из крестьянских детей живописца Богданова-Бельского. А в "чиновники" пошел Победоносцев...

И вот автор "Курса гражданского права" и автор "Жизни растений по Шлейдену" выходят встречать профессора Московского университета Николая Васильевича Гоголя и чиновника министерства иностранных дел Грибоедова:

— Мы, кажется, с вами служим по одному ведомству и тоже пописываем. А это кто?..

За спиной Гоголя и Грибоедова ежится "с ораем" Михайловский. Станный титул "социолога"... Такой науки нигде не преподается, и, собственно, это изобретение английской Коробочки. Всем троим решительно не по себе. Оглядываются "на помощь", но "в помощи" видят только Скабичевского и Цебрикову.

— Вот моя сестра Варвара Александровна, — говорит Рачинский, — уверенная в себе дворянка, хлебородница, в чужом платье, зимой вьющая фуфайки рабочим и читающая по-гречески Гомера.

И Гоголю, и Грибоедову решительно неловко за свое "образование". Не знает, что делать со своими "этюдами".

— "Вольница и подвижники" и "Психология толпы" — Михайловский. Это просто все — забавно.

Цебрикова и Скабичевский кипятятся, и наконец все пять выкрикивают:

— Да... Но как мы пишем! Хлестко. Смачно. Выругаемся — *вовек не забудется*...

Но Рачинский и Победоносцев воспитанные люди и говорят:

— *Талант брани* не есть вершина души человеческой и... до известной степени это даже никому не нужно.

Жизнь есть жизнь — и что такое в ней смех? Смех может быть эпизодом, минутою, случаем; смех может в некоторых случаях понадобиться, но кто же наполняет дом смехом и кто делает из смеха содержание своей жизни? Это просто дико и... несколько глупо. Жизнь нужно уважать, жизнь наша посвящена Богу; жизнь есть богослужение. Вы же предлагаете какой-то цирк с наездниками и наездницами, и, например, в "Мертвых душах" мы не видим ничего, кроме танцующих собачек клоуна Дурова. Это удивительно, как у Дурова, так и у Гоголя. Но в существе дела у Гоголя почти так же отвратительно, как и у Дурова. Собаки должны сторожить дом, и они суть друг человека: а танцы существуют для человека и исполняются на балу. И у Дурова, и у Гоголя все перепуталось в голове, и эту свою перепутанную голову Гоголь выдает за "серьезное искусство". Но в нем нет серьезного содержания. Страшны не мертвые души, а страшен Гоголь, решившийся написать о мертвых, когда душа всегда жива и умереть не может. Гоголь написал самую антихристианскую, антибожественную книгу...

Он написал, что Христу не только не было за кого умирать, но что Ему не нужно совсем и приходиться на землю и что вся вообще "христианская история" и "жития мучеников" есть один комизм... Наконец,

в мечтах о "серьезном искусстве", он думал, что ни мучеников, ни христианства и не нужно вовсе, а нужен цирк и танцующие блохи, которые будут еще изумительнее танцующих собак. Собаки, блохи, курицы, человек, литераторы — все будут танцовать, танцовать и танцовать: но это, извините, *пекло*, а не земля... "На том свете" и "вокруг Гоголя", наверно, и будут танцовать блохи и курицы, притом уже покойные и без всякого воскресения: но *на земле* этого никогда не будет, потому что земля божественна, трудолюбива и... извините, *благородна*.

— Вы действительно очень хорошо пишете, но не благородно, и вам тут положен какой-то "предел". Какой-то особый и более глубокий демон смеялся над вашим смехом "из первого этажа" и обратил его в пух, в золоченые скорлупы, но с мертвым, гнилым орехом. Золота — много, а съедобного — ничего. А человек через каждые 12 часов хочет кушать. Вот у вас решительно нечего кушать человеку: и все вышло по такой пустой причине, как *отсутствия воспитания*. Вы внутренне невоспитанные люди: и перед заданною Богом темою:

построить жизнь

построили —

цирк.

В нем можно побыть — отчего же? но недолго. А выходя на свежий воздух, все-таки надо приняться за заданное: за

— **серьезную жизнь.**

* * *

7.IV.1914

Блестательная иллюминация.

— Где?

В "Горе от ума". Весь город освещен. Такие звездочки, такие "свечи", и бураки, и "колесом". Желтые, голубые, красные, зеленые. Всех огней.

— Скоро потухнет.

Нет: до часу ночи. От полиции распоряжение. Весь город сбежался, гимназисты, дети.

— А взрослые?

— Люди дела, конечно, остались дома. Пьют чай и работают.

(На Смоленском; хороню *Виницкую*)

* * *

7.IV.1914

Конечно, действительные статские советники подлецы — потому что это не мы.

И генералы — конечно, негодяи, потому что тоже не мы.

И промышленность и торговля есть позорное дело — потому что это не наше занятие.

(Ход русской литературы от *Белинского* до *Оль д'Ора*)
(идя с *кладбища*)

* * *

8.IV.1914

Еще учителем:

Ученик не учится ни у меня, ни у других, и ведет себя скорее худо, чем "ничего". Еду к родителям, куда-то далеко, к вокзалу, чтобы "выговорить" и даже разгромить за небрежность. Звонок. Не отпирают. Долго. Еще звоню. Отперли. Прислуга:

— Дома (отец)?

— Нету дома.

— Ну, мать все равно.

— Они больны.

— Больна чем?

— Они уже который год лежат. Не то что очень болеют, а лежат. Не могут встать.

Я вышел потихоньку. Когда заболела жена и Сиротинин (В. Н.) определил "усталое сердце" и "нужно все лежать", и мамочка лежит годы, я думаю и у того ученика была не мать, а мамочка, и тоже лежала годы, без явной болезни, от "усталого сердца". Так иногда через годы увидишь "случай под ногами".

* * *

9.IV.1914

...да, конечно, очень немногого не хватает, чтобы русские демократы побегали обедать на кухню к еврейскому банкиру. Герценштейн или Бродский, конечно, не отец, а "сын", — наденет красный галстук и, выйдя к Философову и Кондурушкину, скажет:

— Товарищ Димитрий! У меня сегодня званый обед — знаете, старая связанность предрассудками — и соберутся Ротштейн, Поляков и не с ними же вы захотите сидеть за одним столом. Придется ведь подавать руку, а у них рука в этом... знаете... презренном золоте. Я знаю, что вы любите простой народ, и гармонику, и сказку, и песню. Вы — эстеты, т. е. по оставленным воспоминаниям. Идите же в людскую, к этим прекрасным простым людям, не испорченным культурою...

И поплетутся Философов и Кондурушкин в людскую — подавляя вздох и презрение к себе еврея, становящееся уже явным. Но, увы: пенсия уже прекратилась у Философова, а Кондурушкин получает только из "Речи" построчно, но протестовать теперь поздно...

.....

Все вообще будет "поздно". Скоро будет поздно. Очень скоро. Лет через 40 "процесс" закончится. Не через 50, а через 40 или 35...

∞

Уже теперь всякий раз, как еврей убивает русского, русская печать льстиво улыбается. Еще при Михайловском этого не могло быть. Но после того как через литературу прошла полоса декадентства, с абсолютным "ничего не надо" (почище нигилизма) и наполовину лично

представленная евреями (Бенуа, Бакст; у Серова мать еврейка; в Мережковском ¹/₁₆, наверно, еврея), — это сделалось невозможно.

Богров убил: и мне самому рассказывали, как одна, притом талантливая курсистка, кричала приемной матери:

— Так *ему* и надо (Столыпину).

— А Богров? — спросила старушка, воспитавшая эту девочку из детей прачки.

— Богров (еврей) — герой. — Старушка дивилась и как у нас рассказывала: — Потом я сообразила, что ведь самая ближайшая ее подруга — еврейка...

Наконец, Ющинский: уже, кажется бы, "вне политики". Но убил еврей и опять:

— Слава ему.

Была радость о Бейлисе по всей России, а на Андрюшу никто и не оглянулся.

А если бы вдруг "трупик мальчика" нашли у попа во дворе. Если бы его тащил за руку поп? Еще лучше — монах, схимник, епископ "на покое" и вообще темный человек...

Подняла бы печать трезвон, и показало бы себя русское общество... Нет: показало бы себя "русское общественное мнение".

* * *

9.IV.1914

Святой страдает возле грешного... и неужели поверить — *за грешного?* Между тем религия велит именно так думать. Не "думает", не "предполагает", а *знает* и ... "открывает". "Откровенная истина", которую Розанов усмотрел не ранее, как в 58 лет, пройдя в гимназии все катехизисы и в университете "апологетическое богословие" и увидав только у себя за спиною в 58 лет.

А-а-а-а.... Вот *оно*. Жертва древняя и наш бедный Ющинский, и Сам на кресте...

"Пречистое Телу его несем и рыдаем".

Боже: да почему же этого не говорят на уроках. Да и сам я читал, в "последствие" и в "разъяснение" и "возражение" на свою "Легенду о Вел. Инквизиторе" (страдание детей в "Бр. Карамаз.") и *неповинных страданиях*, где на десятках страниц не было ткнуто пальцем.

Страдания всех невинных — именно по *безгрешности* их, по *глубокой невинности*: во омытие от греха нас, окаянных.

Неужели богословы этого не знают? Когда *все* богословие только и есть учение о *жертве Иисуса Христа*. Неужели богословам не приходит на ум собственная тема их же науки? и мышления, и трепетания?

Очевидно.

Да что богословы: Розанов не понимает. Разве я не читал 100 раз: "умер за нас", "за грехи наши", "очистил Своею кровию". Да разве гимназистом я сам не сложил двустиишия:

Но, *омытая кровью святою*,

Ярче миру светила она (истина),

переноса это, однако, в политику и в философский мир (Джиордано Бруно) и никак не предполагая, что это о тебе, Васенька, сказано, и как

умерла носимая тобою на руках Надюша (9 месяцев, — *угасала*), и как томится на твоих глазах "друг" твой...

Ах, вот он "Симон Киреянин", о котором завещал мне написать Рцы. "Что написать"? Рцы не знал. Весь полный скрытого негодования на неповинные муки человечества, людей (он — эгоист, особо думал — "себя"), он совершенно не знал этого и говорил (по смыслу), что в мире случается так, как с Симоном Киреянином, который "встретился" и ему сказали — "неси" (крест Спасителя). И он понес. Не рассуждая; потому что "велено". *Кому велено? Почему "ему" велено?* Не всем. Проблема страданий была совершенно непроницаема для Рцы (а уж он ли не богослов и все передумал, и во всех направлениях, изгибах, шелках).

Между тем так явно:

Христос.

Еще:

Ющинский — в погребке.

И:

Мамочка в постели.

Они именно и "омывают грехи". Чьи? — Мои. Еврейских банков. Всего человечества.

Боже: да ведь об этом гремит вся Библия и Евангелие... "Жертва! Жертвы! Жертвы хочу"...

Господи: но не Ты ли сказал: "Милости хочу, но не жертвы".

Господи: подними мою мамочку. Господи: ибо Ты сказал.

И повторяю за церковью:

"Господи *помилуй*".

* * *

12.IV.1914

...да, "Дно" Горького, поднявшееся на дыбы. Разве не это — санкюлоты, самое имя которых происходит оттого, что они "не имели штанов" (*sans culottes*). Они и составили тело, массу, водо-воротившуюся в революции, — кости ее, сало ее, зубы ее, брюхо ее и здоровенные кулачищи, расколотившие королевскую "мелочь"...

Хороша была бы "революция" без санкюлотов и их кулаков: помада Робеспьера и красноречие Руссо. Суть, конечно, именно в санкюлотах.

Но это "Дно", вдруг замечтавшееся о "добродетели".

Вот и "барон": это — Филипп Эгалите.

Но не было добросовестного татарина.

О добродетели помечтать всегда не мешает. Но бочки выпитого "алкоголя" шумели в крови. И в спине зудели вековые побои, я думаю — не только от феодалов, но и от проституток.

И они потребовали мир к ответу "за *недобродетель*". История "террора", в сущности, очень проста: это — санитарная часть. Робеспьер был совершенно серьезен: он сказал Дантону, что "вы все-таки *должны оправдаться*", и тот почувствовал, что дело идет о его шее. Робеспьер решил, что "нельзя жить в чистом доме", не передавив клопов. Что

”переезжать в новую цивилизацию” нечего, если не оставив в старом доме клопов, крыс, пауков. Ведь Дантон-то все-таки *разгребил* бельгийские (ли какие другие) провинции, куда был послан ”легатом”. Робеспьер сказал, что ”что же это будет за новая республика, основываемая ворами и разбойниками” (сентябрьские убийства Дантона). Так. обр., казнь Дантона, что представляется наиболее ужасным моментом в ходе революции, была ”добродетельным шагом”.

”Добродетель входит в свои права...”

”Наконец-то”...



”Царство Небесное на земле основывается”. И Робеспьер — его жрец. Он не захотел и ”Разума” — слишком сухо, а — Высшего существа. Это — мягче, гуще и насыщеннее...



Если ”новое царство”, то, конечно, ”новая религия”.

Отречемся от старого мира

это и у нас поют. Вообще в XIX век, и до настоящего времени, революция вошла вдохновением и зерном, и *весь* до сих пор XIX век развивает только одну революцию и не прибавил *потом* и *от себя* к ней ни крупицы.

И это — только ”Дно” Горького. Спина-то все-таки болит, и зубы скрежещут. Да и какие же мысли выдумаешь... Не заметили, что революция существенным образом есть *без мысли* в себе...

Слов много — о, да!

И нервов — бездна.

Но *мысли* — никакой...

Друзья мои, революционеры: ведь мысль рождается в *молчании*. Ведь мысль выходит из *величественной тишины*. Из монастыря, из кабинета, из пустыни. У Магомета, у пап, у Ньютона. Когда же вы находили мысль ”на улице”? А революция была — улица. Согласитесь, что это была улица. Могушественная, огромная, с кулачищами... Но 100 кулаков не составляют одной таблицы умножения, и здоровым бревном нельзя разрешить простейшей арифметической задачи.

А разmozжить голову — можно. И революция ”разmozжила голову”.

И рев около нее, рев восторга, есть рев того, что тоже может ”разmozжить голову”.

Господа: но вот что вам никогда не будет под силу: разрешить ма-а-лень-кую арифметическую задачку.



Но я все-таки люблю добродетель. И Робеспьера. И казнь Дантона, ”который не мог оправдаться”. И жму руку Пешехонке, Мякотину и Влад. Набокову — *Égalité*...

Ах, где ты, "милый татарин" с "закун дан". Ты, который помнил слово, вынесенное из пустыни Аравийской. С ее жеребцами и смуглыми "законными" женами...

(иду в банк)

* * *

12.IV.1914

Мужчины к "физическим прелестям" своим часто прибавляют самый свободный образ мыслей и черты из "социалистического мышления". Часто, желая показать, что они стоят "выше их", они выступают перед обществом на эстраде и читают "этюды о религиозной проблеме" или о Короленке. Но не до того усталым зубным врачам и акушеркам. Они и еще устанут с ожидающими их пациентами.

Это очень серьезно, я говорю очень серьезно. Бедные женщины, с утра до ночи работающие на этих социалистических лоботрясов, нуждаются в "укреплении сил", а не в религиозной проблеме, и настоящий серьезный социолог, понимающий распределение труда в обществе, должен работать не пером, а "прелестями своими"...

Тогда акушерке будет весело, деятельно "принимать".

И зубной врач Марья Ивановна или Ревекка Моисеевна будет зорко смотреть в зубы.

А если она сонно, вяло и раздраженно встанут с постели, она скверно исполняет свои "общественные обязанности".

.....
Спермину, господу, спермину, — и поменьше разговоров.

(пробудясь рано утром) (два большерослых литератора с этюдами на глазах)

12.IV.1914

...и, стоя с благоговением, страхом, с настоящим испугом перед "матушкой Екатериной", верноподданный Ее Величества, не тайно только, но и явно любовался на перси северной Семирамиды, совершенно открыто (костюмы того времени).

...Мария Терезия, где-то застав бедного ребенка, пищавшего от голода, вынула грудь и накормила его. (Так поступила, отыскивая квартиру, Воробьева: она вошла в швейцарскую, там никого не было, кроме ребенка пищавшего: она вынула грудь и накормила его).

Та эпоха была гораздо физиологичнее нашей (скопческое ссыхание планеты).

Царевна в "Сказке о Царе Салтане" говорит:

Кабы я была царицей

.....
Я же перефразирую:

Если мне бы быть царицей, то я "марш-марш":

1) Ежегодно бы рождала.

2) Приказала бы изваять себя в виде сфинкса, но "с моим лицом" и в короне, с 4-мя (фотографическое сходство) грудями, — даже по мере все новых родов прибавляла бы по груди: и все "их Высочества" сосали бы мои груди.

Одна лапа моя лежала бы на Пруссии, другая на Австрии, третья на Турции и четвертая на жидях (впившись когтями в голову Гейне).

И устроила бы, кормя своих, священную церемонию прилагания к груди Царицы-Матери крестьянских младенцев, — для 2 — 3 посасываний, не более: так что в годы моего царствования, конечно долготого, я накормила бы тысячи подданных. И в крови народа потекло бы мое молоко. Я бы приобщила через выбор, через "народное представительство" весь народ к моему телу.

И, кормя, — на монетах (см. выше: сфинкс) не делала бы ползновенного разреза подола и открыла бы всю левую ногу, до живота. Вот.

* * *

12.IV.1914

Жидки все делают вид, что "они не сердятся на русский народ": "Русский народ добрый и даст нам и молочко и шерстку", а это "все полиция устраивает погромы". Но я думаю, в полиции, куда они "дают сведения" (Азеф, Гольденберг), они говорят по-старому. "Ваше ясновельможество. Это темный народ громит нас. Выдвиньте войска, пошлите казаков и защитите нас, и наши банки, и наши магазины от этих громил и воров". Азеф. О, как он понятен, если только принять во внимание, что он был еврей, и Каляев несколько ему был не роднее Великого князя Сергея Александровича.

Да Азеф — это и есть juif errant¹, которого не чухломским же революционерам было разглядеть. Как презирал их Минский ("Чернов какой-то, никогда не слыхал. Богданов". И он пожимал плечами)... — "У них это гениальные люди. Философы и мыслители". И бежал в редакцию заседать с Максимом Горьким. Они знают "Ваше ясновельможество" на обе стороны, черную и красную. За 2 года до М. Горького он читал в покоях митр. Антония реферат, возвеличивающий аскетизм и монашество. И вообще они всегда с "Вашим превосходительством" на устах (до чего и мне льстили) и всегда с бомбою за пазухой.

(за нумизматикой)

* * *

13.IV.1914

Всякий человек живет правдой своей.
И всякий человек умирает от неправды своей.

(определяя монеты)

* * *

13.IV.1914

И музы, и разум украшают мою жизнь. И смерть.
Кушаешь ли — она с тобою, эта смерть.

Занимаешься ли монетами: поднимаешь голову — вот она.

Она всегда за спиною. И сторожит тебя, как тюремщик заключенного.

¹ вечный жид (фр.).

Если бы не смерть, человек был бы свободен. Но как есть смерть — он всегда раб.

И дрожит. И бежит. И оглядывается.

* * *

13.IV.1914

...позвольте, позвольте: да вовсе не "утверждение земного бытия", а утверждение "порядка в земном бытии"... И если, отрицая "утверждение земного бытия", вы еще имеете вид, что стремитесь к Небу и небесному, то отрицая "утверждение порядка", вы стремитесь к безобразию, к анархии, к хаосу. Поглядите-ка: есть СЕМЬЯ, и мужчина имеет ОДНУ, с которой и живет, имеет от нее детей, своих детей, а не "каких-нибудь" и "вообще". А вне семьи он просто тычется во всех женщин, как слепая лошадь во все заборы. И если у женщины нет

МУЖА,

то она просто бегаёт по бульварам, высуня язык. Какое же это "небо": это не небо, а Кабак. И вы утверждаете и насаждаете на земле кабак.

(аскеты; отрицание семьи)

* * *

13.IV.1914

Суть царства заключается в том, что царь всех сильнее. Сильнее всего народа. Потому-то он и не должен был дожидаться "100 000 рабочих", подговоренных журналистами. А поехал в Царское Село чай пить. В этом, что он не стал слушать и не обратил внимания, и заключается суть царства.

Царь, преданный "вечным целям", может даже не обратить внимания на все свое поколение.

Т. е. на $100\,000\,000 \times 30$ (лет) = 3 000 000 000 годов человеческих мыслей.

Петр не обратил. И назван "Великим".

∞

Позвольте пометать о будущем не одному Бакунину, но и царю.

* * *

13.IV.1914

Россия крепка не оттого, что Розанов пишет консервативные статьи (или Катков писал), и не оттого, что Тихомиров издавал "Моск. Вед.", а что у "Него" много войска. Наши же статьи Ему даже совершенно не нужны. "Тогда общество будет радикальное". Да... насколько и пока царь дозволяет (школы, цензура).

И это, что я "лишний" в царстве нашем, исполняет меня восторгом.

Будь царь наш силен — все остальное "приложится". Т. е. много войска, еще больше войска, гораздо больше войска.

(определяя монеты)

* * *

13.IV.1914

Нет, нет, нет, невозможно этого думать, что мы умираем от "греха своего". Ведь тогда свободно тряслись бы "жирные говяды": "Мы праведны"; а стенающие опустились бы в аид.

Нет, нет, нет, не хочу, не приемлю.

Праведник умирает, чтобы дать пощаду грешнику. Вот.

(за древн. монетами)

* * *

14.IV.1914

Евреи так и увиваются около нашей молодежи: как дядька около сироты-барчонка, которого он спаивает и имение которого он уже наметил себе: "Ты молодежь — золотая, ты — талантливая. Добродетели? Да разве в тебе могут быть не святые? Выпьешь — это от таланта и от горечи при горьких обстоятельствах. Да и вся талантливая и честная Русь пьет. Девочек любишь? Это весна в тебе играет, весенний человек... Отечество. Оставь! Что отечество против тебя: оно грязно, а ты весь чистый. Церковь... ну, это старые суеверия. Можешь ли ты разделять их, когда ты существо разумное?"

И у "существа разумного" в зобу дыханье сперло. Сладко на душе. Мед течет по жилам. И нет у него лучшего друга, как еврей.

А тот считает по пальцам. Считает минуты и ждет годы.

"Еще немного подожду".

* * *

14.IV.1914

...и о Дункан, и библиографию, и об изданиях Елова и Башлакова — "Исповедь в древности" и о "Растениях в Палестине" — я пишу, как танцую на ножах...

Пиши, Васенька, пиши: надо уплатить за место на Волковом и оплатить движущийся на тебя счет в "Бюро и проч."

Все выкупает чернильница: и все живут вокруг и даже могут умереть, насколько ты пишешь и не останавливаешься в писании.

Пиши, пиши, пиши.

Никто не знает, что *это* и дает радость писания. Т. е. что нужно для хлеба...

Не "темы" же меня интересуют. Ну их к черту. Но этот *труд* и *забота* есть настоящее дело жизни и оправдание в душе и перед Богом. Ничего нет лучше святого ремесла.

(написав о Дункан; воспитание детей)

* * *

17.IV.1914

— "Уединенное"?

Это плач писателя о своем писательстве.

(в трамв., не попав на поезд)



Может быть и отказ безбожника от своего безбожия?

Нет. Я ведь маленький и грустный. Разве такие бывают безбожниками?

Господи! Я никогда не уходил от Тебя.

(назад в трамвае) (теснятся на площадке)



И пишешь о любви (статьи, принесли корректуру), и не нужно любви. И пишешь о литературе, и не нужно литературы.

— Что же "нужно"? — Спать. Душа устала. О, как давно устала моя душа.

"Умру, усну". "Умру, отдохну".

Разве что... До могилы нельзя останавливаться. Все мои милые — едят. И все мои милые — одеваются. Надюшка вся порхает, как пушинка в воздухе: как можно оставить ее без еды.

Все дети скромны, не претенциозны, ничего не требуют себе. Бывает. Я уважаю своих детей. Это большое счастье для детей.



В Надюше столько игры, что удивительно. Она ест и играет (я запрещаю), пьет и играет, учит уроки и играет. Откуда это? Точно она взяла себе две жизни: свою — и той, первой, грустной Надюши, которая любила смотреть ночью на пламя газового фонаря.

Умерла 9 месяцев.

Я служил в Контроле. И вот прошли месяцы. Я проходил через Мариинскую площадь; как вдруг, заворачивая с Морской, прошел полк с игрой на этих флейточках (особая военная музыка, не трубы). Я всегда любил эту музыку... И остановился. В этой музыке особенность — присутствие какого-то детского тона. Точно не "полк играет", а мальчишки забавляются, в свистульки, но необыкновенно ласковые и гармоничные. Моментально мысль: "а моя Надя лежит на Смоленском, в промерзлой земле..." "И никогда, никогда этой музыки не услышит"...

Вот, Господи, моя жалоба к Тебе: отчего моя Надя не услышит музыки.

Но Ты научил сказать: "Но не как я хочу, а как Ты".

* * *

17.IV.1914

Писарева и вернули "к действительности".

Его посадили в полицию.

— Эх, Димитрий Иванович: да настоящий-то "мыслящий реалист" и есть наше начальство.

А вы всего только девочка с розовыми пальцами и с букетом в руках, усевшаяся в павильоне пламенного воображения.

(за завтраком)

* * *

17.IV.1914

Сочетать Дон-Кихота и Санчо Панчо?..
Все историки литературы пожалы плечами.
Бог сказал:

Можно

и сотворил Розанова.

(за завтраком)

∞

Который также "обыденен" и "видит сны", — хитер и праведен, — живет "сегодня" и "в вечности", — "безумен" и "полон здравого смысла": как эти два героя в разделении...

(через 1/2 года)

* * *

19.IV.1914

...Так этого и можно было ожидать, что курносый, в пиджачишке и притом поколоченный в литературном ресторане "Вена"¹

ЧЕЛОВЕК

поднимется со стула гнутой буковой мебели и провозгласит пришествие **НОВОЙ ЭРЫ...**

Он зачеркнет Евангелие и предложит читать своего "Иуда из Кариот и другие" (даже не удостоил назвать "другие апостолы")... И что же вы думаете: еще более курносые господа, с еще более протертыми локтями, вскочат и побегут за поколоченным вождем своим... И вы думаете, по большой причине: нет, от того демократического обстоятельства, что он воздвиг себе на гроши, обобранные у этой же демократии ("расхождение сочинений"), дачу-дворец в Куоккала, с какой-то яхтой, которая не может плавать по тем мелким водам, и с гранитными воротами, и ходит непрерывно вооруженный браунингом, сим смертоносным орудием революции. И еще от обстоятельств нашего литературного быта, что художник Пархоменко поехал "сам" с кистями и красками снимать с него портрет, а "Литературное приложение" к "Биржевым ведомостям", вечернее издание, — поместило его портрет "и с сыном", где он с ним снялся в позе *Madonna della sedia*², склонив голову к младенцу...

Это не голова Богородицы, а голова Леонида Андреева. Но ведь уже Евангелие зачеркнуто, и выходит седьмым изданием его "Иуда из Кариот и другие" и одиннадцатым изданием его "Рассказ о семи повешенных", прочтя который Анна Павловна Философова заплакала и впадала в обморок... (мне дала прочитать, но я не прочитал).

Боже мой, какой Калибан... Да и вся революция, даже первая, не была ли только Калибаном?

Калибан, севший на императорский престол... Нет, потребовавший себе тиару папы, взявший "ключи Петра" под мышку и ныне едущий в собственном экипаже с английской упряжью...

¹ История с Л. Андреевым и Куприным.

² Мадонна в кресле (*ит.*).

”Кто подобен зверю сему?”...

Боже, Боже: как просто делается история. Нет, это поистине — ”луна, которую делает бочар в Гороховой”. ”Гороховая” — ”бочар”, и никакого создания не нужно: ”что там церемониться”.

Да. Не церемонится человек с Богом, но и Бог не церемонится с человеком. ”Я тебе попросту по-демократически по уху”. — ”Получи сдачу”.

Боже, как разыгрывается история. Как она пошла каскадно. Ведь это *настоящая* история, — с Леонидом Андреевым ”и другими” — апокалиптического смысла.

А мы-то и не заметили, что балаган балаганчиком, а вокруг серой пахнет и соленым озером, с вонючей смолой на поверхности плавающей, и где ничего живого не может быть...

И отнял Бог ”дыхание жизни, душу бессмертную”. И осталась одна глина.

Скажем с народом и всенародно: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй (40 раз, служебно).

* * *

20.IV.1914

Компиляция всегда составляла любимую форму, в которой с гимназических лет выражалась моя усидчивость и прилежность. Начавшись в III классе компендированием ”Физиологических писем” Карла Фохта, она в V—VI классах выразилась в собрании обширных хронологических таблиц и в подборе *матерьяла для этих таблиц*, для чего я перечитывал книги по истории наук, истории живописи и проч. *Матерьялы* эти (тогда же собранные) были весьма обширны. Меня занимала мысль уловить в хронологические данные все море человеческой мысли, — преимущественнее, чем искусства и литературы, — дав параллельно даты только важнейших политических событий. Вообще *история* наук, история *ума человеческого* всегда мне представлялась самым великолепным зрелищем, и в те годы еще неопытной юности — куда более важным, чем все политические пертурбации, особенно войны и дипломатика. Чего я уже не думаю, полагая в политике *дело*, важнейшее и мысли, и слова. Ныне суживая предмет тех юных увлечений, и чрезвычайно суживая, я решился издать краткий (весьма краткий) словарь русских писателей, — но преимущественно писателей *на ученом поприще*. Сии писатели суть самые достойные по прилежанию, образованности, заслугам и составляют первый ярус умственной жизни страны, под которым находится нижестоящая — ”изыщная словесность”. Между тем достойно печали видеть, как целая жизнь человека, посвященная науке, поставлена у нас ниже, нежели блеснувшая повесть в журнале, доставляющая автору немедленно всероссийскую известность. Эти ”всероссийские известности”, тычась вечно вперед, занимают главное место и в словарях, где скромным ученым отведено также тусклое место и глухой угол. Между тем ”Словарь” есть ”образ всего и подведение итогов”. Словарь есть надмогильная надпись, и она не должна быть неблагодарна и кощунственна.

Вот произвести это выравнивание достоинств и составляет задачу нового ”словаря”.

Имея зерном своим созидателей КНИГИ, он по крайней мере возьмет в упоминание, с ссылкой, где подробнее искать, и вообще деятелей просвещения, т. е. всех искусств и всех мастерств, а также библиотекарей, важнейших книгоиздателей, книгопродавцов и даже (хотелось бы) некоторых из знаменитейших наших букинистов — собирателей и хранителей старины. Вообще, имея зерном своим КНИГУ, он не ограничится ею, но и возьмет хотя в упоминание то, что к книге *примыкает*, ей родственно, ей близко, ей помогает. КНИГА же взята как центр культуры, потому что действительно в КНИГУ падает всякая созревшая и полносвая мысль, кроме разве немногих исключений... В конце концов все *стекается в слово*, и все *завещается потомству*: эти два мотива и родят книгу.

* * *

21.IV.1914

Слабую сторону евреев, — и вековечно слабую, — составляет то, что после марта следует все-таки октябрь, ноябрь, декабрь. И евреи сильны, властны, успешны в мартовскую эпоху, в мартовские времена. А уже в ноябрьские времена им некуда голову приклонить, и они ходят как растерянные и будут *вечно* растеряны. Они у нас вырывают имущество, заводят банки: а когда мы сами выпускаем имущество, говорим "не нужно", где вообще "не жнут, не сеют, не собирают в житницы" — там еврей умирает.

В этом смысле страх "перед нашествием евреев" не указывает ли возвратиться "восвояси". "Жнущая и собирающая в житницы" эпоха есть существенно не христианская. "Жид показался везде", "жидом завоняло везде", когда из каждого христианина начал выглядывать жид, соображая, как бы ему нажиться, и перекладывая крест с груди за спину.

"Пожидовела эпоха" раньше прихода жида. Поторопились с реформами, железными дорогами, — и жид пришел и показался Витте (женат на еврейке). Сказав: "Это мы умеем лучше, чем кто-нибудь".

(в вагоне)

* * *

21.IV.1914

М. б., вы и съедите Россию, евреи, но горька будет вам эта последняя еда. Ибо до последних дней будет помниться мое слово о вас. И всегда будут говорить о евреях "под углом Исаии", но — и "под углом Розанова".

(за набивкой табаку)

* * *

22.IV.1914

"Победить старые предрассудки — великая задача литературы": так со времен Бэкона и до Карла Фохта говорят все. И с превеликим усердием выгребают кочергою из "топящейся печки жизни" те угольки, которые потухли, давно перегорев.

Но — ни одного пылающего. Который сжет кочергу. Бедная, боязливая кочерга.

Замечательную сторону в борьбе с суевериями и предрассудками составляет то, что мы побеждаем предрассудки, *которых уже нет*, и не в силах, даже не дерзаем бороться с теми, которые живы и крепко еще сидят на древе жизни "людской".

Попробуйте вы опровергнуть чванливого Бокля? высокомерного Спенсера? и наше "14 декабря", сказав и показав, что все это было пuffed. Гораздо раньше, чем вы дотронетесь до этих настоящих предрассудков, до этих живых еще фетишей, — вам шею сломают и ни одного ребра не оставят целым (в духовном смысле, в смысле литературного признания и общественного успеха).

Где же "сила живой критической личности"? Ее нет. Ею всякий пугается стать. И выражение Карла Фохта — "Gegen..." ("Против глупости и предрассудков тщетно сражались сами боги" — перевел мне наставник мой в 3-м классе Алексей Николаевич) наливается кровавым смыслом:

— О добрый и толстый Карл: сколько людей искровянится, прежде чем повалят в овраг твое тупое грузное изображение, до того уверенное в себе...

"Коробочку" опровергли, и это не было трудно. Но "опровергните" вы Елизавету Кускову, историка литературы Семена Венгерова и "историософа" Николая Кареева: и эти три "коробочки" раздавят вас самих. Так что мы выметаем из избы только мертвых тараканов и "сонных" мух: но которые живы и кусаются еще — не трогаем и боимся тронуть.

И может быть, это и хорошо? М. б., прав Победоносцев, сказавший, что "суевериями живет мир"? Может быть. Тогда осанна и Цебриковой, и Фохту, и Венгеру.

— Цветите, добрые граждане, на Древе жизни людской. Ибо (слова Констант. Леонтьева) — "древо Жизни не есть древо Познания добра и зла".



А в самом деле, не в этом ли окончательная трагическая мудрость, чтобы сказать Паскалю — "убирайся к черту" и посадить "в мудрецы" Герберга Спенсера.

— "Кому сидеть *старцем*?"

Кому исповедать, собирать грехи. Советовать? Давать душе покой?

— Герберту Спенсеру, — воеет миллионная толпа.

Не заключается ли окончательная мудрость в том, чтобы сказать:

— Да будет Герб. Спенсер! (в старц.).



Нет! Нет! Нет! Ужас! Ужас! Ужас! Ужас! Finis! Finis! Finis! "Кто подобен Зверю сему — он свел нам огонь с Небеси".

.....

везде с краев материка бытия нашего показываются шипящие змеи...
Глядите, люди: и "наш мир" во мгновение ока изменится в клоаку
шипящих нечистот...

* * *

24.IV.1914

С "Уедин." и "Опав. л." начался новый фазис русской литературы.

Это видно по впечатлению: ни в одном из журналов не было *ничего*.
Тогда как "вдруг все поднялись и заговорили" было после ряда пошло-
стей, да и вообще критики — ищут повода, "о чем бы написать".

Ничего.

Что же это значит?

— Не знаем, что сказать.

— Как отнестись?

— Вне нашего разума и слова.

— Вне всяких приемов говорить, осуждать.

Т. е.?

Т. е. истинно *новое*.

Мне удалось в кой-то веки сказать новое слово. П. ч., конечно, ни
"Мертвые души" после "Горя от ума", ни "Горе от ума" после "Недоро-
сля", ни "Недоросль" после "К уму моему" Кантемира не были новы.
Все это была старая дребедень. Как "14 декабря" было старою дребде-
нью после перенесения столицы из Москвы в Петербург. Дребедень
и мелочь.

(Ни один писатель уже не смог так "ухнуть", как державный Петр:
и все бежали за ним мелким шажком, как на известной картине Серова
сенаторы бегут за его великовозрастным шагом.)

Вот. Огромно. Но и только.

Я сказал новое слово.

В чем?

Я сказал: "Господи помилуй".

От начала веков не слыхали. У нас-то? у русских? В разлитом
нашем море всякого...

И вся литература прилегла в страхе.

— Значит, *мы не нужны*.

Это полное ее безгласие и показывает, что сказано новое слово.

* * *

24.IV.1914

Абсолют супружеской верности (и след., "моих честных родителей"),
бесспорно, поколеблен примером "жены ятой в прелюбодеянии". Поко-
лебен высочайший идеал стрелой еще более острою — *но обратного*
— идеализма... А абсолют младенца или еще лучше (физиологичнее)
новорожденного поколеблен тоскующим зовом Апокалипсиса "о сих,
иже не *осквернишася с женами*: они девственники и последуют Агнцу,
куда бы он ни пошел"...

И тоска "пробыть с искупленными от земли" победила нужду рожде-
ния...

Бесспорно...

Здесь и там великое колебание. Чрева. Колебание вот этой фигурки Египта.

(Рисунок).

〈В рукописи отсутствует〉.

И — "сосцов питающих". Тоже выразительных на этой фигурке:
— Брюхо. Брюхо. Кто же тебя защитит?

— Я.

Это моя великая миссия в мире. Для этого я пришел на землю.

* * *

24.IV.1914

Я знаю, что после моей смерти будут говорить хорошо обо мне.

И когда будут говорить хорошо обо мне — я буду плакать.

И когда будут говорить о величии ума моего — тонкой иглой будет проходить от груди до спины.

О, как ужасно оно, это великое "не нужно".

Молчание — оно благородно. Это черный шлейф на мире. Разговоры — пестрый наряд суеты.

"Ненавижу цветные одежды".

* * *

24.IV.1914

Почему "от родителей"-то *это* скрывают? Ни — называют имени, ни — показывают вида. И вообще замечательно, что иначе нежели *в пьяном состоянии*, т. е. относительно беспамятстве, — имя не произносится вслух никогда и никем. До такой степени, что *имени* собственно и нет, иначе как в уловке, скороговорке, шутке и как-нибудь обходящем.

Но останавливаюсь на том, что скрыто даже и от родителей: тогда как дочь знает, уже из суммы приданого, как хочется родителям "дать *деву* в брак", и юноша из стоимости "сыграть свадьбку" знает, что родители нисколько не были бы рады видеть его "неспособным"...

Родители — радуются. А дети все-таки скрывают. Ни — *вида*. Ни — *имени*. Молчание.

Откуда?

Откуда, Влад. Соловьев?

Откуда, г.г. богословы?

Все говорят: потому что

СТЫДНО.

И стыдно потому, что это есть

ГРЕХ.

"Адам согрешил именно *на этом*", и через этот комментарий сия область сделалась

АЛЬФОЮ ГРЕХА.

Так и есть

ЛЕСТВИЦА,

которую восходят на небо и спускаются в Аид: меньше, меньше, меньше "этого" — и вот последняя ступень еще, где "не посягают и не женятся", и ступивший на нее, седой как лунь старец или богобоязненный муж "узрит Бога" и праведных, и ангелов и "будет в раю"...

А если "больше, больше, больше" *сего*, то — хуже, хуже, хуже, ниже, ниже, ниже, подлее, подлее, подлее — и летит в "та-ра-ры", где черти, пламя, серный огонь, огненное озеро, высунутые в страхе языки, стон, плач, окаянство...

И видел Иуда...

И видел Люцифер.

"Он грызет Иуду, и все грешники содрогаются".

И все-таки нить рассуждения — началось с того, что "родители *радуются*, вдаяя деву в брак", а дева и *вымолвить не смеет* имени матери, которая "об этом" так заботится (будущая "теща"), а вымолвила бы — и мать бы воскликнула:

— Бесстыдница. Замолчи! — и, может быть, дала бы пощечину дочери, которую "готовит в брак".

Что за тайны? Ибо ведь и малоопытному ясно, что это — тайны, и пахнет волшебством и чудом. "Чудеса" в умолчаниях: "Чудеса в том, с кем нельзя заговорить". С родителями *особенно* нельзя... "особенно стыдно"... А они, *именно они*, так заботятся...

Кто знает?

До прочтения сей строки — весь мир не знает. Согласитесь сами, что этого никто не знает. И вот узнает каждый сейчас, кто прочтет строкою ниже.

Это есть *распределение территориальности собственности пола*, "что кому принадлежит". "Мой банк — не мой банк". "Мой капитал — не мой капитал".

"От родителей" особенно стыдно, потому что именно родителям, исключительно именно им одним в целом свете — "пол дочери" и "пол сына" нисколько ни в какой степени не принадлежат, ни в намеке, ни в догадке, ни во сне, никак. Никак, никак, никак!!! Ни — крупинки, ни — возможности. И это показывается, обнаруживается, доказывается, запрещается, подчеркивается ста чертами, кроваво и огненно в

НЕ ХОЧУ!

или еще

ОТВРАЩАЮСЬ...!!

ни —

НАЗОВУ! ВЗГЛЯНУ!!

Ведите "на цепи" к этому, "хлещите" бичами сзади, и все-таки **НЕ ВЗГЛЯНУ.**

Глубокий овраг. Глубокая пропасть. И, "познакомившись пять месяцев назад", юноша, "откуда-то приехавший" и ставший "женихом" — моей дочери —

ВЗГЛЯДЫВАЕТ

ВИДИТ ЛАСКАЕТ

ничтоже сумняся и без всякого чувства "окаянства", при весьма малой и скоро вовсе исчезающей застенчивости молодой жены.

ПОЧЕМУ?

"Пришел в свой банк", "беру свою сумму с текущего счета", "чего же стыдиться, если *свое*".

Вдруг я протягиваю руку. Он ударяет по руке и еще чаще убивает.

— Вор!! Ты крадешь *мою собственность* ("ятая в вине прелюбоденания", "не прелюбодействуй" между заповедями "не убий" и "не укради"; кража *родников жизни*).

Так вот что значит... Не "стыдно", отнюдь нет, не "стыдно в мировом смысле", "мировой грех" и т. д., и т. д., всякая галиматья, — совершенно другое: ДРАЖАЙШАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, дражайшая для каждого, кто ею обладает. И Господь оберегает каждому смертному, бедняку, убогому, крестьянину, глупому, слепому, безрукому, бессильному защитить, беззубому старцу и розовому мальчику эту *его ДОРОГУЮ* и единственную настоящую собственность, которая ему служит в жизни утешением, радостью, которая его будет в жизни согревать, которая его будет в жизни утешать, откуда он будет растить деточек... и которую он схоронит в земле, когда в ней "не бе жизни"...

Так вот, олухи царя небесного, не

СКВЕРНА,

а — самое великое в жизни

СОКРОВИЩЕ,

откуда начинаются

МУЖ И ЖЕНА

и развивается —

СЕМЬЯ,

священный мировой институт, ячейка цивилизаций и культур.

Ну, поняли? верно? Кто осмелится спорить, когда так ясно. "Мое", и "никто не смеет взглянуть"...

Ну почему бы "взглянуть"?.. —

"Назвать" тем более?..

и *это* разъясняется: этот не просто "сундук", из которого вынимается плодородие, — "сундук", т. е. вещь позитивная, но которую в багаже всемирного поезда "смотри кто хочет". Выше я назвал невольной и безотчетно "моим утешением", "моею радостью" — и в "радостях пола", которые *еще не изучены*, — входит и это "я вижу" и проч. "Взгляд его" украдывает "мой взгляд", который мне только принадлежит. "Чужую жену нельзя целовать", у турок — "даже взглянуть нельзя" (особая изощренность, особо тонкий, высокофинансовый счет). Словом, "утешения", прекрасные и возвышенные, у каждого свои, и повелевают "закрывать" и даже "не называют" *от всего мира*, ибо невесте-девушке совершенно неизвестно, что именно изощренно возьмет из ласк в свою любимую собственность ее будущий муж. Вот. Все разъясняется. "Никто не взгляни и не подумай", и конечно, представляется чудовищным развратом и всеобщей "признанной проституцией", что теперешние беллетристы, и романисты, и поэтики мысленно "раздевают знакомых дам"... (Господь меня уберег от этого, и ни одну женщину, девушку я не

допустил себе "так представить", — *если не было согласия*; одно такое согласие было дано, и это проклятые мои дни). Вот. Объясняется целомудрие. Объясняется, почему жены "еще целомудреннее девушек", при многих родах; и целомудренны и чисты до старости. Отчего есть "святые жены", как и "святые девы", и отчего *вообще* "это" никого не развращает, не портит, не растлевает нравов в истории и в жизни общества...

"Территории принадлежности", "уезды", "губернии", "наш род", "наш дом".

НАШ ДОМ.

О, этот корень всего! "Вся цивилизация" стоит на "нашем доме", "нашем с женой и детишками", который и закон светский, и закон религиозный оберегает от "чужой руки", "вора", "прелюбодея"... О, это теперь почти мифология... Но "неисполненный закон" есть все-таки "закон", а "украденная вещь" есть все-таки именно "кража"...

Случилось раз "снохачество", и мне о нем поведал мальчишка-ямщик (лет 19): *сын отца убил*. И мальчишка-крестьянин (в рассказе, в тоне его) не осудил сына... *Отцеубийство* — и "не осудил". До такой степени страшен "отец, ворующий сокровище сына". Действительно... "От отца (сыну) особенно и стыдно", и дочь скажет подруге, а "матери *ни за что не скажет*". Особый стыд "перед родителями", показывающий, что "родителям особенно грешно" касаться этого детского мира — "особенно грешно" потому именно, что: "уж кому, кому — а родителям это *нисколько не принадлежит*". Отсюда "степени родства" в браке, — так наблюдаемые, и у всех народов. Особая важность именно их постигнуть и не убавить, и не прибавить ни одной лишней *против лежащего в природе*. В "в природе" это *есть* (подлежит еще *открытию*, ибо у нас это перепутано против Библии через *сокращение на одну степень*). Можно только вообще сказать, что где уменьшается "стыд" и "застенчивость", — *назвать* или *показать*, — там возрастает и "позволенность брака"... Наименее стыдно совсем "чужому", и "чужой" есть самый "законный муж". Это — и в растениях: пыльца "летит далеко" и опыляет "далекие цветы": а *потом же в дереве или кусте* женские органы созревают позднее и опыляются с далеких кустов, а не со своего же ствола.

Вообще, "далекий брак" есть самый "законный". Кроме того что это знает себе какое-то, и притом священное (поистине — таинственно священное), исключение: Ева не была Адаму "приведена издали", что было бы возможно и равно удобно для Бога: но таинственно "взята от ребра его" и была ему не то "сестрою" (Адам *разделился* на "Адама-потом" и "Еву"), не то даже "дочерью" (родилась, только необыкновенным способом, из Адама).

Тут начинаются загадки и тайны, очевидно присутствующие в поле: но мы разгадали только одну и ею ограничиваемся.

* * *

25.IV.1914

Реальная действительность — это просто полицейский. "Как солнце он светит на добрых и злых": и взирает на Невском с одинаковым

спокойствием и на "проехавшую высокую особу", и проститутку, и генерала, и студента, и бедняка.

Полицейский — это пантеист. Чем больше всматриваюсь в его особу, тем больше нахожу в нем изумительных качеств.

Полицейский — философ. Но не *in spe*, а *in re*¹.

Полицейский даже религиозный реформатор: "о-го-го-го, ЧТО он ограничивает". Даже назвать нельзя:

Неудобно. Нельзя.

И урезал очень широкие рукава у архиереев.

— Куда? Заворачиваю назад. Неудобно.

Чего не мог сделать Савонаролла и чего, с другой стороны, не удалось сделать Лютеру — сделал полицейский.

Он не позволил папе иметь любовницей родную дочь и, с другой стороны, "сохранил величие культа" при очень рациональных поновлениях.

Так что в нашей русской истории есть своя магия и волшебство. Свои "Удольфские тайны", которых только не умели прочитать. А говорят: "обыкновенная история".

Нет — очень необыкновенная.

Папы поперхнулись. Наполеон "не мог". А русскому полицейскому "удалось". Да уж не на тему ли это об "Иване дураке", он же — "Иван счастливый".

* * *

25.IV.1914

"Сердечного соучастия" к Рачинскому (С. А.) я, правда, не имею: но это не причина не признавать объективно величия его дела. Он, в сущности, основал, и вековечно основал, — русское "Сельское училище", натуральную "сельскую учебу", вытекающую "из всего". До него это была какая-то эклектическая ерунда, которую надо просто зачеркнуть. Правительство, в испуге перед либерализмом, не решается принять его программу. Которая в то же время есть программа народная, программа церковная, программа историческая; эллино... и даже "вавилонно-халдейско-египетско-еврейско-эллино-римско-славянская" программа. Отказывается принять... но это, в сущности, все равно. Раньше или позже — оно ее примет. Потому что помимо ее "деваться некуда".

Если не пойдут в его Татевое (немного суховатое и мне лично неприятное) учиться — придется "сдавать позиции" царства, церкви... да и былина, песен... Заменив все это фабричной частушкой, да Григорием Спиридоновичем Петровым и его "Божьей Правдой" с "Дневником швей"...

Ну, и Гапон, а 9-е января, и диктатура пролетариата, из-за которого выглядывает убийца Рутенберг, похвальный Петром Рысом из "Дня" Кугеля...

— Уж эти дураки русские мужики: они хотят гугели (сладкое еврейское кушанье) есть, а чтобы МЫ (евреи) стали работать...

Пхэ...

¹ в будущем... в действительности (*лат.*).

26.IV.1914

Вы думаете, конец света будет "в дыме и пламени"?

Полноте, "конец света" будет просто в чистописании.

Пока были Августы, Цезари — понятно, что Б. задумывал "в дыме с пламенем"... "И поколеблются основания земли".

Но когда пришло "наше время", Б. сказал: "Э, ничего этого не нужно, — а усажу я всех этих господ на казенные стулья, остригу их под гребенку, — ну и пусть хоть переписывают с начала до конца и от конца до начала "Энциклопедический словарь" Брокгауза под редакцией К. К. Арсеньева. Очень просто и без шума. Зачем им "колебание земли"?"

Мне кажется, что теперешняя литература, — нет, теперешняя жизнь в Европе, — есть просто переписывание словаря Брокг. и Эфр. Так же интересно и содержательно.

Я пробовал: если не читать телеграмм с месяц и потом опять начать читать их, то при новом чтении это покажется "концом мира без шума".

Просто — неинтересно.

Просто — несодержательно.

"Новейшую европейскую историю сочиняет Семен Венгеров".

Хорошо.

Но если так — "Аз умираю".

Нет, позвольте: если всемирную историю творит не Божественный промысел, а Семен Венгеров, — то конечно же я умираю! Конечно, конечно!!!

26.IV.1914

Мамаша и литература

.....
 "Милый Костя! Я скоро умру. Но ты и все братья твои берегите мамашу вашу. И еще вам завет от меня: во всю жизнь почитайте, что нет звания выше звания писателя".

О России — ничего.

Что есть войны... Нет, какие же "войны"? Есть только писатели. Россия есть страна, населенная писателями.

Духовенство? церковь?.. Погост, на который скоро снесут тебя? Купец? Чиновник?.. Что-то все делают они?

Нет. Щедрин, умирая, о всем этом забыл, а вернее, и всю жизнь он об этом совсем не помнил. Была подписка на наш журнал, желтые книжки "Отечественных Записок", и в ней "моя статья" и превосходное новое "Письмо из деревни" нашего превосходного А. Энгельгардта.

И Петербург...

И толпа на Невском...

И робкие читатели из студентов и курсисток, прибегающие благодарить Михаила Евграфовича "за замечательную статью".

Да в какое царствование мы живем?

— Царствование? Да, должно быть, в царствование Александра Македонского или Селевка I Никатора. Я уже давно был в Лицее и царствования теперь путаю.

Спи, милый друг, до радостного утра...
(25-летний юбилей смерти Щедрина; "Приложения"
в "Нов. Времени")

Такая розовая барышня с заботой "едино-целокупно" об одной мамаше 40 лет стоял во главе умственного движения России. О мамаше я слышал (в редакции от кого-то), что она была в высшей степени высокомерная и гордая дама, вставала в два часа дня и часа два сидела за туалетом. Потом — "куда-нибудь" (утренние визиты). Потом домой. Литературу мужа своего, Михаила Евграфыча, она ни во что не ставила и никакого ей значения и цены не придавала.

Он ходил перед ней на цыпочках и кричал только в редакции. За пределами редакции он еще громче кричал на губернаторов, на городских, что они не дают никому жить.

В отношении Стасюлевича ("Архив Стасюлевича", письма Щедрина), у которого писал после закрытия "Отеч. Записок", был в высшей степени почтителен, ни в чем не возражал ему, когда он сокращал и даже отвергал "присылаемый литературный материал".

Я давно почему-то предполагал, что он в молодости был почтителен с начальством, без чего до вице-губернаторства по Министерству внутренних дел и нельзя дослужиться.

Вообще он был тихий полицейский чиновник, никогда не замаравший рук взятками (конечно!), благожелательный к простому народу — как и все полицейские (я замечал) внимательны и доброжелательны (снисходительны?) к бедным, к нуждающимся, к рабочим — как Зубатов, кричавший на купцов, недовольный попами — как тоже все полицейские; презиравший адвокатов и говорунов (всегдашний взгляд полицейских). И — "провожавший глазами" не только мамашу, но и его превосходительство г. губернатора, за которым почтительно шел не в близком расстоянии. И ненавидевший "нашу некультурную провинцию" ("Провинциальные очерки"), как ее вообще презирает и ненавидит всякий полицейский с форсом и с претензиями, что "он мог бы служить даже в Риге или в Варшаве", около Европы.

И вся его критика была "потрясение кулаками" негодующего "на нашу чушь" полицейского. С очень слабым образованием (читал одного Писарева).

Если принять во внимание, что Михайловский был сын жандармского офицера и что тут уж, конечно, кое-что из традиций остается, — "из традиций и духа и приемов", — то вообще "вторжение полиции в литературу с другой стороны" станет несомненно.

Удивительно. Не приходило никогда на ум. Ведь, входя в литературу, всякий одевает простенький пиджачок, и прежних мундиров и "родов службы" никак не заметишь.

Думая, в частности, о старичке Щедрина, вспоминаю песенку из "Блудницы Митродоры":

Всем приятны и полезны помидоры.

(засытая после обеда)

.....
.....
.....
Много комических подробностей, но и зарево трагедии: а что граф Шувалов (писания Богучарского) Павел Павлович, всемогущий министр внутренних дел и шеф жандармов, разве не был у нас конституционалистом, да упорным, серьезным — в ту глухую пору, когда на нее только кричал Победоносцев, а Делянов махал руками в отчаянии и уволил из профессором университета Менделеева за либерализм. "Русская история с экивоками", и полиция у нас не только всемогуща, но и "отрицающая свое всемогущество" ("тошнит властью", выходит как "хераус") и рвущаяся к реформам... Seriously! seriously! Гроза, злоба, грубость, "растолкали всех локтями". Литература Михайловского и Щедрина связана очень и очень с вековой устойчивостью русской полиции "растолкать презренную чернь" на площади локтями... Ей-ей, тут есть что-то. У Щедрина, у Михайловского уж "полевыми фиалками" не пахнет, как у Одоевского, Киреевских и Аксаковых, как во всей вообще "дворянской литературе", начиная с Пушкина и Жуковского. Везде — город — город (у Мих. и Щедр.), именно — площадь и полиция. И "работающие локти"... Те-те-те... да ведь полиция именно "сравнивает все сословия" и есть врожденный "разночинец".

— Ты меня "офицером" не удивишь, а дай мне *хорошую службу*... — оглядывает новоопределяющегося градоначальник.

Вообще отрицание сословий и лютая ненависть ко всякому аристократизму всегда была отличительной чертой могущественного и деятельного Министерства внутренних дел.

"Служба"...

"Служи, голубчик, служи"...

Что же, ведь это и очень серьезно. Тут есть жесткое и страшное, но и есть серьезное. Есть серьезная деловитая сторона, пошедшая от Петра Великого, который учредил "фискалов" и "обер-фискалов" — сей первый зародыш Министерства внутр. дел. Когда в литературу дали "от себя" и духовенство (Помяловский и Добролюбов), и офицерство (Л. Толстой "Севастопольских очерков" и "Войны и мира"), дало очень много дворянство, — было бы странно и невероятно ожидать, что "сюда" ничем не отразится самый центр нашей государственной деловитости. Так что "помидоры-то помидоры", оперетка — оперетка; но и кой-что из дантовского "Ада" в судьбах нашей литературы.

— Э, небесное, земное... Темы Мережковского и Розанова... Мистика и декадентщина...

ДОЛОЙ.

— Па-а-а-звольте, па-а-а-звольте... Нужно, чтобы у мужика не золотом лежало в брюхе, а хлеб... Па-а-а-звольте, па-звольте: что вы своим "православием" тычете в нос, тогда как я даже и самого вашего лютеранства-с, да-с, не уважаю и во всяком случае не становлюсь перед ним на колени в восхищении... Извините-с: у нас инженерство и железные дороги, которые давно рвутся заменить собою наши "непроезжие дороженьки" и "великие грязь смоленские", о которых еще сочинитель былин вздыхал: но и до сих пор благодаря вашему "православию"

и вшам в голове мужика, и тому, что он бьет медный лоб об пол перед своей "Богородицей-Богородицей" — этих эле-мен-тар-ней-ших путей сообщения к нам не пускают, опасаясь, конечно, что если русский человек по таким дорогам поедет, с такой га-ла-ва-кружительной быстротой, то у него и мысли, пожалуй, понесутся га-ла-ва-кру-жительно, и тогда, конечно, куда же денутся наши спасительные мысли о "Богородице-Богородице" и патриотическое чувство, что "мы всех шапками закидаем"...

Но это — голос полиции и зов Щедрина "устроить все, как в Риге", и обойтись без этих "самодержавия, православия и народности", без которых в Риге стоит Политехникум очень хорошо и во вспомоществовании отнюдь не нуждается.

* * *

26.IV.1914

Пчелки летят к водам жизни.

И животные идут к ним.
И поспешает человек.

Потому что все смертны.

Цветы предлагают воды жизни...

И цветок в животных,

И цветок в человеке.

(засыпая после обеда)

* * *

28.IV.1914

Кир Младший царствовал в Персии.

Царствовал обыкновенно.

И говорили жители Персеполя: если бы он окружил себя мудрецами и позвал ко дворцу великого поэта Саади и прекрасную Шехерезаду, то как украсилось бы нынешнее царствование и потекли бы, может быть, великие события...

Кир Младший, гуляя в саду и срывая персики, думал о том же... Он любил и Саади, и Шехерезаду, и хотелось бы ему и послушать мудрецов, и увидеть Шехерезаду. Но он сказал в себе:

— Тогда и будет царствование мудрецов и поэтов, а при чем же тут Кир Младший. Он будет только отражением чужих мнений. Между тем царствую я. Пусть останется каждому свое: Саади и Шехерезаде любовь народа, благословение в потомстве и обыкновенная бедная жизнь. А мне, смиренному служителю Ормузда, довольно персиков, утренней молитвы Доброму Духу, вечерней молитвы против злых духов. И сознания, что я безвестно и не утруждая историков поддерживаю все так, как получил от отцов.

И, подумав, прибавил:

— К тому же у западных народов один стихотворец сказал, что если бы он захотел разорить страну, то отдал бы ее в управление философам. Философы люди необыкновенные и захотят необыкновенного царствования. А наш народ обыкновенный, и им нужно обыкновенное царствование.

И он продолжал кушать персики.

(*"mon verre est petit, mais je bois dans mon verre"*)

* * *

28.IV.1914

Еремей в избе, помолясь, обедает серые щи с кусочком говядины и гречневую кашу, которую может помаслить только в воскресенье. Хотелось бы молочка, да нет. И, вздохнув, — опять помолился. Уснул. И через 2 часа делает "пищеварение".

Его превосходительство Никифор Семеныч жрет трюфеля и французскую кухню. Но вместо пищеварения у него в животе какая-то гадость. И он три часа сидит скрючась в кресле от колик.

Хронический катар, давно неизлечимый.

Подойдя к полочке, взял пузырек. Покапал 10 капель опия на рюмку воды, и боли как будто стали затихать...

"Сходил" только к часу ночи... какой-то гадостью... И все "чертыхался", день и ночь.

Кто из них двух счастливее?

(*"утилитарианизм"*)

∞

К тому же и психология.

У Еремея родители тоже кушали щи и кашу. И — дед, и — бабка.

А как детей он не отдал в училище, то и дети будут кушать кашу и щи.

Ни поползновений, ни возможности, ни критики...

Не то у Никифора Семеновича: у него служба идет хорошо, но есть какие-то препятствия. И он не знает, передвинется ли в "высокопревосходительство" или останется "там же"...

Зависть. Сомнения о себе. И мука.

Кто из двух счастливее?

(*"утилитарианизм"*)

* * *

29.IV.1914

До него не понимали самой сути, в чем же заключается переход от Ветхого к Новому Завету. Апостолы написали все свои послания, — кричали, горячились, вопияли северу и югу: и все-таки было непонятно, в чем же дело?

Человек с отрезанным животом.

Человек, у которого отрезано почти все, кроме живота.

Вот.

Не отрезано, а это или "отпало", или "не нужно".

Великая загадка, что о "животе" в Большой Книге даже не упоминается. Говорится о совсем других вещах: из храма нужно выгнать торгующих, можно ли исцелить в субботу? Говорится всего более о его добром лице и что иудеи были злы.

¹"мой стакан невелик, но я пью из своего стакана" (*фр.*).

Вся история в конце концов представилась как борьба злых людей и добрых людей. И добрые победили — как и следует. Но суть, что у всех сражающихся уже нет животов, — с одной стороны, и почти только животы — с другой: никто и не заметил.

Да они об этом и не говорили.

Чтобы понять всю величину и неожиданность разгадки, надо перечитать Заозерского (профессор), — немолодой тогда уже Московской Духовной Академии (о "В мире неясного и нерешенного").

Это в самом деле интересно.

Странный ревнитель святых семейного очага

(В. В. Розанов. В мире неясного и нерешенного. СПб., 1901. Ц. 1 р. 50 к. Бесцензурное издание)

Прежде всего почитаем долгом предупредить читателя, что настоящая статья — не для семейного чтения, хотя заглавие ее, по-видимому, на это именно и претендует. Тот, кому дорога святых семейного очага, из самого содержания статьи увидит, как ему воспользоваться ею в интересах семьи, а до прочтения пусть приищет для нее какое-нибудь сокровенное место.

Не с радостным настроением мы принимаемся за настоящую труд. Напротив, нами овладевает желание начать его таким заявлением: о если бы никогда не появлялось книг, подобных настоящей книге В. В. Розанова, и нам не приходилось писать таких рецензий, как настоящая... Единственное светлое и отрадное, что одушевляет нас в этом тяжелом (морально) труде, это — луч надежды, что, быть может, наша рецензия предупредит появление книг, подобных настоящей, и — главное, — быть может, самого В. В. Розанова настолько тронет, что он, *в себе пришед*, навсегда откажется составлять подобные книги.

Эта скромная и исключительно гуманная цель позволяет нам в то же время надеяться, что и почтенная редакция "Богословского Вестника" дозволит нам занести на его страницы некоторые мнения и изречения г. Розанова, — весьма неубогаемые, перепечатания которых в рецензии необходимо.

Названная книга не представляет собою какого-либо нового произведения пера г. Розанова, а есть — в первой ее половине — перепечатка статей, появившихся отдельно в разных газетах 1898—1899 гг., а во второй — сборник статей и писем разных лиц, положительно и отрицательно относившихся к мнениям г. Розанова.

Наша рецензия будет иметь в виду почти исключительно собственные статьи г. Розанова; вторая часть книги будет иметься в виду лишь в качестве комментариев к первым.

Эти лица, читавшие включенные в сборник статьи г. Розанова, разошлись крайне резко в оценке их. Одни находили их нелепыми, кощунственными, другие — прямо гениальными. Так, некто М. С-в писал автору: "Под гнетом духа любодейния написаны Вами последние статьи" (стр. 127). "Я очень досадую на себя, — писал г. Розанову С. Ф. Шарапов, редактор "Русского труда", — что решился печатать Ваши статьи... Каюсь, — перед сдачей в набор не дочитал до конца, да ведь и почерк Ваш — отчаянный... (Как ни старался я) вымарывать, смягчать и накладывать фиговые листья, все-таки любодейного духа выкурить (из них) не мог" (там же. А все-таки выпустил в свет).

Иными оказались статьи г. Розанова протоиерею А. У-скому, Магистранту Богословия (так титулет он сам себя). "Вы открыли новую Америку... к пляде пророков принадлежите Вы (В. В-ч). Да, ныне век пророков. Недаром Вл. С. Соловьев так любил употреблять это слово. Вероятно, будущий историк наших дней начнет свое сказание о них такими словами: "В то время, когда пастыри душ человеческих превратились в пастырей одних только карманов человеческих, для управления человеческими душами стал Господь Бог воздвигать пророков". (Стр.

121. Письмо Пр. А. У-ского. Неизвестно, предназначалось ли это письмо для печати или нет. Вопрос важен, впроч., лишь настолько, насколько обуславливает собою решение другого вопроса: сам ли себя публично высек о. Протоиерей, или — злоупотребив его доверием — высек его В. В. Розанов).

Такая резкая разность оценки невольно заставляет поставить вопрос: чем же объяснить ее? Для решения этого вопроса нельзя опускать из виду, что и автор, и читатели, и редакторы действовали крайне спешно, страстно, как будто дело касалось личной их судьбы. И кто знает, что написанное и наговоренное так спешно не кануло ли бы навсегда в Лету, затерявшись в массах газетной бумаги?! Но вот г. Розанов собрал титательно все это писание, издал в виде книги и так. обр. увековечил его навсегда в истории русской литературы. Это писание теперь в виде книги должно получить *объективно холодный приговор рецензента*: к какому роду литературных произведений принадлежит сия книга?

Есть, однако же, и более важная причина в разности во взглядах на произведения г. Розанова; это — его особенная манера *писать* и мыслить; г. Розанов — враг обычного ясного прозаического изложения, связности, последовательности; течение его мыслей движется *вне логического порядка*, интуитивно: по какому-то особенному наитию. Эти-то особенности манеры писания и мышления г. Розанова в соединении со спешностью чтения и служили причиной того, что сторонники и противники его часто *не вполне*, а то и *совсем* его *не понимали*, и он принужден был поправлять их. Одного из своих почитателей он поправляет, напр., так: "Автор неправильно понял слова моей статьи... я не беру текст из Писания, но *подслушиваю пожелания мира, идеалы мира, вздохи мира*" (стр. 69). В этой оригинальной манере мышления вне логического порядка он заходит иногда так далеко, что ставит себя в положение в собственном смысле *исключительное*. "Анатомы говорят глупости об этом граафовом пузырьке", — заявляет он в одном месте (стр. 76). "Глубин христианства *никто* еще не постиг, и эта задача, не брезжившаяся Западу, может быть, есть оригинальная задача *русского гения*" (стр. 105), — заявляет он в другом месте. И подобного рода заявлений в статьях его немало. Если к этому присоединить неожиданно странные сближения, антитезы, образность, дерзкие выходки против установившихся богословских воззрений, которыми уснащена его речь, то удивительно ли, что в уме иного доверчивого и недалекого читателя возникала серьезная мысль: уж не гений ли пред нами. Не пророк ли восстал среди нас в лице г. Розанова...

Но к делу!

Статьи г. Розанова, подлежащие теперь в виде книги, следующие:

- 1) Из загадок человеческой природы (1—20).
- 2) Иродова легенда (21—36).
- 3) Истинный "fin de siècle" (37—44).
- 4) Номинализм в христианстве (41—51).
- 5) Семья как религия (52—68).

Не связанные между собою внешним образом, они, однако же, имеют тесную внутреннюю связь, причем первая относится к прочим как их базис, а в целом все дают полное основание характеризовать нашего писателя как философа, моралиста и богослова.

В качестве философа г. Розанов выступает в статьях своих творцом оригинальной *гносеологической теории* (учение о познавательной способности человека). Сущность этой теории такова: господствовавшее доселе мнение, что "голова" человека или головной мозг есть "седалище души" и главный орган высшей интеллектуальной способности, — совершенно ложно. Эту честь голова и мозг ее должны уступить *половым органам*. Правда, и головной мозг человека несколько функционирует в познавательной деятельности; может быть, посредством мозга мы любопытствуем, догадываемся, отгадываем, построим что-либо в "аристотелевских силлогизмах".

Все люди смертны.

Сократ — человек.

Следовательно — Сократ смертен, но высшие функции интеллектуального творчества принадлежат не ему, а половым органам. Они — "седалище души", ими мы доходим до жидкательных "ноуменов" Канта, "идей" Платона; им обязан человек своими религиозными созерцаниями и открытиями. Посему-то акт полового совокупления (coitus), обычно так презираемый, есть в действительности момент величайших открытий разума и божественного духа — есть величайшее религиозное священнодействие.

Эту теорию автор открыл, если верить ему, не путем аристотелевских силлогизмов или напряженной деятельностью головного мозга, но подслушивая "вздохи мира" и внимая откровенным речам великих, действовавших также не головным мозгом¹ (поэтов, напр., Лермонтова), но она не противоречит и физиологическим наблюдениям. "Мозг самый тяжелый, — говорит г. Розанов, — был у Кювье, но следующий за ним по тяжести был мозг одной помешанной женщины, высокие способности которой никем не были засвидетельствованы: *выражение разорванности между душою и мозгом довольно доказательное*. Рядом с этим самое прекрасное лицо есть лицо Рафаэля. Его гений тем высок, что это не был вовсе гений *порядка логического*, но гений образов, созерцаний, таинственных молитв, для которых он не нашел слова и, как бы взяв краски с цветка, сочетал их в дивные картины. Единственное в истории лицо; но чем оно особенно нас поражает? Одною страшною и немного сверхъестественною в себе чертою: это лицо *девушки*, посаженное на мужчину. Присутствие обоих полов в одном существе — двуполость в индивидууме — невольно в нем останавливает. Т. е., как мы можем догадаться, — лицо первого по богатствам души человека. *самого небесного*, свидетельствует о странной раздвоенности его души на начало мужское и женское и, вероятно, соответственно этому о постоянном и сильнейшем в нем половом возбуждении *utriusque sexus*"² (стр. 8—9).

Противоречат этой гносеологической теории г. Розанова только *анатомы* (?), которые говорят, что половые органы вырабатывают и хранят только клеточки, материальные организмы, а не "души", но г. Розанов разделяется с ними очень быстро и победоносно: "Анатомы передают глупости об этом "графовом пузрырке". Его природу, природу выходящего из него дитяти, лучше знает поэт (говорящий):

Он (Ангел) душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез" (стр. 16).

Переместив "седалище души" и высшие интеллектуальные функции из головного мозга в "низшие точки пола", в "половые пустоты" (9—10), наш философ преобразовал и господствовавшее доселе мнение о значении лица или человеческой физиономии. В самом деле, что такое лицо человеческого? "Лицо есть зеркало души" — так думало доселе человечество. Так, собственно говоря, думает и г. Розанов. Но что такое душа человеческая? "Душа есть пол", — утверждает г. Розанов; "душа бывает мужская и женская". Отсюда более правильным будет такое учение о значении лица человеческого: *лицо есть зеркало пола или, выражаясь подлинными словами г. Розанова, — "лицо есть дешифрирование пола"* (стр. 4). Это учение частнее излагается так: "Остановимся на частностях дешифрирования пола в лице и возьмем *цветок* (!), где нам все становится "сказуемое": его благоухание передано в лице как обоняние (т. е. нос?), то, что течет с него сладостью нектара, — в лице развито *во вкусе* (т. е. губы, язык?), его окрашенность, рисунок, здесь перевелись *зрением* (маловата роль *глаз*). Остается слух (уши?), но кто же не понимает, что пол есть пульсация, древнейший в природе ритм?" (стр. 4).

¹ Мозговики — это Вунд и пр., но отнюдь не поэты и философы (стр. 8).

² обоих полов (*лат.*).

Признаемся, читатель, нас несколько не удовлетворяет в этом учении значение *лица* и *глаз*; по-видимому, они имеют немаловажное значение в человеческом лице, а между тем г. Розанов не придает им никакого, по-видимому, значения. Но... будем внимать, а не критиковать.

"Взглянем еще раз на "печальную" березу или, пожалуй, на тюльпан в его весенней радости. Пол в растении есть только временный феномен... Но вот цветок (растения) разделяется: его венчик, лепестки, даже тычинки и пестики, вся "видная" часть, всякое в нем "выражение", "сказывание" о себе — сохраняют верхнее, переднее положение, напротив, все внутреннее уже в цветке, полости оплодотворения и плодношения относятся назад. Едва этот чудный факт, в сущности разделение цветка, произошел, существо начинает *шевелиться, бегать, испытывать страх*, когда его ловят, *ловить*, когда оно голодно. Мы получаем *план животного*, собственно развившийся из цветка: *лицо, личико* в нем — существующее вначале у насекомого, раков, у "долгоносика" — *суть преобразованные наружные покровы пола* — отсего оно и бывает мужское и женское, а собственно внутренние половые части — есть затаившийся внутрь плодник и "чрево". Связь между чертами лица — отроческого, мужественного, старческого, лица сладострастного или целомудренного и между жизнью собственно внутренних половых частей — ясна отсюда: как лепестки повинуются фазам плодника, так развернутые и отделенные у животных и человека эти же лепестки или *лицо* выражают жизнь *лица и семени*" (стр. 8).

Ясно, да не совсем, и придорится пожалуй, что г. Розанов для иллюстрации своей теории не приложил рисунка идеального человеческого лица: без такого рисунка рискуешь впасть в заблуждение. Напр., смотря на портрет Канта и применяя к нему теорию г. Розанова, так и хочется сказать: бедный Кант! Как ты глуп! Как плохо твое лицо дешифрирует жизнь твоего пола. Исправься же: склони гордое чело свое, стань на четвереньки, брось аристотелевские силлогизмы, возвьсь зад свой, почти в нем седалище души, и ты будешь идеальным человеком по гносеологической теории г. Розанова.

Что логически такой вывод верен и что вся гносеологическая теория не заслуживает ничего более, кроме смеха, — об этом едва ли можно, по нашему мнению, и рассуждать.

Но если так, то стоило ли уделять ей столько внимания, сколько мы уделили — дов. подробно изложив ее?

В ответ на это мы должны высказать нечто невероятное, но действительно между тем происшедшее: из этой теории г. Розанов вздумал сделать практическое применение именно в дальнейших статьях своих, где он выступает моралистом и богословом. Именно эта гносеологическая теория и служит единственным ключом, при помощи которого только и возможно объяснить некоторые настолько характерные странности его статей, которые иначе были бы решительно необъяснимы.

Так, г. Розанов весьма энергично и при каждом удобном случае высказывает свое презрение к *науке*, поскольку она есть именно продукт мозговой деятельности. В частности, к *науке богословской* он относится с негодованием: она корень великого зла, испортила все христианство. "Европейское человечество, — гов. он; — приняло "благую весть" на острие рассуждения и отнесло ее в *академию*, а не на умиление сердца и не понесло ее на струны. Вот секрет "тьмы", объявшей "свет", — бессилия света и нашего печального *fin de siècle* (стр. 42); неоднократно он в ироничном тоне отзывается о Фоме Аквинском, преосв. Макарии, тибюнгенцах, каком-то "Нравственном богословии", церковно-приходских школах.

Его приводит в искреннее удивление история "семи вселенских соборов и множество поместных западных, из которых многие продолжались семь, восемь и даже — как Тридентский собор — целых тридцать лет. Тридцать лет рассуждения!" (стр. 43). Мы уже знаем, как г. Розанов относится к естествознанию. Не лучшего мнения он о философии Декарта, хотя, по-видимому, он с философией вообще так же мало знаком, как и с богословием. Он вообще

недоволен всеми успехами цивилизации, добытыми за XIX век, и последнюю $\frac{1}{4}$ его находит положительно несчастно. За что же? За то, что в течение этой $\frac{1}{4}$ века не появилось ни одного гения: "Укажите, — гов. он, — в истории еще четверть века, в которую не появлялось бы совершенно и нигде ничего нового, великого или по крайней мере занимательного. Вы не найдете: не было поэтов, были полководцы; не они — так мореплаватели... и т. д." (стр. 40). Отчего же такова скудость разума? — Единственно оттого, что цивилизованное человечество нашего века работает мозгом и с презрением относится к функциям половых органов.

Это маловероятно, читатель, но позвольте убедиться собственными глазами, прочитав рассматриваемую нами книгу.

Применением к делу этой гносеологической теории вполне объясняется и указанная нами выше характерная черта статей г. Розанова — его презрение к "логическому порядку" в расположении мыслей и во внешнем изложении. "Аристотелевскими силлогизмами" автор пользуется, но пользуется совершенно деспотически: они в услужении его идее, добытой по наитию.

И вот такая-то гносеология приложена г. Розановым к решению вопросов моральных и богословских. Можете предполагать, читатель, что из этого выйдет? Да, выйдет нечто новое, неслыханное...

В качестве моралиста г. Розанов выступает проповедником новой теории "религии брака и семьи". Этой проповеди посвящена особая статья, но и в остальных она слышится не менее громко.

Что такое брак? "Брак есть *полосочетание, полонепереплетение* мужчины и девушки" (стр. 49). А что такое *блуд* и *прелюбодеяние*? — Этих понятий не знает теория г. Розанова и знать их не хочет: они — порождение схоластического богословия. Разве в природе есть блуд и прелюбодеяние?! Но чем же в таком случае брак человека отличается от брака животных? — Это другое дело.

Полосочетание, полонепереплетение человека — *есть мистический акт*, оно — деистично.

Во вселенной нет для мужчины более привлекательного существа, как девочка 13 $\frac{1}{4}$ — 14 лет — "миг пола сейчас пред выявлением", "апрель чинары" (стр. 12). Она чиста, целомудренна, прекрасна, религиозна. Половое притяжение к ней так сильно и в то же время так свято, что пред ним не в состоянии устоять никакой развратник, как Свидригайлов, вся карамазовщина, даже старец, ни "сатана из мелких", ни сам "демон" (далее следуют картины спящей живой девушки Лермонтова и лежащей в гробу Достоевского, стр. 11—13). Девушка не должна оставаться долго без замужества: крайний для нее срок 22 года; ибо, достигши 23 лет, она уже утрачивает притягательную силу деистически — полового притяжения (стр. 14—15). Что касается жениха, то им может быть каждый мужчина, никаких ограничений не полагается, свобода полная, составляющая его право, опирающееся на божественной заповеди: *раститесь и мнодитесь и наполните землю*. Высшим моментом брака, делающим его таинством, служит *coitus*. Это не только физиологический или животный акт, но и — это главным образом — мистический, божественный, или деистический. Брачная постель — алтарь, муж и жена — жрецы — "тайнотворцы" (стр. 49), своим актом *coitus'a* совершающие как бы приношение Елогиму¹. Этот акт теистичен и мистичен, потому что в момент его происходит союз неба с землею, результатом которого являются для жены — материнство, для мужа — подъем нравственно-интеллектуального самочувствия, для мира — дитя, ангел, посланник неба². Посему и дом, где

¹ Елогим толкуется г. Розановым своеобразно. Бог вообще "животен" — "зверь" (стр. 6), может быть половое животное (стр. 116). Все гении — сладострастные — от Соломона до Гёте (стр. 17—19).

² Здесь — связь теории брака с гносеологической теорией. Но г. Розанов не постеснялся передать и собственное психофизическое впечатление *coitus'a* (стр. 216). Да, для проповеди своих теорий г. Розанов не щадит ни себя, ни читателя.

совершается этот акт, — "скиния", "дом Божий". (См. религия семьи.) Как продолжителен брачный союз — это обуславливается совершенно индивидуальными обстоятельствами: брак длится вообще до тех пор, пока есть половое притяжение. Раз оно прекратилось в данной паре, брак прекращается, и супруги вступают в новые полусочетания.

Вот и вся теория брака. Она удивительно проста. Мы долго и пристально вчитывались в статьи г. Розанова именно с целью найти хотя что-нибудь еще, чем бы осложнить ее, но наши поиски остались напрасны...

На этом базисе построятся со временем *религия семьи*. В настоящее время в человечестве еще *не было* такой, *розановской* семьи. Появились только начатки, именно у нас в России: Л. Н. Толстой в своих романах "Войне и мире" и "Анне Карениной" первый дал начало этой новой религии семьи. Вот подлинные слова г. Розанова, выражающие это открытие: "Он (Л. Н. Толстой) дал в *тихих* и прекрасных картинах поэзию и почти начало религии семьи. Анна разрешается от бремени; Китти в муках рождения кричит; Наташа смотрит пленки ребенка и, перебивая политические речи мужа, говорит: "Не надо доктора, опять желтым"... Все тут *ново*, и смелость не попадавшего никогда в литературу рисунка, но главное *нов* сам автор... Он дал почувствовать, сам постигнув "ветхую скинию", которую около себя каждый носит, исполняя *некоторый* "ветхий завет"... Ветхое-ветхое что-то, и новое-новое заговорил он" (стр. 54—56).

Вот и вся конструкция розановской семьи *пока*, что последует в будущем — неизвестно даже и ему.

Мне хотелось бы попросить читателя несколько попристальнее вчитаться в сейчас приведенную тираду г. Розанова. Меня поражает в ней прежде всего следующая странность: ведь "тихие" картины Л. Н. Толстого изображают быт православной дворянской семьи, строившейся целые века под влиянием исключительно одной религии — *православной церкви*, и мне в первый раз приходится слышать, что в названных произведениях Л. Н. Толстой проводил *юдофильские тенденции*. Посему, добросовестно ли со стороны г. Розанова оправдание своей теории — указывать в этих произведениях? *Логично ли?*

Этому замечанию я придаю большую важность: ибо такая *нелогичность* весьма часто встречается в статьях г. Розанова; это — один из излюбленных его приемов.

Я только никак не могу решить вопроса: что это — софизмы или паралогизмы? Т. е., выражаясь проще, — сознательно ли он морочит своих читателей, отлично работая головою и "аристотелевскими силлогизмами"; или же он в таких случаях действительно применяет к делу свою гносеологическую теорию?

Я попрошу читателя обратить внимание в приведенной тираде г. Розанова и еще на следующее явление. Русская дворянская семья под художественным пером Л. Н. Толстого действительно выступает тихою и прекрасною картиною. Кто не любовался ею? И вот посмотрите, во что превратилась эта "*тихая картина*" под пером В. В. Розанова — в *родильный дом*: тут и Анна, и Китти, и Наташа только и делают, что рожают — *кричат* в муках рождения. Да, три дворянские дома соединены в один... и *кричат*.

Но это-то действительно и есть "тихая картина" той "скинии", того "дома Божия", в который преобразится человеческая семья, если пропагандируемая г. Розановым теория брака пойдет в ход и найдет себе последователей словом и делом. В эпоху торжества такой религии из городов и сел исчезнут совершенно "роды" и "фамилии", а будут только родильно-воспитательные институты № 1, 2, 3 и т. д. Что к такому упрощению *семьи* логически неизбежно ведет удивительно простая теория *брака*, проповедуемая г. Розановым, — доказывать это почитаю совершенно излишним. Свою теорию брака и семьи г. Розанов нередко называет кратко: "*поклонением полу*".

Возникает, однако же, вопрос: если действительно таковы положительные моральные воззрения г. Розанова на брак и семью, то чем же объяснить тот успех, который имели и имеют его статьи? Неужели люди нравственные серьезные

могут не только увлекаться, но даже сколько-нибудь интересоваться такою нелепостью?

В ответ на это я могу предложить следующее объяснение. По-видимому, в задачу г. Розанова входило не столько *положительное и ясное* раскрытие его моральной теории брака и семьи, сколько подготовка для нее почвы, возможно, сильным нападением на *церковное учение* о браке и семье, которое, по его убеждению, и служит единственною причиною той распушенности семейных нравов, которую характеризует, по его мнению, *христианская культура* конца XIX века — западноевропейская и русская. Оплакивая это состояние современных нравов, горя, так сказать, желанием “пророка” оздоровить все человечество, уцеломудрить его, он прежде всего и поставил себе задачей разгромить беспощадно сложившееся “*церковное учение о браке*” и семье — эту единственную причину зла. И он действительно приложил этот ужасный труд разрушения, не заметив в пылу этой ужасной работы даже и сам, как нелепа его собственная положительная теория. Что же удивительного, что и его читатели, увлеченные страстною борьбою разрушения этого борца против зла и за добрую идею, опустили из виду пристальнее посмотреть: какова на самом деле положительная сторона этой работы, *что стоит за разрушением?*

Таково мое вероятное объяснение этого поразительного явления, хотя вполне возможного².

Переходим к характеристике богословских воззрений г. Розанова.

Это — в моральном отношении труд для нас самый тяжкий; мы позволим себе облегчить его тем, что будем заниматься не столько раскрытием *содержания* учения г. Розанова, сколько формальною стороною — методикою его богословствования. Ибо *содержание* его учения для нас нестерпимо богоухульно...

Наиболее подходящею в этом отношении статью г. Розанова служит для нас “Иродова легенда”. Эту статью мы позволим себе заняться несколько больше, чем прочими.

Она начинается приступом, оканчивающимся точною формулировкой темы.

“Есть легенды ли, — гов. г. Розанов, — факты ли в истории — уники, единственные. Они не повторяются... Таков рассказ или легенда об Иродовом избиии младенцев. Факта этого нет у Иосифа Флавия, и он стоит только *преддверием* в Евангелии в какой-то странной близости, почти в сближении с *рождением* Христа. *Продолжение* и как бы *заключение* содержащейся в этом рассказе мысли дано в *конце* Евангелия: уже идя на *смерть*, Христос спросил “плода у смоковницы”; она не дала плода, и Он ее проклял. Между двумя этими *легендами* ли или фактами стоит *бесплотное евангелие*, которое в уащей, училищной своей части исполнено таинственного умолчания о сущестле плода “плодящейся” смоковницы. Два эти рассказа — не прообраз ли? Не предостережение ли? “И повеле искать Христа”... и повеле избить младенцев, т. е. многие будут искать Христа, искать осуществить “Христово”, но претыхаясь о бесплотность Его научения, Его небесного училища — впадут в Иродову мысль “найти Христа, избивая младенцев”, и через это жизнь, в чаяниях бесплотная, станет бесплодною. Прообраз не был понят”... (стр. 21—22).

¹ Но церковного учения о браке г. Розанов совершенно не знает: он *догадывается* о нем по источникам, рисующим неприглядные картины несчастных случаев брачной жизни, — по газетным корреспонденциям и по статьям и письмам своих почитателей и противников. Правда, этими последними наговорено было о браке *много*, но действительно *ценного* — удивительно *мало*. См. 2-ю часть книги: полемические материалы.

² Глубокий комизм гоголевского “Ревизора” в том и состоит, что какой-то шалолай, молокосос, вертопрах надул целую шайку опытных мошенников. Не хочу этим сравнением сказать что-либо обидное для г. Розанова и его почитателей: ибо здесь возможен не комизм, а глубокий трагизм...

Понял этот "прообраз" только в настоящее время г. Розанов и раскрыл весь смысл и значение его в истории человечества.

Внимком в логическое строение темы и ее раскрытия в статье. Она есть не что иное, как плоский каламбур, состоящий в игривом сочетании русских слов: "плоть" — "плод", бесплодный — бесплотный и антитеза: рождение — избиение младенцев. Иродово избиение — Христова смерть. Этот каламбур г. Розанов назвал "прообразом" и удивляется, что такой прообраз никем не был понят доселе, т. е. в продолжение 2000 лет. Мы верим искренности такого удивления, но с своей стороны не менее искренно удивляемся, как это г. Розанову не пришлось в данный момент на мысль то простое соображение, что для подобных логических операций пользоваться Евангелием крайне опасно писателю хотя бы *для собственной репутации*: Святое (а не бесплотное) Евангелие есть книга, пред которою все мыслящее человечество — верующие и неверующие — относились и относятся всегда с глубоким уважением. Мы уверены, что на поклонников художественного таланта Л. Н. Толстого произвело весьма неприятное впечатление вышеприведенное уродование г. Розановым типов Наташи, Китти и проч. Что же должен подумать о г. Розанове читатель, имея пред глазами его опыт публичного неуважительного отношения к Евангелию? Не вправе ли он сказать: да, это писатель, от которого следует держаться как можно дальше каждому, кто понимает цену прекрасного, идеального, высокого, священного...

Но перейдем к рассмотрению логического строения целой статьи, составляющей раскрытие темы-каламбура.

При поверхностном чтении статьи получается впечатление, благоприятное для автора: по-видимому, он обладает обширными сведениями в истории человеческой культуры. Чего-чего он не знает? Он свободно разгуливает в мире мифологии Греции, Египта, — в области церковно-исторической западной и русской, отлично, по-видимому, знает Библию, историю Китая, схоластическое богословие, западноевропейскую поэзию, философию... Но стоит вникнуть в логическое сочленение этого винегрета знаний, чтобы легко заметить, что пред вами не ученая работа, не работа мыслителя-философа, а нехитрая хрия схоласта, примерами и антитезами усиливающегося доказать положение, что *христианство и Евангелие ведут к смерти и вырождению человечества*; там, где они были и действуют, — одни ужасы, а там, где их нет, — одна жизнерадостность — "поклонение полу". В мире христианском он указывает Гильдебрандта, Селиванова, Фому Аквинского, испанскую инквизицию, философию Декарта, Беранже: все это — избиватели младенцев, поступающие так, *ища Христова*. С истинным наслаждением он останавливает свои взоры на внехристианском Востоке, древнем и новом. Здесь "Зевс вечно рождает, Гера реанует" (стр. 27). "*Девушка* восходит на верхушку храма в Вавилоне, но никто туда еще не приходит"; "в Фивах в храме Аммона *ночует девушка*, и там нет ни изображений, ничего, кроме пустой комнаты" (там же). В Китае, "я слышал, как смеялись *милые девушки*, и когда я увидел их, то они сидели на тростниковых стульях" (стр. 25). С большим удовольствием он смакует библейский рассказ о том, что Соломон первый опыт премудрости, полученный от Бога, применил к спорному делу двух матерей-блудниц, и упрекает Христа Спасителя за то, что, *быв на браке в Кане Галилейской*, Он даже *не взглянул* на брачующихся... "Отческая" ипостась "вечно рождающая" раскрылась в Ветхом Завете с его "обрезанием" и неугасимым благословением рождению. "Предвечное Слово", "Вторая Ипостась" (в Новом Завете) "вечно рождается", но уже "не рождает". Не догадавшись об этом и приняв умолчание за отрицание, христианство в огромных частях своих от Гильдебрандта до Селиванова ввело некоторый тайный антагонизм внутрь самих Ипостасей Божества, *противопоставив* Отческому Лицу в нем сыновнее" (стр. 30).

Такова хрия г. Розанова. Хрия есть такое ученическое упражнение, которое необходимо предполагает совершенно пассивное отношение автора к теме. Последняя ему дана как положение, его критике не подлежащее; задача ученика

доказать его истинность, и возможное дело, что учитель, оставшись доволен выполненною задачею, на следующий же день даст тему для новой хрии, по содержанию прямо *противоположную*: ученик обязан с такою же ревностью стараться доказывать и эту тему. Такая умственная гимнастика при злоупотреблении или неопытности учителя может привести к весьма зловредным последствиям — приучить к софистике. Но в руках опытного преподавателя такая гимнастика приведет к несомненно доброй цели — она разовьет навык к *критике* доказательств и к осмотрительности в выборе, напр., фактов или примеров, представляемых в качестве аргументов. Представим теперь на минуту, что и г. Розанов не сам сочинил тему, а получил ее в готовом виде; на долю его выпало только сочинить приступ и подобрать доказательства. Что же? Как он исполнил эту ученическую работу? Какова его хрия? Как мы знаем, исходною точкою его приступа служит положение: Иродова легенда (или исторический факт) — *уникум*: для нее нет повторений в истории. Вот базис всего приступа и всего каламбура.

Каково это положение (тезис)?

В книге Исход, II, 16 читаем:

"И сказал (фараон) им (повивальным бабкам): когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то *умерщвляйте его*, а если (будет) дочь, то пусть живет".

Стр. 22: "Тогда фараон всему народу повелел, говоря: всякого новорожденного (у евреев) сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых".

Исход XI, 4—6: "И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Египта.

И умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота.

И будет вопль великий по всей земле Египетской, какого не было и какого не будет более".

Этого указания достаточно для того, чтобы разлетелась вся хрия Розанова: учитель его, несомненно, поставил бы ему 1 или 0 и, кроме того, за незнание священной истории сделал бы надлежащее отеческое внушение.

Но в том-то и вопрос: что это такое? Незнание ли, *моментальное ли забвение* или намеренное сокрытие истины? Не решаемся признать первое — причину этого странного явления — ибо в статьях г. Розанова весьма убедительны доказательства его отличного знания Библии; не решаемся признавать таковою причину и последнее из указанных предположений: ибо представляется невероятным, чтобы, намеренно сокрывая истину, наш автор отважился печатать свое произведение в столичном органе: ведь для изблечения его во лжи достаточно знания Священной Истории...

Остается наиболее вероятным второе предположение: *моментальное забвение*, lapsus memoгае, находящее себе подтверждение и в гносеологической теории нашего философа. Он, несомненно, работал головою, составляя свою хрию, но под гнетом сильного давления своего "седалища души".

Обращаясь затем к самой идее статьи (иначе — теме хрии), мы поражаемся тою ненавистью к христианству и Евангелию, какою проникнута эта статья, и, с другой стороны, теми симпатиями, которыми она проникнута в отношениях автора к языческому Востоку и Ветхому Завету.

Чем объяснить такое *настроение* автора? Изучившему манеру автора мыслить и писать нет ничего легче отвечать на этот вопрос. Он ненавидит Христианство и Евангелие за то только, что находит в них решительное *отрицание* "поклонения полу" в своем смысле, т. е. полу четырнадцатилетних девушек; с другой стороны, он восторженно относится к язычеству Востока и Ветхому Завету за то только, что видит в них *признание* своей ужасной моральной теории. И эти свои антипатии и симпатии он выражает открыто, прямо, страстно — совсем не замечая, что его похвалы Ветхому Завету производят на читателя

еще более, может быть, удручающее впечатление, чем его клевета на христианство и Евангелие...

"Антагонизм Ипостасей" и вражда между Ветхим Заветом и Новым — это второй из тезисов нашего богослова, открыто им возвещаемый в его книге.

Конечно, нет нужды доказывать, что эти "антагонизм" и "вражда" — только в сознании или голове нашего богослова.

Наш интерес поэтому состоит не в том, чтобы опровергать истинность такого тезиса и доказывать обратный — отношение согласия: ибо кто же опровергает то, чего в действительности нет? Наш интерес в данном случае исключительно психологический: объяснить, *каким путем в сознании г. Розанова образовался такой антагонизм.*

Читатель не может представить себе, как просто объясняется такое печальное психическое явление...

В Ветхом Завете г. Розанов нашел Заповедь Божию: *раститесь и множитесь и наполните землю* (Быт. 1, 28); в Ветхом Завете он нашел "обрезание" как Божественное установление: и вот он носится всюду с прославлением этих двух заповедей. Худого в этом, конечно, ничего нет: напротив, возвещение этих заповедей достохвально, как и возвещение *всего Ветхозаветного Закона*: но худо то, что в этих двух заповедях г. Розанов нашел неопровержимый базис для своей теории "поклонения полу".

В Евангелии г. Розанов не нашел ни заповеди: "раститесь и множитесь", ни обрезания, но нашел здесь антитезы: "лучше не женитесь", "кто ради меня не оставит *мать* свою и *отца* своего — несть Меня достоин" (стр. 53).

И вот в каких словах он выражает отношение Евангелия к Ветхому Завету по вопросу о браке:

"Лучше не жениться... Таинственные слова по духу, по положению, по судьбе в истории. Только одна строка, *неуловимо нежное указание*; но в то время как тысячекратно повторенные слова о любви "даже и к врагам" не получили никакого развития в христианском мире, не выросли в катехизис, не сложили из себя богословия, не оделись в каноническое право и не создали никакого специального учреждения, если не считать нарезных пушек и игольчатых ружей "для врагов"¹, — это *нежное указание*, собственно, облекло все христианство, всему ему сообщило колорит, тембр. Оно так кратко, так необыкновенно, так *ново* по отношению к Ветхому Завету, что, принимая во внимание слова: "Я не разрушить пришел закон, а исполнить", его можно было бы счесть интерполяцией текста, если бы еще некоторые в Евангелии слова не составляли отдаленного к нему преуговления: "Кто *матерь* Твоя и *братья* Твои?" — "Слушающие слово Мое суть братья Мои и мать Моя". Это — небесное училище без кровных связей и даже с неуловимо тонким их отрицанием. "Кто ради Меня не оставит *мать* свою и *отца* своего — несть Меня достоин". Опять специальная нужды упоминать именно родные, кровные узы как предмет разрыва — не было здесь; и можно думать, что центр тяжести здесь именно в этих узах, а "несть Меня достоин" есть лишь случай и повод указать на противоположность Христова и плотского. "Ты — Петр и на сем *камне* (пустыня) созижду церковь Мою" — есть как бы предуготовление, что вся церковь, почти вся будет построена на характере пустынного, пустынножительного бытия. Голгофа! Все эти тайные указания суть предуготовления Голгофы, и христианство не ошиблось в постижении Евангелия, выросши все в дух, в глубину, в философию и поэзию Голгофы. "Сораспинаемся Христу", "распинаем страсти"... "Что есть человек? — трава селеная; днесь есть и назавтра нет ее", — поет один церковный стих. Да и один ли? Религия "среды" и "пятков", она увита, повита погребальными покровами. Как кратко крещение, как бледно венчание, краткотечны и торопливы исповедь и причастие! Но человек

¹ Обратите внимание, читатель, *какая ораторская техника* в сочетании предположений, из коих каждое — *ложь и клевета.*

умирает, и вдруг христианство вырастает во всю силу: какие пения, какие слова! какая мысль и, повторяем, поэзия" (стр. 52—53).

Мы привели такую большую тираду с тою целью, чтобы наглядно доказать то наше заверение, высказанное ранее, что г. Розанов отлично работал "головою", но при сильном на нее давлении его "седалища души". В чем дело?

В том, что во время его богословских работ "память" совершенно изменила ему, во I-х, относительно существования в Ветхом Завете заповедей VII и X; во-вторых, относительно действия в истории народа Божия грозной гарантии исполнения первой из этих заповедей — побения камнями за нарушение ее. Умолчание об этих заповедях закона Божия в статьях г. Розанова обращает на себя внимание. Что значит это умолчание? Почему его почитатели не обратили на это внимание — нам не представляет никакого интереса. Но это неважное на поверхностный взгляд обстоятельство отлично объясняет тот психический феномен в сознании г. Розанова, который сам он назвал враждою двух Заветов, "тайным антагонизмом Ипостасей Божества".

Ни на минуту нельзя сомневаться в святости и величии Господней заповеди: "раститесь и множитесь". В ней христианские юристы видят Божественное основание всего *частного* или гражданского права: семейственного, супружеского: права собственности движимой и недвижимой (Пухта). Но как человечество *исполнило эту заповедь*? Г. Розанов прав, когда находит указание своей теории "преклонения полу" во всем язычестве. Да, практические поклонники его теории действовали тогда: "ужасы разврата" — вот что встретило христианство в нравах греко-римского мира и в народах Востока. Нескольку лучше исполнилась эта заповедь в народе Божиим под влиянием нравственного (на совесть) воздействия заповедей десятизакония и под страхом жестокого возмездия за их нарушение. Но и на долю народа Божия выпало незначительное искажение в толковании этих заповедей и применении их в судебной практике. Еврейская юриспруденция затемнила ясный смысл их значительно окрепшим ко времени пришествия Христа Спасителя "преданием старцев", которое *односторонне*, т. е. по отношению только к преступной женщине, применяло жестокую кару за прелюбодеяние, почти совершенно освободив от уголовной и нравственной ответственности преступников мужчин (вспомните знаменитых старцев — судей Сусанны) и унизила положение жены-матери в семье до степени рабы господина-мужа.

"Предвечное Слово", Вторая Ипостась, по точному изображению Евангелия, действует как *Истолкователь* изначального смысла закона о браке (от начала же не быть тако), данного *Законодателем*: как *Искупитель* и *Ходатай* пред *Праведным Судиею* за нарушителей его — прелюбодеев и прелюбодейц — *кающихся* и так. обр. устанавливает *согласие* Ветхого и Нового Завета. Отношение *согласия* Ипостасей *Отца-Законодателя* и *Судии* и *Сына-Истолкователя*, *Искупителя* и *Ходатая* не колеблется никаким антагонизмом, ни явным, ни тайным.

Изъясненная Христом изначальная норма исполнения заповеди: "раститесь и множитесь", состоящая в равном и нескончаемом взаимобязательстве единого мужа и единой жены (еже Бог сочета, человек да не разлучает), есть вечная божественная норма брака, составляющая одинаковое достоинство и Нового и Ветхого Завета. Ее действие с одинаковою силою обнаруживается и в горьких покаянных слезах Давида, обличенного Нафаном (Псал. 50), и в блуднице "зельно слезящей" у ног Христа Спасителя. Она доселе действует краскою стыда на лице мужа и жены, обличаемых совестью только в "пожелании", только "во взгляде ко еже вожделеги" (чужого мужа или чужой жены), если только совесть их не убита теориею "поклонения полу", блестящим провозвестником которой выступил в нашем отечестве г. Розанов. Эта вечная божественная норма лежит в основе христианского нравственного учения, по которому полосочетание мужа и жены есть брак чистен и ложе нескверно, великая тайна в образ союза Христа и Церкви; а полосочетание прелюбодея и любоддея, будь это простой мирянин, монах или безбрачный католический священник, есть грех, нечистота, свиство. Г. Розанов недоумевает, каким это образом выходит, что один и тот же акт полосочетания

в одном случае великая тайна, в другом — великая мерзость. — Недоумение великое, которое не затруднилась бы, однако же, рассеять г. Розанову каждая христианская женщина, если бы только он не *позабыл*, что в Ветхом Завете, кроме заповедей "раститесь" и "обрезания", есть еще заповеди "десятословия", и с этим забвением не обронил, так сказать, ключа к разумению *согласия* обоих Заветов в учении о браке, *одинаково враждебных* теории "поклонения полу".

Что касается сопоставления г. Розановым заповеди: "раститесь и множитесь" и слов Евангелия, так нелепо-тенденциозно истолкованных им в приведенной выше тираде, то эта антитеза — ораторский прием такого же достоинства (*qui pro quo*), как и антитеза сказаний об избииении младенцев Иродом и о бесплодной смоковнице. Доказывать это — кажется — излишне.

Нам остается рассмотреть еще характерную черту в богословствовании г. Розанова — его резкое и настойчиво защищаемое различие в христианстве и в самом Евангелии двух культов: культа Вифлеема и культа Голгофы и Креста. Мы отказываемся, однако же, от подробной характеристики этого пункта в богословии г. Розанова именно по двум основаниям:

1) В формальном или методическом отношении этот пункт ничего особенно характерного не представляет. Основание для различения, для противопоставления их как враждебных культов то же самое, которое служило основанием и для измышлений антагонизма между Отческою и Сыновнею Ипостасями и между Ветхим и Новым Заветами — т. е. культ Вифлеема будто бы благоприятствует теории "поклонения полу", а культ Голгофы и Креста решительно отрицает это "поклонение полу".

2) Характерным этот пункт представляется по своему содержанию. Но это содержание до того *нестерпимо-богохульно*, что мы решительно отказываемся на странице "Богословского Вестника" занести хотя бы одну фразу из этого богословия. Вполне развит этот пункт в статье "Семья как религия": сюда мы и отсылаем читателя. С своей же стороны всю характеристику содержания этого пункта ограничиваем следующими словами: здесь воздаются гнусные похвалы культу Вифлеема, гнусные сближения с языческою мифологиею и высказываются неслыханные доселе в литературе поругания Голгофы и Креста: для г. Розанова этот культ — *страшен...*

В конце своей книги г. Розанов предрекает близкое падение христианства и торжество своих теорий в следующей речи:

"Иерихонская стена" невежества и атеизма (т. е. христианства) рухнет перед этими трубами "отцов", трубами "матерей". Т. е. "небесный Иерусалим" прямо спустится на Исакиевскую площадь, а торговцы "Щукина двора" возьмут "пальмовые ветви" и "оденут белую одежду" (одну?), не дожидаясь ни смерти, ни суда, и восклицая: "*ни смерти! ни суда!*" (стр. 270).

Вот прекрасная и тихая картина художественной кисти самого г. Розанова, изображающая будущий семейный быт, созданный "русским гением". Она есть достойное целой книги заключение и наилучшая автохарактеристика автора.

Что же он? Не гений ли, не пророк ли?

— Ни то, ни другое: это — паяц или тяжело недугующий человек.

Выслушав этот строгий, но правдивый приговор: ибо каждый иной был бы неверен, — читатель имеет право спросить нас: да стоило ли труда, стоила ли такой обширной рецензии эта злосчастная книга?

Вопрос для нас не непредвиденный, и вот ответ на него:

Она не заслуживала бы внимания, если бы автор выпустил ее в свет только под своим именем, но ведь он рекомендует себя публицистом, которого удостоили если не полной солидарности, то во всяком случае глубокого внимания следующие органы столичной прессы: "Биржевые Ведомости", "Гражданин", "Новое Время", "Русский Труд", "С. Петербургские Ведомости" (см. предисловие).

Молчаливое презрение к такому патентованному публицисту едва ли может найти достаточное оправдание.

“Но, — заметит, может быть, иной неотвязчивый читатель, — вы, г. рецензент, только и занимались тем, что выясняли нелепость воззрений г. Розанова, а с своей стороны почти ничего положительного не высказали о браке, хотя бы по учению церкви и Евангелия”.

— Правда; но ведь я и писал только рецензию о книге; а с другой стороны, ведь несомненно же явствует из этой книги, что г. Розанов не признает достоинства человеческого разума, не придает никакой цены науке, в особенности богословской, по своему усмотрению распоряжается Ветхим Заветом и требует идейного или существенного преобразования Нового Завета — ведь все это напечатано в его книге: так посудите же, неотвязчивый читатель, можно ли сойтись на чем-нибудь с таким мыслителем. А ведь он вызывает на объяснения по предмету такой важности, как святыня семейного очага.

Вот если г. Розанов откажется от своей гносеологической теории, “разбьет ее, — выражаясь языком *жизнерадостной* еврейской поэзии, — о камень, как *младенца океанной дщери Вавилона*”, даст слово уважать “логический порядок”, авторитет наук, авторитет обоих Заветов: тогда и я дам обязательство отвечать на все его запросы с полною обстоятельностью.

Н. Заозерский

Когда я (через несколько лет) купил Вигуру: “Толкование на Ветхий Завет” (заглавие какое-то другое, тема — *эта*), я нашел у него почти то же, что у Заозерского. Заозерский не от себя говорил, а от имени всей богословской науки, не только русской, но и западной.

Так образ, до меня не был понятен самый план всемирной истории. “Первинки”...

— Первинки! — Первинки! — Первинки!

И старый иудей выходил в сад, — ну, в какой-нибудь садишко Назарета и оглядывал все вишенки, все яблоньки или черешни, “первый персик” и прочее — обвязывал его ленточкою (“отмечал”): и потом снимал и корзину первинок нес в храм — “Нужно ли потрясать первинки в Храме”(талмудический вопрос)? — “Нужно! Нужно! Нужно!”

Что такое? — Да запах. Запах “первинок” доходил в Храме до одурения, этот особый весенний-осенний запах (*завязь, зрелость*): и ноздри иудея расширялись, и он чувствовал себя в Элизиуме (на “том сладком свете”).

Что же такое эти первинки и в них ли дело? В Назарете сверх обрезанных людей были и “обрезанные плоды”. Когда я в первый раз наткнулся в Талмуде на “обрезанные плоды” — то чуть не свалился со стула. Конечно, дело не в “первинках” яблони и вишни, а в первом брюшке девочки и первом “семячке” мальчика. “Семячки! Семячки?” — вот головокружение Израиля. — “Дай первое брюшко”. — “Дай первое семячко”. — Скорее, скорее, как можно раньше! О неприличии нет и речи: кто же его заметит, когда у всех кружится голова. А “кружится голова” у всех, от Назарета до Гаваона. “Царь (или “князь”, вообще “великий человек” в Израиле) делал костюм дочери своей, стоивший 20 000 сиклей (100 000 рублей по-нашему): она дожидалась левиратного мужа”. А так как мальчик, которого дождалась овдовевшая супруга его старшего брата, пышная красавица 30—35 лет, мог и умереть от какой-нибудь отроческой болезни и тем “оставить брата покойного без удела в вечной жизни”, по-нашему как бы “без Царства Небесного”, то он исполнялся *при самой ранней возможности*, едва вот “завяжется

семячко” у мальчика, едва “что-нибудь выдет”, в состоянии “выдти”... “Левиратный брак”, — каковы бы ни были его метафизические мотивы и первоначальное богословие как картина и “материя вещей”, заключался в “ложе” 35-летней женщины и 10, 11-летнего по-нашему бы мальчика (в Талмуде есть упоминание о браке 6, 5, 4 и 3-летних супругов, мальчиков или девочек — не ясно). Тут проходил такой “огонь молохов” пола, какой нам непредставим, да и не нужен. “Не интересно”... О чем весь Израиль трепетал, — содроганиями нам вовсе не понятными...

Ну, хорошо: а в Евангелии о “выгоне торгующих” из Храма, без упоминания, что “вышел торговец — увел и товар”. А товар — *животные*, все “первинки”. 3-летние горлянки, барашки, овечки, телятушки, бычки... Всякого “по паре”, и в храме они располагались “гнездами”, а не монашески “каждая особь отдельно”...

И шумы, битвы...

Восстания. Баркохба.

Но когда прошумело все: улеглась пыль. Оглянулись: “первинок нет”... Нет первинки!! *Куда девались? О них не было речи.* А только стало “вообще все это” как-то “не нужно”. Ни — первинки, ни брюшко. Ни — первое семячко. Какое “первое”. “Первое, среднее”... “Среднее, последнее”. Кто о таких *гадостях* говорит... Кому нужно и кто *интересуется*, “первое” ли, “последнее” ли...

— Последнее — это *старческое*, — поднимает глаза еврей, выгнанный из храма.

Никто ему не отвечает.

— Старческое — это *негодное. Бессильное*...

И опять никто не поднимает вопроса. Споры идут — уже совсем о другом, о “двух волях в одной природе” или об “одной воле при двух природах”...

Весь пыл перенесся уже совсем в другие поля битв.

Но боюсь, среди сражений
Ты утратишь навсегда
Негу ласковых движений,
Прелесть кожи и стыда...

Воображаю “кожу” и “движения” у Заозерского и у тайных советников. И у российских социал-демократов.

* * *

1.V.1914

Только через десять лет после умственного спора с Церковью, догадываюсь теперь, что и не нужно в Евангелии “улыбки” и “маленького житейского смешка”; и что хорошо, что священникам “запрещено ходить в театр”.

Нужен *склад* серьезного. Великий склад, амбар, запас... Нужен “угол” в доме мировом, где бы *вовсе не смеялись* и *вековечно не смеялись*.

Смотрите, придут минуты: когда неоткуда будет взять “серьезного”. А оно так занадобится вдруг, “вот на эту минутку”: которую если *не провести серьезно* — то придется умереть.

И умрут. Потому что “на тот час не хватило серьезного”.

Вот.

И улыбка прекрасна.

И смех — хорош.

В себе самих и вековечно и универсально. Но есть страшные уголки, где "нельзя смеяться". И ради них, уговоряя их, обезопасивая человечество для сих страшных минут, Евангелие заботливо "не улыбнулось" и "своим избранным" (попы) запретило удовольствия.

Никогда не понимал. Только — сейчас.

* * *

1.V.1914

— Плут, вы говорите: хорошо! Но покажите же мне, мелочь, чтобы ваши кислые добродетели принесли столько пользы народу, сколько мои "злодеяния"... Ха-ха-ха... И не вам судить мое окаянство, — уж во всяком случае не *вам*.

— Дорогу!.. Иду в Аид. Иду сам. И пробуду мою каторгу, и вернусь к Богу светов. Вернусь, куда вас с "чистенькими добродетелями" не поустя...

— Да и не помнят их вовсе, не "засчитали", Ваши Плюшкинские Чистоопрятности. Дорогу! — Ад или Рай примет меня, мне везде — МЕСТО. Тогда как вас изблевал и ад и рай и у вас вообще нет НИКАКОГО МЕСТА.

— Иду. К Богу. К народу. Но не к вам. И на коленах перед вами ни в каком случае не стану.

(возможный ответ Некрасова)

* * *

1.V.1914

Как получишь в морду — почему-то приятно.

Почему?

Неотделимое изначальное чувство греховности, "дурного" в себе, недостойного в себе. "Не по тому ты, дурак, адресу дал (не за *те* пороки): а *получить мне следовало*".

Вот.

∞

Федор Павлович К. хотел покормить друга и сказал ему:

— Хочешь?

— Нет, я уже на действительной службе, — ответил тот.

Он был большой барин. Прошелся по комнате и сказал:

— Одни воспоминания.

Федор Павлыч был любителем русской словесности и сказал в утешенье:

— Не ты один, но и Пушкин.

...Он сказал себе и всем подобным в утешение:

Все, что было, — все пройдет.
Что пройдет, то станет *мил*.



"Слово — серебро, молчание — золото", — говорили члены старого Государственного Совета, — и клали 16 000 кругленьких в карман за молчание.

Однажды наименее разумный из них вздумал заговорить. Но его остановил председатель, сказав:

— Вы не понимаете своего положения. Сострадательное начальство вместо того, чтобы выгнать вас в чистую отставку за негодную службу, сделало из вас ЧТО-ТО, что издали может показаться произносящим некоторые звуки, но вблизи оно должно быть полным безмолвием.

Члены безмолвствовали.

* * *

2.V.1914

"Хорошо" у Толстого всегда есть то, что "я делаю". Счастливое, почти божеское убеждение.

Совокуплялся ли он — и хвалил совокупление и семейное плодородие.

Перестал совокупляться, — и сказал: "Хорошо не совокупляться".

Охотился ли, лошадничал: и хвалил охоту и лошадей.

Земледельничал и писал: "Хорош труд земледельца".

Стал класть печь вдове. Выходило плохо. Но он писал: "Хорошо".

Тачал сапоги еще хуже: но и сапоги ему нравились.

Так все 70 лет не мог сойти с коврика, подостлванного самоуслаждением и лестью, на котором читал одну короткую молитву фарисея:

КАК ХОРОШО ВСЕ, ЧТО Я ДЕЛАЮ.

* * *

3.V.1914

В чем "суть Розанова"?

В великой *новорожденности*.

Странно, конечно, до 58 лет не знать, что "люди умирают". И только с 58 лет (с 56) начать великим удивлением удивляться, что "люди действительно умирают", и — "что это такое", что они умирают: какой в этом "смысл" или "бессмыслица" и "что же *потом*" и вообще "около". Подобно этому с 1897-го и лет 6 я стоял перед великим недоумением, что "родители зачинают детей", что вообще "есть *два* пола, мужской и женский", что образуется "семья" и т. д. Из этих-то моих великих "незнаний", как у новорожденного, и произошли страстные, горячие, многолетние — "узнают", "вглядываюсь и узнаю", "размышляю и узнаю"... Если бы я с 10 лет, как все, знал, что "люди умирают — и просто" и "зачинают — и еще проще", то я бы ничего не узнавал, ни к чему не стремился и "был обыкновенным человеком". Но я истинно "необыкновенный человек": не тем, что у меня есть "больше", чем у других, а тем, что у меня есть "меньше", чем у других всех. Человек без ноги; человек без основных и главных знаний, которые всем присущи. Без

которых нельзя существовать, жить, дышать. Без которых "неприлично человеку обходиться". Но теперь послушайте, что же из этого вышло: от великого "нет" и получилось великое "да". С силой и любопытством новорожденного, с новизной новорожденного, с неутомимостью ума его и глаза, я обратился к "ногам, на которых ходят все люди", — к 5—6 точкам человеческого обихода, человеческого существования, на чем держится существование всех, — и познал "ноги человечества" так глубоко, как вообще их не знают "ходящие". Моя мысль с гимназичества — "быть бы Карамзиным" (и для этого уже в университете собрал его Орега оппиа¹ в кожаных старых переплетах — и до сих пор держу перед глазами) — ведь в сущности осуществилась². Если принять во внимание, что мои "великие новорожденные удивления" сосредоточились на следующих точках "мирового горизонта":

1) Как, что и до каких пор человек узнаёт? Что это такое, что он "понимает"? (книга "О понимании").

2) Как, что и почему *рождается*? ("В мире неясного и нерешенного", "Семейный вопрос в России").

3) Почему люди *умирают* (сегодняшняя тема, до 56 лет "не приходившая в голову").

4) Школа...

5) Религия...

6) Язычество и христианство...

7) Ветхий и Новый заветы, Иегова и Христос, евреи и европейцы...

То, если даже допустить, что я все "вздор говорил об этих предметах" и что я "во всем ошибся", то уже по самым *вниманиям*, страстным и впивчивым, в эти именно *кардинальные точки существования* выйдет не только "на мой взгляд", но и на "взгляд всякого гимназиста" ("сразу понятно") — что я был наиболее культурным и образованным человеком России за XIX век, а следов., и вообще за все века.

Тут нужно принять во внимание следующее: конечно, "касались" этих вопросов все и "проходили этими путями все", и в этом смысле "в Розанове нет ничего нового". И можно прибавить насмешливое: "Розанов *нов только для себя*"... Положим, и на критику эту я не мог бы ничего возразить. Новизна заключается, однако, в "новорожденности". Все эти "общие знания" для меня совершились как "первые и изумляющие открытия": вследствие чего, тогда как остальные все люди "скользили около этих тем и *не останавливались над ними*", я остановился как на предмете *специального многолетнего внимания*. Ну а "долго смотреть" — всегда что-нибудь "увидишь, чего не видел никто". Нельзя отрицать, что во всех этих точках я открыл "стороны, никому не приходившие на ум". Напр., никому — притом в *европейской литературе* — не приходило в голову, что "развод" (супружеский) есть "как бы ранка, которую *опасно закрывать*", есть "исток дурных соков" из семьи — что развод *очищает семью*, и чем он *облегченнее*, по требованию, и притом *малейшему, одной стороны*, тем в стране, в России, у евреев, у кого угодно и в какое угодно время, — семья *чище и, след., крепче*,

¹ Полное собрание сочинений (лат.).

² Струве (П. Б.) кой-что понял во мне, — и понял первый. Раньше его "в том же роде" думал Шарапов.

идеальнее, возвышеннее по тону, по нравам. Это решительно есть открытие. Это никому на ум не приходило. Все думали, что развод происходит "из дурных нравов"; что облегчить его — значит дать "простор хулиганству". Между тем даже духовенство, чиновники синодального ведомства, вообще все не "мальчишки", а именно солидные люди — усвоили мою точку зрения, согласились с ее простотой и ясностью: и теперь вопрос идет просто об *упорстве, упрямстве* высоких духовных особ, — и нисколько не идет ни у кого о принципе.

Таким образом, самая косная страна в вопросе о разводе, Россия — стала впереди всех стран Европы по ясности понимания этого дела. И, конечно, эта точка распространится и в Европе. Истина вообще "одолеет все", а здесь много сказала простая и очевидная истина.

Отчего? Я не собирал ни статистики, ничего. Кто "собирал" и "знает" и "изучал" — сидит и "ныне там", т. е. ничего не знает о семье и разводе, кроме шаблона, кроме того, что "все знают", от римлян, пугавшихся развода, до католиков XIX века, думающих так же, как римляне. Но мое великое указание (поистине великое), что у римлян семья развалилась от того же, от чего она уже со времен маркизов и до сих пор разваливается у французов, — именно что "за закрытием фонтанели" (ранка на теле) все потомки семьи, все отравляющие ее яды, между которыми основные есть *ложь и злоба*, загоняются внутрь семьи и гноят ее, умерщвляют ее, что и у римлян, и у французов (кроме исключений, случайных удач) есть только *пассивная семья*, семья как "долготерпение" и до известной степени — окаянство, тогда как у евреев благодаря многотысячелетней свободе развода (еврей-то об этом своем богатстве *промолчали* в Европе, и ни один еврей даже *не обмолвился* добрым советом, добрым указанием на себя, на своих, на свой народ и историю) семья активна, свежа, чиста, — это указание парализовало все возражения "от факта"...

Отчего же это я узнал один, "не собирая сведений"? Другие "ходили", а я думал, "почему и как все ходят".

Все "жили в семье", не задаваясь вопросом, "как и почему живут". Случались "истории", и думали все, что это именно "истории", "частности", "личное". Я же сказал, что *организм вообще вырабатывает иptomашины*, кроме здоровья и сил, и что это — *вечная его сущность*, что семья *болеет*, как все *живое*, и болезней не надо ни пугаться, ни отрицать их и не говорить больному: "Ты сам виноват — болей теперь и даже умирай", а надо в каждом единичном случае изучить болезнь и даже дать почти универсального исцелителя-очистителя: развод. Который на месте *одной* отвратительной, прелюбодейной, озлобленной семьи — зарождает две *чистых и свежих*.

Процедура развода — две недели (даже нужно меньше — три дня, — "поговорив серьезно"). А если не развести, то "парочка" лживых и ненавидящих друг друга супругов — *тридцать лет* будет отравлять историями, скандалами, любовничеством на стороне и тайным и явным разрывом жизнь целого общества, жизнь целого народа, села, усадьбы, царства.

Все будут смотреть на нее, все будут ужасаться, везде будет распространяться испуг перед "вступить в семью", "жениться": "посмотрите, что это *за мерзость*", "посмотрите, что это *за несчастье*"... И это

будет сказано, повторено столько раз, сколько дней они живут, и столькоими людьми, сколько их видят.

"Проклятая семья", "проклято самое существо ее" — это будет сказано 30 (число лет жизни) × 365 (дней) × 10 (зрителей — предположим) = 109 500, то *девять тысяч пятьсот раз*. О счастливой семье — что же ведь особенного говорить.

"Счастливицы не имеют истории": наоборот, о несчастной семье *непрерывно говорят*, о дурной семье — *непрерывно говорят*: и вот источник, что о доброй еврейской семье нет ни истории, ни разговоров, а об *отвратительной римской семье* и об *отвратительной европейской семье* исписана решительно половина литературы этих стран...

Все ясно, все просто, все убедительно. Да *отчего?* Да оттого, что все "ходят" и им, естественно, надоела "ходьба" и "тротуары" и "мостовые" — надоели эти "трамваи" и "все пути сообщения": но Розанов, который неестественным чудом в 57 лет "точно еще не родился на свет" и "лежит комочком под сердцем своей матери", — посмотрел с великим *любопытством*, с великой *новизною* на этот предмет; и, поистине, с неугомленной, неизжитою любовью. Вот еще сторона: топя ногами, я могу закричать всем людям: "*Кто из вас так любил жизнь вашу и вас самих и судьбу вашу, как я?*" А это дело большое. Устал писать: но со всех сторон очевидно, что "неладно рожденный человек" вышел в "особенную судьбу". И теперь, ставя точку, я могу сказать:

— Вышло! Вышло! Вышло! *Beatus possidens...*

Разумею Карамзина. Устал. И Господь меня благословил. И среди людей я живу спокойно.

* * *

3.V.1914

Забава Путятишна зажмурирует глаза, когда танцует Дункан. Отчего же она зажмурируется?

Потому что весь свет затыкает уши, когда поет Забава Путятишна.

* * *

3.V.1914

Зачем им иметь мысли, когда они владеют словом?

И зачем им усиливаться, оспаривать, побеждать, когда печатный станок разносит всякое их слово от Петербурга до Владивостока?

Тогда как обывателя едва слышит сосед, какую бы он глубокою мыслью ни сказал, — и нежность, и ласку, и любовь.

(к победе Оль д'Ора над миром)

* * *

3.V.1914

Как же это вышло, что Оль д'Ор победил весь мир?

Он победил три сердца:

Кугеля, Гессена и (кажется) Рябушинского. И три редактора, раздираемые завистью печатать такого сотрудника, заключили условие "в такой-то день поутру выпускать" одну и ту же "вещь" Оль д'Ора в "Дне", "Речи" и в "Утре России".

И вот такую-то "вещь" Оль д'Ора печатают *здесь, там* и в *третьем месте*; сразу в Петербурге и Москве. И 100 000 читателей "сегодня утром" прочтут анонимную сплетню Оль д'Ора на уходящего в отставку министра: сколько никогда не имел читателей Пушкин.

Так Оль д'Ор поднялся выше Пушкина, ибо высота автора измеряется числом его читателей. Физическая высота. Но в данном случае выражающая математически точно распространенность психического воздействия.

* * *

3.V.1914

"Это супружество было якорем спасения для маркиза, потому что он разорен, хотя его еще все считают богатым. Он даже хотел себе пустить пулю в лоб, как вдруг ему пришла мысль жениться на вас, Маргарита" (Габрио. "Адская жизнь")

Маргарита была красавица, 20 лет, которой анонимно были завещаны миллионы. Не в том дело, а в слове: "Хотел пустить пулю в лоб, но пришел на мысль, что может еще "жениться".

"Жениться" — меньшее несчастье, чем застрелиться. — "Еще можно как-нибудь выплыть".

Вот на что надо обратить внимание духовенству; и Флоренскому, и Цветкову. На то, что эта формула уже пошла в Европе, "не нова", не пугает и повторяется, как "обыкновенная мысль".

Между тем ведь это "пришествие Антихриста". Вы не чувствуете? — Полное пришествие. Я говорю, что Антихрист придет не в громе и молнии, а в чистописании.

Я побледнел глубокой бледностью, когда одна девушка, взволнованная и любящая, воскликнула о сестре своей.

— Боже мой, ведь едут же студенты на холеру, на болезни, тиф — рискуя *заразиться и умереть*. Отчего же им не жениться на этой девушке, тоже принесла себя в жертву.

Смертельный испуг прошел у меня в душе. "Се стою у двери и стучусь". Что-то апокалипсическое, что-то "от серы и огня с неба", а между тем — "чистописание", обыденщина. Куда же девалась радость земная —

...Афродита земная,
Радость полей и лугов, и лесов.

Ужасы! Ужасы! Ужасы! Сера, сера, сера!

* * *

7.V.1914

Кого любят боги, любят и женщины. Одна из причин литературной победы прогрессивного и европейского течения русской мысли, бесспорно, заключается в том, что западники больше нравились женщинам.

*Bella gerunt alii, tu, Austria, felix — nube*¹.

¹ Пусть воюют другие, а ты, счастливая Австрия, заключай браки (*лат.*).

Я был поражен, когда, читая историю "страстотерпения" "Русских ведомостей", попал на отдохновенную страницу, что между Соболевским, основателем их, и миллионершею Морозовой завязалась "симпатичная дружба" и по воскресеньям они обыкновенно выезжали вдвоем в Клин (городок около Москвы), — чтобы провести в уединении и симпатии день. И все друзья приветливо говорили, что в высшей степени приятно наблюдать этот роман интеллигенции и капитала. Вообще радикалы предпочитают брать "со средствами", по примеру Лео Гутмана в "Один в поле не воин" Шпильгагена и — нашего Базарова, начавшего роман с богатой Одинцовой. Когда я думаю о колоссальной разнице в судьбе и во влиянии на общество и на литературу умного и благородного Страхова и гораздо менее его образованного Стасюлевича, то я вспоминаю, что первый даже вовсе "прогулял свою натуру", забыв жениться, а второй богато разработал натуру, поместившись в зятя к банкирскому дому евреев Утиных. "Был у меня Вл. С. и рассказывал, что он обедал у (банкира) Гинсбурга и что за обедом был и Стасюлевич, а также посланник нидерландский".

— "Ну и что же из этого", — заметил неопытный Страхов. Соловьев промолчал. Соловьев вообще умел хорошо обедать и, принимая у себя в Hotel d'Angleterre студентов и курсисток, к обеду переодевался и ехал туда, куда переодевался и тоже ехал нидерландский посланник. Студенты, конечно, делают шум и славу, но au fond¹ стоит банкир; и не русский же человек поморщится, если он — еврей. Тут космополитизм очень помогает и все сглаживает, а за обедами в высшей степени помогает пищеварение. Страхов не понял того сострадательного взгляда, какой, вероятно, бросил на него Соловьев. Если я у кого обедаю, то я у того и пишу, и Стасюлевич, счастливо женившийся, женился не только хорошо для себя, но и хорошо для меня. Он даже "хорошо" женился для Станкевича и Белинского: п. ч. он начал издавать и 43 года издавал самый распространенный и влиятельный журнал, "Вестн. Европы", в котором пишу и я, и Пыпин — и Пыпин все вспоминает Николая Гавриловича, а я все напоминаю о католичестве и как его угнетают в России.

Страхов же, никуда не пристроившийся по женитьбе, не пристроился никуда и по литературе, печатаясь в каком-то "Русск. Вестн." с его 1500 подписчиков-чиновников и с сотрудником Стахеевым.

Так "союз интеллигенции и капитала" повел, почти механически, к победе "хорошего направления", и будущие Несторы Котляревские, Овсяннико-Куликовские и Гершензоны, разыскивая "источники" и причины побед и поражений, конечно, должны будут обратить внимание на полемики и критические бури: но не должны забыть и идиллических мотивов, кто с кем обедал, как "с девушками они рвали цветы" и в заключение "вели их к алтарю". Особая глава истории литературы должна быть отведена вообще "семейным узам", без которых, как бы ни старались историки, все-таки многое будет непонятно и не освещено.

Настоящего реализма еще не настало в истории, и я первый говорю: "Господа, пожалуйста посмотрите в ваши кошельки".

¹ в сущности (фр.).

* * *

7.V.1914

...да евреи очень хорошо рассчитали, что когда русского человека режут на одной улице, то на другой проснувшийся русский спросит себя: "никак скрипит дверь", "не то воеет в трубе" и (схитря): "не *человека* же душат, Господь с нами", — перекрестится, повернется на другой бок и заснет. Они это очень хорошо рассчитали, и на этом рассчитан Ющинский и такие.

(радость Левина)

* * *

8.V.1914

У Набокова до того закружилась голова от хорошей женитьбы, что он вместо спальни попал в Госуд. Думу и потребовал отставки правительства. Такие "Александровы Ивановичи" даже Гоголю на глаза не попадались.

И бедный не знал, не думал, воображения не хватило, что ведь после того, как он выговорил на всю Россию: "Власть административная да повинуется власти законодательной" (запомнил прилежный мальчик), КОЙ-ГДЕ, без сомнения, почтительно докладывали или так "смеялись за чашкой чая", как он хорошо устроился.

Нет, я понимаю, что Гоголя можно ненавидеть. А все-таки иногда почувствуешь в нем и нужду.

* * *

8.V.1914

...Сынок даже пожелал смерти родной матери, сказав: "Скорей бы там все кончилось". Мать, около детей умирала в одной квартире. Он лежал неделями в своей комнате. "Прекратились дела" (время Дум)... впопыхах еще что-нибудь начать, он и сказал: "Хоть бы все *кончалось*".

А был добрый, милый, в детстве. Ст. их "инспектировал", — как я сообразил года два спустя. И мой племянник "лежал на диване", дожидаясь директивы от Ст., а Ст. произносил речи в Большом Городе и хоть жил, конечно, "аскетически", как все революционные фарисеи, но, однако, просвещал "соотечественников", читал им специальные лекции и красовался речами и умом и перед "гоями".

Вот Елизавета Кускова и Миша Энгельгардт, — мы все эти истории видели довольно близко.

* * *

8.V.1914

...пойдут обедать к банкирам "преемники Белинского"... Уж если можно было, "взирая на его портрет", обогреть старуху, больную, — то почему же кушать-то не пойти?

Мы "дерзновенны":

И для новой красоты,
Преступая все законы,
Преступая все черты,

— пойдём и пообедаем. Очень просто.

А потом, я думаю, "Дубинушку" споем? Отчего нет? Ведь банкир этот, конечно, будет ходить в красном галстуке (Бродский из Киева не носит на шею ничего, кроме красного галстука) и будет уделять "нам" довольно на стипендии...

И студенты споют и "Дубинушку", и потом "славу Моисею Моисевичу". О, судьбу русского студента в будущем я очень и очень вижу.

Бедные. Ничего. "Назвался груздем — полезай в кузов".

* * *

8.V.1914

...там уж как ни толкуйте, а без *огня* не бывает религии...

И вьётся пламя... волнующееся, кверху... Как наше сердце, и в тоске, и в радости.

В тоске оно просит, в радости благодарит.

К огням! К огням!

К огню, человечество!!

(историкам религии)

И я мальчиком, как завораживался пламенем.

* * *

8.V.1914

Милый мальчик: если тебе попадетя эта книжка, вспомни минуту, — и маленький свой труд, который тебе стоил едва ли больше часа. А я 20 лет, — хоть раз по 6 в год, — думаю о тебе, люблюсь тобою, благодарю тебя.

Ты помнишь, в 2-м, в 3-м классе, — скромно встав с парты, подошел к учительскому столу и подал мне что-то черное из сукна.

— Это что? (я). — Это вытирать перья, — сказал мой милый мальчик.

И вот вообрази: до сих пор цела — и не как "археология" и "воспоминание", а для дела и живет полной жизнью.

Страшно крепко сшита. Она не очень красива и "черт знает что такое": но страшно *удобна* и все валяется у меня на столе, и хоть у меня бывали (случались) и другие "вытиралки", но твоя всех удобнее. Страшно страшна (ни одна нитка не лопнула, ничего не расшилось!) и почему-то даже не грязна и даже не запылена. А между тем за "простоту шитья" ее бешено схватишь и вытрешь "густое с пера" (как сейчас, за нумизматикой).

Из сего ты видишь, мальчик, как ты мало потрудился и сколько вышло от этого удовольствия. Сего ради поступай так и в другом: а главное, я желаю, чтобы другой тебе сделал такую же маленькую, нужную и прелестную вещь "до старости".

Фамилии твоей я не помню.

А не поставил ли я тебе когда-нибудь "2". Тогда извиняюсь и, во всяком случае, целую твою прелестную, теперь уже немолодую голову.

А вы знаете, беляне, что я храню ваши стихи. И пусть они увидят свет <стихи все вписаны>.

* * *

8.V.1914

...да, это обычный путь русских: предавать свою родину и уже потом в пределах и путях этого предательства ходить прямо, никуда не сворачивать, честно "не отрекаться себя" и, одним словом, "не снимать сюртука", блузы, косоворотки или "пиджачка Богучарского".

Так повелись на Руси "честные люди", и если бы не они — пропало бы отечество.

Но они выручили и выручают, сии "cives Romani"¹ Растеряевой улицы.

(*"наши честно мыслящие граждане"*)

Кранихфельд с полотенцем

Кранихфельд — это еврейский критик, мало чем отличающийся от Горнфельда. Оба заменяют собою Белинского. Пишут один в "Русском Богатстве", другой в "Современном мире". Оба носят посудину за русскими писателями "благородного образа мыслей" или за "светлою душою русского писателя". Но еще они "не приносили полотенца и, как говорится, не "держали свечи". Этот новый шаг в критике сделал Кранихфельд по поводу недавнего юбилея Щедрина. Он пишет в "Солнце России" о "светлой памяти великого художника-гражданина", как излагает г. Джонсон в "Утре России": Кранихфельд разыскал отрывок из дневника Салтыкова и напечатал его в № 219—16 "Солнца России". Эта история, а в особенности ее опубликование, может покоробить всякого, чтущего светлую память великого художника-гражданина, — об этом, кажется, не может быть двух мнений. "Салтыков-Щедрин рассказывает о себе вещи больше чем некрасивые. Он пылает страстью к какой-то замужней даме, Ольге Погониной, перелезает темным вечером через забор дома, в котором она живет, подсматривает в окно ее комнаты и делается тайным свидетелем весьма эротической сцены или, как он сам определяет, — "какой-то оргии чувственности", происходившей между нею и неким Дерновым. Застав такую картину, он не ушел, а продолжал подсматривать, причем "сам весь дрожал от сладострастия". А на другой день отправился к ней и рассказал ей все, что видел. И только когда она назвала его подлецом, он понял свою роль и спросил себя, какое он имел право "так нагло и площадно поступать с нею". Он стал просить прощения и плакать, и когда она простила его, ослабевшая и разбитая, он тут же овладел ею, хотя и чувствовал, обнимая ее тело, что в его руках, в сущности, труп, которому чужды его восторги. И потому, когда он достиг своего, его охватили ужас и омерзение: он снова понял, что совершил "гнуснейшее из всех гнуснейших преступлений, которые когда-либо существовали". С ним сделался истерический припадок, и женщина, проникнувшись жалостью, ласково обняла и поце-

¹ римские граждане (*лат.*).

ловала его, видимо, изумленная полнотою и резкостью вызванного ею чувства:

— Бедная, — говорит рассказчик, — она не поняла, что это чувство уже не существовало, что не оно рыдало, а рыдало мое самолюбие, беспощадно уязвленное за минуту перед тем.

А потом? А потом едва ли еще не лучше:

— Через час я был дома и *спокойно себе засыпал*.

История заканчивается записанными через месяц после этого нелестными и ироническими соображениями рассказчика о своей личности и характере”.

Ах, конечно, все люди — люди, и Салтыков был, разумеется, человеком с плотью и кровью, которому не могли быть чужды в молодости и чувственные страсти... Но эта история как-то уж слишком пахуча, слишком унизительна и противна, чтобы от нее не стало больно за Салтыкова. Раз она была правдивой, историк не может ее вычеркнуть. Ей, как это ни печально, должно быть место в полной и обстоятельной биографии. Ничего не поделаешь. Как эта “низкая истина” ни оскорбляет чистое представление о личности Салтыкова, но коли — она истина, ей должно уступить свое место то, что оказалось лишь “возвышающим обманом”...

Да, такой эпизод не может быть выброшен из биографии, раз он был. Но там — и только там — ему и место.

Зачем же, однако, его было выдергивать оттуда и опубликовывать именно теперь, в дни поминок и *чествования* памяти писателя? Всякое ли слово, хоть *наиправдивейшее*, всегда уместно?

Зачем это ему понадобилось?

Дальше сам г. Джонсон о супружестве “светлой личности”:

Женитьба М. Е. Салтыкова на Е. А. Болтиной, в сущности, не роман, ибо отношения, “заканчивающиеся законным браком, как-то даже не принято называть словом “роман”, да и не было в этих отношениях до брака и по существу ничего романтического.

* * *

10.V.1914

”Все не доработано”...

(общие жалобы)

— Господа: если бы было *всё* “доработано” — было бы кладбище. И со своими “жалобами” вы только торопитесь куда-то “на похороны”.

∞

Нет: не такова философия Розанова. Все — в хаос! Все опять “с начала”. Давай, Боже, первый день: не надо твоего Последнего Дня.

Не надо! Не надо! Не надо! Опять — “в пеленки” и чтобы “ходить желтым”. Давай не позже “Рюрика, Синеуса и Трувора”. С этой точки зрения, — с этой *отдаленнейшей* точки, куда в даль едва глаза прорезают, — я за революцию.

Иди, Бакунин: и рви контракты на собственность. Твоя революция — чепуха: но если мы в самом деле имеем в груди “нарисовать вторично всю Дрезденскую галерею” — валяй старую под пушки.

Ах, Бакунин: и я бы с тобою, если б не чувствовал, что мы старикашки и никак из нас "Дрезденской галереи" не выйдет, а только слюнявая размазня.

Глупы мы с тобой, Бакунин: а посему будем сидеть смиренно. Ты-то совсем дурачок, и потому смиренно не сидел, а я поумнее и сажу скрючившись, и нюню в кулак.

* * *

11.V.1914

Сохранил почитание к Отцам Церкви, — к действительно великим *отцам* и действительно великой *Ее*... Но это почитание должно быть веянием в душе, должно быть вдохновением в душе, должно быть благочестиво. Посему по человеческому благочестию своему оно не должно быть геометрическим, как бы холодным уже "признанием авторитета", от линии до линии и "считая по градусам" — "100 градусов", "полный круг". *Здесь-то* и ошибся Лютер, и на этом погибла вся его "реформация". Сказав, и *право* сказав, что "святые (католической церкви) не суть *боги*", он лишил их и благочестивого человеческого почитания, которое на самом деле им принадлежало, — и принадлежало потому особенно, что никто из них не "хватал" его, не "уцепливался" за него. Уже потому только, что они были *святые* — они были и *скромны*, конечно! конечно! И за их святость и в том числе за эту благородную скромность им и дали почитание последующие поколения, — вся церковь. Лютер этого-то всего и не разобрал. Ему следовало *разъяснить* "святость", а не упразднить "святость". Святость — есть, святые люди — есть: без нее и вообще без этих вещей нет церкви и не бывает самой религии (важные разъяснения об этом в "Столпе и утверждении истины" о. П. Флоренского).

Ошибка заключалась лишь в том, что "последующие" веяния духа и порыв сердца окаменели в слова и формулы и соделали из "святых людей" — непогрешимых *богов*. Отнесемся кротко и к этой ошибке, однако оговорив или, скорей, промолчав в душе, что это все-таки ошибка. Люди не боги, и самые святые из них. Посему, когда мне, напр., говорят, что я "приговариваюсь к двум годам безбрачной жизни" (эпитимия), "к трем годам безбрачной жизни", что я "не вправе жениться", когда оставлен женою, уже десять лет живущею где-то на стороне, то я спрашиваю: по *чьему* закону? И если мне говорят: "по правилу 6-му Василия Великого" и "по правилу 11-му Карфагенского собора" или "по разъяснению 17... года Святейшего Синода", то я, *в сем жестоком и особенно трудном случае жизни*, когда страдаю кровавой болью сам, и страдает такую же болью еще другой человек, к которому я столь привязан, что он краше и лучше для меня всего на свете, то...

Разговор должен выразиться так:

— Я немог и не могу переносить. Годы мои — такие, условия и течение жизни — неизвестны: и если *теперь* и вот *этот год*, даже эти *ближние шесть месяцев* — я не вступлю в потребный брак, то чувствую, все естество мое рассыплется, душа угаснет, любовь перегорит, и я буду *покинут* или *останусь бездетен*... Сил моих нет переносить, и я прошу Св. Церковь и вас... моих перед глазами отцов и ее служителей — разрешить мне брак...

На такую формулу отцам следует сказать:

— Милости хочу, а не жертвы, сказал Господь наш Иисус Христос: властью, нам от Него дарованною разрешать и воздать грехи, мы снисходим к твоему положению, чадо, и благословляем тебя в новый брак...

Если же они сказали бы "запрет", законом (уже светским, вообще какой-нибудь "третьей стороны") ему должно быть предоставлено право сказать новую формулу:

— Отцы и учителя: всякий человек знает один душу свою и знает меры своей силы и своего терпения. Не истязует Бог человека. Посему грех пусть ляжет на меня, и вы наложите на меня в искупление его труд и молитву: но от вступления в брак я отречься не могу. Божия запрещения передо мною не лежит (*действительно не лежит*, и Бог ни одним Своим Словом ни один и никакой брак — *это замечательно!!!* — не ограничивал и не стеснял), а через сдерживание Святых Отцов (все-таки Святых и все-таки Отцов) я переступаю по немощи им повиноваться и последовать.

После чего разрешение на брак, — третий, четвертый, одиннадцатый, — при убежавшей или... жене, — должно быть дано сущою в предстоянии церковью, т. е. духовным правительством; если же оно отказало или замедлило, брак немедленно должен быть разрешен светскою властью, гражданским судом и т. д., с законностью деторождения и всяким имущественным устройением.

Вот.

Замечательно, что даже "реформации в Англии", происшедшей из-за такой сущей мелочи, как "неразведение" Генриха VIII с *нелюбимой* им Екатериною Аррагонскою (что же он должен был быть ее "притворно любить"?) и запрещение ему вступить в брак с Анною Болейн, — даже этого великого потрясения и разрушения большого дела Церкви не произошло бы, если бы своевременно в католичестве были заготовлены благие и мудрые формулы.

Но у католиков от древности и до сих пор, как и у нас, положение брака так же элементарно и "по уездному училищу", а не по Академии Наук (в смысле святости, в категории святости).

Тут именно — не додумано. *Специального внимания* на брак не было обращено *ни одного раза* за все 19 веков существования церкви. Ни одного раза... Это много сказано. Это что-нибудь значит... Тогда как, напр., "об исхождении Св. Духа *от Отца и Сына*" — этот вопрос и тема эта вызвала всю остроту ума к себе, и притом первейших в церкви умов... Да и не только это: "Надписи на антиминсе" — имеют о себе целую литературу.

Между тем — *о чем все духовные знают* — у нас "альфа" брака: *степени родства* — исчислены неверно, даже по счету "уездного училища". Церковь и не отвергает, никто из духовенства не отвергает, никто из ученых академистов не отвергает, что "в Христианской православной церкви" степени родства предлагают к соблюдению *те же*, как в Ветхозаветной церкви: ибо в Новом Завете (Евангелии) в устах Христа или в изречениях Апостолов никаких *новых* норм для этого не установлено, и, следовательно, являются обязательными для церкви только священные ветхозаветные нормы.

Все это знают, и никто против этого не возражают.

Но по Ветхому Завету разрешен брак двоюродных и дяди и племянницы. У нас — запрещенный, и даже — строжайше. Почему? *Откуда?*

Ошиблось "уездное училище". Ошиблось в простом счете, в "сложении", притом — не десятков, а — единиц.

Сочтено было (почему?), что в Ветхом Завете "муж и жена" уже считались "первою степенью родства", после чего "отец и мать" — были "вторая степень", "брат и сестра" — "третья степень" и т. д.

В Новом же Завете муж и жена наречены "*едино*"; и в счет церкви сочтены "единицею", т. е. *не составляющими ни в какой степени родства!!!*

"Муж" и "жена" — не "родственники", а — *одно...* Но ведь это, однако, *два лица, два субъекта, два отдельных существа!!!*

Они "одно", как и сказано, — "*будут два в плоть едину*" собственно в совокушении, в краткую его минуту, а не то чтобы "ходя по земле", странствуя, разъезжаясь и даже, наконец, если "жена совсем бросила мужа".

Очевидно, здесь "едино" — лишь *мистериально и филологически*, а не чтобы "в быте" и "в существе". Пусть и будут они "едино" и состоят поэтому ближе, чем "отец и мать", *в первой степени родства*, отодвигая их, отца и мать, — *во вторую степень*. Так прост счет, так элементарно рассуждение. Что же случилось? что произошло? Мужа и жену так и не сочли "состоящими в родстве", а *начали счет с отца и матери*, со второй степени библейского родства, но приняв ее *за первую*. А между тем "запрещенными степенями родства" стали считать не "именованные числа", не "дядю и племянницу", "отца и мать" и прочее, а — числа *отвлеченные*, "первая, вторая, третья, четвертая" степень.

Тогда ясно, что, *где* в Ветхом Завете *приходилась*, напр., "четвертая степень", у нас стала приходиться только "третья степень", *запрещенная в Ветхом Завете*.

— Как "запрещенная": *там* брак двоюродных брата и сестры дозволен!!!

— Позвольте, — отвечает уездное училище: зачем вы называете "двоюродные брат и сестра". Будем считать в Ветхом Завете:

муж и жена — *первая степень*,
отец и мать — *вторая степень*,
дед и внука — *третья степень*,
брат и сестра — *четвертая степень*,
двоюродные — *пятая степень*.

Теперь в *Новом Завете*:

муж и жена — *одно* (ибо "едина плоть"),
отец и мать — *первая степень*,
дед и внука — *вторая степень*,
брат и сестра — *третья степень*,
двоюродные — *четвертая степень*.

Но "четвертая степень" (*родные брат и сестра*) в Ветхом Завете — запрещены. А посему "четвертую степень" (двоюродных) — и *мы запрещаем!!!*

— Позвольте! Позвольте! Но ведь тогда, при изменении начала счета, надо "увеличить *на единицу*" число дозволенных степеней!!

— Что вы!!! Разве мы можем нарушить Ветхий Завет, Завет Божий: там запрещено ровно четыре степени: и мы также должны, обязаны запретить ровно четыре: т. е. "двоюродных".

— Но там именно "двоюродные" разрешены к браку...

— Да зачем вам "двоюродные"... Читайте не конкретно, но по "именованным числам", а по "отвлеченным числам": первая степень, вторая степень, третья степень, четвертая степень — запрещена. Но у нас "четвертая" (в силу выпада первой) — именно "двоюродные", и, след., тоже она запрещена: хотя сама-то по себе, конкретно и вне применения "отвлеченных чисел" — она, конечно, в Ветхом Завете, нашем единственном в счете степеней основании — и разрешена.



Ну, а сколько на этой "линии" счета жизнью погребено? судеб — разбито?

* * *

12.V.1914

— Папаш надо колотить; папаш и тоже мамаш... Потому что они не знакомы с новейшими выводами естествознания, — сказал Чернышевский.

— Bravo! Bravo! Bravo!

— Bravo, Чернышевский!!!

Тут и курсистка.

"Наш-то Николай Гаврилович", — замечал в рукав себе ученый академик Пыпин.

Чернышевский сделал знак — "молчите" — и продолжал:

— А у мужей за 40 лет надо уводить жен. Потому что и мужья тоже не знакомы с новейшими выводами естествознания. А более молодые жены их, хотя тоже не знакомы с выводами, но у них губки мягкие, умы незрелые и впечатлительные, и их можно обучить естествознанию, и они могут читать в моем переводе и с моими примечаниями "Политическую экономию" Д. С. Милля.

— Удивительный гений, — проговорила курсистка.

На нее пялили глаза несколько гимназистов и воскликнули:

— Этот не гений, а черт знает что... Это... это... новая религия!!!

"Новая религия"... "Новая религия"... "Новая религия"... Катилось по Волге, в Петербурге, в Варшаве, среди студентов и офицеров-артиллеристов, катилось "везде". "Новая религия пришла". Может быть — последняя!

— Ты будешь жить с моей женой. А я не хочу жить ни с какой женой. Я монах-писатель, вроде Рахметова. Твоего отца мы свяжем и приколотим, а моего отца нечего колотить, потому что он уже издох...

"Это решительно новая религия, — говорили гимназист и курсистка. — Он свою жену отдаст... Он — как Христос. Нет больше сия любви, ежели кто отдает себя... отдаст даже жену свою ближнему"...

Жен, пожелавших идти "за молодым человеком", оказалось очень много. И так или этак, — поднялась вся Русь...

Забыли не только Пушкина, но даже Гоголя. Забыли на ту пору о том, что мы живем "в отечестве" и все-таки в какой-нибудь "истории" — об этом совсем забыли.

Впрочем, двух последних вещей и никогда не помнили хорошо.

Совсем пришла религия.

Действительно — религия. Она была коротка и заключалась действительно в том, почти только, чтобы не спать со своей женой и колотить родителей; но что вы сделаете, однако, если это — религия, со всей ее требовательностью, абсолютизмом, беспощадностью к "непризнающим" ее и с покорением смертных от океана до океана.

Правительство смутилось.

"Победители" ели одну селедку, закусывая хлебом и запивая пивом, и напевали, девицы и молодые жены:

Эй, дубинушка, — ухнем,
Сама пойдешь...
Сама пошла,
Ухнем.

И обводили окружающих гордым взглядом, молчаливо спрашивая:

— Мы довольствуемся селедкой, пивом и разговорами с мужичком. Хотя учились в университете.

Правительство соображало: "Хорошо это на — год, на — два: но о чем же они будут разговаривать с мужичком десять и особенно сто лет? Ну, а они выучат мужика и все сто миллионов мужиков "Политической экономии" Джона Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского, и все сто миллионов будут тоже есть селедку и разговаривать между собою ("с мужиками"): но о чем же, черт возьми, они будут разговаривать, когда самая "Политическая экономия" уже прочитана, выучена и никем не оспаривается?"

Между тем это — религия, т. е. не только на 100, а даже на 1000 лет.

Я — правительство, и должно заботиться о будущем. А эти господа расположились в сущности в "сегодня" — как "на вечность". А вечность выперли плечом.

И правительство выслало "бога" в Тобольск. "Бог" даже не улыбнулся и не заплакал, а в Тобольске, "чтобы не упустить время", стал переводить с немецкого уже переведенную "Историю Шлоссера".

В сущности — он был гимназист. До ссылки, в ссылке и после ссылки.

Лет 30 продолжались попытки "освободить бога". Переодевались жандармами и прочее. Не удавалось. "Бог" все переводил Шлоссера. Когда вздумали ввести конституцию или отказались, что ли, на время от конституции, то "поставили условием правительству:

"вернуть в Россию Чернышевского".

Правительство не вернуло. Чернышевский все переводил Шлоссера.



Прошли годы... Владимир Соловьев писал одну из своих язвительных статей с прозрачными намеками насчет "опасности быть Навуходо-

носором"; и о том, как Иван Грозный, "а также и его преемники", — победив бояр и освободясь от татарской зависимости, а также приняв "корону и титул" после падения Византийской Империи, в сущности, начали "сходить с ума" и дошли до состояния звериного, до состояния животного, ибо *ничто их больше не ограничивало*. Поняв его намеки, Михайловский тоже писал, что "в некотором царстве, в некотором государстве люди *сходят с ума*, когда их ничто *не ограничивает*". За ними двумя взгромоздился туда же Мережковский и стал писать о "Человеко-боге", противоположении Христу — "Антихрист".

И глухо, смутно он намекал, *кто* Антихрист. За ним бежала Гиппиус и Философов. Тогда Богучарский ему подал два пальца, и смилостивился Ропшин-Савенков — протянул мизинец.

И стольким мудрым людям, от Соловьева до Савенкова, не приходит на ум, что все они бегут за Антихристом "из нашей бурсы", за знаменитым переводчиком Шлоссера, который на основании Шлоссера и еще на том основании, что не желал спать со своею женой, а представлял с ней спать другим ("открытие" "Что делать?"), был провозглашен богом, — "богом" в Чухломе, — и стал на всю Европу вести себя "чухломским богом".

— Ныне уже переменялись времена, упразднилось христианство, померк Евангельский свет: ибо вот я и *мой перевод* Шлоссера.

Правительство же и даже "Он Сам" были всегда ограничены: ну хоть Чернышевским, например, всюю толпою, всюю странюю. Когда 1000 баб поднялись и захотели бежать "за молодым человеком", — то ведь это в самом деле "ограничение", хотя бы и "самодержавия". Какое тут "самодержавие", когда никто не повинуется даже законам. Это не "самодержавие", а — большая дорога с приключениями и с лихим человеком под мостиком.

Таким образом, столько мудрых людей не рассмотрело, что Русский Самодержец всегда был не только ограничен, но страшно *стеснен*, находя в каждом шаге, во всяком движении — страшную среду сопротивления, отрицания, критики, — и очень злобного отрицания, и до бессмыслицы упорного и яростного.

А настоящим "самодержавием" у нас, в сущности, всегда было невежество, — невежество, тьма и бурса, — чернь, гадость и злоба. Настоящим "самодержцем" в России был Чернышевский, с его безграничным влиянием, перед которым никто и "пикнуть" не смел — иначе его подняли бы "на копь". Чернышевский, перед которым померкнул даже и Пушкин и в лучах которого слабо мерцали даже Менделеев и Бутлеров, а уж, напр., Чебышев (кто знает?) был телескопической, совершенно не видною "обыкновенным глазом" звездою. Между тем Чернышевский только переводил Шлоссера. Навуходоносорствовала — чернь, безграмотность, тьма и злоба.

За ней-то, за чернью и злобой, побежали не только Михайловский (он "пристроился" к ней), но даже и Влад. Соловьев и вот сейчас Мережковский. Все — бегут. "Кто подобен богу сему? Он нам свел огонь с небеси". Между тем он только переводит Шлоссера. Вообще — он совершенный кретин, как и подобает быть Навуходоносору, "поевшему травы", но которому предварительно приснился сон, что "царству его не будет конца".

Скажите: разве история не полна "фантастического" и разве "чудеса" не продолжают до сих пор?

* * *

14.V.1914

Церковь, стараясь сохранить "целостность семьи" до гроба и тем "облагодетельствовать человечество", — не замечает, что она сохраняет механическую целость, а не органическую целость. А применение к организму "механического" запрещено и даже ужасно. Иное дело, если бы она имела волшебный эликсир "проливать любовь до гроба" в семью. Вот дайте при венчании выпить такого эликсира. Тогда бы хранились живые цельные семьи, любящие семьи, счастливые семьи, целомудренные семьи.

Что же вышло? Эликсира — нет, а "цельность хранится". В тысяче случаев из десяти тысяч семей это "единство кошки и собаки" в одном мешке, "единство ястреба и курицы" или, — чтобы понятнее было духовенству, — "единство архиерея с приходским священником", которого он терпеть не может, не пускает на глаза, лишает наград, во всем отказывает и (по-старому) — дерет за волосы — иногда и без причины унижает, осрамляет.

А, *каково, батюшки, жить?* Вот об *этом* подумайте; или пусть архиерей подумает, *каково им жить при обер-прокуроре "варваре и безбожнике"*, который всем духовенством пренебрегал бы, о всем церковном не заботился бы, да еще паче того — и обирал бы их мздоимством, и при всяком сопротивлении увольнял бы их "на покой". А, *каково, владыки, было бы жить?* Но, однако, именно вы сами в таком воистину океанном "единстве" держите целый народ в семейном отношении и глухи ко всему, мольбам, слезам, рассказам, всему. Вы, — и также священники. Вообще "все духовенство". Вот ваша великая историческая вина. Знаете, есть мистика. Есть "невидимые наказания", следующие за "неосознанною виною". Я вполне верю, что наша "обер-прокуратура", довольно-таки тяжеленькая для вас, как и излишняя власть "архиереев-сатрапов" (Беллюстин — "Сельский быт духовенства"), как равно возникновение реформации, т. е. разрушение наполовину католичества, — последовало единственно *за одну эту вековую и даже тысячелетнюю вину* против семьи. Сего "Сада Божия", который вы не сумели охранить.

Все ваши напасти,
все наши напасти —

за то, что вы не сберегли, и не взлелеяли, и не успокоили любовь. И даже возненавидели радостное, любовное Адамово: "Вот *она*, кость от костей моих и плоть от плоти моей: *посему* наречется мне *женою*".

А вы нарекаете "костью" мне какую-то чужую собачью кость. Позвольте мне самому почувствовать, которая "моя кость" (суть жены).

Вы не пощадили любовь.
И Бог — вас не пощадил.

15.V.1914

Конечно, и до настоящего времени продолжают, в сущности, 60-е годы. Они продолжают уже потому, что ничто после них не хлестнуло по русской душе с равной силою; не хлестнуло и не выхлестнуло их из души. 70-е годы были прямым их продолжением; 80-е тоже, — несколько ограниченным и оттесненным бешеной попыткой реакции. Но "реакция" просто отрицала их, просто отвергала их, не рассиропив их, не смягчив их, не смешавшись с ними. Против "стана", "тьмы тем", "мглы" кинулось несколько смельчаков, которые, в сущности, были задавлены и раздавлены. Что такое "Русское Обозрение" против "Русского Богатства" и "Вестника Европы" и поэт Голенщев-Кутузов против "музы Некрасова". Смешное бессилие. Затем 90-е годы, приход декадентов и мистиков... Они побрызгали духами из пипетки на огромный воз, со скрипом на всю степь, с мычанием буйволов на всю степь, — и воз, конечно, не остановился, а духи высохли. И теперь, и до сих пор, в сущности, *тон* всей литературы есть тон 60-х годов. Тон и темы, все содержание. Государственные думы — это 60-е годы. Революция 1905—1906 не прибавила йоты идейной к 60-м годам. У нас, в сущности, была одна революция, эти "60-е годы": и она была так огромна, что выдерживает совершенно параллель и сравнение с французской революцией от появления Вольтера и Руссо до смерти Робеспьера. Европейские эпизоды 1830 и 1848 годов — это "удачи на улице", и не больше, не имеют, конечно, ни малейшей силы и величины сравнительно с эпохой "Современника", Чернышевского и Добролюбова, Писарева и Михайловского.

Я упомянул о декадентах и забыл сказать о Толстом. Именно "забыл"... Думаая о судьбах русского общества и ходе русской литературы, никак нельзя "забыть" о 60-х годах, как нельзя "забыть" о пустыне, идя через пустыню, и нельзя забыть о безводии, испытывая жажду. О Толстом же в ходе общества и литературы, естественно, забываешь, как о чем-то личном и капризном, — как о гениальном, но "приключении": хлеба нет. А хлебом питаемся. В Толстом и не было хлеба, в 60-х годах — целый обоз. С "коростой" и загорелый — но зато это "собрано со всей страны" и все "жрать будем". Вот этого-то "жратва на всех", — "у-у!!" — "чудища" — и не было после 60-х годов ни в чем потом; и мы, в сущности, питаемся ими, потому что "нужно же есть".

Да, — и еще забыл из "противодействий" — Достоевского. "Противодействия" были, а "дела"-то не было. Даже величайшие силы, как Толстой и Достоевский, были *относительны*, сопоставляя их с 60-ми годами: и кое-что *около них* пытались сделать, и как-нибудь их ограничить. Итак, Достоевский... Он один "грудью схватился" с 60-ми годами, и не в "Бесах", что было бы уже сущими пустяками, а во "всем", от "Бедных людей" и до могилы. Достоевский, от отрочества, от мальчика, когда он переписывался "с братом Мишей", был весь *другого тона, другого масштаба* человек, другого *жеста* человек, невели 60-е годы. Полный воображения, мечты, тревог, тоски и вообще "потустороннего мира", в отрицании чего и в проклятии чему и состояли главнейше 60-е годы. Но перейдем не к сущности их, а к судьбе. Правда, Достоевский "всадил гвоздь" на пути 60-х годов: о который множество буйволов

поранило ногу. Идут около, ранятся, жалуются, мычат; но — идут далее. Достоевский все-таки не хлеб и не обоз, а когда дело идет о "географии страны", меряют дубовыми саженьями, а не объемом драгоценных бриллиантов. Есть стороны цивилизации и мира, где значущим является просто *мера и объем*, а не качество. Ведь по "качеству" Чернышевский и Добролюбов просто не имеют ничего или почти ничего. А по объему — это решительно неизмеримости.

"Ушел гвоздем" в русскую душу Достоевский: но гвоздь-то узок, тонок, и как бы глубоко ни шел, наконец, как бы ни был непобедим, однако "одна шляпка" торчит и почти "ничего не видно". Следствием противодействия 60-м годам было то, что Русское общество, уже покорившееся им и захваченное предварительно ими, не восприняло *en masse*¹ Достоевского... Просто он "не принялся"... Он слишком "труден и сложен"... Его прочли "между прочим", из-за интереса к "некоторым его сюжетам", ну — и "за тон". Что такое его Кириллов? судьба Шатова? чудесный и исключительный "подросток" (в романе этого имени)? великодушные монологи в конце "Игрока"... Разве это так известно, как Печорин, как Онегин? как Рудин, Базаров? Достоевский — *poen ignotum*² в русской литературе.

И потому, в сущности, — единственно потому, что он пришел уже *после* Белинского и вошел "гвоздем" в установившуюся, сущую, наличную литературу 60-х годов". Эта литература просто *не пустила* его...

Не пустил тот же Некрасов, который его приветствовал как "начинающего писателя"; и Белинский, восторженно принявший "Бедных людей". — "Извините, *место занято*", — сказал ему скромный капельдинер, — и он скромно, тихо, невольно, неодолимо отошел куда-то...

Его "прочли"... Но что такое "читать"? Ничего. Нужно "жрать" писателя; нужно "есть его"; "умирать с голоду" без него. А это — другое дело. И "умирали"... тогда и потом без Некрасова, Щедрина; за них "шли в каторгу". Ведь шли? — А это другое дело. За Достоевского никогда не шли в каторгу. И не пошел бы никто, — даже Мережковский (его *огромный* труд о нем).

"Сборники Знания" Максима Горького явно продолжали 60-е годы. И шли тоже "возом", — громадою. Вообще "возом" и "громадою", "всенародно", — это отличительная черта 60-х годов, которые никогда, в сущности, не были *партийным явлением* и уже несколько никогда — *личным*. "Сборники Знания" — последнее значущее литературное проявление 60-х годов; но без особого значения и даже вовсе без всякого значения (*это-то* и замечательно, *это-то* и важно) печать вся решительно продолжает 60-е годы.

Даже Оль д'Ор. Не говоря о Кондурушкине:

- 1) Бога — отрицаем;
- 2) Кой-кого не признаем;
- 3) Души, ни смертной, ни бессмертной, не знаем;
- 4) Есть еда. Физиология. И политическая экономия.

Это — Ракитин Карамазовых, т. е. Елисейев "Отечественных Записок". Оль д'Ор ходит теперь в смокинге и курит хорошие папиросы. Но

¹ в полном составе (*лат.*).

² неведомое имя (*лат.*).

ведь и Ракитин в отдаленности имел в виду курить хорошие папиросы, а Благодетель беззащитно курил их à présent¹.



Явление такой устойчивости и такой шири не может не иметь в себе *чего-то*, чем оно держится; нет, — чем оно одержало такие великие триумфы, с которым решительно не может сравниться по продолжительности и ширине ни одно литературное движение, начиная с Петра Великого, и, значит, вообще за все время существования русской письменности и литературы.

Если скажут: "какая же определенная великая мысль, великое чувство и, наконец, великий тезис?" — и покачают при вопросе головой, — то ведь тем еще замечательнее и любопытнее, если все это не держится на разработке, в сущности, никакой *великой мысли*. Даже Коробочка вправе была бы сказать об идейном содержании 60-х годов: "Фи".

Заметим прежде всего, что 60-е годы были глубоко русскою эпохою; может быть — единственною чисто русскою. "Это уж не Византия-с!" Конечно! И не рафинад Европы. Конечно! Конечно! Замечательна тусклая, неактивная роль, какую в этом движении играл 43-летний "Вестник Европы". Он "прислонялся" к этому движению, учтиво кланялся в его сторону, но ни "Отеч. Записки", ни "Русское Богатство" или "Сборники Знания" нисколько не прислонялись к "Вестнику Европы", не искали ни малейшей поддержки в его авторитетном европейском тоне и его академической учености, а смотрели в его сторону всегда равнодушно и иногда оскорбительно-небрежно.

"Европа нам не указ", — это несло от Глеба Успенского до Кондурушкина.

Теперь (спросят и возразят) — "новейшие выводы естествознания"; триумфы Дарвина и Бокля. Ответим: самая русская черта. Не говоря о том, что Пушкину "было удобнее и легче думать по-французски, чем по-русски", — даже в Якутской губернии предпочитают якутский язык русскому, а самые нарядные русские войска одеты в черкесские бешметы, бурки, папахи и носят совершенно им ненужные "во какие кинжалы".

Таким образом, Бокль распространен во всех градусах географической широты и во всех ярусах населения. И это не пустоголовость. Разве можно быть не тронутым сообщением Н. Н. Страхова в письме к Толстому, что когда один знакомый ему японец выучился по-русски и захотел читать русских великих писателей, то друзья его дали ему "Половой подбор" Дарвина и "Историю цивилизации в Англии" Генри Томаса Бокля. Это русские "Цветочки Франциска Ассизского", его солнышко и птички. Разве Россию спасает не Николай Чудотворец *Мирликийский*, мощи которого лежат где-то на юге Италии, в городе *Бари*. Русские ходили на богомолье в Бари гораздо раньше, чем Станкевич и Герцен поехали в Берлин поклониться Гегелю. Это — до того древняя черта, что ее хочется назвать геологическою и ботаническою. Отчего гусеница

¹ в настоящее время (*фр.*).

на древесном листе — зеленая, а другая, на сучке, похожа на сучок? Дарвин объяснил, что птицы склевали всех, которые были похожи не на сучок. Но откуда взялась хоть одна гусеница, столь разительно похожая на сучок?

Сходство-то ведь удивительно, разительно и волшебю. По Дарвину, ведь вышло бы, что дамы в Якутске оттого говорят по-якутски, что якуты съели всех, говоривших по-русски. Мне кажется, якутские дамы могли бы помочь Дарвину. Они сказали бы ему: "Нравится". Так, гусенице нравились века и тысячелетия эти крючковатые сучочки и серый цвет коры: и какая-то неодолимая симпатия, века действовавшая на глаза, на "душу гусеницы", — в конце концов отразила сучок в гусенице, потому что сучок не мог отразить в себе гусеницу. Отражает в себе всегда — высшее, а не низшее: и неужели же можно отрицать, что наши "шестидесятники" были живее, экспансивнее, спиритуалистичнее чванных Бокля, Дарвина и Спенсера, — и отразили их в себе, как живая и подвижная гусеница — неподвижный сучок.

Таким образом, в 60-х годах мы видим возвращение России почти в растительное, почти в зоологическое состояние: и могло оно возникнуть только оттого, что "крепко не взяла" Русь ни Византия, ни Европа. В самом деле, "христианство на Руси" всегда было несколько правительственной религиею — правительственной и верхнего, культурного, класса: царя, князей, бояр и святителей. И выразилось оно народно и "возлюбленно" только в обряде, который при всей глубине и значимости есть все-таки обряд, т. е. непонятная форма. Все-таки это — не слово, внедряющееся в ум и сердце и там начинающее *расти*. "Сказано — Николай Мирликийский". Ни Евангелие, ни Библия не растворялись в стихии народного духа. А свои словесники были больше — непременно правительственного оттенка. Далее Европа: что же такое Европа? Моды, Вольтер и философия. Это не могло "крепко взять". Таким образом, в 60-е годы мы сбросили с себя и Византию и Европу, потому что и Византия и Европа вовсе не крепко сидели на Руси. В меру поверхностности этих влияний они и были сброшены.

И стала Русь просто Русью. Вернулись не "в Москву" (Ив. Аксаков, славянофилы), что было слишком еще утонченно и исторично, а в Чухлому, или, обобщеннее, — в село, в деревню; вернулись к первым попам при Владимире Святом, в элементарную Саратовскую бурсу с Чернышевским.

Пришли опять в леса, в поля, в природу; с "многими женами" Владимира-язычника. Даже моногамия оказалась еще не утвержденной (курсистки, Цюрих и Женева). Просто Святогор-богатырь и Соловей-разбойник; и земля "без порядка" и "позовем Бокля цивилизовать нас"...

"Новейшие выводы естествознания" рвались, жрались, собственно, потому, что все и двигалось в направлении к "жизни животных" Брема, так красиво рассказанной немцем и которая манила и первобытного человека (нас). "Новейшие выводы естествознания", как известно, отрицали вообще всю историю от фараонов до Наполеона III, — и это было именно то, что нам нужно. Без "новейших выводов естествозна-

ния” еще могла смущать совесть и тревожить стыд, — а как ”новейшие выводы естествознания” оказались ”за нас”, то мы могли спать спокойно. Или, вернее, — тверже одерживать свои победы. Сложную государственность, которая решительно была нам ”не по уму” и не ”по силам”, для которой надо было еще знать Роберта Моля и Блончли, — мы заменили упрощенными схемами социализма: сим зданием, построенным ”без сопротивления матерьяла” и по сему уже, а также и по другим причинам — ”математически верным”. Социализм привлек нас не одной гуманностью и обещаниями, но еще именно — как ”схема мышления”, как некоторая ”элементарная логика” в задаче общественного строительства... ”Поди, собрай еще статистику, — очень нужно”. ”Сравнивай законодательства, — ха! ха! ха!” Когда решительно все законодательства так глупы, и есть наука, коротенький учебник политического мышления, который доказывает. Имя этому учебнику, который переваривается в два часа и лучше еще — в 2—3-х беседах со студентом (а для гимназиста — с курсисткой), есть социализм. Как ”теория Дарвина” покончила с религиею и цивилизациями, упразднила гвельфов и гибеллинов, ассирийцев и рыцарей, Фридрихов, Людовигов, Ричардов и ”иных прочих”, так же точно ”социализм”, т. е. два разговора со студентом, упразднил хартию вольностей, английский парламент и вообще всю скучищу Иловайского. Отсюда необузданная ярость устремления к Дарвину и социализму: они возвращали, всего две книжки, ”кожаные одежды” Адама и обещали невинность рая. Движение не было бы ни так могущественно, ни так смело, если бы кусочек неба, голубого и чистого, не мелькал действительно сквозь облака и бури тогдашней эпохи: если, напр., взять *личные отношения* Чернышевского и Добролюбова, кое-какие тогдашние ”женитьбы”, истории любви и дружбы: то в самом деле мы увидим немножечко Адама в романе его с Евой и немножечко Евы в романе ее с Адамом... Опять — отроки. Опять поле. Опять — чистая любовь. *Кое в чем* 60-е годы были безумно счастливы: ну, а такое безумное счастье, назовете ли вы его ”иллюзией” или нет, есть ”вещь в себе”, кантовская ”das Ding an sich”. Счастье, господа...

Господа, знаете ли вы, что радость человеческая выше философий и есть *вполне религия*? Нет? Тогда вы еще не умеете читать первые буквы истории человечества: кто же это знает — не проклянет никогда 60-х годов.

(вагон доехал; в поезде)

* * *

15. V. 1914

Хочешь покоя, покоя, покоя... И успокоишься (†).

Хочется быть одному (мне — только с м.) — и останешься *один* (†).
Неужели?..

Неужели ”вечный покой”, как поет... нет, как *открыла*... Церковь?

Бывают минуты, когда жажда покоя до того велика, и ненасытна, и нетерпелива, что хочется или не убоишься именно *вечного покоя*. То неужели это наше желание? Если бы ”душа бессмертна” и ”видеть Бога” — то совсем бы хорошо.

Но как я поверю "бессмертию души"?
 Как я поверю Богу?
 Вот отчего я несчастен.
 Оттого что язычник.

* * *

16. V. 1914

Все думаешь "соперничать", — и как-то я спросил Н. Н. Страхова:
 — Я думаю, русская литература немного только отстаёт от римской.
 Нет Вергилия и Горация, нет ещё Овидия, но...

— Как "отстаёт от римской", — воззрился на меня Страхов, удивленно и немного негодуя. — Русская литература — живая литература. А римская, вся состоявшая в подражании грекам, есть если не мертвая, то подражательная, искусственная литература...

— Но Вергилий?..

Я разумел "величие предмета". Воспел отечество.

Страхов заторопился:

— Да что же такое Вергилий, и неужели это может идти в сравнение с Гоголем (ужасно любил его) и Пушкиным.

И чуть ли он не сказал, что у них даже никогда Фета не было.

(в канцелярии Тенишевского уч.)

* * *

16. V. 1914

Может быть, место Гоголя не в русской литературе, а во всемирной литературе, — и не в русской культуре, а во всемирной культуре.

Если бы было всемирно желательно и всемирно благотворно вытолкнуть Россию из orbis terrarum¹, из круга истории и "судеб", — то вот и гениально, и великое положение Гоголя...

П. ч. он не только начал, но и "кончил" такое выталкивание. "После Гоголя не воскресают".

М. быть. Страшно, но может быть, Гоголь сам затрепетал бы такой мысли, и все-таки м. быть.

* * *

16. V. 1914

Гоголь обратил отечество свое в анекдот.

(на извоишке)

* * *

17. V. 1914

Все-таки интересно бы знать: нектар и амброзия брались с одного цветка или с двух разных?

Ибо можно думать и первое.

¹земного круга (лат.).

Сперва сладкий нектар, и немного. Потом амброзия, в самом звуке чего есть что-то густое.

(на извоишке)

* * *

18. V. 1914

Кладя толстый бумажник со сторублевыми в карман своей клетчатой визитки (английская материя), — он бросил на улицу через окно:

Сейте разумное, доброе, вечное...

Сейте...

И чернь бросилась исполнять пожелание начальника. Нет: бросились лучшие юноши и девушки. Вот "происхождение монархии", — как ее объяснили Аристотель, Платон, Фукидид, Цицерон, Ливий, Тацит и Макиавелли: "из *цинизма*, который командует *миллионами*".

Эта монархия, от Некрасова до Милюкова, идет на смену Московской: когда князья умучивались за Русь в Орде, — и отбивали Русь от ливонцев, от шведов, от поляков и татар.

— Те князья были неграмотные, а мы ученые, — поправляет Милюков.

Русь! Поклонимся неграмотным князьям своим. И умрем, если нужно. Потому что все кричат и со всех сторон, что "нужно, чтобы мы умерли".

* * *

18. V. 1914

В очень жаркие дни
В Вавилоне они
Занимались
Делом
И записывали
И приписывали
Мелом.

Эта удивительная страница из "Берахот" — Вавилонской редакции "Талмуда" (в Иерусалимской редакции — ничего подобного нет).

* * *

18. V. 1914

В титул государей всех стран входит: "Величество". Не "Ваше Всемогушество", не "Ваша Праведность", не "Ваша истинность", или "доброта", или "благодать", но — "Ваше Величество". Так говорят всходящему на престол, который не совершил не только великого, но и вообще ничего. И это не обозначает того, что ему все поклоняются, пот. что тогда был бы титул "Ваша всепоклоняемость".

"Величество" относится к будущему и выражает ожидания и желания.

Народ, все люди ожидают, что Государь не совершит ничего мелко-го, обыкновенного, что совершают вообще все люди и чего они не могут не совершать, по своей обыкновенности. Самый шаг его другой. Самый рост его другой. Он шагает верстами, когда мы аршинами. Он скороход или верней большеход. Обгоняет всех и впереди всех, Александр Македонский сделал "между Грецией и Персией" что-то такое, чего Аристотель "при всем уме" не мог бы сделать в 40 лет. Он смешал два царства, разрушив одно. И он именно *сделал* это, а не то чтобы "сказал мысли", вследствие которых и т. д. Мысль Царя есть уже поступок, п. ч. никакое слово Царя не может быть не исполнено. Такому Царю, слово которого хоть однажды не исполнено, — лучше не жить: и такой Царь, слово которого не исполнилось, должен сойти с трона или раздробить то, что ему оказало сопротивление. Царь идет вперед, но никогда назад. Он никогда не "обходит стороною", не "сообразуется". Царь всегда прям и не знает "уклонений".

Т. обр., "величие" есть суть его образа, и исключение мелочности есть дух его поступков. От этого так справедливо "со дня восшествия Его на престол" начинается новая эра, "наша эра", "эра нашего поколения": мы все должны жить "с нашим Царем" и относить свои поступки, добрые и злые, к его царствованию: добрые входят светом "в его царствование", а злые увеличивают его тьму. И он "наказывает нас" не только за то, что мы вредим людям, но и особенно за то, что мы этим злом помрачаем его царствование.

"Царствование же нашего во второе лето" — этот счет глубоко правилен. Ибо вся история разделяется по мелким циклам своим — царствованиям.

Титул — величие. Может ли быть величественен Миллюков? Он сам бы улыбнулся этому. Он может быть умен. Но это другое. Величие есть совершенно особая категория души, необыкновенно трудная, — даже для обыкновенного человека недостижимая.

(прервали и нельзя было долго продолжать)

Нужно уже ступить "первый шаг" так и на такое особое и исключительное место, недоступное никакому человеку, чтобы "вступивший" видел все дальше, видел все шире, нежели решительно все остальные смертные. "Долго или недолго я проживу, многое или малое я совершу, но и это "малое", и это "недолгое" не изгладится из памяти людской". "О царях пишут историю", — и, собственно, о них одних пишут ее, потому что о всех других пишут "хронику", что "бывает и случается в наши дни". Так приготовлено, так уже все приспособлено, так "приноровились" люди: "перья у нас в руках, и ты уже только совершай". Это колоссальное ожидание не приспособлено вовсе не только к Миллюкову, но и к Аристотелю. Отсюда если Кромвель или Бонапарт и совершили "удачу" и "ряд удач", "раскололи молотом

камень”, — то это все-таки ремесло, дело, работа, но как разительная хроника, а не ”Летопись”. Летописи о Наполеоне нет и не будет, и нет о Кромвеле летописи, ибо он все-таки был убийца и вор (похититель власти). Но были ”летописи” и о византийских довольно тусклых царях, и о римских ”12 цезарях”, и о наших удельных князьях. Опять о президентах Соединенных Штатов нет летописи, а одна хроника и газеты. Отчего? Где этого тайна? Потому что ”президент” и есть президент, удачная форма Милюкова, который улыбается мысли, не может ли он быть ”величественен”. Он может быть ”умен” и ”удачен”, — обыкновенные категории человеческого существования.

Отсюда и оттого что ”нельзя написать летописи” — ”республика” и ”штаты” есть, собственно, дезорганизующая форма народной жизни, понижающая эту жизнь или, точнее, не допускающая ее подняться: ”сиди тише”, ”стой ниже” и, пожалуй, ”ляг совсем” — потому что ты просто ”обыкновенное человеческое существование”. И отсюда далее законы, вырабатываемые ”общим согласием”, суть ”правила удобной жизни”, как есть ”правила отеля” и ”правила вести себя в вагоне”, никого не стесняя и никому не мешая, а не *υιοοι*¹, не ”законы” в собственном смысле. И они не воспитательны. Законы могут быть или ”священные”, от Бога, или ”царские” — но тоже свыше и с этим оттенком чего-то священного и неперемного, что может проистекать только из ”не я сам выдумал”. Как ”я сам выдумал” — нет авторитета. Конечно, ”за неисполнение закона меня могут повесить”, и в республиках вешают и даже тем охотнее, что им тоже ”надо показать себя”. Но это бойня, а не наказание. ”Наказание” в собственном смысле может идти ”от Бога” или ”от Царя”.

Язык ”летописи” и есть единственный правильный исторический язык. В языке этом есть тайна равенства со своим предметом — чего недостает всем прочим историческим трудам, по существу своему — хроникам и обобщенным газетам.

В них может быть много философии, много объяснений. Может быть целая наука. Но нет обволакивания своего предмета и показывания его. Что такое ”история” — все-таки непонятно во всех историях, потому что они суть хроника и мелочь.

А дело-то великое. Представим себе лакея за спиной королевского стула во время обеда, — или аптекаря, составителя чернил, который их подает в кабинет Бисмарка. И аптекарь, и лакей *все видят*, что вообще *зримо*; т. е. видят вообще *всю, полную действительность*. Но они ее нисколько не понимают. Они видят механизм. Так, историки, решительно все, видят ”механизм” народной жизни и самих царствований: но совершенно для них непостижим дух их и смысл их. Они все раздробляют и все уменьшают, — по тенденции своей ”обыкновенной души”, когда сюжет их имеет то главное в себе, что он необыкновенен. Именно историки и их изложения, как ”лакейская проза, в которую переделана, или слащаво, или усмешливо, поэзия Пушкина”, — являются главными почти виновниками, что и простые смертные, терпением и восторгом которых создана иллюзия или поэма Царства, — теряют мало-помалу

¹ жизнь (*греч.*).

ощущение именно "царства", в котором они живут; и, протирая глаза, говорят:

— Извините, мы видим не Царство, а ряд огородов, курятников и виселиц.

Сон исчез. Великий и счастливый сон человечества. Проснулся повар на кухне, который сейчас начинает готовить суп Милюкову.

Но в основе-то — то несчастье, что Милюков был профессором русской истории. И рассказал своему повару какую-то гадость, которую тот принял за "Русскую историю".

Она есть, эта история, — она есть. Она таинственна. Она величава и священна. Только догадается поспешно рвать все, что мелкие трактирщики настрочили о своем привычном трактире, воображая, что "пишут историю царей".

* * *

19. V. 1914

Церковь, государство, литература, искусство — все покровительствует хулигану. Как же ему было не появиться? Не появиться и не укрепиться. Хулиган обидел мою дочь. Обидел, обманул и надругался уже потому, что ей 17 лет, а ему 27.

Церковь говорит:

— Сама виновата...

Государство отцу:

— Тиш... Тише. Нельзя преследовать свободного гражданина.

Романист описывает это как "приключение молодого человека".

И поэт слагает о нем песнь.

Гимназист убил несколькими ударами ножа учителя... Он 1 1/2 года был женат, и у него осталась жена. До нее никому дела нет. Все сожалеют "несчастливого юношу", который оказал "протест", набрасываются:

— на наши учебные заведения, которые так черствы, что ученикам приходится только убивать учителей

И

— на учителей, которые так формалистичны с учениками, что их остается только убивать.

И особенно

— на Кассо, который так нелиберален, что его следовало бы по крайней мере 4 раза убить.

(*такой* был случай у меня в знакомой семье).

И хулиган родился и укрепился.

Теперь он с видом "отмеченного судьбою человека" поправляет пятерней волосы поутру, — ночью спрашивает деньги у содержащей его проститутки. В полдень философствует на религиозные темы. И Максим Горький подслушивает, как он собирается взорвать чудотворный образ в ближнем монастыре "для уничтожения предрассудков" и к удовольствию "Русских Ведомостей".

Репин и все художники упрощают его сесть, чтобы они могли увековечить кистью его замечательный образ.

* * *

19. V. 1914

Без памяти смертной

.....

.....

— так можно определить наш либерализм, прогресс и всю цивилизацию.

Если сказать: и с взглядом на совокупление как на удовольствие (а не заповедь и закон) — то и получим два берега, в которых течет вся культура.

Веселися, славный Росс!..

— Пора бы и поплакать.

(на улице)

* * *

19. V. 1914

Гений в том, чтобы соединить искусство с ремеслом. И самое высокое с самым обыкновенным.

Кто сам не умеет и, главное, не любит растирать краски, будьте уверены, — только кажется художником. Кто не умеет расколоть камня, не есть великий зодчий.

Мелкое! Мелкое! Мели (размельчай) жизнь — и ты построишь Небо.

(на улице)

* * *

19. V. 1914

Встречаешься с разными ярусами наивности — и отсюда проистекает невольная ложь отношений...

Как я ему объясню "все", если всю жизнь, всем развитием, всеми друзьями и прочитанными книгами он не то что "не хочет", а при всех усилиях не может увидеть иначе, как уголок или одну сторону "Всего".

Как, слыша эту банальщину у Р., я сказал бы: "Какая пошлость". Это значит ударить всех по лицу. И не ударяешь. И лжешь. Я не святой.

И эта "несвятость" — просто вежливость.

(дожидаясь "по чеку № 5" в банке "Русско-Торг. промышл." на Садовой)

* * *

19. V. 1914

В Церкви надо различать... да и не в одной Церкви, а в государстве, во всем... наличный состав представителей и институт в его реальных задачах...

Но в мечтаниях и разговорах, не в "ах кабы", "если бы", но в деле, в выраженном, в вечных окопах Церкви, в вечных отвесах Церкви, которые *есть* и *осязаемы*.

Смешать эти две вещи — значит все смешать и ничего не понять.

Если же не смешивать этих двух вещей, то и останешься на той границе идеального и реального, который и есть надлежащий путь человека.

Церковь — в тех словах, которые уже *есть*, — и слова эти не приторны, не риторичны, — выразила бесконечное понимание смерти и бесконечную глубину и нежность к человеку умирающему, бесконечное внимание к его ложу, его боли, к ужасу расставания, ко всему... и слова эти не превзойдены и никогда не превзойдутся... Более того: мы не хотим иных и лучших, мы совершенно насыщены и словом и обрядом, который опять же есть не "сочиненное", не театр и зрелище, а есть *отстоявшийся* и *застывший в веках способ* христианства, церкви и церковников, ее прежних "святых", ее прежних "отцов" — относиться к умирающему...

Это дело? Это ведь дело?..

Ну, хорошо. Это не "ах, как бы" и не "мы побеседовали с Василием Василиевичем Успенским", — а *было!* Было, было, было!!!

Теперь: как и всякого *факта*, этого нельзя ничем избыть, затереть, обратить в "фантом" или "карточный домик". Ибо золотое "есть также абсолютно, как и г..... есть". И все Вольтеры, Штраусы, Ренаны, все наши Щедрины и вообще всемирные пересмешники отодвигаются в сторону тем, что Церковь действительно жалела, плакала, рыдала около человека в скорби...

Нет, что Вольтер; может ли это пошатнуть Александр VI Борджия, сделавший родную дочь своей любовницей и кому-то давший яду в причасти?

Вот. Одна реальность нисколько не замечает другую реальность, и обе эти реальности даже нисколько не смешиваются и одна другую не исцеляют, не уравновешивают. Факты — совершенно разные.

В истории великого института Церкви могут быть целые эпохи, когда не только кто-нибудь, но многие и даже почти все вообще "ничего не чувствуют", ни смерти, ни — жизни, а

hodie nos bibimus
Et tellus pulsanda¹.

(Гораций)

В такие-то эпохи обыкновенно и появляются люди очень чистые сердцем, так называемые "реформаторы церкви", — которые не ждут нового посева семени человеческого, нового урожая породы людской, а начинают отрицать *самую церковь*, клясть ее и смеяться над нею и, наконец, *оставляют ее*, совершенно забыв, что она была та же самая, что и сейчас — в пору урожая святых людей, "отцов". Неужели Эвклид виноват и виновата "эвклидова геометрия", если учителя уездных училищ все "врут по геометрии"? А здесь дело еще больше и еще яснее. Церковь, — и именно *одна она*, — научила чувствовать смерть и жизнь: но "папа Александр VI не чувствует". Что же из этого? Разве папа посягнул на молитвы церкви и стал составлять новые "трёбники",

¹ Нам пить поря и в землю бить... (лат.)

с призывом к "bibimus" и "tellus pulsanda". Нет. Он был только человек *лично дурного поведения*, притом скрываемого, утаиваемого. Т. е. он *стыдился* и лично *знал*, что — *недостойный первосвященник*. Что же было Лютеру делать? Между тем он нисколько не убил папу, а ополчился и низверг молитвы и обряды. При чем они? Чем виновны или худы? Лютер этого не доказал и даже не сказал. При Александре VI Борджия церковь католическая оставалась совершенно так же свята, непорочна и велика, как при Григории Великом; а был только дурен лично один человек, к несчастью — в таком высоком ранге. Но он не пачкал даже и самого ранга, а просто и в тесном смысле был сам *лично дурен*, и это не имеет *никакого значения*... ни для церкви, ни для папства, а только и составляет "черту его времени", — до известной степени просто светскую, лаическую черту. "В одно время щелкаем орехи, в другое время едим каштаны" — и это имеет отношение к состоянию нашего желудка, а не к биографии и душе. "Биография-то церкви" все-таки святая, ибо в мотив жизни своей, своих молитв и уставов, культа и обрядов она никогда решительно не взяла "bibimus" и "pulsanda", не взяла в том числе и при Александре VI Борджия. Просто — частная биография. А церковь *в тот самый век* (т. е. Ал. VI) была свята так же, как и в каждый. Поп, приходя, медными и вялыми устами произносил, однако, *бесценно-горячие молитвы*, полные глубочайшего трансцендентного смысла, и *никаких* других произнести не мог и *не смел*. Значит, он шатается — а Церковь крепко стоит. Она вся стоит и все такая же: пока вот пришел Лютер и, начав новые молитвы, а об обрядах сказав — "не нужно", в сущности, лишил человечество гораздо большего, чем могли сделать и сделали все Борджии, и произвел большее "разрушение церкви" и вообще совершил большее умаление добра, нежели холодные, бездушные папы с "tellus pulsanda" и "bibimus". *Те за себя* "пили" и "на свой счет", а может — за счет человечества. Дело его гораздо худшее, причем — нравственно худшее, чем Борджия: хотя *лично* он был прекрасный и чистый человек. Но Парфенону все равно, сожжет ли его чистый мальчик или разбойник Катилина. *Суть* в том, что "Парфенона нет". *Суть* в том, что человечество его более не увидит. *Суть* в том, что человечество на него больше не помолится. Были Борджии — придут Григории Великие; был сухой и властолюбивый Филарет — и в его пору в лесах жил кроткий Серафим Саровский. *Суть* в том, что ни Борджия *не произнес ни одной развратной молитвы*, ни Филарет не выговорил и не помолился ни одною *властолюбивою молитвою*. *Суть* — в сути. *Тон Церкви и дух Церкви* оставался при Борджиях и Филаретах. "Серафимовский", кроткий, любящий, смиренный, безвластный. Т. е. Церковь-то была "свята", а лица — "разны".

Вот.

Это научает нас великому терпению в отношении греха. "Терпи грех! Терпи, человек, грех — и чем больше, чем ты сам святее". Ничего нет опаснее "восстать на грех". Тут сонмы бесов восстанут и радуются: ибо гибнет лучший человек, вот "восстающий на грех", которого они опутывают сетями злоумствований и именно его руками разрушают целые миры благого. Можно даже сказать, что вовсе не Катилины и подобная мелочь, вовсе не Борджия со своей доченькой — причинили настоящий

и колоссальный вред всемирной истории, ибо это все "мышы под полом", поедающие самую малую часть "хозяйских и отцовских" запасов в житнице: а настоящую разрушительную работу произвели разгневанные идеалисты, которые "запалили амбар огнем-полымем". И Лот жил с дочерьми — и ничего из этого не вышло, кроме нескольких картинок художников с *esprit mal tourné*¹. Ничего. Грех вообще страшно *личное* дело, всегда — *личное*, и уже как тайное нечто — *грех нераспространителен*. Неизмеримо его опаснее добродетель, неумная добродетель, — которая пылает, играет заревом на небе, говорит миру, кричит миру: а под ноги — не смотрит. Эй, крикун: берегись! Берегись с взором, вперенным в небо, когда под тобой проваливается земля, и скоро мертвое вонючее болото будет стоять на месте, откуда ты кричишь, где до тебя все-таки кое-что было.

Было поле с бурьяном.

Так, уже через два века "дело Лютера" представляло мертвую пустыню немецкого пизтизма, немецкого филистерства. На котором появился Клопшток с его "Мессиадой" на месте Данте с его "Адом". И если у нас совершится "реформа церкви", то все будут "Василии Васильевичи Успенские", на место Филарета, который был все-таки "кое-чем".

А посему, господа, вернемся просто к Рункевичу. К Рункевичу, "Колоколу" и В. М. Скворцову. Не опасно. Ей-ей не опасно. Эти *тем хороши*, что никого не зачаруют, никому не навесят снов. Поиграем в картишки. Посплетничаем. Покумимся. Дочерей выдадим замуж. "Честной свадебкой и за стол". Знаю, ¹ "власть тьмы". Да не ядовита она. Пронесет. Просохнет. Ан, выключнется Филарет Московский, все же интереснее В. В. У-ского, отойдет в леса еще Серафим Саровский, — отчего не ждать, не молиться об этом?

Будем молиться, а иногда — и в картишки. И Бог даст, во благо-временнождемся второго Пушкина.

Терпение, терпение, господа, — это вам говорит старый и умный человек.

Который несет свои печали в сердце и думал или думывал все, о чем думаете и вы.

(на извоишке и кончил в банке)

21.V.1914

Замужние женщины, выбирая друзей дома, должны поступать не "вообще", но останавливать свое внимание на друзьях, о которых заметят, что этот будущий друг — приятен и мужу.

Так поступила, выбрав в духовники себе Тартюфа, — та описанная Мольером мудрая жена дворянина (забыл имя), которая предварительно заметила, что Тартюф не неприятен и ее мужу.

И так устроилась дружба втроем Чернышевского, Добролюбова и еще одной высокой особы.

(за рецензией на "Старый театр" Лукомского)

¹ ум, направленный на дурное (*фр.*).

* * *

21.V.1914

Губошлепка — нет.

А поострее — да.

Поострее и потоньше. Спиритуалистичнее.

Этакая тетка "православного вероисповедания" —

— Нет! Нет! Нет. "Какие ужасы"...

...к которым прислушивается музыкальная душа. Задумчивая девушка, не ищущая шумных разговоров.

Но в разговор *веселый* не вступая,

Сидела там задумчиво одна.

И в странный сон душа ее младая

Бог весть зачем была погружена.

Так что Иловайский совершенно неверно, наверно, определил причины "падения Римской империи", говоря, что "от этого". Между тем это объяснение Иловайского чрезвычайно широко распространено и составляет общий взгляд "на причины величия и падения народов".

(в трамвае ночью)

* * *

21.V.1914

В каждом движении его глубоко комической фигуры виделся талант. Он, казалось, у всех заискивал, и было очевидно, что он над всеми смеялся. Несмотря на совершенно лишенный волос череп и другие признаки "многих лет", он не садился, а непрерывно двигался между высоких и статных фигур генералов, статских, ученых... Я никак не мог ошибиться во впечатлении, так как был удивлен этим: он был одет в шинели или в чем-то "верхнем" — что было накинуто у него на плечи. И это "что-то" было некрасиво, и весь он был некрасив и смешон.

В движении и жизни я не узнал человека, портрет которого знала вся Россия: это был Делянов.

Минута же: похороны старого Грота в немецкой церкви на Васильевском о-ве.

Я смотрел на него с глубоким изумлением.

Радлов мне рассказывал: из громадного своего состояния он оставил "своим" самую малость; большие суммы и особенно — в большом числе расписал детям дочерей мелких служителей не то своего министерства, не то дома Армянской церкви, где жил, не платя ничего за квартиру по каким-то правам своего рода.

Почему-то с тех пор, как я видел его на этих похоронах, я его непрерывно любил и уважал. Он мне представляется рыцарем из Шехеразады. Делянов вообще был из Шехеразады. И мне совершенно понятно, близко понятно, что на него сыпались награды, до "графа" и "Андрея Первозванного" включительно. Его нельзя было видеть, знать и не награждать.

Он говаривал (чуть ли не сообщение того же Радлова):

— Служба государственная — дело обыкновенное и зависит от нас: но награды, которые мы получаем за службу, — гораздо необыкновеннее и зависят уже не от нас, а от Промысла о нас:

Что-то такое. Короче и лучше.

(в учетном банке)

* * *

22.V.1914

Предпочтительнее быть вовсе не читаемым.
Нежели писать ложь, которую все читали бы.

(за набивкой табаку)

* * *

22.V.1914

Милый папочка,

прости меня, я знаю, что во всем виновата, только мне не хотелось это сказать тебе давеча. Только поверь, не от моего нежелания быть вежливой вышло все это. Я знаю, что тебя заставила сегодня потерять вечер и оторвала от занятий.

Прости, как ты часто прощал уже бестолковую Таню, знай, что я сама мучусь своей неумелостью и неприспособленностью к жизни.

Таня.

* * *

22.V.1914

— Движения, движения, господа! Танцуйте!

Среди 1000 подспудных мотивов революции — был и *этот*.

Турниры давно угасли. Феодалские войны, — маленькие, местные, — прекращены "с изобретением пороха" — войны вообще давно не было, "кулачные бои" не доползли от Волги до Сены...

Страшная сонность, застой крови в жилах.

"Лошадь застоялась". И — взбесилась.

(просматривая Герье — о Тэне)

* * *

22.V.1914

Что мы так бились с Рцы, кипя в идейных спорах? Переменили ли мы хоть полицейского на углу Николаевской и Загородного? Нет.

Так о чем же мы спорили? И что такое "мы".

Мы?

Ничего.

Знаете ли, что существенно? Морфология страны. "Почтовые правила". Нет, — правила "приема и отправки почтовой корреспонденции".

Теперь перед праздниками приходится $\frac{1}{2}$ часа ждать, пока от вас примут заказное письмо или от горничной примут денежный перевод в деревню; а посылать посылки (вещи) невозможно, потому что при них должна быть подана "опись", которую чтобы составить, — надо быть профессором или бывшим почтовым чиновником. И вот кто упростил бы это, облегчил и лучше обеспечил почтовую службу — он и сделал "шаг прогресса", он "освободил бы страну" от пота, грязи и мозолей, от которых главным образом она страдает.

Татаринов, который улучшил, упорядочил контроль — создал "кассовые правила", — вот он "обсушил" целый бок России.

Все блестящие реформы 60-х годов суть ложноблестящие. Они светят, а не греют. Хулигану стало шире жить, трудолюбцу стало теснее жить.

* * *

23.V.1914

Толстому все мешали устроиться со своей добродетелью. То тетушка, для приобретения последнего лоска манер, — советовала завести связь с великосветской замужней женщиной ("Исповедь"). То у папаша он нашел нечаянно в столе нехорошие карточки ("Детство и отрочество"). ...Ребенком — братец играл с горничной, а он увидел из-за дверей и соблазнился. Студентом. Соблазнила его Катюша Маслова, — с которой он хотел "грех поправить", да она уже... пахла. И он предпочел выйти в роман "Китти и Левина"...

На Катюше женился неумный социалист Симонсон.

Что им соблазнялись — значит, был хорош — и слава Богу. Но портили его добродетель — это ужасно!! Как ни соберется в Царство Небесное — все тетушка помешает или братец с амурами. Он, наконец, до того раздражился "на всех этих", что написал "Крейцерову сонату":

Возьму ножик, возьму вилку,
Заколю свою я милку.

И, смотря мрачно в окно вагона, добродетельный Позднышев-Толстой рассказывает, как они "к нему приставали", и в этих все "журсейках".

Не водись-ка на свете вина,
Так силен Сатана.

(Некрасов)

Да. А не будь журсеек, попал бы Толстой в рай.

Эти ужасные журсейки, так облегающие грудь женщины и дающие чувствовать ее формы.

Друг мой: Адам увидел Еву совсем голой — и воскликнул: "Жена моя! Как ты прекрасна!"

И — "ничего". "Так Бог сотворил мир". Сказано: "без бабы не обойдешься". И слава Богу.

* * *

24.V.1914

А не противный ли я сам — с вечной занятостью самим?

Счастливый — вот кто вечно думает о других.

Я — никогда.

Убивающий в душе своей другого (не думающий о другом) не есть ли Каин?

Я вечно думаю о себе и грехе своем.

И Бог всегда около меня. Иногда Он меня радует. Но чаще Он смотрит на меня с печалью. Нет, не с печалью — это слишком густо. А с недоразумением, отчего я не делаю того, что нужно бы (что Он ждет от меня).

Но я не знаю, да и не хочется. Ведь я ленивый.



Все же по "†" Б. не отгонит меня. Потому что я всегда желал Его. Господи, я всегда Тебя желал и только Одного Тебя и желал. Господи, Ты со мною, потому что Я с Тобою. Господи: я заблудшее дитя, но Твое дитя.

(канун Троицы, на извоишке)

* * *

25.V.1914

"Столбового" ничего нет в Гос. Думе. Строевого леса — не представлено там.

Судите сами.

Тот миллион человек, который от лица и силы и имени Руси выставлен ею на границы свои для охраны своей, для защиты своей, который 1) молод, 2) бодр, 3) здоров, 4) здравомыслим, — почему-то (почему??!) не должен подавать своего голоса при выборах в Г. Думу, не должен указывать "уважаемого и любимого человека", который бы "говорил за нас" и "выражал наши мнения". И самых "мнений" и "взглядов" этот миллион самых здоровых и крепких людей почему-то "не должен иметь".

Сии здоровые люди — "без мнения".

И тот еще миллион, который живет заботливо, встает рано и ведет все русские дела, состоит механиком около всех механизмов управления, "не должны подавать голоса, потому что именуются чиновниками".

Точно в войне и чиновнике какая-то политическая парша.

Но это пока — два миллиона. Однако нельзя не сказать, что это два — самые лучшие, отборные миллионы.

Механизм выборов устроен так, что в нем ничего не понимают, не понимают оснований, не понимают духа, не понимают способа те 140 миллионов, которые в Троицу, и Рождество, и Пасху ходят в церковь и в Троицу стоят с сиренью и цветами, в Пасху — позади своих куличиков, а в Рождество — так, без всего. "Выборы" им "и не понятны", потому что выборы устроены "по *Вестнику Европы*", а "Вестник Европы" они не читают.

Таким образом, хотя этим 140 000 000 "не запрещено подавать голоса", но устроено так, что они могли бы его подать "немо, безгласно", к кому-нибудь "присоединившись" и с кем-нибудь "согласившись".

Это — быдло выборов.

Но как они имеют свой взгляд на вещи, выраженный просто в *факте*, что любят свое отечество, что, как солдаты, — дерутся за него и даже умирают за него — не ропшут, и вся Россия собственно "соткана из этих взглядов", — то эти 140 милл. никак не чувствуют возможным "пристать к чужому мнению" и "пойти за *другим*"... Не имея политической грамоты и понятного им алфавита для выражения своих взглядов — они "махают рукой" и отходят в сторону...

Кто же "выбирает"?

За выделением строевого леса, остается в народном лесу валежник, сухостой и молодые кустики по окраинам. Зеленая травка на лужайках, где случится — земляничка, ландыш, лесная малина. Красивая мелочь...

Но больше всего — сухостой и валежника, поваленного "в бурю"...

В час выборов "в новую Думу" вертится перед народом фигляр, читающий столичную газету и могущий довольно грамотно повторять фразы из передовиц этой газеты и остроты из фельетонов этой газеты. Все это натерто жидовским чесноком, т. е. и фразы, и фельетон, и фигляр. Он говорит, что "будет стоять за народ", что в России многое "очень плохо"... Но под "народом" он понимает фабричные толпы, которые не сегодня-завтра выступят "против правительства", а под "плохим" разумеют цензурное предостережение, данное его газете, или наложенный на нее штраф.

Служителям же кажется, что под "народом" он разумеет крестьянскую наготу, а под "плохо" — что не переловлены хулиганы, конокрады и что не заведено почитания родителей.

"Фигляр" вообще им не нравится. Но в час выборов перед строевым лесом появляется в каждой местности не один, а 5—6 фигляров с несколько различающимися мнениями, но имеющие в себе то общее, что они все суть фигляры, горлодеры и пустые люди. Народ и видит это... Но что же ему делать, когда "предлагают выбирать в Думу" только эти фигляры, не занимающиеся вообще никакими делами, спящие до 11 часов утра и ночи проводящие в клубах или "в гостях".

У него и жена "такая"...

И дети "отбились от ученья"...

"Пустой человек".

Однако дело в том, что пустых — 5 человек, а "не пустого" — ни одного.

"Не пустой" стоит с ружьем и защищает отечество.

"Не пустой" служит в должности, считает деньги в казначействе, производит следствие о воре, как полицейский — стоит на углу двух улиц и наблюдает, чтобы кто кого не ограбил на улице.

"Не пустой" торгует у себя в лавочке, сидит в конторе, лечит не как пустой уездный врач Шингарев, не умеющий различить скарлатины от дифтерита, а как настоящий серьезный врач. И, наконец, серьезный прилежный учитель, находящий радость в общении с детьми.

Неучащий учитель — просится в "члены Думы".

Нелечащий врач без практики — тоже хочет быть депутатом.

И лодарничающий рабочий кричит — что он "будет в Думе защищать интересы рабочего класса".

Строевой народ чешет затылок и говорит вялое, равнодушное "нехай".

Думу — попускает народ, терпит народ. Но *активно он с нею не слит.*

* * *

26.V.1914

Ну, это к другим народам (м. б.) не идет, а к русским идет. Ведь мы первоначальнее всех народов — с одной стороны, и конечнее всех других народов — с другой.

(о "незаконных" или "внебрачных сожитиях")

Вера Рудич написала: "Я была бы *не я*, если бы сейчас же не сдернула с себя трико", — и не позволила живописцу, молодому и атлетическому, рисовать себя "совсем так" (как Еву). Между тем это — девушка, рассказ ее, с упоминанием о стихах своих, — не только автобиографичен, но нескрываемо и дерзко автобиографичен. И... когда только один раз я ее видел в редакции "Нов. Времени", прошедшую к Буренину в кабинет, я, пораженный молодостью и красотой барышни, спросил, зная, что все писательницы бывают уроды, у служителя: "Кто это?" — Мне ответил: "Вера Рудич".

Вот. И рассказ ее "Ступени" показывает совершенно чистую и благородную душу.

Дьяконова? ("Дневник"). Да это чистейшая за XIX в. русская девушка. Между тем она нисколько не осуждает, в душе своей не осуждает француженку, рассказывающую ей, что живет потихоньку с одним, с другим по очереди... Тоже описывает "бал художников", где под конец все были голые и, кажется, совершались невозможные действия открыто. Она как знающий ребенок прошла по бане с голыми стариками и старухами, едва давая заметить в глазах и взоре: "Это мне не надо", "это не мое".

Дневник Дьяконовой есть высоковоспитательная книга. Я его перечитывал несколько раз и всегда (где открывалась) читал с неустанным наслаждением. И главный мотив, и точка наслаждения было созерцать столь чистую девушку (автор).

Этот "Дневник" есть одна из самых лучших русских книг за весь XIX век. Превосходство его перед такими пошлостями, как "Горе от ума", — неизмеримо. Скажу более: "Дневник Дьяконовой", написанный почти в наше время, — почти или минутами примиряет меня с "нашим временем", которое вообще и постоянно я так глубоко ненавижу. Оно мне представляется хамством, лакейством. Но этот чистый "Дневник", и столь поразительно умный, — показывает, что и в гадкое "наше время" русская душа не умерла, — не умерла иногда, не умерла во всех, — а горит, как бриллиант в навозе.

Чудная девушка. Могила твоя безвестна. Но от дней, как ты "кончила Рыбинскую гимназию", до утра, как тело погребло от неразделенной любви в безвестной пропасти Альп, я целую твою благородную, чистую руку. Я так счастлив честью поцеловать твою руку, и ты, конечно, ее не отдернешь, — ведь ты никого не обидела.

.....

Хочется ненасытно говорить, вспомнив о Дьяконовой. Вот когда читаешь ее "Дн." и изучаешь "уголок, под которым открывается" русская душа в нем, — "наших дней", в пошлом или затасканном виде "курсистки" — всего надеешься от этой души и *веришь в нее неиссякаемо*.

Благодарю, милая девушка: что в старом и изверившемся человеке ты возродила веру, — *и какую полную!* — в душу человеческую, как вечно прекрасную и всюду прекрасную...

Ибо в твоём освещении и рассказе — чужие-то души кажутся лучше и чище...

Какое превосходство над Фон-Визином...

Какая *ширь ума* около Фон-Визина...

26.V.1914

ДУХОВ ДЕНЬ

Ну, если Гутенберг и сделал худое употребление из ума своего — то не на сегодня... Ибо вот он дает мне средство перевести в вечность радость души, какую мне принесла "Варя Ст-ва", московская курсистка, — с несколько сумасбродным образом мыслей, но с несомненным талантом... 3-го дня приехала в Петербург, по вызову старшего брата, дала телефон, пригласила к себе, — вечером по совету семьи я пригласил ее к себе на Троицу и в Духов день получил письмо...

Время длинно, время бесвязно, время всех переживет... Переживет и не меня только, но и... страшно подумать — мою семью, мою Таню, Варю, Надю, Васю (Веры нет, — уехала в экспедицию, в Соловки); Шуру...

И когда нас всех не будет и не будет писавшей В. Ст-вой, во всей свежести через изобретение Гутенберга перенесется ее листок, без Гутенберга бы истребленный, и встанет перед всяким читателем как живую "моя счастливая семья сегодня":



26 мая
1/2 8 вечера

Простите, многоуважаемый Василий Васильевич,

Посылая Вам письмо и цветы с посыльным из меб. комн. Мухина, я оч. торопилась, т. к. ждал брат, — надо было идти вместе и поэтому не досмотрела, все ли будет исполнено в точности. Прислуга письмо отнесла, а цветы забыла в швейцарской, они и остались до вот 7 часов вечера, когда я вернулась.

Я Вам сделала выписку из записной книжки, чтобы показать Вам, как понравились мне Ваши дети, и чтоб это показание доставило Вам удовольствие (я знаю, как Вы их любите).

Цветы же были к случаю, — нынче Духов день, Троица; притом жена больна, а я больных люблю всех, притом в литературе Вы ее и расславили как необычайную женщину, и невольное все, читавшие о ней Ваши строки, никнут в уважении к ней.

Я оч. сожалею, что не удалось взглянуть на нее.

Уважающая Вас В. Стукачева.

Всем этим я хочу сказать Вам и всем людям вообще, что я человек не злой, но если поступки мои злы, то меня озлобила жизнь, а за добро я добром своим душевным струюсь. Хочу, чтобы это Вы помнили.

В. С.

P.S. Потом еще между прочим.

О Вас говорят и пишут ужасные вещи, пусть это есть, как и в каждом человеке есть отрицательное.

Но я жду и ищу в человеке хорошее (слишком уже видела много дурного, и надоело оно мне).

И то хорошо, что я ищу в человеке, — в Вас я нахожу, и то, что во мне есть хорошее, будит Ваше хорошее, и, гармонично сталкиваясь, дают духовное любование. Больше ничего не нужно.

Вообще ничего не нужно, а люди могут, зашевелив свое злое, вызвать и злобное в другом человеке, которое, несомненно, есть.

Вот все.

Цветы жене и поклон ей.

Поклон милым детям.

В. С.



Многоуважаемый Василий Васильевич,
Благодарю Вас за вчерашний прием в семье, шлю глубокий привет и уважение Вашей жене и цветы для нее.

Рада была бы видеть у себя сегодня всех Ваших цыплят (детей) и Вас за честь.

Если придете, предупредите телефоном.

Уважающая В. Стукачева.

Переписано из записной книжки.

25 мая. Троица.

Хочу записать неск. слов, хотя уже поздно. 1 час ночи. Сейчас возвратилась из семьи Розановых. Прелестно. Дети все разные, есть даже на английский тип и овалом больших голубых глаз, и даже распушенными по пояс светлыми пепельными волосами, подобранными косым пробором с черным бантом. У всех у них красивые пальцы, даже прекрасные: тонкие, длинные, бледные "аристократические". У всех прелестные девственные рты, и все серьезные.

Старшая дочь, его родная, вылитый отец: глаза и вообще будто обликом психическим.

Это не то я хочу сказать, что она "правая" или что она имеет отношение к "Новому Времени", нет, — все это случайно и заработок у него, тут дело не в газете, но я говорю о способности к собранности, т. е. о возможности сосредоточения всего духа на чем-либо серьезном, говорю, может быть, о глубине. Я не знаю, насколько она добра, этого я не знаю, но она несомненно умна и ее суждения метки, зрелы и по существу.

Около самовара хозяйничает удивительно самостоятельно, мне бы, кажется, и чашки ни одной не налить, так бы все и пролила, а она замечательно: даже ничего не пролила и чай по вкусу наливает. В глазах коричневых невольная (для нее, а не для посторонних) тоска, тоска этой юной души по зародившейся, но еще, может быть, неотвеченной любви. Это красивое очертание щек (линии их, овал), когда девушка в тоске по любви, и эти юные красные уста, слегка опущенные углы их и как бы неудовлетворенные.

Но уже сквозит во всем и упорство, и крепкое пожатие тонких пальцев указывает на характер. Раза 2 я поймала ее испытующий взгляд на мне: "Откуда ты? И что общего у тебя с отцом? И что тебе надо?" Я это заметила. Но так как я в гости не навязывалась ничуть, а меня

сами позвали и т. д., мне ничего не надо от него, то я сидела спокойно, с чистой спокойной совестью. Рядом сидела его падчерица, за дочку она у него. Тоже хорошая девушка. Косы удивительные: пепельные и жгутом в косу вокруг головы и даже к лицу подвиты. Запрыщавила немножко, но это от отсутствия мужчины, т. е. половой жизни; нет "обмена соков", как говорит "писатель Розанов". Это пройдет сейчас же под поцелуями любви.

Умна. Говорит, что пишет в "Р. Мысли".

И опять пальцы очаровательны, впрочем, я пристрастна к рукам и волнуюсь при их красавице. Еще одна — попроще с моментального взгляда (Варя), но, всмотревшись в косу, тоже пепельную и, следовательно, тоже красивую, в глаза, в довольно большой нос, — чувствуется хорошее, и даже, может, она добрая. Потом еще сидел мальчишка (по возрасту) гимназист 15 лет. Вихрастый, верно, какой был папаша в таком возрасте. Сидел и пыжился. Глаза чуть не выскочили, от жару "горели"; губы горят, а сам мальчишка на меня все смотрел, с первого момента, как только я вошла, — верно, отец чего-нибудь набрехал... "меткого", как он сказал бы, а я скажу: лишнего. Я сделала вид, что "не замечаю", что он всю меня ест (по детскости и неопытности), но когда на него посмотришь, хоть случайно, то он вспыхивает и глаза "в землю". Ну уже я не смущала, не смотрела: "Пускай кушает, что мне жалко что ль". Я же была холодна, — вот до чего вытравивала жизнь проклятая чувство всякое. Ну теперь сидел сам (да, кстати: дети его все хорошо воспитаны и скромны; это т. б. приятно видеть), я же перед ними сидела "цукахой", — с руками на столе, когда пили чай, горбилась. Нет, Петербург дает все-таки лоск, хотя они все очень милые и нет этой современной неестественности.

Мне даже понравилось, что ушли раньше спать, сначала угостив, — это страшно мне понравилось: самостоятельность, я б не могла, хоть неможилось, а сидела бы, безвольность все.

Ну отец, — В. Розанов. В семье он прелестен, и даже сравнить его нельзя с книгами (в дурных и ненужных местах).

Простой (впрочем, он вообще такой и есть), дети к нему хороши и просты и, может быть, не врут ему и не выдумывают. Одна (Вера) так и сказала: "Послушаем, что папа говорит о своей молодости".

Это мне очень понравилось. Это показывает, что она ценит отца, дорожит им, против обыкновения детей непокорных 20-го века.

Не знаю: "не была ли я фамильярна" несколько или чересчур "проста" в обращении вообще, может быть, это и не понравилось детям: его-то я не боюсь нисколько.

За столом было все хорошо: вкусно и много, не по-ресторанному и просто необычайно, а между тем "интеллигентно". Ели все, кто хотел, я не смотрела, кто, что и сколько, но жевали и подчищали по-детски, не ломаясь и не жеманясь, как я это делаю.

...Длинно, переписывать не хочется: о ком говорили приблизительноно...

У Розанова дети просты и здороваются сразу и приветливо и просто. Ну, ах, а мальчишка пыжононок, дурачок, а мне все равно.

.....
.....

Да, а жена нездорова и лежала, я все-таки вошла на цыпочках, взглянула изголовье больной женщины, завязанной платком: вот и "святая" Варя (я просто Варя), милая, милая: жизнь никогда не щадит, и за ласку принимаемую надо платить, надо болеть и страдать.

Как бы их устроить — позвать их к себе.

* * *

28.V.1914

Польз своих природа достигает поэтически... Она как бы "резвяся и играя" догоняет великие нужные "цели"...

Так эти "шалости *перед*", — о которых не говорят и не пишут сочинений, — на самом деле глубоко необходимы в целях *прилива крови к органам оплодотворения*, т. е. их тахиоп'ального на эти минуты оживления и одушевления. Говоря кухонным языком, "сковородка должна быть разгорячена раньше, чем на нее будет вылита" опара, если пекутся блины или яйца, если делается яичница.

Так же точно зачинается младенец: жертвенник пылает!!!

...О, как все символично!! Да уж не были ли древние жертвенники, с благовонными травами, которые на них сыпались с "возлияниями вина и крови" на них, — символами именно совокупления в религии пола.

(за укупоркой вещей; *перезд*)

* * *

29.V.1914

Бог и смертные.

.....

— Минута, которая прошла, друг мой, — никогда не возвратится...

— Как "не возвратится"?

— И то, что ты сделал в эту минуту, — никогда не поправится.

— Как "не поправится"?

— Вовсе не только наша жизнь воистину есть "одна", и мы приведены в нее для некоторого испытания, — и второго испытания не нужно и не будет, — но каждая минута есть только "эта одна минута", из которой на нас посмотрела Вечность...

Посмотрела. Заметила. И смежила око. И это око, — о, какое ужасное в своей единственности, — никогда не взглянет на нас, и мы сами никогда не увидим его.

— Бойся Вечности.

— Это и значит — бойся каждой минуты.

* * *

29.V.1914

Профессора совершенно не понимают, что такое государство. И именно — профессора государственного права.

Что такое царство. "Наша Россия".

И, не понимая, естественно, не могут объяснить студентам.

Им кажется, что "государство" есть что-то не очень заметное, лежащее между двумя колоссальными величинами — Блюнчли и Робертом

Модем. Если прибавить сюда "мнения древних", тогда, напр., Россия совершенно зажимается в такой темный угол, что профессорский глаз не может даже различить ее. В этом глазу монокль, и сам одет во фрак министерства народного просвещения.

Он это и знает, т. е. про фрак министерства, но как будто забывает, когда открывает страницы Блюнчли:

Сладко. Еще перечту...

В свою очередь государство довольно равнодушно выплачивает ему жалованье (согласаюсь — недостаточное) и тоже не замечает его. Чуть "что", — сажает в полицию.

Но та величественность, с которой они не замечают друг друга, хотя с виду как будто и занимаются друг другом, — поразительна.

Кто же из них прав, отечество или "верноподданный".

Названный "верноподданным", профессор ужасно бы сморщился: — Ничего подобного.

И действительно, он есть гражданин *rei publicae litterarum* или *de beaux arts et belles lettres*¹.

Он — беллетрист и поэтому ничего не понимает.

Если бы ему предложить прокопать канаву от Петербурга до Царского Села — так для мощиона, с одной стороны, и для пользы службы (чиновный термин), с другой, то он ус..... бы. Между тем это просто "не нужно" для России.

И если бы всем профессорам предложить выкопать еще "Ладожский канал", по примеру работников Петра Великого, то они все бы подавились землей, захлебнулись водой, а вместо "канала" просто бы изрыли землю, испортили ее бессильными ямами, на несколько верст, за что их пришлось бы еще пороть, а не платить за работу. "Работы" — никакой нет, — и это открыло бы для профессоров, что "государство" есть вовсе не то, о чем писали Блюнчли и г. Моль, а великий работник.

Государство — работник. Вот открытие.

Государство есть рабочая сила такой неизмеримости, что ее совершенно невозможно заметить. Как бедному человеку невозможно же заметить "планету земля". Он "землю" знает как свой огород и что она "черна" и ее "пашут". Знает "землю", когда на нее совершают купчую крепость. Но "планета": нужно было родиться Копернику, чтобы "открыть планету землю", через хитрейшие умозаключения и самые отдаленные аналогии.

Он трудился, как я, открывая сейчас "наше отечество".

Вернемся к профессору. И — самому глупому проф. государственного права, которому неосторожно поручили читать самую трудную науку. Науку о неощутимых и невидимых вещах. Он, если бы был "настоящий", то, сев на кафедру перед студентами, собравшимися в числе 200 слушать его, должен бы начать так:

— Как я глуп.

И 10 минут молчания. Полного. Потом, подняв глаза, вторая пауза мысли:

¹ литературной республики или изящных искусств и беллетристики (*лат.* и *фр.*).

— Господа, какие вы дураки.

Вот.

Первый шаг в познании "моего отечества" заключается в том, чтобы изничтожиться. "Отечества" не видно, пока видно "я". И труднейший шаг в открытии дела заключается здесь в освобождении от "я", в употреблении таких приемов мысли и способов сказывания, чтобы "я" сделалось фиктивно. Только когда "он" и "они" (студенты и профессор, всякие читатели и слушатели) перестанут чувствовать вес свой, свое "имя", свое "все" — они подойдут к возможности "открытия отечества".

Еще 10 минут паузы. Лектор раскрывает рот:

— *Задача.* Шел поезд с хлебом. Один вагон, последний, оторвался и разбился. Из деревни выбежал мужик и, увидя, что из одного мешка через рванину высыпалась мука, подбежал и схватил в обе руки по горсти муки. Но испугался, не воровство ли это. Торопясь убежать, он запнулся, руки разжались, и мука просыпалась.

Прибежал домой. Хозяйка спрашивает: "Что принес?" — Он показал запачканные в муке руки и сказал горестно:

— Только.

— Вот, господа, — продолжал мудрый профессор, — мы с вами и есть такое "только" в отношении того, с чем я обязан вас познакомить, но у меня нет никаких средств вас познакомить... И я ищу средств, как бы вам дать хоть пощупать...

Пощупать "земную атмосферу", пощупать "планету"...

— Трудно, но попробую: всеми двухстами человек отправляйтесь на Николаевский вокзал и спросите: *201 билет до Москвы в поезд 3 часа 30 минут дня.*

И уходит. Студенты, конечно, послали одного, который спросил, что надо, но ему ответили, что есть поезд в 7 часов дня и в 11 часов утра. С этим ответом он явился на лекцию того же профессора "в следующей раз".

— Купили?

— Нет. Потому что поезда идут в другое время.

Профессор:

— Это я знал. Но не может же свобода личности человека уступать мертвому правилу. И — притом составленному каким-нибудь темным чиновником, так как расписания поездов составляются не министром. Вы, однако, сделали неосторожность при исполнении моего поручения. Предлагаю вам *в числе двухсот человек* отправиться на вокзал и заявить, что университетский коллектив, притом руководимый профессором с европейской репутацией, просит и, наконец, требует отправить поезд в 3 часа 30 минут, — что, негласно сказать, вполне возможно для дороги: так как между 11 утра и 7 часами дня есть пустое незанятое время.

Идут. Требуют. И кассир на них не обращает никакого внимания. А когда они "подняли историю и шум", пришли служители и "очистили от них станцию".

В университете ропот. Собирается совет. И все выражают негодование на косность и невнимание к требованиям общества зазнавшейся бюрократии.

Решают обратиться к министру от лица университета: но министр, получив бумагу, "кладет ее под сукно".

Есть одно средство "подать поезд не вовремя": обратиться на Высочайшее Имя. Если государь прикажет, поезд будет подан не вовремя.

Государь может "обратить *среду* на *пятницу*" и сделать "в один день то, чего ни в какой день не бывает".

Он так и пишет: "Быть по сему". Он творит "бытие в государстве"... "Бытие" в том чудовищном поезде с мукою, от которого попользовался было мужик, но неудачно. Профессора, сознавая, что они такие "мужики" — с запачканными в муке руками, почему-то оробели при имени "Государя" и не решились его беспокоить.

Не решились его "просить" и "изложить свои мысли". Хотя бы, казалось, отчего же кого бы то ни было не "просить" и перед кем бы то ни было не "излагать мыслей".

"Мы — Шиллеры, и песнь свободна".

Но Шиллеры вдруг заробели. Не понимая сами, не давая сами отчета — "почему". Встретилась какая-то "тяга земли"... И все прижались к земле. Нет — всех прижало к земле.

"Планетное явление".

Люди, студенты и профессор, которые всю жизнь свою имели только *частные отношения*, "копали каждый свой огород", — и при мысли и нужде "попросить государя" перешли в другую атмосферу существования, где, оказалось, не умеют дышать, действовать, говорить. Как бы речная рыба, с саженью воды над собою, попала на "верстовую глубину океана", — и ее просто *раздавило* давлением воды; или как если бы крот попал в верхний слой атмосферы, где просто *задохся*.

И умер. Умерла рыба и крот. Так умирает каждый человек, и Блунчли, и Моль, — и даже "чуть было не умерли" Платон и Аристотель (около Александра Македонского и Диона Сиракузского), становясь спиною или запутываясь ночью около железного рельса, где "проходит поезд с мукой"...

Это — Ньютон, "если бы он стал (или мог стать) на пути движения планеты". Планета бы раздавила Ньютона, "который все понимает", без жалости, без вздоха.

Ничего.

Вот "отечество". Мы все для него — "ничего". Целое поколение, напр. наше поколение, т. е. уже не только "большинство голосов", но *все голоса* — может быть просто "пожертвовано". Ибо "отечество" есть все уже умершие — "как бы еще живые", и все имеющие родиться — "как бы уже родившиеся и распоряжающиеся". Государь страшен и "совсем не наш", потому что он один и исключительно смотрит на дело и вещи не с точки зрения "нашего поколения", но всех поколений Отечества, и бывших, и будущих... И у него есть что-то или, скорее, в нем что-то есть "подземное" и "надземное", — а "современного" нет ничего и не должно быть.

Поэтому самые помыслы о Государе и все слова и речи о нем не могут быть верны по совершенному несоответствию "верноподданного", каким не может не быть историк, — с "Государем"...

Все речи и все истории, включительно до Тита Ливия и Карамзина, написаны "мелким шрифтом" и не выражают сути дела. Суть дела и суть царства и государства суть некоторый ноумен во времени (терминология Канта), совершенно непознаваемый и о котором все науки юридического факультета — мелочь, вздор.

Мелкий вздор, недостойный чтения и внимания. Некоторое чувство о нем выражает мужик, когда, "сняв шапку, крестится и говорит: — Храни Его Господь", когда прошел царский поезд и вслед поезду. Но это чувство и жест, а не мысль.

"Мысли" никакой о государе и царстве не может быть, по несоизмеримости пытающегося размышлять с предметом. Отношение наше к этому — именно жест и чувство.

— Сказали "умри", и *умри*.

— Сказали "живи", и *живи*.

— Иди и воюй...

— Сиди и смиришь...

Вот.

Жесты.

И мы их исполняем. Мы, "верноподданные".

Есть особая тайна, "тайна царева", которая совершенно никому не рассказана и никому *не будет рассказана*, — ибо уже с рождения и, след., как бы "а priori" (терминология Канта) "царю открыто то, что ни одному смертному", именно вот это, что "под глазами его все умалывается" до пыли, до мелочи, до "преходящего" и "ненужного", и взгляд этот имеет соотношение только "с границами вещей" — с тем, что лежит "за нашим поколением", далеко впереди его и далеко позади его.

Вечность.

Царь.

Отечество.

Мы же мгновенны. И был "мгновенен" даже Аристотель и Платон как "бытие", как "лицо" и "человек". Мысли их — вечны. Но это — мысли. "Алгебра" не то, что "алгебраист". Алгебраист есть учитель, коллежский советник и чиновник министерства просвещения. Ничто. И "мысли Платона" суть вечность: но сам Платон был "афинянин как и все тогда", отчего едва не погиб около Диона. Суть и особенность "Царя" и "Отечества" — что это уже не мысли или воображение, не поэзия или драма, а — *бытие*.

"Бытие", "Книга бытия", с которой начались вообще книги...

Замечательно, что государи не пишут, кроме окончательно неудачных и до некоторой степени "бездельных", как Марк Аврелий, или как Цезарь, который "пока еще не был государем", а только рвался к нему; или если "настоящий" и пишет, — то нечто вовсе постороннее государственному и не о себе и *душе своей* (Екатерина в комедиях и занятиях русскою историей).

Почему бы? Ведь так приятно писать. Могли бы уделить два часа отдыха на писание. Этого не случается оттого, что Государь не может смутно не чувствовать, что заключенное в сердце его ("тайна царева") вообще нерассказуемо, необъяснимо, невыразимо. Как мы можем выразить "отношение к отечеству" жестами, как Государь может выразить "суть себя" жестами же, поступками.

Бытие.

Вот его область. Великое "быть по сему". Мне хочется сказать то, чего я не умею объяснить, что в "быть по сему" никогда не может заключаться ошибки, хотя бы "быть по сему" иногда не удалось, повело к горечи и несчастью (несчастливая война).

Позвольте: и Бог "хочет спастись всему роду человеческому", а не удастся. И Христу "не удалось". "Не удалось" вообще не значит "неистинно" или "дурно".

"Мир во зле лежит": и "удача" часто есть именно зло и ложь.

"Кабак" всегда в удаче, а в церкви "редко молятся". Царь есть часто носитель великих неудач, т. е. корифей великих хоров трагедии: и мы должны кидаться вслед за ним во всякую трагедию с мыслью, что "погибнем", но "за лучшее". Царь — всегда за лучшее. Вот его суть и ноумен. Царь (и это есть чудо истории) никогда не может быть за низкое, мелочное, неблагородное. Он совершенно не плывет в том море (приблизительно — Азовском море), где мы все плаваем, ибо у него самая суть — океаническая, дальновидная, дальнзоркая. "Все измерения ума и сердца другие". Все "не по нашим мотивам". Не по расчету, корысти и прочее. Бисмарк, приписывая себе "так много" и Вильгельму "так мало", мучительно ошибался. Ибо очень возможно (еще суд истории не произнесен), что его "железная империя" вовсе ни для чего не нужна, и "новая Германия" вредна в сущности самой Германии. Он "не ошибался" как купец, как ремесленник; а Вильгельм, который, конечно, "этого сапога" не мог бы так сшить хорошо, как Бисмарк, — без последнего процарствовал бы скромнее, но *благороднее и для всего человечества и самой Германии — благотворнее*. Также Наполеон выскочил со своими европейскими делами, только испортил и искорежил полвека и все лицо Европы обезобразил: чего не сделали бы "les gois s'amusants"¹, просто очень мило влюблявшиеся и игравшие "в фараона", о чем вспоминает бабушка в "Пиковой даме" Пушкина. Нужно заметить, что уже министры-дельцы типа Ришелье, Мазарини и Кольбера, с трудами которых Токвиль, Тэн (да и очевидно) связывали французскую революцию и Наполеона, — будучи весьма "удачными в делах", явили собою что-то вроде "буржуа в порфире", играя роль "короля без порфиры". Да, они были удачны. Но в них не было великого царственного духа, вот этого "благородства в безгрешности", которое составляет суть царя. Какая была их цель и задача? Сделать королевскую власть безграничной. ДЛЯ ЧЕГО? На этот-то роковой вопрос они не могли бы ничего ответить, кроме идиотического "так хочу". Но это монгольский ответ, а не священное царское — "быть по сему". Они собирали Францию, чтобы у короля было огромное брюхо: вещь уродливая по существу и вещь ни для чего не нужная. "С таким брюхом" король просто лопнул во время революции, — а Франция стала разваливаться и умирать, потому что она была сожрана и превратилась в "г...." Вот. Чего бы не могло случиться, если бы короли "играли в фараона" и влюблялись. Суть и тайна царя в значительной степени заключается в том, что он просто делает "хорошую погоду"; — делает эту чудную и божественную вещь, столь всем нужную. Суть "царя" в значительной степени сливается с сутью "мужика", как он дан от Рюрика до теперь и символизирует весь русский народ. Отсюда связь "мужика" и "царя" и их взаимное понимание или, вернее, чувство.

¹ "короли забавляются" (фр.).

Мужику нужна "хорошая погода", и царь изводит из себя "хорошую погоду": тем, что не торопится и не нагоняет облачков. И Ришелье, и Мазарини, и Кольбер нагнали целую тучу "облачков" и испортили погоду Франции. Они улучшили только *по-видимому*, как купцы в торговле и как ремесленники в ремесле, но — не как *цари в царстве*. Они не были благородны: а это есть ноумен царя. Они не были великодушны, — именно они не были великодушны к дворянству, рыцарству, духовенству, церкви. И возбудили ту злобу и ответное невеликодушие, которое разорвало короля в 1792 году. Вот. Таким образом (и это ясно из объяснений Токвиля и Тэна) они лишь, *по-видимому*, "возвели в апофеоз" королевскую власть, — а на самом деле уготовили ей эшафот. И через то, что вынули из нее ноумен, который есть благородство. Они так же погубили королевство, как церковь губят "пороки папства", общее — духовенства. Пока церковь остается *чиста*, — при всякой неумелости управления церковь стоит *прочно*; и пока царь есть просто "благородная и великодушная личность в центре всего" — царство благоденствует без всяких особенных дел и событий. Юан-Шикай и "младотурки" свалили империю богдыханов и султанов, но ничего не смогли и вековечно ничего не смогут они сделать, как превратить одно царство и другое царство в "биржу с маклерами" и в "окружной суд с адвокатами". Но это не царство, а биржа и адвокатское сословие. Т. е. они просто уничтожили Китай, зачеркнули Китай и — тоже Турцию, отнюдь их во что-то не "преобразовав". Никакого преобразования, а уничтожение и смерть. Все по типу "Фигаро", — как предсказал великий Бомарше в своей комедии дух французской революции. Фигаро — цирюльник. Сто собравшихся цирюльников зарезали короля и объявили себя "народом". Король, будучи ноуменом и святою вещью, вместе с тем "нераздельно и неслиянно" являет физическое человека трех аршин росту и 47 лет, которого может зарезать цирюльник и особенно сто цирюльников. Но, зарезав, они ничего далее не могут сделать, кроме этого голого уничтожения и зачеркивания. Не могут построить царства. "Франции не вышло", как, конечно, "не выйдет Китая и Турции" — из революции, Юан-Шикая и младотурок. Это адвокаты. И могут завести только "окружной суд". "Окружной суд" с претензиями "быть царством" и являют собою теперешняя Франция и будущие Китай и Турция... Может быть — теперешняя Япония, несмотря на блеск минуты. Даже — *наверное* — и Япония, которой *некуда* идти, со времени преобразования в Европу. "Вернуться к язычеству" она не может, "принять христианство" — ей нечем, и она застрянет где-нибудь в нигилизме, — "ни туда, ни сюда". Это разрушение, а не прогресс...

Таким образом, история (европейская) в значительной степени испорчена "способными людьми", но — "типа адвокатов". Она вся ужасно омещанилась, опрозачилась; потускла и понизилась решительно до болота; "научно осушаемого", но которого никогда не осушат и невозможно осушить, потому что "все это место прогнило и погибло". "Соляного озера" с проклятою нефтью Содомы и Гоморры невозможно превратить в "Светло-Озеро", где "Град Китеж". Из истории исчезло святое. Вот причина "понижения и падения всех религий", мусульманства и буддизма столько же, как и христианства. Все "деловые люди" сделали. Какая же "вера", где "деловой человек". Не станет же челове-

ство молить с "кардиналом Ришелье". Вот в чем дело. Люди типа Ришелье погубили не только королевство, но и католичество: потому что в лице его пришел "в сутане кардинала" и "с портфелем министра" купец и адвокат, пришел Фигаро "на все руки"... Втайне и отдалении — пришел мясник. Еще тайнее и отдаленнее — пришел нигилист; и уже совсем до невидимости далеко — пришел монгол, "разрушитель царств и религий", оставляющий позади себя "горы черепов".

Был храм.

Пришел молот и разрушил храм.

.....
.....

(дожидаясь поезда) (дописано дома)

* * *

30. V. 1914

...начинается поцелуями. Но ведь и оканчивается тоже поцелуями.

Это Флексер (Вольнский) мне говорил:

— Обратили ли вы внимание, что в "Песне Песней" говорится только о поцелуях, но — *не далее*. Там "дела" — нет.

Тогда я не мог, а теперь сказал бы.

— Таинство обрезания и заключается в поцелуях, потому что оно "для дела" вовсе не нужно. И центральная и даже единственная песнь народа, который обрезание имеет центральной и даже единственной религиозною у себя тайною, конечно, и не могло ни в каком случае говорить о "деле". Хотя именно в смысле и направлении "дела" оно содержит что-то гораздо больше и сильнее самого дела... Но таким образом в "Песне Песней" обошлось все нарядно, удобно и неосудительно.

— Друг мой: кто, садясь за стол и будучи голоден, втягивает носом раздражающий запах яств, — неужели он станет кричать и доказывать, что "все это съест"; нет — хуже и вещественнее: что через час эти кушанья будут перевариваться у него в кишках.

Фи!

Он молчит и наслаждается обонянием.

Так и в "Песне Песней" говорится собственно об "ароматичности" относящегося до еды...

Почитать ее — как надышаться ею. Она дана в пятничное (начало субботы, утро субботы, — у евреев начинающееся с *первых вечерних звезд кануна*) чтение израильтянам и израильтянкам...

И с растопыренными ноздрями они приступают к празднику...

Оттого сказано: "В субботу нельзя дотрагиваться руками ни до чего "из сего мира", ибо и руки, и обоняние, и все уже "касается иного мира"..."

Это общий закон Израиля: *о несмешивании разнородного* ("нельзя в один плуг запрячь вола и лошадь") *под страхом смерти*.

— Кто нарушит субботу — смертию да умрет.

— Что значит "нарушить субботу"?

— Например, если врач еврей сделал исследование позвавшего его больного, т. е. дотрагивался до него руками.

— Ах, так вот в чем дело...

— Да. Тогда шел вопрос о сохранении священства этих особенных поцелуев, о которых говорится в "Песне Песней" и для которых дано обрезание. И евреи возопияли: "Кто может становиться на место Божие и отнимать у нас то, что нам единственно даровано самим Богом"... Вот в чем дело. Менялись ноуменальные миры. Отходил один, восходил другой. Ломалось все... Небо, звезды, преисподняя, рай... А так тихо все казалось.

Мальчики бросали зеленые веточки и пели песни...

— Перед погребением. Ведь и до сих пор усыпают дорогу зеленью только перед Усопшим...

(сидя в гостях; пока вышли из комнаты)

* * *

30. V. 1914

— Почему нравится молоко с ягодами.

— Потому что оно похоже на женскую грудь.

— А почему нравится женская грудь.

— Потому что она похожа на молоко с ягодами.

— А почему не нравится розга.

— Потому что напоминает сентенции моралистов: суха, жестка, мертвая и от нее больно.

(утром, встав)

* * *

30. V. 1914

Белая и черная мышки

Около человека

До тех пор пока браки существуют — язычество не умерло и христианство не восторжествовало.

— Да. Но и пока есть смерть — язычество малится и христианство все растет.

(встав поутру)

* * *

31. V. 1914

Не сомневаюсь, что, предоставь ученым, Мечникову, Бехтереву и "противоалкогольной комиссии" внести свои проекты для улучшения норм брака, и они, подумав, нашли бы крайнюю социальную и организационную "дисгармонию" в том, что венчают:

1) в раннем возрасте — жениха и невесту.

2) не блондина с блондинкою, но иногда и с другим цветом волос и глаз.

"Не обращено внимание на в высшей степени важное показательное значение цвета оттенков и состояния кожи..."

Но "мотивировали" бы. Со ссылкой на германские авторитеты и на "мнение древних".

И запретили бы по крайней мере $1/2$ теперешних браков.

Надежда в этой области только "на быт" и запущенность его. "Пусть в мгле", в безвестности, без статистики. Поразительно, что почти все теперешние "улучшения" сводятся к "ухудшениям".

1) "Мы *изоцирились* и допускаем теперь только *лучшие браки*". Вполне "гармоничные".

2) "Муж и жена знают катехизис и начатки химии",

б) "туберкулезом легких и костей не страдают",

в) "прошли курсы сельского хозяйства, домоводства и кухни. Также особый курс обращения с новорожденным".

Полная гармония.

Да. Но "таких" 1%. И так как вы допустили только 1% "лучших", то 99% населения погибает в разврате, болезнях и старом девстве.

Противоалкогольная комиссия ответит:

— Извините. Эта проблема относится к ведению уже *других* противоалкогольных комиссий, а не нашей. Мы должны были начертать нормы здорового брака. И начертали. В него люди не вступают? Произвол человеческий. Вы говорите: "Блондины и блондинки не нравятся друг другу и в брак не вступают"? — Произвол человеческий. — "Не нравятся друг другу однолетки, а непременно в разных возрастах"? — Позвольте, это же хулиганство, и есть особая противоалкогольная комиссия для выработки мер борьбы с хулиганством, и, вероятно, она *принудит* однолеток любить друг друга, а разнолеткам даже запретит встречаться... и посещать одни и те же места. Если вы просвещенный человек и верите в прогресс, то должны знать, что он постоянно идет вперед и никогда не останавливается. Наши "постановления" или "Новая инструкция благочинным" не есть последнее слово науки, но оно есть именно *словом науки*, с большим старанием выработанное и произнесенное с большим авторитетом.

"Неокончателное слово" все-таки лучше старых консисторских правил, позволявших венчать Бог знает кого Бог знает с кем, старых и малых, в 50-летнем и 16-летнем возрасте, не говоря уже о цвете волос... который очень мно-го-зна-чи-те-лен... и о туберкулезе. Теперь все упрядочится, и если люди перестанут венчаться, то, извините, это уже другой вопрос и принадлежит другой комиссии...

И они сядут за завтрак, подвязав белоснежную салфетку под горло, на которой не будет ни единого пятнышка, как и на их совести. И станут кушать также с аппетитом, как архиереи свой "рыбный стол".



Да. В "быт", в "быт", господа. Не чешите волосы. Одно спасение. "Ка-к мо-я ду-шень-ка захочет".



Лет 7 назад. На козлах мальчишка. Ши-ро-чен-ная спина. Лицо глупое. Совсем дурак. Но доброе, ласковое, милое. И говорю ему, желая подсмеяться:

— Ты совсем большой. Должно быть, и женат.

— Чя-ты-ре года.

Я чуть не подскочил на сиденье. Ни одного волоска на подбородке. Ни усов, ни бороды. Мальчик. Только огромный.

— Сколько тебе лет?

— О-сем-над-цать.

Знаю церковные правила, знаю, что запрещено. И спрашиваю:

— Ты из какой губернии?

— Из Витебской.

— Ну, — там глушь. Что такое "Витебск"? Даже не русский, не вполне русский край. Деревенщина. Тьма. Никаких ревизий. И спрашиваю:

— Почему же ты так рано женат?

— Мам-ка жени-ла...

Мамка, очевидно, заботливая, и как "стукнул час" — она и женила, чтобы не "избаловался на девках" ("на деревне"). И поп сообразительный и умный: просто понимает, что "время".

— Так у тебя, братец мой, и дети есть. Удивительно. Однако, я думаю, жена-то тебя иногда колотит.

— Не смеет.

— Да почему же?

— А я ее за волосы.

— А почему?

— А чтобы боялась.

Прямо эпическое существование. К этому наблюдению в Петербурге передам, что в нас в Брянской женской прогимназии (трехклассной) первая ученица 1-го класса Маккавеева Мария, правда самая рослая, вышла перед самыми экзаменами, "исключилась" по воле родителей. И когда я, удивленный и желая, спросил о причине начальницу Екатерину Дмитриевну Верль, она сказала:

— У нее отец умер, сельский священник. Архиерей сказал вдове, что "место" может быть оставлено только за зятем ее. Она — одна дочь. И если "место" перейдет к другому, то они останутся нищими и на улице. Конечно, допустить подобного положения по состраданию было невозможно; отец ее — служил, работал. Без сомнения, архиерею мать сказала, что единственная дочь еще в 1-м классе гимназии, но большипинкая, и уже ей 14-й годок. Архиерей, конечно знающий каноническое правило церкви, по которому "способными к браку" считались невесты 13-лет и женихи 15—16 ("правило" это действовало во всей Европе до 1813 года, когда "противоалкогольная комиссия" и отменила его), — не обратил внимания на гражданский закон и указал выход из затруднения, совершенно разумный. Из биографии священника Левицкого, огромный том о коем написал недавно священник (почти "святой", в Подольской губернии, в г. Балте), я — высчитав года его и невесты, — увидел, что он будучи 24 лет женился на 12-летней. "Жена моя была суший ребенок", — пишет он в трогательно-нежных мемуарах. Она горячо любила мужа и когда стала "в таком положении", то всегда просила мужа-священника, когда он отлучался из дому и она оставалась одна, — "перекрестить младенца в животе ее". Приведу эту идиллию, — русских "Поля и Виргинии". <цитата отсутствует>.

Так, господа, и "допускайте все". Но чешите волос. Любите, пока любится, и не откладываете часов любви. Они всегда красивы. Они всегда святы.

* * *

Май 1914

— Meine Frauchen est perdue! Meine Frauchen est perdue! Nach Tramway et...¹

Махнул рукой.

Человек 5—6 стояли на площадке вагона, качали головой и говорили:

— Ах!

— Polizien?! Ich bin aus Russland. Konsulat?²

Они что-то говорили.

∞

Не имея марки в кармане, ни записки (адрес) отеля, мамочка села в трамвай. Я не успел вскочить во 2-й вагон, и она умчалась...

Куда?

Мюнхен. Столица королевства. Шерлоки-Холмсы, разбойники.

Въехали вчера в 9 час. вечера. Темно. И она ничего не видела и не могла запомнить.

— Что же скажет ее мать. Я потерял жену — "Моя дочь погибла, потому что вы ее оставили в Мюнхене".

∞

Промчавшись Бог знает куда — по рельсам, я вернулся, "не знаю как, опять к тому месту" и стоял.

"Может быть"...

Шел дождь...

Я не хотел сесть и все вертелся около столба (трамвайный столб).

— Что же у тебя зонт в руках и ты не раскроешь?

Мамочка передо мной.

— Испортил шляпу...

— Простудился...

Я ее осыпаю поцелуями.

— Как?

— Я видела, что ты не успел сесть в вагон, и сообразила, что сядешь в следующий. Стала смотреть и увидела, что "следующий" прошел прямо, когда мой повернул вправо, и, значит, мы не встретимся.

Тогда я стала думать, что ты пройдешь на вокзал, куда мы вообще отпралялись, давать телеграмму. Нет тебя. Вернулась в гостиницу. Нет; сюда — нет.

— Да как же ты "сюда" и "в гостиницу", когда не знаешь немецкого языка?

¹ Моя женушка потерялась! Моя женушка потерялась! (нем., фр.)

² Полиция?! Я из России. Консульство? (нем.)

— Я окинула все (когда ее уносил трамвай) и, кроме того, заметила большой золотой крест на церкви и куда от него поехала...

— Боже мой! Боже мой! — крест и вокзал. Да где же наша гостиница?

— Да вот за углом, пройдя улицей...

— Ну, мамочка. Ты настоящая география и премудрость, хотя и не знаешь, собственно, где мы. Но помни на всякий случай: "Полиция", "консул" и "Россия".

(в Мюнхене; перед "ударом" — болезнь)

* * *

Май 1914

Крашенные стекла под именем бриллиантов у Тэта. "Красивее, чем настоящие бриллианты" (публикации). Сам обманулся на этом.

Мы были совсем в бедности, в дни и год или годы на переходе к состоятельности. Подходит день ангела моей В., и иду на Невский, чтобы купить что-нибудь в пределах 7—10 рублей и не дороже 15. Огни уже зажигались. И вижу, в окне горят звезды, диадемы, брошки. Особенно одна звезда.

"Из горного хрусталя" (этикетка). И цена именно от 7 рублей (и выше).

Вошел. Покупаю. Купил. Приношу.

В магазине так горела, а дома тускло. Думаю — от обмана зрения; а ей покажется, что горит.

Показываю. — Ха! ха! ха!.. Ха!

Смущен — "Что, Варя, не нравится?"

— Ха! ха! ха!.. Она тогда умела еще смеяться.

— Нет, этого мне вовсе не нужно. Но у нас нет подноса, — для чашек, подать. Может быть, обменят на поднос.

Там оказались и подносы. Я сходил и обменял.

(На улице вспомнил)

* * *

Начало июня 1914

И "Горе от ума" анекдот, и "Мертв. души" анекдот; "Ревизор", "Женитьба" и "Игрок" — случаи. Притом нужно заметить, что в этих анекдотах и случаях есть много несогласованного, так что самая правдивость талантливых рассказчиков вопросительна. Откуда же взялся миф о глубине и превосходстве русской литературы, когда самые корифейные ее произведения суть явные пустяки?

Правда, — превосходно сделанные, рожденные, сотворенные. Рука всегда была великая мастерица у русских писателей.

* * *

1. VI. 1914

Глаз без взгляда — вот позитивизм.

Никуда не смотрит. Некуда смотреть. Но все видит...

Нет, "отражает в себе", "фиксирует". Одно... другое... третье... десятое. Голубое... черное... белое.

— Куда ты смотришь, урод?

Ухмыляется и отвечает:

— Смотреть — преступление. Я только фиксирую.

Нет, отвратительнее:

— Смотреть — ошибка науки.

"Смотрели" Ньютон, Коперник, Паскаль. Но Герберт Спенсер и Д. С. Миль научили, что "глаз" есть "выпуклая стекловидная масса, отражающая в себе предметы"...

— "Отражающая"... Идиот: да зачем тебе "отражать"-то, когда ты безнадежно глуп...

Ухмыляется.

— Вы говорите "зачем" и тем показываете отсталость. Это термин времен схоластики, Платона и Шеллинга. Современная наука отказалась от познания "причин" и ограничила себя вопросом: "как". "Как все происходит" и "что именно происходит"...

— Дурак. Да зачем тебе "происходит"-то знать? Ведь ты осел, и тебе надо знать только собственное пищеварение. "Съел" и "в....." Вот. А ты в науку лезешь.

Улыбка во весь рот.

— До меня была ночь, а я дал день. Ночь и испуги, и суеверие, и обман. Но я пришел и рассвело. Пришел я и Лесевич. Пришел Конт и "Письма к русской женщине". С тех пор русская женщина и Герберт Спенсер считают и записывают, осматривают и констатируют. Мы констатировали:

— До 89 года ничего не было. Пришел Камилл Демулен и сказал: "Да будет свет". И бысть тако.

— Русская литература началась с декабристов. Пушкина никогда не было.

— Вообще Россию родила русская женщина. До нее были медведи, волки и гиены, которых для разнообразия называли Рюриковичами, Гостомыслами и иными прочими (цензура мешает сказать настоящее слово).

— Осел. Да "русская женщина", конечно, и Гостомысла родила, потому что она может родить даже кита. Так у ней все и устроено приблизительно для "кита".

Вот что. Из всего позитивизма только и сносна "русская женщина", потому что она водку подает и потому что она в красном платке. И провались ты, пожалуйста, со своими чиновниками, Гебертом Спенсером, с надворным советником Дж. Ст. Милем в тар-та-ра-ры, оставив единственно и исключительно одну "русскую женщину", которая действительно талантлива и из "глубокой ноченьки", — от Платона и Шеллинга, несмотря на Цюрих и Женеву...

Дай сюда эту бабу, для сказок, для песни, для пляса, и уж если ты задыхаешься от тоски — даже для революции: но, ради всего святого, сгинь же, сгинь и сгинь сам со своими счетами, статистикой и "констатированием факта", потому что всего этого тебе не нужно и даже в сущности даже *этого* ты не умеешь, из всякой действительности производя "вычитание" и на всякую действительность накладывая свои ослиные "нормы", именно — ослиные, со страшными ушами, ревучим голосом и без всякого смысла.

Эта априорная, "ослиная морда", приложенная позитивизмом "ко всякой действительности" и царящая ныне во всем мире, никакого "дня" не сотворила и никакой ночи не отменила, а просто произвела "щель с тараканами", науку с Лесевичем, философию со Спенсером и факультеты русских университетов, подчиненные Дарвину и Чернышевскому. Сгинь, сгинь, сгинь, "умри, умри, умри". С нами крестная сила. Проваливайтесь, тараканы.

* * *

1. VI. 1914

Ну что же, если из всех мыслей педагогических, о детях, семье, о женщинах, об устройении наук ("О пон.") его заняла только возможность сказать — "двурушник". Всякий поднимает с земли тот гриб, который ему нравится. И этот поднял опенку.

Им ведь не нужно цивилизации, образования, книг, а — обругать. Разве уже не было этого? "В Пушкине замечательно было то, что он был камер-юнкер" и написал националистическую пошлость "*О чем шумите вы, народные витии?*" Зачем же я оскорбился и удивился? "Кстати". Но он доволен собой. Глупый всегда доволен собой. Михайловского он называет: "учитель", "мой и наш учитель". В таком случае (рассказ Кайзера) мог бы припомнить, что, когда раз заговорил при "учителе" неосторожно обо мне, тот ему заметил: "О Розанове *так* нельзя говорить". Кайзер едва ли имел причину выдумывать, да и сказал "не на тему", мимоходом (всегда фактично).

"Двурушник". Вам хорошо писать, п. ч. радикальных журналов сто, и можно писать во всех, сохраняя "единство лица и убеждений". Но что делать "нам", когда консервативный журнал или газета только в единственном числе, и раз — "грозда текущего матерьяла" и "нет места для всей вашей производительности", а за стол садится 11 человек и мал мала меньше (еще недавно, лет 5 назад) нужно их учить etc, — а "печатать негде". И я пошел, после усиленных с их стороны предложений, в "Русское Слово" — да и 100 000 подписчиков и можно заронить свою мысль. Но оставим идейность и обратим внимание на хлеб. И Струве тоже, имеющий около 8 человек детей, заметил: "Розанов пишет отчасти для монеты". Да, я не из тех литераторов, которые ради славы бросают семью за спину и только пялятся перед публикой с "единством убеждений".

"Публичные" писатели, как есть публичные девки. Каким образом драгоценные дети, давшие мне все одушевление, и драгоценный "друг", бывший мне 20 лет поддержкой и опорой, — были бы мною брошены для восторгов петербургской публики.

"Браво, браво, Розанов! Как он откатал церковь!"

"А духовенство-то... ха! ха! ха! браво, браво!"

"А школа... Смотрите, как он пишет о Делянове. Ничего не боится". И 100 перьев в 100 лакейско-революционных газетах уже плетут тебе венок из "незабудок", впрочем, фальшивых и забываемых авторами на другой день...

У, уроды... У, уродство...

Возвращаюсь.

Так вот. Это скорбь положения. Что "нам", русским, — негде писать, нет органов, нет газет, журналов; все забрано вами, кабатчики.

И пришлось поклониться "его величеству кабаку".

Нет, его величеству — всероссийскому лакею, поднимающему революцию в России.

Пришлось поклониться социал-демократической мошне.

Ведь он, "чумазый" (Щедр.) — за вас. За вас Рябушинский, первый старообрядец-банкир.

Вот.

"Наши" разбиты. Хорошо было Страхову "писать в едином журнале", ибо у него не было детей. Ап. Григорьева вы и ваши сморили в нужде и горе (Благосветлов). Леонтьева тоже: но и у Григорьева, и у Леонтьева детей не было. Пришел Розанов с (слава Богу) кучей детей. Да, да, — всю правду на стол. И Елизавете Кусковой и Пешехонову "вдобавок к сказанному" и "в разъяснение сказанного" не остается ничего, как топнуть ногой и сказать:

— Ты обязан был сморить их голодом.

Да не кашляйте, господа: скажите ясно, чисто и громко:

— Для сохранения жизни "честного писателя", каковое имя одно укрепляет литературную репутацию, и если его нет — то, будь писатель хоть "семь пядей во лбу", все равно его имя и произведения погубли, — итак, для сохранения этой-то "Ахиллесовой пяты" писателей и писательства ты, конечно, был обязан ничем не поступаться и, "вынимая жребий", предпочесть тот, где на одной стороне написано: "честный писатель" с "постоянством убеждений", а на другой — "больная жена без лекарств" и "пятеро детей без школы".

Вопрос именно шел *об этом*, ибо не хватало на *ежемесячное*, когда еще ни один из детей *не учился* и не наступали *болезни*.

Да, Елизавета Кускова, гуманистка-писательница, — не упирайтесь и скажите это слово:

— Мы поджидали тебя, честного писателя, *тут*: и думали, что ты сморишь детей голодом.

И ты, социал-демократ и рабочий писатель, не откажись всем ртом выговорить:

"Мы так и ждали! Позвольте: *мы* же (100 изданий) выдерживаем честность направления и пишем только в левых изданиях". И ты обязан был, *если честный писатель*, писать только в своих поганых правых изданиях (один журнал, да и то не платит, — за неимением подписчиков).

Вот. Вот, наши тюремщики, наши мучители, наши палачи, — рас-торговавшиеся на продаже отечества (конечно! — и Финляндии, и полякам, и жидам, от которых прямо или *косвенно*, переводами по почте в редакционную кассу или через "ходко идущую подписку" не в одних наших губерниях, но и в польских, латышских, финляндских, — *получа-ете деньги*), — вот вы стоите перед нами с орудиями пытки и под страхом "бесчестия" требуете не одного нашего голода, что еще пустое дело, но и голода решительно ни в чем не повинных малюток и больших женщин.

Вы (Пешехонову) скрыли под полой, что Некрасов мошеннически оббрал на 95 000 рублей больную и оставленную мужем первую жену

Огарева. Об этом вы (Пешехонову говорю) не написали "Письма в Редакцию *Русских Ведомостей*" и не оповестили всей России.

Послушайте: а это разве не "двурушничество" или "дву-ушничество": о Розанове я "слышу", когда говорят дурно, а о Некрасове, если я тоже слышу, что говорят дурно, — то "не слышу".

Дву-рушник.

Дву-ушник.

Но слушайте дальше.

И я приведен был к "кабаку". Мне не нравился тон, не нравились *определенным образом* две кампании в газете: "Гурко-Лидваль", "Гурко-Лидваль", "Гурко-Лидваль" и вся травля на Гурко потому, собственно, что он "правый". Но "удайся" бы то же самое левому — и замолчали бы. Вторая "кампания" газеты мне была противна, когда она направлялась на Чельшвева. Из-за того, что он в Саратове содержит "общественные бани", в коих общеизвестно, что "подается пиво" (отнюдь и *никогда* водка; все это я сам лично знаю); поднят был содом и гомор против Чельшвева как лицемера, поднявшегося в Г. Думе против водки. Была погублена репутация человека, поднявшего героически и единолично голос против спавания народа. Тут была явно погоня за "пяточком" ("шум в печати", "скандал"), и ради этого "пяточка" выбрасывался из жизни, из практики благородный борец. *Ведь борьба-то его против пьянства была свята и права.* Вот. Но за исключением этих частностей я не имел причины протестовать против газеты¹.

Но в общем, конечно, все-таки она была "левая", и соглашаюсь, что "в общем" мне не следовало в ней участвовать. И не участвовал бы, конечно, если б мог жить свободно и хорошо, леча больную жену и обучая крошечных детей в училищах, сотрудничая в органах "одного направления". Так. Но я поклонился вовсе не Суворину, которого любил и уважал всегда, а "вам", ваше демократическое величество...²

Вот тут-то и гвоздь и булавка.

В то время как Страхов и Григорьев, вообще одиночки, могли не "поклониться вам", я как многосемейный вынужден был "поклониться вам". Поклониться вот этой линии: "Белинский — Добролюбов — Чернышевский — Щедрин — Некрасов — Михайловский — Григорий Петров — Дорошевич — Амфитеатров — Сытин". О, "наши" (Достоевский о революционерах в "Бесах") знают, "где раки зимуют", и они всегда предпочитают заручить к себе не "Розанова", а "Сытина". "Розанов между прочим", а "Сытин важная вещь". Известно, "сотрудничество интеллигенции и капитала" (Соболевской и Морозова). Хорошо знают, "где раки зимуют", — и Розанов пошел, где вообще "наживаются около раков". Конечно, нечестно. Конечно, нехорошо. Но я думаю, косвенно и отдаленно тут "Бог привел": "поди и *испытай*".

¹ Которой я, впрочем, и не читал, — а о "Гурке-Лидвале" и "бани — Чельшев" я знаю по заголовкам статей (т. е. что "велась кампания"), а не по тексту.

² Это — *вообще*, в смысле "духа газеты". Но ничего, кроме самого милого, я не могу сказать о руководителях газеты: Ф. И. Благове, тесте его И. Д. Сытине и Вл. М. Дорошевиче. Дорошевич, бесспорно, во многих отношениях есть гений пера, лично очень интересен и в высшей степени разнообразно и интересно начитан. Сытин есть гений-предприниматель, не чета мелким жидкам. Благовал на меня очень ласковое личное впечатление.

Что?

Да до какой степени погибла наша несчастная Россия, погибла и погублена, полужарезана и обобрана, если в самом деле "писатель с талантом" (никто не отрицает) не имеет возможности даже воспитать детей, просто обучать их в школах (без Суворина не мог бы, и это лет шесть ужасом стояло передо мной, как угроза и судьба), ни — лечить больную жену, если он верен России и любит Россию: и может купить хлеб детям и лекарство жене, только предав Россию и начав лыстить ее погубителям. Вот. Вот "куда Бог привел заглянуть", чего еще не снилось Белинскому, когда были только "цветочки", без "ягодки". "Ягодки" вылезли к нашему времени, когда пришел "жид", "чумазий" и, столкнувшись, все охватил одною цепью, одною веревкою — все уловил в один великий "невод". Не сразу можно было рассмотреть (до "дела Бейлиса" не было видно и мне), что отдаленно и обширно всем руководит "жид с моноклем", "жид-европеец", с манерами и образованием, который вкусно кушает и нашего "чумазога", и уж интеллигенция проскользнет в его желудок легко, как устрица. "Европейское образование", "усовершенствованные формы борьбы за существование", где — крови нет, железо не употребляется, где есть "голодные" и "сытые", "заработная плата" и "давалец", "редактор" и "сотрудники", "редактор" и негласные его отношения к "банкиру", которым является всемирно "жид". Первый (у нас) поклонился "жиду" Стасюлевич, но это были "цветочки". Теперь поклонилось "все", и это уже "ягодки". Жиду через "Горнфельда" поклонился и Пешехонов, и Шингарев, изрекший, что "зачем же русским оказывать кредит из Государственного банка", когда "под лежащий камень вода не течет" (его слова в Г. Думе, — на этих днях, июнь 1914 г. или самый конец мая). Т. е. русские не умеют пользоваться кредитом, неспособны к торговле и промышленности: а способны к ней евреи, вот уж "не лежащий камень", и капитал Госуд. Банка должен течь "сюда". О, это не так ясно, как "сотрудничество в двух газетах", это гораздо тоньше, никому не заметно и являет только отсутствие "зверообразного национализма"... Налоги собираются с мужиков. Концентрируются в Госуд. Банке. И из Г. Банка текут (кредит) в руки еврейских банкиров, которые забирают в свои руки всю торговлю на Руси, скупают яйца, скупают леса, скупают хлеб еще на корню, скупают лен: и, конечно, Пешехонов не станет об этом писать воищующих писем в редакцию "Русских Ведомостей". Маленького двурушника Розанова можно схватить за руку, но большого и тонкого двурушника Пешехонова схватить за ухо не удастся: потому что ведь он только "ничего не пишет о покупке яиц, льна и лесов, и земель евреями": и что же за преступление "не писать"... "Молчу". Да. Но Пешехонов, и за "молчание" получается золото. А не золото прямо, то "позолоченные положения"... "Я же не деньгами беру, а борзыми щенками". Пешехонов хорошо знает, что, заволнуйся он скупкою бывших крестьянских земель анонимными еврейскими обществами¹, со срубкою лесов на них, с истощением земли

¹ Закон (бывший и ранее, до 1914 г.) запрещал евреям покупать земли вне местечек, т. е. евреи земледелием сами не занимаются и, след., могли бы покупать землю не в целях ее *возделывания*, а в целях истощения, выбирания с земли и из земли всего ценного. Тогда евреи решили обойти этот закон и прорваться к земле

и проч., и проч., с выеданием и вытравливанием из земли всего, что можно уложить на воз и увезти, — заволнуйся он не "чумазым" скупщиком, а евреем — скупщиком сырья, и он будет сейчас же выброшен и из "Русского Богатства", и из "Русских Ведомостей" и попадет в "положение Розанова". Но "положения Розанова" бессеребренник Пешехонов не хочет. Он тоже "известная величина" и "русский писатель". "Я не борзыми щенками, а честью", — может окрыситься Пешехонов. Да, но "честь"-то стоит "борзого щенка". Суть не в счете, а в выгоде, не в "ассигнации", а в "кармане". А в разнообразном смысле "карман" оказывается и у Пешехонова. "С кем не выгодно, я и не ссорюсь", — поглядывает в глазки Горнфельду, Короленке и Шингареву Пешехонов. Как Стасюлевич смотрел "в глазки" тестю — Утину (еврей, директор-распорядитель СПб. учетного банка) и уже совсем не тестю барону Гинсбургу. "Мы знаем, с кем завтракаем" и неблагодарности не оказываем. Умеет "поблагодарить" и Пешехонов, так, "симпатиями" без адреса, в воздух. "В России вообще скверно, но жид хорош". "Если кого угнетают в России, то, конечно, барона Гинсбурга". Симпатичные мнения, приносящие больше "вкусной дичи", чем целая стая борзых щенков.

Эх, господа: не трогали бы вы этой темы. Эх, господа, не касались бы вы денег: ибо этот иудов металл ни к чьим пальцам так не прилипает, как к пальцам иуды. Не хотел я говорить, а вот вы вынудили, и я скажу, что не пишите вы жалобных "писем в редакцию" о том, что Амфитеатров¹ "кинул с презрением "Новое Время" и начал издавать с Дорошевичем собственную "Россию", не вернув Суворину 6 000 рублей. И ругал Суворина в "России", а денег все-таки не возвращал. И хорошо шла "Россия", денег была куча, но он не возвращал и так не возвратил Суворину 6 000 рублей.

6 000 — не 6 копеек и не 6 рублей. Нельзя сказать, что "забыл", "не помню".

Нет.

Взял?

Украл?

Ни то ни се, а как-то "косвенно присвоил" неуловимо. "Придраться нельзя". Да ведь и рассчитывал, что великодушный старик не взыщет.

Но вот этот расчет, что "не взыщет", уже содержит в себе что-то. Что? Не знаю. "Я его ругаю на все корки, а он все-таки не взыщет". Конечно. Чист Амфитеатров? Не чист? Не знаю. О, конечно, не вор! Кто говорит. Но какая-то "культурная форма", с "моноклем", — не иметь "в кармане" и все-таки сытно позавтракать в хорошем ресторане с приятеле-

следующим образом: испрашивалось разрешение, через подставных русских или немцев, на образование анонимных акционерных обществ для "производства того-то", вагонов или чего другого. Так как самая инициатива этого и творческий замысел шли от евреев, то они под видом "директоров", "агентов" и "пайщиков" наполняли это "разрешенное общество". Оно "для постройки корпусов, фабрик и контор"... И начинает скупать землю вокруг, собственно, в целях сосания и оголения земли, — "фабрики" все строились, были в "проекте" и "производстве", и их так до конца и не возникало. Правительство и решило этому положить конец.

¹ Из Сувориных я ни от кого о нижеследующем не слышал: но мне сообщило лицо, заведующее денежною стороною газеты и конторы.

лями. "На то и друзья, чтобы умный человек был сыт". Вот это "около хороших друзей быть сытым", — с кляузничеством о друзьях на другой день после завтрака, — и есть то, что называется "европейской цивилизацией".

— Она уже не христианская. И хорошо, — говорит Амфитеатров, закладывая руки в карманы.

— Она политико-экономическая и социалистическая, — говорит он же, посматривая на столы с закусками.

— Я покушаю, а вы заплатите.

Это и есть а социологии. — И наливает рюмку абсента и опрокидывает за галстук.

Талантливый человек.

Вообще талантом на Руси быть хорошо. Аладьин, например, по 20 за строку присылал статьи в нашу газету, анонимно и тайно, — будучи членом Думы и отнюдь произнося там речи, не в "духе нашей газеты". И наконец во время процесса Бейлиса я получил 2 письма от московской купчихи г-жи NN о кротком моем друге, который, вперя глаза в небесные и социологические темы, оплакивал моральное падение России в этом процессе.

(вставить боргезом 2 письма о Мережковском, заменив фамилию его звездочками) <письма в рукописи отсутствуют>.

Так-то, господа. Не копали бы вы навоза: а то от самих запахло.

* * *

1. VI. 1914

С первого же взгляда видно, что пол мужчины и пол женщины организованы совершенно разное. Я еще не могу сказать — "противоположно", но что — "разно", это очевидно с первого раза. Между тем теперь и у нас закон брака "один для обоих полов" и "стрижет одних и других под одну гребенку". Рассмотрим.

Я пришел к этому, сейчас гуляя в саду и размышляя, как родители все без исключения заботятся выдать дочерей замуж. Это от времен Лавана, заботившегося о судьбе некрасивой Лии, до "кинематографа с тещами", великолепно описанного Чуковским. "Известно, что такое тещи". И только Розанов смотрит на них с глубокой-глубокой любовью, глубокою-глубокою нежностью (личный опыт: у меня было две тещи — прекраснейшие пожилые женщины, и по высокому уму и благородному сердцу).

Оставим "себя" и перейдем к делу. Монархи так же заботятся о судьбе дочерей, как обыкновенные смертные. Что это?..

Вытекает это из глубокой закономерности и плановости женской половой жизни, которой ничего соответствующего у мужчин нет. "Первый же шаг половой жизни" у девушки, переход из девушки в женщину уже включает в себя "всю мысль о ее будущем": очень долгом, а вообще даже и до гроба. Отсюда ужасный трепет девушки стать женщиной: "моя судьба", "моя судьба". И как "дурной судьбы" страшиться, хорошей ищешь: то девушка полна смятения, "куда ступить первый шаг". Отсюда забота родителей о дочери, — вполне отсутствующая о сыне. Когда теряет сын "девство", родители обычно даже не знают и не

заботятся об этом. Не станем морализировать, что это неправильно и худо (и я так думаю), но будем просто глядеть на факт и согласимся, что он *из чего-то вытек*.

"Вытек" он из великой всемирной эмпирии (опыт, наблюдения), что, потеряв "девство", мальчик или юноша ничего не потерял и пока ничего в себе и судьбе своей не испортил, кроме... "пушка на подбородке". — "Да, лучше бы подождать знать, но если и *узнал* — что за беда". Дело в "знании", а качеств "судьбы" не коснемся. У девушки же началась "судьба", и родители трепещут.

Естественно. А что естественно, то и универсально.

"С первого же раза" — приняв в себя мужское семя — девушка приняла в себя чужую душу, чужую мысль, — *судьбу третьего* (младенца). Она теперь "полна" чего-то, что до известной степени перевешивает значительностью ее самое.

* * *

2. VI. 1914

А все-таки я моим современникам наговорю в лицо довольно "милые вещи".

Гутенберг, м. б., и "не хорошо" изобрел. Но для меня он очень "хорошо" изобрел.

∞

Этим людишкам безбожным, которые воображают, что они "поднимают Пелион на Оссу", что они "гиганты, мечущие камни на Олимп", что они суть "Прометей, восставший на преступника-бога и несущий огонь людям", — этим господам, кушающим свой завтрак с салфеткой, подвязанной под горлом, я скажу все, что следует. Я скажу им, я скажу им. Они услышат, услышат.

* * *

2. VI. 1914

Да. Пусть не одни лабазники-купцы слышат "правду-матку"... Эти "аршинники"... И не одни "дворяне-скорпионы", "сосущие кровь из народа"... Не одни "чиновники—кувшинное рыло"... Ну и не "он-сам", о котором столько анекдотов...

"Отечество совсем спасено 14-м декабря". И если бы приняли во внимание "мнения нашего Каблушкина" — Россия заблагоденствовала бы. "Тоже взгляды Оль д'Ора". Наконец, если "никто", то спасет Россию Скиталец. Талантом переполнена Россия. Талантом и горением за правду. "Раскройте тюрьмы и освободите правдолюбцев" — и в России настанет день. "Дайте нам зарезать его-самого", и яблони начнут приносить яблоки по 12-ти раз в год (Апокалипсис). Вообще мы совершенно накануне окончательного спасения, и вот только не "позван" Каблушкин. Каблушкин и Зинаида Гиппиус. И тоже Оль д'Ор.

Вообще я не знаю, почему столько скептицизма, отчаяния в людях. Почему вешаются, стреляются. "Все идет великолепно". Если так легко и удачно застрелили Столыпина, то "можно и далее".

Все готово. Почти все готово. Пламень добродетели. Героев — как в былые времена писарей. Бла-го-ро-дства... — о, Господи; да если

каждый почти Прометей: то какие же разговоры? Напряжение, всеобщее напряжение, и, конечно, "плотина не выдержит", и с завтрашнего дня "Русский Авраам будет принимать под дубом Мамврийским" трех странников, т. е. Бога и двух ангелов или в их образе "Мережковского, Зинаиду Гиппиус и Философова". Секретарем будет, конечно, Каблуков.

Отлично. Совсем хорошо. Я вижу, что всемирная история благополучно заканчивается. "Не с чего, так с бубен".

* * *

3. VI. 1914

...От Вавилона и до сего дня — одна линия. Одна связь. Одна веревочка неразвязанная.

На реках Вавилонских
Там мы сидели и плакали,
Вспоминая о Сионе.

Неужели, неужели в "школе министерства Просвещения" об этом знают? Там это — фраза. А в церкви дело: Священная Песнь, "в которой нельзя переставить слова и петь не с благоговением".

Дело. Жизнь. О, это уже "не школьный урок", который учится и завтра забывается.

"Скучно! Надоело".

— Поставили "2" — за "на реках Вавилонских".

Фу! Фи!

Что же еще? Моисей тонул в корзине, и дочь Фараона его вытащила. Это уже не "Аида" с орущим баритоном, — занятия праздности наших дней. "Слушай! Вникай! И волнуйся".

Да. Оперетки пошли. У, проклятые.

Все слопало "брюхо современного человека". "От обезьяны произошел". Нет, от комара.

Вылез из нечистот скверного места и воняет. "Посторонитесь, с него капает".

Вот он. Прометей новый. Низвергающий огонь с небеси. Т. е. закуривающий папироску от спичечницы с электричеством.

"Автоматично действует".

Вот он мчится в автомобиле и задавливает 5-летнего ребенка на глазах отца и сошедшей с ума матери (сегодня известия). И когда полицейский остановил, 100 газет наутро разрезались:

— Полиция вмешалась. Никакой гражданской жизни нет.

И уже Керенский вносит запрос в Думу: о злоупотреблениях администрации.

У, уроды. У, животные...

.....

Что же еще:

Рим. Roma aeterna¹. "Православие борется с католичеством", и опять около плеча чувствуешь мир, вселенную. Где "церковь" — там в каждой

¹ Вечный Рим (лат.).

точке чувствуешь вселенское давление, жесткое, ласковое, враждебное, все равно. И говоришь в себе: "Я человек, а не вошь".

А в банке — я вошь.

А на сходке — я вошь.

А в забастовке и в университете — вошь и вошь.

"Борьба вшей с вшами". Цивилизация.

.....

Еще что опять: Лютер и волны его. Сейчас за спиной его — рыцари и царства. Ульрих фон-Гутен. Меланхтон и Кальвин.

Это уже не "Война за испанское наследство" и не "походы Наполеона", столь ужасные по бессмыслице. Да: придут к вам не Наполеон, а 10 Наполеонов, если вы отречетесь от церкви, — и поведут вас на бойни. Придут мошенники Лассали и скажут: "Деритесь, пока не истребите буржуа".

И будете драться, жалкие рабы — блюдолизы.

Потому что вы всегда блюдолизы, лижущие мудрость с тарелки Маркса. Как будто какая-нибудь курсистка откажется вычистить сапоги "самому Марксу". За счастье почтет и в мемуарах запишет.

Свобода. Счастье. Величие. — *Только в церкви.*

* * *

3. VI. 1914

...и вот, серьезно согнувшись и как бы совершая "что-то государственное", Керенский выносит ночную вазу в спальни близкого ему человека. И фанатично ищет, фиксировав глаз на пункте, куда должен вылить ее содержимое. Что в душе его, о чем он думает? У него нет более сложного содержания, чем "вот ваза" и "я должен из нее вылить". И он серьезен и трагичен. Он никогда не может догадаться, что это "только ваза" и что "вылить" ничего особенного не представляет собою: но относится к этому как губернатор к губернаторству или пастор к воскресной проповеди.

Это впечатление легло на меня неизгладимо в рел. фил. обществе (дело Бейлиса). Он все наклонялся и рассекал воздух рукой. Говорил "до" (одну ноту). И мысль: "человек" и "ночная ваза", "супруг несет ночную вазу" — связалось у меня.

И когда он говорил "в до": "Европа нам не позволит" или "мы не захотим", я шептал про себя:

"Не пролей! не пролей!"

* * *

3. VI. 1914

...да ведь и она была недалеко.

Но в ней все скрашивалось, затенялось и замазывалось великой гармонией доброты, личности, наивной и счастливой биографии... Она шла "навстречу молодежи", именно как *молодости* прежде всего, очень тускло разбираясь в ее идеях, не подчеркивая их в уме своем, "прощая"

резкости и думая, что это "так", а не принцип. Она благоговела к Александру II, считая его "святым", хотя, мож. быть, не с церковной точки зрения, а с точки зрения французской революции, истории которой, впрочем, не знала.

Она вообще ничего определенно не знала, и в том была ее прелесть. Она была вполне прелестна и вся прелестна.

Что же вышло с сыном? Пока он был около Дягилева (кузены), он был "сам" и "на своем месте". Рожденный "в праздности и лени", и всегда,

Как денди лондонский одет,

он, естественно, стал эстетом, почитал Оскар-Уайльда и готов был носить "большой подсолнечник"... Мережковский, в памятном свидании с Дягилевым (Перцов, Дягилев, Философов, Мережковский с З. и я), где он назвал грубо Дягилева "тумбой, ничего не понимающей", на что Дягилев отвечал умно и спокойно, — потребовал, чтобы он шел на "религиозный и пророческий путь"... Дягилев, не шарлатан и не глупец, отвечал, что "не пойдет", потому что "не пророк"... Философов заколебался. Он очень любил Дягилева, был "верен" ему. И отстал (рассорился) с Мер.

Мережковские сделали величайшие усилия и неотступно делали их года три, чтобы привлечь Фил-ва на свою сторону. Тут и "Зинины чары", мне всегда остававшиеся непонятными. И победили. Философов перешел на их квартиру, — прямо переселился в их квартиру, порвав с Дягилевым.

Но уторопляем историю. Поездка в Париж, "где мы, В. В., видели таких женщин, таких женщин, что у вас бы голова закружилась"... "Еврейки?" — "Конечно. Да, еврейки". Но суть в Ропшине-Савенкове, на первой странице "Коня бледного" коего есть прямо тексты Мережковского из Апокалипсиса... Напр., все место "об утренней звезде". Самое заглавие романа — "Конь бледный" — дано, конечно, Мережковским. Это ведь имя "одного из всадников" Апокалипсиса. Вообще нам все это было еще знакомо в доме Мурузи (квартира Мережк-го). Текст же и преступление, конечно, писал Савенков. "Писали втроем", по французскому способу.

Ну, ладно. Потом вернулись. И решились преобразовать Рел. фил. об-во. "Будем смешивать революцию и Апокалипсис".

Тут — и Философов. Но что было делать ему, когда у него не было ни Апокалипсиса, ни революции. Слова и мысли — все Мережковского, одного Мережковского. З-нка придавала ум и остроту. "Бабые — колдовское начало". Она вообще колдунья, об этом и Тернавцев говорил. Но при чем тут Философов?

Горестное и глупое положение. Писатель без слов, без мыслей, без чего-либо "своего". Все — Мережковского и "Зины". Ему оставалось вдохновиться парами мамы: но едва облетела ее грация, ее врожденное и старое дворянство (она — урожденная Дягилева), как выступил глупый и злой пень 60-х годов. Положение Фил-ва глупое и странное, и я не понимаю, как Мер. и Зина, глубоко и искренне любя его, не пожалеют его и не обдумают его положения. Сотрудник одного кабац-

кого издания и другой жидовской газеты, что такое этот "сын мамы"? Мама — прелестна, мама *запомнится в русской истории*, где она сыграла скорее *умеряющую и благородную роль*. Его настоящее место было именно около Дягилева, и *до могилы* — около Дягилева. Уже в пору своей "революции", я помню, как сказал он в Эрмитаже, на выставке картин Вел. Княг. Марьи Николаевны: она была выставлена в аванзале, и он с большим мастерством объяснял мне выразительный портрет владелицы (тогда уже умершей) галереи. Потом сказал с легкой прелестной улыбкой:

— Нет, пойду-ка я в *старый Эрмитаж!*

И повернул в залы его (из аванзалы, около лестницы, вокруг ее). Как это было сказано!!! Прелестно. Философов вообще *мог* быть прелестен, и я часто видал таким: спокойным, изящным и слегка добрым...

Он погубил себя. Погубил, погубил — чувствую. Нежели этого не чувствуют Мер. и З.?

Они вообще немножко неумны. "Умна" только злая З., босовским и дьявольским умом, неподвижным, окаменелым, несколько гоголевским, без изобретения и движения. З. вообще "неподвижна", и, что такое ее революция — я совершенно не понимаю. Курит папиросы, надушенные духами (*сильнейше* надушенные, до тошноты). Но она вне "дьявольского узелка" тоже неумна. Гораздо умнее ее 2 сестры, Татьяна и Наталья, прелестные, талантливые и трудолюбивые девушки (живописица и скульпторша). Но по "колдовской неподвижности" З. лишена, в сущности, идей, которые для "их всех" (целый бедлам) поставляет один Димитрий Сергеевич. В нем есть вечное движение идей, *perpetuum mobile*, на $\frac{3}{4}$ заимствованных, но в $\frac{1}{4}$ своих. Но при подвижности идей, при богатом идейном мире он "неумен" черт знает почему, и с этим ничего не поделаешь. Нет ума. Нет здравого смысла. Нет "великорусского начала", от Кремля и его каменных стен. Нет чего-либо прочного, спокойного. Именно от не-ума он впадает в великие пошлости; только от не-ума — он совершает определенные низости (фельетон о Суворине и Чехове). Тут какой-то фатум. Не видит под ногами. Не видит вокруг себя ничего.

Не знает, что он живет в России и по крайней мере считается русским.

От них всех трех я видел чрезвычайно много доброго, ласкового, приветливого. Привет всегда дорог и никогда не забывается. И "после всего" я все-таки люблю их и не хочу им никакого зла. Обдумали бы они себя. Настоящее дело Мережковского — написать "Историю цивилизации Европы", которая вышла бы неизмеримо выше и Бокля и Дрэпера. Но неумный человек никогда не поймет своей темы.

Господь с ними. Да будут имена их все-таки благословенны.

* * *

3. VI. 1914

...Можно ли, чтобы Художник принял свою картину за икону?..

Рафаэль. Все кончил. И в ночи прокрался к мадонне, "рукотворному созданию", — и склонил колена как перед Вечной Красотой...

Вот история обрезания. Его происхождение и тайный нерв.

3. VI. 1914

Оставьте, — духовенство браните, церковь не смейте трогать. Духовенство слабо, как "все", и, м. б., по величию своей задачи и своего предмета — даже хуже "нас"... Ибо имеет перед собою такие слова и такие научения.

Но церковь: ведь она "мешок со всем ценным", п. ч. без этого мешка решительно человечеству осталось бы только утонуть. Существенное и осязаемое осталось бы — одна полиция; "мэр с шарфом, разрешающий гражданский брак".

Вот.

Да купец.

Да меняльная контора.

И железнодорожный буфет с выпивкой.

Ну, и мчатся по железной дороге...

"Публика" осталась бы, "человека" нет.

"Человека" и охраняет, и сохраняет, и оберегает только церковь. Она одна несет и кричит миру: "человек". Не Елизавета же Кускова несет его со своими курсистками.

"Человек"... это — *тот*, который изошел от Адама: этому учит Церковь.

Который — не обезьяна: этому учит церковь.

"Не крадь!"

"Не убивай!"

Все это слова церкви, ибо "не убивай" — может *приказать* государство, а *освятить* этого оно не может. Неоткуда взять силу.

Может внушить страх, а умиления не может дать.

А лишь "умилением человек спасется". Умилением, а не вашими забастовками.

Боже, пошли святого человека. Боже, пошли святого человека. Боже, пошли святого человека.

Без него мир зачервится. Без него он останется с Философовым.

Церковь...

И с ней пыль веков... Золотая пыль, священная пыль.

Только "в церкви" — "связываются народы". Только в ней — "Единое". "Все вместе". Священная церковь. Священная церковь. Священная церковь.

5. VI. 1914

Фонтан, бьющий с двухаршинной глубины.

Неустанно работает машина и собирает воды со всего океана людского. И современная жизнь, и древняя история, и апостолы, и революционеры. Евангелие и Прудон. Всего есть. Только нет стихотворений, странно.

Но машина, искусно и превосходно сделанная, не имеет книзу глубоко идущего насоса и черпает всемирные воды неизменно с двухаршинной глубины.

(Герцен)

5. VI. 1914

Губы сближаются с губами. Очень просто. Чего же тут кричать на всю улицу.

5.VI.1914

...между многими мотивами, *почему* я пишу "Уед." (и последующее), есть этот:

Великое спасибо миру.

Нет — личнее, ближе и горячее: не оставить нерассказанным, невыраженным, не "поцелованным" сверх внутреннего тайного поцелуя и явно то, самое прекрасное, самое милое, на чем я рос и воспитался, что мне в жизни помогало, что меня в жизни благословляло. Мне было бы страшно умереть, я не считал бы себя благородным, если бы все это осталось глухо, где-то в тени. О, я хорошо знаю, слишком хорошо, что "затененные существования" суть самые счастливые, и благородные, и чистые; но "все-таки"... Может быть, *наша внешняя жизнь*, каковою невольно не может не быть жизнь всякого писателя, согреться и надушится благородными "лесными маргаритками", если мы не будем так очень отделяться от частной жизни... Что все, *обыкновенно*, так наглухо заперто от книги...

Я решил немного улучшить книгу, *вообще книгу*, приотворив щелку двери. Мне все-таки страшно жалко книг; вообще книг; хотя я с ними и вражду. Но эта вражда поистине "сквозь кровь и слезы".

И книгу я решил переложить "маргаритками".

Этого было бы невозможно сделать, если бы это резко запечатлелось дома; взволновало; смутило. Но этого нет — и как-то неодолимым тактом я почувствовал, что и не будет. Это и создало решимость; "дало позволение".

Для главного лица, со времени удара, — уже все вообще отошло вдаль, в туман. Звуки и мысли и "сведения" доходили через пузырьки лекарств.

И собственный труд жизни, труд *каждого дня и часа*, таков, что вообще "не до того". И нет ни удовольствия, ни огорчения, вообще ничего.

"Был бы ты здоров". "Вернулись ли дети вовремя из школы?" "Как проживем этот месяц?" И, выбивая из колеи даже это насущное, главный вопрос: "Обойдется ли *без нового заболевания*".

Дети... разбежались по школам. "Так много уроков, что ни до чего". — "Папа пишет? Папа ничего худого не напишет". — "И *вовсе не так*, у меня подруга — не Гузарчик, а такая-то". И... "я с ней больше не дружу, пожалуйста, не пиши".

У них и у мамы — как и у меня, есть чудный дар отдаления от литературы. Они живут тоже "за занавеской", в себе. И литература внешняя стала возможной.

5.VI.1914

...при всем отвращении к Г. Думе, нельзя не заметить, что этот "европейский форменный сапог" на русской ноге приносит некоторую пользу...

И притом явную и огромную, какой нельзя было до нее ничем добиться.

Читаю сегодня речи, ряд речей о Западном и Юго-Западном крае; о Польше и губерниях, смежных с Польшей.

До Г. Думы все было в мыслях слюнявого и распущенного русского человека, "естественно иностранца" со времен Фон-Визина и до Герцена и до времен моего гимназичества и студенчества, — все эти земли, "конечно, по закону принадлежали полякам, а мы явились туда варварами и разорителями". Я встречал русских людей самых милых, самых прекрасных, ничуть не глупых, — а умных и образованных, которые *иначе не могли думать*.

"Мы — варвары. И кроме русских — все просвещены".

Это мысль еще Белинского... Традиционно она развита всею литературою, а "не по литературе" у нас никто не может думать. "Тоже и Кондурушкин".

И вот я читаю сегодня речи, и не одну, а одну за другою, третью, четвертую, — полные государственного смысла и народной крепости. Читаю "по печатному", не "из-под полы", как запретную прокламацию, как бывало я читывал "Моск. Вед." в университете.

Это — новое явление.

Люди стиля "Вестника Европы" и "Отеч. Записок" впервые увидели перед собою и увидели себя вынужденными умственно и говором считаться с людьми совсем иного закала, которые не отдадут им "оружия даром" и не опустят глаз перед их смехом... Вековым смехом. *Выявился русский человек* (увы, не пишущий в журналах и газетах, — и действительно *не умеющий писать*)... Тот русский, о котором думали, что его просто "нет"; что после Гоголя и Щедрина он выветрился, рассолился, полинял или уж, во всяком случае, неузнаваемо переделся. "Извинился"... и вдруг он заговорил спокойно твердо и не собираясь обращаться в бегство.

До Думы, где, к счастью, не "пишут", а говорят, — его не было вовсе видно. Везде неслись и звенели одни газетные и журнальные речи. Человек "пера", человек "литературного стиля" вследствие простого действия печатных машин, — заставил забыть, что *есть* еще некоторые непечатающиеся люди, которые, может быть, тоже что-то думают и чувствуют...

Ругали и предостерегали, что парламент есть "говорильня", забывая, что уже гораздо раньше его возникла и страшно окрепла всемогущая "печатная машинка", что Пропер, еврей с золотником ума, говорил 100 000 голосов, и говорил ежедневно. *Только* одна Дума, и именно оттого, что она устно говорит, а не "пишет", получила могущество уравновесить это "многописание" и "всёписание". И как только открылась, мож. быть, и отвратительная труба, но *другая* труба, — мы увидели *иною* и русскую душу, русский ум.

Нельзя было ожидать.
Слава Богу.

* * *

5.VI.1914

Инстинкт книги есть только у немногих людей. Я помню, Мих. Петр. Соловьев, уже около 50-ти лет, непрерывно и много читал. Читал горячо и с интересом. (Его выражение о Щедринах мне — замечательно и, пожалуй, исторично: "Бывало, появится новая книжка "Отеч. Зап." с новой статьей о гг. ташкентцах или подобном — и, глядишь, целого угла действительности нет", т. е. он разрушил.) Рачинский (С. А.) мне показывал карманную записную книжку Победоносцева, где были сделаны выписки — небольшие, строк по 6—10—15, из тогдашнего любимого философа; фамилья что-то похожа на Бьергсона. Кажется, у него сочин. "Сезам и лилии". Порядочно, но не с таким уже пылом, читал Влад. Соловьев. Л. Н. Толстой читал до самого конца жизни и очень много и горячо. Но, вообще говоря, этот инстинкт очень редок, и мне встречались люди с университетским образованием, которые, кроме газет, ничего и никогда не читали — и незаметно было, чтобы когда-нибудь читали. Чтение, и сила, и напряженность его есть особый талант — талант умственного поедания, талант душевного аппетита, "охотка к еде книг". Собственно, только эти люди и составляют "образованный класс страны", около которого именуется "образованными" другие, кончившие университет совершенно напрасно. Те, другие, — балласт образованного класса, сор общества. Им, собственно, не следовало бы вовсе учиться, кроме элементов, самое большее — гимназии. Вообще "образованный класс" страшно нуждается в очищении себя, в избавлении от "сора", в "отборе лучших" (Дарвин). В теперешней засоренности он — что засоренный хлеб: от него только у страны живот болит.

* * *

6.VI.1914

Нужно не просвещение, а посвящение.

Не книга и грамота, а святой человек, святое ремесло, честная торговля, "крестящийся на угол" (икона) чиновник.

Трудолюбивый отец и заботливая мать.

Вот что нужно. А без книг можно вовсе обойтись. Строгонов без них нажил богатство, Петр, "по складам разбирая", устроил Сенат и Синод, корабли; и учили в лесах Сергей Радонежский, Серафим Саровский и Амвросий Оптинский.

* * *

6.VI.1914

Когда меня "тянут за нос", то я хотя подчиняюсь, но всегда чувствую, замечаю и потом отмщаю.

Вот отчего мое особенное ненавидение левых и отчасти евреев. Меня "тянули за нос". Консерваторы же какие-то чудачки. Только гуляют, и им нечего есть. При богатстве занимаются пищеварением. В "Рус. Вестн.", "Моск. Вед.", "Русск. Обозрении", "Русск. Труде", — на меня никакого

особенного внимания не обращали, никакой особенной цены не придавали, никакой важности моим статьям не придавали. "Вы *хорошо* пишете", "эта статья *удачна*". Делового же значения не придавали. Всю полемику с Соловьевым и Толстым пропустили с неудовольствием. "Нехорошо написано". И я пел, как соловей.

В "левых" же всегда инквизиторствовали и подбирались к носу. "Как бы нам тебя *повести*". И я как добрый и мягкий человек вдевал нос в руку. И... вели, — немного, недолго. *Часть* радикальных идей, конечно, справедлива, — и написанное не было неискренним. Но это отвратительное, что "у меня за спиной *ждут*", мучило мою душу. И я отщелал потом этим тайным подстерегам.

В своей поэзии и в своем воображении я единственно что любил — свободу.

* * *

6.VI.1914

Одна из в высшей степени опасных и трудноисцелимых сторон русского просвещения заключается в следующем:

Оно болезненно, гнило, криво. *Но только оно есть*; по крайней мере только такое талантливо, ярко, горячо. "Цветков не хочет писать", а "Розанов исписался". Страхов был "неудачник". Григорьев спился. Киреевский писал только "письма к друзьям". Ярки — вот Некрасов, Гоголь, "Современник". Ярок Щедрин и его "Отечеств. Записки". Михайловский. Тут что ни человек, то "квadratная верста" бумаги, прекрасно исписанной, литературы настоящей.

Выходит та странная вещь, что все просвещение, идейное, психологическое, по моему определению — нежное и рассыпчатое, ео ipso¹, по прочитанным книгам, прочитанным и вдохновляющим — криво.

Что же касается "настоящего русского человека", в котором спасение: то он — груб, неразвит, неотесан и просто неинтересен.

"Он даст тебе по морде". Прекрасно. Целую руку за патриотизм. Но как же я все-таки с ним стану разговаривать.

Ужас в том, что даже после "по морде" (основательной и патриотической) мне с ним разговаривать не о чем.

Вот о чем должен быть вопль и вот где самая острая стрела в истории русского просвещения.

От этого я так болезненно следил за продажей Киреевского, Одоевского, "Пути" Морозовой — так усиливался все время о Страхове, несколько раз упрашивал Мин. просвещения давать "в награду ученикам" классический труд Барсукова "Жизнь и труды Погодина". Собственно, несколько книжек таких есть, слабый росток сюда дан. Но еле-еле теплящийся, как огонек деревенской лучины сравнительно с электричеством. "Тысяча лампочек в загородном саду" (шато-кабак) и деревенская изба с лучиной.

Кто же "летит" на лучину? Все летят на электричество.

Грустно и отвратительно, что сюда, в шато-кабак с электричеством, летит и Мин. просвещения, и тащится Академия наук. Страшно, что

¹ тем самым (лат.).

нельзя провести демаркационной линии между Кассо и Винавером. В сущности — "все Винавер", вся Россия... Безликое, бездуховное, шаблонное, казенное, официальное, мертвое просвещение.

Просвещение с "тегі". Страшно, что и Катков над ним трудился, и Д. А. Толстой дальше его не пошел.

"Кому же нужна ваша деревня и кого вы удивите вашей лучиной".

Совершенно "в лад" с этим думали не один Михайловский, но и Д. А. Толстой. Между Толстым и Михайловским никакой нет разницы. "Демократическая официальность" и "министерская официальность" равно гнили, мертвы, формальны, антивоспитательны. Т. е. *криво*-воспитательны.

И плачешь. Бьет тебя патриот по морде. С удовольствием принимаешь. И бессильно поднимаешь глаза.

— Да ты заговори по-человечески.

Он на это:

— Рады стараться, Ваше Высокородие.

Ну что тут учиться. Чему выучатся ученики.

И ученики идут к бомбам или в охранку.

Несчастливая Россия.

* * *

6.VI.1914

— Папа. Ты бы лучше вместо своего Шарлока Холмса прочитал "Айвенго".

— Интересно?

— Ужасно интересно.

Желая узнать, насколько же интересно и стоит ли читать (книгу вижу у Надюшки на столе), спрашиваю:

— Интереснее "Крошки Доррит"?

— Папа, ну о чем ты спрашиваешь. Разве можно сравнивать, — там рыцарские времена, а в "Крошке Доррит" теперешний английский быт.

Так и сказала "быт", а не "жизнь".

Я до того был поражен, что воскликнул:

— Ты, мой Пучок, всегда прелестна и благоразумна. Иди я поцелую тебя.

Она с смеющимися губками и куда-то убежавшим взглядом протянула ко мне личико — и сзади схватила рукой ягодку с моей тарелки (чай).

— Пучок! — совсем я рассмеялся: твоя "литература с ягодкой" еще лучше, чем с Диккенсом. Неужели ты думаешь, я не дал бы тебе ягоды: возьми даже 3, но не больше 5-ти.

* * *

7.VI.1914

Ранее Толстого и Достоевского глубины в русской литературе не появляется.

Может быть, это только темы пусты (они явно пусты); может быть, необитаемы только главные комнаты, залы, гостиная, кабинеты? Но есть "кое-чего по закоулочкам"?

Это действительно. Это скрыло на 100 лет от читателей, что собственно "дом русской литературы пуст". "Закоулочки" в русской литературе, как нигде, — и у русских писателей был всегда изумительный нюх к кухне, прихожей, дворницкой, чулану, погребу и коридорчику с анекдотами. Мышиное чутье есть главное качество русских писателей.

* * *

7.VI.1914

Терпко, сильно, как "натирая душу чесноком", мы переживаем анекдот.

Весь прилив крови и весь прилив мозга к анекдоту...

И стоим, задумываемся над анекдотом. Ковыряем в носу. "Как, отчего случилось". "Кто попал в анекдот".

— "Степан?" — "Нет, Сидор".

Всею улицею. И нет на улице жизни, кроме анекдотической. И нет в России ничего, кроме анекдота.

(садясь за занятия)

Тут и политика, и литература, и даже "История русской церкви".

* * *

7.VI.1914

Совокупляются и пищеваряют.

Мне кажется, даже государственная служба около этого — только прилагательное.

Прилагательное около существительного.

Ну и кисточкой (художества). Иногда споем. Но после пищеварения.

Посмотрите, "привились ли у нас науки". "Горячо" только Чернышевский читал Шлоссера. Л. Андреев в "К звездам" вывел астронома: между тем он сам явно едва ли хоть в сильный бинокль посмотрел на звездное небо. И, конечно, никогда не был в Пулковской обсерватории. "Куда же я потащусь до Царского Села, да еще надо 6 верст на лошадях". "Далеко".

Менделеев. Да, конечно. Но и то подозрительно, что он раз 6 ездил в Оксфорд принимать степень доктора или благодарить за степень доктора. Слишком много суеты. Что-то не то.

Буслаев. Да. Но и он "принял школу Гримма" (метод), а не то чтобы сам был Гриммом и дал Германии Буслаева. Везде мы идем вторым номером или вторым ходом.

И потому, в сущности, что науки у нас есть что-то глубоко искусственное и в чем пока нет горячей потребности. В сущности, "Чернышевский" и "Шлоссер" совершенно удовлетворяют всему "знать бы, когда были крестовые походы" да "не смешать трех Карлов: великого, пятого и XII-го". Для чего нам история? Нет, скажите, для чего нам историю знать.

.....

В последнем анализе и небесно: для чего Анахарсису знать историю?

Нет, господа, это совершенно серьезно — мы еще "живем на островах блаженных", и нам надо совокупляться или пищеварять.

Такого труда, дьявольского труда, как реформация, — в России нельзя себе представить. И такого "долгого сосредоточения на одной мысли", какое произвело "L'inferno"¹ Данте, — тоже нельзя представить.

— Позвольте. Когда же мы будем переваривать пищу?

И русские отступили перед реформацией и "L'inferno".

Не то чтобы слишком гениально. Но слишком долго. "Этак и в вист нельзя присесть".

Нет, я убедительно говорю, что мы Анахарсисы и что это удивительное явление, не удавшееся никаким "Карлам" и "Людовикам", произвело "благодетельное правительство", которое, в сущности, всегда было "тишайшее" и не хотело беспокоиться и не хотело, чтобы его беспокоили. И для этого избегало войн (кроме эпизодов), а внутри все запрещало. Самая мудрая политика. Нет, вы мне докажите, почему это не мудрая политика.

— Посиди, Иван Иванович, ведь реформацию не выдумаешь.

— "Россиада" — хорошо. "L'inferno"... Что...о-о-о.

И Иван Иванович, и Херасков садились на стулья и писали оды. Отлично. Позвольте спросить, почему это не отлично. Пришел Наполеон — дали отпор. Потому что верили в себя.

Почему же это не отлично, позвольте вас спросить.

Русское правительство разрешило и разрешило самую трудную и мучительную проблему: как успокоить человека. Как свести страдания его до *minimum*: подобных *смерти* — столь же стихийных и неизбежных страданий. Да, умираем. Да, бодем. Выбьет градом хлеб или озимые побьет мороз — да, голодаем. Но и то есть "запасные амбары": правда, недостаточно, — но уж это такая мелкая подробность, которую, конечно, легко поправить.

Но в общем "план Российской Державы" совершенно верен: тишина и размножение. Скажите, пожалуйста, чем иным занимаются на *Блаженных Островах* и что иное задумывал Томас Мор для своей "Утопии". Боже мой: да явно, что в "тишине и размножении" не только царства состоят, но и религии. Разве из заповедей только что сотворенному человеку Бог дал что-нибудь больше, чем размножение. "Оплодотворяйтесь, множьтесь, наполняйте землю". — *Одна*. Та же самая *одна*, какая есть в Русском царстве.

Это было бы неудачно, если бы не было так чистосердечно. Но мы совершенно чистосердечно отвергли нужду реформаций и революций, предпочтя им вожделенную тишину. Мы как-то "нутром" поняли, без размышлений, что самые реформации и революции направляются к тишине же; имеют это далекое своей целью, далекой своей заботой. "Утишить беспокойство". Т. е. — найти "покой". Лютер беспокоился. Кальвин беспокоился. Правительство русское, приказав у себя молчать, — зыкнуло на Запад:

— Мы не беспокоимся.

И погода:

¹"Ад" (*ит.*).

— Что же: и не беспокоясь — начинать нам реформацию?

Полный ответ и Лютеру и Кальвину: "Конечно — нет".

Тоже революция. "Голодны". Почему же они не запасали хлебных амбаров? Физически революция, конечно, произошла от голода, и Марат с Робеспьером среди сытых немного бы поговорили. У нас отвели бы их в полицию. И никто бы не заступился, п. ч. у нас построены хлебные амбары, и в голодуху правительство кормит народ.

Конечно, амбаров надо больше, но с этим явно справятся, ибо это явно — частность и мелочь. А по части принципов у нас все удовлетворено: "размножайтесь".

Позвольте, позвольте: куда же мы сплываем с о-ва блаженных? Потонем. В мусть кувыркнемся. Нельзя же начинать "реформации" и "революции" для эффекта. "Чтобы прославиться". Такая авантюра явно глупее, и позорнее, и безнравственнее Венгерской кампании, Итальянского похода Суворова и прусской войны Елизаветы Петровны.

Но что *могли* (и, конечно, имели *право*, ибо мы их любим и ради их готовы умирать), — что могли себе разрешить роскошествующие Цари и Царицы наши, Елизавета, Павел и Николай, то, конечно, "не по карману" скромному и тихому "верноподданному".

Нет, — скромному и *милому*.

Да.

Кто смеет сказать: НЕТ? Сказать и *доказать*?

Докажите, докажете, господа, — а я послушаю.

* * *

7.VI.1914

Теперь, если мы обратимся к замечательной *без-темности* русской литературы, ее разительно скудному содержанию, а также и к замечательному "чекану" ее, — то и объяснится то и другое. "На островах блаженных пишут хорошо", потому что ничто не мешает. "На о-ве блаженных" написана и Библия, которая ведь тоже написана "хорошо" (в раю или где-то около; первые ее книги). Но чтобы произвести великое "L'inferno", надо пережить скрежет зубовой. Мы его не переживали. Россию не раздирали гвельфы и гибелины, и не было никакой "борьбы пап с императорами". Хорошо ли это? У нас жили мирно. Позвольте, что же им нарочно ссориться?

Ведь, скажите, стоит ли "L'inferno" того, чтобы пережить... не в отдалении и мечте, не в воображении и литературно, а... *действительно* скрежет зубовой с пароксизмами отчаяния, до матери, съедающей своего ребенка от голода. До "башни голода" и замурованного там "графа Уголио". С нами крестная сила. Выработать "L'inferno", пройдя такие пытки или, вернее, *других, исторически пропустив* через такие пытки, конечно, — невозможно и *бесчестно*. Никто не возьмется этого "пожелать", и "L'inferno", и гибелинов. Всякий предпочтет патриарха и царя, обедающих вместе, чем проклинающих друг друга. Не так ли? Не так ли, *добрый человек*? Позвольте, на первых страницах Библии, именно самых важных и настоятельных, мы и не видим ничего, кроме зеленых полей, зеленых лесов и стад и милостивого человека, тоже без гвельфов и гибелинов. Состояние духа до того ровное, что даже история

дочерей Лота с отцом не вызывает ни у дочерей, ни у отца, ни у писателя книги, никакого волнения чувств и смуты сердца. Ни — эпитимьи. Ни — покаяния. "Был факт, воспользуемся его последствиями". И обе дочери называют родившихся у них мальчиков именем, куда звуковым образом введено, т. е. названо, их дело с отцом. Никакого бежания в щель от страха. Вообще страха не было. Тоски сердца не было. И не было Мильтона, написавшего "Потерянный рай", и Данте, написавшего "Ад".

— Мы *рая* своего не теряли и *ада* не переживали, — скажут верноподданные, оглядываясь на городничего.

Чего от него хотел Гоголь? Нет, позвольте, *чего* он хотел? Брал взятки и высек вдову унтер-офицера. Какие пустяки, сравнительно с Уголино, которого голодом уморили в башне голода. Конечно, ради избавления от нее Уголино дал бы "четыре взятки", "12 взяток" и позволил бы себя, жену и детей сколько угодно сечь. "Брали взятки". И отлично. Значит, было чего давать. Да и Гоголь наклеветал: некоторые брали взятки, да и то мелочами, сам же записал — "борзыми щенятами". Этого в социальном укладе жизни и считать нечего, — "это борзыми-то щенками", только на "островах блаженных". "Нет зла, так хоть сочиним зло". И Гоголь сочинял. Верноподданные говорили: "Предоставляем".

И вот именно из-за того, что такие "пустяки" Гоголя до того всех возмутили, — и видно, и следует, до чего мы, в сущности, "кипим в кипении пустом". До чего у нас "не на что", по существу, рассердиться, раздражаться, гневаться. До чего, по матерьялу жизни, Россия есть безгневная страна. Коробочка не понимает, как продает мертвые души Чичиков: мы злимся. У Собакевича неуклюжая мебель: мы в ярости. Манилов слащав: и мы приходим в бешенство. Явно, что "худые" — мы, что "никуда не годные люди" — мы, "злящиеся". Вместо того чтобы благодарить Бога, что у нас ничего хуже нет, нет ни гибелинов, ни гвельфов, ни башни голода, ни рыцарских замков, откуда, из каждого, грабят и убивают крестьян, убивают, как скот, как свиней и волков, — нам бы дивиться и благодарить начальство. Мы вместо этого подняли революцию против начальства и, в сущности, от этого (от Гоголя) — убили Государя (1 марта). "Мы в отчаянии. Не можем не убить! Помилуйте, — неуклюжая мебель, съел осетра, а другой хотел построить мост улыбок (Манилов)".

Скоты. Прямо скоты. Т. е. скотское рассуждение объевшихся, засовокуплявшихся лентяев, "впавших в пороки от лени". Потоп, но действительно происшедший "от негодности слишком заевшихся людей" (объяснение Талмудом потопы).

В основе лежит совершенно необъяснимая ярость Гоголя на мелочи, которых и он не сумел ни показать, ни назвать большим злом и вообще чем-либо важным. Кто же из-за "мелочей" производит революцию? Чего хотели русские без-темные писатели?

О чем волновался Фон-Визин? "Много дураков". Во-первых, неизвестно, около потопы ("до" и "после") — жили ли очень умные люди. А во-вторых: ну, как Рачинский, заводи букварь и учи крестьянских детей. "Трудно. Скучно". А, тогда не жалуйся. Ты хочешь "гибелинов" и революцию, сидя сам при дворе. Тебе бы надо "башню голода" не для Уголино, а для себя.

Желчь русских писателей, всех решительно, до Глеба Успенского включительно, есть желчь на без-темность, естественно существующую на "островах блаженных", и это, т. е. что "острова блаженных", вытекает из их же литературы, где они не смогли представить ничего ужасного, ничего страшного, ничего решительно преступного, кроме разве что "становой деретсы" и у крестьянина берут безденежно лошадь, чтобы "отвезти доктора". Никаких темных, мрачных, содрогających душу преступлений не описано на всем огромном протяжении русской литературы, заглянувшей и "натуралистически" заглянувшей, во все уголки. Наконец, — заглянувшей "сатирически". Во всей Руси не оказалось преступлений (кроме Раскольникова, т. е. студентов, преступлений не народных). Иногда вешаются "не знаю отчего" (записки). Так ведь "не знаю отчего" — не то, что "Уголино от голода". Не то, что "от измены", "отчаяния", "неизлечимой болезни". У нас даже самоубийства — "с блаженных островов". Страшно это говорить, но идея закругляется сюда. Именно эти записки — "Без причины", столь особливые и характерные для русских, говорят, что царство Манилова не кончилось и что, когда Маниловы не имеют чем заняться, — им становится до тошноты скучно.

До тошноты невинны. Вот до чего закормил "блаженством" нас начальство. Ей-ей, мне приходит на ум целовать руки исправникам. И Манилову, и Собакевичу.

— Благодарю вас. Вы не осквернили Лик человеческий никакой гадостью.

В нашей поистине исключительной истории даже Каина не было. Каина при изводе истории, при двери ее. И демона, Люцифера, "Денницы" нет: ибо "домовые" какие же суть особенные демоны. "Что-то свое, с шерсткой". С детьми балуются. Баб душат, — но не до смерти. "Демоническое начало" решительно и совершенно чуждо русской истории.

Вот его-то, по-видимому, именно и звали русские писатели, начиная от Фон-Визина, — и, чем дальше, тем настойчивее. "Приди, демон, и намути. Приди и намучь". Господи, Господи, с нами крестная сила. Ведь *живых* пришлось бы мучить, ведь — *настоящих*. У Пушкина только "о жене поговорили" — и какую он узнал муку, как весь страдал и весь исказился. А что если б любимая им жена начала "демонически" действительно играть у него перед лицом и вообще повела бы себя, как Лукреция Борджиа. Что запел, какую бы песенку Александр Сергеевич? У всех писателей, очевидно, была мысль: "Нет, не со мной, а с другими: например, с Собакевичем". Но у того была Федулия Семеновна, которую "не растревожить". Нет, господа (писатели): уж если звать "демонов", то — на себя. Пусть вам жены изменяют. Посидите в башне голода... Те-те-те: да ведь "гибелины"-то и завелись, "интересные-то сюжеты"! Вон вас таскают в Шлиссельбург. Только зачем же вы тогда таким благим матом ревете, жалуетесь Европе и прочее.

"Гвельфы и гибелины". Они и есть. В "мрачной борьбе интеллигенции с правительством". Правительство защищает "острова блаженных", "Утопию" Томаса Мора: а вы кидаетесь на добрых большебородых благодушных мужиков, крича:

— Зарежем, если не дадите нам "Ада" Данте и "Потерянного рая" Мильтона!!! Не о чем писать! Подошли от пошлости.

Литературная нация.

Эх, господа, не шутите с огнем... Пойдет пожар, не затушите.

* * *

8.VI.1914

Я уцепился за тебя, Б., как муравей за перья орла. И ты летишь, а я вижу всю вселенную.

* * *

8.VI.1914

...О, как мне хочется, чтобы появился перед вами бледный Страх...

И отольет кровь от вашего сердца, и ноги ослабеют, и вы опуститесь на землю.

"Колена нас не держат", — скажут Прометей-лакеи.

Это Аракчеев. Что такое Аракчеев, я не знаю. Но предполагаю, что в нем был бледный Страх. И вот я его хочу.

Вас забаловали, Прометей-лакеи, вас забаловали. Вот уже 60 лет, как вас только балуют. И когда вы прострелили шею Боголепову, то в обществе говорили: "Говорят, *хорошо попал*", а негодяя не решились все-таки повесить, а послали только в Шлиссельбург.

Вера Фигнер вспоминала. — Он приехал к нам весь жизнерадостный (Карпович). Должно быть, розовый. Мальчику было 18 лет.

Потом уж били на выбор, кого укажут евреи. "Столыпина — хорошо, Столыпина". Когда я о нем спросил одного (еврея), он меня успокоил:

"Послушайте, В. В.: Столыпин был *бездарность*". Другой, чуть ли не Любошь или Слонимский, сказал: "При чем тут *мы*: его убил провокатор, *свой человек*".

Да, Богров — провокатор, он же и революционер, он же и еврей. Почему *еврею* не быть и полицейским, и революционером, и чем угодно. В Китае они даже националисты и носят косы (читал и удивлялся). Талантливое племя.

И вот мне хочется среди всех этих обстоятельств, чтобы показался бледный Страх...

* * *

9.VI.1914

Поцелуи — тоже аномалия.

Как же не аномалия, когда "не относятся к существу дела" и "не имеют связи с прямой задачей".

"Аномалиями" и называют люди все, что "не нужно" и "не понятно для чего".

Канифоль — понятно.

Струна — понятно.

Дека верхняя и нижняя — понятно и понятно. Мир матерьяльный и измеримый. "Не наука, а Плеханов".

Но есть еще... музыка. Черт знает что такое. Вещь для Плеханова столь же ненужная, как для деторождения — поцелуи. Но поцелуи,

а также все другие аномалии, и есть музыка пола. Которую было дозволено слушать только в Элевзинских таинствах.

И Деметра улыбалась.
Баубасто с ней шутила.

”Выйдя в другую комнату, Баубасто приготовила себя и, вернувшись, — встала перед нею и взяла пальцами подол хитона
Богиня улыбнулась и стала кушать”.

* * *

10.VI.1914

Прошел дождь. И, думая, что Вера, запертая с утра до ночи в своей комнате, угрюмая, раздраженная и грубая, что-нибудь ”дурное делает” у себя, — я вышел в сад.

Был 1-й час ночи. Все давно уснули. Я встал из-за монет (античные, определяю).

Комната ее была угловая с окном ”уже по ту сторону”, — и надо было почти протраться меж каких-то кустов вообще и деревьев сирени. Трудно. Далеко. И задетое дерево так и окатывает тебя вторичным дождем с листов дерева.

”Но наконец я увижу, что делает Вера ночью”.

И я терпел и лез, терпел и лез. А вот и полным светом освещенное ее окно.

Столик маленький, кой-какой, стоял в углу. Весь с книгами и тетрадями, довольно хаотичными. И моя Верочка, поставив локоть на стол и касаясь щекой кисти руки, сидела, устремив глаза в какую-то беспредметную даль.

Я довольно психологичен и написал ”О Великом инквизиторе, — Достоевского”, — так что умею различать тени лица. Ни гнев, ни порок, ни тайное злоумышление от меня не укроется. И подозрительным придирчивым глазом я взглянул на ”злую Веру”.

Я ее считал злой, потому что она была просто груба. К тому же не хотела наливать чаю. Я ее считал и глупой, п. ч. она была предана глупым темам гимназии.

Прокурор и отец судил свою дочь.

Тайно и мысленно.

Передо мной сидело воздушное лицо. Комната — была. Лампа — да. Но заметно было, что она отсутствовала из комнаты. И даже отсутствовала вообще из нашего дома, в котором была так жестка и неуютна.

И перелетела куда-то.

Куда — я не знал.

Милое, доброе, в высшей степени умное лицо, горело какой-то задумчивостью; в котором я ясно видел, — не было никакого червячка. Вместе с тем, как можно бы ожидать в ее годы (15—16 лет), мысли не перенеслись к ”кому-то”, кто завладел ее сердцем. Лицо было глубоко свободно и самостоятельно. В лице была восхищенность, но общим миром идей, как будто она кого-то страстно убеждала и убедила.

Спорила — и победила. Но самая победа разлилась по нему мягкостью и прощением, мягкостью и примирением. "Вот я шла трудной дорогой. В лохмотьях и через грязь. И все думали вы, люди (непрерменно вообще), что я иду через грязь, и в этих лохмотьях по любви к самой грязи и лохмотьям. И я не оправдывалась, не опровергала, потому что Вера гордая. Но я о вас же старалась и о вас же думала, — все люди (непрерменно "все"). Мне нужно было доказать трудную истину, которую вы все отвергали, но которая есть именно истина. И вот я пришла. Во мне нет больше сил, и я умру. Я умру, потому что я отдала из себя все силы, какие были, — и мне нечем больше жить. Я уже кашляю, и вы это знаете. Пусть. Мне ничего не нужно. А только вы будете помнить все, несчастные и злые люди, — что Вера была совсем не то, что вы о ней думали... И ты тоже, мой несчастный папочка, так глубоко ошибавшийся...

Но я уже ушла, и не с вами. Нельзя ничего поправить, и все кончилось".

Я долго стоял. Очень долго. С полчаса. Она не шевельнулась. И эта же чудная, чуть-чуть насмешливая улыбка в губах, — и вдохновенное лицо, героическое и вдохновенное. Что это было, — я не понимаю, но, очевидно, и для нее это была счастливейшая минута жизни. Ведь такие минуты вообще редки. Впрочем, о ней я не могу сказать, чтобы это было редко. Уже с 11-ти лет она точно куда-то ушла от нас. Телом с нами, душою далеко. Только именно в 11 лет мы, как-то войдя, увидели, что она намазала огромный гроб на стене у кровати, и внутри его чернилами же — точно пальцем водила:

Вера хочет умереть.

Мы все называли это "Верина чепуха" и потихоньку подсмеивались. Именно улыбки-то и смеха она и не выносила, — и потому разошлась с нами. Все "бытовое" и "домашнее" ей стало непереносимо. Она кричала и шумела на это и, хлопая дверью, — запиралась у себя в комнате.

"Вера в странствиях, — подумал я, — но — добрых. Господь с нею. У всякого свои пути".

И перекрестил через стекла окна.

Небо было беззвездное, совсем темное. И в тесноте сада стояла ночь.

Подойдя к маме, которая, как всегда, "на встречу" проснулась, я сказал:

— Знаешь, мама. Нам нечего беспокоиться о Вере. Она добрая. И ничего худого с ней не происходит. В ней нет злоумышления.

В самом деле именно с 11-ти лет, и даже раньше, всегда (об этом ниже) она жила "вне себя". И мысль, "куда устроить себя", "как мне понравиться", "что я буду делать с собою", — ей точно не приходила в голову. Она всегда была "вне дома" — на земле, в звездах, скорее всего — в воздухе, летая, стремясь и, бедная, ушибаясь. Точно птичка сюда, туда... Крылышки устали, дома (точно) нет (в ее идеях).

Будули я, отец, и мы все "дома" затруднять ее. Часто видно, что она очень страдает. Да, а "забота о других до 11 лет". Если я после 11 лет как потерял ее, то до 11 лет больше всех... даже не любил, а *уважал* ее.

Толстенькая, грузненькая, медлительная, в 6—7—8—9 лет она то "ловила и никак не могла поймать курицу" или "цыпленка". А главное — всех-то, всех сестер и брата "оберегала от опасностей", от собак, от волн моря, от подходящего поезда. Глаз ее — непременно на другом, чаще всего на резвушке Тане, которая "не щадила себя", в беге, в проказах. И вот все за ней смотрит младшая ее на год Верочка.

"Таня, не подходи к собаке!"

"Таня, — в тебя плеснет волна".

И бродит, бродит моя Верушка за Татьяной.

С 11, когда она "вышла из дому", — и очевидно, что она ушла "спасать вообще людей". С этим я связываю "Вера хочет умереть". Так как спасти такую махину не очень легко, ни для 11, ни для 13, ни для 15 лет.

* * *

10.VI.1914

Сельская "школа министерства нар. просвещения" передельвает крестьянского мальчика в зародыш хулигана.

Я не знаю, что тут действует в министерстве: отвращение ли к крестьянину или влечение к хулигану.

.....
.....

Он знает вкус папироски. Напишет с буквой "ф" похабное слово. Видя отца, крестящегося на церковь, потихоньку отворотится.

Знакомого учителя, кончившего учительскую семинарию, товарищи спрашивали, когда он перешел в учительский институт: "Неужели у него не было *гонореи*" (отвратительная половая болезнь, результат заражения). И когда он спросил: "Что это?" — то они расхохотались.

"Бедный мальчик, — говорили они ему, — совсем еще деревенщина!"

Этот факт не вымышлен. История была с молоденьким крестьянином из Бессарабской губернии, попавшим "для продолжения образования" в Киев.

Молоденькая девушка, той же деревни, вышла замуж за паренька, окончившего элементарную земледельческую школу. И через два года сошла с ума. Ее муж побросал из избы вон иконы, сказав, что это "щепки" и в лучшем случае "идолы". И, будучи красив и имея влюбленную в него жену, — изменял ей открыто на каждом шагу. Уже когда он, едучи со свадьбы, переезжал на пароме через Днестр, то о еврейке-девушке, работавшей при перевозе, сказал молодой жене:

— Какая красивая. Я ее *обработаю*.

* * *

10.VI.1914

Разительную особенность и вместе главную почти трудность управления и направления русского общества составляет то, что оно слито из людей безграничной наивности и доверчивости — в одной и большой

части, и из людей до последней степени циничных, — циничных старым закалом римского разврата: холодных, обманных, притворных, гибких. И что первая часть милых и прекрасных людей находится — уже с давних времен — в обладании и обмане у вторых. Эти последние ведут первых за нос: с таким видом, как ведут в Царство Небесное и к спасению. И эти, будучи "за-нос", бегут к своей гибели, как именно к спасению.

Так торопятся, что сшибут с ног каждого, кто станет поперек дороги и попытается остановить их. "Ты мешаешь нашему прогрессу и работе духа над собою".

Так, "работе духа над собой" учил и в Мраморном дворце, и в народных аудиториях, и в маленьких книжках Григорий Спиридонович. Теперь, когда, с потерей официального положения, он стал свободнее, — какие-то антрепренеры из евреев возят его "читать лекции" по городам Сибири. И "40 курьеров" вперед скажут и объявляют, что "в наш темный городок приезжает знаменитость, сам Григорий Спиридонович, и будет читать лекцию о том, как мы должны работать духом".

Почти параллельно воздвигся еще пророк, и "Анатемою" и "Анфисою" учил, как мы тоже "должны работать духом". Вообще, по количеству пророков Россия, конечно, есть самая пророчесственная страна, как и предвидел Достоевский...

И пророки устраиваются кто с дачей в Крыму, кто "в своем замке и со своей яхтой" в Финляндии...

"Ныне свет идет уж из Куоккала".

...Нет, что Василий Михайлович, выдавший "из-под Колокола" двух дочерей хорошо замуж, — о чем сейчас же рассказали в газетах и рассмеялись в газетах. Василий Михайлович — цыпленок и пансионерка. Крупные дела делают с "медом и акридами" на устах, в старой поношенной рясе, "незвирая на женщин" и "глаголом прожигая людей".

Взгляните, как он бос и беден
И презирают все его...

И, наконец, как полицейский бегаёт у него по пятам...

Тогда к "пророку" бросается не свой департамент или "наш городок", а вся Россия...

И лавры, и венки, и телеграммы "о состоящи здоровья". И о том, что "его опять преследуют", но он "ускользнул"...

Что "его хотят убить" и "кто-то с ружьем стоял под окном". Кто видел? Никто, кроме "убиваемого". Но телеграммы "извещают", ибо он уже "поговорил" о своей горькой участи "с интервьюером".

Вот как "горшки обжигаются", друзья мои. А то "дочку выдал". Тут не "дочкой" пахнет, — а вся Россия будет под ногами. И станет лизать подошвы сапогов у человека, который разъянил темным людям, что Христос был тайный социалист, проповедовавший "общность имущества", т. е. коммунизм, учивший "раздать все бедным", т. е. при сопротивлении этому, — и отобрать все у богатых. Что "Карл Маркс был тоже из Вифлеема", а Лассаль вышел из Капернаума, и я, Григорий Петров, гонимый правительством, — вам все это открываю.

Как же у него не "развязывать ремень у обуви". Развязывают. Тут и курсистки, и "наши дамы", и "вся учащаяся молодежь".

И вот уже несут юбиляр-пророку бронзовое изваяние символа его личности и труда: как в могучий Колокол ударяет молотом "он" и "будит свет к свету".

И облизывается пророк, и обтирает губы салфеткой.

(жда поезда)

* * *

11.VI.1914

Действительно, Бокль был прав, говоря, что "с одним добрым сердцем ничего не поделаешь, нужен и ум".

Никогда не приходило в голову.

"Доброго сердца" от Белинского — через Чернышевского и Добролюбова — до Мельпина и Пешехонова — было довольноно.

И чувства добрые я лирой воспевал.

Но что же вышло из этих "добрых чувств"? Явно, Пушкина нельзя было "взять" только добрым сердцем и этою маниловщиною в идеях, что "все люди равны и братья", а нужен был огромный ум, изощренный испытанный вкус и обширное образование. "Где же нам, бедным семинаристам, всего этого взять", — уныло проговорили Благосветлов, Чернышевский и Добролюбов. "Мы едва-едва одолеваем "Историю" Шлоссера (Чернышевский и его восторг перед Вебером) и "Жизнь животных" Брема (Писарев). И они на 40 лет, на жизнь целого поколения исключили из обращения, из чтения Пушкина. То же случилось с Лермонтовым, которому предоставили воспевать "Три пальмы" и "Дары Терека", отвернувшись с: "Не по нас".

Все было "не по ним", при добром сердце.

Страхов пылал, старался, голодал.

— Не по-ни-маем. Что делать, если не по-ни-ма-ем.

Вся жизнь заросла бурьяном. Мозги бедного русского обывателя заостенели от восторгов перед Шлоссером и Бремом.

— Все — немцы. Ничего — мы. Вот и Шлоссер и Горилла.

Возненавидели отечество свое, потому что в нем нет ни такого ученого, как Шлоссер, ни такой "научной" обезьяны, как горилла.

— От которой мы все произошли.

Что же сделали "добрые сердца" — неотрицаемо добрые. Герье и Любимов растолковывали французскую революцию.

— Не по-ни-ма-ем.

Подробно ее рассказывали, день за днем:

— Не ве-ри-м.

— Почему не Минье? Отчего не Мишле? Что такое "Любимов". "Любимов" — брат "Любиму Торцову" из "Не в свои сани не садись". И он рассказывает такой благородный сюжет, как французская революция. Туда же "с суконным рылом...".

Почему, почему "доброе сердце" это не скажет? "Доброе сердце" мы почему-то всегда представляем "вроде как у нашей бабушки", которая нам "пекла такие пирожки", или вроде "сердца Св. Франциска Ассиз-

кого". "Доброе сердце" есть только простое и доверчивое, недалекое сердце, которое может быть засижено тараканами, как и посыпано сахаром, на нем может вырасти крапива и репейник, как и роза.

Мы этого-то и не приняли во внимание, что может быть и "с крапивой доброе сердце". И "доброе сердце с крапивой" победило Русь. Русь всегда была добра, проста, странно доверчива и странно недоверчива. Наш увалень, поворачиваясь с боку на бок, ткнул перстом в Гоголя и сказал:

— Вот он говорит, что все подлецы. Повернулся на другой бок и заснул.

(история русского просвещения за 60 последних лет)

* * *

11.VI.1914

...да я не против *общественности* говорю, а против *худой* общественности...

Против *празднословия* в ней, против *фальши* в ней.

"Общественным деятелем" Философов выразил бы себя (теперь или особенно ранее), если бы отказался от пенсии по службе отца в чине военного генерал-прокурора, действительного тайного советника. Прилично ли быть одновременно социалистом, в такой мере, как он, ненавидеть правительство и получать от него — все-таки от *него!* — пенсию. Вот за *такую* его "общественность" я бы его похвалил и вся Россия его похвалила.

Но он этого не делает.

А слова его? Кому они нужны.

Слова нужны — Пушкина. Вот за них можно платить и ренты, и пенсии. А наши слова так обыкновенны.

И что же толчется со своими словами Рел. фил. общество. Тут и Богучарский, тут и Керенский "богословствуют". Так ведь это праздноглаголание. Нет, объясните, почему это "общественность"? Это мешает *труду* общества, *жизни* общества, — которая, естественно, должна быть *рабочей*.

Что такое "слова" около "работы"? Слова во всяком случае среднего значения, и не более.

То же что песенка, которую мурлыкает портной. Да, утешает, да, развлекает. В этом смысле я согласен. Но и тут: пусть и поет портной. А не то чтобы портному на ухо чирикала Зинаида Николаевна. Это, право же, даже не освежает.

Иное дело: Зинаиде Николаевне нравится общество портного. Но, ей-же-ей, этого нет — и вот *нечистосердечие* мне особенно противно.

Декаденты. В трудовом вопросе они остались декадентами. Декадентами и пенсионерами (у Мережковского отец тоже был значительным придворным чиновником). Что такое смесь декадента, рабочего и пенсионера — я совершенно не понимаю.

Очевидно, эти пенсионеры *стараются* быть около портных, сапожников, мастеровых. Доброе намерение. Это наше старое *опрощение*, какого дай Бог всякому и во всякое время. "Память о народе" прекрасна, когда бы (в какую эпоху) она ни была. Но ведь в этом смысле

с исчезновением старого чванливого барства мы все вообще "народники", и в этом смысле от Царя до последнего подданного в России нет ни между кем разницы.

Разве Государь не прошел несколько верст в Крыму с солдатским ранцем и в солдатской одежде. Прошел. И он такой же "народник", как Богучарский или Мережковский.

Конечно — гораздо более. Ибо *так* пройти было очень трудно.

За всю мою жизнь я никогда в России не встречал "ненародников". Чиновники, дворяне — все народники. Рачинский, старинный знатный дворянин и отставной профессор ботаники — *много лет* жил и спал в флигельке барского дома (где жила сестра его) с крестьянскими детьми.

Что же в *себе* особенного подчеркивают Философов и Мережковский? А, бунт и призыв к нему, "легальный", т. е. осторожный, в пределах "Русского Богатства".

Это и выполняет — хорошо и широко "Русск. Богатство". Насколько это вообще *нужно и дельно* — это уже есть. И они оба, и Рел.-фил. общ. их есть самая маленькая "припека" около русского социал-революционного каравая.

Но, ей-ей, я тоже не понимаю этой революции в щиблетах. И с папиросками, которые надушены о-де-колоном.

Я ее раз спросил, не удерживаясь от изумления.

— Что ж вы, социал-демократка?

Она лежала (как всегда) на низенькой кушетке против камина (никогда не топится). И, выпуская дым душистой папироски, ответила:

— Я социал-демократка.

Вот уж две бедности, которые от "союза" никак не разбогатеют.

— Вы что мне несете в приданое?

— Папироски.

— А вы, товарищ, что мне дадите?

— Хорошее матерное слово.

Впрочем... ведь у нас "Alliance franco-russe"¹.

* * *

15.VI.1914

Один раз, один раз, один раз живет человек на свете...

Один раз приходит на землю. Кто может вынести эту мысль.

Кто я? Почему пришел на землю? Потому ли, что совокупались родители? Только? только? только? Но если "нет" — тогда почему же?

Они совокуплялись (и слава Богу, — в радость им) — бесчисленное число раз: а "Розанов пришел" только раз.

Явно, что "Розанов пришел" через шелку их соединения, через его тонкую ниточку, ну — каналец: но *не произведен им*.

Они меня "пропустили", но они меня не создали.

И вот вратами их совокупления я вошел в мир.

"Вошел в мир"... И когда "отойду" — никогда больше не вернусь в него.

¹"Франко-русский союз" (фр.).

Никогда. Никогда. Никогда. Кто может это вынести?

Но как же я мог бы, при этой *единственности* вхождения, не рассказать все, что видел, узнал, что меня обрадовало, что разгневало.

Как я жил с людьми. Кто меня любил. Кого я любил.

Как бы я не поклонился великим поклоном матушке-земле...

Матушке-земле, на которой я был один раз.

Не сказать людям "спасибо". Главное — спасибо.

И детям, которые так радовали и будут перечитывать этот дневник, когда будут сами стары.

И м. б., неведомый внук скажет: "Это наш *дедушка* сказал". Какое ожидание. Какая странность.

Какая связь поколений. И единство рода человеческого.

Вот отчего я напис. "Уедин.", "Оп. л.". Так просто. Его бы *каждый*, собственно, обязан был оставить земле.

"Я жил". "Вот что я такое".

Почему-то, когда я пишу его, я счастлив и добрее.

(*поздней ночью. Все уснули*)

* * *

15.VI.1914

Анекдотом истории не объяснишь.

А ведь все наши историки, если попристальнее на них посмотреть, суть анекдотисты.

В них нет торжественности...

Душа их не торжественна. Как уловил это Лермонтов:

В небесах *торжественно и тихо...*

Боже: если для того даже, чтобы понять *ночь*, — нужно иметь особенную душу, иначе, кроме "темного", ничего не увидишь: то сколько надо иметь в душе, чтобы понять историю.

Боже, внуши священство людям, Боже, внуши священство людям, Боже, внуши священство людям.

Ты отнял "священника" в человеке, и глаза его смежились, и он смотрит и ничего не видит, знает — и ничего не понимает.

Он рассказывает анекдоты. И хочется сказать бедному:

— На, прими копеечку.

Это позитивист. Он написал уже десять томов истории.

Боже. Боже: отчего же Ты покинул землю? И риза небес свилась над нею. И люди смотрят... вверх, как трубочист в печную трубу, ничего не видя, кроме сажи.

* * *

15.VI.1914

— *Этого нельзя*, —

говорят вежливо и твердо русскому, как только он переезжает Вержболово и попадает в Берлин, Мюнхен и разлюбезную Женеву и "сам Париж".

Русский испуганно смотрит, нимало не поперечив, и, кроме того, через год смотрит с каким-то страхом на Кумир, — и, вернувшись домой, всю жизнь повторяет невежественным соотечественникам:

— Там цивилизация-с... Я видел цивилизацию.

В чем, однако, она заключается?

А что, "переехав к нам", за родной шлагбаум с страшными жандармами около него, он узнает, что здесь

— *Все можно.*

Тогда он, очень и очень пользуясь "можно", — засыпает. А всякий раз, когда продирает глаза, бормочет:

— Этакое свинство. Этакие везде свиньи. Котлету мне пережарили. Доспать не дал свисток. И от соседа в вагоне пахнет.

Сосед на ту минуту проснулся и, услышав такую аттестацию, говорит:

— Это вы сами воняете, а я во вторник в бане был.

Два пассажира, соперничающие чистотой, вцепляются в волосы друг друга. А когда к ним подходит "жандар" с просьбой не беспокоить соседей, — пассажиры вырываются из вагона и так как еще не рассмотрели, где буфет, то кричат:

— Вот, она, казенная Россия! Жить не дает.

И Бог знает, что бы вышло далее, если б они не увидели буфет с буфетчицей: она была припомажена, краснощека, в волосах у нее завязли две мертвые мухи, и она стояла над тарелками с бутербродами, по которым потихоньку пробирался таракан.

Тогда враги решили, что "плохой мир лучше доброй ссоры", — и, не глядя больше друг на друга, оба направились к буфету. Соотечественница улыбнулась им.

* * *

15.VI.1914

Очень хорошее представление о "государствоведении".

По улицам, по углам их, стоят люди, цель которых — шарить по карманам. Как только загулялся человек или где увидят пьяного: они кидаются на него и обшаривают карманы. Найдя "движимое", кошелек или что, передвигают в свой карман. Затем кладут пьяного поперек дрожек, садятся на несчастного и — колотая в спину извозчика, пускают его везти в место, именуемое "участок". Там его запирают в комнату, темную, грязную, маленькую: и несчастного начинают поедать насекомые, именуемые "клопами".

Это первая линия зла, именуемая "полиция".

Над нею выше стоят люди, которые не дают жить уже и трезвым: они притесняют, придираются, шпионят и доносят на всех людей, идущих по улицам и живущих в домах. Таких людей приходится по одному на городской квартал, и они называются "квартальными"; а над несколькими квартальными начальник — "пристав". Таким образом, весь город находится во власти "квартальных" и немногих "приставов", которые издеваются над жителями города, всячески мучат их и обирают правых и неправых.

Так как несчастные жители государства или "подобного отечества" находятся в состоянии постоянного желания восстать: то для предупреждения восстания заведены пушки.

Это целая организация. Пушки, пулеметы, офицеры и солдаты, генералы. Подобное учреждение называется — армия. Это государство

в государстве, как масоны или черная рать иезуитов, но менее образованы.

Грубая сила, подавляющая мятежи.

Таким образом, все жители в рабстве. Чтобы прикрасить это и скрыть, особенно от глаз просвещенной Европы, устроены разные "видимости", — "цену которых мы очень хорошо знаем". Это суды, где царит черная неправда, и "якобы школы". Так как молодая мысль не могла бы помириться с подобным абсурдом, — то учеников заставляют зубрить не относящиеся к нам греческие и латинские склонения и спряжения, разных героев древности, которых пора бы и забыть, потому что и кости их сгнили в могилах и т. п. Что же касается до "отечества", то, конечно, и о нем преподается в духе "все обстоит благополучно".

Из подобных школ выходят, конечно, кретины, которые наполняют ряды чиновничества, т. е. этих жалких людей, которые напускают на нетрезвых — клопов, а трезвых — мучат, облагают налогами, шпионя, ничего не дают делать никому, сами делают вид, что "управляют". Если же кто-нибудь обнаружит ропот, то влекут его в суд и ссылают в Сибирь.

"Но, несмотря на казематы и тюрьмы, чувство протеста не угасает в сердцах, горящих правдой". "И мы еще посмотрим".

Но тяжело. И всегда было тяжело.

В чью же пользу совершаются все эти злодеяния?

Разрешается все песенкой, конечно запрещенной:

Долго нас помещики душили,
Становые — били.

Вдали от душных городов раскинулись прохладные поместья. Там живут "баре". Они ничего не делают и только занимаются амурами. Собственно, для обеспечения их барствования и заведено "государство" или так называемое "наше отечество". Это привилегированные люди, вроде "спартиатов" в Спарте: они наполняют собою высшие ряды армии, идут в прокуроры, в сенат и вообще "управляют". Т. е. шпионят и наказывают. Этот класс паразитов разделяется на "бабушек, которые ворожат" и на "маменькиных сынков, которые делают карьеру". Еще — "за хвостик тетеньки держался", как говорится тоже в песенке, не весьма громко произносимой.

Но кому же все это надо?

Самому. Которому подобный порядок вещей, конечно, весьма выгоден. Но уже пробуждаются люди. Даже рабочие массы приходят "к сознанию". И чаще и чаще слышится песенка, конечно, не на глазах у городского:

Вставай, подымайся, рабочий народ.

Сроки близятся. Грознеет время. Могучая грудь рабочего устала вздыхать. Алая заря занимается с Востока.

— Разумеется, начинать надо снизу.

И депутат I Думы Седельников, весьма понятно оценив, какую роль играет полиция в системе государственного правления, предоставив

"пустые речи" в думской зале другим, — начал в Петербургских городских садах наблюдать полицейских, затем вступил с ними "в разговор" и перешел врукопашную.

На первый раз он был побит, п. ч. их было много и его никто не поддержал. Но если все депутаты начнут бить полицейских, и к тому же их поддержат рабочие, — то дело может обернуться и иначе.

Только дворники?..

Скверно, что в "полицейском государстве все связано" и "все каждого". Сам, генералы, помещики, полицеймейстеры и клопы.

Газеты советуют подождать, пока мы объединимся. И задача момента — объединение. Но какое же может быть сомнение, победит ли ляхая неправда или могучая истина.

Могучая и выстраданная истина.

Вставай, подымайся...

* * *

16.VI.1914

"И вот в "Вестн. Евр." Вл. Соловьев наносит смертельный удар славянофильству, сперва в лице Н. Я. Данилевского, а затем и самого Страхова" (Эмзе. "Два сердца" в "Утре России", 15 июня 1914 г.).

Друзья мои: разве вы не знаете, что любовь не умирает. А славянофильство есть просто любовь русского к России.

И она бессмертна.

Назовите ее "глупою" — она бессмертна.

Назовите ее "пошлою" — она бессмертна.

Назовите ее "гадкою", "скабрзною", "отрицающею просвещение" и ваш "прогресс" — и она все-таки не умрет.

Она будет потихоньку плакать и закроет лицо от ваших плевков — и будет жить.

Пока небо откроется. Пока земля станет небом.

* * *

16.VI.1914

Нет, правительство наше вовсе не так "глупо и тупо", как мы чистосердечно думаем про себя и пишем, а отчасти (патриоты) — и скорбим. Оно представляется таким именно "нам", университетам, потому что мы, собственно, *оскорблены его пренебрежением*. Это-то пренебрежение довольно явно. Первый раз мелькнуло оно у меня, когда, сидя в цензурном комитете и разговаривая, а отчасти и споря, я сказал что-то и в ответ председатель цензурного комитета, милейший Катенин, попыхивая папирской, показал мне "Цензурный устав".

Я раскрыл толстый том. И увидел, что "Цензурный устав" составляется какую-то 2-ю часть каких-то "Полицейских правил", "Устава благочиния" и прочей, как мне казалось, мерзости.

— Те-те-те... — Я забыл тему разговора с Катениным, все всматривался в *том* и его *строение*. Во мне зашевелился ворох мыслей:

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Это давняя, с Екатерины Великой, песенка "презренного правитель-ства". С *труженицы* Екатерины (она была *труженица*, разумеется не без "утешений", бывающих и в рабочем сословии), — с нее и через весь ряд, до государя Александра II, который тоже был великим *труженником* — "трудоовое начало", и притом оно *одно, одно—solo*, проходит через наше правительство, которое "раненько встает" и "поздно ложится", не в пример нашим князьям, графам, между коими были и князья Волконские, и Трубецкие (декабристы).

Правительство действительно имеет *широкий взгляд на вещи*, и для него важен:

крестьянин
священник
воин
Царь.

Важны, хотя и менее,
купцы
фабриканты
иностранные гости.

Что касается "Волконских и Трубецких", то оно даже не "будило их рано" по самому пренебрежению к ним, причисляя и их к "нам", горожанам и интеллигентам. Оно, конечно, говорило с ними вежливо, давало видные чины в гвардии, и проч. и проч.; вообще — "ласкало". "Все-таки аристократия или видимость аристократии"... "Как в знатных иностранных державах". Но свое русское чувство превозмогало, и серьезно-то и в сердце своем оно сознавало, что это "пустяки".

Знаменитая формула Павла I:

— *Gentilhomme russe est celui avec qui je parle et tant que je lui parle*, т. е. "⟨русский⟩ дворянин есть тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю".

Эта формула выдала секрет, таймый государями из вежливости в груди своей. "Никакого нет дворянства. Есть челядь, которой нужна *служба*. Больше ничего не нужно". "Я Сам — труженик: о каком же дворянстве может быть речь".

Когда Екатерина сказала, что в лице дворян она имеет "несколько тысяч *полицеймейстеров*", то она выразила ту же мысль, которая прорвалась у ее сына. "Нужны *полицеймейстеры*, а дворяне вовсе не нужны. И дворяне сохраняются, насколько они несут *полицейскую службу*".

"Полиция" же — это спартанские эфоры, "наблюдатели рынка", площадей, улиц и порядка и безопасности на них.

Итак, "государство" действительно скучновато. Да ведь где работа, какая же поэзия? Поэзия и действительно устранена:

Мужики — пашут.
Солдаты готовы "отразить врага".
Священники — хоронят, венчают, крестят. Держат
"наряд" и "идею" над человеком.
Царь — блюдет все. "Да будет все тихо и
благодатно".

Египет. Настоящий и *полный* Египет. Монархи эти начертили эту громадную и простую схему бытия человеческого, "ее же не преидеши". Что там рассуждать: надо, чтобы было тихо и сытно и плодородно.

В размножении и семье дано вознаграждение за труд, — достаточное (по Библии).

А литература?..

"В голову не приходило", — сказало серьезное государство... "Это во всяком случае не *хлебное и не нужное*". "Не семья, — а как *отдых в семье*". "И забава *холостых людей*"... Хорошо. Пусть. Но для всех будет лучше и даже необходимо, чтобы и тут все обходилось *"тихо и прилично"*. И отнесло "Устав" о ней к серии "Полицейских уставов", — интересуясь или принимая "к важности" в ней только одну полицейскую сторону ("*тихо и прилично*") и не интересуясь вовсе сюжетами (и "*мудрено*" и "*некогда*").

Это произвело величайшее негодование "в обществе" или "в так называемом обществе" — в той несерьезной части населения, о которой Государь Павел I выразился, что она "в дворянстве, пока он с нею разговаривает".

"Как, *мы!!!*" — воскликнул отставной малообразованный офицер Лемке и написал "Николаевские жандармы" и "Николаевские цензора". Волновались и другие, хотя не так яростно, как "немец в русских" Лемке. Но все волнение-то гнездилось в том обстоятельстве, что и он, и прочие не догадывались, что рабочей силе действительно не "до сюжетов" и что "на университетских" оно действительно не может смотреть с другой точки зрения, как чтобы "там" было все тихо и прилично.

Как в Египте. "Жрецы и горожане да не волнуются. Иначе придет *воин*".

"Воин" египетский и русский "генерал", естественно, не разбирают, из-за чего ссорился Белинский с Хомяковым и К. Аксаковым. "В виде курьеза" даже примут под свое покровительство Белинского, посмотрев сверх очков на заглавие его статьи: "Бородинская годовщина". — "Одобрю. Патриот. Вы, значит, пишете о генералах 12-го года". И "врагов" его, К. Аксакова и Хомякова, как "вероятно, революционеров", запрет в кутузку. "Что-о-о?! Вы позволяете себе *богословствовать!!!* — кричит "анарал" на Хомякова. — Кто вам позволил??? То — дело митрополита Филарета, а не какого-то помещика, сына проигравшегося в карты отца".

Вполне египетский ответ. От мудрости пирамид.

Мы его не понимаем потому именно, что мы — мелочь, мелочны, с мелкими и короткими взглядами люди, ибо глубины и длинного взгляда нам неоткуда было и взять. Все "за чайным столом", "за картами" и "в клубе". Все — не поле, не страна, не народ. Мы — *комнатные люди*, а "генералы", или "анаралы", — это "лешие", которые кричат в лесу, кричат через все поле, подают голос от Черного и до Белого моря, и от Черного и до Белого моря их все население слышит.

— Одно слово — командир... — крестится народ.

— Одно слово — повеление... — шепчет он же и торопится исполнить.

У хитрого Некрасова в "Генерале Топтыгине" это хорошо выражено:

Нет ребра, зубов во рту...

Барышня-курсистка приходит в истерику: "Как *ребра*, когда он гуманный человек"... Но если бы у нас "Курсы" были серьезны, то

профессор на 1-й же лекции им объяснил бы, что в Риме "отрубали голову", а не то что "считали зубы", за первое же слушание. И там, бывало, сын, "сущий в генералах", не щадил отца, бывшего всего "полковником". Так что всероссийское "зубы" и "ребра" — лишь по русскому православному нашему благодушию, отменившему строгости государства.

"Потому что Христос и благодать".

Мы не народны; и поэтому ничего в государстве своем не понимаем, в глубоко народном государстве и глубоко благородном.

(прервали)

Конечно, "Египет" — это кажется слишком странно и архаично для XIX века, который живет уже "по конституции-с". По правде сказать, русские генералы и не слышали, конечно, об Египте, — и скорее "берут образцы с Германии" и "Франции"... Но они не очень и "по-французски" и в сущности всегда были глубоко самостоятельны, делая только вид, что "заимствуют". Все дело вышло само собою, потому что и Египет был страна просторная возле царь-реки, и хлебная, и Россия тоже возле матушки-Волги, живет пашнею, и протяжения такого, что *внутри себя чувствует одной на свете*. Если "ни до какого царства нельзя доскакать иначе, чем в три года", то явно, что эти "иные царства" кажутся и ощущаются какими-то мифами. В России есть страшная внутренняя своя тяга. До утомления, до поглощения. Ведь на Юпитере-планете притяжение к центру неизмеримо сильнее, чем на крошечной луне, и если там есть "жители", притом не из бронзы вылитые, то они должны быть сплюснены этим странным притяжением к центру. "Потому что велика планета". В великих исторических царствах нет этого, но есть подобное. Люди действительно мельчают (наша *мелкая интеллигенция*), уравниваются (русское "чувство братства"), как-то приплюснуты — и являют не "лицо", а "народ".

Не забуду, как одна баба с искусанным (волком) лицом на мой вопрос:

— Что это у тебя с *лицом*?

Ответила мне:

— *Рожа-то?*

Без всякого унижения. Просто как о факте. У нас "фактическое лицо", а не моральное лицо, и потому "генералы Топтыгины" и разрезаются, как с ними тоже "разрезается" Сам. "Пора рабочая — за тычком не гонимся". И все так. Все страдно страдают, работают, обучаются стрельбе, торопятся, спешат. "Упустишь время — не поймашь". И "мужик", серьезное государственное лицо, глубоко понимает "командира", понимает и всегда понимал "солдатскую службу", несмотря на ее страшную — особенно в старые времена, — тяготу и страдальчество. "Что делать — нужно, и — пострадаешь". — "Придет смерть, и барин не откажется умереть". Так-то. Это не то, что франты, уехавшие в Выборг и оттуда крикнущие: "Не служить!! Не давайте рекрут, крестьянушки: *мы* вам позволяем не давать и не платить налогов".

Мужикам видно было, что это пшноты кричат, праздничношатающиеся, барчонки и белоручки. И конечно, никто не послушался, потому что это не "командир" говорил.

Совсем другое дело.

Римлянин.

"Ликторы да следуют за консулом: с пучками розог и топором палача, в этот пук вложенным".

Все это непонятно нам, но трудовому мужику очень понятно, и он с *генералом соединен*, а с "нами" он *вовсе не соединен*... Ни с Пешехоновым, ни с Мякотинным, ни с Петрищевым, ни с au fond¹ стоящим Горнфельдом. Мы для него просто "нет", и нас он просто "не считает".

И для него, как для Царя, — те же египетские категории:

крестьянство,
солдаты,
священники,
Сам.

Крестьянин, "не учась государственному праву", утрет нос всякому профессору этой науки; утрет нос потому, что он инстинктивно и с незапамятных времен есть *cives*². Так. обр., он в себе "несет науку государственного права", тогда как профессор это "где-то только вычитал"; и если бы был умен — *рисовал бы ее с мужика*, как пейзажист "рисует лес", "срисовывает сосну". Но и то, конечно, настоящая сосна в лесу лучше и многозначительнее и священнее всякой "нарисованной сосны". И "мужик" есть вещь, "das Ding", а тот профессор — есть "что-то" и почти дым и мечта...

* * *

17.VI.1914

Неужели эта тусклая и бессильная борьба с кабаком, как у Страхова, есть судьба и моя?

Однако со времен "избиваемых библейских пророков" не было еще ни в одной стране и ни у какого народа такого ряда, как у нас, "избитых людей, любивших эту самую страну и народ". Ничто подобное не вообразимо ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии или Италии, ни в Голландии или Дании. Катков — его имя даже не упоминается нигде. Не то чтобы его опровергать, но "не стоит и вспомнить". Он до такой степени не есть "борец" и "сила", что его даже не толкают плечом. Просто "переезжают", как через труп, который никогда не был живым человеком. Что такое Ив. и Кон. Аксаковы? Забыты, — и я не помню случая, чтобы кто-нибудь вспомнил. Страхов, Ап. Григорьев. "Разве они были когда-нибудь?" Делаются все усилия "вынуть из забвения" Конст. Леонтьева: но как они трудны...

Что же это такое? "Никто же *плоть свою возненавиде*, но всякий питает и греет ю (ее)"... И Христос, значит, не предвидел, и вся натура ошиблась. "Пришли русские и показали себя".

.....
С чего же, с кого началось это избивание? Действительно, это чохоточный умирающий Белинский взял в горсть отхарканный плевков

¹ в основе (*фр.*).

² гражданин (*лат.*).

крови — и бросил его в Россию. И крови этой ничем не смыть, и она размазалась по всей России, и с этого именно времени русские ненавидят Россию.

Если "в микроскоп рассматривать", то кровь-то эта была из него выдвлена 1) Некрасовым, 2) Краевским, 3) Герценом, 4) Огаревым, 5) Бакуниным. Первые два "жали", последние три "прошли мимо". Перенеси с одра болезни, с одра нищеты и болезни, Белинского — и мы услышали бы не те песни. "Последнего фазиса Белинского" бы не было, а в нем-то и дело. Пять названных лиц, может быть, во всем имели неуспех или полунуспех. Но Белинский этой "горстью крови в лицо России" им дал всем победу. Что такое Герцен без Белинского? По "запрещенности" его ведь никто не читал (до "освобождения"). Он был *poten magnum et ignotum*¹. Чернышевский и Добролюбов, лишь сея на почве, заготовленной Белинским, получили всходы и жатву. "Современник" после "Отечественных Записок", после "Современника" второй фазис "Отеч. Записок" (Щедрин и Михайловский), в промежутках "Русское Слово" и "Дело" — вот триумфальные ворота, через которые прошли наши победители.

Воистину, наши победители. Победа была "над Россией". Во имя социал-демократии, сперва Фурье, Сен-Симона, идей Прудона; а затем — Лассалья, а теперь — Маркса. Но во всяком случае победы "над Россией", ибо — во имя "не России". Тут может быть что угодно, но "русского — ничего". Я говорю о победителях. "Русского ничего" — это победило "все русское".

В том и дело, что "харкая кровью". А "харкая кровью" — это христианское начало. "Он был пригвожден и пронзен". С тех пор, *т. е. в нашей христианской Европе*, ничто не имеет силы противиться тому, что "харкает кровью". В Риме (*Roma aeterna*) это не получило бы никакого значения, не привлекло бы ничьего внимания. "Мало ли было распятых рабов", по всем дорогам и Африки, и Азии римского "orgbis tergarum"². Но после *Него* всякий "изъявленный раб" побеждает.

Это великая загадка. Великая смута для ума и сердца судить. "Под дверь моего дома, взламывая эту дверь, — просунут в крови нож разбойника, чтобы меня и семью мою зарезать". И, смотря на нож, — я готов бы и мог бы сломать его; но как он "в крови" и "несчастный" — то я парализован и не могу встать с места.

Суть-то в том, что вместе с "добрым разбойником" прокрался в Царство Небесное и злой разбойник. И вот он в нем не только сел, но и хозяйничает. И попросил "Господа Бога — убираться". А когда все удивились и готовы были закричать, он взял горсть своей крови, — действительно своей, пролитой в разных делишках, — и показал святым. И "святые" замолчали.

— Он пролил *кровь свою*. Ничего не можем сказать.

Вот суть положения.

И злая кровь уже одолевает добрую кровь.

Разве тихо не источались кровью и Страхов, и Ап. Григорьев, и Арс. А. Голенищев-Кутузов, и Аксаковы? Не упоминаю забытых Кат-

¹ великим именем, но неизвестным (*лат.*).

² "земного круга" (*лат.*).

кова и Данилевского. "За кровь Белинского заплачено кровью". Не действует. Образ первого, "умирающего в чачотке", — закрыл ряд других больных постелей.

.....
И вытягивается, и выпячивается этот ряд больных постелей. И про-
ходит холодная страна — мимо их.

Холодная Русь! Холодная Русь. Безжалостная Русь.

"Кто тебя раскрестил, Русь некрещеная?"

Батыева палка да Белинского чачотка.

У, циник...

Ну, торжествуй...

* * *

17.VI.1914

Всех обманул — и всех возненавидел.

Мы проезжали по Невскому, месяца за два до объявления банкротства, и В., толкнув меня слегка, сказала:

— Это идет Пирожков.

Небольшого роста, весь скромненький, преувеличенно тихий и безмолвный, — он шел каким-то неверным пьяным шагом по правому тротуару, ни на что не смотря, никуда не устремившись взором. "Думал тихую думу", доканчивая подготовку дела.

Недели за три до этого, истощившись ходить к нему с просьбою уплатить что-нибудь из обязательства, я послал Варю. И она вся терпеливая — пришла:

— Долго никто не выходил. Контора пустая. Книг нет, мебели почти нет. Наконец вышла какая-то дама, некрасивая и пожилая, и когда я на слова ее: "Что вам угодно?" — сказала, что "у нас б человек детей, муж болен от труда, пусть Мих. Вас. уплатит хоть часть обязательств", — то она закричала на меня: "Какое же дело Мих. Вас. до ваших детей? Он не обязан их кормить. У него не сегодня-завтра приедут все описывать". И ушла. Потом вернулась и сказала от имени Пирожкова: "Денег нет. Сам не может принять".

И вот он теперь шел... Точно у него было что-то за плечами, о чем он боялся, что "схватит". Шаг был неверный, шатающийся (никогда не пил)... И это испуганное, обманное и ненавидящее лицо.

Как он два раза приезжал и упрасивал меня, чтобы я попросил Суворина (старика) "поставить бланк на векселе". Потом-то мне уж объяснили, что это значит.

А Пирожков объяснял, что ничего не значит, пот. что впереди уже поставлен бланк Карбасниковым. "А платит первый", — и "Суворину ни в каком случае не придется даже взглянуть на вексель".

Но это когда он стал приходиться "в затруднение". Когда же он был "весь в цвету", то с какой радостью, на вопрос мой: "Неужели может произойти государственное банкротство", ответил:

— Конечно! Половина денег в обращении содержится в закладных листах земельных банков. И если совершится ликвидация частной земельной собственности в России, то и закладные листы потеряют свою

пену. Т. е. половина состоятельности рухнет: и оставшая $1/2$, не могущая выполнить долговых обязательств, вынуждена будет объявить себя "банкротом".

Мы сидели в его кабинете — окруженные великолепными изданиями "Мемуаров декабристов", где сии священные лица были представлены в изумительных портретах. И все остальные издания были великолепны. "Направляя" издательство Лемке, автор "Николаевских жандармов" и "Истории цензуры". Нечто вроде Рубакина.

Я беспокоился о банкротстве России. У меня были закладные листы, т. е. тысяч 16 и были выражены в этих "закладных листах земельных банков".

Россия шумела. И со всех сторон кричали беднякам: "Требуйте золотом уплат везде, не верьте кредиткам". И — "берите ваши вклады из казенных сберегательных касс. Ибо деньги ваши пропадут: революция одолеет, и правительство будет послано к черту".

Тогда-то, помню, приходила ко мне m-me Слободзинская, с сыном Сережей, V класса (гимназист). И когда я сказал, что "я за революцию, но этот крик на улицах о выемке денег из касс, *через что* кассы обанкротятся, и тогда *бедный люд действительно не получит ничего — подл*", то он гневно и горестно сказал матери:

— Пойдем, мама, отсюда!

Но ведь я знал, что никакой банк, самый надежный и исправный, не выдержит и обанкротится, если *разом у него потребовать вклады*. И, значит, кричать прислуге и беднякам: "Не *доверяйте* кассам! *Берите* свои вклады *скорее!* все — *банкротится*" — и значило сотворять, родить банкротство, т. е. потерю денег последними бедняками, рабочими, кухарками, прислужкой.

Сережа чуть не заплакал. Ему было 16 лет. Он был из прекрасной труженической семьи, сын инженера в отставке, когда-то занимавшего большую должность на Николаевской жел. дор., с окладом тысяч в 10—12, но теперь больного и жившего чуть-чуть (огромная семья).

Что ему было нужно? Он верил в революцию, а революция кричала на улицах: "Вынимайте деньги из касс".

Конечно, *придумал* это не Сережа. А кто? Поумнее его и постарше люди.

Но я отвлекся. Прошел еще месяц, два. Радовавшийся "банкротству России" Пирожков сидел в остроге. Конкурс. Разные хождения. Договор мой с ним, написанный его рукою и подписанный им, лежал в "документах, присланных конкурсу для расчета".

Я попросил Слепнева, — присяжного поверенного, председательствовавшего в конкурсе, — отвезти ему этот договор, чтобы он подписал свою фамилию поперек гербовых марок. И купил на 15 р. этих марок. Со Слепневым и высчитали, *сколько нужно*, по сумме договора.

Слепнев съездил. Потом вернулся. И сказал, что М. В. Пирожков отказался написать фамилию через марки.

Что я ему сделал? Имущество же его (издания и проч.), пошедшее "в конкурс" на уплату долгов, все равно "ему бы не вернулось", ибо для уплаты его не хватало больше чем вполовине. Так. образом, он не "отдал мне долга" не то чтобы из своего кармана, — что еще понятно, но...

Просто не написал фамилии через марки. "Не хочется. Потому что тебе нужно".

И вот я связываю чистого Сережу Слободзинского с ученым мужем и книгоиздателем М. В. Пирожковым. Делали революцию, пожалуй, мальчишки; но вдохновляли ее и давали план делания, я думаю, Пирожковы...

Это был поучительный урок в моей жизни.

* * *

17.VI.1914

Хищный лакей могуче жжался. "Нет ходу Розанову", "не покупают Розанова".

Нет рецензий. Критики. Ничего. Молчание.

(1700 р. убытка от продажи книг сравнительно с уплоченным в этом году типографиям; и еще 5 1/2 тысяч долга тем же типографиям остается, при отдаче им всего полученного от Митюрникова за год; при семье в 11 человек)

Посмотрим. Прирезать Розанова, как зайца, не так легко. Есть уже "Полное собрание сочинений Венгерова", Балтрушайтиса и, конечно, скоро будет Оль д'Ора. Мне "и подумать невозможно"... "Кабак самодержавный" царит в прессе, — и нет ему сопротивления. Посмотрим, посмотрим.

Академия наук (слышал) издает "классическое издание творений Добролюбова", и, конечно, там никто не заикнулся о классическом издании славянофилов. Каким образом кабак мог залиться и в правительственную Академию наук — непостижимо.

Впрочем, ведь у нас был же "пьяный бюджет", отчего же не быть "пьяной Академии". По-русски, — и с этой точки зрения мне даже нравится.

Когда-нибудь Академия соберется с разумом и издаст "Полное собрание стихотворений Баркова".

∞

Несчастливая сторона славянофилов заключается в том, что они все как-то скучно писали. Не скучно — а томительно, однообразно, монотонно. Без шутки, искры, огня и удачи. Есть что-то "несчастное", что "тащится" во всех сочинениях славянофилов: и об "издании полного собрания их сочинений" (*corpus slowenophilorum* — мечтал я еще студентом) действительно страшно подумать, хотя это и украсило бы чрезвычайно полки библиотек. Действительно:

Киреевский
Хомяков
Константин Аксаков
Иван Сергеевич Аксаков
Сергей Т. Аксаков
Гиляров-Платонов (Н. П.)
Н. Н. Страхов

Н. Я. Данилевский
С. А. Рачинский
К. Победоносцев
М. Катков.

Кажется — еще Кошелев.

Из поэтов:

Тютчев.

Да, еще забыл:

К. Леонтьев.

Это, действительно, "стая славных"... Скучновато. Все очень серьезно. "Доказывают". Нигде не смеются. Нет улыбки. Еще

П. Флоренский

С. Цветков.

И еще, еще:

кн. Одоевский.

Конечно, это — громада и не чета, в сущности, легкомысленным

Белинский

Герцен

Добролюбов

Чернышевский

Писарев

Зайцев

Михайловский

Скабичевский

Лесевич.

Что же это такое: ни одного имени. Из талантов — только Герцен, и "с добродетелью" только Добролюбов.

Но если когда-то было сказано, что "славянофильство умерло", то, оглядываясь и следя линию *нисхождения*, не скажем ли, что "западничество действительно умерло", так как ведь совсем нет его представителей. Что это? Что за симптом. Что за показатель?..

В "правом лагере" все-таки есть Флоренский, Цветков, Дурылин, Розанов. Здесь есть рвение, есть порыв, мысль, образование. Славянофильство никак не "умерло": ибо молодым московским нет и 30 и никому — 40 лет. При такой уже зрелости и образовании. Мне кажется совершенно ясно, что мы стоим именно накануне победы славянофилов, притом резкой, яркой, решительной. Нельзя же сравнивать "Сочинения Пешехонова" с "сочинениями Флоренского"; нельзя сравнивать "Труды Оль д'Ора" с изданием "Ночей кн. Одоевского" — Цветкова.

Не могу не привести надписи на "Ночах", какую он прислал на обложке чуть ли не первого полученного экземпляра:

(списать надпись Цветкова с "Ночей" кн. Одоевского) <не списано>.

Неужели это не изящно, не умно. Неужели это "На очередные темы" Пешехонова или Мякотина?

Левый лагерь как-то смешался с жидками и затопился с жидками. Мне смешно читать в "Русск. Богатстве", что, тогда как имя Христа там совершенно изгнано, и "И. Христос" за все 20 лет ни разу не произнесено в журнале, — имя "Иегова" так и бегаёт по повестушкам, если еще не в "серьезном отделе" журнала, публицистике и критике. Иегова, как

и подобает еврейскому зайцу, проехал "под лавкой" из Шклова, долго сидел смиренно в кабинете Михайловского и все смотрел ему "в глазки": а когда Михайловский умер, — вышел, расстегнулся и сел на его место. Но только бедные наши радикалы не замечают, что когда смешались с жидками и "приняли Игову", то русские в стороне сказали про себя:

— Э... дело не в рабочем пролетариате и не в крестьянине, а в банкире и его хороших завтраках.

Завтракать ведь умеет и Пешехонов. Пешехонов завтракает у Короленки, Короленко — у Горнфельда, Горнфельд — вместе с уездным врачом Шингаревым — ездят оба и обедают у просвещенного и православного Утина, который, однако, есть уже и банкир и обедает уже у совершенно некрещеных Ротштейна и прочее. "Репка за репку", "бабка за бабку" — "потянем и вытянем".

Но я думаю, "не вытянут" и еврейская бечёвочка оборвется.

* * *

17.VI.1914

Но не это, впрочем, *главное*, что я хочу сказать рассказом о Пирожкове. Мне нет-нет и мерцало в уме вопросом: отчего он так меня возненавидел (отказался написать фамилию поперек марок), когда я неизменно ему доверял (до отказа Варе, после чего стал сомневаться), но и не тревожил его, только спрашивал по полугодиям: "не может ли уплатить". И не сделал ему не только жестокого, но и неделикатного. "Не было простого жеста", "мины недовольства".

Его, и эту его странную походку на Невском, и весь тогда ужасный вид (он шел с видом, как всех обокрал тут, на Невском) — я связываю мысленно с психологиею особенного ненавистия России революционеру-офицеру. Есть раненые на войне и которым дали мало пенсии, есть отставные старые чиновники, задыхающиеся в нужде, — мало ли есть "обиженных" так или иначе на Руси. Но все они в службе, в работе "что-то сделать для России". Кусочек работы их, ниточка, паутинка работы — одна песчинка — но она лежит в России. Таким образом, они тельно и кровно соединены с Россией, и не только, в них течет "кровь России", но, что особенно важно и ценно, — в России струится частица их крови. И вот они — ропщут, жалуются, — *на определенное начальство*, *на поступок с собою*, на что-то конкретное: но *ненавистия России* нет у них...

Ее "всей от макушки до пяток". Вот как у Пирожкова тогда на меня. И — как у революционеров — России.

И мне казалось, когда я припоминал потом Пирожкова на Невском, — что видел революционера. Что я отгадал тайну революционера и революционности. Они не дали своей капли в обращение соков России. Скажите, чем поработал помещик Бакунин России? "Ни капельки". Родичев, Петрункевич, Герцен? "Ни капельки". А люди со способностями. И тем, что, "способные к работе, — они не работали", они уже раньше своей революции из нее тащили ниточки — и съедали. Они съедали кусочки России, как Пирожков наше имущество. И возненавидели ее, *именно за грех свой* тою особою и ни с чем не сравнимою лютостью, как Пирожков тогда нас всех (обобранных писателей, — их было несколько).

Революционеры, раньше чем им "пришла революция на ум", уже Россию обирали, объедали и разоряли. Все это "клатлось в мешок души" какой-то особенно черной, какой-то особенно скрытой, на самом дне их индивидуального бытия. "Это из тех личных тайн, которые никому не рассказываются". Да ничего и не было там сознательного, а — черное кипение. Кипение каких-то чувств, каких-то обрывков чувств и обрывков мыслей. "Суть в том, что я ничего не делаю, а как-то живу, и притом хорошо живу". Нечестный счетчик безумно ненавидит счета, — и никогда не разберется в своих "счетах с родиной". "Я вообще пропал как человек на этом книгоиздательстве: а потому виноват Розанов". "Розанов" виноват "в моей гибели", хотя суть в том, что он просто нечестно издавал (удвоенно, утроенно против договора издавал, — и обанкротился на счетах типографии и за бумагу). Так, Бакунин: "Помещики действительно были отвратительны, п. ч. Бакунин не работал на земле": но у него оборотилось это в мысль: "Какое же проклятое это правительство, — вообще весь наличный строй общества, — позволяющий тунеядствовать мне и множеству наших людей, как я, живя на счет труда крестьян и вообще рабочих".

Но вместо:

— Долой Бакунина!

Он воскликнул:

— Долой Россию!

Как наш издатель:

— Я мошенничал. И в России вообще легко мошенничать. Суд не судит, а администрация спит.

Но вместо этого он сказал и всеми поступками поступил совсем другое:

— Пусть же все эти писатели, у которых я обобрал сочинения... да и не одни они, а вся Россия, — обанкротятся, разорятся и полетят пухом по ветру...

* * *

18.VI.1914

Механизм притеснения литературы один: сжатие рынка, отогнание читателя, а для этого — опозорение имени. Или — глухое невнимание: "Забыли вас". Ну, а читатель помнит только того, о ком мы ему "напомним". Это знает линия газет и журналов и "не напоминает".

Нельзя забыть Митюрникова, года 2 назад: опершись крепкими жирными пальцами о прилавок и выставив свои усы самодовольного кота вперед, он сказал мне:

— Общественное мнение России, конечно, *зависит от нас* (книготорговцев).

— Как, — удивился я.

— Русский читатель ленивый и берет ту книгу, какую мы ему показываем, сопровождая несколькими лестными словами о книге.

Какими, — он не сказал, но я думаю: "вот книга делает шум", "вот берется *нарасхват*"... "очень остра", "очень пикантна", "не сегодня-завтра *будет арестована*", — за опасность для правительства или за порнографию — все равно.

Тогда наш Добчинский (98% читающих и образованных), пугаясь "отстать от века", вынимает кошелек и покупает. Это единственное средство, т. е. удачное восклицание книготорговца, урвать у "читателя" 2 р. в пользу книги, а не в пользу портвейна.

Все остальное берет винная лавка и модный магазин.

Так-то поживает Русь, переворачиваясь с боку на бок.

А в самом деле, просто, м. б., для нас еще не наступило время грамотности. Школ понаоткрывали много (довольно много): но ведь секрет не в "построить здание" с вывеской "школа", а чтобы захотелось учиться.

Вот учиться-то и не хочется...

Не хочется читать...

Не хочется открыть книги.



Жалуются, что "печать замалчивает". Да разве это возможно было бы в обществе, у которого пробудилась жажда чтения. Критики и журналы давно знают то, о чем мне сказал Митюрников: что читатель "едва раскрывает рот", да и то если в зубы ему всунешь долото и это долото повернешь. Тогда губы губошлепа немного откроются и он пропустит в себя несколько капель влаги...

Большую частью "пропускает", если от влаги водкой пахнет (кабак литературы). Тогда он, приговаривая:

— Наше безобразное правительство, —

еще хлебнет разок-два, однако не больше.

— Школ напрасно совершенно построили много.

"Не хочется учиться". Просто — не пришел век. "Век разума", как классифицирует Дрэпер. Вот пришлось и Дрэпера вспомнить, который всегда казался таким недалеким.

Нужда скачет,
Нужда пляшет,
Нужда песенки поет.

Плохие песенки.

(За счетами о книгах; нынешний год больше 2000 чистого убытка)

* * *

23.VI.1914

От мужчин, которые почти одни учено и административно имеют дело с проституцией, скрыта одна особенность ее, которая почти вполне объясняет происхождение проституции.

Конечно, как люди науки и государственного управления, они не обратили внимания на один "суеверный" (для них) и священный (для нас) рассказ с изложением последовательности в сотворении мужской и женской половин человеческого рода и с указанием мотива сотворения женщины.

"Сотворение человека" выразилось в сотворении одного "Адама" (Библия. Бытие).

Без женщины.

И когда "человек" был сотворен, полный и окончательный:

То уже потом как "венец" всего в удовлетворение одной и специальной его потребности сотворена женщина.

В которой, по мысли Божией, ясно выраженной в сотворении мира, — и не было бы нужды, если бы не "эта потребность" мужчины.

Теперь обратите внимание на разницу пола у мужчины и женщины. Бытие секты скопцов, как и евнухи Востока, указуют, что у мужчины могут быть вовсе отняты половые органы, и в совокупляющейся, и в плодотворной частях, без того чтобы разрушился или даже очень значительно потрясся весь организм. Так. обр., мужчина может "без пола". И пол "на нем сидит" как бы его брат или друг, без того чтобы, указав на него, мужчина мог сказать: "Вот я". Я мужчины в голове, в уме, в душе; в последнем анализе и великолепнее всего — в деятельности. Указав на историю, от Геродота до Ключевского, мужчина может сказать: "Вот я" или "вот где я".

Чего женщине никак не удастся сказать. История ей не принадлежит.

Она может сказать, только указав на лоно: "Вот я", "вот где я".

Обратим внимание: в то время как у мужчины *есть* пол, он *имеет* пол, — женщина *вся есть* пол.

Мужчина сух, костляв, силен. Это деятель.

Но уже шея и щеки женщины начинают какую-то тайну прелести в себе. Грудная клетка и груди художественно, физиологически, мистически господствуют над нею. Узенькая талья как бы соединяет верхнюю прелестную и питающую ее половину с нижнею и существенною: здесь — живот, и именно растущий, увеличивающийся, беременный, как "фазы луны", составляет фокус всего, что очевидно без всяких доказательств.

Что же вы тут "оскопите", "отнимете"? Вы зачеркнете при этом женщину.

Но евнухи и скопцы не зачеркнуты: у византийцев они были министрами, у нас — мануфактуристы-миллионеры.

Но женщина без груди, без матки и, наконец, с оторванной ... Фи! Невозможно, нет!

Просто этого — *нет*.

Это и передает весь рассказ Библии или, пожалуй, рассказ Библии концентрирует в себе факт природы:

Женщина — для совокупления, беременности и родов.



Переходим к проституции. Законодатели и юристы, медики и ученые, как и все простецы и вообще "все прочие", берут проститутку "на ходу", пользуются проституциею "от нечего делать", "для удовольствия", балуются, — и вообще для них это *не дело*. "Дело мое в департаменте, а после департамента я могу сходить к проститутке".

Но проститутки, как и все женщины, идут от Евы, и у них "департамент", как *решительно у всех женщин*, помещается в спальне... В спальне и ее окружении. Колыбель, дети.

"Я не оскоплена", и "меня оскопить даже нельзя".

Мужчина "на ходу"...

Но женщина — "в службе", "должности".

Для мужчины ее состояние (проститутки) представляется ужасно странным, страдальческим, неестественным и "выведенным из равновесия".

Для нее...

Но я лучше скажу ответ одной проститутки мне: из Ломжинской губернии, полька, католичка, посылает маленькие деньжонки домой, хотя родители владеют клочком земли и мельницей:

— Сперва я занималась этим в Вильне, — но там *мало народа*, и я перебралась в Москву.

Лет 24-х: *в Вильне мало было для нее народа!!!*

Затем: где проститутки — неперенный смех, шутки, игры, шалости. Никогда — уныние, скорби. Вероятно, никто не видал проститутку грустящей, меланхоличной. Это — всеобщее.

Всегда перед выходом наряжаются, как идут в праздник. Можно бы сказать "для успеха" и "заработка": но другой тон и другой размах наряда. Все тратят, последнее тратят, чтобы быть нарядною. Нет, мотив другой. Уже старая Нозминь, посылая собственно на проституционный поступок свою невестку Руфь, говорит:

— К вечеру ты *приоденься, украсься*: и, заметив, где лег спать Вооз, — пойди и ляг у него *в ногах*. Он тебе сделает, что нужно.

В мысли Нозмини (как можно догадываться) было то: раз сделает случайно, усталый и после работы; ты понравишься ему, и он еще позовет тебя. И ты будешь его возлюбленной или женой (в ту пору это не представляло разницы).

Руфь вышла в жену. Из простой посылки свекрови — пошла, принарядившись, "угодить господину своему, далекому родственнику и богатому человеку".

Дело в том, что в проституцию, — что так непонятно для мужчин и совершенно не видно мужчинам, — входит тайна сотворения женщины именно "для этого", что заполняет "всю ее сферу" и есть у нее "не на ходу", а "самый центр всего". Женщины (частично) восторженно идут в проституцию, не говоря о том, что ни которая не идет уныло. Как-то в "Нов. Вр." (магазин) мне попалась брошюра: какое-то исповедание курсистки — не то философия, не то дневник. На обложке написано: "курсистки" и инициалы. Все изложение сумбурно: стоила она копеек 15, и я купил ее ради *документа* — строки в ней: "Я хочу быть проституткой". Согласитесь, что это выразительно, согласитесь, что это необыкновенно. Мне пришлось, в связи со статьями о разводе и незаконных детях, — выслушать ауторассказы девушек и рассказы мужей о женах, из которых явствовало, что совершенно обеспеченные, почти богатые барышни, с высоким и художественным образованием, как равно обеспеченные замужние женщины, — тайно предаются проституции. Суворин (старик) мне передавал, что многие замужние женщины тайно проституируют. Очевидно, тут не скорбь и не нужда. "Образованных вообще немного среди 140 000 000 населения". И из 140 000 000, очевидно, выделились в проститутки те тысячи или десятки тысяч,

которые этому отдаются вовсе не "по тесноте условий жизни", а по вложенному от природы призванию.

Без которого, — если его нет, — девушка предпочтет быть сожженной, утопится, удавится, а "не выйдет на улицу"...

Но те девушки, которые не связаны любовью, которые не питают грезы "семьи", "своего дома", которым семья и не обещается по всему сложению жизни, — равно как замужние женщины с охладевшею уже любовью к мужу, следуют все же центростремительности своей натуры, и как бы неся память "о создании себя для этого", — выходят и покорно, и счастливо. Именно *служебно*, "как рабы господина своего" (Адама), чтобы, подобно общей своей прародительнице, удовлетворить специальную нужду другой ли господственной части человечества. Для мужчин это странно, ибо он "не служебен". Он "служебен" в другом, в департаменте, в полку, на фабрике, в ремесле. Заметьте, каждый "богач" все равно хочет "служить", — быть подчиненным, зависимым, слушать команду и все-таки "служить". "Богат и независим, но служу и счастлив". Женщина — "не у дел". Она знает свое тайное "дело" — одно. И исполняет его радостно и в наряде, как выходя "в праздник": совершенно как мы, мужчины, "поступая на службу" и "просясь на службу".

Она рассуждает или смутно сознает (от Евы):

Им — "нужно"; кому, как, почему — "мне ли темной разобрать"...

И на нас, всех женщин, сколько есть сущих на земле, природа и Бог возложили судьбу удовлетворить эту *их* нужду... "*Сижу я дома* — и ничего не исполняю. Не исполняю назначения (*ради коего специально создана была*) — Евы. Все мои дела, работы, шитье, разговоры, чтение книг — не главное и, в сущности, есть *моя* забава или *моя* нужда. Все "мое". Но я — мирская, мировая, я — в обращении светил небесных, с роком и судьбою, со своим местом на страницах Иловайского.

Это место — одно...

И она выходит на улицу. "Не всё (муж, семья, дети), так дробь". Не "до 100 считаю, а только до 10-ти". "Малограмотна".

Но все-таки не "безграмотна", каково "полное отсутствие счета", каково "сiju дома".

И она выходит.

Она поет песню и выходит.

Она убирает волосы и выходит.

* * *

24.VI.1914

Что же, наши грамотеи "переоценят все ценности".

Незабываемое впечатление.

В 1906 г. ко мне входит крестьянин Подольской губернии. Встаю неохотно навстречу. "Зачем?" — "Поговорить". — "Откуда?" — "Из Подольской губернии". — "Как урожай?" — Заминается. — "Земля есть". — "Пашем". — "Кто?" — "Жена, да братья, да дядя". Не помню точно, только "свой", и вот он попал в Петербург.

Огромного роста, четверо меня больше. И говорит. Что бы вы думали? "Так как таперича совсем другое время и старыми сказками довольствоваться не приходится..."

— Почему не приходится? Какими сказками? — Опешил. Оправился. И говорит: "Однаже же совсем другое время. Пошел вопрос о переоценке всех ценностей". И что-то из Ницше в перевираии "Копейки".

Я разволновался, встав, едва дал ему руку и говорю: "Уходите! уходите! уходите! что вам за дело до переоценок ценностей. У вас такое прекрасное дело: дети, жена, земля. А вы зачем-то приехали в Петербург. Вы не имеете права оставлять землю свою и своих (родных)". И еще не помню...

В основе лежит пошлое и подлое, — как и у декабристов: "Дайте мне побыть генералом". "Дайте мне посудить мир с высоты моего носового платка.

Не воображайте: такие-то люди и делают нашу историю.

Вот уже Каблуков разрушил церковь, и Владимир Набоков с Б. Морской, № 30, потребовал выхода в отставку всего правительства. Ибо, заеда килькой рюмку портвейна, вспомнил о "разделении властей, по Монтескье" и что "законодательная власть, вероятно, выше исполнительной".

Такой сочный молодой человек. Он был совсем сочный, когда произносил речь. Я его слушал и (был такой идиот) неистово аплодировал в правой ложе журналистов. Горемыкин, говоривший перед ним, скромно промолчал.

Потом всех этих уродов прогнали.

* * *

25.VI.1914

Нужен талант не только на то, чтобы выбрать, *на что посмотреть*, *что не упустить из внимания*; но он нужен, этот талант, чтобы и знать, *"на что я не должен смотреть"*.

Когда случилось крушение в Борках 17 октября (царского поезда, где едва не погибла семья Александра III), то был уволен министр путей сообщения адмирал Посьет. И после увольнения его говорили: "Он был *очень хороший человек*, и государи Александр II и Александр III — *его очень любили*. Всегда, бывало, куда он ни приедет (обзоры своего Ведомства, ревизии своего Ведомства), — *первым делом он входит в дома чернорабочих* и осматривает их жилищную нужду, как они живут и проч.". Недоговаривали, но разумелось: "*Такой милосердный*".

Революционеришки-негодяи, конечно, изъяснят исторично, что это он входил, "как барин и аристократ", порадоваться "унижению рабов". Но оставим сих русских историков и теоретиков и обратимся к серьезному. У Государей наших, — как истинных урожденных царей, — всегда было это предпочтение *доброто человека* в службе, *доброто человека* в помощниках себе, — решительно *всякому другому*. На этом основано, что был "осыпан милостями" Делянов, этот добродушный и хитрый старик, служивший в Петербурге с тем умом и тактом и пониманием, как бы он служил в Персеполе или Ниневии царям Ниневийским и Персидским.

Прекрасная легенда нашей истории. Оставим.

Когда я выслушал о Посъете, я рассмеялся в душе своей: "Да он должен был не богоугодничать, как Земляника у Гоголя, — а *смотреть за дорогами*".

Дороги же у нас, как известно, ходили тихо: верст по 30—20 в час (сутки от Москвы до Петербурга), останавливаясь "при губернских городах" по 30 минут и на больших буфетах минут по 20 и 15. "Куда!"

Вообще мы ездили по железным дорогам, как на старых тройках, — чуть-чуть скорее. И в вагонах, напр., для сна — никаких приспособлений. Нельзя вытянуть ноги, ибо лавочки направо и налево пополам (вместо соединения очень длинных и очень коротеньких, как теперь). Это мука спать ночью на таких коротеньких — была ни с чем не сравнима!

Казна приплачивала сотню миллионов на "гарантии"...

Да: но зато у рабочих были хорошие жилища. И выходило, что железные дороги были изобретены не для скорости езды, но чтобы множился русский хорошо обеспеченный рабочий люд. "Известно, эпоха Некрасова". Некрасова, уверяю вас, — Некрасова и Щедрина, — министры почитывали не с меньшими слезами умиления, чем и гимназисты.

Все это мне представлялось глупо и пошло. "Министр должен *смотреть дороги*".

И вот дней 5 назад артиллерийский (прелестный) офицер мне сказал: — Он (командир округа) *смотрит солдата только в поле и ни разу не вошел в казарму*.

Он передал это как величайшую, удивлявшую и восхищавшую его *чистоту службы*.

Конечно!!!

Эврика!!!

Это есть "А" службы: *смотреть одну суть*...

Командир округа и уже даже командир полка готовит солдат *к бою* и ни на что не должен отвлекаться сам, как и ни на что не должен указывать подчиненным как на предмет перед собою, *выслуги*, кроме *готовности солдата к бою* и *уменья их повести бой*:

- 1) как *попаданье в цель*?
- 2) *умелость определить дальность цели*?
- 3) как *окопаться*?
- 4) как *рассыпаться* перед залпом врага? перед колонной врага? перед артиллерией? перед кавалерией?
- 5) как поступить в тысяче случаев? *находчивость солдата? изобретательность солдата?*

"Шевели мозгами, ногами-руками".

"Спасай себя". "Вреди врагу".

У нас же в 1000 случаев *смотрят*:

- 1) *Накормлен ли он?*
- 2) *Обут? Одет? Жилище?*
- 3) *Справедливость суда над ними?*

И уже в заключение всего делают "смотр службы" этим пенсионерам Военной богадельни, Путевой богадельни, Департаментской богадельни, Министерской богадельни.

Везде Богадельня, и вся Россия есть или сделалась одной Богадельней, где "милостивое начальство" почему-то кормит тысячи и миллионы туземцев.

"Служба плоха, но зато капитан батальона добрый, прекрасный человек, *отлично кормит солдат*". И, "пожурив" за плохую службу, он оставляется до следующей ревизии развращать батальон.

Смотрение *не на главное дело* всегда дает возможность оправдаться через *побочные дела*. Зато если главноначальствующий вовсе не смотрит на побочные дела, то *служба и получается чистенькой*: командир полка, батальона, дивизии, корпуса, директор департамента и министр своего министерства оправдываются через *действительную службу* своей чести...

У нас все, собственно, "не на действительной службе".

Пенсионеры, тюфяки и туеядцы.

Теперь, кажется, все это "подтягивается", но до моего выхода в отставку (1897 г.) все решительно затянуло "туеядцем". "Служить хорошо" даже казалось каким-то неприличием: товарищи неизменно усматривали в этом проницательство, карьеризм и желание выслужиться перед "начальством". Убийственная аттестация для чиновника.

Нельзя не сознаться, что "ответственность перед Думой", право "запросов", свобода обличающей печати — все это "подтянула".

Но, однако же, "еда" и "сапоги" для армии?

Конечно, без этого *не бывает победы*. Кто работает и служит, должен быть превосходно накормлен. А чиновник должен получать отличное жалованье.

Тут два *nota bene*.

Главнокомандующий или министр, вмешиваясь *лично* в эти низшие ярусы службы, внес бы сюда именно "подслуживанье" (министру, генералу), интриги, путаницу, наговоры, сплетни. "Кто сказал министру в ушко"... Эти низшие ярусы должны быть поставлены автономно, с самой слабой связью с главноуправляющим. Но, однако, связь, через ниточку, должна быть. Командир военного округа, конечно, должен быть уверен, что во всем его округе солдат отлично кормят.

Как?

Послать *отужинать* своего адъютанта туда-то и туда-то...

Мож. быть, это неудачно. "Адъютант может быть подкуплен". Тут вообще может быть придумано тысячи средств, — это вопрос техники надзора. "Как придумать устроить выключатель при электрическом освещении" — это не дело изобретателя электрического освещения, а дело общих курсов физики.

Должны быть и "общие курсы администрации", разрабатывающие приемы службы, приемы проверки, приемы наблюдения и проч.

Но вообще — суть дела! суть дела! фронт службы! фронт службы!

"Наметьте центр", а периферия "сама выйдет".

Рухлов (пути сообщения) наметил себе:

1) Быстрота движения. Поезды стали ходить по 60 верст в час. *Вдвое*. Теперь поезд от Москвы до Петербурга бежит 12 часов.

2) Железные дороги — не кормежка, а езда. К черту "20-минутные остановки". *Скорые поезда* останавливаются только на крупных станци-

ях, пропуская из 5 целых 4 (полустанки и вообще мелочь). Мчатся прямо к конечным пунктам: "из Петербурга в Одессу". Скорей, скорей — в Одессу. "Без внимания к остальному".

3) Доходность. У нас было до того дошло, что извозчик с лошадежкой выработывает хоть 20 коп. *чистого барыша* в день, а все железные дороги работали в *чистый убыток!!!*

"Просто — благотворительность населению Российской Империи". "Казна — богатая, она свезет и даром". Он это неприличие уничтожил.

4) Удобство пассажиров: "спальные места", откидные спинки сидений, поднимающиеся на ночь — даже в 3-м классе.

Вот чему научают "Посыет" и "Рухлов".

У Ай. много певучего начала. Но это не птичка, а виола-граммофон. В конце концов и не мудрец, и не певец, а хорошая подделка "под художника".

Но я представляю себе, что и Иванов-Разумник, и Сакулин завидуют его заглавию "Силуэты русской литературы". — "Черт не догадал меня раньше взять. Теперь уже нельзя. Будет плагиат". И эта здоровая зависть семинариста мне кажется хорошей, ибо она нравственна. "У него подрысник длиннее, и притом с крестиками. А у меня крестиков нет". Это хорошо, ибо обыкновенно и по-земному.

"По-земному" всегда хорошо. "На земле и грязь хороша, потому что *наша*".

Но только напрасно Иванов-Разумник завидует "Силуэтам". В заглавии "Силуэты русской литературы" есть нечто для русского уха и для гаммы русской души, нестерпимое. Это астраханский "рахат-лукум", приготовленный в парижской кондитерской и который весь запылится, пока его везли через Германию. В Петербурге он только и может нравиться тем, кто поучился в семинарии и раньше, кроме кислых шей с кашей, ничего не ел. Сакулину и Иванову-Разумнику.

Меня поражает, каким образом после зрелости и простоты Пушкина можно давать такие à la "Громвал" Каменева заглавия, как эти "Силуэты" или еще "Критические сказки" (Чуковского). Это же безвкусица и психологическая неопрятность.

"Очерки русской литературы"...

"О русских писателях"...

"Личность в русской литературе"...

"Русские писатели как моральные и художественные личности"...

Но еврей непременно сядет на стул. Велит навести на себя фотографический аппарат. И спросит: "Все готово?" — обмакнет перо в чернильницу, примет "жертвенную позу" и начнет "выписывать" 101-й портрет трудолюбивой, прилежной, обдуманной и морально-торговой своей галереи.

Тут-то вот, господа, и вздохнешь о Скабичевском, Шелгунове и Цебриковой. Нет, напрасно, напрасно и уторопленно их похоронили.

— Воняло клопами. Их и вывели.

— Черти. Да вы, "выведа"-то, употребили уксусную кислоту, от которой совсем подыхаю.

* * *

26.VI.1914

— В горло не лезет.

— Что?

— Славянофильство.

— Черт его знает. Не то горло не годится, не то славянофильство.

(за чаем с земляничкой)

∞

Вот земляничка-ягодка хороша — так и в горло идет. О ней и песня:

Земляничка-ягодка
На полянке выросла.

.....
О славянофильстве песен не сложено.

* * *

26.VI.1914

"Музыка нашей поэзии в ноты свои любовно занесет его (Бальмонт) имя". Совсем рахат-лукум.

И Бальмонт, и Айхенвальд.

Айх., конечно, умен и талантлив (хотя о Леон. Андр. кончает просто Бурениным: "кончился, говорят, а мне кажется — и не начинался"), но аккуратненько пригибает себя к либерализму, — и это так скучно.

∞

У него рот сочный, а душа сухая. У него рот только и поет, а душа вовсе не поет.

(Бал.)

* * *

26.VI.1914

Мне кажется, тому, кто не любит никакого человека, — жить очень страшно.

Мне кажется — это страшнее всего на свете.

Любовь есть действительно свет души.

Без любви — мрак. Преисподняя.

И без любви живущие люди уже на сем свете томятся в Преисподней.

У, как это ужасно.

∞

Удивительная вещь: со 2-го курса университета я уже был непрерывно религиозен (и никогда не колебался). Но от разных недоумений и коллизий жизни — роптал, и ропот доходил до кощунства, временами — до богохульства и "восстания". Но поразительно, что никогда при этом у меня не было сознания от этого вины, горечи, страха, тоски. Я всегда "весело бунтовал" (в отчаянии) с этой твердой мыслью: "Ты знаешь, отчего я бунтую — и знаешь, что я прав: Ты

— Справедливый и потому не смеешь рассердиться. Поэтому никогда робости в дурных мыслях против Бога у меня не было. И оттого, что не был никогда "убивающим Авеля".

Ужасная история. Какой ужас поместить ее при начале истории человечества. Когда, казалось бы, "одни цветочки"... Нет, Библия, этот страшный Ветхий Завет, с таким "размножением", — далека от оптимизма...

Продолжаю:

Так, будучи "неосторожен" около Бога, — я испытывал ужас при мысли "повредить человеку" страшно и *есть*.

Мне кажется, вот когда бы я "смяк", и "убоялся", и... спрятался... и, в сущности, повесился.

Отчего же это *так*?

Бог бесконечен и что Ему мои "бунты"? Не обратит даже и внимания. "Наш Бог есть *Вели* — творяй чудеса". Могу ли я *обидеть* Бога? И я прямо "ругался" (в душе), зная, что "ничего Ему от этого не будет". Но человек?

И я трепетал. *Человеку больно. Человек заплачет. Человек от злобы моей м. б. несчастен: а он один раз живет на земле и должен быть счастлив.* И я отниму у него счастье, испорчу минуту его на земле.

При этом у меня твердая была вера, что Бог, который мне все простит за себя, — ничего не простит за человека.

Бог как бы говорит, мне, нам, всем: "Ты слишком глуп, чтобы Меня понять. И слишком неразумен, чтобы Мне уметь служить. И самая служба и все добродетели (оттого я и не старался быть добродетелен) твои слишком малы, чтобы быть "чем-нибудь для Меня". Но вот около тебя я поместил такого же, как ты, которого ты уже можешь понять; и с ним делать хорошо или худо. Вообще это область твоих действий и жизни, "удел твой" (собственность и вместе *fatum*). И я посмотрю..."

Вот.

И тут я испытал страх.

Удивительно чувство мое к Богу: Я Его действительно люблю и действительно не боюсь. Я его люблю больше всего и меньше всего боюсь. Удивительно и странно.

Но "без Бога" я сейчас бы умер. Не захотел жить. "Бог есть питание мое: Богом я питаюсь". И умер бы в голодной тоске.

* * *

27. VI. 1914

Хочу быть дерзким,
Хочу быть смелым.

Господи: да он постоянно пьян, так отчего же не исполниться его "хочу". Всеконечно и исполняется.

(у Айхенвальда на стр. 167) (Бальмонт)

27. VI. 1914

...да еще стоит ли писать "Критику чистого разума"?

Это разделение на главы... "Отдел" и "подотделы". "О феноменальности всякого бытия" и о "действительности феноменов" (или наоборот). Нет, немцы просто любят потеть. Надеть ватный халат и в нем потеть, как русские "на полке" (в бане). Но я предпочитаю русский способ: просто раздеться и лечь на полку. Это по крайней мере красиво и по-гречески, а от "Критики чистого разума" пахнет сельдями немецкого моря.

.....

Притом ведь Кант все равно потом умер.

(иду с купанья)

* * *

28. VI. 1914

И все-таки на конце всего скажешь:

Бедный Герцен.

.....
Я его не любил, не люблю. Не уважал, не уважаю. Он чужой мне. Может быть, если бы *где-нибудь* у него не хватало таланта, я уже любил бы его. Но он был "счастлив, как бог", а боги мне вообще противны. Так. И не могу забыть его. И где-то на далеком-далеком горизонте всегда будет облачко: "грусть о Герцене".

(в купальне, Луга)

* * *

29. VI. 1914

"Сопоставление Карамзина с Наполеоном внушает мысль о комичности" (Айхенвальд).

Карамзин, между прочим, написал: "Сей изверг, *миру в казнь рожденный*", каковую строчку (подчеркнутое место ее) Тэн развил в целый том "Характеристика Наполеона". Но оставим это...

Для еврея (Айх.), для которого существуют только эффекты истории без интереса к судьбам ее и к *боли народов*, — конечно, "комично сопоставить Карамзина и Наполеона". Ведь Наполеон мог бы возвести в графское достоинство Айхенвальда, между тем как Карамзин никогда не счел бы его даже порядочным писателем. Между тем с точки зрения *болей человечества* еще сомнительно, что выше, Карамзин или Наполеон.

На памяти Карамзина ни одного темного пятна. Он весь *созидателен*, когда Наполеон есть только чудовищное разрушение, "Землетрясение Европы". "Труп" осталось после Наполеона больше, чем после Тамерлана, и "монархия Наполеона" не была прочнее "монархии Тамерлана". Карамзин тихим благословением благословил "в путь" русскую историю, только что начинавшуюся, — и не теперь если, то в будущем это благословение сыграет еще свою роль, получит значение свое, как оно уже получило это значение до прихода Гоголя.

Русские жили, после Карамзина, под действием мысли, что наша история величава и прекрасна. И тысячи, миллионы даже русских, эта мысль укрепила на героическое, лучшее. Нахимов, Корнилов, Истомин, Невельский не были бы, может быть, *такими*, если бы в юности и молодом возрасте они не мыслили о России "по Карамзину".

Итак, созидание... Карамзин был созидатель, и ни капли не было в нем разрушения (нигилизма). Русские (все наши милые министры нар. просвещения) не воспользовались и не разработали "память Карамзина" в то благотворное, действительное и воспитательное, во что бы можно и следовало разработать эту величавую память, — не сделали из нее "ангела-Хранителя" и руководителя русской школы, русских университетов, русской гимназии. Милым гимназистам они не дали "маленьких томиков удобного (портативного) Карамзина", по 40 коп. за том. Бог с ними. Идем дальше. Весь "строй русской литературы" был бы другой и худший, другой и недостаточный, без Карамзина. Карамзин дал прекрасную "обстановку для русской литературы", — и действие этой обстановки простирается даже до настоящего времени, уменьшая как-то значение и тяжесть всех этих Слепцовых, Левитовых, Решетниковых, Помяловских, обращая их в эпизод, а не сущность. Карамзина не читают. Но образ, но портрет его, такой "министерский" в прекрасном смысле.

— стоит вдали и грозит пальцем неосторожным, пьяным и распутным. "Берегитесь: вы — *российские писатели*".

Он напоминает, этот прекрасный и величавый портрет, — этот столь особливый в галерее русских писателей портрет, что хотя в России там и здесь разбросаны кабачки, но это лишь терпится "снисходительным начальством" и отнюдь не составляет и никогда не составит сути "Русской Державы". А она есть...

Поставленный "при исходе" русской литературы, этот "благословляющий портрет Карамзина" на веки вечные закрепил во всяком русском писателе мысль, — закрепил даже в проклинающем, в каком-нибудь Чернышевском или другом отравленном сотруднике "Современника", — что он "призван трудиться" на некотором славном поприще, что литература — это не случайность, каприз и анекдот, что мы все "связаны" долгом перед чем-то величавым и далеким будущим...

Без "мессианизма" (самое слово было неизвестно) Карамзин был чуть ли не первым русским "мессианистом". Он дал всем гипноз свой...

С тех пор все как будто слышишь колокол где-то... Все как будто мерещатся дворцы... И "Иоанны" и "Василии" устроят Русь...

И смягчишь в пере злое слово; смутиться "выругаться по-настоящему".

Еще Айхенвальд пишет, что он "не чувствовал души в человеке" и что эта "душа" появляется только у реалистов. Здесь опять он, как еврей, не понимает главного в Карамзине — его *государственность*.

Для Айхенвальда есть "Ванечки", "Иваны", "Ваньки", — с которыми он интимничает и вообще развивает "нравы нашей улицы" и, пожалуй, "быт нашего местечка". Но Карамзин... совсем не то.

И человечность его от этого не уменьшается, а, пожалуй, вырастает до высоты, куда не дано поднять головы Айхенвальду и вообще безгосударственным евреям. Они в государстве понимают только революцию, т. е. "не надо". Для Карамзина действительно "Ванечки" и "Ваньки" не существовало, ибо для него существовало серьезное и нормальное "Иван", с перекрещивающимися на нем нитями "обязанностей" и "прав". То, что показалось бездушным у Карамзина, на самом деле есть только возвышенный и обобщенный взгляд Карамзина на "человека и гражданина", на "народ и историю". Да: перед ним предстает панорама истории, ее движение, ее величие. Все то, что так исчезло и поблекло, так вылиняло и обездушилось для нашего времени, для несчастных людей нашего поколения, для которого есть только "Ваньки" и "Ванечки", есть рахат-лукум для мирного времени и бомбочка для "великой минуты"... Но Карамзин "великую минуту" представлял иначе: он представлял ее в созиданий, а не в разрушении.

* * *

29. VI. 1914

Как хорошо, что и Карамзин, и Жуковский срисовались на портретах с звездой (орденской). Это — идет и *нужно*. Есть что-то в двух этих писателях, и еще в Державине и Фон-Визине, — несравненно величавое. Они были именно *сотрудники царям* и украшением царства:

Будешь умы уловлять, *будешь сотрудник царям*.

Да. Я забыл еще упомянуть Ломоносова, который был даже "во главе" этого прекрасного явления. Оно вполне прекрасно, это явление. Прекрасно и величаво. Последними его отзвуками, замирающими, являются великолепный в своеобразии Погдин со своим "Древнехранилищем" и (цельной) "Историей России до монгольского ига" и Достоевский с его любовью к царям. "Мой государь есть мой Государь".

.....
Державные писатели...
.....

Но он явно кончился, этот императорский период литературы. В "последнегоголевский период русской словесности" туда нельзя было бы никого позвать и никого нельзя было позвать себе "в сотрудники". Кое-что было с Толстым и около Толстого, "проездом мимо Тулы", но "не вышло", — и не могло выйти по хитрому и уклончивому складу Толстого. "Служу только самому себе". Мы как-то с Перцовым (П. П.) говорили (в 1905 г.), "отчего бы не устроить, как в Веймаре" (Гёте и Шиллер). Потом я много смеялся своей этой (шиллеровщине). Недосчитались бы серебряных ложек (Н.), и загнул бы (Щ.) такой "рассказец потом", что никакими духами не нейтрализовали бы запаха.

Нет.

Разрыв между монархией и литературой произошел.

С тех пор, и все гуще и гуще, литература стала "петь" двух берлинских янкелей, Лассалья и Маркса. Литература русская от России совершенно отошла. Все *темы* собственно инородные.

Между тем Розанов, Флоренский и Рцы вполне чтут русского царя. Но мы "вне литературы". Ну, и пускай вне литературы. Мы такой литературе не нужны, и нам такая литература тоже не нужна.

Что же будет? Кто одолеет.

Ах, господа: будем спать. Будем спать, дремать, вытянем ножки и будем храпеть на подушке. Разве вы не знаете, что Бог бережет землю Русскую и что во время нашего сна и глубокой ночи

Белый Ангел тихо пролетит над Россией.

* * *

29. VI. 1914

"Евреи в русской литературе" сыграют свою роль, и они уже теперь запасливо и дальновидно готовятся к этой "роли". Много лет я наблюдаю, как издали, без знакомства личного и личных переговоров, без условливания и проч. в глубоком молчании, — они следят за литературною судьбою друг друга и берегут эту судьбу, "охорашивают" один другого, иногда (для вида) пренебрежительной рукой или порицательным тоном. Бог хранит, и не появился еще Гейне, — Гейне-Гоголь, — за которым, несомненно, все русские побежали бы и побегут (если случится). В живописи уже есть их Левитан и в скульптуре Антокольский и Гинсбург. Это уже близко к Гейне, — но эти области далеки от значительности и влияния литературы. Евреи поджидают именно Гейне, который не одною властью, но и талантом, даст им наступить на горло русской литературе. Это-то им и надо: ибо *тогда* только они скажут: "Россия совсем *наша*".

Но и "пока" — уже Венгеровых (Семена и Зинаиду), Слонимского, Айхенвальда, Гершензона и берлинского еврея Цетлина, основавшего книгоиздательскую фирму "Просвещение", купившую, между прочим, на 50 лет право издания всех сочинений Достоевского (проворонила Анна Григорьевна или польстилась — без нужды и тесноты — на капиталы), — из "истории русской литературы" уже не выкинешь...

Пока точки, пунктиры... Господи: неужели они сольются в черное крупное письмо:

ДУМАЮ и ПОВЕЛЕВАЮ.

Спаси, Господи, — спаси и сохрани свою Россию.

(на закате солнца)

30. VI. 1914

Не обижайте любовь...

Не тесните, не гоните ее, не подсматривайте за нею. Не клеветайте на нее.

Не сплетничайте о ней.

Родители, не обижайте любовь своих детей.

Общество: не обижайте любовь своих членов.

Господа: не обижайте любовь своей прислуги.

Начальство учебных заведений: не обижайте любовь учеников и учениц.

.....

Ах, как коротка жизнь. Как тяжела. Как скучна. Однообразна, томительна. Други мои: если это *так*, — а это несомненно *так*, — то неужели вы "в жесткой руке" сомнете почти единственный, во всяком случае — главный и всему живому дарованный цветок: любовь. Как страшно. Как горестно. О, разожмите, разожмите руку, выпустите. Пусть цветок и благоухает.

Берегите его. Целуйте его. С покрывалами (полотнищами) станьте около любви и закройте ее от осуждения злых.

И не подозревайте: "она будет *коротка*".

Не клеветайте: "она будет *неверна*".

Ничего не думайте: "как Господь устроит". Вы же берегите и берегите всякое "*есть*" любви.

(*"на сон грядущий"*)

1. VII. 1914

Мне хочется, для "обучения грамоте", показать писателям, во что обходится обывателю демонизм. И так как урок был бы неполон без демонического языка, то я позволю себе говорить смело, "как Заратустра". Оставляя маниловщину и наши кисельные берега. Вот Димитрий Сергеевич Мережковский насквозь пропитан ненавистью к пошлости, а южный русский писатель Шестов — "к мещанству и быту" и поклоняется "трагедии". Хорошо. Прекрасно. Понимаем. И предлагаем испытать.

"Язык Заратустры" не церемонится, и я прямо скажу, что Шестов страдает началом чохотки и он имеет семейный уют, — кажется негласный или не очень оглашенный. Не церемоньтесь, г.г. трагики, и позволите спросить, как бы заговорил и почувствовал Шестов, если бы врач ему сказал: "Кажется, переходит в *скоротечную*", — и тут как раз случилось бы две трагедии: капнуло бы серной кислотой в гнездышко, "замутилась любовь *с той стороны*" или с этой вдруг нахлынули бы "вешние воды" и в сердце очутились не одна, а *две* любви. А, Лев Шестов? Вы бы сказали: "Какие *гадосты*". Вы бы "трагедию" назвали непременно "гадостью", и вам нравится "трагедия" только в чужом доме, а у себя под боком вы вскочили бы с кровати, начали бегать из угла в угол и зажали бы голову.

А-а-а! Больно! Больно! Больно! Что делать???.
То и "делать": демонов не звать, а Богу молиться.

* * *

1. VII. 1914

Это все "наш Ванюха" прикидывается иностранцем, — и сапогами "бутылкой" шаркает по паркету: то "кооперация в Саксонии", то "забастовка берлинских трамваев" или "стачка углекопов в Вестфале". К тому же "Письмо" Белорусова из Парижа: как пляшут в монмартских кабачках.

Очень интересно пляшут. Но все-таки у вас сапоги-то бутылкой.

В журналах $\frac{9}{10}$ тем — нерусских и до России никакого отношения не имеющих.

.....
.....
Страна, покинутая ее жителями, — вот Россия.

.....
.....
И быстро бегает паук-жид: и раскидывает паутину в этой затхлои, сорной, с "вышибленными окнами" стране... Не торопись. Все равно успеешь. Не проснётся.

.....
.....
Как я уважаю наше правительство. Оно одно смотрит, делает и надеется. "Бездарное правительство": да, господа — вы бездарнее всякого правительства. Из вас никому "на службе" нельзя дать больше 25 целковых.

* * *

2. VII. 1914

Ковыряем в зубах и дожидаемся смены министров.

(Петрицев в "Русск. Бог." — "хроника внутренней жизни")

— Да зачем вам смена и кого посадить?

— Кого посадить — не знаем; и смена ни для чего. Но пока пищеварение, надо же, чтобы перед глазами что-нибудь мелькало.

— Для мелькания?

— Не для мелькания, а для пищеварения. Желудок действует правильнее. Лучше отделения желчи, приятно возбуждена нервная система.

И верится, и плачется,
И так легко, легко...

— Когда Столыпин и Коковцев садятся на место друг друга, а Стишинский и Горемыкин летят вовсе в отставку.

Если же застой, все сидят на местах, то мы можем выйти из себя и тогда...

— Тогда?

— Тогда мы побросаем зубочистки на пол. И когда мы побросаем зубочистки на пол, то посмотрим, что выйдет.

По мнению, напр., А. И. Шингарева, в ближайшем будущем — до наступления рассвета — предстоит дальнейшее сгущение тьмы:

Никакой надежды, — говорит он сотруднику (еврейской) "Речи", — на то, что власть поймет свои ошибки, я не питаю. Она не поймет их, потому что не желает понять. Предстоит дальнейшее расхождение между Государственной Думой и Правительством, неизбежно и обострение борьбы.

В. А. Маклаков держится того же взгляда в беседе с сотрудником "Голоса Москвы".

Он высказал, между прочим, такое соображение:

"Если меня спросят, чего я желаю Государственной Думе, я ответил бы: погибнуть с честью. Погибнуть все равно придется, ибо реакционные силы слишком сильны и самоуверенны, чтобы понять, чего будет стоить их победа. При этих условиях я и желаю Думе погибнуть, а не влачить бесплодное существование".

У прогрессиста А. И. Коновалова, бывшего товарища председателя Думы, "нет надежды" на изменение правительственной политики к лучшему: "конфликт будет расти и углубляться".

Левый октябрист бар. А. Ф. Мейендорф "не верит в ослабление реакционного курса".

"У меня, — говорит он сотруднику "Речи", — такое впечатление, что думские предостережения никакого впечатления на правительство не производят, — ибо все те, которые действуют наперекор этим предостережениям, считаются в высших кругах героями момента..."

Близкий к нему по убеждениям С. И. Шидловский сказал:

"Я потерял надежду на мирное нормальное развитие государственной жизни. Все, свидетелями чему мы являемся, дает пищу только скептицизму".

К "возможности перемены политического курса" г. Шидловский относится "очень скептически". А между тем при этом курсе "никакая органическая работа в Думе невозможна":

"Та декларативная работа, которою вынуждена была заниматься в последнее время Государственная Дума: служит определенным и ясным показателем глубокого расхождения с широкими общественными кругами. Политика правительства вызывает решительное осуждение даже в консервативно настроенных слоях общества. Но надо быть слепым, чтобы не видеть, что при таком состоянии государственной машины — законодательное творчество абсолютно немыслимо".

Пессимистически смотрит и октябрист-земец гр. Д. П. Капнист...

Одно утешение Петрищеву: вместо "Г. Дума" писать везде конституционное, настойчивое, полнобуквенное:

"Государственная Дума". Все-таки оппозиция и все-таки протест.

Но чего вам нужно, господа, для полного аппетита?

— Ах, если бы нам да под доски всех этих князей и "сферы", и "высшие круги"... Как после битвы на реке Калке — у татар. Тогда бы мы победили.

Что же такое *уныние*, когда? В *июльской* книжке 914 г. после рескрипта Государя на имя Горемыкина — о вторичном предложении Г. Думе рассмотреть законопроект о городовом положении для Польши, о повороте финансовой политики против пьянства, о заступничестве за леса и вообще за естественные богатства России от анонимных еврейских акционерных компаний.

Нет, Петрищев. — Нет, "Русск. Богатство": не благосостояния России тебе нужно, не цвета народа, — не вздоха облегчения для народа: А чтобы "похрустели под нами княжеские косточки".

И всего — татарин.

И всего — XIII век.

* * *

3. VII. 1914

Еврей, как и удав, — прежде чем проглотить козленка — облизывает его.

(еврейская лезть)

* * *

3. VII. 1914

Жажда самоуничтожения — вот чем кипит Россия.

Сладкое — "не быть".

(нигилизм, триумф Маркса и Лассалля)

Что же, господа: и не будете.

Мне только смешно: о чем плачет Розанов. "Все по-нему". Ведь он и желает *им* "не быть"...

Что же? О чем ты, чудак?

(за набивкой табаку)

* * *

3. VII. 1914

Почему я люблю так детство? Я безумно люблю его, мое страдальческое детство.

* * *

3. VII. 1914

— Пониже поклонись — побольше получишь.

— Это мудрость Востока, принесенная к нам евреями и затем привившаяся в Византии и принятая Великим Православием России, но не переступившая за Вислу.

Эйдукунен — и "стоп". Там рыцари, гордость, папство, дворянство и "Генеральные штаты". Это — совсем не Восток.

"Восток" и характеризуется рабом, поклоняющимся господину своему и получающему от него подачку. Иногда это "лукавый раб", садящийся на шею господину своему. Но вообще это — исключение. Нет: Восток дал впервые чистосердечное, моральное рабство; Василий Шибанов около Курбского, как и "рабы, да повинуйтесь господам своим"

апостола Павла, — как и "госпожа Ульяна Осорьина", друг рабов своих крестьян, — все это пуризм рабства чистый и возвышенный. Смотрите историю Иосифа в Египте. Поднятие этого раба. Смотрите историю Авраама в Египте, — как он отдает жену свою Сару во временные наложницы фараону — вот новый колорит нравственных рабских отношений.

"Рабом тоже надо выучиться быть", — скажем мы à la Кузьма Прутков.

Фигаро, бунтующий раб, есть уже вонючий раб.

Но Авраам и Иосиф в Египте, но братья Иосифа, покупающие у него хлеб, — это святые рабы, это дух святого рабства. *Который — есть.*

В том и тайна, и мировая загадка, историческая загадка, что есть святые рабы и святое рабство. Разве Руфь-нищенка, ложащаяся "у ног Вооза", по указанию свекрови своей Нозмини, не есть *святая женщина*, как и Нозминь, указавшая ей пойти и лечь, — тоже *святая женщина*. Вполне. Когда я читаю эту историю, я умею только умилиться. Даже больше: у меня проступают слезы. Между тем *тот же факт* "в окружении обстоятельства Европы", погруженный в атмосферу Европы, что он?

— История профессора Мережковского в Казани; о чем 2 месяца грохотала русская печать. "Тут и Яблоновский и Оль-д'Ор".

Сводничество. Обыкновенное сводничество. Нозминь, не зная куда деваться со своей невесткой Руфью, которая была еще молода, говорит к вечеру ей:

— Придешься получше и пойдешь ляг к Воозу. Он тебе сделает, если ты понравишься ему.

Нет.

— Если *раба его* понравится *господину своему*.

Это ли не "крепостное право"? Квадрат и куб его. "Отдаются натурой", как негодовал бы сто лет Оль-д'Ор.

"Мы уже граждане"...

.....

И вот эти граждане взбунтовались, и теперь работница ложится к работнику, на заводах есть "заводские быки", вообще начинающие всех молоденьких и предоставляя после себя пользоваться ими другим.

Все есть, кроме прибыли: п. ч. отвергнут богатый Вооз и рабство.

У Нозмини и Руфи явно стоит в голове прибыль. Как у Иосифа около Фараона и у братьев Иосифовых в отношении предполагаемого вельможи египетского, их тайного брата. Что же это такое, — признаться: что это за ужасы?

Тайна Востока — что рабство священо и что "моральные ужасы" перестают быть таковыми, облекаясь в формы священного рабства. Мы не можем себе представить иначе как "развратным поступком", если бы Руфь потихоньку от свекрови пошла побаловаться с пареньком или если бы Нозминь ей сказала: "Ну, невестка, — все же ты молода и в тебе молодая кровь: поди и побалуешься на стороне".

Тайна в том, что Библия действительно "позволяет господину" и "не позволяет рабу"; что она разграничивает "Иова в рабстве" и "Иова в богатстве". Замечательно, что мы не осуждаем Соломона за историю

с Суламифью, — и даже предполагаем у него много Суламней и не осуждаем за многих.

Вооза бы мы не осудили за Руфь, если бы и "случилось", как и Ноэминь, и Руфь явно ожидают с его стороны "поступка", желают его (иначе зачем бы посылать) и ни мыслью не осуждают его.

"К нему это идет", как к Соломону, как вообще к богатому, к сильному. Ко всякому богатому и сильному, — и брезжится, будто богатство и сила учреждены на Небесах. "Волею Божиею — он богат".

И тогда он пользуется Руфью, тогда как Руфь не пользуется даже своим удовольствием.

"Я не могу располагать своими прелестями для своего удовольствия: потому что, может быть, они понравятся Соломону или Воозу, кому дал Бог. И тогда Господин мой насладится".

С европейской точки зрения "черт знает что такое", а на Востоке — "выходит". Тут, позади этой загадки, *au fond*¹ ее, стоит другая еще глубочайшая загадка: на Востоке рабы любят господ своих. Мы "господ" своих, фабрикантов напр., а тем более помещиков, — ненавидим до выпуска кишок.

— "На фонарь" (повесить). Но в Библии "всё бы смутилось", если бы был где-нибудь повешен Вооз. Вооза любят и Руфь, и Ноэминь, и в отдалеке ему себя нет ненависти и ненавистного акта. Акт вполне любовен, — и Вооза, "потому что он угоден Богу" (богат), — любят заранее как жениха и мужа. Богатый есть жених всех, — он есть муж многих, скольких хочет. "Только захотел бы", а мы "готовы".

Таким образом, еще *au fond* стоит третья истина: богатство и сила подается Богом, есть знак угодности Богу, избранности Богом: и такому разрешается многое, что бедному вовсе не допустимо и что у бедного есть грех.

Образуется прямо "многоэтажное здание", "культура", — где богатство получает свой смысл.

И "власти и господства" в мире объясняются.

"Звезда от звезды разнствует". "Одна слава есть солнцу и иная слава луне".

Причитанья Византии и церкви...

Горько ли здесь беднякам, и сладко ли работнице около работника?

"Натуру потешила" — это так. И оба поужинали редькой с квасом. У Руфи и братьев Иосифа, у Авраама около фараона ("и будет мне ради тебя хорошо", — говорит Авраам Саре) явно входит будущее богатство, будущий "восходящий Иов". Путь этот есть путь от бедного Иова к богатому Иову, — и, пожалуй, *au fond* открывается четвертая истина: что путь этот благословен Богом.

"И богатство и бедность от Бога. Богатство здоровьем и бедность здоровьем. Богатство красотой и бедность красотой. Богатство имуществом и бедность имуществом. И одно есть благословение, а другое — наказание. Терпеливо несите ваше наказание, но усиливайтесь из него перейти в благословение. И по ступеням бедности и зависимости подымайтесь кверху, подымайтесь выше и выше: дабы войти в господство,

¹ в сущности, в основе (*фр.*).

славу и силу, и тогда будьте милостивы к рабам вашим, чтобы не низвергнуться”.

”Щадите их, жалейте их, любите их как любовниц и жен, и Бог утвердит ваше господство в вечность”.

”А злые рабы останутся в вечном рабстве, — как тот работник и работница или как разбогатевший Фигаро, которого за богатство его и насилия рабочие повесили в фабричной конторе”.

Вот кое-что из истории Востока, — не попадающееся на страницах Иловайского и Бокля; даже нашего Тураева.

* * *

3. VII. 1914

”Семейные истории” начинаются в семье первого уже человека и записаны на 4-й или 5-й странице Священной истории. Что же мы огорчаемся о своих детях, как я на В. Два года назад (теперь исправилась). И слогал о ней злые слова, не попавшие на страницы ”Уедин.”.

”Наши дети очень хорошо себя ведут”: п. ч. у первого человека из двух сыновей один убивает другого. Разве что-нибудь подобное случается ”у нас”?

А мы ворчим, брюзжим. Поистине другого имени не заслуживает наш гнев. Какие все это пустяки: ”Груб”, ”Не слушается”. Классическую гимназию не кончил бы не только Каин, но и Авель.

”Дочери желают танцевать”. Большое горе.

И родители волнуются и тем еще увеличивают тяжесть своего существования, вместо того чтобы радоваться и тем увеличивать свет существования.

(за чаем с земляничкой)

* * *

3. VII. 1914

”Чертой оседлости” русское правительство сказало: ”Кушайте своих, русских я вам не дам”.

Разве пензенские мужики переступают ”черту пензенской оседлости”. В каждой губернии вообще мужики живут в ”своей оседлости” и никуда не рвутся, паша землю под собою и ковыряя себе лапти из ”тутошней липы”. Почему это евреи рвутся?

Тут-то и открывается их действительная *чужаядность*. Они не умеют растить из-под себя хлеба и ”лаптей не носят”, а — сапоги. И сапоги им должен сделать русский сапожник, а хлеб вырастить и даже испечь русский мужик и баба.

За это еврей подарит сынку этого мужика цветной галстук, а бабе потихоньку продаст порошков ”не рожать”. Кроме того, и мужику, и бабе, и деткам наговорит кучу любезностей.

Заметив, что кур бездна и яйца пропадают ”так”, ибо мужики почти не умеют есть яиц (не знают ”обращения”), предложит им по 5 коп. за десяток и, получив с села тысяч 5 себе, — благодетельствует село 500 р. ”за яйца”. Село целует руку у него и уже называет ”Иван Моисеевич”. Урядник с ним в самой дружбе, исправник сперва поглядел подозрительно, но, получив настоящие золотые часы с золотой же цепочкой, — тоже

махнул рукой. Издали прищурился губернатор: но после того как его метрессе еврей почти что задаром сделал умопомрачительный костюм — повернулся на ножке и начал смотреть в другую сторону.

* * *

5. VII. 1914

Мне иногда кажется, что "наше положение" ничуть не горестное. Это в сражении, "конечно", "жалок побежденный" и в финансах "презрен разорившийся", — но совершенно не *то же* в идейном и вообще в духовном мире. Здесь скорее "жалок победитель". До "победы над всеми Вербицкой" и ее "Ключей счастья" (самая требуемая книга в читальнях, — самая любимая писательница студентов и курсисток) разве мы не пережили комического в своем роде зрелища, когда "могучая русская волна мыслящего пролетариата" несла на миллионных плечах творца "Анатемы" и когда от "Жизни человека" не было прохода ни в журналах, ни в обществе. И с лицом таксы, с этим задумчивым и внимательным лицом, не улыбающимся и не сказавшим за всю жизнь никакой шутки, никакого смеха, никакой улыбки, Л. Андреев взирал сверху вниз и на Толстого, и на Достоевского, а таких "мелочей", как К. Леонтьев и Страхов, они и по имени, конечно, не знал.

Вполне смешное зрелище, вполне жалкое. И я думаю, без всякой услады.

* * *

5. VII. 1914

.....

— И красивые?

— И красивые.

— И умные?

— И умные.

— И молоденькие?

— И молоденькие.

— Боже мой. Боже мой. Хочется кричать и не закричишь.

— На каком же языке вы закричите. Выражений не найдете. Читать не станут. Уши заткнут.

— Боже мой. Боже мой. Боже мой. Молчать и негодовать. Молчать и плакать.

— Молчать и исполнять.

(Элевз. т.)

— Странно. Но не находите ли вы, что если можно только представлять и размышлять, что если даже для самого гнева и мирового неудовольствия на сие мировое удовольствие не находится слов и никто от начала мира громко не выговаривал и не закрепил ни резцом, ни костью сих образов, — то не относится ли это к сфере *οὐδὲν οὐσίως* по преимуществу, вещей лишь *υποπостиγαιμῶν* или, как поют хлысты:

Царство ты царство,
Духовное царство.

Во тебе во царстве
Цветники расцветали.

(вагон-ресторан, прислушиваясь к разговору ксендза с артиллеристом и с его молоденькой женой, с тонкими и выразительными губами и томным и вместе насмешливым взглядом)



Не велико приданое — Ханаанская земля, а велико приданое — законодательство Моисея.

(вагон)

Совсем молодожены...

— Вот и шатер матерчатый, где мы будем встречаться. Так-то его устрой; смотри же не нарушь чего.

Совсем одурел молодой муж.

Желторотые, чернокрылые, белорылые глядят с Востока и Запада:

— Понравилась...



Если при славе, обещавшей вечность и ставшей уже при жизни всемирною, он позавидовал "светлейшему князю Бярятинскому", бывшему не то в глазах императора и России, что "тульские помещики Толстые, — из хорошей фамилии", — и "артиллерийский поручик крымской армии", — и показал этого "светлейшего князя" смешным, глупым и трусом, — то как осудим мы ввиду этой скорбной малости вообще человека, как мы вознегодим и осудим министров Тимашева и Валуева, что они "не выносили независимых публицистов, Аксакова и Каткова", не любили вообще литературы и литераторов, считая этот мир и далеким и чуждым себе, а вместе с тем независимым от себя и как-то необъяснимо славным, знаменитым и очень влиятельным. И "гнули в бараний рог" литераторов хоть помельче, — как Толстой согнул в бараний рог "Светлейшего", заставив его по-мальчишески лгать о своем позорном поведении в экспедиции против горцев, которые он представил императору как славное, и за картами тоже старается, но неудачно, представить, что — "было славное" ("Хаджи-Мурат").

Ужасно...

Ужасно, что взрослый философ накинудся на пажика — Бярятинского, и, схватив его грозно за волосы, шмякнул перед собою на колена. — "Стой!!! У, ты, — аристократ".

Бярятинский, пажик-фельдмаршал, стал перед разъяренным артиллеристом, "просто только дворянином".



Укажите мне хоть одного писателя, который простил бы "высокопоставленному" его, увы, столь малую и бедную высокопоставленность, всегда к тому же связанную с унижением перед еще высшими... Не

эта ли тайна сердца: "Да. Хотя мы знаменитее их, любимее, вечнее: однако у них красная подкладка на пальто, которой мы не имеем, которая никому еще не дана. И как мы не имеем ее, — мы ненавидим их за безусловную привилегию красной подкладки (генеральское пальто).

Да, обидели их превосходительство титулярных советников. "A la lanterne!" ("на фонарь" — т. е. "повесить на фонарном столбе").

По-видимому, этот гад-лакей не устраним из истории. Он отвратителен при дворе, — но я думал, что его нет в литературе.

(дожидаясь поезда)

* * *

7. VII. 1914

Царь строил Россию, но и Россия строила Царя.

И как трудно поколебать Россию, так же трудно поколебать Царя.

∞

Россия строила Царя повиновением и любовью.

А он ее повелением и батоном, приговаривая, как муж жене: "стерпится — слобится". Так и вышло.

Царь что Солнышко: то сияет, то скроется.

Так и день: то ясный, то хмурый.

* * *

7. VII. 1914

Ты бы лучше, демократишко, не ходил в аскетическом пиджаке. Ходить ты можешь даже в очень хорошем пиджаке. Но ты ешь русский хлеб. И обязан служить России.

А ты ее ненавидишь. И царя и веру.

И твой пиджак то же, что веревка вместо пояса и толстое брюхо у францисканца.

У того христианство при брюхе, а у тебя пиджак при революции. И оба вы глупы и никуда не годитесь.

(Пешехонке)

* * *

7. VII. 1914

И "без царя" русские, конечно, были бы также русскими.

Хорошо пахали бы землю...

А которые охотнички — ходили бы за уточками.

Все так. Однако это — "русские", а не "русское царство".

Село, деревня... Много деревень, целая страна деревень. Но "царства" никакого нет.

"Русское-то царство" вот именно и образовано, составлено царем.

Вот завтра придет Пуанкарэ: и я всегда замечал, как русские бегут с удовольствием глядеть, как "в коляске Его Величество ехал с президентом французской республики" (Фором) или "с австрийским императором". Русские — с самолюбием. Хорошее самолюбие, доброе, всемир-

ное. Братское. "Наш царь брат и ихнему царю, а их царь брат нашему царю". Или — "шурин", "деверь". Политика небольшая, но все-таки политика.

Только через "царя" мы в братстве с другими народами, — в родстве, в общности; и образуем единую с ними "культуру". Муромский мужик, если б знал слово и умел выразить мысль свою, сказал бы Мякотину: "Я — культурный человек, а ты смерд".

Смерд — ничего. И Мякотин, действительно, "ничего", пот. что он только "сам" и "я", без любви. Он с пиджаком, а не с людьми.

Царство выковал царь и нисколько не русский народ; и народ это честно помнит, отлично понимает и благодарен царю за то, что он сделал ему (народу) "царство". Царство — для погляденья и для разуме-ния. Ну и для самолюбия. "С царем нас все уважают", — и конечно, этого не было бы у "русских" без "царя".

Вот почему мы поем нелицемерно "Боже, Царя храни" и "сильный", "державный", и прочие величества.

— Скидай шапки. Русь идет.

Это, конечно, так. И русские на войне умирают за царя.

(вагон)

* * *

7. VII. 1914

Крик каждой женщины:

— О Зевс, обсемени свое поле.

Или в Лациуме:

— Ты, Юпитер, — орошай свое лоно.

*(поговорив с Елизаветой Григорьевной; тоска бездетности.
Как понятно, что эта тоска сложилась в религию)*

∞

Но и в самом деле: *раньше* ли помолилась *жена* или *человек*, *мать* или *опять человек*, *муж* и *отец* или *опять человек*?

Может быть, первая помолилась *роженица*:

— *Кто бы там ни был, помоги мне!..*

— *Боже*, помоги мне...

Или были *первыми* молитвы земледельца об урожае. Нет, думаю, — это были уже поздние молитвы.

И совсем поздно были молитвы *преступника* о прощении.

Но вот сколько вообще... прежде чем появилась *молитва человека*.

Почему-то мы начинаем, история религий начинается с "молитв человека". Это совсем неверно. Сперва конкретное во мне кричит; сперва — рыжий и уже потом рыжий Розанов. Сперва мать, и уже потом обывательница Елизавета Александровна и или гражданка Семенова...

* * *

8. VII. 1914

Правительство состоит из подлецов, и только подлец может служить в нем (в его составе). Это аксиома, теперь уже общепринятая, пошла

с декабристов и "Горя от ума", особенно укреплена была Щедриным и "Современником" — и теперь против нее никто не спорит и считается неприличным спорить.

Примем, что "да", — и посмотрим, что из этого выйдет и выходит. "Правительство" окружено обществом: и вот... каково же его положение и что оно станет делать?

"Пойти в правительство может только подлец", и никто, если его не гонит горькая нужда, и не идет...

Т. е. идут или *способные склонить выю, притворяться и лгать*, — если они в душе и чисты.

Или "va banque"¹ идут "на отчаянную" подлещу, так и не скрывая (морального) "бубнового туза" на спине.

Хорошо (хотя и очень скверно).

Тогда, значит, правительство не только состояло (прежде) и состоит (теперь) из подлецов, но...

И в будущем оно вечно обречено состоять из подлецов, — и на эту судьбу обрекло его именно общество, запретившее кому-нибудь из честных и порядочных людей поступить на службу. Запретивших мнение: "Если кто поступит — подлец".

Тогда появляется очень черная мысль: насколько *честно* это общество, поставившее свое отечество, — пусть даже "ничего не заслуживающее", — в ужасное положение иметь непременно и только правительство из подлых людей.

Как же иначе:

1) Состоит из подлых людей.

2) И кто пойдет — сам подлец.

Вывод, ноне логический, а *исторический*, подобен иерихонской, разрушающей трубе:

3) Никто из честных людей не идет в правительство.

Т. е. правительство и *будет*, и *не может когда-либо перестать быть подлым*.

Вполне ли это осуществляется или частично: мнение общества о правительстве во всяком случае обедняет до *minimum*'а его идеализмом, идеальными людьми. "Никто из честных юношей в него не идет", — и не естественно ли, что ему остается состоять из "нечестных старикашек".

Так. образом, с 14 декабря и после Грибоедова общество как бы издало мандат (повеление):

— Да будет правительство состоящим из никуда не годных старикашек.

С 14 декабря много воды утекло: и так как революция все еще не одолела, и "проклятье" стоит и держится: то не отнесем ли мы "на счет проклинающего общества" все те неудачи России, плохие войны, скверно исполненные реформы и т. д. и т. д.

"Ты обрекло его", — скажем обществу.

И "обреченное" — оно только и делает "обреченные на гниль" дела.

Кто же виноват?

¹ рискованно (*фр.*).

9. VII. 1914

Я сам довольно грамотен, и грамотные люди мне совсем не нужны.

Мне действительно нужен мужик.

Мужик и поп (довольно безграмотный).

Мужик. Поп. Солдаты. Царь. Люди интересные.

Грек. Аристотель.

Для "почитанья" (на сон грядущий) — Талмуд.

Прочей "интеллигентности" мне совсем не нужно.



Для удовольствия — земляника (лучше с чаем).

9. VII. 1914

Поразительно, что два самых опасных, мучительных и неприятных нападения на меня были сделаны при одинаковых внутренних моих обстоятельствах.

Первое — Владимира Соловьева ("Порфирий Головлев о свободе и вере", — Иудушка) — когда Варя лежала после операции и в тифу, сразу вслед за операцией, — не выходя из больницы (в Мариинском родовспомогательном заведении, на Петербургской стороне). *Когда* мне было отвечать?

Как отвечать? И единственно "отвечал" я, чтобы получить 100 р. и внести в больницу (страшная бедность и нужда).

Прошло много лет (но *тогдашнее* злое нападение Соловьева, — злое *по совпадению с моей печалью*, — никогда "не закрывало своей раны"), и вдруг Струве и Пешехонов нападают на меня недели 2—3 спустя после удара Вари, — когда весь наш дом, вся семья были разбиты, уничтожены, раздавлены.

Поразительно.

Это в высшей степени поразительно. Едва напечатал Струве, как я подумал: "Что за *совпадение?*"

И до сих пор думаю, что "совпадение", т. е. тут был какой-то "опыт" и "научение".

Правильно ли я думаю, когда отвечаю себе на вопрос "почему", что Б. хотел мне показать всю *мелочность* литературы (при болезни всё стороннее кажется *мелочным*), все ее *жестокое* существо, все ее *формальное* и *внешнее* существо. "Люди умирают", "люди задыхаются в горе" — а "литературушка все долдонит свое", — все "проводит очередную задачу общественности". Это я и вообще знал, предчувствовал. Но еще "острой иглой не прочертило в душе".

Нужно было "острой иглой", — и Б. послал Струве и Пешехонова, — раньше Соловьева...

— А, отвяжитесь вы все, окаянные: наполненные червями злобы, ненавидения и высокомерия. Вы все — высокомерны. Когда удел человека — наклониться низко к земле и плакать, плакать, плакать (впечатлительные болезни, — впечатление от болящего).

Вообще в эти минуты (и Соловьева) мне особенно глубоко дано было узреть соотношение между *острой* сутью христианства (печаль о гробе, страх перед гробом, тоска о вечной разлуке) и между *острой* сутью "современности", литературы, политики, "суеты" (как я определял всегда себе, но в эти минуты *особенно это мне открылось*).

Глаза мои испуганно и тоскливо открылись на церковь, на *суть* христианства...

— Смеется ли церковь? (Никогда).

— Злобствует ли даже падению врага? (Никогда).

— Позволено ли ей радоваться о несчастьи ближнего? (Никогда).

— А вы????!!!

Чудовищное сопоставление. Как в адском пламени, мне замелькали бесенята в этой полемике, столь грубой и безжалостной, — когда моя кроткая Варя, *ни единого человека не обидевшая*, — лежала то после операции, то в ударе.

— Вот где *правда*...

— Вот где *праведные люди*...

— В терпении. В несении креста. В христианстве. В старых русских деревянных домиках, о три, о четыре окошечка.

* * *

9. VII. 1914

"Религия — средство обуздать плебей".

Кабачок поддерживает выпивающего, а выпивающий поддерживает кабачок. На этой несокрушимой связи держатся КАБАК и ПЬЯНИЦА, два абсолюта новой цивилизации, города и мостовой.

То же — трамвая и телефона.

Как их разорвать? Слабенькое держится за слабенькое. Больной за больного. Плосконький тянется к Конту, а Конт "говорит своей обширной аудитории".

(за статьей "Хроника. Современная Франция в религиозном отношении". "Вест. Евр." 1914, июль)

* * *

9. VII. 1914

Опять эти шумы в душе...

Вечные шумы...

Как я люблю эти шумы.

∞

Б. близко. И вот сейчас все определится в слова...

(сейчас и часто)

* * *

10. VII. 1914

Отчего так трудна теперь борьба в литературе? Лет двадцать уже, — все мое время, с самого "выступления" (1886 г.) она была непрерывно трудна. Точно не "плывешь в воде" (впечатление легкости), рассекая

руками воду, — а бредешь в каком киселе, и он густой и не дает дыхания, и рукам тяжело, "не могут".

Впечатление "Я ничего не могу сделать" было у меня от "Понимания" и до сих пор. Отчего? Отчего?

"Расхожусь с людьми?" Нет, не то. Совсем не то. Разве Белинский с первой страницы "Литературн. мечт." не воскликнул: "Я — ни с кем", "я — против всех", — и в крике была уже радость победы. "Заранее"... Тоже в тоне Чернышевского в "Что делать": он явно шел *против всех*, и его "в отступлениях" реплики к читателю, где он нескрываяемо смеется над ним и его "догадливостью", — называя его не стесняясь дураком и пошляком, показывают *новизну* в своем мнении о себе и *уверенность* в победе.

"Нужно быть разумнее окружающих и искреннее их — и я победил".

Но почему же я "не победил", и Мережковский уже "не победил", и Страхов был всегда "бит" и никто его не читал? Те же усилия у Струве, у Изгоева (тогда). Та же "почти неудача" у Булгакова (С. Н.), у князей Трубецких. Тон "неудачи", уныние неудачи — у Соловьева. Ни Соловьев, ни Мережковский не написали бы (по-моему) позорных статей и не сделали позорных поворотов в литературной и в идейной деятельности, если бы не "кисель", которого одолеть они не были в состоянии, а задохнуться под ним они не захотели.

Суть в киселе. Что он такое?

Напрягая все усилия ума, думаю, что <неокончено>.

* * *

10. VII. 1914

С кулаками, с мордобитом (левая печать) революционеры велят себя признавать барами. Передовыми, писателями и философами. Паче всего — политикоэкономистами.

И хочется "послушаться"...

А сердце, а ум все говорят: "Это — революционеры с Обводного канала".

(забастовка "протеста" с битьем стекол в магазинах и ломанием вагонов трамвая)

* * *

10. VII. 1914

Что-то такое детское.

Что-то такое младенческое.

Что-то такое даже идиотическое.

О, эта "тысяча лет привычки от политики".

"Чигиринское дело" занимает видную роль в истории нашей революции (как раньше, в дни молодого Щапова, — "выпоротые крестьяне" Казанской губернии)... В "Былом", в "Воспоминаниях" Дебогория-Мокриевича души так и тянутся к "Чигиринскому делу": оно занимает воображение революционеров, служит неистощимой темой разговоров их, на нем они "базируют надежды".

— Что же это такое?

Бунт волости, где-то в южных губерниях в Малороссии. Они (револ-ры) кинулись туда и, кажется, рассыпали "золотые грамоты", т. е.

фальшивые за подписью Царя, с призывом бунтовать, избивать помещиков и завладеть всюю землею.

“Черный передел”...

“Земля Божия”, как учил или подучивал Григорий Петров в “Божьей правде” (газетка 1905—6 гг.), — которому было “все равно”, так как и капитал, и застрахование жизни — он уже сделал.

Оставим его и обратимся к чистому Дебагорию-Мокриевичу.

Чему же ты верил, юноша? А ты “верил”. Ну, “восстала волость”, “несколько деревень”. “Целых 6 000 человек бунтует и взяли топоры и вилы”.

Так ведь *справились* даже с восстанием всего понизовья Волги, от Астрахани до Самары и Царицына, — с “движением” Урала, яицких казаков и Дона... И было это не “война”, не “смута” и “смятение”, — был только “эпизод царствования Екатерины”.

И бунтовала Литва, — целое племя и $\frac{1}{2}$ былой Польши. И “смирили” ее.

И опять это только “эпизод”, куда меньше Крымской кампании.

И как бы широки ни были бунты, как бы вы ни усиливались их перевести в “восстания”, — всегда это будут только “эпизоды”.

Вы рассчитываете на аналогию Китая, Персии и Турции, обнадеживая и “ухая”, что “у нас не лучше”, главное — что “у нас *не крепче*”. Но ведь ни в Китае, ни в Персии, по существу, никаких войн не было, — а в Турции переворот сделали офицеры, которых у нас перешло на вашу сторону “всего один Ашенбреннер” да “философ” Миртов, — офицер генерального штаба. Только 2.

Но вообще, толкая рабочих и крестьян в “волнения”, не исполняете ли вы бесплатно роль провокаторов, суть которых — перевести *тайное* руководство в *явный поступок* такого рода, который наказывается “известно как”...

И дальше “провокации” bona fide¹ “искренней”, “честной” и главное (для правительства), — бесплатной (ибо правительство “денежку считает”) вы никогда ничего не сделаете.

Я думаю, кое-какие милые “отделения” сами не прочь “поволновать” и рабочих, и молодежь: причем самые недовольные, яркие и деятельные всплывут кверху, и оно “снимет сливочки”...

И ложка-то у него пре-боль-шу-щая...

“Так ведь это же окаянство”, — вскрикнет девушка и юноша, — паче того — жидок.

— И не суйтесь, господа, “в окаянство”. Но уж не “кипяток” виноват, когда в нем варится курица, сама в горшок полезшая.

— А вы именно лезете в горшок, и вам вся печать советует лезти в горшок.

*(За Шерлоком Холмсом: “В ту же минуту городовые, с одной стороны, оборванцы, с другой стороны, — подобравши свои ноги, пустились улепетывать во все стороны”)
(сие: “подбравши свои ноги” — напомнило мне бедных наших революционеров)*

¹простодушно (лат.).

11.VII.1914

"На готовеньком".

— Так можно определить наше общество и "общественность", — печать, литературу, — клубы, митинги. И все шумные протесты против "негодного правительства".

"Негодно"-то оно, пожалуй, и "негодно": но было, однако, *годно* заготовить нам и завтраки, и хлеб, и шампанское, и чистые салфетки, и комнату для обсуждения "его недостатков". И стоит теперь у двери и сторожит, чтобы кто не вошел и не помешал нам "обсуждать его недостатки".

И вот я думаю, что оно действительно "негодно": но мне как-то совестно это выговаривать вслух...

Если бы его "негодного" не было, какой-нибудь нищезанец при выходе из комнаты "обсуждения" заехал бы мне в рыло "по новой морали" пролетария, ссылаясь на дозволение Маркса, снял бы с меня шубу, жена, со ссылками на "свободу чувств", уложила бы на одну кровать с собою и со мною — любовника; и подростки-гимназисты, говоря, что "завтра все равно — все сгорит", зажгли бы сегодня мой дом, мою старую библиотеку; и, наконец, плату за мои статьи начал бы получать какой-нибудь "десятский", "сотский" или "тысяцкий", ссылаясь, что 1) никакого особенного таланта у меня нет, а 2) если бы даже и был талант, то он мне дан "средою", и, следовательно, деньги за мою работу принадлежат не мне, а "среде", которая взамен мне выдает "талоны" на получение общественных "завтраков", "обедов" и "чаев", довольно невкусных или, по крайней мере, "не по моему вкусу".

От всех сих новых и ожидаемых благословенностей пока охраняет меня "старое негодное правительство": и я никак не имею духа ткнуть его в морду сапогом — или дать ему по уху.

11.VII.1914

Мы можем созреть, *расти* — только вместе с правительством.

Рука об руку помогаая, "везя один воз".

Правительство есть именно "наше правительство", — не усвоив этой аксиомы, мы не можем и не должны поутру даже надевать сапога.

"Наш день будет испорчен" и "ко вреду".

Все, что мы сделаем, подумаем, на что решимся, — будет "ко вреду", ибо будет "дисгармония" в русской жизни.

"Я расту *один*" — это не закон сучка, не закон листа древесного, корня его, почки его, цветка его. "Я расту *потому-что* и *насколько* растет все дерево": а, вот это — закон.

Сколько, однако, "эврик" я открыл. Я начинаю совершенно новое мышление в России. "С азбуки"... До меня "говорили по-французски". Розанов, из рабства, — начал по-русски.

Сегодня смеюсь, купаясь, и шепчу в себе:

— У нас и яблони расцветают с соизволения Его Величества.

— Как?

— Если бы не Его Величество, на этом месте росли бы вестфальские яблони, и яблоки с них ел бы Карл Шмидт с детьми Францем и Кларой. А ем — я, мой сын Василий, дочери — Татиана, Вера, Варвара, Надежда, и за все это мы обязаны Его Величеству.

Вот.

* * *

11.VII.1914

Иногда мы жалуемся, что у нас нет "такого совершенного правительства, как *английское*", которое дало даже гражданам "Nabeas Corpus", по которому полиция не может входить в дом частного человека etc.

Но какой же русский человек — "частный человек"? Полиция (наша) и не входит в крестьянские избы, в поповские дома и вообще туда, где есть "частный быт", живут "частные люди". Она входит "к нам", интеллигентам и горожанам, которые и за 40 лет живем, "как студенты", читаем "Что делать" и не прочь начинить бомбочку, которую может прошибить стену и убить и соседа. Для "образованного русского человека" ведь нет "соседей", нет вообще людей, — а только "он сам", во всей вселенной "один" он "сам". И вот за этим "самым" вселенная естественно и присматривает, командируя на сей случай полицию.

"Английское правительство" — для таких благовоспитанных граждан, как англичане, а "наше плохое правительство" для таких плохих граждан, как мы. Чихай или не чихай — а уж так приходится.

Англичанин не спросит в лавочке французского или немецкого товара.

Англичанин и за границей говорит только по-английски.

Он везде господин. "Сир" и "джентльмен".

Куда же наш Петрушка "с запахом" лезет с ним сравниться и требует, чтобы дали ему "конституцию без запаха" и "парламент без городских".

Городовой ухмыляется и замечает ему:

— Петр Петрович. Кажинное утро я после вас выношу матрац проветриваться, и ежели без меня — то вы совсем обваляетесь, так что идохнуть в фатере будет нельзя.

* * *

11.VII.1914

Королевство наше — в физиологии нашей, царство наше — в физиологии нашей: вот — юдаизм.

(За "Король Богемии", Шерлок Холмс.) ("И, однако, если бы она была одинакового ранга со мною — какая королева вышла бы из нее", т. е. из Ирины Адлер)

* * *

11.VII.1914

Все дети Толстого какие-то недопеченые.

...и, я думаю, тут не теория ли "Кр. сонат." и *около* нее о "недотрагиваемости" при "таком положении"?

Нет, эту мудрость "своим умом" не разматываешь: надо было поучиться у евреев, прислушаться к Египту и "Элевз. т."

Бедный.

* * *

12.VII.1914

Не может быть "слишком раннего брака; может быть только запоздалый брак". — Потому что первый фиктивен, не осуществляется и не вредит никому, так как его просто *нет*. В этом меня убедило чтение Талмуда, где упоминается о замужестве не только 7 и 8-летних девочек, но, — что я едва решаюсь переписать — и 3 1/2-летних.

Места мною отмечены, и я всегда могу цитировать. Вдумываясь, как это могло стать и записалось, — без оговорок, как "прецедент" в законо-руководственном Талмуде, я нахожу, что сообразительные и подвижные жидки, вертлявые в жизни и мысли, давным-давно и ранее всех народов догадались, что "ни в каком возрасте" не вреден брак и может быть дозволен, потому что, когда он "вреден", — его просто *нет, не бывает*.

В самом деле, если бы брак устраивался и руководствовался не чиновниками в рясе и чиновниками в мундире, которым вообще "ничего не нужно", подгонялся бы только в сторону "рано" и отгонялся бы от "поздно"; всегда бы уранялся и никогда ничем не задерживался.

Читая этот год у Ал. Дюма "Две Дианы", я был поражен, что *Младшая* Диана Пуатье (побочная дочь короля) отдается замуж за бородатого рыцаря-графа в возрасте столь юном, что ничего не подозревала вообще о замужестве и играла невинно с мальчиком-подростком в сельском уединении, где "негласно" проживала (побочная). Ей было 12 или 11 лет; муж ее через месяц после брака был убит в неожиданно начавшейся войне с Испанией, — и остается как-то неясно, стала ли она фактически его женою или — нет.

Возвращаясь к талмудическому браку, я спрашиваю себя, что же происходило при явной незрелости к браку венчаемых детей. Тут, конечно, очень важно и должно быть оговорено в законе, чтобы "жених" не был старше невесты более чем года на два. Что же происходило? — Ничего. — Дети продолжали оставаться детьми и только играли, даже не влюбленные, а просто "дети одной комнаты", "одного класса" или одной "детской". Брак есть "позволение", а не "принуждение" в специфическом смысле, — и так, по крайней мере, в православии, хотя не так в католичестве (там брак считается *совершившимся*, когда его дело *исполнено*). "Мне позволено быть Александром Македонским": какой вред от этого Персии? Если я только "Розанов", — Персия остается невредимой. Так и в браке: "позволение" ничего не повреждает, если ему нет соответствующего "может". А когда наступает "может", он тоже ничего не повреждает, потому что "может" совпало с "позволено".

Это и знали талмудические старцы. Кто наблюдал евреев, знает, как они находчивы, придумчивы. "Баба, пока с печи падает, — десять дум продумает" ("Власть тьмы") — это сказано специально об евреях (*бабы*). По этой их придумчивости, неразделимой с осторожностью, всегда полезно во всякой теме справиться: "как думали евреи", "как они решали".

Итак, брак в 6 $\frac{1}{2}$, 7 $\frac{1}{2}$, 8 $\frac{1}{2}$ лет и осуществлялся, когда приходила та врожденная норма, которая в высшей степени изменчива у индивидуумов и общим законом решительно не может быть предусмотрена. Раз 2 мне случилось встречать девочек между 10—11 годами, до того рослых и "зрелых" во всем существе женского строения, — что они как-то "переросли" и никак не уступали в смысле "зрелости" своим матерям. У меня стоит в ушах восклицание одной тети — из провинциальной глуши и очень благовоспитанного рода — о своей чуть-чуть достигшей 13 лет племяннице: — "Да ей замуж *пора*". Это было сказано (воскликнуто) и при племяннице, и при ее матери. "Дело показывалось видом" — и безобманно. Вид показывал, что задержание брака будет явно и быстро вот эти месяцы и недели вредить сформировавшейся девушке (из северных губерний, — Ярославской), не только физически, но главным образом — духовно, нравственно. Явится то, что в хозяйстве именуется: "кушанье *переварилось*", "пирог *сгорел*", "сливки перестоялись и *начали обращаться в сметану*". Губится человек и особенно губится его дух. Тетка, заботливая и немного старше матери этой девушки, воскликнула с болью.

Евреи сохраняют свою физическую и духовную свежесть через эту идею брака "наиболее раннего, как это возможно", — и даже более раннего, чем возможно. Они отметили для себя, вероятно, и тот оттенок библейского рассказа о сотворении человека, по которому Ева была сотворена несколько раньше, чем "понадобилась". И они соединяют пары раньше, чем "нужно". Пара остается невинной, не ведущей ничего, но сближенной, "позволенной". Брак, очевидно, и наступает, когда силы подрастут, когда организм дозреет... Время это, минута этого, дни и месяцы совершенно неизмеримы ни для кого, кроме невинных супругов. Евреи очень тонко рассчитали, что никакой "учитель нравственности" не научит так "правилам поведения", как невинный возраст, с врожденной ему чуткостью, деликатностью, страхом оскорбить другого, оскорбить "друга по комнате" (жену, мужа). Развивалась та дивная невинность, которой место поистине "в раю", — которую мы умеем видеть и оценить, но которой *сделать* мы никогда не сумеем и никто не сумеет.

И затем она проходила, эта невинность, — вероятно, постепенно, вероятно, медленно. Как? — Неисследимо. И не надо смотреть, знать. "Он" и "она" действительно склеивались в неразрывную чету, — *срастались*, — когда была удалена всякая хитрость и искусственность в их росте вместе.

Думая об этом, я думаю: "Невинность у нас всегда в кармане". Мы боимся вынуть ее и показать миру. Мы боимся быть счастливыми.

(в купальне)

12.VII.1914

Гоголь дал право каждому русскому хохотать над Россией.

Не призыв и что-то горячее... не молния и гром: а именно "формальное дозволение"; как — растворил дверь смеху...

И смех "не заставил себя ждать".



Еще Карамзин и Пушкин ужасно смутились бы, если бы кто-нибудь равный или даже высший Чаадаев или "новый Байрон", случись он у русских, предложил им: "смеяться над Россией", "посмеяться над Россией". Смех Грибоедова был частный над Москвою и москвичами 1812—1830 годов; отнюдь это не был смех над "землею русскою". Но вернусь к Карамзину и Пушкину, "нашим отцам": они чувствовали себя *детьми* в отношении России и были оба ей послушны и чувствовали себя около нее чем-то маленьким и даже отнюдь не необходимым, не неизбежным, не "мужами рока и судьбы", а — случаем и подробностью.

"Россия — судьба; мы — случай".

Вдруг Чернышевский и Благодетлов чувствуют уже себя "судьбою России", мужами "рока ее".

— Кто позволил.

— Гоголь позволил.

Вот действие и впечатление. Каким образом?

— Какая же судьба около Чичикова? Хе-хе-хе...



Суть, что "коридор с NN", данный Гоголем в "Мертв. душ.", имеет вовсе не представить, "что *бывает* на Руси", что "*случается* в Руси", как обыкновенные литературные произведения, — а дает ответ на "что есть Русь". Ни "Горе от ума", ни "Недоросль" или "Бригадир" не имели этого *обобщающего* смысла. Гоголь в "сей великой поэме" решился и допустил себя судить всю Русь, — и заглавие поэмы в двух словах сжимает весь смысл ее и дает приговор, из которого — если б он был основателен — нет воскресения.

Ибо, очевидно, России нужно еще "родиться", — а то что же говорить о камнях, о неодушевленном. Сии "мертвые души", — конечно, камни...

Непонятно "куда", "во что" и "как" воскреснет Чичиков. И — все до единого, до мужиков, до прислуги, не пропуская и "мыслителей" (Тенетников).



Страшная сторона "Мер. д." в схематизме, понятности и убедительности. Они понятны, как азбука: "Смотри и умозаклучай". Да даже и умозаклучать не нужно... Увы, Гоголь ничего не оставил читателю для размышления, переделав всю работу за него.

"Дураку понятно". Это и Белинский и Родичев видели.

Странно, — м. б., особенно и главным образом странно то, что Гоголь дал смех в руки не то что и *глупым*, но даже — *преимущественно* глупым; и этим-то особенно сделал невозможным "воскресение из смеха". По провинции, где я провел почти всю жизнь, я видел, *кто* смеется по Гоголю". Гоголь вообще как-то устранил оглядку читателя "на себя". Гоголь не пробуждает грусти, — вовсе нет. Гоголь пробуждает колоссальное самодовольство. С Гоголем мы "все, как праведные". Кто взял смех над Россией — *самому себе* кажется чрезвычайно умен и добродетелен. При чтении его вообще образуется расслаивание на "мы" и на "они": *все читатели* как-то страстно сливаются с Гоголем в одно с ним "мы": и мыча и хрюкая, как спутники Одиссея, обращенные через дотрагивание Цирцеи в свиней и быков, никаким образом не могут понять, что их "хрюканье" (над Россией) вовсе не есть человеческий голос (не есть речь о России, сколько-нибудь ей помогающая). Ужас Гоголя — что он придал *вечное бытие*, бессмертие пребывания на земле сим "камням", снабдив их через дотрагивание волшебной палочки — самодовольством...

Исчезла критика...

Плач о себе...

Возможность суда над собою...

Каким образом, скажите, Ноздрев-Чернышевский (Ноздрев ведь был неустанно деятелен, непосидчив, стремителен и — все порицал), Собакевич-Благосветлов, Тентетников-Лавров ("Письма о философии истории"), Манилов-Лесевич, Чичиков-Михайловский, — каким образом они могли...

Вздохнуть о себе?????

В 40-х годах — могли. Но "Цирцея тронула" свиней: и они — стали невоскресимы.

Теперь они "вечные свиньи", и хрюканье их совершенно никогда не прекратится: "потому что Гоголь-то ведь был *гениален*, а мы — с ним".

К довершению ужаса Гоголь еще был "патриот". Нет, хуже и ужаснее — он был "патриот и христианин", написавший статью "О Светлом воскресении". Круг сомкнулся. Гоголь его запер, а ключ бросил в море.

Свинья хрюкает: "Я — с Гоголем. Плачу о России. Истинный христианин. И жду, когда она переделается из недалекого Александра Невского в просвещенного Благосветлова".

Григорий Петров ожидает, когда Серафим Саровский начнет сотрудничать у него в "Божией правде" (газетка в Москве).

Вот действие Гоголя: что он не привечил *ни одного человека* на Руси: но укрепил нездешним укреплением все омерзительное, хладное и безнадежное на Руси, произведя какую-то аберрацию в умах, что они "с Гоголем". "А он — гений. Значит, и мы — *тоже*".

"Что делать" Чернышевского — необъяснимо без предварения "Мертвых душ". Это Ноздрев, "спасающий губернию" или "для пользы отечества" — согласившийся быть губернатором.

"Да что губернатор — у меня министры на побегушках".

А ум и добродетели — Ноздрева и ни на короткую черточку дальше.

Теперь: с Ноздревым еще можно было справиться. Но что вы сделаете с Ноздревым, который, ознакомься с "Мертв. душами", заявил:

— Те-те-те... Понимаю!.. Ха-ха-ха. Вот она Россия-то какова...

— Хо-хо-хо... Видите, господа, что все эти Рюрики и якобы Ярославы "Мудрые" — были "мудры", только пока около них медведи бродили да волки выли.

А на самом деле ни один из Ярославов Мудрых даже "Писем Огюста Конта о женщинах" не читал: да и явно, ибо тогда университетов не было, даже гимназий не было и, наконец, не было даже уездных училищ...

— Хо-хо-хо. Так вот они каковы, и кто строил Русь: даже без диплома уездного училища. Хорошо должно было у них получиться "отечество" и так называемое "православие"...

— Хо-хо-хо...

И гулом вокруг.

— Хо-хо-хо...

Так "губернаторы" и даже несколько "губернаторов" начали "по-Ноздревски" перedelывать Русь в "Скорое Царство Небесное"...

И все заперто...

Гений!..

А ключ брошен в море.

.....
.....
.....

* * *

13.VII.1914

"Нет правила без исключения" — на этом основан мир.

Если бы "без исключения" — с миром был бы столбняк.

И Бог особенно любит "исключения". Они-то и полагают космологическую "свободную волю".

* * *

14.VII.1914

Какая бы женщина, в подвале или во дворце, ни разрешилась от бремени, в ближайшие часы входит *священник* и читает *молитву* над младенцем и нарекает ему *имя*.

И "Василий" сказано мне не матерью даже, а — священником впервые.

И вот умирает человек, сперва болеет и потом умирает: и опять подходит к нему *священник*. И говорит что-то ему. И спрашивает: "Нет ли чего тяжелого на душе". "Расскажи. И я тебя облегчу".

Какие же нужны "апологии христианству"? И зачем кафедра "Апологического богословия"?

Суэта. Тщеславие ученых.

Ничего не нужно. Да ведь и поистине каждая вещь оправдывается от дела своего, а не от чужого слова о ней.

И как может Вольтер или Штраус "опровергать" это вхождение к роженице и это вхождение к умирающему. Как грубы самые попытки "опровергнуть". Как не нужны они.

Никто не станет слушать.

Теперь: "поп входит", хочется ему или не хочется; трезв или пьян; умен или глуп; зол или добр.

Он может *прибавить* доброе слово участия. Но и без этого "слова, им произнесенные", будут прекрасны и глубоки. Это — не его слова; и он только — произнесет их.

Откуда же он приносит их? Это не "парламент" его прислал принести их, не "наша община", своя деревня. Селу дела нет до роженицы. Не правительство, не полиция. Не царь.

Церковь. "Что такое?"

Были в древности такие мужи, тысячу лет назад жившие, бородачи седые. Жили по пустыням, по лесам. Все молчали. Говорили мало. Но думали тихой неторопливой думой обо всем.

О небе и земле.

О Боге и душе.

О судьбе и человеке.

И подумали: "Тяжело женщине, когда она рождает. Больно. Пугается.

Пусть — если поблизости есть — войдет к ней святой человек ("священник") и помолится Богу о ней и младенце".

"И если умирает другой человек — пусть не останется один, а также войдет к нему старый человек и примет дух от него. Вдвоем. Один умер, а другой остался жить и помнить".

Так они думали. Так посоветовали. Так и установилось.

Вот "история церкви".

Так значит *церковь*?

Да. Священник приходит, собственно, как "ангел" от нее, "вестник". Он не "сам", а держит без перерыва ту нить от древности, которая с тех пор держится, и ей не дали урониться в грязь.

Вот.

Кто же может все это "опровергнуть"?

("на сон грядущий" в постели, с "Атлет-убийца" в руках)

* * *

14.VII.1914

Теперь — "союз государства и церкви"... "Ко взаимной выгоде"... "Хитрый поп соединился с солдатом, с тесаком", — чтобы "эти два труса стали непобедимы".

Очень милые рассуждения. Они попадают не только на сходках, но и в диссертациях. Посему есть "кафедра церковного права в университетах". Суворов и Павлов.

Но она ниже уровня той низенькой и тоненькой дощечки, на которой стоит дьячок с "Господи, помилуй".

Дьячок понимает и "велегласно" возглашает, что старцы по лесам действительно были мудрейшие, а главное — благие, самые благие люди на земле... что они — выше парламентов, науки, философии. И просто тем, что грудь их дохнула как-то так широко, как потом не удалось дохнуть ни одному философу.

В "дохнули" этом — птички пели, леса шумели.

В "дохнули" этом — звезды светили, солнышко встало.

В "дохнули" — пророки проповедали, ангелы заботились, Бог послал.

Случилось. И слава Богу.

Потом пришли "с тесаком", — собственно, чтобы переловить разбойников и защитить от врага.

Пришла сила.

Которая сознала смиренно, что в ней <нет> мудрости; и, оглядевшись, подумала: "Лучше, чем придумали те старцы, — нельзя придумать".

И подошли к ним "под благословение".

Вот.

Тут нет "выше" и "ниже", о чем спорят на кафедре церковного права. И нет "расчета" — ибо нет однородности. Нет однокачественности и одноустремленности. Странное "выше" и "ниже" и "расчет" между днем рождения и днем Ангела. День рождения — одно, а день Ангела — другое.

(засылая с "Атлет-убийца")

* * *

14.VII.1914

Конечный мой вывод о церкви очень прост:

История церкви захудала...

.....
Действительно: великие старцы прекратились... Святые "не случаются более"...

Иначе как 2—3 за сто лет...

Настали "обыкновенные люди". Как "я" и "ты"...

Эти обыкновенные способны были творить только обыкновенное, как "наше" и "ваше". Т. е. — от себя. И — хранить, не прибавляя и не убавляя, "святое" древности.

Хранить косо и механически. Как мешок хранит зерно.

И зерно они, действительно, сохранили. Все, что могли.

Так получилась "наша практика", механическая и мертвая, бездушная...

Сорная, формальная и денежная.

Саблеры...

Да и в ризах-то только Саблеры.

И даже часто — меньше, хуже, неделовитее, менее образованны.

"Все в высшей степени обыкновенно. Упоминание о *святом* внушает улыбку".

Но это нисколько не задевает существа Церкви, — которое является самым великим и святым на земле, единственно на ней *святым*.

Так в смысле "разъяснения". И remedia¹ просты:

¹ лекарства (лат.).

Худых людей к сану священника не допускать; и по суду и право — немедленно лишать священства. "Худой священник" — *contradictio in adjecto*¹. Это еще применимее к архиерейству и прочее.

(за "Атлетом-убийцей", засыпая)



В церкви — в ее *практике* — как-то забыто, что самое "выступление на служение" И. Христа началось с "изгнания торгующих из храма", — т. е. с *очищения человеческого состава*...

И вековечно "реформа церкви" в этом *одном* — должна состоять.

"Не она, а мы"...

* * *

15.VII.1914

"Ni Dieu, ni roi"², — как-то заявил лакей и озаглавил этим заглавием свою газетку.

Все удивлялись его героизму, мужеству и смелости. Газета получила, естественно, успех. Редактор был и прежде богат, а теперь стал еще богаче.

Он умер в почете, окруженный — друзьями. И над гробом говорили речи — тоже об его мужестве.

Что он "шел против течения"...

Что он "не скрывал своих мыслей"...

Что он "всегда говорил громко свое слово"...

Что "грудь его, в латах, встречала стрелы, которые со звоном отскакивали"...

Так умер лакей. Проживший лакейскую жизнь. И никто в лакейской эпохе не заметил, что он был просто лакей.

Что он был нищий, пробиравшийся с сумой возле нищих.

И бежал с поля битвы, с которой все бежали, — никого не перегоняя и ни от кого не отставая.

(за занятиями)

* * *

15.VII.1914

Гоголь, в страшном аквариуме "Мертв. душ", посадил за стекло протосоа³ русской суги: лукавство и увертливость великоросса, — житейское пройдошество — Чичиков.

Разве это не *есть*?

Грубость — Собакевич. *Есть*.

Сантиментальность, "сердечные расположения". Конечно — у семейного, с "милой женой" и "деточками". Манилов.

Скупость. Бессмысленная. Тупая. Жестокая. *Есть*. Плюшкин.

Что же мы сердимся. *Все есть*.

Бессмыслица деревни. "Чересполосица владений". "Круговая порука". Неразбериха.

¹ противоречие в определении (*лат.*).

² "Ни Бога, ни короля" (*фр.*).

³ первооснова (*греч.*).

— Дядя Митяй и дядя Миняй.

Прислуга "пахнет" и "пьяна". Петрушка и Селифан.

Наконец, "там — и прокурор".

И "губернатор с дочкой из института". *Как вижу живых*. Что же я сержусь? Ругаюсь?

Ноздрев. "Да мы все Ноздревы". Конечно, при удаче и деньгах (Влад. Набоков).

Философствует?.. Да это — Тентетников. У Рцы были даже маленькие, щелочкой глаза, — и он туфель сам не мог сыскать. Жена находила и подставляла. Тоже Цв. Да я сам — разве не Тентетников. Лежу и в носу ковыряю. "С души тошнит". "Коробочка" — Господи: да вся Русь — Коробочка.

"Все ничего не понимаем" — наша суть, и даже ставим себе в честь. "Отличительная черта русской истории — иррациональность".

Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный —

нашу "Коробочку", — и, конечно, не сделает старушке предложения.

Что же я бешусь? Что же я бешусь?

А бешусь!

Только Гоголя и ненавижу. "Из него тьма".

Мы все "из Гоголя". И гоголевской сути от нас не отмоешь.



Так. Грусть. Жалкие признания. Но однако.

Над. Ром-ны *Гоголь не изобразил*. А она — *есть*.

"Друга" не изобразил: а он — *насущен*...

"Бабушки" (А. А. Р-вой) — *тоже*.

Он не изобразил того, что "бывает", "случается": вечной деятельности, полной чести; жизни чистой, светлой и вымытой. И — *врожденно вымытой*.

А это тоже *есть*.

И картина вышла *безотраднa*, тогда как *есть* и *отрада*.

И выходит, что гнев мой на него все-таки прав.

Он и не прав. Но он и прав.

(за занятиями)

* * *

15.VII.1914

Конечно, умнее меня было много людей на Руси (Гиляров-Платонов, Рцы, Фл.) (хотя, пожалуй, им менее "удалось", чем мне, и в сфере изобретения мысли), — но мне кажется (иногда), ни через одну русскую душу не прошло столько гнева и умиления.

По количеству прошедшего гнева и прошедшего восхищения — мне кажется, душа моя первая.

"И не устала".

И никогда не устанет.

И мое прозвище — "Р. разгневанный" и "Р. умиленный".

В сущности, я непрерывно этими чувствами волнуюсь.

На меня точно валится океан — гнева, океан — умиления. И плечи мои омывает. И голову мою заливают.

Когда бы я ни был — я никогда не спокоен. "Равнодушной", "безразличной" минуты — я не знаю ни одной.

"Равнодушным" я себя никогда не помню. Это что-то странное. Необыкновенное.

Гуляю. Купаюсь. Набиваю папиросы. Обедаю. Чай пью. Все равно. Шум и волны — справа и слева (как когда купался возле Риги). Именно — выше головы моей. И именно — омывают.

Это — чудесное явление. По существу, чудо. И я рожден и живу "в чуде".

Страхов мне давно сказал поразившее меня наблюдательностью замечание:

"В вас есть *a-prior'ные* негодования и восторженности: и довольно безразлично и для вас случайно — *что под них попадет*". Он сказал как-то ловчее и удачнее: но мысль та, что ранее, нежели какой-нибудь предмет явился перед моими глазами, встретился в жизни мне, представился моему воображению, — я уже "люблю" или "ненавижу". Так сказать, люблю и ненавижу "с ожиданием". Вообще — любовь и ненависть — первое и безыменное. Оно — сперва. Имя приходит — "потом", "во-вторых".

— И тогда, — договорил Страхов, — вы обливаете любовью или презрением предмет.

Это — глубочайшее замечание, какое мне в голову не приходило ("менее умен") и которое формулирует основную мою стихию.

Действительно...

Я "потом люблю". Т. е. — предмет. А сперва — поднялась волна:

Сладкая.

Горькая.

Плеснула на А — вышло "горькое А". Но могло бы и "сладкое А". Удивительно. И на Розанова, господа, не очень-то "полагайтесь".

* * *

15.VII.1914

Массе людей, как-то я чувствую, церковь совсем не нужна.

"Роженица рождает — и, естественно, зовет попа": но, позвольте, ведь она рождает не 365 раз в году, а 364 дня она и "не зовет" и "не думает". Да и рожают не все: а девицы? а вдовы? А так, "старушки со сплетнями"? Им ни Бог, ни Церковь — вовсе не нужны.

И не нужны рабочему с хлопотливыми заботами о хозяйине, о работе, о вышивке и об "сударушке".

Не нужны чиновнику, — "тем более Его Превосходительство не молится". Собственно я. Я — прохожу ноуменальную полосу жизни, больна жена, сам стар — и мне церковь так нужна; и вне ее все представления бессмысленны.

Отвлечемся от своего "я" и признаем спокойно тот факт, что церковь нужна ноуменальным людям и в ноуменальные поры существования, — а феноменальным людям и в феноменальные полосы их жизни церковь и Бог не нужны.

”Что же из сего”.

Да ничего особенного. ”Мы” есть ”мы”, а ”они” суть ”они”.

И правы — мы.

Но и они — правы.

Розанов ”с религией”.

Что же еще? — Да ровно ничего. Набивая папиросы.

(за набивкой табаку)

* * *

15.VII.1914

Что же из сего следует?

Да то, что феноменальное бытие ровно столько же реально, как ноуменально, — так же упорно, ”ничему не уступит” и т. д.

Тело солнца...

И — Солнечный свет...

Которое вечнее? Нужнее?

Нужно ли спрашивать?

И Карл Фохт — никогда не уступит Розанову.

Но и Розанов — никогда не уступит Карлу Фохту.

И Лафарги всегда будут умирать равнодушно.

А Розанов будет плакать о ”вечной разлуке”.

И Карл Фохт уже при жизни сказал, что все, ”как Розанов”, — ему ”кажутся дураки” (Gegen!.....; надпись на поргьрете при ”Физиологических письмах”).

А Розанов по смерти его скажет о нем:

— Дурак.

* * *

15.VII.1914

Между разными особенностями и ”оттенками” Библии — знаменательна та, что если на нее наложить категорию ”отцы и дети”, столь равно-частную в Европе, то для ”детей” не найдется вовсе места, и ”дети” там не играют никакой роли. Иосиф Прекрасный и Товия сын Товита — почти единственные юноши. Дина, дочь Иакова, — единственная почти девушка; да, еще — Ревекка. И еще сестра Авессалома (Фамарь).

Но вообще так *мало*, что почти *незаметно*.

Еще, пожалуй, отрок и юноша Давид, в замечательной его ”дружбе” с Ионафаном, сыном Саула. Вот и почти все.

Причем замечательно вытеснение всего этого: ”молодое поколение”, пребывая в каком-то ”детском саду”, все глубоко покорно, послушно старшим; глубоко — безбуйственно. Хотя и не безлично. Но оно все умиленно-прекрасно в этом послушании, яко ”овца, стоящая прямо пред стригущим ее”.

”Примерного поведения”...

Отсюда Библия так воспитательна для юношества; чего никак нельзя сказать об европейских литературах.

Что же эти отроки и отроковицы, юноши и девушки делают?

¹ Против (нем.).

Да они и стоят "перед стригущим его": но замечательны ножницы у "стригущего".

Взрослые, отцы, матери, бабки, деды, "с такими огромными ножницами", только и делают, что "размножают" овец, как Иаков размножал доверенные ему Лаваном стада. Вспомним Иуду и его сына Онана: он его "женит" на взрослой женщине что-то 9 лет. 13 1/2 лет девушка уже считалась "богерет", "перезрелой старой девой" (в Талмуде); и как женили, так и выдавали замуж — "при первой возможности", сейчас же. И — предупреждая даже возможность: в "Талмуде" встречаются упоминания о браке пятилетних девочек. Как это было возможно — ни я и никто не может себе представить, — тем более что брак у евреев был только реален и нисколько не "символичен". Так. обр., "длинные ножницы" старшего поколения не столько стригли, сколько "гладили" тупой стороной овец и — "по шерстке", а не "против шерсти". Отсюда уже вытекла сама собою замечательная покорность младших: чего же тут "не покоряться"... Это не то что учить алгебру и решать задачи "с купцами". Совсем другая тема, другое поле, другие травы. "Так-то и Розанов мог бы быть паинькой".

Но отсюда-то, из этой раскинутости сада вокруг израиля, "где играли молодые козлятки", — вытекло полное отсутствие антагонизма между "родителями" и "детьми" и замечательное послушание детей, которое, повторяю и отмечаю, нисколько не было трудно и ни для кого — трудно. Но отсюда и далее — глубокий мир вообще Ветхозаветных книг. "Щиплют траву", "играют". Кой-когда, редко-редко — заденут рожками — козлики: это случаи — излишеств и уже слишком близких и родственных плотских связей. Но это чрезвычайно редко случалось вследствие преизобилия вообще всяческой кругом травы. "Не надо". "Лишнее". "Каприз". Но и он (в Талмуде) — всячески оговаривается и извиняется.

Вообще замечательно в израиле — тенденция "вырасти в субботу"... "Все растет — в субботу", в праздник, в свет, в радость. Избегая понедельника и вообще трудовых дней. Труд как-то ласково устроен без скорби и уныния. "Труд — последствие греха": а ты — постарайся не грешить. "Не грешить" — т. е. радоваться; т. е. веселиться с молодой женой. Не воевать. И прочее.

Отсюда в "отцовской Библии", где все поле занято седобородыми старцами и почерневшими от лет бабками, — столько идиллического счастья. Дело в том, что и "бабки"-то и "деды"-то не знают лучшего, как под вечерок сесть на "завалинки" (скамья перед жилищем) — и смотреть на игры козлят. Посмотрите-ка:

женились — в 13 л.

в 27 л. — деды.

в 40 л. — прадеды.

в 54 г. — прапрадеды.

А жили до 100 лет: таким образом, "на завалинке" перед ним игрался целый народок, вышедший "из чресл его". Тут такое разнообразие тонов, теней, оттенков, такое разнообразие красок и подкрашиваний, что "в театр ходить не надо", ни — для зрелища, ни — для волнения крови. И — "картинных галерей — не надо". Пот. что зачем же я буду смотреть на "Ревекку у колодца" Рембрандта, когда передо мною 14 Ревекк — и среди дочерей, и среди внучек, и среди жен, еще и среди еще возлюбленных.

"Каши так много, что зачем же мне мякина".

Так они жили. И вот весь дух Библии.

Он — религиозный. Потому что как же им было не благодарить Бога.

* * *

15.VII.1914

...однако через всю мою литературную деятельность проходит борьба с Гоголем, и ни о ком столько моя душа не страдала, и ни над кем из писателей столько душа не трудилась.

Да ведь и он — единственный.

Ни в одной литературе нет Гоголя.

Он — страшный.

И вот около этого "Страха" я все хожу и обдумываю. 24 года. Нельзя не сказать, что это даже добродетельно. Мой труд о Гоголе есть добродетельный. Именно — труд. Работа. Забота.

(за набивкой табаку)

∞

Мне кажется, что после меня можно думать "о Гоголе" только в той сети противопоставлений, какую я дам. С ее "да" и "нет".

Его нельзя рассматривать прямо.

Его надо рассматривать именно через сетку.

И как смотришь на Гоголя, то смотри на север, на юг, на восток и запад.

"В одну сторону" — нельзя.

* * *

15.VII.1914

Все мне говорят, что Кускова — при всей ее сумбужности (когда же баба бывает умна) — женщина с добрым сердцем.

А это — главное.

Ее забота о молодых девушках — трогательна.

Ее *боль*, что они отходят...

Кто в наше время болит о ком-нибудь. Она явно болит не о том, что через "отхождение" малится революция, а о них самих, отходящих девушках, о "разлуке"...

Это — замечательно и ново.

∞

На "таких тонах" я мог бы помириться с революцией. Мне, собственно, до "идей" — равно наплевать. Я ненавижу революцию и особенно *революционеров* за их грубость, плоскость; за то, что "происходят от обезьяны", за то, что "с ножом" и леденцом во рту (сосут сладкое, самолюбьице). За то, что они мелкие и плоские люди, — уж не чета Рцы и Флоренскому.

В сем отношении у Кусковой, как и Ан. Павл. Философовой, был прелестный нежный тон. Дар любви. Дар памяти. И посему они две

составляют исключение, и для них я имею исключительное отношение.

(на обороте транспаранта)

* * *

16.VII.1914

Радость. Оказывается, не Некрасов присвоил 95 000 рубл., данные (вексель) (Огаревым) своей жене (старухе, большой и алкоголичке, — но очень талантливой и даже необыкновенной). См. письмо Некрасова об этих деньгах Тургеневу: "Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например. Если вина моя в том, что я не употребил моего влияния (на Головачеву-Панаеву, которой деньги были переданы Огаревой, — и с которой, т. е. с Г.-П-ой, Некрасов был в близких отношениях), то прежде надо бы знать, имел ли я его, особенно тогда, когда это дело разрешилось".

Как же мог Гершензон ("Образы прошлого") так прямо приписать это Некрасову.

В моих глазах это — главная тяжесть "всего Некрасова", и слава Богу, что этот могильный камень отваливается.

Нет, он был "Соловей-Разбойничек", но не Петербургский шулер. Натура лесная, полевая и с интересом к "чужому товарцу". Но одно дело — обоз разграбить, и другое — объегорить "на векселях".

Сл. Б.

(За И. И. Иванов: "И. С. Тургенев", стр. 35—36)

* * *

16.VII.1914

Почему вы думаете, что кроме "любви моей" и "любви вашей" — нет Духа-Любви: который, оскорбленный бесчисленными обвинениями, заподозриваниями, насмешками, оклеветаниями, — не отлетел от Земли или не отлетает — поднимаясь и вновь возвращаясь из жалости.

И некоторые еще любят. Немногие.

Но все меньше и меньше. Расстраивается организм любви.

Расклеиваются две половинки человеческого рода...

И вот, глядите:

Девушки собираются роями, вместе, дружно, не ища и скорее избегая общества мужчин.

А господа "кавалеры" рассаживаются за картами или пододвигаются к буфету, — с закусками и бутылками с "макао" и еще как их, — предпочитая угор нервов "всякой женщине".

"А женщину мы возьмем и на Невском", — говорит мерзавец.

(встав поутру)

* * *

16.VII.1914

В Каткове было нечто непереносимо сухое. Помилуйте, — о человеке нельзя рассказать никакого анекдота: что же это за человек? Ни одного приключения — ни любовного и никакого. Томительность — пустынная.

Для меня необъяснимо, откуда у него стиль? А он был.

Катков не был вовсе очень, очень-очень умен, а только — умен, и даже очень. Он вовсе не понял статьи Страхова "Роковой вопрос", а буря, им поднятая из-за непонятой статьи и поведшая к закрытию единственного культурно-славянофильского журнала "Время", произвела непоправимый "провал" в журналистике, которого не мог заменить его деловой и сухой "Русск. Вестник".

И опять какой же журнал без приключений и анекдотов. Там писали тайные советники "с университетским дипломом", а не журналисты.

Скука, холод и гранит.

Но все-таки у него был "стиль", и он был "писатель". При жизни его значение, влияние, слава у нас и за границей — были огромны. Но когда он умер, то тело его как будто "рассыпалось" (бывает). Ничего не осталось.

И теперь — ни слуху, ни духу.



Ужасная судьба. Такой полной бесплодности для литературы.



Я даже не понимаю, как будет введена глава "О Каткове" в "Историю русской словесности". Нельзя вообразить, представить.



Не в этом ли суть, что взор Каткова был фиксирован на правительстве, а не на душе человеческой.

А ведь "правительства" — так преходящи. "Правительство" — это "министерство Валуева", или "м. Тимашева", или "м. Толстого". Победил — Толстой, "но что нам до этого"? — "Теперь"?!!!



Теперь Конституция — и "все Толстые прошли". Они умерли поистине смертью, из которой нет воскресения, и на гробе их лежит только листочек написанного папируса.

Это "древняя история", слишком древняя. "Были Псаметих, Солон и потом — Толстой", а из ораторов — "Демосфен, Цицерон и Катков". Слишком скучно.

"Я не гимназист, чтобы учить этот урок".



В чем же дело? А позвольте: что "из живого Каткова" связывается с "живым Розановым"? Ничего. У Гилярова-Платонова — есть, у Рцы

— есть, "хотя они и умерли". Гиляров-Платонов объяснил философское и мировое значение слова и понятия "так" ("так" происходит, без *причины*). Гениально. Ново. Осветило ум Розанову. И Розанов помнит.

"Но он низверг министра Сабурова и потом еще флигель-адъютанта Игнатьева (мин. вн. дел)". Мне до этого дела нет.

Вот когда я стану тоже "Псаметихом", т. е. тоже умру... Но и в гробу я отвернусь в другую сторону от Каткова:

— У тебя сухие кости, и я могу о них только стучаться. Не хочу.



Ужасная участь. А все оттого, что без анекдота. Без веселости, без "физиогномии". Маска — ужасная маска, гипсовая маска. И она рассыпалась.

(*"за анекдотами о современнике"* у проф. *Ив. Иванова*)

* * *

17.VII.1914

Самодовольный радикализм как хорошо вычищенный медный пятак блестит, горит и обещает миру, что на него можно купить.

Полное счастье.

Для цельного мира цельное счастье.

— Вот и Пешехонов говорит. И Дмитрий Владимирович уверяет. Дмитрий Сергеевич кушает рисовую кашку с курицей и сахаром и, подняв голову, замечает:

— Да, конечно. Мне в Париже говорили. Вот и Зина так думает.

Счастливые мои друзья. Как вы счастливы. Маленькая идея в голове может устроить полное благополучие человека. А палец, положенный на глаз, закрывает целое солнце.

Вы вполне счастливы. Я не так счастлив. О, я отдал бы мою жизнь за "мысль, из которой проистекает полное счастье". Я думаю, и каждый отдал бы. Но не приходит такой мысли.

Вам она пришла. Счастливы. Да не спросить ли вторую порцию рисовой каши и еще сахару.

— Ура! Господа! Вот я скушаю кашку, и у вселенной начнется новое пищеварение.

Где они находят такие "эврики"?

А впрочем, и Богучарский подтверждает. Мы с ним в дружбе.

Вот сейчас войдет, и мы тоже усадим его за рисовую кашку.

Где такая "луна из таза делается". В доме Мурузи, на Литейном. Ей, ей. Не сегодня-завтра градоначальник придет вас поздравлять с успехом и принесет привилегию на изобретение "полной и окончательной луны", которая в отличие от несовершенной теперешней — "без ущерба", "не закатывается": но "будет гореть до скончания мира" как полный медный таз: чудеса и успехи. В полном смущении улезаю под стол.

* * *

20.VII.1914

Сидит на корточках, весь обалдел. Я нежусь под веником. Он вполголоса:

— Пивка, ваше благородие.

Я слышал, что выкрикают старосте: "Пару пива". Но не понимал годы. И через годы догадался. Теперь шепчу:

— Хорошо, хорошо.

Он продолжает. Совсем как безумный. Ведь я — парюсь, а он натуральный. И шепчет:

— Может, парочку?

— Хорошо, пару.

И, говоря, провожая, нежно мне: "Будьте здоровы", зычно кричит чуть не по-протодияконски через всю раздевальню:

— Староста, пару пива.

Это значит ему "особо" подают за мой счет две бутылки пива.

Две бутылки — 30 копеек. Я всегда прежде "в руку давал" тридцать копеек.

(прися из бани; все бани, кроме 70 копеечных, заняты оказались под "запасных". Исторический день Европы. На улицах, едя в бани, слышал: "Новое прибавление: Англия объявила войну Германии"). (Понедельник)

* * *

20.VII.1914

Дело в том, что христианин стал скупой человек. Долго этого не было, и никто не предполагал, что это возможно. Ведь хр-во — религия щедрот. Все оставлено, все забыто, все прощено.

Но было так грустно и тяжело: Византия падала. Напирали "аланы", "свевы" и Хозрой. Здоровьишко императоров было слабое, да и права наследства (их) не утверждены. "Светопреставления все не было". Было время обыкновенное и в нем все неудачи.

И стали люди скупые. Они были скупы, а в то же время окрещены. И появился скупой христианин.

Появился Заозерский.

Появился Иоанн Филевский.

Появились "все они" — и даже он, мой любимый.

Все скупы, п. ч. все несчастны. И все несчастны, п. ч. все дурны. И все дурны, п. ч. все слабы.

* * *

22.VII.1914

В конце концов: для чего же мы существуем? Какова цель всемирной истории? Или — по Фихте и Шеллингу — Всемирного Духа.

Нельзя не сказать, что отчасти мы и существуем просто для совокупления и еды; или, метафизичнее и личнее: чтобы совокупляться и есть. Т. е., м. б., прав тот ответ, какой дают Фихте, мусульманская мистика, "омовения" и "Гурии", и — Зогар (жидовское обрезание и миква).

Может быть, очень может быть. Отвлечемся от ненужных нам мусульман и евреев и останемся "с собою". Русских 140 000 000. В среднем возрасте 60 000 000. Если полагать, что одно совокупление приходится на три дня, то "сегодня" придется, за всеми вычетами, — 16 000 000. И, деля на "пары", получим *восемь миллионов* — чистых.

Это чего-нибудь стоит.

В смысле — сытости, радости, наслаждения, результата (дети, зачатие их).

Нельзя же в "цель истории" вводить только "цель Гёте". Нужно не забывать и "малых сих". И Бог, конечно, не забывает их. Но что он им дал определенное? Одежды — "укрывают", в доме — "живет", еда — поддерживает работу тела и есть то же, что дрова для фабрики. "Но какой ситец она выделывает?"

На этот вопрос нельзя ответить иначе, как указав на единственную радость, данную всем тварям Богом: совокупление. Библия и сказала, — *до* всех заповедей и *во главу* им всем: "Оплодотворяйтесь! Размножайтесь! Наполните землю".

И так бычки и курочки. Свиньи Элевзинских таинств.

"Цель Гете и Фихте", "Civitas Dei"¹ бл. Августина и папство — этим не исключаются. Но они этим не ограничиваются. "Цель всемирной истории" как *δύναμις*² ограничивается целью всемирной истории как *status quo*³. "Позвольте, — говорит Акакий Акакиевич, — и я тоже хочу жить". Нет — больше и великопнее, и истиннее: "Позвольте, господи всемирные историки: вы меня исключили из цели всемирной истории. Но Бог — против вас: Он меня тоже включил во всемирную историю. Но единственное, что я могу и умею и о чем радуюсь..." Тут он "перекрещивается" в Макара Девупкина и кончает:

"Я — любил. Женился. И у меня будут дети".

Конечно. Не только Шлоссер, но и бл. Августин поперхнется, прежде чем возразить.

Таким образом, не "Персия, покоренная Александром Великим", входит в планы всемирной истории: но и домашнее счастье 10 000 греков, женившихся на персиянках, и 10 000 персов, взявших за себя замуж гречанок. Вот. Есть баобабы; но — и травка в поле. И она тоже у Бога и в природе.

* * *

22.VII.1914

Я раб, взбунтовавшийся против своего господина.

У меня нет ума его, его гения... Борьба с ним я не могу, с его схемами, с его обобщениями.

Но я просто не хочу туда идти.

— Куда ты меня тащишь, к своим колдунам и в свое колдовство. Я хочу умереть под старыми образами Руси. И не надо мне ни "Рима", ни мертвой Анунциаты.

(*мое отношение к Гоголю*)

¹ Град Божий (*лат.*).

² сила (*греч.*).

³ существующий порядок (*лат.*).

24. VII. 1914

Брусники не собирали и образовали конституционно-демократическую партию.

Очень естественно.

Они не знали ничего из местностей "России", из тех "прохлад" ее, ради которых русскому человеку приятна жизнь в России; и эта жизнь представлялась им унылою, тяжелою, неприятною.

Разве можно представить себе, чтобы редактор "Освобождения" когда-нибудь сходил в баню? Итак, *еженедельная* "прохлада" русского человека была чужда ему; и еще с тем "прибавочным", что дают майские веники, до того пушистые, что с ними можно сравнить только сады Соломона.

Ни "своей коровенки" и "своего молочка", — *именно своего*, — не знал Франк. Конечно, он задумал "партию народной свободы".

Они все томилась. Чистосердечно. Но не заметили, что это было *внутреннее томление*, происходящее у *нерусского человека от жизни в России*.

Вера Фигнер "не выходила замуж в России", у нее не было "любого мужа", как говорит пани Катерина Бурульбаш своему отцу-колдуну, который ее "взял *во сне*"... Ни Вера Засулич, ни Софья Перовская — они все не имели "любых мужей" и не растили деток на Руси.

Что им была Россия? Чужая. И в чужой России они задумали Россию. Как те, Франк и Струве, задумали преобразовать ее "конституционно-демократически".

Позвольте же нам сказать им могучее:

— Не хочу.

Мы приняли конституцию, пот. что Царю было угодно *так* управлять Государством, через выборных. И хотя в "17 октября" стоит оговорка, что "никакой закон не приемлет своей силы *без одобрения* Гос. Думы", — но эта-то оговорка или "Виттевское *стало — в горле*" и першит нам, противно нам, противозаконно нам. Нам кажется, здесь действительно "ограничение царской власти", и это донельзя нам несносно, нам страшно, нам отвратительно. Ибо хотя законы, подsunутые Царю для подписи боярством или чиновничеством, — действительно противны и часто бывали вредоносны: но зато каждый закон, какой даровал России Царь, — даровал активно, Он Сам, и с полным сознанием — такой закон всегда примет Россия, и он будет благоденствен России. Да мне кажется, это и *есть*, это незаметно *сохранилось*. Уже в нынешнем 1914 году, т. е. через 9 лет после "17 октября", в рескрипте на имя вновь назначенного министра финансов Барка Государь "преподал указания насчет сокращения пьянства, уничтожил "чарку водки" в войсках и флоте, и указал, чтобы "бюджет" и "сила казны" не основывались на народном "пьянстве", и это *единоличное слово* Царя поворотило русскую внутреннюю политику более, чем все "законодательство 1914 года", все эти мелкие и дробные постановления Г. Думы и Г. Совета, которые у нас именуется "вермишелью".

Т. обр., "17 октября" ограничивает по-старому, по-московскому "самовластие боярства", которое в Петербурге и в XIX веке преврати-

лось в "самовластие министров" (своеобразная "семибоярщина"), и только. А лик Царя по-прежнему велик и лучезарен.

И грибки...

И малина...

И всякие ягоды...

И охота на уток...

И золотая рожь в поле...

И зеленый березовый борок.

Вот.

* * *

24.VII.1914

...да и есть содомский союз...

Он не только заключен был вблизи Содома, но и по существу своему был содомической связью между "Он" с большого "О" и "он" с маленького "о". Так как супружество есть цель союза и оба — мужского пола. Мужчина, выходящий замуж за мужчину, — образуют содомический акт.

Тогда понятно, и впервые вот из этих моих строк становится миру понятно, почему *формой* и *образом* его заключения было обрезание; почему было потребовано — не что-нибудь другое, а *это*. "Возьми в руку и нечто сделай с *этим*, для придания известного *вида* и *состояния*", — нужно, чтобы "все началось", — это *lex et imago primaе noctis conjugum*¹... Так все и "начинается", — то есть "приступив к делу".

Это совершенно невероятная мысль, и дело, заключенное в обрезании, никогда не могло быть разгадано именно по невероятности ее, по "не могу представить" для каждого, по "не могу поверить", "не смею думать".

Но... сущность именно в *этом*.

Отсюда: "не нужно женщины", "женщина вне союза"...

Хотя *потом* в "трудах и днях" *осуществляется* через женщину — жену... Через ее "уста"... Отсюда и изъяснение этих форм человеческого тела.

Человек в фигуре своей имеет *перед* и *зад*, *лицо* и *затылок*, *грудь* и *спину*, — от макушки головы до пяток. "Лицо" и "затыльная часть" в голове, в туловище, в кистях руки и в ступнях ноги; в *самой* руке и *самой* ноге. Там и здесь — разная психология, вид, характер. Но — не только...

Ниже препоясания и выше препоясания человек тоже расслаивается в две некоторые шарообразности: и верхняя имеет один *пол*, а нижняя — совсем *другой пол*. Яичко пчелы, которое оставлено царицею-самкою без оплодотворения, дает из себя *трутня-самца*.

Т. е. *in se et solum*² яйцо женское содержит зародыш *самца*, и, след., *ovum in se*³ есть мужского рода существо. Это — метафизическое открытие, это — эврика. След., жадное соединение яйца и сперматозоида

¹ закон и изображение первой ночи брачного союза (лат.).

² в себе, и только в себе (лат.).

³ яйцо по себе (лат.).

есть влечение мужского яйца к женскому выделению якобы "мужских органов", которые на самом деле суть женские, женообразные, женосущественные органы; тогда как у женщины ее половые органы суть мужесущественны. Тогда что же мы увидим? Что в глубине вещей в "нашем обыкновенном" содержится *actus sodomicus* в его наиболее страшной форме, которая описывается не иначе как в словах латинского, *мертвого языка*: ибо лишь слух глухих мертвецов не оскорбится этим. Но евреи, которые "о всем догадывались", в образ совершения своего обрезания и ввели, как неприменную часть, — этот *actus sodomicus*, который пока с младенцем — кажется "как будто ничего": но на самом деле иносказательно разъясняет, что такое обыкновенное "совокупление", к совершению которого призывается весь израиль первую заповедью.



Наше министерство просвещения — это сплошь ремесло.

Художество — даже в голову не приходило.

Разграфили черточками предметы. Назначили "число уроков". Со- считали жалованье. Учителя должны быть "по такому-то диплому". Все — графа, черта, канцелярия, и — ни пяди далее, ни на вершок глубже.

Особенно посему можно думать, что "просвещение совсем не начиналось".

Что это? Почему?

"Все нигилисты" (из школы выходят). — Да вы, господа, сами нигилисты. Неужели это не нигилизм свести просвещение в графику?

Черта. Линейка. "Ведомость". Статистика.

— Это мертвец! Сколько трупов у тебя записано? Не просчитайся: ведь очень важно знать, что ты хоронишь ежегодно не 80 000, а уже доползло до 95 000.

И мертвый считает. И оскаливает зубы. И, поворачиваясь к "стране", шамкает:

Скоро до 100 000.

Но страна довольна. У, дикая, тоже мертвая страна. Лучше бы сему племени никогда не сгонять из "сих мест" оленей, "птицу гагу", "медведей и лосей". Тогда она была неизмеримо красивее и "Богу угодна".

* * *

26.VII.1914

Человек должен *выболеть* грех свой...

Т. е. не "должен", а на это он *обречен*.

* * *

27.VII.1914

Страхование просто жил в слишком высоком этаже, и его не могли еще *читать и понимать*.

Уровень русского образованного общества есть уровень уездного училища, а нисколько не университетский.

В университете мы учимся совершенно искусственно, т. е. искусственно нас туда переводят и там навязывают какую-то реформацию, католицизм, античную культуру. Все это "иностранные слова" из словаря Михельсона ("иностранные слова, употребительные в русском языке", — видал гимназистом), которые мы заучиваем столь же тщательно, как и безуспешно. Заучиваем, мотая головой и упираясь.

Дальше элементарной "Дубинушки" нам трудно пойти. "Дубинушка" же усваивается легко и сразу.

Англичанин-хитрец,
Чтобы силу сберечь,
Открывал за машиной машину
.....
Запевал про родную дубину.
"Эй, дубинушка, ухнем!
Сама пойдет..."

Студенты, когда поют это, и не догадываются о глубокой иронии над собою.

Шперк мне как-то сказал:

— Что вы думаете, — Достоевский если и прочитан, то только ради занимательности фабулы романов, как читаются Зола, Мопассан и Боборыкин. Но *мысли Достоевского* и вообще Достоевский, с нашей *точки зрения*, вовсе неизвестен русскому обществу. Это слишком трудно и сложно и рано русскому обществу.

В самом деле!..

Я слушал Шперка как какое-то открытие.

* * *

27.VII.1914

А ведь "царица-то Суббота", господа, — с бородой.

∞

Ибо "Ветхий Деньми", вступивший в завет с Авраамом, — имел, конечно, "седые развеваемые волоса", как у нас изображается...

Разгадывается, разгадывается Иуда (Изр.), — разгадываются "преисподние земли".

∞

Володя, приговоренный к повешению (сейчас услышал от Домны Васильевны), где-то околачивается за границей, а (очевидно, — сужу по рассказу самого Столпнера) ревизовавший его Столпнерчик, "живя аскетом" на Петербургской стороне, все-таки принимает участие в религиозно-философских прениях и читает специальные лекции "своим".

Так он подкрадывался ко мне, этот Столпнер. И лишь через два года я разобрал паутину.

Жалее ли Володю Столпнер? Пусть об этом скажет в сердце своем.

Нет, евреи: главное-то в затеянной вами (или продолжаемой вами далее) революции: выбить как можно больше (руками правительства) из строя молодежи и расчистить место "своим". Этнографическая, и служебная, и денежная конкуренция.

А революция — та "наковальня", на которой еврейский молот выбивает себе венец.

* * *

27.VII.1914

У нас русские молодцы, у нас русские умишки, у нас русские — сводомыслящие.

Зачем они будут повиноваться Царю. Они будут повиноваться еврейскому банкиру и Кугелю из "Дня"...

Бикерману, Айзману и Шелому-Ашу.

— У вас говядина и библиография.

И аскетический Столпнер снисходительно сошьет панталоны нашему Володе. "На счет революционного фонда". На самом же деле возьмет деньги у знакомого банкира.

Так и будет ходить революционер Володя в панталонах, сшитых ему банкиром.

* * *

29.VII.1914

Единственно, кто серьезным глазом и как на серьезных людей смотрел на народ, — было правительство и народные пословицы.

Правительство брало из народа рекрутов на службу, взыскивало с наказанием — налоги, казнило и наказывало мужиков, "нашего брата" (моя бывшая — в детстве бедность). Все это в высшей степени серьезно, под всем этим кровь течет, все это обросло суровой мозолистой кожей. Тут нельзя "играть в бирюльки", п. ч. за бирюльки самого выпорют. Перед правительством мужик должен был стоять ядреный, трезвый, не меньше такого-то росту, чтобы "в солдаты вышел". И баба при нем: ядреная, с детьми.

Все это в высшей степени зернисто, сильно и хлебно.

И мужик, хотя получал иногда "в рыло", любил это серьезное к себе отношение, потому что по нему он измерял свое серьезное положение в мире.

Он понимал, что если его "муштраят" и "дают в рыло", то потому, что он "нужная вещь", кому-то "понадобился" и без него нельзя обойтись. Он был как девка, которая "уродилась в замужество"... На "Государство" и далекого "Царя" он смотрел смутным и великолепным взглядом как на "мужа" своего, — который его "управит", который его "прокормит", иной раз "ушибет", но около ушиба и "приласкает"...

Так стоял мужик, как гренадер перед царем и царством.

Как-то я поражен был, читая "пословицы русского народа", распределенные по категориям, — по "предметам", как бы в "предметном указателе". Именно, я натолкнулся на следующую:

"Кто не слушается отца, послушается палача".

Т. е. своевольничающий мальчишка в семье, вроде нашего Чернышевского, — послушается со временем "палача". С Чернышевским так это и вышло. Связали голубчика и выслали к черту.

Но совершенно так учит ребятам своих и мужик в избе: "Э, не слушаешь меня: придет кто *построже* меня и *справится* с тобою".

Правительство для народа есть "дальнейшая справа", которая "сможет", чего не доможет отец-мать.

"С правительством разговоры коротки", оно "тебя упрячет". "С правительством германский император разговаривает с уважением и почтительно", а не то что мужик Фалалей.

И мужик Фалалей боится.

Вот.

Теперь эти бирюлькины, друзья и недруги Тургенева и Герцена. И прилежный к графину Глеб Успенский. И Л. Толстой с великолепным Алпатчем ("Война и мир"). Малина и малишчики. Варенье варить умеют, а хлеба сделать не умеют все эти господа. "Хорь и Калиныч" не стерегут лес казенный, как подобает заправскому мужику, ответственному и разумному: а они "разговаривают" в лесу, и лес, право, и существует для того, чтобы их послушать. В существе же дела ни "леса", ни "крестьянства", а только тургеньевская литература, пробирающаяся от мужика к <...> Как хорошо "говорят" Хорь и Калиныч, так потом будет хорошо "говорить" Одинцова и Базаров. Мужик это смекает и говорит: "Мы тут ни к чему", — и предпочитает иметь дело с исправником, который смотрит на него как на лицо, а не на бирюльку.

Мужик не уважает барской о себе литературы, п. ч. она — в точности барская и туенядная, снисходительная и неуважающая, в тайне вещей художественно-восхищенная, но морально-холодная.

Ему теплее становой и поп, который меньше семи рублей за свадьбу не возьмет. Казалось бы — ужасное отношение, и оно снисходительным "господам", которые не бьют и не взыскивают, и кажется "ужасным". Но мужик тоже на базаре за воз сена "гривенника не спустит", потому что и сено — трудовое, и гривенник — трудовой. Он знает истину, открытую Адамом Смитом, что "гривенник есть не *десять копеек*", а "одна десятая *трудового дня*". Вещь, "господину неизвестная", хотя он и прочел Адама Смита. Итак, мужик почитает станового и попа, п. ч. это — те же "труженики", как и он, в разные наряды наряженные и к разным категориям труда приставленные. Он смотрит *серьезно* на них, как на серьезных членов мира, взаимодействующих с ним тоже как с серьезным членом мира. Мужику это, естественно, нравится, потому что во всем этом он видит связь, смысл, начало и концы, основание и завершение. Ему — все понятно, разумно и твердо. Но в Тургеневе он ничего серьезного не видит и смотрит, что он в "Хоре и Калиныче" подает ему две копейки, как даже не нищему при дороге, а как медведю у татарина, который перед ним "поломался", а Тургенев это "срисовал". Его просто корбит подобная литература о себе, он находит оскорбительную и унижительную эту литературу о себе, он ужасается этой возможности смотреть на себя, как на "срисовываемую вещь", когда он мужик большой, исправный, налоги платит, с бабой живет, Богу молится.

Столько важного делает, и "господа" этого не заметили.

Им бы только "разговоры Хоря и Калиныча"...

Баловство...

"Господин" балуется надо мной, — балуется с бородой; как — он же, пока был безусый, "баловался с нашими бабами"...

"Оставь"... "Не приставай"... "Не до тебя"...

* * *

9.VIII.1914

Литература праздношатающихся...

Вся наша литература есть литература праздношатающихся. *Трудово-го начала* в ней не то чтобы мало, но и совсем нет.

И Мякотин и Пешехонов, всеконечно, только шатаются около трудовых тем и трудового люда. В их собственных строках, вот как я "обмакнул перо в чернильницу и написал строку", — вовсе не надышено потом, мозолю и усталостью от труда.

Только один пиджачок. Да, он поношен и как будто "трудовой". Но это лицемерие и тайное щегольство.

— Да, я без галстука. Просто. Когда же заниматься этими глупостями. Я думаю, когда-нибудь и Философов "преодолеет себя" ("нужно преодолеть человека", Ницше) и наденет кумачовую рубаху.

"Просто".

∞

Тон *высокомерия* появляется уже в "Горе от ума". Только милый Пушкин и вообще милые старики, начиная с Державина, не были высокомерны. Но с Грибоедова и вообще чем дальше, тем больше появляется несносный тон высокомерия, чванство, претензия верховодства в литературе. С тех пор, когда она оказала некоторые и многие заслуги, например освободила крестьян, уничтожила взяточничество, заставила преобразовать суд, — она "не разговаривает" даже с министрами. О Государе, о Церкви даже и не "упоминает". "Мы и Виктор Гюго"; "Это было во время, когда писали я, Тургенев и Герцен". Вообще "за хвостик" Тургенева и Герцена все держатся, и этот хвостик многих наполнил упоением.

Но они все "так любят народ". Да — "Бедных и малых сих". На это надо обратить внимание, что вся любовь к народу в русской литературе есть снобическая (снобы) и почти есть любовь к другой и низшей расе. Посмотрите, как Фаресов снимался "с моим другом крестьянином Иваном Семеновичем" и как Некрасов посвящал свои охотничьи стихотворения "крестьянину охотнику Сидору Карпычу". Так важная барыня тысячника, давая на паперти церкви копеечку нищему, вздыхает и тщеславится великолепным сознанием, что "этот нищий есть такой же христианин, как я, и, может быть, выше меня". Когда барынька так сказала, что вот именно "выше", — она чувствует себя прямо на лоне И. Христа, придя домой, с таким удовольствием пьет кофе. Так, Фаресов и Некрасов около крестьян. Вполне блаженны, когда вполне демократичны.

И демократом затянуло литературу.

Но тайно это высокоаристократическая литература. И не природно и уроденно аристократична, а как вчерашняя чуйка, сегодня вышедшая в дворянство, *дослужившаяся* до дворянства. Ибо ведь он никому не рассказывает, — а втайне и на самом деле только недавно начал читать "Историю цивилизации в Англии" и из нее узнал, что народ — это хорошо".

Так. Мы требовали освобождения крестьян и новых судов. И нам все дали. Соглашаюсь, заслуги большие, т. е. если "все от нас произошло". И если Царь только хлопал глазами от удивления к "Муму" Тургенева и больше, чем министров своих, боялся Герцена. Легенда в литературе о своих заслугах именно такая.

Я не умею доказать и даже выразить, но каким-то "одиннадцатым чувством" в себе чувствую этот кроваво-хвастливый тон, это — что литература чувствует народ как низшую около себя расу париев, на которую она "призрит" ("призри на рабу свою" — Руфь Воозу). От этого наша литература, хотя кажется самою демократическою из всех мировых литератур, — на самом деле и в тайне души своей есть варварско-аристократическая: в ней есть что-то схожее с духом и приемом тех маркиз Louis XIV, которые не стеснялись принимать ванну в присутствии мужской прислуги. Русская литература всегда и вся была церковно-богоульна и государственно-богоульна, без малейшей мысли и без малейшего беспокойства о том, что народу это может "не понравиться".

"Кто сей раб, что может осудить мою З.....?" (маркиза). Литература вообще в высшей степени не стеснялась народа. Ни в одной литературе нельзя проследить мысли: "народ *присутствует*".

(вагон; Луга—Петербург)

* * *

9.VIII.1914

В сущности христианства я есть истинный язычник, и в сущности язычества я есть истинный христианин.

(вагон)

Так же смиренен...

И стою безмолвно "перед стригущим меня"...

Только с высунутым языком, и хвостик дрогает.

* * *

10.VIII.1914

Почти историческое слово Меньшикова (М. О.). День на 3—5-й, как была объявлена война, — и по обществу разнеслась эта музыка и "умягчение сердец" (Дума и инородцы и проч.), я, часу во 2-м ночи, и говорю в редакции Меньшикову и еще сотрудникам.

— Меня занимает больше всего, что, мож. быть, война великим подъемом душ, великим одушевлением и идеализмом... *погасит* на $\frac{1}{10}$ нигилизм — главный предмет моей заботы и душевного мучения.

Минуты через 1 $\frac{1}{2}$ Меньшиков ответил:

— Нет. Нигилизм *глубже этой войны*.

"Глубже этой войны"... Война с Германией и мировая война. Которая, бесспорно, изменит вид Европы, — и, по всему вероятно, для России будет началом нового движения, — богатства, оздоровления, освежения. И Меньшиков, который никогда о нигилизме специально не писал и, по-видимому, не брал его темою вникания своего, — высказал суждение, которое, я думаю, и истинно, и глубиною своею превосходит, пожалуй, все, что "полемиически писали против нигилизма" Страхов, Гиляров-Платонов, кажется, — Данилевский (Н. Я.).

Удивительно. Вполне историческое слово.

Погодя, он заговорил:

— Однако же Ольга Александровна и Лидия Ивановна (Фрибес и Микулич) суть верующие, религиозные женщины и вместе очень образованные. У них это совмещается, они *имеют силу* верить, молиться...

Он не договорил. Заключение было:

— А мы — нет!!

Сейчас же вступили другие в разговор, — и так как дело свелось к "неспособности верить", к "бездарности верить", — т. е. в тоне речей почувствовалось это, то кто-то сказал, очень глубоко и дальновидно, что "уже Гомер первый начал рассказывать о богах *анекдоты*", — на что Меньшиков (кажется) сказал:

— Да. И язычество, может быть, было *свежо и серьезно* лет за тысячу, лет за 500 до Гомера: но уже увядало и рационализировалось к началу греческой истории.

Не замечательно ли? Такой разговор в "распространенной газете". Религия действительно есть *чудо*, и к дару ее способны только *чудесные* люди.

.....
Вот Сергей Радонежский. Вот Серафим из Сарова. Но это — не столько люди, сколько чудеса природы человеческой. Они "видели", они "знают". Им "Бог был близок".

Прочие? Даже из церковной иерархии. Они повторяют, косно и деревянно, — чего не разумеют; они *не смеют не верить*, "по положению" и "в виду народа", — а не то чтобы уже "верили".

Да. Религия — чудо. Чудо истории человеческой. Им воистину живет и держится человечество: но ее падает 1 капля на век, на целый век — одна благовонная капля от Бога.

Но — она *ЕСТЬ*.

* * *

10.VIII.1914

Женщина должна заутреннивать человека.

Не "должна", а ей указал Бог.

Разве вы не верите Библии?

Вот откуда костюмы и моды и вечные вариации их.

(умываясь поутру, вспомнил вчера барышню на вокзале; я смотрел из окна вагона, так что не очень уж близко. Она шла вдоль поезда; довольно красива; грудь ее была покрыта, скорее обтянута, но свободно, тончайшей материей, — и на ходу груди подавались то вправо, то влево, были живые,

— не скрываясь ни в форме своей, ни в значительной массивности и почти в цвете (розоватый цвет материи); корсета явно не было, этого поганого женского корсета, стали и тряпок. Шла завтрашняя семьянинка, полная достоинства)

А милые старушки?

Они омоют наше тело, когда мы умрем.

* * *

11.VIII.1914

Если что-нибудь особенно крепко сидит на корню своем и не уступит мольбам вашей морали, вашей эстетике и ссылок на "спасение народа" и "спасение души", — знайте, что это имеет под собою какое-нибудь глубокое основание, которого вы не знаете.

Проходите мимо этого осторожно и молча. Не смотрите и не отрицайте.

Таково "S" (история с Содомом). Такова история с Лотом.

Меня поразило одно место Талмуда (не отметил и не могу цитировать, но отчетливо помню). Вопрос идет, какие места Горы (пятикнижие Моисея, т. е. первые пять книг Библии) следует *читать вслух* и какие следует *пропускать*. Кажется, дело идет о праздничном чтении, в синагоге, — или даже, может быть, о семейном наставительном чтении, как у нас в лучших семьях читается "Училище благочестия". Ставятся обычные "да" и "нет" старцев закона: но в конце побеждает "большинство голосов" и "высшие авторитеты".

— Этого места в чтении *пропускать не следует*.

Мы же чувствуем необъяснимым чувством, видим каким-то одиннадцатым глазом своего зрения, что *без* этих рассказов о Содоме и о рождении сыновей дочерьми Лота от отца своего — Библия *не* была бы полна; что просто мы бы ее не назвали "библиею", "книгою книг", "книгою по преимуществу". Отчего? Что такое? Почему это необходимо для *полноты*? Библия в ее первых книгах ("Тора" евреев) представляется каким-то обзором корней, — обзором того, что нужно знать человеку, — обзором первоначального и общего в человечестве. Как же при этом обзоре можно упустить хотя бы один корешок, — сказать "не надо", "не важно", "пропустим" (об этом шел спор у старцев Талмуда).

Читая "Мирру" (Мирра — дочь, подобная дочерям Лота, но своеохотная, страстно влюбленная; рассказ — в "Метаморфозах" Овидия), удивительно переведенную в "Северных цветах" пушкинской эпохи, я был поражен: "*значит, бывает*". "Неужели бывает?!" Да, этот корень, очевидно небольшой, редко случаемый, тем не менее *есть* у Древа Жизни. Еще много лет спустя, читая воспоминания о Писемском А. Ф. Кони, я был поражен подобным сюжетом, где мать ревниво спрашивает свою дочь, ставшую в "такое положение": — "Говори, от *него*?" (история Лота). Дочь испуганно шепчет: — "Да". А. С. Суворин, когда у нас раз зашла (в "бесконечной болтовне обо всем") речь о подобном, передал мне, что однажды А. Ф. Кони сказал ему, что он знал такой случай, т. е. ему в судебной практике попался случай, когда две "дочери Лота" были в положении "дочерей Лота" и вот одна — умирает после

родов: то она, при вошедшем в комнату отце, не могла отвести глаз от него, и умерла любя, и, очевидно, бесконечно любя. Библия и есть единственная книга, не пропустившая этот корешок, отчего мы и говорим, что она нечто утратила бы из себя, не будь там этого рассказа. Тогда случай, рассказанный Кони, и сюжет, занявший Писемского, — мы как будто пришиливаем булавкой к рассказу Библии, т. е. все-таки знаем, "куда это отнести". Без рассказа Библии мы бы растерялись; мы бы были глупы и бессловесны перед фактом. Мне тоже случилось выслушать рассказ одного почти молодого и красивого человека, которого ко мне привел балетрист Федоров: молодой человек попросил у меня совета, как ему развестись с женой, которая, поживя с ним немного, — возвратилась к отцу, ибо он был для нее, как и для сестры ее, "Лотом". Это был еврей-талмудист и вместе присяжный поверенный, человек страшный, умный и развращенный (жалоба мужа). И, наконец, третье и последнее: мне, *по-видимому*, пришлось выслушать рассказ о смерти отца таковой "дочери Лота": он был исполнен такой нежности и глубины, он был таким *единственным* из всего, что мне случалось слышать о смерти родителей, из этих рассказов всегда почти холодных и равнодушных, "скоро забываемых" и "мелькающих", что не могло быть сомнения в том, где преимущество любви и силы привязанности. Да ведь и *так*, если мы всмотримся в существо корня и странную его загадку. Здесь мы имеем слияние двух никогда вообще не сливающихся чувств, нормально не сливающихся: *Amor patris, amor uxoris*¹. *Amor patris* мы в высшей степени одобряем и оплакиваем вечным оплакиванием, что нормально она бывает как-то холодновата, как-то немножко водяниста, бескровна. Ведь на этом равнодушии основана оплакиваемая культурным и историческим оплакиванием наша русская (не всеобщая ли?) распря "отцов и детей": И так, *amor patris есть*, но "всемирно жаль, что *недостаточна*". В это "недостаточно" и капает капля Лота: *amor patris* вдруг и неожиданно, редчайше и как будто случайно, осложняется другим чувством, существо которого, самое существо и ствол, заключается в том, что оно *пылает, горит* и что оно *сильно*, отнюдь *не вяло*. К тому, что "так нужно", прибавляется огонь. В рассказе, мною выслушанном, подробности которого не оставляют сомнения, что это была "история Лота", было поразительно слушать *тон рассказа*.

Семья — богатая; в высшей степени культурная; плодоносная в истории России, хотя и не в важном, скорее в тихом уголке ее. Потомства — не было. Прошел только роман, поистине не уступающий "Полю и Виргинии" — в таких же нежных и деликатных чертах. Грубого и сального, очевидно, никогда не было, и вообще это не было "от распущенности", а было что-то специальное и острое, определенно начавшееся и приведшее к близости. Ничего намекающего на тон пьесы Писемского (я, впрочем, ее не читал, — сужу по тону в передаче Кони).

Есть, друг Горацио...

¹ Любовь отеческая, любовь супружеская (*лат.*).

Вот почему старцы Талмуда сказали: "Мы знаем больше Горация и чем вообще западные мудрецы; и думаем, что история Лота помещена в рассказе о творении мира *не напрасно и не без иносказания*. Кому она не нужна — тем и будет прочитана равнодушно и мельком. Но ее нужно выслушать некоторым, и, выслушав, — они уяснят сами себя себе. Они не погибнут и не запутаются, как, может быть и даже вероятно, запутались бы и погибли без этого рассказа о Лоте и об его дочерях, от которых произошли два народа".

* * *

11.VIII.1914

Более и более прихожу к мысли, что я глуп: ведь тоска моя, отчего 60-е годы не проходят как "дым", как "роса павшая", — отчего и через полвека эта "роса" все "глаза ест". Тоскую, гневаюсь и пишу. "Тут и мой милый Страх". В то же время я "патриот, как никто" и хочу, чтобы "у нас" все было великолепно, могуче, а не "кое-что" и "мимолетно".

Хорошо.

То в таком случае чего же я сержусь?

Елизавета Кускова и уперлась: — "Не хочу сходить с места".

Допустим, что "60-е годы" был "нигилизм" и "ничто". Даже — "легкомыслие". Но ведь с точки зрения "все должно быть великолепно", *чем бы ни была эпоха*, она должна быть не "мимоидущая" и "преходящая", как "былие" (трава особенная, "легкомысленная"), а как дуб могучий, и крепкий, и вековой. "Вот тебе, Вас. Вас., и дан *вековой нигилизм*, с которым ты поборись-ка".

Не понимаю, чего сержусь. Моя же мысль, чтобы все было "устойчиво".

Отрицание у нас, у русских, действительно не "мелькнуло", а уперлось и могуче и... всеобще.

"Никто тело свое возненавидит"... Русские возненавидели свою Россию, — и об этом главный мой, самый главный плач за много лет. Русские кончат самоубийством; неужели это не доказательство (серьезности отрицания).

— Позвольте, Каин должен быть написан во весь рост. Это не карикатура и не шалость из "Стрекозы". Это — Библия. Вот вам он и Каин во весь рост, не меньше библейского — Нигилизм. Чего же вы сердитесь? У русских действительно все велико.

С этой точки зрения и Бакунин, и Писарев, и Нечаев, и Чернышевский, и "наш Амфитеатров" получают свое место. "Глупость в версту". Ведь вы не очень сокрушаетесь о глупости, а почему не "в версту"? Вот вам и "верста".

Так это очень серьезно. Что такое "нигилизм"? Бессилие к благородному. Человек пал и "Калибан". То этот "Калибан" не бабочка, а Чудовище.

Нигилизм русский стоит революции. Смотрите Пешехонку. Через 50 лет есть еще Пешехонка, т. е. "кое-что". Через 50 лет после Вольтера и "вольтерианства" какие же были "вольтерианцы". Через 50 лет были уже "романтики", т. е. совсем другое: а наш нигилизм все еще держится.

Нигилизм глуп и пошл, собственно, в *частях*, в *подробностях*; в *этом* выкрике: "Бога нет", — в *этой* Цебриковой, которая сидит перед

вами и рассуждает. Но в *целом* нигилизм очень страшен и очень велик, — именно как *порочность ума и души*, как великое *опошление человечества и истории*. "Опошление человечества": да, может быть, нет более великой темы и более грозного явления.

Тундры... все тундры... болота, все болота... Нет солнышка... холодно... холодно.

Позвольте, так это не пустяки.

Это — наш северный климат, наш приполярный круг. Наши "вологодские и архангельские" низины... Ими занимается Риттер, и занимается несколько не меньше, чем "жарским климатом".

Чего же Розанов тоскует? Величие есть.

— Величие *нуля*.

Позвольте, без *нуля* — нет математики. Без "нуля" ни одно число не пишется. "Ноль" равнозначущ и равноценен и равнометафизичен всякому "значащему числу" (цифре).

И без *нигилизма*, в сущности, нет истории. С чем же великие боролась, о чем поэты плакали, за что пророки проклинали. В существе дела именно за "нигилизм": не "нигилизм" ли греков, передававшихся Филиппу Македонскому ради "утилитарных соображений", изобличал Демосфен? не "нигилизм" ли патрициев оплакивали Цицерон и Тацит? не "нигилизм" ли церковников поднял бурю Лютера? Кто не "верит в душу" — он нигилист, кто "не верит в Бога" — он нигилист, кто "не верит в свое отечество" — он нигилист. У русских это обобщилось. У русских впервые это явилось как идея: не нигилизм "религии", "богов" и "Бога", "души" и "истории", а нигилизм

ОН САМ

— почти как лицо. Именно как Калибан или Хулиган. Это — велико. *СВОЕЙ ПЕРСОНОЙ*

вот он — Ракин ("Бр. Карамазовы"). Вот — Благосветлов. "У него и негр при дверях стоит". Двери из черного дерева с золотой инкрустацией. Демократ и лакей. Революционер и Холуй. Это — велико. Поверьте, это очень велико и до известной степени в размахе Шекспира. Чем он более вошь, тем он более Шекспир, — ибо уже такова тема и существо. Вы хотите, чтобы была "бацилла" в "доме"; бацилла холерная, которая творит дела, каких не сотворит стадо слонов, ни даже все леопарды и тигры на свете. Она чудовищна и страшна, деяния ее несравнимы со "всей зоологией", — а она *мала и не видна*. Таким образом, самое "существо" и "тема" нигилизма должны были выразиться в том, в чем они и выразились: в каком-то там "Деле", Ракинине и Нечаеве:

— Чем *гаже*, тем полнее *истина идеи*.

Гончаров написал "Взбаламученное море", Лесков — "Некуда", еще кто-то — "Вне колеи"... Какие все заглавия!! Видно, что люди собирали все силы, напрягали всю остроту ума, чтобы определить, выразить и понять. Гончаров назвал "Обрыв". Тургенев — "Отцы и дети". Достоевский — "Бесы". Вот сколько боролись, — не чета Василию Васильевичу. Никто, однако, не победил.

— Да почему?

Позвольте: да осушите вы *болото*? — да справьтесь вы с *глупостью людской*? Целое министерство просвещения работает и не может ничего поделать. Целое гидрогеографическое ведомство осушает и не может

высушить. Вся медицина ноборает бациллу, "которая не видна", — и победить не может.

Вот он упор бытия, крепость нуля, — непобедимость математики и мира.

Розанов! Розанов! Да ведь Библия и говорит тебе, что человек
НЕСОВЕРШЕНЕН.

И только это одно говорит нигилизм.

Если бы он "промелькнул" и был на пять лет, — это было бы поистине "пустопорожняя страница" русской истории.

Но при теперешнем, очевидно, "величии" его мы совершенно не можем предвидеть и сказать, "для чего он нам был послан".

По "диалектике Гегеля" мы должны ожидать равнозначащего периода *утверждения, созидания*, — равнозначащей "суммации идеалов", и тут...

И "тут" голова начинает кружиться от ожиданий...

Господи! Как Ты хочешь — так и будет.

(за реестром "Опавших листьев" за истекишие месяцы 1914 г.)

* * *

11.VIII.1914

Есть северная глубина, особенная, не из солнца. Глубина из того, что нет солнца...

Тут и нигилизм, — этот наш страшный нигилизм. И тихие селенья Тютчева:

Эти бедные селенья
Эту тусклую природу...

И пейзаж Левитана, и смешной "Василий Блаженный".

О Италии кто-то пел:

Благословенный край.

Но ведь есть, есть глубина "неблагословенности"... "Отыде в сторону и заблудился"... Позвольте, что такое Наль ("Наль и Дамаянти") без проигрыша в кости своего царства и без "ушел от прекрасной Дамаянти"? Обыкновенный король, "как и все" и как "всегда"... Интерес начинается с того, что "ушел" и "проигрался", с "краха"... Даже великий Иов, что такое он был бы без навозной кучи, на которую в конце концов сел? Я ужасно боюсь и ужасно ненавижу эту "неблагословенность", я маленький и слабенький, и мне все бы "быть с Богом" в солнышке и тепле. Так. Но это — "я", т. е. "не все". Обо мне истории и не расскажут, а о мире рассказывают. Тут я вступаю в мир ужасов "рассказывают", очевидно, оттого, что "неблагословенно", что люди "потеряли благословение" и в конце концов "дьявол искусил"...

Он, собственно, "не искусил", а скрыл солнце, и повеяло холодком. Человек сжался, скорчился и показал кукиш. За "кукиш" его сейчас же выдрали за уши, — но он вторично и еще огромное показал кукиш. С тех пор "за ухо" и "кукиш" чередуются, и Иловайский, обрадовавшись, взялся за перо. "Людям горе, а мне афера". Хорошо.

Не хорошо, а плоско. Началась плоскость. Началась скука. Началось томление. Началась гниль. "Наш нигилист совсем готов". Нигилист — это именно неблагословенность.

Нигилист и нигилизм.

И Наль ведь стал "нигилистом" супружества, уйдя от Дамаанти, и "нигилистом" политической истории, проиграв "очень просто" королевство в кости.

Мы, "благословенные", ведь в сущности незанимательны. Что во мне занимательного? "Пью чай". Об этом "Истории Шлоссера в 16 томах" не напишешь.

.....
Да. Бог поманил человека к занимательности. И показал ему пустынные страны Севера... Из Халдеи это было, конечно, красиво, — а мы прыгаем на морозце. И поем печальные песни.

* * *

14.VIII.1914

Сперва обрадовался; и дня 1 1/2 радовался. Бурцев, эмигранты и политические острожники просятся в войну...

.....
В мыслях своих я много лет строил "Площадь согласия", — думая, что нужно какое-то примирение...

Радость сердца и проч. Забвение обид и прочее...

.....
Умели прощать Петр и Екатерина — Миниха и пр., и прощенные становились великими служаками.

Но ведь иные времена, иные нравы.

Войско они называли "убийцами". "Их" Гаршин и прочие говорили, что "солдат" тогда только "человек", когда он бросил ружье... Пушкинское

Стальной щетиною сверкая

"их" Пыпин назвал национальным хвастовством и презренным шовинизмом.

И длилось это от Турецкой войны до "теперь". И вдруг теперь

— Дайте нам посражаться.

Теперь, когда что-то засияло впереди, — и вся Русь стоит в блистании и силе.

— Дайте и нам эполеты...

Господа, эполеты — это "честь". Понятно, когда о ней просит Миних. Но когда просит Бурцев? Когда хочет сражаться Петруша Верховенский ("Бесы"), прикончивший Шатова?

Есть что-то страшное в вашей просьбе. Вы все у нас взяли. Вы взяли славу, что "освободители"; что одни образованны и "умны на Руси", — и кроме вас только "черная сотня"; кроме вас "истинно русские люди" и (как писала "Речь") — "Потреоты". Да, мы безграмотно произносили даже название своей партии. Славян, русинов, когда их даже мучили тюрьмой и огнем (были случаи в Венгрии), — вы ненавидели только потому, что они...

И вот, когда теперь пришел час нашей *чести*, вы протягиваете руку и говорите:

— *И нам...*

К "подлой мамаше" вы подходите и говорите: "Я поведу тебя в церковь". Вы, которые уверяли, что она никуда не ходит, кроме как в публичный дом. "Наша мать отъявленного поведения", и вдруг теперь:

— "Мамаша, пойдемте *вместе*". "И я около вас"...

Поздно, сынки, поздно!.. "Оставьте бесчестную мать" доделывать свое хмурое, казенное дело. Все — поганое дело войны, убийства; все — серая, грубая солдатчина. Мы ведь только Скалозубы да Молчалины, тогда как Чацкие все у вас. Читают книжки и критикуют. Ведь еще месяц тому назад писалось в "Русском Богатстве" о "высокопоставленных дамах, богомольных в старости, которые страдают спинным мозгом на эротической почве, и потому льнут к богомольным старцам". И имя старца было полностью прописано.

Вот вы как отличались. А теперь: "Мамаша и мы *с вами*"...

.....
Есть что-то страшное, тоскливое, грустное, что через три года социалисты станут заявлять:

— Наша святая кровь также проливалась за Червонную Русь...

— Мы тоже освобождали славян...

Нет, господа: разделился в *чести*. Мы — смерды, верноподданные; мы необразованные Скалозубы. Помните:

...Петлички, выпушки...

Дайте же нам наше дело доделать: доковать Великую Русь, как ее начали строить московские князья. И когда мы все закончим, и сделаем, и, естественно, умрем, то вы, "питерщики", граждане Женевы и Парижа, студенты Цюрихского университета, живите в этих апартаментах, заготовленных вам "рабами".

* * *

15.VIII.1914

Победоносцев когда-то писал ("Москв. сборник"), что кабатчик, принесший миллион и поставивший около него этикетку: "Кто хочет", со временем купит и печать, и общественное мнение. Пришел не кабатчик, а еврей. И пришел, приноровившись к общественному мнению, до которого ему было "все равно". Так появился Цетлин и его "Просвещение" (Цетлин — берлинский еврей и его книгоиздательство "Просвещение", купившее и Островского, и Достоевского, и добрую половину современных писателей).

Против такого "угрожаемого будущего" он выдвинул сурового Мих. Петр. Соловьева (цензура), — наиболее важным деянием которого было, однако, учреждение вечерней "Биржовки" ("Биржевые Ведомости" еврея Пропера, — *дешевая вечерняя газета*, единственная в то время в России). Она дала Проперу миллион, а Соловьеву едва ли досталось "на сапоги". Грустная история в биографии идеалиста. Неудачник молодой человек "ставил свой голос" в Италии. Тссс...

Но я думаю, все проще обошлось, — и обойдется.

Не надо ставить угрожающих цензоров и незачем было Бутурлину устанавливать "Негласный комитет, наблюдающий за печатью". 1905 год все устроил. Арцыбашев и Оль-д'Ор потребовали себе свободы печати, т. к. они представляют общественное мнение. И так как в то время был испуг перед общественным мнением, то свобода была дана. С того времени, с этого 1905 года, началось такое головокружительное падение печати, — печати и авторитета ее, какого не было никогда в эпоху "Северной пчелы" и Булгарина.

"Время Белинского", радостно взбежавшее на горку, стало уныло спускаться с горки. Вербицкая стала строить 3-й каменный дом, а Нат-Пинкертон был помечен впереди Пушкина, Добролюбова и Михайловского. Оль-д'Ор торжествовал и уже пил, ел и ночевал в литературном ресторане "Века". Торжественно от севера до юга, от Петербурга до Одессы встал

КАБАК.

Который достиг только целей Победоносцева. Как отмечал остроумный Чуковский в отчетах ("Новый год"), — *"современный читатель ненавидит литературу"*; Россия *"отворачивается от своей литературы"*. "Литература" стала до такой степени павшим явлением, павшим и падшим, как "рублевая девица с Лиговки", что и разговаривать нечего. За девять лет это до того установилось, утвердилось, так "врыло свой фундамент", что тут, конечно, ничего нельзя повернуть назад. И это есть именно мечта Победоносцева.

— Не читать газеты, а идти в церковь.

Мечта Победоносцева и мечта Розанова.

Так обращаются около оси звездное небо и круги времен.

* * *

16.VIII.1914

Еврейский способ относиться к деньгам, к имуществу и, наконец, к самой жизни человеческой и к лицу человеческому — вот что такое *социализм*.

Я говорю не о древнем социализме или, вернее, коммунизме Платона, Кампанеллы и Томаса Мора, не о коммунизме "наших" и Чернышевского ("Что делать"), а о теперешнем современном социализме, о социализме "научнообразном", который, сливаясь с именами Лассалья и Маркса, стал нескрываемо жидовским.

Именно он "обнимает небо и землю" и двинул обширные массы "пролетариата" на штурм старых царств.

Пришельцы везде и всем чужие, племя самое подвижное, "вертлявое", они в высшей степени не понимают "недвижимой собственности", и, напр., для них земля, естественно, "Божия" (Григорий Спири-

донович в "Божьей правде"), т. е. "ничья" и затем "моя" или "наша": вот этой набежавшей ватаги странствующих евреев, которые, напр., почувствовали Ханаанскую землю "Божией" и "ничьей", а затем — "нашей", с истреблением прежних владельцев (хананеи). Земля и дома для этого племени — только предмет товарообмена. "Что на что променять", — говорят вечные факторы и повсюдные гости. Для них нет старых роц дедовской посадки, — в которых будут сидеть внуки; и дед сажал их именно для внуков, а внуки будут в них пить чай именно с памятью, что это — дедовское. У жидов граница "дедовского" не простирается дальше кровати и не идет на дома и земли. У них — семья, а за ним сейчас — небо, без посредствующего. Здесь их естественные странствующие идеи совпали с невольной странствующей психологией европейского пролетариата. Но у пролетариата и в Европе это случай и несчастье, это, во всяком случае, "дробь в целом" (для Европы), а у еврея это natura naturans, творческое изводное начало, истекающее из всего народа и из всей его судьбы. Именно в этом и разница: "часть" это или "все". Если это "часть", то остается обыкновенное положение рабочих, которым надо, конечно, помочь, и помочь может и всегда захочет добрый Царь, отец всех, и благое царство — защитник и кормилец всего. Доселе полная гармония, не выходящая из пределов европейской цивилизации и европейского духа; отсюда вытекает только новая задача новой истории: дать большой и даже огромный удел труженнику около труда. Тут возможно всё и вполне возможны все виды кооператива и даже целые фабричные районы "в духе Чернышевского"; хоть в алюминиевых дворцах и с общими женами, потому что почему же не быть "общим женам", когда и теперь на фабриках половина девок протестирует, есть "заводские бычки" (термин фабричных между собой), а на скеловичных плантациях евреи — собственники этих плантаций — "пользуются всеми девушками хохлушками-работницами" (рассказ Евгении Ивановны, — бессарабской помещицы). Вообще напрасно Чернышевский думал так "испугать новизною" и напрасно его испугалось тогдашнее время: и тогда, и после, и, в сущности, всегда действительность далеко перешагивала все утопии. Итак, — "фабричная коммуна", как просто более удобная и выгодная, более веселая (очень важно при томительности и задушенности фабричного труда) форма производства товара, — вполне может существовать "обок" с исправником, с директором фабрики, с хозяином фабрики. И этому нисколько не нужно противиться ни местному исправнику, ни губернатору, ни царству. "Господь с ними" и даже "Господь благословит" их. Доселе — часть. Совершенно иначе получится, если "странствующая собственность", без "дедовского начала", будет объявлена или начнет чувствоваться, а наконец и станет повелеваться как нечто универсальное и всеобщее, как некий алгебраический закон над всеми. В Европе и совершился этот великий обман и самообман, — и испуг всех перед ним (социализм). Евреи навязали свою национальную психологию, свое национальное чувство собственности, в высшей степени алгебраическое и подвижное ("торгую домами", "торгую землями", "основал банк и всех обираю, но ни у кого не украл"), сперва пролетариату, частично (т. е. только он в Европе), случайно и несчастно бездомному, а затем (и это

и есть *возникновение* социализма) всему европейскому сознанию: журналам, потом — газетам и через них — читателям, т. е. всем. Нужно заметить, что для "газеты" и "журнала" собственность тоже алгебраизирована; сегодня — один редактор, завтра — другой, меняется — и издатель, а сотрудники все переменны; "где тут *чье*, — разбери!!" Таким образом, "писатель" есть врожденный и естественный социалист, — и это в высшей степени способствовало "сразу понятности" социализма и его быстрому успеху и распространению. "Все сразу согласились", п. ч. никто не заметил или, вернее, не было никому причину заметить тех, кто сидит "под дедовской березой" и ест малину "из маминого сада", т. е., в сущности, заметить $\frac{9}{10}$ России, Германии и т. д. Чернышевский, "конечно, не заметил" $\frac{9}{10}$ России: ему дело было до читателей "Современника", "моих успехов" и подписки, и до дружбы с Добролюбовым. Что же получилось? Жидовский закон, жидовский банк, жидовская купля-продажа и вообще "вертлявость" была объявлена как "всеобщее состояние всех людей", от которого были только "отступления" в эпохи варварства, напр. средние века, в эпохи наивности — напр. христианство, и в эпохи злоупотребительные, напр. "наша". Григорий Спиридонович вдруг объявил, что все сидящие под своими яблонями в чем-то "злоупотребили" и "виновны" перед ним и его "Божьей правдой", от которой чистую подписку он клал в жидовский банк, рассчитываясь "построчно" с сотрудниками, а отнюдь не говорил этим мелким писателям-пролетариям, что, господа, "подписка есть *Божье дело* и *Божья помощь* и принадлежит вам, всем работникам газеты, а мне тут только *доля за мои статьи, в равной плате за строку*". Он этого не говорил, Григорий Спиридонович, как и Маркс не "делился" славой, доходами от "Капитала" и авторитетом с "мелкими пролетариями". Но они, Григорий Спиридонович и Маркс, объявили, что весь свет перед ними в чем-то "виноват", весь свет они "уличили" и, в сущности, весь свет есть "вор", а у них "Божья правда". Вот сущность дела и зародыш (нынешнего) социализма и этого:

Рабочие всех стран, — объединяйтесь.

Как только "частное" стало "всеобщее", так мирное сожителство исправника и коммуны прервалось: Европа очутилась перед *задачей* "вернуть *справедливость*".

Справедливость всегда горит в сердце; справедливость древня, как первое посаженное дерево; справедливость волнует и бунтует; и я, столь мирный, "за справедливость" сам первый всем выцарапаю глаза.

Как только пролетариям было объявлено, что они "несправедливо обижены", обобраны и обездолены, так они, естественно, "полезли на рожон". — "Хоть — на штыки, а свою копейку отобью". Очень естественно.

Для труженика, для усталого, для обездоленного, для сидящего в таком ужасном мраке и безнадежности, что он не может даже жениться и иметь детей, а уж, конечно, никогда не будет иметь "своей яблоньки", это объявление и указание, что его "обсчитали" и кто "обсчитал"...

— Каррамба!!! — Ты заплатишь кровью!!!

Ей-ей: *рубль* для работника — который во всем свете имеет только рубль и никогда не будет иметь даже детей, — этот рубль есть "невес-та-девушка", которую похитил "гот"...

— Каррамба!!! Подавайте нож!!!

Очень естественно. Вполне натурально. "Я сам так поступлю".

Маркс и Григорий Спиридонович хихикают в жилет (Григорий Спиридонович в широкий рукав поповской рясы):

— Вот сейчас будет потеха. У тех выпустят кишки, а нас посадят на трон, — и, по предсказанию Исаии:

"Все народы понесут нас на спинах своих и принесут на Святую Гору (Сион)".



Яблоньки затрещали. Точнее, яблоньки начали выкапывать и вырывать вон из земли. "Земля ныне Божья", и земля эта страшно почернела, засорилась и стала вонюча, как вообще земля около жидов и всякая страна от жидов. Поднялся вихрь, сметающий все. "Алгебра, господа, алгебра, — а не именованные числа" (Кугель в "Дне" по поводу кредита жидам из русского государственного банка). "Собственность" как-то ослабела и стала слишком уж неконкретной. "Где *мое* и *ваше*, — говорил банкир, показывая какие-то неясные счета, — прежде было *ваше*, а теперь *мое*, но я и держать долго не стану, а переведу на *третье имя*".

Простак-русак или простак-пролетарий только хлопают глазами, а еврей смотрит ему ласково в глаза. "Вам приходится получить ничего", — говорит банкир, говорит Маркс и говорит Григорий Спиридонович, все — люди теплые. "Собственность" затрещала, но "отвлеченный" банк очень крепко стоит, и в нем кредитуются и Тан-Богораз, автор "Крестьянского союза". "Вас ограбили помещики и дворяне", "вас угнетали станковые и исправники: ведь они *собирали подати*"...

"Подати" на ненужное государство; но "личные доходы" Соломона Исаковича Полякова, в котором служил Герценштейн, — "вы, пожалуйста, не трогайте", как и "личную славу Карла Маркса", не отнимайте у него, и подписку от "Божьей Правды" Григория Спиридоновича тоже оставьте... "Это, во-первых, мелочи, а во-вторых, это же не капитал, а *труд*. А мы и, конечно, вы, рабочие, — *за труд*".

Словом, "несите прямо в Сион", выпустить кишки у разных "Коробочек" ("Мерт. души") и "старосветских помещиков". "Враги человечества — это Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович".



Это есть *метод*, т. е. в *социализме* содержится вообще метод, чисто жидовский: не производя воровства, не делая никакого грабежа на большой дороге, сделать так, что "у вас ничего *нет*", а у нас *очень много*" и даже "*все*". Тут — книжки, газеты; манипуляции идейные и бумажные, в результате которых будет отобрана не какая-то там "Псковская губерния с ее *льном*", "Смоленская губерния с ее *лесом*" или "русское *земледелие*", а имущественность вообще целой Европы ("нам,

жидам, ненужной”), имущественность целой цивилизации и культуры. “Социализм” есть тот же “Московский земельный банк Соломона Лазаревича Полякова”, но уже нацелившийся на целую Европу и на все виды в ней собственности ...

“Будем работать”: но, конечно, мозолей не натрут себе ни Столпнер, ни Маркс, ни Поляков, а “натирают” их будут себе “пролетарии всех стран”, которые наконец “соберутся”.

Соберутся и принесут жидов на своих спинах в Сион; но ведь в Сионе немного квадратных верст, а остальная-то земля?

По ней и расселятся или премудро расселит их по этой земле “Главная дирекция человеческого труда”, заседающая в Иерусалиме. Тут и Григорию Спиридоновичу что-нибудь “отсчитают”, но, конечно, директорами будут люди, как Маркс, Лассаль, как страдалец Герценштейн. К ним нельзя будет придрататься, ни критиковать их, так как ходить они будут в поношенном пиджаке, в рублевой ермолке, и только:

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой,
Иль дурой, им обманутой, — так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный...

Деньги, золото... Что “деньги” — тлен. Преходящая и изменчивая вещь, даже условная. Правда, ведь “деньги” есть то, что “мы с вами сказали об этой бумажке и как ее условились понимать”. Насколько их блистательнее слава и насколько их полновеснее сила... Социализм вот и прокрадывается к “славе” и “силе”, но не пролетариев, а на спинах пролетариев: к славе и силе “умных людей”, как захлебывался Чернышевский, полагая таковым единственно себя: но, конечно, “вкусит” не он, всего мальш и мальчик в сих делах, а “вкусят” люди древней крови, древнего предназначения, древней и очень странной судьбы...

Да. У них есть “штанд-пункт”. — “Пожалуйста, только обрежься: а все остальное я дам тебе”.

* * *

16. VIII. 1914

Поцеловал Пучка моего... Поджав ножки, читает “Три портрета” (Тургенева) в солнечном закате (на балконе). Отошел — счастливый.

И подумал: “А ведь мы, родители, должны быть чисты и невинны ради детей наших”.

Имея детей, получив от Б. дар этот, — как нам не ответить на него чистотой и невинностью. “Так малого от нас требуется за столь великий дар”.

Но мы его не даем. Кратко. “Господи помилуй”, но мы и его не произносим за великий дар жизни.

40 лет живем: и не выговорим и 40 раз глубоко и со вздохом “Господи помилуй”.

А гневаемся на Б.: “почему он не дал нам вечной жизни”.

Сегодня все было хорошо, кроме “меня”. Маленький грешок. И сквозь чистоту детей так трудно смотреть на него.

1
Более и более я думаю, что все дети хорошие. Тернавцев года два назад сказал: "Ведь они имеют какую-то крепость надежды".

Неправда ли странное определение для детей. Но это глубоко и пронизательно: действительно, они все как-то крепки и именно надеждою. Порывисты, энергичны, и только очень шумят. Он же говорил, когда они были совсем маленькие: "Я никогда не видал таких *ласковых детей*".

* * *

16. VIII. 1914

"Запрещенный плод сладок". Эта пошлая, повсеместная и надоевшая всем поговорка не заключает ли в себе ноуменальной тайны?

Сладкое *любопытство*: но ведь оно прекрасно. Разве не прекрасно, что люди "любопытствовали" и северный полюс, и глубь земли, и небесную глубь.

И любознательность.

И "кое-что"...

Сосредоточившись на "кое-что", я удивляюсь великим удивлением, видя, что оно составляет и предмет Божьей заповеди, и то, о чем люди говорят: "это *особенно запрещенный плод*".

Даже можно сказать, что это особенно усиленная заповедь и около нее полегли особенно усиленные запрещения.

Тут бродит "Бледный Страх" вокруг, и девушки так особенно боятся подходить сюда. И им все говорят: "не подходите особенно сюда".

"Кто подойдет — погибнет". И люди устроили даже так, что кто подойдет сюда как к "запрещенному плоду" — действительно гибнет. "Пока не позволят". Позволят — и ничего.

Но вот великая тайна: позволят — и не интересно. Позволено и скоро приедается. "Нельзя же 100 раз открывать северный полюс". И люди перестают ездить на северный полюс.

Тогда я думаю: не есть ли "запрещенный плод" средство усилить стремление? Т. е. ноуменально особенно рекомендуется то, что феноменально запрещается.

Еще яснее: не составляет ли тайное желание "мировую волю" и, наконец, похоть того, чье имя не смеем назвать, — то самое, что наружно и на глазах всех окружено непереступимою оградой и там "поставлены два херувима с мечом обращающимся"...

И любознательность...

И любовь...



Но я не совсем то хотел сказать, что сказал. Поразительно, что "кое-что", если бы всем стало доступно и "сколько хочешь — столько берешь", стало бы решительно как "северный полюс, на который надо поехать в 104-й раз".

— Охота кости ломать.

Никто бы не поехал. *А ехать нужно, и кому-то решительно наша поездка приятна.* Тогда мировое "volo"¹ и устроило "запрет". — "Так

¹ хочу (лат.).

устроен человек, что если ему запретить, то он и в 101-й раз поедет”.

Таким образом, в ”запрещено” содержится тайное возбуждение к запрещенному. ”Запретный плод” окажется в самом деле райским яблоком, которое насаждено было Богом:

— С него начнется человеческая история; т. е. все в отношении человека, что обнаружит его великим, прекрасным и благородным.

* * *

17. VIII. 1914

Я сам призвал мошкару и в ней задыхаюсь.

Я любил маленькое... Но никогда не думал, что это маленькое будет безвкусно... Что оно будет тупо, косно, бесчувственно, формально. Я любил маленького чиновника, но *оригинального*; я любил миньятюрную жизнь, но *преlestную*:

Я любил невидные положения, состояния, но исполненные теплоты, человечности, нежности.

Но, верно, я не был умен, и в ответ на мои мольбы бес показал мне ”маленького” Афанасия Ивановича, и ”маленького” Тертия Ивановича, и ”маленького” Стасюлевича”. ”Ты так занят государственностью и литературой: вот тебе и литература без идей, и государственный человек без особенных стремлений. Все, чего ты желал”.

Бес... о, какой ты страшный бес! Ты исполнил мое желание и страшно посмеялся надо мною! Я хотел того милого чиновника, который возился со своей шинелью, тогда как у Аф. Ив. довольно шинелей...

— Но ведь это *маленькое состояние*, а не маленький человек. Ты бы так и говорил, что любишь миньятюры, а не en gros¹. Наполеон, м. б., ”во весь рост”, и в аршин, и в 4 вершка, и в 1 вершок, и в наперсток: все будет ”Наполеон”. Т. е. ”нарисован” и как зачаток. Явно, что Наполеона вытянули в ”императора” обстоятельство, а без них он основал бы игорный дом или построил Эйфелеву башню. Ты, значит, любишь красивую резьбу на истории, а не свал бревен с надписью ”история”.

— Да, я люблю все прекрасное. Боже, Ты не осудишь меня за это, ибо Ты и сам прекрасен. И отойди от меня, бес пошлости. *Тебе-то ж, во всяком случае, я никогда не поклонюсь.*

* * *

17. VIII. 1914

В 90-х годах были современниками друг другу С. А. Рачинский, Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев; всего лет за пять до этого, в середине 80-х годов, скончался Н. П. Гиляров-Платонов, которого справедливо называли москвичи и друзья его — ”сам”. ”Сам Никита Петрович” сказал, написал, хочет или не хочет... Совсем недавно закатились и громы Каткова; перед ним незадолго умер И. С. Аксаков и его маленькая и деятельная ”Русь”. Наконец, невозможно не отнести сюда чистого

¹ большое (*фр.*).

душою и прекрасного автора "Московского сборника", знаменитого законооведа и государственного человека, Победоносцева.

Но что же я говорю: разве именно в начале 90-х годов не закатывался тоже их всех "современник", Н. Я. Данилевский.

В эту-то пору именно, в связи со смертью К.Н. Леонтьева П. Н. Милоков и кн. С. Н. Трубецкой писали об "умирающем славянофильстве", "была у них одна песенка, да и та с чужого голоса", высокомерно смеялся Михайловский; и Вл. Соловьев, обрадовавшийся, что его наконец пустили в салон "Вестника Европы", тоже раскатывался и в прозе и в стихах над славянофильством, и тогда-то именно сотворил великие свои идеи о том, что есть "идолы и идеалы", и он, конечно, против первых и за вторые, и есть "национализм" и "национальность", и он, конечно, за вторую и против первой.

Все это были люди умные, начитанные и образованные. Все они были историками или знали историю и потому не могли не знать, что "нечитаемость" публикой не есть еще определитель и критерий достоинства писателя.

Замечательно, например, что на Рачинского никто из них даже не оглянулся; не назвал его по имени в полемике. Мимо него просто прошли молча, — мимо его и на все точки зрения его святого подвига около крестьянских детей с букварем в руках.

Конечно, полемика их не относилась к этому году, а к "этим годам". Что же мы скажем: да что не только западничество и революция с тогдашними своими корифеями — гимназическим учителем Скабичевским, неопределенным инженером Шелгуновым и генералом в отставке Лесевичем, — но что и славянофильство в истории своей не выдвигало одновременно такую поразительную плеяду писателей и деятелей, ученых и мыслителей. Почему же славянофильство "умерло и умирало". Как хватило говорить это, имея у себя за пазухой возразить Скабичевским и Шелгуновым?

Как случилось? Какие такие слова?

Кабак сказал...

Суть не в словах, а в *месте*. Здесь все можно сказать, ничто не покажется преувеличенным, ложным, нахальным. Здесь вообще все лгут, все хвастаются, размахивают руками и пляшут ногами. "Сказать ложное слово", — ложное против души своей, против внутренней своей мысли, показалось бы чем-то чудовищным Рачинскому или Страхову.

— Мы христиане...

— Мы люди церкви, которая запрещает ложь.

— Мы знаем Евангелие, любим его: как мы можем солгать?

В общем и закругляя:

— Мы деятели истории, люди исторического значения и исторической содержательности: какой же пример мы подали бы толпе, народу, который на нас смотрит и которого мы действительно являемся учителями.

Наконец:

— Мы старцы. Нам уже немного жить. И когда мы умрем и пойдем к Богу: что же мы Ему скажем, если здесь солжем.

Я помню отчетливо это впечатление от них всех, по которому я мог дать себе отсечь руку с клятвою, что не единого ложного слова и не

единого кривого поступка не совершили и не сказали никогда за свою жизнь.

Они были вполне *величественны*, эти люди. В их простоте, смирении и невидности была именно *величественность*, как особое качество души и жизни, отличные от ума, гения, учености, от признанного общественного положения.

Я не могу их не назвать "геронтами": греческими старцами, жившими в правде и для правды, в достоинстве и с помыслами: да будет жизнь человеческая всегда достойна.

Вот.

Это — культура.

Уже — не в смысле телефона, Эйфелевой башни и что теперь ездим по железным дорогам со скоростью 80 верст в час.

Что же случилось и отчего эти людишки — поистине только людишки, осмелились сказать о них слова этого смысла: "вы издыхаете, и давно вам пора, История только и дожидается, чтобы подошли вы все".

Какая злоба.

Какая ложь.

Какая чернь.

Какая, — тоже обобщая и закругляя, — *антикультуристность*.

Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса.

Между тем они были философы, писатели, публицисты, историки и, по-видимому, "в культуре принимали самое живое участие". Что же это такое и как это понять? Сердце холодеет, а ум кружится: до того велико явление. В этом явлении, как, может быть, ни в каком, еще ощутимо выразилось осязательно *разложение культуры*.

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит.

И прямо трясусь, когда думаю. Есть что-то страшное. Страшно не то, когда глупый есть глупый, и нелепый есть нелепый, и Терсит совершает Терситовы дела: все это присуще роду человеческому и даже украшает жизнь и историю, когда стоит на своем месте, и остается смешным около великого и низким около благородного. Но не было бы страшно, если бы Пушкин потихоньку подражал Баркову, если бы Ломоносов стал прислуживаться к И. И. Шувалову ради ордена, чина и положения в Академии Наук, если бы Суворов сошел с клироса, где пел за дьячка, и попросился через низкопоклонство ко двору Екатерины и в свиту Потемкина. — Вот когда страшно, когда Агамемнон вдруг подражает Терситу и бежит от Трои с криком, что "воевать — некультурно"...

Я не могу выразиться, я не так выражаюсь. Я говорю, что мы присутствовали тогда при процессе, когда история пошла вспять, когда культура задвигалась раком: "назад", "вперед не умею".

Упирается клешнями и отталкивается назад. И клешни огромные, глаза выпученные и ножки слабые и тоненькие. Рак.

И питается дохлятиной, утопленниками. Сидит в норе, темной.

Множится, — маленькие рачки под хвостом. Икра.

Рачья икра...

Будут все раки же...

Много раков. И утопленников много. И гадости всякой.

Дно мутной, грязной реки

.....
.....
.....
Которая была так прозрачна. Вечная память. Нет, виноват: о памяти молчание. А

за упокой души

(на обороте транспаранта)

* * *

17. VIII. 1914

Многие мне приписывали инициативу и основание религиозно-философских собраний в Спб. Это было бы лестно, т. к. эти собрания (я думаю) сыграли большую роль в движении нашей религиозной мысли. Но правда вынуждает сказать, что этого *не было*, т. е. что я не принимал участия в этом возникновении.

Я даже не помню, *как* они произошли. Как-то вдруг стали говорить об этом. Кто? Когда? Лица и граница времени путается. "Мы говорили". "Все говорили". Была очень счастливая пора, по настроению, по взаимному всех ко всем доверию.

Но я думаю, внутренне инициатива исходила от Мережковского; и еще правдоподобнее, что первая шепнула ему на ухо его З. и уже заставила его закричать (он всегда кричит).

Сейчас же поддержал Философов, — тогда ходивший в прелестном пиджаке и так прелестно себя державший. С ним и Дягилев, но этот не очень (художество). Тут загудел, я думаю, Тернавцев, тоже Егоров, и они вместе уговорили В. М. Скворцова попросить Победоносцева дать *licentiam* (дозволение). Победоносцев сказал Плеве, что он "ручается", — и замечательное общество стало действовать, без устава, без официального разрешения, без всякой формы.

Отчеты собраний печатались в газетах; там были произносимы *впервые за историю существования русской церкви* — свободные религиозные речи, свободная и всесторонняя критика состояния и *самих принципов* церкви. Между тем этот поистине религиозный митинг — настоящий митинг — никем не был разрешен и даже нигде не был зарегистрирован.

Необыкновенное его разрешение совершенно свидетельствует о прекрасной доверчивой душе Победоносцева, — и о духе терпимости вообще нашей Церкви, нашего духовенства, в частности и особенно митрополита Антония. Он прислал сюда своего друга, архимандрита (вскоре епископа) Антонина. Антонин был нам всем истинным другом. Мы все его любили и ценили его с проблесками гениальности и с прорывами безумия ум.

Очень любили и уважали епископа Сергия (Старогородского, — скоро еп. Финляндского). Он был прост, мил, всем был друг.

Я думаю, "с хитрецей" очень тихих людей. Но это — моя догадка. Так и на виду он был поистине прекрасен.

Тут ввалился брюхом и Соллертинский. Вообще много было. Несмотря на все приглашения (Мережковского), Григорий Петров отказался войти. Боялся потерять "заслуженную репутацию" радикально-литературного священника.

Вообще тут "Раки" ползли к своим "гнездам" ("знает рак, где он зимует", поговорка).

Все было прекрасно, поистине прекрасно. Я глубоко любил и уважал эти собрания. В них душа отдыхала. Никакого стеснения. Взаимное всех друг к другу доверие.

Достаточно было бы Скворцову "вовсю" шепнуть П-ву, что он там слышит и каков дух *собраний*, знаменитое "направление" их, и они были бы немедленно закрыты. Но у всех было какое-то доброе расположение немного "скрадывать" истину, — и всеми силами хранить собрания. Хотя грозных явлений и, главное, "сил про запас" было очень много, и нельзя сказать, чтобы это понималось духовенством. И еп. Антонин, и Сергей, и Скворцов, — конечно, все видели и знали. Но Скворцов немного был влюблен в З., и хитрая З. этим пользовалась. "Ну, Василий Михайлович, вы скажите", "Ну, В. С., вы уговорите" и Вас. Михайлович, которого манило быть "душой" такого просвещенного и передового кружка, — и спешил, и уговаривал, и просил.

Он был вполне джентльменом и рыцарем их, и это нужно сказать к его чести и вполне серьезно. Я думаю, он тоже скучал своей "миссией" и ему нравилось быть в толпе шумящих и несговорчивых людей. В нем есть богатый дар дружбы и теплого соседства. А "сектантов" и всяких "богородиц" он видал много, и ему никакой "черт" не был страшен.

Его поведение было вполне прекрасно. Сговорчиво, скромно, хлопотливо в нашу пользу, в сущности — очень ответственно и даже раскованно. Он, несомненно, чуть-чуть предавал свое Ведомство (очень любя его, и хорошо любя) и свою "миссию", — просто ради хорошей компании и по безотчетному доверию к будущему.

Духовные и вообще "ихняя сторона" держались безукоризненно. Даже "суровый Брут" Виктор Миролюбов ("Журнал для всех") любил их. "Как у нас еп. Сергей", — говорил он не без восхищения.

Было все компанейски, по-товарищески. И хоть "без выпивки", но мы все были с парами вина в душе.

Итак, я думаю, зародилось интимно и безмолвно у Мережковского, и потом "стали все говорить". Я принимал меньше всех участия и, как все произошло, не знаю. По отсутствию какой-либо "общественности" и инициативы и по незнанию самих "форм делопроизводства" (в "общественности") я менее всех мог принимать участия в "открытии".

Я только всех любил их, милых людей. Они были все действительно милы, тогда.



Потом все разошлись, рассердились. Но об этом не надо упоминать.

17. VIII. 1914

Постоянная занятость *собою* не есть ли великая развращенность души? Конечно. — Как *чисты* люди, которые живут вне себя и занимаются предметами или людьми. Ну, нумизматикой, добрыми делами, астрономией.

Я ясно в себе чувствую развращенность. Раствление. Раствление не заключается "кое в чем" (это пустяки), а вот в этой погрешности в себя...

Ее не было, мне кажется, у святых. У праведников. У апостолов, наверное, не было. Ап. Павел постоянно хлопочет о других. Заботится. Он "учреждал церковь". Я "ничего не учреждаю", и от этого мое несчастье.

Я только думаю. И поистине Господь меня послал, чтобы только думать. Слишком отчетливое "призвание".

Зачем? Что, Ты, Господи, хочешь, чтобы я думал? Ведь я ничего особенного не сказал миру и мои думы "яко пар"...

Хочешь ли Ты, чтобы я *сам что-то понял*? Для чего? Ведь я ничего не сделаю из того, что "понял". Я не созидатель. И ленив и не умею.

Может быть, Ты, Господи, дорожишь моей душой и хочешь, чтобы я понял "для себя". Но зачем учить такого маленького и глупенького. И притом я покорный. И просто бы "принял", что Ты сказал или захотел.

Не давай мне "свитка". Я не учен. Скажи: "Поди ко Мне", и я приду.

Господи, отчего я так люблю Тебя. И навертываются слезы всегда, когда думаю о Тебе.

Значит, Ты меня любишь, когда дал любовь к Себе. Ибо любовь есть дар. И любить Бога — редкий дар.

Но за что Ты меня можешь любить? Ведь я с фантазиями. И не удерживаюсь ни в чем. Дурной. Отчего же Ты любишь меня?

А я чувствую, что любишь. Это всегда взаимно.

Я думаю, что это оттого, что я люблю людей твоих. Я их действительно люблю.

Так что вот: я бреду в саду Хозяина и люблюсь садом. И Садовнику "приглянулся" этот гость, который любит и Дом Его, и Хозяйство.

И "Ягодки". Боже, Ты уж прости мне эти "ягодки".

18. VIII. 1914

Есть что-то особенное и страшное в смерти (литер.) Горького, Л. Андреева и Григория Петрова. Все три — писатели освободительной эпохи; она их подняла, вдохновила, дала широкий полет им, дала воздух под крылья. Они — ее выразили. Потом что-то случилось и с освободительным временем, и с ними. Их перестали читать. Правда, Григорий Петров мне говорил: "Ведь наши книжки у *всякого есть и потому* вновь не покупаются". Правда. Но горе в том, что никто из тех, у кого они есть, не вынет вновь "Правду Божью" с мыслью: "*Знаю, но хочется еще перечитать*".

Все они (кроме М. Горького, о котором особая речь) невыразимо скучны. Как *в свое-то время* могли читать пошлости Андреева — этого

я совершенно себе не представляю. Одно объяснение — всеобщее обязательное обучение. Когда "сквозь строй училищ" начали прогонять кнутом и обязательством все человеческое стадо, всех копытных и многокопытных, то, естественно, вырос массовый копытный читатель, и к этому именно времени начала возникать копытная литература: Вербицкая, Нат-Пинкертон и "вещи" Л. Андреева. Сам-то он делал вид, что его читают "не те", что Вербицкую: но читали именно "те самые". Их миллион. И гранитный замок в Куокола был обеспечен.

Но я об этой ужасной смерти. Что такое случилось? Один мой доктор сказал, что после воспалительного состояния сердца остается в нем "неблагородная ткань", — и вот жизнь пациента, который от болезни выздоровел, много зависит от этой "неблагородной ткани": *много ли ее и в каких она местах*".

"Неблагородная ткань": не правда ли, какое удивительное название. Ведь это не патриции и плебеи.

— Что такое? — спросил я.

— "Неблагородной тканью" мы называем ту, которая представляет собою хрящ. Был — мускул, в нем кровеносные сосуды и нервы, и этот мускул *жил* и работал. Вследствие же болезни он *переродился* и сделался хрящевой тканью. В мускулатуре сердца и появляются прослойки этого неработающего, отжившего хряща: зернышки, пластинки. Они — не помогают сердцу. Если их много и если, естественно, они и далее хотя медленно увеличиваются, — то вот от этого может зависеть жизнь человека".

Вполне удивительно. Вполне выразительно.

"Смерть" или что-то к ней близкое трех названных писателей происходит от того или состоит в том, что около них образовалась "хрящеватая жесткая ткань", не сокращающаяся, не упругая, а которая "как *есть*, так и *останется*". То, что было на месте хряща, было когда-то энергично и пламенно, изжило все свои соки и отработало всю свою работу. Можно сказать: "этот мускул даже больше сработал, чем сколько мог, — и последние движения его уже были по инерции и механичны, а не по жизни". Вот. И это "вторая смерть" (Апокалипсис), из которой нет воскресенья.

Каждое слово Горького, Андреева, Петрова пережевывалось в семилетней жвачке; жевали-жевали без перерыва семь лет — срок немалый. "Все искры уже вылетели, и существо кремня: искрошилось".

— Теперь этот мускул никогда не будет жить.

Так, в семинариях "до последней степени" известен и авторизован катехизис митрополита Филарета. "Все им насыщены, — и насыщались с первого до 14 года учения". Тогда баста. Атеист и нигилист. Этот "митрополит Филарет", вот именно в семинарии и из семинарии, уже никогда не воскреснет.

"Неблагородная ткань".

Именно — хрящ. Митрополит Филарет обратился в хрящ. И Петров обратился в хрящ. И Л. Андреев и (отчасти) М. Горький.

Кроме того, — и около них образовались хрящаты. Самое "сердце человеческое" около этих писателей стало хрящеватым, грубым, жестким, и в нем не проступает кровь и не проходит нерв. "Есть" и "не движется". Теперь вы это сердце сколько ни толкайте "в ту же сторону", оно не совершит пульса.

— Нет пульса.

Страшно. И вот это особенно страшное совершилось с ними. Я не знаю, чувствуют ли они это. Если чувствуют, то это три самых печальных человека в России.

(встав поутру)

* * *

18. VIII. 1914

Очень просто, господа: покупайте значительный бумажник. Наполняйте его газетной бумагой и немного серебра, и 2—3 трехрублевки, в меньшем отделении, из которого расплачиваетесь "за чай".

Рядом — номер "Нов. Вр.", — уже читанный, и между листами его кладете вашу сумму.

Вор, конечно, вынет бумажник, а не "Нов. Время", и вы останетесь целы.

Я берег деньги в "неразрезанных страницах книги", — нынче в князе Трубецком ("Вл. Сол."), сунув ее "куда-нибудь" на полку "без присмотра", и только помня заглавие и "200-ю страницу". Никогда не пропадало.

(за "Арсеном Люпеном")

Было страшно раз, когда по поезду бежал толстый купец. У него был сумасшедший вид. За ним бежал кондуктор; скороговоркой говорили: "Вынули бумажник".

У меня *только раз* вынули толстый портсигар (в католической церкви, молебен о "даровании свободы"): но в нем лежала тетрадрахма бактрийского царя Эвфидема. Подавал объявление в сыскное отделение: ничего не нашли и, кажется, не искали. Вытащила богомольная старушонка на коленях, все толкавшаяся у моего пальто.

* * *

18. VIII. 1914

Дети мои так и заливаются Толстым. Сколько разговоров: как погиб Петя (прострелили голову французы); как Берг заботился во время отступления купить комодик жене с особенными ящичками; как Наташу одевали на 1-й бал. Попадают смешные замечания: напр., мой Василий (V кл. Тенишевского), что Пьер похож на него, а Шура похожа на Елен Безухову (ничего подобно) и прочее. Девочки читают с толком. Вася образует обо всем чудовищные представления. Но вообще — сколько жизни, воображения, сердца около Толстого.

И конечно, подобное — везде, во всех домах.

Вот "жизнь Толстого" в наших сердцах. Она — вечная жизнь.

Толстой вошел в вечную жизнь. Это поистине прекрасная и поистине благородная литературная судьба.

Дело-то в том, что три названные писателя, Горький, Андреев и Петров, уже при рождении были предрасположены к "воспалительному состоянию", и у них совсем не было вечного сердца. Ведь не все сердца "больные", есть и здоровые. Но у них больное сердце. Больное грехом.

Вот в чем дело. От него смерть первая и вторая.

Толстой всегда жил для истины, как ее понимал. М. б., ее плохо понимал, даже глупо и даже, наконец, греховно. Не в этом дело, а в том,

что он писал для истины. Но было бы очень странно спросить, "для какой истины писал Григорий Петров". Он принаровлялся. Все три принаровлялись к людям, партиям, мнениям, книгам. Петров и Андреев явно принаровлялись к газетам, журналам и критикам. "Д. Анунцио написал пьесу для роли этого знаменитого актера". Я думаю, Петров всю жизнь писал с надеждой когда-нибудь получить одобрение от Михайловского. И, может быть, Михайловский интересен. Но Петров уже от этого совершенно неинтересен.

* * *

18. VIII. 1914

Пухленький, крупный, он имел вид пожилой тети или почти бабушки, — в пиджачке уличного парижского гамена, которого ... "по-хорошенькому" приласкавший его барин.

Я его видел 3 раза: при встрече Тертия Ивановича на дебаркадере железной дороги; дома за завтраком; в Городской думе, — где он был в придворном мундире и белых брюках.

Все три раза он мне показался смешным и отвратительным. Но это был один из самых замечательных людей России. Ум самый живой, острый и поразительный.

"Внук Карамзина" — как безумно он был не похож на деда!

В том все — величие и достоинство.

Этот был каким-то вертящимся дьяволом, и казалось, в нем нет ничего человеческого, а — рожки, когти, хвост, зубы и вообще подробности укуса и борьбы.

Мещерский был вполне демон. В то время как глупцы литераторы рисовали "демоническое", воображая, что "демоническое" таково именно, как их суконные головы, и публика наша "ужасалась" на этих намалеванных чертей, — в "Гродненский пер., д. б", в этом странном особняке — доме, куда, кажется, не впускалась ни одна женщина, — до того хозяин не выносил "женского духа", — обитал настоящий демон, у которого, я думаю, ночью, когда голова его почивала на подушечке, — можно было видеть подлинные и рога, и хвост, и копыта.

На письменном столе стоял портрет красавца друга и С. Ю. Витте, который давал казенные объявления его газете-журналу.

* * *

19. VIII. 1914

"Петербург" — "Петроград". Слава Богу. Давно пора. † ген. Самсонова и первые серьезные потери. Войну очень опасно "сглазить", а мы уже приняли тон — "непременно победим". Этот отвратительный тон, который всегда ведет к поражению.

Есть магия и волшебство в войнах и вообще в большом. 3-го дня одновременно заговорили за ужином.

— Как возьмешь много корзин — никогда не найдешь много грибов. Ходишь, ходишь — ничего нет. А когда только придешь в отчаяние и повернешь назад, — на обратном пути наткнешься на "грибное место" и хоть немного найдешь (Домна Васильевна).

— Я тоже замечал: как нароешь много червей, захватишь все удочки и с полной надеждой пойдешь — ничего не поймаешь. Если же случайно и не думая наперед ничего пойдешь с одной удочкой — рыба так и клюет. Это всегда, всегда (Вася).

Вот. Так и надо держаться. Надо ожидать всего худшего, надо о всем худшем говорить громко. Тогда, видя, что мы сами "потеряли себя", — отойдут от нас таинственные "бесы потери" и, может быть, мы...

Японскую войну мы начали при полной уверенности широчайших побед. И получили, что получили. С начала же войны мне было отвратительно: "Посадим в железную клетку Вильгельма". Все это можно делать, но никогда об этом не надо кричать и предрекать.

Все великое — из молчания и скромности. Младенец начинает "шевелиться уже" на полпути к Берлину (5-й месяц беременности). И "кричит, только войдя в Берлин" (роды). Вот мудрость природы, которой должен подражать человек в своей истории.

* * *

19. VIII. 1914

Славянофилом я был только в некоторые поры жизни. Во-первых, я был им в детстве (младенчестве): памятник Сусанину в Костроме, пение песенки окружающими (Рылеева):

Куда ты завел нас, не видно ни зги
..... вскричали враги.

Ненависть к полякам, которые устраивают пожары (слухи 1869—70 гг.) и чтение "Тараса Бульбы".

В Симбирске (II и III классы) в Нижнем (IV—VIII кл.) — отчаянный нигилизм, позитивизм, матерьялизм. Ненависть к начальству, любовь к "простецкому" и народу, любовь к Некрасову, жажда озорства, "вред аристократам" и какого-то неясного переворота. Все будет *по-другому*.

В университете первые посещения сходок и поразивший на них галдеж, грязные студенты из семинаристов, старавшиеся занять хоть 5 рубл. (я жил на 20 р. в месяц от брата Коли) и затем "куда-то затеряться", "интерес к судьбе" (року), к "загадке" (в жизни и в душе) и вообще мистицизм.

Делаюсь консерватором. Читаю "Леса" Печерского (чрезвычайное впечатление). Открытие (философское) целесообразности и сейчас за этим — вера в Бога (подробнее об этом в книге о Страхове).

Все учительство я уже был народником, русским, "с Сусаниным", ненависть в университете к Некрасову — была наибольшая. Щедрина никогда не читал, кроме "где попадется" (в гостях) страницы две.

Переезд в Петербург. Афанасий и Тертый. Ненависть к славянофилам, к бороде, поддевке, фразе и обману.

— Вот они какое жулье.

Примыкаю к декадентам (знакомство через Перцова). Встреча со Шперком (славянофил-декадент). Запутанность семьи. Ненависть к цевки.

— Окончательно перехожу к язычеству и жидам.

Нужно разрушить Европу и христианство: *idée fixe*.

Религиозно-философские собрания. Окрыляюсь. Лечу. Счастлив. Денег пока нет, но заработаю. "Вообще все хорошо".

Мама посматривает и не возражает. Но сама — другое.

Пустота литературы и вообще "мелькания". — Писатели — пустые люди.

Примыкаю, полупассивно, к революции. "Ничего особенного". "Но ведь и в чиновниках что же особенного".

День за днем — сутки прочь. Болезнь мамы. Удар. Нужда церкви и все теперешнее.

Религия гроба. Ужас гроба. "Все темно". "Ничего не вижу". Не понимаю ничего.

* * *

19. VIII. 1914

Недостаток "Столпа и утверждения истины" тот, что он весь и непрерывно музыкален. Он музыкален. Но так как человек не только имеет музыку в душе, но иногда и п....., то эта сплошная добродетель в существовании религиозной книге кажется быть ненатуральной и "нарочно". Даже Ап. Павел, лишь пройдя через историю, которая сняла без сомнения с него "лишнее" и "ненужное", оставив за бортом некоторые словечки, частные и личные записочки и т. д., вообще придав "каноническую обработку", — весь безукорен, чист, везде и непрерывно велик. Людям же вообще это не присуще.

Впрочем, Павел Флоренский особенный человек, и, м. б., это ему свойственно.

Я его не совсем понимаю. Понимаю на $\frac{1}{4}$, на $\frac{3}{4}$, но на $\frac{1}{4}$, во всяком случае, не понимаю.

Наиболее для меня привлекательно в нем: тонкое ощущение другого человека, великая снисходительность к людям, — и ко всему, к людям и вещам, великий вкус.

По этому превосходству ума и художества всей природы он единственный.

Потом привлекательно, что он постоянно болит о семье своей. Вообще он не solo, не "я", а "мы". Это при уме и, кажется, отдаленных замыслах — превосходно, редко и для меня по крайней мере есть главный мотив связанности.

Вообще мы связываемся не на "веселом", а на "грустном", и это — *есть*.

Во многих отношениях мы противоположны с ним, но обширную природу и умом он умеет и любить, и вникать, и дружить с "противоположным".

Недостатком его природы я нахожу чрезвычайную правильность. Он — правильный. Богатый и вместе правильный. В нем нет "воюющих ветров", шакал не поет в нем "заунывную песню". Но ведь по существу-то, что в "ветре", что в "шакале" — "Ах, искушали меня эти шакалы". В нем есть кавказская твердость, — от тамошних гор, и нет этой прекрасной, но лукавой "землицы" русских, в которой "все возможно" и все "невозможно".

Господь да благословит его в путях его. Его книга разошлась вся в 3 месяца; при 3 р. 50 к. и таком серьезном содержании. Печатать ли 2-е издание? Не писал. Это первый успех у *славянофилов*.

* * *

19. VIII. 1914

Почему церковь так консервативна? Она действительно консервативна. Но не учением, программой и требованием, а веянием. Я не очень часто бываю в церкви: но всякий раз, именно стоя в церкви, переживаю прямо "пламя поднимающихся консервативных чувств".

Отчего это?

От великой стройности церкви, столь глубоко расходящейся с расстройством вообще нашей жизни, теперешней жизни, "нашей цивилизации". Наша цивилизация — хаос и, в сущности, вся в разрушении. Все в ней "происходящее", в сущности, направляется к "расстройству". "Зиждительного" — решительно ничего.

Вот этот-то "общий ветер", который вы чувствуете с минуту, как выходите из стен ее на улицу, и заставляет вас ненавидеть себя, потому что в церкви весь ветер дует к "собиранию себя", он вас "собирает", он вас "строит".

Церковь — строительница, постройтельница. Злоба ли, она говорит — "прости". Несчастье: она говорит "перенеси" и прибавляет прекрасное: "я поплачу с тобой". Цари ли: она их любит, помнит, поминает; воины — она их именует благим и без пыла войны "христоролюбивым воинством". Сенаторы и прочее — чтит "палату". Разбойник? В ней есть слова и о "добром разбойнике".

Все закружено и никакого шипа. Роза без шипа. Церковь вас отговаривает от всякого гнева, тяжбы душевной с чем-либо; она точно берет вас за руку и, покрыв краем одежды голову вашу, "чтобы не заслепил песок глаза", — проводит среди ветров, непогоды, пожаров, крушений куда-то по улицам, куда-то вдаль.

— Куда?

К вечной жизни, упокоению и встрече с Богом.

В ней все закончено и закружено. Она есть мирозерцание, в котором все отвечено, если не придираяться и не ехидствовать... Но на ехидство и злобу она отвечает: "Я не с *тобою*", — и отходит в сторону. Она — не для человека, а для народа. "Если ты хочешь быть *один* и *ни с кем* — отходи от меня. Но если ты хочешь быть с людьми, если ты такой же, как все, — приходи ко мне, и я дам тебе все, чем были довольны и сыты миллионы людей, и были еще до этих — тысячи миллионов, тьмы тем".

И она непобедима. Церковь, конечно, непобедима. Над ней торжествуют только парламенты, но потому именно, что они ненародны, т. е. торжествуют постольку, поскольку торжество это ничего не стоит и есть пуф. "Голосование" не может решить ни задачи по арифметике, ни сделать меня сытым, когда я голоден. Парламент и эти мелкие законы их все идут и текут в таком поверхностном слое моря, где вообще "рыбок не водится", т. е. не водится народа, не живет народ, а только

плещется интеллигенция. Парламент есть интеллигентная форма жизни и творит интеллигентные, в сущности газетные, законы и события.

Во Франции, как показала анкета, $\frac{6}{10}$ народа не знает даже, кто был Наполеон Бонапарт. Как же эти люди живут? А как-то живут. Они и живут на той глубине жизни, куда "парламентское законодательство" не попадает.

И вот это "законодательство" отделяет государство от церкви, велит школам быть "лаическими", выносит крест и образ из школ, разгоняет монахинь из больниц (Франция). Что это?

— Ничего.

Конечно, не "мамаши" же будут протестовать против этого. Они — скромные и тихие. Они — богомольные. Они пойдут опять в этот костел. И "отделения церкви от государства" нет, и оно невозможно. Оно только "кажется" и есть "слово", а не факт.

* * *

20. VIII. 1914

Перелом.

Верочка объявила матери, — точнее, спросила позволения (никогда ни на что не спрашивала позволения, буйная), — может ли она поступить в монастырь.

Я набивал папиросы и слушал. После ужина. Мама уже лежала в постели, и Верочка, сев на краю, — своим взволнованным и патетическим голосом, немножко баском (контральто) мотивировала:

— Послушай, мама. Мне надо с тобой объяснить. Прежние годы (в VIII кл. Стоюниной) я не сомневалась, что когда кончу, то поступлю на курсы, и именно на философское отделение (много читала все годы по истории культуры, истории искусства и литературы и по философии; Виндельбанда; и вообще брала книги у меня и у курсисток). Но эту зиму я стала колебаться; я нарочно ходила на публичные лекции, как и присматривалась к жизни и занятиям курсисток; наши курсистки (Аля, Наташа) занимаются серьезно, но это у них — личное. Сама по себе обстановка курсов ужасно мешает сосредоточению души и есть непрерывная толчея, мелькание и шум. Между тем как без тишины невозможно сосредоточение. И тишину дает только монастырь. Когда я была в Соловецком монастыре (последняя экскурсия), то, отойдя в сторону от класса, почувствовала такую общность себя со всем, что вижу, что сказала: "Вот где мое место".

Потому мне хотелось пойти непременно и здесь в монастырь (Черемнецкий — около Луги, — пешком) одной, чтобы проверить свое чувство. Здесь я расспрашивала об условиях поступления в монастырь...

.....

Зажавшись и целуя мать:

.....

— И потом, мамочка, у тебя никто больше не будет таскать из буфета сладостей... а у папочки — книг... комната же моя освободится Васе (он без комнаты, спит в нашей спальни, а днем "притыкается" — где можно).

Я оглянулся, не плачет ли? — Нет.

— Ну, мамочка.

— Все-таки, милая Верочка, мне хотелось бы, чтобы ты кого-нибудь полюбила и вышла замуж.

— Я никакого к замужеству влечения не имею, и во всяком случае замуж не выйду (Вера).

— Полно, мама! Если мы с тобой живем счастливо, то ведь у нас особенная встреча, и такое уважение и любовь друг к другу... А рядовое замужество, чтобы стать за спину какого-нибудь самодовольного мужа-лана и всю жизнь ухаживать за его удобствами и покоем за то, что он "снизойдет" до тебя...

Нет, от такой судьбы избавь Бог всякую. И если она определенного влечения к замужеству не имеет — и не надо.

— Я за твое влечение, Верочка. Это — правильно. Курсы, гимназия и университет — самый пошлый шаблон, по которому идет стадо, и идет потому, что оно стадо. Все это — фразерство, пустомельство, и ты, верно, бежишь от толпы и общего пути. Ты, верно, сослалась (она раньше сказала), что тебя утомил шум и движение; и что этот шум и разговоры — отнимает, а не дает.

Она так хорошо все мотивировала. Сложнее (гораздо), чем я сказал здесь.

Мне была нужда выйти на балкон. Небо облачное, но и звездочки. Я сказал внутри себя:

— А внуки?

И первый раз в жизни почувствовал, что будут духовные внуки, что на земле слишком достаточно, до перегруженности физических внуков.

— Верочка совершит подвиг. Войдет добрым лицом в русскую жизнь, — доброю благородною фигурю.

Войдя, я сказал маме:

— Я только что читал анкету мюнхенских студентов. Они все занимаются онанизмом, и так себя и расписывают с самодовольством. Да это и довольно известно по русским анкетам (в Мюнхене — тоже среди русских студентов), что же тут выходить замуж и очень вообще нужно. В замужестве, иначе как особенном, по счастью, — она не сохранит своей благородной личности. Я только радуюсь, что она особенная и на особенном пути.

Анкету я прочитал в июльской книжке "Русск. Мысли".

Мама молчала и соглашалась.

Я думал:

— Да, *серьезный путь* в России теперь только религиозный. Но не присоединяться же к этой воoble.

.....

Так вот откуда у Верочки "запирание на ключ" в своей комнате, которого мы так не любили, и столько раз в худом подозревали ее. "Что прячется". Она сегодня проговорила маме:

— И знаешь, мама, меня еще в 1—2 классе тянуло к монашеству. Когда я бывала в монастыре, — он мне казался каким-то *царством*...

Так и сказала: в смысле "величия" и "достоинства".

Я как-то горячее полюбил ее сегодня. А сколько именно Верочку я упрекал горькими внутренними упреками. Только недавно сказал:

— А знаешь, Верочка, — ты похожа на Корделию, со всеми сурова, неприветлива в дому: а я вижу по твоим взглядам мельком, как ты любишь всю семью. И маму и меня.

Только у нее, сквозь молчание, всегда была чудная нежная улыбка. У нее улыбка "как царство", повторяю ее же слова.

Теперь спит. Господь с нею.

Все это лето (разные поводы) у меня росло уважение к семье своей. Они все хорошие, и — серьезно хорошие.

Ни в ком — мелочи, пустоты, праха.

Что удивительно — ни в ком самолюбия и эгоизма. Это — отчетливо. Как хорошо, что их не хвалили, а все побранивали, — и в натуре, и про себя.

(21 августа среда 1914 г.)

* * *

23.VIII.1914

В любви есть какая-то "защелчка". "Защелкнулось", "вышло", "удалось". И тогда есть брак, дети, семья, все благословенно и счастливо и радуется их самих и окружающих.

Или "не защелкнулось". "Прицелились, а не вышло". Почему не вышло? Разум бессилён объяснить, разумные поводы не всегда достаточны.

И вот тогда семья "хлябает". Семьи нет, а две калоши — обе с левой ноги, которые я надел, захватив одну чужую. Черт знает что такое. Ссорятся, не могут понять друг друга, живут "на разных половинах квартиры", и еще слава Богу, п. ч. без этого они резали бы друг друга, или изменяют — и тоже слава Богу, ибо без утешения повесились бы или повесил один другого.

Вот об этом Флоренскому поразмыслить, который кричит: "венчание". Дело не в венчании, а в "защелчке". Церковь же гордо говорит: "не в защелчке, а во мне".

И 1000 лет устраивает без "защелчки". Ненавидит защелчку, презирает ее. А она смеется и над духовенством и попортила и у него тысячи браков.

А с "любовницами" иногда и попы живут пресчастливо.

Это *bonus eventus* и *malus eventus*¹ римлян.

* * *

23.VIII.1914

Белинского я ничего не читал с гимназических пор... Не манило, не возбуждало, не обещало. Я помнил с гимназичества его слог, скоропалительный, героический, штурмующий: и "человек такого слога" не обещал мне что-нибудь сказать, как штурмующий солдат или офицер "не станет же рассказывать о родителях", не "запоет песенки", не "вспомнит о Боге" (т. е. мне не надо)...

Но эти выдержки у Грифцова (из 4-х томной корреспонденции) впервые мне открывают Белинского *in se*, не *in imagine*². Ничего подо-

¹ счастливая участь и дурная участь (лат.).

² в себе, не в воображении (лат.).

бно я не ожидал, не думал. Это вовсе — не Белинский, а Чернышевский, и даже Благовестов в "Деле" и вся их "мудрая компания", "такая образованная". Чернышевский, значит, и прочие "шестидесятники" решительно ничего нового не принесли, не высали ни одной мысли из собственного пальца, и *нигилизм происходит вовсе не из эпохи реформ Александра II, "Современника" и проч., а нигилизм рожден знаменитыми сороковыми годами*, классической порой Николая I.

Все важное — оттуда, из этого действительно "замечательного десятилетия" (заглавие статьи Анненкова в "Вестн. Евр.", несколько лет назад).

Но и не этим кончается новость: если мы будем читать частную переписку г-жи Мойер, Протасовой, Жуковского (изд. Грузинского), письма — Пушкина, и проч., и проч., и проч., если мы скрупулезно переберем всю литературу *до этого* и после этого *вне нигилизма*, то ничего подобного ни у кого не найдем, и значит, "Белинский без предков родился в нашу литературу" и имел только обильнейшее потомство...

Да, обильное, — как ни у кого.

Я не умею выразить своей мысли. Белинский был новым духом, новым "гением" (*genius* в римском смысле), он породил из себя новую категорию души человеческой, именно *площадной души*, — душа-то ведь вообще нежная и интимная, — в которой ничего "домашнего" не осталось, ничего "семейного", затворенного, "неведомого — нерассказанного" с впервые пришедшим на землю окаянством слова, окаянством отношения к вещам, окаянством отношения к людям и лицам...

Ничего подобного не думал. Белинский? Мечта нашей молодости? "Благородный дух, ведущий всех к благородному".

Так, значит, Некрасов (прижим Белинского) — "вор у вора дубинку украл". Ибо почему же тогда нельзя и "прижимать человека": ведь в словах Белинского слышится именно "прижимание", он у всех окружающих "выжимает масло" (грубая гимназическая игра).

Площадная душа: что может быть ужаснее? Так вот *откуда* ("по тону") произошли и Герберт Спенсер, и Бокль, и Ог. Конт (Милль — совсем другая категория). Вот откуда, — все из "40-х годов", когда вдруг родился в мире какой-то холуй и сказал: "Дайте же *мне* место в мире"... Родился, быстро вырос и всем завладел. "Кукушкино яйцо" в гнезде малиновки.

О, какая проклятая эта кукушка: откуда она прилетела? Никто не видел. Никто ее не знает. Мы знаем только "кукушкино яйцо" и что потом "из своего гнездышка" стали падать и разбиваться о землю все малиновки.

Тон этой ругани, этих отзывов, я помню у Орлова (Нижегородская гимназия), поднявшего (идя сзади) 5 руб., выроненные Пахомовым. Тогда мы все гимназисты так испугались; я помню, *мы прижимались друг к другу* ("защити! защити!"), не говоря о деле, но не в силах не "унижаться с товарищем", т. е. вынести одному. Пахомов, высокий прекрасный мальчик, "первый в математике" в классе, был бедняк, дававший уроки. Орлов был сын обстоятельного протоиерея, ходил в франтовской (плисовой бархатной) курточке, читал не начитался "Дела" и говорил языком "Дела", т. е. "какие все люди мерзавцы" (обличительная литература). Зачем ему были 5 р.? Он был богат, мог бы

"попросить у папаши". Зачем он примером гимназического воровства мог смутить все наши души, так ужасно испугать и так ужасно измучить. Но *тон его разговоров, слог его разговоров* были точь-в-точь Белинский в письмах, тогда (1875—6 гг.) не изданных. Да ведь и *слова Белинского — исключительно поступок*.

Разве не поступок? Нет, поступок. Это *дело* его, не "бумага и чернила", а кусочек души.

Площадь! площадь! площадной дух! На площади все открыто, видят друг друга, ругаются, кричат. Никакого "шепота": а ведь это "русская литература от Белинского до Иванова-Разумника". Они все — не понимают, толкаются, грубят, "ужасно сильны" и "вполне счастливы". Вполне ухарь.

Но ухарь 1-й оказывается Белинский.

"На нем сапоги смазные. Шапочка с пером. Плеть. Топают. И на всех кричит".

У, нахал! Уйди, нахал!

(звучит к обеду)

23.VIII.1914

Белинский в письмах:

"Прочел "Московский сборник", *луплю и наяриваю о нем*" (III, 137)... "Я с детства моего считал за приятнейшую жертву для Бога истины и разума — *плевать в розжу общественному мнению там, где оно глупо*" (III, 67)... "А ведь Аксаков-то, воля ваша, *если не дурак, то жалко ограниченный человек*" (III, 88)... "Лермонтов в образовании-то подальше Пушкина, и его не надует не только какой-нибудь *идиот, осел и глупец вроде Катенина, но и наш брат*" (! В. Р.) (III, 109). "Страшно подумать о Гоголе: невежество абсолютно! *Что он наблевал о Париже-то*" (II, 295)... "Хомяков — человек без царя в голове; если он к тому еще проповедует — он шут, паяц, кощунствующий над священнодействием религиозного обряда. *Плюю в лицо всем Хомяковым и будь проклят, кто меня за это осудит*" (II, 334)... "*Трижды гнусный Погодин, вечно вояющий*" (III, 286)... "Автор *Ундины* — девственник и потому в делах жизни он *глуп, как сивый мерин, и в лице его есть оттенок идиотства*" (II, 35)... "А черт ли в истине, если ее нельзя популяризовать и обнародовать" (III, 87)... "*Метафизику — к черту*: это слово означает сверхнатуральное, следовательно (! В. Р.) *нелепость*" (III, 175)... "Истину я взял себе (! В. Р.) и в словах *Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут*" (III, 87)... "Когда читаю в газетах, что такой-то статский советник в преклонных летах отъезде к праотцам, — мне становится отраднo и весело. *Всех стариков перевешал бы*" (II, 115)... "Шекспир, Вальтер Скот, Купер, Пушкин, Гоголь" (II, 107)... "Гоголь велик, как Купер" (II, 130)... "Я и теперь не скажу, чтобы Гоголь был ниже Купера" (II, 137)... "В "Капитанской дочке" только местами пробивается художественный элемент, прочие повести его решительная беллетристика" (II, 108)...

Однако, это...

23.VIII.1914

Так, значит, это наблюдение Достоевского (в 26 лет !!): "Белинский есть самое смрадное явление русской жизни" (и далее с упреками адской самовлюбленности) — прозаическая правда?

Мечты поэта
Сухой прозаик гонит вон...

А ведь Белинским я (и все-такие же "мы") зачитывался в возрасте, когда самого имени Достоевского не знал. И вообще с Белинского мы "начинаем", Белинский есть "начало всего", — Белинского *знают* во множестве люди, не прочитавшие и нескольких страниц из Карамзина. И вообще Белинский есть "рабби Акиба", с которым не спорят, а благоговейно целуют в плаш.

"Все от него" на 70 лет...

Так вот как.

В письмах Достоевского, еще школьных почти, к брату Михаилу, до того поразительны по глубине и *культурности* суждения о Корнеле и вообще о так называемой ложно-классической французской трагедии, о Гомере, о Шекспире, что Достоевский действительно *именно в 26 лет* не мог не глядеть на 46-летнего Белинского именно так, как он выразил это (в старости) в письме к Страхову. Достоевскому с его *врожденной зрелостью* (особая категория рождения, особая категория зачатия), почти с врожденной *светлой старостью* (на кончике всего, всех ужасов и смрадов, Достоевский был *светлый старик*, вроде номинального отца Подростка) — ему не мог не представляться знаменитый "критический авторитет" всего только развращенным мальчишкой, развращенным похвалами друзей (непостижимо!) и читаемостью всею Россией. "Мы нынче в успехе, а потому вали—валом"... Самое поразительное и действительно смрадно-тупое в том, что Белинский произносит все свои чудовищные суждения без всякого подозрения о том, что это мальчишество, без всякого подозрения, что это есть плоская глупость, в pendant¹ скончавшимся геморроидальным старичкам, смерть которых он приветствует... Ему и в голову не приходит, что он ни на вершок не стоит умственно выше действительных статских советников николаевского времени и, обобщенно, "Коробочки, которая *ничего не понимает*"...

Что же тут молодость бросилась навстречу? А бросилась... Неужели вечный афоризм Мережковского: "Пошлó то, что пошло"...

Да... Пошло то, что пошло...

Опять комар победил. Вечный победитель мира, комар и Оль-д'Ор. Но это уже началось с Белинского. И вечная дума Платона. "Есть, друзья мои, и *идея волоса*: волос так же вечен, неустраим, неразрушаем, как и Ангел Божий".

Волос... Что такое "волос"? Пал с головы. Никто не заметил. Но Бог ли жалостливый или "что-то такое в мире" подняло этот "волос" и наполнило им вселенную.

¹ в дополнение (фр.).

Это печальнейшая и страшная история случилась в нашей истории.

* * *

23.VIII.1914

Русскую историю писали смерды... Они не были боярами и полководцами, и труда их в постройке России не положено и крупицы. Они не видали, осязательно и близко, царей и могли только "воображать о царях", а не знали царей.

И они "воображали" как смерды, в затхлом логове своем, без света и воздуха. Русская история написана именно без света и воздуха.

Собственно *несколько* русскую историю знали и чувствовали Болтин, Татищев и Карамзин. Но затем пошла ученость о русской истории, а не русская история. Ключевский посмотрел на нее снизу, как "верноподданный" на царство и Удивительную Храмину. Это тоже возможно, и обывательская история тоже естественна и хороша. Хотя и идет по окраинам, погребам и огородам. "Хозяйство тоже нужно знать". Но суть не в "хозяйстве Коробочки", а в *самой* Коробочке. Суть в Грозном, в Василиях; и тут Ключевский при всем мастерстве характеристик все-таки недостаточен.

Вот оказалось, что именно на царском троне и в роде царевом (манифест Верховного Главнокомандующего) жила тревога и тоска (отнюдь не властолюбивая, ибо наш Государь не властолюбив и не завоевателен) и о Червонной Руси, и о целости польского народа. При этом он без комплиментов сказал: "Под Моей властью". Это удивительно. Казалось всем, что это забыто, археология и литература. Оказалось, это *деловая бессонница на троне*. "Не могу спать", "гонится сон, пока не придут все славяне под Мою руку", — под руку "Моего рода", "наших русских царей".

Но о смердах-историках я думал давно. Смотрите, как они пишут о царях и, напр., священную историю своей русской интеллигенции. Имя Белинского, имя Герцена куда выше поставлено, и они бережнее с ними обращаются, чем с Иоанном III или Василием III.

∞

Да это не отзывчивость, а просто легкомыслие...

(*"всечеловек" Д-го*)

Глубина проникания в другое, в чужое — не должна погашать "я". — "Я уважаю Шопенгауэра" (положим). "Я люблю Ш.". Что же из этого следует? Разве я не "Василий Васильевич Розанов" или "дядя Вася", как меня часто зовут чужие?

Любовь и уважение Ш. не кассирует во мне ни грибов (сбирать), ни сна, ни "покурить".

Иное дело, если я под влиянием Ш. загрущу (пессимизм). Тогда я кассируюсь в "я", и это уже легкомыслие: ибо каждое "я" растет из обстоятельств своей жизни, из родителей (зачатие), встреч, дружб, вражды, разочарований, но никак не растет и в правильном случае не должно расти из разговора или из прочитанной книги.

Русские "всечеловеки" просто много шатались и мало жили; особенно мало работали.

* * *

23.VIII.1914

Оказывается (Меньшиков), в России нет ни дрожжей, ни кос (косить траву), ни электрических лампочек. Все привозилось из Германии (косы — из Австрии) и теперь неоткуда взять.

И проклял я земство. Я проклял фразу земства без земства, форму земства без земства, закон о земстве без земства. О, вот что значит "пустые формы" славянофилов... Действительно построил дом, а никто в нем не живет. И таковы все "великие реформы" 60-х годов, которые нравились только Джаншиеву и Стасюлевичу.

Земства все делала попытку продвинуться к "гражданской свободе", не умея утереть носа и не зная, где его носовой платок, а сопли текут. Омерзительное зрелище эта "Земская Русь". Эта земская фраза и земская пошлость.

Ведь были и миллионщики, т. е. земства с миллионщиками-обывателями. Но когда же "в земстве" пошел вопрос: устроить бы наш элеватор? устроить самим, и не прибегая к жидам, экспорту яиц? обойтись бы без жидов с лесом?

Куда! Это слишком ничтожно. Мы "развиваем гражданскую свободу", оказываем "оппозицию губернатору" и пишем сплетническую корреспонденцию о произволе местных властей в газету "Голос провинции".

50 лет: и сопли дотянулись уже до подбородка и никто страдальцу не подаст носового платка.

Да презираемое "правительство" в 1000 раз вас порядочнее, умнее и деятельнее. Ему нужны пушки, и оно льет 12-дюймовые. Сам видел 20 лет назад на Нижегородской выставке. На правительственных заводах сделано. А на "земских заводах" или хотя бы мастерских не сделано косы для крестьян и, вероятно, серпа для жнива.

Да Россия еще только и живет и дышит "правительством", без которого вы распустили бы не только сопли, но и кое-что похуже.

"Самоопределяющееся общество"... Обеспечь ему "гарантированные свободы". Грех сказать и не люблю драться: а я бы вас на съезжей жарил в три кнута.

— Вот тебе за серпы и косы.

— Вот тебе за яйца.

— Вот тебе за лес.

— Вот тебе за лен.

Промотало Россию пошлое русское общество. Да, хороша "История русской интеллигенции".

* * *

24.VIII.1914

Тело священнее духа. Я хочу сказать — духовнее так называемой "души":

Посмотрите, как остерегаемся "дотронуться до вашей щеки" и говорим: "извините", прежде чем с нее снять пушинку. А спрашиваем челове-

ка без всякого извинения. "Извините, я вам поправлю шапку". А поправляем мысли и слова друг друга без всякой в себе задержки. Тело нам внушает страх, бережливость, опасность затронуть: и не по опасности, а по боязни оскорбить.

С душою же мы буквально "не церемонимся". Спорим, смеемся, хохочем, можно сказать, "хлопаем по плечу", как прохожего на базаре или банщика в бане. Душа "очень малоуважаемая вещь", и все это чувствуют.

Душа не священна.

Тело священно.

Спорим с человеком, т. е. как бы толкаем его душу. Да и действительно ведь толкаем. Попробуйте толкнуть физически. Иронизируем, слегка смеемся, т. е. "даем щелчок по носу" душе. И — опять ничего. Но если бы вы щелкнули человека по физическому носу? Вышло бы убийство.

Решительно все чувствуют, что тело святая вещь. А душа так себе...

Душа — полотерка. Вертится, бегаёт. Всем, всему услуживает. Какое у нее "я"? Черт знает какое. А физическое "я" — с усами, с взором, черт возьми. "Полно достоинства" и ждет от вас "уважения".

Это у всех народов и всеми признается. "Взять за руку" встретившуюся на улице женщину — значит невыразимо оскорбить ее. А спросить: "Это какая улица", — ничего. "Говорить — говори, а рукам воли не давай" — это всемирно.

Но почему?

(утром за кофе)

* * *

24.VIII.1914

Родство есть как бы "где порезано у человека", — и вот когда к порезу одного прилегает порез другого и кровь струится в обоих и общая, то это и есть родство.

Кровь есть "открытая жила" без умирания. Это тайна жизни. Родство есть одна из глубоких вещей мира. Что мы о ней знаем?

Ничего, кроме имени.

Как можно "открыть жилу" без любви? И приставить к чужой жиле, чтобы в меня втекала его кровь, а моя втекала в него? Если без любви, то это смерть. А церковь как неосторожно "обходится без любви". Она-то и сеет в мире ложные родства, которые суть ненависти, т. е. становятся неодолимо ненавистями. Правда, это по неосторожности, а не по злому умыслу. Но нужно поправиться и перестать.

Родство есть любовь. Где есть ненависть, жилы были открыты неправильно, края порезов не совпали, и священная кровь пролилась на землю. Это уже есть убийство. И всякий брак "не так" есть убийство.

"Скорее прекращайте эти убийства" (разводы).

Родство начинается с "два в плоть едину", с совокупления. Вот отчего невозможно допустить холодных совокуплений (проституция). Это холодные младенцы. Младенцы родились, но они холодны. У, ужас...

Посему начало родства есть пламя. И не поэтому ли в храме Весты, — покровительницы семейного начала, — горел неугасимый огонь. И весталки охраняли его. И римляне так боялись, чтобы он не погас...

.....
У нас костры на улицах и около них греются извошки.

(на обороте транспаранта)

* * *

24.VIII.1914

Революция была слишком шумна, слишком сорна, слишком естественна. И Робеспьер приступил ее успокоить...

Тихо льется кровь... Тихо скрипит его голос, и тихо течет кровь...

Робеспьер говорит свою речь:

"Революция принесла человечеству гуманность и справедливость... Но задача не может быть осуществлена, если головы не все так причесаны... Как ни ясны идеи de la Nature, de la Justice et de l'Humanité¹, есть неупорядоченные головы, которым они капризно противны. Однако нельзя же счастье Человечества ставить в зависимость от произвола Каприза. И вот отчего эти непричесанные головы должны быть устранены"...

Дети Народа и женщины Народа богомольно смотрели на оратора. И кровь тихо лилась.

Она лилась, лилась... Это был вожаемый Покой. Голова Франции медленно причесывалась...

Впрочем, нет: Причесывалась.

В Прическе и заключалось дело.

(Робеспьер)

* * *

24.VIII.1914

Если посмотретья в мечты революции, то нельзя не заметить, что это в зерне своем есть мечты праздности: "хоры девушек соединятся и, неся цветы, будут петь гимны Свободе"... В таком чтении это красиво, и для мечтающего гимназиста красиво; и вот отчего мы все немножко республиканцы.

Но так до труда и без труда, для мальчиков и шалопайничающих взрослых людей. Кто же испытал труд, и притом *удачный труд*, — знает, что ничего нет счастливее труда.

Празднество и отдых лишь *после усталости*, и притом большой усталости. Тогда они действительно как в жару и потному — струя холодной воды окачивает и бесконечно *освежает*. Таковы и есть наши милые праздники, — семидневное "воскресенье" и вечная "суббота" у жидов. Но шесть дней нужно трудиться и очень хорошо трудиться. "Гимны девушек; поющих Свободе"? Я в Троицком (сгоревшем) Соборе слушал на клиросе девушек: и до сих пор у меня звучит: "О Всепетая Богородица" чудного сопрано. Она так заливалась, с таким очевидным *своим* увлечением.

И потом вечеринка ввечеру, немножко танцев и немножко музыки. Сидят чиновники, из них кое-какие еще не женаты, и женатые их подталкивают: — "Танцовать".

¹ Природы, Справедливости и Человечности (фр.).

Серо, вы скажете? Нет Всемирного Солнца. Позвольте, ведь и в республике будут петь при электрических лампочках, таких однообразных и с немигающим машинным светом.

Нет, если серо сегодня, то серо будет и завтра, а если завтра будет светло — то и сегодня ровно столько же светло. Ведь Солнышко-то все то же, и электрическая лампочка все та же.

А люди? Ей-Богу, они очень хорошие и теперь. Право я не лгу, как то сопрано (мне неизвестное) заливалось блаженно *для себя*.

Счастливые часы удаются и теперь, но именно "удаются" и именно иногда. Жизнь же вообще трудна, и она должна быть трудна. Только когда она трудна — это "счастливая минута", как струя холодной воды на спину:

— Ах, хорошо!!!

Так, помню я, в Саровском источнике вертелся под струей воды толщиной в ногу черный одноглазый (другой глаз выболел) старый углекоп из шахт и все приговаривал:

— Ах, хорошо! Слава тебе, Боже!!!!

Не знаю, будут ли еще те "девушки в республике" чувствовать себя так блаженно, как этот старик в нашем старинном Сарове.

Так что у нас "гимны Свободе" есть: это как убрали хлеб — пойти пешочком до Сарова, пойти пешочком в Соловки. И города посмотрю. "Какие там люди живут". Месяца на два закатывают. Так вы, господа, еще выдумайте в вашей республике "гимн Свободе" на два месяца. А у нас уже есть: с лесочками, с полянками и с "неведомой птицей, которая как-то страшно кричит в лесу"...

И сказки. И песенки. И молитва.

Нет, господа: я моего "теперь" не променяю на ваше "завтра". Просто я 58-летним умом знаю, что оно будет *хуже*.

* * *

25.VIII.1914

Русская литература пьяная и развратная. Правда довольно талантливая и в мельканиях гениальная.

Васе тема: "О драмах Островского" и указаны пьесы. Одна — "На бойком месте". Прочел. Что же там рассказано? "На бойком месте" — это постоянный двор, хозяин которого, старик 60 лет, заманивает или привлекает богатеев-проезжих женой (30 лет) и сестрой (лет 20), которые "играются" и целуются с приезжими купчиками, помещиками и военными. Жена, входя, хихикает и говорит мужу при золовке и прислуге: "Ой! *измял* всю меня". Муж отвечает: "Не сахарная! Не рассыплешься". На ночь он выезжает на большую дорогу грабить. И если случится — даже укокошить.

И в этакую мерзость ученики 5 класса (14—15—16 лет) *обязаны* вчитываться, вдуматься и письменно отдать о сем произведении отчет. Т. е. написать несколько мертвых для их возраста фраз о "грубых и жестоких нравах русского народа, доколе он не осветится светом из уст преподавателей Тенишевского училища".

У Левицкой (Царское Село) ежегодный ученический спектакль с приглашением родителей учеников и учениц. И вот из года в год играют "Женитьбу" Гоголя. Что же я слышу: милые и благовоспитанные 16—17-летние девочки и чистые юноши в 17—18 лет произносят при неодолимом хохоте подростков от 13 до 18 лет невыносимые гнусности и невероятные глупости. "Если бы нос Сидора Карпыча да прилепить к щекам Николая Ивановича — тогда бы я его полюбила и вышла за него замуж". Это со сцены произносят девушки сами по возрасту невесты, и бесспорно с зародышами в себе любви, этого чистейшего и идеальнейшего чувства. Ученики, уча русскую литературу, гадят свою душу: и даже если душа уже "тронута", — то русская литература дает пищу, матерьял и пар самым отвратительным сторонам души.

Но и хорошо Министерство просвещения. Моему Васе (15 лет) даже по имени неизвестна Кохановская, он, конечно, не знает "Натальи Долгорукой" Козлова и знает чуть-чуть баллады Жуковского. Как же германцам не презирать наших "варваров"...



Вся задача быть милым.

От милого — и рабство сладко.

Евреи это знают уже 4000 лет, а ведь мы только учимся грамоте обхождения.

Через "милое" они овладевают нашими богатствами, отнимают у нас детей и их ведут к виселицам, убивая одним ударом двух зайцев:

— Это вас правительство вешает, от которого мы вас освобождаем.

Так "милые жидки" забирают школу, печать, в придачу к яичку, льну и лесу.

(*"Геройский поступок еврея Онаса на войне", в "Бирж. Ведомостях"*)

Не надо нам вашего геройства. Не надо вас. Ни героями, ни преступниками.

* * *

26.VIII.1914

"И сторит мир на *"Собрании моих сочинений"* — возглашал, указывал, угрожал и надеялся Чернышевский.

Мир не так суров и не обменял бы всего себя на одного Чернышевского, предложив ему усесться на горящие *Opera sua omnia*¹: но, как обывательница Коробочка, он вправе был сказать ему:

— Друг мой, зачем гореть тебе и мне: вынесем мы их в поле и нехай горят одни.

Вполне справедливо и объективно.

(*Целый день жгу "разное" своей библиотеки*)

¹ Все свои сочинения (лат.).

26.VIII.1914

Славянофильство меня привлекает не как *теория истории* и не как плач "*чем мы будем*": а как житейского человека. Как житейский человек я становлюсь на сторону славянофилов, как прекраснейших людей своей земли, единственно не разорвавших с нею связи, единственно ей *не изменивших*. Судить о теориях я, м. б., недостаточно умен и, кроме того, полагаю — "как хочет Бог" (так и выйдет). Но как маленький человек своего времени, я чувствую свой долг (свою сладость) служить тому, что все мне дало: хлеб, воду, солнце, леса с грибами, реки с купаньем и со стерлядью, обычаи с баней, прошлое с половцами, печенегами, киевскими святыми, со своими отдельными царями и (черт ее дери) даже со своей собственной революцией. Она дала мне язык, она дала мне талант, она дала мне судьбу. Что такое "я" вне "России"? О. Я есть "что-то". Посему я считаю самую низко чертою человека не любить своего отечества. Если мы называем "подлецом" взяточника: то как назову я Плеханова или Амфитеатрова, который хочет "украсть всю Россию" и продать ее из-под полы жидам. Взятчик украл нечто у некоторых русских и сфальшивил в своей частной службе как чиновник: но как же назвать тех, которые говорят, что не надо этой самой "службы России", и уже тех, что ей не служат и не живут в ней, украли "всего себя", т. е. всю свою должную службу у России, и отдали кому-то или чему-то, что они именуют революцией или социализмом. Жизнь их и отношение их к России ниже, низменнее, чем хапунов-железнодорожников, обиравших когда-то казну.

Вот.

29.VIII.1914

Петровская эпоха. "Се творим все новое". Артикулы и Феофан. Первые азы и Кантемир. Сила. Натуральная грубость. Викториальный тон. Унылый плач Стефана Яворского.

Елизаветинская эпоха. Тешем камни после того, как вырваны скалы. "Счастливы жить после Петра"... "при его дочери". "Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков".

Екатерининская эпоха. Век разума и благородных чувствований. Не токмо царь, но и отечество, не токмо ирой, но и граждане. Державин почти еще обращен назад, к "дням славнейшим". Фон-Визин и Новиков обращены вперед, к дням сомнительным или угрожающим.

Александровская эпоха. Карамзин и Жуковский. Батюшков. Крылов. Грибоедов.

Николаевская эпоха. Пушкин. Лермонов. Гоголь.

Освободительная эпоха: Александра II. Нигилизм. Начало серьезной государственности. Начало серьезной церковности.

Эпоха Александра III и Николая II.

(за установкой книг в самом старинном шкафу своей библиотеки)

Так действительно распределяется не только русская литература, но и русская книжность, и даже самая русская наука.

Каждое царствование, каждое продолжительное и счастливое царствование приносило новое одушевление, приносило новый тон всего и до известной степени рождало новые идеи. Книжки петровского времени — это совсем не то, что книжки екатерининского времени, другие виньетки, другой формат, другой запах кожи и бумаги, другой шрифт и тиснение. Александровская эпоха — и опять все новое.

Так, можно сказать, что Клио меняет хитон свой, когда новый царь всходит на трон.

Иные сны.

Иные *мы*...

* * *

29.VIII.1914

"Нет ни малейшего сомнения, что девицы, подносившие Достоевскому венок, подносили его не в благодарность за совет посвящать свою жизнь уходу за старыми хрычами, насильно навязанными в мужья... Очевидно, что тут кто-нибудь ошибся" (цитата из Глеба Успенского у Мережковского: "Большая Россия").

"Смирение Татьяны — смиренная букашки, проткнутой булавкой и до конца жизни безропотно шевелящей лапками" (там же, стр. 64).

...я вернулся из клиники и застал у себя дома гостей: из Смоленска приехала г-жа Щ. и, захватив с собою дочь, живущую в Петербурге даванием уроков, приехала познакомиться ко мне после переписки, изредка, в письмах со мною.

Мать была очень говорлива, дочь очень молчалива. Мать б. очень некрасива, дочь красива. Она была вся видная и с достоинством. Мать и дочь обе знали хорошо французскую историю и французскую литературу; как я узнал вскоре, дочь написала пьесу из французской жизни, кажется — времени Фронды.

Говорили. Судили. Рассказывали о жизни. И среди какого-то очерка из жизни дочь позволила себе вставить суждение.

— Я не понимаю, чему же тут удивляться. Неужели молодая женщина, если она даже и не любит мужа, не может ему сохранить верность ради того, чтобы *не огорчать его*...

Из слушающих (ряд девушек) никто не удивился. Я был поражен. Очевидно, из девушек (между 28 и 14 годами), которым естественно в мыслях "прикидывать" к себе будущее замужество, никто не удивился этому суждению; и мог никто этому не удивиться только потому, что это обычное девичье суждение, но внутреннее и о котором они не кричат на улицах.

Я же удивился великим удивлением: п. ч. мне известны были исключительно мужские и еще исключительно литературные суждения

о замужестве, увы, исключают всякую честь и всякое достоинство у женщин. Мужчины и литераторы "судят по себе", а ведь они готовы "за каждой юбкой", надета ли она на горничной, на жене или на проходящей женщине...

Эта собака с высунутым языком, представляющая собою современного (увы) мужчину и современного литератора, выковала все ходячие и все бесчисленные суждения о Татьяне (Пушкина) как непременно о страдалнице, тогда как она даже не героиня, а просто обыкновенная народная женщина, когда-то бывшая милою и прелестною девушкою.

Таковы они все.

Проститутки (*тип их*) кидаются нам в глаза и кричат о себе по улицам (или в литературе), и от этого кажется, что их *очень много*; на самом деле их *очень мало*. Какая же порядочная женщина подчеркнет себя, выскажет себя, промолвит о себе слово. Они несут жизнь, несут ее в себе и на себе, тяжелую и сладкую, какую Бог послал, молясь о себе и о муже и о детях, но молясь отнюдь не в газетах. Жизнь давно бы рассыпалась, перетерлась в труху и разнеслась ветром, если бы не этот труд женщин, все так же тихих и так же милых, как они были в Палестине, в Риме, в Греции: и у русских — не хуже, чем где-либо. Тип Татьяны прелестен, и он замечен Пушкиным, — но замечен на ходу, а не как что-то необыкновенное. Да разве Маша Миронова из "Капитанской дочки" не тоже Татьяна, и еще даже лучше и героичнее.

Да таких много. Они белокуренькие и черненькие, с веснушками и без веснушек, то курносенькие, то востроносые. "Не девица, а пуговка". И милы. Милы и мужьям своим, которые не суть литераторы и не суть с высунутыми языками, а служат в казначействе, в армии и в гвардии.

"Обыкновенные люди": которых стошнило бы от скотских суждений Глеба Успенского.

Как он мог его высказать? Как он не оглянулся на себя и не заметил, что ведь что же пьяненький и уже старенький он представлял собою *как мужчина*: и, однако, жене его было счастливо ухаживать за ним, хоть и за пьяненьким, и беречь детей, от него рожденных.

Боже мой. Боже мой: до чего договорилась литература.

* * *

29.VIII.1914

"Император" мне чужд, Царь мне дорог.

Император что такое? Не знаю, не понимаю.

Царь сидит на московских подушках, под московскими колоколами, молится старым иконам Руси.

Царь собрал Русь. Устроил Русь.

Как мне ему не повиноваться. Я пыль.

(Читая "Большая Россия" Мережковского)

* * *

29.VIII.1914

Человек есть существо мыслящее (Декарт).

Человек есть существо ограниченное (Кант).

Человек есть существо болящее (Шопенгауэр).

Человек есть существо боящееся (мы, русские).

"Мы боимся. И вот почему мы держимся за Бога".

Чего же ты боишься, человеке?

Смерть. Она ко всем придет. Ее никто не понимает. Ею все кончается.

(за "Больная Россия" М-го)

* * *

29.VIII.1914

Недостаток Мережковского — что он во всей России и в русской истории видит анекдот. И что губы его постоянно сжимаются в улыбку насмешки.

"Она маленькая. В ней ничего серьезного нет".

Он многим поражается у русских и в России. Но он ничего в них не уважает. Уж не говоря о любви...

В этом суть.

(весь вечер читал "Большую Россию")

Только слог у него прекрасный, у Мережковского, какой-то правильный и большой. Множество "изречений", которые у Михайловского обошли бы всю Россию и у Л. Андреева "положили бы всю Россию под ноги".

Впрочем, изречения эти — умны, а не жгут.

Если бы он любил Россию...

* * *

29.VIII.1914

Вы любите себя и своих и подобных себе. А нужно любить и не "подобных". Вы чтите Христа: ну, так полюбите и "врагов своих".

Вот что, господа: полюбите вы исправничка. Его дождик мочит — а он все ездит. Ругается с мужиками: а ведь слаще бы дома чай пить. Хлопочет около России. А вы не хлопчете. Делом, трудом; а вы — только словами.

Была история, этот или прошлый год: вся печать прокляла. Дело было такое. Была у исправника девчонка-слуга — крестьянка. Он с ней "неподобное" сделал, и она родила. Раз, другой. Кажется, он силу употребил, — ей было лет 15, — и она не то двух, не то трех родила от него. Надоела ему, грубый человек. Он дал ей немного денег и отправляет ее. Что же вы думаете (в газетах писали): девчонка ревет, и во всей своей обиде — не хочет отходить от него, п. ч. уже полюбила его.

Вот, господа, вам пример. Исправник был груб, но, верно, когда-нибудь и доброе слово молвил или добрый поступок сделал девушке. Словом, сквозь худое — она рассмотрела в нем и доброе. И говорит: "Не хочу отходить". "Люблю".

Вот бы вам столько, как у этой девчонки. "Больно нам от России, а мы все-таки любим". "Обидно, а мы забыли". Но ведь *таким* был из всей интеллигенции только один Достоевский, который простил ей

каторгу. А прочие, извините, мерзавчики, искровянившись с Александром II, только еще выше задрали нос, и посмотрите, как Желябов мерзавец разговаривал на суде: "Фу ты, ну ты, кто меня превыше? хоже выше леса стоячего"...

Вонючий хам. И какие вы хамы, что на своих вонючих плечах несете эту омерзительную вошь.

* * *

30.VIII.1914

Пошлость есть совершенно неучитываемая категория литературы — совершенно не попадающаяся в истории литературной критики, — между тем она есть главная или чрезвычайно значительная. Произведения разделяются на "эпические, лирические и драматические" или "талантливые и слабые", между тем как все они разделяются на пошлые и непошлые.

Скажут "пошлые" — вне литературы. "История литературы и содержит в себе одни непошлые произведения". Но едва вы обратитесь к конкретности, как встретите величайшие затруднения. Из "истории просвещения", а след., и "литературы" вы не можете и не вправе исключить Спенсера, Бокля, как не вправе исключить Чернышевского и "Современник". Как вы исключите разносторонне образованного и в некоторых точках талантливого Амфитеатрова? Куда вы деваете притворство и сентиментальность Короленки и вообще все то, что Толстой называл "Мачтетом"? Да и как отвяжетесь от богословия самого Толстого? Все это *факты*, и ими характеризуется целый период образованности и литературы, увы — пошлый. Для годов от 881—914 "характерны" вовсе не положительные явления умственной жизни, а отрицательные; характерен вовсе не Достоевский, а Скабичевский. Была "история литературы", где самой певучей флейтой был Надсон, а самым многозначительным фактом — что за ним ухаживала какая-то барыня, анонимно называвшая себя "княгиней".

Скажут, "история литературы не занимается дефектами". Как же "не занимается", если история состоит столько же в "на горку", как и "с горки".

Нельзя же подменять историю одою. История должна быть правдива и нелицеприятна, и не только вынуждена́ знать, но — увы — *изучать* Мачтета, Надсона и Скабичевского.

Скучное занятие.

Да, история "с прискорбями". "Вези, братец, вези, раз назвался историком. И потрудись *изучить* и "Россиаду" Хераскова, и музыку Надсона.

* * *

1.IX.1914

Крепкое дно. Чистая вода.

А вот где вода мутна, начинают ковырять дно. Вода делается совсем грязною. И тогда ее *спускают*.

(история русской провокации)

Этим и объясняется, почему очень симпатичному и радикальному статистику (его записки — мемуары в "Вестн. Европы") Плевелу говорил: "Вы у меня тут не напутайте. Я не о прокламациях говорю. Если вы прокламации принесете — это мне все равно".

Это ему было все равно, п. ч. о происхождении прокламаций он очень хорошо знал. Происхождения прокламаций не знает только Амфитеатров, — и не знал Струве, пока издавал "Освобождение". Теперь-то он, конечно, знает.

(Еще слух о германском происхождении забастовок, — или, как писало "Русское богатство", — о "могучем движении народной волны" и об одном очень важном наказании)

* * *

1.IX.1914

О целом ряде писателей, — о Куприне, особенно о Юшкевиче, — мы можем думать, что "это" им нравится. Что не целомудрие им нравится, а именно нравится нецеломудрие. Как? Почему? Не рассуждаем, а видим. Юшкевич не щадит своего самолюбия и самолюбия своего племени (еврей) и все настаивает, что "девы Саронские" *этим* занимаются в Бердичеве, Шклове и по всем местечкам Западного края. Описывает. И не знает утомления в картинах.

Как же мы будем судить безграмотных девушек, из крестьянок, из мещанок, из одиночек-сирот, из оставленных возлюбленными (обычное начало проституции), когда "такая важная особа", как литература, не только "не брезгает этим", но и явно имеет вкус. Тоже "Невский проспект" у Гоголя, где, кажется, впервые в русской литературе официально выступает на сцену панельная проститутка. Я был поражен, читая и с трудом разбирая и не веря себе. Да проститутка, панельная. Тоже у благородного Гаршина (не читал, слышал) какая-то "Александра Ивановна". Мне приходилось слышать об одном знаменитом спиритуалистичностью (и литературностью) адвокате, который всю жизнь любил проститутку, притом больную прогрессивным параличом (сифилис), которой он возил цветы в больницу, и молился о ней, и рыдал о ней. Он был отец взрослых детей и вообще "семьянин как следует", безукоризненный в быте и поведении. Пожалуй, единственный безукоризненный между адвокатами. Что это такое? Что это вообще?

Я думаю, в существе пола, не в феномене его, а в номене его, — содержится наряду с целомудрием, "я принадлежу одному" — и абсолютное "нецеломудрие": "я принадлежу *всем*". Уголок "на север", уголок "на юг" или "уголок на восток" и "уголок на запад". Я приведу два выражения, мною услышанные, — и которые совершенны в смысле формулы. Одна 55-летняя вдова, мать двух взрослых сыновей и двух взрослых дочерей, мне сказала при общем рассуждении о *втором* замужестве (о *двух* последовательных замужествах): "Замужество — настолько *интимно* и таково по существу своему, что мне кажется, оно может быть только *одно*, и на всю жизнь. Я не представляю возможным второе замужество; не представляю, чтобы женщина (речь, очевидно, шла о стыдливости) могла быть вторично и с другим мужчиною в таком же отношении, как была уже однажды с мужем". Тут — в течение ее речи — явно играла роль не "святая верность *одному*", а ужас и потрясающий

озноб "еще раскрыться перед *вторым*". Это (я думаю) абсолютное отрицание проституции.

Говорившая — дворянка, барыня, бывшая курсистка математического отделения в Киеве, жена чрезвычайно крупного инженера; образованная, начитанная и чрезвычайно корректная. Другое признание, на слова мои: "Отчего вы не выйдете замуж? вам нужно как можно скорее выйти замуж": — "Я не могу более двух недель оставаться верною мужу.... Я не в силах не отдаться всякому мужчине, в котором замечу, что он меня желает... Обыкновенно отдаюсь, если он напишет мне на визитной карточке, что хотел бы встретиться со мною наедине... И, как вы знаете из рассказанных мною случаев, отдаюсь, встретив на улице голодного, возбужденного, иногда не очень трезвого мужчину... Мне они не представляются разными, и даже как-то я не остаюсь неверна. Мне все это представляется "одним и тем же" (мужчиною), но как будто "он" то вырос, то стал меньше ростом, то с голубыми глазами, то с карими или серыми, то говорит по-немецки, по-русски"... "Протей?" — переспросил я. — "Протей", — ответила она. — Она была задумчива, малоразговорчива, одета чрезвычайно скромно и в то же время изящно, в коричневое ученическое платье полублузою. Вошла в комнаты чрезвычайно целомудренно, так что даже жена моя, чрезвычайно не любящая посетительниц, сказала о ней: "Вот эта мне нравится. Вся тихая". Она пришла за помощью и советом, как окрестить внебрачного ребенка, и повела рассказ, когда я спросил в конце совета: — "От кого?" — "Не знаю". На мое удивление и сказала: — "Не знаю, п. ч. на расстоянии двух недель была с *двумя разными*". Из двух ее сестер — одна замужем за доктором, другая за помещиком. Сама — вполне интеллигентная, ученица одной школы по предмету искусств. 22 года. По красоте — средненькая — в сторону красоты.

Я хочу сказать и веду речь к тому, что так называемый "свальный грех" и это страшное "обобщение пола" не есть что-то "бывающее в нем" или "уклонение в его истории", а входит — не частью, но долею — в *существо его*. Пол есть и абсолютное целомудрие, но и абсолютный разврат. Не будем гоняться за терминами. В этой стадии или в этом состоянии, очевидно, нет "разврата" в смысле "урока" и "порицаемого", а есть закон, тайный и неведомый, совершенно иных путей, чем "принадлежу одному" — "я *сестра* всем" ("сестра — жена", Библия). Нельзя не быть пораженным "при таком несчастии" общею, массовою жизнерадостностью проституток, веселостью, открытостью, смелостью и большим добродушием, беззлостью. Гениальное словцо Куприна о них: — "Всмотритесь, они все суть *дети*", — должно навеки запомниться. Это начало разгадки всего. Проститутки (выкидывая исключения) действительно суть *дети*, не взрослые. Они ведут свое ужасное дело смеючись и играя и без всякой мысли о "пороке". — "Как он вчера мне дал по морде, — потому что я отказалась с ним идти; а я отказалась, потому что был канун моих именин". Никакой жалобы на "по морде", никакого огорчения по поводу "по морде". Это же удивительно. Живут день за днем. Какая же жизнь? Какое будущее? Но, как пташки, они не помышляют о "завтра", а собирают рубли (Юшкевич) или "трешницы", бегая по городу, — и, поверьте, не в деньгах тут дело. Ибо ведь "судьба"-то не выйдет и "будущее" потеряно. Нет, тут — не деньги, или

деньги — не главное потому, что "ведь нужно же есть", "квартира", "одеться". Но зерно дела — охота и какой-то страшный, почти служебный долг около человечества. "Они *голодны*, как же я им не дам *есть*", что-то в этом роде.

Но я все сбиваюсь от главной мысли, что "свальный грех", — существо некоторых религиозных сект, существо еще римских "сатурналий", притом в республиканскую, строгую и почтенную эпоху, — входит в существо перешедшей проституции, и вместе — вечной проституции, и вместе этот "свальный грех" выражает сущность одной семенной "дольки" в "двусеменно-дольном" поле. Ведь и с *мужем* этот акт есть уже (не спорим о терминах) "разврат", — и посему скрывается от мира и людей как именно "разврат". Какая она "развратница", — "не стесняется *при людях*". Сказали бы и о Татьяне Пушкина, и о Пенелопе Улисса, — *если б случилось*. Итак, они скрываются "в этот момент", п. ч. он — "разврат". Так все думают. Но он у всех — есть, без него невозможно рождение младенца. Да и вообще без него нет пола. Хорошо. Что же мы видим? "Существо пола" у всякого человека, самого праведного, — "развратно". Повторяем, о терминах мы не спорим. Выходит, однако, что "свальный грех" и "проституция" только раздвигает в океан капельку, только умножает "мелкий дождичек". В браке — "моросит", в "свальном грехе" и "проституции" — "льет ливень". Но молекула кислорода *одна везде*. Тут термины совершенно оборачиваются. "Все измоченные" проститутки или "все измоченные" римлянки в сатурналиях были те же строгие матроны и таковы же, как наши жены, но только попали под ливень и измочены, тогда как обыкновенные женщины лишь "отсырели". Однако — отсырели, и существо влаги во всех *есть*. Выговорим дело вслух: "развратны суть и чистейшие женщины, а, с другой стороны, проститутки суть ежечасные жены, только жены и специфически жены, без быта, без чистых комнат, без своего сада, без хозяйства и только с чудовишной, от горизонта до горизонта, кроватью. Но кровать "уголком" везде входит, в чистейшие дома, в благороднейшие и возвышенные семьи. В чем же разница?

В "*зерне*" мы ее не найдем. "Пол развратен" вообще; и существо его, самое существо, стрелочка внутри, которая "показывает ход времени", — есть всецело и исключительно только один "разврат". Ибо все тянет и застенчиво пробирается к "акту". Но так как нельзя же "океан" называть "грехом", и "природу" именовать "мерзостью", и необходимость или, например, "идушие часы" понимать как "ошибку", — то явно мы должны признать, что "укрывательство" есть именно "тайна" и что все дело безгрешно у целомудренных жен и в римских сатурналиях и в прочем. Тогда нам объяснятся и сатурналии, и все, и священная семья, между прочим. "Семья священна" по существу и от существа завитого сюда акта; не по быту, не по чаепитию, не по "тетушкам" и "сестрицам", а именно и только от существа предполагаемого "развратного соединения", суть которого и высвечивает в семье. Без него — ничего нет. Но если *так*, то и "сатурналии" объясняются, и "хорошее расположение духа", и "они дети" — Куприна. Вообще тогда понятна религиозная догадка многих сект. Где *primum*¹, в сатурналиях или в се-

¹ первичное (лат.).

мье? Где же в конце концов — Протей? Может быть, в семье, а может быть, и в сатурналиях. Может быть, в сатурналиях, а может быть, и в семье. "Два хвоста и ни одной головы". Или "две головы и ни одного хвоста". Все становится "кругло", а начала нет. Не ухватишь и не поймешь. "Явно — все разврат", "езде разврат". И Татьяна "развратничает", и Пенелопа "развратничает". У Лизы Калитиной такое явное желание "поразвратничать" с Лаврецким. "Просится замуж", не хочет одной "дружбы" и разговоров. Брежится — кровать. Ну — уголком, долькой; около чая, тетушек, нянюшек, всего быта. Однако весь "быт"-то, с сестрами и тетушками, с детьми и хозяйством, без "кровати", не создается и явно вытек из "разврата". Термины странно преобразуются, и тогда вдруг понесся древний крик: "к Сатурналиям!" "Почтим Сатурна, древнего бога, родоначальника всего древнейшего, заветного, вечного".

И матроны, эти суровые древние матроны, темно-бронзовые, вечные...

И рядом — рядом! именно рядом!!! — священный огонь Весты и чистейшие весталки в белых одеяниях...

Как наши хлыстовки в белых рубахах...

"Почтим Сатурна!"

"Почтим Вечный Брак, лучшее из человеческих учреждений".

"Почтим — однажды в году собравшись ночью под темные своды, где нет света и нет стыда".

И нет имени. Лица. А только человек и "пол".

* * *

2.IX.1914

...о войне есть один ужасный афоризм, но я его никогда не произнесу. Если его произнести, душа начнет умирать.

Он истинен. Он обнимает аид и землю. Только о небе он не говорит. Он объясняет, почему обширно-воинственные эпохи всегда были оптимистические эпохи.

Почему войны хотели и хотят. Почему войны требуют.

∞

Удивительно. Да уж не входит ли истина этого афоризма, так сказать, в космическую физиологию войны? Пожалуй. Пожалуй, это тот необъяснимый "сок поджелудочной железы", с помощью которого мясо переваривается в желудке, но сам желудок не переваривается, хотя состоит из мяса.

(бреду по улице)

* * *

4.IX.1914

Мое время не щадит меня, и я не пощажу моего времени.

— Вражда? — Да.

Сильнее ли я его. Да? Почему? Умнее.

Оно меня "замалчивает", ну а я его "заговорю". Тупое овечьё молчание едва ли будет сильнее человеческого говора.

Пройдет 50 лет. И где же будет ваше "молчание" и "замалчивание"? И вот когда вы будете так глубоко молчать, я буду все еще говорить и говорить.

И мои "говоры" будут о вас, милые человеки, — которые тогда уже будете не молчащими овцами, а давно разложившимися в земле баранами.

(судьба моих книжечек)

4.IX.1914

На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Не две и не три: а — тысячу.

Это — "координаты действительности". И действительность только через 1000 точек на нее зрения и определяется.



Отсюда:

— Кто знает истину?

— Все.

— А не мудрецы?

— *Все* и есть *мудрец*; а один всегда есть только "он".

(на извощике с мам.)

* * *

4.IX.1914

— Мир — целомудренная супруга, — говорит монотеист.

— Мир — это девушка, которую еще никто не взял замуж и которая во все стороны оглядывается... и кидает смехи и улыбки... дожидаясь "суженого"... — говорит политеист.

И, м. б., все правы? Он был девушкой и станет супругой.

(на извощ. с мам.)

* * *

5.IX.1914

Да я за один образ Б. М. *Нечаянной Радости* (Божия Матерь — *Нечаянной Радости*) всей европейской культуры не возьму. Сколько психологии... сколько быта... понимания нужды народной — и тех "нежданных радостей", неучитанных, непредвиденных, которые точно перебегая, мелькая в жизни, — облегчают страдальческий путь человечества.

(на "Биржевых Ведомостях" со статьей Струве "Суд истории". Хорошая статья)

Хорошая статья — Струве добрый человек, и он любит Россию. Я не должен на него сердиться. Это личное и пустое...



И неужели я променяю Православие с "Нечаянную Радостью" на все мудрования католичества и лютеранства и на доклады "Религ.-философских собраний".

Православие — мужик. Мужик в его бесконечности. А мы просто сор.



Теперешняя война обозначила явно, что литература или, пожалуй, "так называемая литература" есть, пожалуй, история, когда нет подлинной истории. "Клоуны выбежали" на арену, когда на ней "нет трагедии". Что литературу, естественно, "читают" и ею "занимаются", где и когда нечего делать. "Вяжем чулок и слушаем сказки", что "где-то" и что "что-то"...

* * *

5.IX.1914

Солдат. Мужик. Поп. Господин. Купец. Да дворяне. Тоже сапожник. Всех объединяет Царь. Вот Россия.

— А мы? (литераторы).

— Вы — стрючкие. (Термин у Достоевского: "придирающиеся к случаю", "шумящие около чужого дела".)

— А Г. Дума?

— Это для оживления страны зрелище. Ну, и как йод: рассасывает, если подпухло — где флюс или что...

* * *

6.IX.1914

Это только кажется, что я необдуман в литературе. На самом деле очень обдуман.

Специалист.

(При мысли о "Сем. вопр. в России". Чужие цитаты, нелепые выписки. Главные мысли — в примечаниях к чужим статьям. Вчера об этом разговор)

Самые "бьяки" мои кривые, кляксы — все обдуманно. "Травяная вошь ползет по растению" обдуманно. "Вот — и Дернов"... "Тоже — "... Все — нужно. "Пустой", "ненужной", и нецелесообразной строчки ни одной в таком множестве книг и при таком необозримом числе тем.

Специалист.

Да и неудивительно. Вся жизнь, — уже довольно долгая жизнь — на обдумывание (положена) — тем, вопросов, мировых точек бытия. Всего. Всего, касающегося литературы, касающегося философии. "Такого специалиста литературы и философии" я не знаю. Каждая точка во мне (вопрос) горит огнем, и поистине голова моя есть великолепная иллюминация (только не вроде Грибоедова. Совсем иное). С дней, как я принимал "Омира" и "Гомера" за двух великих греческих поэтов и плакал, что у России нет таких, — я не то чтобы "хотел" или "желал": а — рос в литературу, в одну только литературу и исключительно литературу. И "стихов" я не написал, "романов" — тоже: но мой

собственный "роман с литературой" — удивителен, трогателен, поучителен; и не думаю, чтобы не был плодотворен.

Такое огромное "зерно, брошенное в землю" и поистине "умершее". — О, как страшно умершее — не может не "принести плода".

Меня послал Бог.

И я ничего не творю, кроме Божией воли.

* * *

6.IX.1914

"Побродяжка" — так назвал бы я себя в конце концов. Ничего постоянного. Ничего стоящего на месте. Никакой привязанности ни к какому месту, профессии, занятию, городу. И вообще я в высшей степени не привязан и не связан.

От "бродяжки" — и "грязнушка". Когда тут заботиться о носовом платке, когда я засмотрелся на Страсбургский собор. Я вообще — любующийся, и любованье — мотив (отчасти) моего странствования. "Еще бы поглядеть", "увидеть", испытать. Я художник и философ...

Не одетый. Без костюма. Без нравов и обычаев. Когда Адам надел "кожаное препоясание", я был *не с ним*. "Пожалуйста, без греха и формы".

Весело ли мне? Не скучно. Томит ли меня грусть? Да. Я существенно грустный. Мать зачала меня в грусти и носила в грусти. Это врожденное и нерассеиваемое.

Чувствую ли я мир грустным? Скорее — страшным. Мир — он страшный. Он лютый. Я боюсь мира и не уважаю его. Я люблю в мире только маленькое.

Я друг маленького.

Человечество? Я об нем никогда не думаю. Я слишком люблю людей, чтобы думать о человечестве. Т. е. люблю некоторых и потому ненавижу "вообще". Не ненавижу, а чужд.

Мир страшный, и я в нем скорее прячусь, чем живу. И семью я люблю по 1000 причин, но из них есть та одна, что семья — в стенах, за стенами, что в ней есть свой центр и абсолютно можно жить "в своей семье" без человечества.

Лет 15 назад мое "противоположение человечеству" дошло до того, что я бродил в мыслях "извести из себя особый народ", который бы никогда ни с кем не смешивался и жил совершенно обособленно и уединенно. Стать "Адамом" для своего потомства, повторить "историю Адама" в лице своем и своей семьи. Конечно, без ужасного Каина. Это ведь очень возможно, имея сыновей и дочерей.

Теперь я спокойнее и проще стал. Не плаю.

Так босой и без носового платка я странствую, — довольно любопытно.

(вагон)

6.IX.1914

Дело, конечно, не в демократии, а в вождях ее, — как и в каждой партии. Дело не в ней самой, а в ее *лидерах*. Ну, а вожди демократии прямо не смогли не войти в дома богатых издателей богатых газет и в дома талантливых директоров фабрик, с тех пор как эти директора и эти редакторы вошли в ряды социал-демократической партии. Отчего им не "войти": дело движения и интересной биографии.

"Ведь ликвидация теперешнего строя произойдет не в эти двадцать лет", — говорит 50-летний капиталист. И зачем же на 20 лет остающейся ему жизни он откажет себе не только в лукулловских завтраках, в "первых представлениях" новых пьес в Comédie française, но и в избранном обществе первых журналистов своего времени, первых ораторов парламента и первых общественных деятелей. Таким образом "все познакомились".

Из этого "знакомства", однако, произошли непредвиденные последствия. С тех пор как М. М. Стасюлевич познакомился с бароном Гинцбургом и Макс. Макс. Ковалевский всегда может напечатать свою статью в "Вестнике Европы", — нравы смягчились. Собственно, из "знакомства" исключен только никому не полезный дворянин, — исключен "купец" за необразованностью и нелитературностью, директор департамента, потому что ему "некогда", и, естественно, лица королевских домов, п. ч. они "держатся высоко". Но банкир, журналист, адвокат и ученый в качестве "пешки в углу гостиной", — который сидит там и что-то мурлыкает и украшает гостиную своим "открытием новым амеб", — эти люди перезнакомились, кушают один великолепный завтрак у банкира, и невольно все их суждения покосились в плане.

Гнева все еще у них очень много: но как же вы скажете гнев в лицо хозяину, притом же "товарищу по партии". Позвольте, разве говорят грубости Проперу сотрудники "Бирж. Вedom.", какого бы они мнения о нем ни были. И Стасюлевич за 43 года "корректного" издания "Вестн. Европы", находя порицаемым все в отечестве, не сказал ни одного порицания банкирам. П. ч. Гинцбург-то был банкир, а он у него завтракал. Между тем, кто скажет, — нет, сильнее: кому Стасюлевич оставил хотя бы малейшую возможность сказать о нем при жизни и после смерти что-нибудь дурное. Корректнейший человек: а суть корректности — нельзя придаться, обвинять и порицать, не впадая в голую и, следовательно, безвредную клевету. И я ведь здесь говорю, в сущности, о неуловимостях...

Кто же *может* вмешаться в то, у кого Стасюлевич завтракает и к кому он не позван завтракать. Его не приглашал завтракать к себе ни Победоносцев и вообще ни один из министров.

Хотя, правда, литератор Стулли, не помню, в конце года, не помню, в начале года, помещал в "Вестн. Евр." каждый год "О состоянии наших финансов по отчетам Госуд. Контроля", где в немногих солидных строках говорилось с уважением о сем солидном учреждении. Он получал 2400 р. в год и приходил, — со своим грубым тоном "барина" и циническим смехом только 20-го числа в канцелярию Департамента, где расписывался в "Требовательной ведомости" и не появлялся затем

до нового 20-го числа. Его ненавидели все чиновники, которым приходилось "корпеть", и особенно его не выносил честный бедняк Каблиц и Граммати. 2400, конечно, стоят хорошего завтрака. Но переходу к делу и сущности.

После "знакомства" и объединения в "ту же партию" революционерам стало решительно невозможно поименно кричать в своих газетах и журналах: "банкир Гинцбург", "директор банка Герценштейн". Социалисты "Русского Богатства" ни разу не выкрикнули: "тесть банкира Стасюлевич". Пришлось и осталось кричать: "тощий Победоносцев", "иуды-министры" и вообще называть только тех, с кем не встречались за завтраками и кто не был "в нашей партии". Социальный вопрос немного повернулся на оси. Дело началось, и "Мальбрук в поход собрался" против сосредоточения денег в руках немногих и обнищания пролетариата... Но когда Мальбрук достаточно прошел "похода", то рабочие массы стали натравливаться на Победоносцева, который жил и жалованье получал меньше Герценштейна и управлял семинариями, попами и архиереями. Где же рабочий вопрос? Это обер-прокурор Синода, а не эксплуататор несчастных пролетариев. Но экономисты скопили глаза с стороны и, дожевывая банкирский завтрак, успокаивали: "Видите ли, дело сложнее, чем казалось. В основе экономического угнетения лежит отсутствие политических гарантий. Дело в том, что эксплуатация народа происходит... происходит... происходит по воле вообще рабовладельческих классов, по воле господ наверху... с которыми делятся (сильнейшее моргание глазами) капиталисты и кормят их жирными завтраками. И вот этот Победоносцев, который только и делает, что завтракает у банкира, — у какого банкира, это все равно, *nomina sunt odiosa*¹, он-то и является виновником, что путиловские рабочие так страдают. Он и вообще министры, он и вообще прокуроры, он и вообще бюрократия... И вот, ближайшая задача момента состоит в том, чтобы Россия однажды и навсегда освободилась от всяких господ Победоносцевых, от всяких этих сенаторов и тайных и действительных статских советников"... "Что же касается удовлетворения собственно рабочих, то это мы сделаем потом и разом. Дело в том, что нельзя же вешать разом 10 000, 100 000 эксплуататоров. Можно получить сопротивление, да и вообще это война по мелочам. Надо дать закончиться процессу, план которого предначертал Маркс: сей ангел социал-демократии после лет размышления пришел к выводу, что надо допустить капиталистическому строю созреть естественным созревaniem, пока древо промышленности не завершится выращиванием из него одного или самое большее 5—7—10 колоссальных фруктов..." Роль Ротшильда совсем вырисовывается. Гинцбурга, Ротшильда и братьев Поляковых, у которых служил Герценштейн в директорах...

— И тогда "собранные в могучую армию пролетарии" бескровно даже переведут сконцентрированные богатства в один коллективный карман. После чего настанет тысячелетнее царство неимущих... Т. е. прежде неимущих, а теперь богатых. Вот и все. Это говорят Маркс и Мякотин... Понятно, до какой степени это хорошо для Ротшильда,

¹ не будем называть имен (лат.).

который даже вообразить не мог, чтобы он был когда-нибудь так всесторонне обдуман и солидно обоснован.

— Все соотечественники из Палестины. У нас были и Спиноза, и Мендельсон, и Рикардо, и напоследок лет — Герценштейн, Винавер, Грузенберг и Бейлис. Все бегут ко мне и гораздо даже быстрее, чем сосредоточиваются около меня капиталы, русская нефть и виноградники Кахетии, сосредоточиваются около меня души, политическая экономия и даже убогие статейки в "Русском Богатстве" доморощенных русских Киф Мокеевичей...

Счастливым сон Ротшильда. И стоят с опахалами около своего будущего фараона и "наши", и французы, и немцы, но больше всего, конечно, евреев.

"Не отойдет *жезл* от Иуды и *возждь* от чресл его: доколе не придет Примиритель".

Ротшильд всех "примирит" и всех "умиротворит". Тогда политическая экономия сделает еще шаг вперед: она объяснит, что дело, собственно, не в революции, а в ермолке.

Конечно, возмутительно, если пролетариями командует барин: но если это будет "Человек", просто "Человек", по Леониду Андрееву и Максиму Горькому, в бедном лапсердаке и в засаленной ермолке, тоже "наш брат рабочий", Натан I (фамилию можно и упразднить), то из-за чего же, собственно, волноваться. Он друг Максима Горького, и Максим Горький друг ему; Амфитеатров непрерывно у него занимается и пишет могучие фельетоны о могучем друге человечества.

Для волнения нет причин: и рабочие Путиловского завода, которым будет осторожно управлять Шмуль Герценштейн или Иуда Йоллос, — понуро опустят голову над расплавленным металлом, около которого работа будет по-прежнему каторжною...

— Что же делать, граждане: нужно работать, — будет говорить им проходящий по своему заводу, — впрочем, тогда по акционерному анонимному заводу, с миллионом дешевеньких акций, на которые подписаны во владельцы и рабочие, — Иуда Йоллос...

* * *

6.IX.1914

"Друг Божий"... Если кто любит людей, смело называй себя и другом Божиим.

∞

Святые так себя и чувствовали. Замечательно их единство, их общность, их узнавание друг друга. Почему они узнавали-то, хотя не были еще канонизированы. По этой дружбе с человеками и дружбе Богу.

Поэтому и человечество инстинктивно догадалось поставить их стражею около себя. Стражею около души своей и около жизни. "Нам другой защиты не нужно, ни других учителей". Это верно.

В "житиях святых" Человечество имеет вечное "училище благочестия", помимо которого оно нуждается в практических ремеслах и еще

(пассивно) в хорошем суде и администрации. И только. Больше оно ни в чем не нуждается — для жизни положительно вечной.

Жития святых есть драгоценнейший склад исторических сокровищ, который не истощится и который открыт для пользования каждого поколения. Наше время выкинуло их за борт, заменив учебными экскурсиями, героями и героинями романов и "биографиями знаменитых писателей", т. е. перечнями учебных заведений, в которых они учились, и перечнем произведений, которые они написали. Потому что какую же "биографию" можно представить у современного писателя? Тогда как у святых были подвиги, видения, общение с Богом.

И это поучительно и нужно. Люблю Пушкина, но, извините, что же в том поучительного, что он учился в Пушкинском лицее и за какую-то шалость был выслан в деревню, — и почему "сие важно" детям.

Ни биография Пушкина, ни "изложение своими словами" "На бойком месте" Островского — для детей не нужно.

Это пошлость, а не педагогика.

Но возвращаюсь к святым. Итак, — это стража, устроенная историей около своего потомства и благодетельно его охраняющая. Немцы уже лишены ее. Лютер "похерил" святых и самое понятие святости, и ожидание святости, и требование ее. И "святые" Германия не охраняли. Культура без "святого" в себе и оказалась первобытным диким состоянием, с привесками около себя разных фраз о "гуманности", человечности и "правах человека и обязанностях гражданина"... Во второй раз, после французской революции, — и человечество с фразами оказалось как бы без всяких фраз: бьет, рубит и жрет. *Animal sacrum et ferox*¹.

Бог с ним. Я не упрекаю, а рассматриваю свое богатство. Русский не посмеет ни разрушить храм чужой веры, ни чужого мирного жилища, ни надругаться ради надругательства над женщиною, ни "расстрелять отца на глазах дочери", скромность которой он защитил от начавшего ее "обыскивать" лейтенанта. Европу не спас ни гений (Бисмарк), ни школьный учитель. Ее не спасли Либих, Гельмгольц, Фохт, Бюхнер и Молешотт. Не спасли ее наука и научные завоевания. Настоящая наука и настоящие научные завоевания (не чета нашим подражаниям и компиляторам). Но наши дьячки и наши попы ("которым хочется плюнуть в лицо — до того они омерзительны", сегодня слышал словцо) спасли Россию от такого позора. Ибо, конечно, никто не наклеветет, что русские *только* это могут сделать.

Нет злобы. В России нет злобы. Есть гнев; есть отдельные злые люди, как продукт патологического зачатия или патологической биографии. Но вообще русские "в благочестии зачинаются", соблюдая пост, среды и пятки и "перед праздником". Т. е. проведя по крайней мере 2 дня в воздержании и, след., начиная с напряжением достаточной энергии; и проведя два дня "во всяком благочестии и тишине", т. е. создав для зачатия благопотребное настроение. Отсюда и дети добрые и ласковые,

¹ Животное священное и неукротимое (лат.).

и народ наш приветливый и добрый. Не врачи, а посты сохраняют здоровье и силы народные.

Итак, в благочестии зачаты и примерами святых угодников воспитаны. К этому бедность и труд. Это хорошо. Богатства нам не надо и *никогда не надо*. В этих условиях и образовался наш добрый народ, который — если предохранить его от развращения литературою и политикою — и останется таким.

Злоба, как пузыри на коже от ожога, начала выкатывать на народ впервые от социалистишек, от "хождения в народ" каинитов, пошедших с проповедью "восстань брат на брата". Аfirmья мне говорила (студенту): "У нас помещику Дивееву три деревни работали — не могли наработать". Она была умная старуха: у нее никакой злобы не было против своих помещиков, даже дурных. Приблизительно в 1900 году, когда праздновался который-то юбилей "19 февраля", я вышел на улицу (Шпалерную) и, увидя старуху с ребенком (от дочери внучка), заговорил о крепостном праве. Она ответила: "У нас были хорошие господа, и когда дали волю — мы остались у них, как были".

(вагон, приехали)

* * *

7.IX.1914

Особой *выразительности* лицо человеческое достигает потому, что оно есть *тоже* половой орган.

Духовная сторона тамошней физиологии.

И *от этого* оно "говорит"... Как маслянится... Играет, манит. От этого — целуемся. *Любовь* начинается с лица: "понравились друг другу"...

Ну, и тысяча неуловимостей.

* * *

7.IX.1914

Вася:

— Онегин, папа, фамилия?

— Фамилия.

— Так, Евгений, значит, имя?

— Да.

— А как же отчество?

"Отчество"? Никогда в голову не приходило. Ни мне и никому.

Но все русские с отчеством, и даже пренебрегая именем часто называют одним отчеством. "Васильич", "Пахомовна". Не показывает ли это, до чего создание Евг. Онегина было отчуждено от русской жизни. От земли и действительности.

∞

Час назад посетила Васильева, из Казани. В нужде, плакала. Молодая, видная. Муж болен, сама больная; у обоих ревматизм, у него еще

катар сильнейший горла. "Местишка". "Работы". Муж — бывший учитель частной гимназии. Странное известие: — Отец моего мужа знал Вашего брата Николая Васильевича. У него на квартире он жил, в Казани, когда был студентом (1866—70!!!). И он припоминал: и этот Розанов говорил: "У меня есть брат Вася, и у него есть талант (по письмам?). Я его возьму к себе, когда кончу курс".

И исполнил. Он *сделал меня*: иначе нельзя назвать то, что он сделал для меня. Я был тяжел ему: груб, плохо учился, — уже курил и так и не бросил привычку, несмотря на "стоять в углу". Читал — запоем. Помню, "в углу" читал "Дон Кихота" (детский) и заливался от хохота. Взял потихоньку со стола и опять "в угол". Коля спал (отдыхал).

Он "сделал меня". Но все время гимназии (нигилист) я не чувствовал к нему никакой благодарности, я не думал ни одной минуты, что кому-то тяжел и что мне сделано добро.

Почему? Был ли я зол? Был ли особенно легкомыслен? Ведь я был очень начитан. Нет: это — психология возраста. Юноша и мальчик только смотрит вперед и чем он сам "будет", не замечая окружающих и окружающего.

Его добрую и чистую семью сгубили социалистишки. Семья была странно доверчивая и наивная. "Встречи" и "любовь" подвели судьбу. Они увели их "в стан погибающих"...

О, Некрасов! Некрасов!!! Ты ходишь по щиколки в крови человеческой.

Сам брат (Коля) был почти славянофил. Но он еще больше любил Маколея, Д. С. Милля, Гизо, Ог. Тьери. Все это были "любимцы" в его небольшой, но изящной библиотеке. Наряду с классиками — Пушкиным, Лерм., Гог., Гончаровым, Л. Толстым, А. Толстым, Островским.

Почему-то Достоевского у него не было, и оттого я так поздно познакомился с последним. Да будет благословенна его чистая и благородная память. Вместе с Верочкою — сестрой. Они два, — старшие, — были похожи друг на друга.

* * *

9.IX.1914

Когда русский человек хороший человек, то лучше его нет на свете. Только хороший-то он бывает редко, вот беда.

Напротив, у немцев почти все хорошие. Только они какие-то неинтересно хорошие.

(бреду по улице)

* * *

9.IX.1914

Дешева икра (война), и беру у Нечаева. Пробую за 2 р. 60 к., кажется, — ничего. Передо мной берет почтенная обывательница. Я и спрашиваю: "Ничего икра?" Она уже вперед меня попробовала обе банки в 2 р. 60 к. и в 4 р., и говорит: — "Да. Но знаете, *отзыв* есть". — "Отзыв, — думаю, — значит — несвежа, затхла". И говорю в этом смысле, уже думаю отказаться. "Нет, — отвечает она. — Но я любительница икры, а в этой есть примесь... как вам сказать... рыбьего жира".

Я решил взять и с колебанием спрашиваю: "А сколько раньше она стоила". — "5 р.". — "Вы это *верно* знаете". — "О, да. Этот год я много беру. Это время у меня было много поминок". Она вздохнула, или мне показалось, что вздохнула. И повторила: "Много поминок, и я все покупаю икру. Но эта — с жирком, а вот та совершенно чистая".



Я и "ту" попробовал. Очаровательна. Но взял в 2 р. 60 к.



Прихожу домой, рассказываю. Домна Васильевна качает головой и разъяснила: поминки — похороны — блины и при них *икра*.



Так вот как. Кому смерть, а кому икра. И придумали же русские... Ну, скажите, в какое "отделение" того света их посадить. Бог, сотворяя "человека" и все для него предназначивая, — не думал, что выйдут "русские", и, кажется, решительно ничего для них не предназначал. От этого они такие странные.



11.IX.1914

О войне существует страшный афоризм. Но я его никогда не произнесу.

Если его сказать, душа начнет умирать.

Он обнимает аид и землю.

Только небо он не обнимает.

Он истинен.

Он объясняет, почему эпохи широко воинственные были оптимистическими.

(бреду по улице)



12.IX.1914

Конечно, можно сделать вид, что не понимаешь, когда смотришь на мусульманскую мечеть... "Вольному воля — спасенному рай".

(за нумизматикой; бетилы на монетах)



14.IX.1914

"Б. видит все видимое и невидимое".

Воображаю зрелище...

(3-й час ночи; рассматриваю кипрские монеты с коническими бетилами; и представил себе Петербург)

14.IX.1914

Дорогая мамочка, целую тебя крепко, крепко. В школе очень много случилось событий. Теперь мы, девочки, занимаемся шитьем каждый день. При школе лазарет, который состоит из 16 раненых. Ел. Серг., заведующая сестра милосердия, Маруся Нагорнова тоже сестра, ей помогает. А нас, девочек, Ел. Серг. только тогда пошлет в лазарет, когда она увидит, что мы совсем исправились. Наши мальчики ездят во дворец и там тоже помогают. Теперь в школе все совершенно другое.

Многих из наших учителей взяли на войну. Но в школе, конечно, продолжатся занятия, между прочим, очень они интересные. Мой класс прямо чудный, до того все у нас занято работой, все страшно занято делом. Милая мамочка, знаешь, у нас 14-го, как раз в воскресенье, 14-летие школы. Т. что отпуска не будет, мне страшно жаль, что я не могу вас всех увидеть, но надеюсь, что меня отпустят 17-го на Надины и Верины именины. Поцелуй от меня крепко папочку дорогого и всех. Буду надеяться, что встречу тебя такой же, веселой и здоровой.

Прощай, моя милая мамочка.

Занятия мои идут хорошо.

Твоя Варя.

9.IX.14.

16/17.IX.1914

...а ведь действительно люди очень хорошо размножаются и без Розанова. Действительно тема нашего времени: построение духа, а не построение тела.

Всю мою жизнь я положил на построение тела. Разрыл Вавилон, Библию, Египет. Не видел ничего, не слушал никого. Тогда как их до того много, что вот они начали истреблять друг друга, — в сущности, по мотиву: "Что же мы будем есть завтра". Такова была и Манджурская война ("приобрести Корею"), и Германская (колонии, против Англии, будущность на морях). Людей больше, чем хлеба, и, в сущности, в основании двух новейших страшных войн лежит просто закон Мальтуса. Люди начинают войны собственно от тоски, что "людей так много" и "некуда деваться". Без этого, конечно, не было бы ни Германской войны, ни Манджурской.

(заснул)

По фазе планеты — и религия. Религия — это "дохнула планета" или — Дух Божий "сошел на планету". Явно вначале надо было утвердить размножение, и все древние религии, пока "земля была пустыня и необитаема", и утверждали, и освящали, "огораживали преданием и ежедневностью" (обычай) эту одну тему, эту одну надобность, этот один закон. Молитва евреев при наречении имени *новорожденному*: "Ты родился для ("изучения Торы и", если рожден мальчик) вступления в брак" — потрясаяще манифестирует эту единую мысль, единую в Мемфисе, Вавилоне и Иерусалиме. Сейчас же после рождения смотрят в половые органы младенца и изрекают: "В них все дело, остальное

— только средства и обстановка”. “Средства и обстановка” — вся жизнь, вся личность; “ничего не надо”, кроме вот ЭТОГО: ну, знать, вот ЭТО действительно религия и “закон” и “пророки”. Да это явно. Объясняется все, объясняется даже история Лота: дикое, иступленное “через все переступлю, лишь бы оставить *потомство*”. Отсюда эта история *рассказана*, отсюда дочери в наречении имени сыновьям своим так явно запечатлели: “он — от *отца моего*” (“Моав”, “Амолик”). Ничего не ужасно. “Кричу во всех газетах о мужестве и дерзости моей”, дабы исполнить *главный закон*. Здесь разврата не входит ни одной крупичицы. Какой же разврат, когда “Суворов переходит через Альпы”. Евреи неистовствуют в деторождении. Неистовствуют, безумствуют, доходят “до столбняка”. Не в совокуплениях, а в *потомстве*, т. е. вот в этой теме — еще “наполнить землю”.

Но тема эта давно устарела, когда дерутся из-за “недостатка земли”, и, как я видел в Баварии — “город на город лезет” — “куда тут Лот — лучше проституция”, — и наиболее глубокая часть государственности, полиция, не смея явно провозглашать, втайне покровительствует более проституции и “пивным с девицами” (Мюнхен), чем “законным бракам”, на которые никто не обращает внимания. “Не знаем, куда людей деть”, “рождается слишком много” — “лучше уж проституция, чем вести *войны*” (из-за земли). Началось разложение цивилизации; ибо “пивная с девицами”, как потайной идеал Отечества, в корне отрицает Отечество. Змея свернулась, и голова кусает хвост. “Какое же это *мне* Отечество, если оно ищет не потомства моего, а предлагает кружку пива и девицу”. Это не Отечество, а кабак и даже хуже... В сущности, это — бедлам. Отечество имеют только евреи, у которых “первенцы”...

Ну, так что же такое заговорил Розанов? Вся сила Розанова происходит от того, что он ничего не знает. Великая сила моя в великом забвении. Мне действительно в голову не приходило, что размножаются уж слишком много, и я трудился, “как в Вавилоне”. Я повторил работу, сделанную тогда, в существенно новых условиях. Ничего и ни у кого я не заимствовал, но, роя траншею, “заглянул в соседнюю древнюю траншею, давно оставленную”, — и, естественно, понял малейшие там канавки, проходцы, работу киркой и молотом, “все обычаи и странности”, дотоле просто проходимые мимо и никем не замечаемые, не то чтобы “расследовать”. Когда же наука копалась около постели, когда же вникала в “постельные страсти”. Это не богословие и не история: “извините-с, это не археология”. Между тем это, конечно, самая древняя археология. Весь древний мир (первый фазис планеты) прожил *эту тему*.

Германская война мне открыла глаза, что “людей слишком много”, — и что мы скорее стоим перед проблемой Смерти, чем Жизни...

“Жизнь-то, наверное, будет; но вот беда: будет ли Смерть. Без Смерти не обойтись: и лучше бы потихоньку, чем начинать громоздкую, шумную, скандальную Войну, — из-за недостатка *места для живущих*”. “Мало проституции, мало кокоток. Мало сухопарых ученых женщин. Мало деспотизма феминизма. Тут интерес не в том, что наука, и не в том, что у женщин будут права или бесправие, — а в том, что за шумом и за микроскопом они забудут родить и исполнять главную задачу эпохи” (мудрость полиции).

Да-с...

Черт знает что...

Ну. Я в этом "бедламе" не работник. Недаром, недаром, недаром безбожие ползет по земле, и нет ему задержки, и нет ему остановки, и "никто не может победить"...

То-то "настал конец религии, и начался век позитивизма"...

Пришел Дрэпер. Пришел Бокль...

.....
.....
Белые ангелы отлетают от земли.
.....
.....

И тревожно заговорил Розанов о жеребцах. Нет, я и "во время" и "не вовремя". Я безумный. На безумном месте родился. Как же мне сохранить было разум. "Я потерял память". Как это естественно.

("Вера, Надежда, Любовь, Софья")

* * *

20.IX.1914

У фельетониста и аршин фельетониста. И вот этим аршином фельетониста он меряет государство, полицию; измеряет артиллерийскую стрельбу и седой труд армии и все находит "мало". Измеряет свое Отечество. И на губах его кривится улыбка презрения.

"Я не нашел ничего великого в мире". Затем он ужинает свой ужин, складывает драгоценный аршин и бережно кладет его в другой футляр, украшенный его изображением. И засыпает сном праведника, исполнившего свое дело.

Назавтра просыпается и вновь начинает "измерять".

Небо и землю.

Бога и пророков.

Законы свои и чужие.

И все удивляется, что так "мало".

Бедный фельетонист.

Счастливый фельетонист.

(Как произошел Оль-д'Ор)

* * *

21.IX.1914

И этот "крест на себе". Столько лет неснимаемый — сколько грехов моих он видел.

.....И не плакала душа моя.....
.....она была лютая, эта душа.....
.....Лютая равнодушием.....
.....Только когда все прошло — так тяжело.

(на обороте транспаранта)

Смерть идет неслышными шагами.

И вот все кончено.

Бррр...

(Гости разошлись. Вспомнил о письме Фл. о сестре)

* * *

22.IX.1914

В любви есть что-то упорное. "Запрещено" и "нельзя": вот *тут-то* "я и хочу"...

Это извечное. Это, кажется, закон ее...

Упорство "своего" и "особенного"...

Сопротивляться любви — значит только дразнить ее и никогда — победить. "Побежденной любви" я никогда не видывал. "Побеждали" только там, где по множеству побочных черт мы наблюдаем, что любви настоящей никогда не было. Побеждали призраки любви, но не ее в багровом пламени утренней зари...

В багровом пламени утренней зари она побеждала весь мир. Всегда.

(на обороте транспаранта)

* * *

22.IX.1914

Боже, исцели Россию, Боже исцели Россию, Боже исцели Россию.

Она больна, эта Россия.

Ее привели сюда ее вожди слепые. Самонадеянные. Забывая о Тебе, Господи, и только надеявшиеся на себя.

Возомнившие о себе, нечестивые.

(в в.....)

* * *

23.IX.1914

Легкие прикосновения души...

И поцелуй почему так нравятся?

Потому что это прикосновение душ.

Вот почему поцелуй различны в мире.

(Мамочка разбранила меня за один лишний поцелуй за завтраком)

Будем, господа, застенчиво закрывать лицо руками и все-таки целоваться.

* * *

26.IX.1914

Не одолев в чистом поле Руси, Сагайдачный, Дорошенко и иные такие же вошли в нее с заднего двора; переоделись в лохмотья, прикинулись "нищенками-христоролюбцами", взяли бандуру и начали петь заунывные песни челяди...

Челядь на Руси была глупая и простоватая, ничего на свете не выдавшая... И слушала.

Они пели ей, притворяясь слепыми и хорошо видя, — что была когда-то эта челядь сама паньчанами и панями и всякого добра у ее дедов и бабок было "не выбрать"... И жили в волюшке под золотыми звездами, широко принимая гостей...

Челядь плакала...

Но пришел серый волк, бурый медведь, — бабу и деда съел, избу сломал, а деток выгнал на мороз. И с тех пор детушки странствуют и нищенствуют.

Челядь пуще плакала и начинала гневаться.

И вот теперь кто от серого волка пошел — живет в передних комнатах, а кто от съеденного деда и бабушки — те около заднего двора, ходят за скотиной и пребывают в скотском виде. И называются они "хрестьянами", потому что они одни со Христом, а бары называться "хрестьянами" не хотят — потому что они против Христа. И стало две Руси — светлая внизу и темная наверху...

Так пели бандуристы и плакали, моргая одним действительно слепым глазом и другим зрячим...

Плакала челядь, но недолго.

Похватав горящие головни из кухонной печи — они кинулись в хоромы и зажгли все. О ту пору Илья Ильич Обломов почивал покушавши. И сгорел Русский Дом.

Так расквиталась Малая Россия с Великой Русью.

(Гоголь и пугилисты)

* * *

26.IX.1914

Для нас евреи нисколько не опасны как враги. Они для нас опасны только как друзья.

Это и касательно домов, и касательно государства.

"Застегивай ворот на рубаше"... Отдельные вагоны; совершенно отдельные школы, пусть "самостоятельные ихние" и вообще какие хотят. Только чтобы в *наши* училища, где учатся *наши* дети, — ихних чистеньких и благоразумных красавчиков не пускали...

.....
Как-то в Нижнем, еще гимназистом, я был на базаре. За ларем мужик продавал мелочь, — игрушки, пряники. Перед ларем стоял еврейский мальчик не старше лет 8—9. За его спиной стоял пожилой еврей отец. Он учил его покупать. Это было ужасно (отец был весь наострен, невообразимо хищный и зоркий, опытный в речи. Он ему подсказывал слова, приемы; руководил в покупке. Покупаемая вещь была не нужна; это был "образцовый урок покупки". За всю жизнь, выдав в 1000 раз больше русских, я не видел ни одного подобного "пробного урока" на базаре. Что на это скажет Гершензон и Ревекка Эфрос, по которым "евреи все чисты и безгрешны").

Нет, господа, — разделимся по совести. Не надо нам вас, как тысячу лет вам не надо было "нас". Нас и никого. Вы субъективная нация, живете в себе и для себя. Позвольте вокруг вас войти нациям тоже в "субъективность".

Свои законы, свои школы и никакого знакомства. Вы идите по правому тротуару, мы по левому. "Мы с Богом, у нас молитва". — Не надо! не надо! У нас все будет свое.

У нас — Православная церковь. И довольно.

(за корректурую)

27.IX.1914

...вообще "мистерии" древности, — особый факт исторический, особенное понятие религиозно-историческое, особый круг предметов ведения, — имеют предметом "пол" и "половое" и получили свое имя — одежды — и жесты от вечной во всех временах сущности пола и природы его — затеняться, скрываться, уходить в неведомость и даже безыменность и неназываемость от всякого чужого, от "не наших" (и "не моего" — не мужа, напр.), от посторонних людей...

У хлыстов: *"Кто попадет на радения — убить того"*. У греков: "Никто не должен сказывать непосвященному, что он видел и знает". И за ВСЮ ИСТОРИЮ ни один не проболтался. И неудивительно: да нет слов, чтобы передать здесь особенно значущее выразительное, важное. Кто услышал бы: заткнул уши и убежал; а рассказчик оттого и не рассказывает, что всякий "неподготовленный" ("посвящение") заткнет уши и убежит.

"Можно только увидеть (*тайно*) и промолчать".

И "участники" мистерий "видели" и "всю жизнь молчали".

"Содержанием" мистерий, их "матерьяльным предметом", — "жестами" и "действиями", — без сомнения, было самое бесстыдное (на обыкновенную оценку, для говора толпы) и совершенно неизрекаемое, — такое, о чем можно только самому, субъективно и втайне грезить, и грезящий никогда об этом никому не проговорится, — но в чем ("разные мелочи"), если вдуматься хорошенько и продумать над темою не год и не два, а десять и двадцать лет, — раскрывается сущность пола, загадка пола, ноумен пола. В "мистериях" содержалось объяснение пола. Или, вернее, молчаливо бросался свет на пол. Единственное, что дошло до нас, — это восклицание "лаω", так похожее на русское "ах!". Удивление и, может быть, испуг. "За дверями" (за стеной) слышалось "лаω". Оно слышалось в пустынях Сирии, когда отыскивали тело умерщвленного Адониса. Когда я стал читать подаренный мне одним евреем молитвенник, я был невыразимо удивлен, встретив там столь чуждое семинаристам имя "Иа". Напр.:

"Из тесноты воззвал я к Иа; простором ответил мне Иа".

И еще через страницу.

"Моя сила и песнь — Иа;

Он был мне в помощь.

Клик пения и победы в шатрах праведников; десница Господня дает помощь".

(*"Бenedикция Лулева Аллель"*; читается в новомесячия после утренней тефилы)

28.IX.1914

...вы так и думаете, что интересны ваши Эндимионы и Гераклы, "опирающиеся на палицу" и

— Как его корпус хорош.

Полноте: вот сидит бритый актеришка, весь мешочком, лицо мешочком, "линий" никаких или одни актерские, нос картонный и весь,

Как эта глупая луна
На этом глупом
небосклоне.

И с замиранием подходит к нему дрожащая Дриада, вся полная интереса и содержательности, и не смеет сознаться себе в тайном желании взять в рот его "картошку" и начать всего его облизывать, как будто бы это была уже не картошка, а самая нежная груша с юга Франции. И замирает. А он ей "ноль внимания". Сидит, нахал, в "Га-ра-д-ском саду" с гнусными акациями, слушает "Дунайские волны" и хотел бы неделикатно тронуть подающую ему "румку кон-ь-ку" толстозадую девицу.

Дриада замирает.

— Подойти? Не подойти?

И, как в пропасть летит, спрашивает:

— Вы одни?..

Он тушко поворачивает бельма в ее сторону. Весь лень и "не хочу". Сосушие гадкие губы. Весь животное.

.....
.....
.....

И я подумал:

— Да мир человеческий весь пронизан аномалиею.

Разве этот не животное? Вот его—"то и подай". "Подай" человеку высокому, англообразному. Непременно, не "обыкновенному" человеку. "Обыкновенный" остановится на обыкновенном или "получше". Но "Эндимион" непременно полезет в лужу.

Да чтобы воняло хоть немножко.

Что же мы будем удивляться "Золотому ослу" Апулея? Ослы царят, — в любви и в литературе.

(выслушал один рассказ)

* * *

28.IX.1914

А ведь филологи-то многого не заметили в иносказаниях Апулея. Да и как заметить: они — лысые и от занятий грамматикою у них все зубы выпали. Ну, терпи, бумага, и терпи, цензор. О цензоре, впрочем — "назвался груздем — полезай в кузов", а назвался цензором — то пропускай уже пропущенный цензурою перевод...

* * *

28.IX.1914

"Обрезанцы" суть "фаллисты", и ничего другого; кроме этого, не выражает обрезание. Это же — *вполне* выражает. Самым положением

такого особенного знака, *signum* на теле младенца как бы сказывается ему: сим *живи*, сим *отличайся*, сим *существуй* (существительное). *Чем же?* Фаллом, по *месту* знака. И как юдаизм, так и мусульманство, суть фаллические религии.

Телесные религии, в отличие от нашей духовной.

И близки к язычеству. Язычества были телесными религиями, а эти две — семенно-телесные. *То же* взято, но *глубже*. Язычество берет человека "с верхушки", юдаизм и мусульманство — с корня. Человек взят "от пуповины" его, которою прилагает к целому миру и от целого мира питается и особенно питалось. Юдаизм и мусульманство — землистее, сырее, планетнее грецизма и уж особенно романизма (пустая гражданская религия, религия форума).

Но во всяком случае ни одной языческой религии, ни всего его нельзя понять без юдаизма. Как нельзя понять анатомии без эмбриологии, и опять-таки без эмбриологии нельзя понять всей обширности и разнообразия зоологии.

"Из *яичка* — из него *все* видно".

Талмуд при первом же чтении его мне представился Thesaurus ("склад", "сокровищница", "амбар и богатство") язычества. Нельзя понять ни *а'урот*¹, ни *fohm'a* без талмуда; с талмудом же понятно, почему они ходили без штанов и в рубашонках, говорили друг другу "ты", Агамемнону говорили "ты", отчего не было официальности и канцелярий. Отчего были песни, а книгопечатания не было, отчего Пестум (Поссейдония) зарос травой. Отчего птички были зелены, а травки гудели пением. Тогда козлы совокуплялись с женщинами, женщины искали быков и быки казались "господами" и даже "богами" по приказанию женщин и форуму и агора. Это — Лысая гора, которой Моисей приказал:

— Тсс...

Всё ушло в тайну, в молчание, в иносказание. Это юдаизм. Он присел, стал невидим, неосязаем. Только миква плещется да ногти обстригаются. "Ни гу-гу"... "Никто не рассматривает".

Уж Заозерский-то во всяком случае не рассматривает.

Суть от яичка. С козлом больше не совокупаются и даже "тем паче запрещено", — но с любовью возлагают на него руки, говоря томительно и веще: "понеси грехи наши на себе", "понеси грехи наши на себе". Это потеснее и поинтимнее совокупления, *по-уравнительнее*. "Козел (в юдаизме) есть бог", если "несет наши грехи"...

Супруг ревнивых коз...

А жеребцы и быки, кобылицы и коровы обвязываются цветными ленточками и не запрягаются в субботу: т. е. *с человеком празднуют высший в году праздник*. Согласитесь, что это стоит "центавров", кото-

¹ народное собрание (*греч.*).

рые недалеко ускакали. Тем более что у центавра был "случай" с женой Геркулеса, а у осла — с знатной женщиной, тогда как в *субботнем* чувстве животных и в *жертвенном* отношении к козлу принимает участие весь народ...

"Ты, Аленушка, не забудь, что козленок взял часть твоей душеньки на себя, грешную, черную ее частицу — и отнес в пустыню, в *небытие*. Козел погиб, а ты — исцелилась".

Аленушка помнит. Как ей не волноваться козленочком. Это ребенок ее и это господин ее. "Взял мой грех на себя". Конечно — "мой *господин*", "ваали" (Ваал).

— О, ваали! ваали!

И евреи, особенно, я думаю, еврейки, — "падали перед ваали". — "На одно колено", — упрекали пророки. А "история священника Рудакова" говорит, что почти сплошь и всегда "на *оба* колена", забывая Иегову... "Что Бог, что судия Его — все так близко". Истома проходила по членам. Кровь волновалась. Сердце сжималось.

— О, Ваали! Ваали!..

Эти иерусалимские ослики с таким кротким, с таким человечески-кротким видом, несущие по улицам Иерусалима мелкий товар.

— Милые ослики. Помогают человеку, помогают нужде его, бедности его...

И приходила Суббота, и женщина вспоминала ослика. Шла и обвязывала его голову любимой ленточкой. И смотрела с любовью на него. "Совсем, как мальчик, и размеры мальчика". И ослик лизал благодарно руку "госпожи дома" и обнюхивал легкие ее одеяния. Жарко. Сирия. Она проводила по лицу его рукой и думала:

— Ну, подожди, не ласкайся. За субботой будет понедельник и вторник. Утренние тамиды всякий день приносятся.

Тамид — утренняя обязательная, за весь народ, жертва в Едином Храме.

И вот если бы принять безмолвие тамидов во внимание и прочитать Небесную Книгу о "грехах Израиля", которые в веках очистил утренний тамид, то "История Израиля" с ее мифами впервые прочлась бы отчетливо.

Но книгу эту читает один Бог. Человек ее никогда не прочтет.

(дожидаясь воскресных гостей)

* * *

28.IX.1914

Израиль уж слишком понял брак как "кладку яиц" пчелиною маткою... Субботствующий трутень да оплодотворяет, самка да кладет яйца, и рабочие пчелки да трудятся. Положим. Факт. Природа. Благоустроенность.

Пчелы суть мудрейшие насекомые, но не мудрейшее ли человек? Не мудрейшее, а — интереснейшее.

Евреи уж слишком не приняли во внимание любви. А ведь из нее и самые "деточки".

В конце концов — из румянца поцелуй, из поцелуя объятия, и дальше течет все нужное, до детей. Однако все началось с того, что "она вспыхнула, и он опустил глаза".

Из неуволимостей и неосязательностей. В Талмуде нет нигде о любви. Только "как класть яйца". Об этом — страницы, томы. Об изнасиловании и что за это платится "только сто сиклей", — не более — говорится и повторяется, — это — манит ум старцев, и они все возвращаются к теме. "К 100 сиклям не надо ли прибавить еще несколько собственно за боль" (изнасилования), — спрашивали учителей, вероятно имея в виду, что случаи изнасилования бывают и с малолетними.

Голос родителей, слышим. — "Нет, — ответили старцы, — только за лишение девственности сто сиклей, п. ч. боль она все равно должна *будет перенести*" (в законном браке).

О любви же — ни слова, нигде. И я говорю, — человек интереснее пчелы.

Нам, христианам, израильский брак уже не понятен, — мы *не согласимся на него*, даже когда они и выдвинут угрозы: "дети перемешиваются", "детей нельзя будет различить, *от которого отца*". Действительно, ноуменальная метрика вся перепутана в христианстве, — и сохраняется только формальная — в консисториях. Раз "развод запрещен", прелюбодеяние — "неизбежно", и все вообще отцы "только приблизительны". Тут — фатум, его же "не пройдеши".

Возвращаясь к знаменитому правилу Ермы ("Пастырь"), что "если жена соблудит и *уйдет от мужа*, то муж должен *отпустить ее вину*". Только чтобы это было "*немного раз*", причем, однако, "немного" не ограничено никакой нумерацией, — мы имеем теперешнюю картину семьи, с потасовками, бессилием обеих сторон, остроумием сатирических журналов над нравами и — тонкими иглами блаженства и разочарования. "Где тут разыскивать отцов" около жены, уходящей на "*немного раз*". Отцы рыдают. Кой-где терпят жены. И вот мы полюбили свое несчастье.

Полюбили особенной европейской любовью. Полюбили особенной христианской любовью. Нужно ли говорить, что еще слава Богу, "что нет свального греха", что прекрасные и чистые семьи все-таки "удаются".

Но замечательно, что любят свои семьи и те, кому "ничего не удалось". Рогоносные мужья в конце концов полюбили свои рога.

В этом великая загадка. В этом тайна Европы. Без этой подробности картина Европы была бы совсем не похожа "на себя".

Мы любим *душу*, собственно. Вот разница нашего от библейской "кладки яиц". Мы любим именно "начинающийся румянец", — и за то, что "она меня выбрала *в первого*", — я ей прощаю "*всех последующих*". А ведь последующих иногда бывает очень много. Случается.

Что же выходит? Семьи нет. Детей — нет, или только случаются. И нежелательны. Позвольте, были ли дети у Франчески да Римини? А мы ее не можем забыть. Вся Европа не может забыть, с тех пор как Дант написал о ней несколько строф. Ее никто не может забыть, и она незабвенна для целого человечества. Позвольте, да имела ли детей Жанна д'Арк?

Странное предположение. Конечно, нет — она начала только влюбляться. Начала и умерла, и все ее помнят. Была ли она полезна? О, — спасла Францию. Разве спасение Франции не стоит "своих детей"?

Что же получается и куда выходят "устьем реки" рыдания роконосцев? Брак вообще потрясен, "пчелиный рой" расстроен: но когда стенки его распались, и меду нет, открылась бесконечность. Небо и музыка.

Рыдающие любят свое рыдание, и мучающиеся любят свою муку. Тон истории сделался другой. "Людей вообще очень много, — и дело не в размножении". А в чем?... "Идем, грядем... в свете... и в музыке... и занимательно самое шествование".

Настал век не добродетели, но художества, космического художества.

"Людей вообще так много, что будет достаточно, если станут правильно размножаться благородные семьи. Их ведь еще очень много — и вы это знаете. Мы же не благородные, мы, неправильно спрягаемые глаголы, — уйдем в свои "исключения".

Семьей мы не живем, но роман наш бесконечен.

Мы поклоняемся первому румянцу, — любви. Это же обойденный *последующую Библию* пункт, — тогда как она *открылась и началась любовью* (восклицание Адама об Еве). Размножение началось на земле, в изгнании, а собственно рай был насыщен одною любовью. Этот Рай был краток, любовь кратка. Но это же "начало", библейское "берейшиш", и вот мы поклоняемся не "последующему", а этому самому началу, как главному изводу всего...

Мы будем музыканить. Мы и не гонимся за тем, что струны будут лопаться. В нашу странную музыку входит именно "лопнувшая струна"...

(4-й час ночи; спать хочу)

.....
.....

* * *

29.IX.1914

Дива была вся окружена цветами... На столе, стульях, этажерках, полочках — везде стояли белые розы, лилии, ландыши. И все, чем дышит юг и восток. Увитые розовыми лентами.

Я вошел в уборную, куда меня ввел муж, маленький, невзрачный, неинтересный человек, очень корректный.

Я говорил что-то о ее воздушном голосе, полном благородства. И лучи солнца и ангелы пели в ее звуках.

Она улыбалась, не понимая. И, посмотрев глубоким на меня взглядом, — взяла розу с своей груди и стала прищипливать к моему сюртуку.

Я пододвинулся, чтобы ей было удобно. "Прищипленная у нее" роза была как бы вместе застежкой (булавкой?), и, когда она взяла ее от себя, "ворот" ее платья отпал и обе ее груди обнажились. Они были вот передо мной.

Груди 48-летней женщины, очень некрасивой, большой, неуклюжей, неизящной.

Это был "уголок времени", когда вокруг нас говорили, но никто к нам не обращался. Мы были среди множества, но одни. Грудь ее поднималась и опускалась. Две груди, совершенно выпавшие из платья, в такой близости от лица моего, как я не видал ни у знакомых, ни у незнакомых.

Она долго копалась с розою, и я долго смотрел. Она кончила. Я поблагодарил "megsi" и улыбкой. И она что-то говорила еще по-французски и по-польски, и я что-то по-русски.

Casta diva¹. Я узнал от А. И. С., что когда она пьет вино, то это целая химия: ей приготавливают 1/2 бокала какой-то смеси, подогревают на огне до известной t°, и тогда только она "позволяет себе выпить". И ни муж, ни любовь, ничто "земное" ей недоступно. Режим. И этим сохраняется грудь, горло, дыхание и таинственная "машинка" в нем, источник чудес. "Голосовая щель" или "язычок".

Все имеет себе "подставочку". Ведь и чудо новой жизни на земле достигается через такие подробности.

Вот почему я не могу забыть эту грудь. Эти две не очень полные и совсем некрасивые груди, которые висели (но не отвисли). Я прочитал возле них:

— Жажду и никогда не пью.

И никто в мире, конечно, не имел этой мысли упорной, как вечность, поклониться и поцеловать эти груди.

Такие некрасивые.

Поцеловать космическим поцелуем. За дивное пение, которое она всем дает.

Так в будущей цивилизации, друзья мои, когда будет пониматься "эта сторона дела", casta diva, исполнив свою часть удовольствием мира, остановится и мир, благодарный за неземное блаженство в звуках, — поднимется и, пройдя безмолвно, осыплет поцелуями и перси, и руки, и шею, и спину то юной, то пожилой, то дряблой уже castae divae, в уважении к вечной ее загадке и мукe:

— Жажду и никогда не пью.

* * *

2.X.1914

Па-о-звольте, па-о-звольте; да через 4 часа после принятия пищи Тамерлан, хотя он и "покорил Индию и Персию, а также Россию", и равно св. Николай Чудотворец Мирлийкийский и Ап. Павел, несмотря на жар души...

Ну, так чего же, господа, спорить против маленького, смешного, обыкновенного, жалкого, "презренного" (как вы называете). Нечего спорить, когда через 4 часа самое большее, а то через 3 часа, через 2 часа мы становимся в положение все, которого нельзя ни показать, ни рассказать, ни даже назвать, п. ч. мы все в этом положении "жалки и смешны".

"Жалкий и смешной человек"...

Фу... Кто???

Тамерлан, например. И прочие.

Да, — вот где "смирись, гордый человек", "потрудишься, правдивый человек". На этот раз "праздник" действительно возьмет бумажку и сделает что нужно, т. е. "потрудится".

¹ Непорочная дева (ит.).

Нет, вы мне скажите, кто же мир таким смешным сделал... Или, наоборот, не исключено ли из мира вовсе смешное, и он весь трагичен вплоть до этого положения человека "орлом"...

Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю...

Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!

(Читай, дурак, — 40 раз).

(За чтением книги Закржевского: "Лермонтов и современность")

4.X.1914

"Мальчишество в литературе", — с этим определением согласны решительно все, начиная с Погодина, возражавшего Писареву по поводу нападения на Киреевского и славянофилов, до Страхова, боровшегося с Чернышевским, и Достоевского, спорившего с "— бовым" ("—бов", "Добролюбов", подпись его в "Современнике"). Это впечатление ложится решительно на всех, писавших и размышлявших о 60-х годах.

Так. Но ведь нам нравятся же (мне нравятся) гимназические истории, а в мифологии играли свою роль "сады Адониса". Разве мы не любим юношескую поэзию Пушкина и, пожалуй, юнкерские дурачества Полежаева?

Являющаяся сторона дела заключается в "как они были приняты". Не в них, но в обществе; не в юношах, но в старичках. Очень плохи были знаменитые "люди 40-х годов".

Если бы Кирсанов, заметив ухаживанья Базарова за "Любочкой" (дворовая девушка), указал ему, как следовало, "на дверь", — всех разговоров "отцов и детей" не было бы. Глупых и совершенно недостойных разговоров, где вдруг Ной оказался хамом перед своим Хамом и пошел на четвереньках под стол. "Отцы" вдруг испугались своего нелиберализма, своей отсталости; Кирсанов испугался, что он не читал Бюхнера. Неужели он не мог ответить студенту-медику:

— Вы медик и читаете своего специалиста-медика. А я помещик и читаю Плиния и Карамзина. Позвольте на ваш вопрос ответить вопросом же: от какого до какого года продолжалось монгольское иго?

Базаров, медик 3-го курса, не ответил бы на этот вопрос из курса V класса гимназии, — тогда очень плохонькой.

Дело в том, что Тургенев вывел уж слишком мелкую траву в поле. Современниками появления "Отцов и детей" был Строганов, который не позволил бы ни Буслаеву, ни Кудрявцеву-Платонову, ни Стасюлевичу, преподававшим литературу, философию и историю Цесаревичу Николаю, так разговаривать в своем присутствии. Интересно, что бы Базаров заговорил и как повел себя в присутствии Строганова, не расположенного изумляться тому, что он режет лягушек. Тургенев, не любивший дворянства, испуганный с детства своей чудовищной матерью, употребил в романе софизм, сопоставив с острым и зубастым мальчонком gamoli¹-барина. Не только около Строганова, но около генерала Мальцева, основавшего стеклянные заводы в Калужской губернии, Базаров

¹ слабоумный (фр.).

замер бы в почтительности, увидев смышленным все-таки глазком, что он стоит перед колоссом труда, предприимчивости и характера.

Итак, собственно роман Тургенева — один из тех литературных софизмов, которых так много рассеяно и мелькает во всемирной литературе. Из него ничего нельзя вывести, и он ничего не доказывает. Доказывает, что слабый около сильного кажется слюнвявым и глупый около умного кажется ротозеем. Истина, ради иллюстрации которой не стоило усиливаться до романа.

Возвращаемся к делу и истории.

К настоящим детям и отцам, к Чернышевскому, Добролюбову и до нашего времени к Лесевичу, Шелгунову, Скабичевскому.

Скверное заключалось в том, "как приняли". Генерация 40-х годов даже с великолепным Герценом вдруг поползла под стол. Полз Тургенев, ползло множество профессоров, ползли журналисты, писатели, все. Как случилось? Что такое?

Пробирается по площади Буслаев, в голове которого целый мир мысли, объяснений, великолепных точек зрения на предмет и даже цикл предметов, неизъяснимо интересных. Головы его дожидалась Россия два века, и вот голова эта пришла. Лысая, беленькая, благородно устроенная. И идет она тихо по площади, оглядывая и небушко, и колоколенки, и хибарочки мещан. Как в своей родной Пензе, тогда захолустной. Рассеянный и прекрасный.

Как вдруг с шумом и гамом из всех переулков кидается толпа по тому поводу, что накануне прошел слух, что в Пензу привезли какого-то кашалота. Кашалот — кит не кит, а еще отчаяннее, и все бегут. Это Чернышевский с помощью романа объясняет социальную гармонию и разрешает все вопросы России как сущие для него пустяки. Дамы шляпки растеряли и еще хорошо, что не растеряли панталон. Спешат послушать и узнать, "как", "что" и "отчего".

Буслаева прижали к забору. И Буслаев, конечно, не возражал, не спорил, не разъяснял, что "кашалота нельзя привезти в Пензу", так как он из океана, а Пенза в центре суши... А стоял, ждал и терпел, пока это "пройдет" и люди, естественно, "разойдутся". Буслаев, Тихонравов, Бредихин, Чебышев строили свою науку, и этим самым они строили культуру русскую, цивилизацию русскую, которая идет, конечно, вне путей мальчишек. "Русская наука 40-х годов" и "русская наука 80-х годов" есть уже нечто несоизмеримое, — и этим мы обязаны тому, что серьезные люди жили серьезно жизнью около нигилизма, не замечая вовсе его. Конечно, Буслаев не прочитал ни одной строки из Скабичевского или Михайловского и почел бы величайшим унижением что-нибудь знать о нем, кроме носящегося в воздухе имени. Но Страхов стал доказывать, что "кашалота невозможно привезти в Пензу", и, конечно, его стали дубасить палками по голове за это лишение всеобщего удовольствия ("Мы увидим кашалота"). Очень естественно. Так дубасили Толстого за то, что он говорил не о кашалоте, а о севастопольских офицерах и о каком-то своем детстве и отрочестве, никому не интересном. Вообще с привозом кашалота или, точнее, со слухом о необыкновенном кашалоте люди сделались нервнее, выжидательнее и критичнее. Все обыкновенное им казалось пошло и даже все возможное им тоже казалось пошлым. Они мирились только с необъяснимым, неви-

данным и невозможным. Всем хотелось чуда и противоестественного. Кашалот уже непременно привезен в Пензу именно оттого, что его нельзя привезти ни по одной железной дороге, ни по каналу, ни так, на подводах.

Суть не в мальчике и гимназисте, которые в классной комнате и в гимназии прекрасны, — а если "на них оставлен дом". Горе, если они начнут распорядиться в доме взрослых, как взрослые. Горе России заключается в том, что в 60-х годах серьезными-то были только Буслаев и Тихонравов, был десяток или сотня и никак не больше двухсот людей, прижатых к забору. В прекрасном "Дневнике" Никитенко (почти не прочитанная книга) — книге, которая составила бы гордость всякой литературы, — вся вторая его половина проникнута глубокой грустью, глубоким горем от мальчишек. Горем, всего менее шуточным. Он видит, что прогресс России убит, что гражданская работа невозможна, что "просвещение" (университеты, школы) приходится только закрыть и чуть что не остановить книгопечатание. Ничего, кроме нигилизма, нет, ничего, кроме нигилизма, — насколько усматривается глазом вокруг и вперед — не видно. России остается лечь в гроб и переждать лет 20, пока это "пройдет", эти люди "пройдут". Ждать в гробу 60-миллионному (тогда) народу!

(вагон) (приехали)

Конечно, люди роста Строганова и Мальцева справились бы с этим, "приказав замолчать" и высвободив от забора Буслаева и Тихонравова, А. Горского и Бредихина, Страхова и несчастного Тургенева; помогли бы барахтающемуся "где-то в середине" Герцену. Но их было очень мало, а главное — они всем внушали страх. Время было разолабленное, дуровое, бесхарактерное. Характер пугал; прямой рост внушал смущенные. Все кривились, гнулись перед мальчишками, которых было ужасно много. И они бежали со всех сторон с криками и маша шапками вместо флага.

"Взрослый дом" преобразовался в "классную" и "детскую", — и ребята сейчас же решили "переменить обои", проломить одни стены и понастроить других, чинить крышу, чердак и пилить стропила, — тяжелые ненужные бревна на чердаке, совершенно лишние, по их пониманию... Литература, состоявшая до тех пор из "стишков", и общество, состоявшее в мелких его слоях из действительно вороватеньких купцов, из исполнительных чиновников, не неприкосновенных к взяткам и проч., и проч., и проч., подалось перед "честными мальчиками".

Но где же были в дому старшие?

(наутро)

* * *

5.X.1914

Да, республиканский образ правления есть также "ограниченный": именно он "ограничен" разумением толпы, пороками толпы, слабостями толпы.

Безволием в волюшке...

Если народ даже чувствует, что он погибает в пьянстве, что у него пьяненького подбирает всю работу еврей и немец: все-таки каждому до

того хочется выпить, что никак он не сможет постановить "большинством голосов" закрыть все кабаки.

Это смог Царь.

Правление должно быть народное и в то же время сверхнародное. Царь народен (несомненно), но он и сверхнароден. Имея с народом одно сознание, один идеал и веру, он не подлежит народной слабости.

* * *

5.X.1914

И бросить хочется в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью.

— Хорошо?

— О, *да! да!*.. Нашему пошлому обществу, ха! ха! ха! Как ХОР-РО-ШО!..

— А тебе, холодная либеральная телятина?

— Мне??? Почему же "мне"?! Я не понимаю. Я пишу в "Вестнике Европы", не играю в карты и вечно нахожусь в оппозиции... Мне???

— А мне кажется, Лермонтов именно тебя имел в виду, мой холодный бифштекс...

(из истории русской общественности)

* * *

7.X.1914

"Мы имеем ничтожную, пошлую армию, — и поганое чиновничество, только ухаживающее за горничными и радеющее "родному человечку", — таков вывод "Горя от ума", развитый с необыкновенным блеском, в речах, подобных которым еще было неслыхано на Руси. Это наш Питт говорил.

— Да ведь России вовсе *нет*, она только *показалась*... И царствования Екатерины *не было*, там только "на куртаге оступались" разные прохвосты, шлепались носом в пол и за это были "высочайшею пожалованы улыбкой". Среди шутов Екатерина и могла только шутить. Война 12-го года? Но это мороз выгнал французов, русские тут ни при чем.

"И говорит, как пишет". Это наш Питт говорил.

Чего же мы удивляемся мальчикам, что они побежали? Девицам, что "замахали платочками". Тут серьезнейшие историки словесности закачали головами, мужи в 50 лет: "А ведь на самом деле Отечественной войны не было. Никогда в голову не приходило. Но теперь это *очевидно*".

Питту поставили памятник в Тифлисе. Жена обнимает крест у подножия мужа и надпись: — "Куда ты ушел от меня, мое сокровище". С ним что-то такое случилось в Тегеране. Персюки его поколотили "за освобождение своих жен". Это еще более увеличило его славу:

— Он страдал.

Россия-битюг вытягивала ноги, шею, напрягала грудь и брюхо, везя телегу русскую через болота, через грязь. Но что за дело до битюга, который только хрипит.

"Совершенно не литературное явление. Лишенное идеи и психологического анализа".

И от Кирпичникова до Овсяннико-Куликовского все заслушивались "идей" и размышляли о "психологическом анализе".

Питты продолжали говорить.

.....

.....

.....

Помнить литературу — значит забыть Россию.

Вспомнить Россию — значит забыть литературу.

Литература, конечно, "сделала свой выбор", но и Розанов тоже имеет право сделать "свой выбор".

(за "Вестником Европы", октябрь) (чванится; Россия на последнем месте. Побеждают германцев французы, бельгийцы, евреи, новопредставленные кавалеры Георгия и князь Крапоткин из "Русских Ведомостей". Во всяком случае, не Великий князь Николай Николаевич и не наш Государь, которые даже ни разу нигде не упомянуты.

Да; еще: окончательно победят германцев политические, если их выпустить из Сибири и которых наберется целый корпус. Тут и оттенок идеи: как русское правосудие замучивает честных людей, которых 40 000)

Брань позитивиста (для примера "писем читателя").

Василий Васильич!

Отчаяние есть смертный грех: не приходите в отчаяние. Ежели Ваше деревянное масло стало туго расходиться, сбудьте его на мыловаренный завод: это куда богоугоднее будет, чем социалиста кирпичом по голове тузить. Да и священноерею Вашему мыло это зело пригодится: беленькими нас всяк полюбит (это из Гоголя, страдавшего тоже отчаянием от постного и деревянного масла). Беда русаку побывать в Италии, сейчас заханжит, аж засмердит. А может, Вы комиссию взяли от оливководов, тогда простительно.

* * *

7.X.1914

Ненавидьте, ненавидьте, господа, Россию. "Выяснитесь" — как говорили все о Сенате, что он "разъяснил Колюбакина". "Выясните", что России, собственно, не нужно, а нужен человечеству Бердичев с крайне прогрессивным населением. Так все дело становится понятнее, и забытые в угол русские хоть в этом углу получают "свободу мышления". В погребе-то, господа, лучше думать, потому что в погреб кто же за нами пойдет и кто же нас уследит. В погреб мы одни и наконец свободны.

В погреб мы будем думать и не "по Грибоедову" и не "по Гоголю", а по зажженным там лампадкам и зажженным восковым свечам.

— В погреб, господа! В погреб, Русь, собирайся. Оставим "верхи" Грибоедову и Гоголю. Ведь у нас нет их гения — ну, и пойдем, бездарненькие, сюда. Будем молиться или, точнее, "бить лбом пол", как называют нашу молитву (Ганзены называли, переводчики Андерсена и Киркегора) по-старому, по-глупому, по-новгородскому, по-былинному.

Русь "собрали" было; но литераторы опять ее "разобрали". Переодедим время и начнем опять собирать.

Это даже хорошо, т. ч. история выйдет длиннее. "Свяжем" полчулка, распустим полчулка, ан чулок-то и довяжется. До "светопредставления". Нечего вздыхать. Мы рукомесленники, а не артисты.

"Наша деревня все горит" и "все отстраивается". Вечная деревня.

* * *

8.X.1914

Каким же образом это случилось, что "преемники Белинского" — и у банкира, и около "охранки"? Но прежде установим факт. Он несомненен. Ведь Бурцев не изловил ни одного славянофила, он ловил "среди своих". А "свои" все "прошли через Белинского". Т. е. "через Белинского" проходят и в охранку, и к банкиру, как в 1904—5 году пошли в Японию.

"Денежки с дырочкой все-таки денежки". Это и Мякотин и Пешехонов знают (не прямо, так косвенно).

Но оставим личное. Как случилось?

Прошли одни идеи, наступили другие идеи. Читались одни книги, стали читаться другие книги. Тогда был Сен-Симон, граф, мечтатель и француз; теперь — Маркс, бедняк и еврей. Впрочем, еврей из бедности всегда переходит в богатство, тогда как французские дворяне, естественно, "проживались".

Герцена Маркс печатно обвинял, что он есть тайный агент русского правительства за границей. Странное подозрение, никогда не возникавшее о "своих" ни у бар, ни у славянофилов. Но с Марксом уже пришел идейный хам и смерд. Ученый, но хам. Разве ученому мешает что-нибудь быть хамом? Мешает — благородство. Но благородство "не доказано" у ученого. Это проблема и вопрос.

Мишель (Бакун.) дружил с Нечаевым, лгуном, убийцей и прочее. Друзья говорили: "Отвернись". Но он возражал: "Знаете, в революции нельзя без Нечаевых. Мы идеалисты, а он — *реалист*. Он делает, а у нас одни разговоры, споры и теории. Он предугадал: "Иван Николаевич" был первым деловым лицом социал-революционной партии. Он убивал. Только убивал. Все убивал. Партия — в восхищении. Пока Бурцев не заподозрил, а потом и доказал, что он убивал и своих (Азеф). Его выдал неслыханный случай: директор Департамента Государственной полиции выдал революционерам главного своего агента, которого он имел против революции. Мне кажется, если "Иван Николаевич" оказался полицейским, то это уравновешивается тем, что директор Д-та полиции оказывал тайные услуги революции.

Карты странно стали мешаться... Маски, все маски... Но меня не интересует революция, а интересует литература.

Белинский весь был забыт, не оценки же Пушкина и Лермонтова были кому-нибудь нужны, когда даже академик Пыпин считал Лермонтова юнкером, неучем и баричем. Всех, *всю* литературу заняло только то, что Белинский в последнем, "и следовательно в самом зрелом", периоде деятельности заявил себя ярким социалистом.

"Он, — из которого родилась вся русская интеллигенция", — бездомная, бродячая и озлобленная.

"Кто-то должен же *делать*" — тема революции. Революция есть переворот. Она переворачивает: а этого без силы и без машин нельзя сделать.

"Я нужен": аксиома Нечаева.

Хорошо. Но как же перешло к знакомству с полицией и с банкиром? Но ведь силу можно приложить только к силе; лом — к камню, динамит — к скале, рычаг — к тяжести, которую нужно поднять. Посему революция естественно начала тянуться вступить "в прикосновение по своему фронту" не с разговорными министерствами просвещения или юстиции, а с деловитым министерством внутренних дел. Это Белинскому и на ум не приходило. Но как только он заявил связь с социализмом, он вступил (в лице "сейчас же учеников") с полицией. Социализм есть полицейское явление, — неволью для себя полицейское, — ибо по "загребистости" полиции находится к ней в таком же отношении, как пьяный — к городовому, шулер — к городовому и вообще "талантливый человек" — тоже к городовому.

— Мы герои...

— За которыми мне велено присматривать.

Отношение враждебное. Но которое оканчивается знакомством. Совершенно неодолимым. Как не узнать друг друга? Революционер изучает полицию, строй ее, людей ее; а полиция старается разведать, из чего так стараются эти идеалисты. Потребность знакомства вызвала инстинкт сближения. Некоторые революционеры стали поступать в полицию; а некоторые полицейские стали смешиваться с революционной толпой. "И не различишь, который теперь Нечаев и который Азеф". Обоим — друг Бакунин, а другом Бакунина и его выучеником был Белинский.

(в вагоне)

Но банкир? А, позвольте — лом стоит 6 рублей, а коробка динамита стоит 60 рублей. Революция вообще *очень дорого стоит*, потому что революционная армия кушает, одевается и квартирует. "Дарового постоа и революционеру не дают". За все это надо *заплатить*, — и кто же заплатит за бескорыстного "безработного", который, занимаясь революцией, естественно, ничем еще не занимается. У Лизогуба был миллион, и он "сплыл" в какие-нибудь три года. Революция пока действует и насколько может действовать — вообще требует миллионного содержания. Где же их взять?

"В шапку" на митинге много-много накидают десять рублей: тут только "на селедку" нашим хватит.

Революция есть нищий: самую темою своею, самой бездомностью своею, самым бескорыстием и идеалистичностью своей.

— Протягивай руку, раз ты такой идеалист.

Делать нечего. К тому же нужны миллионы.

Но где просящий — там и "дающий". И что же вы сделаете, если стали "давать" буржуи и в конце концов банкиры. Последние ведь приобретают колоссальные богатства на всяком испуге: они в это время "скупают бумаги", чтобы потом, когда испуг пройдет, продать их по повышенной цене. Незабываемое слово Пирожкова мне в 1905—6 годах:

— Лионский кредит делает массовые покупки...

— Закладные листы (т. е. земельных банков), — спросил я, понимая только в них.

— Нет, и акции, все... Ренту.

— Но ведь она так упала!!!

— *Потому-то он и скупает.*

На самом деле: скупленное в 1905 году и проданное в 1908 году увеличивало на 30% затраченный капитал. И если Лионский кредит скупил в испуганном Петербурге на сто миллионов, то через три года он тоже продал за 130 миллионов. Можно ли сомневаться, что он или еще какой другой еврейский банк бросит миллион на "одежку нуждающегося", чтобы еще "разжечь" и тем паче "испугать".

Можно сегодня бросить миллион, чтобы через три года положить в карман 30 миллионов. Если же так поступят десять банков, они дадут десять миллионов. Революция — *щедро обеспечена.*

Неужели же перед этим поцеремонится Нечаев? Уверен совершенно, что не поцеремонится и Мякотин, уверенный, что "через год революция перевешает и банкиров".

Но "банкиры" гораздо точнее и математичнее рассчитывают, что как только они "съестное" отнимут, то правительство предварительно перевешает "этих голодных собак", которые таким образом до их банковской шеи не дотянутся.

Вообще в мировой механике вовсе не требуется сочувствия и симпатии "для сотрудничества". Ветер помогает мельнику, не думая о нем, а мельник пользуется ветром, не соображая, "из каких пассатов он дует". Нужно починить колесо: и "каждый гвоздь пригодится".

Однако *главное* все-таки не в этом. Чувствуется, что из Аксаковых, из Киреевских, что идеалист-Федоров ("Философия общего дела") *никогда* бы и никто не сблизился "в целях своей жизни" ни с охранкою, ни с банкиром. Более глубокая суть заключается не в мировом механизме, а в следующем:

Самый идеализм Белинского не был достаточно глубок и надежен. Вот священникам сельским запрещено было приблизительно в 1909 году вступать членами в сельские кооперативы, — и это уже ко вреду такого самонужнейшего дела, русского национального дела. "Понеже торг и экономика несомвместимы с саном иерея".

Я сам против этого писал, и меня самого это возмущало. Это и действительно худо, т. е. вредно. Однако, с другой стороны, чрезвычайно характерно, что через 1900 лет, после того как "началась их линия и преемство в истории" (параллель "преемникам Белинского", просуществовавшим 50 лет), не было сочено возможным никакое, даже полезнейшее для дела, соприкосновение их с земным экономическим строем.

Через 1900 лет: — когда бы идеи могли очень и очень "оттениться" и заехать в "чужие соседние коледи"... мало ли бывает "нужд", мало ли бывает "перемен"...

Но Церковь через 1900 лет не переменяла своего "хочу" и "запрещаю"... Из этого, сравнив 50 лет и 1900 лет, мы можем понять, до какой степени зерно, заложенное в церкви, было могущественнее, здоровее, свежее, чище, белее, — нежели "зерно Белинского"... Которое поистине, при этом сравнении долготы времен, есть "тлен и прах"... Между тем вообще-то ведь это "зерно нашей интеллигенции"...

В чем же, конкретнее, дело?

Идеализм Белинского был "взят из рук"... Это был вообще не его, Белинского, идеализм... Он даже не родил его, не изобрел его, не сотворил его... Он был не мыслитель, а публицист; и не поэт, а критик. Таким образом, даже в сфере литературы, в сфере бумаги и чернил, он не принадлежал к сильной категории, а был *посредствующим, служебным*. И, м. б., судьба нашей интеллигенции не была бы уж так плачевна, родись она из великой поэзии, а не только из замечательной критики. — "Все судим чужие книжки": какое же тут зерно движения? — "Судите, господа, пока книжки не обмелеют". Писала Юлия Жадовская, потом — Марко Вовчек, а наконец — Вербицкая: критика "хочешь-не-хочешь" все — "отзывается". Критики сперва писали большие статьи, "О гоголевском периоде литературы", — а когда книжки пообмелели — стали писать "Кроки", "Арабески", "Заметки" и "Так себе". "Был Белинский", а через 50 лет — "довольно и Оль-д'Ора". Оль-д'Ор ведь тоже вышел из Белинского, хотя, кажется, и "не доставляет сведений". Но, во всяком случае, он презирает Россию, считает ее отсталую, кричит о недостатке ему свободы, — и вообще ни на одну пядь не выходит из схем Белинского. Оль-д'Ор вполне "по Белинскому", и это кладет какую-то скорбную тень на Белинского, которого сейчас мне почти жалко...

Грустная роль... Грустная и по существу, и по короткости. Но где же узел дела, что в конце концов Оль-д'Ор смешался с Белинским? Белинский принадлежал к бумажной категории людей, да и в ней-то он стоял не на высшей точке (поэт или мыслитель). Между тем в значительность славянофилов или даже вообще "бар" входит то, что 1) "барство" включает в свое понятие *благородство*, а 2) славянофильство включает в свое понятие *служение земле своей*...

Во всем разница! Это вовсе не "бумажное дело" и не "стишки-с"

— 1) заветы благородства, 2) заветы службы земле родной. Едва я назвал и написал, как даже противники воскликнут: — "Ба! Видим провал Белинского". Он действительно "провалился" со своей критикой, потому что она не содержит ни принципа, ни идеи. Славянофильство литературно было вовсе не сильно, но через слабую свою литературу, т. е. очень несовершенно, дурно пища, они связались с действительностью благородными и великими... не идеями, а фактами...

"Земля наша" — это уже *факт!* Факт 1000-летней давности.

Факт необозримого разнообразия: тут и кооперация, артель, община, земледелие, Министерство Государственных имуществ. Песня, былины, частушки. Рыбные промыслы, "господин купец".

"Господин купец" для литератора, естественно, смешон, для славянофила он серьезен. Славянофил не будет ему смеяться в бороду и не будет с заднего крыльца у него попрошайничать. Может выйти серьезное дело, — и как всякое серьезное дело — оно может вылиться в прогресс. Между тем что же может "выйти" у Белинского с купцом или у Оль-д'Ора с купцом? Белинский фыркнет на него, а Оль-д'Ор попросится к нему "на содержание". В обоих случаях ничего не выйдет. В обоих — *разруха и нигилизм*.

"Традиции Белинского" и вылились в разруху и нигилизм. Чего она ни касалась, она ко всему подошла с *неуважением*, — с этим хохотом, с этою позою *довольства только собою*, которая была уже вечною позою

самого Белинского. Ничего, что он часто бывает "недоволен сам собою" и якобы "разочаровывался". Это он груши ел после яблоков и после груш ел варенье. Сущность-то в том, что он в каждое "сейчас" был восхищен собою, и притом — только собою, больше всего — собою. Он никогда не посмотрел на Кремль глазом Погодина, никогда не подумал о наших Царях умом Карамзина; и если так восхищался Фенимором Купером — то ведь и в Купере самое важное было то, что он "так нравится Белинскому". Не воображайте, не пафос "Бедных людей" увлек его; но что "Бедные люди" ответили его демократической в то время струнке. В противоположность благородному и глубокомысленному Достоевскому, который от "Бедных людей" пошел к религии, Белинский в плоском уме своем сообразил только, что от "Бедных людей" можно пройти к революции. Дело было не так сухо, как я говорю, но оно *приблизительно* было так сухо. Бедность есть страшная вещь. После болезни оно, может быть, есть самая страшная вещь. Но у одного народа оно родит "Книгу Иова" и сказание "о Лазаре и Богатом", а в лакейской комнате и у лакеев она родит: "Ça ira" (кажется, революционная песенка).

Подойдет ли он к Государству — оно смешно ему. Подойдет ли он к русской истории — она смешна ему. "На Западе кой-что выбирает": но в конце концов и Запад все-таки смешон ему. — "Что же тебе не смешно, великий человек?" Оглядывается на себя, думает. Думают и Белинский, и Чернышевский:

"Мы *сами!!!* Действительно, никогда-то, никогда Чернышевскому и Белинскому не показались смешными "сами"... Вот этого ни *на одну минуту* ни у кого "в традиции" от Белинского до Скабичевского не было...

— Белинский, ты хорош?

Молчит.

— Белинский, а Россия хороша?

— Окаянная.

Это противопоставление *себя лично, своей личности* — целой России, всем ее законам, всему ее порядку, всему быту, с мыслью необыкновенного превосходства СЕБЯ над РОССИЕЙ есть та мысль, без которой не начинался вообще ни один журнал этой славной "традиции" и не начинал своей литературной деятельности ни один из "столпов"... Им случалось бывать и шулерами, и обирать имущество у ближнего, а уж эксплуатация чужого труда была у них сплошь, — и лгали они, и клеветали: и при всем ни на минуту не сомневались, что стоят выше России и всей судьбы ее, прошедшей и будущей. Больше: каждого и не приняли бы в "эти журналы", приди он скромно и с мыслью: "Россия больше меня и старше меня"... Самое "принятие" было основано на том, если подходящий тоном речей, тоном поступков, позою и видом говорил: "Вы — великие люди, и я тоже великий человек: будем работать вместе и заодно".

И вот они все выражали свою замечательную "индивидуальность", удивительную особенность которой составляло то, что ее вовсе не было. Они все были "без себя". И опять же положено этому было начало в том, что все изшло не из поэзии и мысли, а из критики, т. е. из обзора чужих книжек. Высокомерие над Россией не допускало их читать русских книжек, и они никогда не читали князя Одоевского, Баратынского,

Тютчева, позволяя себе "для очищения совести" просматривать Пушкина и Лермонтова. Из русских лишь читали только "себя" и "своих", т. е. Михайловский читал Кривенку, а Кривенко читал Михайловского, и, конечно, оба читали Миртова-Лаврова (Добчинский, "везде бегавший и о всем суевившийся", определяет его Никитенко в "Дневнике") и Глеба Успенского. Но тем усерднее они читали иностранцев, — Ляйэля "Древность человеческого рода", Бокля — "История цивилизации в Англии", Дрэпера — "История умственного развития Европы", Лекки, Фохта и прочее. Да, больше всего — Дарвина. И все сделали быстро "дарвинистами", контристами, "позитивистами", "социалистами", "марксистами".

Все это — от метода критики, от "нет своего вдохновения". "Наш пирог неуклюжий, да зато сдобный. Всего положено: с этого края — осетрина, с того — грибы, здесь — рис с яйцами, а там — каша". Все это еще от Белинского, который всю жизнь ел чужую кашу и благодарил более образованных людей.

Поразительно вообще *шла традиция*, "ни на иоту в сторону" от заданного урока. Вот, говорят, история неустойчива. Нет, до отвращения устойчива. Как Белинский был вечным учеником, так *все после него* восприняли ученическое ко всему отношение, ученическую несамостоятельность, ученическую переимчивость, ученическое отношение к миру, людям, авторитетам. Как для него авторитеты были непререкаемы, и он никуда не мог отойти в сторону от Гегеля, Фенимора Купера и Сен-Симона и Пьера Леру, так все Шелгуновы и Скабичевские не могли съехать с "горы" — Дарвин, Спенсер и Бокль. Как он "горячо" писал, так они "горячо" писали. Ладно или неладно, а — горячо, умно или неразумно, — а горячо. "Без горячего" нет радикализма. Что же еще? Он был беден и демократ, и они были бедны и демократы. Решительно — Иловайский. Решительно — семилетняя война, тридцатилетняя война, Великая северная война на 20 лет, война "за австрийское наследство", "война за испанское наследство". Нет, история отвратительно однообразна.

Возвращаясь, однако, к исходу. К этому жалкому компилятивному исходу. Суть критики, по крайней мере русской, — "обзор чужих книг", и на 50 лет в нашей литературе стал доминировать необыкновенный отдел — "обзор чужих книг", где, во всяком случае, не было вдохновения, а было только "горячо". Ну, — и ругательно: ведь все они "великие люди", и чем сильнее кто изругает другого, тем "более великий человек". Тема традиции, пошедшая от "великого Белинского". На 50 лет водрузился пошлый стон и вой, где никакой мысли разобрать было невозможно, кроме, что все они "великие люди", а кругом — "мелочь". Это — до Вержболова. За Вержболовым начинаются Альпы. Прямо Пелион лезет на Оссу, а Осса еще выше Пелиона. Можно бы сразить радетелей вопросом:

— Кто выше? Бокль или Дарвин?

Вопрос прямо *убил бы их*. Они бы загрузили. Загрузили впервые. Кто выше? Как решить? Поставить Дарвина — обидеть Бокля. Поставить Бокля — обидеть Дарвина. Удивительно, как никому не пришло на ум начать кампанию — "Бокль *все-таки* выше Дарвина". С уважением к обоим. Все втянулись бы в спор: и он так грустен и удушающ, что все

муравьи в этой банке подошли бы. Прямо из-за спора начались бы самоубийства в радикальном лагере.

”Очень мы их обоих обожаем. А тут — разделение и *выбор*”.

Но отношение к России? Она забыта. Попробуйте взять ”за март”, ”за апрель” все книжки радикальных журналов: и вы не отыщете ни одной статьи *на русскую тему... ”на русскую тему”*, если и попадетесь изредка статья, но в духе — ”Не надо” — Чего не надо? — ”Ничего не надо. Ради Бога ничего до Вержболова”. Все *темы* не русские: — о дарвинизме, о марксизме, о саксонских углекопах, о железной промышленности в Силезии и ”опять о милитаризме”. О России — ничего (кроме ”не надо”). Что же это такое?

Да это все компиляция и бездарность Белинского и все Иловайский (устойчивость исторических традиций). Если Писарев острил, что вся история ”состоит в том, как Иван пошел на Петра и победил Петра, но Петр потом соединился с Семеном и оба они побили Ивана”, то ведь и их собственная ”история” заключается в том, как ”Добролюбов соединился с Белинским и оба они победили Гегеля и Каткова”, а потом пришел Аксаков, но ”не мог победить Добролюбова”. ”Везде мы побеждаем”: тон от Белинского до кончины Михайловского. ”И — победили”.

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю
Верно буду я известен.

”Родным краем” здесь называлась не земля Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина, не земля Аксаковых и Погодиных, — но...

”Наш Басков переулочек, где стоит ”Русское Богатство”. — И вся Россия, мало-помалу обращающаяся в читателей ”Русского Богатства” и выкидывающая из себя пустяковых и никому не нужных Карамзина, Державина, Аксаковых и Хомяковых”.

Все-таки — Я.

И единственное — *МЫ*.

* * *

8.X.1914

”На побегушках у евреев” — но это явление *талантливо* или неталантливо выполняется, *умно* — или неумно, *учено* или без учености, уже

САМО ПО СЕБЕ

так дурно, что оно не может иначе как только хиреть.

И хотя ”Вестник Европы” еще ”лучший наш журнал”, К. Арсеньев — превосходный юрист и общественный деятель, а, напр., Суворин — ”конечно, мерзавец” и т. п., и т. п., и т. п., но все-таки, но все-таки, но все-таки дело ”Вестника Европы” совершенно безнадежно.

”Человечеству свойственно ошибаться”. Но я думаю, с завязанными глазами человечество не проходит до конца всемирной истории.

Вещи

САМИ ПО СЕБЕ ХУДЫЕ

и лягут влево; а вещи

САМИ ПО СЕБЕ ХОРОШИЕ

лягут вправо. И кончено. Какая радость. Все утешатся.

К концу времен все будут утешены.
Терпите, терпите, терпите, добрые.

(думаю о дочери К. Арсеньева) (монахине)

* * *

8.X.1914

Что "Россия отвратительна и на нее можно только плюнуть" — это доказывали такие гении, как Грибоедов, Гоголь, Щедрин. Что же тут можно сделать. XIX век есть торжественный вынос ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ, как "Плащаницы" на Страстной неделе. И к этой ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЕ все прикладывались, все ее целовали, вся Россия бежала...

Из ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ текла слюна. Гениальная слюна. Не спорю. Но продолжаю размышлять.

Что же тут могли святые? Позвольте, что может сделать Василий Великий против Щедрина? Странно сравнивать. Василий Великий — звук, имя. Щедрин — действительность.

Серафим Саровский или "Горе от ума"? Дико спрашивать: "Горе от ума" мы узнаем с 14—16 лет, узнает каждый, узнаем в школе. А Серафим Саровский? Образ его в церквах; да, но кто же из просвещенных ходит в церковь?

Да Серафим Саровский не сравнится не только с "Горе от ума", а и с К. Арсеньевым или "Энциклопед. словарем" Брокгауза и Ефрона. Т. е. я говорю о просвещенных. За Серафимом Саровским следует только тьма; но весь "свет" — идет за Брокгаузом и Ефроном.

Очевидно!

Но Серафим Саровский есть добро: это-то даже собаки на улице признают, а "какие-то жидиши" (Бр. и Ефр.) есть ничто: и тоже этого не опровергают даже сотрудники "Энциклопедического Словаря" — коллективная безличная работа; свет необыкновенного лица...

Да, но компиляция ста человек победила свет лица. Как в "Горе от ума" победили "все" — "одного". Хитрая или, пожалуй, глупая сторона "Горя от ума" заключалась в том, что оно блеском своим (не светом, а блеском) придало вечную победу всем блестящим вещам, всем блистающе-поверхностным вещам и до некоторой степени на веки вечные утвердило именно *горе от ума*, но такое страшное, какое Грибоедову и не мерещилось. В эпоху Грибоедова еще не снились эти страшные сны. Теперь "пшот", "шеголь", и "говорун" стали на веки вечные победителями, — победителями над молчанием, победителями над добродетелью, победителями над святым. Позвольте, разве может святой заговорить, "как Грибоедов". Конечно, он "срамиться не станет": но ведь как трудно это оценить и постигнуть, что говорить "как Грибоедов" — значит *срамиться*. Попробуйте это доказать, попробуйте это выяснить. Об этом можно догадаться, и притом — молча: но "говором" это нельзя выразить, ибо "говор" Грибоедов всегда имеет на своей стороне, — он, такой говорун. Таким образом, Грибоедов, Гоголь и Щедрин до некоторой степени завоевали человеческий говор: что гораздо крупнее, чем завоевания Александра Македонского. Как вы победите и оспорите "говором" тех, кто были поистине гениальны в говоре. Ибо Грибоедов и Гоголь и с ними маленький Щедрин — это в своем роде гвардия, "которая умирает, но не сдается". В этих 3-х лицах и вообще в

ВЕЛИКОЙ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЕ

сделано было на человеческое убеждение, на способность человеческую "убеждаться", — такое давление, какому вообще во всемирной истории параллель можно искать только в христианстве: в Апостолах, святых и учителях церкви...

С обратным направлением...

Русская литература XIX века — это своего рода "светопредставление".

Возражение может быть только одно: "плюешься, п. ч. сам из слюны". А слюна — ничего: "ваал", "истукан", а не Бог. В тебе — ничего божественного. Ты только — "кажешься", и есть "навождение на русско-го человека", а не действительность.

Или еще:

ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА

необозрима и величественна. Но это есть именно

ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА,

которая в самом имени и существе своем несет свое опрокидывание, потому что, что же тут хорошего: выпускать из себя слюну на другого. Это — просто мерзость. Мерзость, гадость, никому не нужно. Сотворены в мире, кроме прекрасных процессов, и гадкие процессы, и, увы, — последние могут тоже получить гениальное осуществление и исполняться гениальными людьми. Великая

ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА

есть гениальнейшее выражение отвратительной человеческой способности, удавшееся именно у русских, которые в своих "ругательствах" достигли виртуозности, совершенно не мерещившейся ни одному народу. Москвичи строили КРЕМЛЬ — раз; Киев дал СВЯТЫХ — два; что же Петербург? В нем параллельно развились внизу "такие ругательства", что глаза вылупишь, услышав; а вверх и благородно развились "наша прекрасная литература". Она поистине прекрасна: но почти сплошь ругательна.

* * *

10.X.1914

Наиболее частная в мире нация, еврей, — лишенная государственности, и у которой частная домашняя жизнь заменяет отечество и его территорию, — и преуспевают через *частные отношения*. Между тем каждый более интимен "дома", чем "на службе"; более дома "расположен", открыт и выслушивает. Тут-то к нему и подходит еврей, — и забрасывает паутинку на его "частную душу", "частный быт", — забрасывает с этим виртуозно ему присущим талантом "к частному"... Ан, глядишь, он и "на службу принят" впереди русского, немца, латыша. Потому что "сумел поговорить дома".

— Еще 15 лет тому назад их в нашем городке не было. Потом появились, — "соглядатаи", немного, первые. А теперь они — везде: в "правлении", шапочники, портные... Присматриваются к лесам, присматриваются ко льну.

— 25 лет назад они еще только "присматривались" к печати. А теперь "вся печать у них в руках".

10.X.1914

Поэтому "неимение ими (евреи) *государства*", казалось бы, с первого взгляда лишает их *защиты*. "Не защищенная ничем нация", — без правительства, без князей и судей, без войска.

Без барабана...

Она и ползет тихо, бесшумно. Ведь государство — нечто жестокое. Еврей взамен этого точно облиты маслом и "входят всюду" без затруднения.

Кожных покровов нет, но удвоенное кровообращение. И они все пропитывают собою, как кровавая сукровица, как выделение семенных желез.

"Еврей не силен, но *всем нравится*". Ну, в последнем слове — такая силушка, с которой не совладеет никакая другая.

10.X.1914

Евангелие-то Евангелие — это, конечно, так; но много нажал соку тут и русский народ. Много русского винограда пошло для приготовления вина, кое именуется "Православие".

Сок народный...

Сила народная...

Дух народный...

Вот *отчего* и происходит, что русские так подозрительны, так становятся неодобрительны, когда в салонах и печати раздаются речи "о христианстве", а не — "о Православии".

Исключают русский сок и дух из церкви. А он — *есть*. "И мы этого не позволим".

(*Мережковскому и другим*)

10.X.1914

Есть *дар восприятия на умное*; "хорошим учеником по математике" становится тот, кто быстро и легко схватывает соотношения между величинами, а "галантливым учеником Потемки" делается тот, кто имеет вкус к грамматическим формам, к переходам звуков, "гласные", "согласные", "шипящие" и "придыхательные".

Так. Понимаем.

На этом строится вся педагогика.

"Тот учится хорошо, кто воспринимает все умное".

Но кто воспринимает благородное?

Нет ответа.

Вся педагогика не может воспринять этого. Она даже не понимает, о чем тут идет речь.

1) Он *хорошо решает задачи*.

2) Он *выучил все залогов*.

3) По истории он *помнит всю хронологию*. Igitur¹.

¹ В таком случае (*лат.*).

4) Он *хорош, нужен*.

"Кому" и "на что" нужен? Может быть, он выйдет мошенник. Савин и Сонька Золотая Ручка, наверное, умели хорошо считать. "Кому" и "на что" полезен — не содержится в программе. Не содержится вообще в духе и идее учебных заведений.

Они *ростят* у человека "клык", "зубы", "быструю ногу", "сильное крыло", "коготь", "рог". Но выйдет ли "сим вооруженный" в "христолюбивое воинство" или в шайку ножевщиков — это совершенно неизвестно, не предугадывается и, по-видимому, не интересует учебные заведения.

Он "богато восприимчив к *добр*у", — а, это другая тема. Продвинем далее и получим: "он *богато восприимчив к свет*ому". Сергей Радонежский еще не известно, кончил ли бы классическую гимназию. Он только молча вышел из леса и благословил Великого Князя Дмитрия Донского идти в опасный и страшный бой с татарами. Могли быть и разбиты русские. Он благословил "в неведомое *добро*е". Он стал на сторону "добра", которое в исходе и победе еще "неведомо". Вот этого не содержится ни в математике, ни в грамматике, ни в "образцах русской словесности".

Это-то тайное воспитание "в правде" и дают монастыри. Они берут не "восприимчивость к *умно*му", а "восприимчивость к *свет*лому" и культивируют ее. Они разрабатывают "путь добра" и все его иные тропинки, из которых первая есть "отсечение *моей злой воли*".

Педагогика вообще утверждает "мою волю", какова бы она ни была; дает ей орудия, средства. Монастырь берет только "добрую волю" и с нею одною имеет дело. "Лучшая монахиня" не есть "наиболее восприимчивая к математике", но которая первая побежит и подает нищему, побежит и поддержит калеку, потупит глаза перед ругающим ее...

Скромная и благостная!..

Совсем другой идеал, метод, путь.

Который же идеал нужен в жизни "нам"?

В быте, в торговле, в мелочной лавочке, в часовом мастерстве (если бо оно не у евреев, а попало к нам)?

Которое нужно более пильщику, плотнику, крестьянину? Господину купцу?

Спор между "системами воспитания" далеко не решен. И может быть, искривлявшись на "умных путях", мы опять возжадем тихого монастырского воспитания.

* * *

10.X.1914

Что касается "христианских мальчиков" (жертвоприношения), то тут есть что-то страшное и необыкновенное, — что-то такое, что обнаруживает присутствие в тайне таких частиц, таких элементов, какие еще не входят ни в одну теорию "против евреев". В "жертвоприношениях" есть что-то гораздо более загадочное и ужасное, чем все, что брезжилось Пранайтису, Неофиту и прочее...

Возьмем внешний очерк. Это "бродячая легенда", которая возникла чрезвычайно рано, до средних веков, не умирает в средние века, перехо-

дит в новую историю, — и тут возбуждает время от времени судебные процессы. Чтобы "дойти до суда", надо что-то осязательное. Суд легендами не занимается, пересудов не опровергает. Это "осязательное" был христианский трупик, всегда находимый в местности, где живут евреи, всегда в какой-то непонятной связи с ними. По осмотре всегда оказывалось, что мальчик *замучен*. Он бывал исколот, никогда зарезан. Вообще он не был *убит*. *Убийства* — нет, обыкновенного нашего "убийства", столь часто и преступного. Но отсюда-то и начинается какой-то страх, вздымающий волосы. Мы, очевидно, имеем дело не с "преступлением" и "убийством", а с какою-то "тайною", с какою-то "загадкой", никакого ключа к постижению которой не имеем. Между тем она очень страшна, эта загадка. Хотя "трупики" в общем так редки, что можно бы и не обращать на них внимания в массе других убийств, — однако способ произведения "трупика" указывает на такую истому страдания, на такое особое и исключительное мучительство, что кровь стынет у представляющего живо это дело. Притом "кто он"? Мальчик лет 7—8, существо кроткое, невинное, не совершившее греха, ни перед кем не повинное. И он — замучен. Это "замучение невинного" заставляет содрогаться наши нервы. Это непереносимо ни для каких нервов:

При этом особенности:

Никогда — *следов* "кем" и "для чего" сделано. *Следы всегда заметны*. Т. е. дело тщательно и в глубокой тайне приготавливалось, обдумывалось. "Кому может прийти на ум *обдумывать* и, след., *предначертать такой ужас*"? Второе: никаких мотивов, осязательных, реальных, уловимых разумом и уловимых в пределах европейской жизни, христианской жизни — нет.

Трупик — "обдуман"
— "скрыт"
— "не мотивирован".

Для христиан было совершенно очевидно, что это что-то "не христианское", что-то подобное "раку", т. е. *атипическому новообразованию*, отнюдь не по типу развития соседних тканей.

"Это что-то к нам принесено, у нас случилось... Но это — не мы и не наше".

— Даже в высшей степени нам непонятно.

Теперь следите дальше, и страх и удивление ваше будет возрастать:

Едва найдется "трупик", как не евреи *данной местности*, но *все еврейство* приходит в необыкновенное волнение. Как будто одна специфическая крупинка, крошка, *только она одна во всем мире*, — имеет свойство *волновать все еврейство*. Что-то неопишное делается. Поднимаются все, от киевских евреев до Ротшильда, — вовсе не особенно заинтересованного "прочими еврейскими делами". Журналисты и адвокаты, люди довольно холодные и деловитые, прилагают все усилия, чтобы опровергнуть "миф" и "легенду". Как будто адвокатам нечего больше делать, как заниматься мифологиею. Наконец, ученый гебраист (Хвольсон) принимает христианство, имитирует усердие к христианству, пролезает в Духовную Академию, — все затем, чтобы издать ученую книгу "О некоторых средневековых обвинениях против евреев", где, разумеется, вовсе не "некоторые" и "многие" разные мифы: но все этот один... замученный мальчик!!

— Его *нет* и евреи в нем *неповинны*.

Хвольсон есть единственный еврей, за христианство которого евреи не сердились.

Т. е. явно, что принятие им христианства и поступление в профессора Духовной Академии были лишь "мифом" и "обстановкою", необходимо, чтобы голос этого "ученого гебраиста" приобрел специфический христианский вес, приобрел нужный у христиан *христианский авторитет*.

— Вот Хвольсон говорит, что — *нет*. А он — христианин.

Для чего такая тяжелая маска? Для чего такое сложное переодевание. *"Мало ли что говорят!! Да бросьте вы это"*.

Но этого единственного "мифа" евреи никак не могут бросить.

Мне в высшей степени удачно пришлось связать "мальчика" с *обрезанием*, т. е. с самою сущностью Ветхого Завета. С самого начала, как только пошла об этом речь, я все дивился Шмакову, Замысловскому, Пранайтису, Неофиту — всем выступившим "против евреев":

— Да чего они путают и позволяют евреям отводить себя за нос *в сторону*. Все эти "разбирательства судебных процессов", и уличение неуличимого, и копания в малоизвестных сектах или в сектах — новых (хасиды), есть отвод в сторону. Надо войти в синагогу и посмотреть *обрезание иудейских мальчиков*, и нужно пройти на так называемую "бойню" и там посмотреть *закалывание телят*. Тогда все будет ясно. Тогда нос, видя невинную кровь, дымящуюся, непременно невинную, всегда невинную, *отобранно* и *тщательно выверенно-невинную*, поведет прямо зрителей к христианским трупикам...

И — прочесть в Библии жертвоприношение Исаака: единственно полное, "во весь рост", жертвоприношение, но — недоконченное, оставленное, прерванное.

"Покажи мне, куда течет вода, — и я назову тебе *море*, в которое она падает".

"Море" это — Невинный. Некто, кто приносится в жертву Богу. Узел всего юдаизма.

(*позвали завтракать*)

* * *

11.X.1914

— Вы трогаете Судьбу мою, — разве это можно и хорошо? И между тем вы не соединяете с нею своей Судьбы, — для вас это только случай и удовольствие.

И девушка отстраняет руку дерзкого и застегивает корсет, коего 2 пуговики расстегнул было легкомысленный юноша.

В самом деле — груди и лоно девушки есть Судьба ее... Тут ничего нет "сейчас" и "теперь", а "история воспитания моего" и "мое будущее". Грудь ее принадлежат детям, а не "пареньку", лоно — мужу, а никак не "проходящему". И "дотронуться" до девушки — значит отнестись к проститутке.

Вот.

(*ночью на извощике*)

Но это — совсем другое основание, нежели что "девушка впала в грех", когда позволила это; обнаружила "слабость" или "дурное поведение". Что она вообще "дурная", если играетя.

Меня возмущала такая квалификация, такое мотивирование осуждения: п. ч. ведь замужние-то все играютя, и никто их за это не осуждает, и они сами не осуждают себя.

Никакого *порицания* девушкам...

Но только любящее предупреждение.

— Не портите Судьбу свою. Выйдет эта Судьба или не выйдет. но она *возможна*.

Сберегите в целости, не искореженный, не затоптанный, не запятнанный этот путь перед собою, по которому пройдут ваши прелестные ножки, — единственное, что могут поцеловать смертные. Груды ваши принадлежат дитяте вашему и всем вашим детям. Они будут хватать их пухленькими пальчиками и сосать крошечным ртом; — и как вам будет *тогда* больно, больно и страшно, и *вы сами осудите себя*, если их касались мужчины, для коих это было слишком кратким удовольствием...

И также "прочее" в вас, что я не дерзаю назвать и никто в мире не смеет об этом даже подумать: это — "мужнее", это — тому, кто сольет с вашею Судьбою свою Судьбу, кто принесет вам полную чашу Любви, а не брызг ее, принесет всю преданность, все уважение, готовность делить с вами нужду, горе, бедность; кто будет ухаживать за вами в болезни и похоронит вас.



Боже мой: до чего же, до чего же не понимается брак теперь, — торговая сделка и часто "меньшее по содержанию", чем даже самый легкий флирт. Ввиду-то "падения брака", в картине "падного брака" тоскливые девушки ищут, кто бы прикоснулся к грудям их. "Когда нет воды, — напьешься и из следка копыта прошедшей лошади" (от дождя осталось в вдавленном копытом в почву углублении).

Девушки ни в чем не виноваты. Во всем виноваты чиновники и духовенство. Девушки "пьют, где можно", "где случится"... Ибо голодные и истощенные вод завалены мусором форм, правил, норм, кричащих о себе: "МЫ важны", а "любовь вовсе НЕ ВАЖНА".

Девушки, девушки: на вас одна надежда. Восстанавливайте везде глубину и смысл брака!

И всякие-то "общества" есть: даже для выделки резины. Но никогда не возникало "Союза восстановления чистой семьи".

(12-го утром дописал)

* * *

13.X.1914

Юдаизм — столько же в Субботе, сколько и в обрезании. Без Субботы обрезание знает речь, но немо; Суббота без обрезания — пустой болтающий язык, не знающий, что сказать. "Речь" божественная или божественно-человеческая состоит из обрезания и Субботы.

Все праздники, в том числе и "Песахим", — меньше Субботы. Песахим — национален. Суббота — космологична.

Их отношение — начала и конца. Бог начал обрезанием, а человек кончат субботою. Суббота — "отдание" обрезанию, как у нас есть "отдание Пасхи".

Бог велел — это обрезание.

Человек исполняет — это Суббота.

.....
...но и "велел"-то он именно субботу, а "исполняется"-то именно обрезание.

Это как взял яблоко и ножик — и чищу его.

Пока — обрезание.

Теперь кушаю — это Суббота.

Так они связаны: райское яблоко, ножичек и райское вкушение.

* * *

13.X.1914

Старый карабах

.....
.....
Оказывается, Тигр. ("Уед.") именно так умен, как я и ожидал от него. От Эртелева до Коломенской мы шли пешком. И, обсуждая разные философские и исторические материи, я ему между прочим заметил, что, несмотря на интерес к явлению, мне никогда не пришлось видеть "полного случая", — а только его начало... Кроме того, что я назвал в себе "окрыленным быком"...

— Сидел я на краю оврага, довольно глубокого, но с краями настолько отлогими, что по ним возможно взбираться, бежать или вскакнуть. Я наблюдал здесь стадо, состоявшее из 13—17 коров, почему-то выделенных, и около них случались один старый и вялый бык и другой молоденький, — которого старик, однако, ревниво отгонял прочь. Так я видал постоянно, потому что нередко смотрел здесь часов в 11 утра. Но в этот день, о котором рассказываю, очевидно, был еще какой-то третий бык.

Ходу от нашей дачи до этого оврага было минут 20. И дача наша была не "самая крайняя", а "из средних" по линии; а главное, надо было пройти немного дорожкой, пройти перелеском, и уже наконец открывался этот овраг, окруженный и деревьями, и кустарником. Овраг был очень велик; на дне его именно могло "пасться стадо". Вправо от меня, через дугу оврага в 45 градусов, лежал в брюках и жилете мужчина, чиновник, с книгою, — а жена его, совсем подойдя к краю, стояла как вылитая и недвижимая и, очевидно, более меня любовалась обычными бывающими в стаде играми и ласками животных, которые вообще ведь так похожи на людей. Напр., не могу забыть бесхвостую, пегую, жалкую коровенку, — самую некрасивую из стада, — которую почему-то более всех миловал старый бык. Он очень к ней ласкался, неотвязно. Дама недвижно смотрела, как замерла. Наконец после всех ласк он стал к ней под острым углом и стал лизать ей шею, долго, мучительно, как человек... Видна была нежность, любовь — почти отеческая. Он же был старый, а она, по-видимому, хоть "дурнушка", но юная. Долго лизав

шею и лицо ей (она щурилась), он положил ей морду на шею и так и остался.

Бедный бык был очень стар...

Вдруг я почувствовал шум около себя, — и отшатнулся...

Натягивая жилы, вся испуганная, — в смятении, — выскочила из оврага в саженьях трех от меня корова. И все было так стремительно, что я не заметил даже цвета ее. "Что-то мелькнуло"... Следом за ней выскочил бык... И вот это "выскочил" — секунду зрительного впечатления — я и назвал в себе "окрыленным быком", напомнившим мне древнюю мифологию.

Масса быка вы знаете, как велика. Но напряжение внутренней энергии настолько превосходило мощью эту массу, что бык вылетел так же легко, как векша, когда она летит, распластав хвост, с одного дерева на сук другого через двухсаженное расстояние. Земли — не было, ног — не было; да и рассмотреть было невозможно. Рога, тупая морда, лом ломимых деревец — скок: и — нет ничего...

"Мелькнуло"...

Бык "мелькает". Вы понимаете, до чего это необыкновенно. "И хотя я почти ничего не видел, — заметил я Тигр-ву, — но, в сущности, я увидел дивное явление природы, дивную красоту... И *будь я художником* — я брал бы животных в этом вихре страсти. Потому что этот бык куда против Аполлона Бельведерского, такого скучного — и несносного"...

Не прошло более 5 минут, как и корова и бык, потерпев какую-то аварию, вернулись к оврагу и снова спустились в него. Я не обращал внимания. А когда подошло время завтрака, я пошел домой. И когда подошел к воротам — выбежали навстречу мне дети, крича.

— Папа. К нам забежали две коровы (дети совсем маленькие), и их насилу прогнали дворники. Они были как бешеные...

Мое же впечатление было — как "побежали где-то *тут* около оврага". Они сейчас выбежали — сейчас вернулись. Впечатление было не отсутствия, а "мелькания" — в самом отсутствии. Как дети, играя в прятки, — "выбежали в одну дверь" — "вбежали в другую дверь". Впечатление чего-то моментального. И не могла быть допущена мысль о какой-то "истории" и довольно далеко — двадцать минут ходьбы — от этого места. Да и каждый знает, что "стада пасутся" и "начинаются овраги" вовсе не близко к дачным улицам.

— И вот, — кончил я Тигр-ву, — этот бег, я думаю, был прекрасен. Он красивее прыжка льва, полета орла. У тех уж все приурочено, и они для того созданы. Но бык явно и не создан, и не приурочен для этого. Что же я видел? Чудо. Он одолел всю свою природу, все свое устройство, план и волю Сотворившего его, — и стал *Я САМ*. Он выступил из границ своих и исполнил мечту Ницше. Но я-то посмотрел — другое. Мечта Ницше о сверхчеловеке исполняется вообще существами в эти чудные миги, когда бык "распластанно парит", а "лошадь покушается на жену Геракла" и вообще в природе творится "неладно"... Но — какое *прекрасное* "неладное"... Ах, я тоже стар и глуп, как тот вyalый бык, но я *понимаю*...

— Вы правы, — ответил мне Тигр. — Здесь можно наблюдать, и именно у больших животных, красивые случаи. Много лет назад, когда

я жил в своей Эреванской губернии, мне пришлось видеть историю со старым карабахом. Очень старым.

Он остановился:

— Но вы знаете, что такое карабах?

Я не знал.

— О, это нельзя объяснить. Карабах — это огонь. Это страшная злая и бешеная лошадь, лучший скакун на Кавказе. Горец все за него отдаст, жену отдаст, невесту отдаст. И стоит. Ибо карабах — не лошадь, а черт. Она из всего выносит седока, от погони, от гибели. Горцы не потому великолепны, что они горцы, а потому, что сидят на карабах, — т. е. кому *удастся*. Потому что это редкая и исключительная порода, которую поддерживают — и стараются, чтобы от "отца" произошло много потомства. Так, должно быть, в последний раз решили дать девушку и этому старому карабаху, которому уже было 35 или 30 лет, т. е. близка смерть...

Он остановился и, показав поперек Коломенской, продолжал:

— Двор был величиною двое, чем вот ширина этой улицы. И вот я вижу, к этому карабаху во двор вводят двухлетку... Молоденькую-молоденькую лошадь, только что вышедшую из возраста "бегает за матерью". Вдруг я увидел зрелище, какого никогда не видел и которое до сих пор считаю чудесным...

Едва ребенок показался — ибо иначе и нельзя назвать его подругу, — как старый карабах поднялся на задние ноги и пошел к ней... пошел! пошел! пошел!.. через всю величину этого двора, ни разу не опустившись на передние ноги... Он шел, как солдат с ружьем наперевес, на приступ... сладкий приступ. Это-то было видно, потому что он был вне себя и были признаки, что он был вне себя... И вот чудо: все время — пена. Я не понимал и до сих пор не понимаю.

Потому что я знаю анатомию, но тут какое-либо особое действие желез, не подмеченное обыденной физиологиею.

Карабах и был в необыденном состоянии. Ребенок тот задрожал, но оставался недвижим. Старый карабах, с налитыми кровью глазами, вскочил на него и в ту же секунду впился зубами в его шею.

Я молчал: ибо на одной античной — увы, крошечной серебряной — монете есть изображение коня, стоящего "как солдат" на двух задних... Он не "поднимается", а именно уже идет или стоит. Прямо совершенно, как человек! "Совершенно четвероногое"... Я дал очень дорого за *редчайшую* эту монету (нет ни в Эрмитаже, ни в Британском музее), почему-то взволнованный ее видом, и думая, что она имеет отношение к мистериям. "Совершенно человек"...

И я думал, что это из тех "коней", которые в древности, и в том числе в Иерусалиме, — "посвящались Солнцу".

* * *

14.X.1914

"У человека нет души", — сказали некоторые. И мы так негодуем на них. За что?

Они не чувствуют души ни у себя, ни у других. Что же им делать, что они не чувствуют?

Тут не грех их, а непонимание "нас". Мы не понимали, что не могут же они знать о том, чего нет.

Душа само-ощущается. Душа *есть* — и тогда говорит: "есть". А нет ее и ничего не "само-ощущается", что и говорит человек — "нет"!

Столько лет негодования, целый век. Даже больше...

Человек без души... Бррр...

Но ведь таких очень много.

Писатель: и вечно пишет — и ни в чем нет души. Говорит оратор — и без души. Служит государству: но оно для него не отечество, он без души. Воин сражается — и без души.

Бррр... Бррр... Бррр...

Как же это он "устраивает"? А устраивает, и очень хорошо служит, пишет и даже сражается.

Он "служит" для орденов, крестов и пенсии. Пишет для гонорара и славы. И сражается, п. ч. его выучили оружие и маршировке в Академии Генерального Штаба.

Но никогда нельзя было предположить, чтобы "без души" он начал писать философию и двигать науки вперед. Но Дарвин, Гексли, Моле-шот, Бюхнер, Бокль, Спенсер, Конт, Милль и Дрэпер подали ему пример философствовать без души. А множество "без души", соединившись в "Академии наук", подперев науку коллективным плечом, покати-ли ее вперед. С тех пор "прогресс" стал все ускоряться. Открытия следовали за открытиями, а философские книги стали сочиняться каж-дый год. Они всех научили легкому существованию, так как и сами "без души" не испытывали никакого затруднения в существовании. Они жили долго, как Боборыкин, писали много, как Боборыкин, их читали все, как Боборыкина, и они "водрузились" везде, как Боборыкин. Они были немного тяжеловеснее и солиднее его, но по существу в том же роде.

Не страдали, кушали и уловляли души человеческие... т. е. бездушные человеческое.

В то же время немногие "с душою" не знали, что с собою делать. "Душа" их запутывала, и "душа" их затрудняла. От "души" своей они болели...

Они были неуклюжи, неповоротливы, и их отовсюду гнали, т. к. они всем препятствовали легко жить и легко делать. Но, несмотря на это, они были без конца привязаны к своей неуклюжей и болезнетворной жизни. И особенно любили эту "душу", которая им причиняла столько страдания.

"Я ее чувствую *в себе*, — говорили они, столь же чистосердечно, как те; — и как же вы хотите, чтобы я сказал "не существует" о том, что *есть* во мне?!"

* * *

14.X.1914

Человечество имеет самые обыкновенные мысли, пот. что оно есть самое обыкновенное человечество.

Как же бы иначе, мой милый? Согласись, что уже обыкновенное человечество довольно необыкновенно. Ходит на двух ногах, говорит "папа" и "мама" и учит грамматику Кюнера. Правда, есть "ученые

блехи”, — но ведь их было необыкновенно трудно выучить и их немного. Но люди все и врожденно говорят ”папа” и ”мама” и ходят на двух ногах.

Что же ты хочешь, чудака философ? Ты хочешь чего-то необыкновенного в этом и без того необыкновенном человечестве, превосходящем и ученых блох, и ученых медведей.

Странно. И недовольство твое неосновательно.

Ты хочешь затруднить человечество и бросить его в логарифмы. Но, поверь, тогда помешанных сделалось бы еще гораздо больше, чем теперь, — а их и теперь слишком много. Скорее нужно желать упрощения человеческого существования.

Был

Лысый, с белой бородою
Дедушка,

который научил внуков и детей очень обыкновенным мыслям, что

1) У человека есть душа,

2) Мир сотворен Богом

3) и если человек жил праведно, то по смерти пойдет в рай, а если окаянно — то душа его будет гореть в огне.

Мысли эти показались глупыми и, во всяком случае, ”недоказанными” воришке-повару — Агафшке, и он стал распространять на кухне:

1) никакой души нет.

2) Бога тоже нет.

3) по смерти никуда не пойдешь, а будешь лежать в земле.

А когда его просили тоже ”доказать” это, то он ответил:

— Вы живете на кухне, и все подобно такой же кухне. Здесь едят и стряпают. То же — и в мире. Все произошло, как пирог. Пирог состоит из крупинок, крупинки эти изначала... Но как дул ветер, как и у нас постоянно в кухне, а стол и сковородка по присущим ей качествам трясутся, — то крошки подпрыгивали то так, то этак, — пока через бесчисленное число лет, какое вы, дураки, и вообразить не можете, крупинки теста, и капусты, и масла сложились таким образом, что вышел ”пирог”. Потом ”появился человек” и стал равно по первобытной наивности своей удивляться и пирогу и себе. Между тем как единственное, что он должен был делать, — это кушать пирог.

Хорошо. Положим. Но это тоже довольно обыкновенные мысли, как и у лысого старика. Суть обеих мыслей, что от них с ума не сходят.

И довольно. Чего же волноваться, и волнуются, — что все мышление ”так просто”?

Оно просто, как воздух, которым мы дышим, вода, которую пьем, и земля, по которой ходим.

Есть странные люди, желающие, чтобы мы дышали одеколоном, пили сироп из-под варенья, и ходили по корке страсбургского пирога.

Не знаю, кому это удобно. Человечеству неудобно.

* * *

15.X.1914

Из ”мертвых душ” царства не образуются.
А мы образовали.

Вот опровержение "Мертвых душ".



Это или "анекдот", вообразившийся художнику... Но мало ли что придет на мысль живописующему художнику. "Какое нам дело, — пусть эстетики разбирают его творение". Но разбирали вовсе не эстетики. Разбирали, задумывались и тыкали перстом люди жизненные, практики. "Вот она *какая* Россия. Что нам с нею делать? Ее надо или воскресить, или погребсти". Но как "мертвые", да еще "*души*" именно, — конечно, не "воскресают", то, естественно, оставалось погребение, и действительно на семьдесят лет установилось "закапывание вонючего трупа", он же — наше тре-про-кля-тое отечество.

Закапывал его благоухающий Благовосветлов; последним, вот эти годы, закапывает ее хорошо пахнувший Мережковский. Пренебрежительно дотрагивались сапогом до "тела" зять своего тестя Стасюлевиц и любовник бесчисленных любовниц Михайловский.

Вот что сделал Гоголь. Он позвал всех "духов" — Чернышевского, Писарева, всех этих благоуханных журналистов российской журналистики. Вий указал "нетопырям" Хому Брута. Нетопыри бросились. "И в ту же минуту дух вышел" из благодушного бурсака, любившего горилку и не почитавшего ведьм.

Нет, это не анекдот, а мысль и аллегория. Анекдот он не назвал б "*сею русскою поэмою*". Поэма серьезное. Поэма — песнь. Гоголь был очень серьезен, несмотря на вечный смех. Он уже учеником читал рацеи мамаше. Он был весь монотонный, торжественный и удушливый.

Удушливый...

Да. Около нельзя было дышать. Как в могиле. И Гоголь погребал не потому, что Россия была труп, а потому, что он был могила.

— Вот. Пустое место. Это — я. Войди в него, полюби его, заразись им...

— Заразись мною, — хохотала ледяная красавица.

Россия полюбила "своего Гоголя", благодушный бурсак влюбился в старушонку в хлеве, она же — "прекрасная панночка"...

— Нагнись.

Нагнулась.

Тогда она поставила ножку ему на спину.

И побежал бурсак, побежал бурсак, побежал бурсак. Не он бежит, а ноги не могут не бежать...

Это таинственное "странствование России с Гоголем".



Но устали ноги. Да и вспомним молитву (Розанов).

(вагон)

* * *

15.X.1914

Наша история есть наиболее "позволяющая". Наш быт есть наиболее позволяющий.

Рассказ о Швейцарии, месяца 2 назад:

— Дети там воспитываются все на пощечинах, и притом эти пощечины как по шаблону: ни одна семья не обходится без них. Правда, результат прекрасен: все швейцарцы трудолюбивы, деятельны и необыкновенно регулярны в поведении и домашнем обиходе. Жить между ними чрезвычайно удобно. Но видеть и, главное, глядеть годы, глядеть повсюду, чем это достигается... необыкновенно тяжело.

И рассказчица содрогнулась.

Сегодня я напомнил об этом. И она сказала:

— Да! Да! (Она назвала французскую фамилию швейцарских знакомых.) Раз, переходя улицу, я увидела, как он снял перчатку и своей жирной отвратительной и очень сильной ладонью ударил по щеке 9-летнюю дочь... Она шла с ним и что-нибудь не так сказала или не так ступила. Маленькая, худенькая, кроткая девочка. И так они все бьют детей и выбивают (термин "выбивают" она сказала — 2 месяца назад) из них отличное поведение.

...Не спорю, на всю жизнь.

Я вздрогнул.

— Нет, наш хлеб гораздо лучше. Вся Россия есть в значительной степени хлеб — но в ней гораздо лучше (думал я).

(вагон "retour"!)

* * *

20.X.1914

— А что же, В. В., ты хочешь, чтобы и гимназисты и студенты сидели все на своих партах, не болтали ногами и внимательно смотрели на наставников, из коих один объясняет им, что $a \cdot a = a^2$, а другой — что Сократ был всегда мудр и Аристид всегда справедлив...

— О...

— Согласись, что это не очень интересно. И ты, несчастный, хотел бы, чтобы та Россия, которую ты так любишь, — превратилась из интересной в неинтересную?

— О, о!!..

— Чтобы река опять вошла в свое русло и благоразумно текла в Каспийское море, как ей подобает по географии Смирнова?

— О, о! о!..

— Чудак, так чего же ты хочешь? Всмотрись в формулы: твой мир скучен! Волга все впадает в Каспийское море, а $a \cdot a = a^2$, и Аристид продолжает быть справедлив. Я не оспариваю, что все это очень хорошо, насколько оно *есть*, т. е. было бы хуже, если б Аристид был несправедлив, Волга заартачилась и начала течь, "напротив", в Тверскую губернию, а помножение алгебраических величин давало бы из себя стеариновую свечку: но чтобы живой и "интересный", к несчастью, человек в уме... нет, в душе бессмертной своей повторял всю эту "действительность" из географии, истории и математики, — то не находишь ли ты сам, что это...

— Давай стеариновую свечку! Давай! давай! давай! Иначе и самого тебя сожру, как стеариновую свечку...

¹ "возвращение" (фр.).

- Так, значит, "новые колен"...
- Черт...
- Ну, и сомнения...
- Анафема!
- И страданице...
- Улезаю под печку. Страдания не-хо-чу.
- Так, значит: $a \cdot a = a^2$?
- Нет. Есть еще сон.

* * *

21.X.1914

— Вы изменили.

(революционерам)

— И от измены погибаете.

(провокация)

Это как Фохт сказал: "Человек *есть* то, что он *ест*".

∞

Не ваши ли напевы за 60 лет:

"Она проклята, *ваша* Россия... Бегите из нее, бегите к нам, в Женеву, Францию, в Лондон, Цюрих, — где мы начинаем новую русскую историю вдали от дворцов и казарм" (и могли бы добавить: "вдали от Пушкина и Лермонтова")...

И юноши, гимназисты, студентки заслушивались, заглядывались... Как деревенская девушка на проезжего гвардейца. Ведь очень скоро вы заняли в обществе положение духовной гвардии. Вы выколотили жесткими критическими и публицистическими палками это признание себя духовною гвардией России, и никто не смел выступить против вас, спорить, опровергать.

"Нсопровергнутая гвардия" стояла до прихода Бурцева. Вот отчего "Бурцев — Азеф" есть действительно не только историческое явление, но это центр огромного круга явлений.

Взят был не только гвардеец, но кто вел за собою всю гвардию. Жид, за которым все бежали, убийца высокопоставленных лиц, на которого все молились. Всего этот год мне привелось (в магазине) прочесть у Амфитеатрова строки: "*демоническая личность* Ивана Николаевича"... Значит, он знал его до обнаружения Азефа, знал со стороны, открытой революции и революционерам; и вот восклицание революционной барышни или, пожалуй, истасканной революционной юбки: "*Он демоничен и обаятелен*". Чем?!! Да тем, что открыто революции: *жид и убивает*. Тут очень хорошо выразилась сущность революции: "что она *ест*", чем все годы *питалась*. В ней и не было иных соков, иной крови и брюшины, как "ненавидим, проклинаяем и хотим убивать". СМЕРТЬ — вот что было написано на их знамени, — этих кротких, которые так "ненавидели милитаризм" и дрожали при виде войсковой колонны. Которые прокляли Пушкина за одно стихотворение "Клеветникам России" и прокляли Лермонтова как "юнкера".

Хорошо, милые идейные люди, питающиеся только книжками, где пишется о человечестве и гуманитарных идеалах.

Когда вдруг пришел Бурцев и закричал, завизжал, что "сам повесится, если у него вышла ошибка", но что у него "нет ошибки" и он твердо уверен, что ведущий революционеров господин берет тайно деньги от полиции и предаст своих. Это Нечаев-то из Нечаевых, Базаров из Базаровых и самый большой Чернышевский. Невозможно было поверить. Но Бурцев уверял, что он 1) сперва подговаривает убить, 2) потом выдает друга полиции и 3) наконец, приходит ко вдове повешенного и оплакивает с ней гибель героя. Со стороны глядя, что же тут удивительного в евре, которому вообще "до русских дел — дела нет", ибо он и по существу своему, по задаче всей нации — проходит между нациями, не касаясь их; всем у них заинтересовываясь, но ничем с кровью.

— Интернационал, господа!.. Я — международник... Какое же мне дело до вашего Чаадаева, мистиков и анархистов. До спора славянофилов и западников. Если и всю-то Россию положить на платочек и завязать этот платочек с 4 углов, то я не знаю только, где всю эту живность утопить, в море, в реке или так в болоте.

— Что за дело мне, свободному еврею, мешанину города Таганрога, свободному ученику свободной науки, нигилисту *pur sang*¹ до всех этих литературных споров между "Современником" и "Русским Вестником".

.....

(приехали; вагон)

* * *

22.X.1914

Писатель влечет или толпу, или лицо.

— А ты чего хотел бы, Розанов?

— Лица человеческого.

(за набивкой табаку)

* * *

25.X.1914

Родство мира идет исключительно от детородных органов, ибо от них идет "распространительность", — "далее" и "далее", "вниз" и "вглубь", "в сторону", как и восходит "вверх"... Они лежат теньями "вчера" и "завтра" около нашего "сегодня"...

Без детородных органов нет "отца" и "матери", "детей" и "внуков". Без детородных органов "сверху" — не знаем, кто "братья" и "сестры". По бокам — "кто такие мне племянники".

Поразительно, что самое чувство родства относится специфически к детородным органам, только к ним: ибо иначе неизвестно, отчего бы чувствовать *что-нибудь* к невестке и зятю, которые без этих органов суть *никто мне*.

(4-й час утра; кончаю занятия нумизматикой)

¹ чистокровный, настоящий (фр.).

Родство — любовь к ф. и ктєтє. И только. Не любовь — а скорее нежность. Удивительно. Как никто до меня (у русских) не вникал в суть родства. Самое "всегда", "езде", чем дышим, среди чего существуем.

Какое легкомыслие.

* * *

25.X.1914

Нет, господа, — без культа-то фалла вы никак не обойдетесь.

Без культа фалла погибнет мир.

Да он и погибает, — и именно от того, что нет этого культа. Никому до меня этого даже и не снилось.

* * *

26.X.1914

За стишками не надо забывать и прозы. Кроме 1000 мотивов, есть и этот: мужчина здоровеет от девушки, девушка здоровеет от мужчины.

Даже от разговора. Он — "чувствует лучше себя"; она "чувствует лучше себя". Как от нектара, или йода, или хины.

Поцелуй — это уже "курс лечения". "Вся выздоравливаю". Хандра прошла. Больше не знобит. Веселее наливаю чай. "Мамаша, давайте я с вас сниму туфли", "помогу раздеться". А до поцелуя: "Да ну, мамаша, снимите сами, я уселась и *не хочется встать*".

До поцелуя все "не хочется", после поцелуя "давай работы".

— Мамаша. Я вам подвязочки развяжу. Вы устали. Какая вы сегодня славная, мамуля.

Это когда поцелуй "его" горит на губах.

И — все впадает в "Волгу"... О ней — молчание. Есть ли речи? Кто говорит?

Господа: как же мы будем говорить против любви, когда это просто "хочется испить" и "я выздоравливаю". Выздоровливаю. Испеляюсь. Пью йод. Странно рассуждать: конечно, пей.

И из Волги, и из Ветлуги, маленькой речки; из родничка, в горах, а где случится — из канавки!

Однажды я увидел странника: он пил из-под *лошадиного копыта* (углубление). И та вода была благословенна.

* * *

26.X.1914

Единственное, что мы вправе требовать от человека, это чтобы он *сохранял свой стиль*.

Как только люди переходят в "чужой стиль" (сплошь и рядом) — они становятся противны и как-то не нужны. Космологически не нужны. Очевидно, Бог "не для этого" их сотворил.

Каждого человека Бог творит для него самого.

(окт. 27-го 4 часа утра)

Поэтому-то добродетельные люди прекрасны не оттого и не тем, что добродетельны, а что самая добродетель "идет" к ним.

И именно — к ним. Но эту "добродетельную женщину" становится развратница: фуй! разит! Нет, добродетельным может быть только именно добродетельный, — он один. А прочие пусть "гуляют".

И он один замолит их грехи. И Бог отпустит им за него.

Вот.

А порочные пусть и получают "по аттестату своему". Пусть. Пусть. Пусть. А то все перемешается. Мир умрет в хаосе.

* * *

28.X.1914

Сила мерзости всегда была велика.

И сила печати велика.

Чего же мы пугаемся, тоскуем, не знаем, что делать.

Тут надо не победить, а претерпеть.

Новая молитва:

"Боже Великий, даруй мне терпение".

(утро, за кофе)

* * *

6.XI.1914

Перенося все в область *анатомии*, мы можем сказать, что деятельность семенных желез и деятельность яичников стоит важнейшим и даже вовсе не одолимым препятствием на пути распространения монастырей. Центральный *биологический* факт задерживает то, что мы называем "торжеством христианства".

Справились с Юлианом, но что делать с предстательной железой?

Кондратий Селиванов нашел, "что делать". Нелепое решение. Разве можно считать "решением вопроса о спасении рода человеческого" такое решение, которое уничтожает самый этот род человеческого. Это — пшгалевшина, а не христианство.

Аскетизм делает то же без *ножа* и крови, — внушением. Однако и тут вдали — "прекращение рода человеческого".

"Прекращение рода человеческого", "прекращение рода христианского", зловещая пшгалевшина... бррр...

Это помещение религии в узел биологии и анатомии важно и опровергает всех Вольтеров. Что вы сделаете стихами там, где железы выделяют семя и яичники отделяют яйцо? Стихи пройдут. А яйцо никак не пройдет.

Религия — *космогонична*, вот в чем дело. Яйцо и семя — космогония... Явно правы Санхиниатон и Бероз, финикийские и халдейские мудрецы. Они помещали в центре мира яйцо и *детородный член*, именуюя их "солнцем" и "столпом Вселенной". Яйца и столбы, яйца и столбы, — их везде встречал Дарий в Азии, двигаясь на Грецию.

Везде "Царица Небесная" и "Отец всего"...

Хорошо. Что же дальше?

И вот препятствие христианству. Нужно выкопать этот столп и перерезать это яйцо. Но это — "пшгалевшина". Неужели значит "решить задачу" — "смахнув задачу".

Вопрос не решен.

Яйца и столбы, яйца и столбы, яйца и столбы. Везде мать и отец, дети и внуки... Опять — "яйцо" и "столп". Как есть "яйцо" и "столп" — все *есть*; как нет столба и яйца — *ничего нет*.

Явно — основания Вселенной. Этому научили Санхиниатон и Библия.

Что же делать христианству? Ни стихи, ни проза не помогают. Не поможет ли Иван Павлыч?

(утром встав)

* * *

7.XI.1914

Разврат появляется, когда погасает любовь. Разврат именно не любовь, *уже не любовь*. Он повторяет, механично и холодно, "по памяти", то, что творилось в любви. И тогда было *чисто*, теперь же только *грязь*.

Грязные старики... Но никогда — юноши, девушки. У них все чисто, п. ч. проистекает из любви.

И настоящее дело стариков — только молитва.

(*pro domo sua*¹) (когда я искал волосы и не мог их найти)
(нашел на ковре, растоптанные)

* * *

9.XI.1914

Монахи понимают в браке столько же, сколько музыкант в инженерном искусстве или поэт Пушкин в ведении конторских книг. И музыкант хороший человек, и поэт Пушкин тоже хороший человек. Но как оба "с увлечением", то, естественно, и говорят о траншеях, минах и всемирной торговле. Однако слушать их лепет совершенно излишне, и грех и страдание европейской истории заключается не в том, что монахи говорили о браке, а в том, что монахов слушали. Весь этот лепет младенцев нужно отодвинуть в сторону, — но осторожно и не забывая ни великих заслуг музыки и поэзии перед историей, ни того, что это вообще добрые и прекрасные люди.

(прочтя у епископа Феофана Затворника "мнение", почти правительственного характера, о невозможности признать "законными" детей "незаконнорожденных" и о повелении от лица государства родителям таковых детей "прекратить житие, без благословения церкви начатое, как блудное")

Сей монах не подумал, что сколько бы церковь и государство ни говорили "разойтись", — послушаться их могли бы только сквернавцы, вступившие в связь ради прибытка, как большинство их законных пар, и ни одна настояще любящая чета не отступила бы. Да и вообще, любовь настоящая никогда не ретируется. Любовь настоящая, и "пары" венчанные и невенчанные, которые по-настоящему любят друг друга, суть "гвардия, которая умирает, но не сдается". Я убежден, по своему опыту и по кой-каким наблюдениям, что с начала мира и до сего дня не распалось ни одно любовничество, когда оно было настоящее любовничество.

Любовь началась в раю, до грехопадения (восклицание Адама и Евы). Любовь древнее и церкви и брака. И самый брак только любовью и держится.

¹ для себя (лат.).

* * *

9.XI.1914

Да самая уже идея, что от девы может родиться Бог, — есть член фал. культа. И напряжением этого ожидания был полон Восток...

(девушка, восходившая и переночевавшая в одной комнатке наверху храма, — в Вавилоне)

Знаете ли вы, что красивый ландшафт есть уже член фаллического культа? Эти козы и козлы в долине; эти стада коров: они оттого так хороши, что "мне хочется".

Без "мне хочется" все погасло в мире; а из "мне хочется" вытекает, что и "им хочется".

А может быть и обратно: "мне хочется", п. ч. "им хочется"...

Не будем разграничивать; господа, не будем разграничивать. "Всем хочется". Кроме, конечно, Бокля с его *потухшей* "Историей цивилизации в Англии".

(разглядывая "Der stille Garten")

* * *

14.XI.1914

Кто силен, тот и насилует.

Но женщины ни к чему так не влекутся, как к силе.

Вот почему именно женщины понесли на плечах своих Писарева, Шелгунова, Чернышевского, "Современник". Наша история за 50 лет — это "История изнасилования России нигилистами". И тут свою огромную роль сыграл именно "слабый пол".

В "Первой любви" Тургенева влюбленный в девушку мальчик видит, как его отец, грубый помещик, верхом на лошади, ударяет хлыстом девушку, которую любит этот мальчик, но ему соперником-победителем оказался отец. Мальчик заплакал, закипел негодованием. Но девушка *робко пошла за ударившим ее*.

Вот история "неудач" Достоевского, Ап. Григорьева, Страхова, всех этих "Бедных людей", этих "Слабых сердец" (заглавие рассказа Достоевского). Толпа похожа на женщину. Она не понимает любви к себе (Страхов, Григорьев, Достоевский). Она хочет хлыста и расправы. "Фу, какая ты баба", — хочется сказать человечеству.

* * *

15.XI.1914

Элементарность Гоголя и Грибоедова страшная — была причиной неодолимого их действия ("так все *понятно*"), но она же есть и причина (как думаю) теперешнего их *падения*.

"Так на элементарненьком и застыли"...

Не только "умные" Чернышевский и Писарев, но и действительно умный Михайловский и "иже с ним".

Гоголя и Грибоедова нельзя *усложнить*. Атом — не растет. Ну, что же "глупо все в России". *Дальше что же?* У Вл. Даля, у Киреевских, у кн.

¹ "Тихий сад" (нем.).

Одоевского "дальше" было, но у Грибоедова и Гоголя никакой "дали" не открывается, — а такой же элементарный выход:

— Строй школы.

Стали строить, — министерские, земские, "частных деятелей". Ну что же дальше? Поучатся, выйдут замуж и женятся, все такие же Собакевичи, Маниловы и Чичиковы, только пишущие "мыло", а не "мило". Букву "ѣ" выучили, а дурак дураком и плут плутом.

— Остановитесь, что же вы делаете? Все прежние дураки...

— Строй дальше! Не рассуждай! Строй, строй, строй. Статистику подводи. Видишь прогресс. Было 20 школ, стало 200 школ.

— Да, но вместо прежних "20 дураков" теперь выходят из школ "200 дураков", которые вместо плодовитого Барона Брамбеуса читают плодовитого Амфитеатрова и Немировича-Данченко... Какая же разница?

— Какая разница? Что вы рассуждаете?! Строй, строй, строй! Учи! уч...

Шум. В ушах шум, в душе темно.

* * *

16.XI.1914

Евреи в пустыне шли за запахом Шехины.

Который, естественно, казался им "облаком", а ночью "огненным столбом".

Попробуйте у себя дома: днем это в самом деле мгла, сырость (*вода*, облако), туман, пот, "отсыревшее место". Ну, — а ночью пылает пламенем. "Столб"? — Но это просто "продолговатое", "длинное".

Так историческая вонючка, жида, переходили пустыню, влекомые запахом вони воней мира, фу — какое *гемто*! Всегда *гемто*, везде гетто. Неужели ничего, кроме вони, эти люди не принесли на землю?

Старцы поднимают голову и говорят.

— Вонь и святое. От нас вонь, у нас молитвы.

"Нечистая сила", — бормочет Бурульбаш (муж Катерины в "Страшной мести")... Нечистое, — которое *сильно*, сила, которая *нечиста*.

Старцы посмеиваются.

— Так или не так, а без нас мир пропадет. Мы были, есть и будем.

(ночью в постели) ("Шехина — божество", изречение Талмуда; по Пранайтису: "Шехина имеет менструации")

* * *

16.XI.1914

Прямым нападением евреи и не могли взять европейских форпостов. Ну что значит "еврей, нападающий на христианство"? Что значит другой еврей, штурмующий королевскую власть? Он бессилен, он не только никого не убедит, но его никто и читать не станет.

Тогда евреи предприняли "обходное движение". Они везде "присосались", — но присосались к *отрицательному*. Они толпами двинулись в литературу, присматриваясь, "что" и "кто" тут — и "как отсюда извлечь пользу". "Они увидели Вольтера, смеющегося над христианством, и, конечно, пристали не к Боссюэту и Фенелону, а к *Вольтеру*: они оценили громадный дар Руссо и пошли не за Эдмундом Борком, име-

вшим такой же дар патетичности, но *строившим* Европу, а за Руссо, *разрушавшим* Европу фантазером. Хотя Толстой не любил вначале евреев (его фраза около 1900 года "при всех *усилиях* я никак не могу *любить* евреев"), но они пренебрегли национальным самолюбием, положили на чашку весов национальную пользу, и присосались к великой *разрушительной* силе против Православия, Государственности, против всяких положительных законов. Еврею в Европе всегда нужно разрушение, и он присасывается к *разрушителю*. "Цвел бы наш Талмуд, а *остально* — не нужно". И вот тысяча мелких перьев, и анонимов (евреи предпочитают во всем анонимность, т. е. *темноту*), записали об Вольтере, о Руссо, о Толстом. Тысяча мышей стали грызть днище старого корабля Европы.

Но "победа" мелькнула евреям впервые, когда они присмотрелись к Фурье, Сен-Симону, Пьеру Леру и прочим мечтателям-анархистам, социалистам и коммунистам. "Золотые сны" европейского человечества они обменяли на звонкую монету. К фантазиям Руссо, Бабефа, Сен-Симона они прибавили расчетную книжку. Они вдруг начали кричать везде, что рабочего действительно обсчитывают и что крестьянам плохо живется. Это было, конечно, *так*, и Европа могла бы "своими средствами" справиться и с рабочим вопросом, и с крестьянским вопросом. Но евреям никакого дела не было ни до крестьян, ни до рабочих, — а им нужно было, чтобы те и другие двинулись на штурм европейской цивилизации. "Пролетарии всех стран — объединяйтесь!" Маркс и Лассаль с популяризатором Шпильгагеном, все три — жиды, заставили совершенно позабыть о великодушных заботах и заоблачных мечтах Сен-Симона, Томаса Мора, Кампанеллы, — заменив все криками: "Идите и *убивайте* этих эксплуататоров, идите и *грабьте* эти старые поместья".

Умалчивая о банках. Ни один еврейский писатель-социалист не обмолвился о *жидовском банке*, как новейшем средоточии богатств, денег и *силы* в Европе. "Банка как не бывало"; это, видите ли, фантом и "клевета". Главное — старое дворянство и уже полускупленные банком земли этого дворянства. "Вот *где* акула Европы", — хрипели, выли и скулили еврейские гиены на немецком, французском, английском, итальянском, русском, наконец, даже на японском и, кажется, китайском языках. Социализм через еврея "стал всемирным явлением". Ибо и еврей — без родины, всемирен.

Герцен, рожденный от русского золотопромышленника Яковлева и его еврейской метрессы¹, — выступил социалистом в России и, можно сказать, сделал Россию социалистической и революционной. Без его талантов и блеска Россия, может быть, и не так скоро и быстро "объевреилась бы" и "революционизировалась". Омерзительные его "сочинения" действительно не следовало бы разрешать цензуре. Это десять томов "похвалы себе" следовало просто сбросить в дыру.

¹ Профессор Герье, Вл. Ив., женатый на Авдотьи Ивановне *Станкевич* (в девицах), сказал мне в присутствии ее, как о вещи совершенно им знакомой фамилно: "Да *мать* Герцена была еврейка, — и этим объясняется *все*. У него чисто еврейский ум, психология и логика. Тот же пафос и крикливость, та же азитация, живость; дилетантизм и ко всему неглубокая талантливость".

Ну, так все и пошло. Через "социализм" и "заботу о народе" еврей повалил королей, сословия, грозит свалить старую конституцию, Англию. "Долой лордов" — пусть останется один *еврей*; не надо архиепископов — пусть красуется везде ермолка. "Демократия, господа, демократия"; пусть везде сидит "честный ремесленник". И "честный ремесленник" печати Пропер тоже договаривает в "Биржевке"... Es ist eine alte Geschichte¹, которую все знают, — но кто же интересуется "общеизвестным". Никто и не обращает на "общеизвестное" евреев внимания, и евреи продолжают делать eine alte Geschichte.

А корабль все погружается...

* * *

20.XI.1914

Ну, так ведь носом?.. Ну, так ведь губами? Ртом? Языком? Хорошо. Но ведь это и есть знаменитый "розановский язык" и также (признано) "нюх всех вещей в мире", и именно с внутренней их стороны.

Чем наслаждался, тем и творил.

Но позвольте: разве это не есть Элевзинские таинства. Загадал Эдип, а разгадал Розанов. Но разгадку поймет, кто соучаствует Элевзинским таинствам. Профанам их знать совершенно не нужно.

(внезапно, — проснувшись поутру и вскочив умываться)

* * *

23.XI.1914

Никогда решительно брак двух неисповедим ни для кого, кроме этих двух.

Вот отчего только *само-суд* уместен для брака; т. е. "произвол — их". Муж отдельно произволен относительно брака. И жена отдельно произвольна относительно брака. Муж может оставить произвольно жену. И жена может оставить произвольно мужа.

Сказав:

— Не нравится.

— Не хочу.

В самом деле, что вы можете сказать мужу, когда он "не хочет". Вы можете направить на него батарею пушек и расстрелять его, — но ведь и в таком случае он все-таки не "захочет". А если муж "не хочет", то какой же брак? Его — нет. "Не хочется" мужа — кассирует брак. Это слово анатомии и физиологии.

"Не хочется" = кровь не приливает = impotentia.

"Не нравится" есть impotentia aeterna². Не вообще, но — относительно "этой женщины", его "бывшей жены".

Ограниченное, по-видимому, право жены сказать "не хочу". Тут опять физиология и анатомия. Если для мужа "не хочу" = "не могу" и есть impotentia absoluta, то для женщины ее "не хочу" не порождает "не могу". На разнице этой основана возможность женской проституции и невозможность мужской проституции (о чем думали в 60-х годах).

¹ Это старая история (нем.).

² вечная импотенция (лат.).

Так. И абсолютная свобода *и жены* "разводиться" основана на уважении к ее нравственной личности и на ужасе поставить какую-либо женщину в положение принудительной проститутки.

"Союз мужа и жены" — действительно теснейший, действительно "одно тело". Так. Хвалим и признаем. Но, господа, — тут дыхание ускоренно; что объяснять, сами знаете.

И на так-то дышащих вы надеваете железный корсет. "Потому что они — *одно*". Да они "одно" по любви и по любовному дыханию, а не потому, что "в корсете".

* * *

24.XI.1914

Читатель из папье-маше, естественно, и чувствует писателя из папье-маше.

Вот судьба Леонида Андреева.

(утром за кофе)

* * *

26.XI.1914

Вчера весь день провалялся, т^о 39. Растирания и прочее. Помогло. Сегодня Таня подбегает к кровати и, обвивая руками шею, спрашивает: — Ну как мой КУКЛЮЧИК поживает?

Что за филология.

— Как, Таня? Что такое?

— Куклүчик. П. ч. вы с мамочкой КУКУЛЕЧКИ. Самые маленькие наши деточки.

И сама маленькая. И вся трепещет. Вчера Шура (на лекции в Тенишевском):

— Какие милые наши дети. Я все время наблюдала и гордилась внутренне своими сестрами.

И часто она говорит.

— Они не хуже никого.

Слава Богу.

* * *

27.XI.1914

С 28 сентября (на штемпеле конверта) и в течение октября и ноября — дружба с Мордвиновой. Она не написала отчества, и я называл ее все "Верой". Она меня — никак; только в первом "Вас. Вас."

Курсистка. Москва. Все лежит. По карточке — прекрасна. Ее друг — Калиночка и все подробности. Семья, быт. Много рассказов: 19 л. 2 мес. 10 дней (в 1-м письме). Я ее прямо полюбил по письмам: такого глубокого совпадения по взглядам я никогда не встречал. О Герцене она написала с презрением: "Герцен еще в люльке пищал: не *хоцү* самодержавия: — я республику *хоцү*". Как это старо и опытно сравнительно с Гершензоном и Айхенвальдом, "ветеранами" истории литературы. О старой нашей письменности: "я не знаю *более глубокой литературы*, чем эта". Это — о том фазисе, о котором Белинский изрек, что "*там не было вовсе литературы*".

Горда. Страшна. Мечтает поехать в Индию, но плеврит и было воспаление легких.

Ее рассказ, как она часто видит Государя во сне — поразителен по красоте, изяществу.

Вообще вся духовно изящна и сильна.

Мы с ней в письмах страшно сдружились. Прямо полюбили друг друга. Она по моему совету купила крестик и: "стану его носить", "не буду анализировать" (были сомнения в бытии Божиим). Меня же она окрылила в надеждах, что "мы победим". *За всю жизнь* впервые заиграла мысль, что "можем победить". П. ч. ведь "наша партия" состояла:

- 1) из стариков
 - 2) старых генералов
 - 3) больших помещиков
 - 4) Членов Госуд. Совета по назначению
 - 5) "Выродков" вроде Шперка и Розанова.
- На что же тут надеяться: "Курам на смех".

И вдруг входит молодая 19-летняя девушка и *тоном увереннее, чем у меня, — говорит:*

"Что же вы смутились? Разве не вечна истина? Хотя бы и отвергнутая всеми — она восторжествует. Родина наша есть прекраснейшая страна, полная глубин и главное — ее *древность и народ*".

* * *

8.XII.1914

...да Россия и есть до известной степени страна юродивых, — людей, пораженных несчастьем. Но ведь несчастье "на роду написано" человеку, и куда же от него вырвешься? "Умираем" — и уже этим сказано все. А до могилы "ковыляем". Господа, что делать, у кого ноги вывернуты от роду? Не поможет и миллион: других ног не вырастишь, а этих не отрежешь. С миллионом или без миллиона, — а ковыляй. И вот я говорю — стране мирового несчастья, которое — *врожденно* человеку, ибо в "раю"-то ему дано было пробыть одну минутку.

И "ковыляем" мы, граждане.

И "ковыляет" правительство.

Из торговли у нас только "бакалея" да съестное: остальное все жид и немец взял. Неужели это не несчастное ковыляние?

Ученые? Так министры просвещения упрели, меняя сюртучки с красным воротничком на сюртучки с серебряными позументами и, наконец, бросив все и решив просто "куртки". "Так или иначе — все не учатся". Студенты? Так те "Дубинушку" тянут 50 лет и никак не могут медицине и алгебре научиться.

Сторона наша убогая,
Сторона наша родимая.

Хорошо. Так мы и жили. Правительство пороло (от отчаяния, не зная, что делать) подданных, а иностранные банкиры и Англия пороли правительство. Все было "честь честью" и "чин чином", и история наша совершалась в постепенности и с благородной неторопливостью.

Пока Стасюлевич не объявил реформу. Он женился на жидовке, дочери банкира, взял миллион (или 500 000) и объявил, что такой России

ему не нужно, а нужна европейская. И в целях ее установления учредил журнал "Вестник Европы".

С ним согласились один шулер и один полицеймейстер, которому раз пришлось служить в Риге, и после того он возненавидел Россию. Так произошло "движение 70-х годов", —

.....
.....
(вышла хроменькая Верочка. Смоленский проезд, угол Арбата, меблированные комнаты "Дон", комната № 13)

* * *

10.XII.1914

...усиливался. Вспотел. И ничего не вышло.

В первый раз.

На меня поднялись любящие глаза.

— Ну, ничего, милый. Не смущайся. И Рим не в один день был построен.

Я б. поражен. Никогда не слышал такой исторической поговорки (очевидно, и в такой момент услышать)... Прекраснее по кротости и прощению русской девушки — никого нет.

(действительность)

* * *

11.XII.1914

"Талантливым предательством" полна русская земля. Чиновник вечно ругает "свое ведомство", сотрудник — подсмеивается над редактором, и профессор Дух. Академии "не уважал бы себя", если бы он "был верующий". Семинаристы и студенты Дух. Академии считают "унижением" ходить к литургии. И "высокие особы" всегда недовольны "Им"...

Что это?

Я думаю — пузико: "Мой животик". "Странно было бы, если бы я не выставлял свой живот вперед". "Какой же я носитель своего живота, если не показываю его впереди всего", — отечества, церкви и особенно — этого проклятого начальства.

Мы все рабы своего живота. Не головы, — куда! "Голова" только болтается и есть "прилагательное". Настоящий господин человека — его пузо. И я думаю, эполеты следовало бы класть не на плечи, а на пузо. Пузатые люди. Что же, это хорошо.

* * *

12.XII.1914

Это было в немецкой аристократической семье. Именно по поводу ее рассказчица объясняла, как нехорошо, когда мать по молодости и красоте своей становится соперницей в обществе взрослой дочери. Необъяснимо почему, ухаживатели отдают предпочтение матери, и дочь, даже если она очень хороша, оставляется в тени, одиночестве и загоне. Она печальна, а мать вся в цвету. "В моих представлениях, мать всегда должна быть старенькой и седенькой и должна быть обвеяна любовью и благоговением, но совершенно другого рода".

Я молчал. Втайне мне нравилось соперничество матерей и дочерей. "Каждой яблоньке свой цвет". Рассказчица сказала:

”К тете подходит ее дочь, 15 лет, и спрашивает:

— Что такое любовь, Liebe?

— Посмотри в ”Энциклопедическом словаре”, — ответила мать равнодушно.

Та посмотрела, но не была удовлетворена и вновь повторила свой вопрос. Мать ответила:

— Когда тебе не будут противны мужские подштанники, то это — любовь, Liebe”.

Я был поражен полнотой и закругленностью ответа. Раньше я тоже замечал, что у девушек представление любви гораздо физиологичнее и, так сказать, полнокровнее, нежели у мужчин. Однажды я разговаривал о ее любви с девушкой лет 22—24. Она была прелестна и изящна и сказала:

— И он меня хочет. И я его хочу. Но ничего не поделаешь.

Возможный бы ”жених” запивал и был бесхарактерен. Но каково определение их тяготения!! Между тем оно совершенно правильно и исчерпывает все дело.

В другой раз больная девушка, лет десять уже не выходящая из комнаты, заканчивая рассказ о своем родственнике, с детства хворающем какими-то неопределенными и затяжными болезнями, улыбнулась и сказала ”в объяснение всего”:

— Нехорошо *посажен*!!!

Т. е. была — ”неудача”, ”неладно” в зачатии. Каково??? Кто-нибудь ”вошел”, кто-нибудь ”закричал” или ”постучал в дверь”, — когда зачатие совершалось: и ребенок всю жизнь хворает!!! Встревоженное, испуганное яичко матери встретилось с сперматозоидом ”в подавленном состоянии духа” — и младенец Коля все ”расстраивается” и ”недомогает” при малейшей простуде или если ”не того покушает”.

Но не враги это нашли, а невинная девушка, грезящая о женихе на одре 10-летней болезни.

Удивительно. Удивительно и прекрасно. Я всегда чувствовал, что девушки и женщины десятикратно превосходят мужчин мудростью и глубиной.

На вопрос:

— Что такое мужчина?

Я бы ответил:

— Болван.

В самом деле, *в отношении пола* изношенные (теперь) мужчины равно ничего не понимают.

— Жрицы! Жрицы! — этот крик пронесется некогда по цивилизации. Гибнущий род человеческого позовет их, так как Духовные консистории, а также и ”Противоалкогольная комиссия” не возродят, конечно, брака и семьи. И все будут продолжать петь, среди гибнущих и над гибнущими: ”Всякое ныне житейское отложим попечение”.

* * *

12.XII.1914

Гоголя восприняло все *глупое*, все *пошрое*. Будучи и сам не очень умен (и это *суть* его силы), он дал опору всему глупому и пошлему на

Руси, и из "гениальной народной Руси" сделал сморщенного хихикающего уродца, во все стороны плюющего и совершенно бездарного. Такова Русь и есть "гоголевская Русь" (под его воздействием выросшая), совершенно бездарная и бессильная. Своим мертвым ртом он высал из нее мозги, оставив каку-то старую, сухую, неэластичную кожу.

Эта сухая, бездарная, холодная Русь, торжествует свои триумфы. Она "завела новые суды по образцу Сардинии", потребовала конституции, учредила гимназии Толстого и вообще "просветила Россию".

Все — *формально*, как был "формален" гений Гоголя.

— У, урод...

Россия или Гоголь... Даже не хочется разбирать, невозможно разделить.

Это есть начало умирания России. Россия начала умирать. Никто этого не замечает.

Только народ жив; темное безграмотное крестьянство. Но школа, с оскаленным черепом Гоголя, намекает:

— Доберусь и до *тебя*.

Совсем, как ведьма в хлеве; пришедшая ловить Хому Брута.

Страшно. И никто не замечает.

* * *

15.XII.1914

Был храм.

Но теперь в нем нет молящихся.

А только бегают под полом мыши.

(Литература и печать, и "палладиум Свободы" над нею)

Зачем же *Имя храма и Благоговение к храму. Ломайте все.*

(мое отношение к литературе и печати; нужно ее лишить палладиума Свободы)

* * *

16.XII.1914

Нет, все-таки это было глупо и *пошло* издавать "Когда начальство ушло", — и было *изменою делу, изменою всей жизни* печатать "Ослабнувший фетиш". Это было определенное дурное дело, и за это определенное "дурное дело" мне поделом досталось от П. С.

Чему я обрадовался, — в мой возраст?? "Взыграл, яко теля" (теленки), когда побежали эти мальчишки (с флагами). "И я с вами"... Пошло. Глупо. И никакого оправдания.

Ненавижу эту мою книгу с красной обложкой и с виньеткой из Руссо (плагиат).

Если Верочка М-ва в 19 лет воскликнула: "Я хотела спасти Царя от этих новых крикунов" (в частном письме ко мне), то куда я "побежал", старый черт и старый дурак...

Правда, я и тогда уже бежал "с ленцой" и улыбочкой, не веря почти ничему. Соблазнили "товарищи". И я променял на эту сволочь старого солдата Руси.

Позор. Позор. Позор. Позорная книга. И меня надо было колотить. Очень просто, "по морде". И было. А я вздумал обидеться. Дурак.

Это была измена. Тут я был — предатель.

Но открыла мне это Верочка Мордвинова. Ленивая курсистка, все лежащая на кровати в Новопроектированном. Как нежно и красиво она любит Царя. "Мне приснилось, что Он посетил наши курсы. Я заметила место перил, до которого он дотронулся, сходя с лестницы, — и когда все ушли — подошла и поцеловала это место".

Как просто. Как нежно. Как глубоко. Слова эти, в письме ко мне мелькнувшие, поразили меня...

И я иду, плачу и читаю — "Помилуй мя, Боже".

Но какой же я дурак, если меня может научить курсиха.

Милые. Правда, их надо иногда драть за волосы (если социалистки), но все-таки они милые, правдивые, прекрасные.

Гораздо глубже и возвышеннее своих профессоров.

Но что профессора дураки — это понятно. А как "Розанов" вышел в дураки — это удивительно.

(на обороте транспаранта)

* * *

17. XII. 1914

Не невероятно еще подумать, что "оппозиция русская" состоит из отбросов.

Как на фабрике есть *дело* и "шлаки", в стаде журавлей — "отставшие", среди адвокатов и врачей — неудачники.

Россия — колосс работы. Правительство — первый и главный работник.

"Приладиться" к этой работе или чтобы эта работа "почувствовала нужду в тебе" — не так просто. Далее, в самой работе будешь ли ты *сам* честен, прям и, главное, талантлив, успешен. Вот сколько вопросов, трений и "засорило колесо". Между тем машина не останавливается и не может остановиться. В "ходе" своем она и сбрасывает многих, очень многих. Что же будут делать они? Они соберутся и будут толковать: "машина *не так* идет", "машина сломается", "машина не выдержит".

Отнесем одну 1/2 замечания — к верным. И все же целая 1/2 еще будет просто "отброс".

Однако я никак не хочу включить сюда ту проистекающую из любви к отечеству критику, которая тоже бывает. Князь Яков Долгорукий, разорвавший указ Петра Великого, — вот пример. Этому примеру следовали славянофилы и имели слишком много для критики.

* * *

18. XII. 1914

...в письме слова: "Кто любит попа, а кто — попадью, а кто и попову дочку". Подумал о себе: "А ты, Розанов? — и ответил. — А я люблю и попа, и попадью, и попову дочку".

Кто-то за ухом: "Врешь, скромник, тебе нравятся обе поповы дочери".

— Ну, обе так обе, — оглянулся я на голос.

21. XII. 1914

Достаточно взглянуть на ОДНУ незаконную мать с ребенком, чтобы усомниться во всем христианстве.

Правда — *бьет в глаза*, осязательна, ощупываешь.

Правда эта или, вернее, неправда — *угнетение матери*. Оно — *есть*.

Если это — неправда, почему церковь не заступилась? А она никогда не заступалась. Ни одной статьи о таких матерях в духовных журналах. (И ни одной страницы у Отцов Церкви.) (Не знаю, есть ли хоть строка одна.)

И вот я знаю, что всякое добро растет из церкви.

И оно есть то дерево ветвистое, под сенью которого все.

Хранит, бережет и благословляет цивилизацию.

Так.

Вижу. Знаю.

И, однако, если бы меня спросили, хочешь ли, чтобы была жива цивилизация, но умерла мать с ребенком или чтобы умерла мать с ребенком, а цивилизация разрушилась, я ответил бы:

— Хочу, чтобы мать была жива, а цивилизация — Бог с ней.

У цивилизации мудрецы, ее воспевают поэты, ей — музыка, о ней — картины, для ее служения — литургия.

А у матери кто? Один Бог.

Друзья: останемся с Богом и с матерью, а цивилизация... пусть идет куда идет.

Ибо цивилизация, отделившая себя хотя бы от *единой* матери с ребенком, сама подрубила под собою корень жизни...

А церковь? А христианство?

Пусть выберут цивилизацию или мать. Но если и они *не* с матерью, я, раб Божий и смиренный, и *не* с христианством, и *не* с церковью.

(Флоренскому и Новоселову)

21. XII. 1914

Нужно, чтобы духовенство было жадно к деторождению. Облизывалось на каждого рождающегося.

Вот.

Иначе ничего не поделаешь.

Пусть просят, пусть выпрашивают у женщин, у непочатых (дев): — Роди! Роди! Еще! еще...

Пусть они воют, дожидаясь. У окон. У дверей домов.

— Дай еще!!..

А — тогда *перемена цивилизации*. Спасение ее зависит от попов.

(К ссыханию земли как планеты; разговор с Флоренским в Москве, в его ночевку у меня) (на обороте транспаранта)

21. XII. 1914

Вся русская литература, — если выкинуть дребедень, — помещается на семи небольших полках. И этого совершенно достаточно.

Не больше — греческая, римская. Английская, немецкая, французская, итальянская.

Всякая великая литература не включает более пяти первоклассных поэтов, 10 — второклассных, 20 — третьеклассных. Прочее можно и не читать. Прочее было "для современников" и так, вообще, чтобы "почитать что-нибудь".

У нас:

Кантемир III
Фон Визин II
Державин III
Карамзин II
Жуковский II
Батюшков III
Пушкин I
Лермонтов I
Крылов I
Грибоедов II
Гоголь I
Толстой I
Достоевский I
Островский II
Гончаров I
Кольцов I
Тургенев I
Лесков II
Гр. А. К. Толстой III
Герцен II
Белинский II
Добролюбов III.

Слишком много. Для *каждого* очень образованного, даже слишком образованного человека — это совершенно достаточно, чтобы читать, перечитывать и наслаждаться во всю жизнь.

Книги вообще следует перечитывать. Вчитаться в них. Жена старшего брата, Коли, прочитала три раза "Анну Каренину" и четыре раза "Войну и мир". Я хотя меньшее число раз перечитывал Достоевского, но помню его всего *в подробностях*.

И м. б., что литература русская вообще кончена. Ведь никто не ждет, чтобы когда-нибудь явились создания выше Толстого, Гоголя и Пушкина. Почему не ждут? Да нет сторон "раздвижения", нет "дальнейшего". Дальнейшего никто не умеет, не может представить, вообразить. Верный признак, что "душа кончилась". Ибо где нет желания, нет души.

"Кончилась?"

Страшно.

Мы и не думали. Никто вообще не думал. Все смотрят вдаль. И не думают, что перед ними пустая даль.

22.XII.1914

Конечно, не будет же Скабичевский заниматься, с позволения сказать, Строгановыми. Ни Скабичевский, ни друг его Глеб Иванович.

А т. к. Михайловский всю жизнь писал о приятелях Глебе Ивановиче и Скабичевском, то вышло, что в 30 томах "Сочинений" Михайловского, Скабичевского и Успенского нигде не упомянуто имя Строганова. Между тем Строгановы были из тех, которые делали Россию, а Михайловский, Успенский и Скабичевский России не делали. Но они писали книги: и вышло, что "книги в России" перестали "говорить о России".

Они говорили о Дарвине, обезьянах и классовой борьбе.

О происхождении видов и о двух жидях из Берлина.

Так мало-помалу произошло, что русские книги стали заниматься обезьянами и Берлином. При забвении России.

Когда это совершилось, мы подумали, что "цивилизация уже введена в Россию". И что устроена она не царями, а Скабичевским, Михайловским и Успенским.

Все три мужчины.

Тогда Цебрикова сошла с ума от счастья и взяла бомбу, чтобы "разразить все".

Так началось наше "последнее выступление" и "окончательный бой".

На шум бежали со всех сторон гимназисты...

(прервали)

24.XII.1914

Грязный газетный писака. Руки немытые. Борода черная с проседью и, должно быть, со вшами. Он сидел до того развалившись в кресле, что, в сущности, лежал в нем, выставив вперед огромные ноги и сапожищи, сверху обтянутые в материю, как в чулки. Девочки и дети надевают такие сверх ботинок — гамаша. Он мог бы снять их в передней, как всегда дети. Но дети обязаны быть вежливыми, а к чему вежливость Кугелю.

Он владелец собственной газеты и может всякого обругать. Он ведь Номо повус и Номункулус, два фельетониста, и еще редактор. Все "сам", т. е. все эти три — Кугель, Номункулус и Номо повус — просто один Кугель.

Один жид, а кажется, три жидя.

Он не разговаривал, а все мычал. Вошел Андреевский (критик и присяжный поверенный) и рассыпался. Остроты, mots¹ и всякое изящество. Старый русский барин, образованный человек, адвокат, "больше не занимающийся практикой", писатель и человек с состоянием. Заговорил о "Зине" (писательнице), почти давая понять, что он влюблен. "Но пользуется ли благосклонностью".

Когда Андреевский играет и острит, все должны молчать. До того он изящен. Между тем он не очень даже умен. Не очень умен, п. ч. очень счастлив. Зачем счастливым ум? Это — дар горемык.

¹ словечки (фр.).

Кугель мычал. О какой-то пьесе Леонида Андреева Андреевский сказал, что это дурак фанфарон (о Л. Андрееве). "Да он дурак-то дурак, но с талантом". И заржал лошадиным смехом. "Дурак" в устах Андреевского было, как поцелуй, у Кугеля — как оглоблей двинул. Мне стало отвратительно. В первый раз пожалел Л. Андреева. Так ругают былую славу, — и главное, столь просто. "Дурак". И ни споров, ни возражений, ни сомнений.

У него все-таки талантливая вещь "Жили-были".

Но я смотрел на Кугеля. С каким лошадиным ржанием он произнес: "Дурак".

Л. Андреев все-таки русский писатель. И над которым все-таки когда-то горела звезда. Пусть из сусальной золотой бумаги. Но он — судьба, имя, приключение русской литературы. А Кугель?

Так же развалюсь и грязный, он сидел в креслах — в баронских креслах.

Я смотрел на него со страхом. Он страшный. Кугель. Это — будущее русской литературы.

Cugel sum et nihil animale a me alienum puto¹.

Вши ползли у него из бороды.

Господи, хоть бы какая "русская женщина" его вымыла. Они такие сострадательные.

* * *

24.XII.1914

То, чего не удастся евреям и, по-видимому, никогда не удастся, — это благородство. *Простое и спокойное* благородство. Они могут быть гениальны, мудры, успешливы во всех делах: но влезти на невысокий столбик с надписью "скромность и благородство" им никогда не удастся. Изящнейший из них, Гейне, все-таки получал тайно деньги от правительства Наполеона III за то, чтобы ругать в германской прессе германское королевское правительство и вообще немцев. Величайший из них, Биконсфильд, был только великим пройдохом. Спиноза изменил своему черному и бедному гетто. Самым благородным остается все-таки Шейлок, сказавший прямо свою мысль: "Фунт человеческого мяса, вырезанный как можно ближе к сердцу".

В литературе евреи?.. Боже, Боже, Боже: вши, грязь и гетто. Нужно было посмотреть на руки Столлнера. Под ногтями больше грязи, чем у всех нечистых животных в Ноевом ковчеге. Вообще грязь у евреев какая-то допотопная. Она сохлась, уже ни в каких кислотах не растворяется. Мне говорили некоторые, что, когдаходишь в самый богатый еврейский дом, — уже начиная с лестницы, пахнет чем-то отвратительным. Я раз сидел в переплетной у еврея, с час. Были мальчики еврейские и русские. Играли как будто — ничего. Но сор вокруг и этот необъяснимый и неизъяснимый какой-то запах...

(живот заболел)

¹ Я Кугель, и никакое животное мне не чуждо (лат.).

25. XII. 1914

Но я все не договариваю, что хотел бы договорить.

Кугель, полулежавший в креслах и так высоко поднявший ноги, имел вид "наплевать мне на всех вас", и что глядит на свой пуп...

В тайне вещей все жиды — онанисты. Если не все физически, то духовно — неодолимо все, по фундаменту своей религии. Как христианин не может не думать о "кресте", — основании спасения своего, и сказать "христианин" — значит сейчас представить себе "крест", так иудей и всякий обрезанец не может вечно не носить в воображении орган, на коем положено его "спасение". Спорили ученые и удивлялись, почему нет "никаких изображений" в Соломоновом храме... Да, "крестиков" — нет... Но что же бы они там могли изобразить, кроме единственно "краеобрезаний" своих: и тогда каков был бы вид храма!!! дома МОЛИТВЫ!!! Ну, а все-таки, что-то такое там было, вследствие чего "всякий переступивший эту черту — *смертию да умрет*". Но возвращаюсь к Кугелю...

Евреи все имеют вид, — вид и дух: "мне на вас наплевать всех", как и всякий онанист, не могущий оторваться от своего онанизма. Вот откуда их субъективность, шепоты, нежность и вкрадчивость.

Вообще "нежное место" и "интимное место", и они все воспитаны на нем. Вот откуда ажитация, ибо онанирующий всегда ажитирован. Разумеется, это не разрешает проблемы, ибо не понятно и не разгадано, что такое онанизм. С внешности — просто, а внутри и in dem Ding an und für sich?¹

* * *

27. XII. 1914

Великая и странная душа, нелепая и дикая судьба... Я говорю о Рцы. Тихий, никому почти не известный, — он подумал о всех почти *коренных точках*, на которых держится человеческое существование на планете; подумал "для себя", не для внешности, не для тщеславия, не для учености и литературы. "Человеческие судьбы" для него сливались с "личною судьбою", ибо он думал:

"Аз есмь прах, но — от великого *праха человеческого*, и не могу, и не умею, и не смею иметь что-либо *отделенное от доли всех*". От такого слияния "я" с "человеческим" все мысли его получают характер необыкновенной глубины, искренности и пронзительности. "О себе как не подумаешь серьезно". Тут кривить не приходится.

Рост его и вся фигура мне не кажется менее значительною, чем Хомякова или Гилярова-Платонова; чем Конст. Леонтьева. В тайне души я думаю, что он даже крупнее их. Правда, он весь передан в мелочах, ничего крупного не вышло из-под пера его. Но если сгребсти в кучку "Романовскую пыль" и всмотреться в нее через микроскоп, — то увидишь в ней пылцы рубинов, жемчугов, алмазов, и даже капельки святой воды, живой воды. Все славянофилы — были немножко сухи,

¹ вещь сама по себе (нем.).

наукообразны, слишком деловиты. В них недоставало "человека", простого "милого человека"... В эту их деловую "суть" Рцы первый ввел свою "комнатку", туфли, прелестную жену и детишек. Он *очеловечил* славянофильство, — теории допотопные и из века ихтиозавров. Он показал улицу, грязь, департамент, службу, — сказав смиренно и мудро: "Этого тоже нельзя упускать из внимания, и это — тоже — *дело*; только гордый фарисей может пройти все это *мимо*"...

Зрение его было наиболее широко, чем у всех мне известных людей. "Святцы" и "последняя оперетка" входили равно и на равных правах в "архив мыслей Рцы". Поэтому *сравнительно* с ним все наши писатели до него кажутся мне односторонними, однобокими... До известной степени — ограниченными, безгоризонтными...

Прощай, великий идеалист...

Прощай, великий реалист...

Ты — коего идеализм доходил до святости (ни у одного славянофила).

Ты, коего реализм доходил до пошлости (кто из писателей до этого унизился).

* * *

27.XII.1914

— Вкусный кусочек.

Нет аппетита.

— Вот проходит грациозная барышня.

Не для меня.

— Посмотри, какая бытовая сценка.

Но я прикурнул носом книзу.

Вот старость.

И скоро смерть.

(на извоишке к Карпинскому)

* * *

27.XII.1914

С Розановым хорошо жить.

Выпускная детство, — за 40 лет я никого не согнул, не пригнул к земле.

— Травушки, растите, цветики цветите.

Враги — пройду мимо. Если и поругаешься, — то в литературе, для денег.

— Не любил за жизнь — только двух: Афанасия и Тертия. Но и им вреда не желал, а только закрыл глаза (про себя ругал).

Для кого же вред от Розанова? Ни для кого.

Законов, правда, никаких не почитал. Но их и никто в России не почитает. Не мода.

Царя чтил. Отечество любил. Бывало, мимо церкви еду, всегда перекрещусь на крест.

Чего же требовать? Обыватель во весь рост и все пуговицы застегнуты.

Ну?

Девушек любил? — Любил. — Котлеты с картофельным пюре тоже любил? — Тоже любил. — Учителей обманывал? Обманывал. Но их все обманывали.

— Деньги любил?

— Нет.

— Вилял душой?

— Бывало.

— В литературе больше наврал, чем правды говорил?

— Нет. Больше правды говорил. Все по разумению, батюшка.

И скажет мне седой батюшка:

— Ну, иди в рай. Только не в главное место. Попридержись у двери, как войдешь. Услышишь ангельские хоры. Светом зальет. Уже нет вздыханий, жалоб... Там — и твоя "мамочка", и Ю., и В., и В. Ждут тебя. Нужен ты им. Манят и радуются о тебе: "иди к нам", "здесь хорошо". И пойдешь ты к ним своей лукавой и извиняющейся походкой с тысячью сомнений в душе и 1001-й нерешительностью. Взглянет в твою сторону Он и скажет.

— Иди. Ты не осуждал людей. Не осуждаю тебя и Аз.

(На извощике от Карпинского)

* * *

1.1.1915

Вся улыбалась, — такая милая, — она — никогда не была так прелестна, как в этом "больше ее ростом" шерстяном теплом платке и в "рясе" (широкий подол, широкие рукава) на вате, почти до полу.

Барышня, где ты?

— Я человек...

"На новый год" (мои именины) она настояла, чтобы "наконец отправиться в монастырь". Отпустили. Я не напомнил, что "завтра именины папы и брата".

Только что кончила гимназию Стоюниной. Никакой "разбитой любви" сзади. Дружила с одной "Марусей", — еврейка — лютеранка. Никакого мужского общества. Читала по философии, истории религий и несколько меньше по истории литературы.

Что ее толкнуло? Но ее — *влекло*.

(2 ч. дня 31 декабря)

"Уединенное", "Опавшие листья", "Сахарна", "Мимолетное"... Не "опыты" (эссе), как у Монтеня, не "Мысли", как у Паскаля, но "полу-мысли" и "полу-чувства" (как определил в "Уединенном" сам Розанов). То, что такого рода литература "просилась" на свет — можно почувствовать, перелистывая "Листопад" Рцы (И. Ф. Романова) или "На летучих листках" Арсения Голенищева-Кутузова. Первая книга вышла в 1891 году (и в названии — словно предчувствие "Опавших листьев"), вторая — в 1912-м, один год с "Уединенным". Впрочем, "летучесть" у них существует лишь в заглавиях (у Рцы есть очень характерные в этом смысле подзаголовки: "Черновые наброски", "Письмовник", "Записная книжка", "Эфемериды" и даже "На ходу", — т. е. почти "Мимолетное"). А в целом — это все те же "опыты", "мысли", "афоризмы" и "максимы" или, как определил сам Рцы в заглавии к "Записным книжкам", — "изречения великих и малых людей, мысли верные, ложные и недоуменные, собственные заметки, назидательные факты, полезные сведения, анекдоты, mots и проч. и проч."

Ни Рцы, ни Голенищев-Кутузов не перешагнули ту черту, к которой подталкивали заглавия их произведений. И все-таки (если вспомнить и "записные книжки" Вяземского) можно почувствовать, насколько идея жанра "висела в воздухе".

"Как будто этот проклятый Гутенберг облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушились "в печати", потеряли лицо, характер, мое "я" только в рукописях..." ("Уединенное").

Уж коль "мысль изреченная" далека в своей реальности от мысли неизреченной, то и мысль письменно изложенная и "напечатанная" далека от мысли, мелькнувшей в голове и истаявшей уже в следующее мгновение. Собственно, Розанов воюет даже не с Гутенбергом и печатным станком, а с той неизбежной "обработкой" текста (и, соответственно, — мысли), которая неизбежно сопровождает любую публикацию. Писатель, работая "на публику" (а печать неизбежно заставляет так работать), становится поневоле неискренним, вот что не даст покоя Розанову.

Ухватить мелькнувшую мысль, не обыгрывая ее "для публики", поймав ее в тот самый миг, когда она возникла, "в чем мать родила", — вот главное устремление писателя. Только в такой предельно *интимной* форме мысль может быть и предельно искренней. И только *такая* запись позволяет понять (та же проблема *понимания*, которая доминировала в начале творческого пути Розанова) подлинную суть человека. Иначе говоря, нужно *выйти* за рамки литературы, дать нечто совершенно иное, нечто подобное письму, записной книжке или наброску. И главная новизна жанра заключается именно в узаконности *черновика* как особой литературной формы, не похожей на уже привычную литературу.

Розановская "Листва" — это не только "больные вопросы" и "нерешенные проблемы". Это и художественная проза — та литература "почти на праве рукописи" (известный подзаголовок к "Уединенному"), когда все выговаривается до невозможности откровенно, и, в то же время, — мимолетно, "непостоянно", сиюминутно. Это проза, написанная не на разговорном, а — как обозначил в 19—20-х годах Евгений Замятин — на "мысленном языке" (термин близкий к тому, что психологи называют "внутренней речью"), с его "динамичностью и краткостью", откровенностью и открытостью. Любкой кусочек книги — это не "как я думаю", но "как сейчас мне подумалось": произведение нельзя читать, как "трактат", как "выводы", но только — как "настроения мысли". Если попытаться проследить путь Розанова к "Уединенному", то он, собственно, начинается с первой же его книги "О понимании", где он выступает как своего рода "робинзон" в философии, все перипетии сложнейших проблем проходит заново, минуя опыт большинства философов прошлого и настоящего (потому-то так бросается в глаза отсутствие ссылок на авторитеты, выводы которых могли бы помочь философу в разрешении того или иного вопроса, Розанов все время старается "изобрести велосипед", т. е. сам пройти путь, уже пройденный мировой философией). Он как бы берет то или иное понятие — и начинает мысленно "разглядывать" его (как и вообще любил разглядывать монеты, письма, мелочи жизни, почему и воскликнул в "Опавших листьях": "Я пришел в мир, чтобы *видеть*, а не *совершить*"). И не случайно он начал с труда "О понимании", эта тема — будет лежать в глубине всех его статей и книг. Каждая из них — это попытка *понять* то или иное явление, того или иного человека. А внутренняя речь, проступившая в "Листве" — заключает в себе стремление к самопониманию.

Но, пожалуй, еще более глубокий след в формировании его "образа мира" оставила ненаписанная работа "О потенциях". Ненаписанные книги — вообще обладают важнейшим свойством влиять на все мироощущение автора и, быть может, даже более серьезно, нежели книги написанные. Ненаписанное мучает, не отпускает, и как на всех поздних романах Достоевского лежит печать неосуществленного замысла "Житие великого грешника", так ненаписанная книга "О потенциях" проявляется в книгах "Семейный вопрос в России", "В мире неясного и нерешенного" и т. д. Наконец, сама форма отрывков из "Уединенного" и "Опавших листьев" часто — лишь "потенция" мысли. "Уединенному" Розанова предшествовали его "Эмбрионы", заключенные в книгу "Религия и культура". Но фрагменты "Уединенного" — уже не "эмбрионы", а — если перейти на язык проблематики самого Розанова — моментальные "зачатия" мысли, "потенции", со всей их недосказанностью. Сама же недосказанность, неопределенность мысли как бы "обратно пропорциональна" отчетливости того "образа автора", который возникает при чтении этой мысли. При полной смазанности смысла той или иной реплики, в читательском сознании застывает сам словесный жест, и за ним встает живое лицо автора. Во всех такого рода смысловых умолчаниях Розанов-стилист достигает мастерства виртуоза, заставляя даже произнесенное слово (верный признак "мысленного языка", внутренней речи) — звучать почти как термин.

Здесь мы сталкиваемся с тем явлением, которое в теоретической литературе называлось то "образ-понятие", то "понятие-образ", то "мысль-образ", то "мыслеобраз" и которое может проявиться и в художественной литературе, и в критике, и в философии, не говоря уж об эссеистике. Историки литературы давно уже обнаружили "образы-понятия" и в русской классической литературе ("обломовщина", "маниловщина", "маленький человек"; "лишние люди" и т. д.), и у эссе-

истов: Монтеня, Паскаля (хотя бы его знаменитый "мыслящий тростник"). Были они и у древнейших философов ("огонь" Гераклита, "вода" и "воздух" милетских мыслителей, четыре стихии плюс "любовь" и "вражда" Эмпедокла и пр.).

Характерно и само построение подобного рода фрагментов с "мыслеобразами" у Розанова: собственные мысли (часто высказанные афоризмом) или цитаты из других источников, умело встроенные в текст, в следующем фрагменте текста (или по отношению к следующему фрагменту) превращаются в своеобразную "понятийную метафору".

Но чтобы отказаться от жесткой "понятийности", чтобы позволить себе использование "образа-понятия" в статьях и книгах — нужно было преодолеть в себе требование работать только понятиями. Этот путь был облегчен Розанову его крайне резким отношением к русскому позитивизму, с которым он столкнулся в студенческие годы. Его "отказ" от "наследства 60—70-х годов" был и отказом от фетишизма понятий. В этом русле лежат уже его философские работы, собранные в книге "Природа и история" (1-е издание — 1900 г., 2-е — 1902 г.). Так, в очерках "Теория Чарльза Дарвина, объясняемая из личности автора" и "Книга особенно замечательной судьбы" Розанов выступает не просто в роли критика теории происхождения видов или книги Бокля "История всемирной цивилизации", но — исходя из, вроде бы, вполне "серьезных" и "научных" трудов своих "героев" — рисует жестокие по своей беспощадности и мастерски исполненные портреты Дарвина и Бокля, превращая научную статью в почти художественное произведение.

В "Уединенном" превращение образа в "образ-понятие" происходит не только при помощи "логики парадокса", этой постоянной и, часто, намеренной самопротиворечивости. "Мыслеобраз" может возникнуть даже при использовании одних только знаков препинания. Глаз читателя то и дело наталкивается на скобки, кавычки, курсив (казалось бы, всего лишь "способ записи") — и по тексту многоголосым эхо пробегает обороты смыслов. При этом сами приемы Розанова настолько разнообразны, что хотелось бы отметить наиболее частые.

1. "П. ч." вместо "потому что" и другие варианты "сглатывания" слов — это не только наследие внутренней речи (не договаривать то, что и так понятно). Здесь важно и звучание: громоздкий союз с подчеркиванием причинности вывода ("А, потому что Б"), заменяется едва заметным (в силу стертости этого "потому что", подчеркнутой еще и самим сокращением, и в силу быстроты "проговаривания") оборотом речи.

2. Курсив, которым Розанов пользуется очень часто, ставит столь заметный акцент на слове (или фразе), что его значение звучит отчетливей и "дольше", смысловые "блики" этого слова ложатся и на последующие фразы. Если "прописать" это продленное смысловое звучание слова с его медленным таянием, получится что-то вроде:

"Ах, добрый читатель, я уже давно пишу "без читателя", — просто потому что *нравится*. Как "без читателя" и издаю... (*нравится*...). Просто, так нравится. И не буду ни плакать, ни сердиться (*нравится*...), если читатель, ошибкой купивший книгу (*нравит*...), бросит ее в корзину (*нра*...) ..." ("Уединенное").

3. Кавычки — это что-то более жесткое, решительное: они подчеркивают необязательность, случайность, иногда и неправильность выражения (вроде: "ни для кому"), слово при этом или "вырывается" из иного контекста и вставляется в авторскую речь, или, наоборот, "выламывается" из собственно авторской речи.

4. Скобки — это замедление, "сбой" ритма и — кроме того — уточнение, "договаривание на ходу", "договаривание между прочим", реплика "вдогонку".

5. Шрифтовые выделения: прописные, "жирные" слова, петит по контрасту с прописными буквами и т. п.

Везде Розанов нагружает знаки препинания, способ записи слов добавочным смыслом, и в его речи начинает сквозить то, что Бахтин назвал "диалогическим отношением". Оно обнаруживается и на уровне внутренней речи (*курсив*), поскольку и вся внутренняя речь (по Выготскому) — есть "свернутый" диалог; и на уровне "разговора контекстов", общения с иным речевым строем (*кавычки*), когда чужое речение (и его значение) Розанов "природняет", вставляя в свою речь. Диалог возникает и на уровне конкретных реплик, как спор с неизвестным оппонентом.

Особую, можно сказать, исключительную роль играют в "Листве" розановские ремарки в скобках после высказанной уже мысли (этого никто из тех, кто был после Розанова, не смог ни по-настоящему повторить, ни компенсировать чем-либо иным).

Изначальный смысл ремарки — это своего рода "расширенное" обстоятельство (места: "в вагоне", времени: "глубокой ночью", образа действия: "перебирая окурки", причины: "смотря на портрет Страхова: почему из "сочинений Страхова" ничего не вышло, а из "сочинений Михайловского" вышли школьные учителя, Тверское земство и множество добросовестно работающих, а частью только болтающих лекарей" и пр.), поясняющее сам факт рождения "полу-мысли". (Любопытно, что от книги к книге — они имеют склонность "удлиняться", в "Уединенном" Розанов лишь иногда позволяет придаточное предложение, в "Сахарне" и "Мимолетном" он в "ремарке" готов рассказать целую историю.)

Но над этим значением ремарок надстраивается несколько иных, более сложных смысловых уровней. Ремарка еще более оттеняет направленность основного высказывания автора, т. е. то, что фрагмент — это реплика *для себя* (сама ремарка-каденция — это, в большей мере, реплика для читателя). Кроме того, ремарки — это и фон мышления, его бытовая "подсветка". И, наконец, ремарка еще более подчеркивает сиюминутность, мгновенность того, что мелькнуло в сознании автора и запечатлелось на клочке бумаги или на "обороте транспорта".

Ремарка позволяет "снизить" сам тон высказывания. Розанов может начать вполне торжественно, "высоким штилем": "Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня" ("Уединенное") или: "Всякий человек живет правдой своей. И всякий человек умирает от неправды своей" ("Мимолетное". 1914 год). Но последующая ремарка (*курсивом* в скобках): "в дверях, возвращаясь домой" (в первом случае) и "определяя монеты" (во втором), — бросает новую краску на уже произнесенное: в этой фразе, благодаря ремарке, запечатлевается и сам афоризм, и что-то близкое к пародии на жанр афоризма вообще. То есть произносится фраза, рассчитанная на вечность, а ремаркой все сводится до "случайно в голову пришло", и незримая поза оракула вдруг подменяется позой рассеянного писателя, застывшего у порога, черкающего случайную мысль на клочке бумажки, или нумизмата, забывшего на миг про монету и замершего с лупой в руке.

Ремарки создали в книгах Розанова особый контекст: самим наличием своим они подчеркивают, что мысль никогда не рождается "от мысли" (понятие — от понятия, как у Гегеля и др.), но всегда возникает в дрызгах и нелепостях обыденной жизни. "Чистое" же мышление философов (и само понятие "чистого разума") — фикция, философские трактаты — это мысли "ряженые", мысли, которые лишь делают вид, что их происхождение берет начало в "чистом

разуме". Хуже того — это претензия на Божью мудрость, тогда как на самом-то деле человек "кусочен", "неполон" и не может не только "системы строить", но иногда и просто связно мыслить и связно говорить (те же розановские неправильности, вроде того же "ни для кому").

И в самом жанре запечатлевается это важнейшее для Розанова понимание человеческого мышления: если мысль человеческая рождается из обыденных житейских ситуаций (и в философии — только рядится в мысль, рожденную "чистым разумом"), — то к чему и "продумывание до конца", к чему длинные цепи силлогизмов, выводов и заключений? Не честнее ли собрать "противоположные" мысли-листья (в один момент подумалось "так", в другой — "этак") и — вывалить их из "короба" кучей: пусть читатель разберется сам, если пожелает.

В целом, слово Розанова обретает особую "многоголосость". К нему в полной мере приложимо понятие "полифонизма", которое родилось у Бахтина при анализе романов Достоевского. Главное отличие Розанова лишь в том, что этот "полифонизм" становится качеством одного сознания. Сознание это раздроблено, оно все время находится к некоему противоречию с самим собой. В каждой реплике содержится не только тезис, но в ней же зреть и антитезис. Значения слов у Розанова неустойчивы, подвижны. В каждом фрагменте слово его звучит не только непосредственным смыслом, но на него "накатываются" все новые и новые смысловые "эхо" других слов, выражений, реплик, ремарок, других фрагментов, книги в целом.

И эту непрекращающуюся самопротиворечивость нельзя назвать непоследовательностью. Розанов всегда чувствовал Высшее начало, способное объединить самое разноречивое: "... и далеким знанием знает Главизна мира обо мне и бережет меня" ("Опавшие листья", короб второй).

Интимное общение с "Главизной мира", с Богом разрешало Розанову и вечную самопротиворечивость, и антихристианские выпады, помогло родить сам жанр "Уединенного". Черновики ведь были и у других. Но чтобы "выдать в свет" такие "обрывки" — надобна была внутренняя санкция, нужно, чтобы автор осознал: это можно печатать. Будет ли такая литература понятна другим? "Свой" читатель многое поймет, прочим можно сказать: Я пишу "без читателя". Бог же поймет все, поймет язык твоих мыслей быстрее тебя самого. С "Главизной мира" можно общаться одними намеками.

Чувствуя Бога не стыдно ничего: ни публиковать черновики "почти на праве рукописи", ни противоречить, ни даже записывать клочки свои "в ват...", объявляя об этом во всеулышанье. И через такое выворачивание души своей наизнанку можно достичь подлинной глубины, если Он (Бог) — с тобой. Как в отдельном фрагменте можно не вымолвив слова — произнести его так же и в книге может жить *непроизнесенное*, и, тем не менее, *сказанное*. Содержание "Уединенного", "Опавших листьев", "Мимолетного" оказывается и шире, и глубже, чем сумма содержаний составляющих ее "клочков": оказалось, можно не писать научных трактатов "О понимании" и достичь большего понимания (и самого себя самим собой, и своего слова — читателем).

И все же, если обратиться уже непосредственно к "Мимолетному", нельзя не заметить и некоторые отличия его от "Уединенного", первой из книг, изданных "почти на праве рукописи". Уже в предисловии ко второму коробу "Опавших листьев" Розанов сетует, что в первом коробе ему не удалось напечатать фрагменты в хронологическом порядке. В "Сахарне" (рукопись 1913 года) Розанов редко датирует записи в первой и второй части ("До Сахарны", "В Сахарне"), зато в последней — старательно (часто — по памяти) проставляет даты. В "Мимолет-

ном" 14 года все фрагменты датированы. "Уединенное" приобретает черты дневника.

Подобная "трансформация" внутри жанра была неизбежна. Только в книге "Уединенное" мы можем почувствовать "химически чистое" вещество жанра. Уже во втором коробе "Опавших листьев" — с подборкой писем гимназического товарища — зреет что-то новое (подобное книге "Литературные изгнанники": публикация чужих писем с предисловиями и комментарием). Розанов уловил главную трудность открытого им жанра: всякое "уединенное" (какое бы название книга ни носила) возникает как отрицание предшествующих литературных форм. И это отрицание оно воспроизводит в себе с неизбежностью, каждый раз рождаясь заново и отталкиваясь не только от традиционных жанров (роман, рассказ, стихотворение и т. д.), но и от традиции самого "уединенного", начиная смешиваться с другими литературными формами.

"Мимолетное" 1914 года — это не просто "уединенное", но "дневник-уединенное". И, вместе с тем, многие записи (о форме, о государстве, о государе и т. д.), собранные вместе, напоминают наброски к статьям: кажется, одно-два усилия, — и из отдельных кусков эта статья "склеится" без внутреннего принуждения. В "Мимолетном", в 1914 году (этого, кстати, еще нет в 1913-м, в "Сахарне") уже зреет форма "Апокалипсиса нашего времени", той литературы, в которую превратится "Листва" на закате розановского творчества.

С. Р. Федякин

**Комментарии
и указатель имен**

В публикуемых текстах сохраняются особенности авторской лексики. Написание собственных имен не унифицируется и не приводится в соответствие с ныне принятым (пояснения вынесены в аннотированный указатель имен). Цитирование чужих текстов отличается у Розанова неточностями, что в комментариях обычно не оговаривается.

КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО...

Печатается по изданию: *Розанов В. Когда начальство ушло... 1905—1906 гт.* Спб.: Тип. А. С. Суворина, 1910. В Содержании книги автором обозначены заголовки: "Предисловие", "Вместо заключения", которые отсутствуют в тексте.

Книга Розанова вызвала немало весьма критических рецензий (в "Вестнике Европы", "Историческом вестнике", "Современном мире" и др. периодических изданиях). И все же в "Русской мысли" в ноябре 1910 г., где была напечатана непримиримо резкая статья о Розанове П. Б. Струве "Большой писатель с органическим пороком", в том же номере появилась пронизательная рецензия Андрея Белого о розановской книге. Приводим этот никогда не переиздававшийся с тех пор отзыв целиком:

"Странная, неожиданная книга, как странен, неожиданен сам Розанов; он странен по выбору своих стратем; начнет описывать черные полосы еврейского таллеса, и от описания одежды перескочит к всемирно-историческому вопросу о судьбах еврейства и христианства; или обратно: начнет углублять непонятные тексты "Апокалипсиса", а кончит тончайшими психологическими черточками, характеризующими быт супружеских отношений. От описания костюма — к концу всемирной истории; от конца всемирной истории — к Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне. В углублении любой житейской мелочи до ее вечного символического смысла видит он свою миссию: таблица из "Изумрудной скрижали" — "все, что вверху, то и внизу" — превращается у Розанова в парадокс: в *мельчайшем крупнейшее, в конкретнейшем абстрактнейшее*; и он весь рассыпается в *конкретнейшее*; поверхность его писания просто собрание слов, черточек лица, предметов, жестов, цитат; и может показаться, что у него нет мыслей; но у него есть во всяком случае одна мысль, мысль Тота-Гермеса, мысль "Изумрудной скрижали": "Все, что вверху, то и внизу". Эта мысль есть мысль практического оккультизма всех времен и народов: из мужского семени строится мир, история, судьбы народов; деторождение равно мирозданию; половой акт равен творческому слову; быт вытекает из семьи; история — из быта. Розанов наиболее бытийственный писатель нашего времени; философские, социальные и эстетические задачи нашего времени ставит он в зависимость от быта, быт — от семьи, как условия деторождения, а семью — от пола; вот почему в мелких черточках, характеризующих супружескую жизнь, видит он магию религиозного, бытового и исторического творчества; у него одна мысль; он ее многократно, многообразно доказывал; а последние годы он уже только показывает на фактах справедливость своей мысли: вот почему не словами, не мыслями, не идеологией он входит нам

в душу; он опрокидывает на нас поток *мелких бытовых черточек*, так или иначе подобранных; его мысль тонет в потоке черточек, сверкает миллионами живых проявлений, как бесплодный солнечный луч, она сверкает в тысячах живых капелках росы; в этом умении бесконечно варьировать свою тему — все богатство Розанова-публициста.

В последней книге Розанова "Когда начальство ушло" — еще одна вариация на старую тему оправдания революции, но какова новая вариация! Мы привыкли оправдывать освободительное движение наше отвлеченно: этическими, религиозными, политическими и социально-экономическими принципами; мы привыкли видеть правду освободительного движения, высказанную в отвлеченных принципах; наоборот, условия быта казались нам часто элементами консервативными по отношению к отвлеченным лозунгам наших стремлений; и певец быта, Розанов, в силу одной своей темы нам казался певцом отживающего прошлого; не мог не казаться им; да и сам заявлял многократно, многообразно о своем равнодушии к отвлеченным принципам общечеловечности. Мистика Розанова часто казалась мистикой традиции, как чудился подозрительный, недобрый взор Розанова, брошенный в сторону отвлеченных утопий.

И вот сказал Розанов свое слово о том, что мы все пережили; он сказал это слово *так*, как никто, кроме него, не мог его сказать; но сказал он *то*, чего многие от него не могли вовсе и ожидать.

Ласково улыбнулся Розанов там, где ждали от него угрюмого взгляда непонимания; в реально происходивших событиях прошлого он прочел жизнь и правду; в тысячах людей, с его точки зрения оторванных от быта, он увидел плоть и кровь этого быта, в "безбожниках" увидел "ангелов". "Явились, как будто безбожники", а работают, как ангелы, посланные Богом" (стр. 14).

"Явились, как будто безбожники, а работают, как ангелы, посланные Богом", — удивляется Розанов и, как всегда, не доказывает отвлеченно правоты своего удивления, а зарисовывает недавнее прошлое в художественных картинах: вот митинг, Дума, Родичев; вот — кадеты; а вот — трудовики, — ряд великолепно исполненных фотографий с натуры, лишь слегка ретушированных лейтмотивов всей книги: "Явились, как будто безбожники, а работают, как ангелы". И эта ретушь превращает живые фотографии в художественные образы.

Книга Розанова — живая запись истории; это — документ; и вместе с тем это — характеристика событий 1905—1906 года с исключительно редкой точки зрения. Недоставало лишь этой точки зрения на события недавнего прошлого; и Розанов пополнил пробел: сделал то, что только он один мог сделать.

Но наиболее ценен мягкий пафос гуманизма, дышащий с каждой страницы и редкий у Розанова, писателя скорее жестокого, чем мягкого.

"Были ли они религиозны? Нет. Но, может быть, они были нерелигиозны? Опять нет. Международны, интернациональны? Снова — нет и нет. И как сестра милосердия на вопрос об этом ответила бы только: "Я стесняюсь ответить. Я училась перевязывать раны" (стр. 23).

В событиях недавнего прошлого Розанову открылся прежде неведомый религиозный пафос неведомой прежде религии. И как изображенная им интеллигентка, стесняющаяся ответить на религиозные темы Розанова, сам Розанов лишь зарисовывает поразившие его вопреки ожиданию картины, как бы говоря нам: "Я не стесняюсь ответить". И далее:

"Я согласен, что "кадеты" почти революционеры: но — с культурой, за которую держатся..." "Вот вещь, которую нужно держать в уме раньше, чем осудить за что-нибудь кадетов" (стр. 273). "Эстетика, эта проклятая эстетика, которую отравились русские... — я видел, что она одна управляет суждениями и этих милых (консервативно настроенных) и так глубоко мною чтимых девушек..." (стр. 303). И далее важное признание певца быта: "Сгорели в пожаре Феникса отечества религия, быт, социальные связи, сословия, философия, поэзия. Человек наг опять. Но чего мы не можем оспорить, что бессильны оспорить все стороны, это — что он добр, благ, прекрасен". Это ли не оправдание революции?"

Все сочинения Розанова — мучительный поиск истины, — поиск ее сначала в среде консервативной журналистики ("Русский вестник", "Русское обозрение"), а в годы после революции 1905 года — в новых веяниях, которые охватили общество и смели плесень старых предрассудков, прежних догм. Розанов всегда был в поиске — религиозном, нравственном, утверждая семейно-родовое начало, о котором он писал в своих "мимолетных" записях столь откровенно и необычно, как никто в его время не смел и не решался даже думать.

Активизация антирусских, антипатриотических настроений в годы, предшествовавшие первой мировой войне, которые он связывал с национально окрашенными чертами развития капитализма в России, заставили Розанова вновь, но уже по-иному продолжить вечный поиск истины, смысла и сущности русской идеи. И поиск этот, отражающий надежды и мечты людей того времени, исключительно остро воспринимается ныне, сквозь призму того, что совершается в России конца XX столетия.

С. 9. *Когда лет шесть назад...* — летом 1905 г. Розанов с семьей путешествовал по Германии и Швейцарии.

ВСЕОБЩАЯ СКУКА

В архиве Розанова сохранилось примечание к этой статье: "31 декабря <1900> снято с набора в "Новом времени" из-за опасения Министерства внутренних дел, хотя очень понравилось милому старику А. С. Суворину" (РГБ).

С. 12. *"Утешение философией"* — главное сочинение римского писателя и философа Аниция Манлия Северина Боэция (ок. 480—524), написанное в тюрьме в ожидании казни. Издано в 1474 г. (рус. пер. 1794).

С. 15. *...к бурям* — имеется в виду англо-бурская война 1899—1902 гг., получившая отклик в русской печати и литературе.

НOMINES NOVI...

Впервые — Русское слово. 1906. 20 февраля. № 49; под названием "Новые люди". Подпись: Василий Варварин.

С. 17. *...в "пещи огненной"* — Мф. 13, 42.

С. 18. *...письма покойного Боткина из Болгарии* — Вестник Европы. 1892, март — декабрь. В 1877 г. во время русско-турецкой войны врач С. П. Боткин провел 7 месяцев на балканском фронте.

С. 20. *"Ученые женщины"* (1672) — комедия Мольера.

С. 21. *...сжигая все, чему поклонялся* — обычно выражение связывается со стихотворением в 25-й главе "Дворянского гнезда" И. С. Тургенева. Восходит к легенде о короле франков Хлодвиге I (ок. 466—511), который принял христианство, а крестивший его архиепископ Реймский сказал: "Поклонись тому, что сжигал, и сожги то, чему поклонялся".

КИСЛОРОД И УГЛЕРОД В ИСТОРИИ

Впервые — Новое время. 1904. 1 января. № 9995; под названием "Старый и новый годы".

С. 24. *...опять Севастополь, опять Седан* — речь идет о поражении России в Крымской войне 1853—1856 гг. и поражении Франции в франко-прусской войне

1870—1871 гг. Французская армия была разбита при Седане 1—2 сентября 1870 г.

С. 25. ...*"дама просто приятная"* и *"приятная во всех отношениях"* — Н. В. Гоголь. Мертвые души. Гл. 9.

ВОЙНА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО...

Впервые — Новое время. 1904. 20 апреля. № 10104; под названием "Трудное время — творческое время" (без подписи).

ЛУЧШАЯ ЖЕРТВА НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА

Снято с набора в "Новом времени" в 1904 г.

С. 26. *Ночь на 31 марта...* — имеется в виду гибель броненосца "Петропавловск", подорвавшегося на mine во время русско-японской войны.

"КАБИНЕТ"...

Снято с набора в "Новом времени" в 1904 г.

В ТЯЖЕЛЫЙ ЧАС ИСТОРИИ

Снято с набора в "Новом времени" в 1904 г.

С. 30. ...*при вести о падении Порт-Артура.* — 20 декабря 1904 г. была подписана капитуляция крепости Порт-Артур перед Японией.

БУДЬТЕ СПРАВЕДЛИВЫ

Снято с набора в "Новом времени" в 1905 г.

С. 33. *"Московский сборник"* — пятое издание книги К. П. Победоносцева, о котором идет речь, вышло в Москве в 1901 г. В нее вошли произведения Победоносцева, С. А. Рачинского, Томаса Карлейля и др.

СКОРБНЫЕ МЫСЛИ ПРОФ. ДЕМЬЯНОВА О ЗЕМСКОМ СОБОРЕ

Впервые — Новое время. 1905. 5 февраля. №10388; под названием "Возражения проф. Демьянову".

С. 35. *Проф. М. Н. Демьянов изложил свои скорбные недоумения...* — Перед настоящей статьей в "Новом времени" напечатано письмо к издателю проф. А. Демьянова "Два слова о земском соборе".

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Впервые — Новое время. 1905. 3 марта. № 10414.

С. 43. ...*"подморозить гниущее"* — К. Н. Леонтьев. Газета "Новости" о дворянстве пролетариата (передовая статья "Варшавского дневника" за 1 марта 1880 г.). См. в его кн.: "Восток, Россия и славянство" (М., 1886. Т. 2).

РУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
НА ВЫСТАВКЕ
В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

Снято с набора в "Новом времени" в 1905 г.

ЖЕНЩИНЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Впервые — Новое время. 1905. 27 апреля. № 10469.

С. 46. *Мариам, сестра Моисея, запевшая дивную песнь* — Исх. 15, 21.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ

Снято с набора в "Новом времени".

С. 50. *"Создал песню, подобную стону..."* — Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда (1858).

С. 51. *"Бог не в силе, а в правде"* — Никоновская летопись. 3. 10.

НА МИТИНГЕ

Впервые — Новое время. 1905. 25 октября. № 10641; 2 ноября. №10649.

С. 62. *"Русская старина"* — исторический журнал, издававшийся в Петербурге в 1870—1918 гг.

...*молодость моего спутника*. — Розанов жил в 1905 г. на Шпалерной, д. 39, кв. 4, и ходил на митинг со своим племянником Вл. Н. Розановым.

СРЕДИ АНАРХИИ

Впервые — Новое время. 1905. 15 ноября. № 10657.

С. 64. *...я был около 15 лет чиновником* — Розанов служил в Государственном контроле в Петербурге с апреля 1893 до апреля 1899 г.

...*я перебивал учителем в трех...* — имеются в виду гимназии в Брянске (1882—1887), Ельце (1887—1891) и Белом (1891—1893).

С. 65. *"Панама"* — крупное мошенничество. Понятие возникло в связи с крахом (1888 г.) французской компании по прорытию Панамского канала.

С. 68. *"Союз союзов"* — объединение многих профессиональных союзов, учредительный съезд которого состоялся 8—9 мая 1905 г.

ГАМЛЕТ

В РОЛИ АДМИНИСТРАТОРА

Впервые — Новое время. 1906. 17 февраля. № 10750.

С. 70. *Бедный Йорик!* — У. Шекспир. Гамлет. V, 1.

"The Cosmopolitan" — ежемесячный журнал, издающийся с 1886 г. в Нью-Йорке. Статья К. П. Победоносцева "Несбыточная мечта о демократии" напечатана в нем в февральском номере за 1906 г. (том 40).

С. 71. *"Победа, победившая мир"* — книга К. П. Победоносцева вышла в Москве в 1895 г.

С. 72. *...игра на арфе Давида* — в русском переводе Библии: "Давид, взяв гусли, играл" (1 Цар. 16, 23).

О "ПЕРЕЖИВАНИЯХ" И "ПЕРЕЖИВШИХ"

Впервые — Русское слово. 1906. 7 января. № 6; под названием "Переживание и перерождение" (первая часть статьи до "звездочек"; вторая часть снята с набора). Подпись: В. Варварин.

С. 74. ...*"проходит лик мира сего"* — 1 Ин. 2, 17.

"Я сделал все, что мог" (пусть, кто может, сделает лучше) — Цицерон. Послания. XI, 14.

С. 75. *"Записки"* С. М. Соловьёва — вышли отдельным изданием в Петербурге в 1915 г.

"Дневник" Никитенка — посмертно напечатанный "Дневник" (1888—1892) академика А. В. Никитенко (1804—1877) посвящен литературной и общественной жизни России.

"Жизнь и труды М. П. Погодина" — исследование Н. П. Барсукова (1838—1906) издавалось в 1888—1910 гг. и осталось незаконченным.

...с шиком напечатанную "Историю" — Государственный Совет. 1801—1901. Спб., 1901.

С. 77. *"Князь, слышали?..."* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. III, 20.

С. 78. *"тащи и не пуцай"* — выражение из рассказа Глеба Успенского "Будка" (1868).

С. 79. *...плен русского адмирала Головнина.* — В 1811 г. русский мореплаватель В. М. Головнин (1776—1831) вел описание Курильских островов. Во время описи острова Кунашир он был захвачен в плен японцами, о чем рассказал в своей книге "Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 годах" (Спб., 1816. Ч. 1—3).

"Нельзя учить кухаркиных детей" — из циркуляра 1887 г. министра народного просвещения И. Д. Делянова.

В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ 1906 ГОДА

Снята с набора в "Новом времени". Пасха в 1906 г. приходилась на 2 апреля.

С. 83. *...стихотворение, которым заканчивается "Новь" Тургенева.* — В романе И. С. Тургенева "Новь" (1877) 38 глав. Стихотворение "Сон", цитируемое Розановым, находится в главе 30.

С. 84. *"Не все... войдут в Царство Небесное"* — Мф. 5, 20.

ПЕГИЙ ЧЕЛОВЕК

Впервые — Новое время. 1906. 19 апреля. № 10810.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОХОЖДЕНИЕ КРЕЧИНСКОГО

Впервые — Свобода и культура. 1906. 23 апреля. № 4.

С. 90. *Расплюев* — персонаж трилогии А. В. Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского", "Дело", "Смерть Тарелкина" (1852—1869).

Впервые — Русское слово. 1906. 28 апреля. № 114. Подпись: В. Варварин.

С. 91. *Съезд делегатов конституционно-демократической партии* — речь идет о 3-м (Петербургском) съезде кадетов 21—25 апреля 1906 г.

С. 92. *"Не хочу, чтобы и трубка досталась чертовым ляхам"* — Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Гл. 12.

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

Впервые — Новое время. 1906. 4 и 5 июня. № 10855, 10856. Продолжение снято с набора в "Новом времени" и печаталось в "Русском слове" 6, 7 и 8 июля 1906 г. № 172—174: в № 172 и 173 под названием "Кадеты" и трудовики в Думе" (подпись: В. Варварин), в № 174 под названием "Старые москвичи в Думе" (подпись: В. Варварин).

С. 97. *"Россиада"* (1779) — поэма М. М. Хераскова о покорении Иваном Грозным Казанского царства.

С. 98. *Кунтуш* — старинная польская одежда, кафтан с широкими откидными рукавами.

"Миняи" и *"Митяи"* — Н. В. Гоголь. Мертвые души. Гл. 5.

С. 101. В *"исторический день"*... — 13 мая 1906 г. председатель Совета министров И. В. Горемыкин выступил в Государственной думе с правительственной декларацией против аграрной реформы.

С. 105. *...ходит даже без штанов* — имеется в виду сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина "Мальчик в штанах и мальчик без штанов" в цикле очерков "За рубежом" (1881).

С. 106. *"Новая Элоиза"* — роман в письмах Ж. Ж. Руссо "Юлия, или Новая Элоиза" (1761; рус. пер. 1769—1804).

С. 107. *... "несть власть аще не от Бога"* — Рим. 13, 1.

"Сельское кладбище" (1750) — стихотворение английского поэта-сентименталиста Томаса Грея (1716—1771), переведенное В. А. Жуковским в 1802 г. (третья редакция в 1839 г.).

С. 110. *Их всех я помню в аудиториях Московского университета* — в 1878—1882 гг. Розанов учился на историко-филологическом факультете Московского университета на одном курсе с П. Н. Милковым.

С. 112. *"Тяжела ты, шапка Мономаха"* — А. С. Пушкин. Борис Годунов. Сцена "Царские палаты" (1831).

С. 113. *"Gaudeamus"* ("Возрадуемся" — лат.) — название старинной студенческой песни, начинающейся этим словом.

С. 114. *"Русский Вестник"* — литературный и политический журнал, основанный М. П. Катковым в Москве в 1856 г. Выходил по 1906 г. (с 1887 г. в Петербурге).

"Московские ведомости" — газета, издававшаяся в 1756—1917 гг.

"Гражданин" — политический и литературный журнал-газета, издавался в Петербурге в 1872—1914 гг. Основателем и редактором-издателем был кн. В. П. Мещерский.

С. 118. *"Упал он больно, — встал здорово!"* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 2.

ЛЕВИАФАН ШЕВЕЛИТСЯ

Впервые — Новое время. 28 мая. №10848; под названием "Из-за деревьев не видим леса".

ОБ АМНИСТИИ

Впервые — Новое время. 1906. 10 мая. № 10831.

С. 124. ...по книге Гейссера — Гейссер Л. История французской революции 1789—1799 (1868; рус. пер. М., 1870).

С. 125. *Труп врага всегда хорошо пахнет* — выражение приписывается римскому императору Авлу Вителлию (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Вителлий, 10).

С. 129. ...убийца Плева — эсер Е. С. Созонов убил министра внутренних дел В. К. Плева 15 июля 1904 г.

В НАСТРОЕНИЯХ ДНЯ

Впервые — Русское слово. 1906 г. 22 и 23 сентября. № 233, 234. Подпись: В. Варварин. В эпиграфе и далее Розанов цитирует стихотворение Пушкина "К вельможе" (1830).

С. 133. ..."*мане, текель, фарес*". — См.: Дан. 5, 26—28 ("мене, текель, перес"). Слова ("исчислено, взвешено, разделено"), начертанные таинственной рукой на стене дворца вавилонского царя Валтасара во время пиршества.

С. 135. ...*насадитель у нас классической системы*, гр. Д. А. Толстой — речь идет о проведенной Дмитрием Андреевичем Толстым, министром народного просвещения (в 1866—1880 гг.), гимназической реформы (1871), обеспечившей преобладание классического образования (греческий и латинский языки).

"*Взбаламученное море*" (1863) — роман А. Ф. Писемского.

С. 136. ...*Думу закрыли* — имеется в виду I Государственная дума, просуществовавшая с 27 апреля по 8 июля 1906 г.

С. 137. *Тьмы низких истин нам дороже...* — А. С. Пушкин. Герой (1830).

ОСЛАБНУВШИЙ ФЕТИШ

Впервые — отдельное издание: Розанов В. Ослабнувший фетиш (Психологические основы русской революции). Спб.: Издание М. В. Пирожкова, 1906. Написано в феврале—марте 1906 г. Розанов предложил В. Г. Короленко (письмо от 5—7 апреля 1906 г., см.: Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 515—516) напечатать эту статью в "Русском богатстве". Поскольку Короленко не принял этого предложения, Розанов выпустил работу отдельной книгой, а затем, придавая ей принципиальное значение, включил в книгу "Когда начальство ушло...".

С. 144. "*Нельзя воскреснуть, не умерев*" — имеется в виду притча о зерне (Ин. 12, 24).

..."*Усмирение мятежа*" — в отдельном издании 1906 г. сделано примечание к этим словам: "Писано в феврале—марте этой зимы".

С. 146. ...*стих "о бедном рыцаре"* — А. С. Пушкин. "Жил на свете рыцарь бедный..." (1829).

С. 151. "*Вот волчья нора*" — аналогичное отношение к Московскому университету, по воспоминаниям А. П. Чехова, проявлял А. А. Фет: "Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался" (Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1987. Т. 17. С. 221).

С. 153. "*Русское собрание*" — монархическая организация, созданная в Петербурге в октябре 1905 г. первоначально как литературно-художественный клуб.

ОТЧЕГО ЛЕВЫЕ
ПОБЕЖДАЮТ ЦЕНТР
И ПРАВЫХ?

В 1906 г. отклонено в "Русском слове".

ВНИМАНИЮ "ТРУДОВОЙ ГРУППЫ"

В 1906 г. отклонено в "Русском слове".

С. 160. *Мармеладов* — персонаж из романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" (1866).

С. 162. *У нас был домик* — Розанов вспоминает свое детство в Костроме, когда после смерти в 1861 г. отца мать купила дом у Боровкова пруда (ныне ул. Галичская, дом не сохранился).

В РУССКОМ ПОДПОЛЬЕ

Впервые — Русское слово. 1906. 23 и 28 июля. № 187, 188. Подпись: В. Варварин.

С. 163. ... — *штейн в "Русском вопросе"* — "Русский" вопрос // Новое время. 1906. 11 июля. Подпись: — штейн.

С. 164. "*Кресты*" — бытовое название петербургской тюрьмы, построенной в 1892 г. и действующей поныне.

С. 172. "*Божественное и человеческое, или Еще три смерти*" — рассказ Л. Н. Толстого "Божеское и человеческое" был напечатан в "Новом времени" 19 и 22 июля 1906 г. (приложение) под названием "Божественное и человеческое" с указанием, что перевод сделан М. И. С-ф — из "Fortnightly review" (1906, май—июнь).

С. 175. "*Однажды в декабре 1876 года...*" — Розанов цитирует первый раздел главы "Дмитрий Лизогуб" из кн.: *Степняк С.* (Кравчинский). Подпольная Россия. Спб., 1906.

С. 177. *Охавень* — старинная русская верхняя одежда в виде длинного кафтана.

Ферязь — старинная русская народная верхняя одежда без воротника и перехвата в поясе.

...*запись Котошихина* — *Котошихин Г. К.* О России в царствование Алексея Михайловича (издана в 1840; 4-е изд. Спб., 1906).

"*То — академик, то — герой...*" — А. С. Пушкин. Стансы (1826).

С. 178. "*Ты все пела...*" — И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей (1808).

НА СУДЕ
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

В 1906 г. снято с набора в "Новом времени". В "Русском слове" не напечатано по цензурным условиям.

С. 180. "*Птичка Божия*" — А. С. Пушкин. Цыганы (1824).

С. 181. "*Восток, Россия и славянство*" — книга К. Н. Леонтьева издана в Москве в 1885—1886 гг. в двух томах.

"*Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни*" — очерк К. Н. Леонтьева печатался в "Русском вестнике". 1879. № 11—12; отд. изд. Варшава, 1880.

"*Национальная политика как орудие всемирной революции*" — брошюра К. Н. Леонтьева выпущена в Москве в 1889 г.

"*Анализ, стиль и влияние...*" — работа К. Н. Леонтьева печаталась в "Русском вестнике". 1890. № 6—8; отд. изд. под названием "О романах гр. Л. Н. Толстого". М., 1911.

С. 182. *О, почто не шлем воинственный...* — В. А. Жуковский. Орлеанская Дева (1817—1821) (перевод драматической поэмы Ф. Шиллера, 1801).

...*"страсти нежной, которую воспел Назон"* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 8.

С. 183. *"Любовь земная и любовь небесная"* — картина Тициана, написанная около 1515—1516 г.

С. 184. ...*ораторы, совершенно так же, как и поэты... рождаются* — имеется в виду изречение Цицерона: "Ораторами делаются, поэтами рождаются" (Речь в защиту Архия. 8, 18) (62 г. до н. э.).

МИМОЛЕТНОЕ. 1914 год

Печатается впервые по тексту, подготовленному для посмертного издания Собрания сочинений В. В. Розанова, которое предполагал осуществить П. А. Флоренский. Записи расположены хронологически.

Отрывки из рукописи "Мимолетное. 1914 год" (хранится в РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 223—225), являющейся продолжением розановской "Листвы" ("Уединенное", "Опавшие листья", "Сахарна"), печатались в "Новом журнале" (Нью-Йорк). 1978. № 132 и в книгах: Контекст. 1989. М., 1989; Опыты. М., 1990.

Принятые Розановым сокращения: Б. — Бог; Нов. Вр. — "Новое время"; О. л. — "Опавшие листья"; О пон. — "О понимании"; У. (Уед.) — "Уединенное"; Элевз. т. — Элевзинские таинства.

С. 195. ...*"доколе, о Катилина!.."* — из речи Цицерона "Против Катилины" (63 до н.э.).

С. 196. ...*воспоминания Аксакова* — речь идет о "Воспоминаниях" (1856) С. Т. Аксакова.

Расплюев — герой пьесы А. В. Сухова-Кобылина "Свадьба Кречинского", лишенный малейших признаков порядочности.

Входя в банк — запись сделана на обрывке бланка С.-Петербургского учетного банка.

С. 200. *"Общественность"* — запись сделана в день "исключения" Розанова из Религиозно-философского общества и отражает его отношение к подобного рода общественным организациям (ср.: *Розанов В. В.* Уединенное. М., 1990. С. 84).

С. 201. *"Прометей"* — издательство в Петербурге в 1907—1916 гг., выпускавшее книги по истории революционного движения и беллетристике.

С. 203. *В Кисловодске.* — Летом 1907 г. Розанов с семьей жил в Кисловодске.

С. 204. *Передонов* — герой романа Ф. Сологуба "Мелкий бес" (1907), воплощение пошлого и подлого, донощик и пакостник.

С. 205. *Терсит* — в "Илиаде" Гомера незнатный воин, безобразный, горбатый, хромоногий и злоязычный.

С. 207. *"История Израиля"* — *Грец Г.* История евреев с древнейших времен до настоящего. Пер. с нем. Одесса, 1903—1908. Т. 1—12 (сокращенные русские переводы с 1880 г.).

...в *"Экспедиции для изучения финикийских письмен"* — книга Э. Ренана (вместе с атласом), вышла в Париже в 1864 г.

С. 209. ...*киевского мальчика* — Андрея Ющинского, убитого в Киеве (процесс Бейлиса).

С. 210. *Константин Алексеевич* — речь идет о Клименте Аркадьевиче Тимирязеве.

С. 211. *"Одесский листок"* — ежедневная литературная и политическая газета, издававшаяся в Одессе с 1880 по 1917 г. С 1893 г. Влас Дорошевич печатал в ней свои фельетоны о хищничестве купцов и предпринимателей.

С. 212. *Снесарев* — секретарь газеты "Новое время" Николай Васильевич Снесарев.

С. 213. *"В палате № 11"*. — Последние десять лет жизни (1892—1902) Г. И. Успенский провел в психиатрических лечебницах.

Над. Романовна — Щербова Надежда Романовна (1872—1911), сотрудница журнала "Русский паломник".

"Друг" — жена В. В. Розанова Варвара Дмитриевна.

"Мысли могут быть разные" — см.: *Розанов В. В.* Уединенное. М., 1990. С. 268.

С. 214. *...речь в Рел.-фил. обществе*. — Розанов читал обзор речи священника К. М. Агеева, произнесенной в петербургском Религиозно-философском обществе при обсуждении вопроса об исключении Розанова. Речь была напечатана в "Церковно-общественном вестнике", а обзор ее появился в газете "Киевская мысль" 5 февраля 1914 г., вырезка из которой приложена Розановым к этой его записи. В ней Агеев писал: "Розанов всегда и больше всего ненавидел Христа и его религию".

С. 215. *Татеево* — смоленское имение деятеля народного просвещения С. А. Раичинского, переписку с которым Розанов напечатал после его смерти в "Русском вестнике" (1902. № 10—11; 1903. № 1).

С. 217. *...свои "Итальянские впечатления"* — главы из книги Розанова "Итальянские впечатления" печатались в "Новом времени" с марта 1901 г. по май 1903 г. Книга вышла в Петербурге в 1909 г.

Вы были Савлом тогда. — До обращения в христианство апостол Павел носил имя Савл.

... "врата ада" — Мф. 16, 18.

...и приносит много плода — Ин. 12, 24.

С. 219. *"кающийся дворянин"* — выражение Н. К. Михайловского (очерки "Вперемежку" в "Отечественных записках" в 1876—1877 гг.), обозначающее тип дворянина, страдающего от сознания, что он принадлежит к сословию крепостников, и считающего своим долгом "служение народу".

С. 220. *...толстый, что свел осетра*. — Петр Петрович Петух в "Мертвых душах" Н. В. Гоголя (II, гл. 3).

Бакиши — взятка, подарок.

С. 221. *И дольней лозы прозябанье...* — А. С. Пушкин. Пророк (1826).

С. 222. *...обвалялся Мережковский с Чеховым и Сувориным* — 22 января 1914 г. Д. С. Мережковский напечатал в газете "Русское слово" статью "Суворин и Чехов", направленную против памяти А. С. Суворина. 25 января 1914 г. Розанов опубликовал в "Новом времени" свою статью "А. С. Суворин и Д. С. Мережковский", показав двуличное отношение Мережковского к Суворину, которому он писал в свое время льстивые письма с предложением сотрудничества в его газете. На другой день, 26 января, Розанов был исключен из Религиозно-философского общества по инициативе Мережковского, Философова, Карташева. 28 января Мережковский в газете "Речь" попытался опровергнуть свидетельство Розанова о желании Мережковского сотрудничать с Сувориным, но "Новое время" напечатало письмо Мережковского Суворину от 3 января 1909 г. с предложением о сотрудничестве. Об этом идет речь в статье Гаррис (псевдоним Марии Каллаш) "Карамазовщина", появившейся в газете "Голос Москвы" 11 февраля 1914 г., которую прислал Розанову его друг художник М. В. Нестеров.

... "тайной Некрасова". — Статья Д. С. Мережковского "Некрасов" напечатана в "Русском слове" 9 августа 1913 г. Позднее вышла книга Мережковского "Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев" (Пг., 1915).

... Соловьев "побеждал" Страхова, Данилевского, всех славянофилов. — О полемике вокруг книги Н. Я. Данилевского "Россия и Европа" (1869), которую вел Вл. Соловьев с Н. Н. Страховым, Розанов писал в статье "Рассеянное недоразумение" (1894), перепечатанной в книге: *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. СПб., 1913.

Мы для новой красоты... — Д. С. Мережковский. Дети ночи (1896). Далее названы романы Мережковского "Смерть богов. Юлиан Отступник" (1895) и "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи" (1900).

С. 224. *...вдова Сарепты Сидонской говорит пророку Илиш...* — 3-я Царств 17, 18.

"И побили всех жителей..." — Суд. 18, 7 и 27.

"Сестра, исполним закон земли" — см.: Быт. 19, 31.

С. 225. *Кутейник* — насмешливое название человека духовного звания.

С. 226. *Сон фараона о семи тучных коровах...* — Быт. 41, 3.

... "есть идея и волоса" — Платон. Парменид 130, с—d.

С. 228. "Святылище Астарты" — статья Розанова "Святылище Ваала и Астарты" появилась в "Новом времени" 3 января 1908 г.

Ни божества, ни вдохновенья... — ср. А. С. Пушкин. "Я помню чудное мгновенье..." (1825).

Первая строчка "Песни Песней" — Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.

С. 229. *"Мрак и великий ужас обьял его"* — Быт. 15, 12.

С. 234. *Счастливы владеющие — Гораций.* Оды. IV, 9, 45.

"С того берега" — книга А. И. Герцена, вышедшая в Лондоне под псевдонимом Искандер (1855).

С. 235. *В. В. Кривенко.* — Розанов ошибочно указывает инициалы публициста-народника Сергея Николаевича Кривенко (1847—1906).

С. 236. *Елизавета Кускова.* — Розанов постоянно называл Елизаветой писательницу и общественную деятельницу Екатерину Дмитриевну Кускову.

Как я боялся, как бежал... — А. С. Пушкин. "Кто из богов мне возвратил..." (1835). Вольный перевод оды Горация (II, 7).

... "когда Он показал меня под смоковницей" — Ин. 1, 48.

... "от яйца" — источник выражения — "Наука поэзии" Горация, 147. Гораций хвалит Гомера за то, что он начинает "Илиаду" не с яйца Леды, из которого вышла виновница Троянской войны Елена, а с самой войны.

С. 237. *...из лицейских дней моих.* — Я. К. Грот учился в Царскосельском лицее (1826—1832). Его сын К. Я. Грот издал, помимо "Трудов" Я. К. Грота в 5 томах (1898—1903), ряд его материалов, в том числе книгу "Пушкинский лицей (1811—1817). Бумаги I курса, собранные акад. Я. К. Гротом" (Спб., 1911).

С. 238. *...папа потерял всю Англию из-за развода* — речь идет о реформации в Англии, поводом для которой послужил отказ папы Климента VII утвердить развод английского короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской и его женитьбу на Анне Болейн. В 1534 г. власть папы в Англии была уничтожена и Генрих VIII объявлен главою английской церкви.

Василий Шибанов не мучился... — Розанов неоднократно вспоминал рассказ о Шибанове в балладе А. К. Толстого "Василий Шибанов" и в "Дневнике писателя" Ф. М. Достоевского (1877, декабрь. Гл. 2. § 2).

С. 239. *...даму "самую приятную во всех отношениях"* — см.: Н. В. Гоголь. Мертвые души. Гл. 9.

"По рождению я русский, но по вере я грек" — см.: Кантрев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909, 1912. Т. 1—2.

С. 240. *"Мои безделки"* — повести Н. М. Карамзина, изданные в Москве в 1794 г. в двух частях.

С. 241. *...прочтя Андерсона о себе* — речь идет о рецензии библиографа Владимира Максимилиановича Андерсона (1880—1923) на книгу Розанова "Литературные изгнанники" (Русский библиофил. 1913. № 8, декабрь). Андерсон называет Розанова "поклонником библиографии" и приводит его фразу: "Часто мне брезжится, что деятельная и зоркая библиография есть почти якорь спасения для России".

... "сотрудничал в двух газетах" — имеется в виду участие Розанова в суворинском "Новом времени" и в 1905—1911 гг. в либеральной московской газете "Русское слово" (под псевдонимом В. Варварин).

Пешехонка — публицист Алексей Васильевич Пешехонов (1867—1933).

С. 242. ...*совпало с полемикой*. — В 1894 г. в "Русском вестнике" (№ 1) Розанов опубликовал статью "Свобода и вера", на которую Вл. Соловьев откликнулся полемической заметкой "Порфирий Головлев о свободе и вере" (Вестник Европы. 1894. № 2). В № 4 "Русского вестника" Розанов напечатал "Ответ г. Владимиру Соловьеву", после чего Соловьев еще дважды выступил в 1894 г. в "Вестнике Европы" по этому вопросу: "Спор о справедливости" (№ 4) и "Конец спора" (№ 7).

"Русское обозрение" — литературно-политический журнал, выходивший в Москве в 1890—1898, 1901 и 1903 гг. Розанов постоянно печатался в этом журнале.

"Петербургский телефон" — ежедневная газета "Петербургский телефон и телеграммы С.-Петербургского телеграфного агентства и собственных корреспондентов", выходила в Москве в 1914—1916 гг.

С. 243. "*Гражданин*" — политическая и литературная газета-журнал, выходившая в Петербурге с 1872 по 1914 г. Издатель — кн. В. П. Мещерский. Розанов печатался в ней в 1899—1900 гг. В других названных журналах и газетах Розанов печатался более продолжительное время.

...*Пешехонка меня обличил* — Пешехонов А. Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник // Русские ведомости. 1910. 2 декабря; *Он же*. Вместо ответа г. Розанову // Там же. 1910. 17 декабря.

С. 244. "*Сумерки просвещения*" — книга Розанова, печаталась первоначально в "Русском вестнике" (1893. № 1—3, 6; отд. изд. Спб., 1899).

"*Место христианства в истории*" — книга Розанова, печаталась первоначально в "Русском вестнике" (1890. № 1; отд. изд. М., 1890). Вошла в книгу Розанова "Религия и культура" (СПб., 1899).

С. 246. "*Семейный вопрос в России*" — книга Розанова, издана в двух томах в Петербурге в 1903 г.

Пешехонов о Мережковском — Пешехонов А. Теория г. Маклакова и практика г. Мережковского // Русское богатство. 1914. № 3.

"*Утро*" — ежедневная газета "Утро России", выходила в Москве в 1907, 1909—1918 гг. Издатель — финансист П. П. Рябушинский.

С. 247. ...*моя старушка*. — Розанов познакомился со своей тещей А. А. Рудневой в 1888 г., когда ей было 62 года.

...у *Русова*. — 10 февраля 1913 г. в "Новом времени" появилась рецензия Розанова на роман Н. Н. Русова "Любовь возвращается", в котором изображены Саша Туманов и его тетка Варвара Гавриловна Змеева. В своем романе "Золотое счастье" (М., 1916) Русов изобразил Розанова.

"*День*" — ежедневная газета, основанная И. Д. Сытиным и выходившая в Петербурге в 1912—1917 гг.

...у *учебнике моего бедного Васи* — Ефименко А. Я. Элементарный учебник русской истории. СПб., 1911 (ряд переизданий).

С. 248. *Швайка* — кривое шило.

С. 251. "*Альциона*" — московское издательство (1910—1923), выпускавшее художественную литературу, с которым сотрудничал В. Я. Брюсов.

С. 252. ...*как он нашелся для Сквороды* — имеется в виду книга В. Ф. Эрнэ "Г. С. Скворода: Жизнь и учение" (М., 1912).

..."*много званных, но мало избранных*" — Мф. 20, 16.

С. 253. ...*надгробные речи и протест Достоевского* — см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. М., 1984. Т. 26. С. 112—113 (Дневник писателя за 1877 г. Декабрь. Гл. 2. § 1. Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле).

Эпоха "почитания Некрасова", пережитая мною в гимназии. — Розанов написал об этом в статье "Некрасов в годы нашего ученичества" (Русское слово. 1908. 10 и 15 января).

С. 254. ...о "*блудном сыне*" — Лк. 15, 11—32.

- ... "благочестивые Товии" — Тов. 6, 11—18.
- ... "с Зиной" — жена Некрасова Зинаида Николаевна (Ф. А. Викторова, 1851—1915).
- "Брал сухого судака с чужого воя". — В повести Н. В. Гоголя "Вий" карася украл богослов, а не Хома Брут.
- С. 255. *Позднышев* — герой "Крейцеровой сонаты" Л. Н. Толстого.
- С. 256. ... *точная декадентка* — имеется в виду З. Н. Гиппиус.
- С. 257. "*И испугалась Сепфора*" — см.: Исх. 4, 25—26.
- Выхожу из вокзала в Рыбинске.* — Розанов вспоминает свою поездку по Волге в июне 1907 г.
- С. 259. *Домна Васильевна* — Алешинцева, гувернантка в доме Розановых с 1910 г.
- "*Самодетельность*" — газета, выходившая в Петербурге дважды в месяц в 1870 г. (листок "Вестника благотворительности"). В своих путевых очерках "Русский Нил" Розанов вспоминает, что его репетитор — гимназист Н. А. Николаев выписывал эту газету (*Розанов В. В. Иная земля, иное небо... М., 1994. С. 367*).
- ... *женат на Утиной.* — Редактор-издатель "Вестника Европы" М. М. Стасюлевич был женат на Л. И. Утиной, наследнице капитала братьев Утиных.
- С. 260. "*Наш Иван Павлыч все спит*" — Бутягин, брат первого мужа Варвары Дмитриевны, священник, венчавший тайно Розанова и Варвару Дмитриевну в Ельце в 1891 г.
- "*Катакомбы*" (1866) — роман Евгении Тур (Е. В. Салиас-де-Турнемир).
- С. 261. *Дача, Рига.* — Лето 1899 г. Розанов с семьей проводил на даче под Ригой. Варе было полтора года.
- "*Афродита — Диана*" — статья Розанова в "Мире искусства" (1899. Т. 2. Хроника).
- С. 262. ... *в Аренбурге* — лето 1903 г. Розанов с семьей проводил на даче в курортном городе Аренбурге на острове Эзель в Эстонии.
- С. 263. ... *строгий генерал Грессер* — Петр Аполлонович Грессер (1833—1892) был петербургским градоначальником при Александре III с 1882 г.
- С. 264. *Эфоры* — в древнегреческой Спарте пять ежегодно избиравшихся граждан (спартиатов), руководивших политической жизнью государства.
- "*Совет десяти*" — создан в Венеции в 1310 г., чтобы следить за безопасностью государства. В 1335 г. превращен в основной орган управления Венецианской республики и просуществовал до 1797 г., когда Венеция утратила свою независимость.
- С. 265. *Петр Петрович Петух* — персонаж второго тома "Мертвых душ" Н. В. Гоголя.
- Павел Александрович* — Флоренский. Розанов написал рецензию на книгу П. А. Флоренского "Сполл и утверждение истины" (Новое время. 1914. 12 и 22 февраля).
- С. 266. *На нем капитана не видно...* — ср.: М. Ю. Лермонтов. Воздушный корабль (1840).
- С. 267. ... "*дочь Иевфя плакала*" — Суд. 11, 40.
- С. 268. *Ничтожные величины* — так французский философ и математик Б. Паскаль называл величины, которые меньше какой-либо данной величины.
- С. 269. ... *угроруссов секут* — *Василевский (Плохоцкий) Л.* Венгерские "руснаки" и их судьба // Русское богатство. 1914. № 3. С. 362—385.
- Тертий Иванович* — Филиппов, директор Государственного контроля, где Розанов служил в 1893—1899 гг.
- "*Речь Посполита*" — традиционное наименование польского государства в XV—XVIII вв.
- С. 270. ... "*мыслящие реалисты*" — соединение названий двух статей Д. И. Писарева: "Реалисты" (1864) и "Мыслящий пролетариат" (1865).
- ... "*земля обильной, но без порядка*" — см.: Повесть временных лет. 6370 (862) год.

С. 271. ...*Журнал Стасюлевича* — "Вестник Европы", выходивший в Петербурге с 1866 по 1918 г.

...*"жемажоху"* — из тропаря Преображения ("Христе Боже, показавый ученикам Твоем славу Твою, якоже жожаху").

С. 272. *Савенков* — Розанов обычно так писал фамилию эсера Б. В. Савинкова.

"Шиповник" — петербургское издательство, основанное в 1906 г. З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом. Выпускало книги на революционную тематику.

"Оса" — литературно-художественный и юмористический еженедельник, выходивший в Москве в 1909—1914 гг.

...с 1 марта угроза — имеется в виду убийство Александра II 1 марта 1881 г.

С. 273. ...*что делает генерал Думбадзе* — главноначальствующий в Ялте с 1906 г. И. А. Думбадзе действовал, не считаясь с законами, и высылал из города корреспондентов столичных газет, в которых появлялись статьи об этом.

С. 274. ...*"жестокостью евреев"* — Деян. 7, 51.

С. 275. ...*оне трудились* — речь идет о женщинах.

С. 276. *Бунт кронштадтских матросов* — восстания матросов и солдат Кронштадта в октябре 1905 и июле 1906 г.

С. 277. ...*празднуют Ваал-Фегору* — Осия 9, 10.

"Городок" — повесть С. С. Юшкевича "В городе" (1908).

С. 278. ...*"где бы ни было проповедано Евангелие..."* — Мф. 26, 13.

С. 279. ...*"брак Катона и Порции"* — римский политический деятель Катон Младший имел дочь Порцию, супругу Марка Юния Брута, которая так любила мужа, что убила себя после его смерти (42 до н. э.).

С. 280. ...*Васеньке Власовскому, коего Левин "выгнал из дому"* — в "Анне Карениной" Л. Н. Толстого (часть VI, гл. 15) Левин выгоняет из дома Васеньку Велсовского.

С. 281. *Голотурии* — морские беспозвоночные животные типа иглокожих с червеобразным телом.

С. 282. ...*за гробом Виницкой на Смоленском* — писательница А. А. Виницкая, снискавшая известность повестью "Перед рассветом" (1881), жила последние годы в доме для престарелых писателей в Петербурге, умерла 5 апреля 1914 г. и похоронена на Смоленском кладбище.

...*"сею и оваю"* — сюда и туда (устар.).

С. 283. *"Курс гражданского права"* — трехтомное издание К. П. Победоносцева, вышедшее в Москве в 1896 г.

"Жизнь растений по Шлейдену" — Шлейден М. И. Растение и его жизнь. Пер. профессор Московского университета С. А. Рачинский. М., 1862.

...*профессора Московского университета Николая Васильевича Гоголя* — в 1845 г. Гоголь был избран почетным членом Московского университета, преподавал же всеобщую историю он в Петербургском университете (1834—1835).

...*моя сестра Варвара Александровна* — Розанов написал о ней некролог (Новое время. 1909. 23 мая).

С. 284. *Бурак* — фейерверочная гильза с пороховым зарядом, выбрасывающая из себя огненный фонтан.

С. 285. *Еще учителем* — речь идет о Ельце, где Розанов учительствовал с 1887 по 1891 г.

"Речь" — ежедневная кадетская газета, выходившая в Петербурге с 1906 по 1917 г. С. С. Кондурушкин как корреспондент "Речи" печатал осенью 1913 г. отчеты из Киева о процессе по делу Бейлиса.

С. 286. *Богров убил* — 1 сентября 1911 г. эсер-provokator Д. Г. Богров смертельно ранил в киевской опере премьер-министра П. А. Столыпина.

С. 287. ...*умерла... Надюша* — первая дочь Розанова. Надя умерла 25 сентября 1893 г. (родилась 6 ноября 1892 г.).

"Милости хочу, но не жертвы" — Мф. 9, 13.

С. 288. ...*сентябрьские убийства Дантона* — деятель французской революции Жорж Дантон был обвинен врагами в подкупности и организации массовых убийств в сентябре 1792 г., в критические дни наступления австро-прусских войск на Париж.

С. 289. ..."*милый татарин*" — имеются в виду слова Татарины в начале четвертого акта пьесы М. Горького "На дне" (1902).

Спермин — вытяжка из семенных желез животных, применяемая как лечебное средство.

С. 291. "*100 000 рабочих*" — речь идет о 9 января 1905 г.

С. 292. ..."*жирные говяды*" — А. К. Толстой "Порой веселой мая..." (1871).

...о *Дункан* — в это время Розанов писал статью "Ученицы Дункан", опубликованную в "Новом времени" 17 мая 1914 г. В ноябре 1913 г. вышла его книга "Среди художников" (СПб., 1914), где напечатаны три его статьи об Айседоре Дункан.

"*Исповедь в древности*" — имеется в виду рецензия Розанова на книгу С. Смирнова "Древнерусский духовник" (М., 1914), появившуюся в "Новом времени" 20 апреля 1914 г.

...*уплатить за место на Волковом* — еще в 1912 г. Розанов ездил на Волково кладбище и вел переговоры о покупке места для могилы себе и своей семье (см.: "Опавшие листья". Короб первый, запись шестая и далее 24 марта 1912 г.).

С. 293. "*Но не как я хочу, а как Ты*" — Мф. 26, 39.

С. 294. ...*поколотенный в литературном ресторане "Вена"* — в пьяной ссоре на встрече литераторов на квартире артиста Александринского театра Н. Ходотова 2 ноября 1911 г. Куприн поколотил Л. Андреева, о чем писали московские газеты "Утро России" (5 и 9 ноября), "Московская газета" (5 ноября), "Московская весть" (7 ноября).

"*Иуда из Кариот и другие*" — рассказ Л. Андреева, опубликованный в сборнике товарищества "Знание" за 1907 г. (кн. 16). Розанов расценил его как кощунство над Евангелием (статья "Русский "реалист" об евангельских событиях и лицах" в "Новом времени". 1907. 19 июля).

"*Литературное приложение*" к "*Биржевым ведомостям*" — в 1900—1917 гг. приложением к "Биржевым ведомостям" выходил художественно-литературный журнал "Новая иллюстрация".

Мадонна в кресле — картина Рафаэля (1516).

Калибан — уродливый дикарь в пьесе У. Шекспира "Буря" (1611).

С. 295. ..."*луна, которую делает бочар в Гороховой*" — ср. в "Записках сумасшедшего" Н. В. Гоголя: "Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге... Делает ее хромой бочар".

"*Физиологические письма*" — русский перевод книги Карла Фохта вышел в Петербурге в 1863 г. и затем переиздавался.

...*издать краткий... словарь русских писателей* — замысел Розанова не был осуществлен.

С. 297. *И выражение Карла Фохта* — Розанов приводит перевод немецкой подписи под портретом Фохта, напечатанного в качестве фронтисписа к русскому изданию его "Физиологических писем".

..."*древо Жизни не есть древо Познания добра и зла*" — письмо К. Н. Леонтьева Розанову 30 июля 1891 г. (Русский вестник. 1903. № 6. С. 414).

"*Кто подобен Зверю сему...*" — Откр. 13, 4 и 13.

С. 298. ...*как на известной картине Серова* — В. А. Серов. "Петр I" (Темпера, 1907).

С. 303. "*Удольфские тайны*" (1794) — готический роман английской писательницы Анны Радклиф, впервые переведенный на русский язык в 1802 г.

"*Божья правда*" — газета "Правда Божия", редактировавшаяся священником Г. С. Петровым и издававшаяся И. Д. Сытиным в 1906 г. в Москве.

...*убийца Рутенберг*. — 28 марта 1906 г. инициатор шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. Г. А. Гапон был убит эсером Рутенбергом.

С. 304. *"Милый Костя!.."* — предсмертное письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина к сыну (апрель 1889 г.) К. М. Салтыкову (1872—1931), впервые опубликованное К. К. Арсеньевым в "Вестнике Европы" (1890. № 2. С. 822).

"Письма из деревни" А. Энгельгардта — печатались в "Отечественных записках" в 1872—1882 гг.

С. 305. *Спи, милый друг, до радостного утра...* — перефразировка эпитафии Н. М. Карамзина "Покойся, милый прах, до радостного утра" (1792).

25-летний юбилей смерти Щедрина — Розанов пересказал статью В. Андреева "Последние годы М. Е. Салтыкова-Щедрина" (Новое время. Иллюстрированное приложение. 1914. 26 апреля).

"Архив Стасюлевича" — М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М. К. Лемке. СПб., 1911—1913. Т. 1—5.

Вице-губернаторство — в 1858—1862 гг. М. Е. Салтыков-Щедрин служил вице-губернатором в Рязани, затем в Твери.

"Провинциальные очерки" — имеются в виду "Письма о провинции" (1869) и "Дневник провинциала в Петербурге" (1872) М. Е. Салтыкова-Щедрина.

"Блудница Митродора" — фарс в 3 действиях Софьи Белой (Богдановской) Софьи Николаевны, ум. 1945).

С. 306. *Шувалов Павел Павлович* — очевидно, речь идет о Петре Андреевиче Шувалове, шефе жандармов в 1866—1874 гг.

...уволил из профессоров университета Менделеева — в 1890 г. во время студенческих волнений Д. И. Менделеев подал министру народного просвещения И. Д. Делянову петицию студенческой сходки с пожеланием дать автономию университету. Делянов вернул петицию Менделееву, который тотчас же подал прошение об отставке.

"Хераус" — вон, наружу (нем.).

С. 308. *"...мой стакан не велик, но я пью из своего стакана"* — из предисловия к поэме Альфреда Мюссе "Чаша и уста" (1832).

С. 309. *Странный ревнитель святых семейного очага* — Розанов приводит полностью рецензию Н. Заозерского из "Богословского вестника", 1901. № 3. С. 446—469. См. статью Розанова "Пол и душа" (Новое время. 1902. 4 апреля. № 9369).

С. 321. *"Толкование на Ветхий Завет"* — имеется в виду учебный курс по Ветхому Завету французского богослова Ф. Вигуру (1837—1915), который частью издавался в русском переводе в 1909—1911 гг.

Левират — патриархальный обычай у евреев и других восточных народов, по которому бездетная вдова обязана выйти замуж за брата мужа.

С. 322. *Баркохба* (Бар-Кохба) — имя вождя антиримского восстания евреев в 132—135 гг., ставшее нарицательным.

Но боюсь, среди сражений... — А. С. Пушкин. Из Гафиза (1829).

...не нужно в Евангелии "улыбки" — см. статью Розанова "О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира" в его книге "В темных религиозных лучах" (Собрание сочинений. М., 1994. С. 419).

С. 323. *Все, что было, — все пройдет...* — см. А. С. Пушкин. "Если жизнь тебя обманет..." (1825).

С. 325. *...в кожаных старых переплетах* — сочинения Н. М. Карамзина вышли в 1803—1804 гг. в 8 томах и неоднократно переиздавались в 9 томах. Розанов особенно ценил его "Историю государства Российского".

Струве (П. Б.) кой-что понял во мне — Струве П. Б. Романтика против казенщины (В. В. Розанов. Сумерки просвещения) // Начало. 1899. № 3.

...в том же роде думал Шаранов — Шаранов С. Ф. Розанов и его книга "О понимании" // Русский труд. 1898. № 38; Он же. Василий Васильевич Розанов // Русский труд. 1899. № 42, 43.

С. 326. *Птомаин* — трупный яд.

С. 328. *"Адская жизнь"* (1870) — роман французского писателя Эмиля Габорио, русский перевод которого впервые вышел в Петербурге в 1871 г.

"Се стою у двери и стучусь" — Лк. 13, 25.

... "от серы и огня с неба" — Откр. 14, 10; 13, 13.

... *Афродита земная*... — Лукреций. О природе вещей, I.

Пусть воюют другие... — перефразировка стиха из поэмы Овидия "Героиды", XIII, 84.

С. 329. "*Один в поле не воин*" (1866) — наиболее известный роман немецкого писателя Фридриха Шпилльгагена, переведенный на русский язык в 1867—1868 гг.

С. 330. "*Александры Ивановичи*" — то есть Герцены.

"*Власть административная да повинуется власти законодательной*" — заключительные слова речи В. Д. Набокова в Госдуме 13 мая 1906 г. (Стенографический отчет Гос. Думы. Сессия I. Заседание восьмое. С. 6).

... *мой племянник* — Володя, сын старшего брата Розанова — Николая Васильевича Розанова.

И для новой красоты... — Д. С. Мережковский. Дети ночи (1896).

С. 332. *Беляне* — устарелое название бельчан, жителей г. Белый Смоленской области, где Розанов в 1891—1893 гг. преподавал в прогимназии.

"*Русское богатство*" — журнал, выходивший в Петербурге в 1876—1918 гг., орган либерального народничества. А. Г. Горнфельд был членом редакции журнала в 1904—1918 гг.

"*Современный мир*" — литературный, научный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1906—1918 гг., в редакцию которого входил В. А. Кранихфельд.

С. 333. ... "*возвышающий обман*" — А. С. Пушкин. Герой (1830).

С. 334. *Карфагенские соборы* — церковные соборы, проходившие под председательством карфагенских епископов с 220 по 535 г.

С. 335. *Милости хочу, а не жертвы* — Мф. 9, 13.

Антиминс — плат, на котором совершается богослужение и на котором изображается положение Христа во гроб.

С. 336. ... "*будут два в плоть едину*" — Быт. 2, 24.

С. 337. ... *в моем переводе*... "*Политическую экономию*" Д. С. Милля — "Основания политической экономии" Дж. С. Милля переведены Н. Г. Чернышевским и изданы в Петербурге в 1865 г. (переиздано в 1909 г.).

С. 338. "*История Шлоссера*" — *Шлоссер Ф. К.* Всемирная история. Пер. под ред. Н. Чернышевского. Спб., 1861—1869. Т. 1—18.

Переоделись жандармами... — речь идет о попытке И. Н. Мышкина в июле 1875 г. освободить Н. Г. Чернышевского из Вилюйского острога.

... "*опасности быть Навуходоносором*" — имеется в виду статья В. С. Соловьева "Византизм и Россия" (Вестник Европы. 1896. № 1, 4).

С. 339. ... *с лихим человеком*. — В некрологе "К. П. Победоносцев" Розанов приводит его слова, что Россия — это "дикое темное поле и среди него гуляет лихой человек" (см.: *Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 529).

... *повешему траву* — Дан. 4, 30.

... *приснился сон* — Дан. 4.

С. 340. "*Сельский быт духовенства*" — *Беллюстин И. С.* Сельское духовенство во Франции. СПб., 1870.

"*Вот она, кость от костей моих и плоть от плоти моей*" — Быт. 2, 23.

С. 342. ... *его огромный труд о нем* — *Мережковский Д. С.* Толстой и Достоевский. СПб., 1901—1902. Т. 1—2.

"*Сборники Знания*" — литературные сборники, издававшиеся при участии М. Горького книжным товариществом "Знание" в Петербурге. В 1904—1913 гг. вышло 40 сборников. В 1911 г. Горький отшел от этого издания.

С. 343. ... *43-летний "Вестник Европы"* — в течение 43 лет (1866—1909) издателем-редактором журнала "Вестник Европы", выходившего в Петербурге с марта 1866 по март 1918 г., был М. М. Стасюлевич.

...когда один знакомый ему японец — 25 марта 1880 г. Н. Н. Страхов в письме Л. Н. Толстому писал: "Я видел недавно японца, который в год с небольшим научился по-русски. Первое, что он начал читать, были Бокль, Дрепер и Спенсер" (Толстовский музей. СПб., 1914. Т. 2. С. 251).

"Половой подбор" Дарвина — Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор. СПб., 1871; 3-е изд. СПб., 1908.

"История цивилизации в Англии" (1857—1861) — сочинение английского историка Г. Т. Бокля, переведенное на русский язык в "Отечественных записках" в 1861 г. (отд. изд. СПб., 1863—1864. Т. 1—2).

"Цветочки Франциска Ассизского" — после смерти итальянского проповедника Франциска Ассизского (1226) появились народные рассказы о нем "Цветочки".

С. 344. "Жизнь животных" (1863—1869) — сочинение немецкого зоолога А. Э. Брема вышло по-русски в Москве в 1865 г. (сокращ.); в 1911—1915 гг. в Петербурге вышло в 13 томах (неоконч.).

С. 346. ...в канцелярии Тенишевского уч. — сын Розанова Вася учился в Тенишевском училище, которое Розанов посещал в связи с оформлением документов, поскольку Вася, как и все дети писателя, был записан "незаконнорожденным" по имени крестного отца: Василий Александрович Александров.

С. 347. Сейте разумное, доброе, вечное... — Н. А. Некрасов. Сеятелям (1876). В очень жаркие дни... — перефразировка эпиграфа к 1 главе "Пиковой дамы" А. С. Пушкина.

С. 348. ...сделал "между Грецией и Персией" — в 334—330 гг. до н. э. Александр Македонский покорил Персию.

С. 350. И Максим Горький подслушивает... — Далее Розанов излагает содержание драмы Л. Андреева "Савва" (1906), где герой пытается взорвать икону "для уничтожения предрассудков".

С. 351. Веселися, славный Росс! — Г. Р. Державин. Хор (по случаю взятия Измаила) (1791).

Р. — имеется в виду Рцы (писатель Иван Федорович Романов).

С. 352. Нам пить пора... — Гораций. Оды. I, 37.

С. 353. Лаический — внецерковный, светский.

С. 354. "Мессиада" (1751—1773) — эпическая поэма немецкого поэта Ф. Г. Клопшток, русский прозаический перевод которой появился в 1785—1787 гг.

"Колокол" — ежедневная газета, издававшаяся В. М. Скворцовым в Петербурге в 1905—1917 гг.

...мудрая жена дворянина — Эльмира, жена Оргона в комедии Мольера "Тартюф, или Обманщик" (1664).

За рецензией на "Старый театр" — рецензия Розанова на книгу Г. К. Лукомского "Старинные театры" появилась в "Новом времени" 22 мая 1914 г.

С. 355. Но в разговор веселый не вступая... — М. Ю. Лермонтов. Сон (1841).

...похороны старого Грота — академик Яков Карлович Грот умер в Петербурге 24 мая 1893 г. (Розанов с семьей поселился в Петербурге в апреле 1893 г.).

С. 356. В учетном банке. — Настоящая запись сделана на бланке С.-Петербургского учетного и ссудного банка.

...просматривая Герье — о Тене — Герье В. И. Французская революция 1789—1795 гг. в освещении И. Тэна. СПб., 1911.

С. 357. Не водись-ка на свете вина... — Н. А. Некрасов. Вино (1848).

С. 360. "Ступени" — 31 марта 1914 г. в "Новом времени" появилась рецензия Розанова на эту повесть В. И. Рудич.

"Дневник" Е. А. Дьяконовой — опубликован посмертно в 1904—1905 гг. Розанов писал об этой книге в "Критических заметках" (Новое время. 1914. 18 ноября).

Могила твоя безвестна — Е. А. Дьяконова окончила гимназию в Ярославле в 1892 г., погибла во время прогулки в горах Тироля (Австрия) 29 июля (11 августа) 1902 г. Похоронена на родине в г. Нерехта Костромской губернии.

- С. 364. ...*"резвятся и играя"* — Ф. И. Тютчев. Весенняя гроза (1828, 1854).
...*переезд* — лето 1914 г. Розанов провел с семьей на даче в Луге.
- С. 369. *"Король забавляется"* (1832) — драма Виктора Гюго, переведенная на русский язык в 1887 г.
- С. 374. ...*у нас в Брянской женской прогимназии* — в 1882—1887 гг. Розанов преподавал в брянской мужской прогимназии.
- "Поль и Виргиния"* (1787) — пасторальный роман французского писателя Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера. Известна его переработка Л. Н. Толстым под названием "Суратская кофейня" (1891).
- С. 376. ...*в Мюнхене; перед "ударом"* — болезнь. — В июне 1910 г. Розанов с женой ездил в Германию (Берлин, Наумбург, Мюнхен). По возвращении в Петербург 26 августа с Варварой Дмитриевной случился "удар" (паралич).
- С. 378. ...*его заняла только возможность сказать — "двурушник"* — имеется в виду А. В. Пешехонов как автор статьи о Розанове: "Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник" (Русские ведомости. 1910. 2 декабря).
...*националистическую пошлость "О чем шумите вы..."* — отрицательный отзыв Д. И. Писарева содержится в его второй статье "Пушкин и Белинский" (1865).
- С. 379. ...*"чумазый"* — кличка, данная М. Е. Салтыковым-Щедриным тем, кто вышел из крестьян и мецкан на арену общественной жизни после реформы 1861 г. (см. его "Мелочи жизни", 1886; "Убежище Монрепо", 1879).
...*"писать в едином журнале"* — речь идет об участии Н. Н. Страхова в журнале "почвенников" "Время" (1861—1863) и его продолжении — журнале "Эпоха" (1864—1865).
...*один журнал, да и то не платит* — "Русский вестник", где Розанов печатался с 1889 г.
...*Некрасов мошеннически обобрал...* — см. об этом далее запись 16 июля 1914 г.
- С. 380. *"Гурко — Лидваль"*. — Будучи товарищем министра внутренних дел (Столыпина), В. И. Гурко в 1906 г. заключил с купцом-аферистом Лидвалем договор о поставке последним 10 миллионов пудов хлеба в голодающие губернии и выдал ему задаток из казны в 800 000 руб. Контракт не был исполнен, и Гурко предал суду сената по обвинению в превышении власти и отшлифовал от должности. В 1912 г. Гурко был избран членом Государственного совета, где примкнул к "правым".
- С. 381. ...*"зачем же русским оказывать кредит из Государственного банка"* — кадет А. И. Шингарев, земский врач и автор книги "Вымирающая деревня" (1907), в заседании Госдумы 31 мая 1914 г. заявил о финансировании армии: "Зря давать деньги, если главноначальствующие лица не имеют боевого и строевого опыта, если они прячутся под покровом тайны, если они тайно в армии ведут пропаганду в крайне союзническом направлении, а к вам приходят только просить деньги. В этих условиях денег давать нельзя (голоса слева: "Правильно")" (Новое время. 1914. 1 июня. С. 3).
- ...*"зверообразный национализм"* — Розанов имеет в виду выражение В. С. Соловьева "зоологический патриотизм" в его книге "Национальный вопрос в России" (Собр. соч. СПб., 1911. Т. 5. С. 393).
- ...*борзыми щенками* — Н. В. Гоголь. Ревизор. I, 1 (слова судьи Ляпкина-Тяпкина).
- С. 382. *"Россия"* — ежедневная газета, выходившая в Петербурге в 1899—1902 гг., одним из редакторов которой был В. Дорошевич. Закрыта за публикацию фельетона А. Амфитеатрова "Господа Обмановы".
- С. 383. *Это от времен Лавана...* — Быт. 29.
...*"кинематограф с тещами"*, великоплетно описанный Чуковским — в статье "К. И. Чуковский о русской жизни и литературе" (Журнал театра Литературно-художественного общества. 1908/9. Вторая половина сезона. № 8) Розанов

писал о лекции Чуковского в зале Соляного городка: "Автор подробно, сочно, со вкусом передает одну из картин кинематографа, под именем "Бег тещ", где представляется состязание на приз этих несчастных женщин, а приз — замужество дочери".

С. 384. ...*"поднимают Пелион на Оссу"* — выражение из "Одиссеи" Гомера (11, 315—316). Осса и Пелион — горы в Греции, которые братья-великаны Отос и Эфиальт грозились взгромоздить на Олимп, чтобы взять приступом небо. Говорится об огромной энергии, затрачиваемой на пустое дело.

Каблушкин — Сергей Платонович Каблуков (1881—1919), секретарь Религиозно-философского общества, музыковед.

С. 385. *Дуб Мамврийский* — место, где библейский патриарх Авраам встретил Трех странников; в Мамврийской роще в пещере были погребены патриархи Авраам, Иаков и Исаак с женами.

"Не с чего, так с бубен" — Н. В. Гоголь. Мертвые души. I, 1.

На реках Вавилонских... — Пс. 136, 1.

Моисей тонул в корзине... — Исх. 2, 3—5.

С. 386. *"Война за испанское наследство"* (1701—1714) — началась после смерти последнего испанского Габсбурга между коалициями Франции — Испании и Великобритании — Австрии — Голландии — Пруссии.

Она шла "навстречу молодежи"... — имеется в виду деятельница женского движения в России Анна Павловна Философова (1837—1912; урожд. Дягилева). Розанов высоко ценил ее душевные качества.

С. 387. *Как дэнди лондонский одет* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 4.

...*"большой подсолнечник"* — зонтик.

З. — Зинаида Николаевна Гиппиус.

"Конь бледный" — роман Б. В. Савинкова, напечатанный в журнале "Русская мысль" (1909. № 1) и вышедший отдельным изданием в Петербурге в 1912 г. Название книги и псевдоним "В. Ропшин", под которым вышла книга, подобрала З. Гиппиус, рассказавшая об этом в своих воспоминаниях "Дмитрий Мережковский" (Париж, 1951).

С. 388. ...*одного кабацкого издания и другой жидовской газеты* — Д. В. Философов выступал в газетах "Русское слово" и "Речь".

С. 391. ...*читывал "Моск. Вед." в университете* — Розанов учился на историко-филологическом факультете Московского имп. университета в 1878—1882 гг. Свою статью "Почему мы отказываемся от наследия 60—70-х годов?" Розанов опубликовал в "Московских ведомостях" (1891. 7 июля).

С. 392. *"Сезам и лилии"* — под таким названием редакция "Нового журнала иностранной литературы" напечатала перевод трех лекций английского теоретика искусства Джона Раскина (Раскина): "О сокровищах королей", "О садах королей", "О тайне жизни" (пер. О. М. Соловьевой).

С. 393. *Всю полемику с Соловьевым и Толстым...* — см. коммент. к записи 7 марта 1914 г.; полемика вокруг имени Толстого началась со статьи Розанова "По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого" (Русский вестник. 1895. № 8), в которой автор "неуважительно" обращался к Толстому на "ты" (как к Богу), что вызвало протест в газетах. Розанов сейчас же опубликовал "Необходимое разъяснение". Однако "Русский вестник" (1895. № 10), где появилось это "Разъяснение", сделал существенные пропуски в статье, и Розанов перепечатал ее полностью в "Русском обозрении" (1895. № 11).

...*за продажей Киреевского, Одоевского, "Пути" Морозовой* — речь идет о книгах, вышедших в московском издательстве "Путь", основанном в 1910 г. М. К. Морозовой для издания религиозно-философской литературы (закрыто в 1917 г.): *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1—2; *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. М., 1913.

...*труд Барсукова* — незаконченное издание: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888—1910. Т. 1—22.

С. 394. *"Айвенго"* (1820) — исторический роман Вальтера Скотта, впервые вышел в русском переводе в 1826 г. В конце XIX — начале XX в. вышло несколько собраний сочинений В. Скотта.

"Крошка Доррит" (1857) — роман Ч. Диккенса, впервые переведенный на русский язык в 1856—1857 гг. и неоднократно переиздававшийся.

С. 395. *"К звездам"* (1906) — драма Л. Н. Андреева, запрещенная к представлению в МХТ цензурой.

... *"живем на островах блаженных"* — в античной мифологии Острова блаженных находятся на западном конце света, куда после смерти переносятся души героев и благородных людей.

С. 396. ...мы *Анахарсисы* — простодушный и любознательный скиф Анахарсис, который около 600 г. до н. э. отправился путешествовать по Греции и встречался с Солоном. Причислен к семи мудрецам древности. Французский писатель Ж. Ж. Бартеlemi написал роман "Путешествие молодого Анахарсиса по Греции" (1788; рус. пер. Т. 1—9. 1803—1819).

"Россиада" (1779) — поэма М. М. Хераскова, в которой изображено покорение Иваном Грозным Казанского царства.

С. 397. *Венгерская кампания* — в конце мая 1849 г. русские войска вступили в Венгрию, и в августе Венгерская революция 1848—1849 гг. была подавлена.

Прусская война Елизаветы Петровны — в ходе Семилетней войны (1756—1763) Пруссия потерпела поражение от русских войск, и в 1760 г. русские войска вошли в Берлин.

Гвельфы и гибеллины — политические направления в Италии XII—XV вв. Гвельфы поддерживали римского папу, а гибеллины были сторонниками императора "Священной римской империи".

... *"башня голода"*... *"графа Уголино"* — вождь гвельфов Уголино делла Герардеска, граф Доноратико, стоявший во главе Пизанской республики, был обвинен в государственной измене и вместе с двумя сыновьями и двумя внуками заточен в башню, где их уморили голодом (май 1289 г.). Данте изобразил это в 33-й песни "Ада" своей "Божественной комедии".

С. 398. ... *"кипим в кипении пустом"* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VII, 22.

С. 399. *Федулия Семеновна* — жену Собакевича зовут Федулия Ивановна.

С. 400. *Он приехал к нам весь жизнерадостный (Карпович)* — 14 февраля 1901 г. студент П. В. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова за отправку студентов в солдаты. Заточен в Шлиссельбургскую крепость. В своих воспоминаниях В. Н. Фигнер, проведшая 20 лет заключения в Шлиссельбургской крепости, писала: "Появление Карповича вызвало среди нас сильнейшее волнение... Его радостные вести оживили наши души" (*Фигнер В.* Запечатленный труд. М., 1964. Т. 2. С. 176—177). Карповичу тогда было 27 лет.

С. 401. *И Деметра улыбнулась. Баубасто с ней шутила* — см. коммент. во втором томе настоящего Собрания сочинений (Мимолетное). М., 1994. С. 481—482.

С. 402. *Вера хочет умереть* — дочь Розанова Вера покончила самоубийством 31 мая 1920 г.

С. 404. *Мраморный дворец* — построен в 1765—1785 гг. архитектором А. Ринальди в Петербурге между Дворцовой набережной и Миллионной ул.

Григорий Спиридонович — священник Г. С. Петров, в 1908 г. лишен сана.

"Анатема", *"Анфиса"* — в своих пьесах "Анатема" (1908) и "Анфиса" (1907)

Л. Н. Андреев изображает духовные искания интеллигенции.

Василий Михайлович — публицист В. М. Скворцов, один из издателей церковно-политической газеты "Колокол", выходившей в Петербурге с 1905 по 1917 г.

Взгляните, как он бос и беден... — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841). Как обычно, Розанов цитирует неточно.

С. 405. *И чувства добрые я лирой воспевал* — А. С. Пушкин. "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." (1836).

Герье и Любимов растолковывали французскую революцию — Герье В. И. Французская революция 1789—1795 гг. в освещении И. Тэна. СПб., 1911; *Любимов Н. А.* Крушение монархии во Франции: Очерки и эпизоды первой эпохи французской революции (1787—1790). М., 1893.

С. 408. *В небесах торжественно и тихо...* — М. Ю. Лермонтов. "Выхожу один я на дорогу..." (1841).

Верхшолово — пограничная станция на границе с Германией.

С. 410. *Долго нас помещики душили... Вставай, подымайся, рабочий народ* — П. Л. Лавров. Рабочая марсельеза (1875).

Знаменитая формула Павла I — см.: *Шильдер Н. К.* Император Павел Первый: Историко-биографический очерк. СПб., 1901.

С. 412. ...*"ее же не преjdeши"* — Пс. 148, 6.

С. 413. *"Николаевские жандармы"* и *"Николаевские цензора"* — имеются в виду книги М. Е. Лемке "Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.". СПб., 1909 и "Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия". СПб., 1904.

С. 414. ...*"ти до какого царства нельзя доскакать иначе, чем в три года"* — слова Городничего в "Ревизоре" Н. В. Гоголя (I, 1).

...*франты, уехавшие в Выборг* — имеется в виду "Выборгское воззвание", принятое 10 июля 1906 г. в Выборге группой депутатов I Государственной думы в ответ на роспуск думы.

С. 415. ...*"избываемых библейских пророков"* — Мф. 23, 37.

"Никто же плоть свою возненавиде..." — Еф. 5, 29.

С. 416. ...*и бросил его в Россию* — имеется в виду знаменитое письмо В. Г. Белинского Н. В. Гоголю 3 (15) июля 1847 г. по поводу его книги "Выбранные места из переписки с друзьями".

...*его ведь никто не читал (до "освобождения")* — первое в России Собрание сочинений А. И. Герцена в 7 томах вышло в Петербурге в 1905 г.

...*второй фазис "Отеч. Записок"*. — Журнал "Отечественные записки" выходил в Петербурге с 1839 по 1884 г. С 1868 г. редактором и фактическим издателем журнала стал Н. А. Некрасов при соредакторстве М. Е. Салтыкова-Щедрина и Г. З. Елисеева. После смерти Некрасова редактором становится Салтыков-Щедрин при соредакторстве также Н. К. Михайловского. "Современник" выходил с 1836 по 1866 г., когда был запрещен.

"Русское слово" — литературно-ученый журнал, выходивший в Петербурге в 1859—1866 гг. и редактировавшийся Г. Е. Благодетелевым. Лицо журнала во многом определяли статьи Д. И. Писарева.

"Дело" — литературно-политический журнал, выходил в Петербурге в 1866—1888 гг. и стал продолжением закрытого в 1866 г. журнала "Русское слово". После смерти его редактора Г. Е. Благодетелева журнал редактировал Н. В. Шелгунов.

С. 417. ...*до объявления банкротства*. — Издательство М. В. Пирожкова существовало в Петербурге в 1898—1910 гг. и выпустило книги Д. С. Мережковского, Н. А. Бердяева, Розанова ("Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского". 3-е изд. СПб., 1906; "Около черковых стен". СПб., 1906. Т. 1—2). В 1908 г. произошло банкротство Пирожкова.

С. 418. *"Мемуары декабристов"* — Розанов дает собирательное название. См.: История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. М., 1977. Т. 2. Ч. 1.

Конкурс — здесь: собрание кредиторов для рассмотрения дел несостоятельного должника и использования его имущества; временное управление делами должника.

С. 419. *"Полное собрание сочинений Венгерова"* — в 1911—1913 гг. в Петербурге вышли 1—3-й и 5-й т. Собрания сочинений С. А. Венгерова.

...*"классическое издание творений Добролюбова"* — в 1911—1913 гг. в Петербурге вышли 9 томов "Полного собрания сочинений" Н. А. Добролюбова под ред. Е. В. Аничкова.

- С. 420. ...*"стая славных"* — А. С. Пушкин. "Перед гробницею святой..." (1831).
- С. 425. *К вечеру ты приоденешься...* — Руфь 3, 3.
- С. 427. *"Копейка"* — "Газета-Копейка", выходила ежедневно в Петербурге в 1908—1918 гг. Издание бульварного типа.
- Набоков с Б. Морской, № 30* — В. Д. Набоков проживал на Морской, 47.
- Горемыкин, говоривший перед ним...* — 13 мая 1906 г. председатель Совета министров И. Л. Горемыкин выступил в Госдуме с программной речью.
- Потом всех этих уродов прогнали* — имеется в виду роспуск I Госдумы царским манифестом от 9 июля 1906 г.
- Крушение в Борках* — 17 октября 1888 г. царский поезд потерпел крушение вблизи села Борки Харьковской губернии.
- С. 429. ...*до моего выхода в отставку (1897 г.)* — до апреля 1899 г. Розанов служил в Государственном контроле, а затем перешел работать в редакцию "Нового времени".
- С. 430. *"Силуэты русской литературы"* — книга Ю. И. Айхенвальда "Силуэты русских писателей" вышла в трех томах в Москве в 1906—1910 гг.
- "Громвал"* (1802) — поэма Г. П. Каменева, предшественница баллад В. А. Жуковского.
- "Критические сказки"* — имеются в виду "Критические рассказы" (1911) К. И. Чуковского.
- С. 431. *"Музыка нашей поэзии..."* — см.: Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 377. Далее Розанов пересказывает мысль Айхенвальда о Л. Андрееве из той же книги.
- С. 432. *Хочу быть дерзким...* — К. Д. Бальмонт. Хочу (1902).
- С. 433. *"Сей изверг, миру в казнь рожденный"* — Н. М. Карамзин. Освобождение Европы и слава Александра I (1814).
- "Характеристика Наполеона"* — речь идет об основном историческом труде И. Тэна "Происхождение современной Франции" (1876—1893; рус. пер. 1907. Т. 1—5).
- С. 434. *Будешь умы уловлять...* — А. С. Пушкин. Отрок (1830).
- С. 435. *Н.* — Н. А. Некрасов; *Щ.* — М. Е. Салтыков-Щедрин.
- ...право издания всех сочинений Достоевского* — в 1911—1918 гг. издательство "Просвещение" выпустило 23 тома "Полного собрания сочинений" Ф. М. Достоевского.
- С. 436. *Не обижайте любовь...* — вариация на тему "Любовь никогда не перестает" (I Кор. 13, 4—8).
- С. 437. *"Письмо" Белорусова из Парижа* — Белоруссов. Militarисты и пассивисты (Письмо из Франции) // Русское богатство. 1914. № 7. С. 237—260.
- Петрищев в "Русск. Бог."* — далее Розанов цитирует статью А. Б. Петрищева "Хроника внутренней жизни" (Русское богатство. 1914. № 7. С. 323—328).
- И вернется, и плачется...* — М. Ю. Лермонтов. Молитва (1839).
- С. 438. ...*под доски всех этих князей...* *Как после битвы на реке Калке* — историк С. М. Соловьев рассказывает в своей "Истории России с древнейших времен", что потерпевшие поражение в битве при Калке (1223 г.) русские князья были задавлены: "татары положили их под доски, на которые сели обедать" (Соловьев С. М. Сочинения. М., 1988. Т. 1. С. 642).
- С. 439. *Эйджунен* — пограничная станция между Германией и Россией.
- "Генеральные штаты"* — высший орган сословного представительства в феодальной Франции и в Нидерландах.
- ...рабы, да повинутесь господам своим* — I Петр. 2, 18.
- С. 440. ...*госпожа Ульяна Осорына* — подробнее о ней см. в рецензии Розанова на книгу В. О. Ключевского "Добрые люди Древней Руси" (Сергиев Посад, 1892) в книге Розанова "Религия и культура" (СПб., 1899).
- ...отдает жену свою Сару во временные наложницы фараону* — Быт. 12.
- С. 443. *"Ключи счастья"* — роман А. А. Вербицкой, изданный в шести книгах в 1909—1913 гг., экранизированный Я. Протазановым в 1913 г., числившийся, по

отчетам библиотек, на первом месте по спросу и вызвавший многочисленные пародии и "продолжения" ("Отмычки счастья" М. Ельцовой, "Ключи несчастья" С. А. Никитина и др.).

"Жизнь человека" (1907) — драма Л. Н. Андреева, представляющая аллегорические картины жизни человека от рождения до смерти.

С. 445. ...*приедет Пуанкаре* — 8 июля 1914 г. официальная делегация Французской республики во главе с президентом Р. Пуанкаре и премьер-министром Р. Вивиани прибыла в Петербург.

...*в коляске Его Величество ехал с... Фором* — в 1896 г. президент Франции Ф. Фор принимал русского царя Николая II в Париже, а в 1897 г. Фор с ответным визитом посетил Петербург.

С. 447. "*Бубновый туз*" — знак осужденного в ссылку на каторжные работы (от красного четырехугольника, нашивавшегося на спине арестантского халата).

С. 448. ...*вдруг Струве и Пешехонов... недели 2—3 спустя после удара Вари*. — Паралич у жены Розанова Варвары Дмитриевны произошел 26 августа 1910 г. В ноябрьском номере "Русской мысли" П. Б. Струве опубликовал статью "Большой писатель с органическим пороком (Несколько слов о В. В. Розанове)", а 2 декабря 1910 г. в "Русских ведомостях" А. В. Пешехонов напечатал статью о Розанове "Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник".

С. 449. ...*деревянных домиках, о три, о четыре окошечка* — Розанов вспоминает домик А. А. Рудневой, своей тещи, в Ельце, где он познакомился со своей будущей женой (см. предисловие Розанова к его книге "Около церковных стен").

За статей "Хроника. Современная Франция в религиозном отношении" — автор статьи Белоруссов (псевдоним писателя Алексея Станиславовича Белевского, 1859—1919).

..."*выступления*" — имеется в виду первая книга Розанова "О понимании" (М., 1886).

С. 450. ..."*я — против всех*" — в начале "Литературных мечтаний" (1836) В. Г. Белинский утверждает: "Да — у нас нет литературы!"

"*Чигиринское дело*" — неудачная попытка группы революционных народников поднять в 1877 г. крестьянское восстание в Чигиринском уезде Киевской губернии с помощью подложного царского манифеста.

"*Былое*" — журнал по истории революционного движения, основанный В. Л. Бурцевым в Лондоне в 1900 г. и идеализировавший народовольцев. В 1906—1907 гг. выходил в Петербурге.

"*Воспоминания*" (СПб., 1906) — книга участника "Чигиринского заговора" народника В. К. Дебогория-Мокриевича, о которой Розанов писал в "Мимолетном. 1915 год" (настоящее Собр. соч. Т. 2. С. 179).

С. 451. "*Черный передел*" — народническая организация в Петербурге в 1879—1882 гг., выпускавшая одноименную газету (1880—1881).

..."*всего один Ашенбреннер*" — народоволец М. Ю. Ашенбреннер в 1882 г. был послан "Народной волей" для объединения провинциальных военных кружков. Арестован в Смоленске и заключен в Шлиссельбургскую крепость, из которой освобожден в 1904 г.

С. 454. "*Две Дианы*" (1846—1847) — роман А. Дюма-отца, вошедший в "Полное собрание романов" А. Дюма в издании П. П. Сойкина (СПб., 1913. Т. 14).

С. 456. ..."*муж рока и судьбы*" (о Наполеоне) — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. X, 8; Полтава. I, 159.

Тентетников — персонаж второго тома "Мертвых душ" Гоголя (гл. 1).

С. 457. "*Письма о философии истории*" — очевидно, "Исторические письма" П. Л. Лаврова (СПб., 1870).

"*О Светлом воскресении*" — последняя глава в "Выбранных местах из переписки с друзьями" (1847) Н. В. Гоголя ("Светлое воскресенье").

"*Да что губернатор — у меня министры на побегушках*" — вариация на тему хвастливого монолога Хлестакова в "Ревизоре" Гоголя.

С. 459. "*Атлет-убийца*" — уголовный роман Анри Ревеля, переведенный с французского Л. Черским (СПб., 1910).

С. 461. "*Ни Бога, ни короля*" — в последний год своей жизни (1880) французский утопист-коммунист Л. И. Бланки основал журнал "Ни Бога, ни господина".

С. 462. *Дядя Митяй и дядя Миняй* — мужики в "Мертвых душах" Гоголя (гл. 5). *Цв.* — Сергей Алексеевич Цветков (1888—1964), друг и библиограф Розанова. *Не поймет и не оценит...* — Ф. И. Тютчев. "Эти бедные селенья..." (1855).

Над. Ром-на — Надежда Романовна Щербова (1872—1911) — сотрудница журнала "Русский паломник". *А. А. Р-ва* — теща Розанова Александра Андрияновна Руднева (1826—1911). В "Уединенном" он писал о них: "Лучшие люди, каких я встречал, — нет, каких я *нашел* в жизни: "друг", великая "бабушка" (Ал. Андр. Руднева), "дяденька", Н. Р. Щербова, А. А. Альбова, свящ. Устьинский, — все были религиозные люди".

С. 464. *...надпись на портрете* — см. коммент. к записи 22 апреля 1914 г. (Gegen die Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens).

С. 467. "*Образы прошлого*" — книга М. О. Гершензона, вышедшая в Москве в 1912 г. Переписку Розанова и Гершензона см.: Новый мир. 1991. № 3.

"*И. С. Тургенев*" — книга историка литературы И. И. Иванова (1862—1929) "И. С. Тургенев. Жизнь. Личность. Творчество" (М., 1896), вышла в 1913 г. вторым изданием.

С. 468. "*Роковой вопрос*" — статья Н. Н. Страхова в № 4 журнала "Время" за 1863 г., посвященная польским событиям и послужившая причиной закрытия журнала. Журнал "Время" вел полемику с "Русским вестником", редактировавшимся М. Н. Катковым с 1856 г.

Скука, холод и гранит — А. С. Пушкин. "Город пышный, город бедный..." (1828).

Дмитрий Владимирович — Философов; *Дмитрий Сергеевич* — Мережковский; *Зина* — Зинаида Николаевна Гиппиус.

Дом Мурузи — дом в Петербурге на Литейном, № 24, где жили Мережковские. Место встреч символистов и религиозных философов.

С. 470. *Англия объявила войну Германии* — 19 июля 1914 г. Германия объявила войну России, 21 июля Германия объявила войну Франции и Бельгии. 22 июля Великобритания объявила войну Германии.

Хозрой (хосрой) — царь (персид.).

С. 471. *Анунциата* (Анунциата) — героиня отрывка Гоголя "Рим".

С. 472. *Редактор "Освобождения"* — П. Б. Струве, издававший в Штутгарте (затем в Париже) в 1902—1905 гг. журнал "Освобождение".

С. 475. *Словарь Михельсона* — *Михельсон А. Д.* 30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1866. Н. С. Лесков написал о словаре статью "Новое русское слово" (Петербургская газета. 1891. 29 ноября).

Англичанин-хитрец... — песня "Машинушка" (на мотив "Дубинушки") из книги: Песни революции. Сборник революционных песен и стихотворений. Киев: Народное дело, 1906 (ср. запись 3 июня 1915 г. в настоящем Собрании сочинений (Мимолетное. М., 1994. С. 150—151).

"*Ветхий Деньми*" — одно из именованй Бога в Библии (Дан. 7; 9, 13, 22).

Володя — племянник Розанова, сын старшего брата писателя; отец современной писательницы Натальи Владимировны Баранской.

С. 477. "*Кто не слушается отца, послушается палача*" — *Даль В.* Пословицы русского народа. М., 1957. С. 224 (раздел "Гроза — кара").

"*Хорь и Калиныч*" (1847) — рассказ, открывающий "Записки охотника" И. С. Тургенева.

С. 478. *"крестьянину охотнику Сидору Карпычу"* — имеется в виду поэма Н. А. Некрасова "Коробейники" (1861), которую автор посвятил своему товарищу по охоте крестьянину Гавриле Яковлевичу Захарову.

С. 479. *"призри на рабу свою"* — см.: Руфь 3, 9 ("прости крыло твое на рабу твою").

С. 481. *"Училище благочестия"* — журнал, издававшийся в Риге при духовной семинарии в 1857—1860 гг.

...переведенную в *"Северных цветах"* — рассказ о Мирре из десятой книги *"Метаморфоз"* Овидия был переведен Д. Казанским с латинского под названием *"Мирра. Поэма Овидия Назона"* (Северные цветы на 1832 год. СПб., 1831).

...воспоминания о Писемском А. Ф. Кони — впервые опубликованы в *"Вестнике Европы"* (1908. № 5) и вошли во второй том мемуаров *"На жизненном пути"* (СПб., 1912). Кони вспоминает о чтении Писемским в 1865 г. своей новой драмы *"Бывшие соколы"*, в которой при публикации была изъята тема беременности дочери от отца.

С. 482. *Есть, друг Горацио...* — У. Шекспир. Гамлет. I, 5. Пер. М. Вронченко.

С. 483. *"Стрекоза"* — юмористический журнал с карикатурами, издававшийся еженедельно в Петербурге с 1875 до 1918 г. С 1908 по 1914 г. вместо него выходил журнал *"Сатирикон"*.

С. 484. *"У него и негр при дверях стоит"*. — Об этом Розанов рассказал во втором коробе *"Опавших листьев"* (Розанов В. Уединенное. М., 1990. С. 289).

"Взбаламученное море" (1863) — роман А. Ф. Писемского.

"Некуда" (1864) — антинигилистический роман Н. С. Лескова.

"Вне колеи" (1882) — роман-хроника К. Ф. Головина.

С. 485. *За реестром "Опавших листьев"* — Розанов имел обыкновение вести точный учет полученных доходов за свои книги и статьи. Такие *"реестры"* сохранились в архиве Розанова.

С. 487. *Петлички, выпушки...* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. III, 12.

С. 488. *Чуковский в отчетах...* — 1 января 1910 г. в новогоднем отчете *"Русская литература"* в газете *"Речь"* К. И. Чуковский писал: "Русское общество в миновавшем году ненавидело свою литературу. Ненависть эта назревала давно, но теперь всех как будто прорвало, и похоже на то, что больше ждать нельзя ни минуты. Сейчас же нужно *"прекратить"* Андреева, Белого, Блока, Сологуба, — сию же минуту яду им дать или выслать в 24 часа? Только чтобы они не писали".

С. 489. *Евгения Ивановна* — Апостолопуло (ум. 1915), приятельница Розанова со времен Религиозно-философских собраний, у которой он с семьей гостил в Бессарабии (имение Сахарна) летом 1913 г. После ее смерти Розанов написал статью *"Памяти Е. И. Апостолопуло"* (Русский библиофил. 1916. № 8).

С. 492. *Как молодой повеса ждет свиданья...* — А. С. Пушкин. Скупой рыцарь (1830). Ст. 1.

С. 493. ...с мечом обращающимся — Быт. 3, 24.

С. 496. *Нет великого Патрокла...* — В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

С. 501. ...в князе Трубецком ("*Вл. Сол.*") — *Трубецкой Е.* Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913. Т. 1 — 2.

"Арсен Люпен" — французский писатель Морис Леблан создал персонаж виртуозного вора Арсена Люпена, неуловимого даже для Шерлока Холмса, в романе *"Арсен Люпен, джентельмен-громил"* (1907; рус. пер. 1907). Этот образ появляется и в других романах и рассказах Леблана, переводившихся в последующие годы на русский язык.

С. 503. *"Леса"* — роман П. И. Мельникова-Печерского *"В лесах"* (1875), посвященный Александру III.

...книга о *Страхове* — имеется в виду книга Розанова *"Литературные изгнанники"* (СПб., 1913), в основном посвященная Н. Н. Страхову и его письмам к Розанову.

Афанасий и Тертый — Афанасий Васильевич Васильев (1851 — после 1917), начальник Розанова в Государственном контроле, возглавлявший департамент железнодорожной отчетности. Тертый Иванович Филиппов (1825—1899) — директор Гос. контроля, писатель-славянофил.

С. 506. *Череменицкий* Иоанно-Богословский мужской монастырь — в Петербургской губернии в 20 верстах от г. Луга, на острове Череменицкого озера. Основан в XV в.

С. 507. *Анкета я прочитал...* — *Лецинский Я.* Из материалов одной студенческой анкеты // *Русская мысль*. 1914. № 7. С. 118—144 (вторая пагинация).

С. 508. *Корделия* — младшая дочь короля в "Короле Лире" У. Шекспира. ...*выдержки у Грифцова* — речь идет о статье Б. А. Грифцова "Письма Белинского" (София. 1914. № 4). 3-томное издание писем В. Г. Белинского под ред. Е. А. Ляцкого вышло в 1914 г.

С. 509. ..."*замечательное десятилетие*" — статья П. В. Анненкова "Замечательное десятилетие. 1838—1847. Из литературных воспоминаний" (Вестник Европы. 1880. № 1—5).

...*частная переписка 2-жи Мойер, Протасовой, Жуковского* — Уткинский сборник. I. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904.

С. 510. *Белинский в письмах* — здесь и далее Розанов цитирует по изданию: Белинский. Письма. Ред. и примеч. Е. А. Ляцкого. СПб., 1914. Т. 1—3.

С. 511. "*Белинский есть самое смрадное явление русской жизни*" — из письма Ф. М. Достоевского к Н. Н. Страху 18 (30) мая 1871 г.

Мечты поэта... — А. С. Пушкин. Герой (1830).

...*суждения о Корнеле* — в письме Ф. М. Достоевского к брату М. М. Достоевскому 1 января 1840 г.

С. 513. "*Голос провинции*" — такая газета выходила в 1914 г. в Умани (Киевская губ.).

С. 515. ...*в Троицком (сгоревшем) Соборе* — см. статью Розанова "К пожару Троицкого собора" (1913), включенную в его книгу "Среди художников" (СПб., 1914).

С. 517. "*Наталья Долгорукая*" — поэма И. И. Козлова "Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая" (СПб., 1828).

С. 519. "*Нет ни малейшего сомнения...*" — Розанов цитирует статью Д. С. Мережковского "Иваныч и Глеб" из его книги "Большая Россия" (СПб., 1910. С. 64).

С. 522. ...*Толстой называл "Мачтетом"* — ср.: "Мачтет, на языке Толстого, потому и был чуть не ругательным словом, что Мачтет не знал того, о чем писал" (*Лазурский В. Ф.* Воспоминания о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 42).

...*барыня, анонимно называвшая себя "княгиней"* — Любовь Васильевна Фадеева-Волгина, писавшая письма Надсону под именем графини Любы. Переписка опубликована после смерти Надсона (Книжки "Недели", 1887. № 11), имя корреспондентки изменено на "графиня Лида". См.: *Иванова Е. В.* История одной переписки // Альманах библиофила. М., 1989. Вып. 25.

С. 523. "*Александра Ивановна*" — имеется в виду рассказ В. М. Гаршина "Надежда Николаевна" (1885), а также "Происшествие" (1878).

С. 524. "*Всмотритесь, они все суть дети*" — речь идет о повести А. И. Куприна "Яма", о которой Розанов написал статью (Новое время. 1909. 26 ноября) и привел эти слова.

С. 527. "*Суд истории*" — статья П. Б. Струве, опубликована в "Русской мысли" (1914. № 8/9—11; 1916. № 7).

С. 528. *Стрючкие* — "Стрюцкий" — есть человек пустой, дрянной — и ничтожный" (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877. Ноябрь. I).

"*Омир*" — первые русские прозаические переводы Гомера выходили под таким именем: Омировых творений часть 1 и часть 2. Перевел с греческого языка Петр Екимов. СПб., 1776—1778; Одиссея героическое творение Омира. Переведена с эллино-греческого языка П. Соколовым. М., 1788.

С. 529. ..."*зерно, брошенное в землю*" — Ин. 12, 24.

...*без носового платка я странствую* — ср. запись в первом коробе "Опавших листьев" (16 мая 1912): "Я хочу "на тот свет" прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше".

С. 530. ...*только 20-го числа* — день выдачи жалованья служащим.

С. 531. *"Мальбрук в поход собрался"* — французская песенка времен войны за испанское наследство об английском герцоге Мальборо (1650—1722). В России широкое распространение получила во время Отечественной войны 1812 г. и после (Ноздрев в "Мертвых душах" развлекает гостей шарманкой, играющей эту песенку). Иносказательно применяется к человеку, предпринявшему что-либо, окончившееся конфузом.

Не будем называть имен — Овидий. Героиды. XIII, 54.

С. 532. *Кифа Мокеевич* (Кифа Мокиевич) — персонаж из "Мертвых душ" (гл. 11) Гоголя, развивающий нелепые теории.

"Не отойдет жезл от Иуды..." — Быт. 49, 10.

"Человек" — поэма в прозе М. Горького (1904); драма Л. Н. Андреева *"Жизнь человека"* (1907).

С. 533. *"На бойком месте"* (1865) — пьеса А. Н. Островского.

...школьный учитель — имеется в виду ставшее крылатым выражение немецкого профессора географии в Лейпциге Оскара Пешеля (1826—1875): "Битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель" (еженедельник "Аусланд". 1866. № 29). Это произошло 3 июля 1866 г. во время австро-прусской войны, когда прусская армия разгромила австрийскую армию.

С. 535. *... "в стан погибающих"* — Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).

С. 536. *Бетилы* — каменные столбы, которым поклонялись на Древнем Востоке и в Греции (см.: *Кагаров Е.* Культ фетишей растений и животных в Древней Греции. СПб., 1913. С. 25—26).

С. 543. *Как эта глупая луна...* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. III, 5.

С. 544. *Миква* — еврейский религиозный обряд, описанный Розановым в "Уединенном" (*Розанов В. В.* Уединенное. М., 1990. С. 39—42).

Супруг ревнивых коз... — А. К. Толстой. "Супруг блудливых коз..." (1856). Перевод из Андре Шенье.

С. 545. *... "история священника Рудакова"* — *Рудаков А.* История христианской Православной церкви. СПб., 1910.

С. 547. *Дива была вся окружена цветами...* — польская певица Марчелла Зембрих (1858—1935). Во время ее гастролей в России Розанов был на ее концертах 8 апреля 1909 г., когда она подарила ему свой портрет с дарственной надписью. Статью о ней Розанов включил в свою книгу "Среди художников".

С. 549. *"Лермонтов и современность"* — книга А. К. Закржевского, вышла в свет осенью 1914 г., хотя на титульном листе указано: Киев, 1915.

...Погодина, возражавшего Писареву... — см.: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888—1910. Т. 1—22.

...до Страхова, боровшегося с Чернышевским — имеются в виду статьи Н. Н. Страхова, вошедшие в его книгу "Из истории литературного нигилизма (1861—1865 гг.)". СПб., 1890.

Достоевского, спорившего с "бовым" — статья Ф. М. Достоевского против взглядов Н. А. Добролюбова ("Г-н—бов и вопрос об искусстве") появилась в журнале "Время". 1861. № 2, без подписи.

Юнкерские дурачества Полежаева — имеется в виду поэма А. И. Полежаева "Сашка" (1825), за которую автор был отдан в солдаты.

С. 551. *"Дневник"* (1888—1892) — посмертное издание записок критика и литературоведа А. В. Никитенко, много лет работавшего в цензуре.

С. 552. *И братъ хочется в лицо железный стих...* — М. Ю. Лермонтов. "Как часто, пестрою толпою окружен..." (1840).

... "родному человечку" — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 5.

... "на куртаге оступались". — Там же. II, 2.

"И говорит, как пишет". — Там же.

С. 554. *Герцена Маркс печатно обвинял...* — см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1961. Т. 18. С. 432—433).

С. 557. "О гоголевском периоде литературы" — имеются в виду "Очерки гоголевского периода русской литературы" Н. Г. Чернышевского (статьи 1—9, опубликованные в 1855—1856 гг. в журнале "Современник").

С. 559. *Но тем усерднее они читали иностранцев...* — ср. запись 19 апреля 1914 г. в "Мимолетном. 1914 год" (Розанов В. В. Собр. соч. Мимолетное. М., 1994. С. 64—65 (о чтении тех же иностранцев).

С. 560. "Человечеству свойственно ошибаться" — Сенека. Контroversии. IV, 3.

С. 561. *...гвардия... умирает, но не сдается* — выражение приписывается генералу Камбронну (1770—1842), командовавшему дивизией наполеоновской армии в сражении при Ватерлоо 18 июня 1815 г., в ответ на предложение англичан сдаться.

С. 565. "О некоторых средневековых обвинениях против евреев: Историческое исследование по источникам" — книга Д. А. Хвольсона (1819—1911), вышедшая в Петербурге в 1880 г.

С. 568. *Песахим* — название одного из трактатов в Талмуде, в котором рассматриваются правила празднования Пасхи.

Тигр. — музыковед Фаддей Яковлевич Тигранов, о котором Розанов писал в "Уединенном" ("Трех людей я встретил умнее...").

С. 569. *...лошадь покушается на жену Геракла* — кентавр Несс при переправе через реку Эвен посягнул на ехавшую на нем верхом Деяниру, жену Геракла, за что тот поразил Несса стрелой из лука (Аполлодор. Библиотека. II, 7, 6).

С. 571. *Грамматика Кюнера* — Кюннер Р. Латинская грамматика. М., 1867 (ряд переизданий).

С. 572. *Лысый, с белой бородою...* — И. С. Никитин. Дедушка (1859).

С. 578. *Кондратий Селиванов нашел, что делать* — речь идет об основателе секты скопцов Кондратии Ивановиче Селиванове (ум. 1832).

С. 579. *Для себя* — источник латинского выражения — название одной из речей Цицерона.

С. 583. *Это старая история* — Г. Гейне. "Юноша девушку любит..." (1823) (из цикла "Лирическое интермеццо" в "Книге песен").

С. 584. *...там не было вовсе литературы* — В. Г. Белинский. Литературные мечтания (1834).

С. 588. *...мне поделом досталось от П. С.* — имеется в виду статья П. Б. Струве "Большой писатель с органическим пороком (несколько слов о В. В. Розанове)" в журнале "Русская мысль" (1910. № 11).

Верочка М—ва — курсистка Вера Александровна Мордвинова (1895—1966).

С. 592. *Он владелец собственной газеты* — газета "День" в Петербурге.

С. 593. "Жили-были" (1901) — рассказ Л. Н. Андреева.

Я Кувель, и никакое животное мне не чуждо — перефразировка латинского изречения Теренция ("Сам себя карающий", I, 1): "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо".

- Аарон*, в Ветхом Завете первосвященник, старший брат Моисея — 225
- Абеляр* Пьер (1079—1142), французский философ, теолог, поэт — 244
- Август* (до 27 до н. э. Октавиан) (63 до н. э. — 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) — 74, 82, 87, 149, 208, 304
- Августин* Аврелий (354—430), христианский церковный деятель, философ, теолог, писатель — 471
- Авель*, в Ветхом Завете сын Адама и Евы, убитый своим братом Каином — 126, 432, 442
- Авессалом*, в Ветхом Завете один из сыновей царя Давида — 464
- Авраам*, в Ветхом Завете патриарх, прародитель еврейского народа — 209, 225, 229, 230, 266, 274, 385, 440, 441, 475
- Аврелиан* (214/215—275), римский император (с 270) — 76
- Аврелий* Марк (121—180), римский император (с 161) из династии Антонинов и философ-стоик — 368
- Агарь*, в Ветхом Завете служанка, наложница Авраама — 274
- Агеев* Константин Маркович (1868—1919, по др. данным 1920), православный священник, богослов, религиозный писатель — 214—216
- Адонис*, в финикийской мифологии бог плодородия — 542, 549
- Азеф* Евно Фишелевич (1869—1918), один из лидеров партии эсеров и секретный сотрудник полиции, в 1908 г. разоблачен как провокатор — 290, 554, 555, 575
- Азов* (наст. имя и фам. Владимир Александрович Ашкинази) (1873 — не ранее 1941), журналист, фельето-
нист, переводчик, с 1926 г. в эмиграции — 248
- Айзман* Давид Яковлевич (1869—1922), прозаик, драматург — 277, 476
- Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872—1928), литературный критик, в 1922 г. выслан из страны — 234, 430—435, 584
- Акиба* бен Иосиф (50—132/135), еврейский законоучитель — 229, 230, 511
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886), публицист, поэт, журналист-издатель, общественный деятель — 168, 344, 415, 419, 444, 494, 560
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, историк, лингвист, поэт — 413, 415, 419
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель — 196, 238, 419, 510
- Аксаковы* — 306, 416, 556, 560
- Аладьин* Алексей Федорович (1873—1927), публицист, депутат I Государственной думы, трудовик, с 1907 г. в основном жил за границей — 100, 108, 118—120, 383
- Александр I* (1777—1825), российский император (с 1801) — 44, 45
- Александр II* (1818—1881), российский император (с 1855) — 75, 113, 140, 178, 247, 248, 387, 412, 427, 509, 518, 522
- Александр III* (1845—1894), российский император (с 1881) — 71, 147, 178, 427, 519
- Александр VI* (Родриго Борджиа) (1431—1503), папа римский (с 1492) — 74, 352, 353
- Александр Македонский* (356—323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.), создатель крупнейшей мировой державы древности — 149—151,

- 154, 205, 208, 225, 304, 348, 367, 454, 471, 561
- Александр Невский* (1220—1263), князь Новгородский (1236—1251), великий князь Владимирский (с 1252), полководец — 51, 457
- Александров* Анатолий Александрович (1861—1930), журналист, поэт, редактор-издатель журнала "Русское обозрение" — 244
- Алексеев*, петербургский рабочий — 122
- Алексей Александрович* (1850—1908), великий князь, сын Александра II, генерал-адмирал, главный начальник флота и морского ведомства (1881—1905), член Государственного совета — 153
- Алексей Михайлович* (1629—1676), русский царь (с 1645) — 36, 37, 107, 151
- Алкиад* (ок. 450—404 до н. э.), афинский военный и политический деятель — 99, 226
- Албов* Иоанн Федорович, православный священник, с которым полемизировал Розанов, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге — 273—275
- Амвросий Оптиный* (Александр Михайлович Гренков) (1812—1891), неросхимонах, старец Оптиной пустыни, духовный писатель — 392
- Амолик* (Бен-Амми), в Ветхом Завете сын Лота и его младшей дочери — 538
- Амфитеатров* Александр Валентинович (1862—1938), писатель, публицист, фельетонист, критик, с 1921 г. в эмиграции — 380, 382, 383, 483, 518, 522, 523, 532, 575, 581
- Анахарсис*, скиф из царского рода, пытавшийся ввести на родине греческие порядки после возвращения из Афин ок. 594 до н. э. — 74, 179, 395, 396
- Андерсен* Ханс Кристиан (1805—1875), датский писатель-сказочник — 553
- Андерсон* Владимир Максимилианович (1880—1923), библиограф — 241
- Андреев* Василий Васильевич (1861—1918), организатор и руководитель первого оркестра народных инструментов, был в дружеских отношениях с Розановым — 198
- Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919), писатель — 235, 294, 295, 395, 431, 443, 499—502, 521, 532, 584, 593
- Андреевский* Сергей Аркадьевич (1847/1848—1918), поэт, литературный критик, юрист — 592, 593
- Андрей*, служащий редакции газеты "Новое время" — 212
- Андрей Первозванный*, в Новом Завете апостол, в православии считается первым проповедником христианства в русских землях — 355
- Аникин* Степан Васильевич (1868—1919), писатель и публицист, депутат I Государственной думы, трудовик, деятель кооперативного движения — 100, 108, 109, 113, 120
- Анна Болейн* (ок. 1507—1536), английская королева, вторая жена Генриха VIII (с 1533), казнена — 335
- Анненков* Павел Васильевич (1813, по др. данным 1812—1887), критик, историк литературы, мемуарист — 509
- Анненский* Николай Федорович (1843—1912), публицист, экономист, общественный деятель — 211
- Антокольский* Марк Матвеевич (1843—1902), скульптор — 435
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский) (1846—1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898) — 33, 215, 290, 497
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863—1936), епископ Вольнский (1901—1906), архиепископ Харьковский и Житомирский (1914—1918), митрополит Киевский и Галицкий (1918), с 1920 г. в эмиграции — 128, 156, 234
- Антонин* (Александр Андреевич Грановский) (1865, по др. данным 1860—1927), магистр богословия, епископ Нарвский, vicарий Санкт-Петербургской епархии (с 1903) — 497, 498
- Апостолопуло* (урож. Богдан) Евгения Ивановна (1857—1915), знакомая Розанова со времен Религиозно-философских собраний в Петербурге — 489

- Апраксин Федор Матвеевич** (1661—1728), генерал-адмирал, сподвижник Петра I — 14, 15
- Апулей** (ок. 125—ок. 180), римский писатель — 543
- Аракчеев Алексей Андреевич** (1769—1834), политический и военный деятель, пользовался большим влиянием при Александре I — 97, 223, 400
- Арий** (ок. 260/280—336), священник из Александрии, основатель еретического течения в христианстве—арианства — 34
- Аристид** (ок. 540—ок. 467 до н. э.), афинский полководец — 574
- Аристотель** (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист — 221, 347, 348, 367, 368, 448
- Арсеньев Константин Константинович** (1837—1919), юрист, критик, публицист, журналист, общественный деятель — 304, 560, 561
- Артасеркс**, один из царей государства Ахеменидов (V—IV в. до н. э.) — 178—180
- Арцыбашев Михаил Петрович** (1878—1927), писатель, с 1923 г. в эмиграции — 235, 488
- Афанасий Великий** (295—373), христианский теолог и писатель, епископ Александрийский (с 328) — 34
- Аш Шолом** (1880—1957), еврейский писатель, с 1909 г. жил в США — 277, 476
- Ашенбреннер Михаил Юльевич** (1842—1926), член военной организации народовольцев, подполковник, в 1884—1904 гг. узник Шлиссельбургской крепости — 451
- Бабёф Грах** (наст. имя Франсуа Нозль) (1760—1797), французский революционер, сторонник уравнительного коммунизма — 582
- Байрон Джордж Ноэл Гордон** (1788—1824), английский поэт, член палаты лордов (с 1809) — 75, 235, 243, 244, 263, 265, 456
- Бакст** (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924), живописец, график, театральный художник, умер в Париже — 286
- Бакунин Михаил Александрович** (1814—1876), революционер, теоретик анархизма — 113, 116, 291, 333, 334, 416, 421, 422, 483, 554, 555
- Балтрушайтис Юргис Казимирович** (1873—1944), поэт, переводчик, театральный деятель, дипломат, умер в Париже — 419
- Бальмонт Константин Дмитриевич** (1867—1942), поэт, критик, публицист, переводчик, с 1920 г. в эмиграции — 431, 432
- Барклай-де-Толли Михаил Богданович** (1761—1818), генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 г. — 25
- Барков Иван Семенович** (ок. 1723—1768), поэт, переводчик, известен как автор непристойных сочинений — 419, 496
- Баркохба** (Бар-Кохба — "сын звезды"), почетное имя, данное Симону Бар-Косибе (ум. 135), предводителю антиримского восстания иудеев (132—135) — 322
- Барон Брамбеус** — псевдоним О. И. Сенковского
- Барсуков Николай Платонович** (1838—1906), историк литературы и общественной мысли, археограф, библиограф, издатель — 75, 76, 393
- Барятинский Александр Иванович** (1815—1879), генерал-фельдмаршал, главнокомандующий и наместник на Кавказе (1856—1862) — 444
- Батюшков Константин Николаевич** (1787—1855), поэт — 518, 591
- Баубасто** (Баубо), в греческой мифологии жительница Элевсина, которая радушно приняла в своем доме и разместила богиню Деметру — 401
- Башлаков**, издатель — 292
- Безбородко** (Безбородки), дворянский (княжеский и графский) род — 45
- Бейлис Мендель Тевье** (ок. 1874—1934), приказчик кирпичного завода в Кieve, обвиненный в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Ющинского и на процессе (1913) признанный

- невиновным, после процесса уехал за границу — 205, 247, 248, 277, 286, 381, 383, 386, 532
- Беленцов* — 181
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848), литературный критик, публицист, общественный деятель — 197, 284, 329, 330, 332, 342, 380, 381, 391, 405, 413, 415—417, 420, 450, 457, 488, 508—512, 554—560, 584, 591
- Беллюстин* (Белюстин) Иван Степанович (1820—1890), православный священник, публицист — 340
- Белорусов* (Белоруцков) (наст. фам. Белевский) Алексей Станиславович (1859—1919), писатель, публицист — 437
- Беляев* Юрий Дмитриевич (1876—1919, по др. данным 1917), драматург, театральный критик, сотрудник газеты "Новое время" — 212
- Бенуа* Александр Николаевич (1870—1960), художник, историк искусства, художественный критик, с 1926 г. жил за границей — 286
- Беранже* Пьер Жан (1780—1857), французский поэт — 316
- Берг* Федор Николаевич (1839—1909), писатель, переводчик, редактор журнала "Русский вестник" (1887—1895) — 244
- Бероз* (сер. III в. до н. э.), вавилонский жрец — 578
- Берта* (VI в.), франкская принцесса, жена англосаксонского (кентского) короля Этельберта — 47
- Бертран дю Гесклен* — см. Дюгеклен Б.
- Бехтерев* Владимир Михайлович (1857—1927), невролог, психиатр, психолог — 372
- Бецкие*, имеется в виду Иван Иванович Бецкой (1703/1704—1795), административно-политический деятель — 45
- Бикерман* Иосиф Манасиевич (1867—1942), публицист — 476
- Биконсфилд* — см. Дизраэли
- Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815—1898), первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890) — 51, 349, 369, 533
- Благов* Федор Иванович (1873—1934), редактор газеты "Русское слово", зять И. Д. Сытина — 242, 243, 380
- Благовещенский* Николай Александрович (1837—1889), писатель, этнограф, сын священника, сокурсник Н. Г. Помяловского по духовной семинарии — 135
- Благовидов* Федор Васильевич (1865—?), церковный историк — 34
- Благосветлов* Григорий Евлампиевич (1824—1880), публицист, журналист — 259, 343, 379, 405, 456, 457, 484, 509, 573
- Блан* Луи (1811—1882), французский политический деятель, социалист — 42
- Блюнчли* Иоганн Каспар (1808—1881), швейцарский правовед, историк, политический деятель — 345, 364, 365, 367
- Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель, с 1914 г. жил за границей — 219, 475, 571
- Бобрков* Николай Иванович (1839—1904), генерал-адъютант, генерал-губернатор Финляндии (с 1898) — 140
- Бобринский* Владимир Алексеевич (1867—1927), депутат II—IV Государственной думы, один из лидеров фракции умеренно правых и националистов, с 1919 г. в эмиграции — 269
- Богданов* (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович (1873—1928), деятель революционного движения, врач, философ, экономист — 290
- Богданов-Бельский* Николай Петрович (1868—1945), живописец, с 1921 г. жил за границей — 283
- Боголепов* Николай Павлович (1846—1901), министр народного просвещения (с 1898), смертельно ранен П. В. Карповичем — 400
- Бозров* Дмитрий Григорьевич (Мордко (Мордехай) Гершков) (1887—1911), член группы анархистов и максималистов, секретный сотрудник охранного отделения, смертельно ранен П. А. Столыпина, повешен — 286, 400
- Богучарский* (наст. фам. Яковлев) Василий Яковлевич (1860, по др. данным

- 1861—1915), публицист, историк, издатель — 247, 306, 332, 339, 406, 407, 469
- Бокль* Генри Томас (1821—1862), английский историк и социолог — 12, 213, 277, 297, 343, 344, 388, 405, 442, 509, 522, 539, 559, 571, 580
- Болтин* Иван Никитич (1735—1792), историк, политический деятель, издатель — 512
- Болтина* (в замужестве Салтыкова) Елизавета Аполлоновна (1841—1910), жена М. Е. Салтыкова-Щедрина — 333
- Бомарше* Пьер Огюстен (1732—1799), французский драматург — 370
- Бонч-Бруевич* Владимир Дмитриевич (1873—1955), политический деятель, историк, автор работ о сектантстве — 246
- Боратынский* (Баратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт — 252, 558
- Борджиа* (Борджа) Лукреция (1480—1519), дочь Родриго Борджиа, будущего папы Александра VI — 399
- Борис Годунов* (ок. 1552—1605), русский царь (с 1598) — 149
- Борк* (Бёрк) Эдмунд (1729—1797), английский философ, публицист, политический деятель — 581
- Борнгардт* (Борнгард) Федор Федорович (1876—?), сотрудник газеты "Новое время" — 212
- Боссюэт* (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704), французский церковный деятель, теолог, писатель — 249, 581
- Боткин* Сергей Петрович (1832—1889), терапевт, основатель крупнейшей школы русских клиницистов — 18
- Бозций* Аниций Манлий Северин (ок. 480—524), римский полгитический деятель и христианский философ — 12
- Бредихин* Федор Александрович (1831—1904), астроном — 550, 551
- Брем* Альфред Эдмунд (1829—1884), немецкий зоолог, путешественник, популяризатор — 344, 405
- Бродские*, предприниматели, сахарозаводчики — 234, 285, 331
- Брокгауз* Эдуард (1829—1914), немецкий издатель русского Энциклопедического словаря, внук основателя фирмы Фридриха Арнольда Брокгауза (1772—1823) — 304, 561
- Бруно* Джордано (1548—1600), итальянский философ и поэт — 286
- Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.), римский республиканец, участник заговора против Юлия Цезаря — 498
- Брюсов* Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт и прозаик, литературовед, критик, общественный деятель — 251
- Будда* (букв. "просветленный"), имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н. э.) — 171
- Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944), экономист, философ, богослов, публицист, в конце 1922 г. выслан из страны — 450
- Булгарин* Фаддей (Тадеуш) Венедиктович (1789—1859), писатель, журналист, критик, издатель — 488
- Буренин* Виктор Петрович (1841—1926), литературный и театральный критик, поэт — 204, 360, 431
- Бурцев* Владимир Львович (1862—1942), публицист, издатель, разоблачил многих агентов охранки, с 1918 г. в эмиграции — 486, 554, 575, 576
- Буслаев* Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства — 50, 395, 549—551
- Буткевич* Тимофей Иванович (1854—?), протоиерей, профессор богословия, писатель, член Государственного совета — 156
- Бутлеров* Александр Михайлович (1828—1886), химик-органик — 339
- Бутурлин* Дмитрий Петрович (1790—1849), военный историк, генерал-майор, председатель Комитета высшего надзора за духом и направлением печатаемых произведений (с 1848) — 488
- Бутягина* Александра Михайловна (1882/1883—1920), приемная дочь Розанова — 204, 361, 363, 501, 584

- Бутягина* (урожд. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864—1923), втора жена Розанова — 239, 240, 364, 376, 417, 421, 448, 449
- Бэкон* Роджер (ок. 1214—1294), английский философ, теолог, естествоиспытатель — 197
- Бэкон* Фрэнсис (1561—1626), английский философ и политический деятель — 296
- Бюффон* Жорж Луи Леклерк (1707—1788), французский естествоиспытатель — 225
- Бюхнер* Людвиг (1824—1899), немецкий врач, естествоиспытатель, философ — 168, 187, 332, 533, 549, 571
- В., Вая* — см. Бутягина В. Д.
- Ваал*, древнейшее название бога или богов в Финикии, Палестине, Сирии — 127, 277, 278, 545
- Валуев* Петр Александрович (1815—1890), министр внутренних дел (1861—1868), председатель Комитета министров (1879—1881) — 444, 468
- Вальполь* (Уолпол) Роберт (1676—1745), английский политический деятель, премьер-министр (1721—1742) — 82
- Варава*, в Новом Завете обвиненный в убийстве человека, которого помиловали, осудив тем самым на казнь Иисуса Христа — 248
- Василий III* (1479—1533), великий князь Московский (с 1505) — 512
- Василий IV Шуйский* (1552—1612), русский царь (1606—1610) — 149
- Василий Великий* (ок. 330—379), христианский церковный деятель, теолог, философ, епископ Кесарийский (Малая Азия) — 561
- Васильев* Афанасий Васильевич (1851—после 1917), публицист, поэт, издатель, генерал-контролер (с 1893), возглавлял департамент железнодорожной отчетности, где служил Розанов — 494, 503, 595
- Васильева*, знакомая Розановых из Казани — 534
- Васильева* Саша, знакомая Розановых — 205
- Вебер* Георг (1808—1888), немецкий историк — 405
- Венгеров* Семен Афанасьевич (1855—1920), историк русской литературы и общественной мысли, библиограф — 234, 297, 304, 419, 435
- Венгерова* Зинаида Афанасьевна (1867—1941), литературный критик, историк литературы, переводчица, жена Н. М. Минского (с 1925), после 1921 г. жила за границей — 435
- Вербицкая* (урожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна (1861—1928), писательница — 443, 488, 500, 557
- Верль* Екатерина Дмитриевна, директриса Брянской прогимназии — 374
- Веспасиан* (9—79), римский император (с 69) из династии Флавиев — 159
- Веста*, в римской мифологии богиня домашнего очага — 514, 526
- Вигуру* Фюлькран Грегуар (1837—1915), французский теолог — 321
- Виктория* (1819—1901), английская королева (с 1837) из Ганноверской династии — 46
- Викторова* Фекла Анисимовна, с 1877 г. Некрасова Зинаида Николаевна (1851—1915), жена Н. А. Некрасова — 254
- Вильгельм I* (1797—1888), прусский король (с 1861) и германский император (с 1871) из династии Гогенцоллернов — 369
- Вильгельм II* (1859—1941), германский император и прусский король (1888—1918) из династии Гогенцоллеров — 503
- Винавер* Максим Моисеевич (1863—1926), юрист, один из основателей и теоретиков партии кадетов, депутат I Государственной думы, активный деятель еврейских организаций, после 1919 г. в эмиграции — 234, 266, 394, 532
- Виндельбанд* Вильгельм (1848—1915), немецкий философ — 506
- Виницкая* (наст. фам. Будзианик) Александра Александровна (1847—1914), писательница — 282, 284
- Виргилий* (Вергилий) Марон Публий (70—19 до н. э.), римский поэт — 97, 346
- Витгефт* Вильгельм Карлович (1847—1904), контр-адмирал — 144

- Витте* Сергей Юльевич (1849—1915), председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905—1906), автор Манифеста 17 октября 1905 г., мемуарист — 69, 75, 117, 296, 502
- Владимир I Святой* (ум. 1015), князь Новгородский (с 969), великий князь Киевский (с 980), ввел в качестве государственной религии христианство (988—989) — 79, 344
- Владимир II Мономах* (1053—1125), князь Смоленский (с 1067), Черниговский (с 1078), Переяславский (с 1093), великий князь Киевский (с 1113) — 51
- Владиславлев* Михаил Иванович (1840—1890), философ, логик, психолог — 252
- Вовчок* Марко (наст. имя и фам. Мария Александровна Вилинская, в первом браке Маркович, во втором Лобач-Жученко) (1833—1907), украинская и русская писательница, переводчица — 557
- Вознесенский* Александр Иванович (1867—?), религиозный писатель — 239.
- Волконский* Сергей Григорьевич (1788—1865), генерал-майор, декабрист — 269, 412
- Вольтер* (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ — 73, 74, 154, 235, 341, 344, 352, 458, 483, 578, 581
- Вооз*, в Ветхом Завете муж Руфи — 425, 440, 441, 479
- Воробьева*, знакомая Розанова — 289
- Вундт* Вильгельм (1832—1920), немецкий психолог, физиолог, философ — 311
- Высотский* (Высоцкий) Владимир Федорович, знакомый Розанова — 251
- Вышнеградский* Иван Алексеевич (1831/1832—1895), ученый, основатель научной школы по конструированию машин, министр финансов (1888—1892) — 28
- Гааг* Луиза Ивановна (1795—1851), мать А. И. Герцена — 582
- Габорио* Эмиль (1832—1873), французский писатель — 196, 328
- Гамалиил*, в Новом Завете законоучитель, член синадрона, представитель умеренного направления среди фарисеев — 208
- Ганзен* Анна Васильевна (1869—?), переводчица, жена П. Г. Ганзена — 553
- Ганзен* Петр Готфридович (1846—1930), датско-русский литературный деятель, переводчик — 553
- Гапон* Георгий Аполлонович (1870—1906), священник, организовал "Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга", инициатор шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., был разоблачен П. М. Рутенбергом как провокатор, убит — 87—89, 303
- Гаррис* — см. Каллаш М. А.
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855—1888), писатель — 486, 523
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ — 343, 485, 559, 560
- Гей* (Гейман) Богдан Вениаминович, публицист, заведующий иностранным отделом газеты "Новое время" — 212
- Гейден* Петр Александрович (1840—1907), земский и административный деятель, президент Вольного экономического общества (с 1895), депутат I Государственной думы — 108, 115, 118
- Гейне* Генрих (1797—1856), немецкий поэт и публицист — 290, 435, 593
- Гейссер* Людвиг (1818—1867), немецкий историк — 124, 125
- Гексли* Томас Генри (1825—1895), английский биолог, последователь Ч. Дарвина — 571
- Гектор*, в греческой мифологии троянский герой — 7
- Гельмгольц* Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894), немецкий физик, биофизик, физиолог, психолог — 533
- Генрих VIII* (1491—1547), английский король (с 1509) из династии Тюдоров — 335

- Геракл* (Геркулес), в греческой мифологии герой, совершивший множество подвигов — 74, 542, 545, 569
- Геродот* (490/480—ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк — 44, 424
- Герцен* Александр Иванович (1812—1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель — 113, 114, 116, 197, 219, 233—235, 330, 343, 389, 391, 416, 420, 421, 432, 477—479, 512, 550, 551, 554, 582, 584, 591
- Герценштейн* Михаил Яковлевич (1859—1906), экономист, служил в Московском земельном банке (1886—1901), один из основателей партии кадетов, депутат I Государственной думы, убит черносотенцами — 285, 491, 492, 531, 532
- Гершензон* Михаил (Мейлах) Осипович (1869—1925), историк русской литературы и общественной мысли, философ, публицист, переводчик — 234, 248, 329, 435, 467, 541, 584
- Гершуни* Григорий Андреевич (Герш Ицкович) (1870—1908), один из основателей и лидеров партии эсеров, руководитель ее Боевой организации, в 1903—1906 г. в заключении, потом бежал с каторги за границу — 128
- Герье* (урожд. Станкевич) Авдотья Ивановна, жена В. И. Герье — 582
- Герье* Владимир Иванович (1837—1919), историк, один из создателей системы высшего женского образования в России, один из лидеров "Союза 17 октября", член Государственного совета — 110, 135, 356, 405, 582
- Гессен* Иосиф Владимирович (1865, по др. данным 1866—1943), юрист, один из основателей и лидеров партии кадетов, депутат II Государственной думы, редактор газеты "Речь", с 1920 г. в эмиграции — 223, 270, 327
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, естествоиспытатель, мыслитель — 197, 313, 435, 471
- Гизо* Франсуа (1787—1874), французский историк и политический деятель — 11, 247, 535
- Гизы*, французский аристократический род, боковая ветвь герцогов Лотарингских — 249
- Гилель Старший* (ок. 60 до н. э. — ок. 10 н. э.), еврейский законоучитель, председатель синедриона — 208
- Гильдебрандт* — см. Григорий VII
- Гилляров-Платонов* Никита Петрович (1824—1887), публицист, философ, историк, издатель — 419, 462, 468, 469, 480, 494, 594
- Гинсбург* (Гинцбург) Гораций Осипович (1833—1909), банкир, предприниматель — 234, 329, 382, 530, 531
- Гинсбург* (Гинцбург) Илья Яковлевич (1859—1939), скульптор — 435
- Гиппиус* (в замужестве Мережковская) Зинаида Николаевна (1869—1945), писательница, литературный критик, с 1920 г. в эмиграции — 339, 384, 385, 387, 388, 406, 469, 498, 592
- Гиппиус* Наталия Николаевна (1880—1963), скульптор, сестра З. Н. Гиппиус — 388
- Гиппиус* Татьяна Николаевна (1877—1957), художница, сестра З. Н. Гиппиус — 388
- Глубоковский* Николай Никанорович (1863—1937), богослов, историк церкви, с которым Розанов вел многолетнюю переписку — 277
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852), писатель — 16, 25, 40, 49, 65, 67, 164, 184, 196, 220, 221, 239, 270, 281—284, 330, 338, 346, 391, 393, 398, 406, 428, 433, 435, 456, 457, 461, 462, 466, 471, 510, 517, 518, 523, 535, 553, 561, 573, 580, 581, 587, 588, 591
- Голицынев-Кутузов* Арсений Аркадьевич (1848—1913), поэт — 252, 341, 416
- Головин* Василий Михайлович (1776—1831), мореплаватель, вице-адмирал — 79
- Гольденберг* Иосиф Петрович (1873—1922), социал-демократ, большевик, после 1910 г. порвал с большевиками, в 1921 г. вступил в Коммунистическую партию — 290
- Гомер*, полупоэтический древнегреческий эпический поэт — 255, 283, 480, 511, 528

- Гончаров Иван Александрович** (1812—1891), писатель — 17, 135, 168, 281, 484, 535, 591
- Гораций** (Квинт Гораций Флакк) (65—8 до н. э.), римский поэт — 155, 159, 346, 352, 483
- Горемыкин Иван Логгинович** (1839—1917), министр внутренних дел (1895—1899), председатель Совета министров (1906, 1914—1916) — 101, 104, 108, 115, 119, 121, 427, 437, 439
- Горнфельд Аркадий Георгиевич** (1867—1941), литературный критик, публицист, переводчик, сотрудник журнала "Русское богатство" — 233, 277, 332, 381, 382, 415, 421
- Горский Александр Васильевич** (1812—1875), историк, археолог — 551
- Горький Максим** (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868—1936), писатель, литературный критик, публицист, общественный деятель — 160, 161, 287, 288, 290, 342, 350, 499—501, 532
- Гостомысл**, легендарный предводитель и первый князь (посадник) новгородских словен (1-я пол. IX в.) — 377
- Граммати**, публицист, сотрудник журнала "Вестник Европы" — 531
- Грей Томас** (1716—1771), английский поэт — 107, 108
- Грессер Петр Аполлонович** (1833—1892), генерал, петербургский градоначальник (1882—1892) — 263
- Гретьц** (Грец) Генрих (1817—1891), немецкий историк, родом из Польши, автор книг по истории евреев — 151, 207, 209
- Грибоедов Александр Сергеевич** (1795—1829), писатель и дипломат — 65, 77, 219, 270, 281—283, 447, 456, 478, 518, 528, 553, 561, 580, 581, 591
- Григорий I Великий** (540—604), римский папа (с 590) — 353
- Григорий VII Гильдебранд** (1015/1020—1085), папа римский (с 1073) — 316
- Григорьев Аполлон Александрович** (1822—1864), критик, поэт, переводчик, мемуарист — 379, 380, 393, 415, 416, 580
- Гримм Давид Давидович** (1864—1941), юрист, член Государственного совета, ректор Петербургского университета (1910—1911), после 1917 г. в эмиграции — 233
- Гримм Якоб** (1785—1863), немецкий филолог — 395
- Грингмут Владимир Андреевич** (1851—1907), филолог, педагог, публицист, издатель-редактор газеты "Московские ведомости" (с декабря 1896), основатель "Русского монархического союза" (1905) — 147
- Гриневицкий Игнатий Иоахимович** (ок. 1856—1881), народоволец, убивший Александра II — 175
- Грифцов Борис Александрович** (1885—1950), критик, переводчик, литературовед, искусствовед — 508
- Грот Константин Яковлевич** (1859—?), филолог и архивист, сын Я. К. Грота — 237
- Грот Яков Карлович** (1812—1893), филолог, историк литературы — 237, 238, 355
- Грузенберг Оскар Осипович** (1866—1940), юрист и общественный деятель — 203, 532
- Грузинский Алексей Евгеньевич** (1858—1930), филолог, переводчик, педагог — 509
- Гудович Василий Васильевич** (ум. после 1917), земский и административный деятель, октябрист, председатель Петербургского ЦК "Союза 17 октября" (1906) — 179
- Гурко Владимир Иосифович** (1863—1931), товарищ министра внутренних дел (1906), член Государственного совета — 119, 380
- Гутен (Гуттен) Ульрих фон** (1488—1523), немецкий писатель, вдохновитель рыцарского восстания 1522—1523 гг. — 386
- Гутенберг Иоганн** (1394/1399 или 1406—1468), немецкий изобретатель книгопечатания — 361, 384
- Гюго Виктор Мари** (1802—1885), французский писатель — 244, 478

- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004—ок. 965 до н. э.) — 70, 72, 127, 147, 149, 151, 319, 464
- Давидов Август Юльевич* (1823—1885), математик, профессор Московского университета, автор многих популярных учебников — 7
- Д'Аламбер Жан Лерон* (1717—1783), французский математик, механик, философ — 74
- Далила* (Далида), в Ветхом Завете возлюбленная Самсона, выдавшая его противникам тайну его силы — 105, 106
- Даль Владимир Иванович* (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф — 50, 580
- Дамаянти*, персонаж индийского эпоса, жена Наля — 253, 485, 486
- Данилевский Николай Яковлевич* (1822—1885), социолог, философ, публицист — 181, 222, 411, 417, 420, 480, 495
- Д'Аннунцио Габриеле* (1863—1938), итальянский писатель и политический деятель — 502
- Данте Алигьери* (1265—1321), итальянский поэт — 116, 354, 396, 398, 399, 546
- Дантон Жорж Жак* (1759—1794), деятель Французской революции, один из вождей якобинцев — 287, 288
- Дарвин Чарлз Роберт* (1809—1882), английский естествоиспытатель — 17, 22, 159, 187, 246, 343—345, 378, 392, 559, 571, 592
- Дарий I*, царь государства Ахеменидов (522—486 до н. э.) — 578
- Дебогорий-Мокриевич* (Дебогорий-Мокриевич) Владимир Карпович (1848—1926), народник, публицист-мемуарист — 78, 130, 144, 450, 451
- Деворра* (Девора), в Ветхом Завете пророчица и судья (правительница) — 46—48
- Дейч Лев Григорьевич* (1855—1941), участник революционного движения, сначала народник, затем социал-демократ, историк — 140, 233, 269
- Декарт Рене* (1596—1650), французский философ, математик, физик, физиолог — 249, 312, 316, 520
- Делянов Иван Давыдович* (1818—1897), министр народного просвещения (с 1882) — 306, 355, 378, 427
- Деметра*, в греческой мифологии богиня плодородия — 401
- Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.), афинский оратор — 232, 468, 484
- Демулен Камиль* (1760—1794), деятель Французской революции, журналист — 377
- Демьянов Михаил Николаевич*, педагог, автор статьи в газете "Новое время" — 35, 36
- Державин Гаврила Романович* (1743—1816), поэт — 18, 184, 238, 434, 478, 518, 560, 591
- Дернов Александр Александрович* (1857—?), протонерей Петропавловского собора, публицист, сотрудник церковных изданий — 528
- Джаншиев Григорий Аветович* (1851—1900), публицист, историк, общественный деятель, автор работ о реформах 1860—1870-х гг., занимался также армянским вопросом — 138, 139, 513
- Джонсон* (псевд. Ивана Васильевича Иванова), писатель, публицист, автор статей в газете "Утро России" — 332, 333
- Диденко Борис Дмитриевич* (1876—?), депутат I Государственной думы — 113
- Дидро Дени* (1713—1784), французский философ и писатель — 74
- Дизраэли Бенджамин*, граф Биконсфилд (1804—1881), английский политический деятель и писатель, премьер-министр (1868, 1874—1880), лидер консерваторов — 51, 593
- Диккенс Чарлз* (1812—1870), английский писатель — 394
- Димитриев (Дмитриев) Иван Иванович* (1760—1837), поэт и политический деятель — 240
- Дина*, в Ветхом Завете дочь Иакова — 464

- Диоген* (ок. 400—ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник — 156
- Диоклетиан* (243—313/316), римский император (284—305) — 150
- Дион Сиракузский* (ок. 410—354 до н. э.), древнегреческий политический деятель, тиран (правитель) Сиракуз (с 355 до н. э.) — 367, 368
- Дионисий II Младший*, тиран (правитель) Сиракуз (367—357, 346—344 до н. э.) — 181
- Дмитрий Донской* (1350—1389), великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362), полководец — 564
- Добролюбов Николай Александрович* (1836—1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала "Современник" — 108, 109, 186, 239, 306, 341, 342, 345, 354, 380, 404, 416, 419, 420, 488, 490, 549, 550, 560, 591
- Долгорукий (Долгоруков) Яков Федорович* (1639—1720), сподвижник Петра I, его советник, президент Ревизионной коллегии (с 1717) — 589
- Долгоруков Владимир Андреевич* (1810—1891), московский генерал-губернатор (с 1856) — 233
- Домициан* (51—96), римский император (с 81) из династии Флавиев — 260
- Домна Васильевна* (Алешинцева), воспитательница младших детей Розанова, ухаживала за его больной женой (1910—1917) — 212, 259, 475, 502, 536
- Дорошевич Влас Михайлович* (1865—1922), журналист, публицист, критик, фельетонист — 211, 242, 243, 380, 382
- Дорошенко Петр Дорофеевич* (1627—1698), украинский гетман (1665—1676) — 540
- Достоевская* (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), вторая жена Ф. М. Достоевского, мемуаристка — 435
- Достоевский Михаил Михайлович* (1820—1864), писатель, переводчик, издатель, брат Ф. М. Достоевского — 341, 511
- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881), писатель и мыслитель — 41, 42, 74, 114, 167, 168, 253, 281, 313, 341, 342, 380, 394, 401, 404, 434, 435, 443, 475, 484, 487, 511, 519, 521, 522, 528, 535, 549, 558, 580, 591
- Дрепер (Дрэпер) Джон Уильям* (1811—1882), американский естествоиспытатель и историк — 12, 388, 423, 539, 559, 571
- Дроздов Николай Георгиевич*, протоиерей, сотрудник церковной газеты "Колокол", полемизировал с Розановым — 239
- Думбадзе Иван Антонович* (1851—1916), генерал, военный и административный деятель в Ялте (1906—1915) — 273
- Дункан Айседора* (1877—1927), американская танцовщица — 258, 292, 327
- Дуров Владимир Леонидович* (1863—1934), артист цирка, дрессировщик — 283
- Дурылин Сергей Николаевич* (1877—1954), публицист, писатель, историк литературы и театра — 420
- Дьяконова Елизавета Александровна* (1874—1902), автор "Дневника", публицистка, участница женского движения — 360
- Дюгеклен (Дю Геклен) Бертран* (1320—1380), французский полководец, участник Столетней войны — 154
- Дюма Александр (отец)* (1802—1870), французский писатель — 238, 454
- Дягилев Сергей Павлович* (1872—1929), театральный и художественный деятель, создал труппу русского балета за рубежом (1911—1929) — 45, 244, 387, 388, 497
- Евгения Ивановна* — см. Апостолопуло Е. И.
- Егоров Ефим Александрович* (1861—?), сотрудник газеты "Новое время", участник Религиозно-философских собраний в Петербурге, секретарь журнала "Новый путь" — 497
- Екатерина II* (1729—1796), российская императрица (с 1762) — 29, 45, 46, 97, 289, 368, 412, 451, 486, 496, 552

- Екатерина Арагонская* (1485—1536), английская королева, первая жена Генриха VIII (1509—1533) — 325
- Екатерина Медичи* (1519—1589), французская королева, жена Генриха II (с 1547) — 46
- Елизавета I* (1533—1603), английская королева (с 1558) из династии Тюдоров, дочь Генриха VIII и Анны Бoleyn — 46
- Елизавета Григорьевна*, знакомая Розанова — 446
- Елизавета Петровна* (1709—1761/1762), российская императрица (с 1741), дочь Петра I — 45, 97, 99, 130, 397
- Елисеев* Григорий Захарович (1821—1891), публицист, журналист, сотрудник журналов "Современник" и "Отечественные записки" — 343
- Елисей*, ветхозаветный пророк — 85
- Елов* М. С., издатель и владелец книжного магазина в Сергиевом Посаде — 292
- Ерма* (Ермия, Гермия) (II в.), раннехристианский писатель, предполагаемый автор сочинения "Пастырь" — 546
- Ефименко* (урожд. Ставровская) Александра Яковлевна (1848—1918), историк, этнограф, фольклорист — 247
- Ефрон* (Эфрон) Илья Абрамович (1847—1919), издатель русского Энциклопедического словаря — 304, 561
- Жадовская* Юлия Валериановна (1824—1883), писательница — 557
- Жанна д'Арк* (ок. 1412—1431), французская национальная героиня, возглавила борьбу против англичан во времена Столетней войны — 20, 48, 182, 546
- Желябов* Андрей Иванович (1851—1881), революционный народник, организатор покушений на Александра II — 174, 522
- Жилкин* Иван Васильевич (1874—1958), публицист, депутат I Государственной думы, трудовик, с 1934 г. член Союза советских писателей — 100, 108, 113
- Жорес* Жан (1859—1914), французский социалист, основатель газеты "Юманите", историк, убит шовинистом — 249
- Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852), поэт, переводчик, критик — 16, 107—109, 182, 184, 240, 306, 434, 509, 517, 518, 560, 591
- Забелин* Иван Егорович (1820—1908/1909), историк, археолог — 20
- Зайцев* Варфоломей Александрович (1842—1882), публицист и литературный критик — 420
- Закржевский* Александр Карлович (1886—1916), литературный критик, историк литературы, писатель — 549
- Замысловский* Георгий Георгиевич (1872—1920), юрист, член "Союза русского народа", депутат III и IV Государственной думы, фракция правых, истец на судебном процессе над М. Бейлисом — 205, 566
- Заозерский* Николай Александрович (1851—1919), профессор церковного (канонического) права Московской духовной академии, полемизировал с Розановым — 309, 321, 322, 470, 544
- Засулич* Вера Ивановна (1849—1919), участница революционного движения, народница (с 1868), марксистка (с 1883) — 180, 181, 187, 472
- Зевс*, в греческой мифологии верховный бог — 112, 216, 232, 446
- Зина* (Некрасова) — см. Викторова Ф. А.
- Золя* Эмиль (1840—1902), французский писатель — 475
- Зубатов* Сергей Васильевич (1864—1917), начальник Московского охранного отделения (с 1896) и Особого отдела департамента полиции (1902—1903), застрелился — 87, 88, 305
- Иаков*, в Ветхом Завете патриарх, родоначальник "двенадцати колен Израилевых" — 225, 279, 464, 465
- Иван I Калита* (ум. 1340), князь Московский (с 1325), великий князь Владимирский (с 1328) — 37, 83, 255

- Иван* (Иоанн) III (1440—1505), великий князь Московский (с 1462) — 512
- Иван* (Иоанн) IV Грозный (1530—1584), первый русский царь (с 1547) — 36, 83, 107, 131, 149, 339, 512
- Иван Палыч* — см. Щербов И. П.
- Иванов*, жандармский генерал-майор — 180
- Иванов Евгений Павлович* (1879—1942), публицист, писатель, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге — 227
- Иванов Иван Иванович* (1862—1929), критик, историк литературы — 467, 469
- Иванов-Разумник* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878—1946), критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли, мемуарист — 430, 510
- Игнатъев Николай Павлович* (1832—1908), дипломат, генерал, министр внутренних дел (1881—1882) — 469
- Иеффай* (Иеффай), в Ветхом Завете судья (правитель) — 267
- Иегова* (в рус. пер. Суший), в Ветхом Завете имя Бога, которое он дал сам себе — 127, 325, 420, 421, 545
- Иезекииль*, ветхозаветный пророк — 229
- Иеремия*, ветхозаветный пророк — 73
- Изгоев* (наст. фам. Ланде) Александр (Аарон) Соломонович (1872—1935), публицист, журналист, член ЦК партии кадетов, в 1922 г. выслан из страны — 234, 248, 450
- Измаил*, в Ветхом Завете сын Авраама и Агари, родоначальник измаилов-кочевников — 274
- Иисус Христос* — 21, 79, 82—85, 87, 116, 126, 127, 129, 156, 157, 184, 212, 215, 217, 247, 248, 252, 254, 255, 259, 271, 274, 275, 283, 286, 287, 315, 316, 318, 319, 325, 335, 337, 339, 369, 404, 414, 415, 420, 461, 478, 521, 541
- Илия*, ветхозаветный пророк — 224
- Иловяцкий Дмитрий Иванович* (1832—1920), историк, публицист, член "Союза русских людей" (1905—1917) — 109, 147, 345, 355, 426, 442, 485, 559, 560
- Илья* (Илья Муромец), богатырь, герой русских былин — 34
- Иннокентий III* (Джованни Лотарио, граф де Сеньи) (1160—1216), папа римский (с 1198) — 74, 75
- Иоанн Златоуст* (344/354—407), византийский церковный деятель, епископ Константинопольский (398—404), проповедник — 34
- Ионафан*, в Ветхом Завете старший сын Саула — 464
- Иов*, ветхозаветный праведник — 440, 441, 485, 558
- Иолос Григорий Борисович* (1859—1907), публицист, один из редакторов газеты "Русские ведомости", депутат I Государственной думы, кадет, смертельно ранен по заказу черносотенцев — 532
- Иосиф*, в Ветхом Завете сын Иакова — 226, 440, 441, 464
- Иосиф II* (1741—1790), австрийский эрцгерцог (с 1780, в 1765—1780 соправитель своей матери Марии Терезии), император Священной Римской империи (с 1765) — 46
- Иосиф Флавий* (37—после 100), еврейский историк — 315
- Ирод I Великий* (ок. 73—4 до н. э.), царь Иудейского государства (с 40/37 до н. э.) — 320
- Исаак*, в Ветхом Завете сын Авраама — 225, 566
- Исаия*, ветхозаветный пророк — 296, 491
- Истомин Владимир Иванович* (1809—1855), контр-адмирал, руководил обороной Малахова кургана в Крымскую войну, погиб в бою — 433
- Иуда*, в Ветхом Завете сын Иакова — 279, 465
- Иуда*, в Новом Завете апостол, предавший Иисуса Христа — 84, 174, 300
- Каблиц Иосиф (Осип) Иванович* (1848—1893), публицист — 78, 531
- Каблуков Сергей Платонович* (1881—1919), секретарь Религиозно-философского общества в Петербурге, преподаватель математики, музыкальный критик — 384, 385, 427

- Каин**, в Ветхом Завете сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля — 125—127, 129, 130, 357, 399, 442, 483, 529
- Кайзер**, знакомый Розанова — 378
- Каллаш** (урожд. Новикова) Мария Александровна (псевд. Гаррис) (1886—1954), публицистка — 222
- Кальвин Жан** (1509—1564), религиозный реформатор в Швейцарии — 171, 386, 396, 397
- Калыев Иван Платонович** (1877—1905), поэт, революционер, с 1903 г. эсер, убивший великого князя Сергея Александровича,* повешен — 290
- Каменев Гавриил Петрович** (1772—1803), писатель, переводчик — 430
- Каменский Анатолий Павлович** (1876—1941), писатель, киносценарист — 233, 235
- Кампанелла** Томмазо (1568—1639), итальянский философ, поэт, политический деятель, автор утопии об идеальном обществе — 488, 582
- Кант Иммануил** (1724—1804), немецкий философ — 74, 311, 312, 367, 368, 432, 520
- Кантемир Антиох Дмитриевич** (1708—1744), поэт и дипломат — 298, 518, 591
- Каннист Дмитрий Павлович** (1879—?), депутат IV Государственной думы, октябрист — 438
- Карамзин Николай Михайлович** (1766—1826), писатель и историк — 16, 18, 74, 151, 184, 325, 327, 367, 432—434, 456, 502, 511, 512, 518, 549, 558, 560, 591
- Карбасников Николай Павлович** (1852—1921), основатель издательства в Петербурге (в 1871) — 417
- Кареев Николай Иванович** (1850—1931), историк и социолог — 297
- Карл IX** (1550—1574), французский король (с 1560) из династии Валуа — 125
- Карл Великий** (742—814), франкский король (с 768), император (с 800) из династии Каролингов — 51, 146, 147, 395
- Карпинский Александр Иванович** (1872—?), врач-невропатолог — 595, 596
- Карпович Петр Владимирович** (1874—1917), эсер, смертельно раненный Н. П. Боголепова, бежал с каюты, с 1907 г. в руководстве Боевой организации эсеров, после разоблачения Азефа уехал за границу, отошел от партии — 400
- Кассо Лев Аристидович** (1865—1914), министр народного просвещения (с 1910) — 350, 394
- Катенин Александр Александрович**, председатель Петербургского комитета по делам печати — 411
- Катенин Павел Александрович** (1792—1853), писатель, литературный критик, переводчик — 510
- Катилина** (ок. 108—62 до н. э.), римский претор, организовал заговор с целью захвата власти (66—63 до н. э.), разоблаченный Цицероном — 195, 353
- Катков Михаил Никифорович** (1818, по др. данным 1817—1887), публицист, филолог, издатель, общественный деятель — 114, 168, 175, 181, 204, 231, 232, 291, 393, 415, 416, 420, 444, 467—469, 494, 560
- Катон Старший** (234—149 до н. э.) и **Младший** (95—46 до н. э.), римские политические деятели — 74, 225, 279, 280, 281
- Каутский Карл** (1854—1938), один из лидеров и теоретиков германской и международной социал-демократии — 167
- Керенский Александр Федорович** (1881—1970), юрист, депутат IV Государственной думы, лидер трудовиков, с 1917 г. эсер, министр и с июля 1917 г. глава Временного правительства, с 1918 г. в эмиграции, автор мемуаров и книг о революции 1917 г. — 205, 385, 386, 406
- Киаксар Мидийский**, царь Мидии (ок. 625—585/584 до н. э.), уничтожил Ассирийскую державу (605 до н. э.) — 9
- Кибальчич Николай Иванович** (1853—1881), революционный на-

- родник и изобретатель, после убийства Александра II повешен — 233
- Кир Младший* (ум. 401 до н. э.), сын царя Дария II, сатрап (наместник) Малой Азии — 307
- Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856), философ, литературный критик, публицист, общественный деятель — 393, 419, 549
- Киреевские* — 306, 556, 580
- Киркегор* (Кьеркегор) Сёрен (1813—1855), датский теолог, философ, писатель — 553
- Кирпичников* Александр Иванович (1845—1903), историк литературы — 553
- Клейнмихель* Петр Андреевич (1793—1869), главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями — 131
- Клемансо* Жорж (1841—1929), французский политический деятель, премьер-министр (1906—1909, 1917—1920) — 249
- Климент Зедергольм* (Карл Густав Адольф Зедергельм, в православии Константин Карлович) (1830—1878), иеромонах Оптиной пустыни, религиозный писатель, переводчик — 181
- Клио*, в греческой мифологии муза — покровительница истории — 519
- Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803), немецкий поэт — 354
- Ключевский* Василий Осипович (1841—1911), историк — 110, 135, 424, 512
- Княжнин* Яков Борисович (1740/1742—1791), драматург, поэт — 240
- Ковалевский* Максим Максимович (1851—1916), историк, социолог, правовед, лидер либеральной партии демократических реформ, депутат I Государственной думы, член Государственного совета — 108, 110, 112, 113, 119, 155, 226, 530
- Козлов* Иван Иванович (1779—1840), поэт, переводчик — 517
- Кок* Поль Шарль де (1793—1871), французский писатель — 16
- Кокотцев* (Кокотцов) Владимир Николаевич (1853—1943), министр финансов (1904—1914, с перерывом
- в 1905—1906), председатель Совета министров (1911—1914), с 1918 г. в эмиграции, мемуарист — 65, 119, 249, 437
- Колigny* Гаспар де Шатийон (1519—1572), французский адмирал, глава гугенотов — 249
- Колонна* Скъяра (ум. 1329), представитель знатного итальянского рода, по всей вероятности, речь идет об эпизоде с папой Бонифацием VIII в 1303 г. — 156
- Кольшко* Иосиф Иосифович (1862—1920), публицист — 97, 99
- Кольбер* Жан Батист (1619—1683), французский политический деятель, генеральный контролер (министр) финансов (с 1665) — 369, 370
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809—1842), поэт — 38, 39, 65, 239, 591
- Колобакин* (1811—1868), генерал-майор, публицист, автор статей о реформах (в том числе о земствах), которые вызвали возражение Сената — 553
- Кондратенко* Роман Исидорович (1857—1904), генерал-лейтенант, в русско-японскую войну руководил сухопутной обороной Порт-Артура, погиб — 31, 32
- Кондурушкин* Степан Семенович (1874—1919), писатель и публицист — 212, 226, 249, 285, 342, 343, 391
- Кони* Анатолий Федорович (1844—1927), юрист и общественный деятель — 481, 482
- Коновалов* Александр Иванович (1875—1948), фабрикант, депутат IV Государственной думы, прогрессист, министр Временного правительства, член ЦК партии кадетов (1917), с 1918 г. в эмиграции — 438
- Константин I Великий* (ок. 285—337), римский император (с 306) — 146, 149
- Константин Павлович* (1779—1831), великий князь, сын Павла I, фактический наместник Польши (с 1814) — 117
- Конт* Огюст (1798—1857), французский философ и социолог — 187, 377, 449, 458, 509, 571

- Коперник* Николай (1473—1543), польский астроном — 93, 167, 365, 377
- Корде* Шарлотта (1768—1793), французская дворянка, убившая Ж. П. Марата, казнена — 125, 126
- Корнель* Пьер (1606—1684), французский драматург — 108, 249, 511
- Корнилов* Владимир Алексеевич (1806—1854), вице-адмирал, в Крымскую войну один из руководителей обороны Севастополя, погиб — 433
- Короленко* Владимир Галактионович (1853—1921), писатель, публицист, общественный деятель — 218, 235, 289, 382, 421, 522
- Корыстылев*, знакомый Розанова — 277, 278
- Котляревский* Нестор Александрович (1863—1925), литературовед, критик, публицист — 329
- Котошихин* Григорий Карпович (ок. 1630—1667), подьячий Посольского приказа, в 1664 г. бежал в Литву, затем в Швецию — 177
- Кохановская* (наст. фам. Соханская) Надежда Степановна (1823, по др. данным 1825—1884), писательница — 517
- Кошелев* Александр Иванович (1806—1883), публицист, журналист, мемуарист, общественный деятель — 420
- Кравчинский* С. М. — см. Степняк-Кравчинский С. М.
- Краевский* Андрей Александрович (1810—1889), издатель, журналист — 416
- Кранихфельд* Владимир Павлович (1865—1918), литературный критик, публицист — 332
- Кривенко* Сергей Николаевич (1847—1906), публицист, сотрудник журналов "Отечественные записки" и "Русское богатство" — 235, 259, 559
- Кромвель* Оливер (1599—1658), деятель Английской революции, лорд-протектор (военный диктатор) Англии (с 1653) — 348, 349
- Кропоткин* Петр Алексеевич (1842—1921), революционер, теоретик анархизма, философ, ученый, публицист — 144, 233, 234, 553
- Крылов* Иван Андреевич (1769—1844), писатель, баснописец — 63, 518, 591
- Кугель* Александр (Авраам) Рафаилович (псевд. Ното повус) (1864—1928), театральный критик, публицист, журналист — 592—594
- Кугель* Иона Рафаилович (1873—?), журналист, редактор-издатель газеты "День" (1913—1917) — 247, 303, 327, 476, 491
- Курьяцев-Платонов* Виктор Дмитриевич (1828—1891), философ и богослов — 549
- Куковеров*, врач — 249
- Купер* Джеймс Фенимор (1789—1851), американский писатель — 510, 558, 559
- Куприн* Александр Иванович (1870—1938), писатель, в 1919—1937 г. в эмиграции — 294, 523—525
- Курбский* Андрей Михайлович (1528—1583), боярин, писатель, переводчик, в 1564 г. бежал в Литву — 238, 439
- Курциус* Эрнст (1814—1896), немецкий историк античности — 151
- Кусков* Платон Александрович (1834—1909), поэт, литературный критик, переводчик — 252
- Кускова* (урожд. Есипова) Екатерина Дмитриевна (1869—1958), публицистка, издательница, общественно-политическая деятельница, в 1922 г. выслана из страны — 236, 297, 330, 379, 389, 466, 483
- Кутузов* Михаил Илларионович (1745—1813), полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией, разгромившей армию Наполеона I — 25
- Кювье* Жорж (1769—1832), французский зоолог — 311
- Кюнер* Рафаэль (1802—1878), немецкий филолог, автор переведенных на русский язык учебников греческого и латинского языков — 7, 571
- Кюри* Пьер (1859—1906), *Склодовская-Кюри* Мария (1867—1934), французские физики, исследова-

тели радиоактивного излучения
— 48

Лаван, в Ветхом Завете брат Ревекки
— 383, 465

Лавров Петр Лаврович (1823—1900), философ, социолог, публицист, идеолог народничества — 451, 457, 559

Лассаль Фердинанд (1825—1864), немецкий деятель рабочего движения, социалист, публицист — 181, 210, 386, 404, 416, 435, 439, 488, 492, 582

Лафарги Поль (1842—1911), Лаура (1845—1911) (дочь К. Маркса), один из руководителей французских социалистов и его жена, покончили жизнь самоубийством — 210, 464

Лебедев Александр Алексеевич (1833—1898), протоиерей, религиозный писатель — 239

Левиафан, в Ветхом Завете морское чудовище как олицетворение всех сил зла — 94, 121

Левитан Исаак Ильич (1860—1900), живописец — 435, 485

Левитов Александр Иванович (1835—1877), писатель — 433

Левицкая Елена Сергеевна (ум. 1915), директриса школы в Царском Селе, знакомая Розанова — 262, 517, 537

Левицкий Феодосий Нестерович (Несторович) (1791—1845), священник, мистик, придерживался мнения о близости Страшного суда и конца света — 374

Лежнев, врач — 249

Лекки Уильям Эдуард Гарпол (1838—1903), английский историк культуры — 559

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк и публицист — 413, 418

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), философ, писатель, публицист, литературный критик — 43, 181, 297, 379, 415, 420, 443, 494, 495, 594

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), филолог, журналист, соратник М. Н. Каткова — 114, 231

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт и прозаик — 16,

50, 65, 253, 311, 313, 405, 408, 510, 518, 535, 549, 552, 554, 559, 575, 591

Лернер Николай Осипович (1877—1934), литературовед-пушкинист — 259

Леру Пьер (1797—1871), французский философ, один из основателей христианского социализма — 559, 582

Лесевич Владимир Викторович (1837—1905), философ и социолог — 377, 378, 420, 457, 495, 550

Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель — 484, 591

Либих Юстус (1803—1873), немецкий химик — 533

Ливий Тит (59 до н. э.—17 н. э.), римский историк — 73, 347, 367

Лидваль, крупный спекулянт, поставщик продовольствия в голодающие губернии в 1906 г., был связан с В. И. Гурко — 380

Лизогуб Дмитрий Андреевич (1849—1879), революционный народник, повешен — 131, 174—176, 555

Ликург (IX—VIII вв. до н. э.), легендарный древнегреческий (спартанский) законодатель — 225

Лия, в Ветхом Завете первая жена Иакова, дочь Лавана — 383

Лойола Игнатий (ок. 1491—1556), основатель ордена иезуитов — 41

Локоть Тимофей Васильевич (1869—?), ученый-агроном, публицист, депутат I Государственной думы, трудовик — 120

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель — 240, 434, 496, 518

Лопатин Лев Михайлович (1855—1920), философ и психолог — 135

Лот, в Ветхом Завете племянник Авраама, спасшийся со своими дочерьми после гибели Содома — 209, 218, 224, 354, 398, 481—483, 538

Лукомский Георгий Крескентьевич (1884—1928), живописец и искусствовед — 354

Любимов Николай Алексеевич (1830—1897), физик, публицист, деятель народного просвещения, историк — 231, 405

- Любош** (Любошиц) Семен Борисович (1859—1926), журналист — 400
- Людвик XIV** (1638—1715), французский король (с 1643) из династии Бурбонов — 11, 108, 245, 479
- Людвик XVI** (1754—1793), французский король (1774—1792) из династии Бурбонов, казнен — 104
- Лютер Мартин** (1483—1546), немецкий религиозный реформатор — 11, 73, 136, 153, 303, 334, 353, 354, 386, 396, 397, 484, 533
- Ляйэль** (Лайель) Чарлз (1797—1875), английский естествоиспытатель — 559
- Магомет** (Мухаммед, Мохаммед) (ок. 570—632), основатель ислама, глава первого мусульманского теократического государства — 171, 288
- Мазарини** Джулио (1602—1661), кардинал, первый министр Франции (с 1643) — 249, 369, 370
- Майков** Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 253
- Маймонид** Моисей (Моше бен Маймон) (1135—1204), еврейский философ — 207, 209
- Макарий** (Михаил Петрович Булгаков) (1816—1882), богослов, церковный историк, митрополит Московский и Коломенский (с 1879) — 312
- Макиавели** Никколо (1469—1527), итальянский политический мыслитель и историк — 347
- Маккавеи**, руководители восстания в Иудее против власти Селевкидов (II в. до н. э.), позже царская династия — 225
- Маклаков** Василий Алексеевич (1869, по др. данным 1870—1957), адвокат, один из лидеров партии кадетов, депутат II—IV Государственной думы, выступал как защитник в судебном процессе над М. Бейлисом, с 1917 г. в эмиграции — 438
- Маколей** Томас Бабингтон (1800—1859), английский историк — 535
- Максимиан** (240—310), римский император (286—305 и с 307; до 305 соправитель Диоклетиана) — 260
- Мальтус** Томас Роберт (1766—1834), английский экономист — 537
- Мальцев** (Мальцов) Сергей Иванович (1810—1893), генерал-майор, промышленник, основал чугунолитейные и стеклоплавильные заводы — 549, 551
- Мамоновы** (Дмитриевы-Мамоновы), дворянский (графский) род — 45
- Марат** Жан Поль (1743—1793), деятель Французской революции, один из вождей якобинцев — 125—127, 397
- Мариам**, в Ветхом Завете сестра Аарона и Моисея, пророчица — 46—48
- Мария Николаевна** (1819—1876), великая княгиня, дочь Николая I, жена герцога Максимилиана Лейхтенбергского — 388
- Мария Терезия** (1717—1780), австрийская эрцгерцогиня (с 1740) из династии Габсбургов — 46, 289
- Марков**, нумизмат — 258
- Маркс** Карл (1818—1883), немецкий мыслитель, основатель коммунистической теории, названной его именем — 108, 159, 210, 386, 404, 416, 435, 439, 452, 488, 490—492, 531, 554, 582
- Марфа Посадница**, вдова новгородского посадника, глава антимосковского партии новгородского боярства, в 1478 г. взята под стражу — 46, 48
- Мафусаил**, в Ветхом Завете сын Еноха, отличавшийся самой большой продолжительностью жизни — 10
- Медичи** (Медичи), знатный итальянский (тосканский) род, правители Флоренции в XV—XVIII вв. — 233
- Мезенцев** (Мезенцов) Николай Владимирович (1827—1878), начальник штаба корпуса жандармов (с 1864), шеф жандармов (с 1876), убит С. М. Кравчинским — 176
- Мейендорф** Александр Феликсович (1869—1964), юрист, депутат III и IV Государственной думы, октябрист, после 1917 г. в эмиграции — 438
- Меланхтон** Филипп (1497—1560), немецкий протестантский теолог и педагог, сподвижник М. Лютера — 73, 386
- Мельшиц** (псевд. Петра Филипповича Якубовича) (1860—1911), революци-

- онный народник, писатель, журналист — 405
- Менделеев* Дмитрий Иванович (1834—1907), химик, педагог, общественный деятель — 306, 339, 395
- Мендельсон* Моисей (Мозес) (1729—1786), немецкий философ — 532
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1918), публицист, сотрудник газеты "Новое время" — 479, 480, 513, 573
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель, с 1920 г. в эмиграции — 205, 222, 242, 246, 247, 286, 306, 339, 342, 383, 385, 387, 388, 406, 407, 436, 450, 469, 497, 498, 511, 519—521, 563, 573
- Мережковский* Константин Сергеевич (1855—1921), биолог, профессор Казанского университета, брат Д. С. Мережковского — 440
- Мехелин* Леопольд (Лео) Генрих Станислав (1839—1914), государствовед, вице-председатель сената Финляндии (1905—1908), выступал за ее автономию в составе Российской империи — 232
- Мечников* Илья Ильич (1845—1916), биолог, патолог, эмбриолог — 372
- Мецкерский* Владимир Петрович (1839—1914), писатель и публицист, издатель газеты-журнала "Гражданин" — 33, 39, 99, 502
- Микулич* Вера (наст. имя и фам. Лидия Ивановна Веселитская-Божидарович) (1857—1936), писательница — 480
- Милль* Джон Стюарт (1806—1873), английский философ, экономист, общественный деятель — 337, 338, 377, 509, 535, 571
- Мильтон* Джон (1608—1674), английский поэт и политический деятель — 398, 399
- Милюков* Павел Николаевич (1859—1943), историк, публицист, один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК (с 1907), депутат III и IV Государственной думы, после 1917 г. в эмиграции — 110, 111, 113, 119, 226, 232, 249, 347—350, 495
- Минин* (Захарьев-Сухорук), Кузьма Минич (ум. 1616), нижегородский помещадский, один из руководителей борьбы против польской интервенции — 137, 141, 179
- Миних* Бурхард Кристоф (1683—1767), военный и политический деятель, генерал-фельдмаршал — 486
- Минский* (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855—1937), писатель, публицист, философ, после 1905—1907 гг. жил за границей — 250, 272, 290
- Минье* Огюст (1796—1884), французский историк — 405
- Мирабо* Оноре Габриель Рикети (1749—1791), французский политический деятель, депутат Генеральных штатов (1789), где стал известен как обличитель абсолютизма — 23, 104, 112, 232
- Миролюбов* Виктор Сергеевич (1860—1939), публицист, редактор-издатель "Журнала для всех" — 498
- Миртов* П. — псевдоним П. Л. Лаврова
- Митридат VI Эвпатор* (Евпатор) (132—63 до н. э.), царь Понта, завоевал все побережье Черного моря; будучи побежден в войне с Римом, покончил с собой — 165, 166
- Митюрников*, книготорговец — 419, 422, 423
- Михаил Федорович* (1596—1645), царь (с 1613), первый из династии Романовых — 35, 36, 151
- Михайличенко* Митрофан Иванович (1871—?), депутат I Государственной думы, социал-демократ — 119
- Михайловский* Николай Константинович (1842—1904), социолог, публицист, литературный критик, идеолог народничества — 204, 213, 235, 259, 282, 283, 285, 305, 306, 339, 341, 378, 380, 393, 394, 416, 420, 421, 457, 488, 495, 502, 521, 550, 559, 560, 573, 580, 592
- Михельсон* Мориц Ильич (1825—1908), педагог, языковед, писатель — 475
- Мишле* Жюль (1798—1874), французский историк — 405

- Моав**, в Ветхом Завете сын Лота и его старшей дочери — 224, 538
- Модестов** Василий Иванович (1839—1907), историк и филолог — 135
- Моисей**, в Ветхом Завете предводитель израильских племен, основатель иудаизма, пророк — 41, 46, 152, 207, 225, 266, 267, 277, 317, 385, 444, 481, 544
- Мойер** (урожд. Протасова) Мария Андреевна (1793—1823), племянница В. А. Жуковского, в которую он был влюблен — 509
- Молешотт** Якоб (1822—1893), немецкий физиолог и философ — 533, 571
- Моль** Роберт (1799—1875), немецкий юрист и политический деятель — 345, 365, 367
- Мольер** (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен) (1622—1673), французский комедиограф, актер, театральный деятель — 20
- Моммзен** Теодор (1817—1903), немецкий историк — 151
- Монтескье** Шарль Луи (1689—1755), французский философ, юрист, просветитель — 427
- Мопассан** Ги де (1850—1893), французский писатель — 475
- Мор** Томас (1478—1535), английский политический деятель и писатель, автор сочинения "Утопия" (1516) — 396, 399, 488, 582
- Мордвинов** Николай Семенович (1754—1845), адмирал, морской министр (1802), президент Вольного экономического общества (1823—1840) — 25
- Мордвинова** Вера Александровна (1895—1966), московская курсистка, дочь генерала, с которой переписывался Розанов — 584, 588, 589
- Морозова** (урожд. Хлудова) Варвара Алексеевна (ум. 1917), жена фабриканта А. А. Морозова, владелица тверской мануфактуры, ее вторым (гражданским) мужем был В. М. Соболевский — 29, 380
- Морозова** (урожд. Мамонтова) Маргарита Кирилловна (1873—1958), жена фабриканта и ученого М. А. Морозова, учредительница издательства "Путь" и Религиозно-философского общества в Москве — 393
- Муромцев** Сергей Андреевич (1850—1910), юрист, публицист, земский деятель, один из основателей и лидеров партии кадетов, председатель I Государственной думы — 104, 110—113, 122
- Мякотин** Венедикт Александрович (1867—1937), историк, публицист, сотрудник и один из редакторов журнала "Русское богатство", председатель ЦК народно-социалистической партии (энесов) (1917), в 1922 г. выслан из страны — 288, 415, 420, 446, 478, 531, 554, 556
- Набоков** Владимир Дмитриевич (1869—1922), юрист, публицист, один из основателей и лидеров партии кадетов, депутат I Государственной думы, с 1919 г. в эмиграции, погиб при покушении на П. Н. Милюкова — 108, 223, 288, 330, 427, 462
- Навуходоносор II**, вавилонский царь (605—562 до н. э.) — 339
- Надежда Романовна** — см. Щербова Н. Р.
- Надсон** Семен Яковлевич (1862—1887), поэт — 522
- Назон** — см. Овидий
- Наль**, в индийском эпосе царь страны нишадхов — 485, 486
- Наполеон I** (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император (1804—1814, март—июнь 1815) — 51, 104, 149, 164, 205, 303, 348, 349, 369, 386, 396, 432, 433, 494, 506
- Наполеон III** (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873), французский император (1852—1870) — 149, 151, 152, 344, 593
- Насреддин** (Наср-Эддин, Наср-эд-дин шах) (1831—1896), иранский шах (с 1848) — 52
- Нафан**, в Ветхом Завете пророк, автор заметок о царствовании Давида и Соломона — 319
- Нахимов** Павел Степанович (1802—1855), флотоводец, адмирал,

- в Крымскую войну руководил обороной Севастополя (1854—1855), смертельно ранен — 433
- Невельский* (Невельской) Геннадий Иванович (1813—1876), адмирал, исследователь Дальнего Востока — 433
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821—1877/1878), поэт, прозаик, издатель — 50, 222, 239, 253—255, 323, 341, 342, 347, 357, 379, 380, 393, 413, 416, 428, 435, 467, 478, 503, 509, 535
- Немирович-Данченко* Василий Иванович (1848/1849—1936), писатель, публицист, с 1921 г. в эмиграции — 581
- Неофит* (Николай Васильевич Неводичко) (1822—1910), архиепископ, религиозный писатель — 205, 564, 566
- Нерон* (37—68), римский император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев — 71, 72, 87
- Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942), живописец — 222
- Нечаев* Сергей Геннадиевич (1847—1882), революционер, организатор тайного общества "Народная расправа" — 483, 484, 554—556, 576
- Никитенко* Александр Васильевич (1804—1877), литературный критик, историк литературы, цензор, мемуарист — 75, 76, 78, 551, 559
- Николай I* (1796—1855), российский император (с 1825) — 49, 151, 234, 397, 509
- Николай II* (1868—1918), российский император (1894—1917) — 178, 519, 549
- Николай I Великий* (ок. 800—867), папа римский (с 858) — 171
- Николай Николаевич Младший* (1856—1929), великий князь, внук Николая I, главнокомандующий русскими войсками (1914—1915), с 1919 г. в эмиграции — 553
- Николай Чудотворец* (Николай Мирликийский) (ок. 260—ок. 343), епископ г. Миры в Ликии (Малая Азия), облик которого в значительной степени мифологизирован — 343, 344, 548
- Никольский* Борис Владимирович (1870—1919), юрист, публицист, поэт, общественно-политический деятель, расстрелян — 153, 163
- Никольский* Владимир Васильевич (1836—1883), религиозный писатель, историк, филолог — 251
- Никон* (Никита Минов) (1605—1681), патриарх (с 1652), низложен на Большом церковном соборе 1666—1667 г. — 239
- Ницше* Фридрих (1844—1900), немецкий философ — 12, 427, 478, 569
- Новиков* Николай Иванович (1744—1818), писатель, публицист, философ, издатель — 518
- Новоселов* Михаил Александрович (1864—1938), религиозный мыслитель, писатель, расстрелян — 590
- Носарь* (псевд. Хрусталеv) Георгий Степанович (1877—1918), юрист-консульт, адвокат, в октябре—ноябре 1905 г. председатель Петербургского совета рабочих депутатов, в 1906 г. осужден, по дороге в ссылку бежал за границу, после Октябрьской революции начальник гайдамацкой полиции в Переяславле, расстрелян — 89, 181, 183—185
- Нозминь*, в Ветхом Завете свекровь Руфи — 425, 440, 441
- Нума Помпилий*, по преданию, второй царь Древнего Рима (715—673/672 до н. э.) — 62
- Нумериан* (ум. 284), римский император (284) — 76
- Ньютон* Исаак (1643—1727), английский математик, механик, астроном, физик — 12, 75, 288, 367, 377
- Овидий* (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), римский поэт — 182, 346, 481
- Овсяннико-Куликовский* Дмитрий Николаевич (1853—1920), литературовед и языковед — 329, 553
- Огарев* Николай Платонович (1813—1877), поэт, публицист, общественный деятель — 416, 467
- Огарева* (урожд. Рославлева) Мария Львовна (ок. 1817—1853), первая жена Н. П. Огарева — 380, 467
- Одоевский* Владимир Федорович (1803/1804—1869), писатель, фило-

- соф, литературный и музыкальный критик — 306, 393, 420, 558, 581
- Октавиан* — см. Август
- Олег* (ум. 912), князь, правивший в Новгороде (с 879) и Киеве (с 882) — 32
- Олоферн*, в Ветхом Завете ассирийский военачальник, голову которому отрубил Юдифь (Иудифь) при осаде им крепости Ветилуи — 278
- Ольга* (ум. 969), княгиня, жена князя Киевского Игоря, ок. 957 г. приняла христианство — 46, 47
- Оль д'Ор*, псевдоним писателя и журналиста Осипа Львовича Оршера (1878/1879—1942) — 239, 248, 284, 327, 328, 342, 343, 384, 419, 420, 440, 488, 511, 539, 557
- Онан*, в Ветхом Завете сын Иуды, отказавшийся иметь ребенка от своей жены и умерщвленный за это Богом — 465
- Онас*, участник боевых действий в 1914 г. — 517
- Ордынцев*, знакомый Розанова из Киева — 276, 277
- Орлов*, соученик Розанова по Нижегородской гимназии — 509
- Орловы*, дворянский (княжеский и графский) род — 45
- Ормузд* (Ормазд, Ахурамазда), в иранской мифологии верховное божество — 307
- Орнатский* Философ Николаевич (1860—1918), протоиерей, председатель совета "Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви" — 214
- Осорына* Ульяна Устиновна (ум. 1604), муромская помещица, впадшая в нищету, но продолжавшая помогать нуждающимся — 440
- Островский* Александр Николаевич (1823—1886), драматург — 487, 516, 533, 535, 591
- Острогорский* Алексей Николаевич (1840—1917), педагог, писатель — 23
- Отт* Дмитрий Оскарович (1855—?), лейб-акушер — 228
- Павел*, в Новом Завете апостол — 216, 217, 246, 440, 449, 504, 548
- Павел I* (1754—1801), российский император (с 1796) — 45, 149, 397, 412, 413
- Павлов*, военный прокурор — 119
- Павлов* Алексей Степанович (1832—1898), богослов, профессор церковного (канонического) права Московского университета — 459
- Павлов* Николай Михайлович (псевд. Бицын), публицист, автор статьи "Полемика Каткова с Герценом" ("Русское обозрение", 1895) — 114
- Павский* Герасим Петрович (1787—1863), филолог, востоковед и рулист — 135
- Панаева* (урожд. Брянская, во втором браке Головачева) Авдотья Яковлевна (1819/1820—1893), писательница — 467
- Парацельс* (наст. имя и фам. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493—1541), врач и естествоиспытатель — 211
- Пархóменко* Иван Кириллович (1870—1940), художник — 294
- Паскаль* Блез (1623—1662), французский математик, физик, философ, писатель — 12, 197, 249, 297, 377
- Патрокл*, в греческой мифологии соратник Ахилла в Троянской войне — 7, 496
- Пахомов*, соученик Розанова по Нижегородской гимназии — 509
- Перельман* Осип Исидорович (1878—1959), писатель, журналист, в 1913 г. эмигрировал в США — 248
- Переферкович* Наум Абрамович (1871—?), филолог, переводчик на русский язык Талмуда — 207
- Перикл* (ок. 490—429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий), политический деятель — 99, 252
- Перовская* Софья Львовна (1853—1881), революционная народница, участвовала в организации покушений на Александра II, повешена — 174, 472
- Перцов* Петр Петрович (1868—1947), публицист, литературный критик, издатель — 251, 387, 435, 503

- Петсалоци* Иоганн Генрих (1746—1827), швейцарский педагог — 154
- Петр I Великий* (1672—1725), русский царь (с 1682, правил с 1689), первый российский император (с 1721) — 41, 107, 116, 135, 148, 149, 152, 155, 177, 260, 291, 298, 306, 343, 365, 392, 486, 518, 589
- Петражицкий* Лев Иосифович (1867—1931), социолог и философ права, член ЦК партии кадетов, депутат I Государственной думы, после 1917 г. в эмиграции, покончил жизнь самоубийством — 102, 103, 107, 155
- Петрицев* Афанасий Борисович (1872—после 1942), публицист, сотрудник журнала "Русское богатство", один из лидеров народно-социалистической партии (энесов), в 1922 г. выслан из страны — 234, 415, 437—439
- Петров* Григорий Спиридонович (1868, по др. данным 1867—1925), православный священник, публицист, депутат II Государственной думы, был лишен сана, с 1921 г. в эмиграции — 303, 380, 404, 451, 457, 488, 490—492, 498—502
- Петрункевич* Иван Ильич (1844—1928), земский деятель, один из основателей партии кадетов, депутат I Государственной думы, с 1919 г. в эмиграции — 269, 421
- Печерский* Андрей (наст. имя и фам. Павел Иванович Мельников) (1818—1883), писатель — 503
- Пешехонов* Алексей Васильевич (1867—1933), экономист, публицист, член редакции журнала "Русское богатство", один из основателей народно-социалистической партии (энесов), министр продовольствия во Временном правительстве (1917), в 1922 г. выслан из страны, с 1927 г. советский экономический консультант в Прибалтике — 218, 241, 243—247, 263, 288, 379—382, 405, 415, 420, 421, 445, 448, 469, 478, 483, 554
- Пирожков* Михаил Васильевич (1867—1927), владелец книжного издательства, в 1908 г. разорился — 417—419, 421, 555
- Пирр* (319—273 до н. э.), царь Эпира (307—302, 296—273 до н. э.), одержал победу над Римом ценой огромных потерь — 241
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868), публицист, литературный критик, общественный деятель, главный сотрудник журнала "Русское слово" — 186, 187, 253, 270, 293, 341, 405, 420, 483, 549, 560, 573, 580
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель — 135, 481, 482
- Питт* Уильям Младший (1759—1806), английский политический деятель, премьер-министр (1783—1801, 1804—1806), возможно, речь идет и об его отце Уильяме Старшем, графе Чатаме (1708—1778), премьер-министре (1766—1768) — 232, 552
- Пифагор* (VI в. до н. э.), древнегреческий философ, религиозный реформатор, математик — 10
- Платон* (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 180, 181, 221, 226, 311, 347, 367, 368, 377, 488, 511
- Платонов* Сергей Федорович (1860—1933), историк — 135
- Плеве* Вячеслав Константинович (1846—1904), министр внутренних дел, шеф жандармов (с 1902), убит Е. С. Созоновым — 35, 87—89, 115, 116, 129, 164, 497, 523
- Плеханов* Георгий Валентинович (1856—1918), деятель российской и международной социал-демократии, философ, публицист — 400, 518
- Плиний Старший* (23/24—79), римский писатель и ученый — 549
- Победоносцев* Константин Петрович (1827—1907), юрист, обер-прокурор Синода (1880—1905), член Государственного совета — 33, 70—72, 96, 175, 215, 283, 297, 306, 392, 420, 487, 488, 495, 497, 498, 530, 531

- Погодин* Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, издатель — 75, 393, 434, 510, 549, 558, 560
- Погонина* Ольга, знакомая М. Е. Салтыкова-Щедрина — 332
- Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1642), боярин, один из руководителей борьбы против польской интервенции — 141
- Полежаев* Александр Иванович (1804—1838), поэт — 549
- Поляков* Лазарь Соломонович (1842—1914), железнодорожный делец, предприниматель и банкир, основатель банкирского дома в Москве — 259, 285, 491, 492
- Поляковы*, семья железнодорожных магнатов и банкиров, основанная Самуилом Соломоновичем Поляковым (1837—1888), к ней принадлежали также его братья Л. С. и Я. С. Поляковы — 234, 531
- Помпей Великий* Гней (106—48 до н. э.), римский полководец — 74, 76
- Помяловский* Николай Герасимович (1835—1863), писатель — 135, 306, 433
- Порция* (ум. 42 до н. э.), римская республиканка, дочь Катона Младшего, жена Марка Юния Брута — 279—281
- Посьет* Константин Николаевич (1819—1899), адмирал, министр путей сообщения (1874—1888), член Государственного совета — 427, 428, 430
- Потебня* Александр Афанасьевич (1835—1891), филолог-славист — 563
- Потемкин* Григорий Александрович (1739—1791), политический и военный деятель, генерал-фельдмаршал — 45, 97, 98, 496
- Пранайтис*, литовский священник, критик иудаизма — 205, 564, 566, 581
- Преображенский* Иван Васильевич (1854—?), религиозный публицист, магистр богословия, начальник отдела канцелярии Синода — 239
- Пропер* (Проппер) Станислав Максимилианович (1855—1931), публицист, издатель газеты "Биржевые ведомости" — 391, 488, 530, 583
- Протасова* Екатерина Афанасьевна, тетка В. А. Жуковского, у которой он просил руки ее дочери М. А. Протасовой — 509
- Протей*, в греческой мифологии морское божество, способное принимать облик различных существ — 524, 525
- Протейкинский* Виктор Петрович (ум. 1914, по др. данным 1915), математик, участник объединения "Мир искусства", член Религиозно-философского общества в Петербурге — 277
- Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865), французский экономист, социалист, теоретик анархизма — 389, 416
- Псамметих I*, египетский фараон (663—610 до н. э.), основатель XXVI (Саисской) династии — 468, 469
- Пуанкаре* Раймон (1860—1934), президент Франции (1913—1920), премьер-министр (1912—1913, 1922—1924, 1926—1929), неоднократно министр — 445
- Пугачев* Емельян Иванович (1740/1742—1775), донской казак, предводитель крестьянской войны 1773—1775 гг. — 88
- Путятишина* (Путята) Ольга Федоровна, актриса — 327
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799—1837), поэт и прозаик — 16, 39, 65, 76, 80, 121, 131, 132, 137, 146, 180, 182, 184, 224, 237, 238, 253, 254, 306, 323, 328, 338, 339, 343, 346, 349, 354, 369, 377, 378, 399, 405, 406, 430, 456, 478, 488, 496, 509, 510, 518, 520, 525, 533, 535, 549, 554, 559, 560, 575, 579, 591
- Пыпин* Александр Николаевич (1833—1904), литературовед, историк литературы — 329, 337, 486, 554
- Радлов* Эрнст Леопольдович (1854—1928), философ, историк философии — 355
- Разин* Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671), донской казак, предводитель крестьянской войны 1670—1671 гг. — 39, 106
- Расин* Жан (1639—1699), французский драматург и поэт — 108

- Рафаэль* Санти (1483—1520), итальянский живописец и архитектор — 311, 388
- Рачинский* Сергей Александрович (1833—1902), ученый-ботаник, деятель народного просвещения — 181, 215, 283, 303, 392, 398, 407, 420, 494, 495
- Ревекка*, в Ветхом Завете жена Исаака — 464, 465
- Реклю* Жан Жак Элизе (1830—1905), французский географ и социолог — 151, 233
- Рембрант* Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец — 465
- Ренан* Жозеф Эрнест (1823—1892), французский филолог, историк-востоковед, писатель — 235, 352
- Репин* Илья Ефимович (1844—1930), живописец — 44, 45, 98, 99, 108, 260
- Рескин* Джон (1819—1900), английский писатель и теоретик искусства — 392
- Решетников* Федор Михайлович (1841—1871), писатель — 433
- Реза* (Реза) *Кули-хан Хедаят* (1800—1871), иранский ученый, поэт, дипломат — 52
- Рикардо* Давид (1772—1823), английский экономист — 532
- Риттер* Карл (1779—1859), немецкий географ — 151, 484
- Ришелье* Арман Жан дю Плесси (1585—1642), кардинал, глава королевского совета Франции (с 1624) — 249, 369—371
- Робеспьер* Максимилиан (1758—1794), деятель Французской революции, один из руководителей якобинцев — 106, 287, 288, 341, 397, 515
- Родичев* Федор Измаилович (1854, по др. данным 1853—1933, по др. данным 1932), юрист, земский деятель, член ЦК партии кадетов, депутат I—IV Государственной думы, с 1919 г. в эмиграции — 100—103, 106, 108, 269, 421, 457
- Рождественский* (Рождественский) Зиновий Петрович (1848—1909), вице-адмирал, один из виновников поражения русской эскадры в Цусимском сражении (1905) — 144
- Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — 10, 196, 204, 209, 215, 216, 218, 227, 229, 232, 240, 241, 247, 253, 256, 286, 291, 292, 294, 296, 306, 309—321, 324, 327, 333, 361—363, 378—383, 387, 393, 407, 419, 420, 422, 435, 439, 446, 454, 458, 462—465, 468, 469, 483—485, 488, 510, 512, 535, 537—539, 553, 573, 574, 576, 583—585, 589, 595
- Розанов* Василий Васильевич (1899—1918), сын писателя — 202, 203, 227, 247, 361, 363, 453, 501, 503, 506, 517, 534
- Розанов* Владимир Николаевич (1876—1939), племянник писателя — 330, 475, 476
- Розанов* Николай Васильевич (1847—1894), брат писателя — 509, 535, 591
- Розанова* Варвара Васильевна (1898—1943), дочь писателя — 261, 262, 361, 363, 453, 537
- Розанова* Вера Васильевна (1848—1867), сестра писателя — 535
- Розанова* Вера Васильевна (1896—1920), дочь писателя — 361, 363, 401—403, 442, 453, 506—508, 537
- Розанова* Надежда Васильевна (1900—1956), дочь писателя — 202, 203, 227, 293, 361, 394, 453, 537
- Розанова* Надя (1892—1893), дочь писателя — 287, 293
- Розанова* Татьяна Васильевна (1895—1975), дочь писателя — 244, 249, 260, 356, 361, 362, 403, 453, 584
- Ромул* (VIII в. до н. э.), легендарный основатель и первый царь Древнего Рима — 62, 150
- Рооп* Эдуард Юльевич (1851—1939), епископ Тираспольский (1902), епископ Виленский (с 1903), депутат I Государственной думы — 99
- Ротшильды*, династия финансовых магнатов — 164, 208, 234, 531, 532, 565
- Ротштейн* А. Ю., банкир, председатель правления петербургского Международного банка — 285, 421
- Рубакин* Николай Александрович (1862—1946), книговед, библиограф, писатель — 236, 418

- Рубинчик*, профсоюзная деятельница, свидетельница на суде над рабочими депутатами — 187
- Рудаков Александр Павлович* (1824—1892), протоиерей, богослов, автор популярных книг о Библии — 545
- Рудич Вера*, писательница — 360
- Руднева* (урожд. Жданова) *Александра Адрияновна* (ок. 1826—1911), мать второй жены Розанова — 462
- Руманов Аркадий Вениаминович* (1878—1960), публицист, заведующий петербургским отделением газеты "Русское слово" — 242
- Рункевич Степан Григорьевич*, церковный историк — 354
- Русов Николай Николаевич* (1883—1930-е гг.), писатель и литературный критик — 247
- Руссо Жан Жак* (1712—1778), французский писатель и философ — 154, 287, 341, 581, 582, 588
- Руссова* (Русова) *С. С.*, педагог и публицистка — 25
- Рутенберг Петр* (Пинхус) *Моисеевич* (1878—1942), деятель партии эсеров, разоблачивший Гапона как провокатора, в 1922 г. эмигрировал в Палестину — 303
- Руфь*, в Ветхом Завете прабабка царя Давида — 425, 440, 441, 479
- Рухлов Сергей Васильевич* (1853, по др. данным 1852—1918), министр путей сообщения (1909—1915), член Государственного совета — 429, 430
- Рцы*, псевдоним *Ивана Федоровича Романова* (1861—1913), писателя, публициста, друга Розанова — 213, 287, 356, 435, 462, 466, 468, 594, 595
- Рылеев Кондратий Федорович* (1795—1826), поэт, декабрист — 503
- Рыс* (Рысс) *Петр Яковлевич* (1870—1948), публицист, писатель, с 1919 г. в эмиграции — 303
- Рысаков Николай Иванович* (1861—1881), народоволец, участник покушения на Александра II, повешен — 175
- Рюрик* (ум. ок. 879), по летописному преданию, предводитель варяжского военного отряда, обосновавшего в Новгороде — 30, 107, 333, 369, 458
- Рябушинский Павел Павлович* (1871—1924), фабрикант, банкир, издатель газет "Утро России" и других, один из основателей партии прогрессистов, с 1918 г. в эмиграции — 327, 379
- С* — и *А.*, псевдоним *Александра Аркадьевича Столыпина* (1863—1925), публициста, сотрудника газеты "Новое время" — 129
- Саади* (1203/1210—1292), персидский писатель и мыслитель — 307
- Саблер Владимир Карлович* (1847, по др. данным 1845—1929), религиозный публицист, обер-прокурор Синода (1911—1915), член Государственного совета — 33, 460
- Сабуров Андрей Александрович* (1837/1838—1916), министр народного просвещения (1880—1881), статс-секретарь, член Государственного совета — 469
- Савин*, корнет, мошенник — 234, 235, 564
- Савинов Борис Викторович* (1879—1925), один из руководителей Боевой организации эсеров, организатор многих террористических актов, во Временном правительстве (1917) управляющий военного министерства, писатель (псевд. В. Ропшин), в 1924 г. арестован, погиб в тюрьме при загадочных обстоятельствах — 272, 339, 387
- Савонарола Джироламо* (1452—1498), настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против правления Медичи, проповедовал аскетизм — 74, 303
- Савская царица*, в Ветхом Завете правительница Савского (Сабейского) государства (Аравия), посетившая царя Соломона — 49, 70
- Сагайдачный Петр Кононович* (ум. 1622), гетман украинских казаков — 540
- Сазонов* (Созонов) *Егор Сергеевич* (1879—1910), член Боевой организации эсеров (с 1903), убивший

- министра внутренних дел В. К. Плеве, в каторжной тюрьме покончил жизнь самоубийством — 128
- Сакулин Павел Никитич* (1868—1930), литературовед и историк литературы — 430
- Салтыков-Щедрин* (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) Михаил Евграфович (1826—1889), писатель-сатирик, публицист, редактор журнала "Отечественные записки" — 63, 65, 67, 77, 105, 213, 239, 242, 243, 259, 271, 304—307, 332, 333, 342, 352, 379, 380, 391—393, 416, 428, 435, 447, 503, 561
- Самарин Федор Дмитриевич* (1858—1916), религиозный писатель, общественно-политический и церковный деятель — 129
- Самсон*, в Ветхом Завете судья (правитель), обладавший богатырской силой — 34, 105, 106, 108, 278
- Самсонов Александр Васильевич* (1859—1914), генерал, в 1914 г. командующий армией, которая потерпела поражение, при выходе из окружения погиб — 502
- Санхиятон*, вавилонский жрец — 578, 579
- Сара* (Сарра), в Ветхом Завете жена Авраама — 274, 440, 441
- Сатурн*, в римской мифологии бог, отождествлявшийся с греческим Кроносом, пожирившим своих детей — 526
- Саул*, первый всеизраильский царь (примерно до 1004 до н. э.) — 72, 464
- Светоний Гай Транквилл* (ок. 70—ок. 140), римский историк и писатель — 151
- Святогор*, богатырь, герой русских былин — 34, 344
- Седельников Тимофей Иванович* (1876—1930?), землемер, публицист, депутат I Государственной думы, трудился, после 1917 г. на административной работе — 118, 410
- Селевк I Никатор* (358/354—280 до н. э.), полководец Александра Македонского, основатель династии и государства Селевкидов на Ближнем
- и Среднем Востоке (с 305 до н. э.) — 304
- Селиванов Кондратий Иванович* (ум. 1832), крестьянин, основатель секты скопцов — 316, 578
- Семирамида* (Шаммурамат) (кон. IX в. до н. э.), царица Ассирии — 49
- Сенковский Осип (Юлиан) Иванович* (1800—1858), писатель, журналист, востоковед — 581
- Сен-Симон Клод Анри де Рувруа* (1760—1825), французский социальный мыслитель, приверженец идеи социалистического переустройства общества — 416, 554, 559, 582
- Сенфора*, в Ветхом Завете жена Моисея — 257
- Серафим Саровский* (Прохор Сидорович (Исидорович) Мошинин) (1759/1760—1833), православный подвижник — 142, 240, 353, 354, 392, 457, 480, 561
- Сергей Александрович* (1857—1905), великий князь, сын Александра II, московский генерал-губернатор (с 1891), убит И. П. Каляевым — 290, 564
- Сергий* (Иван Николаевич Страгородский) (1867—1944), ректор Петербургской духовной академии, епископ Финляндский (1905—1917), местоблюститель патриаршего престола (с 1937), патриарх (с 1943) — 497, 498
- Сергий Радонежский* (Варфоломей Кириллович) (1314/1321—1392), православный подвижник, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря — 240, 392, 480, 564
- Серов Валентин Александрович* (1865—1911), живописец и график — 286, 298
- Сибиряков Александр Михайлович* (1849—1893), золотопромышленник, исследователь Сибири, меценат — 233
- Синеус*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Белоозере — 107, 333
- Сипягин Дмитрий Сергеевич* (1853—1902), министр внутренних дел (с 1900), убит эсерами — 35, 115, 116

- Сироткин* Василий Николаевич (1855—?), врач — 285
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838—1910), литературный критик и историк литературы — 283, 420, 430, 495, 522, 550, 558, 559, 592
- Скальковский* Константин Аполлонович (1843—1906), административный деятель, писатель, публицист, горный инженер — 117
- Скарятин* Николай Яковлевич, казанский губернатор (1867—1880) — 168
- Скворцов* Василий Михайлович (1859—1932), чиновник Синода, публицист, редактор и издатель ряда церковных изданий — 239, 354, 404, 497, 498
- Скиталец* (наст. фам. Петров) Степан Гаврилович (1869—1941), писатель — 384
- Сковорода* Григорий Саввич (1722—1794), украинский философ, поэт, музыкант, педагог — 252
- Скотт* Вальтер (1771—1832), английский писатель — 52, 510
- Скублинская* Марианна, польская акушерка, убивавшая новорожденных детей (преступление раскрыто в 1890 г.) — 34
- Слепнев*, присяжный поверенный — 418
- Слепцов* Василий Алексеевич (1836—1878), писатель — 433
- Слиозберг* Генрих Борисович (1863—1937), адвокат, активный деятель еврейских общественно-политических организаций, с 1920 г. в эмиграции — 203
- Слободзинская*, знакомая Розанова — 418
- Слободзинский* Сергей, сын Слободзинской — 418, 419
- Слонимский* Людвиг Зиновьевич (1850—1918), публицист, сотрудник журнала "Вестник Европы" — 250, 400, 435
- Смирнов* К. Н., генерал-майор (позже генерал-лейтенант), комендант Порт-Артура в 1904 г. — 31, 32
- Смирнов* Капитон Иванович (1827—?), автор учебника по географии — 574
- Смит* Адам (1723—1790), английский экономист и философ — 477
- Снесарев* Николай Васильевич, секретарь газеты "Новое время" — 212
- Соболевский* Василий Михайлович (1846—1913), юрист, публицист, издатель-редактор газеты "Русские ведомости" — 329, 380
- Соколов* Николай Дмитриевич (1870—1928), адвокат, общественно-политический деятель — 153
- Сократ* (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ — 99, 226, 256, 310, 311, 574
- Соллертинский* Иван Иванович (1851—?), административный деятель, сенатор — 119
- Соллертинский* Сергей Александрович (1846—1920), протоиерей, богослов, профессор Петербургской духовной академии — 498
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, поэт, публицист — 129, 212, 222, 242, 253, 259, 299, 309, 329, 338, 339, 392, 393, 411, 448—450, 495, 501
- Соловьев* Михаил Петрович (1842—1901), начальник Главного управления по делам печати, писатель, публицист — 392, 488
- Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879), историк — 75, 76, 78, 135, 151
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—ок. 926 до н. э.) — 70, 229, 230, 313, 316, 440, 441, 472
- Солон* (640/635—ок. 559 до н. э.), афинский архонт (высшее должностное лицо), реформатор — 468
- Сонька Золотая Ручка*, прозвище Софьи Ивановны Блювштейн (Штендель), авантюристка, мошенница, не раз сидела в тюрьме, за попытку побега отправлена на каторгу на Сахалин, где ее видел А. П. Чехов — 564
- Софья Алексеевна* (1657—1704), царевна, правительница (1682—1689), свергнута Петром I, заключена в Новодевичий монастырь — 46
- Спасович* Владимир Данилович (1829—1906), юрист, публицист, общественный деятель — 168

- Спенсер* Герберт (1820—1903), английский философ и социолог — 12, 159, 210, 213, 246, 297, 344, 377, 378, 509, 522, 559, 571
- Сперанский* Михаил Михайлович (1772, по др. данным 1771—1839), политический мыслитель, ближайший советник Александра I (1808—1810), генерал-губернатор Сибири (1819—1821), с 1826 г. руководил работой по законодательству — 25, 29, 44
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632—1677), голландский философ — 169, 251, 532, 593
- Станкевич* Николай Владимирович (1813—1840), философ, поэт, общественный деятель — 329, 343
- Стасюлевич* Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, журналист, общественный деятель, редактор-издатель журнала "Вестник Европы" (1866—1908) — 168, 259, 271, 305, 329, 381, 382, 494, 513, 530, 531, 549, 573, 585
- Стахеев*, сотрудник журнала "Русский вестник" — 329
- Степняк-Кравчинский* (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851—1895), революционный народник, писатель — 130, 144, 175, 176, 185
- Стефан Яворский* (Симеон Иванович Яворский) (1658—1722), церковный деятель, религиозный писатель, местоблюститель патриаршего престола (1700—1721) — 518
- Стишинский* Александр Семенович (1852—?), юрист, товарищ министра внутренних дел, главноуправляющий землеустройством и земледелием, один из лидеров "Союза русского народа", член Государственного совета — 119, 437
- Столетов* Александр Григорьевич (1839—1896), физик — 214
- Стоппнер* Борис Григорьевич (1871—1967), философ и переводчик — 251, 330, 475, 476, 492, 593
- Столыпин* Петр Аркадьевич (1862—1911), министр внутренних дел, председатель Совета министров (с 1906), руководитель разработанной им аграрной реформы — 286, 384, 400, 437
- Стороженко* Николай Ильич (1836—1906), филолог и историк литературы — 135
- Стоюнина* Мария Николаевна (1846—1940), деятельница народного просвещения — 506, 596
- Страхов* Николай Николаевич (1828—1896), философ, публицист, литературный критик — 18, 19, 28, 181, 218, 222, 248, 251—253, 259, 329, 343, 346, 379, 380, 393, 405, 411, 415, 416, 419, 443, 450, 463, 468, 474, 480, 483, 494, 495, 503, 511, 549—551, 580
- Строганов* Сергей Григорьевич (1794—1882), попечитель Московского учебного округа (1835—1847), глава Государственного совета (с 1856), московский генерал-губернатор (1859—1860), археолог — 549, 551
- Строгановы*, дворянский (графский) род — 392, 592
- Струве* Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ, историк, публицист, общественно-политический деятель, с 1921 г. в эмиграции — 119, 201, 218, 234, 246, 325, 378, 448, 450, 472, 523, 527, 588
- Стукачева* Варя, курсистка, автор письма к Розанову — 361, 362
- Стулли* Федор Степанович (1834—?), публицист и писатель — 530
- Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист и издатель, с 1876 г. издавал газету "Новое время", с 1880 г. — журнал "Исторический вестник" — 222, 270, 380—382, 388, 417, 425, 481, 560
- Суворина* (урожд. Орфанова) Анна Ивановна (1858—1936), вторая жена А. С. Суворина — 228
- Суворов* Александр Васильевич (1730—1800), полководец, генерал-лиссимус (1799) — 45, 179, 180, 234, 397, 459, 496, 538
- Суламифь* (Суламита), в Ветхом Завете возлюбленная из книги Песнь Песней — 229—231, 441

- Сумароков* Александр Петрович (1717—1777), писатель — 40, 518
- Сусанин* Иван Осипович (ум. 1613), крестьянин Костромского уезда, герой борьбы против польской интервенции — 137, 179, 503
- Сусанна*, в Ветхом Завете женщина, спасенная пророком Даниилом от несправедливого обвинения — 319
- Сципионы*, известные римские полководцы — 74
- Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934), издатель — 242—244, 270, 380
- Таганцев* Николай Степанович (1843—1923), юрист, член Государственного совета — 23
- Тамерлан* (Тимур) (1336—1405), среднеазиатский эмир (с 1370), полководец — 433, 548
- Тан-Богораз* (наст. фам. Богораз) Владимир Германович (1865—1936), этнограф, писатель, публицист, в 1880-е гг. народоволец, в 1900-е один из организаторов группы трудовиков в Государственной думе и трудовой народно-социалистической партии (энесов), после 1917 г. в основном на научной и педагогической работе — 491
- Тарквиний Гордый*, по преданию, последний царь Древнего Рима (534/533—510/509 до н. э.) — 150
- Татарин* Валериан Алексеевич (1816—1871), глава государственного контроля и его реформатор (с 1863) — 75, 356
- Татищев* Василий Никитич (1686—1750), историк и политический деятель — 512
- Тацит* (ок. 58—ок. 117), римский историк — 44, 73, 74, 151, 347, 484
- Тейлор* (Тайлор) Эдуард Бернетт (1832—1917), английский этнограф, исследователь первобытной культуры — 246
- Теккерей* Уильям Мейкпис (1811—1863), английский писатель — 235
- Тенишева* Мария Клавдиевна (1867—1923), деятельница культуры, основательница училища в Петербурге — 23, 92
- Теодолinda* (Теоделинда) (ум. 628), лангобардская королева, жена короля Автариса — 47
- Тернавцев* Валентин Александрович (1866—1940), богослов, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода, религиозный писатель — 387, 493, 497
- Терсит*, в греческой мифологии незнатный воин, участник Троянской войны — 205, 496
- Тиберий* (Тибериус) (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император (с 14) из династии Юлиев-Клавдиев — 87
- Тигранов* Фаддей Яковлевич, музыковед — 568, 569
- Тимашев* Александр Егорович (1818—1893), министр внутренних дел (1868—1878) — 444, 468
- Тимирязев* Климент Аркадьевич (1843—1920), естествоиспытатель — 209, 210, 214
- Тихомиров* Лев Александрович (1852—1923), революционный народник, публицист, после 1888 г. — марксист, редактор газеты "Московские ведомости" (1909—1913) — 291
- Тихомиров* Николай Саввич (1832—1893), литературовед и археолог — 550, 551
- Тициан* (Тициано Вечеллио) (ок. 1476/1477 или 1489/1490—1576), итальянский живописец — 183
- Товия*, в Ветхом Завете центральный персонаж книги Товита — 254, 464
- Токвиль* Алексис (1805—1859), французский историк, социолог, политический деятель — 247, 369, 370
- Толстая* Александра Андреевна (1817—1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого — 280
- Толстой* Алексей Константинович (1817—1875), писатель — 535, 591
- Толстой* Дмитрий Андреевич (1823—1889), обер-прокурор Синода (1865—1880), министр народного просвещения (1866—1880), министр внутренних дел и шеф жандармов (с 1882) — 135, 140, 175, 394, 468, 588

- Толстой Лев Николаевич* (1828—1910), писатель и мыслитель — 16—18, 51, 67, 107, 167, 172—175, 181, 218, 243, 255, 280, 281, 306, 314, 316, 324, 341, 343, 357, 392—394, 434, 435, 443, 444, 453, 468, 477, 501, 522, 535, 550, 582, 591
- Тотлебен Эдуард Иванович* (1818—1884), инженер-генерал, руководил инженерными работами при обороне Севастополя (1854—1855), осадой Плевны (1877—1878) — 174
- Третьяковский Василий Кириллович* (1703—1768), поэт и филолог — 518
- Тройницкий*, депутат петербургской городской думы — 179, 180
- Троцкий* (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940), участник социал-демократического движения (с 1897), в ноябре—декабре 1905 г. один из руководителей Петербургского Совета рабочих депутатов, осужден в 1906 г., по пути в ссылку бежал за границу (1907), после Октября 1917 г. один из руководителей Советского государства и Коммунистической партии, в 1929 г. выслан из страны, публицист — 184, 185
- Трубецкой Евгений Николаевич* (1863—1920), философ, юрист, публицист, общественный деятель, один из основателей партии кадетов и партии мирного обновления — 450, 501
- Трубецкой Сергей Николаевич* (1862—1905), философ, публицист, общественный деятель, первый выборный ректор Московского университета (1905) — 135, 450, 495
- Трубецкой Сергей Петрович* (1790—1860), полковник, декабрист — 269, 412
- Трувор*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Изборске — 108, 333
- Тулл Гостилий*, по преданию, царь Древнего Рима (673—641 до н. э.) — 87
- Тур Евгения* (наст. имя и фам. Елизавета Васильевна Салинас-де-Турнемир, урожд. Сухово-Кобылина) (1815—1892), писательница — 260
- Тураев Борис Александрович* (1868—1920), историк и филолог-востоковед — 442
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818—1883), писатель — 17, 51, 65, 70, 72, 83, 86, 108, 109, 114, 116, 135, 167—169, 467, 477—479, 484, 492, 549—551, 580, 591
- Тьерри* (Тьерри) Огюстен (1795—1856), французский историк — 535
- Тэн Ипполит* (1828—1893), французский литературовед, философ, историк — 356, 369, 370, 432
- Тютчев Федор Иванович* (1803—1873), поэт, публицист, дипломат — 222, 253, 420, 485, 559
- Уайльд Оскар* (1854—1900), английский писатель — 387
- Уголино делла Герардеска* (нач. XIII в.—1288/1289), итальянский политический деятель, правитель Пизы (с 1284/1285), был свергнут политическими противниками и замурован в башне, где умер от голода — 397—399
- Урбан VIII* (Маффео Барберини) (1568—1644), папа римский (с 1623) (см. Колонна) — 156
- Успенский Василий Васильевич*, профессор Петербургской духовной академии — 352, 354
- Успенский Глеб Иванович* (1843—1902), писатель — 213, 343, 399, 477, 519, 520, 559, 592
- Устьинский Александр Петрович* (1854/1855—1922), протоиерей из Новгорода, друг Розанова и его многолетний корреспондент — 215, 240, 309, 310
- Утин Исаак Осипович* (ум. 1876), купец 1-й гильдии, банкир — 271, 382, 421
- Утина* (в замужестве Стасюлевич) Любовь Исааковна (1836/1837—после 1913), жена М. М. Стасюлевича (с 1866) — 259
- Утины* — 329
- Ухтомский Павел Петрович* (1848—?), вице-адмирал — 31
- Ушинский Константин Дмитриевич* (1824—1870/1871), педагог, теоретик педагогики — 105

- Фамарь**, в Ветхом Завете дочь царя Давида — 464
- Фаресов** Анатолий Иванович (1852—1928), писатель, публицист — 478
- Федоров** Михаил Михайлович, публицист, редактор "Литературного обозрения", приложения к "Торгово-промышленной газете" — 482
- Федоров** Николай Федорович (1829—1903), мыслитель-утопист — 556
- Фенелон** Франсуа (1651—1715), французский писатель и церковный деятель — 581
- Феофан Затворник** (Георгий Васильевич Говоров) (1815—1894), церковный деятель, епископ, отшельник (с 1872), богослов, религиозный писатель, переводчик — 579
- Феофан Прокопович** (1681—1736), политический и церковный деятель, сподвижник Петра I, богослов, религиозный писатель — 518
- Фет** (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт и переводчик — 205, 253, 346
- Фигнер** Вера Николаевна (1852—1942), революционная работница, писательница — 400, 472
- Филарет** (Василий Михайлович Дроздов) (1783, по др. данным 1782—1867), митрополит Московский (с 1826), богослов, религиозный философ, историк, проповедник — 146, 147, 353, 354, 413, 500
- Филевский** Иоанн Иоаннович (1865—?), богослов, религиозный писатель, профессор Харьковского университета, полемизировал с Розановым — 215, 218, 239, 470
- Филипп II Македонский** (ок. 382—336 до н. э.), царь Македонии (с 359 до н. э.), отец Александра Македонского — 484
- Филипп Эгалите** Луи Филипп Жозеф (1747—1793), герцог Орлеанский, член Конвента, казнен — 287
- Филитов** Тертий Иванович (1825—1899), политический и общественный деятель, публицист, знаток истории церкви — 269, 494, 502, 503, 595
- Философов** Дмитрий Владимирович (1872—1940), критик и публицист, с 1920 г. в эмиграции — 212, 242, 247, 285, 339, 385, 387—389, 406, 407, 469, 478, 497
- Философова** (урожд. Дягилева) Анна Павловна (1837—1912), деятельница женского движения — 294, 466
- Фихте** Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ и общественный деятель — 470, 471
- Флексер** (псевд. Вольтинский) Аким Львович (1861—1926), литературный и театральный (балетный) критик, теоретик и историк искусства — 371
- Флоренский** Павел Александрович (1882—1937), православный священник, философ, ученый, инженер, репрессирован — 213, 223, 265, 277, 328, 334, 420, 435, 462, 466, 504, 508, 539, 590
- Фома Аквинский** (1225/1226—1274), средневековый философ и теолог — 12, 312, 316
- Фон-Визин** (Фонвизин) Денис Иванович (1744/1745—1792), писатель и социально-политический мыслитель — 63, 281, 360, 391, 398, 399, 434, 518, 591
- Фор** Феликс (1841—1899), президент Франции (с 1895) — 445
- Фотий** (ок. 810/820—890-е гг.), патриарх Константинопольский (858—867, 877—886) — 171
- Фотий** (Петр Никитич Спасский) (1792—1838), церковный деятель, архимандрит, оказывал влияние на Александра I — 89
- Фохт** Карл (1817—1895), немецкий философ и естествоиспытатель — 210, 232, 295—297, 464, 533, 559, 575
- Франк** Семен Людвигович (1877—1950), философ, один из создателей "Союза освобождения" (1903), в 1922 г. выслан из страны — 472
- Франциск Ассизский** (наст. имя и фам. Джованни Бернардоне) (1181/1182—1226), итальянский проповедник, религиозный поэт, основатель ордена францисканцев — 343, 405
- Франческа да Римини** (ум. 1283/1286), дочь правителя Равенны, стала пе-

- рсонажем "Божественной комедии"
Данте — 546
- Френкель** Захарий Григорьевич
(1869—1970), врач, ученый, депутат
I Государственной думы, кадет
— 121, 122
- Фрибес** Ольга Александровна
(1858—1933), писательница, знако-
мая Розанова — 480
- Фридрих I Барбаросса** (ок. 1125—1190),
германский король и император
Священной Римской империи (с
1152) — 146, 148, 149
- Фридрих II Великий** (1712—1786), прусский
король (с 1740) из династии Гогенцол-
лернов, полководец — 70, 155
- Фукидид** (ок. 460—400 до н. э.), древне-
греческий историк — 347
- Фурье** Шарль (1772—1837), французский
социальный мыслитель, приверже-
нец идеи социалистического пере-
стройства общества — 416, 582
- Хвольсон** Даниил Абрамович
(1819—1911), востоковед-семитолог
— 565, 566
- Хемницер** Иван Иванович (1745—1784),
поэт-баснописец — 67
- Херасков** Михаил Матвеевич
(1733—1807), писатель — 97, 98, 114,
396, 522
- Хозрой (Хосров) II** (ум. 628), шах Ирана
(с 591) из династии Сасанидов, заво-
евал восточную и южную провин-
ции Византии — 470
- Хомяков** Алексей Степанович
(1804—1860), философ, писатель, пу-
блицист, общественный деятель
— 47, 413, 419, 510, 560, 594
- Цветков** Сергей Алексеевич
(1888—1964), историк литературы,
друг и библиограф Розанова — 211,
213, 328, 393, 420, 462
- Цибрикова** Мария Константиновна
(1835—1917), писательница, публи-
цистка, литературный критик
— 283, 297, 430, 483, 592
- Цезарь** Гай Юлий (102/100—44 до
н. э.), римский диктатор и полково-
дец — 74, 75, 82, 87, 149, 304,
368
- Цетлин** Натан Сергеевич (1872—?),
юрист, владелец книгоиздательства
"Просвещение" и книжного магази-
на в Петербурге — 435, 487
- Цицерон** Марк Туллий (106—43 до
н. э.), римский политический дея-
тель, оратор и писатель — 232,
347, 468, 484
- Чаадаев** Петр Яковлевич (1794—1856),
мыслитель и публицист — 456, 576
- Чайковский** Петр Ильич (1840—1893),
композитор — 39, 41, 198
- Чебышев** Пафнутий Львович (1821—
1894), математик — 339, 550
- Чельшев** Михаил Дмитриевич (1866—?),
депутат III Государственной думы,
городской голова в Самаре — 380
- Чернов** Виктор Михайлович
(1873—1952), публицист, участник
революционного движения, один из
основателей и теоретик партии эсе-
ров, с 1920 г. в эмиграции — 290
- Чернышевский** Николай Гаврилович
(1828—1889), писатель, публицист,
критик, философ, общественный де-
ятель — 114, 184, 239, 253, 329,
337—339, 341, 342, 344, 345, 354,
378, 380, 395, 405, 416, 420, 434,
450, 456, 457, 477, 483, 488—490,
492, 509, 517, 522, 549, 550, 558,
573, 576, 580
- Чехов** Антон Павлович (1860—1904), пи-
сатель — 222, 388
- Чуковский** Корней Иванович (наст. имя
и фам. Николай Васильевич Ко-
рнейчуков) (1882—1969), писатель,
литературовед, критик — 383, 430,
488
- Шамай Старший**, еврейский законоучи-
тель (50—20 до н. э.) — 207, 208
- Шарапов** Сергей Федорович (1855—
1911), экономист, публицист, изда-
тель — 309, 325
- Шекспир** Уильям (1564—1616), англий-
ский драматург и поэт — 484,
510, 511
- Шелгунов** Николай Васильевич
(1824—1891), публицист, литератур-
ный критик, общественный деятель
— 430, 495, 550, 559, 580

- Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ — 74, 76, 377, 470
- Шереметьев* Александр Дмитриевич (1859—1919), музыкальный деятель и композитор — 40
- Шернваль*, врач — 249
- Шестаков* Петр Михайлович (ум. 1914), педагог и публицист — 25
- Шестов* Лев (псевд. Льва Исааковича Шварцмана) (1866—1938), философ и литератор, с 1895 г. в основном жил за границей — 436
- Шибанов* Василий (XVI в.), стремянный и гонец князя А. М. Курбского, умер от пыток — 233, 439
- Шидловский* Сергей Илиодорович (1861—?), депутат III и IV Государственной думы, октябрист — 438
- Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 75, 182, 367, 435
- Шингарев* Андрей Иванович (1869—1918), земский врач, депутат II—IV Государственной думы, кадет, убит анархистами — 359, 381, 382, 421, 438
- Шлейден* Маттиас Якоб (1804—1881), немецкий ботаник — 283
- Шлоссер* Фридрих Кристоф (1776—1861), немецкий историк — 338, 339, 395, 405, 471, 486
- Шамаков* Алексей Семенович (1852—1916), юрист, публицист, идеолог антисемитизма, истец на процессе над М. Бейлисом — 205, 566
- Шопенгауэр* Артур (1788—1860), немецкий философ — 512, 521
- Шперк* Федор Эдуардович (1872, по др. данным 1870—1897), философ, поэт, критик, друг Розанова — 475, 503, 585
- Шпильгаген* Фридрих (1829—1911), немецкий писатель — 210, 329, 582
- Штраус* Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог и философ — 127, 352, 458
- Шуберт* Франц (1797—1828), австрийский композитор — 225
- Шувалов* Иван Иванович (1727—1797), генерал-адъютант, куратор Московского университета, президент Академии художеств, фаворит Елизаветы Петровны — 496
- Шувалов* Петр Андреевич (1827—1889), генерал, директор департамента общих дел Министерства внутренних дел (1860—1861), шеф жандармов и главный начальник III отделения (политического сыска) (1866—1874), дипломат — 306
- Шуйский* Василий Иванович — см. Василий IV Шуйский
- Шура* — см. Бутягина А. М.
- Шапов* Афанасий Прокофьевич (1831—1876), историк — 450
- Щедрин* — см. Салтыков-Щедрин М. Е.
- Щепкин* Евгений Николаевич (1860—1920), историк, депутат I Государственной думы от партии кадетов, в 1907 г. вышел из партии, внук актера М. С. Щепкина — 112, 113
- Щербов* Иван Павлович, кандидат богословия, преподаватель Петербургской духовной семинарии, знакомый Розанова — 579
- Щербова* (урожд. Миллер) Надежда Романовна (ок. 1871—1911), сотрудница журнала "Русский паломник", жена И. П. Щербова — 213, 462
- Эвклид* (Евклид) (III в. до н. э.), древнегреческий математик — 352
- Эвфидем* (Эвтидем), царь греко-бактрийского государства (ок. 235—ок. 200 до н. э.) — 501
- Эмзе*, публицист газеты "Утро России" — 411
- Энгельгардт* Александр Николаевич (1832—1893), агроном и публицист — 304
- Энгельгардт* Михаил Александрович (1861—1915), публицист — 330
- Энгельгардт* Николай Александрович (1867—1942), писатель, публицист, критик, историк литературы — 242

- Энгельс* Фридрих (1820—1895), немецкий мыслитель и политический деятель, соратник К. Маркса — 108, 159
- Эндимион*, в греческой мифологии юноша, которого Зевс обрек на вечный сон, тем самым сохранив ему вечную молодость — 542, 543
- Эней*, в античной мифологии один из защитников Трои, ставший легендарным основателем Рима и римлян — 149
- Эри* Владимир Францевич (1881—1917), философ и историк философии — 252
- Эфрос* Ревекка Юльевна, знакомая Розановых — 541
- Юань Шикай* (1859—1916), китайский политический и военный деятель, премьер-министр (1911), президент (с 1912), объявил себя императором — 370
- Юдифь* (Иудифь), в Ветхом Завете жительница города Ветилуи, спасшая его от ассирийского войска — 278
- Юлиан Отступник* (331—363), римский император (с 361), пытался восстановить язычество, издавал эдикты против христиан — 578
- Юнона*, в римской мифологии богиня брака, материнства, супруга Юпитера — 165, 216
- Юпитер*, в римской мифологии верховный бог — 446
- Юргенсон*, коллекционер автографов — 263
- Юсуфов* Николай Борисович (1750—1831), министр департамента уделов, член Государственного совета, меценат — 131
- Юшкевич* Семен Соломонович (1868—1927), писатель, публицист, историк литературы, с 1921 г. в эмиграции — 277, 278, 523, 524
- Ющинский* Андрей (ум. 1911), подросток, убийство которого стало причиной судебного процесса над М. Бейлисом — 216, 224, 248, 286, 287, 330
- Яблоновский* Александр Александрович (1870—1934), критик, фельетонист, публицист, после 1917 г. в эмиграции — 440
- Яковлев* Иван Алексеевич (1767—1846), отец А. И. Герцена — 582
- Ярослав Мудрый* (ок. 978—1054), великий князь Киевский (с 1019), сын Владимира I Святого — 51, 79, 80, 458
- Ярошенко* Мария Павловна, вдова живописца Н. А. Ярошенко — 203

Составитель *В. М. Персонов*

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Когда начальство ушло... 1905 — 1906 гг.

Предисловие	7
1901 г.	
Всемирная скука	11
Nomines novi... ..	16
1904 г.	
Кислород и углерод в истории	23
Война и политическое творчество... ..	25
Лучшая жертва на алтарь отечества	26
”Кабинет”... ..	27
В тяжелый час истории	30
1905 г.	
Будьте справедливы	33
Скорбные мысли проф. Демьянова о земском соборе	35
Государство и общество	38
Русские исторические портреты на выставке в Таврическом дворце	44
Женщины и представительство	46
Исторический перелом	49
На митинге	52
Среди анархии	61
1906 г.	
Гамлет в роли администратора	70
О ”переживаниях” и ”переживших”	72

В пасхальную ночь 1906 года	80
Пегий человек	87
Последнее похождение Кречинского	90
На заре парламента	91
В Таврическом дворце	96
Левиафан шевелится	121
Об амнистии	124
В настроениях дня	131
Ослабнувший фетиш	142
Отчего левые побеждают центр и правых?	155
Вниманию "Трудовой группы"	160
В русском подполье	163
На суде рабочих депутатов	178

1907 — 1910 гг.

Вместо заключения	190
-------------------------	-----

Мимолетное. 1914 год

<i>С. Р. Федякин. Жанр, открытый В. В. Розановым</i>	597
КОММЕНТАРИИ	605
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	635

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

Когда начальство ушло...

Заведующий редакцией
М. М. Беляев

Редакторы
П. П. Апрышко
и *Ж. П. Крючкова*

Оформление художника
Ю. Н. Маркарова

Художественный редактор
О. Н. Зайцева

Технический редактор
Р. Я. Лаврентьева

ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 05.06.97.

Подписано в печать 25.09.97.

Формат 60 x 84 ¹/₁₆.

Бумага офсетная № 1.

Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.

Усл. печ. л. 39,06. Уч.-изд. л. 50,00.

Тираж 5000 экз.

Заказ № 2855.

Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.

Российский государственный
информационно-издательский
Центр "Республика"
Комитета Российской Федерации
по печати.

Издательство "Республика".
125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма
"Красный пролетарий".
103473, Москва,
Краснопролетарская, 16.